This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

БИБЛІОТЕКА
№ 208.
Г. ЛЕШКОВСКАГО

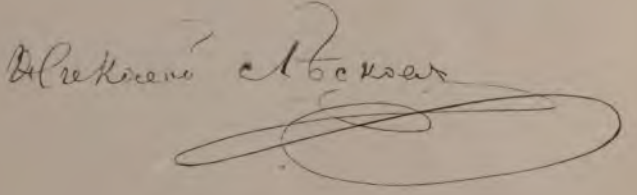
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Печ со стали Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигѣ.



Leskov, N. S.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

R9

891.73
L711
ed.3a
v.1-4

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

Николай Семеновичъ Лѣсковъ.

Чтобы оцѣнить писателя по достоинству, надо прежде всего его понять. Это элементарное правило здравой критики соблюдается очень рѣдко. Обыкновенно критикъ, придерживаясь извѣстныхъ воззрѣній и подвергая даннаго писателя оцѣнкѣ, только удостовѣряется, подходитъ ли этотъ писатель подъ его воззрѣнія, и если подходитъ, то одобряетъ его, если не подходитъ — высказываетъ ему порицаніе. Такимъ образомъ господствующій методъ критики мало выясняетъ духовную физіономію писателя: писатель остается въ тѣни, а на первый планъ выступаетъ личность критика.

Николай Семеновичъ Лѣсковъ принадлежитъ къ числу первоклассныхъ нашихъ писателей. Если мы назовемъ Гончарова, Тургенева, Островскаго, Достоевскаго, Писемскаго, Салтыкова, Л. Толстого, то Лѣсковъ присоединяется къ этой блестящей плеядѣ, какъ талантъ не во всемъ имъ равный, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ имъ не уступающій и превосходящій ихъ въ другихъ. Но, какъ всѣ эти выдающіеся представители нашей литературы, и Лѣсковъ имѣетъ свою собственную, рѣзко обозначенную физіономію. Онъ сказалъ свое самостоятельное слово. Вся образованная Россія это сознаетъ. Одинъ изъ нашихъ наиболѣе добросовѣстныхъ литературныхъ критиковъ, г. Венгеровъ, слѣдующимъ образомъ характеризуетъ Лѣскова: «Подходя нѣкоторыми сторонами своего таланта къ Островскому, Писемскому и Достоевскому, онъ ни одному изъ этихъ великихъ мастеровъ русскаго слова не уступаетъ по чисто-художественнымъ силамъ... Ни у одного русскаго писателя нѣтъ та-

кого неисчерпаемаго богатства фабулы... Въ тѣсной связи съ богатствомъ фабулы находится сконцентрированность беллетристической манеры Лѣскова... Наконецъ, не много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ по колоритности и оригинальности своего языка». Но тотъ же критикъ прибавляетъ, что «критика мало имъ занималась, и только успѣхъ въ публикѣ полнаго собранія его сочиненій скрасилъ это несоотвѣтствовавшее размѣрамъ его художественнаго дарованія положеніе».

Въ послѣднихъ словахъ есть преувеличеніе. О Лѣсковѣ очень много писали, имъ очень много занимались, быть-можетъ, въ общемъ не менѣе, чѣмъ нѣкоторыми другими первоклассными писателями, напр. Гончаровымъ. Были моменты, когда вся Россія говорила о Лѣсковѣ, и никогда читавшая публика о немъ не забывала. Но слова названнаго критика вѣрны въ томъ отношеніи, что духовный обликъ Лѣскова, своеобразность котораго всѣ чувствуютъ, не отмѣченъ и не разъясненъ еще никѣмъ. Вся Россія читаетъ Лѣскова, наслаждается его произведеніями, знакомится по нимъ со многими сторонами русской дѣйствительности, изображенными покойнымъ писателемъ съ неподражаемымъ мастерствомъ, находитъ себѣ въ нихъ нерѣдко утѣшеніе, черпаетъ въ нихъ бодрость,—а русская литературная критика до сихъ поръ не дала ни біографіи, ни сколько-нибудь обстоятельной оцѣнки этого столь заслуженнаго писателя. Правда, Лѣсковъ отчасти раздѣляетъ въ этомъ отношеніи участь другихъ выдающихся представителей русскаго слова. Но врядъ ли кому-либо изъ нихъ посчастливилось менѣе Лѣскова. И Тургеневъ, и Островскій, и Салтыковъ только еще ожидаютъ своего безпристрастнаго критика, но каждому изъ этихъ писателей посвящены обстоятельныя изслѣдованія, въ которыхъ сдѣлана, по крайней мѣрѣ, попытка установить ихъ умственный обликъ. Лѣскову же, кромѣ журнальной полемики *), бѣглыхъ рецензій,

*) Наиболѣе обширныя статьи этого рода принадлежатъ гг. Протопопову и Скабичевскому («Больной талантъ» и «Чѣмъ отличается направленіе въ искусствѣ отъ партійности», — «Русская Мысль» и «Сѣверный Вѣстникъ» 1891 г.).

воспоминаній *), посвящена только одна болѣе серьезная критическая статья, принадлежащая г. Венгерову, да и то это — статья энциклопедическаго словаря (Брокгауза и Ефрона), слѣдовательно удовлетворяющая по своей цѣли и размѣрамъ только требованіямъ, которыя вообще предъявляются статьямъ подобнаго рода.

Спрашивается, почему столь выдающагося писателя, какъ Лѣсковъ, постигла такая участь? Ключъ къ разгадкѣ этого вопроса заключается въ первыхъ строкахъ нашей характеристики. Русская литературная критика до сихъ поръ не задавалась цѣлью *понять* нашего автора: къ нему прикладывали лишь мѣрку собственныхъ воззрѣній и симпатій тѣ или другіе критики, и такъ какъ Лѣсковъ по причинамъ, которыя мы впослѣдствіи разъяснимъ, подъ эту мѣрку не подходилъ, то оцѣнка его не могла быть ни справедливою, ни убѣдительною. Надъ Лѣсковымъ до сихъ поръ произносила судъ не русская литературная критика, а та или другая партія. Попытаемся же установить его умственный обликъ, руководствуясь не голосомъ представителей разныхъ партій, а анализомъ его произведеній. Осмыслить наслажденіе, которое Лѣсковъ доставляетъ читателю, выяснить, за что онъ боролся и страдалъ, указать на ту высокую цѣль, къ которой онъ стремился всѣми силами своего блестящаго дарованія, отмѣтить, почему онъ на ряду съ другими выдающимися нашими писателями вызывалъ и много злобы, и много любви, словомъ, понять его, вотъ — задача немногихъ, къ сожалѣнію, строкъ, которыя мы можемъ посвятить ему въ этой вступительной статьѣ къ его произведеніямъ.

I.

«Чтобы понять писателя (поэта), надо побывать въ его странѣ». Это извѣстное и во многихъ отношеніяхъ глубокое изреченіе можетъ быть понято и въ томъ смыслѣ, что надо изучить всю обстановку, въ которой родился, воспитывался и провелъ свою молодость писатель, чтобы должнымъ образомъ его оцѣ-

*) «Памяти Н. С. Лѣскова» и «Поминка Н. С. Лѣскова» г. Фаресова («Историческій Вѣстникъ» 1895 г. и «Книжки Недѣли» 1896 г.).

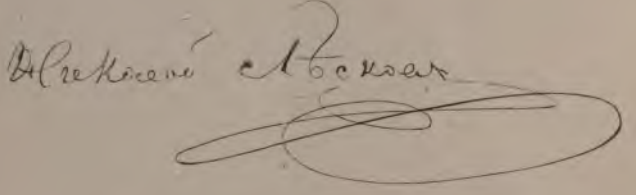
пить. По крайней мѣрѣ по отношенію къ Лѣскову это безусловно вѣрно. Если мы будемъ его оцѣнивать съ точки зрѣнія разныхъ взглядовъ, стремленій и вѣяній, господствовавшихъ въ нашемъ обществѣ въ періодъ 35-лѣтней литературной дѣятельности Лѣскова, то мы его врядъ ли поймемъ, т.-е. уяснимъ себѣ осуществленную имъ крупную литературную задачу. Съ точки зрѣнія этихъ вѣяній онъ постоянно былъ, что называется, не ко двору: ни одна изъ нашихъ партій не признавала его своимъ человѣкомъ, и если онъ повидимому примыкалъ то къ одной, то къ другой, то очень скоро происходилъ разрывъ. Примкнувъ въ началѣ своей литературной дѣятельности къ либеральной партіи, онъ вскорѣ разошелся съ нею и снова какъ бы примкнулъ къ ней подъ конецъ своей жизни. Одно время могло казаться, что онъ прочно присоединился къ консервативной партіи, но и консерваторы вскорѣ отшатнулись отъ него. Если теперь предположить, что воззрѣнія либеральной и консервативной партіи составляютъ нѣчто болѣе или менѣе неизмѣнное, то логически получается тотъ выводъ, что самъ Лѣсковъ сильно колебался въ своихъ воззрѣніяхъ. Такимъ и изображаетъ его ходячая литературная критика. Но если изучить добросовѣстно его произведенія, то мы придемъ къ совершенно другому выводу: мы убѣдимся, что воззрѣнія Лѣскова въ общемъ необычайно устойчивы, что онъ остался самимъ собою съ начала до конца, что многое измѣнялось вокругъ него, но что онъ самъ не измѣнялся.

Какъ же объяснить это на первый взглядъ совершенно непонятное явленіе,—какъ объяснить себѣ, что казавшееся неизмѣннымъ измѣнялось, а неизмѣнное казалось измѣнчивымъ? Не происходилъ ли тутъ обманъ зрѣнія, напоминающій извѣстное явленіе, когда при встрѣчѣ двухъ поѣздовъ пассажирамъ движущагося поѣзда кажется, что движется другой поѣздъ, на самомъ дѣлѣ стоящій неподвижно. На первый разъ мы оставляемъ этотъ вопросъ неразрѣшеннымъ, потому что убѣдительный отвѣтъ на него можетъ получиться лишь послѣ того, какъ мы вдумаемся въ жизнь Лѣскова и въ его дѣятельность. Онѣ, какъ мы увидимъ, представляютъ нѣчто цѣльное, однолитное и ко-

ренятся не въ тѣхъ или другихъ вѣяніяхъ или настроеніяхъ нашего общества, а въ русской дѣйствительности, въ тѣхъ условіяхъ нашей общественной и обще-народной жизни, которыя Лѣсковъ изучилъ очень глубоко даже по признанію лицъ, укоряющихъ его въ измѣнчивости настроенія, взглядовъ и убѣжденій.

Лѣсковъ началъ писать, въ отличіе отъ многихъ другихъ литераторовъ, сравнительно поздно: ему было уже почти тридцать лѣтъ, когда появилась первая его статья въ печати. Но и это конечно не имѣло бы большого значенія, если бы Лѣсковъ прошелъ обыкновенный искусъ образованнаго человѣка, т.-е. кончилъ бы курсъ сперва въ гимназіи, а потомъ въ университетѣ. Его жизнь сложилась бы тогда такъ, какъ слагается жизнь громаднаго большинства интеллигентныхъ людей: примѣрно до 24 лѣтъ онъ посвятилъ бы себя книжнымъ занятіямъ въ четырехъ стѣнахъ городской квартиры, а затѣмъ вступилъ бы уже въ жизнь, если не былъ бы обреченъ на канцелярскую работу въ какомъ-нибудь присутственномъ мѣстѣ. Но жизнь Лѣскова сложилась совершенно иначе: свои впечатлѣнія онъ черпалъ гораздо меньше изъ книгъ, чѣмъ изъ живой дѣйствительности, съ которой онъ сталкивался въ самыхъ разнообразныхъ сферахъ и непосредственная связь съ которой у него не прерывалась до того времени, какъ онъ окончательно посвятилъ себя писательству. Только шесть лѣтъ своей молодости онъ провелъ въ стѣнахъ гимназіи: съ 10 до 16 лѣтъ, да и то пребываніе въ гимназіи постоянно прерывалось поѣздками на каникулы и рождественскія вакаціи въ деревню, съ которой онъ поддерживалъ постоянную связь. Родился онъ въ деревнѣ (4-го февраля 1831 г. въ селѣ Гороховѣ, орловской губерніи), затѣмъ провелъ нѣсколько лѣтъ въ Орлѣ, чтобы опять на нѣсколько лѣтъ переселиться въ деревню. Тутъ слѣдовало пребываніе въ гимназіи въ томъ же Орлѣ, смѣнившееся службою въ орловской уголовной палатѣ. Но уже 18 лѣтъ отъ роду онъ переселяется въ Кіевъ, поступаетъ на службу въ тамошнюю казенную палату, имѣетъ общеніе со студентами, пользуется руководительствомъ нѣкоторыхъ изъ кіевскихъ профессоровъ, въ то же время

Печ со стали Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигѣ



Leskov, N. S.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

R9

891.73
L711
ed.3a
v.1-4

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

Николай Семеновичъ Лѣсковъ.

Чтобы оцѣнить писателя по достоинству, надо прежде всего его понять. Это элементарное правило здравой критики соблюдается очень рѣдко. Обыкновенно критикъ, придерживаясь извѣстныхъ воззрѣній и подвергая даннаго писателя оцѣнкѣ, только удостовѣряется, подходитъ ли этотъ писатель подъ его воззрѣнія, и если подходитъ, то одобряетъ его, если не подходитъ — высказываетъ ему порицаніе. Такимъ образомъ господствующій методъ критики мало выясняетъ духовную физіономію писателя: писатель остается въ тѣни, а на первый планъ выступаетъ личность критика.

Николай Семеновичъ Лѣсковъ принадлежитъ къ числу первоклассныхъ нашихъ писателей. Если мы назовемъ Гончарова, Тургенева, Островскаго, Достоевскаго, Писемскаго, Салтыкова, Л. Толстого, то Лѣсковъ присоединяется къ этой блестящей плеядѣ, какъ талантъ не во всемъ имъ равный, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ имъ не уступающій и превосходящій ихъ въ другихъ. Но, какъ всѣ эти выдающіеся представители нашей литературы, и Лѣсковъ имѣетъ свою собственную, рѣзко обозначенную физіономію. Онъ сказалъ свое самостоятельное слово. Вся образованная Россія это сознаетъ. Одинъ изъ нашихъ наиболѣе добросовѣстныхъ литературныхъ критиковъ, г. Венгеровъ, слѣдующимъ образомъ характеризуетъ Лѣскова: «Подходя нѣкоторыми сторонами своего таланта къ Островскому, Писемскому и Достоевскому, онъ ни одному изъ этихъ великихъ мастеровъ русскаго слова не уступаетъ по чисто-художественнымъ силамъ... Ни у одного русскаго писателя нѣтъ та-

кого неисчерпаемаго богатства фабулы... Въ тѣсной связи съ богатствомъ фабулы находится сконцентрированность беллетристической манеры Лѣскова... Наконецъ, не много знаетъ Лѣсковъ соперниковъ въ русской литературѣ по колоритности и оригинальности своего языка». Но тотъ же критикъ прибавляетъ, что «критика мало имъ занималась, и только успѣхъ въ публикѣ полнаго собранія его сочиненій скрасилъ это несоотвѣтствовавшее размѣрамъ его художественнаго дарованія положеніе».

Въ послѣднихъ словахъ есть преувеличеніе. О Лѣсковѣ очень много писали, имъ очень много занимались, быть-можетъ, въ общемъ не менѣе, чѣмъ нѣкоторыми другими первоклассными писателями, напр. Гончаровымъ. Были моменты, когда вся Россія говорила о Лѣсковѣ, и никогда читавшая публика о немъ не забывала. Но слова названнаго критика вѣрны въ томъ отношеніи, что духовный обликъ Лѣскова, своеобразность котораго всѣ чувствуютъ, не отмѣченъ и не разъясненъ еще никѣмъ. Вся Россія читаетъ Лѣскова, наслаждается его произведеніями, знакомится по нимъ со многими сторонами русской дѣйствительности, изображенными покойнымъ писателемъ съ неподражаемымъ мастерствомъ, находитъ себѣ въ нихъ нерѣдко утѣшеніе, черпаетъ въ нихъ бодрость,—а русская литературная критика до сихъ поръ не дала ни біографіи, ни сколько-нибудь обстоятельной оцѣнки этого столь заслуженнаго писателя. Правда, Лѣсковъ отчасти раздѣляетъ въ этомъ отношеніи участь другихъ выдающихся представителей русскаго слова. Но врядъ ли кому-либо изъ нихъ посчастливилось менѣе Лѣскова. И Тургеневъ, и Островскій, и Салтыковъ только еще ожидаютъ своего безпристрастнаго критика, но каждому изъ этихъ писателей посвящены обстоятельныя изслѣдованія, въ которыхъ сдѣлана, по крайней мѣрѣ, попытка установить ихъ умственный обликъ. Лѣскову же, кромѣ журнальной полемики *), бѣглыхъ рецензій,

*) Наиболѣе обширныя статьи этого рода принадлежатъ гг. Протопопову и Скабичевскому («Больной талантъ» и «Чѣмъ отличается направленіе въ искусствѣ отъ партійности», — «Русская Мысль» и «Сѣверный Вѣстникъ» 1891 г.).

воспоминаній *), посвящена только одна болѣе серьезная критическая статья, принадлежащая г. Венгерову, да и то это — статья энциклопедическаго словаря (Брокгауза и Ефрона), слѣдовательно удовлетворяющая по своей цѣли и размѣрамъ только требованіямъ, которыя вообще предъявляются статьямъ подобнаго рода.

Спрашивается, почему столь выдающагося писателя, какъ Лѣсковъ, постигла такая участь? Ключъ къ разгадкѣ этого вопроса заключается въ первыхъ строкахъ нашей характеристики. Русская литературная критика до сихъ поръ не задавалась цѣлью *понять* нашего автора: къ нему прикладывали лишь мѣрку собственныхъ воззрѣній и симпатій тѣ или другіе критики, и такъ какъ Лѣсковъ по причинамъ, которыя мы впослѣдствіи разъяснимъ, подъ эту мѣрку не подходилъ, то оцѣнка его не могла быть ни справедливою, ни убѣдительною. Надъ Лѣсковымъ до сихъ поръ произносила судъ не русская литературная критика, а та или другая партія. Попытаемся же установить его умственный обликъ, руководствуясь не голосомъ представителей разныхъ партій, а анализомъ его произведеній. Осмыслить наслажденіе, которое Лѣсковъ доставляетъ читателю, выяснить, за что онъ боролся и страдалъ, указать на ту высокую цѣль, къ которой онъ стремился всѣми силами своего блестящаго дарованія, отмѣтить, почему онъ на ряду съ другими выдающимися нашими писателями вызывалъ и много злобы, и много любви, словомъ, понять его, вотъ — задача немногихъ, къ сожалѣнію, строкъ, которыя мы можемъ посвятить ему въ этой вступительной статьѣ къ его произведеніямъ.

I.

«Чтобы понять писателя (поэта), надо побывать въ его странѣ». Это извѣстное и во многихъ отношеніяхъ глубокое изреченіе можетъ быть понято и въ томъ смыслѣ, что надо изучить всю обстановку, въ которой родился, воспитывался и провелъ свою молодость писатель, чтобы должнымъ образомъ его оцѣ-

*) «Памяти Н. С. Лѣскова» и «Помника Н. С. Лѣскова» г. Фаресова («Историческій Вѣстникъ» 1895 г. и «Книжки Недѣли» 1896 г.).

пить. По крайней мѣрѣ по отношенію къ Лѣскову это безусловно вѣрно. Если мы будемъ его оцѣнивать съ точки зрѣнія разныхъ взглядовъ, стремленій и вѣяній, господствовавшихъ въ нашемъ обществѣ въ періодъ 35-лѣтней литературной дѣятельности Лѣскова, то мы его врядъ ли поймемъ, т.-е. уяснимъ себѣ осуществленную имъ крупную литературную задачу. Съ точки зрѣнія этихъ вѣяній онъ постоянно былъ, что называется, не ко двору: ни одна изъ нашихъ партій не признавала его своимъ человѣкомъ, и если онъ повидимому примыкалъ то къ одной, то къ другой, то очень скоро происходилъ разрывъ. Примкнувъ въ началѣ своей литературной дѣятельности къ либеральной партіи, онъ вскорѣ разошелся съ нею и снова какъ бы примкнулъ къ ней подъ конецъ своей жизни. Одно время могло казаться, что онъ прочно присоединился къ консервативной партіи, но и консерваторы вскорѣ отшатнулись отъ него. Если теперь предположить, что воззрѣнія либеральной и консервативной партіи составляютъ нѣчто болѣе или менѣе неизмѣнное, то логически получается тотъ выводъ, что самъ Лѣсковъ сильно колебался въ своихъ воззрѣніяхъ. Такимъ и изображаетъ его ходячая литературная критика. Но если изучить добросовѣстно его произведенія, то мы придемъ къ совершенно другому выводу: мы убѣдимся, что воззрѣнія Лѣскова въ общемъ необычайно устойчивы, что онъ остался самимъ собою съ начала до конца, что многое измѣнялось вокругъ него, но что онъ самъ не измѣнялся.

Какъ же объяснить это на первый взглядъ совершенно непонятное явленіе,—какъ объяснить себѣ, что казавшееся неизмѣннымъ измѣнялось, а неизмѣнное казалось измѣнчивымъ? Не происходилъ ли тутъ обманъ зрѣнія, напоминающій извѣстное явленіе, когда при встрѣчѣ двухъ поѣздовъ пассажирамъ движущагося поѣзда кажется, что движется другой поѣздъ, на самомъ дѣлѣ стоящій неподвижно. На первый разъ мы оставляемъ этотъ вопросъ неразрѣшеннымъ, потому что убѣдительный отвѣтъ на него можетъ получиться лишь послѣ того, какъ мы вдумаемся въ жизнь Лѣскова и въ его дѣятельность. Онѣ, какъ мы увидимъ, представляютъ нѣчто цѣльное, однолитное и ко-

ренятся не въ тѣхъ или другихъ вѣяніяхъ или настроеніяхъ нашего общества, а въ русской дѣйствительности, въ тѣхъ условіяхъ нашей общественной и обще-народной жизни, которыя Лѣсковъ изучилъ очень глубоко даже по признанію лицъ, укоряющихъ его въ измѣнчивости настроенія, взглядовъ и убѣжденій.

Лѣсковъ началъ писать, въ отличіе отъ многихъ другихъ литераторовъ, сравнительно поздно: ему было уже почти тридцать лѣтъ, когда появилась первая его статья въ печати. Но и это конечно не имѣло бы большого значенія, если бы Лѣсковъ прошелъ обыкновенный искусъ образованнаго человѣка, т.-е. кончилъ бы курсъ сперва въ гимназіи, а потомъ въ университетѣ. Его жизнь сложилась бы тогда такъ, какъ слагается жизнь громаднаго большинства интеллигентныхъ людей: примѣрно до 24 лѣтъ онъ посвятилъ бы себя книжнымъ занятіямъ въ четырехъ стѣнахъ городской квартиры, а затѣмъ вступилъ бы уже въ жизнь, если не былъ бы обреченъ на канцелярскую работу въ какомъ-нибудь присутственномъ мѣстѣ. Но жизнь Лѣскова сложилась совершенно иначе: свои впечатлѣнія онъ черпалъ гораздо меньше изъ книгъ, чѣмъ изъ живой дѣйствительности, съ которой онъ сталкивался въ самыхъ разнообразныхъ сферахъ и непосредственная связь съ которой у него не прерывалась до того времени, какъ онъ окончательно посвятилъ себя писательству. Только шесть лѣтъ своей молодости онъ провелъ въ стѣнахъ гимназіи: съ 10 до 16 лѣтъ, да и то пребываніе въ гимназіи постоянно прерывалось поѣздками на каникулы и рождественскія вакаціи въ деревню, съ которой онъ поддерживалъ постоянную связь. Родился онъ въ деревнѣ (4-го февраля 1831 г. въ селѣ Гороховѣ, орловской губерніи), затѣмъ провелъ нѣсколько лѣтъ въ Орлѣ, чтобы опять на нѣсколько лѣтъ переселиться въ деревню. Тутъ слѣдовало пребываніе въ гимназіи въ томъ же Орлѣ, смѣнившееся службою въ орловской уголовной палатѣ. Но уже 18 лѣтъ отъ роду онъ переселяется въ Кіевъ, поступаетъ на службу въ тамошнюю казенную палату, имѣетъ общеніе со студентами, пользуется руководительствомъ нѣкоторыхъ изъ кіевскихъ профессоровъ, въ то же время

разъѣзжаетъ по уѣздамъ, знакомится съ народнымъ бытомъ, затѣмъ посвящаетъ себя коммерческой службѣ и въ качествѣ агента англичанина Шкота странствуетъ по Россіи въ теченіе пяти-шести лѣтъ. За все это время онъ постоянно сталкивается съ людьми самыхъ разнообразныхъ профессій, видитъ другіе края, прислушивается къ тому, что занимаетъ, волнуетъ, озабочиваетъ людей въ самомъ различномъ положеніи. За границей Лѣсковъ побывалъ три раза, посѣтилъ Германію, Францію, бывалъ въ славянскихъ странахъ. Словомъ, Лѣскова по всей справедливости можно назвать человѣкомъ бывалымъ, видѣвшимъ и слышавшимъ очень много на своемъ вѣку и притомъ не изъ вторыхъ рукъ, а непосредственно въ самой жизни. Если же прибавить къ этому его необычайную наблюдательность, его даръ быстро схватить и осмыслить видѣнное и слышанное, на долгіе годы сохранять въ памяти свои впечатлѣнія, то мы поймемъ, какъ должна была отразиться на его писательской дѣятельности практическая школа, которую онъ прошелъ уже въ дни молодости. Лѣскова, быть-можетъ, менѣе всякаго другого изъ нашихъ писателей можно назвать книжнымъ человѣкомъ: онъ вскормленъ не книгами, а самою жизнью, что вовсе, однако, не значитъ, чтобы книжная мудрость ему была чужда; онъ сторицею восполнилъ впослѣдствіи недочеты полученнаго имъ, такъ сказать, офиціальнаго образованія, да и въ молодости, какъ мы сейчасъ увидимъ, читалъ не мало. Но главнымъ руководителемъ его была все-таки не книга, а жизнь... Быть-можетъ, это — одна изъ причинъ неспособности многихъ критиковъ оцѣнить его по достоинству.

Но присмотримся ближе къ тому, какъ вліяла жизнь на молодого Лѣскова. Тутъ мы должны взять сперва отдѣльныхъ лицъ, а потомъ и общія условія. Прежде всего конечно вниманіе наше останавливается на родителяхъ Лѣскова, на его отцѣ и матери. По происхожденію своему нашъ знаменитый писатель офиціально признается дворяниномъ: на самомъ дѣлѣ въ его жилахъ течетъ смѣшанная кровь. Его дѣдъ — священникъ, его бабушка — изъ купеческаго сословія; его отецъ — личный дворянинъ, чиновникъ, его мать — потомственная дворянка. Такимъ образомъ соедини-

лись четыре сословія, чтобы дать намъ Лѣскова. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ съ ранняго дѣтства постоянно находился подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ четырехъ сословій, а въ лицѣ дворовыхъ людей и нянекъ еще подъ сильнымъ вліяніемъ пятаго, крестьянскаго сословія: его няня была московская солдатка, нянькою его брата, разсказами которой онъ заслушивался, — крѣпостная. Намъ кажется, что трудно представить себѣ болѣе значительнаго разнообразія въ воздѣйствіи представителей разныхъ нашихъ сословій на жизнь ребенка, тѣмъ болѣе, что, какъ мы увидимъ, на него вліяли и представители другихъ національностей, въ томъ числѣ особенно сильно нѣмецъ и англичанка.

Но остановимся сперва на отцѣ и матери. Какъ видно изъ личныхъ воспоминаній самого Лѣскова, щедрою рукою разбросанныхъ въ его произведеніяхъ, онъ былъ любящимъ сыномъ, но ни отецъ, ни мать не были тѣми личностями, которыя оказали наиболѣе сильное воздѣйствіе на его міросозерцаніе. Отца онъ лишился рано. Лѣсковъ изображаетъ его человѣкомъ благомыслящимъ, довольно гуманно относившимся къ своимъ крестьянамъ и до нѣкоторой степени пристрастнымъ къ литературѣ. Такимъ образомъ книгъ въ родительскомъ домѣ было не мало. Но по всему видно, что отецъ Лѣскова въ умственномъ отношеніи былъ натурою болѣе воспріимчивою, чѣмъ дѣятельною: онъ исправно служилъ, старался увеличить достатокъ своей семьи, даже пріобрѣлъ имѣньице, въ которомъ сынъ провелъ нѣсколько лѣтъ, но вскорѣ все это пошло прахомъ. Самъ отецъ умеръ отъ холеры, оставшееся въ Орлѣ имущество сгорѣло во время извѣстныхъ орловскихъ пожаровъ, и молодому Лѣскову пришлось уже въ ранней молодости испытать тяжелую нужду. Что касается до матери, то сынъ изображаетъ ее женщиною ничѣмъ особеннымъ не выдававшеюся, жившею по установившимся въ ея быту традиціямъ, болѣе склонною къ старинѣ, чѣмъ ко всякаго рода новшествамъ. Значитъ, не съ этой стороны намъ надо искать наиболѣе рѣшительныхъ факторовъ, вліявшихъ на Лѣскова въ дѣтствѣ. Въ его воспоминаніяхъ гораздо рельефнѣе выступаютъ другія личности: няньки, дворовые люди, учителя, священники, родственники.

Чтобы охарактеризовать вліяніе, которое имѣли эти различныя лица на Лѣскова, достаточно вспомнить самыя типичныя фигуры. Возьмемъ, напримѣръ, няньку Любовь Онисимовну, бывшую крѣпостную и актрису графа Каменскаго, которая влюбилась въ крѣпостного же гриммировщика Аркадія, бѣжала съ нимъ, была настигнута людьми графа, затѣмъ чуть было не кончила жизнь самоубійствомъ, подвергнутая лыткѣ слушать, какъ подъ поломъ ея комнаты истязали любимаго человѣка, и вынужденная принять ласки своего грознаго властителя, и наконецъ была для дальнѣйшихъ мукъ сдана на скотный дворъ. Такіе разсказы слушалъ Лѣсковъ, когда былъ ребенкомъ. Разсказывала эта нянька и о томъ, какъ палачу передъ дѣломъ давали выпивать три стакана рому, какъ онъ билъ сто разъ кнутомъ свою жертву «для одного мученія», но сто первый разъ «такъ щелканетъ, что всю позвонцовую кость растрещитъ», а затѣмъ все еще покрикиваетъ: «давай еще кого бить, — всѣхъ орловскихъ убью!» («Тупейный художникъ»). А вотъ дворовая баба Аграфена, вышедшая замужъ за крѣпостного, но, хотя и свободная сама, оставшаяся при своихъ крѣпостныхъ дѣтяхъ, гордая, суровая, честная, никогда не жаловавшаяся на свою судьбу. Не спасла она, однако, свою больную дочку Васенку. Опасаясь, что во время ея отсутствія дочку ея могутъ заподозрѣть въ томъ, что она таскаетъ господскій хлѣбъ (дѣло происходило во время голода), Аграфена послала ее въ общую людскую избу, а Васенка побоялась туда идти, потому что тамъ, въ сѣняхъ, была бѣлая телка, забилась на чердакъ и тамъ окоченѣла. Глубоко трогательны тѣ страницы, на которыхъ Лѣсковъ описываетъ чувство жалости къ Васенкѣ и какъ онъ, видя горе Аграфены, бросился весь въ слезахъ къ ней на шею. А между тѣмъ въ горѣ Аграфены была повинна сама мать Лѣскова, потому что упрекнула ее въ томъ, что она дастъ дочери господское добро. Но всѣ симпатіи Лѣскова были на сторонѣ несчастной дворовой бабы («Юдоль»). Возьмемъ еще дворовaго человѣка Храпошку, который на потѣху дяди Лѣскова долженъ былъ затравить любимаго ручного медвѣдя. Медвѣдь, однако, спасся, и Храпошку ожидало страшное наказаніе.

Случилось это въ рождественскій сочельникъ. Вся семья собралась передъ елкою и ждала рѣшенія главы семейства. Былъ тутъ и священникъ, о. Алексѣй. Старикъ пригласилъ всѣхъ молиться рожденному Христу, говорилъ о любви, о прощеньи, о долгѣ каждаго утѣшить друга и недруга во имя Христово. Всѣ понимали, къ чему клонится его слово, всѣ слушали его съ особеннымъ чувствомъ, какъ бы молясь, чтобы это слово достигло цѣли. Оно тронуло и грознаго дядю. Произошло нѣчто удивительное: онъ проронилъ слезу. Позванъ былъ Храпошка, и дядя далъ ему вольную со словами: «Ты любилъ звѣря, какъ не всякій умѣетъ любить человѣка». Храпошка, однако, остался при дядѣ, и тотъ его въ шутку постоянно называлъ «укротителемъ звѣря» («Звѣрь»). Тутъ мы въ то же время видимъ, какое вліяніе имѣлъ на Лѣскова пастырь церкви. «Я былъ очень счастливъ, — говоритъ онъ въ другомъ разсказѣ: — въ томъ отношеніи, что первые уроки религіи мнѣ даны были превосходнымъ христіаниномъ. Это былъ орловскій священникъ Остромысленій, — хорошій другъ моего отца и другъ всѣхъ насъ, дѣтей, которыхъ онъ умѣлъ научить любить правду и милосердіе».

Однако въ этомъ же разсказѣ («Пугало») онъ упоминаетъ о томъ, что интеллигентное руковожденіе дѣтьми было ввѣрено дьяконскому сыну, исключенному изъ семинаріи ритору, который «состоялъ при моей особѣ на линіи наставника». Надъ этимъ наставникомъ Лѣсковъ добродушно подсмѣивается и очень далекъ отъ того, чтобы перенести на него чувства уваженія, которыя онъ питалъ къ нѣкоторымъ другимъ лицамъ духовнаго званія. Между своими наставниками онъ вообще дѣлалъ большое различіе: тѣхъ, кто умѣлъ на него повліять въ хорошемъ направленіи, онъ не забылъ до заката своихъ дней. Тутъ умѣстно будетъ вспомнить о типической фигурѣ длиннаго и тощаго нѣмца, носившаго прозваніе «Козы». Очень недолго оставался этотъ наставникъ въ домѣ; но о немъ Лѣсковъ никогда въ жизни не забывалъ. Въ гости пріѣхала губернаторша. Ея сынъ оборвалъ въ саду какую-то рѣдкостную сливу. Исчезновеніе сливы было замѣчено, и за это жестоко выпороли ни въ

чемъ неповинnаго сына садовника. Самъ виновный промолчалъ; промолчали и остальныя дѣти, но, ложась спать, Лѣсковъ не стерпѣлъ и сказалъ Козѣ, что сына садовника наказали напрасно. На другой день оказалось, что учителя уволили: онъ явился къ господамъ и наговорилъ губернаторшѣ много непріятныхъ вещей. Въ домѣ дѣти не рѣшились съ нимъ проститься, но подкараулили его въ нѣкоторомъ отдаленіи, и тутъ между учителемъ и воспитанниками произошелъ характерный разговоръ, кончившійся предсказаніемъ, что они еще увидятся. «Гдѣ же, гдѣ?» — кричали дѣти вслѣдъ учителю, а онъ отвѣчалъ: «Все равно... Иногда увидимся... и опять... не увидимся»... «И еще что-то такое, а самъ все дальше и дальше отъ глазъ и скрылся, и съ тѣхъ поръ ушло очень много лѣтъ и Козы долго, очень долго не было предо мною, но потомъ онъ вдругъ совершенно неожиданно явился разъ и два и сталъ такъ близко, какъ будто онъ и не отходилъ, и затѣмъ опять исчезнетъ и опять откуда-то возьмется:—у всѣхъ напоенныхъ однимъ духомъ должно быть одно разумѣніе жизни».

Мы видимъ, какъ близко соприкасается вліяніе, оказанное на Лѣскова отцомъ Алексѣемъ и этимъ учителемъ-нѣмцемъ. Но возьмемъ еще одну личность, имѣвшую сильное вліяніе на нашего писателя. Мы говоримъ объ его теткѣ Пелагеѣ Дмитріевнѣ или, какъ ее въ семьѣ называли, тетѣ Полли. Въ 1840 году, когда нашему писателю было девять лѣтъ, разразился въ орловской губерніи страшный голодъ и вслѣдъ затѣмъ между крестьянскимъ людомъ стала свирѣпствовать очень опасная эпидемическая болѣзнь. Родители Лѣскова не знали, что и дѣлать. Врачебной помощи тогда, понятно, не было, и крестьяне умирали совершенно безпомощно. Въ эту критическую минуту отецъ послалъ за тетею Полли, и она тотчасъ же пріѣхала съ своимъ неразлучнымъ другомъ, квакершею англичанкою Гильдегардою. Вмигъ картина перемѣнилась. Больные были отдѣлены отъ здоровыхъ, устроенъ былъ временной лазаретъ, оказана была возможная медицинская помощь, и все это почти безъ всякихъ затратъ, дѣловито, умно, практично. Вечеромъ послѣ дневной работы, тетя Полли вмѣстѣ съ своимъ другомъ квакершею молились,

пѣли духовныя пѣсни, а въ это время девятилѣтній Лѣсковъ, уткнувшись лицомъ въ спинку мягкаго кресла, плакалъ впервые слезами невѣдомаго ему до той поры счастья. Ему казалось, что тихій свѣтъ озаряетъ его сердце, и что въ то же время всѣ въ комнатѣ, и голодные мужики, и вся земля несутся куда-то навстрѣчу мірамъ. «О, если бы за всѣ скорби жизни земной еще разъ получить такую минуту при уходѣ изъ тѣла. Этотъ вечеръ, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снѣгомъ житейской зимы, кажется, имѣлъ для меня значеніе на всю мою жизнь» («Юдоль»). Въ этой тетѣ Полли совмѣщаются двѣ черты: подъ вліяніемъ квакерши она преисполнилась глубокаго религіознаго чувства и въ то же время научилась приходить на помощь ближнему. Душа ребенка, подготовленная видомъ страданій дворовыхъ людей и крѣпостныхъ вообще, жаждала придти имъ на помощь; но онъ не зналъ, какъ приняться за это дѣло, и первое указаніе дано было тетею Полли. Тѣ же двѣ черты дѣятельной любви къ ближнему и глубокаго религіознаго чувства въ высокой степени совмѣщались въ бабушкѣ Лѣскова, происходившей изъ московскаго купеческаго рода и взятой въ замужество въ дворянскій родъ «не за богатство, а за красоту». Но лучшія ея свойства были «душевная красота и свѣтлый разумъ, въ которомъ всегда сохранялся простонародный складъ». До конца жизни она говорила: «эхтотъ» вмѣсто «этотъ», считала слово «мораль» оскорбительнымъ и никакъ не могла выговорить: «бухгалтеръ», но гдѣ только она узнавала о людской бѣдѣ, она приходила ей на помощь просто, съ тѣмъ здравымъ смысломъ, который характеризуетъ нашъ народъ. Ей было рѣшительно все равно, кто нуждался въ помощи или добромъ совѣтѣ: достаточно ей было узнать о несчастьи, какъ бабушка Александра Васильевна спѣшила къ нему на помощь. Несчастнѣе всего, однако, былъ народъ, и поэтому она чаще всего заботилась о немъ. Съ этою бабушкою Лѣсковъ часто странствовалъ по лѣснымъ монастырямъ, по такъ называемымъ пустынямъ, и эти странствованія повторялись въ теченіе четырехъ лѣтъ, до самаго поступленія Лѣскова въ губернскую гимназію. Онъ тогда уже началъ знакомиться съ монастырскою

жизнью («Овцебыкъ»). Но религіозное его чувство, благодаря вліянію какъ этой бабушки, такъ и тети Полли, не имѣло въ себѣ ничего мистическаго, а носило характеръ дѣятельной, практичной, осмысленной любви къ ближнему.

О гимназическихъ учителяхъ и наставникахъ Лѣсковъ почти ничего не упоминаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ вообще самая гимназія на него не оказала сколько-нибудь значительнаго вліянія. Говоря о своемъ пребываніи въ гимназіи, Лѣсковъ любилъ вспоминать, что онъ тогда перечиталъ много книгъ, особенно бѣллетристическаго содержанія. Онъ часто посѣщалъ домъ г-жи Зиновьевой, племянницы извѣстнаго нашего писателя князя Масальскаго, автора многихъ историческихъ романовъ и разсказовъ и, кажется, перваго у насъ переводчика безсмертнаго Донъ-Кихота. У этой г-жи Зиновьевой была богатая библіотека, и Лѣсковъ до 15-лѣтняго возраста перечиталъ ее всю.

Гораздо болѣе значительное вліяніе имѣли на него нѣкоторые кіевскіе профессора, подъ руководствомъ которыхъ онъ занимался, состоя чиновникомъ тамошней казенной палаты. Изъ этихъ профессоровъ онъ особенно любилъ вспоминать о Журавскомъ, авторѣ нѣсколькихъ статистическихъ изслѣдованій и горячемъ приверженцѣ освобожденія крестьянъ, составившемъ записку «о крѣпостныхъ людяхъ и о средствахъ устроить ихъ положеніе на лучшихъ началахъ» и пытавшемся приложить свои освободительныя идеи въ имѣніяхъ графовъ Перовскихъ. За память этого любимаго профессора Лѣсковъ неоднократно заступался впослѣдствіи («Смѣхъ и горе»). Общеніе съ нимъ было ему особенно дорого не только потому, что тотъ постоянно мечталъ объ улучшеніи участи крестьянъ, къ страданіямъ которыхъ Лѣсковъ такъ близко присмотрѣлся въ дни своего дѣтства, но и потому еще, что Журавскій по образу мыслей близко подошелъ къ идеаламъ, носившимся уже тогда въ головѣ Лѣскова. Журавскій не особенно жаловалъ людей «слишкомъ возвышенныхъ», т. е. такихъ, которые, «имѣя высокій идеалъ, ничего не уступаютъ условіямъ времени и необходимости» («Захудалый родъ»). Онъ думалъ, что надо считаться съ условіями, не задаваться слишкомъ широкими планами, чтобы не компрометировать дѣла, которому служишь.

Большой идеалистъ по существу, Журавскій старался быть практикомъ, и это его настроеніе повидимому особенно пришлось по душѣ Лѣскову.

Такое же вліяніе имѣлъ на него и второй мужъ жены дяди Лѣскова, пріютившаго его у себя въ Кіевѣ, англичанинъ Шкотъ, управлявшій имѣніями графовъ Перовскихъ и Нарышкиныхъ. Со Шкотомъ и его сыновьями Лѣсковъ поддерживалъ дѣятельныя сношенія въ 50-хъ годахъ до своего переселенія въ Петербургъ. У старика Шкота онъ даже состоялъ на службѣ. Шкоты, какъ англичане, были люди религіозные и въ то же время практики. Видя невѣжество и безпомощность нашего народа, они всячески стремились просвѣтить его въ практическомъ отношеніи, пріучить его къ болѣе совершеннымъ способамъ хозяйничанья, внушить ему культурныя привычки. Все это соотвѣтствовало настроенію Лѣскова, а порученія, которыя ему давали Шкоты, приходились ему по душѣ и удовлетворяли его стремленію придти самому на помощь народу. Кромѣ того, они удовлетворяли его любознательности, его страсти къ новымъ наблюденіямъ, а здравое отношеніе къ жизни на почвѣ дѣятельной любви къ ближнему, составлявшей основу міросозерцанія семьи Шкотовъ, гармонировало такъ полно съ настроеніемъ бабушки Александры Васильевны, тети Полли и неразлучной съ нею квакерши Гильдегарды!

II.

Въ предыдущемъ мы старались вкратцѣ охарактеризовать тѣхъ лицъ, которыя имѣли наиболѣе сильное вліяніе на Лѣскова въ дѣтствѣ и молодости. Теперь мы должны коснуться общихъ условій, вліявшихъ на него въ этотъ періодъ его жизни. Лѣсковъ родился, какъ мы видѣли, въ деревнѣ, затѣмъ прожилъ нѣсколько лѣтъ въ губернскомъ городѣ, опять провелъ нѣкоторое время въ деревнѣ, потомъ учился, служилъ, терпѣлъ нужду въ томъ же городѣ, переселился въ Кіевъ, гдѣ имѣлъ близкое прикосновеніе къ университетской жизни, затѣмъ сталъ разъѣзжать въ качествѣ должностного лица по кіевской губерніи, странствовалъ по значительной части Россіи въ качествѣ агента Шкота и уже въ возрастѣ полной возмужалости, послѣ многихъ житейскихъ не-

взгодъ и съ громаднымъ запасомъ жизненныхъ наблюденій явился въ качествѣ писателя въ Петербургъ и окунулся въ водоворотъ бурной тогдашней жизни, во время разгара освободительныхъ реформъ незабвеннаго царствованія Александра II.

Дѣтство Лѣскова совпало съ тридцатыми годами, отрочество—съ сороковыми, молодость—съ пятидесятыми. Онъ родился въ вѣкъ, названный великимъ нашимъ поэтомъ «желѣзнымъ», и дѣтскія его воспоминанія наполнены печальными картинами этого вѣка. Присмотрѣлся онъ къ нему не въ столицахъ, а «во глубинѣ Россіи»: онъ видѣлъ печальную картину жизни крѣпостного люда, слышалъ его разсказы въ деревнѣ, а въ городѣ смотрѣлъ какъ на большомъ выгонѣ, на которомъ стояли казенные магазины, учили солдатъ, и какъ ихъ били,—«смотрѣлъ ежедневно, но никакъ не могъ къ этому привыкнуть и всегда плакалъ» («Пугало»). Если бы онъ жилъ не «во глубинѣ Россіи», а въ столицѣ, онъ можетъ быть вынесъ бы впечатлѣніе, что ничего другого въ Россіи не увидишь и что только въ столицахъ есть сердобольные люди, которые печалятся о народѣ. Но живя «во глубинѣ Россіи» и обладая рѣдкою наблюдательностью, онъ видѣлъ на ряду съ этими печальными картинами и многое другое,—на первый разъ людей, которые тутъ же на мѣстѣ сокрушались объ обездоленныхъ и старались придти имъ на помощь по мѣрѣ силъ и возможности. Уже ребенкомъ онъ вникъ въ народную душу и открылъ въ ней много свѣтлыхъ, но и много темныхъ сторонъ. Достаточно напомнить о потрясающей картинѣ народнаго голода въ 40-хъ годахъ, нарисованной Лѣсковымъ въ его «Юдоли» по дѣтскимъ воспоминаніямъ, чтобы понять, какъ уже въ душѣ ребенка сложилось смутное сознаніе, что народъ безпомощенъ не только вслѣдствіе юридическаго и экономическаго своего положенія, но и вслѣдствіе невѣжества, мрака, всякаго рода предразсудковъ и суевѣрій, которыми онъ опутанъ. И въ этотъ мракъ погруженъ не одинъ народъ, но отчасти и интеллигенція, тѣ, кому довѣрена его судьба. Онъ въ дѣтствѣ видѣлъ на живыхъ примѣрахъ, что народу можно придти на помощь даже въ тогдашнемъ его положеніи, если воодушевиться любовью къ ближнему, отрѣшиться отъ господствовав-

шихъ предразсудковъ и практически приняться за дѣло. Бабушка Александра Васильевна, тетя Полли, квакерша Гильдегарда служили ему въ томъ порукой, и впечатлѣнія, которыя онъ тогда вынесъ въ этомъ отношеніи, воплотились впослѣдствіи въ характерномъ и мощномъ типѣ княгини Протозановой («Захудалый родъ»). Въ самомъ народѣ и въ другихъ сословіяхъ, дворянствѣ, духовенствѣ и чиновничествѣ онъ наталкивался уже въ дѣтствѣ на хорошихъ и дурныхъ людей, научился отличать въ одномъ и томъ же человѣкѣ хорошія и дурныя стремленія, видѣлъ, что люди въ очень скромномъ положеніи могутъ сдѣлать массу добра и принести много пользы и что даже самая обширная власть не даетъ благихъ результатовъ, если она находится въ рукахъ неумѣлыхъ или не склонныхъ творить добрыя дѣла. Всѣ дѣтскія впечатлѣнія Лѣскова наталкивали его на мысль, что жизнь прежде всего нуждается въ добрыхъ людяхъ, въ людяхъ готовыхъ придти на помощь ближнему и умѣющихъ это сдѣлать. Эта готовность и это умѣнье, повидимому, уже тогда составляли идеалы Лѣскова, потому что, когда онъ впослѣдствіи возвращался къ дѣтскимъ своимъ воспоминаніямъ, онъ съ особенною любовью отмѣчалъ людей, въ которыхъ соединялись эти два качества, и такіе люди представлялись ему идеальными дѣятелями.

Во всякомъ случаѣ нельзя сомнѣваться, что Лѣсковъ приступилъ въ началѣ сороковыхъ годовъ къ усиленному чтенію книгъ разнаго рода, имѣя уже въ душѣ при своей крайней впечатлительности запасъ готовыхъ наблюденій, сложившихся симпатій и антипатій. Онъ не читалъ книгъ изъ простой любознательности, но искалъ въ нихъ соотвѣтственнаго настроенія, отвѣта на успѣвшіе уже въ немъ зародиться вопросы. Книга уже въ дѣтствѣ не была для него цѣлью, а лишь средствомъ для удовлетворенія другихъ цѣлей, отчасти уже тогда сложившихся въ немъ благодаря близкому соприкосновенію съ жизнью и многообразными представителями разныхъ сословій и даже разныхъ національностей. Этимъ въ значительной степени объясняется, что книжная мудрость и всѣ вызываемыя ею увлеченія мало коснулись его. По пріѣздѣ въ Кіевъ въ концѣ сороковыхъ годовъ Лѣсковъ часто проводилъ вечеромъ часы въ аллеяхъ верхняго сада съ другими

молодыми людьми, съ представителями учащейся молодежи, со студентами. Тамъ образовался даже своеобразный «лицей», и молодежь иногда проводила цѣлыя ночи до бѣла свѣта въ разговорахъ о Кантѣ, Гегелѣ, о «чувствахъ высокаго и прекраснаго и о многомъ другомъ». Дома онъ читалъ Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа, но тѣмъ не менѣе чувствовалъ себя «одинокимъ и предоставленнымъ самому себѣ». Уже въ началѣ пятидесятыхъ годовъ онъ, возвращаясь на родину, предается слѣдующимъ философскимъ размышленіямъ: «Неужто ничто не перемѣнилось въ то время, когда я пережилъ такъ много: вѣрилъ въ Бога, отвергалъ Его и паки находилъ Его; любилъ мою родину и распинался съ нею и былъ съ распинающими ее». И, вернувшись на родину, онъ спѣшитъ посмотрѣть на знакомыя мѣста, побывать въ «пустынькахъ», какъ онъ въ Кіевѣ тяготѣлъ къ Печерску съ его Лаврою, пещерами и орловскими знакомыми («Овцебыкъ» и «Печерскіе антики»).

Книги не увлекли его въ сторону отъ жизни. Сомнѣнія, которыя въ немъ вызвали Фейербахи, Штраусы, Бабефы, бесѣды съ учащеюся молодежью были чисто поверхностны и скоропреходящи. Уже въ дѣтствѣ онъ слишкомъ глубоко заглянулъ въ жизнь, слишкомъ много видѣлъ въ ней прекраснаго и подмѣтилъ слишкомъ много животрепещущихъ задачъ, чтобы принести ее въ жертву отвлеченнымъ теоріямъ. Въ ряду типовъ изъ всѣхъ классовъ общества, изображенныхъ имъ съ неподражаемымъ мастерствомъ и усмотрѣнныхъ имъ въ жизни уже въ тотъ ранній періодъ, люди, преисполненные дѣятельной любви къ ближнему, состраданія, готовности жертвовать собою и своимъ достояніемъ ради страждущаго брата, благородныя, возвышенно настроенныя натуры внушили Лѣскову такую любовь къ жизни, что онъ отъ нея уже не могъ оторвать ни своего взора, ни своихъ помысловъ. Бабушка, тетя Полли, Пугало, Головань, отецъ Алексѣй, Храпошка — ихъ не перечесть, всѣхъ этихъ людей, которые раскрыли Лѣскову смыслъ жизни, убѣдили его, что жить стоитъ, и заставили его усиленно думать, какъ придти на помощь тѣмъ, изъ-за которыхъ подобныя свѣтлыя личности страдаютъ. Горе у нихъ большое, столь же большое, какъ широко ихъ любве-

обильное сердце. И молодому Лѣскову казалось, что Фейербахи и Гегели не помогутъ ихъ горю, что отвлеченныя теоріи вообще въ этомъ отношеніи безсильны. «Овцебыкъ» увлекался ими до самозабвенія, и какъ печальна, трагична его участь: ничего онъ не достигъ, а былъ только смѣшонъ и себя погубилъ. Это одно изъ самыхъ раннихъ и прекрасныхъ произведеній Лѣскова, и въ немъ уже вполнѣ сказалось его скептическое отношеніе къ отвлеченнымъ теоріямъ, когда ими однѣми вооружаются люди, желающіе *дѣйствовать въ жизни*.

Молодость Лѣскова, совпавшая, какъ мы видѣли, съ пятидесятыми годами, могла только упрочить въ немъ это настроеніе. Въ качествѣ секретаря рекрутскаго присутствія въ Кіевѣ и впослѣдствіи агента Шкота онъ въ теченіе почти десяти лѣтъ разъѣзжалъ по Россіи, знакомился съ нею, видѣлъ, чѣмъ она страдаетъ, чего ей недостаетъ, и все болѣе убѣждался, что общими мѣропріятіями, какъ они ни желательны, далеко не всего достигнешь, что нужна еще практическая самодѣятельность общества и самого народа, что безъ нихъ даже наилучшія общія мѣропріятія не принесутъ и сотой доли той пользы, какой отъ нихъ ожидаютъ. Самыя характерныя страницы, посвященныя Лѣсковымъ его дѣятельности въ качествѣ секретаря рекрутскаго присутствія, содержатся въ разсказѣ: «Владычный судъ». Сколько лжи, сколько обмана онъ видѣлъ со стороны самого населенія, и какъ мало въ сущности требовалось чувства справедливости, чтобы предупредить случаи вопіющихъ злоупотребленій! Разсказанный Лѣсковымъ случай обошелся, сравнительно, благополучно, благодаря личному вмѣшательству генералъ-губернатора и архіерея. По закону они собственно не могли предотвратить жестокую обиду, нанесенную бѣдному еврею, но тѣмъ не менѣе нашлось средство ее смягчить, и такимъ образомъ доброжелательство устранило жестокія послѣдствія обмана и несправедливаго закона.

Но еще болѣе вразумительныя въ этомъ отношеніи страницы посвящены Лѣсковымъ его дѣятельности въ качествѣ агента Шкота. Этотъ англичанинъ, какъ и его сыновья, всячески старались помочь бѣдственному положенію крестьянъ и пользовались вліяніемъ и властью, которыя вполнѣ могли доставить успѣхъ

ихъ начинаніямъ. Они управляли имѣніями столь вліятельныхъ государственныхъ дѣятелей, какъ графы Перовскіе, изъ которыхъ одинъ былъ сперва оренбургскимъ военнымъ губернаторомъ, а потомъ самарскимъ, а другой—вицепрезидентомъ департамента удѣловъ и настолько интересовался крестьянскимъ бытомъ, что ввелъ новое управленіе въ удѣльныхъ имѣніяхъ. Оба они были люди гуманные и живо принимали къ сердцу судьбу крестьянъ. Пользуясь такою вліятельною поддержкою, Шкоты задумали обширныя мѣропріятія для улучшенія участи крестьянъ. Но эти опыты постоянно терпѣли неудачу вслѣдствіе невѣжества самихъ крестьянъ. Всѣ попытки ввести болѣе усовершенствованныя земледѣльческія орудія ни къ чему не приводили. Любопытенъ фактъ, какъ въ имѣніи Всеволожскаго для крестьянъ построены были каменныя избы, а крестьяне ни за что не хотѣли въ нихъ поселиться, приравнивая ихъ къ острогу, рядомъ попастроили себѣ курныя избы, а каменныя загрязнили до того, что въ нихъ можно было задохнуться. Любопытно, что рука объ руку съ невѣжествомъ народа шло и невѣжество интеллигентныхъ людей. По этому поводу возгорѣлся ожесточенный споръ, и образовалась даже цѣлая русская партія, защищавшая курную избу противъ каменной, восторгаясь особенно сажей, покрывающей стѣны курной избы, и приписывая ей мнимыя цѣлебныя и всякія другія свойства. Вопросъ этотъ даже горячо обсуждался въ петербургской печати, и курная изба восторжествовала въ этой полемикѣ («Загонъ»). Крайне поучителенъ и разсказъ Лѣскова о томъ, какъ онъ странствовалъ съ переселенцами на баркахъ по Окѣ и Волгѣ. Онъ очень обрадовался предложенію Шкота сопровождать переселенцевъ и по возможности смягчать ихъ участь. Воодушевленный самыми гуманными намѣреніями, онъ оказался однако только игрушкою въ рукахъ самого народа и проявилъ полную свою практическую несостоятельность передъ мужикомъ Петромъ Семеновымъ, которому довѣрено было перевозить переселенцевъ, и передъ секретаремъ исправника, которые предупредили много бѣдъ, въ то время какъ самъ Лѣсковъ, несмотря на всѣ свои добрыя намѣренія, чуть было не ухудшилъ еще болѣе ихъ горькой участи («Продуктъ природы»).

Мы привели здѣсь только нѣсколько отрывочныхъ фактовъ, чтобы охарактеризовать тогдашнее настроеніе Лѣскова. Онъ конечно не менѣе всякаго другого просвѣщеннаго человѣка уяснилъ себѣ при своемъ близкомъ знакомствѣ съ жизнью ненормальность условій, господствовавшихъ въ дореформенной Россіи. Изъ его произведеній ясно видно, какъ глубоко возмущали его душу и крѣпостное право, и судебный произволъ, и несправедливости рекрутскаго набора, и жалкое экономическое положеніе крестьянъ, и его невѣжество, и всякія злоупотребленія властью. Нѣтъ у него почти ни одного произведенія, въ которомъ онъ не представилъ бы краснорѣчивыхъ доказательствъ своего отвращенія къ дореформеннымъ порядкамъ и своей глубокой симпатіи, своего пламеннаго воодушевленія реформами Царя-Освободителя. Не даромъ онъ никогда не разставался съ кольцомъ, въ которое былъ вдѣланъ камень, названный «александритомъ» въ честь этого государя («Александритъ»). Но именно потому, что онъ такъ высоко цѣнилъ эти реформы и считалъ ихъ лучшимъ достояніемъ современной Россіи, онъ, когда наступила заря новой жизни, т. е. въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, сталъ все внимательнѣе присматриваться къ настроенію и дѣятельности той части русскаго общества, которой суждено было главнымъ образомъ осуществить реформы въ жизни. Онъ спрашивалъ себя,—окажется ли она на высотѣ великой и почетной своей задачи? Этотъ вопросъ его волновалъ, не давалъ ему покоя, именно потому, что онъ такъ близко присмотрѣлся къ жизни. Въ Петербургѣ можно было мечтать, что, благодаря реформамъ, люди въ одинъ мигъ переродятся, что всѣ дурные элементы скроются, а всѣ хорошіе всплывутъ на поверхность, что внезапно произойдетъ какое-то общее перерожденіе. Но Лѣсковъ, именно благодаря громадному житейскому своему опыту, въ это перерожденіе не вѣрилъ. Онъ чувствовалъ, что дурные люди будутъ преобладать, что они новыми формами воспользуются для удовлетворенія старыхъ инстинктовъ, и что дѣло, которое онъ такъ свято чтилъ, можетъ быть компрометировано именно самыми горячими его сторонниками вслѣдствіе ихъ непониманія жизни и ея требованій.

III.

Первое печатное произведеніе Лѣскова появилось въ 1860 г. Это была корреспонденція изъ Кіева о «продажѣ Евангелія на русскомъ языкѣ по возвышеннымъ цѣнамъ». Появилась эта корреспонденція въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ».

Въ произведеніяхъ самого Лѣскова есть указанія, что онъ въ юности не мечталъ о томъ, чтобы сдѣлаться писателемъ. Эта мысль даже не приходила ему въ голову: онъ только колебался, посвятить ли себя государственной или частной службѣ. Состоя агентомъ Шкота, онъ, понятно, велъ съ нимъ правильную корреспонденцію и въ своихъ письмахъ нерѣдко излагалъ свои впечатлѣнія въ такой интересной формѣ, что Шкотъ ими зачитывался и давалъ читать ихъ членамъ своей семьи и своимъ друзьямъ, въ томъ числѣ писателю И. В. Селиванову. Послѣдній призналъ въ Лѣсковѣ значительныя литературныя дарованія, и такимъ образомъ покровители и друзья Лѣскова начали его побуждать дѣлиться своими впечатлѣніями и съ публикою.

Мы привели эти свѣдѣнія, встрѣчающіяся во всѣхъ некрологахъ Лѣскова, чтобы показать, что такъ-называемаго писательскаго зуда у Лѣскова въ юности не было, и что литературная слава въ то время его не прельщала. Онъ скорѣе усматривалъ свое жизненное призваніе въ томъ, чтобы въ сферѣ практической дѣятельности проявить воодушевлявшую его любовь къ ближнему и къ родинѣ. Но впечатлѣніе, которое произвели его письма, очевидно, заставило его призадуматься. Со всѣхъ сторонъ ему указывали на его литературное дарованіе. Упомянутая первая его корреспонденція имѣла успѣхъ. Даже кіевскіе профессора настаивали на томъ, чтобы онъ продолжалъ писать для печати. Новыя его статьи имѣли еще большій успѣхъ: Лѣсковъ сталъ самъ вѣрить, что у него есть талантъ. Предъ нимъ раскрывалась перспектива вліять на общество своимъ словомъ, и онъ чувствовалъ, что у него есть что сказать, есть на что обратить вниманіе.

Однако и тутъ скромность и неувѣренность въ собственныхъ силахъ, свойственныя истинному дарованію, заставляли его дѣйствовать очень осмотрительно. Онъ задавался только желаніемъ

указать на тѣ отрицательныя явленія, которыя онъ подмѣтилъ и которыя остались незамѣченными для другихъ. Такимъ образомъ первые печатные труды были только, какъ у насъ принято выражаться, «публицистическими» статьями, посвященными вопросамъ, съ положеніемъ которыхъ онъ ознакомился въ самой дѣйствительности. Стбитъ только назвать эти вопросы, чтобы убѣдиться въ вѣрности этой мысли. Онъ писалъ о рабочемъ классѣ, наймѣ рабочихъ, искорененіи пьянства, винокуренной промышленности, переселеніи крестьянъ, полицейскихъ врачахъ, коммерческой службѣ, народномъ здравіи. Мы видимъ, что все это вопросы, съ которыми онъ ознакомился, служа въ рекрутскомъ присутствіи, странствуя по Россіи по порученію казны или Шкота. Характерно однако для Лѣскова еще то, что главное его вниманіе направлено на народъ, и что онъ въ то же время затрогиваетъ вопросы наиболѣе животрепещущіе, наиболѣе важные для народной жизни. Народное пьянство, переселенческій вопросъ, наемъ рабочихъ, народное здравіе,—вотъ на что направлено вниманіе Лѣскова, и вотъ чѣмъ до сихъ поръ усиленно занимаются лица, которымъ дорого народное благо. Нельзя не отмѣтить еще характернаго факта, что первая статья Лѣскова была посвящена вопросу о распространеніи Евангелія. Такимъ образомъ уже тутъ сказалось во всей силѣ его міросозерцаніе, сложившееся въ дѣтствѣ и юности, получившее такое блестящее выраженіе во всей его литературной дѣятельности, — міросозерцаніе, основанное на глубокомъ альтруистическомъ чувствѣ.

Изучая явленія жизни въ этомъ духѣ и самъ начиная участвовать въ литературномъ движеніи, онъ сразу испытываетъ какую-то неудовлетворенность, и уже въ 1861 г. пишетъ статью о «неблаготворномъ направленіи нѣкоторыхъ писателей», касается и бурнаго вопроса о женской эмансипаціи. Словомъ, онъ начинаетъ интересоваться и тѣми вопросами, которые возникали и усиленно обсуждались въ столичныхъ литературныхъ кружкахъ, но тотчасъ занимаетъ во всѣхъ этихъ вопросахъ самостоятельное положеніе: онъ не примыкаетъ, какъ многіе другіе, пассивно къ движенію, а старается руководить имъ, направить его въ русло, которое онъ считаетъ спасительнымъ.

Такъ онъ сразу вооружается противъ полемическихъ пріемовъ и грубости литературныхъ нравовъ, онъ обвиняетъ наше общество въ бездѣятельности, въ стремленіи жить исключительно на казенныхъ хлѣбахъ. Для него писать значило священнодѣйствовать, значило приносить все въ жертву общественной пользѣ. А что онъ видѣлъ вокругъ себя: полемику, принимавшую характеръ площадной брани, удовлетвореніе личныхъ интересовъ, только прикрываемыхъ громкими фразами объ общественномъ благѣ. Печать какъ бы забывала, что Россія переживаетъ моментъ громадной исторической важности, когда старый строй рушится и замѣняется новымъ. Не того настроенія ожидалъ Лѣсковъ, когда изъ провинціи пріѣхалъ въ Петербургъ. Онъ всей душой примкнулъ къ «новымъ» людямъ, ожидая, что они одушевлены исключительно желаніемъ трудиться серьезно, съ забвеніемъ своей личности на столь внезапно открывшемся широкомъ поприщѣ. Не забудемъ, какое это было время. Россія только-что пережила 19-ое февраля, грандіозную реформу, какой еще не бывало въ ея исторіи. Существовали опасенія, что эта реформа не обойдется мирно; задача всѣхъ благомыслящихъ людей, всѣхъ друзей свободы и культурныхъ успѣховъ должна была заключаться въ томъ, чтобы вызвать успокоеніе умовъ въ такое время, когда было столько горючаго матеріала. А тутъ началось броженіе въ Польшѣ. Можно было опасаться возстанія въ этой части имперіи. Въ разныхъ мѣстахъ начались какіе-то зловѣщіе пожары. Въ центрѣ столицы огонь охватилъ громадную площадь, въ народѣ начались толки о поджогахъ. Понятно, что подозрѣніе толпы пало на тѣхъ, кто пострадалъ отъ только-что совершенной реформы, затѣмъ на поляковъ, но почему-то она стала подозрѣвать нѣкоторую часть интеллигенціи, учащуюся молодежь, студентовъ. Ихъ обвиняли громогласно на всѣхъ перекресткахъ. Легко себѣ представить, какъ эти обвиненія должны были подѣйствовать на Лѣскова, только-что всей душой примкнувшаго къ «новымъ» людямъ и ожидавшаго отъ нихъ убѣжденнаго, горячаго содѣйствія задуманнымъ правительствомъ реформамъ. Онъ призналъ своимъ прямымъ гражданскимъ долгомъ рѣшительно выступить въ защиту учащейся молодежи, обѣлить ее отъ столь

позорнаго поклепа. Съ этою цѣлью онъ и помѣстилъ соотвѣтственную статью въ «Сѣверной Пчелѣ» (№ 143, 1862 г.). Въ статьѣ этой между прочимъ говорится: «Насколько основательны подозрѣнія въ народѣ и насколько умѣстны опасенія, что поджоги имѣютъ связь съ послѣднимъ мерзкимъ и возмутительнымъ воззваніемъ, приглашающимъ къ ниспроверженію всего гражданскаго строя нашего общества, мы судить не смѣемъ. Произнесеніе такого суда—дѣло такое страшное, что языкъ нѣмѣетъ, и ужасъ охватываетъ душу. Но какъ бы то ни было, если бы и въ самомъ дѣлѣ петербургскіе пожары имѣли что-нибудь общее съ безумными выходками политическихъ демагоговъ, то они нисколько не представляются намъ опасными для Россіи. Скрываться нечего. На народъ можно разсчитывать смѣло, и потому смѣло же должно сказать: основательны ли сколько-нибудь слухи, носящіеся въ столицѣ о пожарахъ и о поджигателяхъ? Щадить адскихъ злодѣевъ не должно, но и не слѣдуетъ рисковать ни однимъ волоскомъ ни одной головы, живущей въ столицѣ и подвергающейся небезопаснымъ нареканіямъ со стороны перепуганнаго народа».

Смыслъ этой статьи такъ ясенъ, что повидимому никакія недоразумѣнія тутъ невозможны. Лѣсковъ опасается, что студенты могутъ пострадать отъ народнаго гнѣва. Онъ настойчиво требуетъ, чтобы неосновательныя обвиненія были опровергнуты. Но онъ опасается еще другого: онъ опасается, что эти страшные пожары и толки о поджогахъ могутъ компрометировать великое дѣло задуманныхъ реформъ. Поэтому онъ считаетъ нужнымъ категорически заявить, согласно вынесенному имъ широкому опыту, что «на народъ можно разсчитывать смѣло». Иначе конечно не могъ и не долженъ былъ выразиться человѣкъ, преданный освободительному дѣлу и знакомый съ условіями, въ которыхъ находилась Россія. Но, несмотря на ясность статьи, Лѣсковъ подвергся за нее цѣлому ряду незаслуженныхъ оскорбленій; его заподозрили въ отступничествѣ, злонамѣренности, въ желаніи натравить полицію на студентовъ... Мы не станемъ разсказывать здѣсь этой печальной исторіи. Она разсказана самимъ Лѣсковымъ въ его «Загадочномъ человѣкѣ», написанномъ восемь

лѣтъ спустя (1870 г.), когда онъ могъ болѣе или менѣе объективно отнестись къ этому въ настоящее время почти неприятному эпизоду первыхъ лѣтъ его литературной дѣятельности. Но мы считаемъ своимъ долгомъ обѣлить память Лѣскова отъ другого обвиненія, которое еще до сихъ поръ возводится на него съ нѣкоторыхъ сторонъ, именно будто онъ въ дальнѣйшей своей литературной дѣятельности утратилъ хладнокровіе и подчинился духу озлобленія противъ тѣхъ, кто его тогда такъ незаслуженно оскорбилъ. Какъ на доказательство справедливости этого обвиненія ссылаются обыкновенно на романы: «Некуда», появившійся въ 1864 г., и «На ножахъ», печатавшійся въ 1870 — 71 гг. Мы считаемъ своимъ долгомъ обѣлить память Лѣскова въ этомъ отношеніи не только потому, что привыкли уважать его, какъ личность, но и главнымъ образомъ потому, что это обвиненіе можетъ заставить читателя отнестись къ такому капитальному произведенію, какъ «Некуда», не съ достаточнымъ вниманіемъ и съ неправильной точки зрѣнія.

Прежде всего надо принять во вниманіе, что самъ Лѣсковъ и не думалъ отрекаться отъ «новыхъ» людей послѣ этого печальнаго инцидента. Ровно черезъ годъ въ той же «Сѣверной Пчелѣ» появился фельетонъ Лѣскова, озаглавленный: «Н. Г. Чернышевскій въ его романѣ: «Что дѣлать». Въ этомъ фельетонѣ говорится: «Героевъ романа г. Чернышевскаго называютъ нигилистами. Однако между ними и личностями, надоѣвшими всѣмъ и каждому своимъ нигилизмомъ, нѣтъ ничего общаго. Люди г. Чернышевскаго совсѣмъ другіе, а это—фразеры; въ людяхъ г. Чернышевскаго прежде всего стремленіе дать благосостояніе возможно большему числу людей; въ нигилистахъ нашихъ общность интересовъ только на языкѣ, а на дѣлѣ жестокосердіе. Г. Чернышевскій заставляетъ дѣлать такое дѣло, которое можно сдѣлать во всякомъ благоустроенномъ государствѣ, отъ Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого добрыхъ людей, какихъ вывелъ г. Чернышевскій, а ихъ, признаться сказать, очень мало».

Похоже ли это на отреченіе отъ новыхъ людей? И злѣйшій врагъ Лѣскова, если только онъ ихъ теперь имѣетъ, не рѣшится этого утверждать. Напротивъ, это не отреченіе, а скорѣе при-

знаніе извѣстной солидарности. Отрекается Лѣсковъ только отъ несостоятельныхъ, по его мнѣнію, элементовъ «молодой» Россіи. По самой партіи онъ въ лицѣ главнаго ея вождя выражаетъ сочувствіе,—выражаетъ именно въ то время, когда его всячески поносятъ за его мнимое отступничество. Романъ же «Некуда» печатался въ 1864 году и написанъ позже фельетона о Чернышевскомъ, а «На ножахъ» — шесть лѣтъ спустя. Можно ли съ психологической точки зрѣнія допустить, чтобы озлобленіе возрастало, а не ослабѣвало съ теченіемъ времени? Вѣдь это слишкомъ исключительное явленіе, и ни одинъ трезвый умъ не повѣритъ, чтобы Лѣсковъ былъ больше озлобленъ, когда писалъ «Некуда», чѣмъ когда писалъ свой фельетонъ о Чернышевскомъ? Да такое предположеніе совершенно несостоятельно и съ другой точки зрѣнія. Какъ мы сейчасъ выяснимъ, романъ и фельетонъ написаны совершенно въ одномъ духѣ. Какъ въ фельетонѣ проводится граница между «новыми» людьми, заслуживающими и незаслуживающими сочувствія, такъ и въ «Некуда» проведена совершенно та же граница, съ тѣмъ только различіемъ, что въ «Некуда» художественно и обстоятельно разъяснено то, что въ фельетонѣ только намѣчено и что соотвѣтствуетъ выраженному уже неоднократно раньше Лѣсковымъ элементарному житейскому правилу, что во всякомъ сословіи и классѣ, во всякой партіи есть дѣятели, заслуживающіе и не заслуживающіе сочувствія. Можно еще возразить, что и сочувственно изображенные въ «Некуда» новые люди, въ родѣ Райнера и Лизы, въ концѣ-концовъ осуждаются Лѣсковымъ. Но выведенные авторомъ «новые» люди не ограничиваются этими знаменитыми героями его романа; въ немъ найдутся и другіе «новые» люди, которымъ авторъ безусловно сочувствуетъ? А почему онъ признаетъ и Райнера, и Лизу дѣятелями безполезными и даже вредными, несмотря на то, что онъ имъ горячо сочувствуетъ, какъ людямъ,—это и составляетъ капитальный вопросъ всего романа и объясняется не озлобленіемъ Лѣскова, а всѣмъ его міросозерцаніемъ, сложившимся гораздо раньше, чѣмъ произошелъ отмѣченный нами печальный инцидентъ.

Читатели уже отчасти знакомы съ міросозерцаніемъ Лѣскова,

какъ оно сложилось подъ вліяніемъ тѣхъ богатыхъ впечатлѣній, которыя онъ вынесъ во время дѣтства и молодости. Дѣятельная любовь къ ближнему, озаренная религіознымъ чувствомъ и умудренная житейскимъ опытомъ,—вотъ что составляетъ основу его душевной жизни. Когда онъ началъ писать, онъ сразу заботится о распространеніи евангелія и объ устраненіи того, что по его житейскому опыту главнымъ образомъ вызываетъ страданія народа. Крѣпостное право отмѣнено, надо позаботиться теперь о насажденіи образованія, о борьбѣ съ предразсудками, объ искорененіи пьянства. Все это—задачи первостепенной важности; все вниманіе интеллигенціи должно быть на нихъ направлено. Вѣдь интеллигенція и есть та сила, которая можетъ разсѣять мракъ невѣжества и всякихъ суевѣрій въ народѣ. Она призвана къ дѣятельности и должна дѣйствовать умѣло, осмысленно, трезво, въ полномъ сознаніи величія и отвѣтственности своей задачи. Крупная реформа совершена, предстоятъ другія, также очень значительныя. Это — дѣло законодателя. Интеллигенція же должна направить все вниманіе не только на эти реформы, но и на способы ихъ упроченія въ жизни. Ей открывается широкое поле дѣятельности; она должна подумать о средствахъ и способахъ.

Этимъ вопросомъ и занятъ Лѣсковъ. Онъ его ставитъ очень рѣшительно въ чудесномъ своемъ разсказѣ: «Овцебыкъ», напечатанномъ почти за годъ до появленія «Некуда». Кто главный герой этого разсказа? Сынъ сельскаго дьячка, выросшій въ горькой нуждѣ и нисколько о себѣ не заботящійся. Онъ ищетъ все только евангельскихъ людей, возмущается «неправдой безсудной, обидой безмѣрной». Его сердце обливается кровью при видѣ чужого страданія. Онъ ничего не читаетъ, кромѣ евангелія; журналовъ онъ терпѣть не можетъ, мнитъ же онъ себя проповѣдникомъ слова Божья, ходитъ въ народъ, къ раскольникамъ; но во всемъ терпитъ неудачу. Никого онъ не просвѣщаетъ, ничью участь не облегчаетъ, приходитъ къ горькому разочарованію, становится посмѣшищемъ въ глазахъ народа и кончаетъ жизнь самоубійствомъ, постановивъ самъ надъ собою слѣдующій приговоръ: «Не въ ризѣ учитель—народу шутъ, себѣ—попошеніе, идеѣ—пагубникъ. Я—тать и, что дальше пойду, то больше сворую».

Поэтому онъ и прекращаетъ свою жизнь. А приказчикъ разбогатѣвшаго дѣловитаго мужика, бывшаго крѣпостного, у котораго послѣдніе дни своей жизни служилъ Овцебыкъ, произноситъ слѣдующій надъ нимъ приговоръ: «Ему—гнить, а вамъ жить, батюшка Александръ Ивановичъ». Самъ Овцебыкъ былъ того же мнѣнія.

Мы видѣли уже, какимъ глубокимъ религіознымъ чувствомъ воодушевился Лѣсковъ въ дѣтствѣ и молодости, и мы увидимъ еще, какъ развилось это чувство впослѣдствіи. Лѣскова можно упрекнуть, въ чемъ угодно, но только не въ легкомысленномъ отношеніи къ евангелію и къ евангельскимъ истинамъ. И что же мы видимъ? Овцебыкъ,—человѣкъ, который читалъ только евангеліе, который весь проникся его духомъ, который все отвергалъ, за исключеніемъ евангельскихъ истинъ, кончаетъ такъ печально, приходитъ къ роковому выводу, что вся его жизнь ничего не стоила. Кто однако рѣшится упрекнуть за это Лѣскова въ недостаткѣ религіознаго чувства, въ невѣріи, въ неуваженіи къ евангельскимъ истинамъ, которыя онъ ставилъ такъ неизмѣримо высоко? Почему же, когда Лѣсковъ изображаетъ намъ не Овцебыка, а Райнера или Лизу, мы его обвиняемъ въ томъ, что онъ кощунственно отнесся къ идеаламъ, которые были священны этимъ его героямъ и за которые они положили жизнь? Очевидно, что мы въ томъ и другомъ случаѣ мѣримъ разною мѣрою. Тотъ, кто осуждаетъ Лѣскова за «Некуда», долженъ бросить въ него камень и за «Овцебыка», иначе онъ нарушитъ элементарные законы логики или представитъ доказательства вопіющаго пристрастія.

Чѣмъ же однако объясняется эта логическая ошибка, если уже не говорить о пристрастіи? Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, присмотримся прежде всего къ дѣятельности Овцебыка. Онъ былъ сперва домашнимъ учителемъ, но выходило какъ-то такъ, что онъ ни на одномъ мѣстѣ ужиться не могъ, точь въ точь, какъ извѣстный уже читателямъ нѣмецъ-учитель Коза въ разсказѣ: «Томленіе духа». Всѣ установленныя жизнью формы его тяготили: онъ хотѣлъ сразу найти евангельскихъ людей, а такъ какъ ихъ не находилъ, то тотчасъ же удалялся отъ людей, встрѣченныхъ имъ на жизненномъ пути. И вотъ онъ началъ бродить въ

поискахъ за настоящими людьми. Аскетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, не дорожащій ничѣмъ въ мірѣ кромѣ своей идеи, онъ жилъ почти, какъ птицы небесныя. Гдѣ же настоящіе люди? Онъ думалъ, что найдетъ ихъ среди раскольниковъ, и отправился куда-то на сѣверъ. Тамъ его постигло горькое разочарованіе. Онъ подчинился требованіямъ раскольниковъ до того, что даже сталъ жить съ какою-то дѣвушкою внѣ брака. Но все это ни къ чему не привело. Онъ потомъ самъ наивно разсказывалъ, что спасительнаго слова не услышалъ. Какое требовалось знакомство съ жизнью, чтобы вообразить, что онъ отъ раскольниковъ услышитъ сказочное: «Сезамъ, отворись!» Онъ ушелъ отъ нихъ, убѣдившись, что у нихъ только «тюрьма», что они только «байбаки дурацкіе, морочащіе людей своимъ секретничаньемъ». Одно у нихъ буквоѣдство, — вотъ и все. Онъ возвращается на родину и поступаетъ послушникомъ въ одинъ изъ монастырей, въ пустынѣ. Но и тутъ съ нимъ происходитъ нѣчто неладное: онъ ведетъ съ богомольцами такія бесѣды, что его изгоняютъ изъ монастыря. И вотъ онъ поступаетъ къ дѣловитому мужику, Александру Ивановичу Свиридову. Тотъ вмѣстѣ съ женою всячески пристраиваютъ его къ дѣлу, хотя это очень трудно. Начнетъ Овцебыкъ говорить съ работниками о божествѣ, да и свернетъ вдругъ на господъ, а чтобы придать больше выразительности своимъ словамъ, возьметъ онъ горсть гороху, да и разсажаетъ ихъ по свиткѣ: «Вотъ это — говоритъ, — самый набольшій король, а это, поменьше,—его министеры съ князьми; а это, еще поменьше,— баре да купцы, да попы толстопузые; а вотъ это—на горсть-то показываетъ — это, говоритъ, мы, гречкосѣи». Да какъ этими гречкосѣями-то во всѣхъ въ принцевъ и въ поповъ толстопузыхъ шарахнетъ: все и сравняется. Куча станетъ. Народъ смѣется и говоритъ: «Должно быть, изъ комедіантовъ». Эта гороховая революція прошла для Овцебыка безслѣдно. Онъ самъ, какъ Неждановъ въ «Нови», написанной 13 лѣтъ спустя, извѣрился въ своихъ начинаніяхъ и кончилъ жизнь самоубійствомъ, поняв, что онъ ничего не достигнетъ. Онъ всѣмъ представлялся шутомъ, за исключеніемъ очень немногихъ людей, понявшихъ, какая въ немъ заключается нравственная сила и какой глубокій внутрен-

ній трагизмъ представляетъ полное несоотвѣтствіе его возвышеннѣйшихъ идеаловъ, самоотверженнѣйшихъ чувствъ съ полною его неспособностью осуществить въ жизни хоть малѣйшую ихъ часть вслѣдствіе совершеннаго незнакомства съ нею. Эта черта поражала и печалила Лѣскова еще до пріѣзда въ Петербургъ въ такихъ симпатичныхъ ему людяхъ, какъ Шкоты, которые, будучи даже искусными практиками, часто вмѣсто добра дѣлали зло вслѣдствіе своего незнакомства съ народнымъ бытомъ. А когда Лѣсковъ пріѣхалъ въ Петербургъ, когда онъ тутъ на каждомъ шагу убѣждался, что за осуществленіе благихъ начинаній принимаются очень неумѣло, что пускаются въ ходъ совершенно негодныя средства, которыя даже прямо могутъ компрометировать великую задачу, выпавшую на долю русской интеллигенціи, въ немъ это чувство окрѣпло, и онъ написалъ своего «Овцебыка», свое «Некуда». Не озлобленіе говорило въ немъ, а чувство разочарованія, опасеніе, что тѣ радужныя надежды, съ которыми онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, не сбудутся, и чѣмъ болѣе онъ присматривался къ столичной жизни, чѣмъ быстрѣе шли событія и случились даже факты, которые заставили глубоко призадуматься и Герцена, тѣмъ сильнѣе становилось въ Лѣсковѣ желаніе пріостановить это шествіе по наклонной плоскости, это пользованіе негодными средствами. Онъ сталъ высказываться все рѣзче и рѣзче и написалъ свое «На ножахъ». Вотъ чѣмъ объясняется, что послѣднее произведеніе, написанное черезъ восемь лѣтъ послѣ петербургскихъ пожаровъ, по содержанію и тону неумолимѣе по отношенію къ «новымъ» людямъ, чѣмъ «Некуда».

Чтобы подтвердить все сказанное, остановимся еще на основной идеѣ «Некуда». Выведенные въ этомъ романѣ «новые» люди распадаются на три категоріи. Широкою извѣстностью пользуются Райнеръ, Лиза, Помада; менѣе говорятъ о Розановѣ; совершенно игнорируютъ Маслянникова. А все это — «новые» люди, и разница между ними заключается въ томъ, что первые ведутъ борьбу по мысли автора совершенно негодными средствами, второй можетъ кое-чего достигнуть въ жизни, а третій навѣрно достигнетъ въ жизни многаго. Этотъ Маслянниковъ—сынъ деревенскаго богача изъ крестьянъ. Отецъ его всецѣло принадлежитъ

къ старымъ людямъ. Сынъ же его уже «новый» человѣкъ. Для чего онъ живетъ, — видно изъ заключительной главы романа. Въ «Овцебыкѣ» безплоднымъ скитаніямъ идеалиста противопоставляется дѣловитость бывшаго крѣпостного Александра Ивановича, съѣздившаго за границу, чтобы запастись практическими свѣдѣніями по своему дѣлу. О немъ Овцебыкъ говоритъ: «Некуда идти; вездѣ все одно; черезъ Александровъ Ивановичей не перескочишь». Но Александръ Ивановичъ заботится только о благосостояніи своей семьи и лицъ, наиболѣе ему близкихъ. Онъ самъ обогащается, обогащаетъ и другихъ, способствуетъ улучшенію экономическихъ условій, но идейная сторона въ его дѣятельности отсутствуетъ. А вотъ Масляниковъ добивается, что въ его деревнѣ возникаетъ и больница, и ремесленная школка, и пожарная команда. Онъ интеллигенціи не боится, напротивъ онъ зоветъ ее къ себѣ, но только не такихъ людей, которые мужиковъ хотятъ облагодѣтельствовать несбыточнымъ. Онъ вліяетъ на крестьянъ: «У меня есть чѣмъ похвалиться: Боровковская волость составила приговоръ, чтобы больше уже не сѣчься». Вотъ къ чему стремится «новый» человѣкъ изъ народа съ положительными, осуществимыми идеалами, въ противоположность тѣмъ, которые «мутовртятъ народъ тотъ туда, тотъ сюда, а сами, ей право, великое слово тебѣ говорю, дороги никуда не знаютъ, безъ нашего брата не найдутъ ее никогда, все будутъ кружиться и все сѣсть будетъ некуда». Значитъ, Лѣсковъ въ своемъ романѣ съ одной стороны указываетъ на тѣхъ людей, которые, будучи воодушевлены наилучшими намѣреніями, ничего не достигнутъ вслѣдствіе негодности избранныхъ ими средствъ, которымъ идти собственно «некуда», а съ другой стороны указываетъ на людей, которые хорошо знаютъ, «куда» идутъ, и на повѣрку оказывается, что теперь по этому пути идутъ всѣ благомыслящіе люди. Можно только сожалѣть, что истинный смыслъ романа Лѣскова не былъ понятъ и оцѣненъ по достоинству въ свое время. Если бы интеллигенція, какъ предлагалъ Лѣсковъ, направила всѣ свои усилія на то, чтобы достигнуть идеаловъ Масляникова, можетъ-быть, позоръ тѣлеснаго наказанія былъ бы давно уже смытъ, Россія избавилась бы отъ того громаднаго ущерба, который наносятъ ея

народному хозяйству безконечные пожары, и школъ и больницъ было бы гораздо больше, чѣмъ теперь. Но какъ бы то ни было, Лѣсковъ въ этомъ вопросѣ является единомышленникомъ Писемскаго, Достоевскаго, Гончарова и Тургенева, которые въ своихъ романахъ: «Взбаламученное море», «Бѣсы», «Обрывъ», «Новь» высказались въ томъ же смыслѣ. Лѣсковъ вслѣдствіе своего знакомства съ жизнью одинъ изъ первыхъ въ прекрасномъ художественномъ произведеніи указалъ путь, признанный вѣрнымъ такими писателями, которые составляютъ гордость нашей литературы.

IV.

«Некуда» и вызванная этимъ романомъ яростная полемика была для Лѣскова своего рода «огненнымъ крещеніемъ». Требовалось не мало гражданскаго мужества, чтобы въ то время выступить съ такимъ романомъ. Если бы Лѣсковъ дорожилъ только своею литературною славою, возможностью помѣщать свои произведенія въ лучшихъ и наиболѣе распространенныхъ журналахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ существовать безбѣдно, то онъ конечно бы своего романа не написалъ или по крайней мѣрѣ не напечаталъ. Но онъ хорошо зналъ, на что идетъ: исторія съ петербургскими пожарами его вполнѣ на этотъ счетъ просвѣтила, и тѣмъ не менѣе онъ счелъ своимъ долгомъ высказаться откровенно и рѣшительно. Его не остановили на этомъ пути самыя злостныя выходки противниковъ, а эти выходки превзошли всякую мѣру. Современный критикъ г. Венгеровъ называетъ тогдашній судъ надъ Лѣсковымъ «неумолимо суровымъ и въ значительной степени несправедливымъ». Дѣйствительно, Лѣскова называли шпіономъ; увлекающійся Писаревъ сомнѣвался, найдется ли въ Россіи хоть одинъ журналъ, который «осмѣлится» напечатать на своихъ страницахъ что-нибудь, выходящее изъ-подъ пера Стебницкаго (Лѣсковъ, какъ извѣстно, подписывалъ этимъ псевдонимомъ свои первыя произведенія). Эти слова Писарева очень характерны: никто «не осмѣлится» напечатать дальнѣйшихъ произведеній Лѣскова. Это—своего рода угроза, застращиваніе. Печатать Лѣскова, какъ выражается дальше Писаревъ,

значитъ проявить «неосторожность» и быть «равнодушнымъ къ своей репутаціи». Послѣ угрозы слѣдуетъ совѣтъ позаботиться о себѣ, не подвергать себя очевидной опасности. Какой? Понятно, раздѣлить участь Лѣскова, т. е. быть изгнаннымъ изъ журналовъ и лишиться куска хлѣба. Лѣсковъ былъ поставленъ къ позорному столбу, и противъ него началась невѣроятная травля. Но онъ перенесъ это «огненное крещеніе», не сдѣлавъ своимъ противникамъ ни малѣйшей уступки, и вышелъ изъ него «рыцаремъ духа», человѣкомъ, готовымъ на все, чтобы отстоять свою святыню: свободу высказываться такъ, какъ ему велитъ совѣсть и гражданскій долгъ.

Отречься отъ своихъ убѣжденій Лѣсковъ не могъ и по другой причинѣ. Его убѣжденія не были чѣмъ-то наноснымъ, въ родѣ разныхъ модныхъ теорій, которыя такъ быстро смѣняются въ нашемъ обществѣ. То, что говорилъ Лѣсковъ, было плодомъ его широкаго знакомства съ жизнью. Если онъ утверждалъ, обращаясь къ идеалистамъ разнаго рода, исповѣдывавшимъ евангельскія истины или тѣ или другія соціальныя и политическія теоріи, что имъ идти «некуда», то имъ дѣйствительно идти было некуда, потому что путь былъ ложный и велъ въ глухой переулокъ. Надо было избрать другой путь, быть-можетъ болѣе далекій, но несравненно болѣе вѣрный. Всѣмъ теперь извѣстно, что Лѣсковъ списалъ своего Райнера съ живой личности, съ нѣкоего Бенни, идеалиста крайнихъ воззрѣній. Самъ Лѣсковъ въ своемъ «Загадочномъ человѣкѣ» изложилъ намъ біографію этого дѣятеля шестидесятыхъ годовъ, и біографія эта лучше всякихъ разсужденій убѣждаетъ въ полной непригодности средствъ, избранныхъ Бенни и однородными съ нимъ дѣятелями. Какъ мы видѣли, точно такую же картину полной непригодности средствъ изобразилъ намъ Лѣсковъ и въ «Овцебыкѣ» относительно осуществленія евангельскихъ истинъ. Принявъ все это во вниманіе, мы легко уяснимъ себѣ, по какому пути самъ Лѣсковъ пойдетъ въ дальнѣйшей своей литературной дѣятельности. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ съ богатымъ житейскимъ опытомъ, изъѣздилъ Россію вдоль и поперекъ, познакомился со всѣми классами населенія, убѣдился, что условія очень несовершенны, что требуется усиленная работа

для ихъ пересозданія. Въ Петербургѣ ему предлагали разныя готовыя теоріи крайне отвлеченнаго свойства, заимствованныя по большей части со стороны, изъ другихъ странъ людьми, очень мало знакомыми съ Россіею. Средства, предлагавшіяся для осуществленія этихъ теорій, отличались по большей части крайне наивнымъ характеромъ. Въ «Овцебыкѣ» и «Некуда» Лѣсковъ произнесъ краснорѣчивый и убѣдительный приговоръ надъ этими средствами. Но понятно на этомъ нельзя было остановиться. Такимъ образомъ предстояла задача подвергнуть критической оцѣнкѣ нарождающіяся новыя теоріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ установить ихъ приложимость къ жизни, вдуматься въ средства ихъ осуществленія.

Самыя благія начинанія терпятъ крушеніе, когда они не находятъ себѣ надлежащихъ исполнителей. Если это вѣрно по отношенію къ правительственной дѣятельности, то это не менѣе вѣрно и по отношенію къ дѣятельности общественной. Эта истина представлялась особенно ясно Лѣскову, какъ человѣку, глубоко изучившему русскую дѣйствительность. Поэтому, когда рѣчь заходила о той или другой теоріи, онъ немедленно задумывался надъ исполнителями и умственнымъ взоромъ охватывалъ ту безконечную галлерею типичныхъ представителей нашего общества, съ которыми ему приходилось встрѣчаться въ жизни. Эту галлерею онъ распредѣлялъ по категоріямъ соотвѣтственно съ ихъ способностью осуществлять въ дѣйствительности идеальныя стремленія. А его судъ относительно этой пригодности обусловливался общимъ его міросозерцаніемъ, основаннымъ, какъ мы видѣли, на дѣятельной любви къ ближнему. Быть-можетъ, Лѣсковъ больше вѣрилъ въ людей, чѣмъ въ тѣ или другія мѣропріятія. Въ дѣтствѣ и молодости онъ убѣдился, что при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ человѣкъ, воодушевленный чувствомъ дѣятельной любви къ ближнему, можетъ сдѣлать очень много добра. Настроеніе же русскаго общества было въ значительной степени противоположное: оно исходило изъ убѣжденія, что и хорошій человѣкъ ничего не можетъ сдѣлать добраго при несостоятельныхъ условіяхъ, что благопріятныя условія родятъ хорошихъ людей. Это было глубокое несоотвѣтствіе взглядовъ: для нашего общества центръ тяжести

вопроса лежалъ въ надлежащихъ мѣропріятіяхъ; для Лѣскова—въ хорошихъ людяхъ или, какъ онъ ихъ называлъ, праведникахъ, понимая подъ этимъ терминомъ людей, не только воодушевленныхъ прекрасными намѣреніями, но и умѣющихъ ихъ осуществлять въ жизни. Указаніемъ на этихъ праведниковъ, на этихъ представителей дѣятельной любви къ ближнему исчерпывается значительная часть беллетристическихъ произведеній Лѣскова. Съ одной стороны онъ намъ рисуетъ цѣлый рядъ типовъ съ тѣми характеристическими чертами, которыя мы уже отмѣтили въ «Овцебыкѣ», съ другой—дѣятелей въ истинномъ значеніи этого слова. Затѣмъ онъ выводитъ еще третій типъ,—людей, которые при отсутствіи идеальныхъ стремленій сами устраиваются въ жизни сносно, но причиняютъ другимъ много заботъ и страданій. Иногда дѣятели этого типа приходятъ къ сознанію своей ошибки уже поздно, и тогда получается трагизмъ, который Лѣсковъ умѣетъ подчеркнуть съ поразительною художественною силою.

Остановимся теперь на этихъ трехъ типахъ, какъ они послѣдовательно изображены въ произведеніяхъ Лѣскова. Вслѣдъ за «Некуда» появился обширный его романъ: «Обойденные». Главный герой этого романа — Долинскій, человѣкъ недурной. Онъ принадлежитъ именно къ типу людей безъ опредѣленныхъ идеальныхъ стремленій и обусловленной ими жизненной задачи. Любовь, кончающаяся смертью горячо любимой дѣвушки, приводитъ его къ мистицизму. Неустойчивость его чувствъ и стремленій прекрасно оттѣнена сознательностью, твердостью и цѣлесообразностью всѣхъ дѣйствій и всей жизни главной героини романа Анны Михайловны, которая въ такое повидимому безразличное съ нравственной точки зрѣнія предпріятіе, какъ модная мастерская, умѣетъ вложить глубокое идеальное содержаніе. Она просто, безъ всякихъ фразъ, разрѣшаетъ вопросъ о женскомъ трудѣ, въ то время, какъ ея сестра, дѣвушка съ блестящими дарованіями, только губитъ свою жизнь, и сама прекрасно разъясняетъ причину своей гибели, говоря, что «сильные люди вывелись». Ея сестра, живущая только для другихъ и умѣющая найтись въ жизни, является такимъ «сильнымъ» человѣкомъ.

Та же идея положена въ основу другого большого романа Лѣскова: «Островитяне». Тутъ талантливый художникъ Истоминъ, думающій только о себѣ, кончаетъ жизнь весьма печально. Любимая имъ дѣвушка, богато одаренная натура, находитъ душевный миръ послѣ безконечныхъ страданій, только когда посвящаетъ себя дѣятельной любви къ ближнему. А ея сестра, Ида, посвятившая себя инстинктивно этой любви, хотя и не находитъ личнаго счастья въ ходячемъ смыслѣ этого слова, представляетъ картину необычайно гармоничной внутренней жизни и влагаетъ въ душу всѣхъ близкихъ ей людей тѣ чувства, которыя болѣе всего обезпечиваютъ человѣческое счастье. Въ концѣ романа она воспитываетъ дѣтей своего брата, ведетъ съ ними длинныя бесѣды, и «крѣпнетъ дѣтскій духъ въ этихъ бесѣдахъ, и какъ шептунъ-трава тихо растутъ и вырастаютъ въ нихъ и рѣшимость, и воля, и воспитывается то, что далекій потомокъ можетъ-быть условится называть въ человѣкѣ прямою добродѣтелью гражданина». Противопоставленіе этой васильевостровской нѣмки, дочери простого токаря, воспитывающей людей въ истинно-гражданскихъ чувствахъ, дѣятелямъ, такъ много толковавшимъ о гражданскомъ долгѣ и такъ мало его исполнявшимъ, очень характерно для Лѣскова. Во всякомъ случаѣ мы видимъ, что, по его мысли, богато одаренныя натуры, пока онѣ ищутъ исключительно личнаго счастья, цѣли своей не достигаютъ, терпятъ крушеніе въ жизни и умираютъ съ сознаніемъ безплодно прожитой жизни. Эта мысль такъ и просвѣчиваетъ въ двухъ только-что указанныхъ романахъ Лѣскова.

Одновременно, то-есть тотчасъ же послѣ «Некуда», имъ написаны два очерка, въ которыхъ проводится та же мысль съ поразительною художественною силою по отношенію къ народной средѣ. Это—«Леди Макбетъ Мценскаго уѣзда» и «Воительница». Второй очеркъ въ то же время—истинный перлъ художественнаго творчества.

Леди Макбетъ—провинціальная купчиха, совершающая рядъ преступленій, чтобы навсегда соединиться съ своимъ возлюбленнымъ и осчастливить его. Она цѣли не достигаетъ, попадаетъ вмѣстѣ съ нимъ въ Сибирь и, отвергнутая любовникомъ, кон-

частъ жизнь самоубійствомъ. Этотъ очеркъ, написанный, какъ всегда у Лѣскова, съ большимъ знаніемъ бытовыхъ подробностей, производитъ сильное впечатлѣніе, но оно почти меркнетъ, сравнительно съ тѣмъ ужасомъ, который вызываетъ второй очеркъ «Воительница» — это деревенская баба, торгующая въ Петербургѣ кружевами и при случаѣ занимающаяся и другими дѣлами: сближаетъ мужчинъ и женщинъ для законнаго брака и для другихъ, менѣе законныхъ отношеній. Этотъ теперь уже исчезающій типъ очерченъ Лѣсковымъ съ поразительною рельефностью. Домна точно живетъ передъ вами. Такая она на видъ славная баба. Ея попеченіямъ о другихъ нѣтъ конца. Руководствуется она во всемъ только чувствомъ «доброты», мнитъ себя настоящей христіанкой и при этомъ разсказываетъ съ невозмутимою простотою невѣроятныя мерзости. Она постоянно удивляется, что за ея «доброту» ее то и дѣло постигаютъ напасти, и удивляется совершенно искренно, потому что мораль у нея своеобразная. Въ церковь она ходитъ, Богу молится, но въ сущности заботится лишь объ одномъ,—какъ бы прожить безбѣдно. Эта баба позволяетъ намъ бросить глубокій взглядъ въ народную жизнь. Она по натурѣ— человѣкъ недурной и одарена значительными способностями, но другого идеала у нея нѣтъ, кромѣ заботы о собственномъ благополучіи. Видитъ она всюду обманъ и ложь, и съ нею въ этомъ отношеніи дѣйствительно не церемонились: ее обманывали и надували, при случаѣ истязали, и ей кажется, что она еще гораздо лучше другихъ людей, потому что, когда она, напримѣръ, ведетъ женщину, находящуюся въ крайности, на позоръ, то чувствуетъ къ ней нѣкоторое состраданіе, а та угощаетъ ее пощечиной. Противопоставленіе того, что происходитъ въ душѣ Домны и ея жертвы во время этой сцены, представляетъ такой блестящій психологическій анализъ, какой встрѣчается только у большихъ художниковъ. И вотъ эта-то баба наконецъ сама въ первый разъ въ жизни узнаетъ, что такое сильная привязанность. Любовь ея несчастна, и тутъ только передъ нею раскрывается завѣса того мрака, которымъ она была окутана всю жизнь. Святое чувство любви растоптано, и Домна, всю свою жизнь только думавшая о наживѣ, вдругъ становится

страдалицею, и сознаніе, что она могла испытать такое сильное горе, сближаетъ насъ съ нею, заставляетъ насъ забыть всѣ ея грѣхи. Любовь къ ближнему, самоотверженіе, даже въ этой грубой формѣ, возвышаетъ, облагораживаетъ человѣка.

Сопоставляя эти два очерка съ разобранными нами романами, мы видимъ, что, независимо отъ сравнительныхъ достоинствъ всѣхъ этихъ произведеній, они внушены идеею и чувствомъ, не имѣющими ничего общаго съ озлобленіемъ, будто бы вызваннымъ инцидентомъ съ «Некуда», но находящимися въ тѣсной связи съ міросозерцаніемъ Лѣскова, какъ оно сложилось еще въ дни дѣтства и юности. Сѣмена, тогда посѣянныя, даютъ иногда пышные всходы, такіе цвѣты, какіе рѣдко встрѣчаются не только въ нашей, но и въ европейской литературѣ.

Слѣдующія по порядку произведенія Лѣскова, сатирическіе очерки: «Смѣхъ и горе» и народная легенда «Очарованный странникъ» еще болѣе насъ убѣждаютъ, что творчество Лѣскова представляетъ собою дерево, прямо выросшее изъ почвы и достигшее доступной ему вершины, безъ всякаго уклоненія въ сторону. Эти двѣ вещи по своей реальности, по неисчерпаемому богатству бытовыхъ чертъ не допускаютъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онѣ написаны авторомъ, не только глубоко изучившимъ Россію, но и чуждымъ всякой тенденціозности. Жизнь какъ бы сама собою развертывается передъ вами, и присматриваясь къ ней, вы не знаете,—плакать или смѣяться,—такъ близко трагическое соприкасается съ комическимъ. Мы не можемъ доставить себѣ здѣсь удовольствія познакомить читателя хотя бы только съ выдающимися частностями этихъ двухъ картинъ русской жизни; впрочемъ въ этомъ и не представляется надобности, потому что онѣ — въ его рукахъ. Для нашей задачи важно только отмѣтить общій выводъ, который получается при ихъ созерцаніи. О, Русь, это ты! Становой, углубившійся въ дебри философіи и не видящій, что у него происходитъ подъ носомъ, богатый помѣщикъ, весь ушедшій въ протестъ и доходящій въ этомъ отношеніи до комизма, до самыхъ непростительныхъ выходокъ, докторъ, не вѣрящій въ медицину, мировой посредникъ, поощряющій народное образо-

ваніе тѣмъ, что беретъ взятки школами, либеральная губернаторша, проливающая слезы о томъ, что мужъ ея губернаторъ, а не редакторъ, губернаторъ, мечтающій о томъ, какъ бы выпороть всю Европу и учредить парижскую губернію, наконецъ самъ разсказчикъ, который, несмотря на добрыя свои намѣренія, ничего не можетъ сдѣлать, даже просто не можетъ разобраться во всемъ этомъ хаосѣ, въ этомъ невообразимомъ сумбурѣ! У людей, дѣйствующихъ въ жизни, бродятъ въ головѣ самыя разнообразныя религіозныя, политическія, общественныя, философскія идеи, если только они не живутъ, какъ жандармскій офицеръ Постельниковъ, исключительно для удовлетворенія низменныхъ инстинктовъ; но изъ всего этого ничего не выходитъ или выходитъ одно только уродство, потому что эти люди практической задачи себѣ не создали и постоянно уклоняются куда-то въ сторону. Если таковъ основной смыслъ очерковъ: «Смѣхъ и горе», то, читая «Очарованнаго странника», котораго мы назвали народною легендою и котораго вѣрнѣе было бы назвать сборникомъ легендъ, написанныхъ въ чисто-народномъ духѣ и съ неистощимымъ народнымъ юморомъ, мы убѣждаемся, что и въ народѣ вслѣдствіе той же причины гибнутъ и силы, и дарованія, и хорошія стремленія. Очарованный странникъ проявляетъ неистощимый запасъ энергіи, самоотверженія, честности, находчивости, но все это ни къ чему не приводитъ. Остается только сказать то, что сказалъ лѣкарь, лѣчившій его послѣ одного изъ безконечныхъ его похожденій: «Экій ты, братецъ, барабанъ. Били тебя, били, и все никакъ еще не добьютъ».

Начертавъ эти мрачныя картины русской дѣйствительности, Лѣсковъ спѣшитъ указать на вѣрный по его мнѣнію выходъ изъ этого безотраднаго положенія. Въ семейной хроникѣ «Захудалый родъ» онъ переноситъ читателя въ дореформенную Россію и показываетъ, какъ много могъ сдѣлать хорошій человѣкъ уже тогда, при сравнительно столь неблагопріятныхъ условіяхъ. Выведенная имъ въ этой хроникѣ княгиня Протозанова несомнѣнно является «праведницею» въ томъ смыслѣ, какой придастъ Лѣсковъ этому слову. Основное правило ея жизни: «самъ въ себѣ человѣка уважай». Потерявъ еще въ молодости мужа, она всецѣло

посвятила себя воспитанію дѣтей и благу своихъ крестьянъ. Она безъ всякихъ фразъ достигла того, что дѣйствительно «вошла въ народъ или, какъ говорятъ, слилась съ нимъ». Всякой истинной бѣдѣ она умѣла помочь, и «всѣ искали свѣта не въ городѣ, а въ Протозановѣ». Чрезвычайно любопытно ея столкновеніе съ графиней Хотѣтовой. Она не терпѣла ни ханжей, ни узкихъ патріотовъ, ни тогдашнихъ космополитовъ. Графиня поучала, что надо помнить Бога и молиться Ему; а княгиня добавляла: «безъ добрыхъ дѣлъ и молитва не пользуетъ». Графиня говорила, что надо умѣть себя сдерживать, поститься; а княгиня возражала: «Лошади никогда мяса не ѣдятъ, а все, какъ они скоты, то скотами остаются... самое главное о другихъ помнить». Графиня говорила о храмѣ Божіемъ, чтобы «благолѣпіе духъ возбуждало»; а княгиня прибавляла: «Надо бѣднымъ тяготы посбавить, а не гробы золотить и не башни строить; тогда скорѣе начнется Христово царствіе». У нея слово не расходилось съ дѣломъ, деревни ея процвѣтали. Она кончила тѣмъ, что роздала все свое имущество крестьянамъ и поселилась нахлѣбницею у своихъ сыновей.

Можно сказать, что «Захудалый родъ» послужилъ началомъ цѣлаго ряда очерковъ, въ которыхъ Лѣсковъ началъ выводить «праведниковъ», то-есть идеально-настроенныхъ людей, которые умѣютъ быть полезными въ жизни. Если онъ съ большою симпатіею изобразилъ намъ такихъ идеалистовъ, какъ Овцебыкъ, Райнеръ (Бенни), Коза, Червевъ, Рагожинъ и т. д.,—людей, которые, несмотря на возвышенное свое настроеніе, ничего не достигаютъ и ведутъ жизнь бродячую, безпріютную, то его «праведники» наоборотъ—приносятъ другимъ несомнѣнную пользу и составляютъ тотъ классъ людей, которые сильнѣе другихъ дѣлаютъ исторію, двигаютъ незамѣтно, но вѣрно культурные успѣхи. Въ нихъ воплощается плодотворная работа, болѣе всего обезпечивающая благополучіе родины. Разсказовъ, написанныхъ на эту тему, у Лѣскова не мало. Для нашей цѣли, однако, достаточно отмѣтить главные. Таковы: «Кадетскій монастырь», «Несмертельный Голованъ», «Пугало», «Фигура», «Дурачокъ», «Однодумъ», «Пигмей», хотя люди того же типа встрѣчаются, какъ мы видѣли и какъ мы еще увидимъ, и въ другихъ произведе-

піяхъ Лѣскова. Онъ беретъ ихъ изъ всѣхъ сферъ жизни. Вы тутъ встрѣтитесь и съ крестьяниномъ, живущимъ впроголодь, и съ купцомъ, и съ помѣщикомъ, и съ администраторомъ, и съ священникомъ. На нихъ Лѣсковъ останавливается съ особенною любовью, потому что они наиболѣе соотвѣтствуютъ его идеалу дѣятельной любви къ ближнему и потому что онъ эту любовь считаетъ наиболѣе вѣрнымъ средствомъ исцѣленія нашихъ общественныхъ недуговъ, въ томъ числѣ склонности увлекаться фразами и теоріями, несоразмѣренными съ жизнью. Какъ бы для того, чтобы лучше оттѣнить свою мысль, онъ рисуетъ намъ еще типичную фигуру «Шерамура», человѣка, выбросившаго всѣ идеальныя стремленія за бортъ и поставившаго себѣ лозунгомъ короткое слово: «жрать». Какъ и крайніе идеалисты, онъ совершенно не умѣетъ найтись въ жизни, выбитъ изъ колеи и является характернымъ продуктомъ тѣхъ элементовъ нашей интеллигенціи, которые утратили почву въ жизни. Кончаетъ онъ тѣмъ, что становится мужемъ престарѣлой содержательницы парижскаго кабачка, которая за любовь даетъ ему «жрать» въ волю. Вотъ этимъ безпочвенникамъ, будь они крайніе идеалисты, какъ Райнеръ, или крайніе матеріалисты, какъ Шерамуръ, Лѣсковъ противопоставляетъ своихъ «праведниковъ», крѣпко приросшихъ къ родной почвѣ и воплощающихъ каждый въ своей сферѣ великій законъ дѣятельной любви къ ближнему и этимъ вѣрнѣе всего содѣйствующихъ культурнымъ успѣхамъ народа. Эти люди не разсуждаютъ, не философствуютъ, не выступаютъ героями; они какъ бы совершенно забываютъ о себѣ и помнятъ только о ближнемъ. Возьмемъ для примѣра мужика Селивана въ одномъ изъ лучшихъ разсказовъ Лѣскова: «Пугало». Онъ жестоко провинился предъ людьми,—призрѣлъ всѣми отверженную дочь палача, женился на ней и, опасаясь людского презрѣнія, держался отъ всѣхъ въ сторонѣ. Онъ и сдѣлался для людей пугаломъ. Всѣ избѣгали его общества. Но онъ сумѣлъ сохранить въ душѣ своей, несмотря на общее нерасположеніе, доходившее по временамъ до ненависти,—свѣтлыя душевныя качества. Случай его выручилъ: онъ оказалъ услугу одной изъ тетокъ Лѣскова, проявивъ при этомъ рѣдкую честность, и судьба его измѣнилась.

Но сколько лѣтъ онъ влачилъ самое жалкое существованіе, посвятивъ себя спасенію *одного* ближняго. Если бы ему дана была возможность заботиться о *многихъ*, сколько бы добра онъ сдѣлалъ! Въ такомъ положеніи находился «Однодумъ», Алексашка Рыжовъ, который случайно попалъ въ квартальные, а затѣмъ и въ городничіе. Сколько онъ сдѣлалъ добра только тѣмъ, что воздерживался отъ удовлетворенія алчныхъ аппетитовъ прежнихъ полицейскихъ чиновъ! «Несмертельный Голованъ», преисполненный любви къ ближнему, не боится страшной заразы и приходитъ на помощь крестьянамъ, служитъ имъ и при другихъ обстоятельствахъ словомъ и дѣломъ. Авторъ характеризуетъ людей этого рода слѣдующимъ образомъ: «Одушевляющая ихъ совершенная любовь ставитъ ихъ выше всѣхъ страховъ». Въ «Кадетскомъ монастырѣ» мы встрѣчаемъ уже людей, приставленныхъ къ дѣлу воспитанія молодежи. Предъ нами корпусъ николаевскихъ временъ, а если познакомиться съ тогдашними директоромъ, экономомъ и врачомъ этого заведенія, то можно только пожелать, чтобы во всякое время находились такіе дѣятели. Черезъ руки экономa, напримѣръ, прошло 24 милліона, а его самого пришлось похоронить на казенный счетъ. Какую любовь, какое уваженіе внушали эти люди воспитанникамъ, и какъ они умѣли поддерживать въ нихъ человѣческія чувства!..

Но довольно объ этихъ «праведникахъ». Мы достаточно сказали, чтобы выяснить основную мысль автора. Знакомясь съ соотвѣтствующими разсказами Лѣскова, читатель пойметъ, какое значеніе они имѣютъ для характеристики міросозерцанія Лѣскова.

V.

Уяснивъ себѣ общее міросозерцаніе Лѣскова, мы легко поймемъ и ту роль, которую онъ сыгралъ, какъ изслѣдователь нашей религіозной жизни и знаменитый бытописатель нашего духовенства и раскольниковъ. Какъ по своему происхожденію, такъ и по воспоминаніямъ дѣтства и молодости, онъ стоялъ очень близко къ духовной средѣ. Онъ былъ внукъ священника, воспитывался подъ непосредственнымъ вліяніемъ священниковъ, росъ въ городѣ, гдѣ жило очень много раскольниковъ самыхъ различныхъ толковъ,

до крайнихъ сектъ включительно. Все это невольно обращало вниманіе пытливаго и наблюдательнаго ребенка и юноши на религіозную жизнь нашего народа и общества. Мало того, наиболѣе сильныя дѣтскія впечатлѣнія у него связаны, какъ мы видѣли, съ религіозною жизнью. Образъ тети Полли и Гильдегарды навсегда врѣзался въ его память; онъ съ благодарностью до конца жизни вспоминалъ о своемъ законоучителѣ и другихъ священникахъ, вліявшихъ на него въ дѣтствѣ. Религіозное воздѣйствіе на него было, слѣдовательно, не одностороннее: Христосъ говорилъ съ нимъ черезъ посредство православныхъ священниковъ, лютеранъ, квакеровъ. Обративъ усиленное вниманіе на религіозную жизнь, онъ при своей впечатлительности и наблюдательности улавливалъ всѣ оттѣнки религіознаго чувства и не пропускалъ случая основательно познакомиться съ бытомъ и нравами представителей разныхъ религій, а случаевъ этихъ ему представилось не мало и въ родномъ Орлѣ, и въ окрестныхъ усадьбахъ, и въ Кіевѣ, и во время служебныхъ разъѣздовъ по кіевской губерніи или странствованія по Россіи въ качествѣ агента Шкота.

Такимъ образомъ и въ этой области у него накопился богатый запасъ наблюденій. Но, можетъ-быть, этотъ запасъ пропалъ бы даромъ или по крайней мѣрѣ не былъ бы разработанъ имъ въ такомъ совершенствѣ и съ такою полнотою, если бы все его міросозерцаніе не покоилось на религіозномъ фундаментѣ, на дѣятельной любви къ ближнему. Онъ всюду искалъ носителей этой любви. Понятно, что онъ ихъ искалъ особенно усердно въ той средѣ, которая по жизненному своему призванію обязана проявлять эту любовь и возбуждать ее въ другихъ. Произведенія Лѣскова, посвященныя описанію религіозной жизни и быта ея главныхъ представителей, слѣдовательно находятся въ самой тѣсной связи съ общимъ его міросозерцаніемъ и должны быть изучаемы съ этой точки зрѣнія; иначе мы ихъ никакъ не оцѣнимъ по достоинству. Въ сферѣ религіозной онъ искалъ, какъ въ общественной и общенародной жизни, носителей воодушевлявшаго его глубокаго альтруистическаго чувства.

Мы видѣли уже, что первымъ его печатнымъ произведеніемъ

была статья о распространеніи Евангелія. Попавъ въ водоворотъ тогдашней бурной петербургской жизни съ ея отрицаніемъ религіозныхъ началъ, онъ однако не подчиняется общему теченію, а продолжаетъ усердно заниматься вопросами религіи. Слѣды этой работы бросаются въ глаза и въ первыхъ его бесллетристическихъ произведеніяхъ. Въ «Овцебыкѣ» онъ даетъ мастерскую картину жизни въ пустынѣ, касается раскольничьяго быта; въ томъ же году появляется его чрезвычайно интересное изслѣдованіе «О раскольникахъ города Риги», составленное по порученію тогдашняго министра народнаго просвѣщенія, извѣстнаго Головнина. Въ «Некуда» онъ выводитъ симпатичный типъ игуменьи Агніи и одновременно рисуетъ намъ быть «людей древляго благочестія»; въ «Островитянахъ» изображаетъ крайне симпатичными чертами представителя совершенно иной религіозной секты — гернгутера, и тотчасъ же принимается за классическое въ нашей литературѣ произведеніе «Соборяне»,—эту первую блестящую картину быта нашего православнаго духовенства и душевной борьбы, переживаемой лучшими его представителями.

Центральная фигура этой хроники—провинціальный протопопъ Туберозовъ. Чтобы охарактеризовать его настроеніе, достаточно взять сцену, когда Туберозовъ видитъ, какъ полунищій Пизонскій, призрѣвшій младенца дурочки Насти, обольщенной прохожимъ солдатомъ, стоялъ на лѣстницѣ утвержденнаго на столбахъ разсадника, погружалъ зерна и молился: «Боже, устрой и умножь и возрасти на всякую долю человѣка голоднаго и сираго, хотящаго, просящаго и произволящаго, благословляющаго и неблагодарнаго». О. Туберозовъ вноситъ по этому поводу въ свои «нотатки» слѣдующія слова: «Я никогда не встрѣчалъ такой молитвы въ печатной книгѣ. Боже мой, Боже мой! Этотъ старикъ садилъ на долю вора и за него молился. Это можетъ быть гражданскою критикой не очищается, но это ужасно трогаетъ. О, моя мягкосердечная Русь, какъ ты прекрасна!» Вотъ еще его взглядъ на проповѣдь: «Я ощущаю порой нѣчто на меня сходящее, когда любимый даръ мой ищетъ дѣйствія; мною тогда овладѣваетъ нѣкое, позволю себѣ сказать, священное безпокойство; душа трепещетъ и горитъ, и слово падаетъ изъ устъ, какъ

уголь горящій. Нѣтъ, тогда въ душѣ моей есть свой законъ цензуры... а они требуютъ, чтобы я вмѣсто живой рѣчи, направляемой отъ души къ душѣ, дѣлалъ риторическія упражненія... Я сей дорогой не ходокъ... Я изъ-подъ неволи не проповѣдникъ».

Таковы основы религіознаго чувства о. Туберозова. Его дѣятельность — борьба съ тѣми, кто такого религіознаго чувства не признаетъ. Онъ предпочитаетъ, чтобы храмъ его былъ пусть, чѣмъ чтобы онъ былъ наполненъ людьми, посѣщающими его по постороннимъ соображеніямъ, изъ чувства страха или по другимъ мотивамъ. О силѣ воздѣйствія о. Туберозова на людей можно судить по отношеніямъ, которыя устанавливаются между нимъ и дьякономъ Ахиллой,—этимъ удалымъ казакомъ, по ошибкѣ попавшимъ въ духовныя особы, по натурѣ своей, молодеческой, буйной, совершенно неспособнымъ къ проявленію пастырскихъ добродѣтелей и постепенно перерождающимся подъ вліяніемъ о. Туберозова. Фигура дьякона Ахиллы въ художественномъ отношеніи такъ же прекрасна, какъ фигура о. Туберозова—въ идейномъ. Надо ли разсказывать, чѣмъ кончилась глухая борьба, затѣянная протопопомъ? «Прости слѣпому роду его жестокосердіе»,—напутствуетъ его въ смертный часъ его товарищъ о. Захарія. А когда онъ умеръ, дьяконъ Ахилла въ первый разъ въ жизни проявилъ краснорѣчіе и судорожно пролепеталъ дрожащими устами: «Въ мірѣ бѣ, и міръ его не позна»—и вдругъ, не находя болѣе соотвѣтствующихъ словъ, побагровѣлъ и, какъ бы ловя высохшими глазами слова, начертанныя для него въ воздухѣ, грозно воскликнулъ: «но воззрятъ на него же прободоша»...

Такъ кончается жизнь о. Туберозова, цѣликомъ ушедшаго въ исполненіе заповѣди о любви къ ближнему. Мы не станемъ останавливаться на другихъ типахъ, выведенныхъ въ этомъ замѣчательномъ произведеніи, потому что они встрѣчаются во многихъ произведеніяхъ Лѣскова и нами уже отмѣчены. Богатая помѣщица Марѳа Андреевна является разновидностью княгини Протозановой, осмѣянные въ хроникѣ «новые люди» принадлежатъ къ числу тѣхъ, которые преслѣдуютъ подъ личиною громкихъ фразъ эгоистическіе и своекорыстные интересы и т. д. Мы те-

перь хотимъ только выяснить, какъ основное міросозерцаніе Лѣскова отразилось на его изображеніи религіозной жизни. Въ окончательной своей редакціи «Соборяне» появились въ 1872 году. Мысль, положенную въ ихъ основаніе, Лѣсковъ развиваетъ затѣмъ въ цѣломъ рядѣ очерковъ, изъ которыхъ нѣкоторые могутъ быть названы перлами художественнаго творчества. Нарисовавъ картину быта православнаго духовенства, онъ въ «Запечатлѣнномъ Ангелѣ» рисуетъ намъ старовѣровъ, поклоняющихся буквѣ, формѣ, но не понимающихъ духа христіанскаго. Изумительно рельефна въ этомъ отношеніи фигура раскольника-старца Малахія, изображеннаго позднѣе Лѣсковымъ въ его «Печерскихъ антикахъ». Онъ ждетъ не дождется посрамленія своихъ враговъ и вѣритъ, что при открытіи въ высочайшемъ присутствіи новоотстроеннаго моста въ Кіевѣ, императоръ осѣнитъ себя двуперстнымъ крестнымъ знаменіемъ, и что тогда настанетъ часъ торжества раскольниковъ. Тѣмъ временемъ онъ моритъ голодомъ своего вѣрнаго слугу, такъ что тотъ умираетъ впослѣдствіи отъ рака въ желудкѣ, проклявъ расколъ съ его мертвящимъ буквоѣдствомъ.

Борьба съ расколомъ, по мысли автора, можетъ быть успѣшна не на почвѣ внѣшняго принужденія, словопреній, богословской казуистики, а лишь на почвѣ альтруистической. Когда старовѣры встрѣчаются съ людьми, проникнутыми этимъ духомъ, они невольно чувствуютъ къ нимъ симпатію или даже преклоняются передъ ними и признаютъ себя побѣжденными. Они уважаютъ и любятъ англичанина и его жену, проникнутыхъ духомъ вѣротерпимости и состраданія. Когда старовѣръ встрѣчаетъ отшельника Памву, проникнутаго тѣмъ же духомъ, онъ восклицаетъ: «Господи, дерзаю разсуждать: если только въ церкви два такіе человѣка есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевленъ». Еще рѣзче и въ дивной формѣ выражена мысль о спасительности дѣятельной любви къ ближнему въ очеркѣ: «На краю свѣта», въ которомъ авторъ беретъ просвѣщеннаго пастыря нашей церкви (позднѣйшаго архіепископа ярославскаго Нила) и разсказываетъ съ его словъ, какой характеръ приняла его миссіонерская дѣятельность среди зырянъ. Мѣстный монахъ относится къ

крещенію зырянъ какъ-то странно, какъ будто даже ему не сочувствуетъ, и архіерей никакъ не можетъ понять его настроенія до тѣхъ поръ, пока не видитъ, какъ совершается миссіонерская дѣятельность и невѣжественный зырянинъ не спасаетъ ему жизни, подвергаясь самъ страшной опасности. Фабула этого разсказа нѣсколько напоминаетъ написанный 20 лѣтъ спустя разсказъ графа Льва Толстого: «Хозяинъ и работникъ»; но только тутъ замерзаетъ архіерей и зырянинъ. Когда послѣдній спасаетъ архіерея, тотъ предается слѣдующимъ размышленіямъ: «Онъ бѣжалъ сутки конечно движимый не однимъ естественнымъ чувствомъ состраданія ко мнѣ, а дорожа возсоединеніемъ съ тѣмъ Хозяиномъ, Который сверху смотритъ. Что же я съ нимъ сотворю теперь? Возьму ли я у него эту религію и разобью ее, когда другой лучшей и сладостнѣйшей я лишенъ возможности дать ему, доколѣ слова путаютъ смыслъ смертнаго, а дѣлъ для плѣненія его показать невозможно? Неужто я стану страхомъ его пудить или выгодою защиты обольщать?.. Гдѣ мои средства его воспитать, его просвѣтить, когда нѣтъ ихъ, этихъ средствъ, и все какъ бы нарочито такъ устроено, чтобы имъ не быть въ моихъ рукахъ?.. Здѣсь печать, которую несвободной рукой не распечатаешь... Ей гряди, Христосъ, ей гряди Самъ въ сіе сердце чистое, въ сію душу смирную, а доколѣ медлишь, доколѣ не изволишь сего, пусть милы ему будутъ эти снѣжныя глыбы его долинъ, пусть въ свой день онъ скончается... Не мнѣ ставить въ колоды ноги его и преслѣдовать его стези, когда Самъ Сый написалъ перстомъ Своимъ законъ любви въ сердцѣ его и отвелъ его въ сторону отъ дѣлъ гнѣва».

Надо ли послѣ этого еще указывать на основную мысль «Некрещенаго попа»? Герой этого разсказа, православный священникъ Савва—воспитанникъ штундиста, вокругъ него вездѣ штундисты, но его церковь всегда наполнена молящимся православнымъ людомъ, потому что и въ его сердцѣ «написанъ законъ любви», потому что и онъ далекъ «отъ дѣлъ гнѣва».

Мы не имѣемъ возможности коснуться здѣсь другихъ произведеній Лѣскова изъ духовнаго быта, хотя они написаны съ тѣмъ же глубокимъ знаніемъ предмета и съ тою же поразительною

художественною правдою. Укажемъ для примѣра только на «Владычный судъ», гдѣ, какъ и въ «Некрещеномъ попѣ», высокій представитель нашей церкви дѣйствуетъ въ духѣ Христа и предотвращаетъ глубокую неправду. Но и въ этомъ отношеніи Лѣсковъ, какъ всегда, раскрываетъ не только положительныя, но и отрицательныя стороны изображаемой имъ жизни. Вотъ почему съ нимъ буквально повторилось въ 70-хъ годахъ, когда онъ особенно усердно занимался изображеніемъ нашей духовной среды, то, что съ нимъ случилось, когда онъ въ 60-хъ годахъ посвящалъ преобладающее вниманіе изображенію «новыхъ людей». Авторъ «Соборянъ», «На краю свѣта», «Некрещенаго попа», въ полной мѣрѣ раздѣлилъ участь автора «Некуда» и «На ножахъ». Правда, очевидно, глаза колетъ, и какъ Лѣсковъ въ 60-хъ годахъ не угодилъ либераламъ, такъ онъ въ 70-хъ не угодилъ консерваторамъ. Противъ него пущена была въ ходъ интрига. Прежде его признавали отъявленнымъ врагомъ молодежи, а теперь—«потаеннымъ и хитро-ласковымъ нигилистомъ». Этотъ новый походъ противъ Лѣскова стоилъ ему матеріальнаго обезпеченія, которымъ онъ пользовался, состоя на службѣ въ ученомъ комитетѣ министерства народнаго просвѣщенія и въ министерствѣ государственныхъ имуществъ. «Соборяне» обратили на себя милостивое вниманіе императрицы Маріи Александровны, но тѣмъ не менѣе, благодаря интригамъ, Лѣсковъ вынужденъ былъ отказаться отъ службы въ министерствѣ государственныхъ имуществъ, а въ 1883 г., вслѣдствіе указанія, что священники по назначенію бываютъ иногда не лучше священниковъ по избранію,—онъ былъ уволенъ «безъ прошенія» и со службы въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Такое рѣзкое увольненіе отчасти было вызвано самимъ Лѣсковымъ, который не пожелалъ подчиниться установленной въ подобныхъ случаяхъ формѣ. Утверждаютъ, что ему легко было предотвратить этотъ ударъ, но что онъ этого не хотѣлъ, зная, что его отставка вызвана была желаніемъ до извѣстной степени стѣснить свободу сужденій, высказываемыхъ имъ печатно. Когда Лѣскову предстоялъ выборъ—пожертвовать личными своими интересами или свободою убѣжденій, онъ всегда приносилъ въ жертву первые. Такъ онъ по-

ступилъ въ дни молодости, такъ поступилъ и теперь: житейскій опытъ его въ этомъ отношеніи не умудрилъ. Онъ выше всего ставилъ честь писателя и выстраданныя имъ убѣжденія. Жертва, которую онъ приносилъ, была очень тяжелая, потому что у него не было другихъ средствъ къ существованію, кромѣ литературнаго труда, доставлявшаго ему скудное вознагражденіе, несмотря на блестящія дарованія, также потому, что онъ во всемъ и всегда хотѣлъ оставаться самимъ собою.

Разставшись съ казенною службою, онъ продолжалъ попрежнему обсуждать религіозные вопросы. Общество все рѣшительнѣе шло ему навстрѣчу. Вопросы религіи и нравственности начали усиленно занимать общество, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ гр. Л. Толстой, слѣдуя примѣру Лѣскова, начерталъ на своемъ знаменіи лозунгъ любви къ ближнему. Лѣсковъ конечно очень обрадовался такому вліятельному союзнику и въ цѣломъ рядѣ газетныхъ статей горячо его защищалъ противъ нападокъ съ разныхъ сторонъ. Одно время могло даже казаться, что Лѣсковъ и гр. Л. Толстой пойдутъ рука объ руку, будутъ дѣйствовать въ одномъ и томъ же направленіи, отчасти даже пользуясь одинаковымъ оружіемъ, то-есть воскрешеніемъ древне-христіанскихъ легендъ для распространенія въ нашемъ обществѣ христіанскихъ началъ. Дѣйствительно, Лѣсковъ написалъ цѣлый рядъ такихъ легендъ, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣютъ несомнѣнныя художественныя достоинства и всѣ проникнуты тѣмъ духомъ, который нашелъ себѣ такое яркое выраженіе въ о. Туберозовѣ. Сюда относятся такія общеизвѣстныя произведенія, какъ «Скоморохъ Памфалонъ», «Прекрасная Аза», «Аскалонскій злодѣй», «Гора» и т. д. Къ этому разряду легендъ относится, хотя она и не касается первыхъ временъ христіанства, и легенда: «Часъ воли Божіей». Возьмемъ нѣкоторыя изъ нихъ, чтобы выяснить основную ихъ идею. Въ «Скоморохѣ Памфалонѣ» выводится столпникъ, 30 лѣтъ живущій въ столбѣ, послѣ того, какъ онъ роздалъ все свое богатство, никого въ сущности не удовлетворивъ. Но и въ аскетическомъ своемъ подвигѣ онъ не находитъ настоящаго удовлетворенія. И вдругъ ему было видѣніе, что настоящій праведникъ — скоморохъ Памфалонъ. Столп-

никъ идетъ разыскивать его и къ своему удивленію видитъ, что Памфалонъ—настоящій скоморохъ, забавляющій даже гетеръ. Но этотъ скоморохъ отличается отъ столпника тѣмъ, что онъ «не находитъ времени думать о своемъ спасеніи, потому что ему приходится думать все о другихъ». Онъ постоянно раздастъ все, чтобы спасти ближняго, и самъ весь уходитъ въ дѣло оказанія помощи ближнему. Вернувшись на мѣсто своего аскетическаго подвига, столпникъ уже не входитъ въ столпъ, а посвящаетъ себя служенію мѣстнымъ жителямъ. Таково же содержаніе легенды о «Совѣстномъ Данилѣ», который находитъ себѣ успокоеніе только тогда, когда перестаетъ «мечтать о подвигахъ, смотритъ ниже», ухаживаетъ за прокаженными, служитъ чѣмъ можетъ людямъ. Такова и судьба прекрасной Азы. Она выросла въ богатствѣ, но пожертвовала все свое состояніе, чтобы спасти бѣдняка. Будучи сама неспособна къ труду, она, побуждаемая голодомъ, становится блудницею. Но именно за свой подвигъ, за отреченіе отъ всего для ближняго, спасается, хотя она и не удостоилась крещенія. По мысли автора, духъ всегда стоитъ выше формы. Другія героини его легендъ, — Тепія и Нефора, подобно Азѣ, хотя и язычницы, но болѣе достойныя женщины, чѣмъ другіе христіане. Основная мысль Лѣскова выражена яснѣе всего въ сказкѣ: «Часъ воли Божіей», гдѣ «важнѣйшимъ часомъ признается теперешній; нужнѣйшій человѣкъ — тотъ, съ которымъ сейчасъ дѣло имѣешь, а самымъ дорогимъ дѣломъ будетъ добро, которое мы можемъ сейчасъ сдѣлать человѣку». Мы видимъ, слѣдовательно, что эти легенды и сказки по духу и настроенію совершенно соотвѣтствуютъ тому, что Лѣсковъ проповѣдывалъ въ началѣ своей литературной дѣятельности: спасаетъ не теорія, не идея, а живое дѣло, направленное къ обезпеченію блага ближняго.

Несмотря, однако, на это видимое совпаденіе основы міросозерцанія Лѣскова съ идеями, которыя такъ рѣшительно сталъ проповѣдывать гр. Толстой въ 80-хъ годахъ, союзники очень скоро разошлись, и этому удивляться, конечно, нельзя. Проповѣдуя любовь къ ближнему, гр. Толстой работаетъ на совершенно иной нивѣ, чѣмъ Лѣсковъ. Если послѣдній кладетъ въ

основу своей практической программы дѣятельную любовь къ ближнему, то онъ при этомъ нисколько не отвергаетъ ни науки, ни современныхъ формъ культурной жизни. Для него легенды изъ первыхъ временъ христіанства служатъ, такъ-сказать, только аллегоріями. Онъ желаетъ, чтобы современный человѣкъ проникся духомъ, господствовавшимъ въ тѣ времена, и вдохнулъ этотъ духъ въ современныя формы жизни, которыя Лѣсковъ признаетъ неизмѣримо выше прежнихъ. Онъ ничего ломать не хочетъ, онъ добивается только дальнѣйшаго усовершенствованія, а возможность этого усовершенствованія усматриваетъ именно въ самоотверженной любви къ ближнему. Графъ же Толстой, указывая на первыя времена христіанства, на разныхъ святыхъ и мудрецовъ, увлекается не только духомъ, господствовавшимъ въ тѣ отдаленныя времена, но и тогдашними формами жизни; онъ отвергаетъ всю современную цивилизацію и въ этомъ отношеніи немного напоминаетъ Овцебыка, не имѣвшаго почти никакихъ потребностей современнаго культурнаго человѣка, отвергавшаго и книги, и журналы, читавшаго только евангеліе, относившагося съ пренебреженіемъ къ господствующимъ формамъ труда и провозглашавшаго: «сердце мое не терпитъ этой цивилизаціи, этой нобилизаціи, этой стерворизаціи» и, когда ему говорили: «да что жъ ты подѣлаешь»,—восклицалъ: «о, когда бъ я зналъ, что съ этимъ можно сдѣлать. О, когда бы это знать!.. Я на ощупь иду».

Лѣсковъ съ грустью взиралъ на Овцебыка и своею мастерскою кистью изобразилъ намъ несчастную судьбу этого человѣка, который, отрѣшившись отъ существующихъ формъ жизни, былъ выброшенъ изъ нея, какъ элементъ негодный, хотя стремленія его были такъ возвышенны, любовь—такъ горяча. Лѣсковъ не только не предлагалъ разрушать существующія формы цивилизованнаго общества, а напротивъ всячески приглашалъ защищать ихъ, какъ цѣнное достояніе напряженныхъ усилій человѣчества въ теченіе тысячелѣтій. Такимъ образомъ союзъ между Лѣсковымъ и гр. Толстымъ не могъ быть проченъ, и въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ произведеній («Зимній день») онъ осмѣиваетъ, какъ прежнихъ «новыхъ» людей, которые въ

свое время «все собирались Бокля читать», такъ и нынѣшнихъ «непротивленцевъ», которые все «собираются что-то дѣлать». Несмотря на все свое уваженіе къ гр. Толстому, онъ не могъ не убѣдиться, что его сторонники, какъ и прежніе нигилисты, ни разрушить, ни создать ничего не могутъ, а пробавляются только однѣми фразами, переодѣваніями, а если повидимому что-то дѣлаютъ, то это дѣло оказывается совершенно безплоднымъ. Такимъ образомъ Лѣсковъ подъ конецъ жизни боролся противъ стараго врага въ новой личинѣ.

VI.

Для полной характеристики Лѣскова мы должны коснуться еще одной стороны его литературной дѣятельности. Мы видѣли, какъ онъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ близко примыкалъ къ живой дѣйствительности, какъ онъ ею интересовался, какъ близко принималъ къ сердцу всѣ ея злобы. Въ этомъ смыслѣ Лѣскова можно смѣло назвать публицистомъ. Онъ началъ свою дѣятельность съ публицистической дѣятельности. Нельзя перечислить всѣхъ вопросовъ, которые его занимали въ этомъ отношеніи. Его изслѣдованій по расколу и старообрядчеству особенно много. Не менѣе часто онъ писалъ о церковныхъ вопросахъ, о семинаріяхъ, о преподаваніи закона Божьяго, о разводѣ, о разныхъ сектахъ, о великосвѣтскомъ расколѣ (Редстокѣ и Пашковѣ), о религіозномъ движеніи въ фабричной средѣ. Очень часто онъ затрогивалъ остзейскій вопросъ. Первый обратилъ вниманіе на прокаженныхъ въ Прибалтійскомъ краѣ. Мы даже смѣло можемъ сказать, что не было крупнаго вопроса за все время его литературной дѣятельности, который онъ не старался бы освѣтить съ своей точки зрѣнія. Особенно кипучую дѣятельность въ этомъ отношеніи онъ проявилъ въ 80-хъ годахъ. Заходила ли рѣчь о германскихъ соціалистахъ, о возможности войны, о народныхъ театрахъ, о Саррѣ Бекеръ и Семеновой, о буддизмѣ, о нищихъ дѣтяхъ, объ отцѣ Іоаннѣ, о заграничныхъ паспортахъ, — онъ всегда находилъ сказать дѣльное слово, иллюстрировать всѣ эти вопросы примѣрами изъ живой дѣйствительности.

Послѣ всего вышеизложеннаго не трудно себѣ уяснить, каковъ

былъ характеръ этой публицистической дѣятельности Лѣскова. Всякій возникавшій вопросъ возбуждалъ въ немъ рядъ воспоминаній, потому что запасъ этихъ воспоминаній былъ у него очень великъ. Онъ освѣщалъ настоящее прошлымъ, какимъ-нибудь интереснымъ случаемъ, непосредственно взятымъ изъ жизни и разсказаннымъ съ свойственнымъ ему мастерствомъ. Такимъ образомъ, публицистика и беллетристика постоянно у него сливались. Онъ словно не могъ иначе думать, какъ только при посредствѣ фактовъ изъ жизни, разныхъ случаевъ, образовъ, запечатлѣвшихся въ его воспріимчивой памяти. О чемъ бы онъ ни заговорилъ, тотчасъ же возникало воспоминаніе, тотчасъ же теоретическія соображенія подкрѣплялись разными случаями изъ жизни. Даже филологическія замѣтки, въ родѣ, напримѣръ, замѣтки о происхожденіи слова «ерунда», превращались у него въ два занимательныхъ разсказа, изъ которыхъ одинъ подкрѣплялъ происхожденіе этого слова отъ латинскаго «герундіумъ», а другой—отъ нѣмецкихъ словъ: hier und da.

Этотъ способъ поясненія своей мысли особенно сильно проявлялся при обсужденіи общественныхъ вопросовъ, относительно которыхъ онъ имѣлъ такой богатый запасъ воспоминаній. Благодаря необычайному мастерству повѣствовательной формы, разсказы эти были всегда занимательны, тѣмъ болѣе, что Лѣсковъ очень часто пользовался столь доступною широкой публикѣ анекдотическою формою. Но онъ лишь въ очень исключительныхъ случаяхъ разсказывалъ анекдоты, такъ-сказать, изъ любви къ искусству: онъ пользовался ими либо, чтобы привлечь вниманіе читателя къ тому или другому вопросу, заинтересовать его, либо для того, чтобы высказать свою мысль въ наиболѣе безобидной формѣ. Лѣскова можно назвать выдающимся русскимъ анекдотистомъ, но только именно въ этомъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ писателя, пользующагося анекдотомъ для проведенія въ общество тѣхъ или другихъ мыслей, убѣжденій.

Самъ Лѣсковъ далъ нѣкоторымъ изъ своихъ произведеній общее заглавіе: «Разсказы кстати». Но подъ это заглавіе могутъ быть подведены и многіе другіе именно въ томъ смыслѣ, что онъ по поводу того или другого возникавшаго вопроса разска-

зывалъ что-нибудь кстати, при чемъ выяснялось и его отношеніе къ этимъ вопросамъ. Такимъ образомъ возникло не одно беллетристическое произведеніе, по большей части изложенное въ формѣ воспоминаній. И дѣйствительно, это нерѣдко—воспоминанія, такъ что авторъ даже не скрываетъ ни мѣста дѣйствія, ни фамилій дѣйствующихъ лицъ, или же прикрываетъ ихъ весьма прозрачными псевдонимами. Но при тонкой наблюдательности Лѣскова, при его изумительномъ умѣньи разсказывать, отмѣчать интересныя положенія и типическія личности, всѣ эти произведенія не только занимательны, но часто отличаются большими художественными достоинствами. Авторъ хочетъ осмѣять модный спиритизмъ, и у него получается такая препотешная безподобнаго юмора вещица, какъ «Духъ г-жи Жанлисъ». Заходитъ рѣчь о настроеніи современныхъ инженеровъ,—Лѣсковъ противопоставляетъ ему нѣсколько примѣровъ изъ прошлаго, часто порицаемаго и тѣмъ не менѣе представлявшаго и много свѣтлыхъ сторонъ, въ разсказѣ: «Инженеры-безсеребренники». Жизнь выдвигаетъ вопросъ о нашихъ торговыхъ правахъ,—появляется трилогія: «Отборное зерно», въ которой авторъ разъясняетъ причины печальнаго состоянія этихъ нравовъ. Проявляется въ нашемъ обществѣ склонность къ святошеству,—и Лѣсковъ пишетъ свою «Маленькую ошибку» или глубоко задуманный «Зимній день». Разражается голодъ,—и наша литература обогащается такою потрясающею картиною, какъ «Юдоль». Всѣ эти произведенія не только многое разъясняютъ, представляя собою тонкое наблюденіе надъ жизнью, но и внушаютъ намъ чувство бодрости: сравнивая настоящее съ прошлымъ, мы видимъ, что недавно еще общія условія были гораздо хуже, но что и тогда уже были борцы, которымъ мы обязаны послѣдовавшимъ улучшеніемъ, что наше вниманіе должно быть главнымъ образомъ направлено на то, чтобы и теперь такіе борцы были, потому что бороться стоитъ, потому что борьба, вѣрно направленная, т. е. веденная при помощи надлежащихъ средствъ, приводитъ къ цѣли. Лѣсковъ кончалъ свою жизнь въ такое время, когда многими овладѣла прострація; противопоставляя современности недавнее прошлое, онъ живыми примѣрами убѣждалъ, что нѣтъ никакого основанія

падать духомъ, что многое уже достигнуто и будетъ достигнуто еще большее, если мы отрѣшимся отъ безпочвенности, отъ безплоднаго умствованія и будемъ энергически работать въ жизни для жизни.

Закатъ дней Лѣскова совпалъ и съ сильнымъ обостреніемъ національнаго вопроса. Надо ли указывать, въ какомъ духѣ онъ обсуждалъ этотъ вопросъ, привыкнувъ уже съ дѣтства различать въ людяхъ разныхъ національностей, каковъ бы ни былъ ихъ внѣшній обликъ, какъ бы они ни молились Богу, прежде всего человѣка. Англичанка Гильдегарда, нѣмецъ Коза научили его вмѣстѣ съ православнымъ священникомъ вѣрить въ Бога, когда онъ былъ ребенкомъ. Ребенкомъ же онъ научился различать человѣка подъ оболочкою раскольника. Когда онъ подросъ, онъ то и дѣло встрѣчался съ евреями и поляками. Русскій ученый научилъ его думать объ общественныхъ вопросахъ; англичанинъ Шкотъ показалъ ему наглядньмъ примѣромъ, какъ можно съ успѣхомъ трудиться въ русской дѣйствительности. Въ началѣ своей литературной дѣятельности онъ жилъ нѣкоторое время за границею, присматриваясь къ тамошнимъ людямъ и порядкамъ; затѣмъ еще нѣсколько разъ побывалъ за границею, впослѣдствіи проводилъ лѣто то въ Финляндіи, то въ остзейскихъ губерніяхъ: подъ Ригою, Ревелемъ, въ Аренсбургѣ, Мерекюлѣ. И, какъ въ дѣтствѣ онъ своею воспріимчивою душою сразу уловилъ, что было прекраснаго въ нѣмцѣ Козѣ или англичанкѣ Гильдегардѣ, такъ онъ впослѣдствіи, при наблюдательномъ своемъ умѣ и благорасположеніи ко всѣмъ людямъ, умѣлъ отличать въ представителѣ каждой національности то, что въ немъ было хорошаго, и то, что ему мѣшало быть хорошимъ. Если Лѣсковъ къ собственной своей странѣ и къ собственному своему народу, благополучіе которыхъ были ему дороже всего на свѣтѣ, относился подчасъ сурово, любящею рукою клеймилъ его недостатки, желая видѣть его болѣе совершеннымъ, то онъ указывалъ и на недостатки другихъ народовъ, но не для того, чтобы превознести собственный, а для того, чтобы добиться нормальной совмѣстной ихъ жизни тамъ, гдѣ Богъ судилъ имъ жить вмѣстѣ и разрѣшать общія задачи. Онъ часто указывалъ на національные недостатки

евреевъ, поляковъ, нѣмцевъ, но противупоставлялъ имъ наши собственные недостатки и такимъ образомъ выяснялъ истинныя причины существующихъ разногласій. Въ разсказѣ «Антука» онъ добродушно подсмѣивается надъ польскимъ возстаніемъ, а въ разсказѣ «Русскій демократъ» въ остроумной формѣ указываетъ на причины нашихъ неудачъ въ Польшѣ, зависящихъ отъ насъ самихъ. Къ этимъ двумъ разсказамъ присоединяется третій: «Интересные мужчины», изъ котораго ясно видно, какъ далекъ авторъ отъ чувства національнаго антагонизма. Разсказъ «Колыванскій мужъ» убѣждаетъ читателя, какъ трезво относился Лѣсковъ къ остзейскому вопросу и какимъ горячимъ онъ былъ одушевленъ желаніемъ рѣшить этотъ вопросъ не въ духѣ Аксакова, а съ соблюденіемъ требованій справедливости по отношенію ко всѣмъ заинтересованнымъ сторонамъ. Въ разсказѣ «Дама и Фефёла», собственно посвященномъ указанію на истинныя основы счастливой супружеской жизни, онъ мимоходомъ выводитъ симпатичный типъ финскаго простолюдина. Наконецъ, когда онъ касается еврейскаго вопроса, то часто не щадитъ евреевъ, указывая на ихъ отрицательныя стороны («Ракушанскій Меламедъ», «Владычный судъ»), но какъ въ послѣднемъ изъ этихъ разсказовъ онъ умѣетъ возвыситься до чувства полной справедливости, такъ онъ въ «Сказаніи о Федорѣ-христіанинѣ и о другѣ его Абрамѣ-жидовинѣ» затрогиваетъ такія струны, которыя звучатъ въ сердцахъ, глубоко проникнутыхъ изреченіемъ: «нѣсть эллина, ни іудея» и «оскорбляемыхъ нестерпимымъ дыханіемъ братоненавидѣнія и злопомненія». Христіанинъ Федоръ и еврей Абрамъ послѣ цѣлаго ряда злоключеній, послѣ дружбы въ дѣтствѣ и позднѣе жестокой ссоры основываютъ пріютъ для «всѣхъ бѣдныхъ дѣтей всѣхъ вѣръ безъ различія, чтобы они съ дѣтства другъ съ другомъ свыкались, и приходили туда христіанинъ и еврей, оба одною радостью радовались и, одною равною заботой о ближнихъ заботясь, мнили, яко единую и согласную службу приносятъ всѣхъ сотворившему Богу».

Чтобы въ заключеніе упомянуть еще о двухъ произведеніяхъ Лѣскова, которыхъ мы въ предыдущемъ вовсе не касались или коснулись лишь вскользь, мы укажемъ еще на «Сказъ о тулъ-

падать духомъ, что многое уже достигнуто и будетъ достигнуто еще большее, если мы отрѣшимся отъ безпочвенности, отъ безплоднаго умствованія и будемъ энергически работать въ жизни для жизни.

Закатъ дней Лѣскова совпалъ и съ сильнымъ обостреніемъ національнаго вопроса. Надо ли указывать, въ какомъ духѣ онъ обсуждалъ этотъ вопросъ, привыкнувъ уже съ дѣтства различать въ людяхъ разныхъ національностей, каковъ бы ни былъ ихъ внѣшній обликъ, какъ бы они ни молились Богу, прежде всего человѣка. Англичанка Гильдегарда, нѣмецъ Коза научили его вмѣстѣ съ православнымъ священникомъ вѣрить въ Бога, когда онъ былъ ребенкомъ. Ребенкомъ же онъ научился различать человѣка подъ оболочкою раскольника. Когда онъ подросъ, онъ то и дѣло встрѣчался съ евреями и поляками. Русскій ученый научилъ его думать объ общественныхъ вопросахъ; англичанинъ Шкотъ показалъ ему наглядымъ примѣромъ, какъ можно съ успѣхомъ трудиться въ русской дѣйствительности. Въ началѣ своей литературной дѣятельности онъ жилъ нѣкоторое время за границею, присматриваясь къ тамошнимъ людямъ и порядкамъ; затѣмъ еще нѣсколько разъ побывалъ за границею, впослѣдствіи проводилъ лѣто то въ Финляндіи, то въ остзейскихъ губерніяхъ: подъ Ригою, Ревелемъ, въ Аренсбургѣ, Мерекюлѣ. И, какъ въ дѣтствѣ онъ своею воспріимчивою душою сразу уловилъ, что было прекраснаго въ нѣмцѣ Козѣ или англичанкѣ Гильдегардѣ, такъ онъ впослѣдствіи, при наблюдательномъ своемъ умѣ и благорасположеніи ко всѣмъ людямъ, умѣлъ отличать въ представителѣ каждой національности то, что въ немъ было хорошаго, и то, что ему мѣшало быть хорошимъ. Если Лѣсковъ къ собственной своей странѣ и къ собственному своему народу, благополучіе которыхъ были ему дороже всего на свѣтѣ, относился подчасъ сурово, любящею рукою клеймилъ его недостатки, желая видѣть его болѣе совершеннымъ, то онъ указывалъ и на недостатки другихъ народовъ, но не для того, чтобы превознести собственный, а для того, чтобы добиться нормальной совмѣстной ихъ жизни тамъ, гдѣ Богъ судилъ имъ жить вмѣстѣ и разрѣшать общія задачи. Онъ часто указывалъ на національные недостатки

евреевъ, поляковъ, нѣмцевъ, но противупоставлялъ имъ наши собственные недостатки и такимъ образомъ выяснялъ истинныя причины существующихъ разногласій. Въ разсказѣ «Антука» онъ добродушно подсмѣивается надъ польскимъ возстаніемъ, а въ разсказѣ «Русскій демократъ» въ остроумной формѣ указываетъ на причины нашихъ неудачъ въ Польшѣ, зависящихъ отъ насъ самихъ. Къ этимъ двумъ разсказамъ присоединяется третій: «Интересные мужчины», изъ котораго ясно видно, какъ далекъ авторъ отъ чувства національнаго антагонизма. Разсказъ «Колыванскій мужъ» убѣждаетъ читателя, какъ трезво относился Лѣсковъ къ остзейскому вопросу и какимъ горячимъ онъ былъ одушевленъ желаніемъ рѣшить этотъ вопросъ не въ духѣ Аксакова, а съ соблюденіемъ требованій справедливости по отношенію ко всѣмъ заинтересованнымъ сторонамъ. Въ разсказѣ «Дама и Фефёла», собственно посвященномъ указанію на истинныя основы счастливой супружеской жизни, онъ мимоходомъ выводитъ симпатичный типъ финскаго простолюдина. Наконецъ, когда онъ касается еврейскаго вопроса, то часто не щадитъ евреевъ, указывая на ихъ отрицательныя стороны («Ракушанскій Меламедъ», «Владычный судъ»), но какъ въ послѣднемъ изъ этихъ разсказовъ онъ умѣетъ возвыситься до чувства полной справедливости, такъ онъ въ «Сказаніи о Федорѣ-христіанинѣ и о другѣ его Абрамѣ-жидовинѣ» затрогиваетъ такія струны, которыя звучатъ въ сердцахъ, глубоко проникнутыхъ изреченіемъ: «нѣсть эллина, ни іудея» и «оскорбляемыхъ нестерпимымъ дыханіемъ братоненавидѣнія и злопомненія». Христіанинъ Федоръ и еврей Абрамъ послѣ цѣлаго ряда злоключеній, послѣ дружбы въ дѣтствѣ и позднѣе жестокой ссоры основываютъ пріютъ для «всѣхъ бѣдныхъ дѣтей всѣхъ вѣръ безъ различія, чтобы они съ дѣтства другъ съ другомъ свыкались, и приходили туда христіанинъ и еврей, оба одною радостью радовались и, одною равною заботой о ближнихъ заботяся, мнили, яко единую и согласную службу приносятъ всѣхъ сотворившему Богу».

Чтобы въ заключеніе упомянуть еще о двухъ произведеніяхъ Лѣскова, которыхъ мы въ предыдущемъ вовсе не касались или коснулись лишь вскользь, мы укажемъ еще на «Сказъ о туль-

сномъ косомъ Лѣвшѣ и о стальной блохѣ» и на разсказъ: «Загонъ». Первый изъ нихъ по чисто-народной своей формѣ, богатству бытовыхъ чертъ является однимъ изъ лучшихъ произведеній Лѣскова этого рода и можетъ быть сопоставленъ только съ «Очарованнымъ странникомъ». Въ немъ звучитъ патріотическая нотка, но онъ въ то же время представляетъ поразительный контрастъ съ разсказомъ «Загонъ», гдѣ по поводу толковъ объ отсталости нашего сельскаго хозяйства Лѣсковъ рисуетъ истинную причину этой отсталости, въ значительной степени коренящуюся въ самомъ народѣ. Такимъ образомъ и тутъ Лѣсковъ умѣетъ возвыситься до безпристрастнаго отношенія къ собственному народу, изображая его отрицательныя и положительныя стороны и мѣря всѣхъ равною мѣрою, какъ своихъ, такъ и чужихъ. Трезвость мысли у Лѣскова всегда преобладаетъ: онъ, менѣе всего тенденціозный писатель, хотя и не понимаетъ другого искусства, кромѣ находящагося въ связи съ общественными задачами. Его возвышенный взглядъ на этотъ предметъ изложенъ, какъ извѣстно, въ «Чортовыхъ куклахъ».

VII.

Намъ остается еще опредѣлить мѣсто, которое Лѣсковъ занимаетъ въ нашей литературѣ.

Первое его печатное произведеніе, какъ мы видѣли, появилось въ 1860 г., когда ему было почти уже 30 лѣтъ; онъ сразу принялъ самое дѣятельное участіе въ движеніи этого времени; слѣдовательно, его по всей справедливости можно назвать писателемъ шестидесятыхъ годовъ. Но между писателями этой эпохи онъ занимаетъ своеобразное мѣсто, потому что онъ подчинился движенію этого времени только въ извѣстномъ смыслѣ и отвергъ его въ другихъ отношеніяхъ. Въ то время, какъ Салтыковъ, хотя писалъ и составилъ себѣ даже довольно громкую литературную извѣстность уже раньше, является самымъ яркимъ представителемъ движенія шестидесятыхъ годовъ, какъ оно выразилось въ нашей журналистикѣ, Лѣсковъ отсталъ отъ него прежде, чѣмъ успѣлъ окончательно къ нему присоединиться. Салтыковъ относился отрицательно и критически ко всему, за исключеніемъ

того, что составляло сущность движенія въ указанномъ смыслѣ; Лѣсковъ началъ свою литературную дѣятельность съ отрицанія этого движенія. Русское образованное общество теперь все болѣе приходитъ къ сознанію, что оба эти писателя имѣютъ большія заслуги передъ литературою и родиною, а между тѣмъ ихъ убѣжденія повидимому совершенно противоположны.

Какъ это объяснить?

Имя Салтыкова окружено легендою. Что думалъ Салтыковъ,— объ этомъ говорить рано; мы должны судить его, какъ и Лѣскова, только по его произведеніямъ. Если же ограничиться однимъ произведеніями Салтыкова, то мы должны будемъ признать, что его литературная дѣятельность является прямымъ продолженіемъ дѣятельности Гоголя въ его двухъ капитальнѣйшихъ произведеніяхъ: «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ душахъ». Никто изъ русскихъ писателей истекающаго вѣка не осмѣялъ наше общество такъ жестоко, какъ осмѣялъ его Гоголь. Салтыковъ, обладавшій изумительнымъ сатирическимъ талантомъ, является прямымъ послѣдователемъ этой стороны дѣятельности творца «Мертвыхъ душъ». Нуждалось ли, однако, наше общество въ этомъ смѣхѣ надъ самимъ собою? На первый разъ несомнѣнно: этотъ смѣхъ удовлетворялъ очень сильной его потребности. Въ эпоху переходную, когда происходитъ переломъ, когда общество ищетъ новыхъ идеаловъ взамѣнъ старыхъ, отжившихъ свое время, критическое отношеніе къ послѣднимъ, а при случаѣ и ихъ осмѣяніе соотвѣтствуетъ глубокой общественной потребности. Всѣ, кто желаетъ поскорѣе отрѣшиться отъ прошлаго, жить для будущаго, съ восторгомъ привѣтствуютъ писателя, который не щадитъ прошлаго и осмѣиваетъ тѣхъ, кто, по мнѣнію смѣющихся или на самомъ дѣлѣ, его поддерживаетъ. Этотъ смѣхъ, насколько онъ дѣйствительно направленъ противъ того, что должно рушиться, можетъ быть признанъ благотворнымъ и вполнѣ законнымъ. И мы видимъ, что Салтыковъ и Лѣсковъ идутъ въ этомъ отношеніи рука объ руку. Кто читалъ «Смѣхъ и горе» или «Загонъ» Лѣскова, признаетъ его не только единомышленникомъ Салтыкова, но и родственнымъ ему дарованіемъ по силѣ и глубинѣ сатирическаго настроенія, по необычайному искусству, съ какими

они оба умѣли выставлять отрицательныя стороны русской дѣйствительности. Между ними найдется и много другихъ точекъ соприкосновенія. Сатирическое ихъ настроеніе не исключало священнаго трепета, который возбуждали въ душѣ этихъ двухъ писателей «забытыя слова», самыя возвышенныя чувства человѣка: любовь къ ближнему, вѣротерпимость, уваженіе къ личности и свободѣ, готовность къ самопожертвованію, — все это въ одинаковой мѣрѣ ихъ воодушевляло. И тѣмъ не менѣе мы почему-то привыкли ихъ разъединять, считать представителями какихъ-то противоположныхъ началъ. Разъясненіе вопроса,— почему это происходитъ, лучше всего уяснитъ намъ окончательно духовный обликъ Лѣскова.

Начнемъ съ «забытыхъ словъ». Преклоненіе предъ ними, напоминаніе о нихъ, конечно, составляютъ заслугу Салтыкова, но они не могутъ служить для него отличительнымъ признакомъ, потому что къ счастью у насъ нѣтъ большихъ писателей, которые отвергали бы «забытыя слова». Предъ ними преклонялись, о нихъ постоянно напоминали и Кантемиръ, и Ломоносовъ, и Фонвизинъ, и Державинъ, и Жуковскій, и Пушкинъ, и Гоголь, всѣ крупные наши писатели вплоть до Салтыкова и Лѣскова. Значитъ, если руководствоваться только «забытыми словами», то намъ трудно будетъ провести границу между различными писателями. Но «забытыя слова» это—общіе идеалы, идеалы всѣхъ временъ и народовъ, а всякій общій идеалъ осуществляется особеннымъ образомъ въ данное время, въ данномъ народѣ. Эта спеціальная форма осуществленія общаго идеала и составляетъ задачу данной эпохи. Чтобы уловить отличительные признаки извѣстнаго писателя, мы должны, слѣдовательно, знать, какъ онъ представлялъ себѣ осуществленіе общихъ идеаловъ по отношенію къ своему времени и народу. Міровые писатели, т. е. такіе, которые думаютъ для всѣхъ временъ и народовъ, очень рѣдки, да и то среда налагаетъ на нихъ свою руку, а остальные имѣютъ свои спеціальные идеалы, т. е. тѣ же общіе идеалы, но приноровленные къ данному мѣсту и времени. О Салтыковѣ можно только сказать, что онъ въ высокой степени удовлетворилъ современное русское общество въ его потребности критически

отнестись къ отрицательнымъ сторонамъ русской жизни; громадный же успѣхъ, которымъ онъ пользовался, объясняется, какъ мы видѣли, тѣмъ, что онъ жилъ въ эпоху переходную, когда народъ, выбиваясь изъ прежнихъ условій, страстно желаетъ покончить съ ними и вступить въ новую жизнь. Въ этомъ отношеніи Салтыковъ былъ своего рода русскимъ геркулесомъ, расчищавшимъ авгіевы конюшни, корчевавшимъ русскую почву для новаго посѣва. Какъ ни значительна роль его въ этомъ отношеніи, но на этомъ она и кончается: обсѣменить ниву онъ не могъ — у него не было сѣмянъ. Другими словами, у него не было спеціальныхъ идеаловъ, пригодныхъ для времени, въ которое онъ жилъ.

Но тамъ, гдѣ кончалась работа Салтыкова, начиналась работа Лѣскова. И Лѣсковъ былъ писателемъ переходнаго времени. Въ качествѣ такого писателя, онъ принялъ дѣятельное участіе въ расчищеніи почвы: онъ примыкаетъ къ тому направленію въ нашей литературѣ, которое называется обличительнымъ. Осмѣяніе старыхъ порядковъ занимаетъ видное мѣсто въ его произведеніяхъ. Въ этомъ отношеніи онъ всецѣло примыкаетъ къ Гоголю и Салтыкову; но онъ на этомъ не останавливается. Во-первыхъ, онъ на ряду съ Писемскимъ, первый изъ крупныхъ нашихъ писателей подвергъ сатирѣ и «новыхъ людей». Но онъ не только ихъ осмѣялъ: онъ въ то же время указалъ имъ, къ чему они должны стремиться, формулировалъ тотъ спеціальный идеалъ, который наиболѣе пригоденъ для переживаемаго переходнаго времени. Сдѣлалъ онъ это сразу, т. е. тотчасъ по вступленіи на литературное поприще. Мы старались выяснить, почему онъ могъ это сдѣлать; мы старались показать, что онъ собственно готовился къ практической дѣятельности, слѣдовательно, носился въ молодости съ вопросомъ,—какъ ему дѣйствовать не въ качествѣ писателя, а въ качествѣ простого смертнаго въ окружавшей его жизни, и собиралъ соотвѣтственныя наблюденія, обогащалъ себя соотвѣтственнымъ опытомъ. Наблюденія его были чрезвычайно разносторонніе, не ограничивались одною школою и канцеляріею, но обнимали болѣе или менѣе всѣ сферы нашей жизни. Онъ чувствовалъ, что Россіи болѣе всего нужно,

и пришелъ къ выводу, которымъ проникнуты всѣ его произведенія, что не въ тѣхъ или другихъ теоріяхъ спасеніе, а въ людяхъ, умѣющихъ дѣлать настоящее дѣло у основъ народной жизни. Мы видѣли, что у него цѣлый рядъ произведеній посвященъ указанію на то, что и въ прежней до-реформенной Россіи можно было многое сдѣлать, и что всѣми нашими успѣхами мы обязаны людямъ, трудившимся въ этомъ направленіи. Исходя изъ этого факта, онъ, при своемъ вступленіи на литературное поприще, задался прежде всего вопросомъ, пригодны ли «новые люди» для такого живого дѣла при измѣнившихся условіяхъ. Добросовѣстно изучая и тутъ дѣйствительность, онъ пришелъ къ отрицательному выводу и имѣлъ великое мужество, принося себя въ жертву, сказать это «новымъ людямъ» прямо въ лицо. Это былъ великій его гражданскій подвигъ.

Но и этотъ подвигъ былъ только отрицательнаго свойства. Это было обличеніе. Лѣсковъ сдѣлалъ по отношенію къ своимъ современникамъ и притомъ къ той общественной сферѣ, въ которой онъ самъ жилъ и дѣйствовалъ, то, что сдѣлали въ свое время Фонвизинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь и Салтыковъ. Но изъ всѣхъ этихъ сатириковъ только Грибоѣдову и Лѣскову принадлежитъ честь, что они въ своей сатирѣ не забыли казнить и дѣятелей, имъ наиболѣе близкихъ. Грибоѣдовъ казнилъ не только Фамусовыхъ, Скалозубовъ и Молчалиныхъ, но и Чацкихъ. Лѣсковъ казнилъ не только Функендорфовъ, Постельниковыхъ и тѣхъ видныхъ дѣятелей, которыхъ онъ называлъ прямо по имени, но и дорогихъ его сердцу Райнеровъ и Овцебыковъ. За что онъ ихъ казнилъ? За то, за что и Грибоѣдовъ казнилъ своего Чацкаго: за полное несоотвѣтствіе средствъ, которыми они пользовались, и цѣлей, которыя они преслѣдовали; за благіе порывы, оставляемые неосуществленными; за потокъ громкихъ рѣчей, не сопровождаемыхъ даже маленькимъ дѣломъ; за неумѣнье поставить себѣ жизненную задачу для доставленія своимъ идеаламъ хотя бы частичнаго торжества. Словомъ, Лѣсковъ не ограничился обличеніемъ стараго, онъ обличилъ и новое и, обличая послѣднее, онъ въ то же время указалъ русскому обществу, — каковъ долженъ быть его путь.

Правильно ли это указаніе? На это можетъ отвѣтить только исторія. Но одно уже теперь видно, именно, что въ томъ направленіи, въ какомъ работалъ Лѣсковъ, несомнѣнно, работаетъ русская жизнь и современная беллетристика. Лѣсковъ примыкаетъ не только къ нашей обличительной литературѣ, но и къ другому направленію, сказавшемуся очень сильно въ первоклассныхъ нашихъ художникахъ. Гоголь далъ намъ Костанжогло, Гончаровъ—Штольца, Тургеневъ уже послѣ Лѣскова—Соломина. Все это—положительные типы въ нашей литературѣ, и ихъ общая черта заключается въ томъ, что они умѣютъ задаваться цѣлями, осуществимыми въ жизни и обезпечивающими наши культурные успѣхи. Творчество Лѣскова въ значительной степени было направлено на то, чтобы укрѣпить въ нашемъ сознаніи убѣжденіе въ возможности такихъ дѣятелей и въ томъ, что безъ нихъ никакой прогрессъ немыслимъ.

Съ этою цѣлью онъ вывелъ цѣлый рядъ типовъ, которыхъ мы здѣсь вторично перечислять не будемъ, но которые имѣютъ ту общую черту, что они представляютъ собою дѣятелей, плодящихъ не одни слова, но и настоящее дѣло. Это — его «праведники», по отношенію къ которымъ онъ повторяетъ слова покойнаго нашего историка Соловьева, что они, «стоя въ сторонѣ отъ главнаго историческаго движенія, сильнѣе другихъ дѣлаютъ исторію». Если мы теперь приглядимся къ современной беллетристикѣ въ лицѣ ея главныхъ представителей, то мы убѣдимся, что и она любитъ главнымъ образомъ рисовать такихъ дѣятелей, указывая при этомъ на тщету широкихъ замысловъ, не сопровождаемыхъ практическимъ дѣломъ. Такимъ образомъ Лѣсковъ, примыкая къ прежней нашей литературѣ, далъ тонъ и направленіе современной, отгадавъ то, въ чемъ жизнь наиболѣе нуждается. Это—вторая великая его заслуга.

Третья, хотя и болѣе частнаго характера, касается раскрытія читателямъ цѣлой новой области русской жизни. Никто до Лѣскова и послѣ него еще не просвѣтилъ въ такой полнотѣ русское общество насчетъ быта и жизни нашего духовенства. И тутъ онъ дѣйствовалъ въ двухъ направленіяхъ: обличалъ прошлое, подготовлялъ будущее. Его отрицательнымъ типамъ соотвѣтствуютъ положительные, которые насъ убѣждаютъ, какъ много скром-

ные пастыри церкви дѣлали и могутъ сдѣлать для цѣлей, насъ всѣхъ воодушевляющихъ. Нѣтъ ничего несправедливѣе, какъ обвинять Лѣскова въ томъ, что онъ выставилъ лишь отрицательныя стороны нашего духовенства: величественная въ своей простотѣ фигура одного о. Туберозова изобличаетъ этихъ обвинителей въ лжесвидѣтельствѣ. А одинъ ли о. Туберозовъ возбуждаетъ къ себѣ чувства глубокаго уваженія и неменьшей признательности? У Лѣскова найдется не мало такихъ симпатичныхъ типовъ на всѣхъ ступеняхъ духовной іерархіи. Обличалъ Лѣсковъ и въ этой области только то, что было достойно обличенія, противъ чего высказывались всѣ просвѣщенные пастыри нашей церкви. И могъ ли онъ поступать иначе, когда онъ самъ былъ глубоко вѣрующій человѣкъ и не зналъ болѣе высокой заповѣди, какъ христіанская заповѣдь о дѣятельной любви къ ближнему, духомъ которой проникнута всякая строка его замѣчательныхъ произведеній?

Таковы главныя заслуги Лѣскова, которыя мы считали своимъ долгомъ подчеркнуть, потому что ихъ слишкомъ часто забываютъ, не хотятъ знать или не могутъ себѣ уяснить вслѣдствіе временныхъ предубѣжденій. Во всякомъ случаѣ намъ кажется, что только съ этой точки зрѣнія можно понять и оцѣнить Лѣскова. О громадномъ литературномъ его дарованіи мы тутъ говорить не станемъ: оно признается всѣми и не отрицается даже людьми, не сочувствующими его дѣятельности. Но если не одно дарованіе,—этотъ даръ свыше,—обезпечиваетъ за писателемъ мѣсто въ литературѣ и благодарность потомства, если отъ него требуется, чтобы онъ былъ гражданиномъ, чтобы онъ скорбѣлъ скорбью своего времени, чтобы онъ мужественно возвышалъ голосъ за правду, чтобы онъ приносилъ себя, когда нужно, ей въ жертву, то и въ такомъ случаѣ мы должны будемъ признать, что Лѣсковъ въ высокой мѣрѣ исполнилъ свой долгъ, и что онъ является не только выдающимся писателемъ, но и вѣрнымъ, преданнымъ, самоотверженнымъ сыномъ своей страны.

Р. Сементковскій.

СОБОРЯНЕ.

ХРОНИКА.

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Люди, житье-бытье которыхъ составитъ предметъ этого разсказа, суть жители Старгородской соборной поповки. Это — протоіерей Савелій Туберозовъ, священникъ Захарія Бенефактовъ и дьяконъ Ахилла Десницынъ. Годы ранней молодости этихъ людей, такъ же какъ и пора ихъ дѣтства, насъ не касаются. А чтобы видѣть предъ собою эти лица въ той порѣ, въ которой читателю приходится представлять ихъ своему воображенію, онъ долженъ рисовать себѣ главу Старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, мужемъ уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни. Отецъ Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но еще очень бодръ и подвиженъ. Въ такомъ же состояніи и душевныя его силы: при первомъ на него взглядѣ видно, что онъ сохранилъ весь пылъ сердца и всю энергію молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцомъ мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, какъ грива матерого льва, и бѣлы, какъ кудри Фидіева Зевса. Они художественно поднимаются могучимъ чубомъ надъ его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами падаютъ назадъ, не достигая плечъ. Въ длинной раздвоенной бородѣ отца протопопа и въ его небольшихъ усахъ, соединяющихся съ бородой у угловъ рта, мелькаетъ еще нѣсколько черныхъ волосъ, придающихъ ей видъ серебра, отдѣланнаго чернью. Брови же отца протопопа совсѣмъ

черны, и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основанія его довольно большого и довольно толстаго носа. Глаза у него коричневые, большіе, смѣлые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освѣщаться присутствіемъ разума; въ нихъ же близкіе люди видали и блескъ радостнаго восторга, и туманы скорби, и слезы умиленія; въ нихъ же сверкалъ порою и огонь негодованія, и они бросали искры гнѣва — гнѣва не суетнаго, не сварливаго, не мелкаго, а гнѣва большого человѣка. Въ эти глаза глядѣла прямая и честная душа протопопа Савелія, которую онъ, въ своемъ христіанскомъ упованіи, вѣрилъ быти безсмертною.

Захарія Бенефактовъ, второй іерей Старгородскаго собора, совсѣмъ въ другомъ родѣ. Вся его личность есть воплощенная кротость и смиреніе. Соотвѣтственно тому, сколь мало желаетъ заявлять себя кроткій духъ его, столь же мало занимаетъ мѣста и его крошечное тѣло, и какъ бы старается не отяготить собою землю. Онъ малъ, худъ, тщедушенъ и лысъ. Двѣ маленькихъ букольки сѣро-желтенькихъ волосинокъ у него развѣваются только надъ ушами. Косы у него нѣтъ никакой. Послѣдніе остатки ея исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьяконъ Ахилла иначе ее не называлъ, какъ мышиный хвостикъ. Вмѣсто бороды, у отца Захаріи точно приклеенъ кусочекъ губочки. Ручки у него дѣтскія, и онъ ихъ постоянно скрываетъ и прячетъ въ кармашки своего подрясника. Ножки у него слабыя, тоненькія, что называется соломенныя, и самъ онъ весь точно сплетенъ изъ соломки. Добрѣйшіе сѣренькіе глазки его смотрятъ быстро, но поднимаются вверхъ очень рѣдко, и сейчасъ же ищутъ мѣста, куда бы имъ спрятаться отъ нескромнаго взора. По лѣтамъ отецъ Захарія немножко старше отца Туберозова и значительно немощнѣе его, но и онъ, такъ же, какъ и протопопъ, привыкъ держаться бодро, и при всѣхъ посѣщающихъ его недугахъ и немощахъ сохранилъ и живую душу, и тѣлесную подвижность.

Третій и послѣдній представитель Старгородскаго соборнаго духовенства, дьяконъ Ахилла, имѣлъ нѣсколько опредѣленій, которыя будетъ не лишнимъ здѣсь привести всѣ, дабы при помощи ихъ могучій Ахилла сколько-нибудь удобнѣе нарисовался читателю.

Инспекторъ духовнаго училища, исключившій Ахиллу Десницына изъ синтаксическаго класса за «великовозрастіе и малоуспѣшіе», говорилъ ему:

— Эка ты, дубина какая, протяженно сложенная!

Ректоръ, по особымъ ходатайствамъ, вновь принявшій Ахиллу въ классъ реторики, удивлялся, глядя на этого слагавшагося богатыря и, изумляясь его величинѣ, силѣ и безтолковости, говорилъ:

— Недостаточно, думаю, будетъ тебя и дубиной называть, поелику въ моихъ глазахъ ты по малости цѣлый возъ дровъ.

Регентъ же архіерейскаго хора, въ который Ахилла Десницынъ попалъ по извлеченіи его изъ реторики и зачисленіи на причетническую должность, звалъ его «непомѣрнымъ».

— Басъ у тебя, — говорилъ регентъ: — хорошій, точно пушка стрѣляетъ; но непомѣренъ ты до страсти, такъ что чрезъ эту непомѣрность я даже не знаю, какъ съ тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое вѣское изъ характерныхъ опредѣленій дьякону Ахиллѣ было сдѣлано самимъ архіереемъ, и притомъ въ весьма памятный для Ахиллы день, именно въ день изгнанія его, Ахиллы, изъ архіерейскаго хора и посылки на дьяконство въ Старый Городъ. По этому опредѣленію дьяконъ Ахилла назывался «уязвленнымъ». Здѣсь будетъ умѣстно разсказать, по какому случаю стало ему приличествовать сіе послѣднее названіе «уязвленнаго».

Дьяконъ Ахилла, отъ самыхъ лѣтъ юности своей, былъ человѣкъ весьма веселый, смѣшливый и притомъ безмѣрно увлекающійся. И мало того, что онъ не зналъ мѣры своимъ увлеченіямъ въ юности: мы увидимъ, зналъ ли онъ имъ мѣру и къ годамъ своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомѣрность» баса Ахиллы, имъ все-таки очень дорожили въ архіерейскомъ хорѣ, гдѣ онъ хваталъ и самаго залетнаго верха и забиралъ подъ самую низкую октаву. Одно, чѣмъ страшенъ былъ регенту непомѣрный Ахилла, это — «увлекательностью». Такъ онъ, напримѣръ, во всенощной никакъ не могъ удержаться, чтобы только трижды пропѣть «Свять Господь Богъ нашъ», а нерѣдко вырывался въ увлеченіи и пѣлъ это одинъ-одинешенекъ четырежды, и особенно никогда не могъ во-время окон-

чить пѣнія многолѣтій. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ, которые уже были извѣстны и которые потому можно было предвидѣть, противъ «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались мѣры предосторожности, избавлявшія отъ всякихъ напастей и самого дьякона, и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь изъ взрослыхъ пѣвчихъ дергать Ахиллу за полы или осаживать его въ благопотребную минуту внизъ за плечи. Но недаромъ сложена пословица, что на всякій часъ не обережешься. Какъ ни тщательно и любовно берегли Ахиллу отъ его увлеченій, все-таки его не могли совсѣмъ уберечь отъ нихъ, и онъ самымъ разительнымъ образомъ оправдалъ на себѣ то теоретическое положеніе, что «тому нѣтъ спасенія, кто въ самомъ себѣ носитъ врага». Въ одинъ большой изъ двунадесятыхъ праздниковъ, Ахилла, исполняя причастный концертъ, долженъ былъ дѣлать весьма хитрое басовое соло на словахъ: «и скорбьми уязвленъ». Значеніе, которое этому соло придавалъ регентъ и весь хоръ, внушало Ахиллѣ много заботъ: онъ былъ неспокоенъ и тщательно обдумывалъ, какъ бы ему не ударить себя лицомъ въ грязь и отличиться передъ любившимъ пѣніе преосвященнымъ и передъ всею губернскою аристократіей, которая соберется въ церковь. И зато справедливость требуетъ сказать, что Ахилла изучилъ это соло великолѣпно. Дни и ночи онъ расхаживалъ то по своей комнатѣ, то по коридору или по двору, то по архіерейскому саду или по загородному выгону, и все распѣвалъ на разные тоны: «уязвленъ, уязвленъ, уязвленъ», и въ такихъ безпрестанныхъ упражненіяхъ дождался наконецъ, что насталъ и самый день его славы, когда онъ долженъ былъ пропѣть свое «уязвленъ» предъ всѣмъ соборомъ. Начался концертъ. Боже, какъ великъ и свѣтло сіяющъ стоитъ съ нотами въ рукахъ огромный Ахилла! Его надо было срисовать,—перомъ нельзя его описывать... Вотъ уже прошли знакомые форшлаги и подходитъ мѣсто басового соло. Ахилла отодвигаетъ локтемъ сосѣда, выбиваетъ себѣ въ молчаніи тактъ своего соло «уязвленъ» и, дождавшись своего темпа, видитъ поднимающуюся съ камертономъ регентскую руку... Ахилла позабылъ весь міръ и себя самого, и удивительнѣйшимъ образомъ, какъ труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашаетъ: «И скорбьми уязвленъ, уязвленъ, у-й-я-з-в-л-е-н-ъ, у-й-я-з-

в-л-е-н-ъ, уязвленъ». Силой останавливаютъ Ахиллу отъ непредусмотрѣнныхъ излишнихъ повтореній, и концертъ конченъ. Но не конченъ онъ былъ въ «увлекательной» головѣ Ахиллы, и среди тихихъ привѣтствій, приносимыхъ владыкѣ подходящею къ его благословенію аристократіей, словно трубный гласъ съ неба, съ клироса снова упалъ вдругъ: «Уязвленъ, уй-яз-вленъ, уй-я-з-в-л-е-н-ъ». Это поетъ ничего не понимающій въ своемъ увлеченіи Ахилла; его дергаютъ—онъ поетъ; его осаживаютъ внизъ, стараясь скрыть за спинами товарищей, — онъ поетъ: «уязвленъ»; его, наконецъ, выводятъ вонъ изъ церкви, но онъ все-таки поетъ: «у-я-з-в-л-е-н-ъ».

— Что тебѣ такое?—спрашиваютъ его съ участіемъ сердобольные люди.

— «Уязвленъ»,—воспѣваетъ, глядя всѣмъ имъ въ глаза, Ахилла, и такъ и остается у дверей притвора, пока струя свѣжаго воздуха не отрезвила его экзальтацію.

Въ сравненіи съ протоіереемъ Туберозовымъ и отцомъ Бенефактовымъ, Ахилла Десницынъ можетъ назваться человѣкомъ молодымъ, но и ему уже далеко за сорокъ, и по смоляномъ черномъ кудрямъ его пробѣжала сильная просѣдь. Роста Ахилла огромнаго, силы страшной, въ манерахъ угловатъ и рѣзокъ, но при всемъ этомъ весьма пріятенъ; типъ лица имѣетъ южный и говоритъ, что происходитъ изъ малороссійскихъ казаковъ, отъ коихъ онъ и въ самомъ дѣлѣ какъ будто унаслѣдовалъ безпечность и храбрость и многія другія казачьи добродѣтели.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Жили всѣ эти герои старомоднаго покроя на Старгородской поповкѣ, надъ тихою судоходною рѣкой Турицей. У каждаго изъ нихъ, какъ у Туберозова, такъ и у Захаріи, и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самомъ берегу, какъ разъ насупротивъ высившагося за рѣкой стариннаго пятиглаваго собора съ высокими куполами. Но какъ разнохарактерны были сами эти обыватели, такъ различны были и ихъ жилища. У отца Савелія домикъ былъ очень красивый, выкрашенный свѣтло-голубою масляною краской, съ разноцвѣтными звѣздочками, квадратиками и репейками, прибитыми надъ каждымъ изъ трехъ его оконъ. Окна эти обрамливались еще рѣзными, ярко же раскрашенными, на-

и пришелъ къ выводу, которымъ проникнуты всѣ его произведенія, что не въ тѣхъ или другихъ теоріяхъ спасеніе, а въ людяхъ, умѣющихъ дѣлать настоящее дѣло у основъ народной жизни. Мы видѣли, что у него цѣлый рядъ произведеній посвященъ указанію на то, что и въ прежней до-реформенной Россіи можно было многое сдѣлать, и что всѣми нашими успѣхами мы обязаны людямъ, трудившимся въ этомъ направленіи. Исходя изъ этого факта, онъ, при своемъ вступленіи на литературное поприще, задался прежде всего вопросомъ, пригодны ли «новые люди» для такого живого дѣла при измѣнившихся условіяхъ. Добросовѣстно изучая и тутъ дѣйствительность, онъ пришелъ къ отрицательному выводу и имѣлъ великое мужество, принося себя въ жертву, сказать это «новымъ людямъ» прямо въ лицо. Это былъ великій его гражданскій подвигъ.

Но и этотъ подвигъ былъ только отрицательнаго свойства. Это было обличеніе. Лѣсковъ сдѣлалъ по отношенію къ своимъ современникамъ и притомъ къ той общественной сферѣ, въ которой онъ самъ жилъ и дѣйствовалъ, то, что сдѣлали въ свое время Фонвизинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь и Салтыковъ. Но изъ всѣхъ этихъ сатириковъ только Грибоѣдову и Лѣскову принадлежитъ честь, что они въ своей сатирѣ не забыли казнить и дѣятелей, имъ наиболѣе близкихъ. Грибоѣдовъ казнилъ не только Фамусовыхъ, Скалозубовъ и Молчалиныхъ, но и Чацкихъ. Лѣсковъ казнилъ не только Функендорфовъ, Постельниковыхъ и тѣхъ видныхъ дѣятелей, которыхъ онъ называлъ прямо по имени, но и дорогихъ его сердцу Райнеровъ и Овцебыковъ. За что онъ ихъ казнилъ? За то, за что и Грибоѣдовъ казнилъ своего Чацкаго: за полное несоотвѣтствіе средствъ, которыми они пользовались, и цѣлей, которыя они преслѣдовали; за благіе порывы, оставляемые неосуществленными; за потокъ громкихъ рѣчей, не сопровождаемыхъ даже маленькимъ дѣломъ; за неумѣнье поставить себѣ жизненную задачу для доставленія своимъ идеаламъ хотя бы частичнаго торжества. Словомъ, Лѣсковъ не ограничился обличеніемъ стараго, онъ обличилъ и новое и, обличая послѣднее, онъ въ то же время указалъ русскому обществу, — каковъ долженъ быть его путь.

Правильно ли это указаніе? На это можетъ отвѣтить только исторія. Но одно уже теперь видно, именно, что въ томъ направленіи, въ какомъ работалъ Лѣсковъ, несомнѣнно, работаетъ русская жизнь и современная беллетристика. Лѣсковъ примыкаетъ не только къ нашей обличительной литературѣ, но и къ другому направленію, сказавшемуся очень сильно въ первоклассныхъ нашихъ художникахъ. Гоголь далъ намъ Костанжогло, Гончаровъ—Штольца, Тургеневъ уже послѣ Лѣскова—Соломина. Все это—положительные типы въ нашей литературѣ, и ихъ общая черта заключается въ томъ, что они умѣютъ задаваться цѣлями, осуществимыми въ жизни и обезпечивающими наши культурные успѣхи. Творчество Лѣскова въ значительной степени было направлено на то, чтобы укрѣпить въ нашемъ сознаніи убѣжденіе въ возможности такихъ дѣятелей и въ томъ, что безъ нихъ никакой прогрессъ немыслимъ.

Съ этою цѣлью онъ вывелъ цѣлый рядъ типовъ, которыхъ мы здѣсь вторично перечислять не будемъ, но которые имѣютъ ту общую черту, что они представляютъ собою дѣятелей, плодящихъ не одни слова, но и настоящее дѣло. Это — его «праведники», по отношенію къ которымъ онъ повторяетъ слова покойнаго нашего историка Соловьева, что они, «стоя въ сторонѣ отъ главнаго историческаго движенія, сильнѣе другихъ дѣлаютъ исторію». Если мы теперь приглядимся къ современной беллетристикѣ въ лицѣ ея главныхъ представителей, то мы убѣдимся, что и она любитъ главнымъ образомъ рисовать такихъ дѣятелей, указывая при этомъ на тщету широкихъ замысловъ, не сопровождаемыхъ практическимъ дѣломъ. Такимъ образомъ Лѣсковъ, примыкая къ прежней нашей литературѣ, далъ тонъ и направленіе современной, отгадавъ то, въ чемъ жизнь наиболѣе нуждается. Это—вторая великая его заслуга.

Третья, хотя и болѣе частнаго характера, касается раскрытія читателямъ цѣлой новой области русской жизни. Никто до Лѣскова и послѣ него еще не просвѣтилъ въ такой полнотѣ русское общество насчетъ быта и жизни нашего духовенства. И тутъ онъ дѣйствовалъ въ двухъ направленіяхъ: обличалъ прошлое, подготовлялъ будущее. Его отрицательнымъ типамъ соотвѣтствуютъ положительные, которые насъ убѣждаютъ, какъ много скром-

ные пастыри церкви дѣлали и могутъ сдѣлать для цѣлей, насъ всѣхъ воодушевляющихъ. Нѣтъ ничего несправедливѣе, какъ обвинять Лѣскова въ томъ, что онъ выставилъ лишь отрицательныя стороны нашего духовенства: величественная въ своей простотѣ фигура одного о. Туберозова изобличаетъ этихъ обвинителей въ лжесвидѣтельствѣ. А одинъ ли о. Туберозовъ возбуждаетъ къ себѣ чувства глубокаго уваженія и неменьшей признательности? У Лѣскова найдется не мало такихъ симпатичныхъ типовъ на всѣхъ ступеняхъ духовной іерархіи. Обличалъ Лѣсковъ и въ этой области только то, что было достойно обличенія, противъ чего высказывались всѣ просвѣщенные пастыри нашей церкви. И могъ ли онъ поступать иначе, когда онъ самъ былъ глубоко вѣрующій человѣкъ и не зналъ болѣе высокой заповѣди, какъ христіанская заповѣдь о дѣятельной любви къ ближнему, духомъ которой проникнута всякая строка его замѣчательныхъ произведеній?

Таковы главныя заслуги Лѣскова, которыя мы считали своимъ долгомъ подчеркнуть, потому что ихъ слишкомъ часто забываютъ, не хотятъ знать или не могутъ себѣ уяснить вслѣдствіе временныхъ предубѣжденій. Во всякомъ случаѣ намъ кажется, что только съ этой точки зрѣнія можно понять и оцѣнить Лѣскова. О громадномъ литературномъ его дарованіи мы тутъ говорить не станемъ: оно признается всѣми и не отрицается даже людьми, не сочувствующими его дѣятельности. Но если не одно дарованіе,—этотъ даръ свыше,—обезпечиваетъ за писателемъ мѣсто въ литературѣ и благодарность потомства, если отъ него требуется, чтобы онъ былъ гражданиномъ, чтобы онъ скорбѣлъ скорбью своего времени, чтобы онъ мужественно возвышалъ голосъ за правду, чтобы онъ приносилъ себя, когда нужно, ей въ жертву, то и въ такомъ случаѣ мы должны будемъ признать, что Лѣсковъ въ высокой мѣрѣ исполнилъ свой долгъ, и что онъ является не только выдающимся писателемъ, но и вѣрнымъ, преданнымъ, самоотверженнымъ сыномъ своей страны.

Р. Сементковскій.

СОБОРЯНЕ.

ХРОНИКА.

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Люди, житье-бытье которыхъ составитъ предметъ этого разсказа, суть жители Старгородской соборной поповки. Это — протоіерей Савелій Туберозовъ, священникъ Захарія Бенефактовъ и дьяконъ Ахилла Десницынъ. Годы ранней молодости этихъ людей, такъ же какъ и пора ихъ дѣтства, насъ не касаются. А чтобы видѣть предъ собою эти лица въ той порѣ, въ которой читателю приходится представлять ихъ своему воображенію, онъ долженъ рисовать себѣ главу Старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, мужемъ уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни. Отецъ Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но еще очень бодръ и подвиженъ. Въ такомъ же состояніи и душевныя его силы: при первомъ на него взглядѣ видно, что онъ сохранилъ весь пылъ сердца и всю энергію молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцомъ мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, какъ грива матерого льва, и бѣлы, какъ кудри Фидіева Зевса. Они художественно поднимаются могучимъ чубомъ надъ его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами падаютъ назадъ, не достигая плечъ. Въ длинной раздвоенной бородѣ отца протопопа и въ его небольшихъ усахъ, соединяющихся съ бородой у угловъ рта, мелькаетъ еще нѣсколько черныхъ волосъ, придающихъ ей видъ серебра, отдѣланнаго чернью. Брови же отца протопопа совсѣмъ

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Люди, житье-бытье которыхъ составитъ предметъ этого разсказа, суть жители Старгородской соборной поповки. Это — протоіерей Савелій Туберозовъ, священникъ Захарія Бенефактовъ и дьяконъ Ахилла Десницынъ. Годы ранней молодости этихъ людей, такъ же какъ и пора ихъ дѣтства, насъ не касаются. А чтобы видѣть предъ собою эти лица въ той порѣ, въ которой читателю приходится представлять ихъ своему воображенію, онъ долженъ рисовать себѣ главу Старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, мужемъ уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни. Отецъ Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но еще очень бодръ и подвиженъ. Въ такомъ же состояніи и душевныя его силы: при первомъ на него взглядѣ видно, что онъ сохранилъ весь пылъ сердца и всю энергію молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцомъ мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, какъ грива матерого льва, и бѣлы, какъ кудри Фидіева Зевса. Они художественно поднимаются могучимъ чубомъ надъ его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами падаютъ назадъ, не достигая плечъ. Въ длинной раздвоенной бородѣ отца протопопа и въ его небольшихъ усахъ, соединяющихся съ бородой у угловъ рта, мелькаетъ еще нѣсколько черныхъ волосъ, придающихъ ей видъ серебра, отдѣланнаго чернью. Брови же отца протопопа совсѣмъ

черны, и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основанія его довольно большого и довольно толстаго носа. Глаза у него коричневые, большіе, смѣлые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освѣщаться присутствіемъ разума; въ нихъ же близкіе люди видали и блескъ радостнаго восторга, и туманы скорби, и слезы умиленія; въ нихъ же сверкалъ порою и огонь негодованія, и они бросали искры гнѣва — гнѣва не суетнаго, не сварливаго, не мелкаго, а гнѣва большого человѣка. Въ эти глаза глядѣла прямая и честная душа протопопа Савелія, которую онъ, въ своемъ христіанскомъ упованіи, вѣрилъ быти безсмертною.

Захарія Бенефактовъ, второй іерей Старгородскаго собора, совсѣмъ въ другомъ родѣ. Вся его личность есть воплощенная кротость и смиреніе. Соотвѣтственно тому, сколь мало желаетъ заявлять себя кроткій духъ его, столь же мало занимаетъ мѣста и его крошечное тѣло, и какъ бы старается не отяготить собою землю. Онъ малъ, худъ, тщедушенъ и лысъ. Двѣ маленькихъ буколькі сѣро-желтенькихъ волосинокъ у него развѣваются только надъ ушами. Косы у него нѣтъ никакой. Послѣдніе остатки ея исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьяконъ Ахилла иначе ее не называлъ, какъ мышиный хвостикъ. Вмѣсто бороды, у отца Захаріи точно приклеенъ кусочекъ губочки. Ручки у него дѣтскія, и онъ ихъ постоянно скрываетъ и прячетъ въ карманики своего подрясника. Ножки у него слабыя, тоненькія, что называется соломенныя, и самъ онъ весь точно сплетенъ изъ соломки. Добрѣйшіе сѣренькіе глазки его смотрятъ быстро, но поднимаются вверхъ очень рѣдко, и сейчасъ же ищутъ мѣста, куда бы имъ спрятаться отъ нескромнаго взора. По лѣтамъ отецъ Захарія немножко старше отца Туберозова и значительно немощнѣе его, но и онъ, такъ же, какъ и протопопъ, привыкъ держаться бодро, и при всѣхъ посѣщающихъ его недугахъ и немощахъ сохранилъ и живую душу, и тѣлесную подвижность.

Третій и послѣдній представитель Старгородскаго соборнаго духовенства, дьяконъ Ахилла, имѣлъ нѣсколько опредѣленій, которыя будетъ не лишнимъ здѣсь привести всѣ, дабы при помощи ихъ могучій Ахилла сколько-нибудь удобнѣе нарисовался читателю.

Инспекторъ духовнаго училища, исключившій Ахиллу Десницына изъ синтаксическаго класса за «великовозрастіе и малоуспѣшіе», говорилъ ему:

— Эка ты, дубина какая, протяженно сложенная!

Ректоръ, по особымъ ходатайствамъ, вновь принявшій Ахиллу въ классъ реторики, удивлялся, глядя на этого слагавшагося богатыря и, изумляясь его величинѣ, силѣ и безтолковости, говорилъ:

— Недостаточно, думаю, будетъ тебя и дубиной называть, поелику въ моихъ глазахъ ты по малости цѣлый возъ дровъ.

Регентъ же архіерейскаго хора, въ который Ахилла Десницынъ попалъ по извлеченіи его изъ реторики и зачисленіи на причетническую должность, звалъ его «непомѣрнымъ».

— Басъ у тебя, — говорилъ регентъ: — хорошій, точно пушка стрѣляетъ; но непомѣренъ ты до страсти, такъ что чрезъ эту непомѣрность я даже не знаю, какъ съ тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое вѣское изъ характерныхъ опредѣленій дьякону Ахиллѣ было сдѣлано самимъ архіереемъ, и притомъ въ весьма памятный для Ахиллы день, именно въ день изгнанія его, Ахиллы, изъ архіерейскаго хора и посылки на дьяконство въ Старый Городъ. По этому опредѣленію дьяконъ Ахилла назывался «уязвленнымъ». Здѣсь будетъ умѣстно разсказать, по какому случаю стало ему приличествовать сіе послѣднее названіе «уязвленнаго».

Дьяконъ Ахилла, отъ самыхъ лѣтъ юности своей, былъ человѣкъ весьма веселый, смѣшливый и притомъ безмѣрно увлекающійся. И мало того, что онъ не зналъ мѣры своимъ увлеченіямъ въ юности: мы увидимъ, зналъ ли онъ имъ мѣру и къ годамъ своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомѣрность» баса Ахиллы, имъ все-таки очень дорожили въ архіерейскомъ хорѣ, гдѣ онъ хваталъ и самаго залетнаго верха и забиралъ подъ самую низкую октаву. Одно, чѣмъ страшенъ былъ регенту непомѣрный Ахилла, это — «увлекательностью». Такъ онъ, напримѣръ, во всенощной никакъ не могъ удержаться, чтобы только трижды пропѣть «Святъ Господь Богъ нашъ», а нерѣдко вырывался въ увлеченіи и пѣлъ это одинъ-одинешенекъ четырежды, и особенно никогда не могъ во-время окон-

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Люди, житье-бытье которыхъ составитъ предмотъ этого разсказа, суть жители Старгородской соборной поповки. Это — протоіерей Савелій Туберозовъ, священникъ Захарія Бенефактовъ и дьяконъ Ахилла Десницынъ. Годы ранней молодости этихъ людей, такъ же какъ и пора ихъ дѣтства, насъ не касаются. А чтобы видѣть предъ собою эти лица въ той порѣ, въ которой читателю приходится представлять ихъ своему воображенію, онъ долженъ рисовать себѣ главу Старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, мужемъ уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни. Отецъ Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но еще очень бодръ и подвиженъ. Въ такомъ же состояніи и душевныя его силы: при первомъ на него взглядѣ видно, что онъ сохранилъ весь пылъ сердца и всю энергію молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцомъ мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, какъ грива матерого льва, и бѣлы, какъ кудри Фидіева Зевса. Они художественно поднимаются могучимъ чубомъ надъ его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами падаютъ назадъ, не достигая плечъ. Въ длинной раздвоенной бородѣ отца протопопа и въ его небольшихъ усахъ, соединяющихся съ бородой у угловъ рта, мелькаетъ еще нѣсколько черныхъ волосъ, придающихъ ей видъ серебра, отдѣланнаго чернью. Брови же отца протопопа совсѣмъ

сомъ косомъ Лѣвшѣ и о стальной блохѣ» и на разсказъ: «Загонъ». Первый изъ нихъ по чисто-народной своей формѣ, богатству бытовыхъ чертъ является однимъ изъ лучшихъ произведеній Лѣскова этого рода и можетъ быть сопоставленъ только съ «Очарованнымъ странникомъ». Въ немъ звучитъ патріотическая нотка, но онъ въ то же время представляетъ поразительный контрастъ съ разсказомъ «Загонъ», гдѣ по поводу толковъ объ отсталости нашего сельскаго хозяйства Лѣсковъ рисуетъ истинную причину этой отсталости, въ значительной степени коренящуюся въ самомъ народѣ. Такимъ образомъ и тутъ Лѣсковъ умѣетъ возвыситься до безпристрастнаго отношенія къ собственному народу, изображая его отрицательныя и положительныя стороны и мѣря всѣхъ равною мѣрою, какъ своихъ, такъ и чужихъ. Трезвость мысли у Лѣскова всегда преобладаетъ: онъ менѣе всего тенденціозный писатель, хотя и не понимаетъ другого искусства, кромѣ находящагося въ связи съ общественными задачами. Его возвышенный взглядъ на этотъ предметъ изложенъ, какъ извѣстно, въ «Чортовыхъ куклахъ».

VII.

Намъ остается еще опредѣлить мѣсто, которое Лѣсковъ занимаетъ въ нашей литературѣ.

Первое его печатное произведеніе, какъ мы видѣли, появилось въ 1860 г., когда ему было почти уже 30 лѣтъ; онъ сразу принялъ самое дѣятельное участіе въ движеніи этого времени; слѣдовательно, его по всей справедливости можно назвать писателемъ шестидесятыхъ годовъ. Но между писателями этой эпохи онъ занимаетъ своеобразное мѣсто, потому что онъ подчинился движенію этого времени только въ извѣстномъ смыслѣ и отвергъ его въ другихъ отношеніяхъ. Въ то время, какъ Салтыковъ, хотя писалъ и составилъ себѣ даже довольно громкую литературную извѣстность уже раньше, является самымъ яркимъ представителемъ движенія шестидесятыхъ годовъ, какъ оно выразилось въ нашей журналистикѣ, Лѣсковъ отсталъ отъ него прежде, чѣмъ успѣлъ окончательно къ нему присоединиться. Салтыковъ относился отрицательно и критически ко всему, за исключеніемъ

того, что составляло сущность движенія въ указанномъ смыслѣ; Лѣсковъ началъ свою литературную дѣятельность съ отрицанія этого движенія. Русское образованное общество теперь все болѣе приходитъ къ сознанію, что оба эти писателя имѣютъ большія заслуги передъ литературою и родиною, а между тѣмъ ихъ убѣжденія повидимому совершенно противоположны.

Какъ это объяснить?

Имя Салтыкова окружено легендою. Что думалъ Салтыковъ,— объ этомъ говорить рано; мы должны судить его, какъ и Лѣскова, только по его произведеніямъ. Если же ограничиться одними произведеніями Салтыкова, то мы должны будемъ признать, что его литературная дѣятельность является прямымъ продолженіемъ дѣятельности Гоголя въ его двухъ капитальнѣйшихъ произведеніяхъ: «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ душахъ». Никто изъ русскихъ писателей истекающаго вѣка не осмѣялъ наше общество такъ жестоко, какъ осмѣялъ его Гоголь. Салтыковъ, обладавшій изумительнымъ сатирическимъ талантомъ, является прямымъ послѣдователемъ этой стороны дѣятельности творца «Мертвыхъ душъ». Нуждалось ли, однако, наше общество въ этомъ смѣхѣ надъ самимъ собою? На первый разъ несомнѣнно: этотъ смѣхъ удовлетворялъ очень сильной его потребности. Въ эпоху переходную, когда происходитъ переломъ, когда общество ищетъ новыхъ идеаловъ взамѣнъ старыхъ, отжившихъ свое время, критическое отношеніе къ послѣднимъ, а при случаѣ и ихъ осмѣяніе соотвѣтствуетъ глубокой общественной потребности. Всѣ, кто желаетъ поскорѣе отрѣшиться отъ прошлаго, жить для будущаго, съ восторгомъ привѣтствуютъ писателя, который не щадитъ прошлаго и осмѣиваетъ тѣхъ, кто, по мнѣнію смѣющихся или на самомъ дѣлѣ, его поддерживаетъ. Этотъ смѣхъ, насколько онъ дѣйствительно направленъ противъ того, что должно рушиться, можетъ быть признанъ благотворнымъ и вполнѣ законнымъ. И мы видимъ, что Салтыковъ и Лѣсковъ идутъ въ этомъ отношеніи рука объ руку. Кто читалъ «Смѣхъ и горе» или «Загонъ» Лѣскова, признаетъ его не только единомышленникомъ Салтыкова, но и родственнымъ ему дарованіемъ по силѣ и глубинѣ сатирическаго настроенія, по необычайному искусству, съ какими

они оба умѣли выставлять отрицательныя стороны русской дѣйствительности. Между ними найдется и много другихъ точекъ соприкосновенія. Сатирическое ихъ настроеніе не исключало священнаго трепета, который возбуждали въ душѣ этихъ двухъ писателей «забытыя слова», самыя возвышенныя чувства человѣка: любовь къ ближнему, вѣротерпимость, уваженіе къ личности и свободѣ, готовность къ самопожертвованію, — все это въ одинаковой мѣрѣ ихъ воодушевляло. И тѣмъ не менѣе мы почему-то привыкли ихъ разъединять, считать представителями какихъ-то противоположныхъ началъ. Разъясненіе вопроса,— почему это происходитъ, лучше всего уяснитъ намъ окончательно духовный обликъ Лѣскова.

Начнемъ съ «забытыхъ словъ». Преклоненіе предъ ними, напоминаніе о нихъ, конечно, составляютъ заслугу Салтыкова, но они не могутъ служить для него отличительнымъ признакомъ, потому что къ счастью у насъ нѣтъ большихъ писателей, которые отвергали бы «забытыя слова». Предъ ними преклонялись, о нихъ постоянно напоминали и Кантемиръ, и Ломоносовъ, и Фонвизинъ, и Державинъ, и Жуковскій, и Пушкинъ, и Гоголь, всѣ крупные наши писатели вплоть до Салтыкова и Лѣскова. Значитъ, если руководствоваться только «забытыми словами», то намъ трудно будетъ провести границу между различными писателями. Но «забытыя слова» это—общіе идеалы, идеалы всѣхъ временъ и народовъ, а всякій общій идеалъ осуществляется особеннымъ образомъ въ данное время, въ данномъ народѣ. Эта спеціальная форма осуществленія общаго идеала и составляетъ задачу данной эпохи. Чтобы уловить отличительные признаки извѣстнаго писателя, мы должны, слѣдовательно, знать, какъ онъ представлялъ себѣ осуществленіе общихъ идеаловъ по отношенію къ своему времени и народу. Міровые писатели, т. е. такіе, которые думаютъ для всѣхъ временъ и народовъ, очень рѣдки, да и то среда налагаетъ на нихъ свою руку, а остальные имѣютъ свои спеціальные идеалы, т. е. тѣ же общіе идеалы, но приноровленные къ данному мѣсту и времени. О Салтыковѣ можно только сказать, что онъ въ высокой степени удовлетворилъ современное русское общество въ его потребности критически

отнестись къ отрицательнымъ сторонамъ русской жизни; громадный же успѣхъ, которымъ онъ пользовался, объясняется, какъ мы видѣли, тѣмъ, что онъ жилъ въ эпоху переходную, когда народъ, выбиваясь изъ прежнихъ условій, страстно желаетъ покончить съ ними и вступить въ новую жизнь. Въ этомъ отношеніи Салтыковъ былъ своего рода русскимъ геркулесомъ, расчищавшимъ авгіевы конюшни, корчевавшимъ русскую почву для новаго посѣва. Какъ ни значительна роль его въ этомъ отношеніи, но на этомъ она и кончается: обсѣменить ниву онъ не могъ — у него не было сѣмянъ. Другими словами, у него не было спеціальныхъ идеаловъ, пригодныхъ для времени, въ которое онъ жилъ.

Но тамъ, гдѣ кончалась работа Салтыкова, начиналась работа Лѣскова. И Лѣсковъ былъ писателемъ переходнаго времени. Въ качествѣ такого писателя, онъ принялъ дѣятельное участіе въ расчищеніи почвы: онъ примыкаетъ къ тому направленію въ нашей литературѣ, которое называется обличительнымъ. Осмѣяніе старыхъ порядковъ занимаетъ видное мѣсто въ его произведеніяхъ. Въ этомъ отношеніи онъ всецѣло примыкаетъ къ Гоголю и Салтыкову; но онъ на этомъ не останавливается. Во-первыхъ, онъ на ряду съ Писемскимъ, первый изъ крупныхъ нашихъ писателей подвергъ сатирѣ и «новыхъ людей». Но онъ не только ихъ осмѣялъ: онъ въ то же время указалъ имъ, къ чему они должны стремиться, формулировалъ тотъ спеціальный идеалъ, который наиболѣе пригоденъ для переживаемаго переходнаго времени. Сдѣлалъ онъ это сразу, т. е. тотчасъ по вступленіи на литературное поприще. Мы старались выяснить, почему онъ могъ это сдѣлать; мы старались показать, что онъ собственно готовился къ практической дѣятельности, слѣдовательно, носился въ молодости съ вопросомъ,—какъ ему дѣйствовать не въ качествѣ писателя, а въ качествѣ простого смертнаго въ окружавшей его жизни, и собиралъ соотвѣтственныя наблюденія, обогащалъ себя соотвѣтственнымъ опытомъ. Наблюденія его были чрезвычайно разностороннія, не ограничивались одною школою и канцеляріею, но обнимали болѣе или менѣе всѣ сферы нашей жизни. Онъ чувствовалъ, что Россіи болѣе всего нужно,

и пришелъ къ выводу, которымъ проникнуты всѣ его произведенія, что не въ тѣхъ или другихъ теоріяхъ спасеніе, а въ людяхъ, умѣющихъ дѣлать настоящее дѣло у основъ народной жизни. Мы видѣли, что у него цѣлый рядъ произведеній посвященъ указанію на то, что и въ прежней до-реформенной Россіи можно было многое сдѣлать, и что всѣми нашими успѣхами мы обязаны людямъ, трудившимся въ этомъ направленіи. Исходя изъ этого факта, онъ, при своемъ вступленіи на литературное поприще, задался прежде всего вопросомъ, пригодны ли «новые люди» для такого живого дѣла при измѣнившихся условіяхъ. Добросовѣстно изучая и тутъ дѣйствительность, онъ пришелъ къ отрицательному выводу и имѣлъ великое мужество, принося себя въ жертву, сказать это «новымъ людямъ» прямо въ лицо. Это былъ великій его гражданскій подвигъ.

Но и этотъ подвигъ былъ только отрицательнаго свойства. Это было обличеніе. Лѣсковъ сдѣлалъ по отношенію къ своимъ современникамъ и притомъ къ той общественной сферѣ, въ которой онъ самъ жилъ и дѣйствовалъ, то, что сдѣлали въ свое время Фонвизинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь и Салтыковъ. Но изъ всѣхъ этихъ сатириковъ только Грибоѣдову и Лѣскову принадлежитъ честь, что они въ своей сатирѣ не забыли казнить и дѣятелей, имъ наиболѣе близкихъ. Грибоѣдовъ казнилъ не только Фамусовыхъ, Скалозубовъ и Молчалиныхъ, но и Чацкихъ. Лѣсковъ казнилъ не только Функендорфовъ, Постельниковыхъ и тѣхъ видныхъ дѣятелей, которыхъ онъ называлъ прямо по имени, но и дорогихъ его сердцу Райнеровъ и Овцебыковъ. За что онъ ихъ казнилъ? За то, за что и Грибоѣдовъ казнилъ своего Чацкаго: за полное несоотвѣтствіе средствъ, которыми они пользовались, и цѣлей, которыя они преслѣдовали; за благіе порывы, оставляемые неосуществленными; за потокъ громкихъ рѣчей, не сопровождаемыхъ даже маленькимъ дѣломъ; за неумѣнье поставить себѣ жизненную задачу для доставленія своимъ идеаламъ хотя бы частичнаго торжества. Словомъ, Лѣсковъ не ограничился обличеніемъ стараго, онъ обличилъ и новое и, обличая послѣднее, онъ въ то же время указалъ русскому обществу, — каковъ долженъ быть его путь.

Правильно ли это указаніе? На это можетъ отвѣтить только исторія. Но одно уже теперь видно, именно, что въ томъ направленіи, въ какомъ работалъ Лѣсковъ, несомнѣнно, работаетъ русская жизнь и современная беллетристика. Лѣсковъ примыкаетъ не только къ нашей обличительной литературѣ, но и къ другому направленію, сказавшемуся очень сильно въ первоклассныхъ нашихъ художникахъ. Гоголь далъ намъ Костанжогло, Гончаровъ—Штольца, Тургеневъ уже послѣ Лѣскова—Соломина. Все это—положительные типы въ нашей литературѣ, и ихъ общая черта заключается въ томъ, что они умѣютъ задаваться цѣлями, осуществимыми въ жизни и обезпечивающими наши культурные успѣхи. Творчество Лѣскова въ значительной степени было направлено на то, чтобы укрѣпить въ нашемъ сознаніи убѣжденіе въ возможности такихъ дѣятелей и въ томъ, что безъ нихъ никакой прогрессъ немыслимъ.

Съ этою цѣлью онъ вывелъ цѣлый рядъ типовъ, которыхъ мы здѣсь вторично перечислять не будемъ, но которые имѣютъ ту общую черту, что они представляютъ собою дѣятелей, плодящихъ не одни слова, но и настоящее дѣло. Это — его «праведники», по отношенію къ которымъ онъ повторяетъ слова покойнаго нашего историка Соловьева, что они, «стоя въ сторонѣ отъ главнаго историческаго движенія, сильнѣе другихъ дѣлаютъ исторію». Если мы теперь приглядимся къ современной беллетристикѣ въ лицѣ ея главныхъ представителей, то мы убѣдимся, что и она любитъ главнымъ образомъ рисовать такихъ дѣятелей, указывая при этомъ на тщету широкихъ замысловъ, не сопровождаемыхъ практическимъ дѣломъ. Такимъ образомъ Лѣсковъ, примыкая къ прежней нашей литературѣ, далъ тонъ и направленіе современной, отгадавъ то, въ чемъ жизнь наиболѣе нуждается. Это—вторая великая его заслуга.

Третья, хотя и болѣе частнаго характера, касается раскрытія читателямъ цѣлой новой области русской жизни. Никто до Лѣскова и послѣ него еще не просвѣтилъ въ такой полнотѣ русское общество насчетъ быта и жизни нашего духовенства. И тутъ онъ дѣйствовалъ въ двухъ направленіяхъ: обличалъ прошлое, подготовлялъ будущее. Его отрицательнымъ типамъ соотвѣтствуютъ положительные, которые насъ убѣждаютъ, какъ много скром-

ные пастыри церкви дѣлали и могутъ сдѣлать для цѣлей, насъ всѣхъ воодушевляющихъ. Нѣтъ ничего несправедливѣе, какъ обвинять Лѣскова въ томъ, что онъ выставилъ лишь отрицательныя стороны нашего духовенства: величественная въ своей простотѣ фигура одного о. Туберозова изобличаетъ этихъ обвинителей въ лжесвидѣтельствѣ. А одинъ ли о. Туберозовъ возбуждаетъ къ себѣ чувства глубокаго уваженія и неменьшей признательности? У Лѣскова найдется не мало такихъ симпатичныхъ типовъ на всѣхъ ступеняхъ духовной іерархіи. Обличалъ Лѣсковъ и въ этой области только то, что было достойно обличенія, противъ чего высказывались всѣ просвѣщенные пастыри нашей церкви. И могъ ли онъ поступать иначе, когда онъ самъ былъ глубоко вѣрующій человѣкъ и не зналъ болѣе высокой заповѣди, какъ христіанская заповѣдь о дѣятельной любви къ ближнему, духомъ которой проникнута всякая строка его замѣчательныхъ произведеній?

Таковы главныя заслуги Лѣскова, которыя мы считали своимъ долгомъ подчеркнуть, потому что ихъ слишкомъ часто забываютъ, не хотятъ знать или не могутъ себѣ уяснить вслѣдствіе временныхъ предубѣжденій. Во всякомъ случаѣ намъ кажется, что только съ этой точки зрѣнія можно понять и оцѣнить Лѣскова. О громадномъ литературномъ его дарованіи мы тутъ говорить не станемъ: оно признается всѣми и не отрицается даже людьми, не сочувствующими его дѣятельности. Но если не одно дарованіе,—этотъ даръ свыше,—обезпечиваетъ за писателемъ мѣсто въ литературѣ и благодарность потомства, если отъ него требуется, чтобы онъ былъ гражданиномъ, чтобы онъ скорбѣлъ скорбью своего времени, чтобы онъ мужественно возвышалъ голосъ за правду, чтобы онъ приносилъ себя, когда нужно, ей въ жертву, то и въ такомъ случаѣ мы должны будемъ признать, что Лѣсковъ въ высокой мѣрѣ исполнилъ свой долгъ, и что онъ является не только выдающимся писателемъ, но и вѣрнымъ, преданнымъ, самоотверженнымъ сыномъ своей страны.

Р. Сементковскій.

СОБОРЯНЕ.

ХРОНИКА.

ные пастыри церкви дѣлали и могутъ сдѣлать для цѣлей, насъ всѣхъ воодушевляющихъ. Нѣтъ ничего несправедливѣе, какъ обвинять Лѣскова въ томъ, что онъ выставилъ лишь отрицательныя стороны нашего духовенства: величественная въ своей простотѣ фигура одного о. Туберозова изобличаетъ этихъ обвинителей въ лжесвидѣтельствѣ. А одинъ ли о. Туберозовъ возбуждаетъ къ себѣ чувства глубокаго уваженія и неменьшей признательности? У Лѣскова найдется не мало такихъ симпатичныхъ типовъ на всѣхъ ступеняхъ духовной іерархіи. Обличалъ Лѣсковъ и въ этой области только то, что было достойно обличенія, противъ чего высказывались всѣ просвѣщенные пастыри нашей церкви. И могъ ли онъ поступать иначе, когда онъ самъ былъ глубоко вѣрующій человѣкъ и не зналъ болѣе высокой заповѣди, какъ христіанская заповѣдь о дѣятельной любви къ ближнему, духомъ которой проникнута всякая строка его замѣчательныхъ произведеній?

Таковы главныя заслуги Лѣскова, которыя мы считали своимъ долгомъ подчеркнуть, потому что ихъ слишкомъ часто забываютъ, не хотятъ знать или не могутъ себѣ уяснить вслѣдствіе временныхъ предубѣжденій. Во всякомъ случаѣ намъ кажется, что только съ этой точки зрѣнія можно понять и оцѣнить Лѣскова. О громадномъ литературномъ его дарованіи мы тутъ говорить не станемъ: оно признается всѣми и не отрицается даже людьми, не сочувствующими его дѣятельности. Но если не одно дарованіе,—этотъ даръ свыше,—обезпечиваетъ за писателемъ мѣсто въ литературѣ и благодарность потомства, если отъ него требуется, чтобы онъ былъ гражданиномъ, чтобы онъ скорбѣлъ скорбью своего времени, чтобы онъ мужественно возвышалъ голосъ за правду, чтобы онъ приносилъ себя, когда нужно, ей въ жертву, то и въ такомъ случаѣ мы должны будемъ признать, что Лѣсковъ въ высокой мѣрѣ исполнилъ свой долгъ, и что онъ является не только выдающимся писателемъ, но и вѣрнымъ, преданнымъ, самоотверженнымъ сыномъ своей страны.

Р. Сементковскій.

СОБОРЯНЕ.

ХРОНИКА.

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Люди, житье-бытье которыхъ составитъ предмотъ этого разсказа, суть жители Старгородской соборной поповки. Это — протоіерей Савелій Туберозовъ, священникъ Захарія Бенефактовъ и дьяконъ Ахилла Десницынъ. Годы ранней молодости этихъ людей, такъ же какъ и пора ихъ дѣтства, насъ не касаются. А чтобы видѣть предъ собою эти лица въ той порѣ, въ которой читателю приходится представлять ихъ своему воображенію, онъ долженъ рисовать себѣ главу Старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, мужемъ уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни. Отецъ Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но еще очень бодръ и подвиженъ. Въ такомъ же состояніи и душевныя его силы: при первомъ на него взглядѣ видно, что онъ сохранилъ весь пылъ сердца и всю энергію молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцомъ мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, какъ грива матерого льва, и бѣлы, какъ кудри Фидіева Зевса. Они художественно поднимаются могучимъ чубомъ надъ его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами падаютъ назадъ, не достигая плечъ. Въ длинной раздвоенной бородѣ отца протопопа и въ его небольшихъ усахъ, соединяющихся съ бородой у угловъ рта, мелькаетъ еще нѣсколько черныхъ волосъ, придающихъ ей видъ серебра, отдѣланнаго чернью. Брови же отца протопопа совсѣмъ

черны, и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основанія его довольно большого и довольно толстаго носа. Глаза у него коричневые, большіе, смѣлые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освѣщаться присутствіемъ разума; въ нихъ же близкіе люди видали и блескъ радостнаго восторга, и туманы скорби, и слезы умиленія; въ нихъ же сверкалъ порою и огонь негодованія, и они бросали искры гнѣва — гнѣва не суетнаго, не сварливаго, не мелкаго, а гнѣва большого человѣка. Въ эти глаза глядѣла прямая и честная душа протопопа Савелія, которую онъ, въ своемъ христіанскомъ упованіи, вѣрилъ быти безсмертною.

Захарія Бенефактовъ, второй іерей Старгородскаго собора, совсѣмъ въ другомъ родѣ. Вся его личность есть воплощенная кротость и смиреніе. Соотвѣтственно тому, сколь мало желаетъ заявлять себя кроткій духъ его, столь же мало занимаетъ мѣста и его крошечное тѣло, и какъ бы старается не отяготить собою землю. Онъ малъ, худъ, тщедушенъ и лысъ. Двѣ маленькихъ букольки сѣро-желтенькихъ волосинокъ у него развѣваются только надъ ушами. Косы у него нѣтъ никакой. Послѣдніе остатки ея исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьяконъ Ахилла иначе ее не называлъ, какъ мышиный хвостикъ. Вмѣсто бороды, у отца Захаріи точно приклеенъ кусочекъ губочки. Ручки у него дѣтскія, и онъ ихъ постоянно скрываетъ и прячетъ въ кармашки своего подрясника. Ножки у него слабыя, тоненькія, что называется соломенныя, и самъ онъ весь точно сплетенъ изъ соломки. Добрѣйшіе сѣренькіе глазки его смотрятъ быстро, но поднимаются вверхъ очень рѣдко, и сейчасъ же ищутъ мѣста, куда бы имъ спрятаться отъ нескромнаго взора. По лѣтамъ отецъ Захарія немножко старше отца Туберозова и значительно немощнѣе его, но и онъ, такъ же, какъ и протопопъ, привыкъ держаться бодро, и при всѣхъ посѣщающихъ его недугахъ и немощахъ сохранилъ и живую душу, и тѣлесную подвижность.

Третій и послѣдній представитель Старгородскаго соборнаго духовенства, дьяконъ Ахилла, имѣлъ нѣсколько опредѣленій, которыя будетъ не лишнимъ здѣсь привести всѣ, дабы при помощи ихъ могучій Ахилла сколько-нибудь удобнѣе нарисовался читателю.

Инспекторъ духовнаго училища, исключившій Ахиллу Десницына изъ синтаксическаго класса за «великовозрастіе и малоуспѣшіе», говорилъ ему:

— Эка ты, дубина какая, протяженно сложенная!

Ректоръ, по особымъ ходатайствамъ, вновь принявшій Ахиллу въ классъ реторики, удивлялся, глядя на этого слагавшагося богатыря и, изумляясь его величинѣ, силѣ и безтолковости, говорилъ:

— Недостаточно, думаю, будетъ тебя и дубиной называть, поелику въ моихъ глазахъ ты по малости цѣлый возъ дровъ.

Регентъ же архіерейскаго хора, въ который Ахилла Десницынъ попалъ по извлеченіи его изъ реторики и зачисленіи на причетническую должность, звалъ его «непомѣрнымъ».

— Басъ у тебя, — говорилъ регентъ: — хорошій, точно пушка стрѣляетъ; но непомѣренъ ты до страсти, такъ что чрезъ эту непомѣрность я даже не знаю, какъ съ тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое вѣское изъ характерныхъ опредѣленій дьякону Ахиллѣ было сдѣлано самимъ архіереемъ, и притомъ въ весьма памятный для Ахиллы день, именно въ день изгнанія его, Ахиллы, изъ архіерейскаго хора и посылки на дьяконство въ Старый Городъ. По этому опредѣленію дьяконъ Ахилла назывался «уязвленнымъ». Здѣсь будетъ умѣстно разсказать, по какому случаю стало ему приличествовать сіе послѣднее названіе «уязвленнаго».

Дьяконъ Ахилла, отъ самыхъ лѣтъ юности своей, былъ человѣкъ весьма веселый, смѣшливый и притомъ безмѣрно увлекающійся. И мало того, что онъ не зналъ мѣры своимъ увлеченіямъ въ юности: мы увидимъ, зналъ ли онъ имъ мѣру и къ годамъ своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомѣрность» баса Ахиллы, имъ все-таки очень дорожили въ архіерейскомъ хорѣ, гдѣ онъ хваталъ и самаго залетнаго верха и забиралъ подъ самую низкую октаву. Одно, чѣмъ страшенъ былъ регенту непомѣрный Ахилла, это — «увлекательностью». Такъ онъ, напримѣръ, во всенощной никакъ не могъ удержаться, чтобы только трижды пропѣть «Свять Господь Богъ нашъ», а нерѣдко вырывался въ увлеченіи и пѣлъ это одинъ-одинешенекъ четырежды, и особенно никогда не могъ во-время окон-

чить пѣнія многолѣтій. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ, которые уже были извѣстны и которые потому можно было предвидѣть, противъ «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались мѣры предосторожности, избавлявшія отъ всякихъ напастей и самого дьякона, и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь изъ взрослыхъ пѣвчихъ дергать Ахиллу за полы или осаживать его въ благопотребную минуту внизъ за плечи. Но недаромъ сложена пословица, что на всякій часъ не обережешься. Какъ ни тщательно и любовно берегли Ахиллу отъ его увлеченій, все-таки его не могли совсѣмъ уберечь отъ нихъ, и онъ самымъ разительнымъ образомъ оправдалъ на себѣ то теоретическое положеніе, что «тому нѣтъ спасенія, кто въ самомъ себѣ носитъ врага». Въ одинъ большой изъ двунадесятыхъ праздниковъ, Ахилла, исполняя причастный концертъ, долженъ былъ дѣлать весьма хитрое басовое соло на словахъ: «и скорбьми уязвленъ». Значеніе, которое этому соло придавалъ регентъ и весь хоръ, внушало Ахиллѣ много заботъ: онъ былъ неспокоенъ и тщательно обдумывалъ, какъ бы ему не ударить себя лицомъ въ грязь и отличиться передъ любившимъ пѣніе преосвященнымъ и передъ всею губернскою аристократіей, которая соберется въ церковь. И зато справедливость требуетъ сказать, что Ахилла изучилъ это соло великолѣпно. Дни и ночи онъ расхаживалъ то по своей комнатѣ, то по коридору или по двору, то по архіерейскому саду или по загородному выгону, и все распѣвалъ на разные тоны: «уязвленъ, уязвленъ, уязвленъ», и въ такихъ безпрестанныхъ упражненіяхъ дождался наконецъ, что насталъ и самый день его славы, когда онъ долженъ былъ пропѣть свое «уязвленъ» предъ всѣмъ соборомъ. Начался концертъ. Боже, какъ великъ и свѣтло сіяющъ стоитъ съ нотами въ рукахъ огромный Ахилла! Его надо было срисовать,—перомъ нельзя его описывать... Вотъ уже прошли знакомые форшлаги и подходитъ мѣсто басового соло. Ахилла отодвигаетъ локтемъ сосѣда, выбиваетъ себѣ въ молчаніи тактъ своего соло «уязвленъ» и, дождавшись своего темпа, видитъ поднимающуюся съ камертономъ регентскую руку... Ахилла позабылъ весь міръ и себя самого, и удивительнѣйшимъ образомъ, какъ труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашаетъ: «И скорбьми уязвленъ, уязвленъ, у-й-я-з-в-л-е-н-ъ, у-й-я-з-

в-л-е-н-ъ, уязвленъ». Силой останавливаютъ Ахиллу отъ непредусмотрѣнныхъ излишнихъ повтореній, и концертъ конченъ. Но не конченъ онъ былъ въ «увлекательной» головѣ Ахиллы, и среди тихихъ привѣтствій, приносимыхъ владыкѣ подходящею къ его благословенію аристократіей, словно трубный гласъ съ неба, съ клироса снова упалъ вдругъ: «Уязвленъ, уй-яз-вленъ, уй-я-з-в-л-е-н-ъ». Это поетъ ничего не понимающій въ своемъ увлеченіи Ахилла; его дергаютъ—онъ поетъ; его осаживаютъ внизъ, стараясь скрыть за спинами товарищей, — онъ поетъ: «уязвленъ»; его, наконецъ, выводятъ вонъ изъ церкви, но онъ все-таки поетъ: «у-я-з-в-л-е-н-ъ».

— Что тебѣ такое?—спрашиваютъ его съ участіемъ сердобольные люди.

— «Уязвленъ»,—воспѣваетъ, глядя всѣмъ имъ въ глаза, Ахилла, и такъ и остается у дверей притвора, пока струя свѣжаго воздуха не отрезвила его экзальтацію.

Въ сравненіи съ протоіереемъ Туберозовымъ и отцомъ Бенефактовымъ, Ахилла Десницынъ можетъ назваться человѣкомъ молодымъ, но и ему уже далеко за сорокъ, и по смоляномъ черномъ кудрямъ его пробѣжала сильная просѣдь. Роста Ахилла огромнаго, силы страшной, въ манерахъ угловатъ и рѣзокъ, но при всемъ этомъ весьма пріятенъ; типъ лица имѣетъ южный и говоритъ, что происходитъ изъ малороссійскихъ казаковъ, отъ коихъ онъ и въ самомъ дѣлѣ какъ будто унаслѣдовалъ безпечность и храбрость и многія другія казачьи добродѣтели.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Жили всѣ эти герои старомоднаго покроя на Старгородской поповкѣ, надъ тихою судоходною рѣкой Турицей. У каждаго изъ нихъ, какъ у Туберозова, такъ и у Захаріи, и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самомъ берегу, какъ разъ насупротивъ высившагося за рѣкой старинаго пятиглаваго собора съ высокими куполами. Но какъ разнохарактерны были сами эти обыватели, такъ различны были и ихъ жилища. У отца Савелія домикъ былъ очень красивый, выкрашенный свѣтло-голубою масляною краской, съ разноцвѣтными звѣздочками, квадратиками и репейками, прибитыми надъ каждымъ изъ трехъ его оконъ. Окна эти обрамливались еще рѣзными, ярко же раскрашенными, на-

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Люди, житье-бытье которыхъ составитъ предметъ этого разсказа, суть жители Старгородской соборной поповки. Это — протоіерей Савелій Туберозовъ, священникъ Захарія Бенефактовъ и дьяконъ Ахилла Десницынъ. Годы ранней молодости этихъ людей, такъ же какъ и пора ихъ дѣтства, насъ не касаются. А чтобы видѣть предъ собою эти лица въ той порѣ, въ которой читателю приходится представлять ихъ своему воображенію, онъ долженъ рисовать себѣ главу Старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, мужемъ уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни. Отецъ Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но еще очень бодръ и подвиженъ. Въ такомъ же состояніи и душевныя его силы: при первомъ на него взглядѣ видно, что онъ сохранилъ весь пылъ сердца и всю энергію молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцомъ мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, какъ грива матерого льва, и бѣлы, какъ кудри Фидіева Зевса. Они художественно поднимаются могучимъ чубомъ надъ его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами падаютъ назадъ, не достигая плечъ. Въ длинной раздвоенной бородѣ отца протопопа и въ его небольшихъ усахъ, соединяющихся съ бородой у угловъ рта, мелькаетъ еще нѣсколько черныхъ волосъ, придающихъ ей видъ серебра, отдѣланнаго чернью. Брови же отца протопопа совсѣмъ

черны, и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основанія его довольно большого и довольно толстаго носа. Глаза у него коричневые, большіе, смѣлые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освѣщаться присутствіемъ разума; въ нихъ же близкіе люди видали и блескъ радостнаго восторга, и туманы скорби, и слезы умиленія; въ нихъ же сверкалъ порою и огонь негодованія, и они бросали искры гнѣва — гнѣва не суетнаго, не сварливаго, не мелкаго, а гнѣва большого человѣка. Въ эти глаза глядѣла прямая и честная душа протопопа Савелія, которую онъ, въ своемъ христіанскомъ упованіи, вѣрилъ быти безсмертною.

Захарія Бенефактовъ, второй іерей Старгородскаго собора, совсѣмъ въ другомъ родѣ. Вся его личность есть воплощенная кротость и смиреніе. Соотвѣтственно тому, сколь мало желаетъ заявлять себя кроткій духъ его, столь же мало занимаетъ мѣста и его крошечное тѣло, и какъ бы старается не отяготить собою землю. Онъ малъ, худъ, тщедушенъ и лысъ. Двѣ маленькихъ букольки сѣро-желтенькихъ волосинокъ у него развѣваются только надъ ушами. Косы у него нѣтъ никакой. Послѣдніе остатки ея исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьяконъ Ахилла иначе ее не называлъ, какъ мышиный хвостикъ. Вмѣсто бороды, у отца Захаріи точно приклеенъ кусочекъ губочки. Ручки у него дѣтскія, и онъ ихъ постоянно скрываетъ и прячетъ въ карманки своего подрясника. Ножки у него слабыя, тоненькія, что называется соломенныя, и самъ онъ весь точно сплетенъ изъ соломки. Добрѣйшіе сѣренькіе глазки его смотрятъ быстро, но поднимаются вверхъ очень рѣдко, и сейчасъ же ищутъ мѣста, куда бы имъ спрятаться отъ нескромнаго взора. По лѣтамъ отецъ Захарія немножко старше отца Туберозова и значительно немощнѣе его, но и онъ, такъ же, какъ и протопопъ, привыкъ держаться бодро, и при всѣхъ посѣщающихъ его недугахъ и немощахъ сохранилъ и живую душу, и тѣлесную подвижность.

Третій и послѣдній представитель Старгородскаго соборнаго духовенства, дьяконъ Ахилла, имѣлъ нѣсколько опредѣленій, которыя будетъ не лишнимъ здѣсь привести всѣ, дабы при помощи ихъ могучій Ахилла сколько-нибудь удобнѣе нарисовался читателю.

Инспекторъ духовнаго училища, исключившій Ахиллу Десницына изъ синтаксическаго класса за «великовозрастіе и малоуспѣшіе», говорилъ ему:

— Эка ты, дубина какая, протяженно сложенная!

Ректоръ, по особымъ ходатайствамъ, вновь принявшій Ахиллу въ классъ реторики, удивлялся, глядя на этого слагавшагося богатыря и, изумляясь его величинѣ, силѣ и безтолковости, говорилъ:

— Недостаточно, думаю, будетъ тебя и дубиной называть, поелику въ моихъ глазахъ ты по малости цѣлый возъ дровъ.

Регентъ же архіерейскаго хора, въ который Ахилла Десницынъ попалъ по извлеченіи его изъ реторики и зачисленіи на причетническую должность, звалъ его «непомѣрнымъ».

— Басъ у тебя, — говорилъ регентъ: — хорошій, точно пушка стрѣляетъ; но непомѣренъ ты до страсти, такъ что чрезъ эту непомѣрность я даже не знаю, какъ съ тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое вѣское изъ характерныхъ опредѣленій дьякону Ахиллѣ было сдѣлано самимъ архіереемъ, и притомъ въ весьма памятный для Ахиллы день, именно въ день изгнанія его, Ахиллы, изъ архіерейскаго хора и посылки на дьяконство въ Старый Городъ. По этому опредѣленію дьяконъ Ахилла назывался «уязвленнымъ». Здѣсь будетъ умѣстно разсказать, по какому случаю стало ему приличествовать сіе послѣднее названіе «уязвленнаго».

Дьяконъ Ахилла, отъ самыхъ лѣтъ юности своей, былъ человѣкъ весьма веселый, смѣшливый и притомъ безмѣрно увлекающійся. И мало того, что онъ не зналъ мѣры своимъ увлеченіямъ въ юности: мы увидимъ, зналъ ли онъ имъ мѣру и къ годамъ своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомѣрность» баса Ахиллы, имъ все-таки очень дорожили въ архіерейскомъ хорѣ, гдѣ онъ хваталъ и самаго залетнаго верха и забиралъ подъ самую низкую октаву. Одно, чѣмъ страшенъ былъ регенту непомѣрный Ахилла, это — «увлекательностью». Такъ онъ, напримѣръ, во всенощной никакъ не могъ удержаться, чтобы только трижды пропѣть «Святъ Господь Богъ нашъ», а нерѣдко вырывался въ увлеченіи и пѣлъ это одинъ-одинешенекъ четырежды, и особенно никогда не могъ во-время окон-

чить пѣнія многолѣтій. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ, которые уже были извѣстны и которые потому можно было предвидѣть, противъ «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались мѣры предосторожности, избавлявшія отъ всякихъ напастей и самого дьякона, и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь изъ взрослыхъ пѣвчихъ дергать Ахиллу за полы или осаживать его въ благопотребную минуту внизъ за плечи. Но недаромъ сложена пословица, что на всякій часъ не обережешься. Какъ ни тщательно и любовно берегли Ахиллу отъ его увлеченій, все-таки его не могли совсѣмъ уберечь отъ нихъ, и онъ самымъ разительнымъ образомъ оправдалъ на себѣ то теоретическое положеніе, что «тому нѣтъ спасенія, кто въ самомъ себѣ носитъ врага». Въ одинъ большой изъ двунадесятыхъ праздниковъ, Ахилла, исполняя причастный концертъ, долженъ былъ дѣлать весьма хитрое басовое соло на словахъ: «и скорбьми уязвленъ». Значеніе, которое этому соло придавалъ регентъ и весь хоръ, внушало Ахиллѣ много заботъ: онъ былъ неспокоенъ и тщательно обдумывалъ, какъ бы ему не ударить себя лицомъ въ грязь и отличиться передъ любившимъ пѣніе преосвященнымъ и передъ всею губернскою аристократіей, которая соберется въ церковь. И зато справедливость требуетъ сказать, что Ахилла изучилъ это соло великолѣпно. Дни и ночи онъ расхаживалъ то по своей комнатѣ, то по коридору или по двору, то по архіерейскому саду или по загородному выгону, и все распѣвалъ на разные тоны: «уязвленъ, уязвленъ, уязвленъ», и въ такихъ безпрестанныхъ упражненіяхъ дождался наконецъ, что насталъ и самый день его славы, когда онъ долженъ былъ пропѣть свое «уязвленъ» предъ всѣмъ соборомъ. Начался концертъ. Боже, какъ великъ и свѣтло сіяющъ стоитъ съ нотами въ рукахъ огромный Ахилла! Его надо было срисовать,—перомъ нельзя его описывать... Вотъ уже прошли знакомые форшлаги и подходитъ мѣсто басового соло. Ахилла отодвигаетъ локтемъ сосѣда, выбиваетъ себѣ въ молчаніи тактъ своего соло «уязвленъ» и, дождавшись своего темпа, видитъ поднимающуюся съ камертономъ регентскую руку... Ахилла позабылъ весь міръ и себя самого, и удивительнѣйшимъ образомъ, какъ труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашаетъ: «И скорбьми уязвленъ, уязвленъ, у-й-я-з-в-л-е-н-ъ, у-й-я-з-

в-л-е-н-ъ, уязвленъ». Силой останавливаютъ Ахиллу отъ непредусмотрѣнныхъ излишнихъ повтореній, и концертъ конченъ. Но не конченъ онъ былъ въ «увлекательной» головѣ Ахиллы, и среди тихихъ привѣтствій, приносимыхъ владыкѣ подходящею къ его благословенію аристократіей, словно трубный гласъ съ неба, съ клироса снова упалъ вдругъ: «Уязвленъ, уй-яз-вленъ, уй-я-з-в-л-е-н-ъ». Это поетъ ничего не понимающій въ своемъ увлеченіи Ахилла; его дергаютъ—онъ поетъ; его осаживаютъ внизъ, стараясь скрыть за спинами товарищей, — онъ поетъ: «уязвленъ»; его, наконецъ, выводятъ вонъ изъ церкви, но онъ все-таки поетъ: «у-я-з-в-л-е-н-ъ».

— Что тебѣ такое?—спрашиваютъ его съ участіемъ сердобольные люди.

— «Уязвленъ»,—воспѣваетъ, глядя всѣмъ имъ въ глаза, Ахилла, и такъ и остается у дверей притвора, пока струя свѣжаго воздуха не отрезвила его экзальтацію.

Въ сравненіи съ протоіереемъ Туберозовымъ и отцомъ Бенефактовымъ, Ахилла Десницынъ можетъ назваться человѣкомъ молодымъ, но и ему уже далеко за сорокъ, и по смоляномъ черномъ кудрямъ его пробѣжала сильная просѣдь. Роста Ахилла огромнаго, силы страшной, въ манерахъ угловатъ и рѣзокъ, но при всемъ этомъ весьма пріятенъ; типъ лица имѣетъ южный и говоритъ, что происходитъ изъ малороссійскихъ казаковъ, отъ коихъ онъ и въ самомъ дѣлѣ какъ будто унаслѣдовалъ безпечность и храбрость и многія другія казачьи добродѣтели.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Жили всѣ эти герои старомоднаго покроя на Старгородской поповкѣ, надъ тихою судоходною рѣкой Турицей. У каждаго изъ нихъ, какъ у Туберозова, такъ и у Захаріи, и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самомъ берегу, какъ разъ насупротивъ высившагося за рѣкой стариннаго пятиглаваго собора съ высокими куполами. Но какъ разнохарактерны были сами эти обыватели, такъ различны были и ихъ жилища. У отца Савелія домикъ былъ очень красивый, выкрашенный свѣтло-голубою масляною краской, съ разноцвѣтными звѣздочками, квадратиками и репейками, прибитыми надъ каждымъ изъ трехъ его оконъ. Окна эти обрамливались еще рѣзными, ярко же раскрашенными, на-

чить пѣнія многолѣтій. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ, которые уже были извѣстны и которые потому можно было предвидѣть, противъ «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались мѣры предосторожности, избавлявшія отъ всякихъ напастей и самого дьякона, и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь изъ взрослыхъ пѣвчихъ дергать Ахиллу за полы или осаживать его въ благопотребную минуту внизъ за плечи. Но недаромъ сложена пословица, что на всякій часъ не обережешься. Какъ ни тщательно и любовно берегли Ахиллу отъ его увлеченій, все-таки его не могли совсѣмъ уберечь отъ нихъ, и онъ самымъ разительнымъ образомъ оправдалъ на себѣ то теоретическое положеніе, что «тому нѣтъ спасенія, кто въ самомъ себѣ носитъ врага». Въ одинъ большой изъ двунадесятыхъ праздниковъ, Ахилла, исполняя причастный концертъ, долженъ былъ дѣлать весьма хитрое басовое соло на словахъ: «и скорбьми уязвленъ». Значеніе, которое этому соло придавалъ регентъ и весь хоръ, внушало Ахиллѣ много заботъ: онъ былъ неспокоенъ и тщательно обдумывалъ, какъ бы ему не ударить себя лицомъ въ грязь и отличиться передъ любившимъ пѣніе преосвященнымъ и передъ всею губернскою аристократіей, которая соберется въ церковь. И зато справедливость требуетъ сказать, что Ахилла изучилъ это соло великолѣпно. Дни и ночи онъ расхаживалъ то по своей комнатѣ, то по коридору или по двору, то по архіерейскому саду или по загородному выгону, и все распѣвалъ на разные тоны: «уязвленъ, уязвленъ, уязвленъ», и въ такихъ безпрестанныхъ упражненіяхъ дождался наконецъ, что насталъ и самый день его славы, когда онъ долженъ былъ пропѣть свое «уязвленъ» предъ всѣмъ соборомъ. Начался концертъ. Боже, какъ великъ и свѣтло сіяющъ стоитъ съ нотами въ рукахъ огромный Ахилла! Его надо было срисовать,—перомъ нельзя его описывать... Вотъ уже прошли знакомые форшлаги и подходитъ мѣсто басового соло. Ахилла отодвигаетъ локтемъ сосѣда, выбиваетъ себѣ въ молчаніи тактъ своего соло «уязвленъ» и, дождавшись своего темпа, видитъ поднимающуюся съ камертономъ регентскую руку... Ахилла позабылъ весь міръ и себя самого, и удивительнѣйшимъ образомъ, какъ труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашаетъ: «И скорбьми уязвленъ, уязвленъ, у-й-я-з-в-л-е-н-ъ, у-й-я-з-

в-л-е-н-ъ, уязвленъ». Силой останавливаютъ Ахиллу отъ непредусмотрѣнныхъ излишнихъ повтореній, и концертъ конченъ. Но не конченъ онъ былъ въ «увлекательной» головѣ Ахиллы, и среди тихихъ привѣтствій, приносимыхъ владыкѣ подходящею къ его благословенію аристократіей, словно трубный гласъ съ неба, съ клироса снова упалъ вдругъ: «Уязвленъ, уй-яз-вленъ, уй-я-з-в-л-е-н-ъ». Это поетъ ничего не понимающій въ своемъ увлеченіи Ахилла; его дергаютъ—онъ поетъ; его осаживаютъ внизъ, стараясь скрыть за спинами товарищей, — онъ поетъ: «уязвленъ»; его, наконецъ, выводятъ вонъ изъ церкви, но онъ все-таки поетъ: «у-я-з-в-л-е-н-ъ».

— Что тебѣ такое?—спрашиваютъ его съ участіемъ сердобольные люди.

— «Уязвленъ»,—воспѣваетъ, глядя всѣмъ имъ въ глаза, Ахилла, и такъ и остается у дверей притвора, пока струя свѣжаго воздуха не отрезвила его экзальтацію.

Въ сравненіи съ протоіереемъ Туберозовымъ и отцомъ Венефактовымъ, Ахилла Десницынъ можетъ назваться человѣкомъ молодымъ, но и ему уже далеко за сорокъ, и по смоляномъ черномъ кудрямъ его пробѣжала сильная просѣдь. Роста Ахилла огромнаго, силы страшной, въ манерахъ угловатъ и рѣзокъ, но при всемъ этомъ весьма пріятенъ; типъ лица имѣетъ южный и говоритъ, что происходитъ изъ малороссійскихъ казаковъ, отъ коихъ онъ и въ самомъ дѣлѣ какъ будто унаслѣдовалъ безпечность и храбрость и многія другія казачьи добродѣтели.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Жили всѣ эти герои старомоднаго покроя на Старгородской поповкѣ, надъ тихою судоходною рѣкой Турицей. У каждаго изъ нихъ, какъ у Туберозова, такъ и у Захаріи, и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самомъ берегу, какъ разъ насупротивъ высившагося за рѣкой стариннаго пятиглаваго собора съ высокими куполами. Но какъ разнохарактерны были сами эти обыватели, такъ различны были и ихъ жилища. У отца Савелія домикъ былъ очень красивый, выкрашенный свѣтло-голубою масляною краской, съ разноцвѣтными звѣздочками, квадратиками и репейками, прибитыми надъ каждымъ изъ трехъ его оконъ. Окна эти обрамливались еще рѣзными, ярко же раскрашенными, на-

они оба умѣли выставлять отрицательныя стороны русской дѣйствительности. Между ними найдется и много другихъ точекъ соприкосновенія. Сатирическое ихъ настроеніе не исключало священнаго трепета, который возбуждали въ душѣ этихъ двухъ писателей «забытыя слова», самыя возвышенныя чувства человѣка: любовь къ ближнему, вѣротерпимость, уваженіе къ личности и свободѣ, готовность къ самопожертвованію, — все это въ одинаковой мѣрѣ ихъ воодушевляло. И тѣмъ не менѣе мы почему-то привыкли ихъ разъединять, считать представителями какихъ-то противоположныхъ началъ. Разъясненіе вопроса,— почему это происходитъ, лучше всего уяснитъ намъ окончательно духовный обликъ Лѣскова.

Начнемъ съ «забытыхъ словъ». Преклоненіе предъ ними, напоминаніе о нихъ, конечно, составляютъ заслугу Салтыкова, но они не могутъ служить для него отличительнымъ признакомъ, потому что къ счастью у насъ нѣтъ большихъ писателей, которые отвергали бы «забытыя слова». Предъ ними преклонялись, о нихъ постоянно напоминали и Кантемиръ, и Ломоносовъ, и Фонвизинъ, и Державинъ, и Жуковскій, и Пушкинъ, и Гоголь, всѣ крупные наши писатели вплоть до Салтыкова и Лѣскова. Значитъ, если руководствоваться только «забытыми словами», то намъ трудно будетъ провести границу между различными писателями. Но «забытыя слова» это—общіе идеалы, идеалы всѣхъ временъ и народовъ, а всякій общій идеалъ осуществляется особеннымъ образомъ въ данное время, въ данномъ народѣ. Эта спеціальная форма осуществленія общаго идеала и составляетъ задачу данной эпохи. Чтобы уловить отличительные признаки извѣстнаго писателя, мы должны, слѣдовательно, знать, какъ онъ представлялъ себѣ осуществленіе общихъ идеаловъ по отношенію къ своему времени и народу. Міровые писатели, т. е. такіе, которые думаютъ для всѣхъ временъ и народовъ, очень рѣдки, да и то среда налагаетъ на нихъ свою руку, а остальные имѣютъ свои спеціальные идеалы, т. е. тѣ же общіе идеалы, но приноровленные къ данному мѣсту и времени. О Салтыковѣ можно только сказать, что онъ въ высокой степени удовлетворилъ современное русское общество въ его потребности критически

отнестись къ отрицательнымъ сторонамъ русской жизни; громадный же успѣхъ, которымъ онъ пользовался, объясняется, какъ мы видѣли, тѣмъ, что онъ жилъ въ эпоху переходную, когда народъ, выбиваясь изъ прежнихъ условій, страстно желаетъ покончить съ ними и вступить въ новую жизнь. Въ этомъ отношеніи Салтыковъ былъ своего рода русскимъ геркулесомъ, расчищавшимъ авгіевы конюшни, корчевавшимъ русскую почву для новаго посѣва. Какъ ни значительна роль его въ этомъ отношеніи, но на этомъ она и кончается: обсѣменить ниву онъ не могъ — у него не было сѣмянъ. Другими словами, у него не было спеціальныхъ идеаловъ, пригодныхъ для времени, въ которое онъ жилъ.

Но тамъ, гдѣ кончалась работа Салтыкова, начиналась работа Лѣскова. И Лѣсковъ былъ писателемъ переходнаго времени. Въ качествѣ такого писателя, онъ принялъ дѣятельное участіе въ расчищеніи почвы: онъ примыкаетъ къ тому направленію въ нашей литературѣ, которое называется обличительнымъ. Осмѣяніе старыхъ порядковъ занимаетъ видное мѣсто въ его произведеніяхъ. Въ этомъ отношеніи онъ всецѣло примыкаетъ къ Гоголю и Салтыкову; но онъ на этомъ не останавливается. Во-первыхъ, онъ на ряду съ Писемскимъ, первый изъ крупныхъ нашихъ писателей подвергъ сатирѣ и «новыхъ людей». Но онъ не только ихъ осмѣялъ: онъ въ то же время указалъ имъ, къ чему они должны стремиться, формулировалъ тотъ спеціальный идеалъ, который наиболѣе пригоденъ для переживаемаго переходнаго времени. Сдѣлалъ онъ это сразу, т. е. тотчасъ по вступленіи на литературное поприще. Мы старались выяснить, почему онъ могъ это сдѣлать; мы старались показать, что онъ собственно готовился къ практической дѣятельности, слѣдовательно, носился въ молодости съ вопросомъ,—какъ ему дѣйствовать не въ качествѣ писателя, а въ качествѣ простого смертнаго въ окружавшей его жизни, и собиралъ соотвѣтственныя наблюденія, обогащалъ себя соотвѣтственнымъ опытомъ. Наблюденія его были чрезвычайно разносторонніе, не ограничивались одною школою и канцеляріею, но обнимали болѣе или менѣе всѣ сферы нашей жизни. Онъ чувствовалъ, что Россіи болѣе всего нужно,

и пришелъ къ выводу, которымъ проникнуты всѣ его произведенія, что не въ тѣхъ или другихъ теоріяхъ спасеніе, а въ людяхъ, умѣющихъ дѣлать настоящее дѣло у основъ народной жизни. Мы видѣли, что у него цѣлый рядъ произведеній посвященъ указанію на то, что и въ прежней до-реформенной Россіи можно было многое сдѣлать, и что всѣми нашими успѣхами мы обязаны людямъ, трудившимся въ этомъ направленіи. Исходя изъ этого факта, онъ, при своемъ вступленіи на литературное поприще, задался прежде всего вопросомъ, пригодны ли «новые люди» для такого живого дѣла при измѣнившихся условіяхъ. Добросовѣстно изучая и тутъ дѣйствительность, онъ пришелъ къ отрицательному выводу и имѣлъ великое мужество, принося себя въ жертву, сказать это «новымъ людямъ» прямо въ лицо. Это былъ великій его гражданскій подвигъ.

Но и этотъ подвигъ былъ только отрицательнаго свойства. Это было обличеніе. Лѣсковъ сдѣлалъ по отношенію къ своимъ современникамъ и притомъ къ той общественной сферѣ, въ которой онъ самъ жилъ и дѣйствовалъ, то, что сдѣлали въ свое время Фонвизинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь и Салтыковъ. Но изъ всѣхъ этихъ сатириковъ только Грибоѣдову и Лѣскову принадлежитъ честь, что они въ своей сатирѣ не забыли казнить и дѣятелей, имъ наиболѣе близкихъ. Грибоѣдовъ казнилъ не только Фамусовыхъ, Скалозубовъ и Молчалиныхъ, но и Чацкихъ. Лѣсковъ казнилъ не только Функендорфовъ, Постельниковыхъ и тѣхъ видныхъ дѣятелей, которыхъ онъ называлъ прямо по имени, но и дорогихъ его сердцу Райперовъ и Овцебыковъ. За что онъ ихъ казнилъ? За то, за что и Грибоѣдовъ казнилъ своего Чацкаго: за полное несоотвѣтствіе средствъ, которыми они пользовались, и цѣлей, которыя они преслѣдовали; за благіе порывы, оставляемые неосуществленными; за потокъ громкихъ рѣчей, не сопровождаемыхъ даже маленькимъ дѣломъ; за неумѣнье поставить себѣ жизненную задачу для доставленія своимъ идеаламъ хотя бы частичнаго торжества. Словомъ, Лѣсковъ не ограничился обличеніемъ стараго, онъ обличалъ и новое и, обличая послѣднее, онъ въ то же время указалъ русскому обществу, — каковъ долженъ быть его путь.

Правильно ли это указаніе? На это можетъ отвѣтить только исторія. Но одно уже теперь видно, именно, что въ томъ направленіи, въ какомъ работалъ Лѣсковъ, несомнѣнно, работаетъ русская жизнь и современная беллетристика. Лѣсковъ примыкаетъ не только къ нашей обличительной литературѣ, но и къ другому направленію, сказавшемуся очень сильно въ первоклассныхъ нашихъ художникахъ. Гоголь далъ намъ Костанжогло, Гончаровъ—Штольца, Тургеневъ уже послѣ Лѣскова—Соломина. Все это—положительные типы въ нашей литературѣ, и ихъ общая черта заключается въ томъ, что они умѣютъ задаваться цѣлями, осуществимыми въ жизни и обезпечивающими наши культурные успѣхи. Творчество Лѣскова въ значительной степени было направлено на то, чтобы укрѣпить въ нашемъ сознаніи убѣжденіе въ возможности такихъ дѣятелей и въ томъ, что безъ нихъ никакой прогрессъ немыслимъ.

Съ этою цѣлью онъ вывелъ цѣлый рядъ типовъ, которыхъ мы здѣсь вторично перечислять не будемъ, но которые имѣютъ ту общую черту, что они представляютъ собою дѣятелей, плодящихъ не одни слова, но и настоящее дѣло. Это — его «праведники», по отношенію къ которымъ онъ повторяетъ слова покойнаго нашего историка Соловьева, что они, «стоя въ сторонѣ отъ главнаго историческаго движенія, сильнѣе другихъ дѣлаютъ исторію». Если мы теперь приглядимся къ современной беллетристикѣ въ лицѣ ея главныхъ представителей, то мы убѣдимся, что и она любитъ главнымъ образомъ рисовать такихъ дѣятелей, указывая при этомъ на тщету широкихъ замысловъ, не сопровождаемыхъ практическимъ дѣломъ. Такимъ образомъ Лѣсковъ, примыкая къ прежней нашей литературѣ, далъ тонъ и направленіе современной, отгадавъ то, въ чемъ жизнь наиболѣе нуждается. Это—вторая великая его заслуга.

Третья, хотя и болѣе частнаго характера, касается раскрытія читателямъ цѣлой новой области русской жизни. Никто до Лѣскова и послѣ него еще не просвѣтилъ въ такой полнотѣ русское общество насчетъ быта и жизни нашего духовенства. И тутъ онъ дѣйствовалъ въ двухъ направленіяхъ: обличалъ прошлое, подготовлялъ будущее. Его отрицательнымъ типамъ соотвѣтствуютъ положительные, которые насъ убѣждаютъ, какъ много скром-

ные пастыри церкви дѣлали и могутъ сдѣлать для цѣлей, насъ всѣхъ воодушевляющихъ. Нѣтъ ничего несправедливѣе, какъ обвинять Лѣскова въ томъ, что онъ выставилъ лишь отрицательныя стороны нашего духовенства: величественная въ своей простотѣ фигура одного о. Туберозова изобличаетъ этихъ обвинителей въ лжесвидѣтельствѣ. А одинъ ли о. Туберозовъ возбуждаетъ къ себѣ чувства глубокаго уваженія и неменьшей признательности? У Лѣскова найдется не мало такихъ симпатичныхъ типовъ на всѣхъ ступеняхъ духовной іерархіи. Обличалъ Лѣсковъ и въ этой области только то, что было достойно обличенія, противъ чего высказывались всѣ просвѣщенные пастыри нашей церкви. И могъ ли онъ поступать иначе, когда онъ самъ былъ глубоко вѣрующій человѣкъ и не зналъ болѣе высокой заповѣди, какъ христіанская заповѣдь о дѣятельной любви къ ближнему, духомъ которой проникнута всякая строка его замѣчательныхъ произведеній?

Таковы главныя заслуги Лѣскова, которыя мы считали своимъ долгомъ подчеркнуть, потому что ихъ слишкомъ часто забываютъ, не хотятъ знать или не могутъ себѣ уяснить вслѣдствіе временныхъ предубѣжденій. Во всякомъ случаѣ намъ кажется, что только съ этой точки зрѣнія можно понять и оцѣнить Лѣскова. О громадномъ литературномъ его дарованіи мы тутъ говорить не станемъ: оно признается всѣми и не отрицается даже людьми, не сочувствующими его дѣятельности. Но если не одно дарованіе,—этотъ даръ свыше,—обезпечиваетъ за писателемъ мѣсто въ литературѣ и благодарность потомства, если отъ него требуется, чтобы онъ былъ гражданиномъ, чтобы онъ скорбѣлъ скорбью своего времени, чтобы онъ мужественно возвышалъ голосъ за правду, чтобы онъ приносилъ себя, когда нужно, ей въ жертву, то и въ такомъ случаѣ мы должны будемъ признать, что Лѣсковъ въ высокой мѣрѣ исполнилъ свой долгъ, и что онъ является не только выдающимся писателемъ, но и вѣрнымъ, преданнымъ, самоотверженнымъ сыномъ своей страны.

Р. Сементковскій.

СОБОРЯНЕ.

ХРОНИКА.

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Люди, житье-бытье которыхъ составитъ предметъ этого разсказа, суть жители Старгородской соборной поповки. Это — протоіерей Савелій Туберозовъ, священникъ Захарія Бенефактовъ и дьяконъ Ахилла Десницынъ. Годы ранней молодости этихъ людей, такъ же какъ и пора ихъ дѣтства, насъ не касаются. А чтобы видѣть предъ собою эти лица въ той порѣ, въ которой читателю приходится представлять ихъ своему воображенію, онъ долженъ рисовать себѣ главу Старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, мужемъ уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни. Отецъ Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но еще очень бодръ и подвиженъ. Въ такомъ же состояніи и душевныя его силы: при первомъ на него взглядѣ видно, что онъ сохранилъ весь пылъ сердца и всю энергію молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцомъ мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, какъ грива матерого льва, и бѣлы, какъ кудри Фидіева Зевса. Они художественно поднимаются могучимъ чубомъ надъ его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами падаютъ назадъ, не достигая плечъ. Въ длинной раздвоенной бородѣ отца протопопа и въ его небольшихъ усахъ, соединяющихся съ бородой у угловъ рта, мелькаетъ еще нѣсколько черныхъ волосъ, придающихъ ей видъ серебра, отдѣланнаго чернью. Брови же отца протопопа совсѣмъ

черны, и круто залѳманными латинскими S-ами сдвигаются у основанія его довольно большого и довольно толстаго носа. Глаза у него коричневые, большіе, смѣлые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освѣщаться присутствіемъ разума; въ нихъ же близкіе люди видали и блескъ радостнаго восторга, и туманы скорби, и слезы умиленія; въ нихъ же сверкалъ порою и огонь негодованія, и они бросали искры гнѣва — гнѣва не суетнаго, не сварливаго, не мелкаго, а гнѣва большого человѣка. Въ эти глаза глядѣла прямая и честная душа протопопа Савелія, которую онъ, въ своемъ христіанскомъ упованіи, вѣрилъ быти безсмертною.

Захарія Бенефактовъ, второй іерей Старгородскаго собора, совсѣмъ въ другомъ родѣ. Вся его личность есть воплощенная кротость и смиреніе. Соотвѣтственно тому, сколь мало желаетъ заявлять себя кроткій духъ его, столь же мало занимаетъ мѣста и его крошечное тѣло, и какъ бы старается не отяготить собою землю. Онъ малъ, худъ, тщедушенъ и лысъ. Двѣ маленькихъ букольки сѣро-желтенькихъ волосинокъ у него развѣваются только надъ ушами. Косы у него нѣтъ никакой. Послѣдніе остатки ея исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьяконъ Ахилла иначе ее не называлъ, какъ мышиный хвостикъ. Вмѣсто бороды, у отца Захаріи точно приклеенъ кусочекъ губочки. Ручки у него дѣтскія, и онъ ихъ постоянно скрываетъ и прячетъ въ кармашки своего подрясника. Ножки у него слабыя, тоненькія, что называется соломенныя, и самъ онъ весь точно сплетенъ изъ соломки. Добрѣйшіе сѣренькіе глазки его смотрятъ быстро, но поднимаются вверхъ очень рѣдко, и сейчасъ же ищутъ мѣста, куда бы имъ спрятаться отъ нескромнаго взора. По лѣтамъ отецъ Захарія немножко старше отца Туберозова и значительно немощнѣе его, но и онъ, такъ же, какъ и протопопъ, привыкъ держаться бодро, и при всѣхъ посѣщающихъ его недугахъ и немощахъ сохранилъ и живую душу, и тѣлесную подвижность.

Третій и послѣдній представитель Старгородскаго соборнаго духовенства, дьяконъ Ахилла, имѣлъ нѣсколько опредѣленій, которыя будетъ не лишнимъ здѣсь привести всѣ, дабы при помощи ихъ могучій Ахилла сколько-нибудь удобнѣе нарисовался читателю.

Инспекторъ духовнаго училища, исключившій Ахиллу Десницына изъ синтаксическаго класса за «великовозрастіе и малоуспѣшіе», говорилъ ему:

— Эка ты, дубина какая, протяженно сложенная!

Ректоръ, по особымъ ходатайствамъ, вновь принявшій Ахиллу въ классъ реторики, удивлялся, глядя на этого слагавшагося богатыря и, изумляясь его величинѣ, силѣ и безтолковости, говорилъ:

— Недостаточно, думаю, будетъ тебя и дубиной называть, поелику въ моихъ глазахъ ты по малости цѣлый возъ дровъ.

Регентъ же архіерейскаго хора, въ который Ахилла Десницынъ попалъ по извлеченіи его изъ реторики и зачисленіи на причетническую должность, звалъ его «непомѣрнымъ».

— Басъ у тебя, — говорилъ регентъ: — хорошій, точно пушка стрѣляетъ; но непомѣренъ ты до страсти, такъ что чрезъ эту непомѣрность я даже не знаю, какъ съ тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое вѣское изъ характерныхъ опредѣленій дьякону Ахиллѣ было сдѣлано самимъ архіереемъ, и притомъ въ весьма памятный для Ахиллы день, именно въ день изгнанія его, Ахиллы, изъ архіерейскаго хора и посылки на дьяконство въ Старый Городъ. По этому опредѣленію дьяконъ Ахилла назывался «уязвленнымъ». Здѣсь будетъ умѣстно разсказать, по какому случаю стало ему приличествовать сіе послѣднее названіе «уязвленнаго».

Дьяконъ Ахилла, отъ самыхъ лѣтъ юности своей, былъ человѣкъ весьма веселый, смѣшливый и притомъ безмѣрно увлекающійся. И мало того, что онъ не зналъ мѣры своимъ увлеченіямъ въ юности: мы увидимъ, зналъ ли онъ имъ мѣру и къ годамъ своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомѣрность» баса Ахиллы, имъ все-таки очень дорожили въ архіерейскомъ хорѣ, гдѣ онъ хваталъ и самаго залетнаго верха и забиралъ подъ самую низкую октаву. Одно, чѣмъ страшенъ былъ регенту непомѣрный Ахилла, это — «увлекательностью». Такъ онъ, напримѣръ, во всенощной никакъ не могъ удержаться, чтобы только трижды пропѣть «Свять Господь Богъ нашъ», а нерѣдко вырывался въ увлеченіи и пѣлъ это одинъ-одинешенекъ четырежды, и особенно никогда не могъ во-время окон-

чить пѣнія многолѣтій. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ, которые уже были извѣстны и которые потому можно было предвидѣть, противъ «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались мѣры предосторожности, избавлявшія отъ всякихъ напастей и самого дьякона, и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь изъ взрослыхъ пѣвчихъ дергать Ахиллу за полы или осаживать его въ благопотребную минуту внизъ за плечи. Но недаромъ сложена пословица, что на всякій часъ не обережешься. Какъ ни тщательно и любовно берегли Ахиллу отъ его увлеченій, все-таки его не могли совсѣмъ уберечь отъ нихъ, и онъ самымъ разительнымъ образомъ оправдалъ на себѣ то теоретическое положеніе, что «тому нѣтъ спасенія, кто въ самомъ себѣ носитъ врага». Въ одинъ большой изъ двунадесятыхъ праздниковъ, Ахилла, исполняя причастный концертъ, долженъ былъ дѣлать весьма хитрое басовое соло на словахъ: «и скорбьми уязвленъ». Значеніе, которое этому соло придавалъ регентъ и весь хоръ, внушало Ахиллѣ много заботъ: онъ былъ неспокоенъ и тщательно обдумывалъ, какъ бы ему не ударить себя лицомъ въ грязь и отличиться передъ любившимъ пѣніе преосвященнымъ и передъ всею губернскою аристократіей, которая соберется въ церковь. И зато справедливость требуетъ сказать, что Ахилла изучилъ это соло великолѣпно. Дни и ночи онъ расхаживалъ то по своей комнатѣ, то по коридору или по двору, то по архіерейскому саду или по загородному выгону, и все распѣвалъ на разные тоны: «уязвленъ, уязвленъ, уязвленъ», и въ такихъ безпрестанныхъ упражненіяхъ дождался наконецъ, что насталъ и самый день его славы, когда онъ долженъ былъ пропѣть свое «уязвленъ» предъ всѣмъ соборомъ. Начался концертъ. Боже, какъ великъ и свѣтло сіяющъ стоитъ съ нотами въ рукахъ огромный Ахилла! Его надо было срисовать,—перомъ нельзя его описывать... Вотъ уже прошли знакомые форшлаги и подходитъ мѣсто басового соло. Ахилла отодвигаетъ локтемъ сосѣда, выбиваетъ себѣ въ молчаніи тактъ своего соло «уязвленъ» и, дождавшись своего темпа, видитъ поднимающуюся съ камертономъ регентскую руку... Ахилла позабылъ весь міръ и себя самого, и удивительнѣйшимъ образомъ, какъ труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашаетъ: «И скорбьми уязвленъ, уязвленъ, у-й-я-з-в-л-е-н-ъ, у-й-я-з-

в-л-е-н-ъ, уязвленъ». Силой останавливаютъ Ахиллу отъ непредусмотрѣнныхъ излишнихъ повтореній, и концертъ конченъ. Но не конченъ онъ былъ въ «увлекательной» головѣ Ахиллы, и среди тихихъ привѣтствій, приносимыхъ владыкѣ подходящею къ его благословенію аристократіей, словно трубный гласъ съ неба, съ клироса снова упалъ вдругъ: «Уязвленъ, уй-яз-вленъ, уй-я-з-в-л-е-н-ъ». Это поетъ ничего не понимающій въ своемъ увлеченіи Ахилла; его дергаютъ—онъ поетъ; его осаживаютъ внизъ, стараясь скрыть за спинами товарищей, — онъ поетъ: «уязвленъ»; его, наконецъ, выводятъ вонъ изъ церкви, но онъ все-таки поетъ: «у-я-з-в-л-е-н-ъ».

— Что тебѣ такое?—спрашиваютъ его съ участіемъ сердобольные люди.

— «Уязвленъ»,—воспѣваетъ, глядя всѣмъ имъ въ глаза, Ахилла, и такъ и остается у дверей притвора, пока струя свѣжаго воздуха не отрезвила его экзальтацію.

Въ сравненіи съ протоіереемъ Туберозовымъ и отцомъ Бенефактовымъ, Ахилла Десницынъ можетъ назваться человѣкомъ молодымъ, но и ему уже далеко за сорокъ, и по смоляномъ чернымъ кудрямъ его пробѣжала сильная просѣдь. Роста Ахилла огромнаго, силы страшной, въ манерахъ угловатъ и рѣзокъ, но при всемъ этомъ весьма пріятенъ; типъ лица имѣетъ южный и говоритъ, что происходитъ изъ малороссійскихъ казаковъ, отъ коихъ онъ и въ самомъ дѣлѣ какъ будто унаслѣдовалъ безпечность и храбрость и многія другія казачьи добродѣтели.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Жили всѣ эти герои старомоднаго покроя на Старгородской поповкѣ, надъ тихою судоходною рѣкой Турицей. У каждаго изъ нихъ, какъ у Туберозова, такъ и у Захаріи, и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самомъ берегу, какъ разъ насупротивъ высившагося за рѣкой старинаго пятиглаваго собора съ высокими куполами. Но какъ разнохарактерны были сами эти обыватели, такъ различны были и ихъ жилища. У отца Савелія домикъ былъ очень красивый, выкрашенный свѣтло-голубою масляною краской, съ разноцвѣтными звѣздочками, квадратиками и репейками, прибитыми надъ каждымъ изъ трехъ его оконъ. Окна эти обрамливались еще рѣзными, ярко же раскрашенными, на-

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Люди, житье-бытье которыхъ составитъ предметъ этого разсказа, суть жители Старгородской соборной поповки. Это — протоіерей Савелій Туберозовъ, священникъ Захарія Бенефактовъ и дьяконъ Ахилла Десницынъ. Годы ранней молодости этихъ людей, такъ же какъ и пора ихъ дѣтства, насъ не касаются. А чтобы видѣть предъ собою эти лица въ той порѣ, въ которой читателю приходится представлять ихъ своему воображенію, онъ долженъ рисовать себѣ главу Старгородскаго духовенства, протоіерея Савелія Туберозова, мужемъ уже пережившимъ за шестой десятокъ жизни. Отецъ Туберозовъ высокъ ростомъ и тученъ, но еще очень бодръ и подвиженъ. Въ такомъ же состояніи и душевныя его силы: при первомъ на него взглядѣ видно, что онъ сохранилъ весь пылъ сердца и всю энергію молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцомъ мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, какъ грива матерого льва, и бѣлы, какъ кудри Фидіева Зевса. Они художественно поднимаются могучимъ чубомъ надъ его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами падаютъ назадъ, не достигая плечъ. Въ длинной раздвоенной бородѣ отца протопопа и въ его небольшихъ усахъ, соединяющихся съ бородой у угловъ рта, мелькаетъ еще нѣсколько черныхъ волосъ, придающихъ ей видъ серебра, отдѣланнаго чернью. Брови же отца протопопа совсѣмъ

черны, и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основанія его довольно большого и довольно толстаго носа. Глаза у него коричневые, большіе, смѣлые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освѣщаться присутствіемъ разума; въ нихъ же близкіе люди видали и блескъ радостнаго восторга, и туманы скорби, и слезы умиленія; въ нихъ же сверкалъ порою и огонь негодованія, и они бросали искры гнѣва — гнѣва не суетнаго, не сварливаго, не мелкаго, а гнѣва большого человѣка. Въ эти глаза глядѣла прямая и честная душа протопопа Савелія, которую онъ, въ своемъ христіанскомъ упованіи, вѣрилъ быти безсмертною.

Захарія Бенефактовъ, второй іерей Старгородскаго собора, совсѣмъ въ другомъ родѣ. Вся его личность есть воплощенная кротость и смиреніе. Соотвѣтственно тому, сколь мало желаетъ заявлять себя кроткій духъ его, столь же мало занимаетъ мѣста и его крошечное тѣло, и какъ бы старается не отяготить собою землю. Онъ малъ, худъ, тщедушенъ и лысъ. Двѣ маленькихъ букольки сѣро-желтенькихъ волосинокъ у него развѣваются только надъ ушами. Косы у него нѣтъ никакой. Послѣдніе остатки ея исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьяконъ Ахилла иначе ее не называлъ, какъ мышиный хвостикъ. Вмѣсто бороды, у отца Захаріи точно приклеенъ кусочекъ губочки. Ручки у него дѣтскія, и онъ ихъ постоянно скрываетъ и прячетъ въ карманики своего подрясника. Ножки у него слабыя, тоненькія, что называется соломенныя, и самъ онъ весь точно сплетенъ изъ соломки. Добрѣйшіе сѣренькіе глазки его смотрятъ быстро, но поднимаются вверхъ очень рѣдко, и сейчасъ же ищутъ мѣста, куда бы имъ спрятаться отъ нескромнаго взора. По лѣтамъ отецъ Захарія немножко старше отца Туберозова и значительно немощнѣе его, но и онъ, такъ же, какъ и протопопъ, привыкъ держаться бодро, и при всѣхъ посѣщающихъ его недугахъ и немощахъ сохранилъ и живую душу, и тѣлесную подвижность.

Третій и послѣдній представитель Старгородскаго соборнаго духовенства, дьяконъ Ахилла, имѣлъ нѣсколько опредѣленій, которыя будетъ не лишнимъ здѣсь привести всѣ, дабы при помощи ихъ могучій Ахилла сколько-нибудь удобнѣе нарисовался читателю.

Инспекторъ духовнаго училища, исключившій Ахиллу Десницына изъ синтаксическаго класса за «великовозрастіе и малоуспѣшіе», говорилъ ему:

— Эка ты, дубина какая, протяженно сложенная!

Ректоръ, по особымъ ходатайствамъ, вновь принявшій Ахиллу въ классъ реторики, удивлялся, глядя на этого слагавшагося богатыря и, изумляясь его величинѣ, силѣ и безтолковости, говорилъ:

— Недостаточно, думаю, будетъ тебя и дубиной называть, поелику въ моихъ глазахъ ты по малости цѣлый возъ дровъ.

Регентъ же архіерейскаго хора, въ который Ахилла Десницынъ попалъ по извлеченіи его изъ реторики и зачисленіи на причетническую должность, звалъ его «непомѣрнымъ».

— Басъ у тебя, — говорилъ регентъ: — хорошій, точно пушка стрѣляетъ; но непомѣренъ ты до страсти, такъ что чрезъ эту непомѣрность я даже не знаю, какъ съ тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое вѣское изъ характерныхъ опредѣленій дьякону Ахиллѣ было сдѣлано самимъ архіереемъ, и притомъ въ весьма памятный для Ахиллы день, именно въ день изгнанія его, Ахиллы, изъ архіерейскаго хора и посылки на дьяконство въ Старый Городъ. По этому опредѣленію дьяконъ Ахилла назывался «уязвленнымъ». Здѣсь будетъ умѣстно разсказать, по какому случаю стало ему приличествовать сіе послѣднее названіе «уязвленнаго».

Дьяконъ Ахилла, отъ самыхъ лѣтъ юности своей, былъ человѣкъ весьма веселый, смѣшливый и притомъ безмѣрно увлекающійся. И мало того, что онъ не зналъ мѣры своимъ увлеченіямъ въ юности: мы увидимъ, зналъ ли онъ имъ мѣру и къ годамъ своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомѣрность» баса Ахиллы, имъ все-таки очень дорожили въ архіерейскомъ хорѣ, гдѣ онъ хваталъ и самаго залетнаго верха и забиралъ подъ самую низкую октаву. Одно, чѣмъ страшенъ былъ регенту непомѣрный Ахилла, это — «увлекательностью». Такъ онъ, напримѣръ, во всенощной никакъ не могъ удержаться, чтобы только трижды пропѣть «Святъ Господь Богъ нашъ», а нерѣдко вырывался въ увлеченіи и пѣлъ это одинъ-одинешенекъ четырежды, и особенно никогда не могъ во-время окон-

чить пѣнія многолѣтій. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ, которые уже были извѣстны и которые потому можно было предвидѣть, противъ «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались мѣры предосторожности, избавлявшія отъ всякихъ напастей и самого дьякона, и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь изъ взрослыхъ пѣвчихъ дергать Ахиллу за полы или осаживать его въ благопотребную минуту внизъ за плечи. Но недаромъ сложена пословица, что на всякій часъ не обережешься. Какъ ни тщательно и любовно берегли Ахиллу отъ его увлеченій, все-таки его не могли совсѣмъ уберечь отъ нихъ, и онъ самымъ разительнымъ образомъ оправдалъ на себѣ то теоретическое положеніе, что «тому нѣтъ спасенія, кто въ самомъ себѣ носитъ врага». Въ одинъ большой изъ двунадесятыхъ праздниковъ, Ахилла, исполняя причастный концертъ, долженъ былъ дѣлать весьма хитрое басовое соло на словахъ: «и скорбьми уязвленъ». Значеніе, которое этому соло придавалъ регентъ и весь хоръ, внушало Ахиллѣ много заботъ: онъ былъ неспокоенъ и тщательно обдумывалъ, какъ бы ему не ударить себя лицомъ въ грязь и отличиться передъ любившимъ пѣніе преосвященнымъ и передъ всею губернскою аристократіей, которая соберется въ церковь. И зато справедливость требуетъ сказать, что Ахилла изучилъ это соло великолѣпно. Дни и ночи онъ расхаживалъ то по своей комнатѣ, то по коридору или по двору, то по архіерейскому саду или по загородному выгону, и все распѣвалъ на разные тоны: «уязвленъ, уязвленъ, уязвленъ», и въ такихъ безпрестанныхъ упражненіяхъ дождался наконецъ, что насталъ и самый день его славы, когда онъ долженъ былъ пропѣть свое «уязвленъ» предъ всѣмъ соборомъ. Начался концертъ. Боже, какъ великъ и свѣтло сіяющъ стоитъ съ нотами въ рукахъ огромный Ахилла! Его надо было срисовать,—перомъ нельзя его описывать... Вотъ уже прошли знакомые форшлаги и подходитъ мѣсто басового соло. Ахилла отодвигаетъ локтемъ сосѣда, выбиваетъ себѣ въ молчаніи тактъ своего соло «уязвленъ» и, дождавшись своего темпа, видитъ поднимающуюся съ камертономъ регентскую руку... Ахилла позабылъ весь міръ и себя самого, и удивительнѣйшимъ образомъ, какъ труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашаетъ: «И скорбьми уязвленъ, уязвленъ, у-й-я-з-в-л-е-н-ъ, у-й-я-з-

в-л-е-н-ъ, уязвленъ». Силой останавливаютъ Ахиллу отъ непредусмотрѣнныхъ излишнихъ повторенiй, и концертъ конченъ. Но не конченъ онъ былъ въ «увлекательной» головѣ Ахиллы, и среди тихихъ привѣтствiй, приносимыхъ владыкѣ подходящею къ его благословенiю аристократiей, словно трубный гласъ съ неба, съ клироса снова упалъ вдругъ: «Уязвленъ, уй-яз-вленъ, уй-я-з-в-л-е-н-ъ». Это поетъ ничего не понимающiй въ своемъ увлеченiи Ахилла; его дергаютъ—онъ поетъ; его осаживаютъ внизъ, стараясь скрыть за спинами товарищей, — онъ поетъ: «уязвленъ»; его, наконецъ, выводятъ вонъ изъ церкви, но онъ все-таки поетъ: «у-я-з-в-л-е-н-ъ».

— Что тебѣ такое?—спрашиваютъ его съ участiемъ сердобольные люди.

— «Уязвленъ»,—воспѣваетъ, глядя всѣмъ имъ въ глаза, Ахилла, и такъ и остается у дверей притвора, пока струя свѣжаго воздуха не отрезвила его экзальтацiю.

Въ сравненiи съ протоiереемъ Туберозовымъ и отцомъ Бенефактовымъ, Ахилла Десницынъ можетъ назваться человѣкомъ молодымъ, но и ему уже далеко за сорокъ, и по смоляному чернымъ кудрямъ его пробѣжала сильная просѣдь. Роста Ахилла огромнаго, силы страшной, въ манерахъ угловатъ и рѣзокъ, но при всемъ этомъ весьма прiятенъ; типъ лица имѣетъ южный и говоритъ, что происходитъ изъ малороссiйскихъ казаковъ, отъ коихъ онъ и въ самомъ дѣлѣ какъ будто унаслѣдовалъ безпечность и храбрость и многiя другiя казачьи добродѣтели.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Жили всѣ эти герои старомоднаго покроя на Старгородской поповкѣ, надъ тихою судоходною рѣкой Турицей. У каждаго изъ нихъ, какъ у Туберозова, такъ и у Захарiи, и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самомъ берегу, какъ разъ насупротивъ высившагося за рѣкой стариннаго пятиглаваго собора съ высокими куполами. Но какъ разнохарактерны были сами эти обыватели, такъ различны были и ихъ жилища. У отца Савелiя домикъ былъ очень красивый, выкрашенный свѣтло-голубою масляною краской, съ разноцвѣтными звѣздочками, квадратиками и репейками, прибитыми надъ каждымъ изъ трехъ его оконъ. Окна эти обрамливались еще рѣзными, ярко же раскрашенными, на-

личниками и зелеными ставнями, которыя никогда не закрывались, потому что зимой крѣпкій домикъ не боялся холода, а отецъ протопопъ любилъ свѣтъ, любилъ звѣзду, заглядывавшую ночью съ неба въ его комнату, любилъ лунный лучъ, полосой глазета ложившійся на его раздѣланный подъ паркетъ полъ.

Въ домикѣ у отца протопопа всякая чистота и всякій порядокъ, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядокъ у него некому. Онъ бездѣтенъ, и это составляетъ одну изъ непреходящихъ скорбей его и его протопопицы.

У отца Захаріи Бенефактова домикъ гораздо больше, чѣмъ у отца Туберозова; но въ бенефактовскомъ домикѣ нѣтъ того щегольства и кокетства, какимъ блещетъ жилище протоіерея. Пяти-оконный, немного покосившійся, сѣрый домъ отца Захаріи похожъ скорѣе на большой птичникъ, и, къ довершенію сходства его съ этимъ заведеніемъ, во всѣ маленькіе переплеты его зеленыхъ оконъ постоянно толкутся различные носы и хохлики, другъ друга оттирающіе и другъ друга преслѣдующіе. Это все потомство отца Захаріи, котораго Богъ благословилъ яко Іакова, а жену его умножилъ яко Рахиль. У отца Захаріи далеко не было ни зеркальной чистоты протопопскаго дома, ни его строгаго порядка: на всемъ здѣсь лежали слѣды дѣтскихъ запачканныхъ лапокъ; изо всякаго угла торчала дѣтская головенка; и все это шевелилось дѣтьми, все здѣсь и пищало, и пѣло о дѣтяхъ, начиная съ запечныхъ сверчковъ и оканчивая матерью, убаюкивавшею свое потомство пѣсенкой:

Дѣти мои, дѣти!
Куда мнѣ васъ дѣти?
Гдѣ васъ положити?

Дьяконъ Ахилла былъ вдовъ и бездѣтенъ, и не радѣлъ ни о стяжаніяхъ, ни о домостройствѣ. У него на самомъ краю Зарѣчья была мазаная малороссійская хата, но при этой хатѣ не было ни службъ, ни заборовъ, словомъ, ничего, кромѣ небольшой жердяной карды, въ которой, по колѣно въ соломѣ, бродили то пѣгій жеребецъ, то буланый меринъ, то вороная кобылица. Убранство въ домѣ Ахиллы тоже было чисто казацкое: въ лучшей половинѣ этого помѣщенія, назначавшейся для самого хозяина, стоялъ деревянный диванъ съ рѣшетчатою спинкой; этотъ диванчикъ замѣнялъ Ахиллѣ и кровать, и потому онъ былъ застланъ

бѣлою казацкою кошмой, а въ изголовьи лежалъ чеканенный азіатскій сѣдельный орчакъ, къ которому была прислонена маленькая, блинообразная подушка, въ просаленной китайчатой наволочкѣ. Предъ этимъ казачьимъ ложемъ стоялъ бѣлый липовый столъ, а на стѣнѣ висѣли безструнная гитара, пеньковый укрючный арканъ, нагайка и двѣ вязаныя пукольками уздечки. Въ уголку на небольшой полочкѣ стоялъ крошечный образокъ Успенія Богородицы, съ водруженною за нимъ засохшею вербочкой, и маленькій кіевскій молитвословикъ. Болѣе рѣшительно ничего не было въ жилищѣ дьякона Ахиллы. Рядомъ же, въ небольшой приспѣшной, жила у него отставная старая горничная помѣщичьяго дома, Надежда Степановна, называемая Эсперансою.

Это была особа старенькая, маленькая, желтенькая, востроглазая, сморщенная, съ характеромъ самымъ неуживчивымъ и до того несноснымъ, что, несмотря на свои золотыя руки, она не находила себѣ мѣста нигдѣ и попала въ слуги бездомовнаго Ахилла, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо онъ не замѣчалъ ни этого треска, ни чекота, и самое крайнее раздраженіе своей старой служанки въ рѣшительныя минуты прекращалъ только громовымъ: «Эсперанса, провались!» Послѣ такихъ словъ Эсперанса обыкновенно исчезала, ибо знала, что иначе Ахилла схватитъ ее на руки, посадитъ на крышу своей хаты и оставитъ тамъ, не снимая отъ зари до зари. Въ виду этого страшнаго наказанія, Эсперанса боялась противорѣчить своему казаку-господину.

Всѣ эти люди жили такою жизнью и въ то же время всѣ болѣе или менѣе несли тяготы другъ друга, и другъ другу восполняли небогатую разнообразіемъ жизнь. Отецъ Савелій главенствовалъ надъ всѣмъ положеніемъ; его маленькая протопопица чтила его и не слыхала въ немъ души. Отецъ Захарія также былъ счастливъ въ своемъ птичникѣ. Не жаловался ни на что и дьяконъ Ахилла, проводившій всѣ дни свои въ бесѣдахъ и въ гуляньи по городу, или въ выѣздѣ и въ мѣнѣ своихъ коней, или, наконецъ, порой въ дразненіи и въ укрощеніи своей «услужающей Эсперансы».

Савелій, Захарія и Ахилла были друзья, но было бы, конечно, большою несправедливостью полагать, что они не дѣлали усилій разнообразить жизнь сценами легкой вражды

и недоразумѣній, благодѣтельно будящими человѣческія натуры, усыпляемыя бездѣйствіемъ уѣздной жизни. Нѣтъ, бывало нѣчто такое и здѣсь, и ожидающія насъ страницы туберозовскаго дневника откроютъ намъ многія мелочи, которыя вовсе не казались мелочами для тѣхъ, кто ихъ чувствовалъ, кто съ ними боролся и переносилъ ихъ. Бывали и у нихъ недоразумѣнія. Такъ, напримѣръ, однажды помѣщикъ и мѣстный предводитель дворянства, Алексѣй Никитичъ Плодомасовъ, возвратясь изъ Петербурга, привезъ оттуда лицамъ любимаго имъ соборнаго духовенства разные болѣе или менѣе цѣнные подарки и между прочимъ три трости: двѣ съ совершенно одинаковыми набалдашниками изъ червоннаго золота для священниковъ, то-есть, одну для отца Туберозова, другую для отца Захаріи, а третью, съ красивымъ набалдашникомъ изъ серебра съ чернью, для дьякона Ахиллы. Трости эти пали между старгородскимъ духовенствомъ какъ библейскіе змѣи, которыхъ кинули предъ Фараона египетскіе кудесники.

— Симъ подареніемъ тростей на насъ наведено сомнѣніе,—разсказывалъ дьяконъ Ахилла.

— Да въ чемъ же вы тутъ, отецъ дьяконъ, видите сомнѣніе?—спрашивали его тѣ, кому онъ жаловался.

— Ахъ, да вѣдь вотъ вы, свѣтскіе, ничего въ этомъ не понимаете, такъ и не утверждайте, что нѣтъ сомнѣнія,—отвѣчалъ дьяконъ:—нѣтъ-съ! тутъ большое сомнѣніе!

И дьяконъ пускался разъяснять это спеціальное горе.

— Во-первыхъ,—говорилъ онъ:—мнѣ, какъ дьякону, по сану моему, такого посоха носить не дозволено и неприлично, потому что я не пастырь—это разъ. Повторительно, я его теперь этотъ посохъ ношу, потому что онъ мнѣ подаренъ — это два. А въ-третьихъ, во всемъ этомъ сомнительная достойность: что отцу Савелью, что Захаріи одно и то же, одинаковые посошки. Зачѣмъ же такъ сравнять ихъ?.. Ахъ, помилуйте же вы, зачѣмъ?.. Отецъ Савелій... вы сами знаете... отецъ Савелій... онъ умница, философъ, министръ юстиціи, а теперь, я вижу, и онъ ничего не можетъ сообразить и смущенъ, и даже страшно смущенъ.

— Да чѣмъ же онъ тутъ можетъ быть смущенъ, отецъ дьяконъ?

— А тѣмъ смущенъ, что, во-первыхъ, отъ этой совершенной достойности происходитъ смѣшанность. Какъ вы

это располагаете, какъ отличить, чья эта трость? Извольте теперь ихъ разбирать, которая отца протопопа, которая Захаріина, когда онѣ обѣ одинаковы? Но, положимъ, на этотъ бы счетъ для разборки можно какую-нибудь замѣточку положить—или сургучомъ подъ головкой прикапнуть, или сдѣлать ножомъ на деревѣ нарѣзочку; но что же вы подѣлаете съ ними въ разсужденіи политики? Какъ теперь у одной изъ нихъ противъ другой цѣну или достоинство ея отнять, когда онѣ обѣ достойны? Помилуйте вы меня, вѣдь это невозможно, чтобъ и отецъ протопопъ, и отецъ Захарія были достойны. Это же не порядокъ-съ! И отецъ протопопъ это чувствуетъ, и я это вижу-съ и говорю: отецъ протопопъ, больше ничего въ этомъ случаѣ нельзя сдѣлать, какъ, позвольте, я на отца Захаріину трость сургучную мѣтку положу или нарѣзку сдѣлаю. А онъ говоритъ: «Не надо! Не смѣй, и не надо!» Какъ же не надо? Ну, говорю, благословите: я потаенно отъ самого отца Захаріи его трость супротивъ вашей ножомъ слегка на вершокъ урѣжу, такъ что отецъ Захарія этого сокращенія и знать не будетъ, но онъ опять: «глупъ, говоритъ, ты!..» Ну, глупъ и глупъ, не впервой мнѣ это отъ него слышать, я отъ него этимъ не обижаюсь, потому онъ заслуживаетъ, чтобъ отъ него снесть, а я все-таки вижу, что онъ всѣмъ этимъ недоволенъ, и мнѣ отъ этого пребезпокойно... И вотъ скажите же вы, что я трижды глупъ, восклицалъ дьяконъ: да-съ, позволяю вамъ, скажите, что я глупъ, если онъ, отецъ Савелій, не сполитикуетъ. Это ужъ я навѣрно знаю, что мнѣ онъ на то не позволяетъ, а самъ сполитикуетъ.

И дьяконъ Ахилла, повидимому, не ошибся. Не прошло и мѣсяца со времени врученія старгородскому соборному духовенству упомянутыхъ, наводящихъ сомнѣніе посоховъ, какъ отецъ протопопъ Савелій вдругъ сталъ собираться въ губернскій городъ. Не было надобности придавать какое-нибудь особенное значеніе этой поѣздкѣ отца Туберозова, потому что протоіерей, въ качествѣ благочиннаго, частенько ѣзжалъ въ консисторію. Никто и не толковалъ о томъ, зачѣмъ протопопъ ѣдетъ. Но вотъ отецъ Туберозовъ, уже усѣвшись въ кибитку, вдругъ обратился къ провожавшему его отцу Захаріи и сказалъ:

— А послушай-ка, отче, гдѣ твоя трость? Дай-ка ты мнѣ ее, я ее свезу въ городъ.

Одно это обращеніе съ этимъ словомъ, сказаннымъ какъ будто невзначай, вдругъ какъ бы озарило умы всѣхъ провожавшихъ со двора отъѣзжавшаго отца Савелія.

Дьяконъ Ахилла первый сейчасъ же крякнулъ и шепнулъ на ухо отцу Бенефактову:

— А что-съ! Я вамъ говорилъ: вотъ и политика!

— Для чего-жъ мою трость везти въ городъ, отецъ протопопъ? — вопросилъ смиренно моргающій своими глазами отецъ Захарія, отстраняя дьякона.

— Для чего? А вотъ я тамъ, можетъ-быть, покажу, какъ насъ съ тобой люди уважаютъ и помнятъ, — отвѣчалъ Туберозовъ.

— Алеша, бѣги, принеси посошокъ,—послалъ домой сынишку отецъ Захарія.

— Такъ вы, можетъ-быть, отецъ протопопъ, и мою трость тоже свозите показать? — вопросилъ, сколь умѣлъ мягче, Ахилла.

— Нѣтъ, ты свою предъ собою содержи,—отвѣчалъ Савелій.

— Что жъ, отецъ протопопъ, «предъ собою»? И я же вѣдь точно такъ же... тоже вѣдь и я предводительскаго вниманія удостоился,—отвѣчалъ, слегка обижаясь, дьяконъ.

Но отецъ протопопъ не почтилъ его претензіи никакимъ отвѣтомъ и, положивъ рядомъ съ собою поданную ему въ это время трость отца Захаріи, поѣхалъ.

Туберозовъ ѣхалъ, ѣхали съ нимъ и обѣ надѣлавшія смущенія трости, а дьяконъ Ахилла, оставаясь дома, томился разрѣшеніемъ себѣ загадки: зачѣмъ Туберозовъ отобралъ трость у Захаріи?

— Ну, что тебѣ? Что тебѣ до этого? что тебѣ?—останавливалъ Захарія мятущагося любопытствомъ дьякона.

— Отецъ Захарія, я вамъ говорю, что онъ сполитикуетъ.

— Ну, а если и сполитикуетъ, а тебѣ что до этого? Ну и пусть его сполитикуетъ.

— Да я нестерпимо любопытенъ предвидѣть, въ чемъ сіе будетъ заключаться. Урѣзать онъ мнѣ вашу трость не хотѣлъ позволить, сказалъ: глупость; мѣтки я ему совѣтовалъ положить, онъ тоже и это отвергнулъ. Одно, что я предвижу...

— Ну, ну... ну, что ты, болтунъ, предвидѣть можешь?

— Одно, что... онъ непремѣнно драгоцѣнный камень вставитъ.

— Да! ну... ну, куда же, куда онъ драгоцѣнный камень вставитъ.

— Въ рукоять.

— Да въ свою или въ мою?

— Въ свою, разумѣется, въ свою. Драгоцѣнный камень, вѣдь это драгоцѣнность.

— Да ну, а мою же трость онъ тогда зачѣмъ взялъ? Въ свою камень вставлять будетъ, а моя ему на что?

Дьяконъ ударилъ себя рукой по лбу и воскликнулъ:

— Одурачился!

— Надѣюсь, надѣюсь, что одурачился,—утверждалъ отецъ Захарія, добавивъ съ тихою укоризной: — а еще вѣдь ты, братецъ мой, логикѣ обучался; стыдно!

— Что же за стыдъ, когда я ей обучался, да не могъ понять! Это со всякимъ можетъ случиться,—отвѣчалъ дьяконъ и, не высказывая уже болѣе никакихъ догадокъ, продолжалъ тайно сгорать любопытствомъ,—что будетъ?

Прошла недѣля, и отецъ протопопъ возвратился. Ахилла дьяконъ, объѣзжавшій въ это время вымѣненнаго имъ степного коня, первый замѣтилъ приближеніе къ городу протоіерейской черной кибитки и летѣлъ по всѣмъ улицамъ, останавливаясь предъ открытыми окнами знакомыхъ домовъ, крича: «Ѣдетъ! Савелій! ѣдетъ нашъ попъ великій!» Ахиллу вдругъ осѣнило новое соображеніе.

— Теперь знаю, что̀ такое! — говорилъ онъ окружающимъ, спѣшиваясь у протопоповскихъ воротъ. — Всѣ эти размышленія мои до сихъ поръ предварительныя были не больше какъ одною глупостью моею; а теперь я навѣрное вамъ скажу, что отецъ протопопъ, кромѣ ничего, какъ просто велѣлъ вытравить литеры греческія, а не то такъ латинскія. Такъ, такъ, не иначе какъ такъ; это вѣрно, что литеры вытравилъ, и если я теперь не отгадалъ, то сто разъ меня дуракомъ послѣ этого назовите.

— Погоди, погоди и назовемъ, и назовемъ,—частилъ въ отвѣтъ ему отецъ Захарія, въ виду остановившейся у воротъ протопоповской кибитки.

Отецъ протопопъ вылѣзъ изъ кибитки важный, солидный; вошелъ въ домъ, помолился, повидался съ женой, поцѣловалъ ее при этомъ три раза въ уста, потомъ поздоровался

съ отцомъ Захаріей, съ которымъ они поцѣловали другъ друга въ плечи, и наконецъ и съ дьякономъ Ахиллой, при чемъ дьяконъ Ахилла поцѣловалъ у отца протопопа руку, а отецъ протопопъ приложилъ свои уста къ его темени. Послѣ этого свиданія началось чаепитіе, разговоры, разсказы губернскихъ новостей, и вечеръ уступилъ мѣсто ночи, а отецъ протопопъ и не заикнулся объ интересующихъ всѣхъ посохахъ. День, другой и третій прошелъ, а отецъ Туберозовъ и не заговариваетъ объ этомъ дѣлѣ, словно свезъ онъ посохи въ губернію, да тамъ ихъ оба по рѣкѣ спустилъ, чтобъ и рѣчи о нихъ не было.

— Вы же хоть полюбопытствуйте! спросите! — безпрестанно зудилъ во всѣ дни отцу Захаріи нетерпѣливый дьяконъ Ахилла.

— Что я буду его спрашивать? — отвѣчалъ отецъ Захарія. — Нѣшто я ему не вѣрю, что ли, что стану отчетъ требовать, куда дѣлъ?

— Да все-таки ради любознательности спросить должно.

— Ну и спроси, зуда, самъ, если хочешь ради любознательности.

— Нѣтъ, вы, ей-Богу, со страху его не спрашиваете.

— Съ какого это страху?

— Да просто боитесь; а я бы ей-Богу спросилъ. Да и чего тутъ бояться-то? спросите просто: а какъ же, мелъ, отецъ протопопъ, будетъ насчетъ нашихъ тростей? Вотъ только всего и страху.

— Ну, такъ вотъ ты и спроси.

— Да мнѣ нельзя.

— А почему нельзя?

— Онъ меня можетъ оконфузить.

— А меня развѣ не можетъ?

Дьяконъ просто сгоралъ отъ любопытства и не зналъ, что бы такое выдумать, чтобы завести разговоръ о тростяхъ; но вотъ къ его радости дѣло разрѣшилось и само собою. На пятый или на шестой день, по возвращеніи своемъ домой, отецъ Савелій, отслуживъ позднюю обѣдню, позвалъ къ себѣ на чай и городничаго, и смотрителя училищъ, и лѣкаря, и отца Захарію съ дьякономъ Ахиллой, и началъ опять разсказывать, что онъ слышалъ и что видѣлъ въ губернскомъ городѣ. Прежде всего отецъ протопопъ довольно пространно говорилъ о новыхъ постройкахъ, потомъ о гу-

бернаторѣ, котораго осуждалъ за неуваженіе ко владыкѣ и за постройку водопроводовъ или, какъ отецъ протопопъ выражался, «акведуковъ».

— Акведуки эти, — говорилъ отецъ протопопъ: — будутъ ни къ чему, потому городъ малый и притомъ тремя рѣками пересѣкается; но магазины, которые все вновь открываются, нѣчто весьма изящное начали представлять. Да вотъ я вамъ сейчасъ покажу, что касается нынѣшняго тамъ искусства...

И съ этими словами отецъ протопопъ вышелъ въ боковую комнату и черезъ минуту возвратился оттуда, держа въ каждой рукѣ по извѣстной всѣмъ трости.

— Вотъ видите,—сказалъ онъ, поднося къ глазамъ гостей верхнія площади золотыхъ набалдашниковъ.

Ахилла дьяконъ такъ и воззрился, что̀ такое сдѣлано политиканомъ Савеліемъ для различенія одностойныхъ тростей; но, увы! ничего такого рѣзкаго для ихъ различія не было замѣтно. Напротивъ, одностойность ихъ даже какъ будто еще увеличилась, потому что посрединѣ набалдашника той и другой трости было совершенно одинаково вырѣзано окруженное сіяніемъ всевидящее око; а вокругъ ока краткая, въ видѣ узорчатой каймы, вязная надпись.

— А литеръ, отецъ протопопъ, нѣтъ? — замѣтилъ, не утерпѣвъ, Ахилла.

— Къ чему здѣсь тебѣ литеры нужны? — отвѣчалъ, не глядя на него, Туберозовъ.

— А для отличенія ихъ одностойности!

— Все ты всегда со вздоромъ лѣзешь,—замѣтилъ отецъ протопопъ дьякону и, при этомъ, приставивъ одну трость къ своей груди, сказалъ:—вотъ это будетъ моя.

Ахилла дьяконъ быстро глянулъ на набалдашникъ и прочелъ около всевидящаго ока: «Жезлъ Ааронов расцвѣлъ».

— А вотъ это, отецъ Захарія, будетъ тебѣ,—докончилъ протопопъ, подавая другую трость Захаріи.

На этой вокругъ такого же точно всевидящаго ока, такою же точно древле-славянскою вязью, было вырѣзано: «Даде въ руку его посохъ».

Ахилла, какъ только прочелъ эту вторую подпись, такъ палъ за спину отца Захаріи и, уткнувъ голову въ животъ лѣкаря, заколотился и задергался въ припадкахъ неукротимаго смѣха.

— Ну, что, зуда, что, что? — частилъ, обернувшись къ

нему, отецъ Захарія, между тѣмъ какъ прочіе гости еще разсматривали затѣйливую работу рѣзчика на іерейскихъ посохахъ. — Литеры? А! литеры, баранъ ты этакой кучерявый? Гдѣ же здѣсь литеры?

Но дьяконъ не только нимало не сконфузился, но опять порскнулъ и закатился со смѣху.

— Чего смѣешься? чего помираешь?

— Это кто жъ баранъ-то выходитъ теперь?—вопросилъ, едва выговаривая слова, дьяконъ.

— Да ты же, ты. Кто же еще баранъ?

Ахилла опять залился, замоталъ руками и, изловивъ отца Захарію за плечи, почти сѣлъ на него медвѣдемъ и театральнымъ шопотомъ забубнилъ:

— А вы, отецъ Захарія, какъ вы много логикѣ учились, такъ вы вотъ это прочитайте: «Даде въ руку его посохъ». Нуте-ка, рѣшите по логикѣ: чему такая надпись соотвѣтствуетъ!

— Чему? Ну, говори чему?

— Чему-съ? А она тому соотвѣтствуетъ, — заговорилъ протяжнѣе дьяконъ:—что дали, молъ, дескать ему линейкой палю въ руку.

— Врешь.

— Вру! А отчего же вонъ у него «жезлъ расцвѣлъ»? А небось ничего про то, что въ руку дано, не обозначено? Почему? Потому, что это сдѣлано для превозвышенія, а вамъ это для униженія черкнуто, что, молъ, дана палка въ лапу.

Отецъ Захарія хотѣлъ возразить, но и вправду слегка смутился. Дьяконъ торжествовалъ, наведя это смущеніе на тихаго отца Венефактова; но торжество Ахиллы было непродолжительно.

Не успѣлъ онъ оглянуться, какъ увидѣлъ, что отецъ протопопъ пристально смотрѣлъ на него въ оба глаза, и чуть только замѣтилъ, что дьяконъ уже достаточно сконфузился, какъ обратился къ гостямъ и самымъ спокойнымъ голосомъ началъ:

— Надписи эти, которыя вы видите, я не самъ выдумалъ, а это мнѣ консисторскій секретарь Аѳанасій Ивановичъ присовѣтовалъ. Случилось намъ, гуляя съ нимъ предъ вечеромъ, зайти вмѣстѣ къ золотарю; онъ, Аѳанасій Ивановичъ, и говоритъ: вотъ, говоритъ, отецъ протопопъ, какая мнѣ пришла мысль, надписи вамъ на тростяхъ подобаютъ,

вотъ вамъ этакую: «Жезлъ Ааронов̀ъ», а отцу Захаріи вотъ этакую очень пристойно, какая теперь значится.

— А тебѣ, отецъ дьяконъ... я и о твоей трости, какъ ты меня просилъ, думалъ сказать, но нашелъ, что лучше всего, чтобы ты съ нею вовсе ходить не смѣлъ, потому что это твоему сану не принадлежитъ...

При этомъ отецъ протопопъ спокойно подошелъ къ углу, гдѣ стояла знаменитая трость Ахиллы, взялъ ее и заперъ ключомъ въ свой гардеробный шкапъ.

Такова была величайшая изъ распрей на старогородской поповкѣ.

— Отсюда,—говорилъ дьяконъ:—было все начало болѣзнямъ моимъ. Потому что я тогда не стерпѣлъ и озлобился, а отецъ протопопъ Савелій началъ своею политикой еще болѣе уничтожать меня и довелъ даже до ярости. Я свирѣпѣлъ, а онъ меня, какъ медвѣдя, на рогатину сажалъ на эту политику, пока я даже осатанѣвать сталъ.

Это былъ образчикъ мелочности, обнаруженной на старости лѣтъ протопопомъ Савеліемъ, и легкомысленности дьякона, навлекшаго на себя гнѣвъ Туберозова; но какъ Москва, говорятъ, отъ копеечной свѣчи сгорѣла, такъ и на старогородской поповкѣ вслѣдъ за этимъ началась цѣлая исторія, выдвинувшая наружу разные недостатки и превосходства характеровъ Савелія и Ахиллы.

Дьяконъ лучше всѣхъ зналъ эту исторію, но разсказывалъ ее лишь въ минуты крайняго своего волненія, въ часы разстройства, раскаяній и безпокойствъ, и потому когда говорилъ о ней, то говорилъ нерѣдко со слезами на глазахъ, съ судорогами въ голосѣ, и даже нерѣдко съ рыданіями.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

— Мнѣ,—говорилъ сквозь слезы взволнованный Ахилла:— мнѣ по-настоящему, разумѣется, что бы тогда слѣдовало сдѣлать? Мнѣ слѣдовало пасть къ ногамъ отца протопопа и сказать, что такъ и такъ, что я это, отецъ протопопъ, не по злобѣ, не по ехидству сказалъ, а единственно лишь, чтобы только доказать отцу Захаріи, что я хоть и безъ логики, но ничѣмъ его не глупѣй. Но гордыня меня обуяла и удержала. Досадно мнѣ стало, что онъ мою трость въ шкапъ заперъ, а потомъ послѣ того учитель Варнавка

Препотенскій еще подослѣлъ и подгадилъ... Ахъ, я вамъ говорю, что уже сколько я на самого себя золъ, но на учителя Варнавку вдвое! Ну, да и не я же буду, если я умру безъ того, что я этого просвирнинаго сына учителя Варнавку не взвошу!

— Опять и этого ты не смѣешь,—останавливалъ Ахиллу отецъ Захарія.

— Отчего же это не смѣю? За безбожіе-то, да не смѣю? Ну, ужъ это извините-съ!

— Не смѣешь, хоть и за безбожіе, а все-таки драться не смѣешь, потому что Варнавка былъ просвирнинъ сынъ, а теперь онъ чиновникъ, онъ учитель.

— Такъ что, что учитель? Да я за безбожіе кого вамъ угодно воздѣлаю. Это-съ, батюшка, законъ, а не что-нибудь. Да-съ, это очень просто кончается: замоталъ покрѣпче руку ему въ аксіосы, потрясъ хорошенько, да и выпустилъ, и ступай, молъ, жалуйся, что битъ духовнымъ лицомъ за безбожіе... Никуда не пойдетъ-съ! Но Боже мой, Боже мой! какъ я только вспомню, да подумаю — и что это тогда со мною подѣлалось, что я его, этакого негодивца Варнавку слушалъ, и что даже до сего дня я еще съ нимъ какъ должно не расправился! Ей, право, не знаю, откуда такая слабость у меня? Вѣдь вонъ тогда Сергѣя дьячка за разсужденіе о громѣ я сейчасъ же прибилъ; комиссара Данилку мѣщанина за яденіе яицъ на улицѣ въ прошедшій Великій постъ я опять тоже неупустительно и всенародно весьма прилично по ухамъ оттрепалъ, а вотъ этому просвирнину сыну все до сихъ поръ спускаю, тогда какъ я этимъ Варнавкой болѣе всѣхъ и уязвленъ! Не будь его, сей распри бы не разыграться. Отецъ протопопъ гнѣвались бы на меня за разговоръ съ отцомъ Захаріей, но все бы это не было долговременно; а этотъ просвирнинъ сынъ Варнавка, какъ вы его нынче сами видѣть можете, учитель математики въ уѣздномъ училищѣ, мнѣ тогда, озлобленному и уязвленному, какъ подтолдыкнулъ: «Да это, говоритъ, надпись Туберозовская еще, кромѣ того, и глупа». Я, знаете, будучи уязвленъ, страхъ какъ жаждалъ чѣмъ бы и самому отца Савелія уязвить, и спрашиваю: чѣмъ же глупа? А Варнавка говоритъ: «Тѣмъ и глупа, что еще самый фактъ-то, о которомъ она гласитъ, не достовѣренъ; да и не только не достовѣренъ, а и невѣроятенъ. Кто это, говоритъ, засви-

дѣтельствовалъ, что жезлъ Ааронов расцвѣлъ? Сухое дерево развѣ можетъ расцвѣсть?» Я было его на этомъ даже остановилъ и говорю: «Пожалуйста, ты этого, Варнава Васильичъ, не говори, потому что Богъ, идѣ же хощетъ, побѣждается естества чинъ»; но при этомъ, какъ вся эта наша рацея у акцизничихи у Бизюкиной происходила, а тамъ все это разныя возліянія, да вино все хорошее: все го-го, госотеринъ, да го-марго, я... прахъ меня возьми, и надрызгался. Я, изволите понимать, въ винномъ угарѣ, а Варнавка мнѣ, знаете, тутъ мнѣ по-своему, по-ученому торочитъ, что «тогда вѣдь, говоритъ, вонъ и *мани факелъ фаресъ* было на пиру Вальтасаровомъ написано, а теперь, говоритъ, вѣдь это вздоръ; я вамъ могу это самое сейчасъ фосфорною спичкой написать». Ужасаюсь я; а онъ все дальше да больше: «Да тамъ и во всемъ, говоритъ, бездна противорѣчій...» И пошелъ, знаете, и пошелъ, и все опровергаетъ; а я все это сижу да слушаю. А тутъ опять еще эти го-марго, да ужъ и достаточно даже сдѣлался уязвленъ, и самъ заговорилъ въ вольнодумномъ штилѣ. Я, говорю, я, если бы только не видѣлъ отца Савеліевой прямоты, потому, какъ знаю, что онъ прямо алтарю предстоитъ и жертва его прямо идетъ, какъ жертва Авелева, то я только Каиномъ быть не хочу, а то бы я его... Это, понимаете, на отца Савелія-то! И къ чему-съ это; къ чему это я тамъ въ ту пору о немъ заговорилъ? Вѣдь не глупецъ ли? Ну, а она, эта Данка Нефалимка, Бизюкина-то, говоритъ:—«Да вы еще понимаете ли, что вы лепечете? Вы еще знаете ли цѣну Каину-то? что такое, говоритъ, вашъ Авель? Онъ больше ничего какъ маленькій барашекъ, онъ низкопоклонный искатель, у него рабская натура, а Каинъ гордый дѣятель, — онъ не помирится съ жизнію подневольною. Вотъ, говоритъ, какъ его англійскій писатель Бироиъ изображаетъ...» Да и пошла-съ мнѣ расписывать! Ну, а тутъ все эти го-ма-го меня тоже наспиртуозили, и вотъ вдругъ чувствую, что хочу я быть Каиномъ, да и шабашъ. Вышелъ я оттуда домой, дошелъ до отца протопопова дома, сталъ передъ его окнами и вдругъ подперся по-офицерски въ боки руками и закричалъ: «Я царь, я рабъ, я червь, я богъ!» Боже, Боже: какъ страшно вспомнить, сколь я былъ безстыжъ и сколь же я былъ за то въ ту жъ пору постыженъ и уязвленъ! Отецъ протопопъ, услыхавъ мое козлогласіе, вскочили съ постели, подошли въ

сорочкѣ къ окну и, распахнувъ раму, гнѣвнымъ голосомъ крякнули: «Ступай спать, Каинъ неистовый!» Вѣрите ли: я даже затрепеталъ весь отъ этого слова, что я «Каинъ», потому, представьте себѣ, что я только собирался въ Каины, а онъ уже это провидѣлъ. Ахъ, Боже! Я отошелъ къ дому своему, самъ слѣдовъ своихъ не разумѣючи, и вся моя строптивость тутъ же пропала, и съ тѣхъ поръ и донынѣ я только скорблю и стенаю.

Повторивъ этотъ разсказъ, дьяконъ обыкновенно задумывался, поникалъ головой и черезъ минуту, вздохнувъ, продолжалъ мягкимъ и грустнымъ тономъ:

— Но вотъ-съ дніе бѣгутъ и текутъ, а гнѣвъ отца протопопа не проходитъ и до сего дня. Я приходилъ и винился; во всемъ винился и каялся, говорилъ: «Простите, какъ Богъ грѣшниковъ прощаетъ», но на все одинъ отвѣтъ: «Иди». Куда? я спрашиваю, куда я пойду? Почтмейстерша Тимохина мнѣ все совѣтуетъ: «Въ полкъ, говоритъ, отецъ дьяконъ, идите, васъ полковые любить будутъ». Знаю я это, что полковые очень могутъ меня любить, потому что я и самъ почти воинъ; но что изъ меня въ полку воспослѣдуетъ, вы это обсудите? Вѣдь я тамъ съ ними въ полку ужъ и, дѣйствительно, Каиномъ сдѣлаюсь... Вѣдь это, вѣдь я знаю, что все-таки одинъ *онъ*, одинъ отецъ Савелій еще меня и содержитъ въ субординаціи,—а онъ... а онъ...

При этихъ словахъ у дьякона заканали въ груди слезы, и онъ, всхлипывая, заканчивалъ:

— А онъ вотъ какую низкую штуку со мною придумалъ: чтобы молчать! Что я ни заговорю, онъ все молчитъ... За что же ты молчишь?—восклицалъ дьяконъ, вдругъ совсѣмъ начиная плакать и обращаясь съ поднятыми руками въ ту сторону, гдѣ полагалъ быть дому отца протопопа. — Хорошо, ты думаешь, это такъ дѣлать, а? Хорошо это, что я по дьяконству моему подхожу и говорю: благослови, отче? и руку его цѣлую, чувствую, что даже рука его холодна для меня! Это хорошо? На Троицынъ день предъ великою молитвой я, слезами обливаясь, прошу: благослови... А у него и тутъ умиленія нѣтъ. «Буди благословенъ», говоритъ. Да что мнѣ эта форменность, когда все это безъ ласковости!

Дьяконъ ожидалъ утѣшенія и поддержки.

— Заслужи, — замѣчаетъ ему отецъ Захарія: — заслужи хорошенько, онъ тогда и съ лаской проститъ.

— Да чѣмъ же я, отецъ Захарія, заслужу?

— Примѣрнымъ поведеніемъ заслужи.

— Да какимъ же примѣрнымъ поведеніемъ, когда онъ совсѣмъ меня не замѣчаетъ? Мнѣ, ты, батя, думаешь, легко, какъ я вижу, что онъ скорбитъ, вижу, что онъ нынче въ столь частой задумчивости. Боже мой! говорю я себѣ:—чего онъ въ такомъ изумленіи? Можетъ-быть это онъ и обо мнѣ... Потому что вѣдь тамъ, какъ онъ на меня ни сердись, а вѣдь онъ все это притворствуетъ: онъ меня любитъ...

Дьяконъ оборачивался въ другую сторону и, стуча кулакомъ по ладони, выговаривалъ:

— Ну, просвирнинъ сынъ, тебѣ это такъ не пройдетъ! Будь я взаправду тогда Каинъ, и не дьяконъ, если только я этого учителя Варнавку публично не исковеркаю!

Изъ одной этой угрозы читатели могутъ видѣть, что нѣкоему упоминаемому здѣсь учителю Варнавѣ Препотенскому со стороны Ахиллы дьякона угрожала какая-то самая рѣшительная опасность, и опасность эта становилась тѣмъ грознѣе и ближе, чѣмъ чаще и тягостнѣе Ахилла начиналъ чувствовать томленіе по своемъ потеряномъ раѣ, по утраченномъ благорасположеніи отца Савелія. И вотъ, наконецъ, ударилъ часъ, съ котораго должны были начаться кара Варнавы Препотенскаго рукой Ахиллы и совершенно совнадавшее съ симъ событіемъ начало великой старгородской драмы, составляющей предметъ нашей хроники.

Чтобы ввести читателей въ уразумѣніе этой драмы, мы оставимъ пока въ сторонѣ всѣ тропы и дороги, по которымъ Ахилла, какъ американскій слѣдопытъ, будетъ выслѣживать своего врага, учителя Варнавку, и погрузимся въ глубины внутренняго міра самого драматическаго лица нашей повѣсти—уйдемъ въ міръ невѣдомый и незримый для всѣхъ, кто посмотритъ на лицо и близко, и издали. Проникнемъ въ чистенькій домикъ отца Туберозова. Можетъ-быть, стоя внутри этого дома, найдемъ средство заглянуть внутрь души его хозяина, какъ смотрятъ въ стеклянный улей, гдѣ пчела строитъ свой дивный сотъ, съ воскомъ на освѣщеніе лица Божія, съ медомъ на усладу человѣка. Но будемъ осторожны и деликатны: надѣнемъ легкія сандаліи, чтобы шаги ногъ нашихъ не встревожили задумчи-

ваго и грустнаго протопопа; положимъ сказочную шапку-невидимку себѣ на голову, дабы любопытный зракъ нашъ не смущалъ серьезнаго взгляда чиннаго старца, и станемъ имѣть уши наши отверстыми ко всему, что отъ него услышимъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Надъ Старъ-Городомъ лѣтній вечеръ. Солнце давно сѣло. Нагорная сторона, гдѣ возвышается острый куполъ собора, озаряется блѣдными блесками луны, а тихое Зарѣчье утонуло въ теплой мглѣ. По пловучему мосту, соединяющему обѣ стороны города, изрѣдка проходятъ одинокія фигуры. Онѣ идутъ спѣшно: ночь въ тихомъ городкѣ рано собираетъ всѣхъ въ гнѣзда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телѣга, звеня колокольчикомъ и перебирая, какъ клавиши, мостовины, и опять все замерло. Изъ далекихъ лѣсовъ доносится благотворная свѣжесть. На островѣ, который образуютъ рукава Турицы и на которомъ синѣетъ бакша кривоносаго чудака, престарѣлаго недоучки духовнаго званія, нѣкоего Константина Пизонскаго, называемаго отъ всѣхъ «дядей Котиномъ», раздаются клики:

— Молвоша! гдѣ ты, Молвоша?

Это старикъ зоветъ рѣзваго мальчишку, своего пріемыша, и клики эти такъ слышны въ домѣ протопопа, какъ будто они раздаются надъ самымъ ухомъ сидящей у окна протопопицы. Вотъ оттуда же, съ той же бакши, несется дѣтскій хохотъ, слышится плескъ воды, потомъ топотъ босыхъ ребячьихъ ногъ по мостовинамъ, звонкій лай игривой собаки, и все это кажется такъ близко, что мать протопопица, продолжавшая все это время сидѣть у окна, вскочила и выставила впередъ руки. Ей показалось, что бѣгущее и хохочущее дитя сейчасъ же упадетъ къ ней на колѣни. Но, оглянувшись вокругъ, протопопица замѣтила, что это обманъ и, отойдя отъ окна въ глубину комнаты, зажгла на комодѣ свѣчу и кликнула небольшую, лѣтъ двѣнадцати, дѣвочку и спросила ее:

— Ты, Оёклинька, не знаешь ли, гдѣ нашъ отецъ протопопъ?

— Онъ, матушка, у исправника въ шашки играетъ.

— А, у исправника. Ну, Богъ съ нимъ, когда у исправ-

ника. Давай мы ему, Ѳёклушка, постель постелемъ, пока онъ воротится.

Ѳёклинька принесла изъ сосѣдней комнаты въ залу двѣ подушки, простыню и стеганое желтое шерстяное одѣяло; а мать протопопица внесла бѣлый пикейный шлафрокъ и большой пунцовый фуляръ. Постель была постлана отцу протопопу на большомъ, довольно твердомъ диванѣ изъ карельской березы. Изголовье было открыто; бѣлый шлафрокъ раскинутъ по креслу, которое поставлено въ ногахъ постели; на шлафрокъ положенъ пунцовый фуляръ. Когда эта часть была устроена, мать протопопица, вдвоемъ съ Ѳёклинькой, придвинули къ головамъ постели отца Савелія тяжелый, изъ карельской же березы, овальный столъ на массивной тумбѣ, поставили на этотъ столъ свѣчу, стаканъ воды, блюдце съ толченымъ сахаромъ и колокольчикъ. Всѣ эти приготовленія и тщательность, съ которою они исполнялись, свидѣтельствовали о великомъ вниманіи протопопицы ко всѣмъ привычкамъ мужа. Только устроивъ все какъ слѣдовало, по обычаю, она успокоилась и снова погасила свѣчу и сѣла одиноко къ окошечку ожидать протопопа. Глядя на нее, можно было видѣть, что она ожидаетъ его неспокойно; этому и была причина: давно невеселый Туберозовъ нынче особенно хандрилъ цѣлый день, и это тревожило его добрую подругу. Къ тому же, онъ и усталъ: онъ ѣздилъ нынче на поля пригородныхъ слобожанъ и служилъ тамъ молебенъ по случаю стоящей засухи. Послѣ обѣда онъ немножко вздремнулъ и пошелъ пройтись, но, какъ оказалось, зашелъ къ исправнику, и теперь его еще нѣтъ. Ждетъ его маленькая протопопица еще полчаса и еще часъ, а его все нѣтъ. Тишина ненарушимая. Но вотъ съ нагорья послышалось чье-то довольно пріятное пѣніе. Мать протопопица прислушивается. Это поетъ дьяконъ Ахилла; она хорошо узнаетъ его голосъ. Онъ сходитъ съ Батавиной горы и распѣваетъ:

Ночною темнотою
Покрылись небеса;
Всѣ люди для покоя
Сомкнули очеса.

Дьяконъ спустился съ горы и, идучи по мосту, продолжаетъ:

Внезапно постучался
Мнѣ въ двери купидонъ;

Пріятный перервался
Въ началѣ самомъ сонъ.

Протопопица слушаетъ съ удовольствіемъ пѣніе Ахиллы, потому что она любитъ и его самого за то, что онъ любитъ ея мужа, и любитъ его пѣніе. Она замечталась и не слышитъ, какъ дьяконъ взошелъ на берегъ и все приближается и приближается, и, наконецъ, подъ самымъ ея окошечкомъ вдругъ хватилъ съ декламаціей:

Кто тамъ стучится смѣло?
Сквозь двери я спросилъ.

Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула: «ахъ!» и отскочила въ глубь покоя.

Дьяконъ, услыхавъ это восклицаніе, пересталъ пѣть и остановился.

— А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали?— отнесся онъ къ протопопицѣ, и съ этими словами, схватясь руками за подоконникъ, вспрыгнулъ на карнизецъ и воскликнулъ:—А у насъ миръ!

— Что?—переспросила протопопица.

— Миръ,—повторилъ дьяконъ:—миръ.

Ахилла повелъ по воздуху рукой и добавилъ:

— Отецъ протопопъ... конецъ...

— Что ты говоришь, какой конецъ?—запытала вдругъ встревоженная этимъ словомъ протопопица.

— Конецъ... со мною всему конецъ... Отнынѣ миръ и благоволеніе. Нынѣ которое число? Нынѣ четвертое іюня; вы такъ и запишите: «*4-го іюня миръ и благоволеніе*», потому что миръ всѣмъ, и Варнавкѣ учителю шабашъ.

— Ты это что-то... виномъ отъ тебя не пахнетъ, а врешь.

— Вру! А вотъ вы скоро увидите, какъ я вру. Сегодня 4-е іюня, сегодня преподобнаго Меѳодія Песношскаго, вотъ вы это себѣ такъ и запишите, что отъ этого дня у насъ распочнется.

Дьяконъ еще приподнялся на локти и, втиснувшись въ комнату по самый по поясъ, зашепталъ:

— Вы вѣдь, небось, не знаете, что учитель Варнавка сдѣлалъ?

— Нѣтъ, дружокъ, не слыхала, что такое еще онъ, негодивецъ, сотворилъ.

— Ужасная вещь-съ! онъ человѣка въ горшкѣ сварилъ.

— Дьяконъ, ты это врешь!—воскликнула протопопица.

— Нѣтъ-съ, сварилъ!

— Истинно врешь!—человѣка въ горшокъ не всунешь.

— Онъ его въ золяной корчагѣ сварилъ,—продолжалъ, не обращая на нее вниманія, дьяконъ: — и хотя ему это мерзкое дѣло было дозволено отъ исправника и отъ лѣкаря, но тѣмъ не менѣе онъ теперь за это предается въ мои руки.

— Дьяконъ, ты врешь; ты все это врешь.

— Нѣтъ-съ, извините меня, даже ни одной минуты я не вру,—зачастилъ дьяконъ и, замотавъ головой, началъ вырубать слово отъ слова еще чаще.—Извольте хорошенько слушать, въ чемъ дѣло и какое его было теченіе: Варнавка, дѣйствительно, сварилъ человѣка съ разрѣшенія начальства, то-есть лѣкаря и исправника, такъ какъ то былъ утопленникъ; но этотъ сваренецъ теперь его жестоко мучитъ и его мать, госпожу просвирню, и я все это разузналъ и сказалъ у исправника отцу протопопу, и отецъ протопопъ исправнику за это... того-съ, по-французски пробире-муа, задали, и исправникъ сказалъ: что я, говоритъ, возьму солдатъ и положу этому конецъ; но я сказалъ, что пока еще ты возьмешь солдатъ, а я самъ солдатъ, и съ завтрашняго дня, ваше преподобіе, честная протопопица Наталья Николаевна, вы будете видѣть, какъ дьяконъ Ахилла начнетъ казнить учителя Варнавку, который богохульствуетъ, смущаетъ людей живыхъ и мучитъ мертвыхъ. Да-съ, сегодня 4-е іюня, память преподобнаго Меѳодія Песношскаго, и вы это запишете...

Но на этихъ словахъ потокъ краснорѣчія Ахиллы оборвался, потому что въ это время какъ будто послышался издалека съ горы кашель отца протопопа.

— Во! грядетъ попъ Савелій!—воскликнулъ, заслышавъ этотъ голосъ, Ахилла и, соскочивъ съ фундамента на землю, пошелъ своею дорогой.

Протопопица осталась у своего окна не только во мракѣ невѣдѣнія насчетъ всего того, чѣмъ дьяконъ грозился учителю Препотенскому, но даже въ совершенномъ хаосѣ насчетъ всего, что онъ наговорилъ здѣсь. Ей некогда было и раздумывать о нескладныхъ рѣчахъ Ахиллы, потому она услыхала, какъ скрипнули крылечныя ступени, и отецъ Савелій вступилъ въ сѣни, въ камилавкѣ на головѣ и

въ рукахъ съ тою самою тростью, на которой было написано: «Жезлъ Ааронов расцвѣлъ».

Протопопица встала, разомъ засвѣтила двѣ свѣчи и изъподъ обѣихъ зорко посмотрѣла на вошедшаго мужа. Протопопъ тихо поцѣловалъ жену въ лобъ, тихо снялъ рясу, надѣлъ свой бѣлый шлафоръ, подвязалъ шею пунцовымъ фуляромъ и сѣлъ у окошка.

Протопопица совершенно забыла про все, что ей за нѣсколько минутъ передъ этимъ говорилъ дьяконъ, и потому ни о чемъ не спросила мужа. Она пригласила его въ смежную маленькую, продолговатую комнатку, которая служила ей спальней и гдѣ теперь была приготовлена для отца Савелія его вечерняя закуска. Отецъ Савелій сѣлъ къ столику, съѣлъ два сваренныя для него всмятку яйца и, помолясь, началъ прощаться на ночь съ женой. Протопопица сама никогда не ужинала. Она обыкновенно только сидѣла предъ мужемъ, пока онъ закусывалъ, и оказывала ему небольшія услуги, то что-нибудь подавая, то принимая и убирая. Потомъ они оба вставали, молились предъ образомъ и непосредственно затѣмъ оба начинали крестить одинъ другого. Это взаимное благословеніе другъ друга на сонъ грядущій они производили всегда оба одновременно и притомъ съ такою ловкостью и быстротой, что нельзя было надивиться, какъ ихъ быстро мелькавшія одна мимо другой руки не хлопнутъ одна по другой, и одна за другую не зацѣпятся.

Получивъ взаимныя благословенія, супруги напутствовали другъ друга и взаимнымъ поцѣлуемъ, при чемъ отецъ протопопъ цѣловалъ свою низенькую жену въ лобъ, а она его въ сердце; затѣмъ они разставались: протопопъ уходилъ въ свою гостиную и вскорѣ ложился. Точно такъ же пришелъ онъ въ свою комнату и сегодня, но не легъ въ постель, а долго ходилъ по комнатѣ, наконецъ, притворилъ и тихо заперъ на крючокъ дверь въ женину спальню.

— Отецъ Савелій, ты чего-то не въ свѣтломъ духѣ? — спросила чрезъ стѣнку протопопица, хорошо изучившая всѣ мельчайшія черты мужнина характера.

— Нѣтъ, другъ, я спокоенъ,—отвѣчалъ протопопъ.

— Тебѣ, отецъ Савелій, не подать ли на ночь чистый платочекъ?—освѣдомилась она, вскочивъ и приложивъ носъ къ створу двери.

— Платочекъ? да вѣдь ты въ субботу дала мнѣ платочекъ!

— Ну, такъ что жъ, что въ субботу?.. Да отопритесь вы въ самомъ дѣлѣ, отецъ Савелій! Что это вы еще за моду такую взяли, чтобъ отъ меня запираться?

Протопопъ молча откинулъ крючокъ, а Наталья Николаевна принесла чистый фуляровый платокъ и, пользуясь этимъ случаемъ, они съ мужемъ снова начали прощаться и крестить другъ друга тѣмъ же удивительнымъ для непривычнаго человѣка способомъ, и затѣмъ опять разстались. Дверь теперь оставалась отворенною: объяснилось, зачѣмъ старикъ непремѣнно хотѣлъ ее припереть. Отцу протопопу не спалось, и онъ чувствовалъ, что ему не удастся уснуть: прошелъ часъ, а онъ еще все ходилъ по комнатѣ въ своемъ бѣломъ пикейномъ шлафорѣ и пунцовомъ фуляровѣ подъ шеей. Въ старикѣ какъ бы совершалась нѣкая борьба. При всемъ внѣшнемъ достоинствѣ его манеръ и движеній, онъ ходилъ шагами неровными, то нѣсколько учащая ихъ, какъ бы хотѣлъ куда-то броситься, то замедляя ихъ и, наконецъ, вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хожденіе продолжалось еще съ добрый часъ, прежде чѣмъ отецъ Савелій подошелъ къ небольшому красному шкафику, утвержденному на высокомъ комодѣ съ вытянутою доской. Изъ этого шкафа онъ досталъ Евгеніевскій *Календарь*, переплетенный въ толстый синій демикатонъ, съ желтымъ юхтовымъ корешкомъ, положилъ эту книгу на стоявшемъ у его постели овальномъ столѣ, зажегъ предъ собою двѣ экономическія свѣчи и остановился: ему показалось, что жена его еще ворочается и не спитъ. Это такъ и было.

— Будешь читать, вѣрно?—спросила его въ эту минуту изъ-за стѣны своимъ тихимъ, заботливымъ голоскомъ Наталья Николаевна.

— Да, я, другъ Наташа, немножко почитаю,—отвѣчалъ отецъ Туберозовъ:—а ты, одолжи меня, усни пожалуй.

— Усну, мой другъ, усну,—отвѣчала протопопица.

— Да, прошу тебя, пожалуй усни,—и съ этими словами отецъ протопопъ, осѣдлавъ свой гордый римскій носъ большими серебряными очками, началъ медленно перелистывать свою синюю книгу. Онъ не читалъ, а только перелистывалъ эту книгу, и притомъ останавливался не на томъ, что въ ней было напечатано, а лишь просматривалъ его собствен-

ною рукой исписанныя прокладныя страницы. Всѣ эти записки были сдѣланы разновременно и воскрешали предъ старымъ протопопомъ цѣлый міръ воспоминаній, къ которымъ онъ любилъ по временамъ обращаться.

Очутясь между протопопомъ Савеліемъ и его прошлымъ, станемъ тихо и почтительно слушать тихій шопотъ его старческихъ устъ, раздающійся въ глухой тиши полуночи.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Демикатоновая книга протопопа Туберозова.

Туберозовъ просматривалъ свой календарь съ самой первой прокладной страницы, на которой было написано: «По рукоположеніи меня *4-го февраля 1831 года* преосвященнымъ Гавріиломъ въ іерея, получилъ я отъ него сію книгу въ подарокъ за мое доброе прохожденіе семинарскихъ наукъ и за поведеніе». За первою надписью, совершенною въ первый день іерейства Туберозова, была вторая: «Проповѣдывалъ впервые въ соборѣ послѣ архіерейскаго служенія. Темой проповѣди избралъ текстъ притчи о сыновьяхъ вертоградаря. Одинъ сказалъ: не пойду и пошелъ, а другой отвѣчалъ: пойду, и не пошелъ. Свелъ сіе ко благимъ дѣйствіямъ и благимъ намѣреніямъ, позволяя себѣ нѣкоторые намеки на служащихъ, присягающихъ и о присягѣ своей небрегущихъ, давая симъ тонкіе намеки чиноначаліямъ и властямъ. Говорилъ плавно и менѣе пышно, чѣмъ естественно. Владыка одобрили сію мою пробу пера. Однакоже, впослѣдствіи его преосвященство призывалъ меня къ себѣ и, одобряя мое слово вообще, въ частности же указалъ, дабы въ проповѣдяхъ прямого отношенія къ жизни дѣлать опасался, особливо же насчетъ чиновниковъ, ибо отъ нихъ-де чѣмъ дальше, тѣмъ и освященнѣе. Но за прошлое сказаніе не укорялъ и даже какъ бы одобрилъ».

«*1832 года, декабря 18-го*, былъ призванъ высокопреосвященнымъ и получилъ назначеніе въ Старъ-Городъ, гдѣ нарочито силенъ расколъ. Указано противодѣйствовать оному всячески».

«*1833 года, въ восмой день февраля*, выѣхалъ съ попадьей изъ села Благодухова въ Старъ-Городъ и прибылъ сюда 12-го числа о заутренѣ. На дорогѣ чуть насъ не съѣла волчья свадьба Въ церкви засталъ нестроеніе. Рас-

колъ силенъ. Осмотрѣвшись, нахожу, что противодѣйствіе расколу по консисторской инструкціи дѣло не важное, и о семъ писалъ въ консисторію и получилъ за то выговоръ».

Протоіерей пропустилъ нѣсколько замѣтокъ и остановился опять на слѣдующей: «Получивъ замѣчаніе о бездѣятельности, усматриваемой въ недоставленіи мною обильныхъ доносовъ, оправдывался, что въ расколѣ дѣлается только то, что уже давно всѣмъ извѣстно, про что и писать нечего, и при семъ добавилъ въ семъ рапортѣ, что наиглавнѣе всего, что церковное духовенство находится въ крайней бѣдности, и того для, по человѣческой слабости, не противодѣйственно подкупамъ и даже само не мало потворствуетъ расколу, какъ и другіе прочіе оберегатели православія, пріемля даянія раскольниковъ. Заключилъ, что не съ иного чего надо бы начать, къ исправленію скорбей церкви, какъ съ изъятія самого духовенства изъ-подъ тяжкой зависимости. Образцомъ сему показалъ раскольничьи сравненія синода съ патріаршествомъ и симъ надѣялся и дѣятельность свою оправдать, и очередной отъ себя доносъ отбыть, но за опытъ сей вторично получилъ выговоръ и замѣчаніе, и вызванъ къ личному объясненію, при коемъ былъ названъ «непочтительнымъ Хамомъ, открывающимъ наготу отца». Сіе, надлежитъ подразумѣвать, удостоенъ былъ получить за то, что созналъ какъ бѣдное, полуголодное духовенство само за неволю нерѣдко расколу потворствуетъ, и наипаче за то, что про синодъ упомянулъ... Простите, пожалуйте, кто обиженъ! Въ забвеніе вами мнѣ сея великія вины вспомяну вамъ слова свѣтскаго, но свѣтлаго писателя господина Татищева: «а голодный, хотя бы и патріархъ былъ, кусокъ хлѣба возьметъ, особливо предложенный». Вотъ и патріарху на орѣхи!»

Ниже, черезъ нѣсколько записей, значилось: «былъ по дѣламъ въ губерніи и, представлялся владыкѣ, лично ему докладывалъ о бѣдности причтовъ. Владыка очень о семъ соболѣзновали; но замѣтили, что и самъ Господь нашъ не имѣлъ, гдѣ главы восклонить, а къ сему учить не уставалъ. Совѣтовалъ мнѣ, дабы рекомендовать духовнымъ читать книгу «О подражаніи Христу». На сіе ничего его преосвященству не возражалъ, да и вотще было бы возражать, потому какъ и книги той духовному нищенству нашему достать негдѣ».

«Политично за вечернимъ столомъ у отца соборнаго ключаря еще разъ заводилъ рѣчь о семъ же предметѣ съ отцомъ благочиннымъ и съ секретаремъ консисторіи; однако сіи рѣчи мои обращены въ шутку. Секретарь съ усмѣшкой сказалъ, что «бѣдному удобнѣе въ царствіе Божіе внити», что мы и безъ его благородія знали, а отецъ ключарь при семъ разсказали небезъинтересный анекдотъ объ одномъ академическомъ студентѣ, который впослѣдствіи былъ знаменитымъ святителемъ и проповѣдникомъ. Сей будто бы еще въ мірскомъ званіи, на вопросъ владыки, имѣетъ ли онъ какое состояніе, отвѣтствовалъ:

«— Имѣю, ваше преосвященство.

«— А движимое или недвижимое?—вопросилъ сей, на что оный отвѣтствовалъ:

«— И движимое, и недвижимое.

«— Что же такое у тебя есть движимое?—вновь вопросилъ его владыка, видя замѣтную мизерность его костюма.

«— А движимое у меня домъ въ селѣ,—отвѣтствовалъ вопрошаемый.

«— Какъ такъ, домъ—движимое? Разсуди, сколь глупъ отвѣтъ твой.

«А тотъ, нимало симъ не смущаясь, провѣщалъ, что отвѣтъ его правиленъ, ибо домъ его такого свойства, что коль скоро на него вѣтеръ подуетъ, то онъ весь и движется.

«Владыкѣ отвѣтъ сей показался столь своеобразнымъ, что онъ этого студіозуса за дурня уже не хотѣлъ почитать, а напротивъ, интересуяся имъ, еще вопросилъ:

«— Что же ты своею недвижимостью наращаешь?

«— А недвижимость моя,—отвѣчалъ студентъ:—матушка моя, дьячиха, да наша коровка бурая, кои обѣ ногъ не двигали, когда отбывалъ изъ дому, одна отъ старости, другая же отъ безкормицы.

«Не мало сему всѣ мы смѣялись, хотя я, впрочемъ, находилъ въ семъ болѣе печальнаго и трагическаго, нежели комедійной веселости, способной тѣшить. Начинаю замѣчать во всѣхъ значительную смѣшливость и легкомысліе, въ коихъ добраго не предусматриваю.

«Житіе мое провожу въ спѣ и въ яденіи. Расколу не могу оказывать противодѣйствій ни малымъ чѣмъ, ибо всѣми связанъ, и причтомъ своимъ полуголоднымъ, и исправни-

комъ дуже сытымъ. Негодую, зачѣмъ я какъ бы въ посмѣшище съ миссіонерскою цѣлію посланъ: проповѣдывать — да некому; учить—да не слушаютъ? Проповѣдуетъ исправникъ меня гораздо лучше, ибо у него къ сему есть такая миссіонерская снасть о нѣсколькихъ концахъ, а отъ меня доносовъ требуютъ. Владыко мой! къ чему сіи доносы? Что въ нихъ завертывать? А мнѣ, по моему разсужденію, и санъ мой не позволяетъ писать ихъ. Я лучше чистой бумаги пожертвую...

«Представлялъ рапортомъ о дозволеніи имѣть на Пасхѣ словопреніе съ раскольниками, въ чемъ и отказано. Вдобавокъ къ форменной бумагѣ, секретарь смѣючись отписалъ приватно, что если скука одолѣваетъ, то чтобы къ нимъ проѣхался. Нѣтъ ужъ, покорнѣйше спасибо, а не прогнѣвайтесь на здоровье. И безъ того мой хитонъ обличаетъ мя, яко нѣсть браченъ, да и жена въ одной исподницѣ гуляетъ. Слѣдовало бы какъ ни на есть поизряднѣе примундириться, потому что люди у насъ руки цѣлуютъ, а примундироваться еще пока ровно не на что; но всего что противнѣе, это сей презрѣнный, наглый и безстыжій тонъ консисторскій, съ которымъ говорится: «а не хочешь ли, попъ, въ консисторію съѣздить подоиться?» Нѣтъ, друже, не хочу, не хочу; поищите себѣ кормилицу подебелѣе».

«*13-го октября 1835 года.* Читалъ книгу объ обличеніи раскола. Все въ ней есть, да одного нѣтъ, что раскольники блюдутъ свое заблужденіе, а мы своимъ правымъ путемъ небрежемъ; а сіе, мню, яко важнѣйшее».

«Сегодня утромъ, 18-го марта сего 1836 года, попадья Наталья Николаевна намекнула мнѣ, что она чувствуетъ себя не порожнею. Подай Господи намъ сію радость! Ожидать въ началѣ ноября».

«*9-го мая*, на день св. Николая Угодника, происходило разрушеніе Дѣевской старовѣрческой часовни. Зрѣлище было страшное, непристойное и поистинѣ возмутительное; а къ сему же еще, какъ на зло, желѣзный крестъ съ купольнаго фонаря сорвался и повисъ на цѣпяхъ, а будучи остервенённо понуждаемъ баграми разорителей къ паденію, упалъ внезапно и проломилъ пожарному солдату изъ жидовъ голову, отчего тотъ здѣсь же и померъ. Охъ, какъ мнѣ было тяжко все это видѣть: Господи! да право, хотя бы жидовъ-то не посылали, что ли, кресты рвать! Вечеромъ надъ разо-

ренною молельной собирался народъ, и ихъ, и нашъ церковный, и всѣ вмѣстѣ много и горестно плакали, и, наконецъ того, начали даже искать объятій и уніи».

«*10-го мая.* Были большія со стороны начальства ошибки. Предъ полунощью прошелъ слухъ, что народъ вынесъ на камень лампаду и началъ молиться надъ разбитою молельной. Всѣ мы собрались и видимъ, точно идетъ моленіе, и лампада горитъ въ рукахъ у старца и не потухаетъ. Городничій велѣлъ тихо подвести пожарныя трубы и изъ нихъ народъ окачивать. Было сіе весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народъ зажегъ свѣчи и пошелъ по домамъ, воспѣвая «мучителя Фараона» и крича: «Господь побораетъ вѣрѣ мучимой; и вѣтеръ свѣщей не гаситъ»; другіе кивали на меня и вопили: «подай намъ нашу Пречистую покровенную Богородицу и поклоняйся своей простоволосой въ нѣмецкомъ платьѣ». Я только указалъ городничему, сколь неосторожно было сіе его распоряженіе о разореніи и срываніи крестовъ и отобраніи иконы, но ему что? Ему лишь бы у нѣмца выслужиться».

«*12-го мая.* Франтовство одолѣло: взялъ въ долгъ у предводительской экономки два шелковыя платья предводительшины и послалъ ихъ въ городъ окрасить въ масока цвѣтъ, какъ у губернскаго протодіакона, и сошью себѣ ряску шелковую. Невозможно безъ этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхожъ въ дворянскіе дома, а унижать себя не намѣренъ».

«*17-го мая.* Попадья Наталья Николаевна намекнула, что она въ разсужденіи своего положенія ошиблась».

«*20-го іюня.* По донесенію городничаго, за нехожденіе со крестомъ о Пасхѣ въ дома раскольниковъ, былъ снова вызванъ въ губернію. Изложилъ сіе дѣло владыкѣ обстоятельно, что не ходилъ я къ старовѣрамъ не по нерадѣнію, ибо то даже было въ карманный себѣ ущербъ; но я сдѣлалъ сіе для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего съ причтомъ посѣщенія лишаются. Владыко задумались и потомъ объясненіе мое приняли; но не мимо идетъ рѣчь, что царь жалуетъ, да его псарь не жалуетъ. Такъ какъ дѣло сіе о моей манкировкѣ нѣкоторою своей стороной касалось и гражданской власти, то, дабы положить конецъ сей пустой претензіи и объ-онъ-полъ, владыка послали меня объяснить сіе важное дѣло губернатору. Но и было же

объясненіе!.. Оле мнѣ грѣшному, что я только тамъ вытерпѣлъ! Оле и вамъ, ближніе мои, братія мои, искренніи и други, за срамоту мою и униженіе, которыя я перенесъ отъ сего куцаго нечестивца! Губернаторъ, яко нѣмецъ, соблюдая амбицію своего Лютера, русскаго попа къ себѣ не допустилъ, отрядилъ меня для собесѣдованія о семъ къ правителю. Сей же правитель, полякъ, не по владычнему дѣло сіе разсмотрѣть изволилъ, а напустился на меня съ крикомъ и рыканіемъ, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь волѣ моего государя. Оле же тебѣ, ляше прокаженный, и ты съ твоею прожженною совѣстію меня сопротивленіемъ царю моему упрекаешь! Однако, я сіе снесъ и ушелъ молча, памятуя хохлацкую пословицу: «скачи, враже, яко панъ каже». И вышло такъ, что все описанное случилось какъ бы для обновленія моей шелковой рясы, которая, при семъ скажу, сдѣлана весьма исправно и едва только при солнцѣ чуть отмѣняетъ, что изъ разныхъ матерій».

«*23-го марта.* Сегодня, въ субботу Страстную, приходили причетники и дьяконъ. Прохоръ проситъ, дабы неотмѣнно идти со крестомъ на Пасхѣ и по домамъ раскольниковъ, ибо несоблюденіе сего имъ въ ущербъ. Отдалъ имъ изъ своихъ денегъ сорокъ рублей, но не пошелъ на сей срамъ, дабы принимать деньги у мужичьихъ воротъ какъ подаяніе. Вотъ теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, могъ бы и безъ нея обойтись, и было бы что причту раздать пообильнѣе. Но думалось: «нельзя же комиссару и безъ штановъ».

«*24-го апрѣля 1837 года.* Былъ осрамленъ до слезъ и до рыданій. Опять былъ на меня доносъ, и опять предстоялъ предъ онымъ губернаторскимъ правителемъ за неисхожденіе со крестомъ во дворы раскольниковъ. Доносъ сдѣланъ самимъ моимъ причтомъ. Какъ перенести сію низость и неблагодарность! Мыслитель и администраторъ! сложи въ просвѣщенномъ умѣ своемъ, изъ чего жизнь попа русскаго сочетавается. Возвращаясь домой, цѣлую дорогу сѣтовалъ на себя, что не пошелъ въ академію. Оттоль поступилъ бы въ монашество, какъ другіе; былъ бы съ лѣтами архимандритомъ, архіереемъ; ѣздилъ бы въ каретѣ, самъ бы командовалъ, а не мною бы помыкали. Суетой сею злобно себя тѣшилъ, упорно воображая себя архіереемъ, но, пріі-

ною рукой исписанныя прокладныя страницы. Всѣ эти записки были сдѣланы разновременно и воскрешали предъ старымъ протопопомъ цѣлый міръ воспоминаній, къ которымъ онъ любилъ по временамъ обращаться.

Очутясь между протопопомъ Савеліемъ и его прошлымъ, станемъ тихо и почтительно слушать тихій шопотъ его старческихъ устъ, раздающійся въ глухой тиши полуночи.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Демикатоновая книга протопопа Туберозова.

Туберозовъ просматривалъ свой календарь съ самой первой прокладной страницы, на которой было написано: «По рукоположеніи меня *4-го февраля 1831 года* преосвященнымъ Гавріиломъ въ іерея, получилъ я отъ него сію книгу въ подарокъ за мое доброе прохожденіе семинарскихъ наукъ и за поведеніе». За первою надписью, совершенною въ первый день іерейства Туберозова, была вторая: «Проповѣдывалъ впервые въ соборѣ послѣ архіерейскаго служенія. Темой проповѣди избралъ текстъ притчи о сыновьяхъ вертоградаря. Одинъ сказалъ: не пойду и пошелъ, а другой отвѣчалъ: пойду, и не пошелъ. Свелъ сіе ко благимъ дѣйствіямъ и благимъ намѣреніямъ, позволяя себѣ нѣкоторые намеки на служащихъ, присягающихъ и о присягѣ своей небрегущихъ, давая симъ тонкіе намеки чиноначаліямъ и властямъ. Говорилъ плавно и менѣе пышно, чѣмъ естественно. Владыка одобрили сію мою пробу пера. Однакоже, впослѣдствіи его преосвященство призывалъ меня къ себѣ и, одобряя мое слово вообще, въ частности же указалъ, дабы въ проповѣдяхъ прямого отношенія къ жизни дѣлать опасался, особливо же насчетъ чиновниковъ, ибо отъ нихъ-де чѣмъ дальше, тѣмъ и освященнѣе. Но за прошлое сказаніе не укорялъ и даже какъ бы одобрилъ».

«*1832 года, декабря 18-го*, былъ призванъ высокопреосвященнымъ и получилъ назначеніе въ Старъ-Городъ, гдѣ нарочито силенъ расколъ. Указано противодѣйствовать оному всячески».

«*1833 года, въ восьмой день февраля*, выѣхалъ съ попадьей изъ села Благодухова въ Старъ-Городъ и прибылъ сюда 12-го числа о заутренѣ. На дорогѣ чуть насъ не съѣла волчья свадьба Въ церкви засталъ нестроеніе. Рас-

коль силенъ. Осмотрѣвшись, нахожу, что противодѣйствіе расколу по консисторской инструкціи дѣло не важное, и о семъ писалъ въ консисторію и получилъ за то выговоръ».

Протоіерей пропустилъ нѣсколько замѣтокъ и остановился опять на слѣдующей: «Получивъ замѣчаніе о бездѣятельности, усматриваемой въ недоставленіи мною обильныхъ доносовъ, оправдывался, что въ расколѣ дѣлается только то, что уже давно всѣмъ извѣстно, про что и писать нечего, и при семъ добавилъ въ семъ рапортѣ, что наиглавнѣе всего, что церковное духовенство находится въ крайней бѣдности, и того для, по человѣческой слабости, не противодѣйственно подкупамъ и даже само не мало потворствуетъ расколу, какъ и другіе прочіе оберегатели православія, пріемля даянія раскольниковъ. Заключилъ, что не съ иного чего надо бы начать, къ исправленію скорбей церкви, какъ съ изъятія самого духовенства изъ-подъ тяжкой зависимости. Образцомъ сему показалъ раскольничьи сравненія синода съ патріархомъ и симъ надѣялся и дѣятельность свою оправдать, и очередной отъ себя доносъ отбыть, но за опытъ сей вторично получилъ выговоръ и замѣчаніе, и вызванъ къ личному объясненію, при коемъ былъ названъ «непочтительнымъ Хамомъ, открывающимъ наготу отца». Сіе, надлежитъ подразумѣвать, удостоенъ былъ получить за то, что созналъ какъ бѣдное, полуголодное духовенство само за неволю нерѣдко расколу потворствуетъ, и наипаче за то, что про синодъ упомянулъ... Простите, пожалуйте, кто обиженъ! Въ забвеніе вами мнѣ сея великія вины вспомяну вамъ слова свѣтскаго, но свѣтлаго писателя господина Татищева: «а голодный, хотя бы и патріархъ былъ, кусокъ хлѣба возьметъ, особливо предложенный». Вотъ и патріарху на орѣхи!»

Ниже, черезъ нѣсколько записей, значилось: «былъ по дѣламъ въ губерніи и, представлялся владыкѣ, лично ему докладывалъ о бѣдности причтовъ. Владыка очень о семъ соболѣзновали; но замѣтили, что и самъ Господь нашъ не имѣлъ, гдѣ главы восклонить, а къ сему учить не уставалъ. Совѣтовалъ мнѣ, дабы рекомендовать духовнымъ читать книгу «О подражаніи Христу». На сіе ничего его преосвященству не возражалъ, да и вотще было бы возражать, потому какъ и книги той духовному нищенству нашему достать негдѣ».

«Политично за вечернимъ столомъ у отца соборнаго ключаря еще разъ заводилъ рѣчь о семъ же предметѣ съ отцомъ благочиннымъ и съ секретаремъ консисторіи; однако сіи рѣчи мои обращены въ шутку. Секретарь съ усмѣшкой сказалъ, что «бѣдному удобнѣе въ царствіе Божіе внити», что мы и безъ его благородія знали, а отецъ ключарь при семъ разсказали небезъинтересный анекдотъ объ одномъ академическомъ студентѣ, который впослѣдствіи былъ знаменитымъ святителемъ и проповѣдникомъ. Сей будто бы еще въ мірскомъ званіи, на вопросъ владыки, имѣетъ ли онъ какое состояніе, отвѣтствовалъ:

«— Имѣю, ваше преосвященство.

«— А движимое или недвижимое?—вопросилъ сей, на что оный отвѣтствовалъ:

«— И движимое, и недвижимое.

«— Что же такое у тебя есть движимое?—вновь вопросилъ его владыка, видя замѣтную мизерность его костюма.

«— А движимое у меня домъ въ селѣ,—отвѣтствовалъ вопрошаемый.

«— Какъ такъ, домъ—движимое? Разсуди, сколь глупъ отвѣтъ твой.

«А тотъ, нимало симъ не смущаясь, провѣщалъ, что отвѣтъ его правиленъ, ибо домъ его такого свойства, что коль скоро на него вѣтеръ подуетъ, то онъ весь и движется.

«Владыкѣ отвѣтъ сей показался столь своеобразнымъ, что онъ этого студіозуса за дурня уже не хотѣлъ почитать, а напротивъ, интересуяся имъ, еще вопросилъ:

«— Что же ты своею недвижимостью нарицаешь?

«— А недвижимость моя,—отвѣчалъ студентъ:—матушка моя, дьячиха, да наша коровка бурая, кои обѣ ногъ не двигали, когда отбывалъ изъ дому, одна отъ старости, другая же отъ безкормицы.

«Не мало сему всѣ мы смѣялись, хотя я, впрочемъ, находилъ въ семъ болѣе печальнаго и трагическаго, нежели комедійной веселости, способной тѣшить. Начинаю замѣчать во всѣхъ значительную смѣшливость и легкомысліе, въ коихъ добраго не предусматриваю.

«Житіе мое провожу въ снѣ и въ яденіи. Расколу не могу оказывать противодѣйствій ни малымъ чѣмъ, ибо всѣми связанъ, и причтомъ своимъ полуголоднымъ, и исправни-

комъ дуже сытымъ. Негодую, зачѣмъ я какъ бы въ посмѣшище съ миссіонерскою цѣлію посланъ: проповѣдывать — да некому; учить—да не слушаютъ? Проповѣдуетъ исправникъ меня гораздо лучше, ибо у него къ сему есть такая миссіонерская снасть о нѣсколькихъ концахъ, а отъ меня доносовъ требуютъ. Владыко мой! къ чему сіи доносы? Что въ нихъ завертывать? А мнѣ, по моему разсужденію, и санъ мой не позволяетъ писать ихъ. Я лучше чистой бумаги пожертвую...

«Представлялъ рапортомъ о дозволеніи имѣть на Пасхѣ словопреніе съ раскольниками, въ чемъ и отказано. Вдобавокъ къ форменной бумагѣ, секретарь смѣючись отписалъ приватно, что если скука одолѣваетъ, то чтобы къ нимъ проѣхался. Нѣтъ ужъ, покорнѣйше спасибо, а не прогнѣвайтесь на здоровье. И безъ того мой хитонъ обличаетъ мя, яко нѣсть браченъ, да и жена въ одной исподницѣ гуляетъ. Слѣдовало бы какъ ни на есть поизряднѣе примундириться, потому что люди у насъ руки цѣлуютъ, а примундироваться еще нюка ровно не на что; но всего что противнѣе, это сей презрѣнный, наглый и безстыжій тонъ консисторскій, съ которымъ говорится: «а не хочешь ли, попъ, въ консисторію съѣздить подоиться?» Нѣтъ, друже, не хочу, не хочу; поищите себѣ кормилицу подебелѣе».

«*13-го октября 1835 года.* Читалъ книгу объ обличеніи раскола. Все въ ней есть, да одного нѣтъ, что раскольники блюдутъ свое заблужденіе, а мы своимъ правымъ путемъ небрежемъ; а сіе, мню, яко важнѣйшее».

«Сегодня утромъ, 18-го марта сего 1836 года, попадья Наталья Николаевна намекнула мнѣ, что она чувствуетъ себя не порожнею. Подай Господи намъ сію радость! Ожидать въ началѣ ноября».

«*9-го мая*, на день св. Николая Угодника, происходило разрушеніе Дѣевской старовѣрческой часовни. Зрѣлище было страшное, непристойное и поистинѣ возмутительное; а къ сему же еще, какъ на зло, желѣзный крестъ съ купольнаго фонаря сорвался и повисъ на цѣпяхъ, а будучи остервенённо понуждаемъ баграми разорителей къ паденію, упалъ внезапно и проломилъ пожарному солдату изъ жидовъ голову, отчего тотъ здѣсь же и померъ. Охъ, какъ мнѣ было тяжко все это видѣть: Господи! да право, хотя бы жидовъ-то не посылали, что ли, кресты рвать! Вечеромъ надъ разо-

ренною молельной собирался народъ, и ихъ, и нашъ церковный, и всѣ вмѣстѣ много и горестно плакали, и, наконецъ того, начали даже искать объятій и уніи».

«*10-го мая.* Были большія со стороны начальства ошибки. Предъ полунощью прошелъ слухъ, что народъ вынесъ на камень лампаду и началъ молиться надъ разбитою молельной. Всѣ мы собрались и видимъ, точно идетъ моленіе, и лампада горитъ въ рукахъ у старца и не потухаетъ. Городничій велѣлъ тихо подвести пожарныя трубы и изъ нихъ народъ окачивать. Было сіе весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народъ зажегъ свѣчи и пошелъ по домамъ, воспѣвая «мучителя Фараона» и крича: «Господь побораетъ вѣрѣ мучимой; и вѣтеръ свѣщей не гаситъ»; другіе кивали на меня и вопили: «подай намъ нашу Пречистую покровенную Богородицу и поклоняйся своей простоволосой въ нѣмецкомъ платьѣ». Я только указалъ городничему, сколь неосторожно было сіе его распоряженіе о разореніи и срываніи крестовъ и отобраніи иконы, но ему что? Ему лишь бы у нѣмца выслужиться».

«*12-го мая.* Франтовство одолѣло: взялъ въ долгъ у предводительской экономки два шелковыя платья предводительшины и послалъ ихъ въ городъ окрасить въ масока цвѣтъ, какъ у губернскаго протодіакона, и сошью себѣ ряску шелковую. Невозможно безъ этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхожъ въ дворянскіе дома, а унижать себя не намѣренъ».

«*17-го мая.* Попадья Наталья Николаевна намекнула, что она въ разсужденіи своего положенія ошиблась».

«*20-го іюня.* По донесенію городничаго, за нехожденіе со крестомъ о Пасхѣ въ дома раскольниковъ, былъ снова вызванъ въ губернію. Изложилъ сіе дѣло владыкѣ обстоятельно, что не ходилъ я къ старовѣрамъ не по нерадѣнію, ибо то даже было въ карманный себѣ ущербъ; но я сдѣлалъ сіе для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего съ причтомъ посѣщенія лишаются. Владыко задумались и потомъ объясненіе мое приняли; но не мимо идетъ рѣчь, что царь жалуетъ, да его псарь не жалуетъ. Такъ какъ дѣло сіе о моей манкировкѣ нѣкоторою своей стороной касалось и гражданской власти, то, дабы положить конецъ сей пустой претензіи и объ-онъ-полъ, владыка послали меня объяснить сіе важное дѣло губернатору. Но и было же

объясненіе!.. Оле мнѣ грѣшному, что я только тамъ вытерпѣлъ! Оле и вамъ, ближніе мои, братія мои, искренніи и други, за срамоту мою и униженіе, которыя я перенесъ отъ сего куцаго нечестивца! Губернаторъ, яко нѣмецъ, соблюдая амбицію своего Лютера, русскаго попа къ себѣ не допустилъ, отрядилъ меня для собесѣдованія о семъ къ правителю. Сей же правитель, полякъ, не по владычнему дѣло сіе разсмотрѣть изволилъ, а напустился на меня съ крикомъ и рыканіемъ, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь волѣ моего государя. Оле же тебѣ, ляше прокаженный, и ты съ твоею прожженною совѣстію меня сопротивленіемъ царю моему упрекаешь! Однако, я сіе снесъ и ушелъ молча, памятуя хохлацкую пословицу: «скачи, враже, яко панъ каже». И вышло такъ, что все описанное случилось какъ бы для обновленія моей шелковой рясы, которая, при семъ скажу, сдѣлана весьма исправно и едва только при солнцѣ чуть отмѣняетъ, что изъ разныхъ матерій».

«*23-го марта.* Сегодня, въ субботу Страстную, приходили причетники и дьяконъ. Прохоръ проситъ, дабы неотмѣнно идти со крестомъ на Пасхѣ и по домамъ раскольниковъ, ибо несоблюденіе сего имъ въ ущербъ. Отдалъ имъ изъ своихъ денегъ сорокъ рублей, но не пошелъ на сей срамъ, дабы принимать деньги у мужичьихъ воротъ какъ подаяніе. Вотъ теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, могъ бы и безъ нея обойтись, и было бы что причту раздать пообильнѣе. Но думалось: «нельзя же комиссару и безъ штановъ».

«*24-го апрѣля 1837 года.* Былъ осрамленъ до слезъ и до рыданій. Опять былъ на меня доносъ, и опять предстоялъ предъ онымъ губернаторскимъ правителемъ за невхожденіе со крестомъ во дворы раскольниковъ. Доносъ сдѣланъ самимъ моимъ причтомъ. Какъ перенести сію низость и неблагодарность! Мыслитель и администраторъ! сложи въ просвѣщенномъ умѣ своемъ, изъ чего жизнь попа русскаго сочетавается. Возвращаясь домой, цѣлую дорогу сѣтовалъ на себя, что не пошелъ въ академію. Оттоль поступилъ бы въ монашество, какъ другіе; былъ бы съ лѣтами архимандритомъ, архіереемъ; ѣздилъ бы въ каретѣ, самъ бы командовалъ, а не мною бы помыкали. Суетой сею злобно себя тѣшилъ, упорно воображая себя архіереемъ, но, пріі-

ѣхавъ домой, былъ нѣжно обласканъ попадьей, и возблагодарилъ Бога, тако устроившаго яко же есть».

«*25-го апрѣля.* Былъ я осрамленъ въ губерніи; но мало въ сравненіи предъ тѣмъ, сколь дома сегодня остыженъ, какъ школьникъ. Вчера только вписалъ я мои нотатки о моихъ скорбяхъ и недовольствахъ, а сегодня, вставъ рано, сѣлъ у окна и, размышляя о дѣлахъ своихъ и о прошедшемъ своемъ, и о будущемъ, глядѣлъ на раскрытую предъ окномъ моимъ бакшу полунищаго Пизонскаго. Прошлый годъ у него на грядахъ нѣкая дурочка Настя, обольщенная проходящимъ солдатомъ, родила младенца и сама, кинувшись въ воду, утонула. Пизонскій въ одинокой старости своей призрѣлъ сего младенца, и о семъ всѣ позабыли; позабылъ и я во главѣ прочихъ. Но утромъ днесь поглядаю свысока на землю сего Пизонскаго, да думаю о дѣлахъ своихъ, какъ вдругъ начинаю замѣчать, что эта, свѣжевзоранная черная, даже какъ бы синеватая земля, необыкновенно какъ красиво нѣжится подъ утреннимъ солнцемъ, и ходятъ по ней бороздами въ блестящемъ перѣ тощія черныя птицы и свѣжимъ червемъ подкрѣпляютъ свое голодное тѣло. Самъ же старый Пизонскій, весь съ лысой головы своей озаренный солнцемъ, стоялъ на лѣстницѣ у утвержденнаго на столбахъ разсадника и, имѣя въ одной рукѣ чашу съ сѣменами, другою погружалъ зерна, кладя ихъ щепотью крестообразно и глядя на небо, съ опущеніемъ каждаго зерна, взывалъ по одному слову: «Боже! устрой и умножь, и возрасти на всякую долю человѣка голоднаго и сираго, хотящаго, просящаго и производящаго, благословляющаго и неблагодарнаго», и едва онъ сіе кончилъ, какъ вдругъ всѣ ходившія по пашнѣ черныя глянцевитыя птицы вскричали, закудахтали куры и запѣлъ, громко захлопавъ крыльями, горластый пѣтухъ, а съ рогожи сдвинулся тотъ, принятый симъ чудакомъ, мальчикъ, сынъ дурочки Насти; онъ дѣтски отрадно засмѣялся, руками всплескалъ и, смѣясь, поползъ по мягкой землѣ. Было мнѣ все это точно видѣнье. Старый Пизонскій былъ счастливъ и громко запѣлъ: «Аллилуія!» Аллилуія, Боже мой! запѣлъ и я себѣ отъ восторга, и умиленно заплакалъ. Въ этихъ цѣлебныхъ слезахъ я облегчилъ мои досажденія и понялъ, сколь глупа была скорбь моя, и долго послѣ дивился, какъ дивно врачуетъ природа недуги души человѣческой! Умножь и возрасти, Боже, благая на

земли на всякую долю: на хотящаго, просящаго, на *произволящаго* и *неблагодарнаго*... Я никогда не встрѣчалъ такой молитвы въ печатной книгѣ. Боже мой, Боже мой! этотъ старикъ садилъ на долю вора и за него молился! Это, можетъ быть, гражданскою критикой не очищается, но это ужасно трогаетъ. О моя мягкосердечная Русь, какъ ты прекрасна!»

«*6-го августа*, день Преображенія Господня. Что это за прелестная такая моя попадья Наталья Николаевна! Опять: гдѣ, кромѣ святой Руси, подобныя жены быть могутъ? Я ей говорилъ какъ-то, сколь меня трогаетъ нѣжность бѣднѣйшаго Пизонскаго о дѣтяхъ, а она сейчасъ поняла или отгадала мысль мою и жажданіе: обняла меня и съ румянцемъ стыдливости, столь ей идущимъ, сказала: «Погоди, отецъ Савелій, можетъ Господь дастъ намъ». (Она разумѣла: дастъ дѣтей). Но я по обычаю, думая, что подобныя ея надежды всегда суетны и обманчивы, ни о какихъ подробностяхъ ея не спрашивалъ, и такъ оно и вышло, что не надо было безпокоиться. Но и изъ ложной сей тревоги вышла превосходная трогательность. Сегодня я говорилъ слово къ убѣжденію въ необходимости всегдашняго собя преображенія, дабы силу имѣть во всѣхъ борьбахъ коваться какъ металлъ нѣкій крѣпкій и ковкій, а не плющиться какъ низменная глина, изсыхая, сохраняющая отпечатокъ послѣдней ноги, которая на нее наступила. Говоря сіе, увлекся нѣкоею импровизаціей и указалъ народу на стоявшаго у дверей Пизонскаго. Хотя я по имени его и не назвалъ, но сказалъ о немъ, какъ о нѣкоемъ посреди насъ стоящемъ, который, придя къ намъ нагій и всѣми глупцами осмѣянный за свое убожество, не только самъ не погибъ, но и величайшее изъ дѣлъ человѣческихъ сдѣлалъ, спасая и воспитывая неоперенныхъ птенцовъ. Я сказалъ, сколь сіе сладко—согрѣвать беззащитное тѣло дѣтей и насаждать въ души ихъ сѣмена добра. Выговоривъ это, я самъ почувствовалъ мои рѣсницы омоченными и увидалъ, что и многіе изъ слушателей стали отирать глаза свои и искать очами по церкви нѣкоего, его же разумѣла душа моя, искать Котина нищаго, Котина, сирыхъ питателя. И видя, что его нѣту, ибо онъ, понявъ намекъ мой, смиренно вышелъ и ощутилъ какъ бы нѣкую священную острую боль и задыханіе, по тому случаю, что смутилъ его похвалой и

сказалъ:—«Нѣтъ сго, нѣтъ, братія, межъ нами! ибо ему не нужно это слабое слово мое, потому что слово любве давно огненнымъ перстомъ Божіимъ начертано въ смиренномъ его сердцѣ.—Прошу васъ,—сказалъ я съ поклономъ:—всѣ вы, здѣсь собравшіеся достопочтенные и именитые сограждане, простите мнѣ, что не стратига превознесеннаго воспомнилъ я вамъ въ нашей бесѣдѣ въ образъ силы и въ подражаніе, но единаго отъ малыхъ, и если что смутитъ васъ отъ сего, то отнесите сіе къ моей малости, зане грѣшный попъ вашъ Савелій, назирая сего малаго, не разъ чувствовалъ, что самъ онъ предъ нимъ не іерей Бога вышняго, а въ ризахъ сихъ покрывающихъ мое недостоинство—гробъ повапленный. Аминь».

«Не знаю, что заключалося умнаго и краснорѣчиваго въ простыхъ словахъ сихъ, сказанныхъ мною совершенно ex prompti, но могу сказать, что богомольцы мои нѣчто изъ сего вняли и на мою руку, когда я ее подавалъ при отпускѣ, пала не одна слеза. Но это не все: важнѣйшее для меня только наступало».

«Какъ бы въ нѣкую награду за искреннее слово мое объ отрадѣ пещись не токмо о своихъ, но и о чужихъ дѣтяхъ, Вездѣсущій и Всеисполняющій пріялъ и мое недостоинство подъ свою десницу. Онъ открылъ мнѣ днесь всю истинную цѣну сокровища, которымъ, по безмѣрнымъ щедротамъ Его, я владѣю, и велѣлъ мнѣ еще преобразиться въ наидовольнѣйшаго, судьбою своею, человѣка. Только что прихожу домой съ пяткомъ освященныхъ послѣ обѣдни яблокъ, какъ на порогѣ ожидаетъ меня встрѣча съ нѣкоторою довольно старою знакомкой: то сама попадья моя Наталья Николаевна, выкравшись тихо изъ церкви, во время отпуска, приготовила мнѣ, по обычаю, чай съ легкимъ фриштикомъ и стоитъ стопочкой на порогѣ, но стоитъ не съ пустыми руками, а съ букетомъ изъ рѣчной лилеи и садоваго левкоя. «Ну еще ли не коварная послѣ этого ты женщина, Наталья Николаевна!» сказалъ я, никогда прежде сего ее коварствомъ не укорявши. Но она столь умна, что нимало этимъ не обидѣлась: она поняла, что сіе шуткой сказано и, обнявъ меня, только тихо, но прегорько заплакала. Чего эти слезы?—сіе ея тайна, но для меня не таинственна сія твоя тайна, жена добрая, и не знающая, чѣмъ утѣшать мужа своего, а утѣхи Израилевой, Веніамина малаго, дать

ему лишенная. Да, токмо рѣчною лилеею и садовымъ левкоемъ встрѣтило меня въ этотъ день ея отверстое въ любви и благоволеніи сердце! Въ тихой грусти, двое бездѣтные, сѣли мы за чай, но былъ то нѣ чай, а слезы наши растворялись намъ въ питіе, и незамѣтно для себя мы оба заплакали, и оборучь пали мы ницъ предъ образомъ Спаса, и много, и жарко молились Ему объ утѣхѣ Израилевой. Наташа послѣ открылась, что она какъ бы слышала нѣкое обѣтованіе чрезъ ангела, и я хотя понималъ, что это плодъ ея доброй фантазіи, но оба мы стали радостны какъ дѣти. Замѣчу, однако, что и въ семъ настроеніи Наталья Николаевна значительно меня, грубаго мужчину, превосходила какъ въ ума сообразительности, такъ и въ достоинствѣ возвышенныхъ чувствъ.

«— Скажи мнѣ, отецъ Савелій,—приступила она ко мнѣ, добродушно ласкаючись:—скажи, дружокъ: не былъ ли ты когда-нибудь, прежде чѣмъ нашелъ меня, противъ цѣломудренной заповѣди грѣшенъ?

«Такой вопросъ, откровенно долженъ признаться, крайне смутилъ меня, ибо я вдругъ сталъ понимать, къ чему моя негодящая женка у меня такое ей несоотвѣтственное выпытываетъ.

«Но она со всею своею превосходною скромностью и со всею съ этою женскою кокетеріей, которую хотя и попадья, но отъ природы унаслѣдовала, вдругъ и взаправду коварно начала меня обольщать воспоминаніями минувшей моей юности, напоминая, что тому, о чемъ она намекнула, не трудно было статься, ибо былъ будто бы я столь собою пригожъ, что когда пріѣхалъ къ ея отцу въ городъ Фатежъ на ней свататься, то всѣ дѣвицы не только духовныя, но даже и свѣтскія по мнѣ вздыхали! Сколь сіе ни забавно, однако я старался разсѣять всякія сомнѣнія насчетъ своей юности, что мнѣ и не трудно, ибо безъ лжи въ семъ имѣю оправданіе. Но чѣмъ я тверже ее успокоивалъ, тѣмъ она болѣе пріунывала, и я не постигалъ, отчего оправданія мои ее нимало не радовали, а напротивъ, все болѣе какъ будто печалили, и наконецъ она сказала:

«— Нѣтъ ты, отецъ Савелій, вспомни, можетъ быть, когда ты былъ легкомысленъ... то нѣтъ ли гдѣ какого сиротки?

«Тутъ уже я, что она сказать хочетъ, уразумѣлъ и понялъ, къ чему она все это вела и чего она сказать сты-

дится; это она тщится отыскать мое незаконное дитя, котораго нѣтъ у меня! Какое благодушіе! Я, какъ ужаленный слѣпнемъ волъ, сорвался съ своего мѣста, бросился къ окну и вперилъ глаза мои въ небесную даль, чтобы даль одна видѣла меня, столь превзойденнаго моею женой въ добротѣ и попеченіи. Но и она, моя лилейная и левкойная подруга, моя роза бѣлая, непорочная, благоуханная и добрая, и она снялась вслѣдъ за мною; поступью легкою ко мнѣ сзади подкралась и, положивъ на плечи мнѣ свои малыя лапки, сказала:

«— Вспомни, голубь мой: можетъ быть гдѣ-нибудь есть тотъ голубенокъ, и, если есть, пойдемъ и возьмемъ его!

«Мало что она его хочетъ отыскивать, она его уже любитъ и жалѣетъ какъ неопереннаго голубенка! Этого я уже не снесъ и, закусивъ зубами бороду свою, палъ предъ ней на колѣни и, поклонясь ей до земли, зарыдалъ тѣмъ рыданіемъ, которому нѣтъ на свѣтѣ описанія. Да и вправду, повѣдайте мнѣ времена и народы, гдѣ, кромѣ святой Руси нашей, родятся такія женщины, какъ сія добродѣтель? Кто ее всему этому училъ? Кто ее воспитывалъ, кромѣ Тебя, Всеблагій Боже, Который далъ ее недостойному изъ слугъ Твоихъ, дабы онъ могъ ближе ощущать Твое величіе и благость».

Здѣсь въ дневникѣ отца Савелія почти цѣлая страница была залита чернилами и внизу этого чернильнаго пятна начертаны слѣдующія строки:

«Ни пятна сего не выведу, ни нѣкоей нескладицы и тождесловія, которыя въ послѣднихъ строкахъ замѣчаю, не исправлю: пусть все такъ и остается, ибо все, чѣмъ сія минута для меня обильна, мило мнѣ въ настоящемъ своемъ видѣ, и таковымъ должно сохраниться. Попадья моя не унялась сегодня проказничать, хотя теперь уже двѣнадцатый часъ ночи, и хотя она за обычай всегда въ это время спитъ, и хотя я это и люблю, чтобъ она къ полуночи всегда спала, ибо ей то здорово, а я люблю слегка освѣжать себя въ ночной тишинѣ какимъ удобно чтеніемъ, а иною порой пишу свои нотатки, и нерѣдко, написавъ нѣсколько, подхожу къ ней спящей и спящую ее цѣлую, и если чѣмъ огорченъ, то въ семъ отрадномъ поцѣлуѣ почерпаю снова бодрость и силу, и тогда засыпаю покойно. Днесь же я велъ себя до сей поры нѣсколько инако. По семъ днѣ,

повергавшемъ меня всѣми ощущеніями въ безпрерывное разнообразіе, я столь былъ увлеченъ описаніемъ того, что мною выше описано, что чувствовалъ плохую жёнку мою въ душѣ моей, и поелико душа моя лобзала ее, я не вздумалъ ни однажды подойти къ ней и поцѣловать ее. Но она, тонкая сія лукавица, замѣтивъ сіе мое упущеніе, поправила оное съ невѣроятною оригинальностью: часъ тому назадъ пришла она, положила мнѣ на столъ носовой платокъ чистый и, поцѣловавъ меня, какъ бы и путная, удалилась ко сну. Но что же, однако, за непостижимыя хитрости женскія за ней оказываются! Вдругъ, пресерьезнѣйше пишучи, вижу я, что мой платокъ какъ бы движется и внезапно падаетъ на полъ. Я нагнулся, положилъ его снова на столъ и снова занялся писаніемъ; но платокъ опять упалъ на полъ. Я его положилъ на колѣни мои, а онъ и оттоль падаетъ. Тогда я взялъ сего непокорнаго, да прикрѣпилъ его, подложивъ немного подъ чернильницу, а онъ, однако, и оттуда убѣжалъ и даже увлекъ съ собою и самую чернильницу, опрокинулъ ее и календарь мой симъ изрядным пятномъ изукрасилъ. Что же сіе полотняное бѣгство означаетъ? означаетъ оно то, что попадья моя выходитъ наипервѣйшая кокетка, да еще къ тому и рѣдкостная, потому что не съ добрыми людьми, а съ мужемъ кокетничаетъ. Я ужъ ее сегодня вечеромъ въ этомъ упрекнулъ, когда она, улыбаючись, предо мною сидѣла на окошечкѣ и сожалѣла, что она романсовъ пѣть не умѣетъ, а она какую теперь штуку измыслила и приправила! Взяла къ этому платку, что мнѣ положила, поднося его мнѣ, потаенно прикрѣпила весьма длинную нитку, протянула ее подъ дверь къ себѣ на постель и, лежачи на покоѣ, платокъ мой у меня изъ-подъ рукъ изволитъ, шаля, подергивать. И я, толстоносый, потому это только открылъ, что съ послѣднимъ паденіемъ платка ея тихій и радостный хохотъ раздался, и потомъ за дверью ея босыя ножонки затопотали. Напрокудила, да и плюхъ въ постель. Пошелъ, цѣловалъ ее безъ мѣры, но ушелъ опять, чтобы занотовать себѣ всю прелесть жены моей подъ свѣжими чувствами».

«*7-го августа.* Всю ночь прошедшую не спалъ отъ избытка моего счастія, и не солгу, если прибавлю, что также и Наташа не мало сему бодрствованію способствовала. Словно влюбленные подъ Петровъ день солнце караулятъ,

такъ и мы съ нею послѣ пятилѣтняго брака своего сегодняшняго солнца дождались, сидя подъ окномъ своимъ. Призналась голубка, что она и весьма часто этакъ не спитъ, когда я пишу, а только спящею притворяется, да и во многомъ другомъ призналась. Призналась, что вчера въ церкви, слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обѣтъ идти пѣшкомъ въ Кіевъ, если только почувствуетъ себя въ тягости. Я этого не одобрилъ, потому что такой переходъ беременной не совсѣмъ въ силу; но обѣтъ исполнить ей разрѣшилъ, потому что при такой радости, разумѣется, и самъ тогда съ нею пойду, и гдѣ она уставать станетъ, я понесу ее. Дѣлали сему опытъ: я долго носилъ ее на рукахъ моихъ по саду, мечтая, какъ бы она уже была беременная и я ее охраняю, дабы не случилось съ ней отъ ходьбы какого несчастія. Столь этою мыслью желанною увлекаюсь, что, увидѣвъ, какъ Наташа, шаля, сѣла на качели, кои кухаркина дѣвочка подъ яблонью подцѣпила, я даже снялъ тѣ качели, чтобы сего впередъ не случилось, и наверхъ яблони закинулъ съ величайшимъ опасеніемъ, чему Наташа очень много смѣялась. Однако, хотя жизнь моя и не изобилуетъ вещами, тщательной секретности требующими, но все-таки хорошо, что хозяинъ домика нашего обнесъ свой садикъ добрымъ заборцемъ, а Господь обрастилъ этотъ заборъ густою малиной, а то, пожалуй, иной сказалъ бы, что попа Савелія не грѣхъ подчасъ назвать и скоморохомъ».

«*9-го августа.* Заношу препотѣшное событіе, о чемъ моя жена съ дьяконовымъ сыномъ-риторомъ вела сегодня не только разговоръ, но даже и споръ. Это поистинѣ и казусъ, и комедія. Спорили о томъ: *Кто всѣхъ умнѣе?* Риторъ говоритъ, что всѣхъ умнѣе былъ Соломонъ, а моя попадья утверждаетъ, что я, и должно сознаться, что на сей разъ роскошный царь Сіона имѣлъ адвоката гораздо менѣе стойкаго, чѣмъ я. Охъ, сколь же я смѣялся! И скажите, сдѣлайте ваше одолженіе, что на свѣтѣ бываетъ! Я все это слышалъ изъ спальни, послѣ обѣда отдыхая, и проснувшись, уже не рѣшился прерывать ихъ диспута, а они одинъ другого поражали: оный риторъ, стоя за разумъ Соломона, подкрѣпляетъ свое мнѣніе словами Писанія, что «Соломонъ бѣ мудрѣйшій изъ всѣхъ на земли сущихъ», а моя благовѣрная поразила его особымъ манеромъ: «Нечего, нечего,

говоритъ, взмъ мнѣ ткать это ваше *бѣ*, да *рече*, да *пече*; это, ваше *бѣ*, говоритъ, ничего не значитъ, потому что оно еще тогда было писано, когда отецъ Савелій еще не родился». Тутъ въ сей дискурсъ вмѣшался еще слушавшій сей споръ ихъ никитскій священникъ, отецъ Захарія Бенефактовъ, и онъ завершилъ все сіе, подтвердивъ слова жены моей, что «это правда», то-есть «правда» въ разсужденіи того, что меня тогда не было. Итакъ вышли всѣ сіи три критика какъ есть правы. Не правъ остался одинъ я, къ которому всѣ ихъ критическія мнѣнія поступили на антикритику: впервые огорчилъ я мою Наташу, отвергнувъ ея мнѣніе насчетъ того, что я всѣхъ умнѣе, и на вопросъ ея, кто меня умнѣе? отвѣчалъ, что *она*. Наиотчайнѣйшій отпоръ въ семъ получилъ, какимъ только истина одна отвергаться можетъ: «Умные, говоритъ, обо всемъ разсуждаютъ, а я ни о чемъ судить не могу и никогда не разсуждаю. Отчего же это?» На сіе я ее тихо тронулъ за ея маленькій носъ и отвѣчалъ: «Это оттого ты не спѣшишь мѣшать разсужденіемъ, что у тебя вмѣсто строптиваго носа сія смиренная пуговица на этомъ мѣстѣ посажена». Но, однако, она и сіе поняла, что я хотѣлъ выразить этою шуткой, намекая на ея кротость, и попробовала и это въ себѣ опорочить, напомнивъ въ сей цѣли, какъ она однажды руками билась съ почтмейстершей, отнимая у нея служащую дѣвочку, которую та сурово наказывала».

«*10-го августа, утромъ*. Пришла мнѣ какая мысль сегодня въ постели! Рецептъ хочу нѣкій издать для всѣхъ несчастливыхъ паръ какъ всеобщаго званія, такъ и наипаче духовныхъ, поелику намъ домашнее счастіе наипаче необходимѣйшее. Говорятъ иносказательно, что наилучшее, чтобы женщина ходила съ водой противъ мужчины, ходящаго съ огнемъ, то-есть дабы, если онъ съ пылкостію, то она была бы съ кротостію, но все это по-моему еще не ясно и притомъ слишкомъ много толкованій допускаетъ; а я, глядя на себя съ Натальей Николаевной, рѣшаюсь вывесть, что и наивѣрнѣйшее средство ладить—сіе пусть считаютъ другъ друга умнѣе другъ друга и оба тогда будутъ одинъ другого умнѣй. «Другъ, другъ, друга!» Эко какъ безподобно выражаюсь! Но, впрочемъ, настоящему мечтателю такъ и подобаетъ говорить безъ толку».

«*15-го августа*. Успеніе Пресвятыя Богородицы. Однако,

въ то самое время, какъ я восторгался женой моей, я и не замѣтилъ, что тронувшее Наташу слово мое на Преображеньевъ день другихъ тронуло совершенно въ другую сторону, и я посѣялъ противъ себя вовсе нежеланное неудовольствіе въ нѣкоторыхъ лицахъ въ городѣ. Богомольцы мои, конечно не всѣ, а нѣкоторые, конечно, и впереди всѣхъ почтмейстерша Тимонова, обидѣлись, что я унизилъ ихъ намекомъ на Пизонскаго. Но все это вздоръ умовъ пустыхъ и вздорныхъ. Конечно, все это благополучно на самолюбіяхъ ихъ благородій, какъ раны на песьей шкурѣ, такъ и присохнетъ».

«*3-го сентября.* Я сдѣлалъ значительную ошибку: нѣтъ, совсѣмъ этой неосторожности не конецъ. Изъ консисторіи полученъ запросъ: дѣйствительно ли я говорилъ импровизаціей проповѣдь съ указаніемъ на живое лицо? Ахъ, сколь у насъ вездѣ всего живого боятся! Что жъ, я такъ и отвѣчалъ, что говорилъ именно вотъ какъ и вотъ что. Думаю, не повѣсятъ же меня за это и головы не снимутъ, а между тѣмъ противъ воли смутно, и спокойствіе улетѣло».

«*20-го октября.* Всеконечно, правда, что головы не снимутъ, но ротъ заткнуть могутъ, и сдѣлать сего не преминули. 15-го же сентября я былъ вызванъ для объясненія. Одна спѣшность сія сама по себѣ уже не много добраго предвѣщала, ибо на добро у насъ люди не торопливы, а власти тѣмъ паче, но, однако, я ѣхалъ храбро. Храбрость сія была охлаждена сначала тридцати-шести-дневнымъ сидѣніемъ на ухѣ безъ рыбы, въ ожиданіи объясненія, а потомъ приказаніемъ, все, что впередъ пожелаю сказать, присылать предварительно цензору Троадію. Но этого никогда не будетъ, и зато я буду нѣмъ яко рыба. Прости, Вседержитель, мою гордыню, но я не могу съ холодностію безстрастною совершать дѣло проповѣди. Я ощущаю порой нѣчто на меня сходящее, когда любимый даръ мой ищетъ дѣйствія; мною тогда овладѣваетъ нѣкое, позволяю себѣ сказать, священное безпокойство; душа трепещетъ и горитъ и слово падаетъ изъ устъ, какъ уголь горящій. Нѣтъ, тогда въ душѣ моей есть свой законъ цензуры!.. А они требуютъ, чтобъ я, вмѣсто живой рѣчи, направляемой отъ души къ душѣ, дѣлалъ риторическія упражненія, и сими отцу Троадію доставлялъ удовольствіе чувствовать, что въ церкви минули дни Могилы, Ростовскаго Димитрія, и другихъ свѣ-

тилъ свѣтлыхъ, а настали иные, когда не умнѣйшій слабѣйшаго въ разумѣ наставляетъ, а обратно, дабы снмъ уму и чувству человѣческому поругаться. Я сей дорогой не ходокъ.

«Нѣтъ, я противъ сего бунтливъ, и лучше сомкнитесь вы, мои нельстивыя уста, и смолкни ты, мое безхитростное слово, но я изъ-подъ неволи не проповѣдникъ».

«*23-го ноября.* Однако, не могу сказать, чтобы жизнь моя была уже совсѣмъ обижена разнообразіемъ. Напротивъ, все идетъ вперемежку, такъ что даже и интересъ ни на минуту не ослабѣваетъ: то оболгутъ добрые люди, то начальство потреплетъ, то Троадію скорбноглавому въ науку меня назначатъ, то увлекусь ласками попадьи моей, то замечтаюсь до самолюбія, а время въ семъ все идетъ да идетъ, и къ смерти все ближе да ближе. Еще не все! Еще не всѣ послѣдствія моей злополучной преображенской проповѣди совершились. У насъ, въ восьмнадцати верстахъ отъ города, на берегу нашей же рѣки Турицы, въ обширномъ селѣ Плодомасовѣ, живетъ владѣлица сего села, боярыня Марѳа Андревна Плодомасова. Сія кочерга столь стараго лѣса, что уже и признаковъ жизни ея издавна никакихъ не замѣчается, а извѣстно только по старымъ памятямъ, что она женщина весьма немалаго духа. Она и великой императрицѣ Екатеринѣ знаема была, и Александръ императоръ, поговоривъ съ нею, находилъ необременительною для себя эту ея бесѣду; а наиболѣе всего она извѣстна въ народѣ тѣмъ, какъ она въ молодыхъ лѣтахъ своихъ одна съ Пугачевымъ сражалась и нашла, какъ себя отъ этого мерзкаго звѣря защитить. Еще же о чемъ, ежели на ея счетъ вспоминаютъ, то это еще повтореніе о ней различныхъ оригинальныхъ анекдотовъ о ея свиданіяхъ съ посѣщавшими ее губернаторами, чиновниками, а также, въ двѣнадцатомъ году, съ плѣнными французами; но все это относится къ области ея минувшаго вѣка. Нынѣ же про нее забыли, и если когда рѣчь ея особы коснется, то думаютъ, что и она сама уже всѣхъ забыла. Лѣтъ двадцать уже никто изъ сторонніхъ людей не можетъ похвастаться, что онъ боярыню Плодомасову видѣлъ.

«Третьяго дня, часу въ двѣнадцатомъ пополудни, я былъ несказанно изумленъ, увидѣвъ подъѣзжающія ко мнѣ большія господскія дрожки тройкой большихъ рыжихъ коней, а

на тѣхъ дрожкахъ нарочито небольшого человѣчка, въ картузѣ ворсистой, шляпной матеріи, съ длиннымъ козыремъ и въ коричневой шинели съ премножествомъ одинъ надъ другимъ набранныхъ капюшончиковъ и пелеринъ.

«Что бы сіе, думаю, за невѣдомая особа, да и ко мнѣ ли она ѣдетъ, или только ошибкой править на меня путь свой?

«Размышленія эти мои, однакоже, были скоро разрѣшены самою сею загадочною особой, вошедшею въ мою залицу съ преизящною благопристойностью, которая всегда мнѣ столь нравится. Прежде всего гость попросилъ моего благословенія, а затѣмъ, шаркнувъ своею чрезвычайно маленькою ножкой по полу и отступивъ съ поклономъ два шага назадъ, проговорилъ: «госпожа моя, Марѳа Андревна Плодомасова, приказали мнѣ, отецъ іерей, вамъ кланяться и просить васъ немедленно со мною къ нимъ пожаловать.

«— Въ свою очередь, говорю, позвольте мнѣ, сударь, узнать, чрезъ кого я имѣю честь все это слышать?

«— А я, — отвѣчаетъ оный малютка: — есмь крѣпостной человѣкъ ея превосходительства Марѳы Андревны, Николай Ѳанасьевъ, — и, такимъ образомъ мнѣ отрекомендовавшись, сія крошечная особа при семъ снова напомнила мнѣ, что госпожа его меня ожидаетъ.

«— По какому дѣлу, говорю, — не знаете ли?

«— Ея господской воли, батюшка, я, рабъ ея, знать не могу, — отвѣчалъ карла, и симъ скромнымъ отвѣтомъ на мой несообразный вопросъ до того меня сконфузилъ, что я даже началъ предъ нимъ изворачиваться, будто я спрашивалъ его вовсе не въ томъ смыслѣ. Спасибо ему, что онъ не сталъ меня допрашивать: въ какомъ бы то еще въ иномъ смыслѣ таковый вопросъ могъ быть сдѣланъ.

«Пока я въ смежной комнатѣ одѣвался, сей интересный карликъ вступилъ въ собесѣдованіе съ Наташей и совсѣмъ увлекъ и восхитилъ ее своими рѣчами. Дѣйствительно, и въ словахъ, да и въ самомъ говорѣ сего крошечнаго старичка есть нѣчто невыразимо милое и ко всему сему благородство и ласковость. Служанкѣ, которая подала ему стаканъ воды, онъ положилъ на подносъ двугривенный, и когда сія взять эти деньги сомнѣвалась, онъ самъ сконфузился и заговорилъ: «нѣтъ, матушка, не обидьте, это у меня такая привычка»; а когда попадья моя вышла ко мнѣ, чтобы волосы мнѣ напомадить, онъ взялъ на руки случив-

шуюся здѣсь за матерью замарашку-дѣвочку кухаркину и говоритъ:—«Слушай, какъ вонъ уточки на бережку разговариваютъ. Уточка-франтиха говоритъ селезню-козырю: купи коты, купи коты! а селезень отвѣчаетъ: заказалъ, заказалъ!» И дитя разсмѣялось, да и я тоже сему сочиненію словесному птичьяго разговора невольно улыбнулся. Это хотя бы даже господину Лафонтену или Ивану Крылову впору. Дорогу не замѣтилъ, какъ и прошла въ разговорахъ съ этимъ пречуднымъ карлой: столь много ума, чистоты и здравости нашелъ во всѣхъ его разсужденіяхъ.

«Но теперь самое главное: наступалъ часъ свиданія моего съ одинокою боярыней.

«Не малое для меня удивленіе составляетъ, что, при приближеніи сего свиданія, я, отъ природы моей не робкій, ощущалъ въ себѣ нѣчто въ родѣ небольшой робости. Николай Аѳанасьичъ, проведя меня черезъ рядъ съ поразительною для меня пышностью и крайнею чистотой содержимыхъ покоевъ, ввелъ меня въ круглую комнату съ двумя рядами оконъ, изукрашенныхъ въ полукругахъ цвѣтными стеклами; здѣсь мы нашли старушку немногимъ чѣмъ побольше Николая. При входѣ нашемъ она стояла и вертѣла ручку большого органа, и я уже чуть было не принялъ ее за самую оригиналку-боярыню и чуть ей не раскланялся. Но она, увидѣвъ насъ, неслышно вошедшихъ по устилающимъ покои пушистымъ коврамъ, немедленно при явленіи нашемъ оставила свою музыку и бросилась съ нѣсколько звѣриною, проворною ухваткой въ смежный покой, двери коего завѣшаны большою занавѣсью бѣлаго атласа, по которому вышиты цвѣтными шелками разныя китайскія фигурки.

«Эта женщина, скрывшаяся съ такою поспѣшностью за занавѣсь, какъ я послѣ узналъ, родная сестра Николая и тоже карлица, но лишенная пріятности, имѣющейся въ кроткой наружности ея брата.

«Николай тоже скрылся вслѣдъ за сестрою подъ ту же самую занавѣсь, а мнѣ указалъ дожидаться на креслѣ. Тутъ-то вотъ, въ теченіе времени, длившагося за симъ около получаса, я и почувствовалъ нѣкую смягу во рту, столь знакомую мнѣ по бывшимъ ощущеніямъ въ дѣтствѣ во время экзаменовъ. Но, наконецъ, насталъ и сему конецъ. За тою же самою занавѣсью я услышалъ такія слова:

«А ну, покажи-ка мнѣ этого умнаго попа, который, я слышала, пріобыкъ правду говорить?» И съ симъ занавѣсь, какъ бы мановеніемъ чародѣйскимъ, на невидимыхъ шнурахъ распахнулась, и я увидалъ предъ собою саму боярыню Плодомасову. Голосъ ея, который я предъ симъ только что слышалъ, уже достаточно противорѣчилъ моему мнѣнію о ея дряхлости, а видъ ея противорѣчилъ сему и еще того болѣе. Боярыня стояла предо мной въ силѣ, которой, казалось, какъ бы и конца быть не можетъ. Ростомъ она не велика и не дородна особенно, но какъ бы надъ всѣмъ будто царствуетъ. Лицо ея хранитъ выраженіе большой строгости и правды и, судя по чертамъ, надо полагать, нѣкогда было прекрасно. Костюмъ ея довольно странный и нынѣшнему времени несоотвѣтственный: вся голова ея тщательно увита въ нѣсколько разъ большою коричневою шалью, какъ у туркини. Далѣе на ней, какъ бы сказать, какой-то суконный казакинъ свѣтлаго цвѣта; потомъ подъ этимъ казакиномъ юбка аксамитная, ярко-оранжевая и желтые сапожки на высокихъ серебряныхъ каблучкахъ, а въ рукѣ палочка съ аметистовымъ набалдашникомъ. Съ одного боку ея стоялъ Николай Аѳанасьевичъ, съ другой—Марья Аѳанасьевна, а сзади ея—сельскій священникъ, отецъ Алексѣй, по ея назначенію посвященный изъ ея на волю пущенныхъ крѣпостныхъ.

«— Здравствуй! — сказала она мнѣ, головы нимало не наклоняя, и добавила:—Я тебя рада видѣть.

«Я въ отвѣтъ на это ей поклонился и, кажется, даже и съ изрядною неловкостью поклонился.

«— Поди же, благослови меня,—сказала она.

«Я подошелъ и благословилъ ее, а она взяла и поцѣловала мою руку, чего я всячески намѣренъ былъ уклониться.

«— Не дергай руки,—сказала она, сіе замѣтивъ.—Это не твою руку я цѣлую, а твоего сана. Садись теперь и давай немножко познакомимся.

«Сѣли мы: она, я и отецъ Алексѣй, а карлики возлѣ ея стали.

«— Мнѣ говорилъ отецъ Алексѣй, что ты даромъ проповѣди и хорошимъ умомъ обладаешь. Онъ самъ въ этомъ ничего не смыслитъ, а, вѣрно, отъ людей слышалъ, а я ужъ давно умныхъ людей не видала, и вотъ захотѣла со скуки на тебя посмотрѣть. Ты за это на старуху не сердись.

«Я мѣшался въ отвѣтахъ и, вѣроятно, весьма мало отвѣчалъ тому, что ей объ умѣ моемъ было насказано, но она, къ счастію, приступила къ разспросамъ, на которые мнѣ пришлось отвѣчать.

«— Тебя, говорятъ, раскольниковъ учить прислали?— такъ она начала.

«— Да, говорю, между прочимъ, имѣлась въ виду и такая цѣль въ моей посылкѣ.

«— Полагаю, говоритъ, безполезное это дѣло: дураковъ учить—все равно, что мертвыхъ лѣчить.

«Я не помню, какими точно словами отвѣчалъ, что не совсѣмъ всѣхъ раскольниковъ глупыми понимаю.

«— Что жъ ты, умными ихъ почитал, сколько успѣлъ ихъ на путь наставить?

«— Нимало, говорю, еще не могу успѣхомъ похвастать, но тому есть причины.

«*Она.* О какихъ ты говоришь причинахъ?

«*Я.* Способъ дѣйствія съ ними несоотвѣтственный, а зло растетъ черезъ ту шатость, которую они видятъ въ церковномъ обществѣ и въ самомъ духовенствѣ.

«*Она.* Ну, зло-то, какое въ нихъ зло? Такъ себѣ, дурачки Божіи, тѣмъ грѣшны, что книгъ начитались.

«*Я.* А православный алтарь все-таки страждетъ на этомъ распаденіи.

«*Она.* А вы бы этому алтарю-то повѣрнѣе служили, а не оборачивали бы его въ лавочку, такъ отъ васъ бы и отпаденій не было. А то вы нынѣ всѣ благодатью, какъ сукномъ, торгуете.

«Я промолчалъ.

«*Она.* Ты женатъ или вдовъ?

«*Я.* Женатъ.

«*Она.* Ну, если Богъ благословитъ дѣтьми, то зови меня кумой: я къ тебѣ пойду крестить. Сама не поѣду: вонъ ее, карлицу свою, пошлю, а если сюда дитя привезешь, такъ и сама подержу.

«Я опять поблагодарилъ и, чтобы разговориться, спрашиваю:

«— Ваше превосходительство, вѣрно, изволите любить дѣтей?

«— Кто же, говоритъ, путный человѣкъ дѣтей не любитъ? Ихъ есть царствіе Божіе.

«— А вы давно однѣ изволите жить?

«*Она.* Одна, отецъ, одна, и давно я одна,—проговорила она, вздохнувъ.

«*Я.* Одиночество это часто довольно тягостно.

«*Она.* Что это?

«*Я.* Одиночество.

«*Она.* А ты развѣ не одинокъ?

«*Я.* Какимъ же образомъ я одинокъ, когда у меня есть жена?

«*Она.* Что жъ, развѣ твоя жена все понимаетъ, чѣмъ ты, какъ умный человѣкъ, можешь поскорбѣть и поболѣть?

«*Я.* Я женой моею счастливъ и люблю ее.

«*Она.* Любишь? Но ты ее любишь сердцемъ, а помыслами души все-таки одинокъ стоишь. Не жалѣй меня, что я одинока: всякъ, братъ, кто въ семьѣ дальше братняго носа смотритъ, и между своими одинокимъ себя увидитъ. У меня тоже сынъ есть, но ужъ я его третій годъ не видала, знать, ему скучно со мною.

«*Я.* Гдѣ же теперь вашъ сынъ?

«*Она.* Въ Польшѣ мой сынъ полкомъ командуетъ.

«*Я.* Это доблестное дѣло враговъ отчизны смирять.

«*Она.* Не знаю я, сколько въ этомъ доблести, что мы съ этими полячишками о-сю пору возимся, а по-моему вдвое больше въ этомъ меледы.

«*Я.* Справимся-съ, придетъ время.

«*Она.* Никогда оно не придетъ, потому что оно ужъ ушло, а мы все какъ куликъ въ болотѣ стояли: и носъ дологъ, и хвостъ дологъ: носъ вытащимъ — хвостъ завязнетъ, хвостъ вытащимъ— носъ завязнетъ. Перекачиваемся, да дураковъ тѣшимъ: то поляковъ нагайками потчуемъ, то у ихъ хитрихъ-полячекъ ручки цѣлуемъ; это грѣшно и мерзко такъ людей портить.

«— А все же, говорю, войска наши тамъ, по крайней мѣрѣ, удерживаютъ поляковъ, чтобъ они намъ не вредили.

«— Ни отъ чего они ихъ,—отвѣчаетъ,—не удерживаютъ; да и намъ тѣ поляки не страшны бы, когда бъ мы сами другъ друга ѣсть обѣщанья не сдѣлали.

«— Это,—говорю,— осужденіе вашего превосходительства, кажется, какъ бы нѣсколько излишне сурово.

«*Она.* Ничего нѣтъ въ правдѣ излишне суроваго.

«— Вы же,—говорю,—сами, вѣроятно, изволите помнить

двѣнадцатый годъ: сколько тогда на Руси единодушія явлено.

«*Она.* Какъ же, какъ мнѣ не помнить: я сама вотъ изъ этого самаго окна глядѣла, какъ наши казачищи моихъ мужиковъ колотили и мои амбары грабили.

«— Что жъ, это,—говорю,—можетъ-быть, что такой случай и случился, я казачьей репутаціи нимало не защищаю, но все же мы себя героически отстояли отъ того, предъ кѣмъ вся Европа ницъ простертою лежала.

«*Она.* Да, удалось, какъ Богъ да морозъ намъ помогли, такъ мы и отстояли.

«Отзывъ сей, сколь пренебрежительный, столь же и несправедливый, подѣйствовалъ на меня такъ пренепріятно, что я, даже не скрывая сей непріятности, возразилъ:

«— Неужто же, государыня моя, въ вашемъ мнѣніи все въ Россіи только случайностями едиными и происходитъ? Дайте,—говорю,—разъ случаю и два случаю, а хоть въ третье ужъ киньте нѣчто уму и народнымъ доблестямъ предводителей.

«— Все, отецъ, случай, и во всемъ, что сего государства касается, окромѣ Божіей воли, мнѣ доселѣ видится только однѣ случайности. Прихлопнули бы твои раскольники Петрушу-воителя, такъ и сидѣли бы мы на своей хваленой землѣ до сихъ поръ не государствомъ великимъ, а въ родѣ какихъ-нибудь толстогубыхъ турецкихъ болгаръ, да у самихъ бы этихъ поляковъ руки цѣловали. За одно намъ хвала — что много насъ: не скоро поѣдимъ другъ друга; вотъ этотъ случай намъ хорошая заручка.

«— Грустно,—говорю.

«— А ты не грусти: чужія земли похвалой стоятъ, а наша и хайкой крѣпка будетъ. Да намъ съ тобою и говорить довольно, а то я ужъ устала. Прощай; а если что худое случится, то прибѣги, пожалуйся. Ты не смотри на меня, что я такой грибъ лафертовскій: грибы-то и въ лѣсу живутъ, а и по городамъ про нихъ знаютъ. А что если на тебя нападаютъ, то ты этому радуйся; если бы ты льстивъ, или глупъ былъ, такъ на тебя не нападали, а хвалили бы и другимъ въ примѣръ ставили.

«Проговоривъ эти слова, она оборотилась къ карлицѣ, державшей во все время нашего разговора въ рукахъ свертточекъ, и, передавая оный мнѣ, сказала:

«— Отдай вотъ это отъ меня своей попадьѣ, это здѣсь корольки съ моей шеи; два отрѣза на платье, да холстъ для домашняго обихода, а это тебѣ отъ меня альмантиновый перстень.

«Подарокъ этотъ, предложенный хотя во всей простотѣ, все-таки меня нѣсколько смутилъ, и я, глядя на нити коралловъ и на шелковыя матеріи, и на ярко горящій альмантинъ, сказалъ:

«— Государыня моя! Очень благодарю васъ за столь лестное ваше къ намъ вниманіе; но вещи сіи столь великолѣпны, а жена моя женщина столь простая...

«— Что жъ,—перебила меня она:—тѣмъ и лучше, что у тебя простая жена; а гдѣ и на мужѣ, и на женѣ, на обоихъ, штаны надѣты, тамъ не бывать проку. Наилучшее дѣло, если баба въ своей женской исподничкѣ ходитъ, и ты вотъ ей за то на исподницы отъ меня это и отвези. Бабы любятъ подарки, а я дарить люблю. Бери же и поѣзжай съ Богомъ.

«Вотъ этимъ она и весь разговоръ свой со мною окончила и, признаюсь, несказанно меня удивила. По нѣкоей привычкѣ къ логичности, ѣдучи обратно домой и пользуясь молчаливостью того же Николая Аѳанасьевича, взявшагося быть моимъ провожатымъ, я старался себѣ уяснить, что за сенсъ моральный все это, что сею говорено, въ себѣ заключаетъ? И не нашелъ я тутъ никакой логической связи, либо весьма мало ея отыскивалъ, а только все лишь какіе-то обрывки мыслей встрѣчалъ; но такіе обрывки, что невольно ихъ помнишь, да и забыть едва ли сумѣешь. Уповаю, не лгутъ тѣ, кои называли сію бабу, въ свое время, весьма мозговитою. А главное, что меня въ удивленіе приводитъ, такъ это моя предъ нею нескладность, и чему сіе приписать, что я, какъ бы оробѣвъ сначала, примкнулъ языкъ мой къ гортани, и если о чемъ заговаривалъ, то все это выходило весьма скудоумное, а она разговоръ, словно на смѣхъ мнѣ, поворачивала съ прихотливостью, и когда я заботился, какъ бы мнѣ репрезентоваться умнѣе, дабы хотя слишкомъ грубо ее въ себѣ не разочаровать, она совершенно объ этомъ небрегла и словъ своихъ, очевидно, не подготовляла, а и моего ума не испытывала, и вышла межъ тѣмъ таковою, что я ее позабыть не въ состояніи. Въ чемъ эта сила ея заключается? Полагаю, въ томъ образованіи

свѣтскомъ, которымъ небрегутъ наши воспитатели духовные, часто впослѣдствіи отнимая чрезъ это лишеніе у насъ самонеобходимѣйшую находчивость и ловкость въ обращеніи со свѣтскими особами.

«Но дню сему было опредѣлено этимъ не окончиться, а суждено, видно, ему было заключиться еще новымъ курьезомъ. Первая радость простодушной Наташи моей по случаю подарковъ не успѣла меня достаточно потѣшить, какъ началъ свои подарки представлять намъ этотъ достопочтеннѣйшій и сразу все мое уваженіе себѣ получившій карло Николай Аѳанасьевичъ. По началу онъ презентовалъ мнѣ бѣлой бумаги съ красными каемочками, вязаныя помочи, а потомъ женѣ косыночку изъ трусиковой нѣжной шерсти, и не успѣлъ я странности сихъ новыхъ, неожиданныхъ подарковъ надивиться, какъ онъ вынулъ изъ кармана шерстяные чулки и вручилъ ихъ подававшей самоваръ работницѣ нашей Аксиньѣ. «Что это за день подарковъ!» невольно воскликнулъ я, не смѣя огорчить дарителя отказомъ. А онъ на это мнѣ отвѣтилъ, что это все его собственныхъ рукъ издѣліе. «Нужды», говоритъ, «въ работѣ, благодаря благодѣтельницѣ моей, не имѣя и не будучи ничему иному обученъ, я постоянно занимаюсь вязаніемъ, чтобы въ праздности время не проводить и имѣть удовольствіе кому-нибудь нѣчто презентовать отъ трудовъ своихъ». Такъ мнѣ понравилась эта простота, что я схватилъ сего малаго человѣка на грудь мою и поцѣлуями осыпалъ его чуть не до одушенія.

«Да закончу ли я, однако, и симъ мое сегодняшнее описаніе? Уѣхавшимъ служителемъ боярыни Плодомасовой еще всѣ чудеса дня сего не окончились. Запирая на ночь дверь передняго покоя, Аксинья усмотрѣла на платейной вѣшалкѣ нѣчто висящее, какъ бы не намъ принадлежащее, и когда мы съ Наташей на сіе были сею служанкой позваны, то нашли: во-первыхъ, темнокоричневый французскаго граденаплю подрясникъ; во-вторыхъ, богатый гарусный поясъ съ пунцовыми лентами для завязокъ, а, въ-третьихъ, драгоцѣннѣйшаго, зеленаго, неразрѣзного бархату рясу; въ-четвертыхъ же, въ длинномъ кускѣ коленкора полное іерейское облаченіе.

«Просто были всѣ мы поражены сею находкой и не знали, какъ объяснить себѣ ея происхожденіе; но Аксинья

первая усмотрѣла на пуговицѣ у воротника рясы вдѣтую карточку, на коей круглыми, такъ сказать, египетскаго штиля буквами, было написано: «помяни, другъ отецъ Савелій, рабу Маріу въ своихъ молитвахъ». Ахнули мы, но нечего было дѣлать, и стали разлагать по столу новое облаченіе. Тутъ еще бо́льшее насъ ожидало. Только начала Наташа раскатывать епитрахиль, смотримъ: изъ него упалъ запечатанный конвертъ на мое имя, а въ томъ конвертѣ пятьсотъ рублей съ самою малою запиской, тою же рукой писанною. Пишетъ: «Дабы ожидающее семью твою при несчастіи излишне тебя не смущало, у алтаря предстоящаго, купи себѣ хибару и возрасти тыкву; тогда спокойнѣе можешь о строеніи дѣла Божія думать».

«Ну, за что мнѣ сіе? Ну, чѣмъ я сего достоинъ? Отчего же она не такъ, какъ консисторскій секретарь и ключарь, разсуждаетъ, что легче устроить дѣло Божіе, не имѣя гдѣ головы подклонить? Что сіе и взаправду все за случайности!

«Вотъ и ты, попъ Савелій, не бездомникъ! И у тебя своя хатина будетъ; но—увы!—долженъ добавить, что будетъ она случаемъ».

«*25-е ноября*. Ѣздилъ въ Плодомасовку приносить мою благодарность; но Марѳа Андревна не приняла, для того, сказалъ карликъ Никола, что она не любитъ, чтобъ ее благодарили, но къ сему, однако, прибавилъ: «А вы, батюшка, все-таки отлично сдѣлали, что изволили пріѣхать, а то онѣ неспокойны были бы насчетъ вашей неблагодарности». Можно заключить, что въ особѣ сей цѣлое море пространное всякой своеобычливости. Такъ, напримѣръ, новый другъ мой, карликъ Никола, разсказалъ мнѣ, какъ она его желала женить и о семъ хлопотала. «Для чего же сіе?» спрашиваю. «А для пыжиковъ, говоритъ, батюшка». Это, то-есть, она желала маленькихъ людей развесть!.. Скажите, о чемъ забота! Еще ли эти, коихъ видимъ окрестъ себя, очень велики!»

«*6-е декабря*. Внесъ вчера въ ризницу присланное отъ помѣщицы облаченіе и сегодня служилъ въ оном. Прекрасно все на меня построено; а то, облачаясь до сихъ поръ въ ризы покойнаго моего предмѣстника, человѣка роста весьма мелкаго, я, будучи такой дылдой, не великолѣпіемъ церковнымъ украшался, а былъ въ нихъ какъ бы воробей съ общипаннымъ хвостомъ».

«9-е декабря. Пречудно! Отецъ протопопъ на меня дуется, а я, какъ винъ за собою противъ него не знаю, то спокоенъ».

«12-е декабря. Нѣкоторое объясненіе было между мною и отцомъ благочиннымъ, а изъ-за чего? Изъ-за ризы Плодомасовской, что не такъ она будто въ церковь доставлена, какъ бы слѣдовало, и при семъ добавилъ онъ, что, молъ, «и разные слухи ходятъ, что вы отъ нея и еще нѣчто получили». Что жъ, это значитъ имѣетъ такой видъ, что я будто не все для церкви пожертвованное доставилъ, а укралъ нѣчто, что ли?»

«23-е декабря. Вотъ слухи-то какіе! Ахъ, Боже мой милосердный! Ахъ, Создатель мой всеправедный! Не говорю чести моей, не говорю лѣтъ ея, но даже сана моего, столь для меня безцѣннаго, и того не пощадили! Гнусники! Но сіе столь недостойно, что не хочу и обижаться».

«29-е декабря. Начинаю замѣчать, что и здѣшнее городничество не благоволитъ ко мнѣ, а за что — сего отгадать не въ силахъ. Предположилъ устроить у себя въ домѣ на Святкахъ вечернія собесѣдованія съ раскольниками, но сіе вдругъ стало извѣстно въ губерніи и сочтено тамъ за непозволительное и за сіе усердствованіе дано мнѣ замѣчаніе. Не инако думаю, какъ городничему порученъ за мною особый надзоръ. Наилучше къ сему, однако, пока путочно относиться; но окропилъ себя святою водой отъ врага и соглядатая».

«1-е января. Благослови вѣнецъ благости Твоея, Господи, а попу Савелію новый путь въ губернію. Видно, на сихъ супостатовъ и окропленіе мое не дѣйствуетъ».

«7-е января. Госпожа Плодомасова вчера по водоосвященіи прямо во всемъ, что на ней было, окунулась въ прорубь. Удивился! Спросилъ, — всегда ли это бываетъ? Говорятъ: всегда, и это у нея называется «мовничать».

«Экой закалъ предивный! Я бы, кажется, и живъ отъ одной такой бани не остался».

«20-е января. Пишу сіи строки, сидя въ смрадницѣ на архіерейскомъ подворьѣ, при семинарскомъ корпусѣ. Къ винѣ моей о собесѣдованіяхъ съ раскольниками присоединена пущая вина: донесено губернатору, что моимъ дьячкомъ Лукьяномъ промѣнена раскольникамъ старопечатная Псалтырь, изъ книгъ Дѣевской молельной, кои находятся

у меня на сохраненіи. Дѣло такое и вправду совершилось, но я оное утаилъ, считая то, во-первыхъ, за довольно ничтожное, а во-вторыхъ, зная тому настоящую причину — бѣдность, которая Лукьяна-дьячка довела до сего. Но сіе пустое дѣло мнѣ прямо вмѣнено въ злодѣйское преступленіе, и я взятъ подъ началъ и посланъ въ семинарскую квасную квасы квасить».

«*4-е февраля.* Вчера, безъ всякой особой съ моей стороны просьбы, получилъ отъ келейника отца Троадія рѣдкостнѣйшую книгу, которую, однако, даже обязанъ бы всегда знать, но которая на Руси издана какъ бы для того, чтобъ ее въ тайности хранить отъ тѣхъ, кто ее знать долженъ. Сіе «Духовный Регламентъ»; читалъ его съ азартною затяжкой. Познаю во всемъ величіе сего законодателя и понимаю тонкую предусмотрительность книгу сію хоронящихъ. Какъ иначе? Писано въ ней, напримѣръ: «Вѣдалъ бы всякъ епископъ мѣру чести своей и не высоко бы о ней мыслилъ. Се же того ради предлагается, дабы укротити оную весьма жестокую епископамъ славу, чтобъ оныхъ подъ руки дондеже здрави суть невожено и въ землю бы имъ подручная братія не кланялась. И оные поклонницы самоохотно и нахально стелются на землю, чтобы степень исходатайствовать себѣ недостойный, чтобы такъ неистовство и воровство свое покрыть». Слѣдовательно, понуждая меня *стлаться* предъ собою, оный понуждающій наипервѣе всего законъ нарушаетъ и становится преступникомъ того сокрываемаго государева регламента. Тоже писано: «Кольми паче не дерзали бъ грабить, подъ виной жестокаго наказанія, ибо слуги архіерейскіе обычно бываютъ лакомыя скотины, и гдѣ видятъ власть своего владыки, тамъ съ великою гордостью и безстыжіемъ, какъ татары, на похищеніе устремляются». Великолѣпно, государь, великолѣпно!»

«*9-е апрѣля.* Возвратился изъ-подъ начала на свое пепелище. Тронутъ былъ очень слезами жены своей, безъ меня здѣсь изстрадавшейся, а еще болѣе растрогался слезами жены дьячка Лукьяна. О себѣ молчавъ, эта женщина благодарила меня, что я пострадалъ за ея мужа. А самого Лукьяна сослали въ пустынь, но всего только, впрочемъ, на одинъ годъ. Срокъ столь непродолжительный, что семья его не истощаетъ и не ѣвши. Ближе къ Богу будетъ, по консисторскому соображенію»

«*20-е апрѣля.* Пріѣзжалъ ко мнѣ пріятный карликъ и сообщилъ, что Марѳа Андревна указала, дабы каждогодно на лѣтняго Николу, на зимняго и на Крещеніе я былъ трижды приглашаемъ служить къ ней въ Плодомасовскую церковь, за что мнѣ черезъ бурмистра будетъ платимо жалованье 150 руб., по 50 руб. за обѣдню. Ну, ужъ эти случайности! Чего добраго, я ихъ даже бояться стану».

«*15-е августа.* Вернулся изъ губерніи понамарь Евтихеичъ и сказывалъ, что между владыкой и губернаторомъ произошла нѣкая распря изъ-за взаимнаго визита».

«*2-е октября.* Слухи о визитной распрѣ подтверждаются. Губернаторъ, бывая въ царскіе дни въ соборѣ, имѣетъ обычай въ сіе время довольно громко разговаривать. Владыка положили прекратить сіе обыкновеніе и послали своего костыльника просить его превосходительство вести себя благопристойнѣе. Губернаторъ принялъ замѣчаніе весьма амбиціонно и чрезъ малое время снова возобновилъ свои громкія съ жандармскимъ полковникомъ собесѣдованія; но на сей разъ владыка уже сами остановились и громко сказали:

«— Ну, я, ваше превосходительство, замолчу и начну, когда вы кончите.

«Очень это со стороны владыки одобряю».

«*8-го ноября.* Получилъ набедренникъ. Не знаю, чему приписать. Развѣ предыдущему визитному случаю и тому, что губернаторъ меня не жалуетъ».

«*6-го января 1837 года.* Новая новость! Владыка на Новый годъ остановилъ губернаторскую дочь, когда она подходила къ благословенію въ рукавичкѣ, и сказали:—«Скинь прежде съ руки собачью шкуру».

«А я до сей поры и не зналъ, что наша губернаторша не нѣмка».

«*1-го февраля.* По изволенію владыки, я представленъ ко скуфьѣ».

«*17-го марта.* Богоявленскій протопопъ, идучи ночью со Святыми Дарами отъ больного, взятъ обходными солдатами въ часть, якобы былъ въ нетрезвомъ видѣ. Владыка на другой день въ мантіи его посѣтили. О, ляше правителю, будете вы теперь сію продѣлку свою помнить!»

«*18-го мая.* Владыка переведены въ другую епархію».

«*16-го августа.* Былъ у новаго владыки. Мужчина, каза-

лось, весьма разсудительный и характерный. Разговаривали о состояніи духовенства и приказали составить о семъ записку. Сказали, что я рекомендованъ имъ прежнимъ владыкой съ отличной стороны. Спасибо тебѣ, бѣдный и злопобѣжденный дѣдуня, за доброе слово!»

«*25-го декабря*. Не знаю, что о себѣ думать, къ чему я рожденъ и на что призванъ? Попадья укоряетъ меня, что я и въ сей праздникъ Христова Рождества работаю, а я себѣ лучшаго и удовольствія не нахожу, какъ сію работу. Пишу мою записку о бытѣ духовенства съ радостію такою и съ любовію такою, что и сказать не умѣю. Озаглавилъ се такъ: «О положеніи православнаго духовенства и о средствахъ, какъ оное возвысить для пользы церкви и государства». Думаю, что такъ будетъ добро. Никогда еще не помню себя столь счастливымъ и торжествующимъ, столь добрымъ и столь силы и разумѣнія преисполненнымъ».

«*1-го апрѣля*. Представилъ записку владыкѣ. Попадья говоритъ, напрасно сего числа представлялъ: по ея легковѣрнымъ примѣтамъ, сіе первое число апрѣля обманчиво. Замѣтимъ».

«*10-го августа*. Произведенъ въ протоіереи».

«*4-го января 1839 года*. Получилъ пакетъ изъ консисторіи, и сердце мое, стѣсненное предчувствіемъ, забилось радостію; но сіе было не о запискѣ моей, а дарованъ мнѣ наперсный крестъ. Благодарю, весьма благодарю; но объ участи записки моей все-таки сѣтую».

«*8-го апрѣля*. Назначенъ благочиннымъ. О запискѣ слуховъ не имѣется. Не знаю, чѣмъ бы сіи трубы вострубить заставить?»

«*10-го апрѣля 1840 года*. Годъ уже протекъ, какъ я благочинствую. О запискѣ слуховъ нѣту. Видно, попадья не все пустякамъ вѣритъ. Сегодня она меня насмѣшила, что я, можетъ-быть, хорошо написалъ, но не такъ подписался».

«*20-го іюня 1841 года*. Воду прошелъ яко сушу, и египетскаго зла избѣжавъ, пою Богу моему дондеже есмь. Что это со мною было? Что такое я вынесъ и какъ я изъ всего этого вышелъ на свѣтъ Божій? Любопытенъ я весьма, что дѣлаешь ты, сочинитель басенъ, балладъ, повѣстей и романовъ, не усматривая въ жизни, тебя окружающей, нитей, достойныхъ вплетенія въ занимательную для чтенія басню твою? Или тебѣ, исправитель нравовъ человѣческихъ, и

вправду нѣтъ никакого дѣла до той дѣйствительной жизни, которою живутъ люди, а нужны только претексты для празднословныхъ рацей? Вѣдомо ли тебѣ, какую жизнь ведетъ русскій попъ, сей «ненужный человѣкъ», котораго, по-твоему, можетъ-быть, напрасно призвали, чтобы привѣтствовать твое рожденіе, и призовутъ еще разъ, такъ же противу твоей воли, чтобы проводить тебя въ могилу? Извѣстно ли тебѣ, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бѣдствіями и приключеніями, или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородныя страсти, и что оно не ощущаетъ страданій? Или же ты съ своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, попа, своимъ вниманіемъ? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло и что я уже не нуженъ странѣ, тебя и меня родившей и воспитавшей... О, слѣпецъ! скажу я тебѣ, если ты мыслишь первое; о, глупецъ! скажу тебѣ, если мыслишь второе, и въ силу сего заключенія стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться надъ тѣмъ, что я смраденъ сталъ задохнувшися.

«Но снисхожу отъ философствованія къ тому событію, по коему напало на меня сіе философствованіе.

«Я отрѣшенъ отъ благочинія и чуть не отверженъ сана. А за что? А вотъ за что. Занотую повѣсть сію съ подробностью.

«Въ мартѣ мѣсяцѣ сего года, въ проѣздъ чрезъ нашъ городъ губернатора, предводителемъ дворянства было празднование торжество, и я, пользуясь симъ случаемъ моего свиданія съ губернаторомъ, обратился къ оному сановнику съ жалобой на обремененіе помѣщиками крестьянъ работами въ воскресные дни и даже въ двунадесятые праздники, и говорилъ, что такимъ образомъ великая бѣдность народная еще болѣе увеличивается, ибо по цѣлымъ селамъ нѣтъ ни у кого ни ржи, ни овса... Но едва лишь только я это слово «овса» выговорилъ, какъ сановникъ мой возгорѣлся на меня гнѣвомъ, прянулъ отъ меня, какъ отъ гадины, и закричалъ: «Да что вы ко мнѣ съ овсомъ пристали! Я вотъ, говоритъ, и то-то, и то-то, да и наконецъ я де не Николай угодникъ, я де овсомъ не торгую!» Этого я не долженъ былъ стерпѣть и отвѣчалъ: «Я вашему превосходительству, какъ человѣку, въ дѣлахъ вѣры не свѣдущему, прежде всего долженъ объяснить, что Николай угодникъ былъ епископъ и

ничѣмъ не торговалъ. А затѣмъ вы должны знать, что православному народу нужны священникъ и дьяконъ, ибо до сихъ поръ ихъ однихъ мы еще у нѣмцевъ не заимствовали». Разсмѣявшись злобнымъ смѣхомъ на мои слова, оный правитель подсказалъ мнѣ: «Не бойтесь, отецъ, было бы болото, а черти найдутся». Эта послѣдняя вещь была для меня горше первой. Кто сіи черти, и что твои мерзкія уста болотомъ назвали?—подумалъ я въ гнѣвѣ и, не удержавъ себя въ совершенномъ молчаніи, отвѣчалъ сему пану, что «уважая санъ свой, я даже и его на сей разъ чортомъ назвать не хочу». Чѣмъ же сіе для меня кончилось? Нынѣ я *бывый* благочинный, и слава Тебѣ, Творцу моему, что еще не *бывый* попъ и не разстрига. Нѣтъ, сего ты, современный сочинитель повѣстей, должно-быть, не спишешь. Не постараешься, чтобы люди знали, какъ тяжело мнѣ!»

«*3-го сентября.* Осенняя погода нагоняетъ на меня жесточайшую скуку. Привыкъ я весьма постоянно дѣйствовать, но нынѣ безъ дѣла тоскую, и до той глупости, что даже секретно отъ жены часто плачу».

«*27-го января 1842 года.* Купилъ у жида за семь рублей органчикъ и игорныя шашки».

«*18-го мая.* Взялъ въ клѣтку чижа и началъ учить его пѣть подъ органъ».

«*9-го августа.* Зачалъ сочинять повѣсть изъ своего духовнаго быта. Добрыя мнѣ женщины наши представляются въ родѣ матери моей, дочери заштатнаго дьякона, всѣхъ насъ своею работой кормившей; но когда думаю — все это вижу живообразно, а стану описывать—не выходитъ. Нѣтъ, я къ сему неспособенъ!»

«*2-го марта 1845 года.* Три года прошло безъ всякой перемѣны въ жизни. Домикъ свой учреждалъ, да занимался чтеніемъ отцовъ церкви и историковъ. Вывелъ два заключенія, и оба желаю признавать ошибочными. Первое изъ нихъ, что христіанство еще на Руси не проповѣдано; а второе, что событія повторяются, и ихъ можно предсказывать. О первомъ заключеніи говорилъ разъ съ довольно умнымъ коллегомъ своимъ, отцомъ Николаемъ, и былъ удивленъ, какъ онъ это внялъ и согласился. «Да,—сказалъ онъ,—сіе безспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся». Значитъ, не я одинъ сіе вижу и другіе

видятъ, но отчего же имъ всѣмъ это смѣшно, а моя утроба симъ до кровей возмущается».

«*Новый 1846 годъ.* Къ намъ начинаютъ ссылать поляковъ. О запискѣ моей еще свѣдѣній нѣтъ. Сильно интересуюсь политичною заворожкой, что̀ начинается на Западѣ, и пренумеровалъ для сего себѣ политическую газету».

«*6-го мая 1847 года.* Прибыли къ намъ еще два новые поляка, ксендзъ Алоизій Конаркевичъ да панъ Игнатій Чемерницкій, сей въ лѣтахъ самыхъ юныхъ, но уже и теперь каналья весьма комплектная. Городничиха наша, яко полька, собрала около себя цѣлый сонмъ соотчичей, и сего послѣдняго нарочито къ себѣ приблизила. Толкуютъ, что сіе будто потому, что сей юнецъ изряденъ видомъ и милъ манерами; но мнѣ мнится, что здѣсь есть еще нѣчто и иное».

«*20-го ноября.* Замѣчаю что-то весьма удивительное и непонятное: поляки у насъ словно господами нашими дѣлаются, все черезъ нихъ въ губерніи можно достигнуть, ибо Чемерницкій оному моему правителю оказывается пріятель».

«*5-го февраля 1849 года.* Чего съ роду не хотѣлъ сдѣлать, то нынѣ сдѣлалъ: написалъ на поляковъ порядочный доносъ, потому что они превзошли всякую мѣру. Мало того, что они уже съ давнихъ поръ гласно издѣваются надъ газетными извѣстіями и представляютъ, что все сіе, что въ газетахъ изложено, якъ бы не такъ, а совершенно обратно, яко-бы насъ бьютъ, а не мы бьемъ непріятелей, но отъ слова уже и до дѣла доходятъ. На панихидѣ за воиновъ, на брани убіенныхъ, подняли съ городничихой столь непристойный хохотъ, что отецъ протоіерей послалъ причетника попросить ихъ о спокойномъ стояніи, или о выходѣ, послѣ чего они, улыбаясь, изъ храма вышли. Но когда мы съ причтомъ, окончивъ служеніе, проходили мимо бакалейной лавки братьевъ Лялиныхъ, то одинъ изъ поляковъ вышелъ со стаканомъ вина на крыльцо и подражая голосомъ дьякону, возгласилъ: «много ли это!» Я понялъ, что это посмѣяніе надъ многолѣтіемъ, и такъ и описалъ, и сего не срамлюсь, и за доносчика себя не почитаю, ибо я русскій и деликатность съ таковыми людьми долженъ считать за несумѣстное».

«*1-го апрѣля.* Вечеромъ. Донесеніе мое о поступкѣ по-

ляковъ, какъ видно, хотя поздно, но все-таки возымѣло свое дѣйствіе. Сегодня утромъ пріѣхалъ въ городъ жандармскій начальникъ и пригласилъ меня къ себѣ, долго и въ подробности обо всемъ этомъ разспрашивалъ. Я разсказалъ все, какъ было; а онъ объявилъ мнѣ, что всѣмъ этимъ польскимъ мерзостямъ на Руси скоро будетъ конецъ. Опасаюсь, однако, что все сіе, какъ на зло, сказано мнѣ перваго апрѣля. Начинаю вѣрить, что число сіе, дѣйствительно, обманчиво».

«*7-го сентября.* Первое апрѣля на сей разъ, мнится, не обмануло: Конаркевича и Чемерницкаго обоихъ перевели на жительство въ губернію».

«*25-го ноября.* Нашъ городничій съ супругой изволили выѣхать: онъ опредѣленъ въ губернію полиціймейстеромъ. Однако, этакъ не очень еще его наказали».

«*5-го декабря.* Прибылъ новый городничій. Называется онъ капитанъ Мрачковскій. Фамилія происходитъ отъ слова мракъ. Ты, Господи, вѣси, когда къ намъ что-нибудь отъ свѣта приходить станетъ!»

«*9-го декабря.* Былъ сегодня у новаго городничаго на фрыштыкѣ. Любезностью большою обладаютъ оба — и онъ, и жена. Подвыпивъ изрядно, пѣлъ намъ: «Ты помнишь ли, товарищъ славы бранной?» А потомъ сынишка его, одѣтый въ русской рубашкѣ, тоже пѣлъ: «Ахъ морозъ, морозецъ, молодецъ ты русскій!» Это что-то новыя новости! Замѣчательность бесѣды сего Мрачковскаго, впрочемъ, наиболѣе всего заключалася для меня въ разсказѣ о нѣкоемъ профессорѣ московскаго университета, получившемъ будто бы отставку за то, что на торжественномъ актѣ сказалъ: «Nunquam de republica desperandum», въ смыслѣ «никогда не должно отчаиваться за государство», но какимъ-то канцелярскимъ мудрецомъ понято, что онъ якобы велѣлъ не отчаиваться въ республикѣ, то за сіе и отставленъ. Даже невѣроятно».

«*12-го декабря.* Прочиталъ въ газетахъ, что будто одному мужику, стоявшему наклонясь надъ водой, вскочила въ ротъ небольшая щука и, застрявъ жабрами, не могла быть вытащена, отчего сей ротозѣй и умеръ. Чему же послѣ сего въ Россіи вѣрить нельзя? Вѣрю и про профессора».

«*20-го декабря.* Нѣтъ, первое-то апрѣля не только обманчиво, но и загадочно. Не хочу даже всего, со мною быв-

шаго, въ сей пріѣздъ въ губернію вписывать, а скажу одно, что я былъ ругань и срамленъ всячески, и только что не битъ остался за мое донесеніе. Не вѣдаю, съ чьихъ рѣчей, *самъ-то* нашъ прямо накинулся на меня, что «ты, дескать, ужъ надоѣлъ своимъ сутяжничествомъ; не на добро тебя и грамотѣ выучили, чтобы ты не въ свое дѣло мѣшался, ябедничалъ, да сутяжничалъ». Сердцевѣдецъ мой! Когда жъ это я ябеды пускалъ и съ кѣмъ сутяжничалъ? Но ничего я отвѣчать не могъ, потому что каждое движеніе губъ моихъ встрѣчало грозное «молчи!» Избыхся всѣхъ лишнихъ, и се возвратясь сижу, какъ крапивой выпоронная насѣдка, и тверду себѣ то слово: «молчи!» и вижу, что слово сіе разумно. Одного не понимаю, отчего мой поступокъ, хотя, можетъ-быть, и неосторожный, не инымъ чѣмъ, не неловкостію и не необразованностію моею изъясненъ, а чѣмъ бы вамъ мнилось? злопомненіемъ, что меня тѣ самые поляки не зазвали, да и пьянымъ не напоили, къ чему я, однако, благодаря моего Бога, и неприверженъ. Отъ малаго сего къ великому заключая, припоминаю себѣ слова французской дѣвицы Шарлоты Кордай д'Армонъ, какъ она въ предказненномъ письмѣ своемъ писала, что «у новыхъ народовъ мало патріотовъ, кои бы самую простую патріотическую горячность понимали и вѣрили бы возможности чѣмъ-либо ей пожертвовать. Вездѣ эгоизмъ и все имъ объясняется». Оно бы, глядя на однихъ своихъ, пожалуй бы, и я былъ склоненъ заключить, какъ Кордай д'Армонъ, но, имѣя предъ очами сихъ самыхъ поляковъ, у которыхъ всякая дальняя сосна своему бору шумитъ, да раскольниковъ, коихъ всѣ обиды и пригнетенія не отучаютъ любить Русь, поневолѣ долженъ ей противорѣчить и думать, что есть еще у людей любовь къ своему отечеству! Вотъ до чего, долго живучи, домыслишься, что и ляховъ за нѣчто похваливать станешь. Однако, звучно да будетъ мнѣ по вся дни сіе недавно слышанное мною: «молчи». Nunquam de republica desperandum».

«2-го января 1849 года. Ходилъ по всѣмъ раскольникамъ и бралъ у воротъ сребряники. Противиться мнѣ не время, однакоже минутами горестно сіе чувствовалъ; но дѣлалъ ради того, дабы не перерядить попадью въ дьячихи, ибо послѣ бывшаго со мною и сіе возможно. Былъ я у городничаго: онъ все со мною бывшее знаетъ и весьма

меня на рѣчахъ сожалѣлъ, а что тамъ на сердцѣ, про то Богу извѣстно. Но что поистинѣ достойно смѣха, то это выходка нашей модной чиновницы Бизюкиной. «Правда ли,— спросила она меня, — что вы донесли на поляковъ? Какъ это низко. Вы послѣ этого теперь не что иное, какъ ябедникъ и доносчикъ. Сколько вамъ за это заплатили?» А я ей на это отвѣчалъ: «А вы не что иное, какъ дура, и къ тому еще неоплатная».

«*1-го января 1850 года.* Годъ прошелъ тихо и смиренно. Схоронилъ мою благотворительницу Марѳу Андревну Плодомасову. Скончалась, пережившъ пятерыхъ вѣнценосцевъ: Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра, и съ двумя изъ нихъ танцовала на собраніяхъ. Ждалъ непріятностей отъ Бизюкинши, которая со связями и могла потщиться пострекать меня чрезъ губернію, да все обошлось прекрасно: мы, русскіе, сколь ни яровиты порой, но, видно, не злопамятны, можетъ потому, что за насъ и заступиться некому. Въ будущемъ году думаю начать пристройку, ибо вдался въ нѣкоторую слабость: полюбилъ преферансовую игру и началъ со скуки курить, а отъ сего траты. Курилъ спервоначала шутя у городничаго, а нынѣ и дома всею этою сбруей обзавелся. Надо бы и бросить».

«*1850 годъ*». Надо бросить. Нѣтъ, братикъ, не бросишь. Такъ привыкъ курить, что не могу оставить. Рѣшилъ слабость сію не искоренять, а за нее взять къ себѣ какого-нибудь бездомнаго сиротку и воспитать. На попадью, Наталью Николаевну, плоха надежда: дастъ намекъ, что будто есть у нея что-то, но выйдетъ сіе всякій разъ подобно 1-му апрѣля».

«*1-го января 1857 года.* Совсѣмъ не узнаю себя. Семь лѣтъ и строки сюда не вписалъ. Житіе мое странное, зане житіе мое стало сытое и привольное. Перечитывалъ все со дня преподобія своего здѣсь написанное. Достойно замѣчанія, сколь я сталъ иначе ко всему относиться за сіи годы. Самъ не воюю, никого не безпокою и себѣ никакого безпокойства не вижу. «Укатали сивку крутыя горки», и противъ рожна прати болѣе не охота».

«*20-го февраля.* Благородное дворянство избрало намъ новаго исправника, друга моего, поляка, на коего я доносилъ во дни моей молодой строптивости, пана Чемерницкаго. Онъ женился на русской нашей богатой вдовѣ и учи-

нился нашимъ помѣщикомъ, а нынѣ и исправникомъ. Въ господинѣ Чемерницкомъ непремѣнно буду имѣть врага и, вѣроятно, наидосадливѣйшаго».

«*7-го апрѣля.* Пріѣхалъ новый исправникъ, панъ Чемерницкій, самъ мнѣ и визитъ сдѣлалъ. О старой ссорѣ моей, за «много ли это», и помина не дѣлаетъ».

«*20-го мая.* Впервые читалъ у исправника заграничную русскую газету «Колоколъ», господина Искандера. Рѣчь бойкая и весьма штилистическая, но по непривычкѣ къ смѣлости,—дико».

«*2-го іюня.* Вчера, на день ангела своего, справлялъ пиръ. Думалъ сдѣлать сіе скромненько, по моему достоянію, но Чемерницкій утромъ прислалъ цѣлую корзину вина и сластей, и рому, а вечеромъ ко мнѣ понагрянули и Чемерницкій, и новый городничій Порохонцевъ. Это весьма добрый мужикъ. Онъ, подпивши зѣло-зѣло, сталъ вдругъ меня съ Чемерницкимъ мирить за старое, и я помирился, и просилъ извиненія, и много разъ съ нимъ поцѣловался. Не знаю, къ чему мнѣ было сіе дѣлать, если бы самъ не былъ тоже въ подпитіи? Сегодня утромъ выражалъ о семъ мирителю Порохонцеву большое сожалѣніе, но онъ сказалъ, что по-ихнему, по-полковому, не надо о томъ жалѣть, когда, подпивши, цѣлуешься, ибо это всегда лучше, чѣмъ выпивъ да подерешься. Все это такъ, но все-таки досадно. Служивши сегодня у головы молебенъ, самъ себя поткалъ въ носъ кропиломъ и назидательно сказалъ себѣ: «не пей, попъ, вина».

«*23-го августа.* Читалъ *записки* госпожи Дашковой и о Павлѣ Петровичѣ: все заграничнаго изданія. Очень все любопытно. Съ мнѣніями Дашковой во многомъ согласенъ, кромѣ что о Петрѣ,—о немъ думаю иначе. Однако, спасибо Чемерницкому, что разсѣваетъ этими рѣдкими книгами мою сильную скуку».

«*9-го сентября.* Размолвился съ Чемерницкимъ на свадьбѣ Порохонцева. Дерзкій этотъ полякъ, глумяся, началъ разспрашивать безхитростнаго Захарію, что значитъ, что у насъ при вѣнчаніи поютъ: «живота просише у тебе?» И началъ перекоръ: о какомъ здѣсь животѣ идетъ рѣчь? Я же вмѣшался и сказалъ, что онъ сіе пойметъ, если ему когда-нибудь, подъ висѣлицей, петлю надѣнутъ».

«*20-го сентября.* Я въ крайнемъ недоумѣніи. Дьячиха, по

малосмыслію, послала своему сыну по почтѣ рублевую ассигнацію въ простомъ конвертѣ, но конвертъ сей на почтѣ подпечатали и, открывъ преступленіе вдовы, посылку ея конфисковали и подвергли ее штрафу. Что на почтѣ письма подпечатываютъ и читаютъ, — сіе никому не новость; но какъ же это рублевую ассигнацію вдовицы ловятъ, а «Колоколъ», который я беру у исправника, не ловятъ? Что это такое: простота или воровство?»

«*20-го октября.* Вмѣсто скончавшагося дьякона нашего, смиреннаго Прохора, прибылъ изъ губерніи новый дьяконъ, Ахилла Десницынъ. Сей всѣхъ насъ больше, всѣхъ насъ толще, и съ такою физіономіей, и съ такою фигурой, что нельзя, глядя на него, не удивляться силѣ природной произрастительности. Голосъ онъ имѣетъ весьма добрый, нрава весьма веселаго и на первый разъ показался мнѣ будто очень почтителенъ. Но наипаче всего этотъ человѣкъ нравится мнѣ своимъ добродушіемъ. Предъявлялъ мнѣ копію со своего семинарскаго аттестата, въ коей написано: «поведенія хорошаго, но удобоносителенъ». А что сіе обозначаетъ? спросилъ я. «Это совершенные пустяки,—объяснилъ онъ,— это больше ни что, какъ будучи въ горячечной болѣзни въ семинарскомъ госпиталѣ, я проносилъ больнымъ богословамъ водку». И сіе, молъ, изрядно».

«*9-го декабря.* Получилъ камилавку и крестъ св. Анны. По чьему бы, мнилось, ходатайству? А все сіе по засвидѣтельствованію милостивца моего, пана Чемерницкаго, о моей рачительности по благочинію».

«*7-го марта 1858 года.* Исходъ Израилевъ былъ: поѣхали въ Питеръ Россію направлять на все доброе всѣ друзья мои — и губернаторъ, и его оный правитель, да и нашего Чемерницкаго за собой на изрядное мѣсто потянули. Однако, мнѣ его даже искренно жаль стало, что отъ насъ уѣхалъ. Скука будто еще болѣе».

«*7-го декабря.* По указанію дьячка Сергѣя, замѣтилъ, что нашъ новый дьяконъ Ахилла нѣсколько малодушникъ: онъ многихъ приходящихъ изъ деревень богомольцевъ изъ ложнаго честолюбія благословляетъ потаенно іерейскимъ благословеніемъ, и при семъ еще какъ-то поддерживаетъ лѣвою рукой правый рукавъ рясы. Сказалъ ему, дабы онъ сего отнюдь себѣ впередъ не дозволялъ».

«*18-го іюля 1859 года.* Дьяконъ Ахилла опять замѣченъ

въ томъ, что благословляетъ. Дабы уменьшить его подобіе со священникомъ, я отобралъ у него палку, которую онъ даже и права носить по своему чину не имѣетъ. Перенесъ все сіе благопокорно и тѣмъ меня ужасно смягчилъ».

«*15-го августа.* Пировали у городничаго, и на семъ пиру чуть не произошелъ скандалъ, опять по поводу спора объ умѣ, и напомнило мнѣ это старый споръ, которому въ молодости моей когда-то я смѣялся. Дьяконъ Ахилла и лѣкарь сразились въ спорѣ обо мнѣ: лѣкарь отвергалъ мой умъ, а дьяконъ—возносилъ. Тогда на ихъ шумъ и особливо на крикъ лѣкаря, вошли мы, и я съ прочими, и застали, что лѣкарь сидитъ наверху шкапа и отчаянно болтаетъ ногами, производя стукъ, а Ахилла въ спокойнѣйшемъ видѣ сидитъ посреди комнаты въ креслѣ и говоритъ: «Не снимайте его, пожалуйста, это я его яко на водахъ повѣсихъ за его сопротивленіе». Удерживая свой смѣхъ, я достаточно дьякона за его шалость пощунялъ и сказалъ, что сила не доказательство. А онъ за сіе мнѣ поклонился и, отнесясь къ лѣкарю, добавилъ: «А, что такое? Небось, самъ теперь видишь, что онъ министръ юстиціи». Предивно, что этотъ казаковатый дьяконъ какъ бы провидитъ, что я его смертельно люблю—самъ за что не вѣдая, и онъ тоже меня любитъ, отчета себѣ въ семъ не отдавая».

«*25-го августа.* Какая огромная радость! Ксендзы по Литвѣ учредили общества трезвости: они проповѣдуютъ противъ пьянства, и пьянство престаетъ, и народъ остепеняется, и откупщики-кровопійцы лопаются. Ахъ, какъ бы хотѣлось въ семъ родѣ проповѣдничать!»

«*5-го сентября.* Въ нѣкоторыхъ православныхъ обществахъ заведено то же. Боюсь, не утерплю и скажу слово! Говорилъ бы по мысли Кирилла Бѣлозерскаго, како: «крестьяне ся пропиваютъ, а души гибнутъ». Но какъ проповѣдывать безъ цензуры не смѣю, то хочу интригой учредить у себя общество трезвости. Что дѣлать, за неволю и патеру Игнатію Лойолѣ слѣдовать станешь, когда прямою дорогой ходу нѣтъ».

«*7-го октября.* Составили проектъ нашему обществу, но утвержденія оному еще нѣтъ, а зато пишутъ, что винный откупщикъ жаловался министру на проповѣдниковъ, что они не допускаютъ народъ пить. Ахъ ты, дерзкая каналья! Еще жаловаться смѣетъ, да еще и министру!..»

«*20-го октября.* Бѣшеная вѣсть! Газеты сообщаютъ, что въ іюлѣ сего года откупщики жаловались министру внутреннихъ дѣлъ на православныхъ священниковъ, удерживающихъ народъ отъ пьянства, и господинъ министръ передалъ эту жалобу оберъ-прокурору святѣйшаго синода, который отвѣчалъ, что «св. синодъ благословляетъ священнослужителей ревностно содѣйствовать возникновенію въ нѣкоторыхъ городскихъ и сельскихъ сословіяхъ благой рѣшимости воздержанія отъ употребленія вина». Но откупщики не унялись и снова просили отмѣнить указъ св. синода, ибо, при содѣйствіи его, общества трезвости разведутся повсемѣстно. Тогда министръ финансовъ сообщилъ будто бы оберъ-прокурору святѣйшаго синода, что совершенное запрещеніе горячаго вина, посредствомъ сильно дѣйствующихъ на умы простого народа религіозныхъ угрозъ и клятвенныхъ обѣщаній, не должно быть допускаемо какъ противное не только общему понятію о пользѣ умѣреннаго употребленія вина, но и тѣмъ постановленіямъ, на основаніи которыхъ правительство отдало питейные сборы въ откупное содержаніе. Затѣмъ, сказываютъ, сдѣлано распоряженіе, чтобы приговоры городскихъ и сельскихъ обществъ о воздержаніи уничтожить и впредь городскихъ собраній и сельскихъ сходокъ для сей цѣли нигдѣ не допускать. Пей, бѣдный народъ, и распивайся!»

«*8-го ноября.* Въ день святыхъ и небесныхъ силъ воеводы и архистратига Михаила присланъ мнѣ пребольшущій носъ, дабы не токмо объ учрежденіи общества трезвости не злоумышлялъ, но и проповѣдывать о семъ не смѣлъ, имѣя въ виду и сіе, и оное, и всякое, и овакое, опричь единой пользы человѣческой... Да не полно ли мнѣ, наконецъ, все это писать? Довольно сплошной срамъ-то свой все записывать!»

«*1-го января 1860 года.* Даже новогодія пропускаю и ничѣмъ оставляю неотмѣченныя. Сколь горячъ былъ нѣкогда ко всему трогающему, столь нынѣ ко всему отношусь равнодушно. Протопопица моя, Наталья Николаевна, говоритъ, что я каковъ былъ, таковъ и сегодня; а гдѣ тому такъ быть! Ей, можетъ, это въ иную минуту и такъ покажется, потому что и сама она уже Саррпныхъ лѣтъ достигла, но а мнѣ-то виднѣе... Тѣло-то здорово и даже толсто, да что въ томъ проку, а душа уже какъ бы какою корой

обрастаетъ. Вижу, что нѣчто дивное на Руси зрѣетъ и готовится систематически; народу то потворствуютъ и мирволятъ въ его дурныхъ склонностяхъ, то внезапно начинаютъ сборы податей и поступаютъ тогда безпощадно, говоря при семъ, что сіе «по царскому указу». Дивно, что всего сего какъ бы никто не замѣчаетъ, къ чему это клонитъ.»

«*27-го марта.* Запахло весной, и съ горъ среди дня стремятся потоки. Дьяконъ Ахилла уже справляетъ свои сѣдла и собирается опять скакать степнымъ киргизомъ. Благо ему, что его это тѣшитъ: я ему въ томъ не помѣха, ибо, дѣйствительно, скука неодоленная, а онъ мужикъ сложенія живого, такъ пусть хоть въ чемъ-нибудь имѣетъ разсѣяніе.»

«*23-го апрѣля.* Ахилла появился со шпорами, которыя нарочно заказалъ себѣ для ѣзды изготовить Пизонскому. Вотъ что худо, что онъ ни за что не можетъ ограничиться на умѣренности, а непремѣнно во всемъ достарается до крайности. Чтобъ остановить его, я моими собственными ногами шпоры эти отъ Ахиллиныхъ сапогъ однимъ ударомъ отломилъ, а его просилъ за эту пошлость и самое наѣздничество на сей годъ прекратить. И такъ, онъ нынѣ у меня подъ эпитимьей. Да что же дѣлать, когда нельзя его не воздерживать. А то онъ и мечами препояшется.»

«*2-го сентября.* Дьячокъ Сергѣй сегодня донесъ мнѣ, что дьяконъ ходитъ по ночамъ съ ружьемъ на охоту и застрѣлилъ двухъ зайцевъ. Сергѣю сказалъ, что сему не вѣрю, а дьякону изрядно намылилъ голову.»

«*9-го сентября.* Однако, съ этимъ дьякономъ не мало хлопотъ: онъ вчера отстегалъ дьячка Сергѣя ремнемъ, не поручусь, что можетъ-быть и изъ мщенія, что тотъ на него донесъ мнѣ объ охотѣ; но говоритъ, что будто бы наказалъ его за какое-то богохульство. Дабы не допустить его до суда тѣхъ архіерейскихъ слугъ, коихъ великій императоръ изволилъ озаглавить «лакомыми скотинами» и «несытыми татарами», я призвалъ къ себѣ и битаго, и небитаго и настоятельно заставилъ ихъ поклониться другъ другу въ ноги и примириться, и при семъ замѣтилъ, что дьяконъ Ахилла исполнилъ сіе со всею весьма доброю искренностью. Въ семъ мужикѣ, помимо его горячности, порой усматривается не мало самаго голубинаго незлобія.»

«*14-го сентября.* Дьячокъ Сергѣй, придя будто бы за наполомъ для капусты, словно невзначай донесъ мнѣ, что сегодня вечеромъ у фокусника, который проѣздомъ показываетъ въ кирпичныхъ сараяхъ силача и великана, будетъ на представленіи дьяконъ Ахилла. Прегнусный и мстительный характеръ у сего Сергѣя.»

«*15-го.* Я пошелъ подсмотрѣть это представленіе и, не будучи самъ видимъ, все достаточно хорошо самъ видѣлъ сквозь щелочку въ заднихъ воротищахъ. Ахилла точно былъ, но болѣе не зрителемъ, а какъ бы сказать актеромъ. Онъ появился въ большомъ нагольномъ овчинномъ тулупѣ, съ поднятымъ и обвязаннымъ ковровымъ платкомъ воротникомъ, скрывавшимъ его волосы и большую часть лица до самыхъ глазъ, но я, однако, его, разумѣется, немедленно узналъ, а дальше и мудрено было бы кому-нибудь его не узнать, потому что, когда привозный комедіантомъ великанъ и силачъ вышелъ въ голотѣлесномъ трикѣ и, взявъ въ обѣ руки по пяти пудовъ, мало колеблясь, обнесъ сію тяжесть предъ скамьями, гдѣ сидѣла публика, то Ахилла, забывшись, закричалъ своимъ голосомъ: «ни что же тутъ во всемъ этомъ дивнаго!» Затѣмъ, когда великанъ нахально вызывалъ бороться съ нимъ и никого на сіе состязаніе охотниковъ не выискивалось, то Ахилла, утупя лицо въ оный, обвязанный вокругъ его головы, ковровый платокъ, вышелъ и схватился. Я полагалъ, что кости ихъ сокрушатся: то сей гнется, то оный одолѣваетъ, и такъ нѣсколько минутъ; но, наконецъ, Ахилла сего гордаго нѣмца сломалъ и, закрутивъ ему ноги узломъ, наподобіе, какъ подаютъ въ дворянскихъ домахъ жареныхъ пулярокъ, взялъ оные десять пудовъ, да вдобавокъ самого сего силача и началъ со всѣмъ этимъ коробомъ ходить передъ публикой, громко кричавшею ему «браво». Дивнѣе же всего Ахилла сдѣлалъ этому финалъ: «Господа!— обратился онъ къ публикѣ:—можетъ, кто вздумаетъ увѣрять, что я кто другой: такъ вы ему, сдѣлайте милость, плюньте, потому что я просто мѣщанинъ Иванъ Морозовъ изъ Сѣвска». Кто-то его, изволите видѣть, будто просилъ объ этомъ объясненіи. Но, однако, я всѣмъ этимъ весьма со скуки позабавился. Ахъ, въ чемъ проходитъ жизнь! Ахъ, въ чемъ уже и прошла она! Идучи назадъ отъ сараевъ, гдѣ было представленіе, я впалъ въ нервность какую-то и прослезился—самъ о чемъ не вѣдая, но чувствуя лишь одно,

что есть что-то, чего нельзя мнѣ не оплакивать, когда вздумаю молодые свои широкіе планы и посравню ихъ съ продолженною мною жизнію моею! Мечталъ нѣкогда обиженный, что съ достоинствомъ провести могу жизнь мою, уже хотя не за дѣланіемъ во внѣшности, а за самоусовершенствованіемъ собственнымъ; но не философъ я, а гражданинъ; мало мнѣ сего: нужусь я, скорблю и страдаю безъ дѣятельности, и отъ сего не всегда осуждаю живыя наклонности моего любезнаго Ахиллеса. Богъ прости и благослови его за его плѣнительную сердца простоту, въ которой все его утѣшаетъ и радуетъ. Сергѣю-дьячку сказалъ, что онъ вретъ про Ахиллу, и запретилъ ему на него кляузничать. Чувствую, что я со всею отеческою слабостію полюбилъ сего добраго человѣка.»

«*14-го мая 1861 года.* Въ какія чудесныя дѣла можетъ попадать человѣкъ по легкомыслію своему! Комплектъ шутниковъ у насъ полонъ и безъ дьякона Ахиллы, но сей, однако, никакъ не въ силахъ воздержаться, чтобы еще не пополнять его собою. Городничій у тестя своего, княжескаго управителя Глича, къ шестерику лошадь торговалъ, а тотъ продать не желаетъ, и они поспорили, что городничій добудетъ ту лошадь, и ударили о закладъ. Городничій договорилъ за два рубля праздношатающагося мѣщанина Данилку, по прозвищу «Комиссара», дабы тотъ уворовалъ коня у господина Глича. Прилично, видите, сіе городничему на воровство посылать, хотя бы и ради потѣхи! Но что всего приличнѣе, это было моему Ахиллѣ выхватиться съ своею готовностію пособлять Данилкѣ въ этомъ дѣлѣ. Сергѣй-дьячокъ донесъ мнѣ объ этомъ, и я заблаговременно взялъ Ахиллу къ себѣ и сдалъ его на день подъ надзоръ Натальи Николаевны, съ которою мой дьяконъ и провелъ время, сбивая ей въ карафинѣ сливочное масло, а ночью я положилъ его у себя на полу и, дабы онъ не ушелъ, заперъ до утра всю его обувь и платье. Утромъ же сегодня были мы всѣ пробуждены нѣкоторымъ шумомъ и тревогой: проскакала прямо къ крыльцу городничаго тройкой телѣга и въ ней комиссаръ Данилка между двумя мужиками, кричащій какъ оглашенный. Пошли мы полюбопытствовать, чего онъ такъ кричитъ, и нашли, что Данилку освобождали отъ портъ, начиненныхъ стрекучею крапивой. Оказывается, что господинъ Гличъ его изловилъ, посадилъ въ крапиву,

и слуги его привезли сего молодца назадъ къ пославшему его. Я указалъ дьякону, что если бъ и онъ раздѣлялъ таковую же участь съ Данилкой и пріѣхалъ назадъ, какъ карась, весь обложенный крапивой, пріятно ли бы это ему было? Но онъ отвѣчалъ, что не дался бы,—что хотя бы даже и десять человѣкъ на него напали, онъ бы не дался.—Ну, говорю, а если бы двадцать!—«Ну, а съ двадцатью, говоритъ, ужъ нечего дѣлать—двадцать одолѣютъ», и при семъ разсказалъ, что однажды онъ, еще будучи въ училищѣ, шелъ съ своимъ роднымъ братомъ домой и одновременно съ проходившею партіей солдатъ увидѣли кустъ калины съ немногими вѣтками сихъ никуда почти негодныхъ ягодъ, и устремились овладѣть ими, и Ахилла съ братомъ, и солдаты человѣкъ до сорока, «и произошла, говоритъ, тутъ между нами великая свалка, и братца Финогешу убили». Какъ это наивно и просто! Что разсказъ, то и событіе! Ему «жизнь—копейка».

«*29-го сентября 1861 года.* Пріѣхалъ изъ губерніи сынъ никитской просвирни Маріы Николаевой Препотенской, Варнава. Окончилъ онъ семинарію первымъ разрядомъ, но въ попы идти отказался, а прибылъ сюда въ гражданское уѣздное училище учителемъ математики. На вопросъ мой, отчего не пожелалъ въ духовное званіе, коротко отвѣчалъ, что не хочетъ быть обманщикомъ. Не стерпѣвъ сего глупаго отвѣта, я сказалъ ему, что онъ глупецъ. Однако, сколь ни ничтожнымъ сего человѣка и всѣ его мнѣнія почитаю, но уязвленъ его отвѣтомъ, какъ ядовитой осой. Гдѣ мой проектъ о положеніи духовенства и средствахъ возвысить оное на достойную его степень, дабы глупецъ всякій надъ нимъ не глумился и врагъ отчизны сему не радовался? Видно, правду попадья моя сказала, что «можетъ быть, написалъ хорошо, да не хорошо подписался». Встрѣчаю съ нѣкоей поры частыя упоминанія о книгѣ, озаглавленной «О сельскомъ духовенствѣ» и, пожелавъ ее выписать, потребовалъ оную, но книгопродавецъ изъ Москвы отвѣчаетъ, что книга «О сельскомъ духовенствѣ» есть книга запрещенная и въ продажѣ ея нѣтъ. Вотъ поистинѣ геніальная чья-то мысль, для насъ, духовныхъ: книга о духовенствѣ запрещена, а сіи, какъ ихъ называютъ, разнаго сорта «нигилисты» ее читаютъ и цитируютъ!.. Ну, что это за наругательство надъ смысломъ, взаправду!»

«*22-го ноября.* Ѣздилъ въ губернію на чреду. При двухъ архіерейскихъ служеніяхъ былъ сослужащимъ и въ оба раза стоялъ ниже отца Троадія, а сей Троадій до поступленія въ монашество былъ почитаемъ у насъ за нѣчто самое малое и назывался «скорбноглавымъ»; но зато у него, какъ у цензора и, стало быть, православія блюстителя и нравовъ оберегателя, нашлась и сія любопытная книжка «О сельскомъ духовенствѣ». О, сколько правды! сколько горькой, но благопотребнѣйшей правды! Мню, что отецъ Троадій не все здѣсь написанное съ апробаціей и удовольствіемъ читаетъ.»

«*14-го декабря.* За ранней обѣдней вошелъ ко мнѣ въ алтарь просвирнинъ сынъ, учитель Варнавка Препотенскій, и просилъ отслужить панихиду, причемъ подалъ мнѣ и записку, коей я особаго значенія не придалъ, и потому въ оную не заглянулъ, а только мысленно подивился его богомольности; удивленіе мое возросло, когда я, выйдя на панихиду, увидѣлъ здѣсь и нашу модницу Бизюкину, и всѣхъ нашихъ ссыльныхъ поляковъ. И загадка сія недолго оставалась загадкой, ибо я тотчасъ же все понялъ, когда Ахилла сталъ по запискѣ читать: Павла, Александра, Кондратья... Прекрасная вещь со мною сыграна! Это я, выходитъ, отпѣлъ панихиду за декабристовъ, ибо сегодня и день былъ тотъ, когда было возстаніе. Впередъ буду умнѣе, ибо хотя молиться за всѣхъ могу и долженъ, но въ дуракахъ какъ-то у дураковъ дважды быть ужъ не согласенъ. Причту своему не подалъ никакого виду, и они ничего этого не поняли.»

«*27-го декабря.* Ахилла въ самомъ дѣлѣ иногда изобличаетъ въ себѣ ужъ такую большую легкомысленность, что для его же собственной пользы прощать его невозможно. Младенца, котораго призрѣлъ и воспиталъ неоднократно мною упомянутый Константинъ Пизонскій, сей бѣдный старикъ просилъ дьякона научить какому-нибудь пышному стихотворному поздравленію для городского головы, а Ахилла, охотно взявшись за это порученіе, натвердилъ мальчишкѣ такое:

Днесь Христосъ родился,
А Иродъ царь взбѣсился:
Я васъ поздравляю,
И вамъ того-жъ желаю

Нѣтъ; противъ него необходима большая строгость!»

«*1-го января 1862 года.* Лѣкарь, по обязанности службы, вскрывалъ одного скоропостижно умершаго, и учитель Варнава Препотенскій привелъ на вскрытіе нѣсколько учениковъ изъ уѣзднаго училища, дабы показать имъ анатомію, а потомъ въ классѣ говорилъ имъ: «видѣли ли вы тѣло?» отвѣчаютъ: «видѣли».—«А видѣли ли кости?»—«И кости, отвѣчаютъ, видѣли».—«И все ли видѣли?»—«Все видѣли», отвѣчаютъ.—«А души не видали?»—«Нѣтъ, души не видали».—«Ну, такъ гдѣ же она?..» И рѣшилъ имъ, что души нѣтъ. Я конфиденціально обратилъ на сіе вниманіе смотрителя и сказалъ, что не премину сказать объ этомъ при директорской ревизіи.

«Вотъ ты, попъ, уже и потребовался. Воевалъ ты съ расколомъ—не сладилъ; воевалъ съ поляками—не сладилъ, теперь ладь съ этою дуростью, ибо это уже плодъ отъ чреслъ твоихъ возрастаетъ. Сладишь ли?.. Погадай на пальцахъ».

«*9-го января.* Боленъ жабой и не выхожу изъ дому, и уроки въ училищѣ вмѣсто меня преподаетъ отецъ Захарія. Сегодня онъ пришелъ разстроенный и сконфуженный, и со слезами отъ преподаванія уроковъ вмѣсто меня отказывается, а причина сему такая. Отецъ Захарія въ прошлый урокъ въ третьемъ классѣ задалъ о Промыслѣ, и истолковалъ его и сталъ сегодня отбирать заданное; но одинъ ученикъ, бакалейщика Лялина сынъ, способнѣйшій мальчикъ Аліоша, вдругъ отвѣтилъ, что «онъ допускаетъ только Бога Творца, но не признаетъ Бога Промыслителя». Удивленный такимъ отвѣтомъ, отецъ Захарія спросилъ, на чемъ сей юный богословъ основываетъ свое заключеніе, а тотъ отвѣчалъ, что на томъ, что въ природѣ много несправедливаго и жестокаго, и на первое указалъ на смерть, неправосудно будто бы посланную всѣмъ за грѣхопаденіе одного человѣка. Отецъ Захарія, вынужденъ будучи такъ этого дерзкаго отвѣта не бросить, началъ разъяснять ученикамъ, что мы, по несовершенству ума нашего, всему сему весьма плохіе судьи, и подкрѣпилъ свои слова указаніемъ, что если бы мы во грѣхахъ нашихъ вѣчны были, то и грѣхъ былъ бы вѣченъ, все порочное и злое было бы вѣчно, а для бо̀льшаго вразумленія прибавилъ примѣръ, что и кровожадный тигръ, и свирѣпая акула были бы вѣчны, и

достаточно симъ всѣхъ убѣдилъ. Но на вторыхъ часахъ, когда отецъ Захарія былъ въ низшемъ классѣ, сей самый мальчикъ вошелъ туда и тамъ при малюткахъ опровергъ отца Захарію, сказавъ: «а что же бы сдѣлали намъ кровожадный тигръ и свирѣпая акула, когда мы были бы безсмертны?» Отецъ Захарія, по доброти своей и ненаходчивости, только и нашелся отвѣтить, что «ну, ужъ о семъ люди умнѣе насъ съ тобой разсуждали». Но это столь старика тронуло, что онъ у меня часъ добрый очень плакалъ; а я, какъ на зло, все еще боленъ и не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству, въ коемъ подозрѣваю учителя Варнаву».

«*13-го января.* Сколь я, однако, угадчивъ! Аліоша Лялинъ выпоронъ отцомъ за свое вольнодумное разсужденіе и, плача подъ лозами, объявилъ, что сему вопросу и послѣдующему отвѣту научилъ его учитель Препотенскій. Негодую страшно; но лѣкарь нашъ говоритъ, что выйти мнѣ невозможно, ибо у меня будто рецидивная angina, и затѣмъ проторю дорожку ad patres, а сего бы еще не хотѣлось. Писалъ смотрителю записку и получилъ отвѣтъ, что Препотенскому, въ удовлетвореніе моего требованія, сдѣлано замѣчаніе. Да, замѣчаніе! за растленіе умовъ, за соблазнъ *малыхъ сихъ*, за оскорбленіе честнѣйшаго, кроткаго и, можно сказать, примѣрнаго служителя алтаря — замѣчаніе, а за то, что голодный дьячокъ промѣнялъ Псалтырь старую на новую, сажаетъ семью цѣлую на годъ безъ хлѣба... О, роде лукавый!..»

«*18-го января.* Препотенскій, конечно, поощрился только этимъ замѣчаніемъ и моего отца Захарію совсѣмъ заклевалъ. Этотъ глупый, но язвительный негодяй научилъ ожесточеннаго лозами Аліошу Лялина спросить у Захаріи: «правда ли, что пьяный человѣкъ скотъ?» —«Да, скотъ»,— отвѣчалъ, ничто же сумняся, отецъ Захарія. «А гдѣ же его душа въ это время, ибо вы говорили-де, что у скота души нѣтъ?» Отецъ Захарія смутился и отвѣтилъ только то, что: «а, ну, погоди, я вотъ еще и про это твоему отцу скажу: онъ тебя опять выпоретъ». Для Господа Бога скажите, вѣдь становится серьезнымъ вопросомъ: что дѣлать съ этимъ новымъ супостатомъ просвирнинымъ сыномъ и научителемъ пакостей Варнавою».

«*19-го января.* Старый бакалейщикъ Лялинъ вновь вы-

дралъ сына лозами и за симъ вслѣдъ взялъ его совсѣмъ изъ училища въ лавку, сказавъ, что «здѣсь не училище, а развратъ содомскій». Ненавижу мою несносную горловую жабу, которая мнѣ въ эти минуты стиснула гортань. Вотъ этотъ успѣхъ Варнавинъ есть живой прикладъ, что̀ такое можетъ сдѣлать одна паршивая овца, если ее въ стадо пустятъ! Вотъ также и наука къ тому, что музыканту мало трезвости, а нужно и искусство. Первый прикладъ даетъ Препотенскій, второй—мой отецъ Захарія. Ради просвѣтителя Препотенскаго изъ школы дѣтей берутъ, а отецъ Захарія, при всей чистотѣ души своей, ни на что отвѣтить не можетъ. Вотъ когда уши мои выше лба хотятъ вспрыгнуть. Да, теперь чувствуешь ли, разумный гражданинъ, что я не совсѣмъ дармоѣдъ и не обманщикъ? Чувствуешь ли? И ежели чувствуешь сіе, то чувствуешь ли и то, что я хилъ, старъ и отупѣлъ отъ всѣхъ оныхъ «молчи»... А что еще тамъ на смѣну мнѣ растетъ? Думай о нихъ, брате мой, думай о нихъ, искренній мой и ближній, ибо уже ехидный врагъ внюду насъ всталъ, и сей врагъ плоть отъ плоти нашея. Нынѣ онъ еще пока глупъ и юродивъ, въ Варнавкиной кожурѣ ходитъ, но старый попъ, опытомъ наученный, говоритъ тебѣ: на стражѣ стой и зорко слѣди, во что онъ перерядится. Гдѣ теперь Чемерницкій, и оный мой правитель? Какого они плана держатся? Сколь они умнѣе стали съ тѣхъ поръ, какъ разговаривали въ храмѣ и пѣли на крыльцѣ «много ли это» вмѣсто многая лѣта? Пойди нынѣ, лови! Сунься... они тебя поймаютъ».

«*21-го января.* Скажешь себѣ слово подъ-руку, да и самъ не обрадуешься. Еще и чернило съ достаточною прочностію не засохло, коимъ писалъ, что «лови ихъ, они сами тебя поймаютъ», какъ вдругъ уже и изловленъ. Сегодня пришелъ ко мнѣ городничій Порохонцевъ и принесъ копію съ служебной бумаги изъ Петербурга. Писано, что до свѣдѣнія высшаго начальства дошло о распространеніи въ нашихъ мѣстахъ газеты «Колоколъ» и прочихъ секретныхъ сочиненій, и что посему вмѣняется въ обязанность распространеніе сихъ вещей строго преслѣдовать; а подписано—нашъ «Чемерницкій!» Каковъ!»

«*27-го.* Я ужасно встревоженъ. Съ гадостнымъ Варнавой Препотенскимъ справы нѣтъ. Разсказывалъ на урокѣ, что Іона пророкъ не могъ быть во чревѣ китовѣ, потому что

у огромнаго звѣря кита все-таки весьма узкая глотка. Рѣшительно не могу этого снесть, но пожаловаться на него директору боюсь, дабы еще и оттуда не ограничилось все однимъ легонькимъ ему замѣчаніемъ».

«*2-го февраля.* Почтмейстеръ Тимоѳей Ивановичъ, подпечатывая письма, нашелъ описаніе Тугановскаго дѣла, списаннаго городничимъ для Чемерницкаго, и всѣ сему очень смѣялись. На что же сіе дѣлаютъ, на что же и подпечатываніе съ болтовствомъ, уничтожающимъ сей операціи всякое значеніе, и корреспондированіе революціонеру отъ полицейскаго чиновника? Городничій намекалъ, что литераторствуетъ для «Колокола». Не достойнѣе ли бы было, если бы ничего этого, ни того, ни другого, совсѣмъ не было?»

«*14-го февраля.* Я все еще боленъ и не выхожу. Читалъ книгу журнала, гдѣ въ одной повѣсти выводится авторомъ попъ. Разсказано, какъ онъ пріѣхалъ въ село и какъ онъ старается быть добрымъ и честнымъ; но встрѣчаетъ къ тому ежечасныя препятствія. Хотя все это описано вскользь и безъ фундаментальнаго знанія нашего положенія, но весьма тому радуюсь, что пришла автору такая мысль. Насталъ часъ, чтобы свѣтскіе люди посмотрѣли на насъ, а мы въ свою очередь въ ихъ соображенія и стремленія вникли. Какой смѣшной нашъ дьяконъ Ахилла! Видя, что я въ болѣзни случаю, и желая меня разсѣять, привелъ ко мнѣ собачку Пизонскаго, ублюдочку пуделя, коему какъ Ахилла скажетъ: «собачка, засмѣйся!» она какъ бы и вправду, скаля свои зубы, смѣется. Опять сядетъ предъ нею большущій дьяконъ на корточки и повторитъ: «засмѣйся, собачка!» она и снова смѣется. Сколь дѣтски близокъ этотъ Ахилла къ природѣ и сколь все его въ ней занимаетъ!..»

«*17-го февраля.* Препотенскій окончательно вывелъ меня изъ терпѣнія. Я его и человѣкомъ болѣе вовсе считать не могу послѣ того, что онъ сдѣлалъ, и о дѣяніяхъ его написалъ не директору его, а предводителю Туганову. Что отродится отъ сего стараго вольтерьянина — не знаю, но все-таки онъ человѣкъ земли, а не наемщикъ, и пожалѣетъ ее. Варнавка дѣлаетъ, до чего только безуміе довести можетъ. За болѣзнію учителя Гонорскаго, Препотенскому поручено временно читать исторію, а онъ сейчасъ же началъ толко-

вать о безнравственности войны и относилъ сіе все прямо къ событіямъ въ Польшѣ. Но этого мало ему было, и онъ, глумясь надъ цивилизаціей, порицалъ патріотизмъ и начала національныя, а далѣе осмѣивалъ дѣтямъ благопристойность, представляя ее во многихъ отношеніяхъ даже безнравственною, и привелъ такой примѣръ сему, что народы образованные скрываютъ актъ зарожденія человѣка, а не скрываютъ акта убійства, и даже оружія войны на плечахъ носятъ. Чего сему глупцу хочется? По правдѣ, сіе столь глупо, что и подумать стыдно, а я все сержусь. Мелочь сіе; но я вѣдь мелочи однѣ и назираю, ибо я въ малѣ и поставленъ».

«*28-го февраля.* Ого! Вольтерьянинъ-то мой не шутитъ. Пріѣхалъ директоръ. Я не вытерпѣлъ, и хотя лѣкарь грозилъ мнѣ опасностью, однако я вышелъ и говорилъ ему о безчинствахъ Препотенскаго; но директоръ всему сему весьма разсмѣялся. Что это у нихъ за смѣшливость! Обратилъ все сіе въ шутку и сказалъ, что отъ этого Москва не загорится, «а впрочемъ,—добавилъ онъ съ серьезною миной: — гдѣ вы мнѣ прикажете брать другихъ? они всѣ нынѣ такіе бываютъ». И вышелъ я же въ смѣшныхъ дуракахъ, какъ безполезный хлопотунъ. Видно, такъ этому и быть слѣдуетъ».

«*1-го марта.* И вправду я старый шутъ вѣрно сталъ, что всѣ надо мною потѣшаются. Пришли сегодня ко мнѣ лѣкарь съ городничимъ, и я имъ сказалъ, что здоровье мое отъ вчерашняго выхода нимало не пострадало; но они на сіе разсмѣялись и отвѣчали, что лѣкарь это шутя продержалъ меня въ карантинѣ, ибо ударился объ закладъ съ кѣмъ-то, что стоитъ ему захотѣть, я мѣсяцъ просижу дома. Съ этою цѣлію онъ и запугивалъ меня опасностью, которой не было. Тфу!»

«*14-го мая.* Препотенскій, однакоже, столь осмѣлѣлъ, что и въ моемъ присутствіи мало измѣняется. Добывъ у кого-то изъ раскольниковъ весьма распространенную книжечку съ видами, гдѣ антихристъ изображенъ архіереемъ въ нынѣшнемъ облаченіи, изъяснялъ, что Христосъ былъ соціалистъ, а мы, попы и архіереи, какъ сему противимся, то мы и есьмы антихристы».

«*20-го іюня.* Отлично поправился, проѣхавшись по благочинію. Такъ свѣжо и хорошо въ природѣ, на людяхъ и

миръ и довольство замѣчается. Въ Благодуховѣ крестьяне на свой счетъ поправили и расписали храмъ, но опять и здѣсь, при такомъ спокойномъ дѣлѣ, явилось нѣчто въ игривомъ духѣ. Изобразили въ притворѣ на стѣнѣ почтенныхъ лѣтъ старца, опочивающаго на ложѣ, а внизу умѣстили подпись: «Въ седьмый день Господь почилъ отъ всѣхъ дѣлъ своихъ». Далъ отцу Якову за сіе замѣчаніе и картину велѣлъ замалевать».

«*11-го іюля.* Позавчера служилъ у насъ въ соборѣ проѣздомъ владыка. Спрашивалъ я отца Троадія: стерта ли въ Благодуховѣ извѣстная картина? и узналъ, что картина еще существуетъ, чѣмъ было и встревожился, но отецъ Троадій успокоилъ меня, что это ничего, и шутливо сказалъ, что «это въ народномъ духѣ», и еще присовокупилъ къ сему нѣкоторый анекдотъ о душѣ въ башмакахъ, и опять все покончили въ самомъ игривомъ. Эко! сколь имъ все весело».

«*20-го іюля.* Ѣздилъ въ Благодухово и картину велѣлъ состругать при себѣ: въ глупомъ народному духу потворствовать не нахожу нужнымъ. Узналъ о художникѣ; оказалось, что это понамарь Павелъ упражнялся. Гармонируя съ духомъ времени въ шутливости, велѣлъ сему художнику сѣсть съ моимъ кучеромъ на облучокъ и, прокативъ его сорокъ верстъ, отпустилъ пѣшечкомъ обратно, чтобы имѣлъ время въ сей проходкѣ поразмыслить о своей живописной фантазіи».

«*12-го августа.* Дьяконъ Ахилла все давно что-то мурлычитъ. Недавно узналъ, что это онъ вступилъ въ польскій хоръ и поетъ у Кальярскаго, басомъ, польскія пѣсни. Далъ ему честное слово, что донесу о семъ владыкѣ; но простилъ, потому что вижу, что это учинено имъ по его всегдашнему легкомыслію».

«*12-го октября.* Былъ у насъ на ревизіи новый губернаторъ. Заходилъ въ соборъ и въ училище, и въ оба раза, и въ училищѣ, и въ церкви, непремѣнно требовалъ у меня благословенія. Человѣкъ русскій и по обхожденію, и по фамиліи. Очень еще молодъ, учился въ семъ особенномъ училищѣ правовѣдѣнія, и изъ Петербурга въ первый разъ всего выѣхалъ, что сейчасъ на немъ и замѣтно, ибо все его интересуетъ. Съ особымъ любопытствомъ разспрашивалъ о характерѣ столкновеній духовенства съ властію предво-

дительскою; но, къ сожалѣнію, я его любопытства удовлетворить не могъ, ибо у насъ, что уѣздный Плодомасовъ, что губернскій Тугановъ — мужи достойные, столкновеній нѣтъ. Говорилъ, что копошенью поляковъ онъ не намѣренъ придавать никакого значенія, и выразился такъ: что «ихъ просто надо игнорировать», какъ бы ихъ нѣтъ, ибо «все это, добавилъ, должно стушеваться; масса ихъ поглотитъ, и ихъ слѣда не останется». При семъ не безъ краснорѣчія указалъ, что не должно ставить всякое лыко въ строку, «ибо (его слова) все это только раздуваетъ несогласіе и отвлекаетъ правительственныхъ людей отъ ихъ главныхъ цѣлей». При семъ, развивая свою мысль въ духѣ высшей же, вѣроятно, политики, заговорилъ о національномъ фанатизмѣ и нетерпимости».

«*14-го ноября.* Разсказываютъ, что одинъ помѣщикъ ѣздилъ къ губернатору жаловаться на неисполненіе крестьянами обязательствъ; губернаторъ, остановивъ потокъ его жалобъ, сказалъ: «прошу васъ, говоря о народѣ, помнить, что я демократъ».

«*20-го января 1863 года.* Пишу замѣчательную и назидательную *исторію о суррогатѣ.* Сообщаютъ такую курьезную повѣсть о первомъ свиданіи сего новаго губернатора съ нашимъ предводителемъ Тугановымъ. Сей высшей политики исполненный петербургскій шпицъ и Вольтеру нашему отрекомендовалъ себя демократомъ, за что Тугановъ на балѣ въ дворянскомъ собраніи въ глаза при всѣхъ его и похвалилъ, добавивъ, что это направленіе самое прекрасное и особенно въ настоящее время идущее кстати, такъ какъ у насъ уѣздахъ въ трехъ изрядный голодъ и для любви къ народу открыта широкая дѣятельность. Губернаторъ сему весьма возрадовался, что есть голодъ, но осерчалъ, что ему это до сихъ поръ было неизвѣстно, и, подозвавъ своего правителя, сильно ему выговаривалъ, что тотъ его не извѣстилъ о семъ прежде, причемъ, какъ настоящій торопыга, тотчасъ же велѣлъ донести о семъ въ Петербургъ. Но правитель, оправляя передъ нимъ свою вину, молвилъ, что замѣчаемый въ тѣхъ уѣздахъ голодъ еще не есть настоящій голодъ; ибо, хотя тамъ хлѣбъ и пропалъ, но зато изрядно «родилось *просо*». Отсюда и началась исторія. «Что такое *просо?*»—воскликнулъ губернаторъ. «Просо — суррогатъ хлѣба», — отвѣчалъ ученый пра-

витель, вмѣсто того, чтобы просто сказать, что изъ пръса кашу варять, что, можетъ статься, удовлетворило бы и нашего правовѣда, ибо онъ долженъ быть мастеръ варить кашу. Но, однако, случилось такъ, что сказано ему «суррогатъ». «Стыдитесь,—возразилъ, услыхавъ это слово, вышнеполитикъ:—стыдитесь обманывать меня, когда стоитъ войти въ любую фруктовую лавку, чтобы знать на что употребляется просо: въ просѣ виноградъ возятъ!» Тугановъ серьезно промолчалъ, а черезъ день послалъ изъ комиссіи продовольствія губернатору списокъ хлѣбныхъ сѣмянъ въ Россіи. Губернаторъ сконфузился, увидавъ тамъ просо, и, призвавъ своего правителя, сказалъ: «Извините, что я вамъ тогда не повѣрилъ, вы правы, *просо — хлѣбъ*». Всеискреннѣйше тебя, любезный демократъ, сожалѣю! Нѣмецъ хотя и полагалъ, что Николай угодникъ овсомъ промышляетъ, но такъ не виноградничалъ».

«*6-го декабря*. Постоянно приходятъ вѣсти о контрахъ между предводителемъ Тугановымъ и губернаторомъ, который, говорятъ, отыскиваетъ чѣмъ бы ткнуть предводителя за свое «просо» и, наконецъ, кажется они столкнулись. Губернаторъ все за крестьянъ, а тотъ, Вольтеръ, за свои права и вольности. У одного правовѣдство смыслъ покривило, такъ что ему надо бы пожелать позабыть то, что онъ узналъ, а у другого — гонору съ Араратскую гору, и уже никакого ни къ какимъ правамъ почтенія. У нихъ будетъ баталія».

«*20-го декабря*. Пріѣхали на Святки семинаристы, и сынъ отца Захаріи, дающій приватные уроки въ добрыхъ домахъ, привезъ совершенно невѣроятную и дикую новость: какой-то отставной солдатъ, притаясь въ уголкѣ Покровской церкви, снялъ вѣнецъ съ чудотворной иконы Іоанна воина и, будучи взятъ съ тѣмъ вѣнцомъ въ домѣ своемъ, объяснилъ, что онъ этого вѣнца не крадъ, а что, жалуясь на необезпеченность отставного русскаго воина, молилъ сего святого воинственника пособить ему въ его бѣдности, а святой, якобы внявъ сему, проговорилъ: «я ихъ за это накажу въ будущемъ вѣкѣ, а тебѣ на вотъ покуда это», и съ сими участливыми словами снялъ будто бы своею рукой съ головы оный драгоцѣнный вѣнецъ и промолвилъ «возьми». Стоитъ ли, кажется, такое объясненіе какого-либо вниманія? Но просу воздѣйствовавшу разсуждено

иначе, и отъ губернатора въ консисторію послѣдовалъ запросъ: могло ли происходить таковое чудо? Разумѣется, что консисторія очутилась въ затрудненіи, ибо нельзя же ей отвѣчать, что чудо невозможно; но къ чему же, однако, это направляется? Предводитель Тугановъ по сему случаю секретно запротестовалъ и написалъ, что видитъ это дѣйствіе неразумнымъ и предпринимаемымъ единственно для колебанія вѣры и для насмѣшки надъ духовенствомъ. Такимъ образомъ сей старый невѣръ становится за духовенство, а обязанный защищать оное правовѣдецъ надъ нимъ издѣвается. Нѣтъ, кажется, и вправду уже грядетъ часъ и нынѣ есть, когда здравый разумъ будетъ не въ состояніи усматривать во всемъ совершающемся хотя малѣйшую странность. Самое заступленіе Туганова, такъ какъ оно не по ревности къ вѣрѣ, а по враждѣ къ губернатору, то хотя бы это, повидимому, и на пользу въ семъ настоящемъ случаѣ, но, однако, радоваться тутъ нечему, ибо чего же можно ожидать хорошаго, если въ государствѣ всѣ одинъ надъ другимъ станутъ издѣваться, забывая, что они одной коронѣ присягали и одной странѣ служатъ? Плохо-съ!»

«*9-го января 1864.* Самъ Тугановъ пріѣзжалъ зачѣмъ-то въ Плодомасово. Я не утерпѣлъ и поѣхалъ вчера повидаться и узнать насчетъ его борьбы и его протеста за Іоанна воина. Чудно! Сей Тугановъ, нѣкогда чтитель Вольтера, заговорилъ со мною съ грустью и въ наидруженнѣйшемъ тонѣ. Протестъ свой онъ еще не считаетъ достаточно сильнымъ, ибо сказалъ, «что я самъ для себя думаю обо всемъ чудодѣйственномъ, то про мой обиходъ при мнѣ и остается, а не могу же я раздѣлять бездѣльничьихъ желаній — отнимать у народа то, что одно только пока и вселяетъ въ него навыкъ думать, что онъ принадлежитъ немножечко къ высшей сферѣ бытія, чѣмъ его полосатая свинья и корова». Какая сухменность въ этихъ словахъ, но я уже не возражалъ... Что ужъ дѣлать! Боже! помози Ты хотя *сему невѣрію,* а то взаправду не доспѣть бы намъ до табуннаго скитанія, пожиранія корней и конскаго ржанія».

«*20-го мая.* По части шутовства новое преуспѣяніе: по случаю распространившагося по губерніи вредоноснаго повѣтрія на скотъ и людей, въ губернскихъ вѣдомостяхъ на-

печатано внушеніе духовенству — наставлять прихожанъ, «чтобы крестьяне остерегались шарлатанскаго лѣченія знахарей и бабокъ, нерѣдко разстраивающихъ здоровье навѣки, а обращались бы тотчасъ за пособіемъ къ мѣстнымъ врачамъ и ветеринарамъ?» А гдѣ же у насъ сіи «мѣстные врачи и ветеринары?» Припоминаю невольно давно читанную мною старую книжечку англійскаго писателя, остроумнѣйшаго пастора Стерна, подъ заглавіемъ «Жизнь и мнѣнія Тристрама Шанди», и заключаю, что, по окончаніи у насъ сего патентованнаго нигилизма, нынѣ начинается *шандіизмъ*, ибо и то, и другое не есть ученіе, а есть особое умственное состояніе, которое по Стернову опредѣленію «растворяетъ сердце и легкія, и вертитъ очень быстро многосложное колесо жизни». И что меня еще болѣе убѣждаетъ въ томъ, что Русь вступила въ фазу шандіизма, такъ это то, что сей Шанди говорилъ: «если бы мнѣ, какъ Санхѣ-Пансѣ, дали выбирать для себя государство, то я выбралъ бы себѣ не коммерческое и не богатое, а такое, въ которомъ бы непрестанно какъ въ шутку, такъ и въ серьезъ смѣялись». Ей-право опасаюсь, не насъ ли убогенькихъ разумѣлъ сей штуковатый Панса, ибо все это какъ разъ къ намъ подходящее, и не богаты, и не тороваты, а ужъ куда какъ гораздо смѣшливы!»

«21-го мая. Помѣщикъ Плодомасовъ вернулся изъ столицы и привезъ и мнѣ, и отцу Захаріи, и дьякону Ахиллѣ весьма дорогія трости натуральнаго камыша и показывалъ небольшую стеклянную лампочку съ горящею жидкостью, «керосинъ» или горное масло, что добывается изъ нефти».

«9-го іюня. Я допустилъ въ себѣ постыдную мелочность съ тростями, о которыхъ выше писалъ, и цѣлая прошедшая жизнь моя опрокинулась какъ рѣшето и покрыла меня. Я сижу подъ этимъ рѣшетомъ, какъ ощипанный грачъ, котораго злые ребята припасли, чтобы надъ нимъ потѣшаться. Вотъ поистинѣ печальнѣйшая сторона житейскаго измельчанія: я обмелѣлъ, обмелѣлъ всемѣрно и даже до того обмелѣлъ, что безгласной бумагѣ суетности своей довѣрить не въ состояніи, а скажу вкратцѣ: меня смущало, что у меня и у Захаріи одинаковыя трости и почти таковая же подарена Ахиллѣ. Боже! на то ли я былъ нѣкогда годенъ, чтобы за тросточку обижаться или, что еще хуже, ухищряться объ ея отличіи? Нѣтъ, не такой я

былъ, не пустяки подобные меня влекли, а занятъ я былъ мыслью высокою, чтобъ усовершивъ себя въ земной юдоли, увидѣть невечерній свѣтъ и возвратить съ процентами врученный мнѣ отъ Господа талантъ».

Этимъ оканчивались старыя Туберозовскія записи, дочитавъ которыя, старикъ взялъ перо и написалъ новую дату, началъ спокойно и строго выводить на чистой страницѣ: «Было внесено мной своевременно, какъ однажды просвирнинъ сынъ, учитель Варнава Препотенскій, надъ трупомъ смущалъ неповинныхъ дѣтей о душѣ человѣческой, говоря, что никакой души нѣтъ, потому что нѣтъ ей въ тѣлѣ видимаго гнѣздилища. Гнѣвъ мой противъ сего пустого, но вреднаго человѣка былъ въ оныя времена умными людьми признанъ суетнымъ, и самый поводъ къ сему гнѣву найденъ не заслуживающимъ вниманія. Нынѣ новое происшествіе: когда недавно былъ паводокъ, къ городскому берегу принесло откуда-то сверху неизвѣстное мертвое тѣло. Мать Варнавки, бѣдненькая просвирня, сегодня сказала мнѣ въ слезахъ, что лѣкарь съ городничимъ, вѣроятно по злобѣ къ ея сыну, или въ насмѣшку надъ нимъ, подарили ему онаго утопленника, а онъ, Варнавка, по глупости своей, этотъ подарокъ принялъ, сварилъ мертвеца въ корчагахъ, въ которыхъ она доселѣ мирно золила свое бѣлье, и отваръ вылилъ подъ апортовую яблоньку, а кости, собравъ, повезъ въ губернскій городъ, и что чрезъ сіе она опасается, что ея драгоцѣннаго сына возьмутъ какъ убійцу съ костями сего человѣка. Ее я, какъ умѣлъ, успокоилъ, а городничаго просилъ объяснить: «для какихъ надобностей трупъ утонувшаго человѣка, подлежащій послѣ вскрытія церковному погребенію, былъ отданъ ими учителю Варнавкѣ?» И получилъ въ отвѣтъ, что это сдѣлано ими «въ интересахъ просвѣщенія», то-есть для образованія себя, Варнавки, надъ скелетомъ въ естественныхъ наукахъ. Пресмѣшно, какое раченіе о наукѣ со стороны людей, столь отъ нея далекихъ какъ городничій Порохонцевъ, проведшій полжизни въ кавалерійской конюшнѣ, гдѣ учатся конямъ хвостъ подвязывать, или лѣкарь-лгунъ, принадлежащій къ той наукѣ, члены которой учеными почитаются только отъ круглыхъ невѣждъ, чему и служитъ доказательствомъ его грубѣйшая нелѣпица, якобы онъ, выпивъ по ошибкѣ у Плодомасова, вмѣсто водки, рюмку освѣтительнаго керо-

сина, имѣлъ-де цѣлую недѣлю животъ свой свѣтящимся. Но какъ бы тамъ ни было, а сваренный Варнавкой утопленникъ превратился въ скелетъ. Кости Варнавка отвезъ въ губернію къ фельдшеру въ богоугодное заведеніе. Сей искусникъ въ анатоміи позацѣплялъ всѣ эти косточки одну за другую и составилъ скелетъ, который привезенъ сюда въ городъ и нынѣ находится у Препотенскаго, укрѣпившаго его на окнѣ своемъ, что выходитъ какъ разъ противъ алтаря Никитской церкви. Тамъ онъ и стоитъ, служа постояннымъ предметомъ сбора уличной толпы и ссоры, и нестроеній домашнихъ у Варнавки съ его простоватою матерью. Мертвецъ сей началъ мстить за себя. Еженощно началъ онъ сниться несчастливой матери сего ученаго и смущаетъ покой старухи, неотступно требуя у нея себѣ погребенія. Бѣдная и вполнѣ несчастливая женщина эта молилась, плакала и, на колѣняхъ стоя, просила сына о дарованіи ей сего скелета для погребенія и натурально встрѣтила въ семъ наирѣшительнѣйшій отпоръ. Тогда она рѣшилась на мѣру нѣкоего отчаянія и, въ отсутствіе сына, собрала кости въ небольшой деревянный ковчежецъ и снесла оныя въ садъ и своими старческими руками закопала эти кости подъ тою же апортовою яблонью, подъ которую вылито Варнавкой разваренное тѣло несчастливца. Но все это вышло неудачно, ибо ученый сынокъ обратно ихъ оттуда ископалъ, и началась съ сими костями новая исторія, еще по сіе время не оконченная. Просто смѣху и сраму достойно, что̀ изъ сего послѣдовало! Похищали они эти кости другъ у дружки до тѣхъ поръ, пока мой дьяконъ Ахилла, которому до всего дѣло, взялся сіе прекратить и такъ немѣшкотно приступилъ къ исполненію этой своей рѣшимости, что я не имѣлъ никакой возможности его удержать и обрезонить, и вотъ точно какое-то предощущеніе меня смущаетъ, какъ бы изъ этого пустяка не вышло какой-нибудь вредной глупости для людей путныхъ. А кромѣ того, я ужасно разстроился разговорами съ городничимъ и съ лѣкаремъ, укорявшими меня за мою *ревнивую* (по ихъ словамъ) *нетерпимость къ невѣрію*, тогда какъ, думается имъ, вѣры уже никто не содержитъ, не исключая-де и тѣхъ, кои офиціально за нее заступаются. Вѣрю! По вѣрѣ моей и сему вѣрю и даже не сомнѣваюсь, но удивляюсь, откуда это взялась у насъ такая ожесточенная вражда и ненависть

къ вѣрѣ? Происходитъ ли сіе отъ стремленій къ свободѣ; но кому же вѣра помѣхой въ дѣлахъ всяческихъ преуспѣяній къ исканію свободы? Отчего настоящіе мыслители такъ не думали?»

Отецъ Савелій глубоко вздохнулъ, положилъ перо, еще взглянулъ на свой дневникъ и словно еще разъ общимъ генеральнымъ взглядомъ окинулъ всѣхъ, кого въ жизнь свою вписалъ онъ въ это не безстрастное помпнанье, закрылъ и замкнулъ свою деминатоновую книгу въ ея старое мѣсто. Затѣмъ онъ подошелъ къ окну, приподнялъ спущенную коленкоровую штору и, поглядѣвъ за рѣку, выпрямился во весь свой ростъ и благодарственно перекрестился. Небо было закрыто черными тучами и рѣдкія капли дождя уже шлепали въ густую пыль; это былъ дождь, прошеный и моленый Туберозовымъ, прошедшимъ днемъ, на мірскомъ молебнѣ, и въ теперешнемъ его появленіи старикъ видѣлъ какъ бы знаменіе, что его молитва не бездѣйственна. Старый Туберозовъ шепталъ слова восторженныхъ хваленій и не замѣтилъ, какъ по лицу его тихо бѣжали слезы, и дождь все частилъ капля за каплей и, наконецъ, засѣялъ какъ сквозь частое сито, освѣжая влажною прохладой слегка воспаленную голову протопопа, который такъ и уснулъ, какъ сидѣлъ у окна, склонясь головой на свои бѣлыя руки.

Между тѣмъ безгромный, тихій дождь пролилъ, воздухъ сталъ чистъ и свѣжъ, небо очистилось, и на востокѣ сѣдой сумракъ начинаетъ серебриться, приготовляя мѣсто зарѣ дня иже во святыхъ отца нашего Меѳодія Песношскаго, дня, которому, какъ мы можемъ вспомнить, дьяконъ Ахилла придавалъ такое особенное и, можно сказать, великое значеніе, что даже велѣлъ кроткой протопопицѣ записать у себя этотъ день на всегдашнюю память.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Разсвѣтъ быстро яснѣлъ, и пока солнце умывалось въ туманѣ за дымящимся боромъ, золотыя стрѣлы его лучей уже остро вытягивались на горизонтѣ. Легкій туманъ всполохнулся надъ рѣкой и поползъ вверхъ по скалистому берегу; подъ мостомъ онъ клубится и липнетъ около черныхъ и мокрыхъ свай. Изъ-подъ этого тумана синѣетъ бакша и виднѣется бѣлая полоса шоссе. На всемъ еще лежатъ тѣни

полусвѣта, и нигдѣ, ни внутри домовъ, ни на площадяхъ и улицахъ, не замѣтно никакихъ признаковъ пробужденія.

Но вотъ на самомъ верху крутой, нагорной стороны Стараго Города, надъ узкою крестовою тропой, что ведетъ по уступамъ кременистаго обрыва къ рѣкѣ, тонко и прозрачно очерчиваются контуры весьма странной группы. При слабомъ освѣщеніи, при которомъ появляется эта группа, въ ней есть что-то фантастическое. Посреднѣ ея стоитъ человѣкъ, покрытый съ плечъ до земли ниспадающимъ длиннымъ хитономъ, слегка схваченнымъ въ опоясьѣ. Фигура эта появилась совершенно незамѣтно, точно выплыла изъ рѣдѣющаго тумана, и стоитъ неподвижно, какъ привидѣніе.

Суевѣрный человѣкъ можетъ подумать, что это старогородскій домовой, пришедшій повздыхать надъ городомъ за часъ до его пробужденія.

Однако, все болѣе и болѣе яснѣющій разсвѣтъ съ каждымъ мгновеніемъ позволяетъ точнѣе видѣть, что это не домовой, и не иной духъ, хотя въ то же время все-таки и не совсѣмъ что-либо обыкновенное. Теперь мы видимъ, что у этой фигуры руки опущены въ карманы. Изъ одного кармана торчитъ очень длинный прутъ, съ надвязанною на его концѣ пращей, или, по крайней мѣрѣ, рыболовною лесой, изъ другого — на четырехъ бечевахъ виситъ что-то похожее на тяжелую палицу. Но вотъ шелохнулъ вѣтерокъ, по сонной рѣкѣ тихо сверкнуло мелкою рябью, за узорною рѣшеткой соборнаго храма встрепенулись листочки березъ, и пустыя складки широкихъ покрововъ нагорной статуи задвигались тихо и открыли тонкія ноги, въ бѣлыхъ ночныхъ панталонахъ. Въ эту же секунду, какъ обнажились эти тонкія ноги, взади изъ-за нихъ неожиданно выставилось четыре руки, принадлежащія двумъ другимъ фигурамъ, скрывавшимся на второмъ планѣ картины. Услужливыя руки эти захватили раздутыя полы, собрали ихъ и снова обернули ими тоненькія, бѣлыя ноги кумира. Теперь стоило только взглянуть поприлежнѣе, и можно было разсмотрѣть двѣ остальныя фигуры. Справа виднѣлась женщина. Она бросалась въ глаза прежде всего непомѣрною выпуклостью своего чрева, на которомъ высоко поднималась узкая туника. Въ рукахъ у этой женщины мѣдный, блестящій щитъ, посреднѣ котораго былъ прикрѣпленъ большой пукъ волосъ, какъ будто только что снятыхъ съ черепа

вмѣстѣ съ кожей. Съ другой стороны, именно слѣва высокой фигуры, выдавался широкобородый, приземистый, черный дикарь. Подъ лѣвою рукой у него было что-то похожее на орудія пытки, а въ правой онъ держалъ кровавый мѣшокъ, изъ котораго свѣсились книзу двѣ человѣческія головы, блѣдныя, лишенныя волосъ и, вѣроятно, испустившія послѣдній вздохъ въ пыткѣ. Окрестъ этихъ трехъ лицъ совсѣмъ вѣяло воздухомъ сѣверной саги. Но вотъ свѣтъ, ясное солнце всплыло еще немножко повыше, и таинственной саги какъ не бывало. Это просто три живые, хотя и весьма оригинальные человѣка. Они и еще постояли съ минуту и потомъ двинулись книзу. Спустясь шаговъ десять, они снова остановились, и тотъ, который былъ изъ нихъ выше другихъ и стоялъ впереди, тихонько промолвилъ:

— Смотри, братъ Комарь, а вѣдь ихъ что-то нынче не видно!

— Да, не видать,—отвѣчалъ чернобородый Комарь.

— Да ты получше смотри!

Комарь воззрился за рѣку и черезъ секунду опять произнесъ:

— Нечего смотрѣть: никого не видать.

— А въ городѣ, Господи, тишь-то какая!

— Сонное царство, — замѣтила тихо фигура. державшая мѣдный щитъ подъ рукой.

— Что ты говоришь, Фелиси?—спросила, не разслышавъ, худая фигура.

— Я докладываю вамъ, Воинъ Васильевичъ, что въ городѣ сонное царство,—проговорила въ отвѣтъ женщина.

— Да, сонное царство; но скоро начнутъ просыпаться. Вотъ погляди-ка, Комарь, оттуда ужъ, кажется, кто-то бултыхнулъ?

Фигура кивнула налѣво къ острову, съ котораго легкій парокъ подымался и тихо клубился подъ мостомъ.

— Бултыхнулъ и есть, — отвѣтилъ Комарь и началъ слѣдить за двумя тонкими кружками, расширявшимися по тихой водѣ. Въ центрѣ передняго изъ этихъ кружковъ, тихо качаясь, вертѣлось что-то въ родѣ зрѣлой, желтой тыквы.

— Ахъ онъ, каналья, опять прежде насъ бултыхнулъ, не дождавшись начальства.

— А вонъ и оттуда готовъ,—молвилъ безстрастно Комарь.

— Можетъ ли быть! Ты врешь, Комарище.

— А вонъ! поглядите, вонъ, идутъ ужъ надъ самою рѣкой!

Всѣ три путника приложили ладони къ бровямъ, и, поглядѣвъ за рѣку, увидали, что тамъ выступало что-то рослое и дебелое, съ ногъ до головы повитое бѣлымъ савановъ: это «что-то» напоминало какъ нельзя болѣе статую Командора и, какъ та же статуя, двигалось плавно и медленно, но неуклонно приближаясь къ рѣкѣ.

Въ эти минуты свѣтозарный Фебъ быстро выкатилъ на своей огненной колесницѣ еще выше на небо; совсѣмъ разрѣдѣвшій туманъ словно весь пропитало янтарнымъ тономъ. Картина обагрилась багрецомъ и лазурью, и въ этомъ яркомъ, могучемъ освѣщеніи, весь облитый лучами солнца, въ волнахъ рѣки показался нагой богатырь съ буйною гривой черныхъ волосъ на большой головѣ. Онъ плылъ противъ теченія воды, сидя на достойномъ его могучемъ красномъ конѣ, который мощно разсѣкалъ широкою грудью волну и сердито храпѣлъ темноогненными ноздрями.

Всѣ эти пѣшія лица и плывущій всадникъ стремятся съ разныхъ точекъ къ одному пункту, который, если бы провести отъ нихъ перекрестныя линіи, обозначился непремѣнно на выдающемся посрединѣ рѣки большомъ камнѣ. Въ первой фигурѣ, которая спускается съ горы, мы узнаемъ старгородскаго исправника Воина Васильевича Порохонцева, отставного ротмистра, длиннаго худого добряка, разрѣшившаго, въ интересахъ науки, учителю Варнавѣ Препотенскому воспользоваться тѣломъ утопленника. На этомъ сухомъ и длинномъ меценатѣ надѣтъ масаковаго цвѣта шелковый халатъ, а на головѣ остренькая гарусная ермолка; изъ одного его кармана, гдѣ покоится его правая рука, торчитъ тоненькое кнутовище съ навязаннымъ на немъ длиннымъ выводнымъ кнутомъ, а около другого, въ который засунута лѣвая рука городничаго, тихо показываются огромная, до-черна закуренная пенковая трубка и сафьяновый восточный кисетъ съ охотницкимъ ремешкомъ.

У него за плечомъ слѣва тихо шагаетъ его главный кучеръ Комарь, бариновъ другъ и наперсникъ, давно уже утратившій свое крестное имя и отъ всѣхъ называемый Комаремъ. У Комаря вовсе не было съ собой ни пыталь-

ныхъ орудій, ни двухъ мертвыхъ головъ, ни мѣшка изъ испачканной кровью холстины, а онъ просто несъ подъ мышкой скамейку, старенькій пунцовый ковершикъ, да пару бычьихъ туго надутыхъ пузырей, связанныхъ одинъ съ другимъ суконною покромкой.

Третій ликъ, за четверть часа столь грозный, съ мѣднымъ щитомъ подъ рукой, теперь предстаетъ намъ въ скромнѣйшей фигурѣ жены Комаря. «Мать Фелисата», такъ звали эту особу на дворнѣ, была обременена довольно тяжелою ношей, но вся эта ноша тоже отнюдь не была пригодна для битвы. Прежде всего она несла свое чрево, служившее пріютомъ будущему юному Комаренку, потомъ подъ рукой у нея былъ ярко заблиставшій на солнцѣ мѣдный тазъ, а въ томъ тазѣ мочалка, въ мочалкѣ—суконная рукавичка, въ суконной рукавичкѣ—кусочекъ камфарнаго мыла; а на головѣ у нея лежала вчетверо сложенная бѣлая простыня.

Картина самаго тихаго свойства.

Подъ бѣлымъ покровомъ шедшая тихо съ Зарѣчья фигура тоже вдругъ потеряла свою грандіозность, а съ нею и всякое подобіе съ Командоромъ. Это шелъ человѣкъ въ сапогахъ изъ такой точно кожи, въ какую обута нога каждаго смертнаго, носящаго обувь. Шелъ онъ спокойно, покрытый до пятъ простыней, и когда, подойдя къ рѣкѣ, сбросилъ ее на траву, то въ немъ просто-на-просто представился дебелый и нескладный бѣлобрысый уѣздный лѣкарь Пуговкинъ.

Въ кучерявомъ нагомъ всадникѣ, плывущемъ на гнѣдомъ долгогривомъ конѣ, узнается дьяконъ Ахилла, и даже еле мелькающая въ мелкой ряби струй тыква принимаетъ знакомый человѣческій обликъ: въ ней обозначаются два кроткіе голубые глаза и сломанный носъ. Ясно, что это не тыква, а лысая голова Константина Пизонскаго, старческое тѣло котораго скрывается въ свѣжей влагѣ.

Предъ нами стягивается на свое урочное мѣсто компанія старогородскихъ купальщиковъ, которые издавна обыкновенно встрѣчаются здѣсь такимъ образомъ каждое утро погожаго лѣтняго дня и вмѣстѣ наслаждаются свѣжею, утреннею ванной. Посмотримъ на эту сцену.

Первый сбросилъ съ себя свою простыню бѣлый лѣкарь, черезъ минуту онъ снялъ и второй свой покровъ, свою ро-

зовую серпянковую сорочку, и вслѣдъ затѣмъ, шибко разбѣжавшись, бросился кувыркомъ въ рѣку и поплылъ къ большому, широкому камню, который возвышался на одинъ футъ надъ водой на самой срединѣ рѣки. Этотъ камень, дѣйствительно, былъ центромъ ихъ сборища.

Лѣкарь въ нѣсколько взмаховъ переплылъ пространство, отдѣлявшее его отъ камня, вскочилъ на гладкую верхнюю площадь камня и, захохотавъ, крикнулъ:

— Я опять прежде всѣхъ въ водѣ!—И съ этимъ лѣкарь гаркнулъ Ахиллѣ:—Плыви скорѣй, Фараонъ! Видишь ли ты его чортушку?—опять, весело смѣясь, закричалъ онъ исправнику, и снова, не ожидая отвѣта отъ ротмистра, звалъ уже Пизонскаго, поманивая его тихонько, какъ уточку:—Гряди, плѣшиве! гряди, плѣшиве!

Межъ тѣмъ къ исправнику, или уѣздному начальнику, который не былъ такъ проворенъ и еще оставался на сушѣ, въ это время подошла Фелисата: она его распоясала и, снявъ съ него халатъ, оставила въ одномъ бѣльѣ и въ пестрой фланелевой фуфайкѣ.

Такъ этотъ воинъ еще приготовлялся къ купанью, тогда какъ лѣкарь, сидя на камнѣ и болтая въ водѣ ногами, вертѣлся во всѣ стороны и весело свисталъ, и вдругъ неожиданно такъ громко треснулъ подплывшаго къ нему Ахиллу ладонью по голой спинѣ, что тотъ даже вскрикнулъ не отъ удара, а отъ громогласнаго звука.

— За что это такъ громко дерешься? — воскликнулъ дьяконъ.

— Не хватай меня за тѣло,—отвѣчалъ лѣкарь.

— А если у меня такая привычка?

— Отвыкай,—отозвался снова, громко свистя, лѣкарь.

— Я и отвыкаю, да забываюсь.

Лѣкарь ничего не отвѣтилъ и продолжалъ свистать, а дьяконъ, покачавъ головой, плюнулъ и, развязавъ шнурочекъ, которымъ былъ подпоясанъ по своему богатырскому тѣлу, снялъ съ этого шнурочка конскую скребницу и щетку и началъ усердно и съ знаніемъ дѣла мыть гриву своего коня, который, гуляя на чембурѣ, выгибалъ наружу ладьистую спину и бурливо пѣнилъ колѣнами воду.

Этотъ пейзажъ и жанръ представляли собою простоту старогородской жизни, какъ увертюра представляетъ музыку оперы: но увертюра еще не окончена.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На лѣвомъ берегу, гдѣ оставался медлительный градоначальникъ, кучеръ Комарь разостлалъ коверъ, утвердилъ на немъ принесенную скамейку, покачалъ ее вправо и влѣво, и убѣдясь, что она стоитъ крѣпко, возгласилъ:

— Садитесь, Воинъ Васильевичъ; крѣпко!

Порохонцевъ подошелъ поспѣшно къ скамьѣ, еще собственноручно пошаталъ ее и сѣлъ не прежде, какъ убѣдясь, что скамья, дѣйствительно, стоитъ крѣпко. Едва только баринъ присѣлъ, Комарь взялъ его сзади подъ плечи, а Комарева жена, поставивъ на коверъ тазъ съ мочалкой и простыней, принялась разоблачать воинственнаго градоначальника. Сначала она сняла съ него ермолку, потомъ вязаную фуфайку, потомъ туфли, носки, затѣмъ осторожно наложила свои ладони на сухія ребры ротмистра и остановилась, скосивъ въ знакъ вниманія на бокъ свою голову.

— Что, Фелиси, кажется, уже ничего: кажется, можно ѣхать?—спросилъ Порохонцевъ.

— Нѣтъ, Воинъ Васильевичъ, еще пульсы бьются,—отвѣчала Фелисата.

— Ну, надо подождать, если бьются: а ты, Комарь, бултыхай.

— Да я бултыхну.

— Ты бултыхай, братецъ, бултыхай! Ты оплыви разокъ, да и выйди, и поѣдемъ.

— Не былъ бы я тогда только, Воинъ Васильевичъ, очень скользкій, чтобы вы опять по анамеднешнему не упали?

— Нѣтъ, ничего; не упаду.

Комарь сбросилъ съ себя, за спиной своего господина, рубашку и, прыгнувъ съ разбѣгу въ воду, шибко заработалъ руками.

— Ишь какъ лихо плаваетъ твой Комарище!—проговорилъ Порохонцевъ.

— Отлично, — отвѣчала Комариха, повидимому, нимало не стѣсняясь сама и не стѣсняя никого изъ купальщиковъ своимъ присутствіемъ.

Фелисата, бывшая крѣпостная дѣвушка Порохонцева, давно привыкла быть нянькой своего больного помѣщика, и въ ухаживаніяхъ за нимъ различіе пола для нея не суще-

ствовало. Межъ тѣмъ Комарь оплылъ камень, на которомъ сидѣли купальщики, и, выскочивъ снова на берегъ, сталъ спиной къ скамьѣ, на которой сидѣлъ градоначальникъ, и изогнулся глаголемъ.

Воинъ Васильевичъ взлѣзъ на него верхомъ, обхватился руками за шею и поѣхалъ на немъ въ воду. Ротмистръ обыкновенно такимъ образомъ выѣзжалъ на Комарѣ въ воду, потому что не могъ идти босою ногой по мелкой щебенкѣ, но чуть вода начинала доставать Комарю подмышки, Комарь останавливался и докладывалъ, что камней ужъ нѣтъ, и что онъ чувствуетъ подъ ногами песокъ. Тогда Воинъ Васильевичъ слѣзалъ съ его плечъ и ложился на пузыри. Такъ было и нынче: сухой градоначальникъ легъ, Комарь толкнулъ его въ пятки, и они оба поплыли къ камню, и оба на него взобрались. Небольшой камень этотъ, возвышающійся надъ водой ровною и круглою площадью фута въ два въ діаметрѣ, служилъ теперь помѣщеніемъ для пяти человѣкъ, изъ коихъ четверо: Порохонцевъ, Пизонскій, лѣкарь и Ахилла размѣщались по краямъ, усѣвшись другъ къ другу спинами, а Комарь стоялъ между ними въ узенькомъ четыреугольникѣ, образуемомъ ихъ спинами, и мылъ голову своего господина, остальные бесѣдовали. Пизонскій, дергая своимъ кривымъ носомъ, разсказывалъ, что, какъ вчера смерклось, гдѣ-то ниже моста въ лозахъ, сѣла пара лебедей и ночью подъ дождичекъ все гоготали.

— Лебеди кричали, это къ чьему-то прилету,—замѣтилъ Комарь, продолжая усердно намыливать баринову голову.

— Нѣтъ, это просто къ хорошему дню,—отвѣтилъ Пизонскій.

— Да и кому къ намъ прилетѣть?—вмѣшался лѣкарь:—живемъ какъ кикиморы, цѣлый вѣкъ ничего новаго.

— А на что намъ новое?—отвѣтилъ Пизонскій.—Все у насъ есть; погода прекрасная, сидимъ мы здѣсь на камушкѣ, никто насъ не осуждаетъ; наги мы, и никто насъ не испугаетъ. А пріѣдетъ новый человѣкъ, все это ему покажется не такъ, и пойдетъ онъ разбирать...

— Пойдетъ разбирать, зачѣмъ они голые сидятъ?—фамильярно перебилъ Комарь.

— Спроситъ: зачѣмъ это держатъ такого начальника, котораго баба моетъ?—подсказалъ лѣкарь.

— А вѣдь и правда!—воскликнулъ, тревожно поворотясь на мѣстѣ, ротмистръ.

Комарь подулъ себѣ въ усы, улыбнулся и тихо проговорилъ:

— Скажетъ: зачѣмъ это исправникъ на Комарѣ верхомъ ѣздитъ?

— Молчи, Комарище!

— Полюбопытствуютъ, полюбопытствуютъ и объ этомъ,— снова отозвался кроткій Пизонскій, и вслѣдъ затѣмъ вздохнулъ и добавилъ:—А теперь безъ новостей мы вотъ сидимъ, какъ въ раю; сами мы наги, а видимъ красу: видимъ лѣсъ, видимъ горы, видимъ храмы, воды, зелень; вонъ тамъ выводки утиные подъ бережкомъ попискиваютъ; вонъ рыбья мелкота цѣлою стаей играетъ. Сила Господня!

Звукъ двухъ послѣднихъ словъ, которыя громче другихъ произнесъ Пизонскій, сначала раскатился по рѣкѣ, потомъ еще разъ перекинулся на взгорьѣ и, наконецъ, нѣсколько гулче отозвался на Зарѣчьи. Услыхавъ эти переливы, Пизонскій поднялъ надъ своею лысою головой устремленный вверхъ указательный палецъ и сказалъ:

— Трижды сила Господня тебѣ отвѣчаетъ: чего еще лучше, какъ жить въ такой тишинѣ и въ ней все и окончить.

— Правда, истинная правда, — отвѣчалъ, вздохнувъ, ротмистръ. — Вотъ мы съ лѣкаремъ маленькую новость сдѣлали: дали Варнавѣ мертваго человѣка сварить, а и то сколько пошло изъ этого вздора! Кстати, дьяконъ: ты, братъ, не забудь, что ты обѣщалъ отобрать у Варнавки эти кости!

— Что мнѣ забывать; я не аристократъ, чтобы на меня орать сто кратъ; я что обѣщалъ, то и сдѣлалъ.

— Какъ сдѣлалъ? Неужто и сдѣлалъ?

— А, разумѣется, сдѣлалъ.

— Дьяконъ, ты это врешь, голубчикъ.

Ахилла промолчалъ.

— Что-жъ ты молчишь? Разскажи же, какъ ты это отобралъ у него эти кости? А? Да что ты, какого чорта нынче солидничаешь?

— А отчего же мнѣ и не солидничать, когда мнѣ талія моя на то позволяетъ? — отозвался не безъ важности Ахилла. — Вы съ лѣкаремъ нагадили, а я ваши глупости

исправилъ; влѣзъ къ Варнавкѣ въ окошко, сгребъ въ кулечекъ всѣ эти кости...

— И что же дальше, Ахиллушка? Что, милый, дальше, что?

— Да вотъ тутъ безтолковщина вышла.

— Говори же скорѣй, говори!

— А что говорить, когда я самъ не знаю: кто у меня ихъ, эти кости, назадъ укралъ.

Порохонцевъ подпрыгнулъ и вскричалъ:

— Какъ, опять украдены?

— То-есть, какъ тебѣ сказать, украдены? Я не знаю, украдены онѣ или нѣтъ, а только я ихъ принесъ домой, и всѣ какъ надо высыпалъ на дворѣ въ телѣжку, чтобы схоронить, а теперь утромъ глянулъ: ихъ опять нѣтъ, и всего вотъ этотъ одинъ хвостикъ остался.

Лѣкарь захохоталъ.

— Чего ты смѣешься?—проговорилъ слегка сердившійся на него дьяконъ.

— Хвостикъ у тебя остался?

Ахилла разсердился.

— Разумѣется, хвостикъ,—отвѣчалъ онъ:—а то это что же такое?

Дьяконъ отвязалъ отъ скребницы привязанную веревочкой щиколоточную человѣческую косточку и, сунувъ ее лѣкарю, сухо добавилъ:—на, разглядывай, если тебѣ не вѣрится.

— Да развѣ у людей бываютъ хвостики?

— А то развѣ не бываютъ?

— Значитъ и ты съ хвостомъ?

— Я?—переспросилъ Ахилла.

— Да, ты.

Лѣкарь опять расхохотался, а дьяконъ поблѣднѣлъ и сказалъ:

— Послушай, отецъ лѣкарь, ты шути, шути, только пропорцію знай: ты помни, что я духовная особа!

— Ну, да, ладно! Ты скажи хоть, гдѣ у тебя астрáгелюсъ?

Незнакомое слово «астрàгелюсъ» произвело на дьякона необычайное впечатлѣніе: ему почудилось что-то чрезвычайно обидное въ этомъ латинскомъ названіи щиколотки, и онъ, покачавъ на лѣкаря укоризненно головой, глубоко вздохнулъ и медленно произнесъ:

— Ну, никогда я не ожидалъ, чтобы ты былъ такой подлецъ!

— Я подлецъ?

— А, разумѣется, послѣ того, какъ ты смѣлъ меня, духовное лицо, такую глупость спросить,—ты больше ничего какъ подлецъ. А ты послушай: я тебѣ давеча спустилъ, когда ты пошутилъ про хвостикъ, но ужъ этого ты бойся.

— Ужасно!

— Нѣтъ, не ужасно, а ты въ самомъ дѣлѣ бойся, потому что мнѣ ужъ это ваше нынѣшнее вольномысліе надоѣло и я еще вчера отцу Савелью сказалъ, что онъ не умѣетъ, а что если я возьмусь, такъ и всю эту вольнодумную гадость, которая у насъ завелась, сразу выдушу.

— Да развѣ astragelus сказать—это вольнодумство?

— Цыть!—крикнулъ дьяконъ.

— Вотъ, дуракъ,—произнесъ, пожавъ плечами, лѣкарь.

— Цыть! — загремѣлъ Ахилла, поднявъ свой кулакъ и засверкавъ грозно глазами.

— Тьфу, оселъ; съ нимъ нельзя говорить!

— А, а, я оселъ; со мной нельзя говорить! Ну, братъ, такъ я же вамъ не Савелій; пойдемъ въ омутъ!

И съ этими словами дьяконъ, перемахнувъ въ лѣвую руку чумбуръ своего коня, правою обхватилъ лѣкаря поперекъ его тѣла и бросился съ нимъ въ воду. Они погрузились, выплыли и опять погрузились. Хотя по дѣйствіямъ дьякона можно было заключить, что онъ отнюдь не хотѣлъ утопить врача, а только подвергалъ пыткѣ окунаньемъ и, барахтаясь съ нимъ, держалъ полегоньку къ берегу; но три человѣка, оставшіеся на камнѣ, и стоявшая на противоположномъ берегу Фелисата, слыша отчаянные крики лѣкаря, пришли въ такой неописанный ужасъ, что подняли крикъ, который не могъ не произвесть повсемѣстной тревоги.

Такъ дьяконъ Ахилла началъ искорененіе водворившагося въ Старъ-Городѣ пагубнаго вольномыслія, и мы будемъ видѣть, какія великія послѣдствія повлечетъ за собою это энергическое начало.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Крикъ и шумъ, поднятый по этому случаю купальщиками, пробудилъ еле вздремнувшаго у окна протопопа; старикъ испугался, вскочилъ и, взглянувъ за рѣку, рѣшительно

не могъ себѣ ничего объяснить, какъ подъ окномъ у него остановилось щегольское тюльбюри, запряженное кровною сѣрою лошадью. Въ тюльбюри сидѣла молодая дама въ черномъ платьѣ: она правила лошадью сама, а возлѣ нея помѣщался рядомъ маленькій казачокъ. Это была молодая вдова помѣщица Александра Ивановна Серболова, нѣкогда ученица Туберозова, которую онъ очень любилъ и о которой всегда отзывался съ самымъ теплымъ сочувствіемъ. Увидавъ протопопа, молодая дама привѣтливо ему поклонилась и дружественно привѣтствовала.

— Александра Ивановна, пріймите дань моего наиглубочайшаго почтенія! — отвѣчалъ протопопъ. — Всегдашняя радость моя, когда я васъ вижу. Жена сейчасъ встанетъ, позвольте мнѣ просить васъ ко мнѣ на чашку чая.

Но дама отказалась и сказала, что она пріѣхала съ тѣмъ, чтобы помолиться объ усопшемъ мужѣ и просить Туберозова поспѣшить для нея въ церковь.

— Готовъ къ вашимъ услугамъ.

— Пожалуйста; вы начинайте обѣдню, а я заѣду на минутку къ старушкѣ Препотенской, она иначе обидится.

Съ этими словами дама кивнула головой, и легкій экипажецъ ея скрылся. Протопопъ Савелій началъ спѣшно дѣлать свой всегда тщательно содержимый туалетъ, послалъ дѣвочку велѣть ударить къ заутренѣ и велѣлъ ей забѣжать за дьякономъ Ахиллой, а самъ сталъ передъ кивотомъ на правило. Черезъ полчаса раздался ударъ соборнаго колокола, а черезъ нѣсколько минутъ позже и дѣвочка возвратилась, но возвратилась съ извѣстіемъ, что дьякона Ахиллу она не только не нашла, но что и никому неизвѣстно, гдѣ онъ. Ждать было некогда, и отецъ Туберозовъ, взявъ свою трость съ надписью «жезлъ Ааронов расцвѣлъ», вышелъ изъ дому и направился къ собору. Не прошло затѣмъ и десяти минутъ, какъ глазамъ протопопицы, Натальи Николаевны, предсталъ дьяконъ Ахилла. Онъ былъ, что называется, весь внѣ себя.

— Маменька,—воскликнулъ онъ:—все, что я вчера вамъ обѣщалъ о мертвыхъ костяхъ, вышло вздоръ.

— Ну, я такъ тебѣ и говорила, что это вздоръ,—отвѣчала Наталья Николаевна.

— Нѣтъ, позвольте же, надо знать, почему этотъ вздоръ выходитъ? Я вчера, какъ вамъ и обѣщалъ,—я этого сваре-

наго Варнавкой человѣка останки, какъ слѣдуетъ, выкралъ у него въ окнѣ и снесъ въ кулькѣ къ себѣ на дворъ и высыпалъ въ телѣгу, но днесь поглядѣлъ, а въ телѣгѣ ничего нѣтъ! Я же тому не виноватъ?

— Да кто-жъ тебя винитъ?

— То-то и есть: я даже впалъ въ сомнѣніе, не схоронилъ ли я ихъ ночью, да не засыпалъ ли, но на купаньи меня лѣкарь разсердилъ, и потомъ я прямо съ купанья бросился къ Варнавѣ; окошки закрыты болтами, а я заглянулъ въ щелочку и вижу, что этотъ обвареный опять весь цѣликомъ на крючечкѣ виситъ! Гдѣ отецъ протопопъ? Я все хочу ему разсказать.

Наталья Николаевна послала дьякона вслѣдъ за мужемъ, и шагистый Ахилла догналъ Туберозова на полудорогѣ.

— Чего это ты такъ... и бѣжишь, и пыхтишь, и сопишь, и топочешь? — спросилъ его, услышавъ его шаги, Савелій.

— Это у меня... отецъ Савелій, всегда, когда бѣжу... Вы развѣ не замѣтили?

— Нѣтъ, я этого не замѣчалъ, а ты отчего же объ этомъ лѣкарю не скажешь, онъ можетъ помочь.

— Ну, вотъ лѣкарю! Не напоминайте мнѣ, пожалуйста, про него, отецъ Савелій, да и онъ ничего не поможетъ. Мнѣ венгерецъ такого лѣкарства давалъ, что говоритъ, «только выпей, такъ не будешь ни сопѣть, ни дыхать!» однакоже я все выпилъ, а меня не взяло. А нашъ лѣкарь... да я, отецъ протопопъ, имъ сегодня и разстроенъ. Я сегодня, отецъ протопопъ, вскипѣлъ на нашего лѣкаря. Вѣдь этакая, отецъ протопопъ, наглость...—Дьяконъ пригнулся къ уху отца Савелія и добавилъ вслухъ:—представьте вы себѣ, какая наглость!

— Ничего особеннаго не вижу, — отвѣчалъ протопопъ, тихо всходя на ступени собора:—astragelus есть кость во щиколоткѣ, и я не вижу, для чего ты могъ тутъ разсердиться.

Дьяконъ сдѣлалъ шагъ назадъ и въ изумленіи воскликнулъ:—Такъ это щиколотка!

— Да.

Ахилла ударилъ себя ладонью по лбу и еще громче крикнулъ:

— Ахъ, я дуракъ!

— А что ты сдѣлалъ?

— Нѣтъ, вы, сдѣлайте милость, назовите меня, пожалуйста, дуракомъ!

— Да скажи, за что назвать?

— Нѣтъ, ужъ вы смѣло называйте, потому что я вѣдь этого лѣкаря чуть не утопилъ.

— Ну, изволь, братецъ, исполняю твою просьбу: воистину ты дуракъ, и я тебѣ предсказываю, что если ты еще отъ подобныхъ своихъ глупыхъ обычаевъ не отстанешь, то ты безъ того не заключишь жизнь, чтобы когонибудь не угодить на смерть.

— Полноте, отецъ Савелій, я не совсѣмъ безъ понятій.

— Нѣтъ, не «полноте», а это правда. Что это, въ самомъ дѣлѣ, ты духовное лицо, у тебя полголовы сѣдая, а между тѣмъ, куда ты ни оборотишься, всюду у тебя скандалъ: тамъ ты нашумѣлъ, тутъ ты накричалъ, тамъ то повалилъ, здѣсь это опрокинулъ; такъ вездѣ за собой и ведешь безпорядокъ.

— Да что же такое, отецъ Савелій, я валяю и опрокидываю? Вѣдь этакъ круглымъ числомъ можно на человѣка ни вѣсть что наговорить.

— Постоянно, постоянно за тобой по пятамъ идетъ безпорядокъ!

— Не знаю я, отчего это такъ, и все же таки, значитъ, это не по моей винѣ, а по нескладности, потому что у меня такая природа, а въ другую сторону вы это напрасно располагаете. Я скорѣе за порядокъ теперь стою, а не за безпорядокъ, и въ этомъ расчисленіи все это и сдѣлалъ.

И вслѣдъ за симъ Ахилла скороговоркой, но со всѣми деталями разсказалъ, какъ онъ вчера укралъ костякъ у Варнавы Препотенскаго и какъ этотъ костякъ опять пропалъ у него и очутился на старомъ мѣстѣ. Туберозовъ слушалъ Ахиллу, все болѣе и болѣе раскрывая глаза, и, невольно сдѣлавъ нѣсколько шаговъ назадъ, воскликнулъ:

— Великій Господи, что это за злополучный человѣкъ!

— Кто это, отецъ Савелій?—съ неменьшимъ удивленіемъ воскликнулъ и Ахилла.

— Ты, искренній мой, ты!

— А по какой причинѣ я злополученъ?

— Кто, какой злой духъ научаетъ тебя все это дѣлать?

— Да что такое дѣлать?

— Лазить, похищать, ссориться!

— Это вы меня научили,—отвѣчалъ спокойно и искренно дьяконъ: — вы сказали: путемъ или непутемъ этому надо положить конецъ, я и положилъ. Я вашу волю исполнилъ.

Туберозовъ только покачалъ головой и, повернувшись лицомъ къ дверямъ, вошелъ въ притворъ, гдѣ стояла на колѣняхъ и молилась Серболова, а въ углу, на погребальныхъ носилкахъ, сидѣлъ, сбивая щелчками пыль съ своихъ панталонъ, учитель Препотенскій, лицо котораго сіяло на этотъ разъ радостнымъ восторгомъ: онъ глядѣлъ въ глаза протопопу и дьякону, и улыбался. Онъ, очевидно, слышалъ, если не весь разговоръ, который они вели на сходахъ храма, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя слова ихъ. Но зачѣмъ, какъ, съ какого повода появляется здѣсь, бѣжавшій храма, учитель? Это удивляетъ и Ахиллу, и Туберозова, съ тою лишь разницей, что Ахилла не можетъ отрѣшиться отъ той мысли: зачѣмъ здѣсь Препотенскій, а чинный Савелій выбросивъ эту мысль вонъ изъ головы тотчасъ, какъ предъ нимъ распахнулись двери, открывающія алтарь, которому онъ привыкъ предстоять со страхомъ и трепетомъ. Прошелъ часъ; скорбная служба отпѣта. Серболова и ея дальній кузенъ, нѣкто Дарьяновъ, напились у отца Савелія чаю и ушли: Серболова уѣзжаетъ домой подъ вечеръ, когда схлынетъ солнечный жаръ. Она теперь хочетъ отдохнуть. Дарьяновъ придетъ къ ней обѣдать въ домикъ старушки Препотенской; а отецъ Туберозовъ условился туда же придти нѣсколько попозже, чтобы напиться чаю и проводить свою любимѣйшую духовную дочь.

Но гдѣ же Ахилла и гдѣ Препотенскій?

Учитель исчезъ изъ церкви, какъ только началась служба, а дьяконъ бѣжалъ тотчасъ, какъ ее окончилъ. Отцу Савелію, который прилегъ отдохнуть, такъ и кажется, что они гдѣ-нибудь носятся и другъ друга гонятъ. Это былъ «сонъ въ руку»: дьяконъ и Варнава приготовлялись къ большому сраженію.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Тяжелъ, скученъ и утомителенъ видъ пустынныхъ улицъ, нашихъ уѣздныхъ городовъ во всякое время; но особенно убійственъ онъ своею мертвенностію въ жаркій лѣтній пол-

день. Густая сѣрая пыль, мѣстами изборожденная слѣдами прокатившихся по ней колесъ, сонная и увядшая муравка, окаймляющая немощеныя улицы къ сторонѣ воображаемыхъ тротуаровъ; сѣдые, подгнившіе и покосившіеся заборы; замкнутыя тяжелыми замками церковныя двери; деревянныя лавочки, брошенныя хозяевами и заставленныя двумя, крестъ-на-крестъ положенными, досками; все это, среди полдневнаго жара, дремлетъ до такой степени заразительно, что человѣкъ, осужденный жить среди такой обстановки, и самъ теряетъ всякую бодрость и тоже томится и дремлетъ.

Въ такую именно пору, Валеріанъ Николаевичъ Дарьяновъ прошелъ нѣсколько пустыхъ улицъ и, наконецъ, повернулъ въ очень узенькій переулочекъ, который наглухо запирался старымъ рѣшетчатымъ заборомъ. За заборомъ видна была церковь. Пригнувъ низко голову, Дарьяновъ вошелъ въ низенькую калиточку, на церковный погостъ. Здѣсь, въ углу этого погоста, мѣстилась едва замѣтная хибара церковнаго сторожа, а въ глубинѣ, за цѣлымъ лѣсомъ ветхихъ надмогильныхъ крестовъ, ютился низенькій трехъоконный домикъ просвирни Препотенской.

На погостѣ не было той густой пыли, которая сплошнымъ слоемъ лежала по всему пространству городской площади и улицъ. Тутъ, напротивъ, стлалась зеленая мурава, и двѣ курицы, желавшія понѣжиться въ пыли, на солнечномъ припекѣ, должны были выйти для этого за калитку и лечь подъ ея порогомъ на улицѣ. Здѣсь онѣ закапывались въ пыль, такъ что ихъ почти нельзя было и замѣтить, и лежали обыкновенно каждый день въ полной увѣренности, что ихъ никто не побезпокоитъ; при появленіи перешагнувшаго черезъ нихъ Дарьянова, онѣ даже не шевельнулись и не тронулись; а только открыли по одному изъ своихъ янтарныхъ глазъ и, проводивъ соннымъ взглядомъ гостя, снова завели ихъ выпуклыми сѣрыми вѣками. Дарьяновъ прямо направился къ калиткѣ домика Препотенскихъ и постучалъ въ тяжелое желѣзное кольцо. Отвѣта не было. Вездѣ тишь: ни собака не тявкнетъ, ни голосъ человѣческій не окликнетъ. Дарьяновъ постучалъ снова, но опять безуспѣшно. Тогда онъ, отложивъ всякую надежду кого-нибудь дозваться, прошелъ подъ жердочку въ малину, которою густо обросъ просвирнинъ домикъ, и заглянулъ въ одно изъ его оконъ. Окна были закрыты отъ солнца став-

ними, но сквозь неплотныя створы этихъ ставенъ свободно можно было видѣть все помѣщеніе. Это была комната большая, высокая, почти безъ мебели и съ двумя дверями, изъ которыхъ за одною виднѣлась другая, крошечная синяя каморочка, съ высокою постелью, закрытою лоскутовымъ ситцевымъ одѣяломъ.

Большая пустая комната принадлежала учителю Варнавѣ, а маленькая каморочка—его матери: въ этомъ и состоялъ весь ихъ домъ, если не считать кухоньки, въ которой негдѣ было поворотиться около загнѣтки.

Теперь ни въ одной изъ этихъ комнатъ не было видно ни души, но Дарьяновъ слышалъ, что въ сѣняхъ, за дверью, кто-то сильно работаетъ сѣчкой, а въ саду, подъ окномъ, кто-то другой не то третъ кирпичъ, не то пилитъ тертугомъ какое-то желѣзо. Еще болѣе убѣжденный теперь, что стукомъ здѣсь никого не докличешься, Дарьяновъ перешелъ къ забору, огораживавшему садикъ, и, отыскавъ между досками щелочку, началъ чрезъ нее новое обозрѣніе, но это было не такъ легко: у самаго забора росли густые кусты, не дозволявшіе разглядѣть человѣка, производившаго шумъ кирпичомъ или напилкомъ. Дарьяновъ нашелся вынужденнымъ взять другой обсерваціонный пунктъ. Ступивъ носкомъ сапога на одну, слегка выдавшуюся доску, а рукой ухватясь за верхній край забора, онъ поднялся и увидѣлъ маленькій, но очень густой и опрятный садикъ, посрединѣ котораго руками просвирни была пробита чистенькая, усыпанная желтымъ пескомъ дорожка. На этой дорожкѣ, прямо на землѣ, сидѣлъ учитель Варнава. Онъ сидѣлъ, разставивъ вытянутыя ноги, какъ дѣлаютъ это играющія въ мячъ дѣти. Въ ногахъ у учителя, между колѣнами, лежала на пескѣ цѣлая груда человѣческихъ костей и листъ синей сахарной бумаги. Учитель держалъ въ каждой своей рукѣ по цѣлому кирпичу и ожесточенно теръ ими одинъ о другой надъ бумагой. Потъ лилъ ручьями по лицу Препотенскаго, несмотря на то, что учитель сидѣлъ въ тѣни, и не обременялъ себя излишнимъ туалетомъ. Онъ былъ босой, въ одной рубашкѣ и панталонахъ, подстегнутыхъ только одною подтяжкой.

— Варнава Васильевичъ! Отоприте мнѣ, Варнава Васильевичъ!—закричалъ ему Дарьяновъ, но зовъ этотъ пропадалъ безслѣдно. Препотенскій попрежнему теръ ожесто-

ченно свои кирпичи, локти его ходили одинъ противъ другого какъ два кривошипа; мокрые волосы трепались въ такть изъ стороны въ сторону; самъ онъ также качался, какъ подвижной цилиндръ, и ничего не слыхалъ, и ни на что не откликался.

Гость могъ бы скорѣе добиться отвѣта у мертвыхъ, почіющихъ на покинутомъ кладбищѣ, чѣмъ у погруженнаго въ свои занятія учителя. Угадывая это, Дарьяновъ болѣе и не звалъ его, а прыгнулъ на заборъ и перелетѣлъ въ садъ Препотенскаго. Какъ ни легокъ былъ этотъ прыжокъ, но старыя, разошедшіяся доски все-таки застучали, и пораженный этимъ стукомъ учитель быстро выпустилъ изъ рукъ свои кирпичи и, бросившись на четвереньки, схватилъ въ охапку разсыпанныя предъ нимъ человѣческія кости. Препотенскій, очевидно, былъ въ большомъ перепугѣ, но не могъ бѣжать. Не оставляя своего распростертаго положенія, онъ только тревожно смотрѣлъ въ шевелившійся густой малинникъ и все тщательнѣе и тщательнѣе забиралъ въ руки лежавшія подъ нимъ кости. Въ тотъ моментъ, когда предъ учителемъ раздвинулись самые близкіе ряды малины, онъ быстро вскочилъ на свои длинныя ноги и предсталъ удивленнымъ глазамъ Дарьянова въ самомъ странномъ видѣ. Растрепанная и всклоченная голова Препотенскаго, его потное, захватанное краснымъ кирпичомъ лицо, испуганные глаза и длинная полураздѣтая фигура, нагруженная человѣческими костями, а съ пояса засыпанная мелкимъ, тертымъ кирпичомъ, издали совсѣмъ какъ будто залитая кровью, дѣлала его скорѣе похожимъ на людоѣда-дикаря, чѣмъ на человѣка, который занимается дѣломъ просвѣщенія.

— Ну, батюшка, Варнава Васильевичъ, прилежно же вы работаете! Васъ даже не дозовешься,—началъ, выходя, гость, разсмотрѣвъ котораго Варнава вдругъ просіялъ, захлопалъ глазами и воскликнулъ:

— Такъ это вы! А я вѣдь думалъ, что это Ахилка.

И съ этими словами учитель отрадно разжалъ свои руки, и цѣлая груда человѣческихъ костей рухнула на дорожку, точно будто онъ вдругъ весь самъ выпотрошился.

— Ахъ, Валерьянъ Николаичъ,—заговорилъ онъ:—если бы вы знали, какія здѣсь съ нами дѣлаются дѣла. Нѣтъ,

чортъ возьми, чтобъ еще послѣ всего этого въ этой проклятой Россіи оставаться!

— Батюшки! Что же это такое? Нельзя ли разсказать?

— Конечно можно, если только... если вы не шпіонъ.

— Надѣюсь.

— Такъ садитесь на лавочку, а я буду работать. Сядьте-жъ пожалуйста, мнѣ при васъ даже пріятно, потому что все-таки есть свидѣтель, а я буду работать и разсказывать.

Гость принялъ приглашеніе и попросилъ хозяина разсказать, что у него за горе и съ конхъ поръ оно началось.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

— Горе мое, Валерьянъ Николаевичъ, началось съ минуты моего рожденія,—заговорилъ Препотенскій:—и заключается это горе, главнымъ образомъ, въ томъ, что я рожденъ моею матерью!

— Утѣшьтесь, другъ любезный, всѣ люди рождены своими матерями,—проговорилъ, отирая со лба потъ, Дарьяновъ.—Одинъ Макдуфъ былъ вырѣзанъ изъ чрева, да и то для того, чтобы Макбета не побѣдилъ—женой рожденный.

— Ну да, Макбета!.. Какой тамъ Макбетъ? Намъ не Макбеты нужны, а науки; но что же дѣлать, когда здѣсь учиться невозможно. Я Богъ знаетъ чѣмъ отвѣчаю, что и въ Петербургѣ, и въ Неаполѣ, и во всякой странѣ, если гдѣ человѣкъ захочетъ учиться, онъ нигдѣ не встрѣтитъ такихъ препятствій, какъ у насъ. Говорятъ Испанія... Да что же такое Испанія? Въ Испаніи Библій лютеранскихъ нельзя имѣть, но тамъ и заговоры, и возстанія, и все дѣлается. Я увѣренъ, что пусть бы тамъ кто-нибудь завелъ себѣ кости, чтобы учиться, такъ ему этого не запретятъ. А тутъ съ перваго дня, какъ я завелъ кости, моя собственная родная мать пошла ко мнѣ приставать: «Дай, дитя мое, Варнаша, я *его* лучше схороню». Кого это: *его*, спрашивается? Что это еще за *онъ*? Почему эти кости *онъ*, а не *она*? Правъ я или нѣтъ?

— Совершенно правы.

— Прекрасно-съ! Теперь говорятъ, будто я мою мать честью не урезониваю. Неправда-съ! напротивъ, я ей говорилъ: «Маменька, не трогайте костей, это глупо; вы, говорю, не понимаете, онѣ мнѣ нужны, я по нимъ человѣка изучаю». Ну, а что вы съ нею прикажете, когда она отвѣ-

чаетъ: «Другъ мой, Варнаша, нѣтъ, все-таки лучше я его схороню...» Вѣдь это же изъ рукъ вонъ!

— Ужъ именно.

— Да то ли еще одно: она ихъ въ поминанье записала-съ!

— Будто?

— Честью васъ увѣряю! такъ и записано: «помяни Господи раба твоего *имрека*».

— Что вы за чудо разсказываете?

— Да вотъ вамъ и чудо, а изъ этого чуда скандалъ!

— Ну?

— Да, конечно-съ! А вы какъ изволите разсуждать? Вѣдь это все имѣетъ связь съ церковью. Вѣдь отсюда цѣлый рядъ недоразумѣній и даже уголовщиной пахнетъ?

— Господи мой!

— Именно-съ, именно вамъ говорю, потому что моя мать записываетъ людей, которыхъ не знаетъ какъ и назвать, а отъ этого понятно, что у ея приходскаго попа, когда онъ станетъ читать ея поминанье, сейчасъ полицейскіе инстинкты разыгрываются: что это за люди *имреки*, безъ именъ?

— Вы бы ее уговорили не писать?

— Уговаривалъ-съ. Я говорилъ ей: не молитеся вы, пожалуйста, маменька, за него, онъ изъ жидовъ. Не вѣритъ! «Лжешь, говоритъ, это тебя бѣсъ научаетъ меня обманывать, я знаю, что жиды съ хвостиками!» Никогда, говорю, ни у какихъ ни у жидовъ, ни у не-жидовъ никакихъ хвостиковъ нѣтъ. Ну и споръ: я какъ слѣдуетъ стою за евреевъ, а она противъ; я спорю — нѣтъ хвостовъ, а она твердитъ: есть! Я «нѣтъ», она «есть». «Нѣтъ», «есть!» А ужъ потомъ какъ разволнуется, такъ только кричитъ: «Кш-ш-шь, кш-ш-шь», да какъ на курицу, на меня ладошами предъ самымъ носомъ хлопаетъ. Ну, представьте же вы себѣ, еще говорятъ, нужна свобода женщинамъ. Отлично-съ, я и самъ за женскую свободу; но это надо съ толкомъ: молодой, развитой женщинѣ, которая хочетъ не стѣсняться своими дѣйствіями, давайте свободу, но старухамъ... Нѣтъ-съ, я первый противъ этого, и даже удивляюсь, какъ этого никто не разовьетъ въ литературѣ. Вѣдь этимъ пользуются самые вредные люди. Не угодно ли вамъ, попъ Захарія, и онъ вдругъ за женскую эмансипацію! Да, да-съ, онъ за мою

мать. «Ежели ты, говоритъ, имѣешь право не вѣрить въ Бога, такъ она такой же человѣкъ и имѣетъ право вѣрить!» Слышите, *такой* же. Не будь этихъ взглядовъ, моя мать давно бы мнѣ сдалась и уступила: она бы у меня и въ церковь не ходила, и бросила бы свое просвирничанье, а пошла бы къ Бизюкиной въ няньки, а это ее все противъ меня вооружаютъ или Ахилка, или самъ Туберозовъ.

— Ну, полноте, пожалуйста!

— Да какъ же полноте, когда я на это имѣю доказательства. Туберозовъ никогда не любилъ меня, но теперь онъ меня за естественныя науки просто ненавидитъ, потому что я его срѣзалъ.

— Какъ же это вы его срѣзали?

— Я сто разъ его срѣзывалъ, даже на той недѣлѣ еще разъ обрѣзалъ. Онъ въ смотрительской комнатѣ, въ училищѣ, пустился ораторствовать, что праздничные дни будто заключаютъ въ себѣ что-то особенное этакое, а я его при всѣхъ и осадилъ. Я ему очень просто при всѣхъ указалъ на математически доказанную невѣрность исчисленія праздничныхъ дней. Гдѣ же, говорю, наши праздники? У васъ Рождество, а за границей оно уже тринадцать дней назадъ было. Вѣдь правъ я?

— То-есть, двѣнадцать, а не тринадцать.

— Да, кажется, что двѣнадцать, но не въ томъ дѣло, а онъ сейчасъ застучалъ по столу ладонью и закричалъ: «Эй, гляди, математикъ, не добрались бы когда-нибудь за это до твоей физики!» Во-первыхъ, что такое онъ здѣсь разумѣетъ подъ словомъ *физики?*.. Вы понимаете — это и невѣжество, да и цинизмъ, а потомъ я васъ спрашиваю, развѣ это отвѣтъ?

Гость разсмѣялся и сказалъ, что это хотя и отвѣтъ, но, дѣйствительно, очень странный отвѣтъ.

— Да какъ же-съ! разумѣется глупо; но вѣдь этакихъ вещей идетъ цѣлый рядъ-съ. И вотъ, напримѣръ, даже вчера еще вечеромъ иду я отъ Бизюкиной, а передо мною немножко впереди идетъ комиссаръ Данилка, знаете тотъ пляющійся, который за два цѣлковыхъ ѣздилъ у Глича лошадь воровать, когда Ахилла масло билъ. Я съ Данилой и разговорился. Что, говорю, Данило, гдѣ ты былъ? Отвѣчаетъ, что былъ у исправника, отъ почтмейстерши ягоды приносилъ, и слышалъ какъ тамъ читали, что въ чухон-

скомъ городѣ Ревелѣ мертвый человѣкъ безъ тлѣнія сто лѣтъ лежалъ, а теперь его велѣли похоронить. «Не знаю, насколько правды, что было такое происшествіе, но только послѣ тамъ тоже и про васъ говорка была», сообщилъ мнѣ Данило. Я, разумѣется, встревожился, а онъ меня успокоиваетъ: «не про самихъ про васъ, говоритъ, а про вашихъ мертвыхъ людей, которыхъ вы у себя содержите». Понимаете ли вы эту интригу! Я далъ Данилкѣ двугривенный: что жъ дѣлать? это не хорошо, но шпіоны нужны, и я всегда говорю, что шпіоны нужны, и мы съ Бизюкиной въ этомъ совершенно согласны. Безъ шпіоновъ нельзя обойтись, вводя новыя ученія, потому что надо штудировать общество. Да-съ, ну такъ вотъ... про что это я говорилъ? Да! Я далъ Данилкѣ двугривенный и говорю: разсказывай все. Онъ мнѣ и разсказалъ, что какъ прочитали эту газету, такъ дьяконъ и повелъ рѣчь о монхъ костяхъ. «Я, говоритъ, нарочно и газету эту принесъ, потому что на это вниманіе обращаю». А совсѣмъ вретъ, потому что онъ ничего никогда не читаетъ, а въ этой газетѣ ему Данилка отъ Лялиныхъ орѣховъ принесъ. «Это, говоритъ, Воинъ Васильичъ, ваша съ лѣкаремъ большая ошибка была дать Варнавѣ утопленника; но это можно поправить». Городничій, конечно, знаетъ мой характеръ, и говоритъ, что я не отдамъ, и я бы, конечно, и не отдалъ. Но Ахилла говоритъ: «У него, говоритъ, ихъ очень просто можно отобрать и преспокойно предать погребенію». Городничій говоритъ: «не дать ли квартальному предписаніе, чтобъ отобрать кости?» Но этотъ бандитъ: «мнѣ ничего», говоритъ, «не нужно: я ихъ сейчасъ безъ предписанія отберу и уложу въ гробикъ въ дѣтскій, да и кончено».

Препотенскій вдругъ рванулся къ костямъ, накрылъ ихъ руками, какъ насѣдка покрываетъ крыломъ испуганныхъ приближеніемъ коршуна цыплятъ, и произнесъ нервнымъ голосомъ:

— Нѣтъ-съ, извините! пока я живъ, это не кончено. И того съ васъ довольно, что вы все это нѣсколько замедляете!

— Что же это такое «они» замедляютъ

— Ну, будто вы не понимаете?

— Революцію, что ли?

Учитель прекратилъ работу и съ усмѣшкою кивнулъ головой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

— Отобравъ эти свѣдѣнія отъ Данилки, — продолжалъ Варнава: — я сейчасъ же повернулъ къ Бизюкиной, чтобъ она объ этомъ знала, а черезъ часъ прихожу домой и уже не застаю у себя ни одной кости. Гдѣ онѣ? кричу, гдѣ? А эта госпожа, моя родительница, отвѣчаетъ: «Не сердись, говоритъ, другъ мой, Варнашенька (очень хорошее имя, изволите видѣть, дали, чтобъ его еще передѣлывать въ Варнашенекъ, да въ Черташенекъ), не сердись, говоритъ, ихъ начальство къ себѣ потребовало». — Что за вздоръ, кричу, что за вздоръ: какое начальство? «А безъ тебя, говоритъ, отецъ дьяконъ Ахилла приходилъ въ окно и всѣ ихъ забралъ и понесъ». Нравится вамъ: «Начальство, говоритъ, потребовало, и Ахилла понесъ». Да вы, говорю, хоть бы мозгами-то, если они у васъ есть, шевельнули: какое же дьяконъ начальство? «Другъ мой», говоритъ, «что ты, что ты это? да вѣдь онъ помазанъ!» Скажите вы, сдѣлайте ваше одолженіе! Вы вотъ смѣетесь, вамъ это смѣшно; но мнѣ это, стало-быть, не смѣшно было, когда я самъ къ этому бандиту пошелъ. Да-съ; Ахилка говоритъ, что я трусъ, и это и всѣ такъ думаютъ; но я вчера доказалъ, что я не трусъ; а я прямо пошелъ къ Ахилкѣ. Я прихожу, онъ дрыхнетъ. Я постучалъ въ окно и говорю: Отдайте мнѣ, Ахилла Андреичъ, мои кости? Онъ, во-первыхъ, наслу проснулся и, знаете, начинаетъ со мною кобениться: «на что онѣ, говоритъ, тебѣ кости (что это за фамильярное «ты»? что это за короткость?) Ты безъ костей складнѣе». Это, говорю, не ваше дѣло, какъ я складнѣй. «Нѣтъ; совсѣмъ напротивъ. Мое, говоритъ, это дѣло: я священнослужитель». Но, вы же, говорю, вѣдь не имѣете права отнимать чужую собственность? «А развѣ кости, говоритъ, это развѣ собственность? А ты бы, говоритъ, еще то понялъ, что этакую собственность тебѣ даже не позволено содержать?» А я отвѣчаю, что и красть же, говорю, священнослужителямъ тоже вѣрно не позволено: вы, говорю, вѣрно хорошенько англійскихъ законовъ не знаете. Въ Англіи васъ за это повѣсили бы. «Да ты, говоритъ, если ужъ про разные законы сталъ разсуждать, то ты еще знаешь ли, что, если тебя за это въ жандармскую канцелярію отправить, такъ тебя тамъ сейчасъ спустятъ по-поясъ въ подполъ, да начнутъ въ два

пука пороть. Вотъ тебѣ и будетъ 'Англія? Что? Хорошо тебѣ отъ этого станетъ?» А я ему и отвѣчаю: Вы, говорю, все знаете, вамъ даже извѣстно уже во сколько пуковъ тамъ порютъ. А онъ: «Конечно, говоритъ, извѣстно: это по самому по простому правилу, кто самъ претерпѣвалъ, тотъ и понять можетъ, что съ обѣихъ сторонъ станутъ съ пучьями и начнутъ донимать какъ найлучше». Прекрасная, говорю, картина; а онъ: «Да, говоритъ, ты это замѣтъ, а теперь лучше, братъ, слушай меня, забудь про всѣ свои глупости и уходи», и съ этимъ, слышу, онъ опять завалился на свое логово. Ну, тутъ уже, разумѣется, я все понялъ, какъ онъ проврался, но чтобъ еще болѣе отъ него вывѣдать, я говорю ему: но вѣдь вы же, говорю, дьяконъ, и въ жандармахъ не служите, чтобы законы наблюдать. А онъ, представьте себѣ, ничего этого не понялъ, къ чему это я подвелъ, и отляпалъ: «А ты почему, говоритъ, знаешь, что я не служу въ жандармахъ? Анъ у меня можетъ и бѣлая рукавица есть и я ее тебѣ, пожалуй, сейчасъ и покажу, если ты еще будешь мнѣ мѣшать спать». Но я, разумѣется, уже до этого не сталъ дожидаться, потому что, во-первыхъ, меня это не интересовало, а во-вторыхъ, я уже все, что мнѣ нужно было знать, то вывѣдалъ, а потомъ, зная его скотскія привычки драться...: Нѣтъ-съ, говорю, не хочу и вовсе не интересуюсь вашими доказательствами, и сейчасъ же пошелъ къ Бизюкинымъ, чтобы поскорѣй разсказать все это Дарьѣ Николаевнѣ. Дарья Николаевна точно такъ же, какъ и я сейчасъ, и говоритъ, что она и сама подозрѣвала, что они всѣ здѣсь служатъ въ тайной полиціи.

— Кто служитъ въ тайной полиціи?—спросилъ Варнаву его изумленный собесѣдникъ.

— Да вотъ всѣ эти наши различные людцы, а особенно попы: Савелій, Ахилла.

— Ну, батюшка, вы съ своею Дарьей Николаевной, просто сказать, рехнулись.

— Нѣтъ-съ; Дарью Николаевну на этотъ счетъ не обманешь: она вѣдь ужъ много вынесла отъ такихъ молодцовъ.

— Вретъ она, ваша Дарья Николаевна,—ничего она ни отъ кого не вынесла.

— Кто не вынесъ? Дарья Николаевна!?

— Да.

— Покорно васъ благодарю!—отвѣчалъ съ комическимъ поклономъ учитель.

— А что такое?

— Помилуйте, да вѣдь ее сѣкли,—съ гордостью произнесъ Препотенскій.

— Въ дѣтствѣ; да и то, видно, очень мало.

— Нѣтъ-съ, не въ дѣтствѣ, а всего за два дня до ея свадьбы.

— Вы меня все больше и больше удивляете.

— Нечего удивляться: это фактъ-съ.

— Ну, простите мое невѣжество,—я не зналъ этого факта.

— Да какъ же-съ, я вѣдь и говорю, что это всякому надо знать, чтобы судить. Дѣло началось съ того, что Дарья Николаевна тогда рѣшилась отъ отца уйти.

— Зачѣмъ?

— Зачѣмъ? Какъ вы странно это спрашиваете!

— Я потому такъ спрашиваю, что отецъ, кажется, ее не гналъ, ни тѣснилъ, ни неволилъ.

— Ну, да мало ли что! Ни къ чему не неволилъ, а такъ просто захотѣла уйти,—и ушла. Чего же ей было съ отцомъ жить? Бизюкинъ ея младшаго братишку училъ, и онъ это одобрилъ, и самъ согласился съ ней перевѣнчаться, чтобъ отецъ на нее права не имѣлъ, а отецъ ея не позволилъ ей идти за Бизюкина и считалъ его за дурака, а она, рѣшившись сдѣлать скандалъ, ужъ, разумѣется, уступить не могла и сдѣлала по-своему... Она такъ распорядилась, что ужъ за другого ее выдавать нечего было думать, и обо всемъ этомъ, понимаете, совершенно честно сказала отцу. Да вы слушаете ли меня, Валерьянъ Николаевичъ?

— Не только слушаю, но съ каждымъ вашимъ словомъ усугубляю мое любопытство.

— Оно такъ и слѣдуетъ, потому что интересъ сейчасъ будетъ возрастать. Итакъ, она честно и прямо раскрыла отцу имѣющій значеніе фактъ, а онъ, ни болѣе ни менѣе, какъ сдѣлалъ слѣдующую подлость; онъ сказалъ ей: «Съѣзди, мой другъ, завтра къ теткѣ и разскажи еще это ей». Дарья Николаевна, ничего не подозрѣвая, взяла да и поѣхала, а они ее тамъ вдвоемъ съ этой барыней и высѣкли. Она прямо отъ нихъ кинулась къ жандармскому офицеру. «Освидѣтельствуйте, говоритъ, и донесите въ Петербургъ,—я не хочу этого скрывать, — пусть всѣ знаютъ, что за учрежденіе

такое родители». А тотъ: «ни свидѣтельствовать, говоритъ, васъ не хочу, ни доносить не стану. Я заодно съ вашимъ старикомъ и даже охотно помогъ бы ему, если бъ онъ собрался повторить». Ну, что же еще послѣ этого ожидать? Вотъ вамъ-съ наша и тайная полиція. Родной отецъ, родная тетка, и вдругъ оказывается, что всѣ они не что иное, какъ та же тайная полиція! Дарья Николаевна одно говоритъ: по крайней мѣрѣ, говоритъ, я одно выиграла, что я ихъ изучила и знаю, и потому, когда я ей вчера сообщилъ мои открытія надъ Ахилкой, она говоритъ: «Это такъ и есть, онъ шпіонъ! И теперь, говоритъ, въ нашемъ опасномъ положеніи самый главный вопросъ, чтобы ваши кости достать и по нимъ какъ можно злѣе учить и учить. Ахилка, говоритъ, ночью еще никуда не могъ ихъ сбыть, и вы если тотчасъ къ нему прокрадетесь, то вы можете унести ихъ назадъ. Одно только, говоритъ,—не попадайтесь, а то онъ можетъ васъ набить...»

— Какъ «набить»?

— Это такъ она сказала, потому что она знаетъ Ахилкины привычки; но, впрочемъ, она говоритъ: «нѣтъ ничего, вы намотайте себѣ на шею мой толстый ковровый платокъ и надѣньте на голову мой ватный капоръ, такъ этакъ, если онъ васъ и поймаетъ, и выбьетъ, вамъ будетъ мягко и не больно. Я всѣмъ этимъ, какъ она учила, хорошенько обмотался и пошелъ. Прихожу къ этому скоту на дворъ во второй разъ... Собака было залаяла, но Дарья Николаевна это предвидѣла и дала мнѣ для собаки кусокъ пирожка. Я кормлю собаку и иду, и вижу прямо предо мною стоитъ телѣга; я къ телѣгѣ, и все въ ней нашелъ,—всѣ мои кости!

— Ну, тутъ, конечно, скорѣй за работу?

— Ужъ, разумѣется! Я духомъ снялъ съ головы Дарьи Николаевнинъ капоръ, завязалъ въ него кости и во всю рысь назадъ.

— Тѣмъ эта исторія и кончилась?

— Какъ кончилась? Напротивъ, она теперь въ самомъ разгарѣ. Хотите я доскажу?

— Ахъ, сдѣлайте милость!

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

— Начну съ объясненія того, какъ и почему я попалъ нынче въ церковь? Сегодня утромъ рано пріѣзжаетъ къ намъ

Александра Ивановна Серболова. Вы, конечно, ее знаете не хуже меня: она вѣрующая, и ея убѣжденія касательно многаго очень отсталыя, но она моей матери кой-чѣмъ помогаетъ, и потому я жертвую и заставляю себя съ нею не спорить. Но къ чему это я говорю? Ахъ, да! какъ она пріѣхала, маменька мнѣ и говоритъ: «встань, такой-сякой, другъ мой. Варнаша. проводи Александру Ивановну въ церковь, чтобы на нее акцизниковы собаки не бросились». Я пошелъ. Я, вы знаете, въ церковь никогда не хожу; но вѣдь я же понимаю, что тамъ меня ни Ахилла, ни Савелій тронуть не смѣютъ; я и пошелъ. Но, стоя тамъ, я вдругъ вспомнилъ, что оставилъ отпертою свою комнату, гдѣ кости, и побѣжалъ домой. Прихожу,—маменьки нѣтъ; смотрю на стѣну: нѣтъ ни одной косточки!

— Схоронила?

— Да-съ.

— Безъ шутокъ, схоронила?

— Да полноте, пожалуйста: какія съ ней шутки! Я сталъ ее просить: маменька, милая, я почитать васъ буду, только скажите честно, гдѣ мои кости? «Не спрашивай, говоритъ, Варнаша, имъ, мой другъ, теперь покойно». Все дѣлалъ: плакалъ, убить себя грозился, наконецъ даже обѣщалъ ей Богу молиться,—нѣтъ-таки не сказала! Злой-презлой я шелъ въ училище, съ самою твердою рѣшимостью взять нынче ночью заступъ, разрыть имъ одну изъ этихъ могилъ на погостѣ и достать себѣ новыя кости, чтобы меня не переспорили, и я бы это непремѣнно и сдѣлалъ. А между тѣмъ, вѣдь это тоже, небось, называется преступленіемъ?

— Да еще и большимъ.

— Ну, вотъ видите! А кто бы меня подъ это подвелъ?.. мать. И это бы непремѣнно случилось; но вдругъ на мое счастіе приходитъ въ классъ мальчишка и говоритъ, что на берегу свинья какія-то кости вырыла. Я бросился, въ полной надеждѣ, что это мои кости—такъ и вышло! Народъ твердитъ: «зарыть»... Я говорю: прочь. Какъ вдругъ слышу—Ахилла... Я схватилъ кости и бѣжать. Ахилла меня за сюртукъ. Я повернулся... трахъ! пола къ чорту; Ахилла меня за воротникъ,—я трахъ... воротникъ къ чорту; Ахилла меня за жилетъ,—я трахъ... жилетъ пополамъ; онъ меня за шею,—я трахъ и убѣжалъ, и вотъ здѣсь сижу и отчищаю ихъ, а вы меня опять испугали. Я думалъ, что это опять Ахилла.

— Да помилуйте, пойдетъ къ вамъ Ахилла, да еще черезъ заборъ! Вѣдь онъ дьяконъ.

— Онъ дьяконъ! Говорите-ка вы «дьяконъ». Много онъ на это смотритъ. Мнѣ комиссаръ Данилка вчера говорилъ, что онъ, прощаясь, сказалъ Туберозову: «Ну, говоритъ, отецъ Савелій, пока я этого Варнаву не сокрушу, не зовите меня Ахилла-дьяконъ, а зовите меня всѣ *Ахилла-воинъ*». Что же, пусть воюетъ, я его не боюсь, но я съ этихъ поръ знаю что дѣлать. Я рѣшилъ, что мнѣ здѣсь больше не жить: я кое съ кѣмъ въ Петербургѣ въ перепискѣ; тамъ одинъ баринъ устраиваетъ одно предпріятіе, и я уйду въ Петербургъ. Я вамъ скажу, я уже пробовалъ, мы съ Дарьей Николаевной посылали туда нѣсколько статеекъ, оттуда все отвѣчаютъ: «Рѣзче». Прекрасно, что «рѣзче»; я тамъ и буду рѣзокъ, я тамъ церемониться не стану, но здѣсь, помилуйте, духу не взведешь, когда за мертвую кость чуть жизнію не поплатишься. А съ другой стороны, посудите, и тамъ, въ Петербургѣ, какая пошла подлость; даже самыя благонамѣреннѣйшія газеты начинаютъ подтрунивать надъ распространяющеюся у насъ страстью къ естественнымъ наукамъ! Читали вы это?

— Кажется, что-то похожее читалъ.

— Ага! такъ и вы это поняли? Такъ скажите же мнѣ, зачѣмъ же они въ такомъ случаѣ манили насъ работать надъ лягушкой и все прочее?

— Не знаю.

— Не знаете? Ну, такъ я же вамъ скажу, что имъ это такъ не пройдетъ! Да-съ; я вотъ заберу мои кости, поѣду въ Петербургъ, да тамъ прямо въ рожи имъ этими костями, въ рожи! И пусть меня ведутъ къ своему мировому.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

— Ха-ха-ха! Вы прекрасно сдѣлаете! — внезапно проговорила Серболова, стоявшая до этой минуты за густымъ вишневымъ кустомъ и ни однимъ изъ собесѣдниковъ не замѣченная.

Препотенскій захватилъ на груди разстегнутую рубашку, приподнялся и, подтянувъ другою рукой свои испачканные въ кирпичѣ панталоны, проговорилъ:

— Вы, Александра Ивановна, простите, что я такъ не одѣтъ...

— Ничего; съ рабочаго человѣка туалета не взыскиваютъ; но идите, васъ мать зоветъ обѣдать.

— Нѣтъ, Александра Ивановна, я обѣдать не пойду. Мы съ матерью не можемъ болѣе жить; между нами все кончено.

— А вы бы постыдились такъ говорить, она васъ любитъ!

— Напрасно вы меня стыдите. Она съ моими врагами дружитъ; она мои кости хоронитъ; а я какъ-нибудь папироску у лампады закурю, такъ она и за то сердится...

— Зачѣмъ же свои папиросы у ея лампады закуриваете? Развѣ вамъ другого огня нѣтъ?

— Да вѣдь это же глупо!

Серболова улыбнулась и сказала:

— Покорно васъ благодарю.

— Нѣтъ; я не вамъ, а я говорю о лампадѣ: вѣдь все равно огонь.

— Ну, потому-то и закурите у другого.

— Все равно, на нее чѣмъ-нибудь другимъ не угодишь. Вонъ я вчера нашей собакѣ немножко супу далъ изъ миски, а маменька и объ этомъ расплакалась и миску съ досады разбила: «Не годится, говоритъ, она теперь; ее собака *нанюхала*». Ну, я васъ спрашиваю: вы, Валеріанъ Николаичъ, знаете физику: можно ли что-нибудь *нанюхать*? Можно *понюхать*, можно *вынюхать*, но *нанюхать!* Вѣдь это дуракъ одинъ сказать можетъ!

— Но вѣдь вы могли и не давать собакѣ изъ этой чашки?

— Могъ, да на что же это?

— Чтобы вашу мать не огорчать.

— Да, вотъ вы какъ на это смотрите! По-моему никакая хитрость не достойна честнаго человѣка.

— А ѣсть лошадиную ветчину при старой матери достойно?

— Ага! ужъ она вамъ и на это пажаловалась! Что жъ, я изъ любознательности купилъ у знакомаго татарина копченыхъ жеребячьихъ реберъ. Это, повѣрьте, очень вкусная вещь. Мы съ Дарьей Николаевной Бизюкиной два ребра за завтракомъ съѣли и дѣтей ея накормили, а третье—понесъ маменькѣ, и маменька, ничего не зная, отлично ѣла и хвалила, а потомъ вдругъ, какъ я ей сказалъ, и бѣда пошла.

— Угостилъ,—отнеслась къ Дарьянову, улыбнувшись, Серболова.—Впрочемъ, пусть это не къ обѣду вспоминается... Пойдемте лучше обѣдать.

— Нѣтъ-съ, я вѣдь вамъ сказалъ, что я не пойду, и не пойду.

— Да вы на хлѣбъ и на соль-то за что же сердитесь?

— Не сержусь, а мнѣ отсюда отойти нельзя. Я въ такомъ положеніи, что отовсюду жду всякихъ гадостей.

Серболова тихо засмѣялась, подала руку Дарьянову, и они пошли обѣдать, оставивъ учителя надъ его костями.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Просвирня Препотенская, маленькая старушка съ крошечнымъ личикомъ и вѣчно изумленными добрыми глазками, покрытыми бровями, имѣющими фигуру французскихъ апострофовъ, извинилась предъ Дарьяновымъ, что она не слыхала, какъ онъ долго стучалъ, и непосредственно за симъ пригнулась къ нему надъ столомъ и спросила шопотомъ:

— Варнашу моего видѣли?

Тотъ отвѣчалъ, что видѣлъ.

— Убиваетъ онъ меня, Валерьянъ Николаичъ, до безконечности,—жаловалась старушка.

— Да Богъ съ нимъ, что вы огорчаетесь? Онъ молодъ; постарѣетъ, женится и перемѣнится.

— Перемѣнится... Нѣтъ, какъ его, дружокъ, возможно женить? невозможно. Онъ ужъ весь до сихъ поръ, до безконечности извертѣлся: въ Господа Бога не вѣритъ до безконечности; молоко и мясо по всѣмъ постамъ, даже и въ Страшную недѣлю ѣстъ до безконечности, а я, дружокъ мой, правду вамъ сказать, въ вечернее время ихъ до безконечности боюсь; все ихъ до безконечности тревожусь...

Черненькіе апострофы надъ глазками крошечной робкой старушки задвигались, и она, вздрогнувъ, залепетала:

— И, кромѣ того, все мнѣ, другъ мой, видятся такіе до безконечности страшные сны, что я, какъ проснусь, сейчасъ шепчу: «святой Симеонъ, разгадай мой сонъ», но все, если бъ я могла себя съ кѣмъ-нибудь въ домѣ разговорить, я бы терпѣла; а то возьмите же, что я постоянно одна и постоянно съ мертвецами. Я, мои дружочки, отпѣтаго покойника не боюсь, а Варнаша не позволяетъ ихъ отпѣть.

— Ну, вы на него не сердитесь, — вѣдь онъ добрый.

— Добрый, конечно, онъ добрый, я не хочу на него лгать, что онъ золъ. Я была его счастливая мать, и онъ

прежде ко мнѣ былъ добръ даже до безконечности, пока въ шестой классъ по философіи перешелъ. Онъ, бывало, когда домой пріѣзжалъ, и въ церковь ходилъ, и къ отцу Савелію я его водила, и отецъ Савелій даже его до безконечности ласкали и по бездѣлицѣ ему кое-чѣмъ помогали, но тутъ вдругъ, — и сама не знаю, что съ нимъ подѣлалось: все началъ умствовать. И съ тѣхъ поръ, какъ пріѣдетъ изъ семинаріи, все разъ отъ разу хуже да хуже, и, наконецъ, даже такъ противъ всего хорошаго ожесточился, что на крестинахъ у отца Захаріи началъ на самого отца протопопа метаться. Ахъ, тяжело это мнѣ, душечки! — продолжала старушка, горько сморщившись. — Теперь опять я третьяго дня узнала, что они съ акцизничихой, съ Бизюкиной, вдругъ въ соусѣ лягушекъ ѣлц! Господи! Господи! каково это матери вынести? А что съ голоду, что-ль, это дѣлается? Испорченъ онъ. Я, какъ вы хотите, я иначе и не полагаю, что онъ испорченъ. Мнѣ отецъ Захарія въ «Домашней Бесѣдѣ» нарочно читалъ тамъ: одинъ благородный сынъ бѣсновался, десять человѣкъ удержать не могли. Такъ и Варнава! его никто не удержитъ. Робость имѣетъ страшную, даже и недавно, всего еще года нѣтъ, какъ я его вечерами сама, куда нужно, провожала; но если расходится, кричитъ: «Не выдамъ своихъ! не выдамъ», да этакъ рукой машетъ, да приговариваетъ: «нѣтъ; рѣзать всѣхъ, рѣзать!» Такъ живу и постоянно гляжу, что его въ полицію и въ острогъ.

Просвирня опять юркнула, обтерла въ кухнѣ платочкомъ слезы и, снова появясь, заговорила:

— Я его, признаюсь вамъ, я его наговорной водой всякій день пою. Онъ, конечно, этого не знаетъ и не замѣчаетъ, но я пою, только не помогаетъ. — да и грѣхъ. А отецъ Савелій говоритъ одно: что стоило бы мнѣ его куда-то въ Ташкентъ сослать. — Отчего же, говорю, еще не попробовать лаской? — А потому, говоритъ, что изъ него лаской ничего не будетъ, у него, онъ находитъ, будто совсѣмъ природы чувствъ нѣтъ. А мнѣ, если и такъ, мнѣ, дѣтки мои, его все-таки жалко... — И просвирня снова исчезла.

— Экое несчастное твореніе! — прошептала вслѣдъ вышедшей старушкѣ молодая дама.

— Ужъ именно,—подтвердилъ ея собесѣдникъ и приба-

вилъ: — а тотъ болванъ еще ломается и даже теперь обѣдать не идетъ.

— Подите, приведите его въ самомъ дѣлѣ.

— Да вѣдь упрямъ, какъ лошадь, не пойдетъ.

— Ну, какъ не пойдетъ? Скажите ему, что я ему приказываю, что я агентъ тайной полиціи и приказываю ему, чтобъ онъ сейчасъ шелъ, а то я донесу, что онъ въ Петербургъ собирается.

Дарьяновъ засмѣялся, всталъ и пошелъ за Варнавой. Между тѣмъ учитель, употребившій это время на то, чтобы спрятать свое сокровище, чувствовалъ здоровый аппетитъ и при новомъ приглашеніи къ столу не безъ труда выдерживалъ характеръ и отказывался.

Чтобы вывести этого добровольнаго мученика изъ его затруднительнаго положенія, посланный за нимъ молодой человѣкъ нагнулся таинственно къ его уху и шепнулъ ему то, что было сказано Серболовой.

— Она шпіонъ!—воскликнулъ, весь покрывшись румянцемъ, Варнава.

— Да.

— И можетъ-быть...

— Что?

— Можетъ-быть и вы?..

— Да, и я.

Варнава дружески сжалъ его руку и проговорилъ:

— Вотъ это благодарю, что вы не дѣлаете изъ этого тайны. — И затѣмъ онъ съ чистою совѣстью пошелъ обѣдать.—Извольте, я вамъ повинуюсь.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Шутка удалась. Варнава имѣлъ предлогъ явиться и притомъ явиться съ достоинствомъ. Онъ вошелъ въ комнату, какъ жертва враждебныхъ силъ, и помѣстился въ узкомъ концѣ стола противъ Дарьянова. Между ними двумя, съ третьей стороны, сидѣла Серболова, а четвертая сторона стола оставалась пустою. Сама просвирня обыкновенно никогда не садилась за столъ съ сыномъ, не садилась она и нынче съ гостями, а только служила имъ. Старушка была теперь въ восторгѣ, что видитъ передъ собою своего многоученаго сына; радость и печаль одолѣвали другъ друга на ея лицѣ, вѣки ея глазъ были красны; нижняя губа тихо

вздрагивала и ветхія ея ножки не ходили, а все бѣгали, причемъ она постоянно старалась и на бѣгу, и при остановкахъ брать такіе обороты, чтобы лица ея никому не было видно.

— Остановить васъ теперь невозможно?—шутя говорилъ ей Дарьяновъ.

— Нѣтъ, невозможно, Валерьянъ Николаичъ,—отвѣчала она весело и, снова убѣгая, спѣшно проглатывала въ кухонькѣ непрошенную слезу.

Гости поднимались на хитрость, чтобъ удерживать старушку, и хвалили ея стряпню; но она скромно отклоняла всѣ эти похвалы, говоря, что она только умѣетъ готовить самое простое.

— Но простое-то ваше очень вкусно.

— Нѣтъ; гдѣ ему быть вкуснымъ, а только развѣ для здоровья оно, говорятъ, самое лучшее: да и то и не знаю: вотъ Варнаша всегда это кушанье кушаетъ, а посмотрите какой онъ: точно пустой!

— Гм! — произнесъ Варнава, укоризненно взглянувъ на мать, и покачалъ головой.

— Да что же ты! Ей-Богу ты, Варнаша, пустой!

— Вы еще разъ это повторите!—отозвался учитель.

— Да что же тутъ, Варнаша, тебѣ такого обиднаго? Молока ты утромъ пьешь до безконечности; чаю съ булкой кушаешь до безконечности; жаркого и каши тоже, а встанешь изъ-за стола опять весь до безконечности пустой, — это болѣзнь. Я говорю, послушай меня, сынокъ...

— Маменька!—перебилъ ее, сердито крикнувъ, учитель.

— Что-жъ тутъ такого, Варнаша? Я говорю: скажи, Варнаша, какъ встанешь утромъ: «наполни, Господи, мою пустоту» и вкуси...

— Маменька!—еще громче воскликнулъ Препотенскій.

— Да что ты, дурачокъ, чего сердишься? Я говорю: скажи: «наполни, Господи, пустоту мою» и вкуси пѣтой просвирки, потому я, знаете, — обратилась она къ гостямъ: — я и за себя, и за него всегда одну часточку вынимаю, чтобы намъ съ нимъ на томъ свѣтѣ въ одной скиніи быть, а онъ не хочетъ вкусить. Почему такъ?

— Почему? вы хотите знать: почему? — извольте-съ: потому, что я не хочу съ вами нигдѣ въ одномъ мѣстѣ быть! Понимаете; нигдѣ ни на этомъ свѣтѣ, ни на какомъ другомъ.

Но прежде чѣмъ учитель досказалъ эту рѣчь, старушка поблѣднѣла, затряслась, и двѣ завѣтныя фаянсовыя тарелки, выскользнувъ изъ ея рукъ, ударились о полъ, зазвенѣли и разбились вдребезги.

— Варнава!—воскликнула она.—Это ты отъ меня отрекся!

— Да-съ, да-съ, да-съ, отрекся и отрекаюсь! Вы мнѣ и здѣсь надоѣли, не только чтобъ еще на томъ свѣтѣ я пожелалъ съ вами видѣться.

— Тс! тс! тс! — останавливала сына, плача, просвирня и начала громко хлопать у него подъ носомъ въ ладони, чтобы не слыхать его отреченій. Но Варнава кричалъ гораздо громче, чѣмъ хлопала его мать. Тогда она бросилась къ образу и, махая предъ иконой растопыренными пальцами своихъ слабыхъ рукъ, въ изступленіи закричала:

— Не слушай его, Господи! не слушай! не слушай! — и съ этимъ пала въ уголъ и зарыдала.

Эта тяжелая и совершенно неожиданная сцена взволновала всѣхъ при ней присутствовавшихъ, кромѣ одного Препотенскаго. Учитель оставался совершенно спокойнымъ и ѣлъ съ непокидавшимъ его никогда аппетитомъ: Серболова встала изъ-за стола и вышла вслѣдъ за убѣжавшей старушкой. Дарьяновъ видѣлъ, какъ просвирня обняла Александру Ивановну. Онъ поднялся и затворилъ дверь въ комнату, гдѣ были женщины, а самъ сталъ у окна.

Препотенскій попрежнему ѣлъ.

— Александра Ивановна когда ѣдетъ домой?—спросилъ онъ, ворочая во рту пищу.

— Какъ схлынетъ жаръ,—вымолвилъ ему сухо въ отвѣтъ Дарьяновъ.

— Вонъ когда!—протянулъ Препотенскій.

— Да, у нея здѣсь еще будетъ Туберозовъ.

— Туберозовъ? У насъ? въ нашемъ домѣ?

— Да, въ вашемъ домѣ, но не у васъ, а у Александрины.

Дарьяновъ велъ послѣдній разговоръ съ Препотенскимъ отвернувшись и глядя на дворъ; но при этомъ словѣ онъ оборотился къ учителю лицомъ и сказалъ сквозь едва замѣтную улыбку:

— А вы, кажется, все-таки Туберозова-то побаиваетесь!

— Я? Я его боюсь?

— Ну, да; я вижу, что у васъ какъ будто даже носъ позеленѣлъ, когда я сказалъ, что онъ сюда придетъ.

— Носъ позеленѣлъ? Увѣряю васъ, что вамъ это такъ только показалось, а что я его не боюсь, такъ я вамъ это нынче же докажу.

И съ этимъ Препотенскій поднялся съ своего мѣста и торопливо вышелъ. Гостю и въ голову не приходило, какія смѣлыя мысли родились и зрѣли въ эту минуту въ отчаянной головѣ Варнавы; а благосклонный читатель узнаетъ объ этомъ изъ слѣдующей главы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Выйдя изъ комнаты, Препотенскій юркнулъ въ небольшой сарай и, сбросивъ здѣсь съ себя верхнее платье, полѣзъ на сѣновалъ, а оттуда, съ трудомъ раздвинувъ двѣ потолочины, спустился чрезъ довольно узкую щель въ небольшой, запертой снаружи, амбарчикъ. Въ этомъ амбарчикѣ былъ всякій домашній скарбъ. Тутъ стояли кадочки, наполы, висѣлъ окорочекъ ветчины, торчали на колкахъ пучки чебору, мяты и укропу. Учитель ничего этого не тронулъ, но онъ взлѣзъ на высокій сосновый ларь, покрытый покатой крышей, досталъ съ него большія и разлатыя липовыя ночвы, чистыя какъ стекло зеркальнаго магазина, и тотчасъ же началъ спускаться съ ними назадъ въ сарай, гдѣ имъ очень искусно были спрятаны злополучныя кости.

За учителемъ никто, рѣшительно, не присматривалъ, но онъ, какъ человѣкъ, уже привыкшій мечтать объ «опасномъ положеніи», ничему не вѣрилъ; онъ отъ всего жался и хоронился, чтобы ему не воспрепятствовали докончить свое предпріятіе и совершить оное въ свое время съ полною торжественностью. Прошло уже около часа съ тѣхъ поръ, какъ Варнава заключился въ сараѣ, на дворѣ начало вечерѣть, и вотъ у утлой калиточки просвирнина домика звякнуло кольцо.

Это пришелъ Туберозовъ. Варнавѣ въ его сараѣ слышно, какъ подъ крѣпко ступающими ногами большого протопопа гнутся и скрипятъ ступени ветхаго крыльца; слышны привѣтствія и благожеланія, которыя онъ выражаетъ Серболовой и старушкѣ Препотенской. Варнава, однако, все еще не выходитъ и не обнаруживаетъ, что̀ такое онъ намѣренъ устроить.

— Ну, что моя вдовица Наинская, что твой ученый сынъ?—заговорилъ отецъ Савелій ко вдовѣ, выставлявшей

на свое открытое крылечко бѣлый столикъ, за которымъ компанія должна была пить чай.

— Варнаша мой? А Богъ его знаетъ, отецъ протопопъ:— онъ вѣрно оробѣлъ и гдѣ-нибудь отъ васъ спрятался?

— Чего жъ ему въ своемъ домѣ прятаться?

— Онъ васъ, отецъ протопопъ, очень боится.

— Господи помилуй, чего меня бояться? Пусть лучше себя боится и бережетъ, — и Туберозовъ началъ разсказывать Дарьянову и Серболовой, какъ его удивилъ своими похожденіями вчерашней ночи Ахилла.

— Кто его объ этомъ просилъ? кто ему поручилъ? кто приказывалъ? — разсуждалъ старикъ, и отвѣчалъ: — никто, самъ вздумалъ съ Варнавой Васильичемъ перевѣдаться, и надѣлали на весь городъ разговоровъ.

— А вы, отецъ протопопъ, развѣ ему этого не приказывали?—спросила старушка.

— Ну, скажите пожалуйста: стану я такія глупости приказывать! — отозвался Туберозовъ и заговорилъ о чемъ-то постороннемъ, а межъ тѣмъ уплыло еще полчаса, и гости стали собираться по домамъ. Варнава все не показывался, но зато, чуть только кучеръ Серболовой подалъ къ крыльцу лошадь, ворота сарая, скрывавшаго учителя, съ шумомъ распахнулись, и онъ торжественно предсталъ глазамъ изумленныхъ его появленіемъ зрителей.

Препотенскій былъ облаченъ во всѣ свои обычныя одежды и обѣими руками поддерживалъ на головѣ своей похищенныя имъ у матери новыя ночвы, на которыхъ теперь симметрически были разложены извѣстныя человѣческія кости.

Прежде чѣмъ кто-нибудь могъ рѣшить, что̀ можетъ значить появленіе Препотенскаго съ такою ношей, учитель прошелъ съ нею величественнымъ шагомъ мимо крыльца, на которомъ стоялъ Туберозовъ, показалъ ему языкъ и вышелъ чрезъ кладбище на улицу.

Гости просвирни только ахнули и не утерпѣли, чтобы не посмотрѣть, чѣмъ окончится эта демонстрація. Выйдя вслѣдъ за Варнавой на тихую улицу, они увидали, что учитель подвигался тихо, въ-розвалъ, и несъ свою ношу осторожно, какъ будто это была не доска, укладенная изсохшими костями, а драгоцѣнный и хрупкій сосудъ, взрѣзь съ краями полный еще болѣе многоцѣнною жидкостью; но сзади ихъ вдругъ послышался тихій, прерываемый одышкой

плачъ, и за спинами у нихъ появилась облитая слезами просвирня.

Бѣдная старуха дрожала и, судорожно кусая кончики сложенныхъ вмѣстѣ всѣхъ пяти пальцевъ руки, шептала:

— Что это онъ? что это онъ такое носитъ по городу?

И съ этимъ, уразумѣвъ дѣло, она болѣзненно визгнула и, съ несвойственною ея лѣтамъ рѣзвостью, бросилась въ погоню за сыномъ. Ветхая просфирня бѣжала подпрыгивая и подскакивая, какъ бѣгаютъ дурно летающія птицы, прежде чѣмъ имъ подняться на воздухъ, а Варнава шелъ тихо; но, тѣмъ не менѣе, все-таки трудно было рѣшить, могла ли бы просвирня и при такомъ быстромъ аллюрѣ догнать своего сына, потому что онъ былъ ужъ въ концѣ улицы, которую та только что начала. Быть или не быть этому — рѣшилъ случай, давшій всей этой процессіи и погонѣ совершенно неожиданный оборотъ.

Въ то самое время, какъ вдова понеслась съ неизвѣстными цѣлями за своимъ ученымъ сыномъ, откуда-то сверху раздалось громкое и веселое:

— «Эй! ур-р-ре-ре: не бей его! не бей! не бей!»

Присутствовавшіе при этой сценѣ оглянулись по направленію, откуда происходилъ этотъ крикъ, и увидѣли на голубцѣ одной изъ сосѣднихъ крышъ оборванца, который держалъ въ рукѣ тонкій шестъ, какимъ обыкновенно охотники до голубинаго лета пугаютъ турмановъ. Этотъ крикунъ былъ старогородскій бирючъ, фактотумъ и пролетарій, праздношатающійся мѣщанинъ, по прозванію комиссаръ Данилка. Онъ пугалъ въ это время своихъ турмановъ и не упустилъ случая, смѣха ради, испугать и учителя. Цѣль комиссара Данилки была достигнута какъ нельзя болѣе, потому что Препотенскій, едва лишь услыхалъ его предостерегающій кликъ, какъ тотчасъ же перемѣнилъ шагъ и бросился впередъ съ быстротой лани.

Шибко скакалъ Варнава по пустой улицѣ, а съ нимъ вмѣстѣ скакали, прыгали и разлетались въ разныя стороны кости, уложенныя на его плоскихъ ночвахъ; но все-таки онѣ не столько уходили отъ одной бѣды, сколько спѣшили навстрѣчу другой, несравненно болѣе опасной: на ближайшемъ перекресткѣ улицы испуганнымъ и полнымъ страха глазамъ учителя Варнавы предсталъ въ гораздо большей противъ обыкновеннаго величинѣ своей грозный дьяконъ Ахилла.

По пословицѣ: впереди стояла затрещина, а сзади— тычокъ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Чуть только бѣдный учитель завидѣлъ Ахиллу, ноги его подкосились и стали; но черезъ мгновеніе отдрогнули, какъ сильно нагнетенныя пружины, и въ три сильныхъ прыжка перенесли Варнаву черезъ такое разстояніе, котораго человѣку въ спокойномъ состояніи не перескочить бы и въ десять прыжковъ. Этимъ Варнава былъ почти спасенъ: онъ теперь находился какъ разъ подъ окномъ акцизничихи Бизюкиной, и на его великое счастье сама ученая дама стояла у открытаго окна.

— Берите! — крикнулъ ей, задыхаясь, Препотенскій:— за мной гонятся шпіоны и духовенство! — съ этимъ онъ сунулъ ей въ окно свои ночвы съ костями, но самъ былъ такъ обезсиленъ, что не могъ больше двинуться и прислонился съ стѣнѣ, гдѣ тутъ же съ нимъ рядомъ сейчасъ очутился Ахилла и, тоже задыхаясь, держалъ его за руку.

Дьяконъ и учитель похожи были на двухъ друзей, которые только что пробѣжались въ горѣлки и отдыхаютъ. Въ лицѣ дьякона не было ни малѣйшей злобы: ему скорѣй было весело. Тяжко дыша и поводя вокругъ глазами, онъ замѣтилъ посреди дороги два торчащія изъ пыли человѣческія ребра и, обратясь къ Препотенскому, сказалъ ему:

— Что же ты не поднимаешь вонъ этихъ твоихъ астрагелюсовъ?

— Отойдите прочь, я тогда подниму.

— Ну, хорошо: я отойду,—и дьяконъ со всею свойственною ему простотой и откровенностію подошелъ къ окну, поднялся на цыпочки и, заглянувъ въ комнаты, проговорилъ:

— Послушайте, совѣтница, а вы, право, напрасно за этого учителя заступаетесь.

Но вмѣсто ожидаемаго отвѣта отъ «совѣтницы», Ахиллѣ предсталъ самъ либеральный акцизный чиновникъ Бизюкинъ и показалъ ему голый черепъ скелета.

— Послушай, спрячь, сдѣлай милость, это, а то я разсержусь, — попросилъ вѣжливо Ахилла; но, вмѣсто отвѣта, изъ дома послышался самый оскорбительный хохотъ, и самъ акцизный, стоя у окна, началъ, смѣясь, громко щелкать на дьякона челюстями скелета.

— Перебью васъ, еретики! — взревѣлъ Ахилла и сгребъ въ обѣ руки лежавшій у фундамента большой булыжный камень съ непремѣннымъ намѣреніемъ бросить эту шестипудовую бомбу въ своихъ оскорбителей, но въ это самое время, какъ онъ, сверкая глазами, готовъ былъ вергнуть поднятую глыбу, его сзади кто-то сжалъ за руку, и знакомый голосъ повелительно произнесъ:

— Брось!

Это былъ голосъ Туберозова. Протопопъ Савелій стоялъ строгій и дрожащій отъ гнѣва и одышки. Ахилла его послушалъ; онъ сверкнулъ покраснѣвшими отъ ярости глазами на акцизника и бросилъ въ сторону камень съ такою силой, что онъ ушелъ на цѣлый вершокъ въ землю.

— Иди домой,—шепнулъ ему, и самъ отходя, Савелій.

Ахилла не возразилъ и въ этомъ и пошелъ домой тихо и сконфуженно, какъ обличенный въ шалости добронравный школьникъ.

— Боже! какой глупый и досадный случай!—произнесъ, едва переводя духъ, Туберозовъ, когда съ нимъ поровнялся его давишній собесѣдникъ Дарьяновъ.

— Да не безпокойтесь: ничего изъ этого не будетъ.

— Какъ не будетъ-съ? будетъ то, что Ахиллу отдадутъ подъ судъ! Вы развѣ не слыхали, что онъ кричалъ, грозя камнемъ? Онъ хотѣлъ ихъ всѣхъ перебить!

— А увидите, что все это кончится однимъ смѣхомъ.

— Нѣтъ-съ; это не кончится смѣхомъ и здѣсь нѣтъ никакого смѣха, а есть глупость, которою дрянные люди могутъ воспользоваться.

И протопопъ, ускоривъ шагъ, шибко пошелъ домой, выписывая сердитые эсы концомъ своей трости.

Въ слѣдующей части нашей хроники мы увидимъ, какія все это будетъ имѣть послѣдствія и кто изъ двухъ прорицателей правѣе.

Оглавленіе

I ТОМА.

стр.

Николай Семеновичъ Лѣсковъ. Критико-біографическій очеркъ *Р. Сементковскаго.* 5

Соборяне. (Хроника).

Часть первая. 67

— Носъ позеленѣлъ? Увѣряю васъ, что вамъ это такъ только показалось, а что я его не боюсь, такъ я вамъ это нынче же докажу.

И съ этимъ Препотенскій поднялся съ своего мѣста и торопливо вышелъ. Гостю и въ голову не приходило, какія смѣлыя мысли родились и зрѣли въ эту минуту въ отчаянной головѣ Варнавы; а благосклонный читатель узнаетъ объ этомъ изъ слѣдующей главы.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Выйдя изъ комнаты, Препотенскій юркнулъ въ небольшой сарай и, сбросивъ здѣсь съ себя верхнее платье, полѣзъ на сѣновалъ, а оттуда, съ трудомъ раздвинувъ двѣ потолочины, спустился чрезъ довольно узкую щель въ небольшой, запертой снаружи, амбарчикъ. Въ этомъ амбарчикѣ былъ всякій домашній скарбъ. Тутъ стояли кадочки, наполы, висѣлъ окорочекъ ветчины, торчали на колкахъ пучки чебору, мяты и укропу. Учитель ничего этого не тронулъ, но онъ взлѣзъ на высокій сосновый ларь, покрытый покатой крышей, досталъ съ него большія и разлатыя липовыя ночвы, чистыя какъ стекло зеркальнаго магазина, и тотчасъ же началъ спускаться съ ними назадъ въ сарай, гдѣ имъ очень искусно были спрятаны злополучныя кости.

За учителемъ никто, рѣшительно, не присматривалъ, но онъ, какъ человѣкъ, уже привыкшій мечтать объ «опасномъ положеніи», ничему не вѣрилъ: онъ отъ всего жался и хоронился, чтобы ему не воспрепятствовали докончить свое предпріятіе и совершить оное въ свое время съ полною торжественностью. Прошло уже около часа съ тѣхъ поръ, какъ Варнава заключился въ сараѣ, на дворѣ начало вечерѣть, и вотъ у утлой калиточки просвирнина домика звякнуло кольцо.

Это пришелъ Туберозовъ. Варнавѣ въ его сараѣ слышно, какъ подъ крѣпко ступающими ногами большого протопопа гнутся и скрипятъ ступени ветхаго крыльца: слышны привѣтствія и благожеланія, которыя онъ выражаетъ Серболовой и старушкѣ Препотенской. Варнава, однако, все еще не выходитъ и не обнаруживаетъ, что̀ такое онъ намѣренъ устроить.

— Ну, что моя вдовица Наинская, что твой ученый сынъ?—заговорилъ отецъ Савелій ко вдовѣ, выставлявшей

на свое открытое крылечко бѣлый столикъ, за которымъ компанія должна была пить чай.

— Варнаша мой? А Богъ его знаетъ, отецъ протопопъ:— онъ вѣрно оробѣлъ и гдѣ-нибудь отъ васъ спрятался?

— Чего жъ ему въ своемъ домѣ прятаться?

— Онъ васъ, отецъ протопопъ, очень боится.

— Господи помилуй, чего меня бояться? Пусть лучше себя боится и бережетъ, — и Туберозовъ началъ разсказывать Дарьянову и Серболовой, какъ его удивилъ своими похожденіями вчерашней ночи Ахилла.

— Кто его объ этомъ просилъ? кто ему поручилъ? кто приказывалъ? — разсуждалъ старикъ, и отвѣчалъ: — никто, самъ вздумалъ съ Варнавой Васильичемъ перевѣдаться, и надѣлали на весь городъ разговоровъ.

— А вы, отецъ протопопъ, развѣ ему этого не приказывали?—спросила старушка.

— Ну, скажите пожалуйста: стану я такія глупости приказывать! — отозвался Туберозовъ и заговорилъ о чемъ-то постороннемъ, а межъ тѣмъ уплыло еще полчаса, и гости стали собираться по домамъ. Варнава все не показывался, но зато, чуть только кучеръ Серболовой подалъ къ крыльцу лошадь, ворота сарая, скрывавшаго учителя, съ шумомъ распахнулись, и онъ торжественно предсталъ глазамъ изумленныхъ его появленіемъ зрителей.

Препотенскій былъ облаченъ во всѣ свои обычныя одежды и обѣими руками поддерживалъ на головѣ своей похищенныя имъ у матери новыя ночвы, на которыхъ теперь симметрически были разложены извѣстныя человѣческія кости.

Прежде чѣмъ кто-нибудь могъ рѣшить, что̀ можетъ значить появленіе Препотенскаго съ такою ношей, учитель прошелъ съ нею величественнымъ шагомъ мимо крыльца, на которомъ стоялъ Туберозовъ, показалъ ему языкъ и вышелъ чрезъ кладбище на улицу.

Гости просвирни только ахнули и не утерпѣли, чтобы не посмотрѣть, чѣмъ окончится эта демонстрація. Выйдя вслѣдъ за Варнавой на тихую улицу, они увидали, что учитель подвигался тихо, въ-розвалъ, и несъ свою ношу осторожно, какъ будто это была не доска, укладенная изсохшими костями, а драгоцѣнный и хрупкій сосудъ, взрѣзь съ краями полный еще болѣе многоцѣнною жидкостью; но сзади ихъ вдругъ послышался тихій, прерываемый одышкой

плачъ, и за спинами у нихъ появилась облитая слезами просвирня.

Бѣдная старуха дрожала и, судорожно кусая кончики сложенныхъ вмѣстѣ всѣхъ пяти пальцевъ руки, шептала:

— Что это онъ? что это онъ такое носитъ по городу?

И съ этимъ, уразумѣвъ дѣло, она болѣзненно визгнула и, съ несвойственною ея лѣтамъ рѣзвостью, бросилась въ погоню за сыномъ. Ветхая просфирня бѣжала подпрыгивая и подскакивая, какъ бѣгаютъ дурно летающія птицы, прежде чѣмъ имъ подняться на воздухъ, а Варнава шелъ тихо; но, тѣмъ не менѣе, все-таки трудно было рѣшить, могла ли бы просвирня и при такомъ быстромъ аллюрѣ догнать своего сына, потому что онъ былъ ужъ въ концѣ улицы, которую та только что начала. Быть или не быть этому — рѣшилъ случай, давшій всей этой процессіи и погонѣ совершенно неожиданный оборотъ.

Въ то самое время, какъ вдова понеслась съ неизвѣстными цѣлями за своимъ ученымъ сыномъ, откуда-то сверху раздалось громкое и веселое:

— «Эй! ур-р-ре-ре: не бей его! не бей! не бей!»

Присутствовавшіе при этой сценѣ оглянулись по направленію, откуда происходилъ этотъ крикъ, и увидѣли на голубцѣ одной изъ сосѣднихъ крышъ оборванца, который держалъ въ рукѣ тонкій шестъ, какимъ обыкновенно охотники до голубинаго лета пугаютъ турмановъ. Этотъ крикунъ былъ старогородскій бирючъ, фактотумъ и пролетарій, праздношатающійся мѣщанинъ, по прозванію комиссаръ Данилка. Онъ пугалъ въ это время своихъ турмановъ и не упустилъ случая, смѣха ради, испугать и учителя. Цѣль комиссара Данилки была достигнута какъ нельзя болѣе, потому что Препотенскій, едва лишь услыхалъ его предостерегающій кликъ, какъ тотчасъ же перемѣнилъ шагъ и бросился впередъ съ быстротой лани.

Шибко скакалъ Варнава по пустой улицѣ, а съ нимъ вмѣстѣ скакали, прыгали и разлетались въ разныя стороны кости, уложенныя на его плоскихъ ночвахъ; но все-таки онѣ не столько уходили отъ одной бѣды, сколько спѣшили навстрѣчу другой, несравненно болѣе опасной: на ближайшемъ перекресткѣ улицы испуганнымъ и полнымъ страха глазамъ учителя Варнавы предсталъ въ гораздо большей противъ обыкновеннаго величинѣ своей грозный дьяконъ Ахилла.

По пословицѣ: впереди стояла затрещина, а сзади— тычокъ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Чуть только бѣдный учитель завидѣлъ Ахиллу, ноги его подкосились и стали; но черезъ мгновеніе отдрогнули, какъ сильно нагнетенныя пружины, и въ три сильныхъ прыжка перенесли Варнаву черезъ такое разстояніе, котораго человѣку въ спокойномъ состояніи не перескочить бы и въ десять прыжковъ. Этимъ Варнава былъ почти спасенъ: онъ теперь находился какъ разъ подъ окномъ акцизничихи Бизюкиной, и на его великое счастье сама ученая дама стояла у открытаго окна.

— Берите! — крикнулъ ей, задыхаясь, Препотенскій:— за мной гонятся шпіоны и духовенство! — съ этимъ онъ сунулъ ей въ окно свои ночвы съ костями, но самъ былъ такъ обезсиленъ, что не могъ больше двинуться и прислонился съ стѣнѣ, гдѣ тутъ же съ нимъ рядомъ сейчасъ очутился Ахилла и, тоже задыхаясь, держалъ его за руку.

Дьяконъ и учитель похожи были на двухъ друзей, которые только что пробѣжались въ горѣлки и отдыхаютъ. Въ лицѣ дьякона не было ни малѣйшей злобы: ему скорѣй было весело. Тяжко дыша и поводя вокругъ глазами, онъ замѣтилъ посреди дороги два торчащія изъ пыли человѣческія ребра и, обратясь къ Препотенскому, сказалъ ему:

— Что же ты не поднимаешь вонъ этихъ твоихъ астрагелюсовъ?

— Отойдите прочь, я тогда подниму.

— Ну, хорошо: я отойду,—и дьяконъ со всею свойственною ему простотой и откровенностію подошелъ къ окну, поднялся на цыпочки и, заглянувъ въ комнаты, проговорилъ:

— Послушайте, совѣтница, а вы, право, напрасно за этого учителя заступаетесь.

Но вмѣсто ожидаемаго отвѣта отъ «совѣтницы», Ахиллѣ предсталъ самъ либеральный акцизный чиновникъ Бизюкинъ и показалъ ему голый черепъ скелета.

— Послушай, спрячь, сдѣлай милость, это, а то я разсержусь, — попросилъ вѣжливо Ахилла; но, вмѣсто отвѣта, изъ дома послышался самый оскорбительный хохотъ, и самъ акцизный, стоя у окна, началъ, смѣясь, громко щелкать на дьякона челюстями скелета.

— Перебью васъ, еретики! — взревѣлъ Ахилла и сгребъ въ обѣ руки лежавшій у фундамента большой булыжный камень съ непремѣннымъ намѣреніемъ бросить эту шестипудовую бомбу въ своихъ оскорбителей, но въ это самое время, какъ онъ, сверкая глазами, готовъ былъ вергнуть поднятую глыбу, его сзади кто-то сжалъ за руку, и знакомый голосъ повелительно произнесъ:

— Брось!

Это былъ голосъ Туберозова. Протопопъ Савелій стоялъ строгій и дрожащій отъ гнѣва и одышки. Ахилла его послушалъ; онъ сверкнулъ покраснѣвшими отъ ярости глазами на акцизника и бросилъ въ сторону камень съ такою силой, что онъ ушелъ на цѣлый вершокъ въ землю.

— Иди домой,—шепнулъ ему, и самъ отходя, Савелій.

Ахилла не возразилъ и въ этомъ и пошелъ домой тихо и сконфуженно, какъ обличенный въ шалости добронравный школьникъ.

— Боже! какой глупый и досадный случай!—произнесъ, едва переводя духъ, Туберозовъ, когда съ нимъ поровнялся его давишній собесѣдникъ Дарьяновъ.

— Да не безпокойтесь: ничего изъ этого не будетъ.

— Какъ не будетъ-съ? будетъ то, что Ахиллу отдадутъ подъ судъ! Вы развѣ не слыхали, что онъ кричалъ, грозя камнемъ? Онъ хотѣлъ ихъ всѣхъ перебить!

— А увидите, что все это кончится однимъ смѣхомъ.

— Нѣтъ-съ; это не кончится смѣхомъ и здѣсь нѣтъ никакого смѣха, а есть глупость, которою дрянные люди могутъ воспользоваться.

И протопопъ, ускоривъ шагъ, шибко пошелъ домой, выписывая сердитые эсы концомъ своей трости.

Въ слѣдующей части нашей хроники мы увидимъ, какія все это будетъ имѣть послѣдствія и кто изъ двухъ прорицателей правѣе.

Оглавленіе

I ТОМА.

стр.

Николай Семеновичъ Лѣсковъ. Критико-біографическій очеркъ *Р. Сементковскаго.* 5

Соборяне. (Хроника).

Часть первая. 67

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр , № 29.

СОБОРЯНЕ.

ХРОНИКА.

Часть вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Утро, наступившее послѣ ночи, заключившей день Меѳодія Песношскаго, обѣщало день погожій и тихій. Можно было ожидать даже, что онъ тихъ будетъ во всемъ: и въ стихіяхъ природы, и въ сердцахъ старогородскихъ людей, съ которыми мы познакомились въ первой части нашей хроники. Этихъ убѣжденій былъ и самъ протопопъ. Вчерашняя усталость оказала ему хорошую услугу: онъ крѣпко спалъ, видѣлъ мирные сны и, проснувшись утромъ, разсуждалъ, что, авось либо, вся его вчерашняя тревога напрасна, авось либо, Господь пронесетъ эту тучку, какъ онъ до сихъ поръ проносилъ многія другія, отъ которыхъ никому вреда не бывало.

«Да; мы народъ не лиходѣйный, но добрый», размышлялъ старикъ, идучи въ полномъ спокойствіи служить раннюю обѣдню за сей народъ не лиходѣйный, но добрый. Однакоже этотъ покой былъ обманчивъ: подъ тихою поверхностью воды, на днѣ, дремалъ крокодилъ.

Туберозовъ, отслуживъ обѣдню и возвратившись домой, пилъ чай, сидя на томъ самомъ диванѣ, на которомъ спалъ ночью, и за тѣмъ же самымъ столомъ, за которымъ писалъ свои «нотатки». Мать протопопица только прислуживала мужу: она подала ему стаканъ чаю и небольшую серебряную тарелочку, на которую протопопъ Савелій осторожно поставилъ принесенную имъ въ карманѣ просфору.

Сердобольная Наталья Николаевна, сберегая покой мужа, ухаживала за нимъ, боясь какимъ бы то ни было вопросомъ нарушить его строгія думы. Она шопотомъ велѣла дѣвочкѣ набить жуковскимъ вакштафомъ и поставить въ уголъ на подносикѣ обѣ трубки мужа и, подпершись ручкой подъ подбородокъ, ждала, когда протоіерей выкушаетъ свой стаканъ и попроситъ второй.

Но прежде чѣмъ она дождалась этой просьбы, вниманіе ея было отвлечено необычайнымъ шумомъ, который раздался гдѣ-то невдалекѣ отъ ихъ дома. Слышны были торопливые шаги и безпорядочный говоръ, переходившій минутами въ азартный крикъ. Протопопица выглянула изъ окна своей спальни и увидала, что шумъ этотъ и крикъ производила толпа людей, которые шли очень быстрыми шагами и притомъ прямо направлялись къ ихъ дому. Они на ходу толкались, размахивали руками, спорили, и то какъ бы упирались, то вдругъ снова, почти бѣгомъ, подвигались впередъ.

«Что бы это такое?»—подумала протопопица и, выйдя въ залу, къ мужу, сказала:

— Посмотри, отецъ Савелій, что-то какъ много народу идетъ.

— Народу, мой другъ, много, а людей нѣтъ,—отвѣчалъ спокойно Савелій.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, взгляни: очень ужъ много народу.

— Господь съ ними, пусть ихъ расхаживаютъ; а ты дай-ка мнѣ еще стаканчикъ чаю.

Протопопица взяла стаканъ, налила его новымъ часомъ и, подавъ мужу, снова подошла къ окну, но шумливой кучки людей уже не было. Вмѣсто всего сборища, только три или четыре человѣка стояли кое-гдѣ вразбивку и глядѣли на домъ Туберозова съ видимымъ замѣшательствомъ и смущеніемъ.

— Господи, да ужъ не горимъ ли мы гдѣ-нибудь, отецъ Савелій! —воскликнула, въ перепугѣ бросаясь въ комнату мужа, протопопица, но тотчасъ же на порогѣ остановилась и поняла, въ чемъ заключалась исторія.

Протопопица увидала на своемъ дворѣ дьякона Ахиллу, который летѣлъ, размахивая рукавами своей широкой рясы, и тащилъ за ухо мѣщанина комиссара Данилку.

Протопопица показала на это мужу, но прежде чѣмъ

протопопъ успѣлъ встать съ своего мѣста, дверь передней съ шумомъ распахнулась, и въ залу протоіерейскаго дома предсталъ Ахилла, непосредственно ведя за собой за ухо раскраснѣвшагося и переконфуженнаго Данилку.

— Отецъ протопопъ,—началъ Ахилла, бросивъ Данилку и подставляя пригоршни Туберозову.

Савелій благословилъ его.

За Ахиллой подошелъ и точно такъ же принялъ благословеніе Данилка. Затѣмъ дьяконъ отдернулъ мѣщанина на два шага назадъ и, снова взявъ его крѣпко за ухо, заговорилъ:

— Отецъ Савелій, вообразите-съ: прохожу улицей и вдругъ слышу говоръ. Мѣщане говорятъ о дождѣ, что дождь нынѣ ночью былъ посланъ послѣ молебствія, а сей (Ахилла уставилъ указательный палецъ лѣвой руки въ самый носъ моргавшаго Данилки), а сей это опровергалъ.

Туберозовъ поднялъ голову.

— Онъ, вообразите, говорилъ,—опять началъ дьяконъ, потянувъ Данилку: — онъ говорилъ, что дождь, сею ночью шедшій, послѣ вчерашняго мірского молебствія, совсѣмъ не по молебствію ниспослѣдовалъ.

— Откуда же ты это знаешь?—сухо спросилъ Туберозовъ.

Сконфуженный Данилка молчалъ.

— Вообразите же, отецъ протопопъ! А онъ говорилъ,— продолжалъ дьяконъ: — что дождь излился только силой природы.

— Къ чему же это ты такъ разсуждалъ?—процѣдилъ, собирая придыханіемъ съ ладони крошечки просфоры, отецъ Туберозовъ.

— По сомнѣнію, отецъ протопопъ,—скромно отвѣчалъ Данилка.

— Сомнѣнія, какъ и самомнѣнія, тебѣ, невѣждѣ круглому, вовсе не принадлежатъ, и посему достоинъ дѣлатель мзды своея и ты вполнѣ достойное по заслугамъ своимъ и принялъ. А потому ступай вонъ, празднословецъ, изъ моего дома.

Выпроводивъ за свой порогъ еретичествующаго Данилку, протоіерей опять чинно присѣлъ, молча докушалъ свой чай, и только, когда все это было обстоятельно покончено, сказалъ дьякону Ахиллѣ:

— А ты, отецъ дьяконъ, долго еще намѣренъ этакъ сви-

рѣпствовать? Не я ли тебѣ внушалъ оставить твое заступничество и не давать рукамъ воли?

— Нельзя, отецъ протопопъ; утерпѣть было невозможно; потому что я ужъ это давно хотѣлъ доложить вамъ, какъ онъ, вообразите, все противъ божества и противъ бытописанія; но прежде я все это ему, по ею глупости, снисходилъ доселѣ.

— Да; когда не нужно было снисходить, то ты тогда снисходилъ.

— Ей-Богу снисходилъ; но ужъ тогда онъ, слышу, началъ противъ обрядности...

— Да; ну, ты тогда что же сдѣлалъ?

Протопопъ улыбнулся.

— Ну, ужъ этого я не вытерпѣлъ.

— Да; такъ и надо было тебѣ съ нимъ всенародно подраться?

— И что же отъ того, что всенародно, отецъ протопопъ? Я предстою алтарю и обязанъ стоять за вѣру повсемѣстно. Святой Николай угодникъ Арія тоже вѣдь всенародно же смазалъ...

— То святой Николай, а то ты,— перебилъ его Туберозовъ.—Понимаешь, ты ворона, и что довлѣетъ тебѣ, яко воронѣ, знать свое *кра*, а не въ свои дѣла не мѣшаться. Что ты костылемъ-то своимъ размахался? Забылъ ты, вѣрно, что въ костылѣ два конца? На силищу свою, дромадеръ, все надѣешься!

— Полагаюсь-съ.

— Полагаешься? Ну, такъ не полагайся. Не сила твоя тебя спасла, а вотъ это, вотъ это спасло тебя,—произнесъ протопопъ, дергая дьякона за рукавъ его рясы.

— Что жъ, отецъ протопопъ, вы меня этимъ укоряете? Я вѣдь свой санъ и почитаю.

— Что! Ты свой санъ почитаешь?

Съ этимъ словомъ протопопъ сдѣлалъ къ дьякону шагъ и, хлопнувъ себя ладонью по колѣну, прошепталъ:

— А не знаете ли вы, отецъ дьяконъ, кто это у бакалейной лавки, сидючи съ приказчиками, папиросы куритъ?

Дьяконъ сконфузился и забубнилъ:

— Что жъ, я, точно, отецъ протопопъ... этимъ я виноватъ, но это больше ничего, отецъ протопопъ, какъ по неосторожности, ей-право, по неосторожности.

— Смотрите, молъ, какой у насъ есть дьяконъ франтъ, какъ онъ хорошо папиросы муслитъ.

— Нѣтъ, ей-право, отецъ протопопъ, вообразите, совсѣмъ не для того. Что жъ мнѣ этимъ хвалиться? Вѣдь этою табачною невоздержностью изъ духовныхъ не я же одинъ занимаюсь.

Туберозовъ оглянулъ дьякона съ головы до ногъ самымъ многозначащимъ взглядомъ и, вскинувъ вверхъ голову, спросилъ его:

— Что же ты мнѣ этимъ сказать хочешь? То ли, что, молъ, и ты самъ, протопопъ, куришь?

Дьяконъ смутился и ничего не отвѣтилъ.

Туберозовъ указалъ рукой на уголъ комнаты, гдѣ стояли его три черешневые чубука, и проговорилъ:

— Что такое я, отецъ дьяконъ, курю?

Дьяконъ молчалъ.

— Говорите же, потрудитесь, что я курю? Я трубку курю?

— Трубку курите,—отвѣтилъ дьяконъ.

— Трубку? отлично. Гдѣ я ее курю? я ее дома курю?

— Дома курите.

— Иногда въ гостяхъ, у хорошихъ друзей курю.

— Въ гостяхъ курите.

— А не съ приказчиками же-съ я ее у лавокъ курю!—вскрикнулъ, откидываясь назадъ, Туберозовъ и, постучавъ внушительно пальцемъ по своей ладони, добавилъ:—Ступай къ своему мѣсту, да смотри за собою. Я тебя много, много разъ удерживалъ, но теперь гляди: наступаютъ новые порядки, вводится новый судъ, и пойдутъ иные обычаи и ничто не будетъ въ тѣни, а все въ-явѣ, и тогда мнѣ тебя не защитить.

Съ этимъ протопопъ сталъ своею большущею ногой на соломенный стулъ и началъ бережно снимать рукой желтенькую канареечную клѣтку.

«Тьфу! Господи милосердый, за вѣру заступился и опять не въ такту!»—проговорилъ въ себѣ Ахилла и, выйдя изъ дома протопопа, пошелъ скорыми шагами къ небольшому желтенькому домику, изъ открытыхъ оконъ котораго выглядывала цѣлая куча бѣлокуренькихъ дѣтскихъ головокъ.

Дьяконъ торопливо взошелъ на крылечко этого домика, потомъ съ крыльца вступилъ въ сѣни и, треснувшись о перекладину лбомъ, отворилъ дверь въ низенькую залу.

По залѣ, заложивъ назадъ маленькія ручки, расхаживалъ сухой, миніатюрный Захарія, въ подрясникѣ и съ длинною серебряною цѣпочкой на запавшей груди.

Ахилла входилъ въ домъ къ отцу Захарію совсѣмъ не съ тою физіономіей и не съ тою поступью, какъ къ отцу протопопу. Смущеніе, съ которымъ дьяконъ вышелъ отъ Туберозова, по мѣрѣ приближенія его къ дому отца Захаріи исчезало, и на самомъ порогѣ замѣнилось уже крайнимъ благодушіемъ. Дьяконъ отъ нетерпѣнія еще у порога начиналъ:

— Ну, отецъ Захарія! Ну... братъ ты мой милесенькій... Ну!..

— Что такое?—спросилъ съ кроткою улыбкой отецъ Захарія:—чего это ты, чего егозишься, чего?—и съ этимъ словомъ, не дождавшись отвѣта, сухенькій попикъ заходилъ снова.

Дьяконъ прежде всего весело расхохотался, а потомъ воскликнулъ:

— Вотъ, друже мой, какой мнѣ сейчасъ былъ пудромантель; охъ, отче, отъ мыла даже голова болитъ. Вели скорѣе дать маленькій опрокидонтикъ?

— Опрокидонтъ? Хорошо. Но кто же это, кто, молъ, тебя пробиралъ?

— Да, разумѣется, министръ юстиціи.

— Ага! Отецъ Савелій.

— Никто же другой. Дѣло, отецъ Захарія, необыкновенное по началу своему и по окончанію необыкновенное. Я старался какъ заслужить, а онъ все смялъ, повернулъ Богъ знаетъ куда лицомъ и вывелъ что-то такое, чего я, хоть убей, теперь не пойму и разсказать не умѣю.

Однакоже дьяконъ, присѣвъ и выпивъ поданную ему на тарелкѣ рюмку водки, съ мельчайшими подробностями передалъ отцу Захаріи всю свою исторію съ Данилкой и съ отцомъ Туберозовымъ. Захарія, во все время этого разсказа, ходилъ тою же подпрыгивающею походкой, и лишь только на секунду пріостанавливался, по временамъ устранялъ со своего пути то одну, то другую изъ шнырявшихъ по комнатѣ бѣлокурыхъ головокъ, да когда дьяконъ совсѣмъ кончилъ, то онъ при самомъ послѣднемъ словѣ его разсказа, закусивъ губами кончикъ бороды, проронилъ внушительное: «да-съ, да, да, да, однако ничего».

— Я больше никакъ не разсуждаю, что онъ въ гнѣвѣ и еще...

— Да, и еще что такое? Подите вы прочь, пострѣлята! Такъ, и что такое еще?—любопытствовалъ Захарія, распихивая съ дороги дѣтей.

— И что я еще въ это время такъ неполитично трубки коснулся,—объяснилъ дьяконъ.

— Да, ну, конечно... разумѣется... отчасти оно могло и это... Подите вы прочь, пострѣлята!.. Впрочемъ, полагать можно, что онъ не на тебя недоволенъ. Да, оно даже вѣрно, что не на тебя.

— Да и я говорю тоже, что не на меня: за что ему на меня быть недовольнымъ? Я ему, вы знаете, безъ лести преданъ.

— Да, это не на тебя: это онъ... я такъ полагаю... Да уйдете ли вы съ дороги прочь, пострѣлята!.. Это онъ душою... понимаешь?

— Скорбенъ,—сказалъ дьяконъ.

Отецъ Захарія помоталъ ручкой около своей груди и, сдѣлавъ кислую гримаску на лицѣ, проговорилъ:

— Возмущенъ.

— Уязвленъ,—рѣшилъ дьяконъ Ахилла:—знаю: его все учитель Варнавка гнѣвитъ, ну да я съ Варнавкой скоро сдѣлаю и прочее, и прочее!

И съ этимъ дьяконъ, ничего въ подробности не объясняя, простился съ Захаріей и ушелъ.

Идучи по дорогѣ домой, Ахилла повстрѣчался съ Данилкой, остановилъ его и сказалъ:

— А ты, братъ Данилка, сдѣлай милость, на меня не сердись. Я если тебя и наказалъ, то совершенно по христіанской моей обязанности наказалъ.

— Всенародно оскорбили, отецъ дьяконъ!—отвѣчалъ Данилка тономъ обиженнымъ, но звучащимъ склонностью къ примиренію.

— Ну, и что жъ ты теперь со мною будешь дѣлать, что обидѣлъ? Я знаю, что я обидѣлъ, но когда я строгъ... Я же вѣдь это не нагло; я тебѣ вѣдь еще въ прошломъ году, когда засталъ тебя, что ты въ сѣняхъ у исправника отца Савельеву ризу надѣвалъ и крапиломъ крапилъ, я тебѣ еще тогда говорилъ: «Разсуждай, Данила, по бытописанію какъ хочешь, я по наукѣ много не смыслю, но обряда не ка-

сайся». Говорилъ я вѣдь тебѣ этакъ или нѣтъ? Я говорилъ: «не касайся, Данила, обряда».

Данилка нехотя кивнулъ головой и пробурчалъ:

— Можетъ быть и говорили.

— Нѣтъ, ты, братъ, не финти, а сознавайся! Я навѣрно говорилъ, я говорилъ: не касайся обряда, вотъ все! А почему я такъ говорилъ? Потому что это наша жизненность, наше существо, и ты его не касайся. Понялъ ты это теперь?

Данила только отвернулся въ сторону и улыбался: ему самому было смерть смѣшно, какъ дьяконъ велъ его по улицѣ за ухо, но другіе, находившіеся при этомъ разговорѣ мѣщане, шутя и тоже едва сдерживая свой смѣхъ, упрекали дьякона въ излишней строгости.

— Нѣтъ, строги вы, сударь, отецъ дьяконъ! Ужъ очень не въ мѣру строги,—говорили они ему.

Ахилла, выслушавъ это замѣчаніе, подумалъ и, добродѣтельно вздохнувъ, положилъ свои руки на плечи двухъ ближе стоящихъ мѣщанъ и сказалъ:

— Строгъ, вы говорите: да, я, точно, строгъ, это ваша правда, но за то я и справедливъ. А если бъ это дѣло къ мировому судьѣ? — Гораздо хуже. — Сейчасъ три рубля въ пользу дѣтскихъ пріютовъ взыщетъ!

— Ничего-съ: иной мировой судья за это еще рубль серебра на чай дастъ.

— Ну, вотъ видишь! нѣтъ, я, братецъ, знаю, что я справедливъ.

— Что же за справедливость? Не Богъ знаетъ какъ вы, отецъ дьяконъ, и справедливы.

— Это почему?

— А потому, что Данила много ли тутъ виноватъ, что онъ только повторилъ, какъ ему ученый человѣкъ сказывалъ? Это вѣдь по-настоящему, если такъ судить, вы Варнаву Васильича должны остепенять, потому что это онъ намъ сказывалъ, а Данила только сомнѣвался, что не то это, какъ учитель говорилъ, дождь отъ естества вещей, не то отъ молебна! Вотъ если бы вы оттрясли учителя, это точно было бы законъ.

— Учителя?..—Дьяконъ развелъ широко руки, вытянулъ къ носу хоботкомъ обѣ свои губы и, постоявъ такъ секунду предъ мѣщанами, прошепталъ: — Законъ!.. Законъ-то это,

я знаю, велитъ... да вотъ отецъ Савелій не велитъ... и невозможно!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Прошло нѣсколько дней: Туберозовъ убѣдился, что онъ совершенно напрасно опасался, какъ бы несдержанные поступки дьякона Ахиллы не навлекли какія-нибудь судебныя непріятности; все благополучно шло по-старому; люди разнообразили свою монотонную уѣздную жизнь тѣмъ, что ссорились для того, чтобы мириться, и мирились для того, чтобы снова ссориться. Покою ничто не угрожало; напротивъ, даже Туберозову былъ ниспосланъ прекрасный день, который онъ провелъ въ чистѣйшемъ восторгѣ. Это былъ день именинъ исправницы, наступившій вскорѣ за тѣмъ днемъ, когда Ахилла, въ своей, по вѣрѣ, ревности, устроилъ публичный скандалъ съ комиссаромъ Данилкой. Когда всѣ гости, собравшіеся на исправницкій пирогъ, были заняты утоленіемъ своего аппетита, хозяинъ, подойдя случайно къ окну, вдругъ громко крикнулъ женѣ:

— Боже мой! Посмотри-ка, жена, какіе къ тебѣ гости!

— Кто же тамъ, кто?—отозвалась исправница.

— А ты посмотри.

Именинница, а съ ней вмѣстѣ и всѣ бывшіе въ комнатѣ гости бросились къ окнамъ, изъ которыхъ было видно, какъ съ горы осторожно, словно трехглавый змѣй на чревѣ, спускалась могучая тройка рослыхъ буланыхъ коней. Коренникъ мнется и тычетъ ногами, какъ старый генералъ, подходящій, чтобы кого-то распечь: онъ то скуситъ губу налѣво, то скуситъ ее направо, то встряхнетъ головой и опять тычетъ и тычетъ ногами; пристяжныя то вьются какъ отыскивающіе vis-à-vis уланскіе корнеты, то сжимаются въ клубочки какъ спутанныя овцы; малиновый колокольчикъ шлепнетъ колечкомъ въ край и снова прилипъ и молчитъ; одни бубенчики глухо рокочутъ, но рокочутъ безъ всякаго звона. Но вотъ этотъ трехглавый змѣй сползъ и распустился: показались хребты коней, махнулъ въ воздухѣ хвостъ пристяжной; изъ-подъ вѣтра взвѣяла грива; тройка выравнялась и понеслась по мосту. Показались золоченная дуга съ травленою росписью и большія старинныя, бронзой кованыя, троечныя дрожки гитарой. На дрожкахъ рядкомъ, какъ сидятъ на козеткахъ, сидѣли два маленькія существа:

одно мужское и одно женское; мужчина былъ въ темно-зеленой камлотовой шинели и въ большомъ картузѣ изъ плисняного волокнистаго плюша, а женщина въ масаковомъ гроденаплевомъ салопѣ, съ лиловымъ бархатнымъ воротникомъ, и въ чепчикѣ съ коричневыми лентами.

— Боже, да это Плодомасовскіе карлики! — Не можетъ быть!—Смотрите сами!—Точно, точно!—Да какъ же: вонъ Николай-то Аѳанасьичъ, видите, увидѣлъ насъ и кланяется: а вонъ и Марья Аѳанасьевна киваетъ.

Такіе возгласы раздались со всѣхъ сторонъ при видѣ карликовъ, и всѣ словно ни вѣсть чему обрадовались: хозяева захлопотали возобновленіемъ для новыхъ гостей завтрака, а прежніе гости внимательно смотрѣли на двери, въ которыя должны были показаться маленькіе люди, и они, наконецъ, показались.

Впереди шелъ старичокъ, ростомъ съ небольшого восьмилѣтняго мальчика; за нимъ старушка немного побольше.

Старичокъ былъ весь чистота и благоразуміе: на лицѣ его и слѣда нѣтъ ни желтыхъ пятенъ, ни морщинъ, обыкновенно портящихъ лица карликовъ: у него была очень пропорціональная фигура, круглая, какъ шаръ, головка, покрытая совершенно бѣлыми, коротко остриженными волосами, и небольшіе коричневые медвѣжьи глазки. Карлица лишена была пріятности брата: она была одутловата, у нея былъ глуповатый чувственный ротъ и тупые глаза.

На карликѣ Николаѣ Аѳанасьевичѣ, не смотря на жаркое время года, были надѣты теплые плисовые сапожки, черные панталоны изъ лохматой байки, желтый фланелевый жилетъ и коричневый фракъ съ металлическими пуговицами. Бѣлье его было безукоризненной чистоты, и щечки его туго поддерживалъ высокій атласный галстукъ. Карлица была въ шелковомъ зеленомъ капотѣ и большомъ кружевномъ воротникѣ.

Николай Аѳанасьевичъ, войдя въ комнату, вытянулъ ручки по швамъ, потомъ приподнялъ правую руку съ картузомъ къ сердцу, шаркнулъ ножкой объ ножку и, направясь въ развалецъ прямо къ именинницѣ, проговорилъ тихимъ и ровнымъ старческимъ голосомъ:

— Господинъ нашъ, Никита Алексѣичъ Плодомасовъ и господинъ Парменъ Семеновичъ Тугановъ, отъ себя и отъ супруги своей, изволили приказать намъ, ихъ слугамъ, при-

нести вамъ, сударыня Ольга Арсентьевна, ихъ поздравленіе. Сестрица, повторите, отнесся онъ къ стоявшей возлѣ него сестрѣ, и когда та кончила свое поздравленіе, Николай Ѳанасьевичъ шаркнулъ исправнику и продолжалъ:

— А васъ, сударь Воинъ Васильевичъ, и всю честную компанію—съ дорогою именинницей. И затѣмъ, сударь, имѣю честь доложить, что, прославъ насъ съ сестрицей для принесенія вамъ ихъ поздравленія, и господинъ мой, и Парменъ Семеновичъ Тугановъ просятъ извиненія за наше холопье посольство; но сами теперь въ своихъ минутахъ не вольны и принесутъ вамъ въ томъ извиненіе сегодня вечеромъ.

— Парменъ Семенычъ будетъ здѣсь? — воскликнулъ исправникъ.

— Вмѣстѣ съ господиномъ моимъ Никитою Алексѣичемъ Плодомасовымъ, проѣздомъ въ Петербургъ, просятъ васъ простить, что заѣдутъ въ дорожномъ положеніи.

Въ обществѣ по поводу этого извѣстія возникла маленькая суета, пользуясь которою карликъ подошелъ подъ благословеніе къ Туберозову и тихо проговорилъ:

— Парменъ Семеновичъ просили васъ быть вечеромъ здѣсь.

— Скажи, голубчикъ, буду,—отвѣчалъ Туберозовъ.

Карликъ взялъ благословеніе у Захаріи. Дьяконъ Ахилла взялъ ручку у почтительно поклонившагося ему маленькаго человѣчка, который при этомъ, улыбнувшись, проговорилъ:

— Только сдѣлайте милость, сударь, надо мною силы богатырской не пробуйте!

— А что, Николай Ѳанасьичъ, развѣ онъ того... здоровъ?—пошутилъ хозяинъ.

— Силу пробовать любятъ-съ, — отвѣчалъ старичокъ. — Есть надъ кѣмъ? Надъ калѣчкой.

— А что ваше здоровье, Николай Ѳанасьичъ?—пытали карлика дамы, окружая его со всѣхъ сторонъ и пожимая его ручонки.

— Какое, государыни, мое здоровье! Смѣхъ отвѣчать; точно поросенокъ сталъ. Петровки на дворѣ,—а я все зябну!

— Зябнете?

— Да какъ же-съ: вотъ можете посудить, потому что весь въ мѣшокъ заячій зашитъ. Да и чему дивиться-то-съ, государи мои, станемъ? Восьмой десятокъ лѣтъ вѣдь ужъ совершилъ ненужный человѣкъ.

Николая Аѳанасьича на перебой засыпали вопросами о различныхъ предметахъ, усаживали, потчивали всѣмъ: онъ отвѣчалъ на всѣ вопросы умно и находчиво, но отказывался отъ всѣхъ угощеній, говоря, что давно ужъ ѣстъ мало, и то какой-нибудь овощикъ.

— Вотъ сестрица покушаютъ,—говорилъ онъ, обращаясь къ сестрѣ. — Садитесь, сестрица, кушайте, кушайте! Чего церемониться? А не хотите безъ меня, такъ позвольте мнѣ, сударыня Ольга Арсентьевна, морковной начиночки изъ пирожка на блюдце... Вотъ такъ, довольно-съ, довольно! Теперь, сестрица, кушайте, а съ меня довольно. Меня и кормить-то ужъ не за что; нитянаго чулка вязать, и того уже теперь путемъ не умѣю. Лучше гораздо сестрицы вязалъ когда-то, и даже бродери англезъ выплеталъ, а нынче что ни стану вязать, все петли спускаю.

— Да; бывало, Никола, ты славно вязалъ! — отозвался Туберозовъ, весь оживившійся и повеселѣвшій съ прибытіемъ карлика.

— Ахъ, отецъ Савелій! Время, государь, время!—карликъ улыбнулся и договорилъ шутя.—А къ тому же и строгости надо мной, ваше высокопреподобіе, нынче не стало; избаловался послѣ смерти моей благодѣтельницы. Что? хлѣбъ-соль готовые, кровъ теплый, всегда лѣнюсь.

Протоіерей посмотрѣлъ со счастливою улыбкой въ глаза карлику и сказалъ:

— Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую передъ собою вижу, съ которою умереть бы хотѣлось.

— А она, батушка (карликъ говорилъ *у* вмѣсто *ю*), она, сказка-то добрая, прежде насъ померла.

— А забываешь, Николушка, про госпожу-то свою? Про боярыню-то свою, Марѳу Андревну, забываешь? — вопрошалъ, юля около карлика, дьяконъ Ахилла, котораго Николай Аѳанасьевичъ все какъ бы опасался и остерегался.

— Забывать, сударь отецъ дьяконъ, я уже старъ, я уже и самъ къ ней, къ утѣшительницѣ моей, служить на томъ свѣтѣ давно собираюсь,—отвѣчалъ карликъ очень тихо и съ легкимъ только полуоборотомъ въ сторону Ахиллы.

— Утѣшительная, говорятъ, была эта старуха,—отнесся безразлично ко всему собранію дьяконъ.

— Ты это въ какомъ же смыслѣ берешь ея утѣшительность?—спросилъ Туберозовъ.

— Забавная!

Протопопъ улыбнулся и махнулъ рукой, а Николай Аѳанасьевичъ поправилъ Ахиллу, твердо сказавъ ему:

— Утѣшительница, сударь, *утѣшительница*, а не забавница.

— Что ты ему внушаешь, Никола. Ты лучше разскажи, какъ она тебя ожесточила-то? Какъ откупъ-то сдѣлала?— посовѣтовалъ протопопъ.

— Что, отецъ протопопъ, старое это, сударь.

— Наитеплѣйше это у него выходитъ, когда онъ разсказываетъ, какъ онъ ожесточился,—обратился Туберозовъ къ присутствующимъ.

— А ужъ такъ, батушка, она, госпожа моя, умѣла человѣка и ожесточить и утѣшить, и ожесточала и утѣшала, какъ развѣ только одинъ ангелъ Господень можетъ утѣшить, — сейчасъ же отозвался карликъ. — Въ сокровенную души, бывало, человѣка проникнетъ и утѣшитъ, и мановеніемъ своимъ всю благую для него на земли совершитъ.

— А ты, въ самомъ дѣлѣ, разскажи, какъ это ты ожесточенъ былъ?

— Да, разскажи, Николаша, разскажи!

— Что жъ, милостивые государи, смѣетесь ли вы, или не смѣетесь, а вправду интересуетесь объ этомъ слышать, но если вся компанія желаетъ, то уже я ослушаться не смѣю, разскажу.

— Пожалуйста, Николай Аѳанасьичъ, разсказывай.

— Разскажу, — отвѣчалъ, улыбнувшись, карликъ: — разскажу, потому что повѣсть эта даже и пріятна.—Съ этими словами карликъ началъ:

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

— Это всего было чрезъ годъ какъ они меня у прежнихъ господъ купили. Я прожилъ этотъ годокъ въ ужасной грусти, потому что былъ оторванъ, знаете, отъ крови родной и отъ фамиліи. Разумѣется, виду этого, что грущу, я не подавалъ, чтобы какъ помѣщицѣ о томъ не донесли, или бы сами онѣ не замѣтили; но только все это было втуне, потому что покойница все это провидѣли. Стали приближаться мои именины, онѣ и изволятъ говорить:

«— Какой же, говорятъ, я тебѣ, Николай, подарокъ подарю?

«— Матушка, говорю, какой мнѣ еще, глупцу, подарокъ? Я и такъ всѣмъ свыше главы моей доволенъ.

«— Нѣтъ, изволятъ говорить, я думаю тебя хоть рублемъ одарить.

«Что жъ, я отказываться не посмѣлъ, поцѣловалъ ея ручку и говорю:

«— Много, говорю, вашею милостью взысканъ, и самъ опять сѣлъ чулокъ вязать. Я еще тогда хорошо глазами видѣлъ и даже въ гвардію нитяные чулки на господина моего, Алексѣя Никитича, вязалъ. Вяжу, сударь, чулокъ-то, да и заплакалъ. Богъ знаетъ чего заплакалъ, такъ, знаете, вспомнилось что-то про родныхъ, предъ днемъ ангела, и заплакалъ. А Марѳа Андревна видятъ это, потому что я напротивъ ихъ кресла на подножной скамеечкѣ всегда вязалъ, и спрашиваютъ:

«— Чего жъ ты это, изволятъ говорить, Николаша, плачешь?

«— Такъ, отвѣчаю, матушка, что-то слезы такъ... да, и знаете, что имъ доложить-то, отчего плачу, и не знаю. Всталъ, ручку ихъ поцѣловалъ, да и опять сѣлъ на свою скамеечку. Не извольте, говорю, сударыня, обращать взоровъ вашихъ на эту слабость, это я такъ, сдуру, эти мои слезы пролилъ.

«И опять сидимъ да работаемъ; и я чулокъ вяжу, и онѣ чулочекъ вязать изволятъ. Только вдругъ онѣ этакъ повязали, повязали и изволятъ спрашивать:

«— А куда же ты, Николай, рубль-то дѣнешь, что я тебѣ завтра подарить хочу?

«— Тятенькѣ, говорю, сударыня, своему при вѣрной оказіи отправлю.

«— А если, говорятъ, я тебѣ два подарю?

«— Другой, докладываю, маменькѣ пошлю.

«— А если три?

«— Братцу, говорю, Ивану Аѳанасьевичу.

«Онѣ покачали головкой да изволятъ говорить:

«— Много же какъ тебѣ, братецъ, денегъ-то надо, чтобы всѣхъ одѣлить! Этого ты, такой маленькій, и вѣкъ не заслужишь.

«— Господу, говорю, было угодно меня такимъ создать,—да съ сими словами и опять заплакалъ; опять сердце, знаете, сжалось: и сержусь на свои слезы и плачу. Онѣ же,

покойница, глядѣли, глядѣли на меня и этакъ молчкомъ меня къ себѣ однимъ пальчикомъ и поманули: я упалъ имъ въ ноги, а онѣ положили мою голову въ колѣни, да и я плачу, и онѣ изволятъ плакать. Потомъ встали да и говорятъ:

«— Ты никогда не ропщешь, Николаша, на Бога?

— Какъ же, говорю, матушка, можно на Бога роптать? Никогда не ропщу!

«— Ну, Онъ, изволятъ говорить, тебя за это и утѣшитъ.

«Встали онѣ, знаете, съ этимъ словомъ, велѣли мнѣ приказать, чтобы къ нимъ послали бурмистра Дементія въ ихъ нижній разрядный кабинетъ и сами туда отправились.

«— Не плачь, говорятъ, Николаша! тебя Господь утѣшитъ.

«И точно утѣшилъ.

При этомъ Николай Аѳанасьевичъ вдругъ заморгалъ частенько своими тонкими вѣками и, проворно соскочивъ со стула, отбѣжалъ въ уголокъ, гдѣ утеръ бѣлымъ платочкомъ глаза и возвратился со стыдливою улыбкой на свое мѣсто. Снова усѣвшись, онъ началъ совсѣмъ другимъ, торжественнымъ голосомъ, очень мало напоминавшимъ прежній:

«— Встаю я, судари мои, рано: сходилъ потихоньку, умылся, потому что я у нихъ, у Маѳы Андревны въ ножкахъ за ширмой, на коврѣ спалъ, да и пошелъ въ церковь, чтобъ у отца Алексѣя послѣ утрени молебенъ отслужить. Вошелъ я, сударь, въ церковь и прошелъ прямо въ алтарь, чтобъ у отца Алексѣя благословеніе принять, и вижу, что покойникъ отецъ Алексѣй какъ-то необыкновенно радостны въ выраженіи и меня шопотливо поздравляютъ съ радостью. Я это отнесъ, разумѣется, къ праздничному дню и къ именинамъ моимъ. Но что жъ тутъ, милостивые государи, послѣдовало! Выхожу я съ просфорой на лѣвый клиросъ, такъ какъ я съ покойнымъ дьячкомъ Ефимычемъ на лѣвомъ клиросѣ тонкимъ голосомъ пѣлъ, и вдругъ мнѣ въ народѣ представились и матушка, и отецъ, и братецъ Иванъ Аѳанасьевичъ. Батушку-то съ матушкой я въ народѣ еще и не очень вижу, но братецъ Иванъ Аѳанасьевичъ, онъ такой былъ... этакой гвардіонъ, я его сейчасъ увидалъ. Думаю, это видѣніе! Потому что очень ужъ я желалъ ихъ въ этотъ день видѣть. Нѣтъ, не видѣніе! Вижу, маменька,— крестьянка онѣ были,—такъ и убиваются плачутъ. Думаю,

вѣрно у своихъ господъ отпросились и издалека да пришли съ своимъ дитемъ повидаться. Разумѣется, я, чтобы благочинія церковнаго не нарушать, только подошелъ къ родителямъ, къ братцу, поклонился имъ въ поясъ и ушелъ скорѣй совсѣмъ въ алтарь, и самъ уже не пѣлъ... Потому рѣшительно скажу: не могъ-съ! Ну-съ; такъ и заутреня и обѣдня по чину, какъ должно, кончились, и тогда... Вотъ только опять боюсь, чтобъ эти слезы дурацкія опять разсказать не мѣшали,—проговорилъ, быстро обмахнувъ платочкомъ глаза, Николай Аѳанасьевичъ.—Выхожу я, сударь, послѣ обѣдни, изъ алтаря, чтобы святителю по моему заказу молебенъ отслужить, а смотрю — предъ аналоемъ съ иконой стоитъ сама Марѳа Андревна, къ обѣднѣ пожаловали, а за нею вотъ онѣ самыя, сестрица Марья Аѳанасьевна, которую предъ собой изволите видѣть, родители мои и братецъ. Стали пѣть «святителю отче Николае», и вдругъ отецъ Алексѣй на молитвѣ всю родню мою поминаетъ. Очень я былъ всѣмъ этимъ, сударь, тронутъ: отцу Алексѣю я, по состоянію своему, что имѣлъ заплатилъ, хотя они и брать не хотѣли, но это нельзя же даромъ молиться, да и подхожу къ Марѳѣ Андревнѣ, чтобы поздравить. А онѣ меня тихонько ручкой отъ себя отстранили и говорятъ:

«— Иди прежде родителямъ поклонись!

«Я повидался съ отцомъ, съ матушкой, съ братцемъ, и все со слезами. Сестрица Марья Аѳанасьевна (Николай Аѳанасьевичъ съ ласковою улыбкой указалъ на сестру), сестрица ничего не плачутъ, потому что у нихъ характеръ лучше, а я слабъ и плачу. Тутъ, батушка, выходимъ мы на паперть, госпожа моя Марѳа Андревна достаютъ изъ карманчика кошелечекъ кувшинчикомъ, и самъ я видѣлъ даже, какъ онѣ этотъ кошелечекъ вязали, да не зналъ, разумѣется, кому онъ. «Одари, говорятъ мнѣ, Николаша, свою родню». Я начинаю одарять: тятенькѣ серебряный рубль, маменькѣ рубль, братцу Ивану Аѳанасьевичу рубль, и все новые рубли, а въ кошелькѣ и еще четыре рубля. Это, говорю, матушка, для чего прикажете? А ко мнѣ, гляжу, бурмистръ Дементій и подводитъ и невѣстушку, и трехъ ребятишекъ,— всѣ въ свиткахъ. Всѣхъ я, по ея великой милости, одарилъ, и пошли мы домой изъ церкви всѣ вмѣстѣ: и покойница госпожа, и отецъ Алексѣй, и я, сестрица Марья Аѳанасьевна и родители, и всѣ дѣти братцевы. Сестрица Марья Аѳа-

насьевна опять и здѣсь идутъ, ничего, разумно, ну, а я, глупецъ, все и тутъ, самъ не знаю чего, рѣкой разливаюсь плачу. Но все же, однако, я, милостивые государи, до сихъ поръ хоть и плакалъ, но шелъ; но тутъ, батушка, у крыльца господскаго, вдругъ смотрю, вижу стоятъ три подводы, лошади запряжены разгонныя господскія Маѳы Андревны, а братцевы двѣ лошаденки сзади прицѣплены, и на телѣгахъ вижу весь багажъ моихъ родителей и братца. Я, батушка, этимъ смутился, и не знаю, что думать. Маѳа Андревна до сего времени, идучи съ отцомъ Алексѣемъ, все о покосахъ изволили разговаривать и вниманія на меня будто не обращали, а тутъ вдругъ ступили ножками на крыльцо, оборачиваются ко мнѣ и изволятъ говорить такое слово: «Вотъ тебѣ, слуга мой, отпускная: пусти своихъ стариковъ и брата съ дѣтьми на волю!» и положили мнѣ за жилетъ эту отпускную... Ну, ужъ этого я не перенесъ...

Николай Аѳанасьевичъ приподнялъ руки вровень съ своимъ лицомъ и заговорилъ:

— Ты!—закричалъ я въ безуміи:—такъ это все ты, говорю, жестокая, стало-быть совсѣмъ хочешь такъ раздавить меня благостію своей!—И тутъ грудь мнѣ перехватило, виски заныли, въ глазахъ по всему свѣту замелькали лампады, и я безъ чувствъ упалъ у отцовскихъ возовъ съ тою отпускной.

— Ахъ, старичокъ, какой чувствительный!—воскликнулъ растроганный Ахилла, хлопнувъ по плечу Николая Аѳанасьевича.

— Да-съ,—продолжалъ, вытеревъ себѣ ротикъ, карло.— А пришелъ-то я въ себя ужъ черезъ девять дней, потому что горячка у меня сдѣлалась и то-съ осматриваюсь и вижу, госпожа сидитъ у моего изголовья и говоритъ: «Охъ, прости ты меня, Христа ради, Николаша: чуть я тебя, сумасшедшая, не убила!» Такъ вотъ она какой великанъ-то была, госпожа Плодомасова!

— Ахъ, ты, старичокъ прелестный!—опять воскликнулъ дьяконъ Ахилла, схвативъ Николая Аѳанасьевича въ шутку за пуговочку фрака и какъ бы оторвавъ ее.

Карла молча попробовалъ эту пуговицу и, удостовѣрясь, что она цѣла и на своемъ мѣстѣ, сказалъ:

— Да-съ, да, я ничтожный человѣкъ, а онѣ заботились обо мнѣ, довѣряли; даже скорби свои иногда мнѣ открывали,

особенно когда въ разлукѣ по Алексѣю Никитичу скорбѣли. Получатъ, бывало, письмо, сейчасъ сначала скоро-скоро сами про себя пробѣжатъ, а потомъ и все вслухъ читаютъ. Онѣ сидятъ читаютъ, а я предъ ними стою, чулокъ вяжу, да слушаю. Прочитаемъ и въ разговоръ сейчасъ вступимъ: «Теперь его въ офицеры, бывало, скажутъ, должно быть скоро произведутъ». А я говорю: ужъ по ранжиру, матушка, непремѣнно произведутъ. Тогда разсуждаютъ: «Какъ ты, Николаша, думаешь, ему вѣдь больше надо будетъ денегъ посылать». — А какъ же, отвѣчаю, матушка, непремѣнно тогда надо больше. «То-то, скажутъ, намъ вѣдь здѣсь деньги все равно и не нужны».—Да намъ, молъ, онѣ на что же, матушка, нужны! А сестрица Марья Аѳанасьевна вдругъ въ это время не потрафятъ и смолчатъ, покойница на нихъ за это сейчасъ и разгнѣваются. «Деревяжка ты, скажутъ, деревяжка! Недаромъ мнѣ тебя за братомъ въ придачу даромъ отдали».

Николай Аѳанасьевичъ вдругъ спохватился, страшно покраснѣлъ и, повернувшись къ своей тупоумной сестрѣ, проговорилъ:

— Вы простите меня, сестрица, что я это разсказываю?

— Сказывайте, ничего, сказывайте,—отвѣчала, водя языкомъ за щекой, Марья Аѳанасьевна.

— Сестрица, бывало, расплачутся,—продолжалъ успокоенный Николай Аѳанасьевичъ: — а я ее куда-нибудь въ уголокъ или на лѣстницу тихонечко съ глазъ Маріи Андревны выманю и уговорю. Сестрица, говорю, успокойтесь; пожалѣйте себя, эта немилость къ милости. И точно, горячее, да сплывчивое сердце ихъ сейчасъ скоро и пройдетъ: «Марья!» бывало, зовутъ черезъ минутку. «Полно, мать, злиться-то. Чего ты кошкой-то ощетинилась, иди сядь здѣсь, работай». Вы вѣдь, сестрица, не сердитесь?

— Сказывайте, что жъ мнѣ? сказывайте,—отвѣчала Марья Аѳанасьевна.

— Да-съ; тѣмъ, бывало, и кончено. Сестрица возьмутъ скамеечку, подставятъ у ихъ ножекъ и опять начинаютъ вязать. Ну, тутъ я ужъ, какъ это спокойствіе водворится, сейчасъ подхожу къ Маріи Андревнѣ, попрошу у нихъ ручку поцѣловать и скажу: покорно васъ, матушка, благодаримъ. Сейчасъ всѣ даже слезой взволнуются. «Ты у меня, говорятъ, Николай, нѣжный. Отчего это только, я

понять не могу, отчего она у насъ такая деревянная?» скажутъ опять на сестрицу. — А я,—продолжалъ Николай Аѳанасьевичъ, улыбнувшись:—я эту рѣчь ихъ сейчасъ по-секретарски подъ сукно, подъ сукно! Сестрица! шепчу, сестрица, попросите ручку поцѣловать. Марѳа Андревна услышутъ и сейчасъ все и конецъ: «Сиди ужъ, мать моя, скажутъ сестрицѣ, не надо мнѣ твоихъ поцѣлуевъ». И пойдемъ колтыхать спицами въ трое рукъ. Только и слышно, что спицы эти три-ти-ти-ти-три-ти-ти, да мушка ж-ж-жу, ж-жу, ж-жу пролетитъ. Вотъ въ какой тишинѣ мы всю жизнь и жили!

— Ну, а васъ же самихъ съ сестрицей на волю она не отпустила?—спросилъ кто-то, когда карликъ хотѣлъ встать, окончивъ свою повѣсть.

— На волю? Нѣтъ, сударь, не отпускали. Сестрица, Марья Аѳанасьевна, были приписаны къ родительской отпускной, а меня не отпускали. Онѣ, бывало, изволятъ говорить: «Послѣ смерти моей живи гдѣ хочешь (потому что онѣ на меня капиталъ для пенсіи положили), а пока жива, я тебя на волю не отпущу». Да и на что, говорю, мнѣ, матушка, она, воля? Меня на ней воробьи заклюютъ.

— Ахъ ты, маленькій этакой!—воскликнулъ въ умиленіи Ахилла.

— Да, а что вы такое думаете? И конечно-съ заклюютъ,— подтвердилъ Николай Аѳанасьевичъ.—Вонъ у насъ дворецкій Глѣбъ Степановичъ, какой былъ мужчина, просто красота, а на волю ихъ отпустили, они гостиницу открыли и занялись винцомъ, и теперь по гостиному двору ходятъ, да купцамъ за грошъ «скупого рыцаря» изъ себя представляютъ. Развѣ это хорошо?

— Онъ вѣдь у нея во всемъ правая рука былъ, Николай-то Аѳанасьевичъ,—отозвался Туберозовъ, желая возвысить этимъ отзывомъ заслуги карлика и снова наладить разговоръ на желанную тему.

— Служилъ, батушка отецъ протоіерей, по разумѣнію своему служилъ. Въ Москву и въ Питеръ покойница ѣзжали, никогда горничныхъ съ собою не брали. Терпѣть женской прислуги въ дорогѣ не могли. Изволятъ, бывало, говорить: «Все эти Милитрисы Кирбитьевны квохчутъ, да въ гостиницахъ по коридорамъ расхаживаютъ, да знакомятся, а Николаша, говорятъ, у меня какъ заяцъ въ углѣ сидитъ».

Онѣ вѣдь меня за мужчину вовсе не почитали, а все: заяцъ.

Николай Аѳанасьевичъ разсмѣялся и добавилъ:

— Да и взаправду, какой же я ужъ мужчина, когда на меня, извините, ни сапожковъ и никакого мужского платья готоваго нельзя купить,—не придется. Это и точно ихъ слово справедливое было, что я заяцъ.

— Трусъ! трусъ! трусъ!—заговорилъ, смѣясь и оглаживая карлика по плечамъ, Ахилла.

— Но не совсѣмъ же она тебя считала зайцемъ, когда хотѣла женить? — отозвался къ карлику исправникъ Порохонцевъ.

— Это, батушка, Воинъ Васильичъ, было. Было, сударь,— добавилъ онъ, все понижая голосъ,—было.

— Неужто, Николай Аѳанасьичъ, было? — откликнулось разомъ нѣсколько голосовъ.

Николай Аѳанасьевичъ покраснѣлъ и шопотомъ уронилъ:

— Грѣхъ лгать—было.

Всѣ, кто здѣсь на это время находились, разомъ пристали къ карлику:

— Голубчикъ, Николай Аѳанасьичъ, разскажите про это!

— Ахъ, господа, про что тутъ разсказывать?—отговаривался, смѣясь, краснѣя и отмахиваясь отъ просьбъ руками, Николай Аѳанасьевичъ.

Его просили неотступно; дамы брали его за руку, цѣловали его въ лобъ; онъ ловилъ на лету прикасавшіяся къ нему дамскія руки и цѣловалъ ихъ, но все-таки отказывался отъ разсказа, находя его долгимъ и незанимательнымъ. Но вотъ что-то вдругъ неожиданно стукнуло о полъ, именинница, стоявшая въ эту минуту предъ кресломъ карлика, въ испугѣ посторонилась и глазамъ Николая Аѳанасьевича представился колѣнопреклоненный, съ воздѣтыми кверху урками, дьяконъ Ахилла.

— Душка!—мотая головой, выбивалъ Ахилла.—Разскажи, какъ тебя женить хотѣли!

— Скажу, все разскажу, только поднимитесь, отецъ дьяконъ.

Ахилла всталъ и, обмахнувъ съ рясы пыль, самодовольно возгласилъ:

— Ага! А что-съ? А то, говорятъ, не разскажетъ! Съ чего такъ не разскажетъ? Я сказалъ—выпрошу, вотъ и вы-

просилъ. Теперь, господа, опять по мѣстамъ, и чтобъ тихо; а вы, хозяйка, вслите Николашѣ за это, что онъ будетъ разсказывать, стаканъ воды съ червоннымъ виномъ, какъ въ домахъ подаютъ.

Всѣ усѣлись. Николаю Аѳанасьевичу подали стаканъ воды, въ который онъ самъ впустилъ нѣсколько капель краснаго вина, и началъ новую о себѣ повѣсть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

— То, господа, было вскорѣ послѣ французскаго замиренія, какъ я со въ Бозѣ почившимъ государемъ императоромъ разговаривалъ.

— Вы съ государемъ разговаривали? — сію же минуту перебили разсказчика нѣсколько голосовъ.

— А какъ бы вы изволили полагать?—отвѣчалъ съ тихою улыбкой карликъ. — Да-съ; съ самимъ императоромъ Александромъ Павловичемъ говорилъ и имѣлъ разсудокъ, какъ ему отвѣчать.

— Ха-ха-ха! Вотъ, Богъ меня убей, шельма какая у насъ этотъ Николаврa! — взвылъ вдругъ отъ удовольствія дьяконъ Ахилла и, хлопнувъ себя ладонями по бедрамъ, добавилъ:—Глядите на него,—маленькій, а между тѣмъ онъ, клопштосъ, съ царемъ разговаривалъ.

— Сиди, дьяконъ, смирно, сиди спокойно,—внушительно произнесъ Туберозовъ.

Ахилла показалъ руками, что онъ болѣе ничего не скажетъ, и сѣлъ.

Разсказъ начался снова.

— Это какъ будто отъ разговора моего съ государемъ императоромъ даже и начало имѣло,— спокойно заговорилъ Николай Аѳанасьевичъ. — Госпожа моя, Марѳа Андревна, имѣла желаніе быть въ Москвѣ, когда туда ждали императора, послѣ всесвѣтной его побѣды надъ Наполеономъ Бонапарте. Разумѣется, и я въ этой поѣздкѣ, по ихъ волѣ, при нихъ находился. Онѣ, покойница, тогда уже были въ большихъ лѣтахъ и, по нездоровью своему, порядочно стали гнѣвливы и обидчивы. Молодымъ господамъ по этой причинѣ въ дому у насъ было скучно, и покойница это видѣли и много за это досадовали, а больше всѣхъ на Алексѣя Никитича сердились, что не такъ, полагали, вѣрно у нихъ въ домѣ порядокъ устроенъ, чтобы всѣмъ весело

было и что чрезъ то ихъ всѣ забываютъ. Вотъ Алексѣй Никитичъ и достали маменькѣ приглашеніе на балъ, на который государя ожидали. Марѳа Андревна не скрыли отъ меня, что это имъ очень большое удовольствіе доставило. Сдѣлали онѣ себѣ къ этому балу нарядъ безцѣнный, и для меня, французу портному, заказали синій фракъ аглицкаго сукна съ золотыми пуговицами, панталоны, — сударыни, простите, — жилетъ, галстукъ—все бѣлое; манишку съ гофреями и пряжки на башмаки, сорокъ два рубля заплатили. Алексѣй Никитичъ для маменькина удовольствія такъ упросили, чтобъ и меня можно было туда взять. Приказано было метръ д'отелю, чтобы ввесть меня въ оранжерею при домѣ и напротивъ самаго зала, куда государь войдетъ, въ углу гдѣ-нибудь между цвѣтами поставить. Такъ это, милостивые государи, все и исполнилось, но не совсѣмъ. Поставилъ меня, знаете, метръ д'отель въ уголъ у большого такого дерева, китайская пальма называется, и сказалъ, чтобъ я держался и смотрѣлъ, что отсюда увижу. А что оттуда увидать можно? ничего. Вотъ я, знаете, какъ Закхей Мытарь, цапъ-царапъ, да и взлѣзъ на этакую маленькую искусственную скалу, взлѣзъ и стою подъ пальмой. Въ залѣ шумъ, блескъ, музыка; а я хоть и на скалѣ подъ пальмой стою, а все ничего не вижу, кромѣ какъ однѣ макушки, да тупеи. Только вдругъ всѣ эти головы засуетились, раздвинулись, и государь съ княземъ Голицынымъ прямо и входитъ отъ жара въ оранжерею. И еще то, представьте, идетъ не только что въ оранжерею, а даже въ самый тотъ дальній уголъ прохладный, куда меня спрятали. Я такъ, сударыни, и засохъ. На скалѣ-то засохъ и не слѣзу.

— Страшно?—спросилъ Туберозовъ.

— Какъ вамъ доложить? не страшно, но какъ будто волненье.

— А я бы убѣгъ,—сказалъ, не вытерпѣвъ, дьяконъ.

— Чего же, сударь, бѣжать? Не могу сказать, чтобы совсѣмъ ни капли не испугался, но не бѣгалъ. А его величество тѣмъ часомъ все подходятъ, подходятъ; ужъ я слышу даже, какъ сапожки на нихъ рипъ, рипъ, рипъ; вижу ужъ и ликъ у нихъ этакій тихій, взракъ ласковый, да уже, знаете, на отчаянность ужъ и думаю и не думаю, зачѣмъ я предъ ними на самомъ на виду явлюсь. Только государь вдругъ

этакъ головку повернули и, вижу, изволили вскинуть на меня свои очи и на мнѣ ихъ и остановили.

— Ну!—крикнулъ, блѣднѣя, дьяконъ.

— Я взялъ да имъ поклонился.

Дьяконъ вздохнулъ и, сжавъ руку карлика, прошепталъ:

— Сказывай же, сдѣлай милость, скорѣе, не останавливайся!

— Они посмотрѣли на меня и изволятъ князю Голицыну говорить по-французски: «Ахъ, какой миніатюрный экземпляръ!—чей, любопытствуетъ, это такой?» Князь Голицынъ, вижу, въ затруднительности отвѣтить; а я, какъ французскую рѣчь могу понимать, самъ и отвѣчаю: «Госпожи Плодомасовой, ваше императорское величество». Государь обратился ко мнѣ и изволятъ меня спрашивать: «Какой вы націи?»—Вѣрноподданный, говорю, вашего императорскаго величества. «И русскій уроженецъ?» изволятъ спрашивать, а я опять отвѣчаю:—Изъ крестьянъ, говорю, вѣрноподданный вашего императорскаго величества. Императоръ и разсмѣялись. «Bravo! изволили пошутить,—bravo, mon petit sujet fidèle» и ручкой этакъ меня за голову къ себѣ и пожали.

Николай Аѳанасьевичъ понизилъ голосъ и сквозь тихую улыбку, какъ будто величайшую политическую тайну, шопотомъ добавилъ:

— Ручкой-то своею, знаете, взяли обняли, а здѣсь... непримѣтно для нихъ пуговочкой обшлага носъ-то мнѣ совсѣмъ чувствительно больно придавили.

— А ты же вѣдь ничего... не закричалъ? — спросилъ дьяконъ.

— Нѣтъ-съ, что́ вы, батюшка, что вы? Какъ же можно отъ ласкъ государя кричать? Я-съ,—заключилъ Николай Аѳанасьевичъ:—только какъ они выпустили меня, я поцѣловалъ ихъ ручку... что счастливъ и удостоенъ чести и только и всего моего разговора съ ихъ величествомъ было. А послѣ, разумѣется, какъ сняли меня изъ-подъ пальмы и повезли въ каретѣ домой, такъ вотъ тутъ ужъ я все плакалъ.

— Отчего же послѣ-то плакать?—спросилъ Ахилла.

— Да какъ же отчего? мало ли отчего-съ? Отъ умиленія чувствъ плачешь.

— Маленькій, а какъ чувствуетъ!—воскликнулъ въ восторгѣ Ахилла.

— Ну-съ, позвольте! — началъ снова разсказчикъ. — Теперь только что это случайное вниманіе императора по Москвѣ въ нѣкоторыхъ домахъ разгласилось, покойница Марѳа Андревна начали всюду возить меня и показывать, и я, истину вамъ докладываю, не лгу, я былъ тогда самый маленькій карликъ во всей Москвѣ. Но недолго это было-съ, всего одну зиму...

Но въ это время дьяконъ, ни съ того, ни съ сего, вдругъ оглушительно фыркнулъ и, свѣсивъ голову за спинку стула, тихо захохоталъ.

Замѣтя, что его смѣхъ остановилъ разсказъ, онъ приподнялся и сказалъ:

— Нѣтъ, это ничего!.. Разсказывай, сдѣлай милость, Николавра, это я по своему дѣлу смѣюсь. Какъ со мною однажды графъ Кленыхинъ говорилъ.

— Нѣтъ-съ, ужъ вы, сударь, лучше выскажитесь, а то опять перебьете,—отвѣтилъ карликъ.

— Да ничего, ничего, это самое простое дѣло, — возражалъ Ахилла.—Графъ Кленыхинъ у насъ семинарскій корпусъ смотрѣлъ, я ему поклонился, а онъ говоритъ: «пошелъ прочь, дуракъ!» Вотъ и весь нашъ разговоръ, чему я разсмѣялся.

— И точно-съ смѣшно,—сказалъ Николай Аѳанасьевичъ и, улыбнувшись, сталъ продолжать:

— На другую зиму,—заговорилъ онъ: — Вихіорова генеральша привезла изъ-за Петербурга чухоночку Метту, карлицу еще меньше меня на палецъ. Покойница Марѳа Андревна слышать объ этомъ не могла. Сначала все изволила говорить, что эта карлица не натуральная, а свинцомъ будто опоенная, но какъ пріѣхали и изволили сами Метту Ивановну увидать и разсердились, что она этакая бѣленькая и совершенная. Во снѣ стали видѣть, какъ бы намъ Метту Ивановну себѣ купить. А Вихіорша та слышать не хочетъ, чтобы продать. Вотъ тутъ Марѳа Андревна и объясняютъ, что «мой Николай, говорятъ, умный и государю отвѣчать умѣлъ, а твоя, говорятъ, дѣвчушка, — что жъ, только на видъ хороша». Такъ межъ собой обѣ госпожи за насъ и спорятъ. Марѳа Андревна говоритъ той продай, а эта имъ говоритъ, чтобы меня продать. Марѳа Андревна вскипятъ вдругъ: «Я вѣдь, изволятъ говорить, не для игрушки у тебя ее торгую: я ее въ невѣсты на выводъ покупаю,

чтобы Николая на ней женить». А госпожа Вихіорова говорятъ: «что жъ, я его у себя женю». Марѳа Андревна говорятъ: «Я тебѣ отъ нихъ дѣтей дамъ, если будутъ», и та тоже говоритъ, что и онѣ пожалуютъ дѣтей, если дѣти будутъ. Марѳа Андревна разсердятся и велятъ мнѣ прощаться съ Меттой Ивановной. А потомъ опять, какъ Марѳа Андревна не выдержатъ, заѣдемъ, и какъ только онѣ войдутъ, сейчасъ и объявляютъ: «Ну слушай же, матушка генеральша, я тебѣ, чтобы попусту не говорить, тысячу рублей за твою уродицу дамъ», а та какъ на зло не порочитъ меня, а двѣ за меня Марѣ Андревнѣ предлагаетъ. Пойдутъ другъ другу набавлять и набавляютъ, и опять разсердится Марѳа Андревна, вскрикнетъ: «Я, матушка, своими людьми не торгую», а госпожа Вихіорова тоже отвѣчаютъ, что и онѣ не торгуютъ, такъ и опять велятъ намъ съ Меттой Ивановной прощаться. До десяти тысячъ рублей, милостивые государи, доторговались за насъ, а все дѣло не подвигалось, потому что моя госпожа за ту даетъ десять тысячъ, а та за меня одиннадцать. До самой весны, государи мои, такъ тянулось, и доложу вамъ, хотя госпожа Марѳа Андревна была духа великаго и несокрушимаго, и съ Пугачевымъ спорила, и съ тремя государями танцовала, но госпожа Вихіорова ужасно Марѳы Андревны весь характеръ переломили. Скучаютъ! страшно скучаютъ! И на меня все начинаютъ гнѣваться. «Это вотъ все ты, изволятъ говорить, сякой-такой пентюхъ, что дѣвку даже ни въ какое воображеніе ввести не можешь, чтобъ она сама за тебя просилась». «Матушка, говорю, Марѳа Андревна, чѣмъ же, говорю, питательница, я могу ее въ воображеніе вводить? Ручку, говорю, матушка, мнѣ, дураку, пожалуйте». А онѣ еще больше гнѣваются. «Глупый, говорятъ, глупый! только и знаетъ про ручки». А я ужъ все молчу.

— Маленькій! маленькій! Онъ, бѣдный, этого ничего не можетъ! — участливо объяснялъ кому-то по сосѣдству дьяконъ.

Карликъ оглянулся на него и продолжалъ:

— Ну-съ, такъ дальше больше, дошло до весны, пора намъ стало и домой въ Плодомасово изъ Москвы собираться. Марѳа Андревна опять приказали мнѣ одѣваться, и чтобъ одѣлся въ гишпанское платье. Поѣхали къ Вихіоршѣ и опять не сторговались. Марѳа Андревна говорятъ ей: «Ну,

хоть позволь же ты своей каракатицѣ, пусть они хоть походятъ съ Николашей вмѣстѣ предъ домомъ!» Генеральша на это согласилась, и мы съ Меттой Ивановной по тротуару противъ оконъ и гуляли. Марѳа Андревна, покойница, и этому радовались и всякихъ костюмовъ намъ обоимъ нашили. Пріѣдемъ, бывало, онѣ и приказываютъ. «Надѣньте нынче, Николаша, съ Меттой пейзанскіе костюмы!» Вотъ мы оба и являемся въ деревянныхъ башмакахъ, я въ камзолѣ и въ шляпѣ, а Метта Ивановна въ высокомъ чепчикѣ, и ходимъ такъ предъ домомъ, и народъ на насъ стоитъ смотритъ. Другой разъ велятъ одѣться туркой съ турчанкой, мы тоже опять ходимъ; или матросомъ съ матроской, мы и этакъ ходимъ. А то были у насъ тоже медвѣжьи платьица, тѣ изъ коричневой фланели, въ родѣ чехловъ сшиты. Всунутъ насъ, бывало, въ нихъ, будто руку въ перчатку или ногу въ чулокъ, ничего, кромѣ глазъ, и не видно, а на макушечкахъ такія суконныя завязочки ушками подѣланы, трепятся. Но въ этихъ платьицахъ насъ на улицу не посылали, а велятъ, бывало, одѣться, когда обѣ госпожи за столомъ кофе кушаютъ, и чтобы во время ихъ кофею на коврѣ противъ ихъ стола бороться. Метта Ивановна пресильная была, даромъ что женщина, но я, бывало, если имъ дамъ хорошенько подножку, такъ онѣ все-таки сейчасъ и слетятъ, но только я, впрочемъ, всегда Меттѣ Ивановнѣ больше поддавался, потому что мнѣ ихъ жаль было по ихъ женскому полу, да и генеральша сейчасъ, бывало, въ ихъ защиту собачку болонку кличутъ, а та меня за голеняшки, а Марѳа Андревна сердятся... Ну ихъ совсѣмъ и съ одолѣніемъ! А то тоже покойница заказали намъ самый лучшій костюмъ, онъ у меня и теперь цѣлъ: меня одѣли французскимъ гренадеромъ, а Метту Ивановну маркизой. У меня этакій киверъ, медвѣжій, мѣховой, высокій, мундиръ длинный, ружье со штыкомъ и тесакъ, а Меттѣ Ивановнѣ робъ и опахало большое. Я, бывало, стану въ дверяхъ съ ружьемъ, а Метта Ивановна съ опахаломъ проходятъ, и я имъ честь отдаю, и потомъ Марѳа Андревна съ генеральшей опять за насъ торгуются, чтобы насъ женить. Но только надо вамъ доложить, что всѣ эти наряды и костюмы для насъ съ Меттой Ивановной все моя госпожа на свой счетъ дѣлали, потому что онѣ ужъ навѣрное надѣялись, что мы Метту Ивановну купимъ, и даже такъ, что чѣмъ больше онѣ на насъ двоихъ

этихъ костюмовъ надѣвали, тѣмъ больше увѣрялись, что мы оба ихніе; а дѣло-то совсѣмъ было не туда. Госпожа генеральша Вихіорова, Каролина Карловна, какъ были изъ нѣмокъ, то онѣ ничему этому, что въ ихъ пользу, не препятствовали и принимали, а уступить ничего не хотѣли. Предъ самою весной Мароа Андревна ей вдругъ рѣшительно говорятъ: «однако, что же это такое мы съ тобою, матушка, дѣлаемъ, ни Мишу, ни Гришу? Надо же, говорятъ, это на чемъ-нибудь кончить», да на томъ было и кончили, что чуть-чуть ихъ самихъ на Ваганьково кладбище не отнесли. Зачахли покойница, желчью покрылись, на всѣхъ стали сердиться, и вотъ минуты одной, какова есть минута, не хотятъ ждать: вынь да положь имъ Метту Ивановну, чтобы сейчасъ меня на ней женить! У кого въ домѣ Свѣтлое Христово Воскресенье, а у насъ тревога, а къ Красной Горкѣ ждемъ послѣдній отвѣтъ и не знаемъ, какъ ей и передать его. Тутъ-то Алексѣй Никитичъ, дай имъ Богъ здоровья, ужъ и имъ это дѣло насолило, видятъ, что бѣда ожидаетъ неминучая, вдругъ надумались, или съ кѣмъ тамъ въ полку изъ умныхъ офицеровъ посовѣтовались, и доложили маменькѣ, что будто бы Вихіоршина карлица пропала. Марѳѣ Андревнѣ все, знаете, отъ этого легче стало, что ужъ ни у кого ея нѣтъ, и начали онѣ безпрестанно объ этомъ говорить.—«Какъ же такъ, разспрашиваютъ, она пропала?» Алексѣй Никитичъ отвѣчаютъ, что жидъ укралъ. — «Какъ? какой жидъ?»—все разспрашиваютъ. Сочинняемъ имъ что попало: такъ, молъ, жидъ этакой каштановатый, съ бородой, всѣ видѣли, взялъ да понесъ. «А что же,—изволятъ спрашивать,—зачѣмъ же его не остановили?»—Такъ, молъ; онъ изъ улицы въ улицу, изъ переулка въ переулокъ, такъ и унесъ.—«Да и она-то, разсуждаютъ, дура какая, что ее несутъ, а она даже и не кричитъ. Мой Николай ни за что бы, говорятъ, не дался».—«Какъ можно, говорю, сударыня, жиду сдаться!» Всему ужъ онѣ какъ ребенокъ стали вѣрить. Но тутъ Алексѣй Никитичъ вдругъ ненарокомъ маленькую ошибку далъ или, пожалуй сказать, перехитрилъ: намѣреніе ихъ такое было разумѣется, чтобы скорѣе Марѳу Андревну со мною въ деревню отправить, чтобъ это тутъ забылось, они и сказали маменькѣ: «вы, изволятъ говорить, маменька, не безпокойтесь: ее, эту карлушку, найдутъ, потому что ее ищутъ, и какъ найдутъ, я вамъ сейчасъ и отпишу въ деревню»; а

покойница-то за это слово и ухватилась: «Нѣтъ ужъ, говорятъ, если ищутъ, такъ я лучше подожду, я главное теперь этого жида-то хочу посмотрѣть, который ее унесъ!» Тутъ, судари мои, мы ужъ и одного квартальнаго вмѣстѣ съ собою лгать подрядили: тотъ всякій день приходитъ и вретъ, что «ищутъ, молъ, ее, да не находятъ». Она ему всякій день синенькую, а меня всякій день къ ранней обѣднѣ посылаетъ въ церковь, Іоанну Воинственнику молебенъ о сбѣжавшей рабѣ служить...

— Іоанну Воинственнику? Іоанну Воинственнику говоришь ты молебенъ-то ходилъ служить?—перебилъ дьяконъ.

— Да-съ, Іоанну Воинственнику.

— Ну, такъ, братъ, поздравляю тебя, совсѣмъ не тому святому служилъ.

— Дьяконъ! да сдѣлай ты милость, сядь,—рѣшилъ отецъ Савелій:—а ты, Николай, продолжай.

— Да что, батюшка, больше продолжать, когда вся ужъ почти моя сказка и разсказана. Ѣдемъ мы одинъ разъ съ Маѳоой Андревной отъ Иверской Божіей Матери, а генеральша Вихіорова и хлопъ на самой Петровкѣ намъ навстрѣчу въ колискѣ и Метта Ивановна съ ними. Тутъ Маѳоа Андревна все поняли и... повѣрите ли, государи мои, или нѣтъ, тихо, но горько въ каретѣ заплакали.

Карликъ замолчалъ.

— Ну, Никола,—подогналъ его протопопъ Савелій.

— Ну-съ, а тутъ ужъ что же: какъ пріѣхали мы домой, онѣ и говорятъ Алексѣю Никитичу: «А ты, сынокъ, говорятъ, выходишь дуракъ, что смѣлъ свою мать обманывать, да еще квартальнаго приводилъ», и съ этимъ велѣли укладываться и уѣхали.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ обернулся на стульцѣ ко всѣмъ слушателямъ и добавилъ: — Я вѣдь вамъ докладывалъ, что исторія самая простая и нисколько не занимательная. А мы, сестрица,—добавилъ онъ, вставая,—засимъ и поѣдемте!

Марья Аѳанасьевна стала собираться; но дьяконъ опять выступилъ со споромъ, что Николай Аѳанасьевичъ не тому святому молебенъ служилъ.

— Это, сударь мой, отецъ дьяконъ, не мое дѣло знать,—

оправдывался, отыскивая свой пуховой картузъ, Николай Аѳанасьевичъ.

— Нѣтъ, какъ же не твое! Непремѣнно твое: ты долженъ знать, кому молишься.

— Позвольте-съ, позвольте, я въ первый разъ какъ пришелъ по этому дѣлу въ церковь, подалъ записочку о *бѣжавшей рабѣ* и полтинникъ, священникъ и стали служить Іоанну Воинственнику, такъ оно послѣ и шло.

— Ой! если такъ, значитъ плохъ священникъ...

— Чѣмъ? чѣмъ? чѣмъ? Чѣмъ такъ священникъ плохъ?— вмѣшался неожиданно отецъ Бенефактовъ.

— Тѣмъ, отецъ Захарія, плохъ, что дѣла своего не знаетъ,— отвѣчалъ Бенефактову съ отмѣнною развязностію Ахилла.— *О бѣжавшемъ рабѣ* нешто Іоанну Воинственнику пѣть подобаетъ?

— Да; да; а кому же по-твоему? кому же? кому же?

— Кому? Забыли, что ли, вы? У ктиторова мѣста листъ въ прежнее время былъ наклеенъ. Теперь его сняли, а я все помню, кому въ немъ за что молебенъ пѣть положено.

— Да.

— Ну, и только! Ѳедору Тирону, если вамъ угодно слышать, вотъ кому.

— Ложно осуждаешь: Іоанну Воинственнику они правильно служили.

— Не конфузьте себя, отецъ Захарія.

— Я тебѣ говорю, служили правильно.

— А я вамъ говорю, понапрасну себя не конфузьте.

— Да что ты тутъ со мной споришь!

— Нѣтъ, это что вы со мной спорите! Я васъ вѣдь, если захочу, сейчасъ могу оконфузить.

— Ну, оконфузь.

— Ей-Богу, душечка, оконфужу!

— Ну, оконфузь, оконфузь!

— Ей-Богу вѣдь оконфужу, не просите лучше, потому что я эту таблицу наизусть знаю.

— Да ты не разговаривай, а оконфузь, оконфузь,—смѣясь и радуясь, частилъ Захарія Бенефактовъ, глядя то на дьякона, то на чинно хранящаго молчаніе отца Туберозова.

— Оконфузить? извольте,—рѣшилъ Ахилла и, сейчасъ же закинувъ далеко на локоть широкій рукавъ рясы, загнулъ правою рукою большой палецъ лѣвой руки, какъ будто со-

бирался его отломить, и началъ:—Вотъ первое: объ исцѣленіи отъ отрясовичной болѣзни, преподобному Марою.

— Преподобному Марою,—повторилъ за нимъ, соглашаясь, отецъ Бенефактовъ.

— Отъ огрызной болѣзни — великомученику Артемію,— вычитывалъ Ахилла, заломивъ тѣмъ же способомъ второй палецъ.

— Артемію,—повторилъ Бенефактовъ.

— О разрѣшеніи неплодства—Роману чудотворцу: если возненавидитъ мужъ жену свою — мученикамъ Гурію, Самону и Авиву; объ отогнаніи бѣсовъ — преподобному Нифонту; объ избавленіи отъ блудныя страсти — преподобной Ѳомаидѣ...

— И преподобному Моисею Угрину, — тихо подставилъ до сихъ поръ только въ тактъ покачивавшій своею головкой Бенефактовъ.

Дьяконъ, уже загнувшій всѣ пять пальцевъ лѣвой руки, секунду подумалъ, глядя въ глаза отцу Захаріи, и затѣмъ, разжавъ лѣвую руку съ тѣмъ, чтобы загибать ею правую, произнесъ:

— Да, тоже можно и Моисею Угрину.

— Ну, теперь продолжай.

— Отъ виннаго запойства—мученику Вонифатію...

— И Моисею Мурину.

— Что-съ?

— Вонифатію и Моисею Мурину, — повторилъ отецъ Захарія.

— Точно,—повторилъ дьяконъ.

— Продолжай.

— О сохраненіи отъ злого очарованія—священномученику Кипріяну...

— И святой Устиніи.

— Да позвольте же, наконецъ, отецъ Захарія, съ этими подсказами!

— Да нечего позволять! Русскимъ словомъ ясно напечатано: и святой Устиніи.

— Ну, хорошо! ну, и святой Устиніи, а объ обрѣтеніи украденныхъ вещей и бѣжавшихъ рабовъ (дьяконъ началъ съ этого мѣста подчеркивать свои слова)—Ѳеодору Тирону, его же память празднуемъ семнадцатаго февраля.

Но только-что Ахилла протрубилъ свое послѣднее слово,

какъ Захарія тою же тихою и безстрастною рѣчью продолжалъ чтеніе таблички словами:

— И Іоанну Воинственнику, его же память празднуемъ десятаго іюля.

Ахилла похлопалъ глазами и проговорилъ:

— Точно: теперь вспомнилъ, есть и Іоанну Воинственнику.

— Такъ о чемъ же это вы, сударь отецъ-дьяконъ, изволили цѣлый часъ спорить?—спросилъ, протягивая на прощанье свою ручку Ахиллѣ, Николай Аѳанасьевичъ.

— Ну, вотъ поди же ты со мною. Дубликаты позабылъ, вотъ изъ-за чего и спорилъ,—отвѣчалъ дьяконъ.

— Это, сударь, называется: шапка на головѣ, а я шапку ищу. Мое глубочайшее почтеніе, отецъ дьяконъ.

— «Шапку ищу»... Ахъ ты маленькій!—произнесъ, осклабляясь, Ахилла и, подхвативъ Николая Аѳанасьевича съ полу, посадилъ его себѣ на ладонь и воскликнулъ: — какъ пушиночка легенькій!

— Перестань,—велѣлъ отецъ Туберозовъ.

Дьяконъ опустилъ карлика и, поставивъ его на землю, шутливо замѣтилъ, что, по легкости Николая Аѳанасьевича, его никакъ бы нельзя на вѣсъ продавать; но протопопу уже немножко досадила суетливость Ахиллы, и онъ ему отвѣчалъ:

— А ты знаешь ли, кого цѣнятъ по вѣсу?

— А кого-съ?

— Повѣсу.

— Покорно васъ благодарю-съ.

— Не взыщи, пожалуйста.

Дьяконъ смутился и, обведя носовымъ бумажнымъ платкомъ по ворсу своей шляпы, проговорилъ:

— А вы ужъ нигдѣ не можете обойтись безъ политики,— и съ этимъ, слегка надувшись, вышелъ за двери.

Вскорѣ раскланялись и разошлись въ разныя стороны и всѣ другіе гости.

Николая Аѳанасьевича съ сестрой быстро унесли окованныя бронзой троечныя дрожки, а Туберозовъ тихо шелъ за рѣку вдвоемъ съ тѣмъ самымъ Дарьяновымъ, съ которымъ мы его видѣли въ домикѣ просвирни Препотенской.

Перейдя вмѣстѣ мостъ, они на минуту остановились, и протопопъ, какъ бы что-то вспомнивъ, сказалъ:

— Не удивительно ли, что эта старая сказка, которую разсказалъ сейчасъ карликъ и которую я такъ много разъ уже слышалъ, ничтожная сказочка про эти вязальныя старухины спицы, не только меня освѣжила, но и успокоила отъ того раздраженія, въ которое меня ввергла намедняшняя новая дѣйствительность? Не явный ли знакъ въ этомъ тотъ, что я уже остарѣлъ и назадъ меня клонитъ? Но нѣтъ, и не то; таковъ былъ я сыздѣтства, и вотъ въ эту самую минуту мнѣ вспомнился вотъ какой случай: пріѣхалъ я разъ уже студентомъ въ село, гдѣ жилъ мои дѣтскіе годы, и засталъ тамъ, что деревянную церковку сносятъ и выводятъ стройный каменный храмъ... и я разрыдался!

— О чемъ же?

— Представьте: стало мнѣ жаль деревянной церковки. Чуденъ и свѣтелъ новый храмъ возведутъ на Руси и будетъ въ немъ и свѣтло, и тепло молящимся внукамъ, но больно глядѣть какъ старыя бревна безъ жалости рубятъ!

— Да что и хранить-то изъ тѣхъ временъ, когда только въ спички стучали, да карликовъ для своей потѣхи женили.

— Да; вотъ замѣтьте себѣ, много-много въ этомъ скудости, а мнѣ отъ этого пахнуло русскимъ духомъ. Я вспомнилъ эту старуху и стало таково и бодро и пріятно, и это бережи моей отрадная награда. Живите, государи мои, люди русскіе, въ ладу со своею старой сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ея не будетъ подъ старость! Для васъ вотъ эти прутики старушекъ ударяютъ монотонно; но для меня съ нихъ каплетъ сладкихъ сказаній источникъ!.. О, какъ бы я желалъ умереть въ мирѣ съ моею старою сказкой.

— Да это, конечно, такъ и будетъ.

— Представьте, а я опасаюсь, что нѣтъ.

— Напрасно. Кто же вамъ можетъ помѣшать?

— Какъ можно знать, какъ можно знать, кто это будетъ? Но, однако, позвольте, что же это я вижу?—заключилъ протоіерей, вглядываясь въ показавшееся на горѣ облако пыли.

Это облако сопровождало дорожный троечный тарантасъ, а въ этомъ тарантасѣ сидѣли два человѣка: одинъ—высокій, мясистый, черный, съ огненными глазами и несоразмѣрной величины верхнею губой; другой—сюбтильный, выбритый, съ лицомъ совершенно безстрастнымъ и свѣтлыми водянистыми глазками.

Экипажъ съ этими пассажирами быстро проскакалъ по мосту и, переѣхавъ рѣку, повернулъ берегомъ влѣво.

— Какія непріятныя лица!—сказалъ, отвернувшись, протопопъ.

— А вы знаете ли, кто это такіе?

— Нѣтъ, слава Богу, не знаю.

— Ну, такъ я васъ огорчу. Это и есть ожидаемый у насъ чиновникъ князь Борноволоковъ; я узнаю его, хоть и давно не видалъ. Такъ и есть; вонъ они и остановились у воротъ Бизюкина.

— Скажите жъ на милость, который же изъ нихъ самъ Борноволоковъ?

— Борноволоковъ тотъ, что слѣва, маленькій.

— А тотъ другой, что за персона?

— А эта персона, должно быть, просто его письмоводитель. Онъ тоже знаменитъ кой-чѣмъ.

— Юристъ большой?

— Гм! Ну, этого я не слыхалъ о немъ, а онъ по какой-то студенческой исторіи въ крѣпости сидѣлъ.

— Батюшки мои! А какъ имя мужу сему?

— Измаилъ Термосесовъ.

— Термосесовъ?

— Да, Термосесовъ; Измаилъ Петровъ Термосесовъ.

— Господи, какихъ у нашего царя людей нѣтъ!

— А что такое?

— Да какъ же, помилуйте: и губастый, и страшный, и въ крѣпости сидѣлъ, и на свободу вышелъ, и фамилія ему Термосесовъ.

— Не правда ли, ужасно?—восликнулъ, расхохотавшись, Дарьяновъ.

— А что вы думаете, оно, пожалуй, и вправду ужасно! — отвѣчалъ Туберозовъ. — Имя человѣческое не пустой совсѣмъ звукъ: пѣвецъ «Одиссеи» не даромъ сказалъ, что «въ минуту рожденія каждый имя свое себѣ въ сладостный даръ получаетъ». Но до свиданія пока. Вечеромъ встрѣтимся?

— Непремѣнно.

— Такъ вотъ и прекрасно: тамъ намъ будетъ время добссѣдовать и объ именахъ, и объ именосцахъ.

Съ этимъ протопопъ пожалъ руку своего компаньона, и они разстались.

Туберозовъ пришелъ вечеромъ первый въ домъ исправника и такъ рано, что хозяинъ еще наслаждался послѣобѣденнымъ сномъ, а именинница обтирала губкой свои камеліи и олеандры, окружавшіе угольный диванъ въ маленькой гостиной.

Хозяйка и протопопъ встрѣтились очень радушно и съ простотой, свидѣтельствовавшею о ихъ дружествѣ.

— Рано придралъ я?—спросилъ протопопъ.

— И очень даже рано,—отвѣчала, смѣясь, хозяйка.

— Подите жъ! Жена была права, что останавливала, да что-то не сидится дома; охота гостевать пришла. Давайте-ка я стану помогать вамъ мыть цвѣты.

И старикъ вслѣдъ за словомъ снялъ рясу, засучилъ рукава подрясника и, вооружась мокрою тряпочкой, принялся за работу.

Въ этихъ занятіяхъ и незначащихъ перемолвкахъ съ хозяйкой о состояніи ея цвѣтовъ прошло не болѣе полчаса, какъ подъ окнами дома послышался топотъ подкатившей четверни. Туберозовъ вздрогнулъ и, взглянувъ въ окно, произнесъ въ себѣ: «Ага! нѣтъ, хорошо, что я поторопился!» Затѣмъ онъ громко воскликнулъ: «Парменъ Семенычъ? Ты ли это, другъ?» И бросился навстрѣчу выходившему изъ экипажа предводителю Туганову.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Теперь волей-неволей, повинуясь неодолимымъ обстоятельствамъ, встрѣчаемымъ на пути нашей хроники, мы должны оставить на время и старогородскаго протопопа, и предводителя, и познакомиться совершенно съ другимъ кружкомъ того же города. Мы должны вступить въ домъ акцизнаго чиновника Бизюкина, куда сегодня прибыли давно жданные въ городъ петербургскіе гости: старый университетскій товарищъ акцизника князь Борноволоковъ, нынѣ довольно видный петербургскій чиновникъ, разъѣзжающій съ цѣлью что-то ревизовать и что-то вводить, и его секретарь Термосесовъ, также нѣкогда знакомецъ и одномышленникъ Бизюкина. Мы входимъ сюда именно въ тотъ предобѣденный часъ, когда предъ этимъ домомъ остановилась почтовая тройка, доставившая въ Старогородъ столичныхъ гостей.

Самого акцизника въ это время не было дома, и хозяй-

ственный элементъ представляла одна акцизница, молодая дама, о которой мы кое-что знаемъ изъ словъ дьякона Ахиллы, старой просвирни, да учителя Препотенскаго. Интересная дама это одна ожидала дорогихъ гостей, изъ коихъ Термосесовъ ее необыкновенно занималъ, такъ какъ онъ былъ ей извѣстенъ за весьма вліятельнаго политическаго дѣятеля. О великомъ характерѣ и о значеніи этой особы она много слыхала отъ своего мужа и потому, будучи сама политическою женщиной, ждала этого гостя не безъ душевнаго трепета. Желая показаться ему съ самой лучшей и выгоднѣйшей для своей репутаціи стороны, Бизюкина еще съ утра была озабочена тѣмъ, какъ бы ей привести домъ въ такое состояніе, чтобы даже внѣшній видъ ея жилища съ перваго же взгляда производилъ на пріѣзжихъ цѣлесообразное впечатлѣніе. Акцизница еще спозаранка обошла нѣсколько разъ всѣ свои комнаты и нашла, что все никуда не годится. Остановясь посреди опрятной и хорошо меблированной гостиной, она въ отчаяніи воскликнула: «Нѣтъ, это чортъ знаетъ что такое? Это совершенно такъ, какъ и у Порохонцевыхъ, и у Дарьяновыхъ, и у почтмейстера, словомъ, какъ у всѣхъ, даже, пожалуй, гораздо лучше! Вотъ, напримѣръ, у Порохонцевыхъ нѣтъ часовъ на каминѣ, да и камина вовсе нѣтъ; но каминъ, положимъ, еще ничего, этого гигіена требуетъ; а зачѣмъ эти бра, зачѣмъ эти куклы, наконецъ, зачѣмъ эти часы, когда въ залѣ часы есть?.. А въ залѣ? Господи! Тамъ фортепьяно, тамъ ноты... Нѣтъ, это рѣшительно невозможно такъ, и я не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной какъ-нибудь за эти мелочи. Я не хочу, чтобы мнѣ Термосесовъ могъ написать что-нибудь въ родѣ того, что въ умномъ романѣ «Живая душа» умная Маша написала своему жениху, который жилъ въ хорошемъ домѣ и пилъ чай изъ серебрянаго самовара. Эта умная дѣвушка прямо написала ему, что, молъ, «послѣ того, что я у васъ видѣла, между нами все кончено». Нѣтъ, я этого не хочу. Я знаю, какъ надо принять дѣятелей! Одно досадно: не знаю, какъ именно у нихъ все въ Петербургѣ?.. Вѣрно у нихъ тамъ все это какъ-нибудь скверно... то-есть я хотѣла сказать прекрасно... тьфу, то-есть скверно... Чортъ знаетъ что такое. Да! Но куда же, однако, мнѣ все это дѣть? Неужели же все выбросить? Но это жаль, испортится; а это все денегъ стóитъ, да и что пользы выбросить

вещи, когда кругомъ, на что ни взглянешь... вонъ въ спальнѣ кружевныя занавѣски... положимъ, что это въ спальнѣ, куда гости не заглянутъ... ну, а если заглянутъ!.. Ужасная гадость. Притомъ же дѣти такъ хорошо одѣты!.. Ну, да ихъ не покажутъ; пусть тамъ и сидятъ, гдѣ сидятъ; но все-таки... все выбрасывать жаль! Нѣтъ, лучше ужъ одну мужнину комнату отдѣлать.

И съ этимъ молодая чиновница позвала людей и велѣла имъ тотчасъ же перенести все излишнее, по ея мнѣнію, убранство мужнина кабинета въ кладовую.

Кабинетъ акцизника, и безъ того обдѣленный убранствомъ въ пользу комнатъ госпожи и повелительницы дома, теперь совсѣмъ былъ ободранъ и представлялъ зрѣлище весьма печальное. Въ немъ оставались столъ, стулъ, два дивана и больше ничего.

«Вотъ и отлично, — подумала Бизюкина. — По крайней мѣрѣ есть хоть одна комната, гдѣ все совершенно какъ слѣдуетъ». Затѣмъ она сдѣлала на письменномъ столѣ два пятна чернилами, опрокинула ногой въ углу плевальницу и разсыпала по полу песокъ... Но, Боже мой! возвратясь въ залъ, акцизница замѣтила, что она было чуть-чуть не просмотрѣла самую ужасную вещь: на стѣнѣ висѣлъ образъ!

— Ермошка! Ермошка! скорѣй тащи долой этотъ образъ и неси его... я его спрячу въ комодъ.

Образъ былъ спрятанъ.

— Какъ это глупо,—разсуждала она:—что женихъ, ожидая *живую душу*, побилъ свои статуи и порвалъ занавѣски? Эй, Ермошка, подавай мнѣ сюда занавѣски! Скорѣй свертывай ихъ. Вотъ такъ! Теперь самъ смотри же, чертенокъ, одѣвайся получше!

— Получше-съ?

— Ну, да, конечно, получше. Что тамъ у тебя есть?

— Бешметъ-съ.

— Бешметъ, дуракъ, «бешметъ-съ»! Жилетку, манишку и новый кафтанъ, все надѣнь, чтобы все было какъ должно,—да этакъ не изволь мнѣ отвѣчать по-лакейски: «чего-съ изволите-съ», да «я вамъ докладывалъ-съ», а просто говори: «что, молъ, вамъ нужно?» или «я, молъ, вамъ говорилъ». Понимаешь?

— Понимаю-съ.

— Не «понимаю-съ», глупый мальчишка, а просто «понима́ю», ю, ю, ю; просто понимаю!

— Понимаю.

— Ну, вотъ и прекрасно. Ступай одѣвайся, у насъ будутъ гости. Понимаешь?

— Понимаю-съ.

— Понимаю, дуракъ, *понимаю*, а не «понимаю-съ».

— Понимаю.

— Ну и пошелъ вонъ, если понимаешь.

Озабоченная хозяйка вступила въ свой будуаръ, открыла большой орѣховый шкапъ съ нарядами и, пересмотрѣвъ весь свой гардеробъ, выбрала, что тамъ нашлось худшаго, позвала свою горничную и велѣла себя одѣвать.

— Маруа! ты очень не любишь господъ?

— Отчего же-съ?

— Ну, «отчего же-съ?» Такъ, просто ни отчего. За что тебѣ любить ихъ?

Дѣвушка была въ затрудненіи.

— Что они тебѣ хорошаго сдѣлали?

— Хорошаго, ничего-съ.

— Ну и ничего-съ, и дура, и значитъ, что ты ихъ не любишь, а впередъ, я тебя покорно прошу, ты не смѣй мнѣ этакъ говорить: «отчего же-съ», «ничего-съ», а говори просто: «отчего» и «ничего». Понимаешь?

— Понимаю-съ.

— Вотъ и эта: «понимаю-съ». Говори просто «понимаю».

— Да зачѣмъ такъ, сударыня?

— Затѣмъ, что я такъ хочу.

— Слушаю-съ.

— «Слушаю-съ». Я сейчасъ только сказала: говори просто «слушаю и понимаю».

— Слушаю и понимаю; но только мнѣ этакъ, сударыня, трудно.

— Трудно? Зато послѣ будетъ легко. Всѣ такъ будутъ говорить. Слышишь?

— Слышу-съ.

— «Слышу-съ»... Дура. Иди вонъ! Я тебя прогоню, если ты мнѣ еще разъ такъ отвѣтишь. Просто «слышу» и ничего больше. Господъ скоро вовсе никакихъ не будетъ; понимаешь ты это? не будетъ ихъ вовсе! Ихъ всѣхъ скоро... топорами порѣжутъ. Поняла?

— Поняла,—отвѣтила дѣвушка, не зная какъ отвязаться.

— Иди вонъ и пошли Ермошку.

«Теперь необходимо еще одно, чтобъ у меня здѣсь была школа». И Бизюкина, вручивъ Ермошкѣ десять мѣдныхъ пятаковъ, велѣла заманить къ ней съ улицы сколько онъ можетъ мальчишекъ, сказавъ каждому изъ нихъ, что они у нея получатъ еще по другому пятаку.

Ермошка вернулся минутъ черезъ десять въ сопровожденіи цѣлой гурьбы оборванцевъ—уличныхъ ребятишекъ.

Бизюкина одѣлила ихъ пятаками и, посадивъ ихъ въ мужниномъ кабинетѣ, сказала:

— Я васъ буду учить и дамъ вамъ за это по пятачку. Хорошо?

Ребятишки подернули носами и прошипѣли:

— Ну, дакъ что жъ.

— А мы въ книжку не умѣемъ читать,—отозвался мальчикъ посмышленѣе прочихъ.

— Пѣсню учить будете, а не книжку.

— Ну, пѣсню, такъ ладно.

— Ермошка, иди и ты садись рядомъ.

Ермошка сѣлъ и застѣнчиво закрылъ ротъ рукой.

— Ну, теперь валяйте за мною!

Какъ идетъ младъ кузнецъ да изъ кузницы.

Дѣти кое-какъ черезъ пятое въ десятое повторили.

— «Слава!»—воскликнула Бизюкина.

— «Слава!»—повторили дѣти.

Подъ полой три ножа да три острыхъ несетъ. Слава!

Тутъ Ермошка приподнялъ вверхъ голову и, взглянувъ въ окно, вскрикнулъ:

— Сударыня, гости:

Бизюкина бросила изъ рукъ линейку, которою размахивала, уча дѣтей пѣсни, и быстро рванулась въ залу.

Ермошка опередилъ ее и выскочилъ сначала въ переднюю, а оттуда на крыльцо и кинулся высаживать Борноволокова и Термосесова. Молодая политическая дама была чрезмѣрно довольна собою, гости застали ее, какъ говорится, во *всемъ туалетѣ*.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Князь Борноволоковъ и Термосесовъ, при внимательномъ разсмотрѣніи ихъ, были гораздо занимательнѣе, чѣмъ показались они мелькомъ Туберозову.

Самъ ревизоръ былъ живое подобіе уснувшаго ерша: маленькій, вихрястенькій, широкоперый, съ глазами, совсѣмъ затянутыми какою-то сонною влагой. Онъ казался ни къ чему негоднымъ и ни на что неспособнымъ; это былъ не человѣкъ, а именно сонный ершъ, который ходилъ по всѣмъ морямъ и озерамъ, и теперь, уснувъ, осклизъ такъ, что въ немъ ничего не горитъ и не свѣтится.

Термосесовъ же былъ нѣчто напоминающее кентавра. При огромномъ мужскомъ ростѣ у него было сложеніе здоровое, но чисто женское; въ плечахъ онъ узокъ, въ тазу непомѣрно широкъ; ляжки какъ лошадиные окорока, колѣни мясистыя и круглыя; руки сухія и жилистыя; шея длинная, но не съ кадыкомъ, какъ у большинства рослыхъ людей, а лошадиная—съ зарѣзомъ; голова съ гривой вразметь на всѣ стороны; лицомъ смуглъ, съ длиннымъ, будто армянскимъ носомъ, и съ непомѣрною верхнею губой, которая тяжело садилась на нижнюю; глаза у Термосесова коричневаго цвѣта, съ рѣзкими черными пятнами на зрачкѣ; взглядъ его присталенъ и смышленъ.

Костюмы новоприбывшихъ гостей тоже были довольно замѣчательны. На Борноволоковѣ надѣто маленькое сѣренькое пальто въ родѣ рейтъ-фрака, и шотландская шапочка съ цвѣтнымъ околышемъ, а на Термосесовѣ широкій темно-коричневый суконный сакъ, подпоясанный широкимъ чернымъ ремнемъ, и форменная фуражка съ зеленымъ околышемъ и кокардой; Борноволоковъ въ лайковыхъ полусапожкахъ, а Термосесовъ въ такъ-называемыхъ суворовскихъ сапогахъ.

Вообще Термосесовъ и шире скроенъ, и крѣпче сшитъ, и по всему есть существо гораздо болѣе фундаментальное, чѣмъ его начальникъ! Фундаментальность эта еще болѣе подкрѣпляется его отмѣнною манерой держаться.

Ревизоръ Борноволоковъ, ступивъ на ноги изъ экипажа, прежде чѣмъ дойти до крыльца, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ быстрыхъ, но неровныхъ, озираясь по сторонамъ и оглядываясь назадъ, какъ будто онъ созерцалъ городъ и даже любовался имъ, а Термосесовъ не верхоглядничалъ, не озирался и не корчилъ изъ себя первое лицо, а шелъ тихо и спокойно у лѣваго плеча Борноволокова. Лошадиная голова Термосесова была имъ слегка опущена на грудь, и онъ какъ будто почтительно прислушивался къ тому, что думаетъ въ

это время въ своей головѣ его начальникъ. Бизюкина видѣла все это. Она наблюдала новоприѣзжихъ изъ-за оконной притолоки и мялѣ въ недоумѣніи: который же изъ этихъ двоихъ ревизоръ Борноволоковъ и который Термосесовъ? По ея соображеніямъ выходило, что князь Борноволоковъ непремѣнно этотъ большой, потому что онъ въ форменной фуражкѣ и съ кокардой, а тотъ вонъ, безъ формы, въ рейтъ-фрачкѣ и пестренькой шапочкѣ—Термосесовъ, человѣкъ свободный, служащій по вольному найму. Хозяйку, кромѣ того, томилъ другой вопросъ: какъ ей ихъ встрѣтить?.. Выйти навстрѣчу?.. это похоже на церемонію. Ничего не дѣлать, сидѣть, пока войдутъ?.. натянуто. Книгу читать?.. Да, это самое естественное, читать книгу.

И она взяла первую попавшуюся ей въ руки книгу и, взглянувъ поверхъ ея въ окно, замѣтила, что у Борноволокова, котораго она считала Термосесовымъ, руки довольно грязны, между тѣмъ какъ ея праздныя руки бѣлы какъ пѣна.

Бизюкина немедленно схватила горсть земли изъ стоявшаго на окнѣ цвѣтного вазона, растерла ее въ ладоняхъ и, закинувъ колѣно на колѣно, сѣла полуоборотясь къ окну съ книгой.

Въ эту самую минуту въ сѣняхъ послышался веселый, довольно ласковый басъ и вслѣдъ затѣмъ двери съ шумомъ отворились и въ переднюю вступили оба гостя: Термосесовъ впереди, а за нимъ князь Борноволоковъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Хозяйка сидѣла и не трогалась. Она въ это время только вспомнила, какъ неумѣстенъ долженъ показаться гостямъ стоящій на окнѣ цвѣтокъ, и, при всемъ своемъ замѣшательствѣ, соображала, какъ бы ловчѣе сбросить его за открытое окошко? Мысль эта такъ ее занимала, что она даже не вслушалась въ первый вопросъ, съ которымъ отнесся къ ней одинъ изъ ея новоприѣзжихъ гостей, что ей и придало видъ особы непритворно занятой чтеніемъ до самозабвенія.

Термосесовъ посмотрѣлъ на нее черезъ порогъ и долженъ былъ повторить свой вопросъ.

— Вы кто здѣсь, можетъ быть сама Бизюкина?—спросилъ онъ, спокойно всовываясь въ залу.

— Я—Бизюкина, — отвѣчала, не поднимаясь съ мѣста, хозяйка.

Термосесовъ вошелъ въ залъ и заговорилъ:

— Я Термосесовъ, Измаилъ Петровъ сынъ Термосесовъ, вашего мужа когда-то товарищъ по воспитанію, но послѣ изъ глупости размолвили; а это князь Аѳанасій Ѳедосѣичъ Борноволоковъ, чиновникъ изъ Петербурга и ревизоръ, пробирать здѣсь всѣхъ будемъ. Здравствуйте!

Термосесовъ протянулъ руку.

Бизюкина подала свою руку Термосесову, а другою, кладя на окно книгу, столкнула на улицу вазонъ.

— Что это; вы, кажется, цвѣтокъ за окно уронили?

— Нѣтъ, нѣтъ; пустое... Это совсѣмъ не цвѣтокъ, это трава отъ порѣза, но ужъ она не годится.

— Да, разумѣется, не годится: какой же шутъ теперь лѣчится отъ порѣза травой. А, впрочемъ, можетъ быть еще есть и такіе ослы. А гдѣ же это вашъ мужъ?

Бизюкина оглянулась на ревизора, который, ни слова не говоря, тихо сѣлъ на диванчикъ, и отвѣчала Термосесову, что мужа ея нѣтъ дома.

— Нѣтъ! Ну, это ничего: свои люди—сочтемся. Мы вѣдь съ нимъ большіе были пріятели, да послѣ изъ глупости немножко повздорили; но все-таки я вамъ откровенно скажу, вашъ мужъ не по васъ. Нѣтъ, не по васъ, — тутъ и толковать нечего, что не по васъ. Онъ фофанъ—и больше ничего, и это счастье его, что вы ему могли такое мѣсто доставить по акцизу; а вы молодчина и все уладили; и мѣсто мужу выхлопотали, и чудесно у васъ тутъ!—добавилъ онъ, заглянувъ насколько могъ по всѣмъ видимымъ изъ залы комнатамъ, и, замѣтивъ въ освобожденномъ отъ всякихъ убранствъ кабинетѣ кучу столпившихся у порога дѣтей, добавилъ:

— А-а! да у васъ тутъ есть и школка. Ну, эта комнатка за то и плохандросъ: ну, да для школы ничего. Чему вы ихъ, паршь-то эту, учите?—заключилъ онъ круто.

Ненаходчивая Бизюкина совсѣмъ не знала, что сй отвѣчать. Но Термосесовъ самъ выручилъ. Не дожидаясь ея отвѣта, онъ подошелъ къ ребятишкамъ и, поднявъ одного изъ нихъ за подбородокъ, заговорилъ:

— А что? Умѣешь горохъ красть? Воруй, братецъ, и когда въ Сибирь погонятъ, то да будетъ надъ тобой мое

благословеніе. Отпустите ихъ, Бизюкина! Идите, ребятишки, по дворамъ! Маршъ горохъ бузовать.

Дѣти одинъ за другимъ тихо выступили и, перетянувшись гуськомъ черезъ залу, шибко побѣжали по сѣнямъ, а потомъ по двору.

— Что всѣ эти школы? канитель!

— Я и сама это нахожу,—осмѣлилась вставить хозяйка.

— Да, разумѣется; субсидіи вѣдь не получаете?

— Нѣтъ: какая жъ субсидія!

— Отчего жъ? другіе изъ нашихъ берутъ. А это, вѣроятно, вашъ фруктикъ?—вопросилъ онъ, указавъ на вошедшаго нарядная Ермошку и, не ожидая отвѣта, заговорилъ къ нему:

— Послушайте, милый фруктикъ: вели-ко, дружочекъ, прислугѣ подать намъ умыться!

— Это вовсе не сынъ мой,—отозвалась сконфуженная хозяйка.

Но Термосесовъ ея не слышалъ. Ухватясь за мысль, что видитъ предъ собой хозяйскаго сына, онъ развивалъ ей, къ чему его готовить и какъ его вести.

— Къ службѣ его приспособляйте. Чтобы къ литературѣ не пріохочивался. Я вотъ и права не имѣю поступить на службу, но кое-какъ, хоть какъ-нибудь, бочкомъ, ничкомъ, а все-таки примкнулъ. Да-съ; а я вѣдь прежде тоже самъ нигилистъ былъ и даже на вашего мужа сердился, что онъ себѣ службу досталъ. Глупо! отчего намъ не служить? на службѣ нашего брата любятъ, на службѣ деньги имѣешь; на службѣ вліяніе у тебя есть,—не то что тамъ, въ этой литературѣ. Тамъ еще дарованія спрашиваютъ, а тутъ дарованія даже вредятъ и ихъ не любятъ. Эхъ, да-съ, матушка, да-съ! служить сынка учите, служить.

— Да... Но, однако, мастерскія идутъ,—замѣтила Данка.

— Идутъ?.. Да, идутъ,—отвѣтилъ съ ироніей Термосесовъ.—А имъ бы лучше потверже стоять, чѣмъ все идти. Нѣтъ, я замѣчаю, вы рутинистка. Въ Россіи сила *на службѣ,* а не въ мастерскихъ—у Вѣры Павловны. Это баловство, а на службѣ я настоящему дѣлу служу; и сортирую людей: ты такой?—такъ тебя, а ты этакой?—тебя-этакъ. Не нашъ ты? Я тебя приневолю, придушу, сокрушу, а казна мнѣ за это плати. Хоть немного, а все тысячки три, четыре давай. Это ужъ теперь такой прификсъ. Что

вы на меня такъ глазенками-то уставились? или дико безъ привычки эту практику слышать?

Удивленная хозяйка молчала, а гость продолжалъ:

— Вы вонъ школы заводите, что же? по-настоящему, какъ принято у глупыхъ красныхъ пѣтуховъ, васъ за это, пожалуй, надо хвалить, а какъ Термосесовъ практикъ, то онъ не станетъ этого дѣлать. Термосесовъ говоритъ: бросьте школы, онѣ вредны; народъ, обучась грамотѣ, станетъ святыя книги читать. Вы думаете, грамотность къ разрушающимъ элементамъ относится? Нѣтъ-съ. Она идетъ къ созидающимъ, а намъ надо прежде все разрушить.

— Но вѣдь говорятъ же, что революція съ нашимъ народомъ теперь невозможна,—осмѣлилась возразить хозяйка.

— Да, и на кой чортъ она намъ теперь, революція, когда и такъ безъ революціи дѣло идетъ какъ нельзя лучше на нашу сторону... А вонъ вашъ сынишка, видите, стоитъ и слушаетъ. Зачѣмъ вы ему позволяете слушать, что большіе говорятъ.

— Это совсѣмъ не мой сынъ,—отвѣтила акцизница.

— Какъ не сынъ вашъ; а кто же онъ такой?

— Мальчишка, слуга.

— Мальчишка, слуга! А выфранченъ лихо. Пошелъ намъ умыться готовь, чертенокъ.

— Готово,—рѣзко отвѣтилъ намуштрованный Ермошка.

— А что же ты давно не сказалъ? Пошелъ вонъ!

Термосесовъ обернулся къ неподвижному во все время разговора Борноволокову и, взявъ очень ласковую ноту, проговорилъ:

— Позвольте ключъ, я достану вамъ изъ сака ваше полотенце.

Но молчаливый князь свернулся и не далъ ключа.

— Да полотенце вамъ, вѣрно, подано,—отозвалась хозяйка.

— Есть,—крикнулъ изъ кабинета Ермошка.

— «Есть!» Ишь какъ оретъ каналья.

Термосесовъ довольно комично передразнилъ Ермошку и, добавивъ: «вотъ самый чистокровный нигилистъ!» пошелъ вслѣдъ за Борноволоковымъ въ кабинетъ, гдѣ было приготовлено умыванье.

Первое представленіе кончилось и хозяйка осталась одна,—одна, но съ бездною новыхъ чувствъ и глубочайшихъ размышленій.

Бизюкина совсѣмъ не того ожидала отъ Термосесова и была поражена имъ. Ей было и сладко, и страшно слушать его неожиданныя и совершенно новыя для нея рѣчи. Она не могла еще пока отдать себѣ отчета въ томъ, лучше это того, что ею ожидалось, или хуже, но ей во всякомъ случаѣ было пріятно, что во всемъ, что она слышала, было очень много чрезвычайно удобнаго и укладливаго. Это ей нравилось.

— Вотъ что называется, въ самомъ дѣлѣ, быть умнымъ!— разсуждала она, не сводя изумленнаго взгляда съ двери, за которою скрылся Термосесовъ.—У всѣхъ строгости, заказы, а тутъ ничего: все позволяется, все можно, и между тѣмъ этотъ человѣкъ все-таки никого не боится. Вотъ съ какимъ человѣкомъ легко жить; вотъ кому даже сладко покоряться.

Коварный незнакомецъ смертельно покорилъ сердце Данки. Вся прыть, которою она сызмлада отличалась предъ своимъ отцомъ, мужемъ, Варнавкой и всѣмъ человѣческимъ обществомъ, вдругъ ее предательски оставила. Послѣ бесѣды съ Термосесовымъ, Бизюкина почувствовала неодолимое влеченіе къ рабству. Она его уже любила, — любила, разумѣется, раціонально, любила за его несомнѣнныя превосходства. Бизюкиной все начало нравиться въ ея гостѣ: что у него за голосъ? что въ немъ за сила? И вообще какой онъ мужчина!.. Какой онъ прелестный! Не селадонъ, какъ ея мужъ; не мямля, какъ Препотенскій; нѣтъ, онъ рѣшительный, неуступчивый... настоящій мужчина... Онъ ни въ чемъ не уступитъ... Онъ какъ... настоящій ураганъ... идетъ... палитъ, жжетъ...

Да, бѣдная Дарья Николаевна Бизюкина не только была влюблена, но она была неисцѣлимо уязвлена жесточайшею страстью: она на мгновеніе даже потеряла сознаніе и, закрывъ вѣки, почувствовала, что по всему ея тѣлу разливается доселѣ невѣдомый, крѣпящій холодъ; во рту у корня языка потерпло, уста похолодѣли, въ ушахъ отдаются учащенные удары пульса и слышно, какъ въ шеѣ тяжело колышется сонная артерія.

Да! дѣло кончено! Гдѣ-то ты, гдѣ ты теперь, бѣдный акцизникъ, и не чешется ли у тебя лобъ, какъ у молодого козленка, у котораго пробиваются рога?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Влюбленная Бизюкина уже давно слышала сквозь затворенную дверь кабинета то тихое утиное плесканье, то ярые взбрызги и горловыя фіоритуры; но все это уже кончилось, а Термосесовъ не является. Неужто онъ еще не наговорился съ этимъ своимъ безсловеснымъ, вихрястымъ княземъ, или онъ спитъ?.. Чего мудреного: вѣдь онъ усталъ съ дороги. Или онъ, можетъ-быть, читаетъ?.. Что онъ читаетъ? И на что ему читать, когда онъ самъ умнѣе всѣхъ, кто пишетъ?.. Но во время этихъ впечатлѣній дверь отворилась и на порогѣ предсталъ мальчикъ Ермошка съ тазомъ, полнымъ мыльною водой, и не затворилъ за собою двери, а черезъ это Дарьѣ Николаевнѣ стало все видно. Вонъ далеко, въ глубинѣ комнаты, маленькая фигурка вихрястаго князька, который смотрѣлъ въ окно, а вонъ тутъ же, возлѣ него, но нѣсколько ближе, мясистый торсъ Термосесова. Ревизоръ и его письмоводитель, оба были въ дезабилье. Борноволоковъ былъ въ панталонахъ и бѣлой, какъ кипѣнь, голландской рубашкѣ, по которой черезъ плечи лежали крестъ-на-крестъ двѣ алыя ленты шелковыхъ подтяжекъ; его маленькая, бѣлокурая головка была приглажена и онъ еще тщательнѣе натиралъ ее металлическою щеткой. Термосесовъ же стоялъ весь выпуклый, преставляясь и всею своею физіономіей, и всею фигурой: воротъ его рубахи былъ разстегнутъ, и далеко за локоть засученные рукава открывали мускулистыя и обросшія волосами руки.

На этихъ рукахъ Термосесовъ держалъ длинное русское полотенце съ вышитыми на концахъ красными пѣтухами и крѣпко теръ и трепалъ въ немъ свои взъерошенные мокрые волосы.

По энергичности, съ которою пріятнѣйшій Измаилъ Петровичъ производилъ эту операцію, можно было безъ ошибки отгадать, что тѣ веселыя, могучія и искреннія фіоритуры, которыя минуту тому назадъ неслись изъ комнаты сквозь затворенныя двери, пускалъ непремѣнно Термосесовъ, а Борноволоковъ только свиристѣлъ и плескался по-утиному. Но вотъ Ермошка вернулся, дверь захлопнулась и сладостное видѣніе скрылось.

Однако Термосесовъ въ это короткое время уже успѣлъ

окинуть поле своимъ орлинымъ окомъ и не упустилъ случая утѣшить Бизюкину своимъ появленіемъ безъ вихрястаго князя. Онъ появился въ накинутомъ на-опашь сакѣ своемъ и, держа за ухо Ермошку, выпихнулъ его въ переднюю, крикнувъ вслѣдъ ему:

— И глазъ не смѣй показывать, пока не позову!

Затѣмъ онъ заперъ вплотную дверь въ кабинетъ, гдѣ оставался князь, и въ томъ же нарядѣ прямо подсѣлъ къ акцизницѣ.

— Послушайте, Бизюкина, вѣдь этакъ, маточка, нельзя!— началъ онъ, взявъ ее безцеремонно за руку. — Посудите сами, какъ вы это вашего подлаго мальчишку избаловали: я его назвалъ поросенкомъ за то, что онъ князю всѣ рукава облилъ, а онъ отвѣчаетъ: «моя мать-съ не свинья, а Аксинья». Это вѣдь, конечно, все вы виноваты, вы его такъ наэмансипировали? Да?

И Термосесовъ вдругъ совершенно инымъ голосомъ и самою мягкою интонаціей произнесъ: «Ну, такъ да, что ли? да?» Это *да* было произнесено такимъ тономъ, что у Бизюкиной захолонуло въ сердцѣ. Она поняла, что отвѣтъ требуется совсѣмъ не къ тому вопросу, который высказанъ, а къ тому, подразумѣваемый смыслъ котораго даже ее испугалъ своимъ реализмомъ, и потому Бизюкина молчала. Но Термосесовъ наступалъ.

— Да? или нѣтъ? да, или нѣтъ? — напиралъ онъ съ оттѣнкомъ рѣзкаго нетерпѣнія.

Мѣста долгому раздумью не было, и Бизюкина, тревожно вскинувъ на Термосесова глаза, начала было робко:

— Да я не зн...

Но Термосесовъ рѣзко прервалъ ее на полусловѣ.

— Да! — воскликнулъ онъ: — да! и довольно! И больше мнѣ отъ тебя никакихъ словъ не нужно. Давай свои ручонки: я съ перваго же взгляда на тебя узналъ, что мы свои, и другого отвѣта отъ тебя не ожидалъ. Теперь не трать время, но докажи любовь поцѣлуемъ.

— Не хотите ли вы чаю?—пролепетала, какъ будто бы не слыхавъ этихъ словъ, акцизница.

— Нѣтъ, этимъ меня не забавляй: я голова не чайная, а я голова отчаянная.

— Такъ, можетъ быть, вина? — шептала, вырываясь, Дарья Николаевна.

— Вина?—повторилъ Термосесовъ:—ты—«слаще мирра и вина», и онъ съ этимъ привлекъ къ себѣ мадамъ Бизюкину и, прошептавъ: давай «сольемся въ поцѣлуй», накрылъ ея алый ротикъ своими подошвенными губами.

— А скажи-ка мнѣ теперь, зачѣмъ же это ты такая завзятая монархистка?—началъ онъ непосредственно послѣ поцѣлуя, держа предъ своими глазами руку дамы.

— Я вовсе не монархистка!—торопливо отреклась Бизюкина.

— А по комъ же ты этотъ трауръ носишь: по мексиканскому Максимиліану?—И Термосесовъ, улыбаясь, указалъ ей на черныя полосы за ея ногтями и, отодвинувъ ее отъ себя, сказалъ:—Ступай, вымой руки!

Акцизница вспыхнула до ушей и готова была расплакаться. У нея всегда были безукоризненно чистые ногти, а она нарочно загрязнила ихъ, чтобы только заслужить похвалу, но какія тутъ оправданія?.. Она бросилась въ свою спальню, вымыла тамъ свои руки и, выходя съ улыбкой назадъ, объявила:

— Ну, вотъ я и опять республиканка, у меня бѣлыя руки.

Но гость погрозилъ ей пальцемъ и отвѣчалъ, что республиканство—это очень глупая штука.

— Что еще за республика!—сказалъ онъ:—за это только горячо достаться можетъ. А вотъ у меня есть съ собою всего правительства фотографическія карточки, не хочешь ли я ихъ тебѣ подарю, и мы ихъ развѣсимъ на стѣнку?

— Да у меня онѣ и у самой есть.

— А гдѣ же онѣ у тебя? Вѣрно спрятаны? А? Клянусь самимъ сатаной, что я угадалъ: петербургскихъ гостей ждала и, чтобы либерализмомъ пофорсить, взяла и спрятала? Глупо это, дочь моя, глупо! Ступай-ка тащи ихъ скорѣе сюда, я ихъ опять тебѣ развѣшу.

Пойманная и изобличенная акцизница снова спламенѣла до ушей, но вынула изъ стола оправленныя въ рамки карточки и принесла по требованію Термосесова молотокъ и гвозди, которыми тотъ и принялся работать.

— Я думаю, ихъ лучше всего здѣсь, на этой стѣнѣ, размѣстить?—разсуждалъ онъ, водя пальцемъ.

— Какъ вы хотите.

— Да чего ты все до сихъ поръ говоришь мнѣ *вы*, когда

я тебѣ говорю *ты*? Говори мнѣ *ты*. А теперь подавай мнѣ сюда портреты.

— Это все мужъ накушилъ.

— И прекрасно, что онъ начальство уважаетъ, и прекрасно! Ну, мы господъ министровъ всѣхъ рядомъ подъ низокъ. Давай? Это кто такой? Горчаковъ. Канцлеръ, чудесно! Онъ намъ Россію отстоялъ! Ну, молодецъ, что отстоялъ,— давай мы его за то перваго и повѣсимъ. А это кто? ба! ба! ба!

Термосесовъ поднялъ вровень съ своимъ лицомъ карточку покойнаго графа Муравьева и пропѣлъ:

— Михайло Николаичъ, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

— Вы съ нимъ развѣ были знакомы?

— Я?.. то-есть, ты спрашиваешь, лично былъ ли я съ нимъ знакомъ? Нѣтъ; меня Богъ миловалъ, — а наши кое-кто наслаждались его бесѣдой. Ничего; хвалятъ и превозносятъ. Онъ одну нашу барыню даже въ Христову вѣру привелъ, и Некрасова музу вдохновилъ. Давай-ка, я его поскорѣе повѣшу!

— Ну, вотъ теперь и все какъ слѣдуетъ на мѣстѣ.

Термосесовъ соскочилъ на полъ, взялъ хозяйку за локти и сказалъ:

— Ну; а теперь какое же мнѣ отъ тебя поощреніе будетъ?

Бизюкиной это показалось такъ смѣшно, что она тихонько разсмѣялась и спросила:

— За что поощреніе?

— А за все: за труды, за заботы, за расположеніе. Ты, вѣрно, неблагодарная?—И Термосесовъ, взявъ правую руку Бизюкиной, положилъ ее себѣ на грудь.

— Правда, что у меня горячее сердце?—спросилъ онъ, пользуясь ея смущеніемъ.

Но Дарья Николаевна была обижена и, дернувъ руку, сердито замѣтила:

— Вы, однако, уже слишкомъ дерзки!

— Те-те-те-те! «ви слиськомъ дельски», а совсѣмъ «не слиськомъ», а только какъ разъ впору, — передразнилъ ее Термосесовъ и обвелъ другую свою свободную руку вокругъ ея стана.

— Вы, просто, наглецъ! Вы забываете, что мы едва

знакомы,—заговорила, вырываясь отъ него, разгнѣванная Дарья Николаевна.

— Ни капли я не наглецъ и ничего я не забываю, а Термосесовъ уменъ, простъ, естественъ и практикъ отъ природы, вотъ и все. Термосесовъ просто разсуждаетъ: если ты умная женщина, то ты понимаешь, къ чему разговариваешь съ мужчиной на такой короткой ногѣ, какъ ты со мною говорила; а если ты сама не знаешь, зачѣмъ ты себя такъ держишь, такъ ты, выходитъ, глупа и тобою дорожить не стоитъ.

Бизюкина, конечно, непремѣнно желала быть умною.

— Вы очень хитры,—сказала она, слегка отклоняя свое лицо отъ лица Термосесова.

— Хитеръ! На что же мнѣ тутъ хитрость? Разумѣется, если ты меня любишь или я тебѣ нравлюсь...

— Кто же вамъ сказалъ, что я васъ люблю?

— Ну, полно врать!

— Нѣтъ, я вамъ правду говорю. Я вовсе васъ не люблю, и вы мнѣ нимало не нравитесь.

— Ну, полно врать вздоръ! какъ не любишь? Нѣтъ, а ты вотъ что: я тебя чувствую и понимаю, и открою тебѣ, кто я такой, но только это надо наединѣ.

Бизюкина молчала.

— Понимаешь, что я говорю? чтобъ узнать другъ друга вполнѣ—нужна рандевушка... съ политическою, разумѣется, цѣлью.

Бизюкина опять молчала.

Термосесовъ вздохнулъ и, тихо освободивъ руку своей дамы, проговорилъ:

— Эхъ вы, жены, всероссійскія жены! А туда же съ польками равняются! Нѣтъ, далеко еще вамъ, подруженьки, до полекъ! Дай-ка Измаила Термосесова полькѣ, она бы съ нимъ не разсталась и горы бы Араратскія съ нимъ перевернула.

— Польки—другое дѣло, — заговорила акцизница.

— Почему другое?

— Онѣ любятъ свое отечество, а мы свое ненавидимъ.

— Ну, такъ что же? У полекъ, стало-быть, враги—всѣ враги самостоятельности Польши, а ваши враги—всѣ русскіе патріоты.

— Это правда.

— Ну, такъ кто же здѣсь твой злѣйшій врагъ? Говори, и ты увидишь, какъ онъ испытаетъ на себѣ всю тяжесть руки Термосесова!

— У меня много враговъ.

— Злѣйшихъ называй! Называй самыхъ злѣйшихъ!

— Злѣйшихъ двое.

— Имена сихъ несчастныхъ, имена подавай!

— Одинъ... Это здѣшній дьяконъ Ахилла.

— Смерть дьякону Ахиллѣ!

— А другой протопопъ Туберозовъ.

— Гибель протопопу Туберозову!

— За нимъ у насъ весь городъ, весь народъ.

— Ну, такъ что же такое, что весь городъ и весь народъ? Термосесовъ знаетъ начальство и потому никакихъ городовъ и никакихъ народовъ не боится.

— Ну, а начальство не совсѣмъ его жалуетъ.

— А не совсѣмъ его жалуетъ, такъ тѣмъ ему вѣрнѣе и капутъ; теперь только закрѣпи все это какъ слѣдуетъ: «полюби и стань моей, Иродіада!»

Бизюкина безтрепетно его поцѣловала.

— Вотъ это честно! — воскликнулъ Термосесовъ и, разспросивъ у своей дамы, чѣмъ и какъ досаждали ей ея враги Туберозовъ и Ахилла, пожалъ съ улыбкой ея руку и удалился въ комнату, гдѣ оставался во все это время его компаньонъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Ревизоръ еще не спалъ, когда къ нему возвратился его счастливый секретарь.

Одѣтый въ бѣлую коломенковую жакетку, сіятельный сопутникъ Термосесова лежалъ на приготовленной ему постели и, закрывъ ноги легкимъ плэдомъ, дремалъ или мечталъ съ опущенными вѣками.

Термосесовъ пожелалъ удостовѣриться, спитъ его начальникъ или только притворяется спящимъ, и для того онъ тихо подошелъ къ кровати, нагнулся къ его лицу и назвалъ его по имени.

— Вы спите?—спросилъ его Термосесовъ.

Да,—отвѣчалъ Борноволоковъ.

— Ну, гдѣ жъ тамъ да? Значитъ не спите, если откликаетесь.

— Да.

— Ну, это и выходитъ нелѣпость.

Термосесовъ отошелъ къ другому дивану, сбросилъ съ себя свой сакъ и началъ тоже умащиваться на покой.

— А я этимъ временемъ, пока вы здѣсь дремали, много кое-что обработалъ,—началъ онъ, укладываясь.

Борноволоковъ въ отвѣтъ на это опять уронилъ только одно да, но «да» совершенно особое, такъ-сказать, любопытное да, съ оттѣнкомъ вопроса.

— Да вотъ-съ какъ да, что я, напримѣръ, могу сказать, что я кое-какія прелолезнѣйшія для насъ сдѣлалъ открытія.

— Съ этою дамой?

— Съ дамой? Дама—это само по себѣ,—это дѣло междудѣльное! Нѣтъ-съ, а вы помните, что я вамъ сказалъ, когда поймалъ васъ въ Москвѣ на Садовой?

— Охъ, да!

— Я вамъ сказалъ: ваше сіятельство, премилостивѣйшій мой князь! Такъ со старыми товарищами нельзя обходиться, чтобъ ихъ бросать: такъ дѣлаютъ только одни подлецы. Сказалъ я вамъ это, или не сказалъ?

— Да, вы это сказали.

— Ага! вы помните! Ну, такъ вы тоже должны помнить, какъ я вамъ потомъ развилъ мою мысль и доказалъ вамъ, что вы, наши принцы égalité, обратясь теперь къ преимуществамъ своего рода и состоянія по службѣ, должны не задирать носовъ предъ нами, старыми монтаньярами и бывшими вашими друзьями. Я вамъ это все путемъ растолковалъ.

— Да, да.

— Прекрасно! Вы поняли, что со мной шутить плохо, и были очень покладисты, и я васъ за это хвалю. Вы поняли, что вамъ меня нельзя такъ подкидывать, потому что голодъ-то вѣдь не свой братъ, и голодая-то мало ли кто что можетъ припомнить? А у Термосесова память первый сортъ и смѣтка тоже водится: онъ еще, когда вы самымъ краснымъ революціонеромъ были, зналъ, что вы непремѣнно свернете.

— Да.

— Вы рѣшились взять меня съ собою въ родѣ письмоводителя... То-есть, если по правдѣ говорить, чтобы не

оскорблять васъ лестію, вы не рѣшились этого сдѣлать, а я васъ заставилъ взять меня. Я васъ припугнулъ, что могу выдать ваши переписочки кое-съ-кѣмъ изъ нашихъ привислянскихъ братій.

— Охъ!

— Ничего, князь; не вздыхайте. Я вамъ что тогда сказалъ въ Москвѣ на Садовой, когда держалъ васъ за пуговицу и когда вы отъ меня удирали, то и сейчасъ скажу: не тужите и не охайте, что на васъ напалъ Термосесовъ. Измаилъ Термосесовъ вамъ большую службу сослужитъ. Вы вонъ тамъ съ вашею нынѣшнею партіей, гдѣ нѣтъ такихъ плутовъ, какъ Термосесовъ, а есть другіе почище его, газеты заводите и стремитесь къ тому, чтобы ни тѣмъ, такъ другимъ способомъ надъ народишкомъ инспекцію получить.

— Да-съ.

— Ну, такъ никогда вы этого не получите.

— Почему?

— Потому что очень неискусны: сейчасъ васъ патріоты по лапамъ узнаютъ и за вихоръ да на улицу.

— Гмъ!

— Да-съ; а вы бросьте эти газеты, да возьмитесь за Термосесова, такъ онъ вамъ дѣло уладитъ. Будьте-ка вы Иванъ Царевичъ, а я буду вашъ Сѣрый Волкъ.

— Да, вы Сѣрый Волкъ.

— Вотъ оно что и есть: я Сѣрый Волкъ, и я вамъ, если захочу, помогу достать и златогривыхъ коней, и жаръ-птицъ, и царь-дѣвицъ, и я учиню васъ вновь на господарствѣ.

И съ этимъ Сѣрый Волкъ, быстро сорвавшись съ своего логова, перескочилъ на кровать своего Ивана Царевича и тихо сказалъ:

— Подвиньтесь-ка немножко къ стѣнкѣ, я вамъ кое-что пошепчу.

Борноволоковъ подвинулся, а Термосесовъ присѣлъ къ нему на край кровати и, обнявъ его рукой, началъ потихоньку рѣчь.

— Хлестните-ка по церкви: вотъ гдѣ язва! Ея наболь-шихъ-то хорошенько пугните!

— Ничего не понимаю.

— Да вѣдь христіанство равняетъ людей, или нѣтъ? Вѣдь

извѣстные, такъ-сказать, государственные люди усматривали же вредъ въ переводѣ Библіи на народные языки. Нѣтъ-съ, христіанство... оно легко можетъ быть толкуемо, знаете, этакъ, въ опасномъ смыслѣ. А такимъ толкователемъ можетъ быть каждый попъ.

— Попы у насъ плохи, ихъ не боятся.

— Да, это хорошо, пока они плохи, но вы забываете-съ, что и у нихъ есть хлопотуны; что, можетъ-быть, и ихъ послобонятъ и тогда и попы станутъ иные. Не вольготить имъ нужно, а нужно ихъ подтянуть.

— Да, пожалуй.

— Такъ-съ; стойте на томъ, что все надо подобрать и подтянуть и благословите судьбу, что она послала вамъ Термосесова, да держитесь за него, какъ Иванъ Царевичъ за Сѣраго Волка. Я вамъ удеру такой отчетъ, такое донесеніе вамъ сочиню, что враги ваши и тѣ должны будутъ отдать вамъ честь и признаютъ въ васъ административный геній.

Термосесовъ еще понизилъ голосъ и заговорилъ:

— Помните, когда вы здѣсь уже, въ здѣшнемъ губернскомъ городѣ, въ послѣдній разъ съ правителемъ губернаторской канцеляріи, изъ клуба идучи, разговаривали, онъ сказалъ, что его превосходительство жалѣетъ о своихъ прежнихъ безтактностяхъ и особенно о томъ, что допустилъ себя до фамильярности съ разными патріотами.

— Да.

— Помните, какъ онъ упоминалъ, что его превосходительству одинъ вольномысленный попъ даже рѣзкостей наговорилъ.

— Да.

— А вѣдь вотъ вы, небось, не спохватились, что этотъ попъ называется Туберозовъ и что онъ здѣсь, въ этомъ самомъ городѣ, въ которомъ вы растягиваетесь и рѣшительно не будете въ состояніи ничего о немъ написать.

Борноволоковъ вдругъ вскочилъ и, сѣвъ на кровати, спросилъ:

— Но какъ вы можете знать, что мнѣ говорилъ правитель канцеляріи?

— А очень просто. Я тогда потихоньку сзади васъ шелъ. За вами вѣдь не худо присматривать. Но теперь не въ этомъ дѣло, а вы понимаете, мы съ этого попа Туберозова

начнемъ свою тактику, которая въ развитіи своемъ докажетъ его вредность, и вредность вообще подобныхъ независимыхъ людей въ духовенствѣ; а въ окончательномъ выводѣ явится логическое заключеніе о томъ, что религія можетъ быть допускаема только какъ одна изъ формъ администраціи. А коль скоро вѣра становится серьезною вѣрой, то она вредна и ее надо подобрать и подтянуть. Это будетъ вами первыми высказанная мысль, и она будетъ повторяться вмѣстѣ съ вашимъ именемъ, какъ повторяются мысли Макіавелли и Меттерниха. Довольны ли вы мною, мой повелитель?

— Да.

— И уполномочиваете меня дѣйствовать?

— Да.

— То-есть какъ разумѣть это «да»? Значитъ ли оно, что вы этого хотите?

— Да, хочу.

— То-то! А то вѣдь у васъ «да» значитъ и да и нѣтъ.

Термосесовъ отошелъ отъ кровати своего начальника и добавилъ:

— А то вѣдь... нашему брату, холопу, долго бездѣйствовать нельзя: намъ бабушки не ворожатъ, какъ вамъ, чтобы прямо изъ нигилистовъ въ сатрапы попадать. Я и о васъ, да и о себѣ хлопочу; мнѣ голодать уже надоѣло, а куда не сунешься, все формуляръ одинъ: «красный» да «красный», и никто брать не хочетъ.

— Побѣлитесь.

— Бѣлилъ не на что купить-съ.

— Зачѣмъ вы въ Петербургѣ въ шпіоны себя не предложили?

— Ходилъ-съ и предлагалъ, — отвѣчалъ беззастѣнчиво Термосесовъ: — но съ нашимъ нынѣшнимъ реализмомъ-то уже всѣ эти выгодныя вакансіи стали заняты. Надо, говорятъ, прежде чѣмъ-нибудь зарекомендоваться.

— Такъ и зарекомендуйтесь.

— Дайте случай способности свои показать; а то, ей-Богу, съ васъ начну.

— Скотъ,—прошипѣлъ Борноволоковъ.

— Мм-м-м-м-у-у-у!—замычалъ громко Термосесовъ.

Борноволоковъ вскочилъ и, схватясь въ ужасѣ за голову, спросилъ:

— Это еще что?

— Это? это черный скотъ мычитъ, жратвы проситъ и приглашаетъ бѣлыхъ быть съ нимъ вѣжливѣе,—проговорилъ спокойно Термосесовъ.

Борноволоковъ скрипнулъ въ досадѣ зубами и завернулся молча къ стѣнѣ.

— Ага! вотъ этакъ-то лучше! Смирись, благородный князь, и не кичись своею бѣлизной, а то такъ тебя разрисую, что выйдешь ты сѣро-буро-соловой, въ полтѣни голубой съ крапинами! Не забывай, что я тебѣ, братъ, посланъ въ наказанье; я тернъ въ листахъ твоего вѣнца. Носи меня съ почтеньемъ!

Умаянный Борноволоковъ задушилъ вздохъ и притворился спящимъ; а торжествующій Термосесовъ безъ притворства заснулъ на самомъ дѣлѣ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Тою порой, пока между пріѣзжими гостями Бизюкиной происходила описанная сцена, сама Дарья Николаевна, собравъ всю свою прислугу, открыла усиленную дѣятельность по реставраціи своихъ аппартаментовъ. Обрадованная дозволеніемъ жить не по-спартански, она рѣшила даже сдѣлать маленькій раутъ, на которомъ бы показать своимъ гостямъ все свое превосходство предъ обществомъ маленькаго города, гдѣ она, чуткая и живая женщина, погибаетъ непонятая и неоцѣненная.

Работа кипѣла и подвигалась быстро: комнаты прифрантились. Дарья Николаевна работала, и сама она стояла на столѣ и подбирала у оконъ спальни буфы бѣлыхъ пышныхъ шторъ на розовомъ дублюрѣ.

Едва кончилось вѣшанье шторъ, какъ изъ темныхъ кладовыхъ полѣзла на свѣтъ Божій всякая другая галантерейщина, на стѣнахъ появились картины за картинами, всталъ у камина роскошнѣйшій экранъ, на самой доскѣ камина помѣстились черные мраморные часы со звѣзднымъ маятникомъ, столы покрылись новыми, дорогими салфетками; лампы, фарфоръ, бронза, куколки и всякія бездѣлушки усѣяли всѣ мѣста спальни и гостиной, гдѣ только было ихъ ткнуть и приставить. Все это придало всей квартирѣ видъ ложемента богатой дамы demi-monde'a, получающей вещи зря и безъ толку.

На самый разгаръ этой работы явился учитель Препотенскій и ахнулъ. Разумѣется, онъ никакъ не могъ одобрять «этихъ шиковъ». Онъ даже благоразумно не понималъ, какъ можно «новой женщинѣ», не сойдя окончательно съ ума, обличить такую наглость предъ петербургскими предпринимателями, и потому Препотенскій стоялъ и глядѣлъ на всю эту роскошь съ язвительной улыбкой, но когда не обращавшая на него никакого вниманія Дарья Николаевна дерзко велѣла прислугѣ, въ присутствіи учителя, снимать чехлы съ мебели, то Препотенскій уже не выдержалъ и спросилъ:

— И вамъ это не стыдно?

— Нимало.

И затѣмъ, снова не обращая никакого вниманія на удивленнаго учителя, Бизюкина распорядилась, чтобы за диваномъ былъ поставленъ вынесенный вчера трельяжъ съ зеленымъ плющемъ, и начала устраивать передъ каминомъ самый восхитительный уголокъ изъ лучшей своей мягкой мебели.

— Это ужъ просто наглость!—воскликнулъ Препотенскій и, отойдя въ сторону, сѣлъ и началъ просматривать новую книгу.

— А вотъ погодите, вамъ за это достанется! — сказала ему вмѣсто отвѣта Дарья Николаевна.

— Мнѣ достанется? За что-съ?

— Чтобы вы такъ не смѣли разсуждать.

— Отъ кого же-съ мнѣ можетъ достаться? Кто мнѣ это можетъ запретить имѣть честныя мысли?..

Но въ это время послышался кашель Термосесова, и Бизюкина коротко и рѣшительно сказала Препотенскому:

— Послушайте, идите вонъ!

Это было такъ неожиданно, что тотъ даже не понялъ всего суроваго смысла этихъ словъ, и она должна была повторить ему свое приказаніе.

— Какъ вонъ?—переспросилъ изумленный Препотенскій.

— Такъ, очень просто. Я не хочу, чтобы вы у меня больше бывали.

— Нѣтъ, послушайте... да развѣ вы это серьезно?

— Какъ нельзя серьезнѣе.

Въ комнатѣ гостей послышалось новое движеніе.

— Прошу васъ вонъ, Препотенскій! — воскликнула нетерпѣливо Бизюкина.—Вы слышите,—идите вонъ!

— Но позвольте же!.. вѣдь я ничему не мѣшаю.

— Нѣтъ, неправда, мѣшаете!

— Такъ я же могу вѣдь исправиться.

— Да не можете вы исправиться,—настаивала хозяйка съ нетерпѣливою досадой, порывая гостя съ его мѣста.

Но Препотенскій тоже обнаруживалъ характеръ и спокойно, но стойко добивался объясненія, почему она отрицаетъ въ немъ способность исправиться.

— Потому что вы набитый дуракъ! — наконецъ, вскричала въ бѣшенствѣ madame Бизюкина.

— А, это другое дѣло,—отвѣтилъ, вставая съ мѣста, Препотенскій:—но въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ мои кости...

— Тамъ, спросите ихъ у Ермошки; я ему ихъ отдала, чтобъ онъ выкинулъ.

— Выкинулъ! — воскликнулъ учитель и бросился на кухню; а когда онъ черезъ полчаса вернулся назадъ, то Дарья Николаевна была уже въ такомъ ослѣпительномъ нарядѣ, что учитель, увидавъ ее, даже пошатнулся и схватился за печку.

— А! вы еще не ушли?—спросила она его строго.

— Нѣтъ... я не ушелъ и не могу... потому что вашъ Ермошка...

— Ну-съ!

— Онъ бросилъ мои кости въ такое мѣсто, что теперь нѣтъ больше никакой надежды...

— О, да вы, я вижу, будете долго разговаривать!—воскликнула въ яростномъ гнѣвѣ Бизюкина и, схвативъ Препотенскаго за плечи, вытолкала его въ переднюю. Но въ это же самое мгновеніе, на порогѣ другихъ дверей, очамъ сражающихся предсталъ Термосесовъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

— Ба, ба, ба! что это за изгнаніе? — вопросилъ онъ у Бизюкиной, протирая свои слегка заспанные глаза.

— Ничего, это одинъ... глупый человѣкъ, который къ намъ прежде хаживалъ,—отвѣчала та, покидая Препотенскаго.

— Такъ за что же теперь его вонъ, — что онъ такое сневѣжничалъ?

— Рѣшительно ничего, совершенно ничего,—отозвался учитель.

Термосесовъ посмотрѣлъ на него и проговорилъ:

— Да вы кто же такой?

— Учитель Препотенскій.

— Чѣмъ же вы ее раздражали?

— Да ровно ничѣмъ-съ, ровно ничѣмъ.

— Ну, такъ идите назадъ, я васъ помирю.

Препотенскій сейчасъ же вернулся.

— Почему же вы говорите, что онъ будто глупъ?— спросилъ у Бизюкиной Термосесовъ, крѣпко держа за обѣ руки учителя.—Я въ немъ этого не вижу.

— Да, разумѣется-съ, повѣрьте, я рѣшительно не глупъ,— отвѣчалъ, улыбаясь, Варнава.

— Совершенно вѣрю; и госпожу хозяйку за такое обращеніе съ вами не похвалю. Но пусть она намъ за это на мировую чаю дастъ. Я со сна чай иногда употребляю.

Хозяйка ушла распорядиться чаемъ.

— А вы, батюшка учитель, сядьте-ка, да потолкуемте! Вы, я вижу, человѣкъ очень хорошій и покладливый,—началъ, оставшись съ нимъ наединѣ, Термосесовъ и въ пять минутъ заставилъ Варнаву разсказать себѣ все его горестное положеніе и дома, и на поляхъ, причемъ не были позабыты ни мать, ни кости, ни Ахилла, ни Туберозовъ, при имени котораго Термосесовъ усугубилъ все свое вниманіе; потомъ разсказана была и недавнишняя утренняя военная исторія дьякона съ комиссаромъ Данилкой.

При этомъ послѣднемъ разсказѣ Термосесовъ крякнулъ и, хлопнувъ Препотенскаго по колѣну, сказалъ потихоньку:

— Такъ слушайте же, профессоръ, я поручаю вамъ непремѣнно доставить мнѣ завтра утромъ этого самаго мѣщанина?

— Данилку-то?

— Да; того, что дьяконъ обидѣлъ.

— Помилуйте, да это ничего нѣтъ легче!

— Такъ доставьте же.

— Утромъ будетъ у васъ до зари.

— Именно до зари. Нѣтъ; вы, я вижу, даже молодчина, Препотенскій!—похвалилъ Термосесовъ и, обратясь къ возвратившейся въ это время Бизюкиной, добавилъ:—Нѣтъ, мнѣ онъ очень нравится, а если онъ меня съ попомъ Туберозовымъ познакомитъ, то я его даже совсѣмъ умникомъ назову.

— Я его терпѣть не могу и вамъ не совѣтую съ нимъ знакомиться,—лепеталъ Варнава:—но если вамъ это нужно...

— Нужно, другъ, нужно.

— Въ такомъ случаѣ пойдемте на вечеръ къ исправнику, тамъ вы со всѣми нашими познакомитесь.

— Пожалуй; я куда хочешь пойду, только вѣдь надо, чтобы позвали.

— О, ничего нѣтъ этого легче,—перебилъ учитель, и изложилъ самый простой планъ, что онъ сейчасъ пойдетъ къ исправницѣ и скажетъ ей отъ имени Дарьи Николаевны, что она проситъ позволенія придти вечеромъ съ пріѣзжимъ гостемъ.

— Препотенскій, приди, я тебя обниму! — воскликнулъ Термосесовъ.

— Да-съ;—продолжалъ радостный учитель.—И они сами еще всѣ будутъ довольны, что у нихъ будетъ новый гость, а вы тамъ сразу познакомитесь не только съ Туберозовымъ, но и съ противнымъ Ахилкой и съ предводителемъ.

— Препотенскій! подойди сюда, я тебя поцѣлую!—воскликнулъ Термосесовъ, и когда учитель всталъ и подошелъ къ нему, онъ, дѣйствительно, его поцѣловалъ и, завернувъ налѣво кругомъ, сказалъ:—ступай и дѣйствуй!

Гордый и совершенно обольщенный насчетъ своей репутаціи, Варнава схватилъ шапку и убѣжалъ.

Черезъ часъ времени, проведенный Термосесовымъ въ разговорѣ съ Бизюкиной о томъ, что ни одному дураку на свѣтѣ не надо давать чувствовать, что онъ глупъ, учитель явился съ приглашеніемъ для всѣхъ пожаловать на вечеръ къ Порохонцеву и при этомъ добавилъ:

— А что касается интересовавшаго васъ мѣщанина Данилки, то я его уже разыскалъ и онъ въ эту минуту стоитъ у воротъ.

Термосесовъ, еще разъ поощривъ Варнаву всякими похвалами, всталъ и, захвативъ съ собою учителя, велѣлъ ему провести себя куда-нибудь въ укромное мѣсто и доставить туда же и Данилку.

Препотенскій свелъ Измаила Петровича въ пустую канцелярію акцизника и поставилъ передъ нимъ требуемаго мѣщанина.

— Здравствуйте, гражданинъ,—встрѣтилъ Данилку Термосесовъ. — Какъ васъ на сихъ дняхъ утромъ обидѣлъ здѣшній дьяконъ?

Никакой обиды не было.

— Какъ не было? Вы говорите мнѣ прямо все, смѣло и откровенно, какъ попу на духу, потому что я другъ народа, а не врагъ. Ахилла дьяконъ васъ обидѣлъ?

— Нѣтъ, обиды не было. Это мы такъ промежъ себя все уже кончили.

— Какъ же можно все это кончить? Вѣдь онъ васъ за ухо велъ по улицѣ?

— Такъ что же такое? Глупость все это!

— Какъ глупость? Это обида. Вы размыслите, гражданинъ,—вѣдь онъ васъ за ухо дралъ.

— Все же это больше баловство и мы въ этомъ обиды себѣ не числимъ.

— Какъ же, гражданинъ, не числите? Какъ же не числите такой обиды? Вѣдь это, говорятъ, было почти всенародно?

— Да, всенародно же-съ, всенародно.

— Такъ вы должны на это жалобу подать!

— Кому-съ?

— А вотъ этому князю, что̀ со мною пріѣхалъ.

— Такъ-съ.

— Значитъ, подаете вы жалобу или нѣтъ?

— Да на какой предметъ ее подавать-съ?

— Сто рублей штрафу присудятъ, вотъ на какой предметъ.

— Это точно.

— Такъ вы, значитъ, согласны. Ну, и давно бы такъ. Препотенскій! садись и строчи, что я проговорю.

И Термосесовъ началъ диктовать Препотенскому просьбу на имя Борноволокова, просьбу довольно краткую, но кляузную, въ которой не было позабыто и имя протопопа, какъ поощрителя самоуправства, сказавшаго даже ему, Данилѣ, что онъ воспріялъ отъ дьякона достойное по своимъ дѣламъ.

— Подписывай, гражданинъ!—крикнулъ Термосесовъ на Данилку, когда Препотенскій дописалъ послѣднюю строчку.

Данила встрепенулся.

— Подписывайте, подписывайте!—внушалъ Термосесовъ, насильно всовывая ему въ руку перо, но «гражданинъ» вдругъ отвѣтилъ, что онъ не хочетъ подписывать жалобу.

— Что, какъ не хотите?

— Потому, я на это не согласенъ-съ.

— Какъ несогласенъ! Что ты это, чортъ тебя побери! То молчалъ, а когда просьбу тебѣ даромъ написали, такъ ты несогласенъ.

— Несогласенъ-съ.

— Что, не цѣлковый ли еще тебѣ за это давать, чтобы ты подписалъ? Жиренъ, братъ, будешь. Подписывай сейчасъ!

И Термосесовъ, схвативъ его сердито за-воротъ, потащилъ къ столу.

— Я... какъ вашей милости будетъ угодно, а я не подпишу,— залепеталъ мѣщанинъ и уронилъ нарочно перо на полъ.

— Я тебѣ дамъ «какъ моей милости угодно!» А не угодно ли твоей милости за это отъ меня получить разъ десять по рылу?

Испуганный «гражданинъ» рванулся всѣмъ тѣломъ назадъ и залепеталъ:

— Ваше высокородіе, смилуйтесь, не понуждайте! Вѣдь изъ моей просьбы все равно ничего не будетъ!

— Это почему?

— Потому что я уже хотѣлъ одинъ разъ подавать просьбу, какъ меня княжескій управитель Гличъ крапивой выпоролъ, что я ходилъ о закладъ для исправника лошадь красть, но весь народъ мнѣ отсовѣтовалъ: не подавай, говорятъ, Данилка, станутъ о тебѣ повальный обыскъ писать, мы всѣ скажемъ, что тебя давно бы надо въ Сибирь сослать. Да-съ, и я самъ себя даже достаточно чувствую, что мнѣ за честь свою вступаться не пристало.

— Ну, это ты самъ себѣ можешь разсуждать о своей чести какъ тебѣ угодно...

— И господа чиновники здѣшніе тоже всѣ знаютъ...

— И пусть ихъ знаютъ, всѣ твои господа здѣшніе чиновники, а мы не здѣшніе, мы петербургскіе. Понимаешь?— изъ самой столицы, изъ Петербурга, и я приказываю тебѣ: сейчасъ подписывай, подлецъ ты, треанаѳемскій, безъ всякихъ разсужденій, а то... въ Сибирь безъ обыска улетишь!

И при этомъ могучій Термосесовъ такъ сдавилъ Данилку одною рукой за руку, а другою за горло, что тотъ въ одно мгновенье покраснѣлъ, какъ вареный ракъ, и едва прохрипѣлъ:

— Ради Господа освободите! Все что̀ угодно подпишу!

И вслѣдъ за симъ, перхая и ежась, онъ нацарапалъ подъ жалобой свое имя.

Термосесовъ тотчасъ же взялъ этотъ листъ въ карманъ и, поставивъ предъ носомъ Данилки кулакъ, грозно сказалъ:

— Гражданинъ, ежели ты только кому-нибудь до времени пробрешешься, что ты подалъ просьбу, то...

Данилка, продолжая кашлять, только отмахнулся перемлѣвшею рукой.

— Я тебѣ, бездѣльнику, тогда всю рожу растворожу, щеку на щеку помножу, носъ вычту и зубы въ дроби превращу!

Мѣщанинъ замахалъ уже обѣими руками.

— Ну, а теперь полно здѣсь перхать. Алё маширъ въ двери! — скомандовалъ Термосесовъ и, снявъ наложенный крючокъ съ дверей, такъ наподдалъ Данилкѣ на порогѣ, что тотъ вылетѣлъ выше пригороженнаго къ крыльцу курятника и, сѣвъ съ разлету въ теплую муравку, только оглянулся, потомъ плюнулъ и, потерявъ даже свою перхоту, выкатился на четверенькахъ за ворота.

Препотенскій, увидя эту расправу, взрадовался и заплескалъ руками.

— Чего ты?—спросилъ Термосесовъ.

— Вы сильнѣе Ахилки! Съ вами я его теперь не боюсь.

— Да и не бойся.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Спустившіяся надъ городомъ сумерки освѣтили на улицѣ, ведущей отъ дома акцизницы къ дому исправника, удалую тройку, которая была совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ та, что подвозила сюда утромъ плодомасовскихъ карликовъ. Въ корню точно дикій степной иноходецъ, пригорбясь и подносясь, шла, закинувъ назадъ головенку, Бизюкина; справа отъ ней, заломя назадъ шлыкъ, перъ Термосесовъ, а слѣва—вилъ ногами и моталъ головой Препотенскій. Точно сборная обывательская тройка, одна съ двора, другая—съ задворка, а третья—съ попова загона: одинъ пляшетъ, другой скачетъ, третій пѣсенки поетъ. Но разлада нѣтъ, и всѣ они, хотя неровнымъ аллюромъ, везутъ однѣ и тѣ же дроги и къ одной и той же цѣли. Цѣль эту знаетъ одинъ Термосесовъ; одинъ онъ работаетъ не изъ пустяковъ и заставляетъ служить себѣ и учителя, и акцизницу, но весело имъ всѣмъ поровну. Если Термосесовъ знаетъ, чего ликуетъ смѣлая и предпріимчивая душа его, то не всуе же играетъ сердце и Дарьи Николаевны, и Препотенскаго. Оба эти лица предвкушаютъ захватывающее ихъ блаженство,—они готовятся насладиться стычкой Гога съ Магогомъ,—Туберозова съ Термосесовымъ!..

Какъ возьмется за это дѣло ловкій, всесокрушающій пріѣзжій, и кто устоитъ въ неравномъ спорѣ?

Какъ вамъ угодно, а это, дѣйствительно, довольно интересно!

Часть третья.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Раньше чѣмъ Термосесовъ и его компанія пришли на раутъ къ исправнику, Туберозовъ провелъ уже болѣе часа въ уединенной бесѣдѣ съ предводителемъ Тугановымъ. Старый протопопъ жаловался важному гостю на то самое, на что онъ жаловался въ извѣстномъ намъ своемъ дневникѣ, и получалъ въ отвѣтъ тѣ же старыя шутки.

— Что будетъ изъ всей такой шаткости?—морща брови, пыталъ протопопъ, а предводитель, смѣясь, отвѣчалъ ему:

— Не уявися, что будетъ, мой любезный.

— Безъ идеала, безъ вѣры, безъ почтенія къ дѣяніямъ предковъ великихъ... Это... это сгубитъ Россію.

— А что жъ, если ей нужно сгибнуть, такъ и сгубитъ,— отвѣтилъ равнодушно Тугановъ и, вставши, добавилъ: — а пока знаешь что: пойдемъ къ гостямъ, мы съ тобою все равно ни до чего не договоримся; ты маньякъ.

Протопопъ остановился и съ обидой въ голосѣ спросилъ:

— За что же я маньякъ?

— Да что же ты ко всѣмъ лѣзешь, ко всѣмъ пристаешь: «идеалъ, вѣра»? Нечего, братъ, дѣлать, когда этому всему, видно, время прошло.

Туберозовъ улыбнулся и, вздохнувъ кротко, отвѣтилъ, что прошло не время вѣры и идеаловъ, а прошло *время словъ*.

— Совершай, братъ, *дѣла*.

— Дѣлъ теперь тоже мало.

— Что же нужно?

— Подвиги.

— Совершай подвиги. Въ какомъ только духѣ?

— Въ духѣ крѣпкомъ, въ дыханіи бурномъ... Чтобы сами гасильники загорались!

— Да, да, да! Тебѣ ссориться хочется! Нѣтъ, отче: лучше мирись.

— Парменъ Николаевичъ, много слышу, сударь, нынче объ этомъ примиреніи. Что за миръ съ тѣмъ, кто пардона не проситъ. Не гожъ этотъ миръ, и дѣды недаромъ намъ завѣщали: «не побивши кума, не пить мировой».

— Ему непремѣнно «побить»!

— А то какъ же? Непремѣнно побить!

— Ты, братъ, совсѣмъ бурсакъ!

— Да вѣдь я себя и не выдаю за благороднаго.

— Да тебѣ что, неотразимо, что ли, ужъ хочется пострадать? Такъ, вѣдь, этого изъ-за пустяковъ не дѣлаютъ. Лучше побереги себя до хорошаго случая.

— Бережныхъ и безъ меня много; а я долженъ свой долгъ исполнять.

— Ну, ужъ не я же, разумѣется, стану тебя отговаривать исполнять по совѣсти свой долгъ. Исполняй: пристыди безстыжихъ—выкусишь кукишъ, прапорщикъ будешь, а теперь все-таки пойдемъ къ хозяевамъ; я, вѣдь, здѣсь долго не останусь.

Протопопъ пошелъ за Тугановымъ, бодрясь, но чрезвычайно обезкураженный. Онъ совсѣмъ не того ожидалъ отъ этого свиданія, но врядъ ли онъ и самъ зналъ, чего ожидалъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Термосесовъ съ Варнавой и либеральною акцизницей прибыли на раутъ въ то время, когда Тугановъ съ Тубероловымъ уже прошли черезъ залъ и сидѣли въ маленькой гостиной. Другіе гости расположились въ залѣ, разговаривали, играли на фортепіано и пробовали что-то пѣть. Сюда-то прямо и вошли въ это самое время Термосесовъ, Бизюкина и Варнава.

Хозяйка встрѣтила ихъ и поблагодарила Бизюкину за гостя, а Термосесова за его безцеремонную простоту.

— Мы люди простые и простыхъ людей любимъ, — сказала она ему.

— А я самый и есть простой человѣкъ,—отвѣчалъ Термосесовъ, и при этомъ поклонился очень низко, улыбнулся очень привѣтливо и даже щелкнулъ каблукомъ.

Видя это, Бизюкина, по совѣсти, гораздо болѣе одобряла достойное поведеніе Препотенскаго, который стоялъ, будто проглотилъ аршинъ. Случайно ли, или въ силу соображеній, что вновь пришедшіе гости люди болѣе серьезные, которымъ неприлично хохотать съ барышнями и слушать вздорные разсказы и плохое пѣніе, хозяйка провела Термосесова и Препотенскаго прямо въ ту маленькую гостиную, гдѣ помѣщались; Тугановъ, Плодомасовъ, Дарьяновъ, Савелій, Захарія и Ахилла.

Бизюкина могля ориентироваться, гдѣ ей угодно, но у нея не достало смѣлости проникнуть въ гостиную вслѣдъ за своими кавалерами, а якшаться съ дамами она не желала, и потому сѣла у двери.

Гостиная, куда вошли Препотенскій и Термосесовъ, была узенькая комнатка; въ концѣ ея стоялъ диванъ съ предиваннымъ столомъ, за которымъ помѣщались Тугановъ и Туберозовъ, а вокругъ на стульяхъ сидѣли: смиренный Бенефактовъ, Дарьяновъ и уѣздный предводитель Плодомасовъ. Ахилла не сидѣлъ, а стоялъ сзади за пустымъ кресломъ и держался рукою за рѣзьбу. Бизюкина видѣла, какъ Термосесовъ, войдя въ гостиную, наипочтительнѣйше раскланялся и... чего, вѣроятно, никто не могъ себѣ представить, вдругъ подошелъ къ Туберозову и попросилъ ссбѣ у него благословенія. Больше всѣхъ этимъ былъ удивленъ, конечно, самъ отецъ Савелій; онъ даже не сразу нашелся какъ поступить и далъ требуемое Термосесовымъ благословеніе съ видимымъ замѣшательствомъ. А когда же Термосесовъ, вдобавокъ, хотѣлъ поцѣловать его руку, то протопопъ столь этимъ смутился, что торопливо опустилъ сильнымъ движеніемъ свою и Термосесовскую руку книзу и крѣпко сжалъ и потрясъ эту предательскую руку, какъ руку наилучшаго друга.

Термосесовъ пожелалъ получить благословеніе и отъ Захаріи, но смиренный Бенефактовъ оказался на сей разъ находчивѣй Туберозова,—онъ не только благословилъ, но и, ничто же сумнясь, самъ подпесъ къ губамъ проходимца свою желтенькую ручку.

Разошедшійся Термосесовъ направился было за благо-

словеніемъ и къ Ахиллѣ, но этотъ, бойко шаркнувъ ногою, сказалъ гостю:

— Я дьяконъ-съ.

Засимъ оба они пожали другъ другу руки и Ахилла предложилъ Термосесову сѣсть на то кресло, за которымъ стоялъ, но Термосесовъ вѣжливо отклонилъ эту честь и помѣстился на ближайшемъ стулѣ, возлѣ отца Захаріи, межъ тѣмъ какъ вѣрный законамъ своей рутинной школы Препотенскій отошелъ какъ можно дальше и сѣлъ напротивъ отворенной двери въ залъ.

Такимъ выборомъ мѣста онъ, во-первыхъ, показывалъ, что не желаетъ имѣть общенія съ міромъ, а, во-вторыхъ, онъ видѣлъ отсюда Бизюкину; она, въ свою очередь, должна была слышать все, что онъ скажетъ. Учитель чувствовалъ и сознавалъ необходимость поднять свои фонды, заколебавшіеся съ пріѣздомъ Термосесова, и теперь, усѣвшись, ждалъ только перваго предлога завязать споръ и показать Бизюкиной, если уже не превосходство своего ума, то, по крайней мѣрѣ, чистоту направленія. Для искателей спора предлогъ къ этому занятію представляетъ всякое слово, и Варнава недолго томился молчаніемъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

При входѣ новыхъ гостей предводитель Плодомасовъ разсказывалъ Туберозову о современныхъ реформахъ въ духовенствѣ и возобновилъ этотъ разговоръ, когда Термосесовъ и Варнава усѣлись.

Уѣздный предводитель былъ поборникъ реформы, Тугановъ тоже, но послѣдній вставилъ, что когда онъ вчера видѣлся съ архіереемъ, то его преосвященство высказывался очень осторожно и, между прочимъ, шутилъ, что прекращеніемъ наслѣдственности въ духовенствѣ переведется у насъ самая чистокровная русская порода.

— Это что же значитъ-съ?—любопытствовалъ Захарія.

Тугановъ ему объяснилъ, что намекъ этотъ на чистоту несмѣшанной русской породы въ духовенствѣ касается неупотребительности въ этомъ сословіи смѣшанныхъ браковъ. Захарія не понялъ, и Тугановъ долженъ былъ ему помочь.

— Просто дѣло въ томъ,—сказалъ онъ:—что духовные всѣ женились на духовныхъ же...

— На духовныхъ-съ, на духовныхъ.

— А духовные всѣ русскіе.

— Русскіе.

— Ну, и течетъ, значитъ, въ духовенствѣ кровь чистая русская, межъ тѣмъ какъ всѣ другіе перемѣшались съ инородцами: съ поляками, съ татарами, съ нѣмцами, со шведами и... даже съ жидами.

— Ай, ай, ай, даже съ жидами!—тифу, погань!—произнесъ Захарія и плюнулъ.

— Да и шведы-то тоже «нерубленыя головы»;—легко ли дѣло съ кѣмъ мѣшаться!—поддержалъ Ахилла.

Протопопъ, кажется, побоялся, какъ бы дьяконъ не сказалъ чего-нибудь неподлежащаго, и, чтобы замять этотъ разговоръ о національностяхъ, вставилъ:

— Да; владыка нашъ не бѣднаго ума человѣкъ.

— Онъ даже что-то о какомъ-то «млекѣ» написалъ,— отозвался изъ своего далека Препотенскій, но на его слова никто не отвѣтилъ.

— И онъ юмористъ большой,—продолжалъ Тугановъ.— Тамъ у насъ завелся новый жандармчикъ, развязности безконечной, и все для себя считаетъ возможнымъ.

— Да, это такъ и есть; жандармы все могутъ, — опять подалъ голосъ Препотенскій, и его опять не замѣтили.

— Узналъ этотъ господчикъ,—продолжалъ Тугановъ:— что у вашего архіерея никто никогда не обѣдалъ, и пошелъ пари въ клубѣ съ полиціймейстеромъ, что онъ пообѣдаетъ, а старикъ-то на грѣхъ объ этомъ и узнай!..

— Ай, ай, ай!—протянулъ Захарія.

— Ну-съ; вотъ пріѣхалъ къ нему этотъ кавалеристъ и сидитъ, и сидитъ, какъ зашелъ отъ обѣдни, такъ и сидитъ. Наконецъ, ужъ не выдержалъ и въ седьмомъ часу вечера сталъ прощаться. А молчаливый архіерей, до этихъ поръ все его слушавшій, а не говорившій, говоритъ: а что же, откушать бы со мною остались! Ну, у того ужъ и ушки на макушкѣ:—выигралъ пари. Ну, тутъ еще часокъ архіерей его продержалъ и ведетъ къ столу.

— Ахъ, вотъ это ужъ онъ напрасно,—сказалъ Захарія:— напрасно!

— Но позвольте же; пришли они въ столовую, архіерей сталъ предъ иконой и зачиталъ, и читаетъ, да и читаетъ, молитву за молитвой. Опять часъ прошелъ; тощій гость какъ съ ногъ не валится.

— Ну, теперь подавайте,—говоритъ владыка. Подали двѣ мелкія тарелочки гороховаго супа съ сухарями, и только что офицеръ раздразнилъ аппетитъ, какъ владыка уже и опять встаетъ.—Ну, возблагодаримте, говоритъ, теперь Господа Бога по трапезѣ. Да ужъ въ этотъ разъ какъ сталъ читать, такъ тотъ молодецъ не дождался, да потихоньку драла и убѣжалъ. Разсказываетъ мнѣ это вчера старикъ и смѣется: — «Сей духъ, говоритъ, ничѣмъ же изъимается, токмо молитвою и постомъ».

— Онъ и остроуменъ, и человѣкъ обращенія пріятнаго и тонкаго, — уронилъ Туберозовъ, словно его тяготили эти анекдотическіе разговоры.

— Да; но тоже кряхтитъ и жалуется, *что людей нѣтъ*. «Плывемъ, говоритъ, по глубокой пучинѣ на расшатанномъ кораблѣ и съ пьяными матросами. Хорони Богъ на сей случай бури».

— Слово горькое,—отозвался Туберозовъ.

— Впрочемъ,—началъ снова Тугановъ:—про вашъ городъ сказалъ, что тутъ крѣпко. Тамъ говоритъ, у меня есть два попа: одинъ умный, другой—благочестивый.

— Умный—это отецъ Савелій,—отозвался Захарія.

— Почему же вы увѣрены, что умный—это непремѣнно отецъ Савелій?

— Потому что... они мудры,—отвѣчалъ, конфузясь, Бонефактовъ.

— А отецъ Захарія вышли по второму разряду, — подсказалъ дьяконъ.

Туберозовъ покачалъ на него укоризненно головою. Ахилла поспѣшилъ поправиться и сказалъ:

— Отецъ Захарія благочестивый, это владыка, должно-быть, къ тому и сказали, что на отца Захарія жалобъ никакихъ не было.

— Да, жалобъ на меня не было,—вздохнулъ Захарія.

— А отецъ Савелій безпокойный человѣкъ, — пошутилъ Тугановъ.

Минута эта представилась Препотенскому крайне благопріятною, и онъ, не упуская ея, тотчасъ же заявилъ, что безпокойные въ духовенствѣ это значитъ доносчики, потому что религіозная совѣсть должна быть свободна. Тугановъ не постерегся и отвѣтилъ Препотенскому, что свобода совѣсти необходима и что очень жаль, что ея у насъ нѣтъ.

— Да, бѣдная наша церковь несетъ за это отовсюду напрасныя порицанія,—замѣтилъ отъ себя Туберозовъ.

— Такъ на что же вы жалуетесь? — живо обратился къ нему Препотенскій.

— Жалуемся на невѣротерпимость, — сухо отвѣтилъ ему Туберозовъ.

— Вы отъ нея не страдаете.

— Нѣтъ, горестно страдаемъ! Вы громко и свободно проповѣдуете, что надо, чтобы вѣры не было, и вамъ это сходитъ, а мы если только пошепчемъ, что надо, чтобы лучше вашихъ ученій не было, то...

— Да, такъ вы вотъ чего хотите!—перебилъ учитель.— Вы хотите на насъ науськивать, чтобы насъ порѣшили.

— Нѣтъ, это вы хотите, чтобы насъ порѣшили.

Препотенскій не нашелся отвѣтить: отрицать этого онъ не хотѣлъ, а прямо подтвердить боялся. Тугановъ устранилъ затрудненіе, сказавъ, что отецъ протопопъ только негодуетъ, что есть люди, поставляющіе себѣ задачею подрывать въ простыхъ сердцахъ вѣру.

— Наипаче негодую на то, что сіе за потворствомъ и удается.

Препотенскій улыбнулся.

— Удается это потому,—сказалъ онъ:—что вѣра роскошь, которая дорого народу обходится.

— Ну, однако, не дороже его пьянства,—безстрастно замѣтилъ Тугановъ.

— Да, вѣдь, пить-то—это веселіе Руси есть, это національное, и водка все-таки полезнѣе вѣры: она, по крайней мѣрѣ, грѣетъ.

Туберозовъ вспыхнулъ и крѣпко сжалъ рукавъ своей рясы; но въ это время Тугановъ возразилъ учителю, что онъ ошибается, и указалъ на то, что вѣра согрѣваетъ лучше чѣмъ водка, что всѣ добрыя дѣла нашъ мужикъ начинаетъ помолившись, а всѣ худыя, за которыя въ Сибирь ссылаютъ, дѣлаетъ водки напившись.

— Впрочемъ, откупа уничтожены экономистами, — перебросился вдругъ Препотенскій. — Экономисты утверждали, что чѣмъ водка будетъ дешевле, тѣмъ меньше ее будутъ пить, и соврали. Впрочемъ, экономисты не соврали; — они знаютъ, что для того, чтобы народъ меньше пьянствовалъ, требуется не одно то, чтобы водка подешевѣла. Надо, что-

бы многое не шло такъ, какъ идетъ. А между тѣмъ къ новому стремятся не экономисты, а одни... «новые люди».

— Да; только люди-то эти дрянные, и пошло чортъ знаетъ что.

— Да, ихъ уловили шпіоны.

— Нѣтъ, просто мошенники.

— Мошенники-и!

— Да. Мошенники, вѣдь, всегда заключаютъ своею узурпаціею всѣ сумятицы, въ которыя имъ не безвыгодно вмѣшаться. У насъ долго возились съ этими... нигилистами, что ли? Возилось съ ними одно время и правительство, возится до сихъ поръ и общество, и печать, а пошабашутъ ихъ не эти, а просто-на-просто мошенники, которые откликнутся въ ихъ кличку, мошенники и превзойдутъ ихъ, а затѣмъ наступитъ поворотъ.

Препотенскій бросилъ тревожный взглядъ на Бизюкину. Его смущало, что Тугановъ просто съѣдаетъ его задоръ, какъ вешній туманъ съѣдаетъ съ поля бугры снѣга. Варнава искалъ поддержки, и въ этомъ чаяніи перевелъ взоры свои на Термосесова, но Термосесовъ даже и не смотрѣлъ на него, но зато дьяконъ Ахилла, давно дававшій ему рукою знаки перестать, сказалъ:

— Замолчи, Варнава Васильевичъ,—совсѣмъ не занятно!

Это взорвало учителя—тѣмъ болѣе, что и Тугановъ отъ него отвернулся. Препотенскій пошелъ напроломъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Учитель соскочилъ съ мѣста и подбѣжалъ къ Туганову, говорившему съ Туберозовымъ.

— Извините, что васъ перебью... но я все-таки... Я стою за свободу.

— И я тоже,—отвѣтилъ Тугановъ, снова обращаясь къ протопопу.

— Позвольте же-съ мнѣ вамъ кончить! — воскликнулъ учитель.

Тугановъ обернулся въ его сторону.

— А вы знаете ли, что свобода не дается, а берется?— задалъ ему Варнава.

— Ну-съ!

— Кто же ее возьметъ, если новые люди скверны?

— Ее возьметъ порядокъ вещей.

— И все-таки это, значитъ, не будетъ дано, а будетъ взято. Я правъ. Это я сказалъ: будетъ взята!

— Да вѣдь тебѣ про то же и говорятъ,—отозвался изъ-за стула дьяконъ Ахилла.

— Но, вѣдь, это я сказалъ: будетъ взята!

— А вамъ про что же говорятъ, — поддержалъ дьякона, въ качествѣ одномышленника, Термосесовъ. — Парменъ Семеновичъ вамъ про то и говоритъ,—внушалъ Термосесовъ, нарочно какъ можно отчетливѣе и задушевнѣе произнося имя Туганова.

— Однако, мнѣ пора, — шепнулъ, выходя изъ-за стола, Тугановъ и хотѣлъ выйти въ залу, но былъ снова атакованъ Варнавой.

— Позвольте еще одно слово,—приставалъ учитель.—Мнѣ кажется, вамъ, вѣроятно, непріятно, что теперь всѣ равны.

— Нѣтъ-съ, мнѣ не нравится, что не всѣ равны.

Препотенскій остановился и, переждавъ секунду, залепеталъ:

— Вѣдь это фактъ,— всѣ должны быть равны.

— Да, вѣдь, Парменъ Семеновичъ вамъ это и говоритъ, что всѣ должны быть равны! — отгонялъ его отъ предводителя Термосесовъ съ одной стороны.

— Позвольте-съ,—забѣгалъ онъ съ другой, но здѣсь его не допускалъ Ахилла.

— Оставь, — говорилъ онъ: — что ни скажешь—все глупость!

— Ахъ, позвольте, сдѣлайте милость, я не съ вами и говорю, — отбивался Препотенскій, забѣгая съ фронта. — Я говорю: вамъ, вѣрно, Англія нравится, потому что тамъ лорды... Вамъ досадно и жаль, что исчезли сословныя привилегіи?

— А онѣ развѣ исчезли?

— Отойди прочь, ты ничего не знаешь,—сплавлялъ, отталкивая Варнаву, Ахилла, но тотъ обѣжалъ вокругъ и, снова зайдя во фронтъ предводителю, сказалъ:

— О всякомъ предметѣ можно имѣть нѣсколько мнѣній.

— Да чего же вамъ отъ меня угодно? — воскликнулъ, разсмѣявшись, Тугановъ.

— Я говорю... можно имѣть разныя сужденія.

— Только одно будетъ умное, а другое—глупое, — отвѣчалъ Термосесовъ.

— Одно будетъ справедливое, другое—несправедливое,— проговорилъ въ видѣ примиренія предводитель.

— У Бога—и у Того одна правда!—внушалъ дьяконъ.

— Между двумя точками только одна прямая линія проводится, вторую не проведете,—настаивалъ Термосесовъ.

Препотенскій вышелъ изъ себя.

— Да это что жъ? вѣдь этакъ нельзя ни о чемъ говорить!—вскричалъ онъ.—Я одинъ, а вы всѣ вмѣстѣ льстите. Этакъ хоть кого переспоришь. А я знаю одно, что я ничего стариннаго не уважаю.

— Это и есть самое старинное... Когда же у насъ уважали исторію?

— Ну, послушай! замолчи, дурачокъ,—дружественно посовѣтовалъ Варнавѣ Ахилла, а Бизюкина отъ него презрительно отвернулась. Термосесовъ же, устраняя его съ дороги, наступилъ ему на ногу, отчего учитель, имѣвшій слабость въ затруднительныя минуты заговариваться и ставить одно слово вмѣсто другого, вскрикнулъ:

— Ой, вы мнѣ наступили на самую мою любимую мозоль!

По поводу «любимой мозоли» послѣдовалъ смѣхъ, а Тугановъ въ это время уже прощался съ хозяйкой.

Зазвенѣли бубенцы и шестерикъ свѣжихъ почтовыхъ лошадей подкатилъ къ крыльцу Тугановскую коляску, а на порогѣ вытянулся рослый гайдукъ съ англійскою дорожною кисой черезъ плечо. Наступили послѣднія минуты, которыми могъ еще воспользоваться Препотенскій, чтобы себя выручить, и онъ вырвался изъ рукъ удерживавшихъ его Термосесова и Ахиллы, и, прыгая на своей «любимой мозоли», наскочилъ на предводителя и спросилъ:

— Вы читали Тургенева? *Дымъ*... Это дворянскій писатель, и у него доказано, что въ Россіи все дымъ: «кнута, и того сами не выдумали».

— Да,—отвѣчалъ Тугановъ:—кнутъ, точно, позаимствовали, но зато отпускъ крестьянъ на волю съ землею сами изобрѣли. Укажите на это господину Тургеневу.

— Но, вѣдь, крестьянъ съ землей отняли у помѣщиковъ,— сказалъ Препотенскій.

— Отняли?—неправда. Государю принадлежитъ честь почина, а дворянству доблесть жертвы,—не вытерпѣлъ Туберозовъ.

— Вслѣдно, и благородное дворянство не смѣло ослушаться.

— Да оно и не желало ослушаться,—отозвался Тугановъ.

— Все-таки власть отняла крестьянъ.

— И власть, и время. Александръ Благословенный цѣлую жизнь мечталъ освободить крестьянъ, но дѣло не шло, а у остзейскихъ бароновъ и теперь не идетъ.

— Потому что нѣмцы умнѣе.

Тугановъ разсмѣялся и, протянувъ руку Туберозову, сказалъ Варнавѣ съ легкимъ пренебреженіемъ:

— Честь имѣю вамъ откланяться.

— Ничего-съ, а я все-таки буду противъ дворянъ и за естественное право.

Безпокойство Препотенскаго заставило всѣхъ улыбнуться, и Тугановъ, будучи совсѣмъ на пути, еще пріостановился и сказалъ ему:

— А самая естественная форма жизни это... это жизнь вотъ этихъ лошадей, что мнѣ подали, но ихъ, видите, запрягаютъ возить дворянина.

— И еще дорогой будутъ кнутомъ наяривать, чтобы шибче,—замѣтилъ дьяконъ.

— И скотовъ всегда бьютъ,—поддержалъ Термосесовъ.

— Ну, опять всѣ на одного! — воскликнулъ учитель и заключилъ, что онъ все-таки всегда будетъ противъ дворянъ.

— Ну, такъ ты, значитъ, смутьянъ,—сказалъ Ахилла.

— Бездну на бездну призываешь,—отозвался Захарія.

— А вы знаете ли, что такое значитъ бездна бездну призываетъ? — огрызнулся Варнава. — Вѣдь это противъ васъ: бездна бездну призываетъ, это—попъ попа въ гости зоветъ.

Это всѣмъ показалось забавнымъ, и дружный хохотъ залилъ залу.

Одинъ Туберозовъ гнѣвно сверкнулъ глазами и, порывисто дернувъ ленту, на которой висѣлъ наперсный крестъ, вышелъ въ гостиную.

— Старикъ-то у васъ совсѣмъ манякъ сдѣлался,—сказалъ, кивнувъ вслѣдъ ему, Тугановъ.

— И не говорите. Получитъ газеты и носится съ ними, и вздыхаетъ, и ни о чемъ хладнокровно не можетъ разсуждать,—отвѣтилъ Дарьяновъ.

— Они это слышатъ,—тихо прошепталъ Ахилла.

Савелій, дѣйствительно, все это слышалъ.

Тугановъ сошелъ съ лѣстницы и усаживался въ коляску. Его провожали хозяева, нѣкоторые изъ гостей, Варнава и протопопъ. Варнава былъ сильно ободренъ: ему казалось, что послѣ «бездны» фонды его быстро возвысились и онъ, неожиданно смѣло схвативъ за рукавъ Туберозова, проговорилъ:

— Позвольте васъ спросить: я третьяго дня былъ въ церкви и слышалъ, какъ одинъ протопопъ произнесъ слово «дуракъ». Что̀ клиръ долженъ пѣть въ то время, когда протопопъ возглашаетъ «дуракъ»?

— Клиръ трижды воспѣваетъ: «учитель Препотенскій»,— отвѣтилъ Савелій.

При этомъ неожиданномъ отвѣтѣ присутствующіе въ секунду были въ остолбенѣніи и вдругъ разразились всеобщимъ бѣшенымъ хохотомъ. Тугановъ махнулъ рукой и уѣхалъ въ самомъ веселомъ настроеніи духа.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Около Препотенскаго, какъ говорится, было кругомъ нехорошо. Даже снисходительныя дамы того сорта, которымъ дорогъ только процессъ разговора и для которыхъ, что̀ мужчины ни говори, лишь бы это былъ го́воръ, и тѣ имъ возгнушались. Зато Термосесовъ забиралъ силу и овладѣвалъ всеобщимъ вниманіемъ. Варнава не успѣлъ оглянуться, какъ Термосесовъ уже бесѣдовалъ со всѣми дамами, а за почтмейстершей просто ухаживалъ, и ухаживалъ, по мнѣнію Препотенскаго, до послѣдней степени дурно; ухаживалъ за нею не какъ за женщиной, но какъ за предержащею властью.

За ужиномъ Термосесовъ, оставивъ дамъ, подступилъ поближе къ мужчинамъ и выпилъ со всѣми. И выпилъ какъ должно, изрядно, но не охмелѣлъ, и тутъ же внезапно сблизился съ Ахиллой, съ Дарьяновымъ и съ отцомъ Захаріей. Онъ заговаривалъ не разъ и съ Туберозовымъ, но старикъ не очень поддавался на сближеніе. Зато Ахилла, послѣ часовой или получасовой бесѣды, ко всеобщему для присутствующихъ удивленію, неожиданно перешелъ съ Термосесовымъ на «ты», жалъ ему руку, цѣловалъ его толстую губу и даже сдѣлалъ изъ его фамиліи кличку.

— Вотъ, ей-Богу, молодчина этотъ Термосёска, — барабанилъ всѣмъ дьяконъ:—пссудите, какъ мы нынче съ нимъ вдвоемъ Варнавку обработали. Правда? Ты, братъ Термосёсушка, отъ насъ лучше совсѣмъ не уѣзжай. Что тамъ у васъ въ Петербургѣ, какія кондиціи? А мы съ тобой здѣсь зимою станемъ вмѣстѣ лисицъ ловить. Чудесно, братъ! Правда?

— Правда, правда, — отвѣчалъ Термосесовъ, и самъ сталъ хвалить Ахиллу и называлъ его молодчиной. И оба эти молодчины снова цѣловались.

Когда пиръ былъ при концѣ и Захарія съ Туберозовымъ уходили уже домой, Термосесовъ придержалъ Ахиллу за рукавъ и сказалъ:

— А тебѣ, вѣдь, спѣшить некуда?

— Да, пожалуй, что и некуда,—отвѣтилъ Ахилла.

— Такъ подожди, пойдемъ вмѣстѣ!

Ахилла согласился, а Термосесовъ предложилъ еще потанцовать подъ фортепіано и танцовалъ прежде съ почтмейстершей, потомъ съ ея дочерьми, потомъ еще съ двумя или тремя другими дамами и, наконецъ, послѣ всѣхъ съ Бизюкиной, а въ заключеніе всего обхватилъ дьякона и провальсировалъ съ нимъ и, сажая его на мѣсто, какъ даму, поднесъ къ губамъ его руку, а поцѣловалъ свою собственную.

Никакъ не ожидавшій этого Ахилла, сконфузился и быстро вырвалъ у Термосесова руку, но тотъ надъ нимъ расхохотался и сказалъ:

— Неужто же ты думалъ, что я твою кучерскую лапу стану цѣловать?

Дьяконъ обидѣлся и подумалъ: «охъ, не надо бы мнѣ, кажется, съ нимъ якшаться!» Но какъ они сейчасъ вслѣдъ за этимъ отправились по домамъ, то и онъ не отбился отъ компаніи. Семейство почтмейстера, дьяконъ, Варнава, Термосесовъ и Бизюкина шли вмѣстѣ. Они завели домой почтмейстершу съ дочерьми и здѣсь, у самаго порога комнаты, Ахилла слышалъ, какъ почтмейстерша сказала Термосесову:

— Я надѣюсь, что мы съ вами будемъ видѣться?

— Въ этомъ не сомнѣваюсь,—отвѣчалъ Термосесовъ, и добавилъ:—вы говорили, что вамъ нравится, какъ у исправника на стѣнѣ вся Царская Фамилія въ портретахъ?

— Да, мнѣ этого давно очень, очень хочется.

— Ну, такъ это я вамъ завтра же устрою.

И они разстались.

На дворѣ было уже около двухъ часовъ ночи, что для уѣзднаго города, конечно, было весьма поздно, и Препотенскій, плетяся, размышлялъ, какимъ способомъ ему благополучнѣе доставиться домой, то-есть улизнуть ли потихоньку, чтобъ его не замѣтилъ Ахилла, или, напротивъ, ввѣриться его великодушію, такъ какъ Варнава когда-то читалъ, что у черкесовъ на Кавказѣ иногда спасаются единственно тѣмъ, что ввѣряютъ себя великодушію врага, и теперь онъ почему-то склонялся къ мысли судить объ Ахиллѣ по-черкесски.

Но прежде чѣмъ Препотенскій пришелъ къ какому-нибудь положительному рѣшенію, Термосесовъ все это перепачилъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тотчасъ какъ только они разстались съ почтмейстершей, Термосесовъ объявилъ, что всѣ непремѣнно должны на минуту зайти съ нимъ къ Бизюкиной.

— Позволяешь?—отнесся онъ полуоборотомъ къ хозяйкѣ.

Той это было непріятно, но она позволила.

— У тебя питра какая-нибудь дома есть?

Бизюкина сконфузилась. Она какъ нарочно нынче забыла послать за виномъ, и теперь вспомнила, что со стола отъ обѣда приняли послѣднюю, чуть не совсѣмъ пустую, бутылку хересу. Термосесовъ замѣтилъ это смущеніе и сказалъ:

— Ну, хоть пиво, небось, есть?

— Пиво, конечно, есть.

— Я знаю, что у акцизныхъ пиво всегда есть. И медъ есть?

— Да, есть и медъ.

— Ну, вотъ и прекрасно: есть, господа, у насъ пиво и медъ, и я вамъ состряпаю изъ этого такое лампопо, что...— Термосесовъ поцѣловалъ свои пальцы и договорилъ:—языкъ свой, и тотъ, допивая, проглотите.

— Что это за лампопо?—спросилъ Ахилла.

— Не лампопо, а лампопо — напитокъ такой изъ пива и меду дѣлается.—Идемъ!—и онъ потянулъ Ахиллу за рукавъ.

— Постой, — оборонялся дьяконъ. — Какое же это лампопо? Это у насъ на похоронахъ пьютъ... «пивомедіе» называется.

— А я тебѣ говорю, это не пивомедіе будетъ, а лампопо. Идемъ!

— Нѣтъ, постой!—опять оборонялся Ахилла.—Я знаю это пивомедіе... Оно, братъ, опрокидонтомъ съ ногъ валитъ... я его ни за что не стану пить.

— Я тебѣ говорю—будетъ лампопо, а не пивомедіе!

— А лучше бы его нынче не надо,—отвѣчалъ дьяконъ:— а то на завтра чердакъ трещать будетъ.

Препотенскій былъ тоже того мнѣнія, но какъ ни Ахилла, ни Препотенскій не обладали достаточною твердостью характера, чтобы настоять на своемъ, то настоялъ на своемъ Термосесовъ и забралъ ихъ въ домъ Бизюкиной. По мысли вожака, «питра» должна была состояться въ садовой бесѣдкѣ, куда немедленно же и явилась наскоро закуска и множество бутылокъ пива и меду, изъ которыхъ Термосесовъ въ ту же минуту сталъ готовить лампопо.

Варнава Препотенскій помѣстился возлѣ Термосесова. Учитель хотѣлъ нимало не медля объясниться съ Термосесовымъ, зачѣмъ онъ юлилъ около Туганова и помогалъ угнетать его, Варнаву?

Но, къ удивленію Препотенскаго, Термосесовъ потерялъ всякую охоту болтать съ нимъ, и вмѣсто того, чтобъ отвѣтить ему что-нибудь ласково, оторвалъ весьма нетерпѣливо:

— Мнѣ всѣ равны: и мѣщане, и дворяне, и люди черныхъ сотенъ. Отстаньте вы теперь отъ меня съ политикой, я пить хочу!

— Однакоже, вы должны согласиться, что люди семинарія воспитанскаго лучше, — пролепеталъ, путая слова, Варнава.

— Ну, вотъ,—перебилъ Термосесовъ: — то была «любимая мозоль», а теперь «семинарія воспитанскаго!»—Вотъ Цицеронъ!

— Онъ это часто, когда разгорячится, хочетъ сказать одно слово, а скажетъ совсѣмъ другое,—вступился за Препотенскаго Ахилла, и при этомъ пояснилъ, что учитель за эту свою способность даже чуть не потерялъ хорошее знакомство, потому что хотѣлъ одинъ разъ сказать дамѣ: «Ма-

трена Ивановна, дайте мнѣ лимончика», да вдругъ выговорилъ: «Лимона Ивановна, дайте мнѣ матренчика!» А та это въ обиду приняла.

Термосесовъ такъ и закатился веселымъ смѣхомъ, но вдругъ схватилъ Варнаву за руку и, нагнувъ къ себѣ его голову, прошепталъ:

— Поди сейчасъ запиши мнѣ для памяти тотъ разговоръ, который мы слышали отъ поповъ и дворянъ. Понимаешь, насчетъ того, что и время пришло, и что Александръ I не могъ, и что въ Остзейскомъ краѣ и сейчасъ не удается... Однимъ словомъ—все, все...

— Зачѣмъ же распространяться?—удивился учитель.

— Ну, ужъ это не твое дѣло. Ты иди скорѣй напиши, и тамъ увидишь на что?.. Мы это подпишемъ и пошлемъ въ надлежащее мѣсто.

— Что вы! что вы это? — громко заговорилъ, отчаянно замотавъ руками, Препотенскій. — Доносить! Да ни за что на свѣтѣ.

— Да, вѣдь, ты же ихъ ненавидишь!

— Ну, такъ что жъ такое?

— Ну, и рѣжь ихъ, если ненавидишь!

— Да; извольте, я рѣзать извольте, но... я не подлецъ, чтобы доносы...

— Ну, такъ пошелъ вонъ,—перебилъ его, толкнувъ къ двери, Термосесовъ.

— Ага, «вонъ!» значитъ, я васъ разгадалъ: вы заодно съ Ахилкой.

— Пошелъ вонъ!

— Да-съ, да-съ. Вы меня позвали на лампопо, а вмѣсто того...

— Да... ну, такъ вотъ тебѣ и лампопо! — отвѣтилъ Термосесовъ и, щелкнувъ Препотенскаго по затылку, выпихнулъ его за двери и задвинулъ щеколду.

Смотрѣвшій на всю эту сцену Ахилла смутился и, привставъ съ мѣста, взялъ свою шляпу.

— Чего это ты? куда?—спросилъ его, снова садясь за столъ, Термосесовъ.

— Нѣтъ; извините... Я домой.

— Допивай же свое лампопо.

— Нѣтъ; исчезни оно совсѣмъ, не хочу. Прощайте; мое почтеніе.—И онъ протянулъ Термосесову руку, но тотъ, не

подавая своей руки, вырвалъ у него шляпу и, бросивъ ее подъ свой стулъ, закричалъ: «сядь!»

— Нѣтъ, не хочу,—отвѣчалъ дьяконъ.

— Сядь, тебѣ говорятъ!—громче крикнулъ Термосесовъ, и такъ подернулъ Ахиллу, что тотъ плюхнулъ на табуретку.

— Хочешь ты быть попомъ?

— Нѣтъ, не хочу,—отвѣчалъ дьяконъ.

— Отчего же не хочешь?

— А потому, что я къ этому несроденъ и недостоинъ.

— Но, вѣдь, тебя протопопъ обижаетъ?

— Нѣтъ, не обижаетъ.

— Да, вѣдь, онъ у тебя, говорятъ, разъ палку отнялъ?

— Ну такъ что жъ, что отнялъ!

— И глупцомъ тебя называлъ?

— Не знаю, можетъ-быть, и называлъ.

— Донесемъ на него, что̀ онъ нынче говорилъ.

— Что-о-о?

— А вотъ что̀!

И Термосесовъ нагнулся и, взявъ изъ-подъ стула шляпу Ахиллы, бросилъ ее къ порогу.

— Ну, такъ ты, я вижу, петербургскій мерзавецъ,—молвилъ дьяконъ, нагибаясь за своею шляпою; но въ это же самое время неожиданно получилъ оглушительный ударъ по затылку и очутился носомъ на садовой дорожкѣ, на которой въ ту же минуту явилась и его шляпа, а немного подальше сидѣлъ на колѣняхъ Препотенскій. Дьяконъ даже не сразу понялъ, какъ все это случилось, но, увидавъ въ дверяхъ Термосесова, погрозившаго ему садовою лопатой, понялъ, отчего ударъ былъ широкъ и тяжекъ, и протянулъ:

— Вотъ такъ лампопо̀. Спасибо, что поучилъ.

И съ этимъ онъ обратился къ Варнавѣ и сказалъ:

— Что же? пойдемъ, братъ, теперь по домамъ!

— Я не могу,—отвѣчалъ Варнава.

— Отчего?

— Да у меня, я думаю, на всемъ тѣлѣ синевы и болова голитъ.

— Ну, «болова голитъ», пройдетъ голова. Пойдемъ домой: я тебя провожу,—и дьяконъ сострадательно поднялъ Варнаву на ноги и повелъ его къ выходу изъ сада. На дворѣ уже разсвѣтало.

Отворяя садовую калитку, Ахилла и Препотенскій неожиданно встрѣтились лицомъ къ лицу съ Бизюкинымъ.

Либеральный акцизный чиновникъ Бизюкинъ, высокій, очень недурной собой человѣкъ, съ незначащею, но не злою физіономіею, только что возвратился изъ уѣзда. Онъ посмотрѣлъ на Ахиллу и Варнаву Препотенскаго и весело проговорилъ:

— Ну, ну, однако, вы, ребята, нарѣзались?

— Нарѣзались, братъ,—отвѣчалъ Ахилла:—могу сказать, что нарѣзались.

— Чѣмъ же это вы такъ угостились?—запыталъ Бизюкинъ.

— Ланпопомъ, другъ, насъ тамъ угощали. Иди туда въ бесѣдку: тамъ еще и на твою долю осталось.

— Да кто же тамъ? Жена? и кто съ нею?

— Діонисъ, тиранъ Сиракузскій.

— Ну, однакожъ, вы нализались!.. Какой тамъ тиранъ?.. А вы, Варнава Васильичъ, уже даже какъ будто и людей не узнаете?—отнесся акцизникъ къ Варнавѣ.

— Извините,—отвѣчалъ, робко кланяясь, Препотенскій.— Не узнаю. Знакомое лицомое, а гдѣ васъ помнилъ, не увижу.

— Вонъ онъ даже, какъ онъ бѣдный, ужъ совсѣмъ плохо заговорилъ! — произнесъ дьяконъ, и потащилъ Варнаву съ гостепріимнаго двора.

Спустя нѣсколько минутъ, Ахилла благополучно доставилъ Варнаву до дома и сдалъ его на руки просвирнѣ, удивленной неожиданною пріязнью дьякона съ ея сыномъ и излившейся въ безмѣрныхъ ему благодарностяхъ.

Ахилла ничего ей не отвѣчалъ и, придя домой, поскорѣе потребовалъ у своей Эсперансы мѣдную гривну.

— Вы, вѣрно, обо что-нибудь ударились, отецъ-дьяконъ?— полюбопытствовала старуха, видя, какъ Ахилла жметъ къ затылку поданную гривну.

— Да, Эсперанса, я ударился, — отвѣчалъ онъ со вздохомъ: —но только если ты до теперешняго раза думала, что я на мою силу надѣюсь, такъ больше этого не думай. Отецъ протопопъ—министръ юстиціи; онъ правду мнѣ, Эсперанса, говорилъ: не хвались, Эсперанса, сильный силою своею, ни крѣпкій крѣпостью своею!

И Ахилла, отпустивъ *услужающую,* присѣлъ на корточки къ окну и, все вздыхая, держалъ у себя на затылкѣ гривну и шепталъ:

— Такое ланпопо вздулось, что, по-настоящему, дня два показаться на улицу нельзя будетъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Протопопъ возвратился домой очень взволнованный и разстроенный. Такъ какъ онъ, по причинѣ празднества, пробылъ у исправника довольно долго, то домосѣдка-протопопица Наталья Николаевна, противъ своего всегдашняго обыкновенія, не дождалась его и легла въ постель, оставивъ, однако, дверь изъ своей спальни въ залъ, гдѣ спалъ мужъ, отпертою. Наталья Николаевна непремѣнно хотѣла проснуться при возвращеніи мужа.

Туберозовъ это понялъ и, увидавъ отворенную дверь въ спальню жены, вошелъ къ ней и назвалъ ее по имени.

Наталья Николаевна проснулась и отозвалась.

— Не спишь?

— Нѣтъ, дружечка, Савелій Ефимычъ, не сплю.

— Ну, и благо; мнѣ хочется съ тобой говорить.

И старикъ присѣлъ на краешекъ ея кровати и началъ пересказывать женѣ свою бесѣду съ предводителемъ, а затѣмъ сталъ жаловаться на общее равнодушіе къ распространяющемуся повсемѣстно въ Россіи убѣжденію, что развитому человѣку «стыдно вѣровать». Онъ представилъ женѣ разныя свои опасенія за упадокъ нравовъ и потерю добраго идеала. И какъ человѣкъ вѣры, и какъ гражданинъ, любящій отечество, и какъ философствующій мыслитель, отецъ Савелій въ его семьдесятъ лѣтъ былъ свѣжъ, ясенъ и тепелъ: въ каждомъ словѣ его блестѣлъ здравый умъ, въ каждой нотѣ слышалась задушевная искренность.

Наталья Николаевна не прерывала возвышенныхъ и страстныхъ рѣчей мужа ни однимъ звукомъ, и онъ говорилъ на полной свободѣ, какой не давало ему положеніе его ни въ какомъ другомъ мѣстѣ.

— И представь же ты себѣ, Наташа! — заключилъ онъ, замѣтивъ, что уже начинаетъ разсвѣтать, и его канарейка, проснувшись, стала чистить о жердочку свой носикъ: — и представь себѣ, моя добрая старушка, что, вѣдь, ни въ чемъ онъ меня, Тугановъ, не опровергалъ и во всемъ со мною согласился, находя и самъ, что у насъ, какъ покойница Марѳа Андревна говорила, и хвостъ дологъ, и носъ дологъ, и мы стоимъ какъ куликн на болотѣ, да перекачи-

ваемся: носъ вытащимъ — хвостъ завязнетъ, а хвостъ вытащимъ — носъ завязнетъ; но горячности, какой требуетъ такое положеніе, не обличилъ... Ужасное равнодушіе!

Наталья Николаевна молчала.

— И въ дополненіе ко всему меня же еще назвалъ «маньякъ»!.. Ну, скажи, сдѣлай милость, къ чему это такое названіе ко мнѣ можетъ относиться и послѣ чего? (Савелій продолжалъ, понизивъ голосъ). Меня назвалъ «маньякомъ», а самъ мнѣ говоритъ... Я ему поставилъ вопросъ, что все же, молъ... мелко ли это или не мелко, то, что я указываю, но все это знаменія царящаго въ обществѣ духа. «И что же, молъ, если теперь съ этою мелочью не справимся, то какъ набольшіе-то наши тогда думаютъ справляться, когда это вырастетъ?» А онъ по этой, ненавистной мнѣ, нашей русской шутливости изволилъ оповѣдать анекдотъ, который, дѣйствительно, очень подходящъ къ дѣлу, но котораго я, по званію своему, никому, кромѣ тебя, не могу и разсказать! Говоритъ, что былъ-де, будто, одинъ какой-то офицеръ, который, вступивъ на походѣ въ одну квартиру, замѣтилъ, по сосѣдству съ собою, замѣчательную красавицу и, плѣнясь ея видомъ, тотчасъ же, по своему полковому обычаю, позвалъ денщика и говоритъ: «какъ бы, братецъ, мнѣ съ сею красавицей познакомиться?» А денщикъ помялся на мѣстѣ, и какъ ставилъ въ эту пору самоваръ, вдругъ восклицаетъ: «дымомъ пахнетъ!» Офицеръ вскочилъ и бросился въ комнату къ сей прелестницѣ, говоря: «Ай, сударыня, у васъ дымомъ пахнетъ, и я пришелъ васъ съ вашею красотой спасти отъ пламени пожара», и такимъ образомъ съ нею познакомился, а денщика одарилъ и напоилъ водкой. Но, спустя не малое время, тотъ же охотникъ до красоты, перейдя на другое мѣсто, также увидалъ красивую даму, но уже не рядомъ съ собою, а напротивъ своего окна черезъ улицу, и говоритъ денщику: «ахъ, познакомь меня съ сею дамой!» но тотъ, однако, сумѣлъ только отвѣтить снова то же самое, что «дымомъ пахнетъ!» И офицеръ увидалъ, что напрасно онъ полагался на умъ сего своего помощника, и желаннаго знакомства черезъ него вторично уже не составилъ. Заключай же, какая изъ сего является аналогія: у насъ въ необходимость просвѣщеннаго человѣка вмѣняется безвѣріе, издѣвка надъ родиной, въ оцѣнкѣ людей, небре-

женіе о святынѣ семейныхъ узъ, неразборчивость, а иносказательная красавица наша, наружная цивилизація, досталась намъ просто; но теперь, когда нужно знакомиться съ красавицей иною, когда нужна духовная самостоятельность... и сія красавица сидитъ насупротивъ у своего окна, какъ мы ее достанемъ? Хватимся и ахнемъ: «Ахъ, молъ, какъ бы намъ съ нею познакомиться!» А нескладные денщики что могутъ на сіе отвѣтить, кромѣ того, что, молъ, «дымомъ пахнетъ». Что тогда въ этомъ проку, что «дымомъ пахнетъ»?

— Да,—уронила, вздохнувъ, Наталья Николаевна.

— Ну то-то и есть! Стало-быть, и тебѣ это ясно: кто же теперь «маньякъ»? Я ли, что, яснѣе видя сіе, безпокоюсь, или тѣ, кому все это ясно и понятно, но которые смотрятъ на все спустя рукава: лишь бы-де по нашъ вѣкъ стало, а тамъ хоть все пропади! Вѣдь это-то и значитъ: «дымомъ пахнетъ». Не такъ ли, мой другъ?

— Да, голубчикъ, это, вѣрно, дѣвчонка встала самоваръ ставить!—проговорила скороговоркой соннымъ голосомъ Наталья Николаевна.

Туберозовъ понялъ, что онъ все время говорилъ воздуху, не имѣющему ушей для того, чтобъ его слышать, и онъ поникъ своею бѣлой головой и улыбнулся.

Ему припомнились слова, нѣкогда, давно сказанныя ему покойною боярыней Марѳой Плодомасовой: «А ты развѣ не одинокъ? Что же въ томъ, что у тебя есть жена добрая и тебя любитъ, а все же чѣмъ ты болѣешь, ей того не понять. И такъ всякъ, кто подальше брата видитъ, будетъ одинокъ промежъ своихъ».

— Да, одинокъ! всемѣрно одинокъ! — прошепталъ старикъ. — И вотъ когда я это особенно почувствовалъ, когда наиболѣе не хотѣлъ бы быть одинокимъ, потому что... маньякъ ли я или не маньякъ, но... я рѣшился долѣе ничего этого не терпѣть, и на что рѣшился, то совершу, хотя бы то было до дерзости...

И старикъ тихо поднялся съ кровати, чтобы не нарушить покоя спящей жены, перекрестилъ ее и, набивъ свою трубку, вышелъ съ нею на дворъ и присѣлъ на крылечкѣ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

У Туберозова была большая рѣшимость на дѣло, о которомъ долго думалъ, на которое давно порывался и о ко-

торомъ никому не говорилъ. Да и съ кѣмъ онъ могъ совѣтоваться? Кому могъ онъ говорить о томъ, что задумалъ? Не смиренному ли Захаріи, который «есть такъ, какъ бы его нѣтъ»; удалому ли Ахиллѣ, который живетъ какъ стихійная сила, не зная самъ для чего и къ чему онъ поставленъ; не чиновникамъ ли, или не дамамъ ли, или, наконецъ, даже не Туганову ли, отъ котораго онъ ждалъ поддержки, какъ отъ коренного русскаго барина? Нѣтъ, никому и даже ни своей елейной Натальѣ Николаевнѣ, которой запахъ дыма и во снѣ только напоминаетъ одинъ самоваръ...

— Она, голубка, и во снѣ озабочена, печется однимъ, какъ бы согрѣть и напоить меня, стараго, теплымъ, а не знаетъ того, что согрѣть меня можетъ иной уголь, горящій во мнѣ самомъ, и лишь живая струя властна напоить душевную жажду мою, которой нѣтъ утоленія при одной мысли, что я старый... сѣдой... полумертвецъ... умру лежачимъ камнемъ и... потеряю утѣшеніе сказать себѣ предъ смертью, что... силился, по крайней мѣрѣ, присягу выполнить и... и возбудить упавшій духъ собратій!

Старикъ задумался. Тонкія струйки вакштафнаго дыма, вылетая изъ-подъ его сѣдыхъ усовъ и разносясь по воздуху, окрашивались янтарною пронизью взошедшаго солнца; куры слетѣли съ насѣстей и, выйдя изъ закутки, отряхивались и чистили перья. Вотъ на мосту заигралъ въ липовую дудку пастухъ; на берегу зазвенѣли о водоносъ пустыя ведра на плечахъ босой бабы; замычали коровы и собственная работница протопопа, крестя зѣвающій ротъ, погнала за ворота хворостиной коровку; канарейка трещитъ на окнѣ и день во всемъ сіяніи.

Вотъ ударили въ колоколъ.

Туберозовъ позвалъ работника и послалъ его за дьячкомъ Павлюканомъ.

— Да,—размышлялъ въ себѣ протопопъ:—надо уйти отъ себя, непремѣнно уйти и... покинуть многозаботливость. Поищу сего.

На порогѣ калитки показалась молодая цыганка съ ребенкомъ у груди, съ другимъ за спиной и съ тремя цѣплявшимися за ея лохмотья.

— Дай что-нибудь, панъ отецъ, счастливый, талантливый!—приступила она къ Савелію.

— Что̀ жъ я тебѣ дамъ, несчастливая и безталанная? Жена спитъ, у меня денегъ нѣтъ.

— Дай что-нибудь, что̀ тебѣ не надо; за то тебѣ честь и счастіе будетъ.

— Что̀ же бы не надобно мнѣ? А, а! Ты дѣло сказала:— у меня есть, что̀ мнѣ не надо!

И Туберозовъ сходилъ въ комнаты и, вынеся оттуда свои чубуки съ трубками, бисерный кисетъ съ табакомъ и жестянку, въ которую выковыривалъ пепелъ, подалъ все это цыганкѣ и сказалъ:

— На̀ тебѣ, цыганка, отдай это все своему цыгану,— ему это пристойнѣе.

Наталья Николаевна спала и протопопъ винилъ въ этомъ себя, потому что все-таки онъ долго мѣшалъ ей уснуть то своимъ отсутствіемъ, то своими разговорами, которыхъ она хотя и не слушала, но которые, тѣмъ не менѣе, все-таки ее будили.

Онъ пошелъ въ конюшню и самъ задалъ двойную порцію овса парѣ своихъ маленькихъ бурыхъ лошадокъ и тихо шелъ черезъ дворъ въ комнаты, какъ вдругъ неожиданно увидалъ входившаго въ калитку разсыльнаго солдата акцизнаго Бизюкина. Солдатъ былъ съ книгой.

Протопопъ взялъ изъ его рукъ разносную книгу и, развернувъ ее, весь побагровѣлъ; въ книгѣ лежалъ конвертъ, на которомъ написанъ былъ слѣдующій адресъ: «Благочинному Старогородскаго уѣзда, протопопу Савелію Туберкулову». Слово «Туберкулову» было слегка перечеркнуто и сверху написано: «Туберозову».

— Велѣли сейчасъ росписку представить,— сказалъ солдатъ.

— А кто это велѣлъ?

— Этого пріѣзжаго чиновника секретарь.

— Ну, подождетъ.

Протопопъ понялъ, что это было сдѣлано не спроста, что съ нимъ идутъ на задоръ и, вѣроятно, имѣютъ за что̀ зацѣпиться.

«Что̀ бъ это такое могло быть? И такъ рано... ночь, вѣрно, не спали, сочиняя какую-нибудь мерзость... Люди досужіе!»

Думая такимъ образомъ, Туберозовъ вступилъ въ свою залитую солнцемъ залицу и, надѣвъ круглыя серебряныя очки, распечаталъ любопытный конвертъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Щекотливая бумага была нѣчто безформенное, которымъ въ непріятныхъ, каверзливыхъ выраженіяхъ, какими преизобилуетъ канцелярскій языкъ, благочинный Туберозовъ не то приглашался, не то вызывался «конфиденціально» къ чиновнику Борноволокову «для дачи объясненій относительно важныхъ предметовъ, а также соблазнительныхъ и непристойныхъ поступковъ дьякона Ахиллы Десницына».

— Фу, ты, прахъ васъ возьми, да ужъ это не шутка ли глупѣйшая?.. Неужто ужъ они вздумали шутить надо мною такимъ образомъ?!. Но нѣтъ, это не шутка: «Туберкулову»... Фамилія моя перековеркана съ явнымъ умысломъ оскорбить меня и... и потомъ «соблазнительное и непристойное поведеніе» Ахиллы!.. Что все это такое значитъ и на что сплетается?.. Дабы ихъ не потѣшить и не впасть въ погрѣшность, испробуемъ методъ выжидательный, въ неясныхъ случаяхъ единственно умѣстный.

Протопопъ взялъ перо и подъ текстомъ безформенной бумаги написалъ: «Благочинный Туберозовъ, не имѣя чести знать полномочій требующаго его лица, не можетъ почитать въ числѣ своихъ обязанностей явку къ нему по сему зову или приглашенію», и потомъ, положивъ эту бумагу въ тотъ же конвертъ, въ которомъ она была прислана, онъ надписалъ поперекъ адреса: «Обратно тому, чьего титула и величанія не знаю».

Кинувъ все это въ ту же разсыльную книгу, въ которой бумага была доставлена, онъ вышелъ на крыльцо и отдалъ книгу солдату; явившемуся длинному дьячку Павлюкану велѣлъ мазать кибитку и готовиться черезъ часъ ѣхать съ нимъ въ уѣздъ по благочинію, а работницу послалъ за Ахиллой.

Межъ тѣмъ встала Наталья Николаевна и, много извиняясь предъ мужемъ, что она вчера уснула во время его разсказа, начала собирать ему его обыкновенный путевой чемоданчикъ, но при этомъ была удивлена тѣмъ, что на вопросъ ея: куда сунуть табакъ? протопопъ коротко отвѣчалъ, что онъ больше не куритъ табаку, и вслѣдъ затѣмъ обратился къ вошедшему въ эту минуту дьякону.

— Я сейчасъ ѣду по благочинію, а тебя попросилъ къ себѣ, чтобы предупредить,—заговорилъ онъ къ Ахиллѣ, но тотъ его сейчасъ же перебилъ.

— Ужъ покорно васъ благодарю, отецъ протоіерей, я уже предупрежденъ.

— Да; но это пока еще ничего: не очень-то я сего пугаюсь, но, пожалуйста, прошу тебя, будь ты хотя въ мое отсутствіе посолиднѣе.

— Да ужъ теперь, отецъ протоіерей... хоть бы и вы не изволили говорить, такъ все кончено.

Туберозовъ остановился и посмотрѣлъ на него пристальнымъ, проницающимъ взоромъ. Фигура и лицо дьякона были не въ авантажѣ; его густые, природные локоны лежали на головѣ какъ сдвинувшаяся фальшивая накладка; правый високъ былъ слишкомъ далеко обнаженъ, лѣвый закрытъ до самаго глаза.

Протопопъ смекалъ, что̀ бъ это такое еще могло случиться съ неосторожнымъ дьякономъ, а тотъ, потупивъ глаза въ свою шляпу, заговорилъ:

— Я еще вчера же, отецъ протопопъ... какъ только пришелъ домой отъ Бизюкинши... потому что мы всѣ отъ исправника къ ней еще заходили, какъ вернулся, сейчасъ и сказалъ своей услужающей: нѣтъ, говорю, Эсперанса, отецъ Савелій справедливъ: не надѣйся сильный на свою силу и не хвались своею крѣпостью.

Протопопъ, вмѣсто отвѣта, подошелъ къ дьякону и приподнялъ рукой волосы, не въ мѣру закрывшіе всю лѣвую часть его лица.

— Нѣтъ, отецъ Савелій, здѣсь ничего, а вотъ тутъ,— тихо проговорилъ Ахилла, переводя руку протопопа себѣ на затылокъ.

— Стыдно, дьяконъ,—сказалъ Туберозовъ.

— И больно даже, отецъ протопопъ!—отвѣчалъ, ударивъ себя въ грудь, Ахилла, и горько заплакалъ, лепеча: — За это я себя теперь ежечасно буду угрызать.

Туберозовъ не подлилъ ни одной капли въ эту чашу страданія Ахиллы, а, напротивъ, отполнилъ отъ нея то, что̀ лилось черезъ край; онъ прошелся по комнатѣ и, тронувъ дьякона за руку, сказалъ:

— Помнишь ли, ты меня когда-то весьма хорошо укорялъ трубкой?

— Простите.

— Нѣтъ; я тебѣ за это благодаренъ и хотя особенно худого въ этомъ куреніи не усматриваю и привычку къ сему

имѣлъ, но дабы не простирать рѣчей, сегодня эту привычку бросилъ и всѣ свои трубки цыганамъ отдалъ.

— Цыганамъ!—воскликнулъ, весь просіявъ, дьяконъ.

— Да; это тебѣ все равно, кому я ихъ отдалъ, но отдай же и ты кому-нибудь свою удаль: ты не юноша, тебѣ пятьдесятъ лѣтъ, и ты не казакъ, потому что ты въ рясѣ. А теперь еще разъ будь здоровъ, а мнѣ пора ѣхать.

И Туберозовъ уѣхалъ, а дьяконъ отправился къ отцу Захаріи, чтобъ упросить его немедленно же подъ какимъ-нибудь предлогомъ сходить къ акцизному и узнать, изъ какого званія происходитъ Термосесовъ?

— А на что это тебѣ?—отвѣчалъ Бенефактовъ.

— Да надобно же мнѣ знать, чьего онъ роду, племени и какого отца съ матерью.

Захарія взялся забрать эту необходимую для Ахиллы справку.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ домѣ Бизюкина утро этого дня было очень неблагополучно: акцизница хватилась бывшаго на ней вчера вечеромъ дорогого брильянтоваго колье и не нашла его. Прислуга была вся на ногахъ; хозяева тоже. Пропажу искали и въ бесѣдкѣ, и по всему дому, и нигдѣ не находили.

Борноволоковъ приступилъ къ ревизіи, а Термосесовъ былъ ожесточенно занятъ: онъ все возился около тарантаснаго ящика, служившаго вмѣстилищемъ его движимости. Доставъ отсюда изъ своей фотографической коллекціи нѣсколько карточекъ членовъ Императорской Фамиліи, Термосесовъ почистилъ резинкой и ножичкомъ тѣ изъ нихъ, которыя ему показались запыленными, и потомъ, положивъ ихъ въ конвертикъ, началъ писать письмо въ Петербургъ къ какому-то несуществующему своему пріятелю. Не зная плановъ Термосесова, объяснить себѣ этого невозможно. Онъ тутъ описывалъ красу природы, цвѣтъ розо-желтый облаковъ и потомъ свою дружбу съ Борноволоковымъ и свои блестящія надежды на служебную карьеру и наслѣдство въ самарской губерніи, а въ концѣ прибавлялъ легкій эскизъ видѣннаго имъ вчера старогородскаго общества, которое раскритиковалъ страшно и сдѣлалъ изъятіе для одной лишь почтмейстерши. «Эта женщина,— писалъ онъ,—

вполнѣ достойна того, чтобы на ней остановиться. Представь, что тутъ даже какъ будто что-то роковое; я увидалъ ее и сразу почувствовалъ къ ней что-то сыновнее. Просто скажу тебѣ, что, кажется, если бъ она меня захотѣла высѣчь, то я поцѣловалъ бы у нея съ благодарностью руку. А впрочемъ, я и самъ еще не знаю, чѣмъ это кончится; у нея есть двѣ дочери. Одна изъ нихъ настоящая мать, да и другая, вѣрно, будетъ не хуже. Кто, братъ, знаетъ, для чего неисповѣдимыя судьбы сблизили меня съ этимъ семействомъ высокоуважаемой женщины? Можетъ-быть, придется пропѣть: «ты прости-прощай, волюшка». Не осуждай, братъ, а лучше, когда будешь ѣхать домой, закати и самъ сюда на недѣльку! Кто, братъ, знаетъ, что и съ тобой будетъ, какъ увидишь? Одному, вѣдь, тоже жить не радостно, а тѣмъ паче теперь, когда мы съ тобой въ хлѣбѣ насущномъ обезпечены, да еще людямъ помогать можемъ! Затѣмъ прощай покуда. Я тебѣ, впрочемъ, вѣрно, опять скоро буду писать, потому что я изъ лица этой почтенной почтмейстерши задумалъ сдѣлать литературный очеркъ и черезъ тебя пошлю его, чтобы напечатать въ самомъ лучшемъ журналѣ. Твой Термосесовъ».

Адресовавъ письмо на имя Николая Ивановича Иванова, Термосесовъ погнулъ запечатанный конвертъ между двумя пальцами и, убѣдясь, что такимъ образомъ можно прочесть всю его приписку насчетъ почтмейстерши, крякнулъ и сказалъ: «ну-ка, посмотримъ теперь, правду ли говорилъ вчера Препотенскій, что она подлѣпливаетъ письма? Если правда, такъ я благоустроюсь».

Съ этимъ онъ взялъ письмо и карточки, и пошелъ въ почтовую контору. Кромѣ этого письма, въ карманѣ Термосесова лежало другое сочиненіе, которое онъ написалъ въ тѣ же ранніе часы, когда послалъ повѣстку Туберозову. Въ этомъ писаніи значилось:

«Комплотъ демократическихъ соціалистовъ, маскирующихся патріотизмомъ, встрѣчается повсюду, и здѣсь онъ группируется изъ чрезвычайно разнообразныхъ элементовъ, и что всего вредоноснѣе, такъ это то, что въ этомъ комплотѣ уже въ значительной степени участвуетъ духовенство, — элементъ чрезвычайно близкій къ народу и потому самый опасный. Результаты печальныхъ промаховъ либеральной терпимости здѣсь безмѣрны и неисчислимы. Скажу одно: съ

тѣхъ поръ, какъ нѣкоторымъ газетамъ дозволено было истолковать значеніе, какое имѣло русское духовенство въ Галиціи, и наши многіе священники видимо стремятся подражать галицкимъ духовнымъ. Они уже не довольствуются однимъ исполненіемъ церковныхъ требъ, а агитируютъ за свободу церкви и за русскую народность.

«Старогородскій протопопъ Савелій Туберозовъ, уже не однажды обращавшій на себя вниманіе начальства своимъ свирѣпымъ и дерзкимъ характеромъ и вреднымъ образомъ мыслей, былъ многократно и воздерживаемъ отъ своихъ непозволительныхъ поступковъ, но, однако, воздерживается весьма мало и въ сущности полонъ всякихъ революціонныхъ началъ.

«Не хочу предрѣшать, сколько онъ можетъ быть вреденъ цѣлямъ правительства, но я полагаю, что вредъ, который онъ можетъ принести, а частію уже и приноситъ, великъ безконечно. Протопопъ Туберозовъ пользуется здѣсь большимъ уваженіемъ у всего города, и должно сознаться, что онъ владѣетъ несомнѣннымъ умомъ и при томъ смѣлостью, которая, будучи развита долгимъ потворствомъ начальства, доходитъ у него до безстрашія. Такой человѣкъ долженъ бы быть во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ ограниченъ какъ можно строже, а онъ между тѣмъ говоритъ обо всемъ, нимало не стѣсняясь, и вдобавокъ еще пользуется правомъ говорить всенародно въ церкви.

«Этотъ духовный элементъ, столь близкій къ народу, съ другой стороны видимо начинаетъ сближаться и со всею земщиной, то-есть съ помѣстнымъ дворянствомъ. Такъ, напримѣръ, этотъ подозрительный протопопъ Туберозовъ пользуется, повидимому, расположеніемъ и покровительствомъ предводителя Туганова, личность и взгляды котораго столь вамъ извѣстны. Г. Тугановъ, бывъ здѣсь на вечерѣ у здѣшняго исправника, говорилъ, что «отъ земли застятъ солнце», очевидно, разумѣя подъ словомъ *земля*— народъ, а подъ солнцемъ—монарха, но а кто же заститъ, то уже не трудно опредѣлить, да, впрочемъ, онъ и самъ это объяснилъ, сказавъ въ разговорѣ, что онъ человѣкъ земскій, а «*губернаторъ калифъ на часъ*». И наконецъ, кромѣ всего этого, когда ему одинъ здѣшній учитель Препотенскій, человѣкъ совершенно глупый, но вполнѣ благонадежный, сказалъ, что всѣ мы не можемъ отвѣчать: чѣмъ

и какъ Россія управляется? то онъ съ наглою циничностью отвѣчалъ: «я, говоритъ, въ этомъ случаѣ питаю большое довѣріе къ словамъ Екатерининскаго Панина, который говорилъ, что *Россія управляется милостью Божіею и глупостью народною*». На все это имѣю честь обратить вниманіе вашего превосходительства, и при семъ считаю своею обязанностью свидѣтельствовать предъ вашимъ превосходительствомъ о незамѣнимыхъ заслугахъ находящагося при мнѣ вольнонаемнаго канцелярскаго служителя Измаила Петрова Термосесова, тонкой наблюдательности котораго и умѣнью проникать во всѣ слои общества я обязанъ многими драгоцѣнными свѣдѣніями, и смѣю выразить ту мысль, что если бы начальству угодно было употребить этого даровитаго человѣка къ самостоятельной работѣ въ наблюдательномъ родѣ, то онъ несомнѣнно могъ бы принесть пользу безмѣрную».

Идучи съ этою бумагой, Термосесовъ кусалъ себѣ губы и вопрошалъ себя:

«Подпишетъ ли каналья Борноволоковъ эту штуку? Да ничего,—хорошенько нажму, такъ все подпишетъ!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Термосесовъ зашелъ сначала въ контору, подалъ здѣсь письмо и потомъ непосредственно отправился къ почтмейстершѣ. Они встрѣтились друзьями; онъ поцѣловалъ ея руку, она чмокнула его въ темя и благодарила за честь его посѣщенія.

— Помилуйте, мнѣ васъ надо благодарить, — отвѣчалъ Термосесовъ: — такая скука. Даже всю ночь не спалъ отъ страху, гдѣ я и съ кѣмъ я?

— Да, она такая невнимательная, Дарья Николаевна, то-есть не невнимательная, а не хозяйка.

— Да, кажется.

— Какъ же! она вѣдь все за книгами.

— Скажите, какія глупости! Тутъ надо смотрѣть, а не читать. Я, знаете, какъ вчера всѣхъ вашихъ посмотрѣлъ и послушалъ... просто ужасъ.

— Ужъ я говорила вчера дочерямъ: весело, я говорю, должно-быть, было нашему заѣзжему гостю?

— Нѣтъ; относительно этого ничего. Я, вѣдь, служу не изъ-за денегъ, а больше для знакомства съ краемъ.

— Ахъ, такъ вы у насъ найдете бездну матеріаловъ для наблюденія!

— Вотъ именно *для наблюденія*! А вотъ кстати и тѣ портреты, которые вы мнѣ позволили принесть. Позвольте я ихъ развѣшу.

Почтмейстерша не знала, какъ ей благодарить.

— Это будетъ работа, которою я съ удовольствіемъ займусь, пока увижу вашихъ прекрасныхъ дочерей... Надѣюсь, я ихъ увижу?

Почтмейстерша отвѣчала, что онѣ еще не одѣты, потому что хозяйничаютъ, но что, тѣмъ не менѣе, онѣ выйдутъ.

— Ахъ, прошу васъ, прошу васъ объ этомъ,—умолялъ Термосесовъ, и когда обольщенная имъ хозяйка вышла, онъ сталъ размѣщать по стѣнѣ портреты на гвоздяхъ, которые принесъ съ собою въ карманѣ.

Туалетъ дѣвицъ продолжался около часа, и во все это время не являлась и почтмейстерша.

«Добрый знакъ, добрый знакъ! — думалъ Термосесовъ.— Вѣрно зачиталась моей литературы».

Но вотъ появились и предводимыя матерью дѣвицы. Измаилъ Петровичъ кинулъ быстрый и проницательный взглядъ на мать. Она сіяла и брызгала лучами восторга.

«Клюнула моего червячка, клюнула!» мигнулъ себѣ Термосесовъ и удесятерилъ свою очаровательную любезность. Но чтобы еще вѣрнѣй дознаться, «клюнула» ли почтмейстерша, онъ завелъ опять рѣчь о литературѣ и о своемъ дорожномъ альбомѣ впечатлѣній и замѣтокъ.

— Портретовъ! Бога ради, болѣе портретовъ! болѣе картинокъ съ натуры!—просила почтмейстерша.

— Да, я ужъ написалъ, какъ мнѣ представилось все здѣшнее общество и, простите, упомянулъ о васъ и о вашей дочери... Такъ, знаете, немножко, вскользь... Вотъ если бы можно было взять назадъ мое письмо, которое я только что подалъ...

— Ахъ, нѣтъ, на что же!—отвѣчала, вспыхнувъ, почтмейстерша.

«Клюнула, разбойница, клюнула!»—утѣшался Термосесовъ, и настаивалъ на желаніи прочесть дамамъ то, что онъ о нихъ написалъ. Въ залѣ долгое время только и слышалось: «Нѣтъ, на что же читать? мы вамъ и такъ вѣримъ!» и «Нѣтъ-съ, почему же не прочесть?.. Вы мнѣ, Бога ради, не довѣряйтесь!»

Доводы Термосесова слишкомъ соблазнительно дѣйствовали на любопытство дѣвицъ; изъ нихъ то одна, то другая начали порываться сбѣгать къ отцу въ контору и принесть интересное письмо заѣзжаго гостя.

Какъ почтмейстерша ни останавливала ихъ и словами и знаками, онѣ все-таки не понимали и рвались, но зато Термосесовъ понялъ все въ совершенствѣ: письмо было въ рукахъ хозяйки, теперь его надо было взять только изъ ея рукъ и тѣмъ ее самоё взять въ руки.

Термосесовъ, не задумываясь ни на одну минуту, сорвался съ мѣста и, не смотря на всѣ удерживанья и зовы, бросился съ предупредительностью въ контору, крича, что онъ, наконецъ, и самъ уже не властенъ отказать себѣ въ удовольствіи представить дамамъ легкіе штрихи своихъ глубокихъ отъ нихъ восторговъ.

Удержать его стремительности не могли никакія просьбы, а письма въ конторѣ, дѣйствительно, не было.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Измаилъ Петровичъ возвратился къ дамамъ въ крайнемъ смущеніи и засталъ ихъ въ еще бо̀льшемъ. Дѣвицы при его приходѣ обѣ вскочили и убѣжали, чтобы скрыть слезы, которыя прошибли ихъ отъ материнской гонки, но почтмейстерша сама осталась на жертву.

Термосесовъ сталъ передъ нею молча и улыбался.

— Я вижу васъ,—заговорила, жеманясь, дама: — и мнѣ стыдно.

— Письмо у васъ?

— Что̀ дѣлать? я не утерпѣла: вотъ оно.

— Это хорошо, что вы этимъ не пренебрегаете,—похвалилъ ее Термосесовъ, принимая изъ ея рукъ свое запечатанное письмо.

— Нѣтъ, мнѣ стыдно, мнѣ ужасно стыдно, но что̀ дѣлать... я женщина...

— Полноте, пожалуйста! Женщина! тѣмъ лучше, что вы женщина. Женщина-другъ всегда лучше друга-мужчины, а я довѣрчивъ какъ дуракъ и нуждаюсь именно въ такой... въ женской дружбѣ! Я сошелся съ господиномъ Борноволоковымъ... Мы давно друзья, и онъ и теперь именно болѣе мой другъ, чѣмъ начальникъ, по крайней мѣрѣ, я такъ думаю.

— Да, я вижу, вижу; вы очень довѣрчивы и простодушны.

— Я дуракъ-съ въ этомъ отношеніи! совершенный дуракъ! Меня маленькія дѣти и тѣ надуваютъ!

— Это нехорошо, это ужасно нехорошо!

— Ну, а что же вы сдѣлаете, когда ужъ такая натура? Мнѣ одна особа, которая знаетъ нашу дружбу съ Борноволоковымъ, говоритъ: ей, Измаилъ Петровичъ, ты слишкомъ глупо довѣрчивъ! Не полагайся, братъ, на эту дружбу коварную. Борноволоковъ въ глаза одно, а за глаза совсѣмъ другое о тебѣ говоритъ, но я все-таки не могу и вѣрю.

— Зачѣмъ же?

— Да вотъ подите жъ! какъ въ пѣсенкѣ поется: «И тебя возненавидѣть и хочу, да не могу». Не могу-съ, я не могу по однимъ подозрѣніямъ перемѣнять свое мнѣніе о человѣкѣ, но... если бы мнѣ представили доказательства!.. если бъ я могъ слышать, что онъ говоритъ обо мнѣ за глаза, или видѣть его письмо!... О, тогда я весь вѣкъ мой не забылъ бы услугъ этой дружбы.

Почтмейстерша пожалѣла, что она даже и въ глаза не видала этого коварнаго Борноволокова, и спросила: нѣтъ ли у Термосесова карточки этого предателя?

— Нѣтъ, карточки нѣтъ; но письмо есть. Вотъ его почеркъ.

И онъ показалъ и оставилъ на столѣ у почтмейстерши обрывокъ листка, исписаннаго рукой Борноволокова.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Эта вторая удочка была брошена еще мѣтче первой, и предъ вечеромъ, когда Термосесовъ сидѣлъ съ Борноволоковымъ и Бизюкинымъ за кофе, явился почтальонъ съ просьбой, чтобъ Измаилъ Петровичъ сейчасъ пришелъ къ почтмейстершѣ.

— А, да! я ей далъ слово ѣхать нынче съ ними за городъ въ какую-то рощу и было совсѣмъ позабылъ! — отвѣчалъ Термосесовъ и ушелъ вслѣдъ за почтальономъ.

Почтмейстерша встрѣтила его одна въ залѣ и, сжавъ его руку, прошептала:

— Ждите меня! я сейчасъ приду,—и съ тѣмъ она вышла.

Когда почтмейстерша чрезъ минуту обратно вернулась, Термосесовъ стоялъ у окна и билъ себя по спинѣ фураж-

кой. Почтмейстерша осмотрѣлась; заперла на ключъ дверь и, молча вынувъ изъ кармана письмо, подала его Термосесову.

Термосесовъ взялъ конвертъ, но не раскрывалъ его: онъ игралъ роль простяка и какъ будто ожидалъ поясненія, что̀ ему съ этимъ письмомъ дѣлать?

— Смѣло, смѣло читайте, сюда никто не взойдетъ,—проговорила ему хозяйка.

Термосесовъ прочелъ письмо, въ которомъ Борноволоковъ жаловался своей петербургской кузинѣ Нинѣ на свое несчастіе, что онъ въ Москвѣ случайно попался Термосесову, котораго при этомъ назвалъ «страшнымъ негодяемъ и мерзавцемъ», и просилъ кузину Нину «работать всѣми силами и связями, чтобы дать этому подлецу хорошее мѣсто въ Польшѣ, или въ Петербургѣ, потому что иначе онъ, зная всѣ *старыя глупости*, можетъ надѣлать чортъ знаетъ какого кавардаку, такъ какъ онъ способенъ удивить свѣтъ своею подлостью, да и къ тому же едва ли не воръ, такъ какъ всюду, гдѣ мы побываемъ, начинаются пропажи».

Термосесовъ дочиталъ это письмо своего друга и начальника очень спокойно, не дрогнувъ ни однимъ мускуломъ, и, кончивъ чтеніе, молча же возвратилъ его почтмейстершѣ.

— Узнаете вы своего друга?

— Не ожидалъ этого! Убей меня Богъ, не ожидалъ!— отвѣчалъ Термосесовъ, вздохнувъ и закачавъ головой.

— Я признаюсь,—заговорила почтмейстерша, вертя съ угла на уголъ возвращенное ей письмо: — я даже изумилась... Мнѣ моя дѣвушка говоритъ: барыня, барыня! какой-то незнакомый господинъ бросилъ письмо въ ящикъ! Я говорю: ну, что жъ такое? а сама, впрочемъ, думаю, зачѣмъ же письмо въ ящикъ? у насъ это еще не принято: у насъ письмо въ руки отдаютъ. Честный человѣкъ не станетъ таиться, что онъ посылаетъ письмо, а это непремѣнно какая-нибудь подлость! И вы не повѣрите, какъ и почему?.. просто по какому-то предчувствію говорю: нѣтъ, я чувствую, что это непремѣнно угрожаетъ чѣмъ-то этому молодому человѣку, котораго я... полюбила какъ сына.

Термосесовъ подалъ почтмейстершѣ руку и поцѣловалъ ея руку.

— Право,—заговорила почтмейстерша съ непритворными нервными слезами на глазахъ.—Право... я говорю, что онъ, онъ здѣсь одинъ... я его люблю, какъ сына; я въ этомъ не ошибаюсь и, слава Богу, что я это прочитала.

— Возьмите его, — продолжала она, протягивая письмо Термосесову:—возьмите и уничтожьте.

— Уничтожить? — зачѣмъ? Нѣтъ, я его не уничтожу. Нѣтъ; пусть его идетъ, куда послано, но копійку позвольте, я только сниму съ него для себя копійку.

Термосесовъ сразу сообразилъ, что хотя это письмо и не лестно для его чести, но зато весьма для него выгодно въ томъ отношеніи, что ужъ его, какъ человѣка опаснаго, непремѣнно пристроятъ на хорошее мѣсто.

Списавъ себѣ копію, Термосесовъ, однако, спряталъ въ карманъ и оригиналъ и ушелъ погулять.

Онъ проходилъ до поздняго вечера по загороднымъ полямъ и вернулся поздно, когда уже супруги Бизюкины отошли въ опочивальню, а Борноволоковъ сидѣлъ одинъ и что-то писалъ.

— Строчите вы, ваше сіятельство? Уже опять что-то строчите?—заговорилъ весело Термосесовъ.

Въ отвѣтъ послѣдовало одно короткое, безстрастное «да».

— Вѣрно, опять какую-нибудь гадость сочиняете?

Борноволоковъ вздрогнулъ.

— Ну, такъ и есть! — лѣниво произнесъ Термосесовъ, и вдругъ неожиданно заперъ дверь и взялъ ключъ въ карманъ.

Борноволоковъ вскочилъ и быстро началъ рвать написанную имъ бумажку.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Жестоковыйный проходимецъ расхохотался.

— Ахъ, какъ вы сполошились!—заговорилъ онъ.—Я заперъ дверь единственно для того, чтобы посвободнѣе съ вами поблагодушествовать, а вы все сочиненіе порвали.

Борноволоковъ сѣлъ.

— Подпишите вотъ эту бумажку. Только, чуръ, ее не рвать.

Термосесовъ положилъ предъ нимъ ту безформенную бумагу, въ которой описалъ правду и неправду о Туберозовѣ съ Тугановымъ и положилъ себѣ аттестацію.

Борноволоковъ безстрастно прочелъ ее всю отъ начала до конца.

— Что же,—спросилъ Термосесовъ, видя, что чтеніе окончено:—подписываете вы, или нѣтъ?

— Я могъ бы вамъ сказать: что я удивляюсь, но...

— Но я васъ уже отучилъ мнѣ удивляться! Я это прекрасно знаю, и я и самъ вамъ тоже не удивляюсь!—и Термосесовъ положилъ предъ Борноволоковымъ копію съ его письма кузинѣ Нинѣ, и добавилъ:

— Подлинникъ у меня-съ.

— У васъ?.. но какъ же вы смѣли?

— Ну, вотъ еще мы съ вами станемъ про смѣлость говорить! Этотъ документъ у меня по праву сильнаго и разумнаго.

— Вы его украли?

— Укралъ.

— Да это просто чортъ знаетъ что!

— Да какъ же не чортъ знаетъ что: быть другомъ и пріятелемъ, вмѣстѣ Россію собираться уничтожить, и вдругъ потомъ аттестовать меня чуть не послѣднимъ подлецомъ и негодяемъ! Нѣтъ, батенька: это нехорошо, и вы за то мнѣ совсѣмъ другую аттестацію пропишите.

Борноволоковъ вскочилъ и заходилъ.

— Сядьте: это вамъ ничего не поможетъ! — приглашалъ Термосесовъ.—Надо кончить дѣло миролюбно, а то я теперь съ этимъ вашимъ письмецомъ, заключающимъ указанія, что у васъ въ прошедшемъ хвостъ не чистъ, знаете куда могу васъ спрятать? Оттуда уже ни полячишки, ни кузина Нина не выручатъ.

Борноволоковъ нетерпѣливо хлопнулъ себя по ляжкамъ и воскликнулъ:

— Какъ вы могли украсть мое письмо, когда я его самъ своими руками опустилъ въ почтовый ящикъ?

— Ну, вотъ разгадывайте себѣ по субботамъ: какъ я укралъ? Это уже мое дѣло, а я въ послѣдній разъ вамъ говорю: подписывайте! На первомъ листѣ напишите вашу должность, чинъ, имя и фамилію, а на копіи съ вашего письма сдѣлайте скрѣпу и еще два словечка, которыя я вамъ продиктую.

— Вы... вы мнѣ продиктуете?

— Да, да; я вамъ продиктую, а вы ихъ напишите, и дадите мнѣ тысячу рублей отсталого.

— Отсталого!.. за что?

— За свой покой безъ меня.

— У меня нѣтъ тысячи рублей.

— Я вамъ подъ расписку повѣрю. Рублей сто, полтораста наличностью, а то я подожду... Только ужъ вотъ что: разговаривать я долго не буду: вуле-ву, такъ вуле-ву, а не вуле-ву, какъ хотите: я вамъ имѣю честь откланяться и удаляюсь.

Борноволоковъ шагалъ мимо по комнатѣ.

— Думайте, думайте! такого дѣла не обдумавши не слѣдуетъ дѣлать, но только все равно ничего не выдумаете: я свои дѣла аккуратно веду,—молвилъ Термосесовъ.

— Давайте я подпишу,—рѣзко сказалъ Борноволоковъ.

— Извольте-съ!

Термосесовъ обтеръ полой перо, обмакнулъ его въ чернило и почтительно подалъ Борноволокову вмѣстѣ съ копіей его письма къ петербургской кузинѣ Нинѣ.

— Что писать?

— Сейчасъ-съ.

Термосесовъ крякнулъ и началъ:

— Извольте писать: «Подлецъ Термосесовъ».

Борноволоковъ остановился и вытаращилъ на него глаза.

— Вы въ самомъ дѣлѣ хотите, чтобъ я написалъ эти слова?

— Непремѣнно-съ; пишите: «Подлецъ Термосесовъ»...

— И вамъ это даже не обидно?

— Вѣдь, все на свѣтѣ обидно, или не обидно, смотря по тому, отъ кого идетъ.

— Да; но говорите скорѣе, чего вы хотите далѣе; я написалъ: «Подлецъ Термосесовъ».

— Покорно васъ благодарю-съ. Продолжайте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Секретарь, стоя за стуломъ Борноволокова, глядѣлъ черезъ его плечо въ бумагу и продолжалъ диктовать: «Подлецъ Термосесовъ непостижимымъ и геніальнымъ образомъ досталъ мое собственноручное письмо къ вамъ, въ которомъ я, по неосторожности своей, написалъ то самое, что вы на этомъ листкѣ читаете выше, хотя это теперь написано рукой того же негодяя Термосесова».

— Довольно?

— Нѣтъ-съ, еще надо набавить. Извольте писать: «Какъ

онъ взялъ письмо, собственноручно мною отданное на почту, я этого не могу разгадать, но зато это же самое можетъ вамъ свидѣтельствовать объ отважности и предпріимчивости этого мерзавца, поставившаго себѣ задачей не отступать отъ меня и мучить меня, пока вы его не устроите на хорошее жалованье. Заклинаю васъ общимъ нашимъ благополучіемъ сдѣлать для него даже то, чего невозможно, ибо иначе онъ клянется открыть все, что мы дѣлали въ глупую пору нашего революціонерства».

— Нельзя ли послѣднія слова измѣнить въ редакціи?

— Нѣтъ-съ; я какъ Пилатъ: еже писахъ—писахъ.

Борноволоковъ дописалъ свое униженіе и отбросилъ листъ.

— Теперь вотъ эту бумагу о духовенствѣ и о вредныхъ движеніяхъ въ обществѣ просто подпишите.

Борноволоковъ взялъ въ руки перо и началъ еще разъ просматривать эту бумагу, раздумался и спросилъ:

— Что они вамъ сдѣлали, эти люди, Туберозовъ и Тугановъ?

— Ровно ничего.

— Можетъ-быть, они прекрасные люди...

— Очень можетъ быть.

— Ну, такъ за что же вы на нихъ клевещете? Вѣдь, это, конечно, клевета?

— Не все, а есть немножко и клеветы!

— За что же это?

— Что же дѣлать: мнѣ надо способности свои показать. За васъ, чистокровныхъ, вѣдь, дядья да тетушки хлопочутъ, а мы, парвенюшки, сами о себѣ печемся.

Борноволоковъ вздохнулъ и съ омерзѣніемъ подписалъ бумагу, на которой Термосесовъ строилъ его позоръ, Савеліеву гибель и собственное благополучіе.

Термосесовъ принялъ подписанную ябеду и, складывая бумагу, заговорилъ:

— Ну, а теперь третье дѣло сдѣлаемъ, и тогда шляпу надѣнемъ и простимся. Я заготовилъ векселекъ на восемьсотъ рублей и двѣсти прошу наличностью.

Борноволоковъ молчалъ и глядѣлъ на Термосесова, опершись на столъ локтями.

— Что же, въ молчанку, что ли, будемъ играть?

— Нѣтъ; я только смотрю на васъ и любуюсь.

— Любуйтесь, таковъ, какого жизнь устроила, и подпишите векселекъ и пожалуйте деньги.

— За что же, господинъ Термосесовъ? За что?

— Какъ за что? за прежнія тайныя удовольствія въ тиши ночей во святой Москвѣ, въ грѣховномъ Петербургѣ; за бесѣды, за планы, за списки, за всѣ, за всѣ забавы, которыхъ слѣдъ я сохранилъ и въ карманѣ, и въ памяти, и могу вамъ всю вашу карьеру испортить.

Борноволоковъ подписалъ вексель и выкинулъ деньги.

— Благодарю-съ,—отвѣсилъ Термосесовъ, пряча вексель и деньги:—очень радъ, что вы не торговались.

— А то бы что еще было?

— А то бы я вдвое съ васъ спросилъ.

Термосесовъ, забравъ всѣ свои вымогательства, сталъ искать фуражку.

— Я буду спать въ тарантасѣ,—сказалъ онъ:—а то тутъ вдвоемъ намъ душно.

— Да, это прекрасно, но вы же, надѣюсь, теперь отдадите мнѣ мое собственное письмо?

— Гм! ну, нѣтъ, не надѣйтесь: этого въ уговорѣ не было.

— Но на что же оно вамъ?

— Да этого въ договорѣ не было!

И Термосесовъ разсмѣялся.

— Хотите, я вамъ еще денегъ дамъ?

— Нѣтъ-съ, я не жаденъ-съ, съ меня довольно.

— Фу, какая вы...

— Скотина, что ли? Ничего, ничего, безъ церемоній, я не слушаю и бай-бай иду.

— Такъ выслушайте же, по крайней мѣрѣ, вотъ что: гдѣ брильянты, которые пропали у Бизюкиной?

— А я почему это долженъ знать?

— Вы... вы были съ ней гдѣ-то... въ бесѣдкѣ, что ли?

— Что же такое, что былъ? Тамъ и другіе тоже были: учителишка и дьяконъ.

— Да; ну, такъ скажите, по крайней мѣрѣ, не въ моихъ ли вещахъ гдѣ-нибудь эти брильянты спрятаны?

— А я почему могу это знать?

— Господи! этотъ человѣкъ меня съ ума сведетъ!—воскликнулъ Борноволоковъ, заметавшись.

— А вы вотъ что...—прошепталъ, сжавъ его руку, Термосесовъ:—вы не вздумайте-ка расписывать объ этомъ

своимъ кузинамъ, а то... здѣсь письма, вѣдь, не одинъ я читаю.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Пропавшіе брильянты Бизюкиной, лампопо, пораженіе Ахиллы и Препотенскаго, продѣлки съ Дарьей Николаевной и почтмейстершей, наконецъ, шахъ и матъ, данные Борноволокову, — все это, будучи дѣломъ почти однѣхъ сутокъ, немножко ошеломило самого Термосесова. Онъ чувствовалъ необолимую потребность выспаться и, растянувшись на сѣнѣ въ тарантасѣ, спалъ могучимъ крѣпкимъ сномъ до поздняго утра. Прохладный сарай, въ которомъ стоялъ экипажъ, обращенный Термосесовымъ въ спальню, оставался запертымъ, и Измаилъ Петровичъ, даже и проснувшись, долго еще лежалъ, потягивался, чесалъ пятки и размышлялъ.

Въ размышленіяхъ своихъ этотъ фруктъ нашего разсадника былъ особенно интересенъ съ той стороны, что онъ ни на минуту не возвращался къ прошлому и совершившемуся и не останавливался ни на одномъ изъ новыхъ лицъ, которыхъ онъ такъ круто и смѣло обошелъ самыми безцеремонными пріемами. Хотя это и можетъ показаться страннымъ, но позволительно сказать, что въ Термосесовѣ была даже своего рода незлобивость, смѣшанная съ безконечною нравственною неряшливостію нахала и пренебрежительностію ко всѣмъ людямъ и ко всякимъ мнѣніямъ. Онъ словно разъ навсегда порѣшилъ себѣ, что совѣсть, честь, любовь, почтеніе и вообще всѣ такъ-называемыя возвышенныя чувства,—все это вздоръ, гиль, чепуха, выдуманная философами, литераторами и другими сумасшедшими фантазерами. Онъ не отрицалъ,—нѣтъ, это было бы слишкомъ спорно,—онъ просто зналъ, что ничего подобнаго нѣтъ и что потому не стоитъ надъ этимъ и останавливаться. Не менѣе странно относился онъ и къ людямъ: онъ не думалъ, что предстоящая ему въ данную минуту личность жила прежде, до встрѣчи съ нимъ, и хочетъ жить и послѣ, и что потому у нея есть свои историческія оглядки и свои засматриванья впередъ. Нѣтъ, по его, каждый человѣкъ выскакивалъ предъ нимъ, какъ дождевой пузырь или грибъ, именно только на ту минуту, когда Термосесовъ его видѣлъ, и онъ съ нимъ тотчасъ же распоряжался и эксплуа-

тировалъ его самымъ дерзкимъ и безцеремоннымъ образомъ, и потомъ, какъ только тотъ отслуживалъ ему свою службу, онъ немедленно же просто позабывалъ его. На своемъ циническомъ языкѣ онъ простодушно говорилъ: «я кого обижу, послѣ на него никогда не сержусь», и это было вѣрно. Если бы теперь къ нему подъ сарай зашелъ Ахилла или Препотенскій, онъ могъ бы заговорить съ ними, нимало не смущаясь ничѣмъ происшедшимъ вчерашнею ночью.

Поймавъ Борноволокова, о которомъ давно было позабылъ, онъ схватился за него и сказалъ: я на немъ повисну! И повисъ. Встрѣтивъ Бизюкину, онъ пожелалъ за ней пріударить и пріударилъ; занимаясь ея развитіемъ чортъ знаетъ для чего, онъ метнулъ мыслью на возможность присвоить себѣ бывшіе на ней брильянты и немедленно же привелъ все это въ исполненіе и притомъ спряталъ ихъ такъ хитро, что если бы, чего Боже сохрани, Бизюкины довели до обыска, то брильянты оказались бы, конечно, не у Термосесова, а у князя Борноволокова, который носилъ эти драгоцѣнности чуть ли не на самомъ себѣ: онѣ были зашиты въ его шинели. О протопопѣ Туберозовѣ Термосесовъ, разумѣется, даже и совсѣмъ никогда не размышлялъ, и при первыхъ жалобахъ Бизюкиной на протопопа бросалъ на вѣтеръ обѣщанія стереть этого старика, но потомъ вдохновился мыслью положить его ступенью для зарекомендованія своихъ «наблюдательныхъ способностей», и теперь никакія силы не отвлекли бы его отъ упорнаго стремленія къ исполненію этого плана.

Если бы старый протопопъ это зналъ, то такая роль для него была бы самымъ большимъ оскорбленіемъ, но онъ, разумѣется, и на мысль не набредалъ о томъ, что для него готовится, и разъѣзжалъ себѣ на своихъ буркахъ изъ села въ село, отъ храма къ храму, проходилъ многія версты по лѣсамъ, отдыхалъ въ лугахъ и на рубежахъ нивъ и укрѣплялся духомъ въ лонѣ матери-природы.

А въ городѣ въ это время неустанными усиліями Термосесова была уже затравлена длинная петля. Жалоба мѣщанина Данилки возымѣла ходъ, ничтожное происшествіе стало дѣломъ, требующимъ рѣшенія по законамъ.

Ахилла былъ въ ужасѣ: онъ метался то туда, то сюда, всѣхъ спрашивая:

— Ахъ, браточки мои, куда меня теперь за Данилку засудятъ?

Судъ былъ для него страшнѣе всего на свѣтѣ.

Слухи о предстоящемъ судьбищѣ пополали изъ города въ уѣздъ и въ самыхъ нелѣпѣйшихъ преувеличеніяхъ дошли до Туберозова, который сначала имъ не вѣрилъ, но потомъ, получая отовсюду подтвержденія, встревожился и, не объѣхавъ всего благочинія, велѣлъ Павлюкану возвращаться въ городъ.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Шумныя извѣстія о напастяхъ на дьякона Ахиллу и о приплетеніи самого протопопа къ этому ничтожному дѣлу захватили о. Савелія въ далекомъ приходѣ, отъ котораго до города было по меньшей мѣрѣ двое сутокъ ѣзды.

Дни стояли невыносимо жаркіе. Отъ послѣдняго села, гдѣ Туберозовъ ночевалъ, до города оставалось ѣхать около пятидесяти верстъ. Протопопъ, не рано выѣхавъ, успѣлъ сдѣлать едва половину этого пути, какъ наступилъ жаръ неодолимый: бѣдные бурые коньки его мылились, потѣли и были жалки. Туберозовъ рѣшилъ остановиться на покормъ и послѣдній отдыхъ: онъ не хотѣлъ заѣзжать никуда на постоялый дворъ, а вспомнивъ очень хорошее мѣсто у опушки лѣса, въ такъ-называемомъ «Корольковомъ верху», рѣшился тамъ и остановиться въ холодкѣ.

Отсюда открывается обширная плоская покатость, въ концѣ которой почти за двадцать слишкомъ верстъ мелькаютъ золотыя главы городскихъ церквей, а сзади вѣковой лѣсъ, которому нѣтъ перерыва до сплошного полѣсья. Здѣсь глубокая тишина и прохлада.

Утомленный зноемъ, Туберозовъ лишь только вышелъ изъ кибитки, такъ сію же минуту почувствовалъ себя какъ нельзя лучше. Несмотря на повсемѣстный жаръ и истому, въ густомъ, темно-синемъ молодомъ дубовомъ подсѣдѣ стояла живительная свѣжесть. На упругихъ и какъ будто обмакнутыхъ въ зеленый воскъ листьяхъ молодыхъ дубковъ ни соринки. Повсюду живой, мягкій, успокоивающій матъ; изъ-подъ пестрой, трафаретной листвы папоротниковъ глядитъ ярко-красная волчья ягода; выше, вся озолоченная свѣтомъ, блещетъ сухая орѣшина, а вдали, на темно-коричневой торфянистой почвѣ, раскинуты цѣлыя семьи грибовъ и межъ нихъ кораллъ костяники.

Пока Павлюканъ въ одномъ бѣльѣ и жилетѣ отпрягалъ и проваживалъ потныхъ коней и устанавливалъ ихъ къ корму у растянутаго на оглобляхъ хрептюга, протопопъ походилъ немножко по лѣсу, а потомъ, взявъ изъ повозки коверчикъ, снесъ его въ зеленую лощинку, изъ которой бурливымъ ключомъ билъ гремучій ручей, умылся тутъ свѣжею водой и здѣсь же легъ отдохнуть на этомъ коверчикѣ.

Мѣрный рокотъ ручья и прохлада повѣяли здоровымъ «русскимъ духомъ» на опаленную зноемъ голову Туберозова, и онъ не замѣтилъ самъ, какъ заснулъ, и заснулъ нехотя: совсѣмъ не хотѣлъ спать, — хотѣлъ встать, а сонъ свалилъ и держитъ, — хотѣлъ что-то Павлюкану молвить, да дрема мягкою рукой ротъ зажала.

Дремотныя мечтанія протопопа были такъ крѣпки, что Павлюканъ напрасно трясъ его за плечи, приглашая встать и откушать каши, сваренной изъ крупы и молодыхъ грибовъ. Туберозовъ едва проснулся и, проговоривъ: «Кушай, мой другъ, мнѣ сладостно спится», снова заснулъ еще глубже.

Павлюканъ отобѣдалъ одинъ. Онъ собралъ ложки и хлѣбъ въ плетеный изъ лыка дорожный кошель, опрокинулъ на свѣжую траву котелъ и, заливъ водой костерчикъ, забрался подъ телѣгу и немедленно послѣдовалъ примѣру протопопа. Лошади отца Савелія тоже недолго стучали своими челюстями: и онѣ одна за другою скоро утихли, уронили головы и задремали.

Кругомъ стало сонное царство. Тишь до того нерушима, что изъ чащи лѣса сюда на опушку выскочилъ подлинялый заяцъ, сдѣлавъ прыжокъ, сѣлъ на заднія лапки, пошевелилъ усиками, но сейчасъ же и сконфузился: кинулъ за спину длинныя уши и исчезъ.

Туберозовъ отрывался отъ сна на томъ, что уста его съ непомѣрнымъ трудомъ выговаривали кому-то въ отвѣтъ слово: «здравствуй».

«Съ кѣмъ я это здравствуюсь? Кто былъ здѣсь со мной?» старается онъ понять, просыпаясь. И мнится ему, что сейчасъ возлѣ него стоялъ кто-то прохладный и тихій въ длинной одеждѣ цвѣта зрѣющей сливы... Это казалось такъ явственно, что Савелій быстро поднялся на локти, но увидѣлъ только, что вонъ спитъ Павлюканъ, вонъ его бурыя лошади, вонъ и кибитка. Все это просто и ясно. Вонъ даже при-

стяжная лошадь, наскучивъ покоемъ, скапываетъ съ головы оброть... Сбросила, отошла, повалялась, встала и нюхаетъ вѣтеръ. Туберозовъ продолжаетъ дремать, лошадь идетъ дальше и дальше; вотъ она щипнула густой муравы на опушкѣ; вотъ скусила верхушку молодого дубочка; вотъ, наконецъ, ступила на поросшій дикимъ клевероиъ рубежъ и опять нюхаетъ теплый вѣтеръ. Савелій все смотритъ и никакъ не пойметъ своего состоянія. Это не сонъ и не бдѣнье; влага, въ которой онъ спалъ, отуманила его; и въ головѣ точно паръ стоитъ. Онъ протеръ глаза и глянулъ вверхъ: высоко въ небѣ надъ его головой плаваетъ воронъ. Воронъ ли это, или коршунъ? Нѣтъ. Нѣтъ, соображаетъ старикъ, это непремѣнно воронъ: онъ держится стойче и круги его шире... А вотъ долетаетъ оттуда, какъ брошенная горстка гороху, ку-у-рлю. Это воронье ку-у-рлю, это воронъ. Что онъ назираетъ оттуда? Что ему нужно? Онъ усталъ парить въ поднебесьѣ и, можетъ-быть, хочетъ этой воды. И Туберозову приходитъ на память легенда, прямо касающаяся этого источника, который, по преданію, имѣетъ особенное чудесное происхожденіе. Чистый, прозрачный водоемъ ключа похожъ на врытую въ землю хрустальную чашу. Образованіе этой котловины приписываютъ громовой стрѣлѣ. Она пала съ небесъ и проникла здѣсь въ нѣдра земли, и тоже опять по совершенно особенному случаю. Тутъ будто бы нѣкогда, разумѣется очень давно, палъ изнемогшій въ бою русскій витязь, а его одного отовсюду облегла несмѣтная сила невѣрныхъ. Погибель была неизбѣжна; и витязь взмолился Христу, чтобы Спаситель избавилъ его отъ позорнаго плѣна, и преданіе гласитъ, что въ то же мгновеніе изъ-подъ чистаго неба внизъ стрекнула стрѣла и взвилась опять кверху и грянулъ ударъ, и кони татарскіе пали на колѣни и сбросили своихъ всадниковъ, а когда тѣ поднялись и встали, то витязя уже не было, и на мѣстѣ, гдѣ онъ стоялъ, гремя и сверкая алмазною пѣной, билъ вверхъ высокою струей ключъ студеной воды, сердито рвалъ ребра оврага и серебристымъ ручьемъ разбѣгался вдали по зеленому лугу.

Родникъ почитаютъ всѣ чудеснымъ и повѣрье гласитъ, что въ водѣ его кроется чудотворная сила, которую будто бы знаютъ даже и звѣри, и птицы. Это всѣмъ вѣдомо, про это всѣ знаютъ, потому что тутъ всегдашнее таинственное присутствіе Ратая вѣры. Здѣсь вѣра творитъ чудеса и от-

того все здѣсь такъ сильно и крѣпко, отъ вершины столѣтняго дуба до гриба, который ютится при его корнѣ. Даже, повидимому, совершенно умершее здѣсь оживаетъ: вонъ тонкая сухая орѣшина; ее опалила молонья, но на ея кожурѣ выше корня, какъ зеленымъ воскомъ, выведенъ «Петровъ крестъ», и отсюда опять пойдетъ новая жизнь. А въ грозу здѣсь, говорятъ, бываетъ не шутка.

«Что же; есть вѣдь, какъ извѣстно, такія наэлектризованныя мѣста», подумалъ Туберозовъ, и почувствовалъ, что у него какъ будто шевелятся сѣдые волосы. Только-что всталъ на ноги, какъ въ нѣсколькихъ шагахъ предъ собою увидалъ небольшое бланжевое облачко, которое, мѣняя слегка очертанія, тихо ползло надъ рубежомъ, по которому бродила свободная лошадь. Облачко точно прямо шло на коня и, настигнувъ его, вдругъ засновало, вскурилось и разнеслось какъ дымъ пушечнаго жерла. Конь дико всхрапнулъ и въ испугѣ понесся, не чуя подъ собой земли.

Это была дурная вещь. Туберозовъ торопливо вскочилъ, разбудилъ Павлюкана, помогъ ему вскарабкаться на другого коня и послалъ его въ погоню за испуганною лошадью, которой между тѣмъ уже не было и слѣда.

— Спѣши, догоняй,—сказалъ Савелій дьячку и, вынувъ свои серебряные часы, поглядѣлъ на нихъ: былъ въ началѣ четвертый часъ дня.

Старикъ сѣлъ въ тѣни съ непокрытою головой, зѣвнулъ и неожиданно вздрогнулъ: ему вдалекѣ послышался тяжелый грохотъ.

— «Что бы это такое: неужто громъ?»

Съ этимъ онъ снова всталъ и, отойдя отъ опушки, увидѣлъ, что съ востока, дѣйствительно, шла темная туча. Гроза застигала Савелія однимъ-одинёшенька, среди лѣса и полей, приготовлявшихся встрѣтить ея нестершимое дыханіе.

Опять ударъ, нива заколебалась сильнѣй и по ней полоснуло свѣжимъ холодомъ.

Къ черной тучѣ, которою заслоненъ весь востокъ, снизу взмывали клубами меньшія тучки. Ихъ будто что-то подтягивало и подбирало какъ кулисы, и по всему этому нѣтъ-нѣтъ и прорѣжетъ огнемъ. Точно магъ, готовый дать страшное представленіе, въ послѣдній разъ осматриваетъ

съ фонаремъ въ рукѣ темную сцену, прежде чѣмъ зажжетъ всѣ огни и поднимете завѣсу. Черная туча ползетъ, и чѣмъ она ближе, тѣмъ кажется непроглядней. Не пронесетъ ли ее Богъ? Не разразится ли она гдѣ подальше? Но нѣтъ: вонъ, по ея верхнему краю, тихо сверкнула огнистая нить и молніи замигали и зарѣяли разомъ по всей темной массѣ. Солнца уже нѣтъ: тучи покрыли его дискъ и его длинные, какъ шпаги, лучи, посвѣтивъ мгновеніе, тоже сверкнули и скрылись. Вихорь засвисталъ и защелкалъ. Облака заволновались точно знамена. По бурому полю зрѣющей ржи запестрѣли широкія бѣлыя пятна и пошли ходенемъ; въ одномъ мѣстѣ падетъ будто съ неба одно, въ другомъ—сядетъ широко другое и разомъ пойдутъ навстрѣчу другъ-другу, сольются и оба исчезнутъ. У межи при дорогѣ вѣтеръ треплетъ колосъ такъ странно, что это какъ будто и не вѣтеръ, а кто-то живой притаился у корня и злится. По лѣсу шумъ. Вотъ и надъ лѣсомъ зигзагъ; и еще вотъ черкнуло совсѣмъ по верхушкамъ и вдругъ тихо... все тихо!.. ни молній, ни вѣтру: все стихло. Это тишина предъ бурей: все запоздавшее спрятать себя отъ невзгоды пользуется этою послѣднею минутой затишья; нѣсколько пчелъ пронеслось мимо Туберозова, какъ будто онѣ не летѣли, а несло ихъ напоромъ вѣтра. Изъ темной чащи кустовъ, которые казались теперь совсѣмъ черными, выскочило нѣсколько перепуганныхъ зайцевъ и залегли въ межѣ вровень съ землею. По травѣ, которая при теперешнемъ освѣщеніи тоже черна, какъ асфальтъ, прокатился серебристый клубокъ и юркнулъ подъ землю. Это ёжъ. Все убралось, что̀ куда можетъ. Вотъ и послѣдній, недавно рѣявшій, вороно̀къ плотно сжалъ у плечъ крылья и, ринувшись внизъ, тяжело закопошился въ вершинѣ высокаго дуба.

ГЛАВА ВОСЬМНАДЦАТАЯ.

Туберозовъ не былъ трусомъ, но онъ былъ человѣкъ нервный, а такими людьми въ пору большихъ электрическихъ разряженій овладѣваетъ невольное и неодолимое безпокойство. Такое безпокойство чувствовалъ теперь и онъ, озираясь вокругъ и соображая, гдѣ бы, на какомъ бы мѣстѣ, ему безопаснѣе встрѣтить и переждать готовую грянуть грозу.

Первымъ его движеніемъ было броситься къ своей повозкѣ, сѣсть въ нее и закрыться, но чуть только онъ умѣстился здѣсь, лѣсъ заскрипѣлъ и кибитку затрясло какъ лубочную люльку. Ясно было, что это пріютъ не надежный: кибитка могла очень легко опрокинуться и придавить его.

Туберозовъ выскочилъ изъ-подъ своего экипажа и бросился бѣгомъ въ ржаное поле; крутившій встрѣчь и съ боковъ вѣтеръ останавливалъ его, рвалъ его назадъ за полы и свисталъ, и трубилъ, и визжалъ, и гайгайкалъ ему въ уши.

Туберозовъ бросился въ ложбину къ самому роднику; а въ хрустальномъ резервуарѣ ключа еще безпокойнѣе: вода здѣсь бурлила и кипѣла, и изъ-подъ расходящихся по ней круговъ точно выбивался наружу кто-то замкнутый въ нѣдрахъ земли. И вдругъ, въ темносвинцовой массѣ воды, внезапно сверкнуло и разлилось кровавое пламя. Это ударъ молніи, но что это за странный ударъ! Стрѣлой въ два зигзага онъ упалъ сверху внизъ и, отраженный въ водѣ въ то же мгновеніе, такимъ же зигзагомъ, взвился подъ небо. Точно небо съ землею переслалось огнями; грянулъ трескучій ударъ, какъ отъ массы брошенныхъ съ кровли желѣзныхъ полосъ, и изъ родника вверхъ цѣлымъ фонтаномъ взвилось облако брызгъ.

Туберозовъ закрылъ лицо руками, палъ на одно колѣно и поручилъ душу и жизнь свою Богу, а на поляхъ и въ лѣсу пошла одна изъ тѣхъ грозовыхъ переналокъ, которыя всего краснорѣчивѣе напоминаютъ человѣку его беззащитное ничтожество предъ силой природы. Рѣяли молніи; съ грохотомъ несся ударъ за ударомъ, и вдругъ Туберозовъ видитъ предъ собою темный стволъ дуба и къ нему плыветъ свѣтящійся, какъ тусклая лампа, шаръ; чудная искра посрединѣ дерева блеснула ослѣпляющимъ свѣтомъ, выросла въ комъ и разорвалась. Въ воздухѣ грянуло страшное: бббахъ! У старика сперло дыханіе и на всѣхъ перстахъ его на рукахъ и ногахъ завертѣлись горячія кольца, тѣло болѣзненно вытянулось, подломилось и пало... Сознаніе было одно,—это сознаніе, что *все рушилось*. Конецъ! промелькнуло въ головѣ протопопа, и дальше ни слова. Протопопъ не замѣчалъ, сколько времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ его оглушило, и долго ли онъ былъ безъ сознанія.

Приходя въ себя, онъ услыхалъ, какъ по небу вдалекѣ тяжело и неспѣшно прокатило и стихло! Гроза проходила. Савелій поднялъ голову, оглянулся вокругъ и увидалъ въ двухъ шагахъ отъ себя на землѣ нѣчто огромное и безобразное. Это была цѣлая куча вѣтвей, цѣлая вершина громаднаго дуба. Дерево было какъ ножомъ срѣзано у самаго корня и лежало на землѣ, а изъ-подъ вѣтвей его, смѣшавшихся съ колосомъ ржи, раздавался противный рѣжущій крикъ: это дралъ глотку давешній воронъ. Онъ упалъ вмѣстѣ съ деревомъ, придавленъ тяжелою вѣтвью къ землѣ и, разинувъ широко пурпуровую пасть, судорожно бился и отчаянно кричалъ.

Туберозовъ быстро отпрыгнулъ отъ этого зрѣлища такимъ бодрымъ прыжкомъ, какъ бы ему было не семьдесятъ лѣтъ, а семнадцать.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Гроза какъ быстро подошла, такъ быстро же и пронеслась: на мѣстѣ черной тучи вырѣзывалась на голубомъ просвѣтѣ розовая полоса, а на мокромъ мѣшкѣ съ овсомъ, который лежалъ на козлахъ кибитки, уже весело чирикали воробьи и смѣло таскали мокрыя зерна сквозь дырки мокрой рѣднины. Лѣсъ весь оживалъ; послышался тихій, ласкающій свистъ, и на межу, звонко скрипя крыльями, спустилася пара степныхъ голубей. Голубка разостлала по землѣ крылышко, черкнула по немъ красненькою лапкой и, поставивъ его парусомъ кверху, закрылась отъ дружки. Голубь надулъ зобъ, поклонился ей въ землю и заговорилъ ей печально «умру». Эти поклоны заключаются поцѣлуями, и крылышки трепетно бьются въ густой бахромѣ мелкой полыни. Жизнь началась. Невдалекѣ послышался топотъ: это Павлюканъ. Онъ ѣхалъ верхомъ на одной лошади, а другую велъ въ поводу.

— Ну, отецъ, живы вы! — весело кричалъ онъ, подъѣзжая и спѣшиваясь у кибитки. — А я было, знаете, шибко спѣшилъ, чтобы васъ однихъ не застало, да какъ этотъ громище, какъ треснулъ, я такъ, знаете, съ лошади всею моею мордою о-земь и чокнулъ... А это дубъ-то срѣзало?

— Срѣзало, другъ, срѣзало. Давай запряжемъ и поѣдемъ.

— Боже мой, знасте, силища!

— Да, другъ, поѣдемъ.

— Теперь, знаете, легкое повѣтріе, ѣхать чудесно.

— Чудесно, запрягай скорѣй; чудесно.

И Туберозовъ нетерпѣливо взялся помогать Павлюкану.

Выкупанные дождемъ кони въ минуту были вприряжены, и кибитка протопопа покатила, плеща колесами по лужамъ колеистаго проселка.

Воздухъ былъ благорастворенѣйшій; освѣщеніе теплое; съ полей несся легкій парокъ; въ воздухѣ пахло орѣшиной. Туберозовъ, сидя въ своей кибиткѣ, чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ не чувствовалъ давно, давно. Онъ все глубоко вздыхалъ и радовался, что можетъ такъ глубоко вздыхать. Словно орлу обновились крылья!

У городской заставы его встрѣтилъ малиновый звонъ колоколовъ; это былъ благовѣстъ ко всенощной.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Кибитка Туберозова въѣхала на самый дворъ.

— Господи, что я за тебя, отецъ Савелій, изстрадалася!— кричала Наталья Николаевна, кидаясь навстрѣчу мужу.— Этакой громъ, а ты, сердце мое, былъ одинъ.

— О, голубка моя, да я былъ на шагъ отъ смерти!

И протопопъ разсказалъ женѣ все, что было съ нимъ у Гремучаго ключа, и добавилъ, что отнынѣ онъ живетъ словно вторую жизнь, не свою, а чью-то иную, и въ семъ видитъ себѣ и урокъ, и укоризну, что словно никогда не думалъ о бренности и ничтожествѣ своего краткаго вѣка.

Наталья Николаевна только моргала глазками и, вздохнувъ, проговорила:—А ты теперь покушать не хочешь ли? но видя, что мужъ въ отвѣтъ на это качнулъ отрицательно головой, она освѣдомилась о его жаждѣ.

— Жажда?—повторилъ за женою Савелій:—да, я жажду.

— Чайку?

Протопопъ улыбнулся и, поцѣловавъ жену въ темя, сказалъ:

— Нѣтъ, истины.

— Ну, что же? и благословенъ Богъ твой, ты что ни учредишь, все хорошо.

— Да, ну, я буду умываться, а ты, мой другъ, разсказывай мнѣ, что тутъ дѣлаютъ съ дьякономъ. И протопопъ подошелъ къ блестящему мѣдному рукомойнику и сталъ умываться, а Наталья Николаевна сообщила, что знала объ

Ахиллѣ, и вывела, что все это дѣлается не иначе, какъ на зло ея мужу.

Протопопъ молчалъ и, сдѣлавъ свой туалетъ, взялъ трость и шляпу, и отправился въ церковь, гдѣ на эту пору шла всенощная.

Минутъ черезъ пять, стоя въ сторонкѣ у жертвенника въ алтарѣ, онъ положилъ на покатой доскѣ озареннаго закатомъ окна листокъ бумаги и писалъ на немъ. Что такое онъ писалъ? Мы это можемъ прочесть изъ-подъ его руки.

Вотъ этотъ манускриптъ, адресованный Савеліемъ исправнику Порохонцеву: «Имѣя завтрашняго числа совершить соборнѣ литургію по случаю торжественнаго дня, долгомъ считаю извѣстить объ этомъ ваше высокородіе, всепокорнѣйше прося васъ нынѣ же заблаговременно оповѣстить о семъ съ надлежащею росписки всѣхъ чиновниковъ города, дабы они пожаловали во храмъ. А наипаче сіе прошу рекомендовать тѣмъ изъ служебныхъ лицъ, кои сею обязанностью наиболѣе склонны манкировать, такъ какъ я предопредѣлилъ о подаваемомъ ими дурномъ примѣрѣ донести неукоснительно по начальству. Въ принятіи же сего вѣдѣнія, ваше высокородіе всепокорно прошу росписаться».

Протоіерей потребовалъ разсыльную церковную книгу; выставилъ на бумагѣ нумеръ, собственноручно записалъ ее и тотчасъ же послалъ ее съ понамаремъ по назначенію.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Ночь, послѣдовавшая за этимъ вечеромъ въ домѣ Савелія, напоминала ту, когда мы видѣли старика за его журналомъ: онъ также былъ одинъ въ своемъ зальцѣ, также ходилъ, также садился, писалъ и думалъ, но передъ нимъ не было его книги. На столѣ, къ которому онъ подходилъ, лежалъ маленькій, пополамъ перегнутый, листокъ и на этомъ листкѣ онъ какъ бисеромъ часто и четко нанизывалъ слѣдующія отрывочныя замѣтки: «Боже, судъ Твой Цареви даждь и правду Твою сыну Цареву».

«Обыденный приступъ отъ вчерашняго моего положенія подъ грозою. Воронъ: какъ онъ спрятался отъ грозы въ крѣпчайшій дубъ и нашелъ гибель тамъ, гдѣ ждалъ защиту.

«Сколь поучителенъ мнѣ этотъ воронъ. Тамъ ли спасенье, гдѣ его чаемъ,—тамъ ли погибель, гдѣ оной боимся?

«Безмѣрное наше умствованіе, порабощающее разумъ.

Ученость, отвергающая возможность постиженія доселѣ постижимаго.

«Недостаточность и неточность свѣдѣній о душѣ. Непониманіе натуры человѣка и проистекающее отсель безстрастное равнодушіе къ добру и злу и кривосудство о поступкахъ: оправданіе неоправдимаго и порицаніе достойнаго. Моисей, убившій египтянина, который билъ еврея, не подлежитъ ли осужденію съ ложной точки зрѣнія иныхъ либераловъ, осуждающихъ горячность патріотическаго чувства? Іуда предатель съ точки зрѣнія «слѣпо почивающихъ въ законѣ» не заслуживаетъ ли награды, ибо онъ «соблюлъ законъ», предавъ учителя, преслѣдуемаго правителями? (Иннокентій Херсонскій и его толкованіе). Дніе наши также лукавы: укоризны небезпристрастнымъ противъ ухищреній тайныхъ враговъ государства. Великая утрата заботы о благѣ родины и какъ послѣдній примѣръ небреженье о молитвѣ въ день народныхъ торжествъ, сведенной на единую формальность.

«*Толкованіе* словъ: «Боже, судъ Твой Цареви даждь» въ смыслѣ: «да тихое и мирное житіе поживемъ» (Ап. Павелъ). Сколь такое житіе важно? Примѣръ: Ровоамъ послѣ Соломона, окруженный друзьями и совоспитанными съ нимъ и предстоящими предъ лицомъ его, лукаво представлявшими ему, что облегченіе народу есть уничиженіе собственнаго его царева достоинства, и какъ онъ по ихъ совѣту пріумножилъ бѣдствія Израиля. «Отецъ мой, наложи на васъ яремъ тяжекъ; азъ же приложу къ ярему вашему» (кн. Царствъ 11, 12). Происшедшія отъ сего несчастія и раздѣленіе царства.

«Ясно отсюда, что намъ надлежитъ желать и молиться, дабы сердце Царево не было ни въ какихъ рукахъ человѣческихъ, а въ рукахъ Божіихъ.

«Но мы преступно небрежемъ этою заботою, и мнѣ, если доводится видѣть въ такой день храмъ не пустымъ, то я даже недоумѣваю, чѣмъ это объяснить? Перебираю всѣ догадки и вижу, что нельзя этого ничѣмъ инымъ объяснить, какъ страхомъ угрозы моей, и отсель заключаю, что всѣ эти молитвенники—слуги лукавые и лѣнивые, и молитва ихъ не молитва, а наипаче есть торговля, торговля во храмѣ, видя которую Господь нашъ І. Х. не только возмутился божественнымъ духомъ своимъ, но и вземь вервіе и изгна ихъ изъ храма.

«Слѣдуя его божественному примѣру, я порицаю и осуждаю сію торговлю совѣстью, которую вижу предъ собою во храмѣ. Церкви противна сія наемничья молитва. Можетъ быть довлѣло бы мнѣ взять вервіе и выгнать имъ вонъ торгующихъ нынѣ въ храмѣ семъ, да не блазнится о лукавствѣ ихъ вѣрное сердце. Да будетъ слово мое имъ вмѣсто вервія. Пусть лучше будетъ праздненъ храмъ, я не смущуся сего: я изнесу на главѣ моей тѣло и кровь Господа моего въ пустыню и тамъ предъ дикими камнями въ затрапезной ризѣ запою: «Боже, судъ Твой Цареви даждь и правду Твою сыну Цареву», да соблюдется до вѣка Русь, ей же благодѣялъ еси!

«*Воззваніе заключительное:* не положи ея, Творче и Содѣтелю! въ посмѣяніе народамъ чужимъ, ради лукавства слугъ ея злосовѣстливыхъ и недоброслужащихъ».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Это была программа поученія, которую хотѣлъ сказать и сказалъ на другой день Савелій предъ всѣми собранными имъ во храмѣ чиновниками, закончивъ такимъ сказаніемъ не только свою проповѣдь, но и все свое служеніе церкви.

Старогородская интеллигенція находила, что это не проповѣдь, а революція, и что если протопопъ пойдетъ говорить въ такомъ духѣ, то чиновнымъ людямъ скоро будетъ неловко даже выходить на улицу. Даже самые друзья и пріятели Савелія строго обвиняли его въ неосторожномъ возбужденіи страстей черни. На этомъ возбужденіи друзья его сошлись съ его врагами, и въ одно общимъ хоромъ гласили: нѣтъ, этого терпѣть нельзя! Исключеніе изъ общаго хора составляли заѣзжіе: Борноволоковъ и Термосесовъ. Они хотя слышали проповѣдь, но ничего не сказали и не надулись. Напротивъ, Термосесовъ, возвратясь отъ обѣдни, подошелъ со сложенными руками къ Борноволокову, и чрезвычайно счастливый прочелъ: «Нынѣ отпущаеши раба твоего.»

— Что это значитъ,—освѣдомился начальникъ.

— Это значитъ, что я отъ васъ отхожу. Живите и будьте счастливы, но на отпускѣ еще послѣднюю дружбу: черкните начальству, что, молъ, попъ, про котораго писано мной, забывъ сегодня все уваженіе, подобающее торжественному дню, сказалъ крайне возмутительное слово, о которомъ устно

будетъ имѣть честь изложить посылаемый мною господинъ Термосесовъ.

— Чортъ васъ возьми! Напишите, я подпишу.

Друзья уже совсѣмъ были готовы разстаться, но разлука ихъ на минуту замедлилась внезапнымъ появленіемъ блѣднаго и перепуганнаго мѣщанина Данилки, который влетѣлъ весь мокрый и растерзанный предъ очи Борноволокова и, повалясь ему въ ноги, завопилъ:

— Батюшка, сошлите меня, куда милость ваша будетъ, а только мнѣ теперь здѣсь жить невозможно! Сейчасъ народъ, на берегу собравшись, такъ всѣ къ моей мордѣ и подсыкаются.

И Данилка объяснилъ, что ему чуть не смертью грозятъ за то, что онъ противъ протопопа просьбу подалъ и въ доказательство указалъ на свое мокрое и растерзанное рубище, доложивъ, что его сію минуту народъ съ моста въ рѣку сбросилъ.

— Превосходно!.. Бунтъ! — радостно воскликнулъ Термосесовъ и, надѣвъ посреди комнаты фуражку, замѣтилъ своему начальнику:—Видите, какъ дѣлаютъ дѣла!

Термосесовъ уѣхалъ, а вслѣдъ за нимъ въ другую сторону уѣхалъ и Борноволоковъ обнаруживать иные безпорядки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Въ Старогородѣ проповѣдь Туберозова уже забывалась. Но къ вечеру третьяго дня въ городъ на почтовой телѣгѣ пріѣхала пара оригинальныхъ гостей: длинный сухожильный квартальный и толстый, какъ мужичій блинъ, консисторскій чиновникъ съ пуговочнымъ носомъ.

Это были послы по Савеліеву душу: протопопа подъ надзоромъ ихъ требовали въ губернскій городъ. Черезъ полчаса это зналъ весь городъ, и къ дому Туберозова собрались люди, а черезъ часъ дверь этого дома отворилась и изъ нея вышелъ готовый въ дорогу Савелій. Наталья Николаевна провожала мужа, идучи возлѣ него и склонясь своею голубиною головкой къ его локтю.

Они оба умѣли успокоить другъ друга и теперь не разслабляютъ себя ни единою слезой.

Ожидавшій выхода протопопа народъ шарахнулся впередъ и загудѣлъ.

Туберозовъ снялъ шляпу, поклонился ниже пояса на всѣ стороны.

Гомонъ затихъ; у многихъ навернулись слезы и всѣ стали креститься.

Изъ-за угла тихо выѣхала спрятанная тамъ, по деликатному распоряженію исправника, запряженная тройкой, почтовая телѣга.

Протопопъ поднялъ ногу на ступицу и взялся рукою за грядку, въ это время квартальный подхватилъ его подъ локоть снизу, а чиновникъ потянулъ за другую руку вверхъ... Старикъ гадливо вздрогнулъ и голова его заходила на шеѣ, какъ у куклы на проволочной пружинѣ.

Наталья Николаевна подскочила къ мужу и, схвативъ его руку, прошептала:

— Одну только жизнь свою пощади!

Туберозовъ отвѣчалъ ей:

— Не хлопочи: жизнь уже кончена; теперь начинается «житіе».

Часть четвертая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

«Жизнь кончилась и начинается житіе»,—сказалъ Туберозовъ въ послѣднюю минуту предъ отъѣздомъ своимъ къ отвѣту. Непосредственно затѣмъ уносившая его борзая тройка взвилась на гору и исчезла изъ виду.

Народъ, провожавшій протопопа, постоялъ-постоялъ и началъ расходиться. Наступила ночь: всѣ ворота и калитки заперлись на засовы, и мѣсяцъ, глядя съ высокаго неба, назиралъ на осиротѣломъ протопоповскомъ дворѣ одну осиротѣлую же Наталью Николаевну.

Она не спѣшила подъ кровлю и, плача, сидѣла на томъ же крылечкѣ, съ котораго недавно сошелъ ея мужъ. Она, рыдая, бьется своею маленькою головкой о перила, и нѣтъ съ ней ни друга, ни утѣшителя! Нѣтъ; это было не такъ. Другъ у нея есть, и другъ крѣпкій...

Предъ глазами плачущей старушки, въ широко распахнувшуюся калитку, влѣзъ съ непокрытою курчавою головою дьяконъ Ахилла. Онъ въ короткомъ толстомъ казакинѣ и широкихъ шароварахъ, нагруженъ какими-то мѣшками и ведетъ за собой пару лошадей, изъ которыхъ на каждой громоздится большой и тяжелый вьюкъ. Наталья Николаевна молча смотрѣла, какъ Ахилла ввелъ на дворъ своихъ лошадей, сбросивъ на землю вьюки, и, возвратившись къ калиткѣ, заперъ ее твердою хозяйскою рукой и положилъ ключъ къ себѣ въ шаровары.

— Дьяконъ! Это ты сюда ко мнѣ!—воскликнула, догадавшись о намѣреніяхъ Ахиллы, Наталья Николаевна.

— Да, скорбная мати, я переѣхалъ, чтобы беречь васъ.

Они обнялись и поцѣловались, и Наталья Николаевна пошла досиживать ночь въ свою спаленьку, а Ахилла, поставивъ подъ сарай своихъ коней, разостлалъ на крыльцѣ войлокъ, легъ навзничь и уставился въ звѣздное небо.

Цѣлую ночь онъ не спалъ, все думалъ думу: какъ бы теперь, однако, помочь своему министру юстиціи? Это совсѣмъ не то, что Варнавку избить? Тутъ нужно бы умомъ подвигать. Какъ же это: однимъ умомъ, безъ силы? Если бы хоть при этомъ... какъ въ сказкахъ, коверъ-самолетъ, или сапоги-скороходы, или... невидимку бы шапку! Вотъ тогда бы онъ зналъ, что сдѣлать очень умное, а то... Дьяконъ рѣшительно не зналъ за что взяться, а взяться было необходимо.

Добравшись до самолета-ковра и невидимки-шапки, непривычный ни къ какимъ умственнымъ ухищреніямъ, Ахилла словно освободился отъ непосильной ноши, вздохнулъ и самъ полетѣлъ на коврѣ; онъ прошелъ никѣмъ невидимый въ сапогахъ и въ шапкѣ къ одному и къ другому изъ важныхъ лицъ, къ которымъ безъ этихъ сапогъ пройти не надѣялся, и того и другого толкнулъ слегка соннаго въ ребра и началъ имъ говорить: «не обижайте попа Савелія, а то послѣ сами станете тужить, да не воротите».

И вотъ, слыша невидимый голосъ, всѣ важныя лица завертѣлись на своихъ пышныхъ постеляхъ и всѣ побѣжали, всѣ закричали: «О, Бога ради, заступитесь поскорѣе за попа Савелія!» Но все это въ нашъ вѣкъ только и можно лишь со скороходами-сапогами и съ невидимкою-шапкой, и хорошо, что Ахилла во-время о нихъ вспомнилъ и запасся ими. Благодаря лишь только имъ, дьяконъ могъ проникнуть въ своей желтой нанковой рясѣ въ такой свѣтозарный чертогъ, сіяніе котораго такъ нестерпимо ослѣпляетъ его, что онъ даже и не радъ уже, что сюда забрался. Можетъ быть и тѣхъ бы мѣстъ довольно, гдѣ онъ уже побывалъ, но скороходы-сапоги разскакались и затащили его туда, гдѣ онъ даже ничего не можетъ разглядѣть отъ несноснаго свѣта и, забывъ про Савелія и про цѣль своего посольства, мечется, заботясь только, какъ бы самому уйти назадъ, межъ тѣмъ какъ проворные сапоги-скороходы несутъ его все

выше и выше, а онъ забылъ спросить слово, какъ остановить ихъ...

— Загорюсь! ей-Богу, загорюсь!—кричалъ дьяконъ, прячась за мелькнувшее предъ нимъ маленькое тѣневое пятнышко, и удивился, услышавъ изъ этого пятнышка тихій голосокъ Николая Аѳанасьевича.

— Полно вамъ, отецъ дьяконъ, спать да кричать, что вы загоритесь! Со стыда развѣ надо всѣмъ намъ сгорѣть!— говорилъ карликъ, заслоняя отъ солнца лицо дьякона своимъ маленькимъ тѣломъ.

Ахилла вскочилъ и, бросясь къ ушату, вышилъ одинъ за другимъ два желѣзные ковша студеной воды.

— Что ты, Ни́кола, о какомъ здѣсь стыдѣ говоришь?— вопросилъ онъ, смачивая водой свои кудри.

— А гдѣ нашъ протопопъ? А?

— Протопопъ, душка Николаврa, тютю, его вчера увезли...

— Что же, сударь, «тютю»? Вѣдь намъ надо его выручать.

— Голубчикъ, я и самъ всю ночь про то думалъ, да не умѣю ничего придумать.

— Вотъ то-то и есть, камень въ воду всякъ броситъ, да не всякъ-съ его вытащитъ.

И Николай Аѳанасьевичъ, скрипя своими сапожками, заковылялъ въ комнаты къ протопопицѣ, но, побывъ здѣсь всего одну минуту, взялъ съ собой дьякона и побрелъ къ исправнику; отъ исправника они прошли къ судьѣ, и карликъ съ обоими съ ними совѣщался, и ни отъ того, ни отъ другого ничего не узналъ радостнаго. Они жалѣли Туберозова, говорили, что хотя протопопъ и не хорошо сдѣлалъ, сказавъ такую возбуждающую проповѣдь, но что съ нимъ все-таки поступлено уже черезъ мѣру строго.

А что теперь дѣлать? Что предпринять? И вообще предпринимать ли и дѣлать ли что-нибудь въ защиту Туберозова? Объ этомъ ни слова.

Карликъ, слушая пространныя, но мало содержательныя рѣчи чиновниковъ, только вздыхалъ и мялся, а Ахилла глядѣлъ, хлопая глазами, то на того, то на другого, и въ помышленіяхъ своихъ все-таки сводилъ опять все къ тому, что если бы коверъ-самолетъ или хотя волшебная шапка, а то какъ и за что взяться? Не за что.

— Одно, что я могу,—спохватился судья:—это написать

письмо губернскому прокурору: онъ мой товарищъ и, вѣрно, не откажетъ самъ посодѣйствовать и походатайствовать за протопопа.

Исправнику это чрезвычайно понравилось, а Николаю Аѳанасьевичу, хотя оно и не понравилось, но онъ считалъ возраженія неумѣстными.

Думали только о томъ, какъ послать письмо? Почта шла черезъ два дня, а эстафета была бы, по мнѣнію обоихъ чиновниковъ, дѣломъ слишкомъ эффектнымъ, и притомъ почтмейстерша, другъ Термосесова, котораго, по указанію Ахиллы, всѣ подозрѣвали въ доносѣ на Туберозова, могла бы писать этому дѣятелю извѣстія съ тою же эстафетой.

Услыша такое затрудненіе, дьяконъ тотчасъ же взялся все это уладить и объявилъ, что пусть только будетъ готово письмо, а ужъ онъ отвѣчаетъ своею головой, что оно завтра будетъ доставлено по адресу; но способъ, которымъ онъ располагалъ исполнить это, Ахилла удержалъ въ секретѣ и просилъ ничего на этотъ счетъ не выпытывать у него.

Ему въ этомъ не отказали, и дѣло сдѣлалось. Предъ вечеромъ чиновникъ секретно передалъ дьякону ничего не значащее письмо, а черезъ часъ послѣ сумерекъ къ дому отца Захаріи тихо подъѣхалъ верхомъ огромный черный всадникъ и, слегка постучавъ рукой въ окошко, назвалъ «кроткаго попа» по имени.

Захарія отворилъ раму и, увидавъ всадника, спросилъ:

— Это ты, такой страшный?

— Тс! Строго блюдите тишину и молчаніе, — отвѣчалъ таинственно всадникъ, смиряя въ шенкеляхъ своего нетерпѣливаго коня.

Захарія оглянулся вправо и влѣво по пустой набережной и прошепталъ:

— Куда же это ты и по какой надобности?

— Не могу вамъ ничего объяснить, потому что слово далъ,—отвѣчалъ таинственно всадникъ:—но только прошу васъ, не ищите меня завтра и не спрашивайте, зачѣмъ я ѣду... Ну, да, хоть слово далъ, а скажу вамъ аллегоріей:

Казакъ на сѣверъ держитъ путь,
Казакъ не хочетъ отдохнуть

и въ шапкѣ у меня —

Доносъ на гетмана злодѣя
Царю Петру отъ Кочубея...

— Поняли?

— Нѣтъ, ничего не понялъ.

— Такъ оно и слѣдуетъ по аллегоріи.

И съ этимъ всадникъ, ударивъ себя кулакомъ въ грудь, добавилъ:

— Но только знайте, отче Захаріе, что это не казакъ ѣдетъ, а это дьяконъ Ахилла, и что сердце мое за его обиду стерпѣть не можетъ, а разума въ головѣ, какъ помочь, нѣтъ.

Проговоривъ это, дьяконъ пустилъ коню повода, стиснулъ его въ колѣняхъ и не поскакалъ, а точно полетѣлъ, махая по темно-синему фону ночного неба своими кудрями, своими необъятными полами и рукавами нанковой рясы, и хвостомъ, и разметистою гривой своего коня.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Николай Аѳанасьевичъ не напрасно ничего не ожидалъ отъ письма, съ которымъ поскакалъ дьяконъ. Ахилла проѣздилъ цѣлую недѣлю и, возвратясь домой съ опущенною головой и на понуромъ конѣ, отвѣчалъ, что ничего изъ того письма не было, да и ничего быть не могло.

— Отчего это такъ?—пытали Ахиллу.

— Очень просто! Оттого, что отецъ Савелій сами сказали мнѣ: брось эти хлопоты, другъ; для насъ, духовныхъ, нѣтъ защитниковъ. Проси всѣхъ, въ одолженіе мнѣ, не вступаться за меня.

И дьяконъ болѣе не хотѣлъ объ этомъ и говорить.

— Что же,—рѣшилъ онъ:—если уже нѣтъ промежъ насъ ни одного умнаго человѣка, который бы зналъ, какъ его защитить, такъ чего напрасно и суетиться? Надо исполнять его наученіе и не вмѣшиваться.

Ахилла гораздо охотнѣе разсказывалъ, въ какомъ положеніи нашелъ Туберозова и что съ нимъ было въ теченіе этой недѣли. Вотъ что онъ повѣствовалъ:

— Владыка къ нимъ даже вовсе не особенно грозны и даже совсѣмъ не гнѣвливы, и предали ихъ сему терзанію только для одной политики, чтобы не противорѣчить за чиновниковъ свѣтской власти. Для сего единственно и вызовъ отцу Савелію сдѣлали, да-съ! И отецъ Савелій могли бы и совсѣмъ эту вину съ себя сложить и возвратиться, потому что владыка потаенно на ихъ сторонѣ... да-съ! И имъ

было отъ владыки даже на другой же день секретно преподано, чтобъ они шли къ господину губернатору и повинились, и извинились, да-съ! Но токмо отецъ Савелій, по крѣпкому нраву своему, отвѣчали строптиво... Не знаю, говоритъ, за собой вины, а потому не имѣю въ чемъ извиняться! Этимъ и владыку ожесточили, да-съ! Но и то ожесточеніе сіе не особенное, потому владыка рѣшеніе консисторское о назначеніи слѣдствія насчетъ проповѣди синимъ херомъ перечеркнули и все тѣмъ негласно успокоили, что назначили отца Савелія къ причетнической при архіерейскомъ домѣ должности,—да-съ!

— И онъ нынѣ причетничествуетъ? — спросилъ Захарія.

— Да-съ; читаетъ часы и пареміи, но обычая своего не измѣняютъ, и на политичный вопросъ владыки: «въ чемъ ты провинился?» еще политичнѣе, яко бы по непонятливости, отвѣтилъ: «въ этомъ подрясникѣ, ваше преосвященство», и тѣмъ себѣ худшее заслужили, да-съ!

— О-о-охъ!—воскликнулъ Захарія и отчаянно замоталъ головкой, закрывъ ручками уши.

— Наняли у жандармскаго вахмистра въ монастырской слободкѣ желтенькую каморочку за два съ половиной серебра въ мѣсяцъ и ходятъ себѣ съ кувшиномъ на рѣку по воду. Но въ лицѣ и въ позиціи они очень завострились, и наказали, чтобы вы, Наталья Николаевна, къ нимъ всемѣрно спѣшили.

— Ѣду, завтра же ѣду,—отвѣчала плачущая протопопица.

— Да-съ; только и всѣхъ новостей. А этотъ прокуроръ, къ которому было письмо, говоритъ: «скажи, не мое это дѣло, у васъ свое начальство есть», и письма не далъ, а велѣлъ кланяться,—вотъ и возьмите, если хотите, себѣ его поклонъ. И еще велѣлъ всѣмъ вамъ поклониться господинъ Термосесовъ; онъ встрѣтился со мной въ городѣ: катитъ куда-то шибко и говоритъ: «Ахъ, постой, говоритъ, пожалуйста, дьяконъ, здѣсь у воротъ: я тебѣ штучку сейчасъ вынесу: ваша почтмейстерша съ дочерьми мнѣ предъ отъѣздомъ свой альбомъ навязала, чтобъ имъ стихи написать, я его завезъ, да и назадъ переслать не съ кѣмъ. Сдѣлай милость, проситъ, отдай имъ, когда назадъ поѣдешь». Я думаю себѣ: врагъ тебя побери. Давай, говорю, чтобъ отвязаться, и взялъ.

Дьяконъ вынулъ изъ кармана подрясника тощій альбомчикъ изъ разноцвѣтной бумаги и прочиталъ:

На послѣднемъ семъ листочкѣ
Пишемъ вамъ четыре строчки
Въ знакъ почтенія отъ насъ...
Ахъ, не вырвало бы васъ?

— Вотъ его всѣмъ вамъ почтеніе и примите оное, яко дань вамъ благопотребную.

И Ахилла швырнулъ на столъ предъ публикой альбомъ съ почтеніемъ Термосесова, а самъ отправился съ дороги спать на конюшню.

Утромъ рано его разбудилъ карликъ и, сѣвъ возлѣ дьякона на вязанку сѣна, спросилъ:

— Ну-съ, что же теперь, сударь, будемъ далѣе дѣлать?

— Не знаю, Николавра, сй-право, не знаю!

— Или на этомъ будетъ и квита?—язвилъ Николай Аѳанасьичъ.

— Да, вѣдь, голубчикъ Никола... куда же сунешься?

— Куда сунуться-съ?

— Да; куда ты сунешься? ишь всюду волки сидятъ.

— Ну, а я, сударь, старый заяцъ: что мнѣ волковъ бояться? Пусть меня волки съѣдятъ.

Карликъ всталъ и равнодушно протянулъ Ахиллѣ на прощаніе руку, но когда тотъ хотѣлъ его удержать, онъ нетерпѣливо вырвался и, покраснѣвъ, добавилъ:

— Да-съ, сударь! Нехорошо! А еще великанъ!.. Оставьте меня; старый заяцъ волковъ не боится, пускай его съѣдятъ!— и съ этимъ Николай Аѳанасьевичъ, кряхтя, влѣзъ въ свою большую крытую бричку и уѣхалъ.

Ахилла вышелъ вслѣдъ за нимъ за ворота, но уже брички и видно не было.

Въ этотъ же день дьяконъ выпроводилъ Наталью Николаевну къ мужу и остался одинъ въ опальномъ домѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Изъ умовъ городской интеллигенціи Савелій самымъ успѣшнымъ образомъ былъ вытѣсненъ стихотвореніемъ Термосесова. Послѣдній пассажъ сего послѣдняго и скандальное положеніе, въ которомъ, благодаря ему, очутилась бойкая почтмейстерша и ея дочери, совсѣмъ убрали съ мѣстной сцены стараго протопопа; всѣ были довольны и всѣ поми-

рали со смѣху. О Термосесовѣ говорили, какъ «объ острой бестіи»; о протопопѣ изрѣдка вспоминали, какъ «о скучномъ маньякѣ».

Дни шли за днями; прошелъ мѣсяцъ и наступилъ другой. Городъ пробавлялся новостями, не идущими къ нашему дѣлу; то къ исправнику поступала жалоба отъ нѣкоей дѣвицы на начальника инвалидной команды, капитана Повердовню, то Ахилла, сидя на крыльцѣ у станціи, узналъ отъ проѣзжающихъ, что чиновникъ князь Борноволоковъ будто бы умеръ «скорописною смертію», а Туберозовъ все пребывалъ въ своей ссылкѣ и друзья его солидно остепенились на томъ, что тутъ «ничего не подѣлаешь». Враги протопопа оказались нѣсколько лучше друзей; по крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ не забыли его. Въ его спасеніе вступилась, напримѣръ, тонкая почтмейстерша, которая не могла позабыть Термосесову нанесенной ей тяжкой обиды и еще болѣе того не могла простить обществу его злорадства, и вздумала показать этому обществу, что она одна всѣхъ ихъ тоньше, всѣхъ ихъ умнѣе и дальновиднѣе, даже честнѣе.

Къ этому ей ниспосланъ былъ случай, которымъ она и воспользовалась опять не безъ тонкости и не безъ ядовитости. Она задумала ослѣпить общество нестерпимымъ блескомъ и поднять въ его глазахъ авторитетъ свой на небывалую высоту.

Верстахъ въ шести отъ города проводила лѣто въ своей роскошной усадьбѣ петербургская дама, г-жа Мордоконаки. Старый мужъ этой молодой и весьма красивой особы, въ пору своего откупщичества, былъ нѣкогда воспріемникомъ одной изъ дочерей почтмейстерши. Это показалось послѣдней достаточнымъ поводомъ пригласить молодую жену стараго Мордоконаки на именины крестницы ея мужа и при всѣхъ неожиданно возвысить къ ней, какъ къ извѣстной филантропкѣ и покровительницѣ церквей, просьбу за угнетеннаго Туберозова.

Разсчетъ почтмейстерши былъ не совсѣмъ плохъ: молодая и чудовищно богатая петербургская покровительница пользовалась вліяніемъ въ столицѣ и большимъ почетомъ отъ губернскихъ властей. Во всякомъ случаѣ она, если бы только захотѣла, могла бы сдѣлать въ пользу наказаннаго протопопа болѣе, чѣмъ кто-либо другой. А захочетъ

ли она? Но для того-то и будутъ ее просить всѣмъ обществомъ.

Дама эта скучала уединеніемъ и не отказала сдѣлать честь балу почтмейстерши. Ехидная почтмейстерша торжествовала: она болѣе не сомнѣвалась, что поразитъ уѣздную знать своею неожиданною иниціативой въ пользу старика Туберозова, — иниціативой, къ которой всѣ другіе, спохватясь, поневолѣ примкнутъ только въ качествѣ хора, въ роли людей значенія второстепеннаго.

Почтмейстерша таила эту сладкую мысль, но, наконецъ, насталъ и день ея осуществленія.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

День именинъ въ домѣ почтмейстерши начинался, по уѣздному обычаю, утреннею закуской. Встрѣчая гостей, хозяйка ликовала, видя, что у нихъ ни у одного нѣтъ на умѣ ничего серьезнаго, что всѣ заботы объ изгнанномъ старикѣ испарились и позабыты.

Гости нагрянули веселые и радостные; первый пришелъ «уѣздный комендантъ», инвалидный капитанъ Повердовня, глазастый рыжій офицеръ изъ провіантскихъ писарей. Онъ принесъ именинницѣ стихи своего произведенія; за нимъ жаловали дамы, мужчины и, наконецъ, Ахилла дьяконъ.

Ахилла тоже былъ веселъ. Онъ подалъ именинницѣ изъподъ полы рясы вынутую просфору и произнесъ:

— Богородичная-съ!

Затѣмъ на порогѣ появился кроткій отецъ Захарія и, раскланиваясь, заговорилъ:

— Господи, благослови! Со днемъ ангела-хранителя! — и тоже подалъ именинницѣ въ двухъ перстахъ точно такую же просфору, какую нѣсколько минутъ назадъ принесъ Ахилла, проговоривъ:—пріимите богородичную просфору!

Поклонившись всѣмъ, тихій священникъ широко распахнулъ полы своей рясы, сѣлъ, отдулся и произнесъ:

— А долгое-таки нынче служеныце было и на дворѣ очень жарко.

— Очень долго.

— Да-съ; помолились, слава Создателю!

И Захарія, загнувъ на локоть рукавъ новой рясы, принялъ чашку чаю.

Въ эту минуту предъ нимъ, улыбаясь и потирая губы,

появился лѣкарь и спросилъ, сколько бываетъ богородичныхъ просфоръ за обѣдней?

— Одна, сударь, одна,—отвѣчалъ Захарія.—Одна была Пресвятая наша Владычица Богородица, одна и просфора въ честь ея вынимается; да-съ, одна. А тамъ другая въ честь мучениковъ, въ честь апостоловъ, пророковъ...

— Такъ богородичная одна?

— Одна; да-съ, одна.

— А вотъ отецъ дьяконъ говоритъ, что двѣ.

— Вретъ онъ-съ; да-съ, вретъ,—съ ласковою улыбкой отвѣчалъ добродушный отецъ Захарія.

Ахилла хотѣлъ отмолчаться, но, видя, что лѣкарь схватилъ его за рукавъ, поспѣшилъ вырваться и пробасилъ:

— Никогда я этого не говорилъ.

— Не говорилъ? А какую же ты просфору принесъ?

— Пѣтую просфору, — отвѣчалъ дьяконъ и, нагнувшись подъ столъ, заговорилъ: — что это мнѣ показалось, будто я трубку здѣсь давеча видѣлъ...

— Съ нимъ это бываетъ,—проговорилъ, слабо вторя веселому смѣху лѣкаря, отецъ Захарія. — Онъ у насъ, бываетъ, иногда нѣчто сплететъ; но только онъ это все безъ всякой цѣли; да-съ, онъ безъ цѣли.

Все утреннее угощеніе у именинницы на этотъ разъ предположено было окончить однимъ чаемъ. Почтмейстерша съ довольно изысканною простотой сказала, что у нея вся хлѣбъ-соль готовится къ вечеру, что она днемъ никого не проситъ, но зато постарается, чтобы вечеромъ всѣ были сыты и довольны и чтобы всѣмъ было весело.

И вотъ онъ и насталъ этотъ достославный вечеръ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Семейство почтмейстерши встрѣтило важную петербургскую гостью.

Большая, бѣлая, вальяжная Мордоконаки осчастливила собраніе и при ней все какъ бы померкло и омизерилось. Сама Данка Бизюкина смялась въ ея присутствіи. Хозяйка не набирала льстивыхъ словъ, и окружила гостью всѣми интереснѣйшими лицами, наказавъ капитану Повердовнѣ и Варнавѣ Препотенскому занимать гостью всемѣрно. Личности мало-мальски неудобныя къ бесѣдованію были убраны. Эти личности были: голова, имѣвшій привычку употреблять

въ разговорѣ поговорку: «въ ротъ-те наплевать»; старый кавказскій маіоръ, по поводу котораго въ городѣ ходила пословица: «глупъ какъ кавказскій маіоръ», и съ ними дьяконъ Ахилла. Эти три лица были искусно спрятаны въ прохладномъ чуланѣ, гдѣ стояли вина и приготовленная закуска. Эти изгнанники сидѣли здѣсь очень уютно при одной свѣчкѣ и нимало не тяготились своимъ удаленіемъ за фронтъ. Напротивъ, имъ было здѣсь очень хорошо. Безъ чиновъ и въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ закуской, они вели самые оживленные разговоры и даже философствовали. Маіоръ добивался, отчего «бываетъ дерзость?», и объяснялъ происхожденіе ея разбалованностью и приводилъ тому разныя доказательства; но Ахилла возражалъ противъ множественности причинъ и говорилъ, что дерзость бываетъ только отъ двухъ причинъ: «отъ гнѣва и еще чаще отъ вина».

Маіоръ подумалъ и согласился, что, дѣйствительно, бываетъ дерзость, которая происходитъ и отъ вина.

— Это вѣрно, я вамъ говорю, — пояснилъ дьяконъ и, выпивъ большую рюмку настойки, началъ развивать. — Я вамъ даже и о себѣ скажу. Я во хмелю очень прекрасный, потому что у меня ни озорства, ни мыслей скверныхъ никогда нѣтъ; ну, я за то, братцы мои, смерть люблю пьяненькій хвастать. Ей-право! И не то, чтобъ я это дѣлалъ изнарочно, а такъ, вѣрно, по природѣ. Начну такое на себя сочинять, что послѣ самъ не надивлюсь, откуда только у меня эта брехня въ то время берется.

Голова и маіоръ засмѣялись.

— Право!—продолжалъ дьяконъ.—Вдругъ начну, напримѣръ, разсказывать, что прихожане ходили ко владыкѣ просить, чтобы меня имъ въ попы поставить, чего даже и самъ не желаю; или въ другой разъ увѣряю, будто губернское купечество меня въ протодьяконы просятъ произвесть; а то...—Дьяконъ оглянулся по чулану и прошепталъ:—А то одинъ разъ брякнулъ, что будто я въ юности былъ тайно обрученъ съ консисторскаго секретаря дочерью! То-есть, я вамъ говорю, послѣ я себя за это мало не убилъ, какъ мнѣ эту мою продерзость стали разсказывать.

— А вѣдь дойди это до секретаря, вотъ бы сейчасъ и бѣда,—замѣтилъ маіоръ.

— Да какъ же-съ, не бѣда! Еще какая бѣда-то! — подтвердилъ дьяконъ, и опять пропустилъ настойки.

— Да, я вамъ даже, если на то пошло, такъ еще вотъ что̀ разскажу,—продолжалъ онъ, еще понизивъ голосъ.—Я ужъ черезъ эту свою брехню-то разъ подъ такое было дѣло попалъ, что чуть-чуть публичному истязанію себя не подвергъ. Вы этого не слыхали?

— Нѣтъ, не слыхали.

— Какъ же-съ! Ужасное дѣло было; могъ быть повѣшенъ по самому первому пункту въ законѣ.

— Господи!

— Да-съ; да этого еще-съ мало, что голова-то моя на площади бы скатилась, а еще и семь тысячъ триста лѣтъ дьяконъ въ православія день анаѳемой поминалъ бы меня, вмѣстѣ съ Гришкой Отрепьевымъ и Мазепой!

— Не можетъ быть! — воскликнулъ, повернувшись на своемъ мѣстѣ, маіоръ.

— Отчего же такъ не можетъ? Очень просто бы было, если бъ одинъ добрый человѣкъ не спасъ.

— Такъ вы, отецъ дьяконъ, это разскажите.

— А вотъ сейчасъ выпью водочки и разскажу.

Ахилла еще пропустилъ рюмочку и приступилъ къ продолженію разсказа о своемъ преступленіи по первому пункту.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

— Фортель этотъ, — началъ дьяконъ: — оттого зависѣлъ, что предъ Пасхой я поѣхалъ въ губернію, моя лошадь, да Серёги дьячка, парой спрягли. Серёга ѣхалъ за ребетенками, а я такъ; даже врагъ меня знаетъ зачѣмъ и поѣхалъ-то? Просто, чтобы съ знакомцами повидаться. Пріѣхали-съ мы такимъ манеромъ подъ самый городъ; а тамъ мостъ снесенъ и паромъ черезъ рѣку ходитъ. Народу ждетъ видимо-невидимо; а въ перевозчицкой избѣ тутъ солдатикъ водкой шинкуетъ. Ну, пока до очереди ждать, мы и зашли, да съ холоду и выпили по двѣ косушечки. А тутъ народу всякаго: и послушники, и извозчики, и солдаты, и приказъ — это ужъ самый вредный народъ, — и нашей тоже братіи духовенства. Знакомцы хорошіе изъ нашей округи тожь нашлись, ну, для соблюденія знакомства и еще по двѣ косушечки раздавили. А тутъ приказный, что къ парому отряженъ, и этакій шельма рѣчистый, все насъ заводить началъ. Я говорю: иди, братъ, откуда пришелъ; иди, ты намъ не родня. А онъ: «Я, говоритъ, государю моему

офицеръ!» Я говорю, я и самъ, братъ, все равно, что штабъ-офицеръ. «Штабъ-офицеръ, онъ говоритъ, попъ, а ты ему подначальный». Я говорю, что у престола Божія точно, что я ниже попа стою по моему сану, а въ политикѣ, говорю, мы оба равны. Споръ пошелъ. Я разгорячился отъ этихъ самыхъ отъ косушечекъ-то, да и говорю, что, говорю, ты знаешь, строка ты этакая! Ты, я говорю, Божьяго писанія понимать не можешь; у тебя кишокъ въ головѣ нѣтъ. Ты вотъ, говорю, скажи, былъ ли хоть одинъ попъ на престолѣ? «Нѣтъ, говоритъ, не былъ». А, молъ, то-то и есть, что не былъ. А дьяконъ былъ и короною вѣнчался. «Кто такой? Когда это, говоритъ, было?» То-то молъ и есть *когда?* Я не арихметчикъ и этихъ годовъ въ точности не понимаю, а ты возьми, да въ книгахъ почитай, кто таковъ былъ Григорій Отрепьевъ до своего воцаренія замѣсто Димитрія, вотъ ты тогда и увидишь, чего дьяконы-то стоютъ? «Ну, то, говоритъ, Отрепьевъ; а тебѣ далеко, говоритъ, до Отрепьева». А я это пьяненькій-то и брехни ему:—А почемъ, говорю, ты знать можешь, что далеко? А можетъ быть даже и совсѣмъ очень близко? Тотъ, говорю, на Димитрія былъ похожъ, а я може на какого-нибудь тамъ Франца-Венецыяна или Махмуда сдамся въ одно лицо, вотъ тебѣ и воцарюсь! Только-что я это проговорилъ, какъ, братцы вы мои, этотъ приказный сдѣлалъ сейчасъ крикъ, шумъ, свидѣтелей, бумаги. Схватили меня, связали, посадили на повозку съ сотскимъ и повезли. Да дай Господи вѣчно доброе здоровье, а по смерти царство небесное жандармскому полковнику, Альберту Казиміровичу, что въ тѣ поры у насъ по тайной полиціи былъ. Призвалъ онъ меня утромъ къ себѣ, жену свою вызвалъ, да и говоритъ:—«Посмотри, душечка, на самозванца!» — Посмѣялся надо мной, посмѣялся, да и отпустилъ. «Ступай, говоритъ, отецъ Махмудъ, а впередъ косушки-то счетомъ глотай». Дай Богъ ему много лѣтъ!—повторилъ еще разъ отецъ дьяконъ и, еще разъ поднявъ рюмочку съ настойкой, добавилъ:—вотъ даже и сейчасъ выпью за его здоровье!

— Ну, это вы избавились отъ большой бѣды, — протянулъ маіоръ.

— Да какъ же не отъ большой? Я потому и говорю: полякъ—добрый человѣкъ. Полякъ власти не любитъ, и если что противъ власти—онъ всегда снисходительный.

Около полуночи бесѣда этихъ трехъ отшельниковъ была прервана; настало и ихъ время присоединиться къ обществу: ихъ позвали къ столу.

Когда немножко выпившій и пріосанившійся дьяконъ вошелъ въ залу, гдѣ въ это время стоялъ уже накрытый къ ужину столъ и тѣсно сдвинутые около него стулья, капитанъ Повердовня взялъ Ахиллу за локоть и, отведя его къ столику, у котораго пили водку, сказалъ:

— Ну-ка, дьяконъ, пусти на дамъ хорошаго *глазенапа*.

— Это зачѣмъ?—спросилъ дьяконъ.

— А чтобъ онѣ на тебя вниманіе обратили.

— Ну, да; поди ты! стану я о твоихъ дамахъ думать! Чѣмъ мнѣ, вдовцу, на нихъ смотрѣть, такъ я лучше безъ всякаго грѣха двѣ капли водки выпью.

И, давъ такой отвѣтъ, Ахилла, дѣйствительно, выпилъ, да и всѣ выпили предъ ужиномъ по комплектной чаркѣ. Исключеніе составлялъ одинъ отецъ Захарія, потому что у него яко бы отъ всякаго вина голова кружилась. Какъ его ни упрашивали хоть что-нибудь выпить, онъ на всѣ просьбы отвѣчалъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, освободите! Я ровно, ровно вина никакого не пью.

— Нынче всѣ пьютъ,—уговаривали его.

— Дѣйствительно, дѣйствительно такъ, ну, а я не могу.

— Курица и та пьетъ, — поддерживалъ потчивавшихъ дьяконъ Ахилла.

— Что жъ, пускай и курица!... Глупо это довольно, что ты, братецъ, мнѣ курицу представляешь...

— Хуже курицы вы, отецъ,—укорялъ Ахилла.

— Не могу! Чего хуже курицы? Не могу!

— Ну, если ужъ вина никакого не можете, такъ хоть хересу для политики выпейте!

Захарія, видя, что отъ него не отстаютъ, вздохнулъ и, принявъ изъ рукъ дьякона рюмку, отвѣтилъ:

— Ну, еще ксересу такъ и быть; позвольте мнѣ ксересу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Балъ вступалъ въ новую фазу развитія.

Только-что всѣ сѣли за столъ, капитанъ Повердовня тотчасъ же успѣлъ встать снова и, обратившись къ петербургской филантропкѣ, зачиталъ:

Привѣтствую тебя, обитатель
Не здѣшняго міра!
Тебя, которую послалъ Создатель,
Поетъ моя лира.
Слети къ намъ съ высотъ голубого эѳира,
Тебя ждетъ здѣсь восторгъ добродушный;
Прикоснись веществамъ сего пира,
Оставь на время міръ воздушный.

Аристократка откупщичьей породы выслушала это стихотвореніе, слегка покраснѣвъ, и взяла изъ рукъ Повердовни листокъ, на которомъ безграмотною писарскою рукой, съ тысячью росчерковъ, были написаны прочитанные стихи.

Хозяйка была въ восторгѣ, но гости ея имѣли каждый свое мнѣніе какъ объ умѣстности стиховъ Повердовни, такъ и объ ихъ относительныхъ достоинствахъ или недостаткахъ. Мнѣнія были различны: исправникъ, ротмистръ Порохонцевъ находилъ, что сказать стихи со стороны капитана Повердовни во всякомъ случаѣ прекрасно и любезно. Препотенскій, напротивъ, полагалъ, что это глупо; а дьяконъ уразумѣлъ такъ, что это просто очень хитро и, сидя рядомъ съ Повердовней, сказалъ капитану на ухо:

— А ты, братъ, я вижу, насчетъ дамъ большой шельма!

Но, какъ бы тамъ ни было, послѣ стиховъ Повердовни, всѣмъ обществомъ за столомъ овладѣла самая неподдѣльная веселость, которой почтмейстерша была уже и не рада. Говоръ не прекращался и не было ни одной паузы, которою хозяйка могла бы воспользоваться, чтобы заговорить о сосланномъ протопопѣ. Между тѣмъ гостья, повидимому, не скучала, и когда заботливая почтмейстерша въ концѣ ужина отнеслась къ ней съ вопросомъ: не скучала ли она? та съ искреннѣйшею веселостью отвѣчала, что она не умѣетъ ее благодарить за удовольствіе, доставленное ей ея гостями, и добавила, что если она можетъ о чемъ-нибудь сожалѣть, то это только о томъ, что она такъ поздно познакомилась съ дьякономъ и капитаномъ Повердовней. И госпожа Мордоконаки не преувеличивала; непосредственность Ахиллы и капитана сильно заняли ее. Повердовня, услыхавъ о себѣ такой отзывъ, тотчасъ же въ отвѣтъ на это раскланялся. Не остался равнодушенъ къ такой похвалѣ и дьяконъ: онъ толкнулъ въ бокъ Препотенскаго и сказалъ ему:

— Видишь, дуракъ, какъ насъ уважаютъ, а о тебѣ ничего.

— Вы сами дуракъ,— отвѣчалъ ему шопотомъ недовольный Варнава.

Повердовня же минуту подумалъ, крѣпко взялъ Ахиллу за руку, приподнялся съ нимъ вмѣстѣ и отъ лица обоихъ проговорилъ:

Мы станемъ свято твою память чтить.
Хранить ее на многія и счастливыя лѣта.
Позволь, о свѣтлый духъ, тебя молить:
Да услышана будетъ молитва эта!

И затѣмъ они, покрытые рукоплесканіями, сѣли.

— Вотъ видишь, а ты опять никакихъ и стиховъ не знаешь,—укорилъ Варнаву дьяконъ Ахилла; а Повердовня въ эти минуты опять вспрыгнулъ уже и произнесъ, обращаясь къ хозяйкѣ дома:

Матреной ты наречена
И всѣмъ женамъ предпочтена.
Ура!

— Что это за капитанъ! Это совсѣмъ душа общества,— похвалила Повердовню хозяйка.

— А ты все ничего!—надоѣдалъ Варнавѣ дьяконъ.

— Давайте всѣ говорить стихи!

— Всѣ! всѣ! Пусть исправникъ начинаетъ!

— А что жъ такое: я начну!—отвѣчалъ исправникъ.— Безъ церемоніи: кто что можетъ, тотъ и читай.

— Начинайте! Да что жъ такое, ротмистръ! ей-Богу, начинайте!

Ротмистръ Порохонцевъ всталъ, поднялъ вровень съ лицомъ кубокъ и, посмотрѣвъ сквозь вино на огонь, началъ:

Когда деспотъ отъ власти отрекался,
Желая Русь какъ жертву усыпить,
Чтобы потомъ вѣрнѣй ее сгубить,
Свободы голосъ вдругъ раздался,
И Русь на громкій братскій зовъ
Могла бъ воспрянуть изъ оковъ.
Тогда какъ тать ночной, боящійся разсвѣта,
Позорно ты бѣжалъ отъ друга и поэта
Взывавшаго: грѣхи жидовъ,
Отступничество уніатовъ,
Всѣ прегрѣшенія сарматовъ
Принять я на душу готовъ,
Лишь только бъ русскому народу
Могъ возвратить его свободу!
Ура!

— Всѣ читаютъ, а ты ничего!— опять отнесся къ Пре-

потенскому Ахилла. — Это, братъ, ужъ какъ ты хочешь, а если ты пьешь, а ничего не умѣешь сказать, ты не человѣкъ, а больше ничего какъ бурдюкъ съ виномъ.

— Что вы ко мнѣ пристаете съ своимъ бурдюкомъ! Сами вы бурдюкъ,—отвѣчалъ учитель.

— Что-о-о-о? — вскричалъ, обидясь, Ахилла. — Я бурдюкъ?.. И ты это могъ мнѣ такъ смѣло сказать, что я бурдюкъ?!..

— Да, разумѣется, бурдюкъ.

— Что-о-о?

— Вы сами не умѣете ничего прочесть, вотъ что!

— Я не умѣю прочесть? Ахъ ты, глупый человѣкъ! Да я если только захочу, такъ я такое прочитаю, что ты долженъ будешь какъ листъ передъ травой вскочить да на ногахъ слушать!

— Ну, ну, попробуйте, прочитайте.

— Да и прочитаю, и ты теперь кстати сейчасъ можешь видѣть, что у меня, дѣйствительно, верхняя челюсть ходитъ...

И съ этимъ Ахилла всталъ, обвелъ все общество широко раскрытыми глазами и, остановивъ ихъ на стоявшей посреди стола солонкѣ, началъ низкимъ бархатнымъ басомъ отчетистое!

— «Бла-годенственн-н-ное и мир-р-рное житіе, здр-р-ра-авіе же и спас-с-сеніе... и во всемъ благ-г-гое поспѣшеніе... на вр-р-раги же поб-б-бѣду и одол-лѣніе...» и т. д., и т. д.

Ахилла все забирался голосомъ выше и выше, лобъ, скулы и виски, и вся верхняя челюсть его широкаго лица все болѣе и болѣе покрывались густымъ багрецомъ и потомъ; глаза его выступали, на щекахъ, возлѣ угловъ губъ, обозначались бѣлыя пятна, и ротъ отверстъ былъ какъ мѣдная труба и оттуда со звономъ, трескомъ и громомъ вылетѣло многолѣтіе, заставившее всѣ неодушевленные предметы въ цѣломъ домѣ задрожать, а одушевленные подняться съ мѣстъ и, не сводя въ изумленіи глазъ съ открытаго рта Ахиллы, тотчасъ, по произнесеніи имъ послѣдняго звука, хватить общимъ хоромъ: «Многая, многая, мно-о-о-огая лѣта, многая лѣ-ѣ-та!»

Одинъ Варнава хотѣлъ остаться въ это время при своемъ занятіи и продолжать упитываться, но Ахилла поднялъ его

насильно и, держа его за руку, пѣлъ: «многая, многая, мно-о-о-гая лѣта, многая лѣта!»

Городской голова послалъ Ахиллѣ чрезъ сосѣда синюю бумажку.

— Это что же такое?—спросилъ Ахилла.

— *Всей палатѣ.* Хвати «всей палатѣ и воинству», — просилъ голова.

Дьяконъ положилъ ассигнацію въ карманъ и ударилъ:

— «И вс-сей пал-латѣ и в-воинству ихъ, мно-о-огая лѣтта!»

Это Ахилла сдѣлалъ уже превзойдя самого себя, и за то, когда онъ окончилъ многолѣтіе, то пѣть рискнулъ только одинъ привычный къ его голосу отецъ Захарія, да городской голова: всѣ остальные гости пали на свои мѣста и полулежали на стульяхъ, держась руками за столъ или другъ за друга.

Дьяконъ былъ утѣшенъ.

— У васъ рѣдкій басъ,—сказала ему первая, оправясь отъ испуга, петербургская дама.

— Помилуйте, это вѣдь я не для того, а только чтобы доказать, что я не трусъ и знаю, что прочитать.

— Ишь, ишь!.. А кто же тутъ трусъ?—вмѣшался Захарія.

— Да, во-первыхъ, отецъ Захарія, вы-съ! Вы вѣдь со старшими даже хорошо говорить не можете: заикаетесь.

— Это правда,—подтвердилъ отецъ Захарія:—я предъ старшими въ таковыхъ случаяхъ, точно, заикаюсь. Ну, а ты, а ты? Развѣ старшихъ не боишься?

— Я?.. мнѣ все равно: мнѣ что самъ владыка, что кто простой, все равно. Мнѣ владыка говоритъ: такъ и такъ, братецъ, а я ему тоже: такъ и такъ, ваше преосвященство; только и всего.

— Правда это, отецъ Захарія?—пожелалъ освѣдомиться преслѣдующій дьякона лѣкарь.

— Вретъ,—спокойно отвѣчалъ, не сводя своихъ добрыхъ глазъ съ дьякона, Бенефактовъ.

— И онъ также архіерею въ землю кувыркается?

— Кувыркается-съ.

— Никогда! У меня этого и положенія нѣтъ,—вырубалъ дьяконъ, выдвигаясь всею грудью.—Да мнѣ и невозможно. Мнѣ если бъ обращать на всѣхъ вниманіе, то я и жизни бы

своей былъ не радъ. У меня вотъ и теперь не то что владыка, хоть онъ и преосвященный, а на меня теперь всякій день такое лицо смотритъ, что сто разъ его важнѣе.

— Это ты про меня, что ли, говоришь?—спросилъ лѣкарь.

— Съ какой стати про тебя? Нѣтъ, не про тебя.

— Такъ про кого же?

— Ты давно ли читалъ новыя газеты?

— А что-жъ тамъ такого писали?—спросила, какъ дитя развеселившаяся, гостья.

— Да по распоряженію самого оберъ-протопресвитера Бажанова посланъ придворный регентъ по всей Россіи для царской пѣвческой басовъ выбирать. Въ генеральскомъ чинѣ онъ и ордена имѣетъ, и даромъ что гражданскій, а ему архіерей все равно, что ничего, потому что, вѣдь, у государя и кучеръ, который на козлахъ ѣздитъ, и тотъ полковникъ. Ну-съ, а приказано ему, этому регенту, идти потаенно, въ родѣ какъ простолюдину, чтобы баса при немъ не надюжались, а по волѣ бы онъ могъ ихъ выслушать.

Дьяконъ затруднялся продолжать, но лѣкарь его подогналъ.

— Ну, что-жъ далѣе?

— А далѣе, этотъ царскій регентъ теперь пятую недѣлю въ нашемъ городѣ находится, вотъ что? Я и вижу, какъ онъ въ воскресенье войдетъ въ синей сибиркѣ и межъ мѣщанами и стоитъ, а самъ все меня слушаетъ. Теперь другой на моемъ мѣстѣ что бы долженъ дѣлать? Долженъ бы онъ сейчасъ предъ царскимъ посломъ мелкимъ бѣсомъ разсыпаться, зазвать его къ себѣ, угостить его водочкой, чаемъ попотчивать; вѣдь такъ? А у меня этого нѣтъ. Хоть ты и царскій регентъ, а я, братъ, нѣтъ... шалишь... поступай у меня по закону, а не хочешь по закону, такъ адью, мое почтенье.

— Это онъ все вретъ?—отнесся къ отцу Захаріи лѣкарь.

— Вретъ-съ,—отвѣчалъ, по обыкновенію спокойно, отецъ Захарія.—Онъ немножко выпилъ, такъ отъ него ужъ теперь правды до завтра не услышишь, все будетъ въ мечтаніи хвастать.

— Нѣтъ, это я вѣрно говорю.

— Ну, полно,—перебилъ отецъ Захарія.—Да тебѣ, братецъ, тутъ нечѣмъ и обижаться, когда у тебя такое заведеніе мечтовать по разрѣшеніи на вино.

Ахилла обидѣлся. Ему показалось, что послѣ этого ему

не вѣрятъ и въ томъ, что онъ не трусъ, а этого онъ ни за что не могъ снесть, и онъ клялся за свою храбрость и требовалъ турнира, немедленнаго и самаго страшнаго.

— Я всѣмъ хочу доказать, что я всѣхъ здѣсь храбрѣе, и докажу.

— Этимъ, отецъ дьяконъ, не хвалитесь,—сказалъ маіоръ.—Особенно же вы сами сказали, что имѣете слабость... прихвастнуть.

— Ничего, слабость имѣю, а хвалюсь: я всѣхъ здѣсь храбрѣе.

— Не хвалитесь. Иной разъ и на храбреца трусъ находитъ, а другой разъ трусъ чего и не ждешь надѣлаетъ, да-съ, да-съ, это были такіе примѣры.

— Ничего, подавай.

— Да кого-жъ подавать-съ? Позвольте, я лучше примѣръ представлю.

— Ничего, представляйте.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

— У насъ, какъ я съ Кавказа перевелся, — началъ маіоръ:—былъ полковникъ, превеселый начальникъ и службистъ. Саблю золотую имѣлъ за храбрость. Дѣлали мы Венгерскую кампанію въ сорокъ восьмомъ году. Ночью нужно было охотниковъ послать, а тутъ попойка шла. Полковникъ и говоритъ: «сколько охотниковъ?» Адъютантъ отвѣчаетъ: «сто десять охотниковъ».—«Ого!» говоритъ полковникъ, а самъ въ преферансъ играетъ. «Это, говоритъ, много. Нѣтъ ли между ними трусовъ?» Адъютантъ говоритъ: «нѣту».—«А если есть?»—«Не надѣюсь», говоритъ, «господинъ полковникъ».—«А ну-те-ка, говоритъ, соберите ихъ». Собрали. «Ну-ка, говоритъ полковникъ, попробуемъ. Кто самый храбрый? Кто за старшаго?» Такой-то, Сергѣевъ, тамъ что ли, или Ивановъ. «Позвать, говоритъ, его сюда. Ты за старшаго идешь?»—«Я, говоритъ, ваше высокоблагородіе».—«Ты не трусъ?»—«Никакъ нѣтъ, говоритъ, ваше высокоблагородіе».—«Не трусъ?»—«Нѣтъ».—«Ну, если не трусъ, потяни меня за усъ». Солдатикъ сталъ да и ни съ мѣста, и оробѣлъ. Кликнули другого, и другой тоже, третьяго, и третій, и пятый, и десятый. Всѣ трусами въ этотъ разъ оказались.

— Ахъ, лукавый его возьми! Вотъ выдумщикъ!—восклик-

нулъ весело Ахилла.—«Трусъ, потяни меня за усъ!» Ха-ха-ха!.. Это отлично! Капитанъ, пусть, другъ, тебя учитель Варнава за усъ тронетъ.

— Охотно,—отвѣчалъ капитанъ.

Препотенскій отказывался, но его раздражили злыми насмѣшками надъ его трусостью, и онъ согласился.

Ахилла выставилъ на средину комнаты стулъ и капитанъ Повердовня сѣлъ на этотъ стулъ и подперся въ бока по-кавалерійски.

Вокругъ него стали исправникъ, Захарія, голова и маіоръ. Ахилла помѣстился у самаго плеча Варнавы и наблюдалъ каждое его движеніе.

Учитель пыхтѣлъ, мялся, ежился, и то робко потуплялъ глаза, то вдругъ расширялъ ихъ и, не шевелясь, двигался всѣмъ своимъ существомъ, точно по немъ кверху полозьями ѣздили.

Ахилла, по добротѣ своей, ободрялъ его какъ умѣлъ, говоря:

— Да чего же ты, дурачокъ, испугался? Ты небось: онъ не укуситъ, не робѣй.

И съ этимъ дьяконъ послюнилъ себѣ концы пальцевъ, сердобольно поправилъ ими набѣгавшую на глаза Варнавы косицу и добавилъ:

— Ну, хватай его сразу за усъ!

Варнава тронулся, но дрогнулъ въ колѣняхъ и отступилъ.

— Ну, такъ ты трусъ,—сказалъ Ахилла.—А ты бы, дурачокъ, посудилъ: чего ты боишься-то?.. Смѣхъ!

Варнава посудилъ и разслабѣлъ еще хуже. А Повердовня сидитъ какъ божокъ и чувствуетъ, что онъ «душа общества» и готовитъ обществу еще новый сюрпризъ.

— Ты трусъ, братецъ, трусъ. Презрѣнный трусъ, понимаешь ли, самый *презрѣнный трусъ*,—внушалъ на ухо учителю Ахилла.

— Что-жъ это, нехорошо: гости ждутъ,—замѣчалъ маіоръ.

Препотенскій подумалъ и, указавъ пальцемъ на исправника, сказалъ:

— Позвольте, я лучше Воина Васильича потяну.

— Нѣтъ, ты не его, а меня,—настаивалъ Повердовня и опять засерьезничалъ.

— Трусъ, трусъ!—опять шепчутъ со всѣхъ сторонъ. Варнава это слышитъ и по его лицу выступаетъ холодный

потъ, по тѣлу его бѣгутъ мурашки; онъ разнемогается нестерпимою, раздражающею немочью робости и въ этой робости даже страшенъ становится.

Прежде всѣхъ это замѣтилъ близко за нимъ наблюдавшій Ахилла. Видя острое сверканіе глазъ учителя, онъ кивалъ исправнику отойти подальше, а Захарію просто взялъ за рукавъ и, оттянувъ назадъ, сказалъ:

— Не стойте около него, отецъ: видите, онъ мечтаетъ.

Варнава началъ выступать. Вотъ онъ дѣлаетъ шагъ, вотъ трепещущая рука труса шевельнулась, отдѣлилась и стала подниматься тихо и медленно, но не къ усамъ капитана, а неукоснительно прямо къ лицу исправника.

Это постоянное стремленіе Варнавиной руки къ исправничьей физіономіи заставило всѣхъ улыбнуться.

— Чортъ его, братцы мои, знаетъ, что въ немъ такое дѣйствуетъ!—воскликнулъ Ахилла и, обратясь къ исправнику, еще разъ ему погрозилъ: отойди, молъ, а то, видишь, человѣкъ смущается.

Но въ это же краткое мгновенье Препотенскій, зажмуря глаза, издалеча коснулся усовъ Повердовни: капитанъ на него страшно зарычалъ и неожиданно гавкнулъ по-собачьи. Варнава, не снеся этого, неистово вскрикнулъ и, кинувшись пантерою на исправника, началъ въ безпамятствѣ колотить кого попало.

Это былъ сюрпризъ, какъ никто не ожидалъ, и эффектъ его былъ полнѣйшій. Опрокинутая лампа, пылающій керосинъ, бѣгущіе гости, ужасъ исправника и вопли Варнавы, отбивавшагося въ углу отъ преслѣдующаго его привидѣнія,— все это сдѣлало продолженіе пира невозможнымъ.

Петербургская гостья уѣзжала, а Препотенскій, хорошо знавшій всѣ ходы и переходы почтмейстерскаго помѣщенія, пользуясь минутой проводовъ, бросился коридоромъ въ контору и спрятался тамъ за шкафомъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Почтмейстерша, нетерпѣливо расхаживая въ кофтѣ по своей комнатѣ, мысленно отыскивала, кто могъ быть первымъ виновникомъ совершившагося ужаснаго событія. Кто затѣялъ эту шутку?

— Нѣтъ, еще шутка ничего,—разсуждала она:—а кто пригласилъ Препотенскаго? Да и это не то, а кто меня съ

нимъ познакомилъ? Кто же, какъ не муженекъ мой... Приходитъ: вотъ-де, рекомендую тебѣ Варнаву Васильича. Ну, погоди же ты: задамъ я тебѣ Варнаву Васильича! Но только гдѣ же это мой мужъ?—вопросила она, оглядываясь.—Неужто онъ спитъ? Неужто онъ можетъ спать послѣ того, что случилось!.. Ну я этого не могу,—рѣшила почтмейстерша, и нетерпѣливо выскочила въ залъ, гдѣ по обыкновенію, ночевывалъ почтмейстеръ, изгоняемый при домашнихъ счетахъ изъ супружеской опочивальни. Но, къ удивленію хозяйки, мужа ея здѣсь не было.

— А! это онъ отъ меня прячется; онъ теперь храпитъ на диванѣ въ конторѣ... Ну, да не будете же вы храпѣть!— И почтмейстерша пустилась къ конторѣ.

Почтмейстерша почти не ошиблась: мужъ ея, дѣйствительно, спалъ въ конторѣ; но маленькая ошибка съ ея стороны была лишь въ томъ, что почтмейстеръ спалъ не на диванѣ, какъ полагала она, а на столѣ. На диванѣ же спалъ Препотенскій, который послѣ всего, что съ нимъ здѣсь произошло, боялся идти домой, опасаясь, не подкарауливаетъ ли его гдѣ-нибудь за угломъ Ахилла, и уговорилъ почтмейстера дозволить ему переночевать для безопасности. Почтмейстеръ на это согласился тѣмъ охотнѣе, что, видя жену свою въ состояніи крайняго раздраженія, онъ и самъ находилъ выгоды имѣть въ эту пору около себя въ домѣ чужого человѣка, и потому онъ не только не отказалъ Варнавѣ въ ночлегѣ, но даже, какъ любезный хозяинъ, предоставилъ въ его пользованіе стоявшій въ конторѣ диванъ, а самъ легъ на большомъ сортировальномъ столѣ и закрылся съ головой снятымъ съ этого же стола канцелярскимъ сукномъ.

Дверь изъ комнаты въ контору, гдѣ спали почтмейстеръ и Препотенскій, была заперта. Это еще болѣе взбѣсило энергическую даму, ибо, по уставу дома, ни одна изъ его внутреннихъ дверей никогда не должна была запираться отъ ея, хозяйкина, контроля, а въ конторѣ почтмейстерша считала себя такою же хозяйкой, какъ и въ своей спальнѣ. И вдругъ неслыханная дерзость!..

Почтмейстерша вскипѣла. Она еще разъ потрогала дверь, но дверь не отпирается: крючокъ постукиваетъ, но сидитъ въ петлѣ, а между тѣмъ сквозь дверь слышно два дыханія. Два! Можно представить себѣ весь ужасъ, объявшій сердце жены при такомъ внезапномъ открытіи!

Оскорбленная въ своихъ правахъ супруга кинулась назадъ по коридору и, вбѣжавъ въ кухну, бросилась къ столу. Долго она шарила впотьмахъ руками по большому ящику, въ которомъ кишѣлъ рой прусаковъ, и, наконецъ, нашла именно то, что ей здѣсь было нужно.

Это былъ ножъ.

Огромный интересъ, возбуждаемый этою строкой, заставляетъ на ней пріостановиться, чтобы дать читателю приготовиться быть свидѣтелемъ ужаснаго событія.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Животрепещущая дама, вооруженная большимъ кухоннымъ ножемъ, засучивъ правый рукавъ своей кофты, прямо направилась къ двери конторы и еще разъ приложила ухо къ створу. И сомнѣнія никакого не было, что злочастная пара наслаждается сномъ безмятежнымъ: такъ и слышно какъ одинъ, болѣе сильный, субъектъ гудетъ гусакомъ, а другой, нѣжнѣйшій, выпускаетъ придыханіемъ протяжнѣе «пхэ».

Почтмейстерша завела ножъ въ дверной створъ, приподняла крючокъ, и легкая тесовая дверка безъ всякихъ затрудненій тихо скрипнула и отворилась.

Разсвѣтъ еще былъ далеко и въ комнатѣ только чуть видны были едва сѣрѣющія окна, но привычный глазъ различилъ здѣсь и столъ съ почтовыми вѣсками, и другой длинный столъ въ углу, и диванъ.

Держась лѣвою рукой около стѣны, негодующая почтмейстерша направилась прямо къ дивану и, щупая впотьмахъ руками, безъ большихъ затрудненій, отыскала храпуна, который лежалъ на самомъ краю и, немножко свѣсивъ голову, игралъ во всю носовую завертку. Спящій ничего не слыхалъ и, при приближеніи почтмейстерши, храпнулъ даже съ нѣкоторымъ особеннымъ удовольствіемъ, какъ будто чувствовалъ, что всему этому скоро конецъ, что этимъ удовольствіемъ ему уже болѣе сегодня не наслаждаться.

Это такъ и случилось.

Не успѣлъ спящій сдѣлать послѣдней фіоритуры, какъ лѣвая рука почтмейстерши сильно приподняла его за волосы, а правая, выбросивъ ножъ, дала ему нестерпимую оплеуху.

— Ммм... зачѣмъ же! зачѣмъ!—заговорилъ пробужденный

храпунъ, но вмѣсто отвѣта получилъ другую пощечину, потомъ третью, пятую, десятую, и всѣ одна другой громче, одна другой сильнѣе и оглушительнѣй.

— Ай, ай, ай, ай!—восклицалъ онъ, уклоняясь отъ сыпавшихся на него изъ непроглядной тьмы затрещинъ, которыя вдругъ смѣнились беззвучною, отчаянною трепкой и поволочкой.

— Мамчикъ! Что ты это, мамчикъ! вѣдь это не я, а Варнава Васильевичъ,—воззвалъ вдругъ въ это время со стола разбуженный и испуганный почтмейстеръ.

Почтмейстерша оторопѣла, выпустила изъ рукъ гривку Варнавы и, вскрикнувъ: «Да что же это вы, разбойникъ, со мною дѣлаете!»—кинулась къ мужу.

— Да; вотъ это я... это я!—услышалъ Варнава голосъ почтмейстера и, ничего не соображая въ эту минуту, кромѣ необходимости бѣжать, быстро сорвался съ дивана и, отыскавъ выходную дверь, выскочилъ въ одномъ бѣльѣ на улицу.

Онъ былъ избитъ очень серьезно и, обтеревши себѣ рукавомъ лицо, замѣтилъ, что у него идетъ изъ носу кровь.

Въ это же время дверь тихо пріотворилась и почтмейстеръ тихо назвалъ Препотенскаго по имени.

— Здѣсь,—отвѣчалъ глухо Препотенскій.

— Ваше платье, и извините.

Дверь снова захлопнулась, а на землю упало платье. Учитель сталъ подбирать его. Минуту спустя, къ его ногамъ черезъ заборъ шлепнулись сапоги.

Варнава сѣлъ на землю и надѣлъ сапоги; потомъ вздѣлъ кое-какъ свое одѣяніе и побрелъ къ дому.

На дворѣ начинало немножко свѣтать, а когда Препотенскій постучалъ въ кольцо у калитки своего дома, стало даже и совсѣмъ видно.

— Боже, кто это тебя, Варначокъ, такъ изувѣчилъ?—вскрикнула, встрѣтивъ запоздалаго сына, просвирня.

— Никто-съ, никто меня не изувѣчилъ. Ложитесь спать. Это на меня впотьмахъ что-то накинулось.

— *Накинулось!*

— Ну, да, да, да, впотьмахъ что-то накинулось, и только. Старушка-просвирня зарыдала.

— Чего вы визжите! Не до васъ мнѣ.

— Это они, они тебя мучатъ!..—заговорила, всхлипывая,

старушка. — Да; теперь тебѣ ужъ не жить здѣсь больше, Варнаша.

— Кто они?—вскрикнулъ недовольный Препотенскій.

Старушка указала рукой по направленію къ пустымъ подставкамъ, на которыхъ до недавняго времени висѣлъ скелетъ, и прошептавъ: «мертвецы!» она убѣжала, крестясь, въ свою каморку.

Черезъ день учитель Препотенскій съ отпускомъ и бѣдными грошами въ карманѣ бѣжалъ изъ города, оставивъ причину своего внезапнаго бѣгства для всѣхъ вѣчною загадкой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Госпожа Мордоконаки возвратилась къ себѣ тоже около того самаго времени, когда доплелся домой изувѣченный Варнава Препотенскій.

Быстрая ѣзда по ровной, крѣпкой дорогѣ имѣла на петербургскую даму то пріятное освѣжающее дѣйствіе, въ которомъ человѣкъ нуждается, проведя долгое время въ шумѣ и говорѣ, при необходимости принимать во всемъ этомъ свою долю участія. Мордоконаки не смѣялась надъ тѣмъ, что она видѣла. Она просто отбыла свой визитъ въ низменныя сферы и уходила отъ нихъ съ тѣмъ самымъ чувствомъ, съ какимъ она уходила съ крестинъ своей экономки, упросившей ее когда-то быть воспріемницей своего ребенка.

Въ этомъ удобномъ состояніи духа она пріѣхала домой, прошла рядъ пустыхъ богатыхъ покоевъ, раздѣлась, легла въ постель и, почувствовавъ, что ей будто холодно, протянула руку къ пледу, который лежалъ свернутый на табуретѣ у ея кровати.

Къ удивленію своему, раскидывая этотъ пледъ, она замѣтила посрединѣ его приколотую булавкой бумажку. Это былъ вчетверо сложенный тонкій, почтовый листокъ.

Сонная красавица взглянула внимательнѣе на этотъ supplement къ ея пледу, и посреди странныхъ бордюрокъ, сдѣланныхъ по краямъ листка, увидала крупно написанное русскими буквами слово: «*Парольдонеръ*».

«Что бы это могло значить!»—подумала она и, выдернувъ булавку, развернула листокъ и прочитала: «Милостивая государыня! Извините меня, что я предъ вами откровенный, потому что военный всегда откровенный. Душевно радуюсь

и Бога благодарю, что вы отъѣзжаете устроить къ ночи вашихъ любезныхъ дѣтей. Дай Боже имъ достигнуть такой цѣли, какъ матушка ихняя. Прошу васъ покорнѣйше написать отвѣтъ. Если же вы находите, что Повердовня не заслужилъ расположенія, то удостойте своимъ неземнымъ подчеркомъ, который будетъ оцѣненъ въ душѣ моей.

Неземной я васъ называю
Вы души моей кумиръ,
Вамъ всю душу открываю,—
Въ васъ сокрытъ волшебный міръ.

«Капитанъ Повердовня».

Мордоконаки расхохоталась, еще разъ прочитала посланіе влюбленнаго капитана и, закрывъ серебрянымъ колпачкомъ парафиновую свѣчку, сладко уснула, подумавъ:

«Bon Dieu, voilà la véritable Russie!»

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Въ тотъ же самый день, когда въ Старомъ Городѣ, такимъ образомъ, веселились, далеко, въ желтой каморкѣ ссыльнаго протопопа шла сцена другого рода. Тамъ умирала Наталья Николаевна.

По своей аккуратности и бережливости, протопопица все время своего пребыванія при мужѣ въ его ссылкѣ обходилась безъ прислуги и брала на себя труды, вовсе ей непривычные и непосильные. Добравшись до послѣдней двадцати-пяти-рублевой ассигнаціи въ своей коробкѣ, она испугалась, что у нихъ скоро не будетъ ни гроша, и рѣшила просить своего хозяина, жандарма, подождать на нихъ за квартиру, пока выйдетъ имъ прощеніе. Жандармъ на это согласился, и Наталья Николаевна тщательно скрывала все это отъ мужа, искала всѣми мѣрами отслужить чѣмъ-нибудь своему хозяину: она копала съ его работницей картофель, рубила капусту и ходила сама со своимъ бѣльемъ на рѣку.

Ея годы и ея плохое здоровье этого не вынесли, и она заболѣла и слегла.

Протопопъ осуждалъ ея хлопотливость и заботливость.

— Ты думаешь, что ты помогаешь мнѣ,—говорилъ онъ:— а я когда узналъ, что ты дѣлала, такъ... ты усугубила муки мои.

— Прости,—прошептала Наталья Николаевна.

— Что прости? Ты меня прости, — отвѣчалъ протопопъ и съ жаромъ взялъ и поцѣловалъ женину руку.—Я истерзалъ тебя моею непокорною нравностью, но хочешь... скажи одно слово, и я сейчасъ пойду покорюсь для тебя...

— Что ты, что ты! Никогда я не скажу этого слова! Тебя ли мнѣ учить, ты все знаешь, что къ чему устрояешь!

— Къ чести моей, другъ, все сіе переношу.

— И Боже тебѣ помогай, а обо мнѣ не думай.

Протопопъ опять поцѣловалъ женины руки и пошелъ дьячить, а Наталья Николаевна свернулась калачикомъ и заснула, и ей привидѣлся сонъ, что вошелъ будто къ ней дьяконъ Ахилла и говоритъ: «что же вы не помолитесь, чтобъ отцу Савелію легче было страждовать?» — «А какъ же, спрашиваетъ Наталья Николаевна, поучи, какъ это произнести?»—«А вотъ, говоритъ Ахилла, что произносите: Господи, ими же вѣси путями спаси!» — «Господи, ими же вѣси путями спаси!» благоговѣйно проговорила Наталья Николаевна, и вдругъ почувствовала, какъ будто дьяконъ ее взялъ и внесъ въ алтарь, и алтарь тотъ огромный-преогромный: столбы — и конца имъ не видно, а престолъ до самаго неба и весь сіяетъ яркими огнями, а назади, откуда они уходили, — все будто крошечное, столь крошечное, что даже смѣшно бы, если бы не та тревога, что она женщина, а дьяконъ ее въ алтарь внесъ. «Въ умѣ ли ты, дьяконъ!» говоритъ она Ахиллѣ: — «тебя сана лишатъ, что ты женщину въ алтарь внесъ». А онъ отвѣчаетъ: «вы не женщина, а вы *сила!*» и съ этимъ не стало ни Ахиллы, ни престола, ни сіянія, и Наталья Николаевна не спитъ, а дивляется, отчего же это все вокругъ нея остается такое маленькое: вонъ самоваръ не какъ самоваръ, а какъ будто игрушка, а на немъ на конфорочкѣ яичная скорлупочка вмѣсто чайника...

Въ это время вернулся изъ монастыря Туберозовъ и что-то ласково заговорилъ, но Наталья Николаевна такъ и замахала ему руками.

— Тише,—говоритъ,—тише: вѣдь я скоро умру.

Протопопъ удивился.

— Что ты, Наташа, Богъ съ тобой!

— Нѣтъ, умру, дружокъ, умру: я уже вполовину умерла.

— Кто же тебѣ это сказалъ?

— Какъ кто сказалъ? Я ужъ все вполовину вижу.

Пришелъ лѣкарь, пощупалъ пульсъ, посмотрѣлъ языкъ и говоритъ: «Ничего, простуда и усталость».

Туберозовъ хотѣлъ сказать, что больная все вполовину видитъ, да посовѣстился.

— Что жъ, отлично, что ты ему не сказалъ, — отвѣчала на его слова объ этомъ Наталья Николаевна.

— А ты все видишь вполовину?

— Да, вполовину; вонъ вѣдь это на небѣ, должно-быть, мѣсяцъ?

— Мѣсяцъ въ окно на насъ съ тобой, на старыхъ, смотритъ.

— А я вижу точно рыбій глазокъ.

— Тебѣ это все кажется, Наташа.

— Нѣтъ, это, отецъ Савелій, вѣрно такъ.

Туберозовъ, желая разубѣдить жену, показалъ ей вынутую изъ коробки завѣтную двадцати-пяти-рублевую ассигнацію и спросилъ:

— Ну, скажи: а это что такое?

— Двѣнадцать съ полтиной, — кротко отвѣчала Наталья Николаевна.

Туберозовъ испугался: что это за притча непонятная, а Наталья Николаевна улыбнулась, взяла его за руку и, закрывъ глаза, прошептала:

— Ты шутишь и я шучу: я видѣла, это наша бумажка; все маленькое... а вотъ зажмурюсь, и сейчасъ все станетъ большое, пребольшое-большое. Всѣ возрастаютъ: и ты, и Николай Аѳанасьевичъ, дружокъ, и дьяконочекъ Ахилла... и отецъ Захарія... Славно мнѣ, славно, не будите меня!

И Наталья Николаевна заснула навѣки.

Часть пятая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Карликъ Николай Аѳанасьевичъ не одинъ былъ пораженъ страшнымъ спокойствіемъ лица и дрогающею головой Туберозова, который медленно ступалъ по глубокой слякоти немощеныхъ улицъ за гробомъ своей усопшей жены Натальи Николаевны. Въ большихъ и молчаливыхъ скорбяхъ человѣка съ глубокою натурой есть несомнѣнно всѣми чувствуемая неотразимая сила, внушающая страхъ и наводящая ужасъ на натуры маленькія, обыкшія изливать свои скорби въ вопляхъ и стенаніяхъ. То чувствовали теперь и люди, которымъ было какое-нибудь дѣло до осиротѣлаго старика, лишеннаго своей вѣрной подруги. Когда могильная земля застучала по крышкѣ гроба Натальи Николаевны и запрещенный протопопъ обернулся, чтобы сойти съ высокаго отвала, всѣ окружавшіе его попятились и, разступясь, дали ему дорогу, которую онъ и прошелъ одинъ-одинешенекъ съ обнаженною головой черезъ все кладбище.

У воротъ онъ остановился, помолился на образъ въ часовнѣ и, надѣвъ свою шляпу, еще разъ оглянулся назадъ и изумился: предъ нимъ стоялъ карликъ Николай Аѳанасьевичъ, слѣдовавшій за нимъ отъ самой могилы въ двухъ шагахъ разстоянія.

На серьезномъ лицѣ протопопа выразилось удовольствіе: онъ, очевидно, былъ радъ встрѣчѣ со «старою сказкой» въ такую тяжелую минуту своей жизни и, отворотясь въ сто-

рону къ чернымъ полямъ, покрытымъ замерзшею и свернувшеюся озимою зеленью, уронилъ изъ глазъ тяжелую слезу — слезу одинокую и быструю какъ капля ртути, которая, какъ сиротка въ лѣсу, спряталась въ его сѣдой бородѣ.

Карликъ видѣлъ эту слезу и, понявъ ее во всемъ ея значеніи, тихонько перекрестился. Эта слеза облегчила грудь Савелія, которая становилась тѣсною для сжатаго въ ней горя. Онъ мощно дунулъ предъ собою и, въ отвѣтъ на приглашеніе карлика сѣсть въ его бричку, отвѣчалъ:

— Да, Николаша, хорошо, я сяду.

Они ѣхали молча, и когда бричка остановилась у жандармской хибары въ монастырской слободкѣ, Туберозовъ молча пожалъ руку карла и молча пошелъ къ себѣ.

Николай Аѳанасьевичъ не слѣдовалъ за нимъ, потому что онъ видѣлъ и понималъ желаніе Туберозова быть съ самимъ собою. Онъ навѣстилъ вдовца только вечеромъ и, посидѣвъ немного, попросилъ чайку, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ будто озябъ, хотя главною его цѣлію тутъ была попытка отвлечь Савелія отъ его горя и завести съ нимъ бесѣду о томъ, для чего онъ, Николай Аѳанасьевичъ, пріѣхалъ. Планъ этотъ удался Николаю Аѳанасьевичу какъ нельзя лучше, и когда Туберозовъ, внося къ себѣ въ комнату кипящій самоваръ, началъ собирать изъ поставца чашки и готовить чай, карликъ завелъ издалека тихую рѣчь о томъ, что до нихъ въ городѣ происходило, и велъ этотъ разсказъ шагъ за шагъ, день за день, какъ разъ до самаго того часа, въ который онъ сидитъ теперь здѣсь, въ этой лачужкѣ. Въ разсказѣ этомъ, разумѣется, главнымъ образомъ получили большое мѣсто сѣтованія города о несчастьяхъ протопопа; печаль о его отсутствіи и боязнь, какъ бы не пришлось его вовсе лишиться.

Протопопъ, слушавшій начало этихъ рѣчей Николая Аѳанасьевича въ серьезномъ, почти близкомъ къ безучастію покоѣ, при послѣдней части разсказа, касающейся отношеній къ нему прихода, вдругъ усилилъ вниманіе, и когда карликъ, оглянувшись по сторонамъ и понизивъ голосъ, сталъ разсказывать, какъ они написали и подписали мірскую просьбу, и какъ онъ, Николай Аѳанасьевичъ, взялъ ее изъ рукъ Ахиллы и «скрылъ на своей груди», старикъ вдругъ задергалъ судорожно нижнею губой и произнесъ:

— Добрый народъ, спасибо.

— Онъ, нашъ народъ добрый, батушка, и даже очень добрый, но только онъ пока еще не знаетъ, какъ ему за что взяться,—отвѣчалъ карликъ.

— Тьма, тьма надъ бездною... но Духъ Божій поверхъ всего, — проговорилъ протопопъ и, вздохнувъ изъ глубины груди, попросилъ себѣ бумагу, о которой шла рѣчь.

— А зачѣмъ она вамъ, государь, отецъ протопопъ, эта бумага? — вопрошалъ съ лукавою улыбкой карликъ. — Она кому надписана, тому и будетъ завтра подана.

— Дай мнѣ... я хочу на нее посмотрѣть.

Карликъ сталъ разстегивать свои одежды, чтобы докопаться до лежащей на его груди сумы, но вдругъ что-то вспомнилъ и остановился.

— Дай же, дай!—попросилъ Савелій.

— А вы, батушка... ее не того... не изорвете?

— Нѣтъ, — твердо сказалъ Туберозовъ, и когда карла досталъ и подалъ ему листы, усѣянные бисерными и вершковыми, четкими и нечеткими подписями, Савелій благоговѣйно зашепталъ:

— Изорвать... изорвать сію драгоцѣнность! Нѣтъ! нѣтъ! съ нею въ темницу; съ нею на крестъ; съ нею во гробъ меня положите!

И онъ, къ немалому трепету карлика, началъ проворно свертывать эту бумагу и положилъ ее на грудь себѣ подъ подрясникъ.

— Позвольте же, батушка, это вѣдь надо подать!

— Нѣтъ, не надо!

Туберозовъ покачалъ головой и, помахавъ отрицательно пальцемъ, подтвердилъ:

— Нѣтъ, Никола, не надо, не надо.

И съ этимъ онъ еще рѣшительнѣе запряталъ на грудь просьбу и, затянувъ поясъ подрясника, застегнулъ на крючки воротникъ.

Отнять у него эту просьбу не было теперь никакой возможности: смѣло можно было ручаться, что онъ скорѣе разстанется съ жизнію, чѣмъ съ листомъ этихъ драгоцѣнныхъ каракуль «міра».

Карликъ видѣлъ это и не спѣша заигралъ на собственныхъ нотахъ Савелія. Николай Аѳанасьичъ заговорилъ, какъ велико и отрадно значеніе этого мірского заступни-

чества, и затѣмъ перешелъ къ тому, какъ свята и ненарушима должна быть для каждаго воля мірская.

— Они, батушка, отецъ протопопъ, въ горести плачутъ, что васъ не увидятъ.

— Все равно, сего не минетъ,—вздохнулъ протопопъ:— немного мнѣ жить; дни мои всѣ сочтены уже вмалѣ.

— Но я-то, батушка, я-то, отецъ протопопъ: міръ что мнѣ довѣрилъ и съ чѣмъ я міру явлюсь?

Туберозовъ тронулся съ мѣста и, обойдя нѣсколько разъ вокругъ своей маленькой каморки, остановился въ углѣ предъ иконой, досталъ съ груди бумагу и, поцѣловавъ ее еще разъ, возвратилъ карлику со словами:

— Ты правъ, мой милый другъ, дѣлай, что велѣлъ тебѣ міръ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Николай Ѳанасьевичъ имѣлъ много хлопотъ, исполняя возложенное на него порученіе, но дѣйствовалъ рачительно и неотступно. Этотъ маленькій посланецъ большого міра не охладѣвалъ и не горячился, но какъ клещъ впивался въ кого ему было нужно для полученія успѣха, и не отставалъ. Савелія онъ навѣщалъ каждый вечеръ, но не говорилъ ему ничего о своихъ дневныхъ хлопотахъ; тотъ, разумѣется, ни о чемъ не спрашивалъ. А между тѣмъ дѣло настолько подвинулось, что въ девятый день по смерти Натальи Николаевны, когда протопопъ вернулся съ кладбища, карликъ сказалъ ему:

— Ну-съ, батушка, отецъ протопопъ, ѣдемте, сударь, домой: васъ отпускаютъ.

— Буди воля Господня о мнѣ, — отвѣчалъ равнодушно Туберозовъ.

— Только они требуютъ отъ васъ одного, — продолжалъ карликъ: — чтобы вы подали обязательную записку, что впредь сего не совершите.

— Хорошо; не совершу... именно не совершу, поелику... слабъ я и ни на что больше не годенъ.

— Дадите таковую подписку?

— Дамъ, согласенъ... дамъ.

— И еще прежде того просятъ... чтобы вы принесли покаяніе и попросили прощенія

— Въ чемъ?

— Въ дерзости... То-есть это они такъ говорятъ, что «въ дерзости».

— Въ дерзости? Я никогда не былъ дерзокъ и другихъ, по мѣрѣ силъ моихъ, отъ того воздерживалъ, а потому каяться въ томъ, чего не сдѣлалъ, не могу.

— Они такъ говорятъ и называютъ.

— Скажи же имъ, что я предерзостнымъ себя не признаю.

Туберозовъ остановился и, поднявъ вверхъ указательный палецъ правой руки, воскликнулъ:

— Не нареченъ былъ дерзостнымъ пророкъ за то, что онъ, ревнуя, поревновалъ о Вседержителѣ. Скажи же имъ: такъ вамъ велѣлъ сказать вашъ подначальный попъ, что онъ ревнивъ и такъ умретъ такимъ, какимъ рожденъ ревнивцемъ. А болѣе со мной не говори ни слова о прощеніи.

Ходатай отошелъ съ такимъ рѣшительнымъ отвѣтомъ и снова ѣздилъ и ходилъ, просилъ, молилъ и даже угрожалъ судомъ людскимъ и Божіимъ судомъ, но всуе дребезжалъ его слабѣющій языкъ.

Карликъ заболѣлъ и слегъ; неодолимость дѣла, за которое взялся этотъ оригинальный адвокатъ, сломила и его силу, и его терпѣніе.

Роли стариковъ перемѣнились, и какъ до сихъ поръ Николай Аѳанасьевичъ ежедневно навѣщалъ Туберозова, такъ теперь Савелій, напиливъ урочныя дрова и отстоявъ въ монастырѣ вечерню, ходилъ въ большой плодомасовскій домъ, гдѣ лежалъ въ одномъ укромномъ покойчикѣ разболѣвшійся карликъ.

Савелію было безмѣрно жаль Николая Аѳанасьевича, и онъ скорбѣлъ за него и, вздыхая, говорилъ:

— Сего лишь единственно ко всему бывшему недоставало, чтобы ты за меня перемучился.

— Батушка, отецъ протопопъ, что тутъ обо мнѣ, старомъ зайцѣ, разговаривать? На что ужъ я годенъ? Нѣтъ, вы о себѣ-то и о нихъ-то, о своемъ первосвященникѣ, извольте попечалиться: вѣдь они *просятъ* васъ покориться! Утѣшьте ихъ: попросите прощенія!

— Не могу, Николай, не могу!

— Усиленно, отецъ протопопъ, просятъ! Вѣдь они только по начальственному высокомѣрію объ этомъ говорить не могутъ, а имъ очень васъ жаль и непріятно, что весь го-

родъ за васъ поднялся... Нехорошо имъ тоже всѣмъ отказывать, не откажите жъ и вы имъ въ нисхожденіи, утѣшьте просьбой.

— Не могу, Николай, не могу! Прощеніе не потѣха.

— Смиритесь!

— Я предъ властью смиренъ, а что есть превыше земной власти, то надо мною властнѣе... Я человѣкъ подзаконный. Сирахъ вмѣнилъ въ обязанности намъ пещись о чести имени, а первоверховный Павелъ протестовалъ противъ попранья правъ его гражданства; не въ правѣ я себя унизить ради просьбы.

Карликъ былъ въ отчаяніи. Подзаконный протопопъ не подавалъ ни малѣйшей надежды ни на какую уступку. Онъ какъ сталъ на своемъ, такъ и не двигался ни впередъ, ни назадъ, ни направо, ни налѣво.

Николай Аѳанасьевичъ не одобрялъ уже за это отца Савелія, и хотя не относилъ его поведенія къ гордости или къ задору, но видѣлъ въ немъ непохвальное упрямство и, осуждая протопопа, рѣшился еще разъ сказать ему:

— Вѣдь нельзя же, батушка, отецъ Савелій, вѣдь нельзя же-съ и начальства не пожалѣть, вѣдь надо же... надо же имъ хоть какой-нибудь реваншикъ предоставить. Какъ изъ этого выйти?

— А ужъ это ихъ дѣло.

— Ну, значитъ, вы къ нимъ человѣкъ безъ сожалѣнія.

— О, друже, нѣтъ; я его, сіе скорбное начальство наше, очень сожалѣю!—отвѣчалъ, вздохнувъ, протопопъ.

— Ну, такъ и поступитесь маленечко своимъ обычаемъ: повинитесь.

— Не могу, законъ не позволяетъ.

Карликъ мысленно положилъ отречься отъ всякой надежды чего-нибудь достичь и сталъ собираться назадъ въ свой городъ. Савелій ему ничего не возражалъ, а, напротивъ, даже совѣтовалъ уѣхать и ничего не наказывалъ, что тамъ сказать или отвѣтить. До послѣдней минуты, даже провожая карлика изъ города за заставу, онъ все-таки не поступился ни на іоту и, поворотивъ съ знакомой дороги назадъ въ городъ, побрелъ пилить дрова на монастырскій дворъ.

Горе Николая Аѳанасьевича не знало мѣры и предѣловъ. Совсѣмъ не такъ онъ думалъ возвращаться, какъ довелось,

и зато онъ теперь ѣхалъ, все вертясь въ своихъ соображеніяхъ на одномъ и томъ же предметѣ, и вдругъ его посѣтила мысль,—простая, ясная, спасительная и блестящая мысль, какія рѣдко нисносылаются и обыкновенно приходятъ вдругъ,—именно какъ бы откуда-то свыше, а не изъ насъ самихъ.

Карликъ съ десятой версты повернулъ въ городъ и, явясь къ начальству Савелія, умолялъ *приказать* протопопу повиниться.

Начальство, въ самомъ дѣлѣ, давно не радо было, что зацѣпило упрямаго старика, и карликъ, получивъ то, чего желалъ, внезапно предсталъ снова Туберозову и сказалъ:

— Ну-съ, государь мой, гордый отецъ протопопъ, не желали вы сдаваться на просьбу, такъ теперь довели себя до того, что должны оказать повиновеніе строгости: мнѣ приказано вамъ сказать, что вамъ властію повелѣваютъ извиниться.

— Гдѣ же они повелѣваютъ мнѣ стать предъ ними на колѣни: здѣсь, или на площади, или во храмѣ?—сухо спросилъ Туберозовъ. — Мнѣ все равно: по повелѣнію я все исполню.

Карликъ отвѣчалъ ему, что никто отъ него никакого униженія не требуетъ и что ему достаточно написать требуемое прошеніе на бумагѣ.

Туберозовъ тотчасъ же взялъ и написалъ кому и что слѣдовало, обозначивъ эту бумагу: «Требованное всепокорнѣйшее прошеніе». Карликъ замѣтилъ, что слово «требованное» здѣсь совершенно неумѣстно, но Савелій это рѣшительно отвергъ и сказалъ:

— Ну, ужъ, надѣюсь, что тебѣ меня логикѣ не повелѣно учить; я ей въ семинаріи научент: ты сказалъ, что отъ меня требуютъ, я и пишу «требованное».

Кончилось это для отца Савелія тѣмъ, что, наскучивъ съ нимъ возиться, его отпустили, но за то, что всепокорнѣйшее прошеніе его было въ то же время прошеніе «требованное», на немъ послѣдовала надпись, въ силу которой упорный старикъ за эту «требованность» оставляемъ еще на полгода подъ запрещеніемъ.

Савелій этимъ нисколько не смутился и, поблагодаривъ всѣхъ, кого считалъ нужнымъ благодарить, выѣхалъ съ карликомъ домой послѣ долгой и тягостной ссылки своей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Во время дороги они мало разговаривали, и то заводилъ рѣчи только Николай Аѳанасьевичъ. Стараясь развлечь и разсѣять протопопа, сидѣвшаго въ молчаніи со сложенными на колѣняхъ руками въ старыхъ замшевыхъ перчаткахъ, онъ заговаривалъ и про то, и про другое, но Туберозовъ молчалъ или отзывался самыми краткими словами. Карликъ разсказывалъ, какъ скучалъ и плакалъ по Туберозовѣ его приходъ, какъ почтмейстерша, желая избить своего мужа, избила Препотенскаго, какъ учитель бѣжалъ изъ города, гонимый Бизюкиной,—старикъ все отмалчивался.

Николай Аѳанасьевичъ заговорилъ о домикѣ Туберозова, что онъ опускается и требуетъ поправки.

Протопопъ вздохнулъ и сказалъ:

— Уже все это отнынѣ для меня прахъ, и я гнушаюсь, что былъ къ тому привязанъ.

Карликъ повернулъ на то, что вотъ Ахилла все находитъ себѣ утѣшеніе и, скучая безмѣрно, взялъ къ себѣ въ домъ изъ-подъ кручи слѣпого щеночка и имъ забавляется.

— Добро ему: пусть тѣшится,—прошепталъ протопопъ.

Николай Аѳанасьевичъ оживился.

— Да-съ,—началъ онъ:—и скажу вамъ, батушка, сколько же съ ними чрезъ эту собачку, по ихъ характеру, произошло самыхъ дивныхъ исторій. Выучили они эту собачку, какъ и прежнихъ, смѣяться; скажутъ: «засмѣйся, собачка»,—она и скалитъ зубенки; но внала имъ въ голову мысль, какъ ее назвать?

— Ну, не все ли будто равно псу, какъ его называютъ?—отозвался нехотя протопопъ.

Карликъ замѣтилъ, что разсказы объ Ахиллѣ спутникъ его слушалъ не такъ равнодушно, и пошелъ далѣе.

— Да-съ; ну, вотъ подите же! А по отца дьякона характеру, видите, не все равно: что сѣло имъ въ голову, то ужъ имъ вынь да положь. «Я, говоритъ, этого песика по особенному случаю растревоженный домой принесъ, и хочу, чтобъ онъ въ означеніе сего случая такимъ особеннымъ именемъ назывался, какихъ и нѣтъ».

Протопопъ улыбнулся.

— Ну-съ, вотъ и пріѣзжаетъ онъ, отецъ Ахилла, такимъ манеромъ ко мнѣ въ Плодомасово верхомъ и стако-

вится на конѣ супротивъ нашихъ съ сестрицей окошекъ, и зычно кричитъ: «Николаша! а Николаша!» Я думаю: Господи, что такое? Высунулся въ форточку, да и говорю: — ужъ не съ отцомъ ли Савеліемъ еще что худшее, отецъ дьяконъ, приключилось?— «Нѣтъ, говоритъ, не то, а я нужное дѣло къ тебѣ, Николаша, имѣю. Я къ тебѣ за совѣтомъ пріѣхалъ».

— Такъ пожалуйте же, молъ, въ комнаты, — не казаки же мы съ вами сторожевые, чтобы намъ перекликаться одному съ коня, а другому съ вышки. Такъ вѣдь куда тебѣ! — не хочетъ: «мнѣ, говоритъ, некогда, да я и не одинъ».

— Въ чемъ же, кричу, дѣло-то? Говорите скорѣе, сударь, а то мнѣ въ форточкѣ холодно, я человѣкъ зябкій.— «А ты, говоритъ, сызмальства по господскимъ домамъ живешь, такъ долженъ ты всѣ собачьи имена знать». Ну какъ, молъ, можно всѣ ихъ имена знать; мало ли гдѣ какъ собакъ называютъ. — «Ну, кричитъ, скорѣй пересчитывай!»—Я имъ и называю, что вѣдь названія, молъ, даются все больше по породамъ, что̀ какой прилично: борзыя почаще все «Милорды», а то изъ нашихъ простыхъ, которыя красивѣй, «Барбосы» есть, изъ аглицкихъ «Фани», изъ курляндскихъ «Шарлотки», французскихъ называютъ и «Жужу», и «Бижу»; испанскія «Карло» или «Катанья», или еще какъ-нибудь; нѣмецкія «Шпицъ»... Но отецъ дьяконъ меня на этомъ перебиваютъ: «Нѣтъ, ты, говоритъ, скажи мнѣ такое имя, чтобы ни у кого такого не было. Ты, изволятъ настаивать, долженъ это знать!» Какъ, думаю, ихъ успокоить?

— Ну и какъ же ты его успокоилъ? — полюбопытствовалъ Туберозовъ.

— Да я, батушка, что же, я въ ту пору сталъ очень въ форточкѣ-то зябнуть и, чтобы поскорѣе отдѣлаться, говорю: знаю я, сударь, еще одну кличку, да только сказать вамъ ее опасаюсь. — «Нѣтъ, ничего, кричитъ, ничего, говори». Звали, молъ, у одного барина собаку *Каквасъ*. А отецъ Ахилла-то вдругъ и засмутились. — «Что ты это за вздоръ, говорятъ, мелешь: или ты съ ума сошелъ?» Нѣтъ, молъ, я съ ума не сходилъ, а я точно знаю, что въ Москвѣ у одного князя собаку звали *Каквасъ*. Ахилла Андреичъ вдругъ какъ вскипятъ, разгнѣвались и начали лошадь шпо-

рить и къ стѣнѣ подскакиваютъ, а сами кричатъ: «Развѣ тебѣ, безстыднику ты этакій старый, можно это на меня сказать? Развѣ ты не знаешь, что мое имя крещеное и я священнослужитель?» Насилу ихъ, батушка, успокоилъ и растолковалъ имъ, что̀ это такое *Каквасъ*. Ну, тутъ ужъ зато они взыграли на конѣ и, вынувъ изъ-за пазухи изъ полушубка того щеночка, закричали: «Здравствуй *Каквасинька!*» и понеслись радостные назадъ.

— Дитя великовозрастное, — проговорилъ улыбнувшись Савелій.

— Да-съ, все бы имъ шутки.

— Не осуждай его: чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало; тяжело ему ношу, сонную дрему, весть, когда въ немъ въ одномъ тысяча жизней горитъ.

— Именно-съ. Я и не знаю, какъ ему умирать?

— Я и самъ этого не знаю, — пошутилъ протопопъ: — онъ есть само отрицаніе смерти. Ну, а что же съ этимъ *Каквасомъ?*

— А что вы изволите полагать, съ нимъ идетъ бѣда по сю пору, да и нельзя безъ нея. Отецъ дьяконъ какія же привычки себѣ изволили выдумать? Какъ только имъ дѣлается по васъ очень скучно, они въ ту пору возьмутъ своего *Какваску* на руки и идутъ къ почтовой станціи, сядутъ на крылечко и ждутъ. Чуть какой-нибудь важный проѣзжій или дама какая останавливаются, а они сейчасъ: «засмѣйся, собачка», та и смѣется, каналья, а проѣзжимъ любопытно; спрашиваютъ: «батушка, какъ эту собачку звать?» А они: я, говоритъ, не батушка, а дьяконъ, — моего батушку собаки съѣли. А спросятъ: «ну, а какъ же вашу собачку звать?»—«А собачку, отвѣчаютъ, зовутъ *Каквасъ*». И ссоры онъ изъ-за этого затѣваетъ постоянныя и все говоритъ: я ихъ теперь, говоритъ, всѣхъ этакъ постоянно въ глаза буду собаками звать, и самъ мировой судья мнѣ ни лысаго бѣса не сдѣлаетъ. И все это за васъ, отецъ Савелій, мститъ, а въ какомъ соображеніи мститъ— того не разсуждаетъ. А вотъ отцу Захаріи за него выпла непріятность: у нихъ эту собачку благочинный увидали, да спросили какъ звать; а отецъ Захарія говоритъ: «Зовутъ *Каквасъ*, ваше преподобіе», и получили выговоръ.

Савелій разсмѣялся до слезъ и, обтершись платкомъ, проговорилъ:

— Безцѣнный сей прямодушный Захарія. Сосудъ Господень и молитвенникъ, какого другого я не видывалъ. Жажду обнять его.

Предъ путешественниками вдругъ съ горы открылся родной городъ, — городъ древній, характерный и полный для Туберозова воспоминаній, подъ мгновеннымъ напоромъ которыхъ старикъ откинулся назадъ и зажмурился, какъ отъ сверканія яркаго солнца.

Они велѣли ѣхать еще тише, чтобы не въѣзжать засвѣтло, и въ сумерки постучали въ желѣзное кольцо знакомыхъ воротъ. Послышался окликъ: «кто тамъ», это былъ голосъ Ахиллы. Туберозовъ обтеръ пальцемъ слезу и перекрестился.

— Кто тамъ?—переспросилъ еще Ахилла.

— Да кто же какъ не я и отецъ Савелій, — отозвался карликъ.

Дьяконъ взвизгнулъ, слетѣлъ со всѣхъ ступеней крыльца, размахнулъ настежь ворота, а самъ вкатилъ клубомъ въ бричку и, обхвативъ шею протопопа, замеръ.

Оба они, обнявъ другъ друга въ бричкѣ, долго и жалостно всхлипывали, межъ тѣмъ какъ карликъ, стоя на землѣ, тихо, но благодатно плакалъ въ свой прозябшій кулачокъ.

Наконецъ дьяконъ, нарыдавшись, захотѣлъ говорить. Онъ чуть было уже не спросилъ о Натальѣ Николаевнѣ; но, спохватясь, ловко перемѣнилъ слово и, показывая протопопу на вертѣвшуюся возлѣ его ногъ собачку, сказалъ:

— А вотъ это, батя, мой новый пёсикъ *Какваска!* Самая чудесная собачка. И какъ мы захотимъ, она намъ сейчасъ засмѣется. Чего о пустомъ скучать!

— «*О пустомъ*»,—съ нестерпимою болью въ сердцѣ было повторилъ о. Савелій, но удержался и только крѣпко, во всю мочь сжалъ Ахиллину руку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Войдя въ свой домъ, гдѣ въ теченіе довольно долгаго времени оставался хозяиномъ и единственнымъ жильцомъ дьяконъ Ахилла, протопопъ поцѣловалъ стихійнаго исполина въ сухой проборъ его курчавой головы и, обойдя вмѣстѣ съ нимъ всѣ комнатки, перекрестилъ пустую осиротѣлую кроватку Натальи Николаевны и сказалъ:

— Что же, другъ: теперь намъ съ тобой уже не стòить и расходиться,—станемъ жить вмѣстѣ!

— И очень извольте: радъ и готовъ, и даже самъ такъ располагалъ, — отвѣчалъ Ахилла и опять обѣими руками обнялъ протопопа.

Такъ они и остались жить вдвоемъ: Ахилла служилъ въ церкви и домовничалъ, а Туберозовъ сидѣлъ дома, читалъ Джона Буніана, думалъ и молился.

Онъ показывался изъ дома рѣдко, или, лучше сказать, совсѣмъ не показывался, и на вопросы навѣщавшихъ его людей, почему онъ не выходитъ, коротко отвѣчалъ:

— Да вотъ... все... собираюсь.

Онъ, дѣйствительно, все *собирался* и жилъ усиленной и сосредоточенною жизнью самоповѣряющаго себя духа.

Ахилла отстранялъ его отъ всякихъ заботъ и попеченій и это давало старцу большое удобство *собираться*.

Но не долго суждено было длиться и этому блаженству. Ахиллу ждала честь: его бралъ съ собою въ Петербургъ архіерей, вызванный на череду для присутствованія въ синодѣ. Губернскій протодьяконъ былъ нездоровъ.

Разставаніе дьякона съ Туберозовымъ было трогательное, и Ахилла, никогда не писавшій никакихъ писемъ и не знавшій, какъ ихъ пишутъ и какъ отправляютъ, не только вызвался писать отцу Туберозову, но и исполнялъ это.

Письма его были оригинальны и странны, не менѣе чѣмъ весь складъ его мышленія и жизни. Прежде всего онъ прислалъ Туберозову письмо изъ губернскаго города и въ этомъ письмѣ, вложенномъ въ конвертъ, на которомъ было надписано: «отцу протоіерею Туберозову секретно и въ собственныя руки», извѣщалъ, что, живучи въ монастырѣ, онъ отмстилъ за него цензору Троадію, привязавъ его коту на спину колбасу съ надписаніемъ: «сію колбасу я хозяину несу» и пустивъ кота бѣгать съ этою ношею по монастырю.

Черезъ мѣсяцъ Ахилла писалъ изъ Москвы, сколь она ему понравилась, но что народъ здѣсь прелукавый и особенно пѣвчіе, которые два раза звали его пить вмѣстѣ лампопо, но что онъ, «зная изъ практики, что̀ такое обозначаетъ сіе лампопо, такой ихъ пѣвческой наглости только довольно подивился».

Еще немного спустя, онъ писалъ уже изъ Петербурга: «Прелюбезный другъ мой и ваше высокопреподобіе отецъ

Савелій. Радоватися. Живу чудесно на подворьѣ, которое будетъ въ родѣ монастырька, но соблазну ужасъ какъ много, потому что все равно, что среди шумнаго города. Но по васъ все-таки, несмотря на сію шумность, скучаю, ибо вмѣстѣ бы если бы тутъ были, то отрадѣй бы гораздо всему вдвоемъ удивлялись. Совѣты ваши благіе помню и содержу себя въ постоянномъ у всѣхъ почтеніи, на что и имѣете примѣту въ томъ московскомъ лампонѣ, котораго пить не захотѣлъ. Пью самую малость, да и то главнѣе всего для того, что чрезъ непитье опасаюсь какъ бы хорошее знакомство не растерять. Хорошаго здѣсь много, но дьяконовъ настоящихъ, какъ по нашему требуется, нѣтъ; все тенористые, пристойные по-нашему развѣ только къ кладбищамъ, и хотя иные держатъ себя и очень даже форсисто, но и собою всѣ противъ насъ жидки и въ служеніи все дѣйствуютъ говоркомъ, а нерѣдко даже и не въ ноту, почему пѣвчимъ съ ними потрафлять хорошо невозможно. Я же, какъ въ этомъ свѣдущій, ихъ модѣ не подражаю, а служу по-своему и зато хоть и пріѣзжій, но купечество приглашало меня въ Гостиный рядъ подъ воротами въ шатрѣ молебенъ служить и, окромя денежнаго подаренія, за ту службу дали мнѣ три фуляровые платка, какіе вы любите, и я ихъ вамъ привезу въ гостинецъ. На здоровье! Скучаю я тоже не мало, конечно, по своей необразованности, да и потому, что отовсюду далеко. Изъ угощеній здѣсь все больше кофій. Да я по дальности мало у кого и бываю, потому что надо все въ сторону; я же ѣзжу на полъимперіалѣ, а на немъ никуда въ сторону невозможно, но вы этого, по своей провинціальности, не поймете: сидишь точно на домѣ, на крышкѣ очень высоко, и если сходить оттуда, то надо имѣть большую ловкость, чтобы сигнуть долой на всемъ скаку, а для женскаго пола, по причинѣ ихъ одежды, этого даже не позволяютъ. Извозчики же здѣсь, по замѣчанію, очень насмѣшливы, и буде нашъ братъ духовный станетъ ихъ нанимать, но жертвуетъ очень дешево, то они сейчасъ одинъ о другомъ выкрикаютъ: «напрасно, батюшка, съ нимъ сѣли: онъ вчера священника въ лужу вывалилъ», а потому и не ряжу ихъ вовсе. Варнавку нашего однажды встрѣтилъ, но не тронулъ, потому что и онъ, и я оба ѣхали на встрѣчныхъ полъимперіалахъ, и я ему только успѣлъ погрозить, да, впрочемъ, онъ здѣсь сталъ очень какой-то дохлый. На-

счетъ же вашего несчастія, что вы еще въ запрещеніи и не можете о себѣ на литургіи молиться, то, пожалуйста, вы объ этомъ нимало не убивайтесь, потому что я все это преестественно обдумалъ и дополнилъ, и Вседержитель это видитъ. Полагайтесь такъ, что хотя не можете вы молиться сами за себя изъ уѣзднаго храма, но есть у васъ такой человѣкъ въ столицѣ, что черезъ него идетъ за васъ молитва и изъ Казанскаго собора, гдѣ спаситель отечества, свѣтлѣйшій князь Кутузовъ погребенъ, и изъ Исаакіевскаго, который весь снаружи мраморный, отъ самаго низа даже до верха, и столичный этотъ за васъ богомолецъ я, ибо я, четши эктенію, велегласно за кого положено возглашаю, а про самого себя шопотомъ твое имя, друже мой, отецъ Савелій, потаенно произношу, и молитву за тебя самую усердную отсюда посылаю Превѣчному, и жалуюсь, какъ ты напрасно предъ всѣми отъ начальства обиженъ. А ты особливо того слова, пожалуйста, себѣ и не думайте и не говорите, что «дни мои изочтены», потому что это намъ съ отцомъ Захаріей будетъ современемъ очень прискорбно и я тебя, честное слово, развѣ малымъ чѣмъ тогда переживу».

Засимъ слѣдовала подпись: «временно столичный за протодіакона своей епархіи Старогородскаго уѣзднаго собора дьяконъ Ахилла Десницынъ».

Было и еще получено письмо отъ Ахиллы, гдѣ онъ писалъ, что «счастливымъ случаемъ таки свидѣлся съ Препотенскимъ и думалъ съ нимъ за прошедшее биться, но вышелъ всему тому совсѣмъ другой оборотъ, такъ что онъ даже и былъ у него въ редакціи, потому что Варнава теперь уже былъ редакторомъ и Ахилла видѣлъ у него разныхъ «литераторовъ» и искренно тамъ съ Варнавой примирился. Примиренію же этому выставлялась та причина, что Варнава сталъ (по словамъ Ахиллы) человѣкъ жестоко несчастливый, потому что невдавняхъ женился на здѣшней барышнѣ, которая гораздо всякой дамы строже и судитъ все противъ брака, а Варнаву, говорятъ, нерѣдко бьетъ, и онъ теперь уже совсѣмъ не такой: самъ мнѣ открылся, что если бы не опасался жены, то готовъ бы даже за Бога въ газетѣ заступиться, и ругательски ругаетъ госпожу Бизюкину, а особливо Термосесова, который чудесно было себя устроилъ и получалъ большое жалованье на негласной службѣ для надзора за честными людьми, но врагъ его сму-

тилъ жадностью: сталъ фальшивыя бумажки перепущать и теперь въ острогъ сѣлъ». Наипаче же всего Ахилла хвалился тѣмъ, что онъ видѣлъ какъ въ театрѣ представляли. «Разъ (объяснилъ онъ), было это съ пѣвчими, ходилъ я въ штатскомъ уборѣ на самый верхъ на оперу «Жизнь за Царя», и отъ прекраснаго пѣнія голосовъ послѣ цѣлую ночь въ восторгѣ плакалъ; а другой разъ, опять тоже переряженный по-цивильному, ходилъ глядѣть, какъ самого царя Ахиллу представляли. Но только на меня даже ни крошки не похоже: выскочилъ актеръ весь какъ есть въ латахъ и на пятку жалится, а дай мнѣ этакую сбрую, я бы гораздо громче разыгралъ. Остальная же игра вся по-языческому съ открытостью до самыхъ поръ, и вдовому или одинокому человѣку это видѣть не спокойно».

И еще, наконецъ, пришло третье и послѣднее письмо, которымъ Ахилла извѣщалъ, что скоро вернется домой, и вслѣдъ затѣмъ въ одинъ сумрачный сѣрый вечеръ онъ предсталъ предъ Туберозова внезапно, какъ радостный вѣстникъ.

Поздоровавшись съ дьякономъ, отецъ Савелій тотчасъ же самъ бросился на улицу запереть ставни, чтобы скрыть отъ любопытныхъ радостное возвращеніе Ахиллы.

Бесѣда ихъ была долгая. Ахилла выпилъ за этою бесѣдой цѣлый самоваръ, а отецъ Туберозовъ все продолжалъ безпрестанно наливать ему новыя чашки и приговаривалъ:

— Пей, голубушка, кушай еще, — и когда Ахилла выпивалъ, то онъ говорилъ ему: — Ну, теперь, братецъ, разсказывай дальше: что ты тамъ еще видѣлъ и что узналъ?

И Ахилла разсказывалъ. Богъ знаетъ, что онъ разсказывалъ: это все выходило пестро, громадно и нескладно, но всего болѣе въ его разсказахъ удивляло отца Савелія то, что Ахилла кстати и некстати немилосердно уснащалъ свою рѣчь самыми странными словами, какихъ онъ до поѣздки въ Петербургъ не только не употреблялъ, но, вѣроятно, и не зналъ!

Такъ, напримѣръ, онъ ни къ селу, ни къ городу начиналъ съ того:

— Представь себѣ, голубчикъ, отецъ Савелій, какая комбынація (при чемъ онъ безпощадно напиралъ на ы).

Или:

— Какъ онъ мнѣ это сказалъ, я ему говорю: ну нѣтъ же ву пердю, это, братъ, сахаръ дюдю.

Отецъ Туберозовъ хотя съ умиленіемъ внималъ разсказамъ Ахиллы, но, слыша частое повтореніе подобныхъ словъ, поморщился и, не вытерпѣвъ, сказалъ ему:

— Что ты это... Зачѣмъ ты такія пустыя слова научился вставлять?

Но безконечно увлекающійся Ахилла такъ нетерпѣливо разворачивалъ предъ отцомъ Савеліемъ всю сокровищницу своихъ столичныхъ заимствованій, что не берегся никакихъ словъ.

— Да ты, душечка, отецъ Савелій, пожалуйста, не опасайтесь, теперь за слова ничего—не запрещается.

— Какъ, братецъ, *ничего?* слышать скверно.

— О-о! это съ непривычки. А мнѣ такъ теперь что̀ хочешь говори, все ерунда.

— Ну, вотъ опять.

— Что такое?

— Да что ты еще за пакостное слово сейчасъ сказалъ?

— Ерунда-съ!

— Тьфу, мерзость!

— Чѣмъ-съ?.. всѣ литераты употребляютъ.

— Ну, имъ и книги въ руки: пусть ихъ и сидятъ съ своею «герундой», а намъ съ тобой на что эту герунду заимствовать, когда съ насъ и своей русской чепухи довольно?

— Совершенно справедливо,—согласился Ахилла и, подумавъ, добавилъ, что чепуха ему даже гораздо болѣе нравится, чѣмъ ерунда.

— Помилуйте,—добавилъ онъ, опровергая самого себя:—чепуху это отмочишь и сейчасъ смѣхъ, а они тамъ съерундятъ, напримѣръ, что Бога нѣтъ, или еще какіе пустяки, что даже попервоначалу страшно, а не то споръ.

— Надо, чтобъ это всегда страшно было,—кротко шепнулъ Туберозовъ.

— Ну, да вѣдь, отецъ Савелій, нельзя же все такъ строго. Вѣдь если докажутъ, такъ дѣться некуда.

— Что докажутъ? что ты это? что ты говоришь? Что тебѣ доказали? Не то ли, что Бога нѣтъ?

— Это-то, батя, доказали...

— Что ты врешь, Ахилла! Ты добрый мужикъ и христіанинъ:—перекрестись! что ты это сказалъ?

— Что же дѣлать? Я, вѣдь, голубчикъ, и самъ этому не радъ, но противъ хвакта не попрешь.

— Что за «хвактъ» еще? что за фактъ ты открылъ?

— Да это, отецъ Савелій... зачѣмъ васъ смущать? Вы себѣ читайте свою Буніану и вѣруйте въ своей простотѣ, какъ и прежде сего вѣровали.

— Оставь ты моего Буніана и не заботься о моей простотѣ, а посуди, что ты на себя говоришь?

— Что же дѣлать? хвактъ!—отвѣчалъ, вздохнувъ, Ахилла.

Туберозовъ, смутясь, всталъ и потребовалъ, чтобъ Ахилла непремѣнно и сейчасъ же открылъ ему фактъ, изъ коего могутъ проистекать сомнѣнія въ существованіи Бога.

— Хвактъ этотъ по каждому человѣку прыгаетъ,—отвѣчалъ дьяконъ, и объяснилъ, что это блоха, а блоху всякій можетъ сдѣлать изъ опилокъ, и значитъ все-де могло сотвориться само собою.

Получивъ такое искреннее и наивное признаніе, Туберозовъ даже не сразу рѣшился, что ему отвѣтить; но Ахилла, высказавшись разъ въ этомъ направленіи, продолжалъ и далѣе выражать свою петербургскую просвѣщенность.

— И взаправду теперь,—говорилъ онъ: — если мы отъ этой самой ничтожной блохи пойдемъ дальше, то и тутъ намъ ничего этого не видно, потому что тутъ у насъ ни книгъ этакихъ, настоящихъ, ни глобусовъ, ни трубъ, ничего нѣтъ. Мракъ невѣжества до того, что даже я тебѣ скажу здѣсь и смѣлости-то такой, какъ тамъ, нѣтъ, чтобъ очень разсуждать! А тамъ я съ литератами, знаешь, сѣлъ, полчаса посидѣлъ, ну и вижу, что религія какъ она есть, такъ ее и нѣтъ, а блоха это положительный хвактъ. Такъ по наукѣ выходитъ...

Туберозовъ только посмотрѣлъ на него и, похлопавъ глазами, спросилъ:

— А чему же ты до сихъ поръ служилъ?

Дьяконъ нимало не сконфузился и, указавъ рукой на свое чрево, отвѣтилъ:

— Да чему и всѣ служатъ: маммону. По наукѣ и это выведено, для чего человѣкъ трудится,—для ѣды; хочетъ, чтобъ ему быть сытому и голоду не чувствовать. А если бы мы ѣсть бы не хотѣли, такъ ничего бы и не дѣлали. Это называется *борба* (дьяконъ произнесъ это слово безъ ъ) за *сушшествованіе*. Безъ этого ничего бы не было.

— Да вотъ видишь ты,—отвѣчалъ Туберозовъ:—а Богъ-то вѣдь, ни въ чемъ этомъ не нуждаясь, сотворилъ свѣтъ.

— Это правда,—отвѣчалъ дьяконъ:—Богъ это сотворилъ.

— Такъ какъ же ты его отрицаешь?

— То-есть я не отрицаю,—отвѣчалъ Ахилла:—а я только говорю, что, восходя отъ хвакта въ разсужденіи, какъ блоха изъ опилокъ, такъ и вселенная могла сама собой явиться. У нихъ богъ, говорятъ, «кислородъ». А я, прахъ его знаетъ, что̀ онъ есть кислородъ! И вотъ видите: какъ вы опять заговорили въ разныя стороны, то я уже опять ничего не понимаю.

— Откуда же взялся твой кислородъ?

— Не знаю, ей-Богу... да лучше оставьте про это, отецъ Савелій.

— Нѣтъ, нельзя этого, милый, въ тебѣ оставить! Скажи: откуда начало ему, твоему кислороду?

— Ей-Богу не знаю, отецъ Савелій! Да нѣтъ, оставьте, душечка!

— Можетъ-быть сей кислородъ безначаленъ?

— А идолъ его знаетъ! Да ну его къ лѣшему!

— И конца ему нѣтъ?

— Отецъ Савелій!.. да ну его совсѣмъ къ свиньямъ, этотъ кислородъ. Пусть онъ себѣ будетъ хоть и безъ начала, и безъ конца: что намъ до него?

— А ты можешь ли понять, какъ это безъ начала и безъ конца?

Ахилла отвѣчалъ, что это онъ можетъ.

И затѣмъ громко продолжалъ:

«Единъ Богъ во святой Троицѣ спокланяемый, Онъ есть вѣченъ, то есть не имѣетъ ни начала, ни конца Своего бытія, но всегда былъ, есть и будетъ».

— Аминь! — произнесъ съ улыбкой Туберозовъ и, такъ же съ улыбкой приподнявшись съ своего мѣста, взялъ Ахиллу дружески за руку, и сказалъ:

— Пойдемъ-ка, я тебѣ что-то покажу.

— Извольте,—отвѣчалъ дьяконъ.

И оба они, взявшись подъ руки, вышли изъ комнаты, прошли весь дворъ и вступили на средину покрытаго блестящимъ снѣгомъ огорода. Здѣсь старикъ сталъ и, указавъ дьякону на крестъ собора, гдѣ они оба столь долго предстояли алтарю, молча же перевелъ свой перстъ внизъ къ самой землѣ и строго вымолвилъ:

— Стань поскорѣй и помолись!

Ахилла опустился на колѣни.

— Читай: «Боже! очисти мя грѣшнаго и помилуй мя», произнесъ Савелій и, проговоривъ это, самъ положилъ первый поклонъ.

Ахилла вздохнулъ и вслѣдъ за нимъ сдѣлалъ то же. Въ торжественной тишинѣ полуночи, на бѣломъ освѣщенномъ луною пустомъ огородѣ, начались одинъ за другимъ его мѣрно повторяющіеся поклоны горячимъ челомъ до холоднаго снѣга, и полились широкіе вздохи съ сладостнымъ воплемъ молитвы: «Боже! очисти мя грѣшнаго и помилуй мя», которой вторилъ голосъ протопопа другимъ прошеніемъ: «Боже, не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ». Проповѣдникъ и кающійся молились вмѣстѣ.

Надъ Старымъ Городомъ долго неслись воздыханія Ахиллы: онъ, утѣшникъ и забавникъ, чьи кантаты и веселые окрики внималъ здѣсь всякій съ улыбкой, онъ самъ, согрѣшивъ, теперь сталъ молитвенникомъ, и за себя, и за весь міръ умолялъ удержать праведный гнѣвъ, на насъ движимый!

О, какая разница была ужъ теперь между этимъ Ахиллой и тѣмъ давнимъ Ахиллой, который, свистя, выплылъ къ намъ раннею зарей по рѣкѣ на своемъ красномъ жеребцѣ!

Тотъ Ахилла являлся свѣжимъ утромъ послѣ ночного дождя, а этотъ мерцаетъ вечернимъ закатомъ послѣ дневной бури.

Старый Туберозовъ съ качающеюся головой во все время молитвы Ахиллы сидѣлъ, въ своемъ сѣромъ подрясничкѣ, на крыльцѣ бани и считалъ его поклоны. Отсчитавъ ихъ, сколько разумѣлъ нужнымъ, онъ всталъ, взялъ дьякона за руку, и они мирно возвратились въ домъ, но дьяконъ, прежде чѣмъ лечь въ постель, подошелъ къ Савелію и сказалъ:

— Знаете, отче: когда я молился...

— Ну?

— Казалося мнѣ, что земля была трепетна.

— Благословенъ Господь, что далъ тебѣ подобную молитву! Лягъ теперь съ миромъ и спи,—отвѣчалъ протопопъ, и они мирно заснули.

Но Ахилла, проснувшись на другой день, ощутилъ, что онъ какъ бы куда-то ушелъ изъ себя: какъ будто бы онъ невзначай что-то кинулъ и что-то другое нашелъ. Нашелъ

что-то такое, что нести тяжело, но съ чѣмъ и нельзя и не охота разставаться.

Это былъ прибой благодатныхъ волнъ вѣры въ смятенную и трепетную душу.

Ей надо было болѣть и умереть, чтобы воскреснуть, и эта святая работа совершалась.

Немудрый Ахилла сталъ мудръ: онъ искалъ безмолвія и, окрѣпнувъ, черезъ нѣсколько дней спросилъ у Савелія:

— Научи же меня, старецъ великій: какъ мнѣ себя исправлять, если на то будетъ Божія воля, что я хоть на малое время останусь одинъ? Силой своею я былъ гордъ, но на семъ вразумленъ, и на нее больше я не надѣюсь...

— Да, былъ могучъ ты и силенъ, а и къ тебѣ приблизится часъ, когда не самъ преоляшешься, а другой тебя преоляшетъ,—отвѣтилъ Савелій.

— А разумъ мой еще силы моей ненадежнѣй, потому что я, знаете, всегда въ разсужденіи сбиваюсь.

— На сердце свое надѣйся, оно у тебя бьется вѣрно.

— А что жъ я взговорю, если гдѣ надобно слово? Вѣдь сердце мое безсловесно.

— Слушай его и что въ немъ простонетъ, про то говори, а съ сорной земли сигающихъ на тебя блохъ отрясай!

Ахилла взялся рукой за сердце и отошелъ, помышляя: не знаю, какъ все сіе будетъ? А безотчетное предчувствіе внятно ему говорило, что онъ скоро, скоро будетъ одинъ, и оставитъ его вся сила его, «и иной его преоляшетъ».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Жуткія и темныя предчувствія Ахиллы не обманули его: хилый и разбитый событіями старикъ Туберозовъ былъ уже не отъ міра сего. Онъ простудился, считая ночью поклоны, которые клалъ по его приказанію дьяконъ, и заболѣлъ,— заболѣлъ не тяжко, но такъ основательно, что сразу сталъ на край домовины.

Чувствуя, что смерть принимаетъ его въ свои объятія, протопопъ сѣтовалъ объ одномъ, что срокъ запрещенія его еще не минулъ. Ахилла понималъ это и разумѣлъ, въ чемъ здѣсь главная скорбь.

Туберозову не хотѣлось умереть въ штрафныхъ, — ему хотѣлось предстать предъ небесною властію разрѣшеннымъ *властію земною*. Онъ продиктовалъ Ахиллѣ письмо, въ ко-

торомъ извѣщалъ свое начальство о своемъ болѣзненномъ состояніи и умилительно просилъ снизойти къ нему и сократить срокъ положеннаго на него запрещенія. Письмо это было послано, но отвѣта на него не получалось.

Отецъ Туберозовъ молчалъ, но Ахилла прислушался къ голосу своего сердца и, оставивъ при больномъ старикѣ дьячка Павлюкана, взялъ почтовую пару и катнулъ безъ всякаго разрѣшенія въ губернскій городъ.

Онъ не многословилъ въ объясненіяхъ, а отдалъ кому слѣдовало все, чѣмъ могъ располагать, и жалостно просилъ исхлопотать отцу Туберозову немедленно разрѣшеніе. Но хлопоты не увѣнчались успѣхомъ: начальство на сей разъ показало, что оно вполнѣ обладаетъ тѣмъ, въ чемъ ему у насъ такъ часто любятъ отказывать. Оно показало, что обладаетъ характеромъ, и рѣшило, что все опредѣленное Туберозову должно съ нимъ совершиться, какъ должно совершиться все опредѣленное высшими судьбами.

Ахилла было опять почувствовалъ припадокъ гнѣва, но обуздалъ этотъ порывъ, и какъ быстро собрался въ губернскій городъ, такъ же быстро возвратился домой и не сказалъ Туберозову ни слова; но старикъ понялъ и причину его отъѣзда и прочелъ въ его глазахъ привезенный имъ отвѣтъ.

Пожавъ своею хладѣющею рукою дьяконову, Савелій проговорилъ:

— Не огорчайся, другъ.

— Да и, конечно, не огорчаюсь,—отвѣтилъ Ахилла.—Мало будто вы въ свою жизнь наслужились предъ Господомъ!

— Благодарю Его... открылъ мой умъ и смыслъ, далъ зрѣть Его дѣла, — проговорилъ старикъ и, вздохнувъ, закрылъ глаза.

Ахилла наклонился къ самому лицу умирающаго и замѣтилъ на его темныхъ вѣкахъ старческую слезу.

— А вотъ это нехорошо, баточка, — дружески сказалъ онъ Туберозову.

— Чт... т...о?—тупо вымолвилъ старикъ.

— Зачѣмъ людьми недоволенъ?

— Ты не понялъ, мой другъ,—прошепталъ слабо въ отвѣтъ больной и пожалъ руку Ахиллы.

Вмѣсто Ахиллы въ губернскій городъ снова поскакалъ карликъ Николай Аоанасьичъ и поскакалъ съ рѣшительнымъ словомъ:

— Какъ только доступлю, — говоритъ онъ: — такъ ужъ прочь и не отойду безъ удовлетворенія. Да-съ; мнѣ семьдесятъ годовъ и меня никуда заключить нельзя; я калѣчка и уродецъ!

Дьяконъ проводилъ его, а самъ остался при больномъ.

Всю силу и мощь и все, что только Ахилла могъ счесть для себя драгоцѣннымъ и милымъ, онъ все охотно отдалъ бы за то, чтобъ облегчить эту скорбь Туберозова, но это все было внѣ его власти, да и все это было уже поздно: ангелъ смерти сталъ у изголовья, готовый принять отходящую душу.

Черезъ нѣсколько дней Ахилла, рыдая въ углу спальни больного, смотрѣлъ, какъ отецъ Захарія, склонясь къ изголовью Туберозова, принималъ на ухо его послѣднее предсмертное покаяніе. Но что это значитъ?.. Какой это такой грѣхъ былъ на совѣсти старца Савелія, что отецъ Бенефактовъ вдругъ весь такъ взволновался? Онъ какъ будто бы даже забылъ, что совершаетъ таинство, не допускающее никакихъ свидѣтелей, и громко требовалъ, чтобъ отецъ Савелій кому-то и что-то простилъ! Предъ чѣмъ это такъ непреклоненъ у гроба Савелій?

— Будь миренъ! будь миренъ! прости! — настаивалъ кротко, но твердо Захарія. — Коль не простишь, я не разрѣшу тебя...

Блѣдный Ахилла дрожалъ и съ замираніемъ сердца ловилъ каждое сдово.

— Богомъ живымъ тебя, пока живъ ты, молю...—голосно вскрикнулъ Захарія и остановился, не докончивъ рѣчи.

Умирающій судорожно привсталъ и снова упалъ, потомъ выправилъ руку, чтобы положить на себя ею крестъ и, благословясь, съ большимъ усиліемъ и разстановкой произнесъ:

— Какъ христіанинъ, я... прощаю имъ мое предъ всѣми поруганіе, но то, что букву мертвую блюдя... они здѣсь... Божіе живое дѣло губятъ...

Торжественность минуты все становилась строже: у Савелія щелкнуло въ горлѣ, и онъ продолжалъ какъ будто въ бреду:

— Ту скорбь я къ престолу... Владыки царей... положу и самъ въ томъ свидѣтелемъ стану...

— Будь миренъ: прости! все имъ прости!—ломая руки, воскликнулъ Захарія.

Савелій нахмурился, вздохнулъ и прошепталъ: «благо мнѣ, яко смирилъ мя еси» и вслѣдъ затѣмъ неожиданно твердымъ голосомъ договорилъ:

— По суду любящихъ имя Твое просвѣти невѣждъ и прости слѣпому и развращенному роду его жестокосердіе.

Захарія съ улыбкой духовнаго блаженства взглянулъ на небо и осѣнилъ лицо Савелія крестомъ.

Лицо это уже не двигалось, глаза глядѣли вверхъ и гасли: Туберозовъ кончался.

Ахилла, дрожа, ринулся къ нему съ воплемъ и, рыдая, упалъ на его грудь.

Отходящій послѣднимъ усиліемъ перенесъ свою руку на голову Ахиллы и съ этимъ уже громкій колоколецъ заигралъ въ его горлѣ, мѣшаясь съ журчаньемъ словъ тихой отходной, которую читалъ сквозь слезы Захарія.

Протопопъ Туберозовъ кончилъ свое житіе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Смерть Савелія произвела ужасающее впечатлѣніе на Ахиллу. Онъ рыдалъ и плакалъ не какъ мужчина, а какъ нервная женщина оплакиваетъ потерю, перенесеніе которой казалось ей невозможнымъ. Впрочемъ, смерть протоіерея Туберозова была большимъ событіемъ и для всего города: не было дома, гдѣ бы не молились за усопшаго.

Въ домѣ покойника одна толпа народа смѣняла другую: одни шли, чтобъ отдать послѣдній поклонъ честному гробу, другіе, чтобы посмотрѣть, какъ лежитъ въ гробѣ священникъ. Въ ночь послѣ смерти отца Савелія, карликъ Николай Аѳанасьичъ привезъ разрѣшеніе покойнаго отъ запрещенія, и Савелій былъ положенъ въ гробу во всемъ облаченіи: огромный, длинный, въ камилавкѣ. Панихиды въ домѣ его совершались безпрестанно, и какой бы священникъ, приходя изъ усердія, ни надѣвалъ лежавшую на аналоѣ ризу и эпитрахиль, чтобъ отпѣть панихиду, дьяконъ Ахилла тотчасъ же просилъ благословенія на орарь и, сослужа, усердно молился.

На второй день было готово домовище и, по старому мѣстному обычаю, доселѣ сохраняющемуся у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ при положеніи священниковъ въ гробъ, началась церемонія торжественная и страшная. Собравшееся духовенство со свѣчами, въ траурномъ облаченіи, обносило

на рукахъ мертваго Савелія три раза вокругъ огромнаго гроба, а Ахилла держалъ въ его мертвой рукѣ дымящееся кадило, и мертвецъ какъ бы самъ окаждалъ имъ свое холодное домовище. Потомъ усопшаго протопопа положили въ гробъ и всѣ разошлись, кромѣ Ахиллы; онъ оставался здѣсь одинъ всю ночь съ мертвымъ своимъ другомъ, и тутъ произошло нѣчто, чего Ахилла не замѣтилъ, но что̀ замѣтили за него другіе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дьяконъ не ложился спать съ самой смерти Савелія, и три безсонныя ночи, вмѣстѣ съ напряженнымъ вниманіемъ, съ которымъ онъ безпрестанно обращался къ покойнику, довели стальные нервы Ахиллы до крайняго возбужденія.

Въ дьяконѣ замолчали инстинкты и страсти, которыми онъ наиболѣе былъ наклоненъ работать, и вмѣсто нихъ выступили и рѣзкими чертами обозначились душевныя состоянія, ему до сихъ поръ несвойственныя.

Его вѣчная легкость и разметанность смѣнились тяжеловѣсностью неотвязчивой мысли и глубокою погруженностью въ себя. Ахилла не поблѣднѣлъ въ лицѣ и не потухъ во взорѣ, а, напротивъ, смуглая кожа его озарилась розовымъ, матовымъ подцвѣтомъ. Онъ видѣлъ все съ рѣжущею глазъ ясностью; слышалъ каждый звукъ такъ, какъ будто этотъ звукъ раздавался въ немъ самомъ, и понималъ многое такое, о чемъ доселѣ никогда не думалъ.

Онъ теперь понималъ все, чего хотѣлъ и о чемъ заботился покойный Саволій, и назвалъ усопшаго мученикомъ.

Оставаясь всѣ три ночи одинъ при покойномъ, дьяконъ не находилъ также никакого затрудненія бесѣдовать съ мертвецомъ и ожидать отвѣта изъ-подъ парчеваго воздуха, покрывавшаго лицо усопшаго.

— Баточка! — взывалъ полегоньку дьяконъ, прерывая чтеніе Евангелія и подходя въ ночной тишинѣ къ лежавшему предъ нимъ покойнику:—Встань! А?.. При мнѣ при одномъ встань! Не можешь, лежишь, яко трава.

И Ахилла нѣсколько минутъ сидѣлъ или стоялъ въ молчаніи и опять начиналъ монотонное чтеніе.

На третью и послѣднюю ночь Ахилла вздремнулъ на одно короткое мгновеніе, проснулся за часъ до полуночи, смѣнилъ чтеца и заперъ за нимъ дверь.

Надѣвъ стихарь, онъ сталъ у аналоя и, прикоснувшись къ плечу мертвеца, сказалъ:

— Слушай, баточка мой, это я теперь тебѣ въ послѣднее зачитаю,—и съ этимъ дьяконъ началъ Евангеліе отъ Іоанна. Онъ прочелъ четыре главы и, дочитавъ до главы пятой, сталъ на одномъ стихѣ и, вздохнувъ, повторилъ дважды великое обѣщаніе: «яко грядетъ часъ и нынѣ есть, егда мертвіи услышатъ гласъ Сына Божія и, услышавши, оживутъ.»

Повторивъ дважды голосомъ, Ахилла началъ еще мысленно нѣсколько разъ кряду повторять это мѣсто, и не двигался далѣе.

Чтеніе надъ усопшимъ дѣло не мудрое; люди, маломальски привычные къ этому дѣлу, исполняютъ его безъ малѣйшаго смущенія; но при всемъ томъ и здѣсь, какъ во всякомъ дѣлѣ, чтобъ оно шло хорошо, нужно соблюдать нѣкоторые практическіе пріемы. Одинъ изъ такихъ пріемовъ заключается въ томъ, чтобы чтецъ, читая, не засматривалъ въ лицо мертвеца. Повѣрье утверждаетъ, что это нарушаетъ его покой; опытъ пренебрегавшихъ этимъ пріемомъ чтецовъ убѣждаетъ, что въ глазахъ начинается какое-то непріятное мрянье; покой, столь нужный въ ночномъ одиночествѣ, измѣняетъ чтецу, и глаза начинаютъ замѣчать тихое, едва замѣтное мельканіе, сначала невдалекѣ вокругъ самой книги, потомъ и дальше, и больше, и тогда ужъ нужно или возобладать надъ собою и разрушить начало галлюцинаціи, или она разовьется и породитъ неотразимые страхи.

Ахилла теперь нимало не соблюдалъ этого правила, напротивъ, онъ даже сожалѣлъ, что ликъ усопшаго закутанъ парчевымъ воздухомъ; но, несмотря на все это, ничто похожее на страхъ не смущало дьякона. Онъ, какъ выше сказано, все стоялъ на одномъ стихѣ и размышлялъ:

«Вѣдь онъ уже теперь услышалъ гласъ Сына Божія и ожилъ... Я его только не вижу, а онъ здѣсь.»

И въ этихъ размышленіяхъ дьяконъ не замѣтилъ, какъ прошла ночь, и на небѣ блеснула блѣдною янтарною чертой заря, послѣдняя заря, освѣняющая на землѣ разрушающійся остатокъ того, что было слышащимъ землю свою и разумѣвающимъ ее попомъ Савеліемъ.

Увидя эту зарю, дьяконъ вздохнулъ и отошелъ отъ ана-

лоя къ гробу, облокотился на обѣ стѣнки домовища, такъ что высокая грудь Савелія пришлась подъ его грудью и, осторожно приподнявъ двумя перстами парчевый воздухъ, покрывающій лицо покойника, заговорилъ:

— Батя, батя, гдѣ же нынѣ духъ твой? Гдѣ твое огнеустое слово? Покинь мнѣ, малоумному, духа твоего!

И Ахилла припалъ на грудь мертвеца и вдругъ вздрогнулъ и отскочилъ: ему показалось, что его насквозь что-то перебѣжало. Онъ оглянулся по сторонамъ: все тихо, только отяжелѣвшія вѣки его глазъ липнутъ и голову куда-то тянетъ дремота.

Дьяконъ отряхнулся, ударилъ земной поклонъ и испугался этого звука: ему послышалось, какъ бы надъ нимъ что-то стукнуло, и почудилось, что будто Савелій сидитъ съ закрытымъ парчою лицомъ и съ Евангеліемъ, которое ему положили въ его мертвыя руки.

Ахилла не оробѣлъ, но смутился и, тихо отодвигаясь отъ гроба, приподнялся на колѣни. И что же? по мѣрѣ того, какъ повергнутый Ахилла возставалъ, мертвецъ по той же мѣрѣ въ его глазахъ медленно ложился въ гробъ, не поддерживая себя руками, занятыми крестомъ и Евангеліемъ.

Ахилла вскочилъ и, махая рукой, прошепталъ:

— Миръ ти! миръ! я тебя тревожу!

И съ этимъ словомъ онъ было снова взялся за Евангеліе и хотѣлъ продолжать чтеніе, но, къ удивленію его, книга была закрыта и онъ не помнилъ, гдѣ остановился.

Ахилла развернулъ книгу наудачу и прочелъ: «Въ мірѣ бѣ, и міръ его не позна...»

«Чего это я ищу?»—подумалъ онъ отуманенною головой и развернулъ безотчетно книгу въ другомъ мѣстѣ. Здѣсь стояло: «И воззрятъ нань его же прободоша».

Но въ то время, какъ Ахилла хотѣлъ перевернуть еще страницу, онъ замѣчаетъ, что ему непомѣрно тягостно и что его держитъ кто-то за руки.

«А что же мнѣ нужно? и что̀ это такое я отыскиваю?.. Какое зачало? Какой нынѣ день?»—соображаетъ Ахилла и никакъ не добьется этого, потому что онъ восхищенъ отсюда...

Въ ярко-освѣщенномъ храмѣ, за престоломъ, въ свѣтлой праздничной ризѣ и въ высокой фіолетовой камилавкѣ стоитъ Савелій и круглымъ полнымъ голосомъ, выпуская

какъ шаръ каждое слово, читаетъ: «Въ началѣ бѣ Слово и Слово бѣ къ Богу и Богъ бѣ Слово».

«Что это, Господи! А мнѣ казалось, что умеръ отецъ Савелій. Я проспалъ пиръ вѣры!.. я пропустилъ святую заутреню.»

Ахилла задрожалъ и, раскрывъ глаза, увидалъ, что онъ, дѣйствительно, спалъ, что на дворѣ уже утро; красный огонь погребальныхъ свѣчъ исчезаетъ въ лучахъ восходящаго солнца, въ комнатѣ душно отъ нагару, въ воздухѣ несется заунывный благовѣстъ, а въ двери комнаты громко стучатъ.

Ахилла торопливо провелъ сухой рукой по лицу и отперъ двери.

— Заснулъ?—тихо спросилъ его входящій Бенефактовъ.

— Воздремалъ,—отвѣтилъ дьяконъ, давая дорогу входившему за отцомъ Захаріей духовенству.

— А я... знаешь... того; я не спалъ: я сочинялъ всю ночь нагробное слово,—шепнулъ дьякону Бенефактовъ.

— Что же, сочинили?

— Нѣтъ; не выходитъ.

— Ну; это ужъ такъ по обыкновенію.

— А знаешь ли, можетъ быть, ты бы нѣчто сказалъ?.

— Полноте, отецъ Захарія, развѣ я ученый!

— Что же... вѣдь ты въ семинаріи... ты право имѣешь.

— Да что же въ томъ правѣ, отецъ Захарія, когда дара и пониманія не имѣю?

— А вы, сударь, возьмите-ка да поусерднѣе о дарѣ помолитесь, онъ и придетъ,—вмѣшался шопотомъ карликъ.

— Помолиться! Нѣтъ, другъ Николаша, развѣ ты за меня помолись, а я отъ печали моей обезумѣлъ; мнѣ даже наяву видѣнія снятся.

— Что же, извольте, я помолюсь,—отвѣчалъ карликъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Вотъ весь Старогородъ сопровождаетъ тѣло Туберозова въ церковь. Обѣдня и отпѣваніе, благодаря Ахиллѣ, производили ужасное впечатлѣніе; дьяконъ, что ни начнетъ говорить, захлебывается, останавливается и заливается слезами. Рыданія его, разносясь въ толпѣ, сообщаютъ всѣмъ глубочайшую горесть.

Только во время надгробнаго слова, сказаннаго однимъ

изъ священниковъ, Ахилла смирилъ скорбь свою и, слушая, тихо плакалъ въ платокъ; но зато, когда онъ вышелъ изъ церкви и увидѣлъ тѣ мѣста, гдѣ такъ много лѣтъ ходилъ вмѣстѣ съ Туберозовымъ, котораго теперь несутъ заключеннымъ въ гробѣ, Ахилла почувствовалъ необходимость не только рыдать, но вопить и кричать. Дабы дать исходъ этимъ рвавшимся изъ души его воплямъ, онъ пѣлъ «Святый Безсмертный, помилуй насъ», но пѣлъ съ такой силой, что слѣпая столѣтняя старуха, которую при приближеніи печальнаго шествія внуки вывели за ворота поклониться гробу, вдругъ всплеснула руками и, упавъ на колѣни, воскликнула:

— Охъ, слышитъ это, слышитъ Господь, какъ Ахилла подъ самое небо кричитъ!

Но вотъ и обведенное рвомъ и обсаженное ветлами мѣсто упокоенія, — кладбище, по которому часто любилъ гулять вечерами Туберозовъ и о порядкѣ котораго онъ не мало заботился. Гробъ пронесли подъ переметъ темныхъ тесовыхъ воротъ; пропѣта послѣдняя литія, и бѣлые холсты, перекатившись черезъ насыпь отвала, протянулись надъ темною пропастью могилы. Черезъ секунду раздастся послѣдній «аминь» и опустится въ могилу.

Но предъ этимъ еще надлежало произойти чему-то, чего никто не ожидалъ. Много разъ въ жизнь свою всѣхъ удивлявшій Ахилла почувствовалъ необходимость еще разъ удивить старогородцевъ и притомъ удивить совсѣмъ въ новомъ родѣ. Блѣдный и помертвѣвшій, онъ протянулъ руку къ одному изъ державшихъ холстъ могильщиковъ и, обратясь умиленными глазами къ духовенству, воскликнулъ:

— Отцы! молю васъ... велите повременить немного... я только нѣкое самое малое слово скажу.

Всхлипывающій Захарія торопливо остановилъ могильщиковъ и, протянувъ обѣ руки къ дьякону, благословилъ его.

Весь облитый слезами, Ахилла обтеръ бумажнымъ платкомъ покрытый красными пятнами лобъ и судорожно пролепеталъ дрожащими устами: «Въ мірѣ бѣ и міръ его не позна»... и вдругъ, не находя болѣе соотвѣтствующихъ словъ, дьяконъ побагровѣлъ и, какъ бы ловя высохшими глазами звуки, начертанные для него въ воздухѣ, грозно воскликнулъ: «Но воззрятъ нань его же прободоша», и съ этимъ

онъ бросилъ горсть земли на гробъ, снялъ торопливо стихарь и пошелъ съ кладбища.

— Превосходно говорили, государь отецъ дьяконъ!—прошепталъ сквозь слезы карликъ.

— Се духъ Савеліевъ бѣ на немъ, — отвѣтилъ ему разоблачавшійся Захарія.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Послѣ похоронъ Туберозова Ахиллѣ оставалось совершить два дѣла: во-первыхъ, подвергнуться тому, чтобъ «иной его препоясалъ», а во-вторыхъ, умереть, будучи, по словамъ Савелія, «живымъ отрицаніемъ смерти». Онъ непосредственно и торопливо принялся приближать къ себѣ и то, и другое. Освободившись отъ хлопотъ за погребальнымъ обѣдомъ, Ахилла легъ на своемъ войлокѣ въ сѣничномъ чуланѣ и не подымался.

Прошелъ день, два и три, Ахилла все лежалъ и не показывался. Домъ отца Туберозова совсѣмъ глядѣлъ мертвымъ домомъ: взойдетъ яркое солнце и освѣтитъ его пустынный дворъ — мертво; набѣжатъ грядой облачка и отразятся въ стеклахъ его оконъ, словно замогильныя тѣни, и опять ничего.

Наблюдая эту тишь, сосѣди стали жаловаться, что имъ даже жутко; а дьяконъ все не показывался. Стало сомнительно, что̀ съ нимъ такое?

Захарія пошелъ его навѣщать. Долго кроткій старичокъ ходилъ изъ комнаты въ комнату и звалъ:

— Дьяконъ, гдѣ ты? Послушай, дьяконъ!

Но дьяконъ не откликался. Наконецъ, отецъ Захарія пріотворилъ дверь въ темный чуланчикъ.

— Чего вы, отецъ Захарія, такъ гласно стужаетесь? — отозвался откуда-то изъ темноты Ахилла.

— Да какъ, братецъ мой, чего? Гдѣ ты о сю пору находишься?

— Пріотворите пошире дверь: я вотъ тутъ въ уголушкѣ.

Бенефактовъ исполнилъ, что ему говорилъ Ахилла, и увидѣлъ его лежащимъ на примощенной къ стѣнѣ дощатой кроваткѣ. На дьяконѣ была ровная холщевая сорочка съ прямымъ стложнымъ воротникомъ, завязаннымъ по-малороссійски длинною пестрою тесьмой, и широкіе тиковые полосатые шаровары.

— Что же ты такъ это, дьяконъ? — вопросилъ его, ища себѣ мѣста, отецъ Бенефактовъ.

— Позвольте, я подвинусь, — отвѣчалъ Ахилла, перевалясь на ближайшую къ стѣнѣ доску.

— Что же ты, дьяконъ?

— Да, вотъ вамъ и дьяконъ...

— Да что жъ ты такое?

— Уязвленъ,—отвѣтилъ Ахилла.

— Да чѣмъ же ты это уязвленъ?

— Смѣшно вы, отецъ Захарія, спрашиваете: чѣмъ? Тѣмъ и уязвленъ. Кончиной отца протопопа уязвленъ.

— Да, ну что жъ дѣлать? Вѣдь это смерть... конечно... она враждебна... всему естеству и помысламъ преграда... но неизбѣжно... неизбѣжно...

— Вотъ я этою преградой и уязвленъ.

— Но ты... ты того... мужайся... грѣхъ... потому воля... опредѣленіе...

— Ну, когда жъ я и опредѣленіемъ уязвленъ!

— Но что же ты это зарядилъ: уязвленъ, уязвленъ! Это, братецъ, того... это нехорошо.

— Да что же осталось хорошаго!—ничего.

— Ну, а если и самъ понимаешь, что мало хорошаго, такъ и надо имѣть разсудокъ: закона природы, братъ, не обойдешь!

— Да про какой вы тутъ, отецъ Захарія, про «законъ природы!» Ну, а если я и закономъ природы уязвленъ?

— Да что же ты теперь будешь съ этимъ дѣлать?

— Тсъ! ахъ Царь мой Небесный! Да не докучайте вы мнѣ, пожалуйста, отецъ Захарія, съ своими законами! Ничего я не буду дѣлать!

— Однакоже, неужто такъ и будешь теперь все время лежать?

Дьяконъ промолчалъ, но потомъ, вздохнувъ, началъ тихо:

— Я еще очень скорблю, а вы сразу со мной заговорили. О какомъ вы тутъ дѣлѣ хотите со мной разговаривать?

— Да поправляйся скорѣй, вотъ что, потому что вѣдь хоть и въ скорбѣхъ, а по слабости и ѣсть, и пить будемъ.

— Да это-то что, что про это и говорить? Ѣсть-то и пить мы будемъ, а вотъ въ этомъ-то и причина!

— Что, что такое? Какая причина?

— А вотъ та причина, что мы теперь, значитъ, станемъ объ этомъ, что было, мало-по-малу позабывать и вдругъ совсѣмъ что ли про него позабудемъ?

— А что же дѣлать?

— А то дѣлать, что я съ моимъ характеромъ никакъ на это не согласенъ, чтобъ его позабыть.

— Все, братецъ, такъ; а придетъ время, позабудешь.

— Отецъ Захарія! Пожалуйста, вы мнѣ этого не говорите, потому что вы знаете, какой я въ огорченіи дикій.

— Ну вотъ еще! Нѣтъ, ужъ ты, братъ, отъ грубостей воздерживайся.

— Да, воздерживайся! А кто меня отъ чего-нибудь теперь будетъ воздерживать?

— Да если хочешь, я тебя удержу.

— Полноте, отецъ Захарія!

— Да что ты такое? Разумѣется, удержу!

— Полноте, пожалуйста!

— Да отчего же полноте?

— Да такъ; потому что зачѣмъ неправду говорить: ни отъ чего вы меня не можете удержать.

— Ну, это ты, дьяконъ, даже просто нахалъ,—отвѣчалъ, обидясь, Захарія.

— Да ничуть не нахалъ, потому что я и васъ тоже люблю; но какъ вы можете меня воздержать, когда вы характера столь слабаго, что вамъ даже дьячокъ Сергѣй грубитъ.

— Грубитъ! Мнѣ всѣ грубятъ! А ты больше ничего какъ глупо разсуждаешь!

— А вотъ удержите же меня теперь отъ этого, чтобъ я такъ не разсуждалъ.

— Не хочу я тебя удерживать, да... не хочу, не хочу, за то, что я пришелъ тебя навѣстить, а ты вышелъ грубіянъ... Прощай!

— Да позвольте, отецъ Захарія! Я совсѣмъ не въ томъ смыслѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ; пошелъ прочь: ты меня огорчилъ.

— Ну, Богъ съ вами...

— Да, ты грубіянъ и очень большой грубіянъ.

И Захарія ушелъ, оставивъ дьякона, въ надеждѣ, что авось тому надоѣстъ лежать и онъ самъ выйдетъ на свѣтъ; но прошла еще цѣлая недѣля, а Ахилла не показывался.

— «Позабудутъ, — твердилъ онъ: — непремѣнно всѣ они

его позабудутъ!» И эта мысль занимала его неотвязно, и онъ сильнѣйшимъ образомъ задумывался, какъ бы этомѵ горю помочь.

Чтобы вызвать Ахиллу изъ его мурьи, нужно было особое событіе.

Проснувшись однажды около шести часовъ утра, Ахилла смотрѣлъ, какъ сквозь узенькое окошечко надъ дверями въ чуланчикъ пронизывались лучи восходящаго солнца, какъ вдругъ къ нему вбѣжалъ впопыхахъ отецъ Захарія и объявилъ, что къ нимъ на мѣсто отца Туберозова назначенъ новый протопопъ.

Ахилла поблѣднѣлъ отъ досады.

— Что же ты не радъ, что ли, этому? — вопросилъ Захарія.

— А мнѣ какое до этого дѣло?

— Какъ какое до этого дѣло? А ты спроси, кто назначенъ-то?

— Да развѣ мнѣ не все равно?

— Академикъ!

— Ну вотъ, академикъ! Вишь чему вы обрадовались! Нѣтъ, ей-Богу, вы еще суетны, отецъ Захарія.

— Чего ты «суетный»? Академикъ,—значитъ умный.

— Ну вотъ опять: умный! Да пусть себѣ умный: нешто мы съ вами отъ этого поумнѣемъ?

— Что же это,—стало-быть ученаго духовенства не уважаешь?

— А развѣ ему не все равно: уважаю я его или не уважаю? Ему отъ этого ничего, а я, можетъ-быть, совсѣмъ о чемъ важнѣе думаю.

— О чемъ? позволь спросить, о чемъ?

— О вчерашнемъ.

— Вотъ ты опять грубишь!

— Да ничего я вамъ не грублю: вы думаете, какъ бы новаго встрѣтить, а я — какъ бы стараго не забыть. Что вы тутъ за грубость находите?

— Ну съ тобой послѣ этого говорить не стоитъ, — рѣшилъ Захарія, и съ неудовольствіемъ вышелъ, а Ахилла тотчасъ же всталъ, умылся и потекъ къ исправнику съ просьбой помочь ему продать какъ можно скорѣе его домъ и пару его аргамаковъ.

— На что это тебѣ?—спрашивалъ Порохонцевъ.

— Не любопытствуй,—отвѣчалъ Ахилла:—только послѣ, когда сдѣлаю, тогда все и увидишь.

— Хоть скажи, въ какомъ родѣ?

— Въ такомъ родѣ, чтобы про отца Савелія не скоро позабыли, вотъ въ какомъ родѣ.

— Пусть отецъ Захарія о немъ чаще въ словѣ церковномъ напоминаетъ.

— Что отецъ Захарія можетъ напоминать? Нѣтъ, онъ нынче уже науки любитъ, а я... я по-старому человѣка люблю.

На этомъ кончились переговоры и имущество Ахиллы, согласно его желанію, было продано.

Оставалось смотрѣть, что онъ теперь станетъ дѣлать.

Дьяконъ получилъ за все ему принадлежавшее двѣсти рублей; сунулъ оба билетика въ карманъ нанковаго подрясника и объявилъ, что идетъ въ губернію. Онъ уже отрубилъ себѣ отъ тонкой жердины дорожную дубинку, связалъ маленькій узелокъ, купилъ на базарѣ двѣ большія лепешки съ лукомъ и, засунувъ ихъ въ тотъ же карманъ, гдѣ лежали у него деньги, совсѣмъ готовъ былъ выступить въ походъ, какъ вдругъ пріѣхалъ новый протопопъ Иродіонъ Граціанскій. Это былъ благообразный человѣкъ, неопредѣленнаго возраста. По его наружному виду ему съ одинаковымъ удобствомъ можно было дать двадцать шесть лѣтъ, какъ и сорокъ.

Ахилла подошелъ къ этому своему новому настоятелю и, принявъ отъ него благословеніе, хотѣлъ поцѣловать ему руку, но когда тотъ отдернулъ эту руку и предложилъ дружески поцѣловаться, то Ахилла и поцѣловался.

— Видишь какой добрый!—говорилъ дьякону, провожая его черезъ часъ, Захарія.

— Въ чемъ же вы такъ скоро это, отецъ Захарія, заключаете его доброту?—отвѣчалъ небрежно Ахилла.

— Какъ же? даже не позволилъ тебѣ руки поцѣловать, а устный поцѣлуй... это доброта.

— А по-моему это больше ничего какъ самая пустая поважность,—отвѣчалъ Ахилла.

Теперь онъ уже ожесточенно ревновалъ новаго протопопа къ мѣсту Савелія и придирался къ нему, стараясь находить въ немъ все нехорошее, чтобъ онъ никакъ не могъ сравниться съ покойнымъ Туберозовымъ. Чѣмъ болѣе новый

протопопъ всѣмъ старогородцамъ нравился, тѣмъ Ахилла ожесточеннѣе хотѣлъ его ненавидѣть.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

На другой день новый протопопъ служилъ обѣдню и произнесъ слово, въ которомъ расточалъ похвалы своему предшественнику и говорилъ о необходимости и обязанности поминать и чтить его заслуги.

Ахилла и Захарія слушали эту проповѣдь изъ алтаря, прислоня уши свои къ завѣсѣ вратъ. Ахиллу возмущало, что новый протопопъ такъ же говоритъ, и что его слушаютъ съ неменьшимъ вниманіемъ, чѣмъ Туберозова... и что онъ, наконецъ, заступается за Туберозова и поучаетъ цѣнить и понимать его заслуги.

— Къ чему это? къ чему это ему? — негодовалъ, идучи съ Захаріей изъ церкви, дьяконъ.

Онъ уже жестоко ненавидѣлъ новаго протопопа за его успѣхъ въ проповѣди и лютовалъ на него какъ ревнивая женщина. Онъ самъ чувствовалъ свою несправедливость, но не могъ съ собой совладать, и когда Захарія, взявшись устыжать его, сказалъ, что Граціанскій во всѣхъ своихъ поступкахъ благороденъ, Ахилла нетерпѣливо переломилъ бывшую въ его рукахъ палочку и проговорилъ:

— Вотъ это-то самое мнѣ и противно-съ!

— Да что же, развѣ лучше, если бъ онъ былъ хуже?

— Лучше, лучше... разумѣется, лучше! — перебилъ нетерпѣливо Ахилла. — Что вы, развѣ не знаете, что не согрѣшивый не покается!

Захарія только махнулъ рукой.

Походъ Ахиллы въ губернскій городъ все день-ото-дня откладывался: дьяконъ присутствовалъ при повѣркѣ ризницы, книгъ и церковныхъ суммъ, и все это молча и негодуя Богъ вѣсть на что. На его горе, ему не къ чему даже было придраться. Но вотъ Граціанскій заговорилъ о необходимости поставить надъ могилой Туберозова маленькій памятникъ.

Ахилла такъ и привскочилъ.

— Это за что же ему «маленькій» памятникъ, а не большой? Онъ у насъ большое время здѣсь жилъ и свои заслуги почище другого кого оставилъ.

Граціанскій посмотрѣлъ на Ахиллу съ неудовольствіемъ

и, не отвѣчая ему, предложилъ подписку на сооруженіе Савелію памятника.

Подписка принесла тридцать два рубля.

Дьяконъ не захотѣлъ ничего подписать и рѣзко отказался отъ складчины.

— Отчего же? Отчего ты не хочешь? — спрашивалъ его Бенефактовъ.

— Оттого, что суетно это,—отвѣчалъ Ахилла.

— А въ чемъ вы видите эту суетность?—сухо вставилъ Граціанскій.

— Да какъ же можно такому человѣку отъ всего міра въ тридцать два рубля памятникъ ставить? Этакій памятникъ все равно что за грошъ пистолетъ. Нѣтъ-съ; меня отъ этой обиды ему увольте; я не подпишусь.

Вечеромъ отецъ Захарія, совершая обычную прогулку, зашелъ къ Ахиллѣ и сказалъ ему:

— А ты, дьяконъ, смотри... ты нѣсколько вооружаешь противъ себя отца протопопа.

— Что?.. тсс! ахъ, говорите вы, пожалуйста, явственно. Что такое; чѣмъ я его вооружаю?

— Непочтеніемъ, непочтеніемъ, непокорствомъ, вотъ чѣмъ: на памятникъ не согласился, ушелъ—руки не поцѣловалъ.

— Да вѣдь онъ не желаетъ, чтобъ я у него руку цѣловалъ?

— Не желаетъ дома, а то на службѣ... Это, братецъ, совсѣмъ другое на службѣ...

— Ахъ! вы этакъ меня съ своимъ новымъ протопопомъ совсѣмъ съ толку собьете! Тамъ такъ, а тутъ этакъ: да мнѣ всѣхъ этихъ вашихъ артикуловъ всю жизнь не припомнить, и я лучше буду одинъ порядокъ держать.

Дьяконъ пошелъ къ новому протопопу проситься на двѣ недѣли въ губернскій городъ и насильно поцѣловалъ у него руку, сказавъ:

— Вы меня извините; а то я иначе путаюсь.

И вотъ Ахилла на волѣ, на пути, въ который такъ нетерпѣливо снаряжался съ цѣлями самаго грандіознаго свойства: онъ еще, лежа въ своемъ чуланѣ, прежде всѣхъ задумалъ поставить отцу Туберозову памятникъ, но не въ тридцать рублей, а на всѣ свои деньги, на всѣ двѣсти рублей, которые выручилъ за все свое имущество, пріобрѣ-

тенное трудами цѣлой жизни. Ахилла считалъ эти деньги вполнѣ достаточными для того, чтобы возвести монументъ на диво временамъ и народамъ, монументъ столь огромный, что идеальный планъ его не умѣщался даже въ его головѣ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Октябрьская ночь была холодна и сумрачна; по небу быстро неслись облака и вѣтеръ шумѣлъ голыми вѣтвями придорожныхъ ракитъ. Ахилла, все, не останавливаясь, шелъ, и когда засѣрѣлъ осенній разсвѣтъ, онъ былъ уже на половинѣ дороги и смѣло могъ дать себѣ роздыхъ.

Онъ свернулъ съ дороги къ большому обмету соломы, прилегъ за нимъ отъ вѣтра, закрылъ полой голову и заснулъ.

День былъ такой же какъ ночь: холодное солнце то выглянетъ и заблещетъ, то снова занавѣсится тучами; вѣтеръ то свирѣпѣетъ и рветъ, то шипитъ змѣей по землѣ. Пола, которою дьяконъ укуталъ свою голову, давно была сорвана съ его головы и билась по вѣтру, а солнце, выскакивая изъ-за облакъ, прямо освѣщало его богатырское лицо. Дьяконъ все спалъ. День уже совсѣмъ обогрѣлся, и въ вытоптанномъ жнивьѣ, въ которомъ лежалъ Ахилла, уткнувшись головой въ солому омета, показались послѣдніе запоздалые жильцы умершей нивы: на сапогъ Ахиллы всползла жесткая чернокожая двухвостка, а по его бородѣ, едва плетясь и вздрагивая, поднялся полуокоченѣвшій шмель. Бѣдное насѣкомое, обрѣтя тепло и пріютъ въ густой бородѣ дьякона, начало копошиться и разбудило его: Ахилла громко фыркнулъ, потянулся, вскочилъ, забросилъ за плечи свой узелъ и, выпивъ на постояломъ дворѣ за грошъ квасу, пошелъ къ городу.

Къ сумеркамъ онъ отшагалъ и остальныя тридцать пять верстъ и, увидѣвъ кресты городскихъ церквей, сѣлъ на отвалѣ придорожной канавы и впервые съ выхода своего задумалъ попитаться: онъ досталъ перенедѣльничавшія у него въ карманѣ лепешки и, сложивъ ихъ одна съ другою исподними корками, началъ уплетать съ сугубымъ аппетитомъ, но все-таки не доѣлъ ихъ и, сунувъ опять въ тотъ же карманъ, пошелъ въ городъ. Ночевалъ онъ у знакомыхъ семинаристовъ, а на другой день рано утромъ пришелъ къ Туганову, велѣлъ о себѣ доложить и сѣлъ на коникъ въ передней.

Прошелъ часъ и другой, Ахиллу не звали. Онъ уже не разъ спрашивалъ часто пробѣгавшаго мимо казачка:

— Дворецкій! что жъ: когда меня позовутъ?

Но дворецкій даже и не считалъ нужнымъ отвѣчать мужиковатому дьякону въ пыльной нанковой рясѣ.

Не отдохнувъ еще какъ должно отъ вчерашняго перехода, Ахилла началъ дремать, но какъ дрема была теперь для него не у мѣста, то онъ задумался разсѣяться ѣдою, къ чему недоѣденные вчера куски лепешки представляли полную возможность. Но только что онъ досталъ изъ подрясника остатокъ этихъ лепешекъ и хотѣлъ обдуть налипшій къ нимъ соръ, какъ вдругъ остолбенѣлъ и потомъ вскочилъ, какъ ужаленный, и бросился безъ всякаго доклада ло незнакомымъ ему роскошнымъ покоямъ дома. По случаю онъ попалъ прямо въ кабинетъ предводителя и, столкнувшись съ нимъ самимъ лицомъ къ лицу, воскликнулъ:

— Отцы! кто въ Бога вѣруетъ, пособите мнѣ! Посмотрите, какое со мною за несчастіе!

— Что, что такое съ тобою? — вопросилъ удивленный Тугановъ.

— Парменъ Семенычъ! что я, злодѣй, сдѣлалъ!—вопіялъ потерявшійся отъ ужаса Ахилла.

— Что, ты убилъ кого, что ли?

— Нѣтъ; я бѣжалъ къ вамъ пѣшкомъ, чтобы вы мнѣ хорошо посовѣтовали, потому что я хочу протопопу памятникъ ставить за двѣсти рублей.

— Ну, такъ что жъ? Или у тебя отняли деньги.

— Нѣтъ, не отняли, а хуже.

— Ты ихъ потерялъ?

— Нѣтъ, я ихъ съѣлъ!

И Ахилла въ отчаяніи поднесъ къ глазамъ Туганова исподнюю корку недоѣденной лепешки, къ которой словно припеченъ былъ одинъ уцѣлѣвшій уголокъ сторублевой бумажки.

Тугановъ тронулъ своими тонкими ногтями этотъ уголокъ и, отдѣливъ его отъ корки, увидалъ, что подъ нимъ ниже еще плотнѣе влипъ и присохъ такой же кусокъ другого билета.

Предводитель не выдержалъ и разсмѣялся.

— Да; вотъ, какъ видите, всѣ съѣлъ,—утверждалъ дьяконъ, кусая въ растерянности ноготь на своемъ среднемъ

пальцѣ, и вдругъ, повернувшись, сказалъ: — ну-съ, затѣмъ прошу прощенія, что обезпокоилъ, прощайте!

Тугановъ вступился въ его спасеніе.

— Полно, братецъ, приходить въ отчаяніе, — сказалъ онъ:—все это ничего не значитъ; мнѣ въ банкѣ обмѣняютъ твои бумажки, а ты бери у меня другія и строй памятникъ попу Савелію, я его любилъ.

И съ этимъ онъ подалъ Ахиллѣ два новые сторублевые билета, а его объѣдки прибралъ для пріобщенія къ фамильнымъ антикамъ.

Эта бѣда была поправлена, но начиналась другая: надо было сочинить такой памятникъ, какого хотѣлъ, но не могъ никакъ сообразить Ахилла.

Онъ и эту бѣду повергъ на воззрѣніе Туганова.

— Я хочу, Парменъ Семенычъ,—говорилъ онъ:—чтобы памятникъ за мои деньги былъ какъ можно крѣпкій и обширный.

— Пирамиду закажи изъ гранита.

Тугановъ велѣлъ подать себѣ изъ шкапа одну папку и, доставъ оттуда рисунокъ египетской пирамиды, сказалъ:

— Вотъ такую пирамиду!

Мысль эта Ахиллѣ страшно понравилась, но онъ усомнился, хватитъ ли у него денегъ на исполненіе? Онъ получилъ въ отвѣтъ, что если двухсотъ рублей не хватитъ, то Тугановъ, уважая старика Туберозова, желаетъ самъ приплатить все, что не достанетъ.

— А ты,—молвилъ онъ:—будешь строитель и строй по своему усмотрѣнію, что хочешь!

— Вотъ ужъ это... — заговорилъ-было, растерявшись, Ахилла, но вмѣсто дальнѣйшихъ словъ ударилъ поклонъ въ землю и, неожиданно схвативъ руку Туганова, поцѣловалъ ее.

Тугановъ былъ тронутъ: назвалъ Ахиллу «добрымъ мужикомъ» и предложилъ ему помѣститься у него въ мезонинѣ.

Дьяконъ немедленно перешелъ отъ семинаристовъ на дворъ къ предводителю и началъ хлопотать о заказѣ камня. Онъ прежде всего старался быть крайне осторожнымъ.

— Что такое? — говорилъ онъ себѣ: — вѣдь и вправду точно, куда я стремлюсь, туда слѣдомъ за мной и всѣ безпорядки.

И онъ молилъ Бога, хоть теперь, хоть разъ въ жизни,

избавить его отъ всѣхъ увлеченій и сподобить его исполнить предпринимаемое дѣло вполнѣ серьезно.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Дьяконъ обошелъ всѣхъ извѣстныхъ въ городѣ монументщиковъ и остановился на самомъ худшемъ, на русскомъ жерновщикѣ, какомъ-то Попыгинѣ. Два монументщика изъ нѣмцевъ разсердили дьякона тѣмъ, что все желали знать «позволитъ ли масштабъ» построить столь большую пирамиду, какую онъ имъ заказывалъ, отмѣряя разстояніе попросту шагами, а вышину подъемомъ руки.

Жерновщикъ Попыгинъ понялъ его короче: они все размѣряли шагами и косыми саженями, и уговорились они тоже на словѣ, ударили по рукамъ, и пирамида была заказана и исполнялась. Ахилла смотрѣлъ какъ двигали, ворочали и тесали огромные камни и былъ въ восторгѣ отъ ихъ большихъ размѣровъ.

— Вотъ этакъ-то лучше безъ мачтаба,—говорилъ онъ:— какъ хотимъ, такъ и строимъ.

Русскій мастеръ Попыгинъ его въ этомъ поддерживалъ.

Тугановъ выслушивалъ рапорты Ахиллы о движеніи работъ и ни о чемъ съ нимъ не спорилъ, ни въ чемъ не противорѣчилъ. Онъ тѣшилъ этого богатыря памятникомъ, какъ огорченнаго ребенка тѣшатъ игрушкой.

Черезъ недѣлю и пирамида, и надписаніе были совсѣмъ готовы, и дьяконъ пришелъ просить Туганова взглянуть на чудесное произведеніе его творческой фантазіи. Это была широчайшая расплюснутая пирамида, съ крестомъ наверху и съ большими вызолоченными деревянными херувимами по угламъ.

Тугановъ осмотрѣлъ монументъ и сказалъ: «живетъ»; а дьяконъ былъ просто восхищенъ. Пирамиду разобрали и разобранную повезли на девяти саняхъ въ Старъ-Городъ. На десятыхъ саняхъ сзади обоза ѣхалъ самъ Ахилла, сидя на корточкахъ, въ засаленномъ тулупѣ, между четырехъ деревянныхъ вызолоченныхъ и обернутыхъ рогожей херувимовъ. Онъ былъ въ восторгѣ отъ великолѣпія памятника, но къ его восторгу примѣшивалось нѣкоторое безпокойное чувство: онъ боялся, какъ бы кто не сталъ критиковать его пирамиды, которая была для него завѣтнымъ произведеніемъ его ума, вкуса, преданности и любви къ усопшему

Савелію. Чтобъ избѣжать критикановъ, Ахилла рѣшилъ довершить пышное сооруженіе какъ можно секретнѣе и, прибывъ въ Старъ-Городъ, ночью появился только одному Захаріи и ему разсказалъ всѣ трудности, преодолѣнныя имъ при исполненіи пирамиды.

Но Ахиллѣ не удалось собрать монументъ въ секретѣ. Разложенныя на подводахъ части пирамиды Савелія на слѣдующее же утро сдѣлались предметомъ всеобщаго вниманія. Собравшіяся кучи горожанъ были особенно заинтересованы сверкавшими изъ рогожъ руками и крыльями золоченыхъ херувимовъ; эти простые люди горячо спорили и не могли рѣшить, какого свойства эти херувимы: серебряные они или позолоченные?

— Серебряные и позолоченные, а въ середкѣ брилліантами наколоченные,—разъяснилъ имъ Ахилла, въ это же самое время расталкивая согражданъ, толпившихся вокругъ собирателей пирамиды.

Докучали Ахиллѣ и граждане высшихъ сферъ. Эти, какъ ему показалось, даже прямо нарочно пришли съ злобною цѣлію критиковать.

— Это, просто, я не знаю, какъ и назвать, что это такое! Все, все, все, какъ есть нехорошо. Ахъ, ты, Боже мой! Можно ли такъ человѣка огорчать? Ну, если не нравится тебѣ, нехорошо,—ну потерпи, помолчи, уважь... вѣдь я же старался... Тьфу! Что за поганый народъ—люди!

И не самолюбивый и не честолюбивый Ахилла, постоянно раздражаясь, дошелъ до того, что сталъ нестерпимъ: онъ не могъ выносить ни одного слова о Туберозовѣ. Самыя похвалы покойнику приводили его въ азартъ: онъ находилъ, что безъ нихъ лучше.

— Что хвалить!—говорилъ онъ Бенефактову.—Вы, отецъ Захарія, воля ваша, легкомысленникъ; вы вспоминаете про него, словно про молоко въ коровій слѣдъ.

— Да я развѣ что худое про него говорю?

— Да не надо ничего про него говорить, теперь не такое время, чтобы про сильно вѣрующихъ спорить.

— Ишь ты цензоръ какой! Значитъ, его и похвалить нельзя?

— Да что его хвалить? Онъ не цыганская лошадь, чтобъ его нахваливать.

— Ты совершенно, совершенно несуразный человѣкъ — говорилъ Захарія:—прежде ты былъ гораздо лучше.

Съ другими Ахилла былъ еще рѣзче, чѣмъ съ Бенефактовымъ, и какъ всѣ, признавъ раздражительность Ахиллы, стали избѣгать его, онъ вдругъ насѣлъ на одну мысль: о тщетѣ всего земного и о смерти.

— Какъ вы хотите-съ,—разсуждалъ онъ:—а это тоже не пустое дѣло-съ вдругъ взять и умереть, и совсѣмъ Богъ знаетъ гдѣ, совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ очутиться.

— Да тебѣ рано объ этомъ думать, ты еще не скоро умрешь,—утѣшалъ его Захарія.

— Почему вы это, отецъ Захарія, предусматриваете?

— По сложенію твоему... и уши у тебя какія... крѣпкія.

— Да по сложенію-то и по ушамъ мнѣ и самому разумѣется, пожалуй, ввѣкъ не умереть, а долбней бы добивать меня надо; но это... знаете, тоже зависитъ и отъ фантазіи, и потому человѣкъ долженъ объ этомъ думать.

И, наконецъ, дьяконъ впалъ взаправду въ тягостнѣйшую ипохондрію, которую въ немъ стали и замѣчать, и заговорили, что онъ на себя смерть зоветъ.

Съ этихъ поръ каморочка завѣщаннаго на школу протопопскаго дома, гдѣ до времени ютился философствующій Ахилла, сдѣлалась для однихъ предметомъ участливаго или любопытнаго вниманія, а для другихъ—мѣстомъ таинственнаго страха.

Протоіерей Граціанскій, навѣстивъ дьякона, упрекалъ его за добровольное изгнаніе и убѣждалъ, что такое удаленіе отъ людей неблагоразумно, но Ахилла спокойно отвѣчалъ

— Благоразумнаго уже поздно искать: *онъ похороненъ*.

Лѣкарю Пуговкину, котораго дьяконъ нѣкогда окуналъ и который все-таки оставался его пріятелемъ и по дружбѣ пришелъ его утѣшить и увѣрять, что онъ боленъ и что его надо лѣчить,—Ахилла вымолвилъ:

— Это ты, другъ, правду говоришь: я всѣми моими мнѣніями вокругъ разсѣянъ... Размышляю—не знаю о чемъ, и все... меня... знаешь, мучитъ (Ахилла поморщился и докончилъ шопотомъ): тоска!

— Ну да, у тебя очень возвышенная чувствительность.

— Какъ ты назвалъ?

— У тебя возвышенная чувствительность.

— Вотъ именно чувствительность! Все меня, знаешь, давитъ, и въ груди какъ колъ, и я ночью сажусь и долговременно не знаю, о чемъ сокрушаюсь и плачу.

Пріѣхала навѣстить его духовная дочь Туберозова, помѣщица Серболова. Ахилла ей обрадовался. Гостья спросила его:

— Чѣмъ же это вы, отецъ дьяконъ, разболѣлись? Что съ вами такое сдѣлалось?

— А у меня, сударыня, сдѣлалась возвышенная чувствительность: послѣ отца протопопа все тоска и слезы.

— У васъ возвышенныя чувства, отецъ дьяконъ,—отвѣчала дама.

— Да... грудь спираетъ и все такъ кажется, что жить больше незачѣмъ.

— Откуда вы это взяли, что вамъ жить не надо?

— А пришли ко мнѣ три сестрицы: унынiе, скука и печаль, и все это мнѣ открыли. Прощайте, милостивая государыня, много цѣню, что меня посѣтили.

И дьяконъ выпроводилъ ее, какъ выпроваживалъ всѣхъ другихъ, и остался опять со своими «тремя сестрицами» и возвышенною чувствительностью.

Но вдругъ произошло событiе, по случаю котораго Ахилла встрепенулся: событiе это была смерть карлика Николая Аѳанасьевича, завѣщавшаго, чтобъ его хоронили отецъ Захарiя и Ахилла, которымъ онъ оставилъ за то по пяти рублей денегъ, да по двѣ пары чулокъ и по ночному бумажному колпачку своего вязанья.

Возвратясь съ похоронъ карлика, дьяконъ не только какъ бы повеселѣлъ, а даже распутился.

— Видите, братцы мои, какъ *она* по ряду всю нашу дюжину обирать зачала,—говорилъ онъ:—вотъ уже и Николай Аѳанасьевичъ померъ: теперь скоро и наша съ отцомъ Захарiей придетъ очередь.

И Ахилла не ошибался. Когда онъ ждалъ *ея* встрѣчи, *она*, милостивая и неотразимая, стояла уже за его плечами и пріосѣняла его прохладнымъ крыломъ своимъ.

Хроника должна тщательно сберечь послѣднiя дѣла богатыря Ахиллы, — дѣла вполнѣ его достойныя и пособившiя ему переправиться на ту сторону моря житейскаго въ его особенномъ вкусѣ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Старъ-Городъ оживалъ въ виду приближенiя весны: рѣка собиралась вскрыться, синѣла и пучилась; по обоимъ бе-

регамъ ея росли буяны кулей съ хлѣбомъ и ладились широкія барки.

Изъ голодавшихъ зимой деревень ежедневно прибывали въ городъ толпы оборванныхъ мужиковъ въ лаптяхъ и бѣлыхъ войлочныхъ колпачкахъ. Они набивались въ бурлаки изъ однѣхъ податей и изъ хлѣба, и были очень счастливы, если ихъ брали сплавлять въ далекія страны тотъ самый хлѣбъ, котораго недоставало у нихъ дома. Но и этого счастья, разумѣется, удостоивались не всѣ. Предложеніе труда далеко превышало запросъ на него. Объ этихъ излишнихъ людяхъ никто не считалъ себя обязаннымъ заботиться; нанятые были другое дѣло: о нихъ заботились. Ихъ подпускали къ пищѣ при приставникахъ, которые отгоняли наголодавшихся отъ котла, когда они наѣдались въ мѣру. До отвала наголодавшимся нельзя давать ѣсть; эти, какъ ихъ называютъ, «жадники» объѣдаются, «не просиживаютъ зобовъ» и мрутъ отъ обжорства. Недавно два такіе голодные «жадника» — родные братья, рослые ребята съ Оки, сидя другъ противъ друга за котломъ каши, оба вдругъ покатились и умерли. Лѣкарь вскрылъ трупы и, ища въ желудкѣ отравы, нашелъ одну кашу; кашей набитъ растянутый до-нельзя желудокъ; кашей набитъ былъ пищеводъ, и во рту и въ гортани вездѣ лежала все та же самая съѣденная братьями каша. Грѣхъ этой кончины падалъ на приставника, который не успѣлъ во-время отогнать отъ пищи наголодавшихся братьевъ «жадниковъ». Недосмотръ былъ такъ великъ, что въ другой артели въ тотъ же день за обѣдомъ посинѣли и упали два другіе человѣка; эти не умерли только благодаря тому, что случился опытный человѣкъ, видавшій уже такіе виды. Объѣвшихся раздѣли до нага и держали животами предъ жаркимъ костромъ. Товарищи наблюдали, какъ изъ вытапливаемыхъ бурлаковъ валилъ паръ, и они уцѣлѣли и пошли на выкормку.

Все это сцены, извѣстныя межъ тѣми, что попадали съ мякины на хлѣбъ; но рядомъ съ этимъ шли и другія, тоже, впрочемъ, довольно извѣстныя сцены, разыгрываемыя оставшимися безъ хлѣба; ночами, по глухимъ и уединеннымъ улицамъ города, вдругъ ни съ того, ни съ сего начали показываться черти. Одинъ такой внезапный чортъ, въ полной адской формѣ, съ рогами и когтями, до-чиста обобралъ двухъ бабъ, пьянаго кузнеца и совершенно трезваго при-

казнаго, ходившаго на ночное свиданіе съ купеческою дочерью. Ограбленные увѣряли, что у чорта, которому они попались въ лапы, были бычьи рога и когти, совершенно какъ желѣзные крючья, какими бурлаки, нагружая барки, шнорятъ кули. По городу никто не сталъ ходить, чуть догорала вечерняя зорька, но чортъ все-таки таскался; его видѣли часовые, стоявшіе у соляныхъ магазиновъ и у острога. Онъ даже былъ такъ дерзокъ, что подходилъ къ солдатамъ, ближе чѣмъ на выстрѣлъ, и жалостно просилъ у нихъ корочки хлѣба. Посланы были ночные патрули, и одинъ изъ нихъ, подъ командой самого исправника, давно извѣстнаго намъ воина Порохонцева, дѣйствительно встрѣтилъ чорта, даже окликнулъ его, но, получивъ отъ него въ отвѣтъ «свой», оробѣлъ и бросился бѣжать. Ротмистръ, не полагаясь болѣе на средства полиціи, отнесся къ капитану Повердовичѣ и просилъ содѣйствія его инвалидной команды къ безотлагательной поимкѣ тревожащаго городъ чорта; но капитанъ затруднялся вступить въ дѣло съ нечистымъ духомъ, не испросивъ на то особаго разрѣшенія у своего начальства, а чортъ, между тѣмъ, все расхаживалъ и, наконецъ, нагналъ на городъ совершенный ужасъ. Въ дѣло вмѣшался протоіерей Граціанскій: онъ обратился къ народу съ рѣчью о суевѣріи, въ которой увѣрялъ, что такихъ чертей, которые снимаютъ платки и шинели, вовсе нѣтъ, и что бродящій ночами по городу чортъ есть, всеконечно, не чортъ, а какой-нибудь лѣнивый бездѣльникъ, находящій, что такимъ образомъ, пугая людей въ костюмѣ чорта, ему удобнѣе грабить. На протопопа возгорѣлось сильное негодованіе. Уставщикъ раскольничьяго молитвеннаго дома изъяснилъ, что въ этомъ заключается ересь новой церкви, и безъ всякаго труда пріобщилъ къ своей сектѣ нѣсколько овецъ изъ соборнаго стада. Чортъ отмстилъ Граціанскому за его отрицаніе еще и инымъ способомъ: на другой же день послѣ этой проповѣди, на потолкѣ, въ сѣняхъ протопопскаго дома, замѣтили слѣды грязныхъ сапоговъ. Разумѣется, это всѣхъ удивило и перепугало: кто бы это могъ ходить по потолку кверху ногами. Рѣшено было, что этого никто иной не могъ сдѣлать какъ чортъ, и протопопъ былъ безсиленъ разубѣдить въ этомъ даже собственную жену. Вопреки его увѣщаніямъ, отважный демонъ пользовался полнымъ почетомъ; его никто не рѣшался гнѣвать, но и никто зато послѣ сумерекъ не выходилъ на улицу.

Однако, чортъ пересолилъ и ему за то пришлось очень плохо; на улицахъ ему не стало попадаться ровно никакой поживы. И вотъ, вслѣдъ за симъ началось похищеніе мѣдныхъ крестовъ, складней и лампадъ на кладбищѣ, гдѣ былъ погребенъ подъ пирамидой отецъ Савелій.

Городъ, давно напуганный разными продѣлками чорта, безъ всякихъ разсужденій отнесъ и это святотатство къ его же вражескимъ проказамъ.

Осматривавшіе кражу набрели, между прочимъ, и на поврежденія, произведенныя на памятникѣ Савелія: крестъ и вызолоченная главка, вѣнчавшіе пирамиду, были сильно помяты ломомъ и расшатаны, но все еще держались на крѣпко заклепанномъ стержнѣ. Зато одинъ изъ золоченыхъ херувимовъ былъ сорванъ, безжалостно расколотъ топоромъ и съ пренебреженіемъ брошенъ, какъ вещь, не имѣющая никакой ходячей цѣнности.

Извѣщенный объ этомъ, Ахилла осмотрѣлъ растревоженный памятникъ и сказалъ:

— Ну, будь ты самъ Вельзевулъ, а ужъ тебѣ это даромъ не пройдетъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Въ слѣдующую за симъ ночь, въ одиннадцатомъ часу, дьяконъ, не говоря никому ни слова, тихо вышелъ изъ дому и побрелъ на кладбище. Онъ имѣлъ въ рукѣ длинный шестъ и крѣпкую пеньковую петлю.

Никого не встрѣтивъ и никѣмъ не замѣченный, Ахилла дошелъ до погоста въ началѣ двѣнадцатаго часа. Онъ посмотрѣлъ на ворота: они заперты и слегка постукиваютъ, колеблемыя свѣжимъ весеннимъ вѣтромъ. Чортъ, очевидно, ходитъ не въ эти ворота, а у него должна быть другая большая дорога.

Ахилла взялъ въ сторону и попробовалъ шестомъ рыхлый снѣгъ, наполнявшій ровъ, которымъ окопано кладбище. Палка, проткнувъ легкій ледяной налетъ, сразу юркнула и ушла до половины. Канава была глубиной аршина два съ половиной, а съ другой стороны этой канавы шелъ обмерзшій и осклизшій глинистый отвалъ.

Ахилла воткнулъ шестъ покрѣпче, оперся на него и, взвившись змѣемъ, перелетѣлъ на другую сторону окопа. Эта воздушная переправа совершена была Ахиллой благо-

получно, но самый шестъ, на которомъ онъ сдѣлалъ свой гигантскій скачокъ, не выдержалъ тяжести его массивнаго тѣла и переломился въ ту самую минуту, когда ноги дьякона только-что стали на перевалѣ. Ахилла надъ этимъ не задумался; онъ надѣялся найти на кладбищѣ что-нибудь другое, что, съ такимъ же точно удобствомъ, сослужило бы ему службу при обратной переправѣ; да и притомъ его вдругъ охватило то чувство, которое такъ легко овладѣваетъ человѣкомъ ночью на кладбищѣ. Страшно не страшно, а на душѣ какъ-то строго, и всѣ пять чувствъ настораживаются остро и проницательно. Ахилла широко вдохнулъ въ себя большую струю воздуха, снялъ съ головы черный суконный колпачокъ и, тряхнувъ сѣдыми кудрями, съ удовольствіемъ посмотрѣлъ, какъ луна своимъ серебрянымъ свѣтомъ заливаетъ «Божію ниву». На душѣ его стало грустно и въ то же время бодро; онъ вспомнилъ старые годы своей минувшей удали и, взглянувъ на луну, послалъ ей шутливый привѣтъ:

— «Здравствуй, казацкое солнышко!»

Тишь, безпробудность, настоящее мѣсто упокоенія! Но вотъ что-то ухнуло, словно вздохъ... Нѣтъ, это ничего особеннаго, это снѣгъ осѣдаетъ. И Ахилла сталъ смотрѣть, какъ почернѣвшій снѣгъ точно весь гнется и волнуется. Это обманъ зрѣнія; это по лунному небу плывутъ, тѣснясь, мелкія тучки и отъ нихъ на землю падаетъ бѣглая тѣнь. Дьяконъ прошелъ прямо къ могилѣ Савелія и сѣлъ на нее, прислонясь за одного изъ херувимовъ. Тишь, ничѣмъ не нарушимая, только тѣни все беззвучно бѣгутъ и бѣгутъ, и нѣтъ имъ конца.

На дьякона сталъ налегать сонъ; онъ поплотнѣй прислонился къ пирамидѣ и задремалъ, но не надолго; ему вдругъ почудилось, какъ-будто кто-то громко топнулъ; Ахилла открылъ глаза: все было тихо, только небо измѣнилось; луна поблѣднѣла, и по сѣрой пирамидѣ Савелія ползла одна длинная и широкая тѣнь. Тучилось и пахло утромъ. Ахилла всталъ на ноги и въ эту минуту ему опять показалось, что по кладбищу кто-то ходитъ.

Дьяконъ обошелъ пирамиду: никого нѣтъ.

Есть какъ-будто что-то похожее на недавніе слѣды, но кто теперь отличитъ свѣжій слѣдъ отъ вчерашняго, когда снѣгъ весь взялся жидкимъ киселемъ и нога дѣлаетъ въ

немъ почти безформенную яму. Въ городѣ прокричали утренніе пѣтухи. Нѣтъ, вѣрно чорта сегодня не будетъ...

Ахилла побрелъ назадъ къ тому мѣсту, гдѣ онъ перепрыгнулъ на кладбище. Безъ всякаго затрудненія нашелъ онъ этотъ лазъ и безъ задумчивости взялся рукой за торчащій изъ канавы длинный шестъ, но вспомнилъ, что онъ свой шестъ переломилъ... откуда же опять взялся цѣлый шестъ?

«Диковина!» — подумалъ дьяконъ, и, удостовѣрясь, что шестъ ему не мерещится, а дѣйствительно стремитъ изъ канавы, онъ уже готовъ былъ на немъ прыгнуть, какъ вдругъ сзади черезъ плечи на грудь его пали двѣ огромныя лапы, покрытыя лохматою черною шерстью, съ огромными желѣзными когтями.

Чортъ!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Ахилла быстро пригнулся въ колѣняхъ и, подобравшись такимъ пріемомъ подъ насѣдавшаго на него чорта, схватилъ его за лапы и дернулъ за нихъ такъ сильно, что подбородокъ чорта звонко ляскнулъ о маковку дьякона и такъ и прилипъ къ ней. Не ожидавшій такого исхода, чортъ отчаянно закопошился, но скоро, понявъ тщету своихъ усилій, стихъ и, глухо застонавъ, повисъ за спиной у дьякона. Онъ не только не могъ вырываться, но не могъ даже произнести ни одного слова, потому что челюсти его были точно прессомъ прижаты къ макушкѣ Ахиллы. Всѣ движенія, какія чортъ могъ дѣлать, заключались въ дрыганьѣ ногами, но зато ими демонъ воспользовался съ адскимъ коварствомъ.

Ахилла, держа на себѣ чорта съ такою же легкостью, съ какою здоровый мужикъ несетъ снопъ гороху, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ назадъ на кладбище и, разбѣжавшись, прыгнулъ черезъ канаву, но лукавый чортъ воспользовался этимъ мгновеніемъ и ловко обвилъ своими ногами разметанныя по воздуху ноги дьякона въ тотъ самый моментъ, когда оба они были надъ канавой. Неожиданно опутанный Ахилла потерялъ балансъ и рухнулъ вмѣстѣ съ своею ношей въ холодную студень канавы.

Отъ страшнаго холода онъ чуть было не разжалъ рукъ и не выпустилъ чорта, но одолѣлъ себя и сталъ искать

другихъ средствъ къ спасенію. Но, увы! средствъ такихъ не было; гладкіе края канавы были покрыты ледянистою корой и выкарабкаться по нимъ безъ помощи рукъ было невозможно, а освободить руки значило упустить чорта. Ахилла этого не хотѣлъ. Онъ попробовалъ кричать, но его или никто не слыхалъ, или кто и слышалъ, тотъ только плотнѣе запирался, дескать: «кого-то опять чортъ деретъ».

Дьяконъ понялъ, что онъ не можетъ надѣяться ни на какую помощь отъ запуганнаго населенія, но не выпускалъ чорта и дрогъ съ нимъ въ канавѣ. Оба они окоченѣли и, можетъ-быть, оба здѣсь умерли бы, если бъ ихъ не выручилъ случай.

Раннимъ утромъ къ городской пристани тянулся обозъ со спиртомъ. Проходя дорогой мимо кладбища, мужики замѣтили въ канавѣ какую-то необыкновенную группу и остановились, но, разглядѣвъ въ ней синее лицо человѣка, надъ которымъ сзади возвышалась рогатая морда чорта, бросились прочь. Застывшій Ахилла, собравъ всѣ силы и позвавъ мужиковъ, велѣлъ имъ смотрѣть за чортомъ, а самъ вытащилъ изъ канавы руку и перекрестился.

— Это, ребята, крещеный!—крикнули мужики и, вытащивъ дьякона съ чортомъ изъ канавы, всунули въ уторъ одной бочки соломинку и присадили къ ней окоченѣлаго Ахиллу, а чорта бросили на передокъ и поѣхали въ городъ.

Потянувъ немножко спирту, дьяконъ вздрогнулъ и повалился въ сани. Состояніе его было ужаснос: онъ весь былъ мокръ, синь, какъ котелъ и отъ дрожи едва переводилъ дыханіе. Чортъ совсѣмъ лежалъ мерзлою кочерыжкой; такъ его, окоченѣлаго, и привезли въ городъ, гдѣ дьяконъ далъ знакъ остановиться предъ присутственными мѣстами.

Здѣсь Ахилла снялъ чорта съ саней и, велѣвъ его внести въ канцелярію, послалъ за исправникомъ, а самъ, спросивъ у сторожа сухую рубашку и солдатскую шинель, переодѣлся и легъ на диванѣ.

Городъ, несмотря на ранній часъ утра, былъ уже взволнованъ новостію, и густая толпа народа, какъ море вокругъ скалы, билась около присутственныхъ мѣстъ, гдѣ жилъ въ казенной квартирѣ самъ ротмистръ Порохонцевъ. Народъ, шумя, напиралъ и ломился на крыльцо, желая видѣть и чорта, который раскололъ херувима, да и дьякона, совер-

шившаго поимкой этого чорта до сихъ поръ никому не удавшійся подвигъ. Сквозь эту толпу, несмотря на свой санъ и значеніе, съ трудомъ могли пробираться самыя вліятельныя лица города, какъ-то: протоіерей Граціанскій, отецъ Захарія и капитанъ Повердовня, да и то они пробились лишь потому, что толпа считала присутствіе священниковъ при расправѣ съ чортомъ религіозною необходимостью, а капитанъ Повердовня протѣснился съ помощію сабельнаго эфеса, которымъ онъ храбро давалъ зуботычины направо и налѣво.

Этотъ офицеръ теперь тоже здѣсь былъ чрезвычайно необходимъ и притомъ со всею своею храбростію, потому что городу угрожалъ бунтъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Пока внизу люди кипѣли и волновались вокругъ дома, скрывшаго необычайное явленіе, не менѣе суеты происходило и въ самомъ домѣ. Исправникъ, ротмистръ Порохонцевъ, выскочилъ въ канцелярію въ спальныхъ бумазейныхъ панталонахъ и фланелевой курткѣ и увидалъ, что тамъ, скорчась въ комочекъ на полу, дѣйствительно сидитъ чортъ съ рогами и когтями, а противъ него на просительскомъ диванѣ лежитъ и дрожитъ огромная масса, покрытая, поверхъ солдатской шинели, еще двумя бараньими шубами: это былъ дьяконъ.

Надъ чортомъ въ различныхъ позахъ стояла вся старогородская аристократія, но лица не выражали ни малѣйшаго страха отъ близости демона. Бояться было и нечего: всякій могъ видѣть, что этотъ чортъ былъ что-то жалкое, дрожащее отъ холода и обороченное кое-какъ въ ветхія лохмотья старой войлочной бурки, подаренной когда-то, по совершенной ея негодности, дьякономъ Ахиллой комиссару Данилкѣ. На головѣ чорта, покрытой тою же буркой, торчали скверно и небрежно привязанные грязною бичевкой коровьи рога, а у рукъ, обмотанныхъ обрывками вывернутой овчины, мотались два обыкновенные желѣзные крюка, которыми поднимаютъ кули. А что всего страннѣе, такъ это то, что одинъ изъ солдатиковъ, запустивъ чорту за пазуху свою руку, вытащилъ оттуда на шнуркѣ старый мѣдный крестъ съ давленною надписью: «Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его».

— Я вамъ говорилъ, что это обманъ,—замѣтилъ протоіерей Граціанскій.

— Да, да; по костюму совершенно чортъ, а по образку совершенно не чортъ,—поддержалъ его Захарія и, тотчасъ же подскочивъ къ этому сфинксу, запыталъ: — послушай, братецъ: кто ты такой? А? Слышишь, что я говорю?.. Любезный!.. А? Слышишь?.. Говори... А то сѣчь будемъ!.. Говори!..—добивался Захарія.

Но тутъ вступился исправникъ и принялся самъ допрашивать чорта, но такъ же безуспѣшно.

Чортъ, начавъ отогрѣваться и приходя въ себя, только тихо заворочался и, какъ черепаха, еще глубже ушелъ въ свою бурку.

Изъ различныхъ устъ подавались различныя мнѣнія: какъ же теперь быть съ этимъ чортомъ? Исправникъ полагалъ отослать его прямо въ такомъ видѣ, какъ онъ есть, къ губернатору и опирался въ этомъ на законъ о чудовищахъ и уродцахъ; но всеобщее любопытство страшно возставало противъ этого рѣшенія и изобрѣтало всякіе доводы для убѣжденія исправника въ необходимости немедленно же разоблачить демона и тѣмъ удовлетворить всеобщее нетерпѣливое и жгучее любопытство.

Не спорили только два лица: это голова и отецъ Захарія, но и то они не спорили потому, что были заняты особыми разслѣдованіями: голова, низенькій толстый купецъ, все потихоньку подкрадывался къ чорту то съ той, то съ другой стороны, и изъ изнавѣсти крестилъ и затѣмъ самъ тотчасъ же быстро отскакивалъ въ сторону, чтобы съ нимъ вмѣстѣ не провалиться, а Захарія тормошилъ его за рожки и шепталъ подъ бурку:

— Послушай, братецъ, послушай: ты мнѣ одно скажи, это ты у отца протопопа вверхъ ногами по потолку ходилъ? Признайся, и сѣчь не будемъ.

— Я,—глухо простоналъ чортъ.

Это первое произнесенное демономъ слово произвело въ присутствующихъ неожиданную панику, которая еще увеличилась дошедшими до нихъ въ эту минуту дикими воплями народа снаружи. Потерявшая терпѣніе толпа ломилась наверхъ, требуя, чтобы чортъ немедленно же былъ ей предъявленъ, при чемъ громогласно выражалось самое яркое подозрѣніе, что полиція возьметъ съ чорта взятку и

отпустить его обратно въ адъ. Въ толпѣ нашлись люди, которые прямо предлагали высадить двери правленія и насильно взять чорта изъ рукъ законной власти. За угрозой почти непосредственно послѣдовало и исполненіе: раздались удары въ двери; но ротмистръ нашелся, что сдѣлать: онъ мигнулъ квартальному, который тотчасъ же выкатилъ пожарную трубу, взлѣзъ со шприцемъ на заборъ и пустилъ въ толпу сильную холодную струю. Сигналъ былъ данъ, и пошла потѣха. Народъ на минуту отхлынулъ, раздались веселые крики, свистки и хохотъ, но черезъ минуту всѣ эти развеселившіеся люди вдругъ принасупились, закусили губы и двинулись впередъ. Холодная душь болѣе никого не пугала: дверь затрещала, въ окна полетѣли камни, а квартальнаго стащили за ноги съ забора и, овладѣвъ шприцемъ, окачивали его въ глазахъ начальства. Исправникъ, а за нимъ и всѣ бывшіе съ нимъ аристократы шарахнулись во внутренніе покои и заперлись на замокъ, а не успѣвшій за ними туда капитанъ Повердовня бѣгалъ по канцеляріи и кричалъ:

— Господа! ничего!.. не робѣть!.. Съ нами Богъ!.. У кого есть оружіе... спасайтесь!

И съ этимъ, увидя растворенный канцелярскій шкафъ, онъ быстро вскочилъ въ него и захлопнулъ дверцы; а между тѣмъ въ комнату черезъ разбитыя окна еще ожесточеннѣе падали камни. У самого чорта вырвался крикъ ужаса и отчаянія.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Минута была самая рѣшительная: она ждала своего героя, и онъ явился. Шубы, которыми былъ закрытъ всѣми позабытый Ахилла, зашевелясь, слетѣли на полъ, а самъ онъ, босой, въ узкомъ и куцомъ солдатскомъ бѣльѣ, потрошилъ того, кто такъ недавно казался чортомъ, и за кого поднялась вся эта исторія, принявшая видъ настоящаго открытаго бунта.

— Раздѣвайся! — командовалъ дьяконъ: — раздѣвайся и покажи, кто ты такой, а то я все равно все это съ тебя вмѣстѣ съ родной кожей сниму.

И говоря это, онъ въ то же время щипалъ чорта, какъ ретивая баба щиплетъ ошпареннаго цыпленка.

Одно мгновеніе—и чорта какъ не бывало, а передъ уди-

вленнымъ дьякономъ валялся окоченѣвшій мѣщанинъ Данилка.

Ахилла поднесъ его къ окну и, высунувъ голову сквозь разбитую раму, крикнулъ:

— Цыть, дураки! Это Данилка чортомъ наряжался! Глядите, вотъ онъ.

И дьяконъ, поднявъ предъ собою синяго Данилку, самъ въ то же время выбрасывалъ на улицу одну за другою всѣ части его убранства и возглашалъ:

— А вотъ его коготки! а вотъ его рожки! а вотъ вамъ и вся его амуниція! А теперь слушайте: я его допрошу.

И оборотя къ себѣ Данилку, дьяконъ съ глубокимъ и неподдѣльнымъ добродушіемъ спросилъ его:

— Зачѣмъ ты, дурачокъ, такъ скверно наряжался?

— Съ голоду.—прошепталъ мѣщанинъ.

Ахилла сейчасъ же передалъ это народу и непосредственно вслѣдъ затѣмъ вострубилъ своимъ непомѣрнымъ голосомъ:

— Ну, а теперь, православные, расходитесь, а то, спаси Богъ, ежели начальство осмѣлѣетъ, оно сейчасъ стрѣлять велитъ.

Народъ, весело смѣясь, сталъ расходиться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Начальство, дѣйствительно, «осмѣлѣло», выползло и приступило къ распорядкамъ.

Мокраго и едва дышащаго Данилку переодѣли въ сухую арестантскую свиту и стали серьезно допрашивать. Онъ винился, что съ голоду и холоду, всѣми брошенный и отъ всѣхъ за свое безпутство гонимый, онъ ходилъ и скитался и надумался, наконецъ, одѣться чортомъ и такъ пугалъ ночами народъ и таскалъ, что откуда попало, продавалъ жиду и тѣмъ питался. Ахилла все это внимательно слушалъ. Кончился допросъ, онъ все смотрѣлъ на Данилку и ни съ того, ни съ сего сталъ замѣчать, что Данилка въ его глазахъ то поднимется, то опустится. Ахилла усиленно моргнулъ глазами и опять новая притча. Данилка теперь становится то жарко-золотымъ, то бѣлымъ серебрянымъ, то огненнымъ, такимъ, что на него смотрѣть больно, то совсѣмъ стухнетъ и нѣтъ его, а межъ тѣмъ онъ тутъ. Слѣдить за всѣми этими калейдоскопическими превращеніями

больно до нестерпимости, а закроешь глаза, все еще пестрѣе и еще хуже рѣжетъ.

«Фу ты, что это такое!»—подумалъ себѣ дьяконъ и, проведя рукой по лицу, замѣтилъ, что ладонь его, двигаясь по кожѣ лица, шуршитъ и цѣпляется будто сукно по фланели. Вотъ минута забвенія, въ крови быстро прожгла огневая струя и, стукнувъ въ темя, отуманила память. Дьяконъ позабылъ, зачѣмъ онъ здѣсь и зачѣмъ тутъ этотъ Данилка стоитъ общипаннымъ цыпленкомъ и беззаботно разсказываетъ, какъ онъ пугалъ людей, какъ онъ щечился отъ нихъ всякою всячиной и какъ, наконецъ, нежданно-негаданно попался отцу дьякону.

— Ну, а разскажи же, — спрашиваетъ его опять Захарія: — разскажи, братецъ, какъ ты это у отца протоіерея вверхъ ногами по потолку ходилъ?

— Просто, батюшка,—отвѣчалъ Данилка:—я снялъ сапоги, вздѣлъ ихъ голенищами на палочку, да и клалъ по потолку слѣдочки.

— Ну, отпустите же его теперь, довольно вамъ его мучить,—неожиданно отозвался, моргая глазами, Ахилла.

На него оглянулись съ изумленіемъ.

— Что вы это говорите? какъ можно отпустить святотатца?—остановилъ его Граціанскій.

— Ну, какой тамъ еще святотатецъ? Это онъ съ голоду. Ей-Богу отпустите! Пусть онъ домой идетъ.

Граціанскій, не оборачиваясь къ Ахиллѣ, замѣтилъ, что его заступничество неумѣстно.

— Отчего же... за бѣднаго человѣка, который съ голоду... апостолы класы восторгали...

— Да что вы это?—строго повернулся протопопъ:—вы соціалистъ, что ли?

— Ну, какой тамъ «соціалистъ»! Святые апостолы, говорю вамъ, проходя полемъ, класы исторгали и ѣли. Вы, разумѣется, городскія іерейскія дѣти, этого не знаете, а мы, дѣти дьячковскія, въ училищѣ, бывало, сами съѣстное часто воровали. Нѣтъ, отпустите его, Христа ради, а то я его все равно вамъ не дамъ.

— Что вы, съ ума, что ли, сошли? Развѣ вы смѣете!..

Но дьякону эти послѣднія слова показались столь нестерпимо обидными, что онъ весь побагровѣлъ и, схвативъ на себя свой мокрый подрясникъ, вскричалъ:

— А вотъ я его не дамъ, да и только! Онъ мой плѣнникъ, и я на него всякое право имѣю.

Съ этимъ дьяконъ, шатаясь, подошелъ къ Данилкѣ, толкнулъ его за двери и, взявшись руками за обѣ притолки, чтобы никого не выпустить вслѣдъ за Данилкой, хотѣлъ еще что-то сказать, но тотчасъ же почувствовалъ, что онъ растетъ, ширится, пышетъ зноемъ и исчезаетъ. Онъ на одну минуту закрылъ глаза и въ ту же минуту повалился безъ чувствъ на землю.

Состояніе Ахиллы было сладостное состояніе забвенья, которымъ даритъ человѣка горячка. Дьяконъ слышалъ слова: «буйство», «актъ», «ударъ», чувствовалъ, что его трогаютъ, ворочаютъ и поднимаютъ; слышалъ суету и слезныя просьбы вновь изловленнаго на улицѣ Данилки, но онъ слышалъ все это какъ сквозь сонъ, и опять росъ, опять простирался куда-то въ безконечность и сладостно пышетъ и перегораетъ въ огневомъ недугѣ. Вотъ это она, кончина жизни, *смерть*.

О поступкѣ Ахиллы былъ составленъ надлежащій актъ, съ которымъ старый сотоварищъ, «старый гевальдигеръ», Воинъ Порохонцевъ, долго мудрилъ и хитрилъ, стараясь представить выходку дьякона какъ можно невиннѣе и мягче, но тѣмъ не менѣе дѣло все-таки озаглавилось: «*о дерзостномъ буйствѣ, произведенномъ, въ присутствіи старогородскаго полицейскаго правленія, соборнымъ дьякономъ Ахиллою Десницынымъ*».

Ротмистръ Порохонцевъ могъ только вычеркнуть слово «дерзостномъ», а «буйство» Ахиллы сдѣлалось предметомъ дѣла, по которому, рано или поздно, должно было пасть строгое рѣшеніе.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Ахилла ничего этого не зналъ: онъ спокойно и безмятежно горѣлъ въ огнѣ своего недуга на больничной койкѣ. Лѣкарь, принявшій дьякона въ больницу, объявилъ, что у него жестокій тифъ, прямо начинающійся безпамятствомъ и жаромъ, что такіе тифы обязываютъ медика къ предсказаніямъ самымъ печальнымъ.

Ротмистръ Порохонцевъ ухватился за эти слова и требовалъ у врача заключенія: не слѣдуетъ ли поступокъ Ахиллы приписать началу его болѣзненнаго состоянія? Лѣ-

карь взялся это подтвердить. Ахилла лежалъ въ безпамятствѣ пятый день при тѣхъ же туманныхъ, но пріятныхъ представленіяхъ и въ томъ же безпрестанномъ ощущеніи сладостнаго зноя. Предъ нимъ на утломъ стульчикѣ сидѣлъ отецъ Захарія и держалъ на головѣ больного полотенце, смоченное холодною водой. Ввечеру сюда пришли нѣсколько знакомыхъ и лѣкарь.

Дьяконъ лежалъ съ закрытыми глазами, но слышалъ, какъ лѣкарь сказалъ, что кто хочетъ имѣть дѣло съ душой больного, тотъ долженъ дорожить первою минутой его просвѣтлѣнія, потому что близится кризисъ, за которымъ ничего хорошаго предвидѣть невозможно.

— Не упустите такой минуты,—говорилъ онъ:—у него уже пульсъ совсѣмъ ненадежный, и затѣмъ лѣкарь началъ бесѣдовать съ Порохонцевымъ и другими, которые, придя навѣстить Ахиллу, никакъ не могли себѣ представить, что онъ при смерти и вдобавокъ при смерти отъ простуды! Онъ, богатырь, умретъ, когда Данилка, раздѣлявшій съ нимъ холодную ванну, сидитъ въ острогѣ здоровъ-здоровешенекъ. Лѣкарь объяснялъ это тѣмъ, что Ахилла давно былъ сильно потрясенъ и разстроенъ.

— Да, да, да, вы говорили... у него возвышенная чувствительность,—пролепеталъ Захарія.

— Странная болѣзнь,—замѣтилъ Порохонцевъ:—и тутъ все новое! Я сколько лѣтъ живу и не слыхалъ такой болѣзни.

— Да, да, да...—поддержалъ его Захарія:—утончаются обычаи жизни и усложняются болѣзни.

Дьяконъ тихо открылъ глаза и прошепталъ:

— Дайте мнѣ питки!

Ему подали металлическую кружку, къ которой онъ припалъ пламенными губами и, жадно глотая клюковное питье, смотрѣлъ на всѣхъ воспаленными глазами.

— Что нашъ органъ дорогой, какъ тебѣ теперь?—участливо спросилъ его голова.

— Огустѣлъ весь,—тяжело отвѣтилъ дьяконъ, и черезъ минуту совсѣмъ неожиданно заговорилъ въ повѣствовательномъ тонѣ:—Я послѣ своей собачонки *Какваски*...—когда ее мальпостъ колесомъ переѣхалъ... хотѣлъ было себѣ еще одного песика купить... Вижу въ Петербургѣ на Невскомъ собачея... и говорю: достань, говорю, мнѣ... хорошенькую

собачку... А онъ говоритъ: «нынче, говоритъ, собакъ нѣтъ, а теперь, говоритъ, пошли все понтера̀ и сетера́...» А что̀, молъ, это за звѣри? «А это тѣ же самыя, говоритъ, собаки, только имъ другое названіе».

Дьяконъ остановился.

— Вы это къ чему же говорите? — спросилъ больного смѣлымъ, одушевляющимъ голосомъ лѣкарь, которому казалось, что Ахилла бредитъ.

— А къ тому, что вы про новыя болѣзни разсуждали: всѣ онѣ... какъ ихъ ни называй, клонятъ къ одной предмѣстности—къ смерти...

И съ этимъ дьяконъ опять забылся и не просыпался до полуночи, когда вдругъ забредилъ:

— Аркебузиръ, аркебузиръ... пошелъ прочь, аркебузиръ!

И съ этимъ послѣднимъ словомъ онъ вскочилъ и, совершенно проснувшись, сѣлъ на постели.

— Дьяконъ, исповѣдайся,—сказалъ ему тихо Захарія.

— Да, надо, — сказалъ Ахилла: — принимайте скорѣе, — исповѣдаюсь, чтобъ ничего не забыть, — всѣмъ грѣшенъ, простите Христа ради, — и затѣмъ, вздохнувъ, добавилъ: — Пошлите скорѣе за отцомъ протопопомъ.

Граціанскій не заставилъ себя долго ждать и явился.

Ахилла привѣтствовалъ протоіерея издали глазами, попросилъ у него благословенія и дважды поцѣловалъ его руку.

— Умираю, — произнесъ онъ: — желалъ попросить васъ: простите: всѣмъ грѣшенъ.

— Богъ васъ проститъ и вы меня простите, — отвѣчалъ Граціанскій.

— Да я вѣдь и не злобствовалъ... но я разсужденьемъ не всегда былъ понятенъ...

— Зачѣмъ же конфузить себя... У васъ благородное сердце...

— Нѣтъ, не сто́итъ сего... говорить,—перебилъ, путаясь, дьяконъ. — Все я не тѣмъ занимался, чѣмъ слѣдовало... и напослѣдяхъ... серчалъ за памятникъ... Пустая фантазія: земля и небо сгорятъ и все провалится. Какой памятникъ! То была одна моя несообразность!

— Онъ уже мудръ!—уронилъ, опустивъ головку, Захарія. Дьяконъ метнулся на постели.

— Простите меня Христа ради,—возговорилъ онъ спѣш-

но:—и не вынуждайте себя быть здѣсь, меня опять распаляетъ недугъ... Прощайте!

Ученый протопопъ благословилъ умирающаго, а Захарія пошелъ проводить Граціанскаго и, переступивъ обратно за порогъ, онѣмѣлъ отъ ужаса:

Ахилла былъ въ агоніи, и въ агоніи не столько страшной, какъ поражающей: онъ нѣсколько секундъ лежалъ тихо и, набравъ въ себя воздуху, вдругъ вышускалъ его, протяжно издавая звукъ: у-у-у-хъ! при чемъ всякій разъ взмахивалъ руками и приподнимался, будто отъ чего-то освобождался, будто что-то скидывалъ.

Захарія смотрѣлъ на это цѣпенѣя, а утлыя доски кровати все тяжче гнулись и трещали подъ умирающимъ Ахиллой, и жутко дрожала стѣна, сквозь которую точно рвалась на просторъ долго сжатая стихійная сила.

«Ужъ не кончается ли онъ?»—хватился Захарія и метнулся къ окну, чтобы взять маленькій требникъ, но въ это самое время Ахилла вскрикнулъ сквозь сжатые зубы:

— Кто ты, огнелицый? Дай путь мнѣ!

Захарія робко оглянулся и оторопѣлъ, огнелицаго онъ никого не видалъ, но ему показалось со страху, что Ахилла, вылетѣвъ самъ изъ себя, здѣсь же гдѣ-то съ кѣмъ-то боролся и одолѣлъ...

Робкій старичокъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ и, закрывъ глаза, выбѣжалъ вонъ, а черезъ нѣсколько минутъ на соборной колокольнѣ заунывно ударили въ колоколъ по умершемъ Ахиллѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Старогородская хроника кончается и послѣднею ея точкой долженъ быть гвоздь, забитый въ крышку гроба Захаріи.

Тихій старикъ не долго пережилъ Савелія и Ахиллу. Онъ дожилъ только до великаго праздника весны, до Свѣтлаго Воскресенія, и тихо уснулъ во время самаго богослуженія.

Старогородской поповкѣ настало время полнаго обновленія.

Оглавленіе.

II ТОМА.

Соборяне. (Хроника).

	стр.
Часть вторая	3
Часть третья	65
Часть четвертая	118
Часть пятая	147

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

ЗАПЕЧАТЛѢННЫЙ АНГЕЛЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дѣло было о святкахъ, наканунѣ Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, изъ тѣхъ, какими бываютъ славны зимы на степномъ заволжьи, загнала множество людей въ одинокій постоялый дворъ, стоящій бобылемъ среди гладкой и необозримой степи. Тутъ очутились въ одной кучѣ дворяне, купцы и крестьяне, русскіе, и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на такомъ ночлегѣ было невозможно: куда ни повернись, вездѣ тѣснота, одни сушатся, другіе грѣются, третьи ищутъ хотя маленькаго мѣстечка, гдѣ бы пріютиться; но темной, низкой, переполненной народомъ избѣ, стоитъ духота и густой паръ отъ мокраго платья. Свободнаго мѣста нигдѣ не видно: на полатяхъ, на печкѣ, на лавкахъ и даже на грязномъ земляномъ полу, вездѣ лежатъ люди. Хозяинъ, суровый мужикъ, не радъ былъ ни гостямъ, ни наживѣ. Сердито захлопнувъ ворота за послѣдними, добившимися на дворъ санями, на которыхъ пріѣхали два купца, онъ заперъ дворъ на замокъ и, повѣсивъ ключъ подъ божницею, твердо молвилъ:

— Ну, теперь кто хочешь, хоть головой въ ворота бейся, не отворю.

Но едва онъ успѣлъ это выговорить и, снявъ съ себя обширный овчинный тулупъ, перекрестился древнимъ большимъ крестомъ и приготовился лѣзть на жаркую печку, какъ кто-то робкою рукой застучалъ въ стекло.

— Кто тамъ?—окликнулъ громкимъ и недовольнымъ голосомъ хозяинъ.

— Мы,—отвѣтили глухо изъ-за окна.

— Ну-у, а чего еще надо?

— Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли.

— А много ли васъ?

— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро,—говорилъ за окномъ, заикаясь и щелкая зубами, очевидно, совсѣмъ перезябшій человѣкъ.

— Некуда мнѣ васъ пустить, вся изба и такъ народомъ укладена.

— Пусти хоть малость обогрѣться!

— А кто же вы такіе?

— Извозчики.

— Порожнемъ или съ возами?

— Съ возами, родной, шкурье веземъ.

— Шкурье! шкурье везете, да въ избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настаютъ! Пошли прочь!

— А что же имъ дѣлать?—спросилъ проѣзжій, лежавшій подъ медвѣжьею шубой на верхней лавкѣ.

— Валить шкурье, да спать подъ нимъ, вотъ что имъ дѣлать, — отвѣчалъ хозяинъ и, ругнувъ еще хорошенько извозчиковъ, легъ неподвижно на печь.

Проѣзжій изъ-подъ медвѣжьей шубы въ тонѣ весьма энергическаго протеста выговаривалъ хозяину на жестокость, но тотъ не удостоилъ его замѣчанія ни малѣйшимъ отвѣтомъ. Зато вмѣсто его откликнулся изъ дальняго угла небольшой рыженькій человѣчекъ, съ острою, клиномъ, бородкой.

— Не осуждайте, милостивый государь, хозяина,—заговорилъ онъ:—онъ это съ практики беретъ и внушаетъ правильно,—со шкурьемъ безопасно.

— Да?—отозвался вопросительно проѣзжій изъ-подъ медвѣжьей шубы.

— Совершенно безопасно-съ, и для нихъ это лучше, что онъ ихъ не пускаетъ.

— Это почему?

— А потому, что они теперь изъ этого полезную практику для себя получили, а между тѣмъ, если еще кто безпомощный добьется сюда, ему мѣстечко будетъ.

— А кого теперь еще понесетъ чортъ?—молвила шуба.

— А ты слушай,—отозвался хозяинъ:—ты не болтай пустыхъ словъ. Развѣ супостатъ можетъ сюда кого-нибудь

прислать, гдѣ этакая святыня? Развѣ ты не видишь, что тутъ и Спасова икона, и Богородичный ликъ.

— Это вѣрно,—поддержалъ рыженькій человѣкъ. — Всякаго спасеннаго человѣка не Ѳеіопъ ведетъ, а ангелъ руководствуетъ.

— А вотъ я этого не видалъ, и какъ мнѣ здѣсь очень скверно, то и не хочу вѣрить, что меня сюда завелъ мой ангелъ,—отвѣчала словоохотливая шуба.

Хозяинъ только сердито сплюнулъ, а рыжачокъ добродушно молвилъ, что ангельскій путь не всякому зримъ и объ этомъ только настоящій практикъ можетъ получить понятіе.

— Вы объ этомъ говорите такъ, какъ будто сами вы имѣли такую практику,—проговорила шуба.

— Да-съ, ее и имѣлъ.

— Что же это: вы видѣли, что ли, ангела, и онъ васъ водилъ?

— Да-съ, я его и видѣлъ, и онъ меня руководствовалъ.

— Что вы шутите или смѣетесь?

— Боже меня сохрани такимъ дѣломъ шутить?

— Такъ что же вы такое именно видѣли: какъ вамъ ангелъ являлся?

— Это, милостивый государь, цѣлая большая исторія.

— А знаете ли, что тутъ уснуть рѣшительно невозможно, и вы бы отлично сдѣлали, если бы теперь разсказали намъ эту исторію.

— Извольте-съ.

— Такъ разсказывайте, пожалуйста: мы васъ слушаемъ. По только что же вамъ тамъ на колѣняхъ стоять, вы идите сюда къ намъ, авось какъ-нибудь потѣснимся и усядемся вмѣстѣ.

— Нѣтъ-съ, на этомъ благодарю-съ! Зачѣмъ васъ стѣснять, да и къ тому же повѣсть, которую я предъ вами поведу, пристойнѣе на колѣняхъ стоя сказывать, потому что это дѣло весьма священное и даже страшное.

— Ну, какъ хотите, только скорѣе сказывайте, какъ вы могли видѣть ангела и что онъ вамъ сдѣлалъ.

— Извольте-съ, я начинаю.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

— Я, какъ несомнѣнно можете по мнѣ видѣть, человѣкъ совсѣмъ незначительный, я болѣе ничего какъ мужикъ, и

воспитаніе свое получилъ по состоянію, самое деревенское. Я не здѣшній, а дальній, рукомесломъ я каменщикъ, а рожденъ въ старой русской вѣрѣ. По сиротству моему я сызмальства пошелъ со своими земляками въ отходныя работы и работалъ въ разныхъ мѣстахъ, но все при одной артели, у нашего же крестьянина, Луки Кирилова. Этотъ Лука Кириловъ живъ по сіи дни: онъ у насъ самый первый рядчикъ. Хозяйство у него было стародавнее, еще отъ отцовъ заведено, и онъ его не расточилъ, а преумножилъ и создалъ себѣ житницу велику и обильну, но былъ и есть человѣкъ прекрасный и не обидчикъ. И ужъ зато куда-куда мы съ нимъ ни ходили? Кажется, всю Россію изошли, и нигдѣ я лучше и степеннѣе его, хозяина, не видалъ. И жили мы при немъ въ самой тихой патріархіи, онъ у насъ былъ и рядчикъ, и по промыслу и по вѣрѣ наставникъ. Путь свой на работахъ мы проходили съ нимъ точно іуден въ своихъ странствіяхъ пустынныхъ съ Моисеемъ, даже скинію свою при себѣ имѣли и никогда съ нею не разставались: то-есть имѣли при себѣ свое «Божіе благословеніе». Лука Кириловъ страстно любилъ иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы все самыя пречудныя, письма самаго искуснаго, древняго, либо настоящаго греческаго, либо первыхъ новгородскихъ или строгановскихъ изографовъ. Икона противъ иконы лучше сіяли не столько окладами, какъ остротою и плавностью предивнаго художества. Такой возвышенности я уже послѣ нигдѣ не видѣлъ!

И что были за во-имя разныя и Денсусы, и Нерукотворенный Спасъ съ омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнѣе многоличныя иконы съ дѣяніями, каковыя, напримѣръ, Индиктъ: праздники, Страшный Судъ, Святцы, Соборы, Отечество, Шестодневъ, Цѣлебникъ, Седьмица съ предстоящими; Троица съ Авраамліимъ поклоненіемъ у дуба Мамврійскаго, и, однимъ словомъ, всего этого благолѣпія не изрещи, и такихъ иконъ нынче уже нигдѣ не напишутъ, ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ, ни въ Палиховѣ; а о Греціи и говорить нечего, такъ какъ тамъ эта наука давно затеряна. Любили мы всѣ эту свою святыню страстною любовью и сообща предъ нею святой елей теплили, и на артельный счетъ лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божіе благословеніе

въ двухъ большихъ коробьяхъ всюду, куда сами шли. Особенно же были при насъ двѣ иконы, одна съ греческихъ переводовъ старыхъ московскихъ царскихъ мастеровъ: Пресвятая Владычица въ саду молится, а передъ Ней всѣ древеса кипарисы и олинфы до земли преклоняются; а другая Ангелъ Хранитель, Строганова дѣла. Изрещи нельзя, что это было за искусство въ сихъ обѣихъ святыняхъ! Глянешь на Владычицу, какъ предъ ея чистотою бездушныя древеса преклонились, сердце тастъ и трепещетъ; глянешь на Ангела... радость! Сей Ангелъ воистину былъ что-то неописуемое. Ликъ у него, какъ сейчасъ вижу, самый свѣтлобожественный и этакій скоропомощный: взоръ умиленъ; ушки съ торочами, въ знакъ повсемѣстнаго отвсюду слышанія; одѣянье горитъ, рясны златыми преиспещрено; доспѣхъ пернатъ, рамена препоясаны; на персяхъ младенческій ликъ Эмануилевъ; въ правой рукѣ крестъ, въ лѣвой огненалящій мечъ. Дивно! дивно!.. Власы на головкѣ кудреваты и русы, съ ушей повились и проведены волосокъ къ волоску иголочкой. Крылья же пространны и бѣлы какъ снѣгъ, а исподъ лазурь свѣтлая, перо къ перу, и въ каждой бородкѣ пера усикъ къ усику. Глянешь на эти крылья, и гдѣ твой весь страхъ дѣнется; молишься: «осѣни», и сейчасъ весь стишаешь, и въ душѣ станетъ миръ. Вотъ эта была какая икона! И были-съ эти два образа для насъ все равно, что для жидовъ ихъ Святая Святыхъ, чуднымъ Веселіила художествомъ изукрашенная. Всѣ тѣ иконы, о которыхъ я впередъ сказалъ, мы въ особой коробьѣ на конѣ возили, а эти двѣ даже и на возъ не поставляли, а носили: Владычицу завсегда при себѣ Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а Ангелово изображеніе самъ Лука на своей груди сохранялъ. Былъ у него такой для сей иконы сдѣланъ парчевой кошель на темной шестряди и съ пуговицей, а на передней сторонѣ алый крестъ изъ настоящаго штофу, а вверху пришитъ толстый зеленый шелковый шнуръ, чтобы вокругъ шеи обвесть. И такъ икона въ семъ содержаніи у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди насъ предходила, точно самъ Ангелъ намъ предшествовалъ. Идемъ, бывало, съ мѣста на мѣсто, на новую работу степями, Лука Кириловъ впереди всѣхъ нарѣзнымъ сажнемъ вмѣсто палочки помахиваетъ, за нимъ на возу Михайлица съ Богородичною иконой, а за ними мы всѣ артелью выступаемъ, а тутъ въ

полѣ травы, цвѣты по лугамъ, индѣ стада пасутся и свирѣцъ на свирѣли играетъ... то-есть просто сердцу и уму восхищеніе! Все шло намъ прекрасно и дивная была намъ въ каждомъ дѣлѣ удача: работы всегда находились хорошія; промежду собою у насъ было согласіе; отъ домашнихъ приходили все вѣсти спокойныя: и за все это благословляли мы предходящаго намъ Ангела, и съ пречудною его иконою, кажется, труднѣе бы чѣмъ съ жизнію своею не могли разстаться.

Да и можно ли было думать, что мы какъ-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоцѣннѣйшей самой святыни лишимся? А между тѣмъ, такое горе насъ ожидало и устроялось намъ, какъ мы послѣ только уразумѣли, не людскимъ коварствомъ, а самого онаго Путеводителя нашего смотрѣніемъ. Самъ онъ возжелалъ себѣ оскорбленія, дабы дать намъ свято постичь скорбь и тою указать намъ истинный путь, предъ которымъ всѣ до сего часа исхоженные нами пути были, что дебрь темная и безслѣдная. Но позвольте узнать, занятна ли моя повѣсть и не напрасно ли я ею ваше вниманіе утруждаю?

— Нѣтъ: какъ же, какъ же: сдѣлайте милость продолжайте! — воскликнули мы, заинтересованные этимъ разсказомъ.

— Извольте-съ, послушествую вамъ и, какъ сумѣю, начну излагать бывшія съ нами дивныя дивеса отъ Ангела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пришли мы для большихъ работъ подъ большой городъ, на большой текучей водѣ, на Днѣпрѣ рѣкѣ, чтобы тутъ большой и нынѣ весьма славный каменный мостъ строить. Городъ стоитъ на правомъ крутомъ берегу, а мы стали на лѣвомъ, на луговомъ, на отложистомъ, и объявился предъ нами весь чудный пейзажъ: древніе храмы, монастыри святые со многими святыхъ мощами: сады густые и дерева таковыя какъ по старымъ книгамъ въ заставкахъ пишутся, то-есть островерхіе тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станетъ, такъ прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаемъ.

И вотъ-съ это мѣсто намъ такъ жестоко полюбилось, что мы въ тотъ же самый въ первый день начали тутъ по-

стройку себѣ временного жилища, сначала забили высокенькія сваечки, потому что мѣсто тутъ было низменное, возлѣ самой воды, потомъ на тѣхъ сваяхъ стали собирать горницу и при ней чуланъ. Въ горницѣ поставили всю свою святыню, какъ надо, по отеческому закону: въ протяженность одной стѣны складной иконостасъ раскинули въ три пояса, первый поклонный для большихъ иконъ, а выше два тябла для меньшенькихъ, и такъ возвели какъ должно лѣстницу до самаго распятія, а Ангела на аналогіи положили, на которомъ Лука Кириловъ Писаніе читалъ. Самъ же Лука Кириловъ съ Михайлицей стали въ чуланчикѣ жить, а мы себѣ рядомъ казаромку сгородили. На насъ глядючи, то же самое начали себѣ строить и другіе, которые пришли надолго работать, и вотъ сталъ у насъ противъ великаго основательнаго города свой легкій городокъ на сваяхъ. Занялись мы работой, и пошло все какъ надо! деньги за расчетъ у англичанъ въ конторѣ вѣрныя; здоровье Богъ посылалъ такое, что во все лѣто ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говоритъ, я не рада, какая у меня по всѣмъ частямъ полнота пошла. Особенно же намъ, старовѣрамъ, тутъ нравилось, что мы въ тогдашнее время повсюду за свой обрядъ гоненію подвергались, а тутъ намъ была льгота: нѣтъ здѣсь ни городского начальства, ни уѣзднаго, ни попа; никого не зримъ, и никто нашей религіи не касается и не препятствуетъ... Вволю молились: отработаемъ свои часы и соберемся въ горницу, а тутъ уже вся святыня отъ многихъ лампадъ такъ сіяетъ, что даже сердце разгорается. Лука Кириловъ положитъ благословящій началъ; а мы всѣ подхватимъ, да такъ и славимъ, что даже иной разъ при тихой погодѣ далеко за слободою слышно. И никому наша вѣра не мѣшала, а даже какъ будто еще многимъ по обычаю приходила и нравилась не только однимъ простымъ людямъ, которые къ богочтительству по русскому образцу склонны, но и иновѣрамъ. Много изъ церковныхъ, которые благочестиваго нрава, а въ церковь за рѣку ѣздить некогда, бывало станутъ у насъ подъ окнами и слушаютъ и молиться начнутъ. Мы имъ этого снаружи не возбраняли: всѣхъ отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старымъ русскимъ обрядомъ интересовались, не разъ приходили наше пѣніе слушать и одобряли. Главный строитель изъ англи-

чанъ, Яковъ Яковлевичъ, тотъ, бывало, даже съ бумажкой подъ окномъ стоять приходилъ и все норовилъ, чтобы на ноту наше гласованіе замѣчать и потомъ, бывало, ходитъ по работамъ, а самъ все про себя въ нашемъ родѣ гудетъ: «Бо-Господь и явися намъ», но только все это у него, разумѣется, выходило на другой штыль, потому что этого пѣнія, расположеннаго по крюкамъ, новою западною нотою въ совершенствѣ уловить невозможно. Англичане, чести имъ приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они насъ очень любили и за хорошихъ людей почитали и хвалили. Однимъ словомъ, привелъ насъ Господень Ангелъ въ доброе мѣсто и открылъ намъ всѣ сердца людей и весь пейзажъ природы.

И сему-то подобнымъ мирственнымъ духомъ, какъ я вамъ представилъ, жили мы безъ малаго яко три года. Спорилося намъ все, изливались на насъ всѣ успѣхи точно изъ Амалфеева рога, какъ вдругъ узрѣли мы, что есть посреди насъ два сосуда избранія Божія къ нашему наказанію. Одинъ изъ таковыхъ былъ ковачъ Марой, а другой—счетчикъ Пименъ Ивановъ. Марой былъ совсѣмъ простецъ, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже рѣдкость, но онъ былъ человѣкъ особенный: видомъ неуклюжъ, на подобіе верблюда, и нѣдристъ какъ кабанъ — одна пазуха въ полтора обхвата, а лобъ весь заросшій крутою космой и точно мраволевъ старый, а середь головы на маковкѣ гуменцо простригалъ. Рѣчь онъ имѣлъ тупую и невразумительную, все шавкалъ губами, и умъ у него былъ тугой и для всего столь нескладный, что онъ даже заучить на память молитвъ не умѣлъ, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловитъ, но былъ на предбудущее прозорливъ и имѣлъ даръ вѣщевать и могъ сбывчивые намеки подавать. Пименъ же, напротивъ того, былъ человѣкъ щановатый: любилъ держать себя очень форсисто и говорилъ съ такимъ хитрымъ извитіемъ словъ, что удивляться надо было его рѣчи; но зато характеръ имѣлъ легкій и увлекательный. Марой былъ пожилой человѣкъ, за семьдесятъ лѣтъ, а Пименъ средовѣкъ и изящень: имѣлъ волосы курчавые, посединѣ проборъ; брови кохловатыя, лицо съ подрумяночкой, словомъ, веліаръ. Вотъ въ сихъ двухъ сосудахъ и забродила вдругъ оцетность терпкаго питія, которое надлежало намъ испить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Мостъ, который мы строили на восьми гранитныхъ быкахъ, уже высоко надъ водой возросъ, и въ лѣто четвертаго года мы стали на тѣ столбы желѣзныя цѣпи закладывать. Только тутъ было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по мѣркамъ къ каждой лункѣ стальные заклепы, какъ оказалось, что многіе болты длинны, и отсѣкать ихъ надо, а каждый тотъ болтъ,— по-аглицки штанга стальная, и дѣланы они всѣ въ Англіи,— отлить изъ крѣпчайшей стали и толщины въ руку рослаго человѣка. Нагрѣвать этихъ болтовъ было нельзя, потому что тѣмъ сталь отпускается, а пилить ее никакой инструментъ не бралъ: но на все на это нашъ Марой ковачъ изымѣлъ вдругъ такое средство, что облѣпитъ это мѣсто, гдѣ надо отсѣчь, густою колоникой изъ телѣжнаго колеса съ песковымъ жвиромъ, да и сунетъ всю эту штуку въ снѣгъ, и еще вокругъ солью осыпитъ, и вертитъ и крутитъ; а потомъ оттуда ее сразу выхватитъ, да на горячее ковало, и какъ треснетъ балдой, такъ какъ восковую свѣчу будто ножницами и отстрижетъ. Англичане всѣ и нѣмцы приходили на это хитрое Мароево умудрѣнье смотрѣли, и глядятъ, глядятъ, да вдругъ разсмѣются и заговорятъ сначала промежъ себя по-своему, а потомъ на нашемъ языкѣ скажутъ:

— Такъ, руссъ! Твой молодецъ; твой корошъ физикъ понимай!

А какой тамъ «физикъ» могъ понимать Марой: онъ о наукѣ никакого и понятія не имѣлъ, а произвелъ просто какъ его Господь умудрилъ. А нашъ Пименъ Ивановъ и пошелъ объ этомъ бахвалить. Значитъ и пошло въ обѣ стороны худо: одни все причитали къ наукѣ, о которой тотъ нашъ Марой и помыслу не зналъ, а другіе заговорили, что надъ нами-де видимая Божія благодать творитъ дивеса, какихъ мы никогда и не зрѣли. И эта послѣдняя вещь была для насъ горше первыя. Я вамъ докладывалъ, что Пименъ Ивановъ былъ слабый человѣкъ и любосластецъ, а теперь объясню, зачѣмъ мы его, однако, въ своей артели содержали; онъ у насъ ѣздилъ въ городъ за провизіей, закупалъ какія надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворамъ отправлять и назадъ новые паспорты онъ отбиралъ. Вообще, вотъ всю этакую справу чинилъ и, по

правдѣ сказать, былъ онъ намъ человѣкъ въ этомъ родѣ нужный и даже очень полезный. Настоящій степенный старовѣръ, разумѣется, всегда подобной суеты чуждается и отъ общенія съ чиновниками бѣжитъ, ибо отъ нихъ мы, кромѣ досажденія, ничего не видѣли, но Пименъ радъ суетѣ, и у него на томъ берегу въ городѣ завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которыхъ ему по артельнымъ дѣламъ бывали касательства, всѣ его знали и почитали его за перваго у насъ человѣка. Мы этому случаю, разумѣется, посмѣивались, а онъ страсть какъ былъ охочь съ господами чаи пить да велерѣчить: тѣ его нашимъ старшиною величаютъ, а онъ только улыбается, да по нутру свою бороду разстилаетъ. Однимъ словомъ сказать, пустошa! И занесло этого нашего Пимена къ одному немаловажному лицу, у котораго была жена изъ нашихъ мѣстъ родомъ, такая была тоже словесница, и начиталась она про насъ какихъ-то новыхъ книгъ, въ которыхъ неизвѣстно намъ, что про насъ писано, и вдругъ не знаю, съ чего-то ей пришло на умъ, что она очень старовѣровъ любитъ. Вотъ вѣдь удивительное дѣло: къ чему она избралась сосудомъ! Ну, любитъ насъ и любитъ, и всегда, какъ нашъ Пименъ зачѣмъ къ ея мужу придетъ, она его сейчасъ непремѣнно сажаетъ чай пить, а тотъ тому и радъ, и разовьетъ предъ ней свои свитки.

Та своимъ бабьимъ языкомъ суерѣчитъ, что вы-де, старовѣрцы, и такіе-то и вотъ этакіе-то, святые, праведные, присноблаженные, а нашъ веліаръ очи разоцѣ раскоситъ, головушку на-бокъ, бороду маслитъ, а голосомъ сластитъ:

— Какъ же, государыня. Мы-де отеческій законъ блюдемъ, мы и такія-то, мы и вотъ этакія-то правила содержимъ и другъ друга за чистотою обычая смотримъ, и словомъ, говоритъ ей все такое, что совсѣмъ къ разговору съ мірскою женщиной не принадлежащее. А межъ тѣмъ та, представьте, интересуется.

— Я слыхала, говоритъ, что къ вамъ Божіе благословеніе видимо, говоритъ, проявляется.

А тотъ сейчасъ и подхватываетъ:

— Какъ же, отвѣчаетъ, матушка, проявляется; весьма зримо проявляется.

— Видимо?

— Видимо, говоритъ, государыня, видимо. Вотъ еще

на сихъ дняхъ нашъ одинъ человѣкъ могучую сталь какъ паутину щипалъ.

Барынька такъ и всплеснула ручонками.

— Ахъ, говоритъ,—какъ интересно! ахъ, я ужасно люблю чудеса и вѣрю въ нихъ! Знаете, говоритъ, прикажите вы, пожалуйста, своимъ старовѣрамъ, чтобъ они помолились, чтобы мнѣ Богъ дочь далъ. У меня есть два сына, но мнѣ непремѣнно хочется одну дочь. Можно это?

— Можно-съ,—отвѣчаетъ Пименъ;—отчего же-съ; очень можно! Только, говоритъ, въ таковыхъ случаяхъ надо всегда, чтобъ отъ васъ жертвенный елей теплился.

Та съ великимъ своимъ удовольствіемъ даетъ ему на масло десять рублей, а онъ деньги въ карманъ и говоритъ:

— Хорошо-съ, будьте благонадежны, я повелю.

Намъ объ этомъ Пименъ, разумѣется, ничего не сказываетъ, а у барыни родится дочь.

Фу! та такъ и зашумѣла, еще послѣ родовъ обмогнуться не успѣла, какъ зоветъ нашего пустошу и чествуетъ его, словно бы онъ самъ былъ тотъ чудотворецъ, а онъ и это пріемлетъ. Вотъ вѣдь до чего осуетится человѣкъ и омрачнѣетъ умъ его, и оледенѣютъ чувства. Черезъ годъ у госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы мужъ ей дачу на лѣто нанялъ, — и опять все ей, по ея желанію, дѣлается, а Пимену все на свѣщи да на елей жертвы, а онъ эти жертвы куда надо, на нашъ бокъ не переплавляя, пристраиваетъ. И дивеса, дѣйствительно, дѣялись непонятныя: былъ у этой госпожи старшій сынъ въ училищѣ и былъ онъ первый потаскунъ и лѣнивый нетягъ, и ничему не учился, но какъ пришло дѣло къ экзамену, она шлетъ за Пименомъ и даетъ ему заказъ помолиться, чтобъ ея сына въ другой классъ перевели. Пименъ говоритъ:

— Дѣло трудное; надо мнѣ будетъ всѣхъ своихъ на всю ночь на молитву согнать и до утра со свѣщами вопіять.

А та ни за что не стоитъ; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходитъ такое счастіе этому ея блудягѣ сыну, что переводятъ его въ высшій классъ. Барыня мало отъ радости съ ума не сошла, что за ласки такія нашъ Богъ ей дѣлаетъ! Заказъ за заказомъ стала давать Пимену, и онъ ей уже выхлопоталъ у Бога и здоровья, и наслѣдство, и мужу чинъ большой, и орденовъ столько, что всѣ на груди не вмѣщались, такъ

одинъ онъ въ карманѣ, говорятъ, носилъ. Диво да и только, а мы все ничего не знаемъ. Но насталъ часъ всему этому обличиться и премѣниться однимъ девисамъ на другія.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Замутилось что-то въ одномъ жидовскомъ городѣ той губерніи по торговой части у жидовъ. Не скажу вамъ навѣрное, деньги ли они неправильныя имѣли, или какой безпошлинный торгъ производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тутъ награда предвидѣлась велемощная. Вотъ барынька и шлетъ за нашимъ Пименомъ и говоритъ:

— Пименъ Ивановичъ, вотъ вамъ двадцать рублей на свѣчи и на масло; велите своимъ какъ можно усерднѣе молиться, чтобы въ эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Онъ уже разохотился эту елейную подать-то собирать, и отвѣчаетъ:

— Хорошо, государыня, я повелю.

— Да, чтобъ они хорошенько, говоритъ, молились, потому мнѣ это очень нужно!

— Смѣютъ ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, — заспокоилъ ее Пименъ: — я ихъ голодомъ запощу, пока не вымолютъ, — взялъ деньги да и былъ таковъ, а барину въ ту же ночь желанное его супругою назначеніе сдѣлано.

Ну, уже тутъ ей такъ отъ этой благодати въ лобъ вступило, что она недовольна сдѣлалась нашей молитвой, а возжелала непремѣнно сама нашей святынѣ пославословить.

Говоритъ она объ этомъ Пимену, а онъ струсилъ, потому зналъ, что наши ее до своей святыни не допустятъ; но барыня не отстаетъ.

— Я, говоритъ, какъ вы хотите, сегодня же предъ вечеромъ возьму лодку и къ вамъ съ сыномъ пріѣду.

Пименъ ее уговаривалъ, что лучше, говоритъ, мы сами помолитвимъ; у насъ есть такой Ангелъ-Хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и довѣримъ сохранять.

— Ахъ, прекрасно, — отвѣчаетъ: — прекрасно; я очень рада, что есть такой Ангелъ; вотъ ему на масло, и зажгите предъ нимъ непремѣнно три лампады, а я пріѣду посмотрѣть.

Пимену плохо пристигло, онъ и пришелъ, да и ну намъ виноватиться, что такъ-де и такъ, я, говоритъ,—ей, еллинкѣ гадостной, не перечилъ, когда она желала, потому какъ мужъ ея намъ человѣкъ нужный, и насказалъ намъ съ три короба, а всего, что онъ дѣлалъ, все-таки не высловилъ. Ну, сколь намъ было это ни непріятно, но дѣлать было нечего; мы поскорѣе свои иконы со стѣнъ поснимали, да попрятали въ коробьи, а изъ коробей кое-какія замѣнныя заставки, что содержали страха ради чиновничьяго нашествія, въ тяблы поставили и ждемъ гостейку. Она и пріѣхала; такая-то разфуфыренная, что страхъ; широкими да долгими своими ометами такъ и мететъ и все на тѣ наши замѣнные образа въ лорнетку смотритъ и спрашиваетъ: «скажите, пожалуйста, который же тутъ чудотворный Ангелъ?» Мы уже не знаемъ, какъ ее и отбить отъ такого разговора:

— У насъ, говоримъ, такового Ангела нѣтъ.

И какъ она ни добивалась, и Пимену выговаривала, но мы ей Ангела не показали, и скорѣе ее чаемъ повели поить и какими имѣли закусками угощать.

Страшно она намъ не понравилась, и Богъ знаетъ почему: видъ у нея былъ какой-то оттолкновенный, даромъ, что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, какъ сойга, и бровенбсная.

— Вамъ этакая красота не нравится? — перебила разсказчика медвѣжья шуба.

— Помилуйте, да что же въ зміевидности можетъ нравиться?—отвѣчалъ онъ.

— У васъ что же почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?

— Кочку!—повторилъ, улыбнувшись и не обижаясь, разсказчикъ. — Для чего же вы такъ полагаете? У насъ въ русскомъ настоящемъ понятіи насчетъ женскаго сложенія соблюдается свой типъ, который по нашему гораздо нынѣшняго легкомыслія соотвѣтственнѣе, а совсѣмъ не то, что кочка. Мы длинныхъ цыбовъ точно не уважаемъ, а любимъ, чтобы женщина стояла не на долгихъ ножкахъ, да на крѣпонькихъ, чтобъ она не путалась, а какъ шарокъ всюду каталась и поспѣвала, а цыбастенькая побѣжитъ да спотыкнется. Зміевидная тонина у насъ тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была изъ себя понѣдристѣе

и съ пазушкой, потому оно хотя это и не такъ фигурно, да зато материнство въ ней обозначается, лобочки въ нашей настоящей чисто-русской женской породѣ хоть потѣльнѣе, помясистѣе, а зато въ этомъ мягкомъ лобочкѣ веселости и привѣта больше. То же и насчетъ носика: у нашихъ носики не горбылемъ, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, какъ вамъ угодно, въ семейномъ быту гораздо благоувѣтливѣе, чѣмъ сухой гордый носъ. А особливо бровь; бровь въ лицѣ видъ открываетъ, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнѣе, дужкою, ибо къ таковой женщинѣ и заговорить человѣку повадливѣе и совсѣмъ она иное на всякаго, къ дому располагающее впечатлѣніе имѣетъ. Но нынѣшній вкусъ, разумѣется, отъ этого добраго типа отсталъ и одобряетъ въ женскомъ полѣ воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако, позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду:

Нашъ Пименъ, какъ суетившійся человѣкъ, видитъ, что мы, проводивъ гостью, стали на нее критику произносить, и говоритъ:

— Чего вы? она добрая.

А мы отвѣчаемъ: какая, молъ, она добрая? когда у нея добра въ обличьи нѣтъ, но Богъ тамъ съ нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили и взялись скорѣй ладаномъ курить, чтобъ ея и духомъ у насъ не пахло.

Послѣ сего мы вымели отъ гостюшкиныхъ слѣдковъ горенку; замѣнные образа опять на ихъ мѣсто за перегородку въ коробья уклали, а оттуда достали свои настоящія иконы; размѣстили ихъ по тябламъ, какъ было по старому, покропили ихъ святой водой; положили началъ и пошли каждый куда ему слѣдовало на ночной покой, но только Богъ вѣсть, отчего и зачѣмъ всѣмъ что-то въ ту ночь не спалось и было какъ будто жутко и неспокойно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Утромъ пошли мы всѣ на работу и дѣлаемъ свое дѣло, а Луки Кирилова нѣтъ. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнѣе мнѣ показалось, что приходитъ онъ часу въ восьмомъ весь блѣдный и разстроенный.

Зная, что онъ человѣкъ съ обладаніемъ и пустымъ скорбямъ не любилъ поддаваться, я и обратилъ на это вниманіе и спрашиваю: «Что такое съ тобою, Лука Кириловъ?» А онъ говоритъ: «Послѣ скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть какъ былъ любопытенъ и къ тому же у меня вдругъ откуда-то взялось предчувствіе, что это что-нибудь недоброе по вѣрѣ; а я вѣру чтилъ и невѣромъ никогда не былъ.

А потому не могъ я этого долго терпѣть и подъ какимъ ни есть предлогомъ покинулъ работу и побѣжалъ домой; думаю: пока никого дома нѣтъ, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кириловъ и не открывался, но она его, при всей своей простотѣ, все-таки какъ-то проницала, а таиться отъ меня она не станетъ, потому что я былъ съ дѣтства сиротою и у нихъ вмѣсто сына возросъ, и она мнѣ была все равно какъ второродительница.

Вотъ-съ я ударяюсь къ ней, а она, гляжу, сидитъ на крылечкѣ въ старомъ шушунѣ на опашку, а сама вся какъ больная, печальная и этакая зеленоватая.

— Что вы, говорю, второродительница, на такомъ мѣстѣ усѣвшись?

А она отвѣчаетъ:

— А гдѣ же мнѣ, Марочка, притулиться?

Меня зовутъ Маркъ Александровъ; но она, по своимъ материнскимъ чувствамъ ко мнѣ, Марочкой меня звала.

— Что это, думаю себѣ, она за пустяки такіе мнѣ говоритъ, что ей негдѣ притулиться?

— А зачѣмъ же, говорю, вы въ чуланчикѣ у себя не ляжете?

— Нельзя, говоритъ, Марочка, тамъ въ большой горницѣ дѣдъ Марой молится.

«Ага! вотъ, думаю, такъ и есть, что что-нибудь по вѣрѣ сталось», а тетка Михайлица и начинаетъ:

— Ты вѣдь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у насъ тутъ въ ночи сталось?

— Нѣтъ, молъ, второродительница, не знаю.

— Ахъ, страсти!

— Разскажите же скорѣе, второродительница.

— Ахъ, не знаю какъ, можно ли это разсказать?

— Отчего же, говорю, не скажете: развѣ я вамъ какой чужой, а не вмѣсто сына?

— Знаю, родной мой,—отвѣчаетъ:—что ты мнѣ вмѣсто сына, ну, только я на себя не надѣюсь, чтобъ я могла тебѣ это какъ надо высловить, потому что глупа я и безталанна, а вотъ погоди—дядя послѣ шабаша придетъ, онъ тебѣ небось все разскажетъ.

Но я никакъ не могъ, чтобы дождаться, и пристадъ къ ней: «скажи да скажи мнѣ сейчасъ, въ чемъ все происшествіе».

А она, гляжу, все моргаетъ, моргаетъ глазами и всѣ у нея глаза дѣлаются полны слезъ и она ихъ вдругъ грудным платкомъ обмахнула и тихо мнѣ шепчетъ:

— У насъ, дитя, сею ночью Ангелъ-Хранитель сошелъ.

Меня отъ всего этого открытія въ трепетъ бросило.

— Говорите, прошу, скорѣе: какъ это диво сталося и кто были онаго дивозрители?

А она отвѣчаетъ:

— Дивеса, дитя, были непостижныя, а дивозрителей никого, кромѣ меня, не было, потому что случилось все это въ самый глухой полунощный часъ, и одна я не спала.

И разсказала она мнѣ, милостивые государи, такую повѣсть:

— Уснувъ, говоритъ, помолившись, не помню я сколько спала, но только вдругъ вижу во снѣ пожаръ, большой пожаръ: будто у насъ все погорѣло, и рѣка золу несетъ, да въ завертахъ около быковъ крутитъ и въ глубь глотаетъ, сосетъ. А самой насчетъ себя Михайлицѣ кажется, будто она, выскочивъ въ одной ветхой срачицѣ, вся въ дырьяхъ, и стоитъ у самой воды, а противъ нея, на томъ берегу стремитъ высокій красный столбъ, а на томъ столбѣ небольшой бѣлый пѣтухъ и все крыльями машетъ. Михайлица будто и говоритъ: «Кто ты такой?» потому что чувствіями ей далося знать, что эта птица что-то предвозвѣщаетъ. А пѣтелокъ этотъ вдругъ будто человѣческимъ голосомъ возгласилъ: «Аминь», и сникъ, и его уже нѣтъ, а стала вокругъ Михайлицы тишь, и такое въ воздухѣ тощеніе, что Михайлицѣ страшно дѣлалось и продохнуть нечѣмъ, и она проснулась и лежитъ, а сама слышитъ, что подъ дверями у нихъ барашекъ заблеялъ. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашекъ, съ котораго еще родимое руно не тронуто. Прозвенѣлъ онъ чистымъ серебрянымъ голосочкомъ «бя-я-я», и вдругъ уже чуетъ Михайлица, что онъ по молебной горницѣ ходитъ, копытками-то этакъ по

половицамъ чокъ-чокъ-чокъ частенько перебираетъ и все будто кого ищетъ. Михайлица и разсуждаетъ: «Господи Исусе Христе! что это такое: овецъ у насъ во всей нашей пришлой слободѣ нѣтъ и ягниться нечему, а откуда же это молозиво къ намъ забѣжало?» И въ ту пору стрѣнулася: «Да и какъ, молъ, онъ въ избу попалъ? Вѣдь это, значитъ, мы во вчерашней суетѣ забыли со двора двери запереть: слава Богу, думаетъ, что это еще агнецъ вскочилъ, а не песъ со двора къ святынѣ забрался». Да и ну съ этимъ Луку будить; «Кирилычъ, кличетъ, Кирилычъ! Прокинься, голубчикъ, скорѣе, у насъ дверь отворена и какое-съ молозиво въ избу вскочило», а Лука Кириловъ, какъ на сей грѣхъ, мертвымъ сномъ объятъ спитъ. Какъ его Михайлица ни будитъ, никакъ не добудится: мычитъ онъ, а ничего не высловитъ. Что Михайлица еще жоще трясетъ и двизаетъ, то онъ только громче мычитъ. Михайлица его и стала просить, что «ты, молъ, имя-то Исусово вспомяни», но только-что она сама это имя выговорила, какъ въ горницѣ кто-то завизжитъ, а Лука въ ту же минуту сорвался съ кроватки и бросился-было впередъ, но его вдругъ посреди горницы какъ будто мѣдяна стѣна отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорѣе огонь!» — кричитъ онъ Михайлицѣ, а самъ ни съ мѣста. Та запалила свѣчечку и выбѣгаетъ, а онъ блѣднолицъ, какъ осужденный насмертникъ, и дрожитъ такъ, что не только гапликъ на шеѣ ходитъ, а даже остегны на ногахъ трясутся. Баба опять до него: «Кормилецъ, говоритъ, что это съ тобой?» А онъ ей только показываетъ перстомъ, что тамъ, гдѣ Ангелъ былъ, пустое мѣсто, а самъ Ангелъ у Луки вскрай ногъ на полу лежитъ.

Лука Кириловъ сейчасъ къ дѣду Марою и говоритъ: такъ и такъ, вотъ что моя баба видѣла и что у насъ сдѣлалось, поди посмотри. Марой пришелъ и сталъ на колѣняхъ передъ лежащимъ на полу Ангеломъ и долго стоялъ надъ нимъ недвижимо, какъ измрамранъ нагробникъ, а потомъ, поднявъ руку, почесалъ остриженное гуменцо на маковкѣ и тихо молвилъ:

— Принесите сюда двѣнадцать чистыхъ плинфъ новаго обожженнаго кирпича.

Лука Кириловъ сейчасъ это принесъ, а Марой осмотрѣлъ плинфы и видитъ, что всѣ они чисты, прямо изъ огненнаго

горна, и велѣлъ Лукѣ класть ихъ одна на другую, и возвели они такимъ способомъ столбъ, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потомъ Марой, положивъ земной поклонъ, возгласилъ:

— Ангелъ Господень, да проліются стопы твоя аможе хощеши!

И только что онъ эти слова проговорилъ, какъ вдругъ въ двери стукъ-стукъ-стукъ и незнакомый голосъ зоветъ:

— Эй вы, раскольники: кто у васъ тутъ набольшій?

Лука Кириловъ отворяетъ дверь и видитъ стоитъ солдатъ съ медалью.

Лука спрашиваетъ: какого ему надо набольшаго? А онъ отвѣчаетъ:

— Того самаго, говоритъ, что къ барынѣ ходилъ, котораго Пименомъ звать.

Ну, Лука сейчасъ бабу за Пименомъ послалъ, а самъ спрашиваетъ: что такое за дѣло? на что̀ его въ ночи по Пимена послали?

Солдатъ говоритъ:

— Доподлинно не знаю, а слышно что-то тамъ съ бариномъ жиды неловкое дѣло устроили.

А что такое именно, разсказать не можетъ.

— Слыхалъ-де, говоритъ, какъ будто баринъ ихъ запечаталъ, а они его запечатлѣли.

Но какъ это они другъ друга запечатали — ничего вразумительно разсказать не можетъ.

Тѣмъ временемъ подошелъ и Пименъ, и самъ, какъ жидъ, то туда, то сюда вертитъ глазами: видно самъ не знаетъ, что сказать. А Лука говоритъ:

— Что же ты, шпилманъ ты этакій, сталъ, ступай теперь производи свое шпилманство въ окончаніе!

Они вдвоемъ съ солдатомъ сѣли въ лодку и поѣхали.

Черезъ часъ ворочается нашъ Пименъ и ботвитъ будто бодръ, а видно, что ему жесточе не по себѣ.

Лука его и допрашиваетъ:

— Говори, говоритъ, — говори лучше, вѣтрогонъ, все по откровенности, что ты тамъ такое надѣлалъ?

А онъ говоритъ:

— Ничего.

Ну, такъ и осталось будто ничего, а совсѣмъ было не ничего.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Съ бариномъ, за котораго нашъ Пименъ молитвовалъ, преудивительная штука совершилась. Онъ, какъ я вамъ докладывалъ, поѣхалъ въ жидовскій городъ и пріѣхалъ туда поздно ночью, когда никто о немъ не думалъ, да прямо всѣ до одной лавки и опечаталъ, и далъ знать полиціи, что завтра утромъ съ ревизіей пойдетъ. Жиды это, разумѣется, сейчасъ узнали и сейчасъ же ночью къ нему, просить его, чтобы на сдѣлку, знать того незаконнаго товара у нихъ пропасть было. Пришли они и суютъ этому барину сразу десять тысячъ рублей. Онъ говоритъ: я не могу, я большой чиновникъ, довѣріемъ облеченъ и взятокъ не беру; а жиды промежъ себя гыръ-гыръ-гыръ, да ему пятнадцать. Онъ опять «не могу»; они двадцать. Онъ, что же вы, говоритъ, не понимаете, что ли, что я не могу, я уже полиціи далъ знать, чтобы завтра вмѣстѣ идти ревизовать. А они опять гыръ-гыръ, да и говорятъ:

— Ази-язи, васе сіятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать въ полицію, мы вамъ вотъ даемъ зи двадцать пять тысячъ, а вы зи только дайте намъ до утра вашу печатку и лозитесь себѣ спокойно поцивать: намъ ничего больше не нужно.

Баринъ подумалъ-подумалъ: хотя онъ и большимъ лицомъ себя почиталъ, а видно и у большихъ лицъ сердце не камень, взялъ двадцать пять тысячъ, а имъ далъ свою печать, которою печатовалъ, и самъ легъ спать. Жидки, разумѣется, ночью все что надо было изъ своихъ склеповъ повытаскали и опять ихъ тою же самою печатью запечатали, и баринъ еще спитъ, а они уже у него въ передней горгочатъ. Ну, онъ ихъ впустилъ; они благодарятъ и говорятъ:

— А зи теперь зи, васе высокоблагородіе, пожалуйте съ ревизіей.

Ну, а онъ этого какъ будто не слышитъ, а говоритъ:

— Давайте же скорѣе мою печать.

А жиды говорятъ:

— А давайте зи наши деньги.

Баринъ: «что? какъ?» А тѣ на своемъ стали:

— Мы зи, говорятъ, деньги подъ залогъ оставляли.

Тотъ опять:

— Какъ подъ залогъ?

— А какъ зи, говорятъ, мы подъ залогъ.

— Врете, говоритъ, вы подлецы этакіе, христопродавцы, вы мнѣ совсѣмъ тѣ деньги отдали.

А они другъ друга поталкиваютъ и смѣются.

— Гёршъ-ту, говорятъ, слышь, мы будто совсѣмъ дали... Гм, гм! Ай вай: рази мы моземъ быть такіе глупые и совсѣмъ какъ мужики безъ политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? («Хабаръ» по-ихнему взятка).

Ну-съ, чего лучше этой исторіи можете себѣ вообразить? Господину бы этому, разумѣется, отдать деньги, да и дѣло съ концомъ, а онъ еще покапризничалъ, потому что жаль разстаться. Наступило утро; вся торговля въ городѣ заперта; люди ходятъ, дивуются; полиція требуетъ печати, а жидки орутъ: «Ай вай, ну, что это такое за государственное правленіе! Это высокое начальство насъ разорить желаютъ». Гвалтъ ужасный! Баринъ запершись сидитъ и до обѣда чуть ума не рѣшился, а къ вечеру зоветъ тѣхъ хитрыхъ жидковъ и говоритъ: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мнѣ мою печать!» А тѣ уже не хотятъ, говорятъ: «А зи какъ же это можно! Мы весь городъ цѣлый день не торговали: теперь намъ съ вашего благородія надо пятьдесятъ тысячъ». Видите, что пошло! А жидки грозятъ: «Если нынче, говорятъ, пятьдесятъ тысячъ не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будетъ стоить!» Баринъ всю ночь не спалъ, а къ утру опять шлетъ за жидами, и всѣ имъ деньги, которыя съ нихъ взялъ, назадъ имъ отдалъ и еще на двадцать пять тысячъ вексель написалъ, и прошелъ кое-какъ съ ревизіей: ничего, разумѣется, не нашелъ, да поскорѣе назадъ, да къ женѣ и предъ нею и рветъ и мечетъ: гдѣ двадцать пять тысячъ взять, чтобъ у жидовъ вексель выкупить? «Нужно, говоритъ, твою приданую деревнишку продать», а та говоритъ: «Ни за что на свѣтѣ: я къ ней привязана». Онъ говоритъ: «это ты виновата, ты мнѣ эту посылку съ какими-то раскольниками вымолила и увѣряла, что ихъ Ангелъ мнѣ поможетъ, а онъ между тѣмъ вотъ какъ мнѣ славно помогъ.» А она отвѣчаетъ: «что ты, говоритъ, самъ виноватъ, зачѣмъ былъ глупъ и тѣхъ жидовъ не арестовалъ, да не объявилъ, что они у тебя печать украли, а между прочимъ, говоритъ, это ничего: ты только

локоряйся мнѣ, а ужъ я дѣло поправлю, и за твою неразсудительность другіе заплатятъ.» И вдругъ, на кого тамъ случилось, крикнула-гаркнула: «сейчасъ, живо, говоритъ, съѣздить за Днѣпръ и привезть мнѣ раскольницкаго старосту.» Ну, посолъ, разумѣется, пошелъ и привезъ нашего Пимена, а барыня ему прямо безъ обинячки: «Послушайте, говоритъ, я знаю, что вы умный человѣкъ и поймете, что мнѣ нужно: съ моимъ мужемъ случилась маленькая непріятность, его одни мерзавцы ограбили... жиды... понимаете, и намъ теперь непремѣнно на сихъ же дняхъ надо имѣть двадцать пять тысячъ и мнѣ ихъ такъ скоро достать ровно бы негдѣ; но я пригласила васъ и спокойна, потому что старовѣры люди умные и богатые, и вамъ, какъ я сама увѣрилась, во всемъ самъ Богъ помогаетъ, то вы мнѣ, пожалуйста, дайте двадцать пять тысячъ, а я съ своей стороны зато всѣмъ дамамъ буду говорить о вашихъ чудотворныхъ иконахъ, и вы увидите, сколько вы станете получать на воскъ и масло». Безъ труда, чай, можете себѣ, милостивые государи, представить, что нашъ шпилманъ при этакомъ оборотѣ восчувствовалъ? Не знаю ужъ какими словами, но только, вѣрю я ему, онъ началъ горячо ротитися и клятися, завѣряя наше противъ такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродіада, и знать того не хотѣла. «Нѣтъ, да мнѣ, говоритъ, хорошо извѣстно, что раскольники богачи, и для васъ двадцать пять тысячъ это вздоръ. Моему отцу, когда онъ въ Москвѣ служилъ, старовѣры не одинъ разъ и не такія одолженія дѣлали; а двадцать пять тысячъ это пустяки». Пименъ, разумѣется, и тутъ попытался ей разъяснить, что то, молъ, московскіе старовѣры, люди капитальные, а мы простые нивари-чернорабочіе, гдѣ же намъ противъ москвичей отмогуществовать. Но она имѣла въ себѣ вѣрно хорошее московское ученіе и вдругъ его осаждила: «Что вы, что вы, говоритъ, мнѣ это разсказываете! Развѣ я не знаю, сколько у васъ чудотворныхъ иконъ, и вы же мнѣ сами вѣдь говорили, сколько вамъ со всей Россіи на воскъ и на масло присылаютъ? Нѣтъ, я и слышать не хочу; чтобы сейчасъ мнѣ были деньги, а то мой мужъ нынче же къ губернатору поѣдетъ и все разскажетъ, какъ вы молитесь и соблазняете, и вамъ скверно будетъ». Бѣдный Пименъ какъ съ крыльца не свалился; пришелъ до-

мой, какъ я вамъ докладывалъ, и только одно слово твердитъ: «ничего», а самъ весь красный точно изъ бани и все по угламъ ходилъ, носъ сморкалъ. Ну, Лука Кириловъ его, наконецъ, малое дѣло немножечко допросился, только, разумѣется, не все онъ ему открылъ, а самую лишь ничтожность сущности обнаружилъ, какъ-то говоритъ: «Съ меня эта барыня требуетъ, чтобъ я у васъ ей пять тысячъ взаймы досталъ». Ну, Лука, разумѣется, и за это на него расходился: «Ахъ, ты шпилманъ этакій, говоритъ, шпилманъ; нужно было тебѣ съ ними знаться, да еще сюда ихъ водить! Что мы богачи, что ли, какіе, чтобъ у насъ такія деньги могли въ сборѣ быть? Да и за что мы должны ихъ дать? Да и гдѣ онѣ?... Какъ это задѣлывалъ, такъ и раздѣлывайся, а намъ пять тысячъ взять негдѣ». Съ этимъ Лука Кириловъ пошелъ въ свою сторону на работу и пришелъ, какъ я вамъ доложилъ, блѣдный, въ родѣ осужденнаго насмертника, потому что онъ, ночнымъ событіемъ искушенный, предвкушалъ, что это повліяетъ на насъ непріятностью; а Пименъ себѣ пошелъ въ другую сторону. Всѣ мы видѣли, какъ онъ изъ камышей въ лодочкѣ выплылъ и на ту сторону въ городъ переправился, и теперь, когда Михайлица все это мнѣ по порядку разсказала, какъ онъ о пяти тысячахъ кучился, я и домекнулъ такъ, что вѣрно онъ ударился ту барыню умилостивлять. Въ такомъ размышленіи я стою возлѣ Михайлицы да думаю, не можетъ ли для насъ изъ этого чего вреднаго воспослѣдовать и не надо ли противъ сего могущаго произойти зла какія-либо мѣры принять, какъ вдругъ вижу, что все это предпріятіе уже поздно, потому что къ берегу привалила большая ладья и я за самыми плечами у себя услыхалъ шумъ многихъ голосовъ и, обернувшись, увидалъ нѣсколько человѣкъ разныхъ чиновниковъ, примундиренныхъ всякимъ подобіемъ, и съ ними не малое число жандармовъ и солдатъ. И не успѣли мы съ Михайлицей, милостивые государи, глазомъ моргнуть, какъ всѣ они мимо насъ прямо въ Лукину горницу повалили, а у двери двухъ часовыхъ поставили съ обнагощенными саблями. Михайлица стала на тѣхъ часовыхъ метаться, не столько для того, чтобъ ее пропустили, а чтобы пострадовать; они ее, разумѣется, стали отталкивать, а она еще ярѣе кидается, и дошло у нихъ сраженіе до того, что одинъ жандармъ ее, наконецъ, больно зашибъ, такъ что она съ

крыльца кубаремъ скатилась. А я ударился-было за Лукою на мостъ, но гляжу, самъ Лука уже навстрѣчу мнѣ бѣжитъ, а за нимъ вся наша артель, всѣ вскрамолились и кто съ чѣмъ на работѣ былъ, кто съ ломомъ, кто съ мотыкою, всѣ бѣгутъ свою святыню оберегать... Кои не всѣ въ лодку попали и не на чемъ имъ до бережка достигнуть, во всемъ платьѣ, какъ стояли на работѣ, прямо съ мосту въ воду побросались и другъ за дружкой въ холодной волнѣ плывутъ... Даже, не повѣрите, ужасно стало чѣмъ это кончится. Стражбы той пріѣхало двадцать человѣкъ, и хотя всѣ они въ разныхъ храбрыхъ уборахъ, но на нашихъ болѣе полусотъ и всѣ выспреннею горячею вѣрой одушевленные, и всѣ они плывутъ по водѣ какъ тюленьки, и хоть ихъ колотушкой по башкамъ бей, а они на берегъ къ своей святынѣ достигаютъ, и вдругъ какъ были всѣ мокренькіе и пошли впередъ, что твое каменіе живо и несокрушимое.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы съ Михайлицей на крыльцѣ разговаривали, въ горницѣ находился на молитвѣ дѣдъ Марой и господа чиновники со сбирою своей тамъ его застали. Онъ послѣ и разсказывалъ, что какъ они вошли, сейчасъ дверь на захлопку и прямо кинулись къ образамъ. Одни лампады гасятъ, а другіе со стѣнъ рвутъ иконы да на полу накладываютъ, а на него кричатъ: «Ты попъ?» Онъ говоритъ: «Нѣтъ, не попъ». Они: «Кто же у васъ попъ?» А онъ отвѣчаетъ: «У насъ нѣтъ попа». А они: «Какъ нѣтъ попа! Какъ ты смѣешь это говорить, что нѣтъ попа!» Тутъ Марой сталъ имъ было объяснять, что мы попа не имѣемъ, да какъ онъ говорилъ-то скверно, шавкавилъ, такъ они, не разобравши въ чемъ дѣло, да «связать, говорятъ, его, подъ арестъ!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятскій солдатъ ему обрывочкомъ руки опуталъ, но онъ стоитъ и, все это за вѣру пріемля, смотритъ, что далѣе будетъ. А чиновники тѣмъ временемъ зажгли свѣчи и ну иконы печатать: одинъ печати накладываетъ, другіе въ описи пишутъ, а третьи буравами дыры сверлятъ, да на желѣзный прутъ иконы какъ котелки нанизываютъ, Марой на все на это святотатственное безчиніе смотритъ и плещами не трясетъ, потому что разсуждаетъ, что такъ, вѣроятно, это

Богу изволися попустить такую дикость. Но въ это-то время слышитъ дядя Марой: одинъ жандармъ вскрикнулъ, и за нимъ другой; дверь разлетѣлася и тюленьки-то наши какъ вылѣзли изъ воды мокрые, такъ и прутъ въ горницу. Да по счастію ихъ впереди ихъ очутился Лука Кириловъ. Онъ сразу крикнулъ:

— Стой, Христовъ народушко, не дерзничайте!—а самъ къ чиновникамъ и, указывая на эти пронзенныя прутомъ иконы, молвитъ:—Для чего же это вы, господа начальство, такъ святыню повреждаете? Если вы право имѣете ее у насъ отобрать, то мы власти не сопротивники—отбирайте; но для чего же рѣдкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки мужъ, онъ тутъ главнѣе всѣхъ былъ, какъ крикнетъ на дядю Луку:

— Цыть, мерзавецъ! еще разсуждать смѣешь!

А Лука хоть и гордый былъ мужикъ, но смирилъ себя и тихо отвѣчаетъ:

— Позвольте, ваше высокоблагородіе, мы этотъ порядокъ знаемъ, у насъ здѣсь въ горницѣ есть полтораста иконъ, извольте вамъ по три рубля отъ иконы, и берите ихъ, только предковскаго художества не повреждайте.

Баринъ окомъ сверкнулъ и громко крикнулъ:

— Прочь!—а шопотомъ шепнулъ:—Давай по сту рублей со штуки, иначе всѣ выпеку.

Лука этакой силы денегъ дать и сообразить не могъ и говоритъ:

— Богъ съ вами, если такъ: губите все какъ хотите, а у насъ такихъ денегъ нѣтъ.

А баринъ какъ завопіетъ излиха:

— Ахъ ты козелъ бородатый, да какъ ты смѣлъ при насъ о деньгахъ говорить?—и тутъ вдругъ заметался, и все, что видѣлъ изъ божественныхъ изображеній,—въ скибы собралъ, и на концы прутьевъ гайки навернули и припечатывали, чтобы, значитъ, ни снять, ни обмѣнить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсѣмъ выходить: солдаты взяли набранныя на болты скибы иконъ на плечи и понесли къ лодкамъ, а Михайлица, которая тоже за народомъ въ горницу пробралась, тѣмъ часомъ тихонько скрала съ аналогія ангельскую икону и тащитъ ее подъ платкомъ въ чуланъ, да какъ руки-то у нея дрожатъ, она ее и выронила. Батюшки мои, какъ баринъ

расходился и звалъ насъ и ворами-то, и мошенниками и говоритъ:

— Ага! вы, мошенники, хотѣли ее скрасть, чтобъ она на болтъ не попала; ну, такъ она же на него не попадетъ, а я ее вотъ какъ!—да, накоптивши сургучную палку, прямо какъ ткнетъ кипящею смолой съ огнемъ въ самый ангельскій ликъ!

Милостивые государи, вы на меня не посѣтуйте, что я и пробовать не могу описать вамъ, что̀ тутъ произошло, когда баринъ излилъ кипящую смоляную струю на ликъ Ангела и еще, жестокій человѣкъ, поднялъ икону, чтобы похвастать какъ нашелъ досадить намъ. Помню только, что пресвѣтлый ликъ этотъ божественный былъ красенъ и запечатлѣнъ, а изъ-подъ печати олифа, которая подъ огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила внизъ двумя потеками, какъ кровь, въ слезѣ растворенная...

Всѣ мы ахнули и, закрывъ руками глаза свои, пали ницъ и застонали какъ на пыткѣ. И такъ мы развопились, что и темная ночь застала насъ воющихъ и голосящихъ по своемъ запечатлѣнномъ Ангелѣ, и тутъ-то въ сей тьмѣ и тишинѣ на разрушенной отчей святынѣ пришла намъ мысль: услѣдить, куда нашего хранителя дѣнутъ, и поклялись мы скрасть его, хотя бы съ опасностью жизни, и распечатлѣть, а къ исполненію сей рѣшимости избрали меня, да молодого паренька Левонтія. Этотъ Левонтій годами былъ еще сущій отрокъ, не болѣе какъ семнадцати лѣтъ, но великотѣлесенъ, добръ сердцемъ, богочтитель съ дѣтства своего и послушливъ и благонравенъ, что твой ретивъ бѣлъ конь среброузденъ.

Лучшаго сомудренника и содѣятеля и желать нельзя было на такое опасное дѣло, какъ прослѣдить и исхитить запечатлѣннаго Ангела, ослѣпленное видѣніе котораго намъ до немощи было непереносно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Не стану утруждать васъ подробностями какъ мы съ моимъ сомудренникомъ и содѣйствителемъ, сквозь иглины уши лазучи, во все вникали, а буду прямо разсказывать о горести, которая овладѣла нами, когда мы узнали, что пробуравленныя чиновниками иконы наши, какъ онѣ были скибами на болты нанизаны, такъ ихъ въ консисторію въ под-

валъ и свалили, это уже дѣло пропащее и какъ въ гробъ погребенное, о нихъ и думать было нечего. Пріятно, однако, было то, что говорили, будто самъ архіерей такой дикости сообразованія не одобрилъ, а, напротивъ, сказалъ: «Къ чему это?» и даже за старое художество заступился и сказалъ: «Это древнее, это надо беречь!» Но вотъ что худо было, что не прошла бѣда отъ непочтенія, какъ новая, еще большая отъ сего почитателя возросла: самъ этотъ архіерей, надо полагать, съ нехудымъ, а именно съ добрымъ вниманіемъ взялъ нашего запечатлѣннаго Ангела и долго его разсматривалъ, а потомъ отвелъ въ сторону взглядъ и говоритъ: «Смятенный видъ! Какъ ужасно его изневѣствили! Не кладите, говоритъ, сей иконы въ подвалъ, а поставьте ее у меня въ алтарѣ на окнѣ за жертвенникомъ». Такъ слуги архіереевы, по его приказанію, и исполнили, и я долженъ вамъ сказать, что такое вниманіе со стороны церковнаго іерарха намъ было, съ одной стороны, очень пріятно, но съ другой—мы видѣли, что всякое намѣреніе наше выкрасть своего Ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слугъ архіереевыхъ и съ ихъ помощію подмѣнить икону инымъ въ соотвѣтствіе сей хитро написаннымъ подобіемъ. Въ этомъ тоже наши старовѣры не разъ успѣвали, но для сего прежде всего нуженъ искусный и опытной руки изографъ, который бы могъ сдѣлать на подмѣнъ икону въ точности, а такового изографа мы въ тѣхъ мѣстахъ не предвидѣли. И напала на насъ на всѣхъ съ этихъ поръ сугубая тоска, и пошла она по насъ какъ водный трудъ по закожью: въ горницѣ, гдѣ одни словословія слышались, стали раздаваться одни вопленія, и въ недолгомъ же времени всѣ мы развоплились даже до немощи и земли подъ собой отъ полныхъ слезами очей не видимъ, а чрезъ то или не черезъ это, только пошла у насъ болѣзнь глазъ и стала она весь народъ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сдѣлалось: нѣтъ мѣры что больныхъ! Во всемъ рабочемъ народѣ пошелъ толкъ, что все это не спроста, а за старовѣрскаго Ангела: «его, баютъ, запечатлѣніемъ ослѣпили, а теперь всѣ мы слѣпнемъ», и такимъ толкованіемъ не мы одни, а всѣ и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни привозили докторовъ, никто къ нимъ не идетъ и лѣкарства не беретъ, а вопятъ одно:

— Принесите намъ сюда запечатлѣннаго Ангела, мы ему молебствовать хотимъ, и одинъ онъ насъ исцѣлитъ.

Англичанинъ Яковъ Яковлевичъ, въ это дѣло вникнувъ, самъ поѣхалъ къ архіерею и говоритъ:

— Такъ и такъ, ваше преосвященство, вѣра дѣло великое, и кто какъ вѣритъ, тому такъ по вѣрѣ дается: отпустите къ намъ на тотъ берегъ запечатлѣннаго Ангела.

Но владыко сего не послушалъ и сказалъ:

— Сему не должно потворствовать.

Тогда намъ это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впослѣдствіи открылось намъ, что все это велося не жестокостью, а Божіимъ смотрѣніемъ.

Между тѣмъ знаменія какъ бы не прекращались, и перстъ наказующій взыскалъ на томъ берегу самаго главнаго всему этому дѣлу виновника, самого Пимена, который послѣ этой напасти отъ насъ сбѣжалъ и вцерковился. Встрѣчаю я его тамъ одинъ разъ въ городѣ, онъ мнѣ и кланяется, ну, и я ему поклонился. А онъ и говоритъ:

— Согрѣшилъ я, братъ Маркъ, придя съ вами въ разнобытіе по вѣрѣ.

А я отвѣчаю:

— Кому въ какой вѣрѣ быть — это дѣло Божіе, а что ты бѣднаго за сапоги продалъ, это, разумѣется, нехорошо и, прости меня, а я тебя въ томъ, какъ Аммосъ пророкъ велитъ, братски обличаю.

Онъ при имени пророка такъ и задрожалъ.

— Не говори, говоритъ, мнѣ про пророковъ: я самъ помню Писаніе и чувствую, что «пророки мучатъ живущихъ на землѣ» и даже въ томъ знаменіе имѣю,—и жалуется мнѣ, что на-дняхъ онъ выкупался въ рѣкѣ и у него послѣ того по всему тѣлу пѣгота пошла, и разстегнулъ грудь да показываетъ, а на немъ точно пѣжинныя пятна какъ на пѣгомъ конѣ, съ груди вверхъ на шею лѣзутъ.

Грѣшный человѣкъ, было у меня на умѣ сказать ему, что «Богъ шельму мѣтитъ», но только сдавилъ я это слово въ устахъ и молвилъ:

— Что же, молись, говорю, и радуйся, что еще на сей землѣ такъ отитлованъ, авось на другомъ предстояніи чистъ будешь.

Онъ мнѣ сталъ плакаться, сколь этимъ несчастенъ и чего лишается, если пѣгота на лицо пойдетъ, потому что

самъ губернаторъ, видя Пимена, когда его къ церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказалъ городскому головѣ, чтобы когда будутъ черезъ городъ важныя особы проѣзжать, то чтобы Пимена непремѣнно впередъ всѣхъ съ серебрянымъ блюдомъ выставлять. Ну, а нѣгаго ужъ куда же выставить? Но, однако, что мнѣ было эту его веліарскую суету и пустошество слушать, я завернулся да и ушелъ.

И съ тѣмъ мы съ нимъ разстались. На немъ его титла все яснѣе обозначались, а у насъ не умолкали другія знаменія, въ заключеніе коихъ, по осени, только что сталъ ледъ, какъ вдругъ сдѣлалась оттепель, весь этотъ ледъ разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдругъ одинъ гранитный быкъ подмыло, и пучина поглотила все возведеніе многихъ лѣтъ, стоившее многихъ тысячъ...

Поразило это самихъ нашихъ хозяевъ англичанъ, и было тутъ къ ихъ старшему Якову Яковлевичу отъ кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо насъ, старовѣровъ, прогнать, но какъ онъ былъ человѣкъ благой души, то онъ этого слова не послушалъ, а, напротивъ, призвалъ меня и Луку Кирилова и говоритъ:

— Дайте мнѣ, ребята, сами совѣтъ: не могу ли я чѣмъ-нибудь вамъ помочь и васъ утѣшить?

Но мы отвѣчали, что доколѣ священный для насъ ликъ Ангела, вездѣ намъ предходившаго, находится въ огнесмольномъ запечатлѣніи, мы ничѣмъ не можемъ утѣшиться и истаеваемъ отъ жалости.

— Что же,—говоритъ:—вы думаете дѣлать?

— Думаемъ, молъ, его современемъ подмѣнить и распечатлѣть его чистый ликъ, безбожною чиновническою рукой опаленный.

— Да чѣмъ,—говоритъ:—онъ вамъ такъ дорогъ, и неужели другого такого же нельзя достать?

— Дорогъ онъ,—отвѣчаемъ:—намъ потому, что онъ насъ хранилъ, а другого достать нельзя, потому что онъ писанъ въ твердыя времена благочестивою рукой и освященъ древнимъ іереемъ по полному требнику Петра Могилы, а нынѣ у насъ ни іереевъ, ни того требника нѣтъ.

— А какъ,—говоритъ:—вы его распечатлѣете, когда у него все лицо сургучомъ выжжено?

— Ну, ужъ на этотъ счетъ,—отвѣчаемъ:—ваша милость не безпокойтесь: намъ только бы его въ свои руки достичь, а то онъ, нашъ хранитель, за себя постоитъ: онъ не торговыхъ мастеровъ, а настоящаго Строганова дѣла, а что строгановская, что костромская олифа такъ варены, что и огневого клейма не боятся и до нѣжныхъ вапъ смолы не допустятъ.

— Вы въ этомъ увѣрены?

— Увѣрены-съ: эта олифа крѣпка какъ сама старая русская вѣра.

Онъ тутъ ругнулъ кого зналъ, что этакого художества беречь не умѣютъ, и руки намъ подалъ и еще разъ сказалъ:

— Ну, такъ не горюйте же: я вашъ помощникъ, и мы вашего Ангела достанемъ. Надолго ли онъ вамъ нуженъ?

— Нѣтъ, говоримъ,—на небольшое время.

— Ну, такъ я скажу, что хочу на вашего запечатлѣннаго Ангела богатую золотую ризу сдѣлать, и какъ мнѣ его дадутъ, мы его тутъ и подмѣнимъ. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодаримъ, но говоримъ:

— Только ни завтра, ни послѣзавтра за это, сударь, не беритесь.

Онъ говоритъ:

— Это почему такъ?

А мы отвѣчаемъ:

— Потому, молъ, сударь, что намъ прежде всего надо имѣть на подмѣнъ икону такую, чтобъ она какъ двѣ капли воды на настоящую походила, а таковыхъ мастеровъ здѣсь нѣтъ, да и нигдѣ вблизи не отыщется.

— Пустяки,—говоритъ:—я самъ изъ города художника привезу; онъ не только копіи, а и портреты великолѣпно пишетъ.

— Нѣтъ-съ,—отвѣчаемъ:—вы этого не извольте дѣлать, потому что, во-первыхъ, черезъ этого свѣтскаго художника можетъ ненадлежащая молва пойти, а во-вторыхъ, живописецъ такого дѣла исполнить не можетъ.

Англичанинъ не вѣритъ, а я выступилъ и разъясняю ему всю разницу: что нонѣ, молъ, у свѣтскихъ художниковъ не то искусство: у нихъ краски масляныя, а тамъ вапы на яйцѣ растворенныя и нѣжныя, въ живописи письмо

мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тутъ письмо плавкое, и на самую близь явственно; да и свѣтскому художнику, говорю, и въ переводѣ самаго рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что въ тѣлѣ земного, животолюбиваго человѣка содержится, а въ священной русской иконописи изображается типъ лица небожительный, насчетъ коего матеріальный человѣкъ даже истоваго воображенія имѣть не можетъ.

Онъ этимъ заинтересовался и спрашиваетъ:

— А гдѣ же,—говоритъ,—есть такіе мастера, что еще этотъ особенный типъ понимаютъ?

— Очень, докладываю, — они нынче рѣдки (да и въ то время они совсѣмъ жили подъ строгимъ сокрытіемъ). Есть, говорю, — въ слободѣ Мстерѣ одинъ мастеръ Хохловъ, да уже онъ человѣкъ очень древнихъ лѣтъ, его въ дальній путь везти нельзя: а въ Палиховѣ есть два человѣка, такъ тѣ тоже врядъ ли поѣдутъ, да и къ тому же, говорю,— намъ ни мстерскіе, ни палиховскіе мастера и не годятся.

— Это опять почему?—пытаетъ.

— А потому, отвѣтствую,—что у нихъ пошибъ не тотъ: у мстерскихъ рисуночекъ головастенекъ и письмо мутно, а у палиховскихъ тонъ бирюзистъ, все голубинкой отдаетъ.

— Такъ какъ же,—говоритъ,—быть?

— Самъ, говорю,—не знаю. Наслышанъ я, что есть еще въ Москвѣ хорошій мастеръ Силачевъ: и онъ по всей Россіи между нашими именитъ, но онъ больше къ новгородскимъ и къ царскимъ московскимъ письмамъ потрафляетъ, а наша икона строгановскаго рисунка, самыхъ свѣтлыхъ и рясныхъ вапъ, такъ намъ потрафить можетъ одинъ мастеръ Севастьянъ, съ понизовья, но онъ страстный странствователь: по всей Россіи ходитъ, старовѣрамъ починку работаетъ, и гдѣ его искать—неизвѣстно.

Англичанинъ съ удовольствіемъ всѣ эти мои доклады выслушалъ и улыбнулся, а потомъ отвѣчаетъ:

— Довольно дивные,—говоритъ: — вы люди, а какъ послушаешь васъ, такъ даже пріятно дѣлается, какъ вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

— Отчего же, говорю,—сударь, искусства не постигать: это дѣло художество божественное, и у насъ есть таковые любители изъ самыхъ простыхъ мужичковъ, что не только

всѣ школы, въ чемъ, напримѣръ, одна отъ другой отличаются въ письмахъ: устюжскія или новгородскія, московскія или вологодскія, сибирскія, либо строгановскія, а даже въ одной и той же школѣ извѣстныхъ старыхъ мастеровъ русскихъ рукомесло одно отъ другого безъ ошибки отличаютъ.

— Можетъ ли, говоритъ,—это быть?

— Все равно, отвѣчаю, — какъ вы одного человѣка отъ другого письменный почеркъ пера распознаете, такъ и они: сейчасъ взглянутъ и видятъ, кто изображалъ: Кузьма, Андрей или Прокофій.

— По какимъ примѣтамъ?

— А есть, говорю, — разница въ пріемѣ какъ перевода рисунка, такъ и въ плави, въ пробѣлахъ, лицевыхъ движкахъ и въ оживкѣ.

Онъ все слушаетъ; а я ему разсказываю, что̀ зналъ про ушаковское писаніе и про рублевское, и про древнѣйшаго русскаго художника Парамшина, коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья въ благословеніе дѣтямъ дарствовали и въ духовныхъ своихъ наказывали имъ тѣ иконы блюсти паче зѣницы ока.

Англичанинъ сейчасъ выхватилъ свою записную книжку и спрашиваетъ: повторить какъ художника имя, и гдѣ его работы можно видѣть? А я отвѣчаю:

— Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигдѣ ихъ памяти не осталось.

— Гдѣ же они дѣлись?

— А не знаю, говорю: — на чубуки ли повертѣли или нѣмцамъ на табакъ промѣняли.

— Это, говоритъ,—быть не можетъ.

— Напротивъ, отвѣчаю, — вполнѣ статочно и примѣры тому есть: въ Римѣ у папы въ Ватиканѣ створы стоятъ, что наши русскіе изографы, Андрей, Сергѣй да Никита, въ тринадцатомъ вѣкѣ писали. Многоличная миніатюра сія, молъ, столь удивительна, что даже, говорятъ, величайшіе иностранные художники, глядя на нее, въ восторгъ приходили отъ чуднаго дѣла.

— А какъ она въ Римъ попала?

— Петръ Первый иностранному монаху подарилъ, а тотъ продалъ.

Англичанинъ улыбнулся и задумался, и потомъ тихо молвитъ, что у нихъ будто въ Англіи всякая картинка изъ рода

въ родъ сохраняется и тѣмъ сама явствуетъ, кто отъ какого родословія происходитъ.

— Ну, а у насъ, говорю,—вѣрно другое образованіе, и съ предковскими преданіями связь разсыпана, дабы все казалось обновленнѣе, какъ будто и весь родъ русскій только вчера насѣдка подъ крапивой вывела.

— А если таковая, говоритъ,—ваша образованная невѣжественность, такъ отчего же, въ которыхъ любовь къ родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природнаго художества?

— Некѣмъ, отвѣчаю, — намъ его, милостивый государь, поддерживать, потому что въ новыхъ школахъ художества повсемѣстное растлѣніе чувства развито и суетѣ умъ повинуется. Высокаго вдохновенія типъ утраченъ, а все съ земного вземлется и земною страстію дышитъ. Наши новѣйшіе художники начали съ того, что архистратига Михаила съ князя Потемкина Таврическаго стали изображать, а теперь уже того достигаютъ, что Христа Спаса жидовиномъ пишутъ. Чего же еще отъ такихъ людей ожидать? Ихъ необрѣзанныя сердца, можетъ-быть, еще и не то изобразятъ и велятъ за божество почитать: въ Египтѣ же и быка и лукъ красноперый богомъ чтили; но только уже мы богамъ чуждымъ не поклонимся и жидово лицо за Спасовъ ликъ не примемъ, а даже изображенія эти, сколь бы они ни были искусны, за студодѣйное невѣжество почитаемъ и отвращаемся отъ него, поелику есть отчее преданіе, «что развлеченіе очесъ разоряетъ чистоту разума, яко водометъ поврежденный погубляетъ воду».

Я симъ кончилъ и замолчалъ, а англичанинъ говоритъ:

— Продолжай: мнѣ нравится, какъ ты разсуждаешь.

Я отвѣчаю:

— Я уже все кончилъ; а онъ говоритъ:

— Нѣтъ, ты разскажи мнѣ еще, что вы по своему понятію за вдохновенное изображеніе понимаете?

Вопросъ, милостивые государи, для простого человѣка довольно затруднительный, но я, нечего дѣлать, началъ и разсказалъ какъ писано въ Новѣгородѣ Звѣздное Небо, а потомъ сталъ излагать про кіевское изображеніе въ Софійскомъ храмѣ, гдѣ по сторонамъ Бога Саваоѳа стоятъ седмь крылатыхъ архистратиговъ, на Потемкина, разумѣется, непохожихъ; а на порогахъ сѣни пророки и праотцы; ниже

ступенью Моисей со скрижалію; еще ниже Ааронъ въ митрѣ и съ жезломъ прозябшимъ; на другихъ ступеняхъ царь Давидъ въ вѣнцѣ, Исаія пророкъ съ хартіей, Іезекіиль съ затворенными вратами, Даніилъ съ камнемъ, и вокругъ сихъ предстоятелей, указующихъ путь на небо, изображены дарованія, коими сего славнаго пути человѣкъ достигать можетъ, какъ-то: книга съ семью печатями — даръ премудрости; седьмисвѣщный подсвѣчникъ — даръ разума; седмь очесъ — даръ совѣта; седмь трубныхъ роговъ — даръ крѣпости; десная рука посреди седьми звѣздъ—даръ видѣнія; седмь курильницъ — даръ благочестія; седмь молній—даръ страха Божія. — Вотъ, говорю, — таковое изображеніе гореносно!

А англичанинъ отвѣчаетъ:

— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореноснымъ?

— А потому, молъ, что таковое изображеніе явственно душѣ говоритъ, чего христіанину надлежитъ молить и жаждать, дабы отъ земли къ неизреченной славѣ Бога вознестись.

— Да вѣдь это же, говоритъ, — всякій изъ Писанія и изъ молитвъ можетъ уразумѣть.

— Ну, никакъ нѣтъ, отвѣтствую: — Писаніе не всякому дано разумѣть, а неразумѣвающему и въ молитвѣ бываетъ затменіе: иной слышитъ глашеніе о «великія и богатыя милости» и сейчасъ полагаетъ, что это о деньгахъ, и съ алчностью кланяется. А когда онъ зритъ предъ собою изображенную небесную славу, то онъ помышляетъ вышній проспектъ жизненности и понимаетъ, какъ надо этой цѣли достигать, потому что тутъ оно все просто и вразумительно: вымоли человѣкъ первѣе всего душѣ своей даръ страха Божія, она сейчасъ и пойдетъ облегченная со ступени на ступень, съ каждымъ шагомъ усвояя себѣ преизбытки вышнихъ даровъ, и въ тѣ поры человѣку и деньги, и вся слава земная при молитвѣ кажутся не иначе какъ мерзость предъ Господомъ.

Тутъ англичанинъ встаетъ съ мѣста и весело говоритъ:

— А вы же, чудаки, чего себѣ молите?

— Мы, отвѣчаю,—молимъ христіанскія кончины живота и добраго отвѣта на страшномъ судилищѣ.

Онъ улыбнулся и вдругъ дернулъ за золотистый шнурокъ

зеленую занавѣсь, а за тою занавѣсью у него сидитъ въ креслѣ его жена англичанка и предъ свѣчою на длинныхъ спицахъ вязанье дѣлаетъ. Она была прекрасная барыня, благоувѣтливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала и вѣрно хотѣлось ей нашъ разговоръ съ ея мужемъ о религіи слышать.

И что же вы думаете? Какъ отдернулась эта занавѣса, что ее скрывала, она сейчасъ встаетъ, будто содрогаясь, и идетъ, милушка, ко мнѣ съ Лукою, обѣ ручки намъ, мужикамъ, протягиваетъ, а въ глазахъ у нея блещутъ слезки, и жметъ намъ руки, а сама говоритъ:

— Добри люди, добри русски люди!

Мы съ Лукою за это ея доброе слово у нея обѣ ручки поцѣловали, а она къ нашимъ мужичьимъ головамъ свои губки приложила.

Разсказчикъ остановился и, закрывъ рукавомъ глаза, тихонько отеръ ихъ и молвилъ шопотомъ: «Трогательная женщина!» и затѣмъ, оправясь, продолжалъ снова:

— По такимъ своимъ ласковымъ поступкамъ и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу, по-ихнему, намъ непонятно, но только слышно по голосу, что вѣрно за насъ проситъ. И англичанинъ—знать пріятна ему эта доброта въ женѣ—глядитъ на нее ажно весь гордостію сіяетъ и все жену по головкѣ гладитъ, да этакъ какъ голубь гурчитъ по-своему: «гутъ, гутъ», или какъ тамъ по-ихнему иначе говорится, но только видно, что онъ ее хвалитъ и въ чемъ-то утверждаетъ и потомъ подошелъ къ бюру, вынулъ двѣ сотенныхъ бумажки и говоритъ:

— Вотъ тебѣ, Лука, деньги: ступай ищи гдѣ знаешь какого вамъ нужно по вашей части искуснаго изографа, пусть онъ и вамъ что нужно сдѣлаетъ, и женѣ моей въ вашемъ родѣ напишетъ, — она хочетъ такую икону сыну дать, а на всѣ хлопоты и расходы вотъ это вамъ моя жена деньги даетъ.

А она сквозь слезы улыбается и частитъ:

— Ни, ни, ни: это онъ, а я особая, да съ этимъ словомъ порхъ за дверь и несетъ оттуда въ рукахъ третью сотенную.

— Мужъ, говоритъ,—мнѣ на платье дарилъ, а я платья не хочу, а вамъ жертвую.

Мы, разумѣется, стали отказываться, но она о томъ и слышать не хочетъ, и сама убѣжала, а онъ и говоритъ:

— Нѣтъ, говоритъ,—не смѣйте ей отказывать и берите, что̀ она даетъ, и самъ отвернулся и говоритъ:—и ступайте, чудаки, вонъ!

Но мы этимъ изгнаніемъ, разумѣется, нимало не обидѣлись, потому что хоть онъ, этотъ англичанинъ, отъ насъ отвернулся, но видѣли мы, что онъ это сдѣлалъ ради того, дабы скрыть, что онъ самъ растрогался.

Такъ-то насъ, милостивые государи, свои притоманные люди обезсудили, а аглицкая національность утѣшила и дала въ душу рвеніе, какъ бы точно мы баню паки бытія воспріяли!

Теперь далѣе отсюда, милостивые государи, зачинается преполовеніе моей повѣсти, и я вамъ вкратцѣ изложу: какъ я, взявъ своего среброуздаго Левонтія, пошелъ по изографа, и какія мы мѣста исходили, какихъ людей видѣли, какія новыя дивеса намъ объявились, и что̀, наконецъ, мы нашли, и что̀ потеряли, и съ чѣмъ возвратилися.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ путь шествующему человѣку первое дѣло сопутникъ, съ умнымъ и добрымъ товарищемъ и холодъ, и голодъ легче, а мнѣ это благо было даровано въ томъ чудномъ отрокѣ Левонтіи. Мы съ нимъ отправились пѣшкомъ, имѣя при себѣ котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имѣли при себѣ старую короткую саблю съ широкимъ обушкомъ, коя у насъ всегда береглась для опаснаго случая. Совершали мы путь свой въ родѣ торговыхъ людей, гдѣ какъ попало вымышляя надобности, для коихъ будто бы слѣдуемъ, а сами все, разумѣется, высматривали свое дѣло. Съ самаго первоначала мы побывали въ Клинцахъ и въ Злынкѣ, потомъ навѣдались кое къ кому изъ своихъ въ Орлѣ, но полезнаго результата себѣ никакого не получили: нигдѣ хорошихъ изографовъ не находили, и такъ достигли Москвы. Но что скажу: оле тебѣ, Москва! оле тебѣ, древляго русскаго общества преславная царица! не были мы, старые вѣрители, и тобою утѣшены.

Не охота бы говорить, а нельзя премолчать, не тотъ мы духъ на Москвѣ встрѣтили, котораго жаждали. Обрѣли мы, что старина тутъ стоитъ уже не на добротолюбіи и бла-

гочестіи, а на единомъ упрямствѣ, и съ каждымъ днемъ, въ семъ все болѣе и болѣе убѣждаясь, начали мы съ Левонтіемъ другъ друга стыдиться, ибо видѣли оба то, что мирному послѣдователю вѣры видѣть оскорбительно; но, однако, сами себя стыдяся, мы о всемъ томъ другъ другу молчали.

Изографы, разумѣется, въ Москвѣ отыскались и весьма искусные, но что въ томъ пользы, когда все это люди не того духа, о каковомъ отеческія преданія повѣствуютъ? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большія деньги, что за малыя, какъ того честь возвышеннаго дѣла требуетъ. А эти каждый одному пишетъ рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не въ долготу дней, грунта кладутъ мѣловые, слабые, а не лебастровые, и плавь лѣностно сразу наводятъ, не какъ встарь наводили до четырехъ и даже до пяти плавей жидкой какъ вода краскою, отчего получалась та дивная нѣжность, нынѣ недостижимая. И помимо неаккуратности въ художествѣ, всѣ они сами разслабѣвши, всѣ другъ предъ другомъ величаются, а другого чтобъ унизить ни во что вмѣняютъ; или еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрѣйшіе обманы дѣлаютъ, собираются по трактирамъ и тутъ вино пьютъ и свое художество хвалятъ съ кичливою надменностію, а другого рукомесло богохульно называютъ «адописнымъ», а вокругъ ихъ всегда какъ воробьи за совами старьевщики, что разную иконописную старину изъ рукъ въ руки перепущаютъ, мѣняютъ, подмѣниваютъ, поддѣлываютъ доски, въ трубахъ коптятъ, утлизну въ нихъ дѣлаютъ и червоточину: изъ мѣди разные створы по старому чеканному образцу отливаютъ, амаль въ ветхозавѣтномъ родѣ наводятъ; купели изъ тазовъ куютъ и на нихъ старинные щипаные орлы, какіе за Грознаго времена были, выставляютъ и продаютъ неопытнымъ вѣрителямъ за настоящую грозновскую купель, хотя тѣхъ купелей не счесть сколько по Руси ходитъ, и все это обманъ и ложь безсовѣстные. Словомъ сказать, всѣ эти люди, какъ черные цыгане лошадьми другъ друга обманываютъ, такъ и они святынею, и все это при такомъ съ оною обращеніи, что становится за нихъ стыдно и видишь во всемъ этомъ одинъ грѣхъ да соблазнъ и вѣрѣ поношеніе. Кто привычку къ

сему безстыдству усвоилъ, тому еще ничего, и изъ московскихъ охотниковъ многіе этою нечестною мѣною даже интересуются и хвалятся: что-де тотъ-то того-то такъ вотъ Деисусомъ надулъ, а этотъ этого вонъ какъ Николою огрѣлъ, или какимъ подлымъ манеромъ поддѣльную Владычицу еще подсунулъ: и все это имъ заростно, и другъ предъ другимъ одинъ противъ другого лучше нарохтятся какъ Божьимъ благословеніемъ неопытныхъ вѣрителей морочить, но намъ съ Левой, какъ мы были простые деревенскіе богочтители, все это въ той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напалъ на насъ страхъ:

«Неужто же, думаемъ, такова она къ этому времени стала наша злосчастная старая вѣра?» Но и я это думаю, и онъ, вижу, то же самое въ скорбномъ сердцѣ содержитъ, а другъ другу того не открываемъ, а только замѣчаю я, что мой отрокъ все ищетъ уединеннаго мѣста.

Вотъ я разъ гляжу на него, а самъ думаю: какъ бы онъ въ смущеніи чего недолжнаго не надумалъ? да и говорю:

— Что ты, Левонтій, будто чѣмъ закручинился?

А онъ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ,—говоритъ,—дядя, ничего; это я такъ.

— Пойдемъ же, молъ, на Божединову улицу въ Эриванскій трактиръ изографовъ подговаривать. Нонѣ туда два обѣщали придти и древнихъ иконъ принести. Я уже одну вымѣнялъ, хочу нонѣ еще одну достать.

А Левонтій отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, сходи ты, дядюшка, одинъ, а я не пойду.

— Отчего же, говорю,—ты не пойдешь?

— А такъ, отвѣчаетъ:—мнѣ нонѣ что-то не по себѣ.

Ну, я его разъ не нужу и два не нужу, а на третій опять зову:

— Пойдемъ, Левонтьюшка, пойдемъ, молодчикъ.

А онъ умильно кланяется и проситъ:

— Нѣту, дядюшка, голубчикъ бѣлый: позволь мнѣ дома остаться.

— Да что же, молъ, Лева, пошелъ ты мнѣ въ содѣятели, а все дома да дома сидишь. Этакъ не велика мнѣ, голубчикъ, отъ тебя помощь.

А онъ:

— Ну, родненькій, ну, батечка, ну, Маркъ Александрычъ, государь, не зови меня туда, гдѣ ѣдятъ да пьютъ и не-

складныя рѣчи о святынѣ говорятъ, а то меня соблазнъ обдержать можетъ.

Это его было первое сознательное слово о своихъ чувствахъ и оно меня въ самое сердце поразило, но я съ нимъ не сталъ спорить, а пошелъ одинъ, и имѣлъ я въ этотъ вечеръ большой разговоръ съ двумя изографами и получилъ отъ нихъ ужасное огорченіе. Сказать страшно, что они со мною сдѣлали! Одинъ мнѣ икону промѣнялъ за сорокъ рублей и ушелъ, а другой говоритъ:

— Ты гляди, человѣче, этой иконѣ не покланяйся.

Я говорю:

— Почему?

А онъ отвѣчаетъ:

— Потому что она адописная,—да съ этимъ колупнулъ ногтемъ, а съ уголка слой письма такъ и отскочилъ и подъ нимъ на грунту чортикъ съ хвостомъ нарисованъ! Онъ въ другомъ мѣстѣ сковырнулъ письмо, а тамъ подъ низомъ опять чортикъ.

— Господи!—заплакалъ я:—да что же это такое?

— А то,—говоритъ:—что ты не ему, а мнѣ закажи.

И увидалъ уже я тутъ ясно, что они одна шайка и норовятъ со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинувъ имъ икону, ушелъ отъ нихъ съ полными слезъ глазами, славя Бога, что не видалъ того мой Левонтій, вѣра котораго находилась въ бореніи. Но только подхожу домой и вижу въ окнахъ нашей горенки, которую мы нанимали, свѣту нѣтъ, а между тѣмъ, оттуда тонкое нѣжное пѣніе льется. Я сейчасъ узналъ, что это поетъ пріятный Левонтіевъ голосъ и поетъ съ такимъ чувствомъ, что всякое слово будто въ слезахъ купаетъ. Вошелъ я тихонько, чтобъ онъ не слыхалъ, сталъ у дверей и слушаю, какъ онъ Іосифовъ плачъ выводитъ:

«Кому повѣмъ печаль мою,
Кого призову ко рыданію».

Стихъ этотъ, если его изволите знать, и безъ того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтій его поетъ да самъ плачетъ и рыдаетъ, что

«Продаша мя мои братія!»

И плачетъ, и плачетъ онъ, воспѣвая, какъ видитъ гробъ своей матери, и зоветъ землю къ воплѣнію за братскій грѣхъ!..

Слова эти всегда могутъ человѣка взволновать, а особенно меня въ ту пору, какъ я только бѣжалъ отъ братогрызцевъ, они меня такъ растрогали, что я и самъ захлипкалъ, а Левонтій, услыхавъ это, смолкъ и зоветъ меня:

— Дядя! а дядя!

— Что,—говорю:—добрый молодецъ?

— А знаешь ли ты,—говоритъ:—кто это наша мать, про которую тутъ поется?

— Рахиль,—отвѣчаю.

— Нѣтъ,—говоритъ:—это въ древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

— Какъ же,—спрашиваю,—таинственно?

— А такъ,—отвѣчаетъ:—что это слово съ преобразованіемъ сказано.

— Ты, — говорю: — смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ:—я это въ сердцѣ моемъ чувствую, что крестуетъ-бо-ся Спасъ насъ ради того, что мы Его едиными усты и единымъ сердцемъ не ищемъ.

Я еще пуще испугался, къ чему онъ стремится, и говорю:

— Знаешь что, Левонтьюшко: пойдемъ-ко мы отсюда скорѣе изъ Москвы въ нижегородскія земли, изографа Севастьяна поищемъ, онъ нонѣ, я слышалъ, тамъ ходитъ.

— Что же: пойдемъ,—отвѣчаетъ:—здѣсь на Москвѣ меня какой-то нужный духъ больно нудитъ, а тамъ лѣса, повѣтріе чище и тамъ, говоритъ, я слыхалъ, есть старецъ Памва, анахоритъ совсѣмъ беззавистный и безгнѣвный, я бы его узрѣть хотѣлъ.

— Старецъ Памва, — отвѣчаю со строгостію: — господствующей церкви слуга, что намъ на него смотрѣть?

— А что же,—говоритъ:—за бѣда, я для того и хотѣлъ бы его видѣть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать.

Я его пощунялъ, «какая тамъ, говорю, благодать», а самъ чувствую, что онъ меня правѣе, потому что онъ жаждетъ испытывать, а я чего не вѣдаю, то отвергаю, но упорствую на своемъ противленіи и говорю ему самые пустяки.

— Церковные,—говорю:—и на небо смотрятъ не съ вѣрою, а въ Аристетилевы врата глядятъ и путь въ морѣ по звѣздѣ языческаго бога Ремфана опредѣляютъ; а ты съ ними въ одну точку смотрѣть захотѣлъ?

А Левонтій отвѣчаетъ:

— Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нѣтъ, а вся единою Премудростію создано.

Я отъ этого словно еще глупѣе сталъ и говорю:

— Церковные кофій пьютъ!

— А что за бѣда, — отвѣчаетъ Левонтій: — кофій бобъ, онъ былъ Давиду царю въ дарахъ принесенъ.

— Откуда,—говорю:—ты это все знаешь?

— Въ книгахъ,—говоритъ:—читалъ.

— Ну, такъ знай же, что въ книгахъ не все писано.

— А что,—говоритъ:—тамъ еще не написано?

— Что? что не написано?—А самъ вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнулъ ему:

— Церковное, — говорю: — зайцевъ ѣдятъ, а заяцъ поганый.

— Не погань,—говоритъ:—Богомъ созданнаго, это грѣхъ.

— Какъ,—говорю:—не поганить зайца, когда онъ поганый, когда у него ослій складъ и мужеженское естество и онъ рождаетъ въ человѣкѣ густую и меланхолическую кровь?

Но Левонтій засмѣялся и говоритъ:

— Спи, дядя, ты невѣгласы глаголешь!

Я, признаюсь вамъ, тогда еще ясно не разгадалъ, что такое въ душѣ сего благодатнаго юноши дѣлалось, но самъ очень обрадовался, что онъ больше говорить не хочетъ, ибо я и самъ понималъ, что я въ сердцахъ не вѣсть что говорю, и умолкъ я и лежу да только думаю:

«Нѣтъ; это въ немъ такое сомнѣніе отъ тоски стало, а вотъ завтра поднимемся и пойдемъ, такъ оно все въ немъ разсѣется»; но про всякій же случай я себѣ на умѣ положилъ, что буду съ нимъ нѣкое время идти молча, дабы показать ему, что я какъ будто очень на него сержусь.

Но только въ волевращномъ характерѣ моемъ нѣтъ совсѣмъ этой крѣпости, чтобы притворяться сердитымъ, и мы скоро же опять начали съ Левонтіемъ говорить, но только не о Божествѣ, потому что онъ былъ сильно противъ меня начитавшись, а объ окрестности, къ чему ежечасный предлогъ подавали виды огромныхъ темныхъ лѣсовъ, которыми шелъ путь нашъ. Обо всемъ этомъ своемъ московскомъ разговорѣ съ Левонтіемъ я старался позабыть и рѣшилъ наблюдать только одну осторожность, чтобы намъ съ нимъ

какъ-нибудь не набѣжать на этого старца Памву анахорита, которымъ Левонтій прельщался и о которомъ я самъ слыхалъ отъ церковныхъ людей непостижимыя чудеса про его высокую жизнь.

«Но, думаю себѣ, чего тутъ много печалиться, ужъ если я отъ него бѣжать стану, такъ онъ же самъ насъ не обрѣтетъ!»

И идемъ мы опять мирно и благополучно, и, наконецъ, достигши извѣстныхъ предѣловъ, добыли слухъ, что изографъ Севастьянъ точно въ здѣшнихъ мѣстахъ ходитъ, и пошли его искать изъ города въ городъ, изъ села въ село, и вотъ-вотъ совсѣмъ по его свѣжему слѣду идемъ, совсѣмъ его достигаемъ, а никакъ не достигнемъ. Просто какъ сворные псы бѣжимъ, по двадцати, по тридцати верстъ переходы безъ отдыха дѣлаемъ, а придемъ, говорятъ:

— Былъ онъ здѣсь, былъ, да вотъ-вотъ всего съ часъ назадъ ушелъ!

Бросимся вслѣдъ, не настигаемъ!

И вотъ вдругъ на одномъ такомъ переходѣ мы съ Левонтіемъ и заспорили: я говорю «намъ надо идти направо», а онъ споритъ: «налѣво», и, наконецъ, чуть было меня не переспорилъ, но я на своемъ пути настоялъ. Но только шли мы, шли, и, наконецъ, вижу, не знаю куда зашли и нѣтъ дальше ни тропы, ни слѣду.

Я говорю отроку:

— Пойдемъ, Лева, назадъ!

А онъ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, не могу я, дядя, больше идти, — силъ моихъ нѣтъ.

Я всхлопотался и говорю:

— Что тебѣ, дитятко?

А онъ отвѣчаетъ:

— Развѣ,—говоритъ;—ты не видишь, меня отрясовица бьетъ?

И вижу точно, весь онъ трясется и глаза блуждаютъ. И какъ все это, милостивые государи, случилось вдругъ! Ни на что не жаловался, шелъ бодро и вдругъ сѣлъ въ лѣску на траву, а головку положилъ на избутѣлый пень и говоритъ:

— Ой, голова моя, голова! ай, горитъ моя голова огнемъ-пламенемъ! Не могу я идти: не могу больше шагу

ступить!—а самъ, бѣдняга, даже къ землѣ клонится, падаетъ.

А дѣло подъ вечеръ.

Ужасно я испугался, а пока мы тутъ подождали, не облегчитъ ли ему недугъ, стала ночь; время осеннее, темное, мѣсто незнакомое, вокругъ однѣ сосны и ели могучія, какъ аркефовы древеса, а отрокъ просто помираетъ. Что тутъ дѣлать! Я ему со слезами говорю:

— Левушка, батюшка, поневольсь, авось до ночлежка дойдемъ.

А онъ клонитъ головушку, какъ скошенный цвѣтокъ, и словно во снѣ бредитъ:

— Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и самъ не бойся.

Я говорю:

— Помилуй, Лева, какъ не бояться въ такой глуши непробудной.

А онъ говоритъ:

— Не спяй и бдяй сохранитъ.

Я думаю: «Господи! что это съ нимъ такое?» А самъ въ страхѣ все-таки сталъ прислушиваться, и слышу по лѣсу вдалекѣ что-то словно потрескиваетъ... Владыко многомилостиве! думаю, это вѣрно звѣрь, и сейчасъ онъ насъ растерзаетъ! И уже Левонтія не зову, потому что вижу, что онъ точно самъ изъ себя куда-то излетѣлъ и витаетъ, а только молюсь: Анѓеле Христовъ, соблюди насъ въ сей страшный часъ! А трескъ-отъ ближе и ближе слышится, и вотъ-вотъ уже совсѣмъ подходитъ... Здѣсь я долженъ вамъ, господа, признаться въ великой своей низости: такъ я оробѣлъ, что покинулъ больного Левонтія на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ лежалъ, да самъ бѣлки проворнѣе на дерево вскочилъ, вынулъ сабельку и сижу на суку да гляжу, что будетъ, а зубами, какъ пуганый волкъ, такъ и ляскаю... И вдругъ-съ замѣчаю я во тьмѣ, къ которой глазъ мой приглядѣлся, что изъ лѣсу выходитъ что-то по началу совсѣмъ безвидное,—не разобрать, звѣрь или разбойникъ, но сталъ приглядываться и различаю, что и не звѣрь, и не разбойникъ, а очень небольшой старичокъ въ колпачкѣ, и видно мнѣ даже, что въ поясу у него топоръ заткнутъ, а на спинѣ большая вязанка дровъ, и вышелъ онъ на поляночку; подышалъ, подышалъ часто воздухомъ, точно со всѣхъ сторонъ повѣтріе собиралъ, и вдругъ сбросилъ на землю вязанку и, точно почуявъ человѣка, идетъ прямо къ моему

товарищу. Подошелъ, нагнулся, посмотрѣлъ въ лицо и взялъ его за руку, да и говоритъ:

— Встань, брате!

И что же вы изволите думать? вижу я, поднялъ онъ Левонтія и ведетъ прямо къ своей вязаночкѣ и взвалилъ ее ему на плечи и говоритъ:

— Понеси-ко за мною!

А Левонтій и понесъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Можете себѣ, милостивые государи, представить, какъ я такого дива долженъ былъ испугаться! Откуда этотъ повелительный тихій старичокъ взялся и какъ это мой Лева сейчасъ точно смерти былъ приверженъ и головы не могъ поднять, и опять сейчасъ уже вязанку дровъ несетъ!

Я скорѣе соскочилъ съ дерева, сабельку на бечевѣ за спину забросилъ, а сломалъ про всякій случай здоровую лѣторосль понадежнѣе, да за ними, и скоро ихъ настигъ и вижу: старичокъ впереди грядетъ и какъ разъ онъ точно такой же какъ мнѣ съ перваго взгляда показался: маленькій и горбатенькій; а бородка по сторонамъ клочечками, какъ мыльная пѣна бѣлая, а за нимъ мой Левонтій идетъ, слѣдомъ въ слѣдъ его ноги бодро попадаетъ и на меня смотритъ. Сколько я къ нему ни заговаривалъ и рукою его ни трогалъ, онъ и вниманія на меня не обратилъ, а все будто во снѣ идетъ.

Тогда я подбѣжалъ сбоку къ старичку и говорю:

— Доброчестный человѣкъ!

А онъ отзывается:

— Что тебѣ?

— Куда ты насъ ведешь?

— Я,—говоритъ:—никого никуда не веду, всѣхъ Господь ведетъ!

И съ этимъ словомъ вдругъ остановился: и я вижу, что предъ нами низенькая стѣнка и ворота, а въ воротахъ продѣлана малая дверка, и въ эту дверку старичокъ началъ стучаться и зоветъ:

— Брате Миронъ! а брате Миронъ!

А оттуда дерзый голосъ грубо отвѣчаетъ:

— Опять ночью притащился. Ночуй въ лѣсу! Не пущу!

Но старичокъ опять давай проситься, молить ласково:

— Впусти, брате!

Тотъ дерзый вдругъ отчинилъ дверь, и вижу я это человѣкъ тоже въ такомъ же колпакѣ, какъ и старичокъ, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успѣлъ старичокъ ноги перенести черезъ порогъ, какъ онъ его такъ толкнулъ, что тотъ мало не обрушился, и говоритъ:

— Спаси тебя Богъ, брате мой, за твою услугу.

«Господи! помышляю, куда это мы попали», и вдругъ какъ молонья меня освѣтила и поразила.

«Спасе премилосердый!» взгадалъ я, «да ужъ это не Памва ли безгнѣвный! Такъ лучше же бы, думаю, я въ дебри лѣсной погибъ или къ звѣрю, или къ разбойнику въ берлогу зашелъ, чѣмъ къ нему подъ кровъ».

И чуть онъ ввелъ насъ въ маленькую какую-то хибарочку и зажегъ воску желтаго свѣчу, я сейчасъ догадался, что мы, дѣйствительно, въ лѣсномъ скитѣ, и, не стерпѣвъ дальше, говорю:

— Прости, благочестивый человѣкъ, спрошу я тебя: гоже ли намъ съ товарищемъ оставаться здѣсь, куда ты привелъ насъ?

А онъ отвѣчаетъ:

— Вся Господня земля и благословенны вси живущіе,— ложись, спи!

— Нѣтъ, позволь,—говорю:—тебѣ объявиться, вѣдь мы по старой вѣрѣ.

— Всѣ,—говоритъ:—уды единаго тѣла Христова! Онъ всѣхъ соберетъ!

И съ этимъ подвелъ насъ къ уголку, гдѣ у него на полу сдѣлана скудная рогозина постелька, а въ возглавіи древесный круглякъ соломкой прикрытъ, и опять уже обоимъ намъ молвитъ:

— Спите!

И что же? Левонтій мой, какъ послушенствующій отрокъ, сейчасъ и повалился, а я, свое опасеніе наблюдая, говорю:

— Прости, Божій человѣкъ, еще одно вопрошеніе...

Онъ отвѣчаетъ:

— Что вопрошать: Богъ все знаетъ.

— Нѣтъ, скажи,—говорю:—мнѣ: какъ твое имя?

А онъ, какъ совсѣмъ бы ему не соотвѣтствовало, бабственною погудкою говоритъ:

— Зовутъ меня зовуткою, а величаютъ уткою, и съ этими пустыми словами поползъ было со свѣчечкою въ какой-то малый чуланъ, тѣсный какъ дощатый гробикъ, но изъ-за стѣны на него тотъ дерзый вдругъ опять закричалъ:

— Не смѣй огня жечь: келью сожжешь, по книжкѣ днемъ намолишься, а теперь впотьмахъ молись!

— Не буду,—отвѣчаетъ:—брате Миронъ, не буду. Спаси тебя Богъ!

И задулъ свѣчку.

Я шепчу:

— Отче! кто это на тебя такъ грубительно грозится?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это служка мой, Миронъ... добрый человѣкъ, онъ блюдетъ меня.

«Ну, шабашъ! думаю, это анахоритъ Памва! Никто это другой, какъ онъ, и беззавистный, и безгнѣвный. Вотъ когда бѣда! обрящелъ онъ насъ и теперь истлитъ насъ какъ гангрена жиръ; одно только оставалось, чтобы завтра рано на зарѣ восхитить отсюда Левонтія и бѣжать отсюда такъ, чтобъ онъ не зналъ, гдѣ мы были». Держа этотъ планъ, я положилъ не спать и блюсти первый просвѣтъ, чтобы возбудить отрока и бѣжать.

А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу: «Вѣрую» какъ должно по-старому, и какъ протвержу разъ, сейчасъ причитаю «сія вѣра апостольская, сія вѣра каѳолическая, сія вѣра вселенную утверди» и опять начинаю. Не знаю, сколько разъ я эту «Вѣрую» прочелъ, чтобы не заснуть, но только много; а старичокъ все въ своемъ гробѣ молится, и мнѣ оттуда сквозь пазы тесинъ точно свѣтъ кажетъ и видно какъ онъ кланяется, а потомъ вдругъ будто началъ слышаться разговоръ, и какой... самый необъяснимый, будто вошелъ къ старцу Левонтій, и они говорятъ о вѣрѣ, но безъ словъ, а такъ смотрятъ другъ на друга и понимаютъ. И это долго мнѣ такъ представлялось, я уже «Вѣрую» позабылъ твердить, а слушаю, какъ будто старецъ говоритъ отроку: «поди, очистись», а тотъ отвѣчаетъ «и очищусь». И теперь вамъ не скажу, все это было во снѣ, или не во снѣ, но только я потомъ еще долго спалъ и, наконецъ, просыпаюсь и вижу: утро, совсѣмъ свѣтло, и оный старецъ, хозяинъ нашъ, анахоритъ сидитъ и свайкою лы-

ковый лапòтокъ на колѣняхъ ковыряетъ. Я сталъ въ него всматриваться.

Ахъ, сколь хорошъ! ахъ, сколь духовенъ! Точно ангелъ предо мною сидитъ и лапòтки плететъ, для простого себя міру явленія.

Гляжу я на него и вижу, что и онъ на меня смотритъ и улыбается, и говоритъ:

— Полно, Маркъ, спать, пора дѣло дѣлать.

Я отзываюсь:

— Какое же, боготечный мужъ, мое дѣло? Или ты все знаешь?

— Знаю,—говоритъ:—знаю. Когда же человѣкъ далекій путь безъ дѣла творитъ? Всѣ, брате, всѣ пути Господняго ищутъ. Помогай Господь твоему смиренію, помогай!

— Какое же,—говорю:—святой человѣкъ, мое смиреніе?—ты смиренъ, а мое что̀ за смиреніе въ суетѣ!

А онъ отвѣчаетъ:

— Ахъ, нѣтъ, брате, нѣтъ, я не смиренъ: я великій дерзостникъ, я себѣ въ небесномъ царствѣ части желаю.

И вдругъ, сознавъ сіе преступленіе, сложилъ ручки и, какъ малое дитя, заплакалъ.

— Господи!—молится,—не прогнѣвайся на меня за сію волевращность: пошли меня въ преисподнѣйшій адъ и повели демонамъ меня мучить, какъ я того достоинъ!

«Ну, думаю, нѣтъ: слава Богу, это не Памва прозорливый анахоритъ, а это просто какой-то умоповрежденный старецъ». Разсудилъ я такъ потому, что кто же въ здравомъ умѣ небеснаго царства можетъ отрицаться и молить, дабы послалъ его Господь на мученіе демонамъ? Я этакого хотѣнія во всю жизнь ни отъ кого не слыхалъ и, сочтя оное за безуміе, отвратился отъ старцева плача, считая оный за скорбь демоноговѣйную. Но, наконецъ, разсуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдругъ гляжу, отворяется дверь и входитъ мой Левонтій, про котораго я точно совсѣмъ позабылъ. И какъ онъ вошелъ, сейчасъ старцу въ ноги и говоритъ:

— Я, отче, все совершилъ: теперь благослови!

А старецъ посмотрѣлъ на него и отвѣчаетъ:

— Миръ ти: почій!

И мой отрокъ, гляжу, опять ему въ землю поклонился и вышелъ, а анахоритъ опять сталъ свой лапòтокъ плесть.

Тутъ я сразу вскочилъ и думаю:

«Нѣтъ: пойду скорѣе возьму Леву и утечемъ отсюда безъ оглядки!» и съ тѣмъ выхожу въ малыя сѣнички и вижу, что мой отрокъ лежитъ тутъ на дощаной скамьѣ безъ возглавія, навзничь и ручки на груди сложилъ.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

— Не знаешь ли ты, гдѣ я зачерпну себѣ воды, чтобы лицо умыть?—а шопотомъ шепчу ему:—Богомъ живымъ тебя заклинаю, скорѣе отсюда пойдемъ!

Но всматриваюсь въ него и вижу, что Лева не дышитъ... Отошелъ!.. Умеръ!..

Взвылъ я не своимъ голосомъ:

— Памва! отецъ Памва, ты убилъ моего отрока!

А Памва вышелъ потихоньку на порогъ и говоритъ съ радостію:

— Улетѣлъ нашъ Лева!

Меня даже зло взяло.

— Да,—отвѣчаю сквозь слезы:—онъ улетѣлъ. Ты изъ него душу, какъ голубя изъ клѣтки, выпустилъ!—и повергшись къ ногамъ усопшаго, стеналъ я и плакалъ надъ нимъ даже до вечера, когда пришли изъ монастырька иноки, опрятали его мощи, положили въ гробъ и понесли, такъ какъ онъ симъ утромъ, пока я нетягъ спалъ, къ церкви присоединился.

Ни одного слова я болѣе отцу Памвѣ не сказалъ, да и что бы я могъ ему сказать: согруби ему — онъ благословитъ, прибей его — онъ въ землю поклонится, неодолимъ сей человѣкъ съ такимъ смиреніемъ! Чего онъ устрашится, когда даже въ адъ самъ просится? Нѣтъ; недаромъ я его трепеталъ и опасался, что истлитъ онъ насъ, какъ гангрена жиръ. Онъ и демоновъ-то всѣхъ своимъ смиреніемъ изъ ада разгонитъ, или къ Богу обратитъ! Они его станутъ мучить, а онъ будетъ просить: «жоще терзайте, ибо я того достоинъ». Нѣтъ, нѣтъ! Этого смиренія и сатанѣ не выдержать! онъ всѣ руки о него обколотитъ, всѣ когти обдеретъ и самъ свое безсиліе постигнетъ предъ Содѣтелемъ, такую любовь создавшимъ, и устыдится Его.

Такъ я себѣ и порѣшилъ, что сей старецъ съ лапдткомъ аду на погибель созданъ! и всю ночь по лѣсу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Какъ же онъ молится, какимъ образомъ и по какимъ книгамъ?»

И вспоминаю, что я не видалъ у него ни одного образа, окромѣ креста изъ палочекъ, лычкомъ связаннаго, да не видалъ и толстыхъ книгъ...

«Господи! дерзаю разсуждать: если только въ церкви два такіе человѣка есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевленъ».

И все я о немъ думалъ и думалъ и вдругъ передъ утромъ началъ жаждать хоть на минуту его предъ отходомъ отсюда видѣнія.

И только что я это помыслилъ, вдругъ опять слышу, опять такой самый троскотъ, и отецъ Памва опять выходитъ съ топоромъ и съ вязанкою дровъ и говоритъ:

— Что долго медлилъ? Поспѣшай Вавилонъ строить?

Мнѣ это слово показалось очень горько и я сказалъ:

— За что же ты меня, старче, такимъ словомъ упрекаешь: я никакого Вавилона не строю и отъ вавилонской мерзости особлюсь.

А онъ отвѣчаетъ:

— Что есть Вавилонъ? столпъ киченія; не кичись правдою, а то Ангелъ отступится.

— Я говорю: отче, знаешь ли, зачѣмъ я хожу? И разсказалъ ему все наше горе. А онъ все слушалъ, слушалъ и отвѣчаетъ:

— Ангелъ тихъ, Ангелъ кротокъ, во что̀ ему повелитъ Господь, онъ въ то и одѣется; что̀ ему укажетъ, то онъ сотворитъ. Вотъ Ангелъ! Онъ въ душѣ человѣчей живетъ, суемудріемъ запечатлѣнъ, но любовь сокрушитъ печать...

И съ тѣмъ вижу онъ удалялся отъ меня, а я отвратить глазъ отъ него не могу и, преодолѣть себя будучи не въ состояніи, палъ и вслѣдъ ему въ землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нѣтъ, или за древа зашелъ, или... Господь знаетъ куда дѣлся.

Тутъ я сталъ перебирать въ умѣ его слова, что̀ такое: Ангелъ въ душѣ живетъ, но запечатлѣнъ, а любовь освободитъ его, да вдругъ думаю: «А что если онъ самъ Ангелъ, и Богъ повелитъ ему въ иномъ видѣ явиться мнѣ: я умру какъ Левонтій!» Взгадавъ это, я, самъ не помню, на какомъ-то пенькѣ переплылъ черезъ рѣчонку и ударился бѣжать: шестьдесятъ верстъ безъ остановки ушелъ, все въ страхѣ, думая не Ангела ли я это видѣлъ, и вдругъ захожу въ одно село и нахожу здѣсь изографа Севастьяна. Сразу

мы съ нимъ обо всемъ переговорили и положили, чтобы завтра же ѣхать, но поладили мы холодно и ѣхали еще холоднѣе. А почему? Разъ потому, что изографъ Севастьянъ былъ человѣкъ задумчивый, а еще того болѣе потому, что самъ я не тотъ сталъ: виталъ въ душѣ моей анахоритъ Памва, и уста шептали слова пророка Исаіи, что «духъ Божій въ ноздрѣхъ человѣка сего».

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Обратное подорожіе мы съ изографомъ Севастьяномъ отбыли скоро и, прибывъ къ себѣ на постройку ночью, застали здѣсь все благополучно. Повидавшись съ своими, мы сейчасъ же появились и англичанину Якову Яковлевичу. Тотъ, любопытный этакой, сейчасъ же поинтересовался изографа видѣть и все ему на руки его смотрѣлъ да плещьми пожималъ, потому что руки у Севастьяна были большущія какъ грабли и черныя, поелику и самъ онъ былъ видомъ какъ цыганъ черенъ. Яковъ Яковлевичъ и говоритъ:

— Удивляюсь я, братецъ, какъ ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьянъ отвѣчаетъ:

— Отчего же? Чѣмъ мои руки несоотвѣтственны?

— Да тебѣ,—говоритъ:—что-нибудь мелкое ими не вывесть.

Тотъ спрашиваетъ:

— Почему?

— А потому, что гибкость состава перстовъ не позволитъ.

А Севастьянъ говоритъ:

— Это пустяки! Развѣ персты мои могутъ мнѣ на что-нибудь позволять или не позволять? Я имъ господинъ, а они мнѣ слуги и мнѣ повинуются.

Англичанинъ улыбается.

— Значитъ ты,—говоритъ:—намъ запечатлѣннаго Ангела подведешь?

— Отчего же,— отвѣчаетъ: — я не изъ тѣхъ мастеровъ, которые дѣла боятся, а меня самого дѣло боится; такъ подведу, что и не отличите отъ настоящей.

— Хорошо,—молвилъ Яковъ Яковлевичъ:—мы немедля же станемъ стараться настоящую икону достать, а ты тѣмъ

часомъ, чтобъ увѣрить меня, докажи мнѣ свое искусство: напиши ты моей женѣ икону въ древне-русскомъ родѣ и такую, чтобъ ей нравилась.

— Какое же во-имя?

— А ужъ этого я,—говоритъ:—не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьянъ подумалъ и вопрошаетъ:

— А о чемъ ваша супруга болѣе Богу молится?

— Не знаю, — говоритъ: — другъ мой; не знаю о чемъ, но, я думаю, вѣрнѣе всего о дѣтяхъ, чтобъ изъ дѣтей честные люди вышли.

Севастьянъ опять подумалъ и отвѣчаетъ:

— Хорошо-съ, я и подъ этотъ вкусъ потрафлю.

— Какъ же ты потрафишь?

— Такъ изображу, что будетъ созерцательно и усугубленію молитвеннаго духа супруги вашей благопріятно.

Англичанинъ велѣлъ ему дать всѣ удобства у себя на вышкѣ, но только Севастьянъ не сталъ тамъ работать, а сѣлъ у окошечка на чердачкѣ надъ Луки Кирилова горенкой и началъ свою акцію.

И что же онъ, государи мои, сдѣлалъ, чего мы и вообразить не могли. Какъ шло дѣло о дѣтяхъ, то мы думали, что онъ изобразитъ Романа чудотворца, коему молятся отъ неплодія, или избіеніе младенцевъ въ Іерусалимѣ, что всегда матерямъ, потерявшимъ чадъ, бываетъ пріятно, ибо тамъ Рахиль съ ними плачетъ о дѣтяхъ и не хочетъ утѣшиться; но сей мудрый изографъ, сообразивъ, что у англичанки дѣти есть и она льетъ молитву не о дарованіи ихъ, а объ оправданіи ихъ нравственности, взялъ и совсѣмъ иное написалъ, къ цѣлямъ ея еще болѣе соотвѣтственное. Избралъ онъ для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то-есть въ одну ручную пядь величины, и началъ на ней талантствовать. Прежде всего онъ ее, разумѣется, добре вылевкасилъ крѣпкимъ казанскимъ алебастромъ, такъ что сталъ этотъ левкасъ гладокъ и крѣпокъ какъ слоновья кость, а потомъ разбилъ на ней четыре ровныя мѣста и въ каждомъ мѣстѣ обозначилъ особливую малую икону, да еще ихъ стѣснилъ тѣмъ, что промежду нихъ на олифѣ золотомъ каймы положилъ, и сталъ писать: въ первомъ мѣстѣ написалъ рождество Іоанна Предтечи, восемь фигуръ и новорожденное дитя, и палаты;

во второмъ — рождество Пресвятыя Владычицы Богородицы, шесть фигуръ и новорожденное дитя, и палаты; въ третьемъ — Спасово пречистое рождество, и хлѣвъ, и ясли, и предстоящіе Владычица и Іосифъ, и припадшіе боготечные волхвы, и Соломія баба, и скотъ всякимъ подобіемъ: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль птица, жидамъ запрещенная, коя пишется въ означеніе, что идетъ сіе не отъ жидовства, а отъ Божества, все создавшаго. А въ четвертомъ отдѣленіи рожденіе Николая Угодника, и опять тутъ и святой угодникъ въ младенчествѣ, и палаты, и многіе предстоящіе. И что тутъ былъ за смыслъ, чтобы видѣть предъ собою воспитателей столь добрыхъ чадъ, и что за художество, всѣ фигурки ростомъ въ булавочку, а вся ихъ одушевленность видна и движеніе. Въ богородничномъ рождествѣ, напримѣръ, святая Анна, какъ по греческому подлиннику назначено, на одрѣ лежитъ, предъ нею дѣвицы тимпанницы стоятъ, и однѣ держатъ дары, а иныя солнечникъ, иныя же свѣщи. Едина жена держитъ святую Анну подъ плещи; Іоакимъ зритъ въ верхнія палаты; баба святую Богородицу омываетъ въ купели до пояса: посторонь дѣвица льетъ изъ сосуда воду въ купель. Палаты всѣ разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя боканъ, и въ этой нижней палатѣ сидитъ Іоакимъ и Анна на престолѣ, и Анна держитъ Пресвятую Богородицу, а вокругъ между палатъ столбы каменные, запоны червленные, а ограда бѣла и вохряна... Дивно, дивно все это Севастьянъ изобразилъ, и въ премельчайшемъ каждомъ личикѣ все богозрительство выразилъ и надписалъ образъ «Доброчадіе» и принесъ англичанамъ. Тѣ глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорятъ, такой фантазіи не ожидали и такой тонкости мелкоскопическаго письма не слыхивали, даже въ мелкоскопъ смотрятъ, и то никакой ошибки не находятъ, и дали они Севастьяну за икону двѣсти рублей и говорятъ:

— Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьянъ отвѣчаетъ:

— Могу.

— Такъ скопируй мнѣ,—говоритъ:—въ перстень женинъ портретъ.

Но Севастьянъ говоритъ:

— Нѣтъ, вотъ ужъ этого я не могу.

— А почему?

— А потому,—говоритъ:—что, во-первыхъ, я этого искусства не пробовалъ, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осужденію не подпасть.

— Что за вздоръ такой!

— Никакъ нѣтъ,—отвѣчаетъ:—это не вздоръ, а у насъ есть отеческое постановленіе отъ благихъ временъ, и въ патріаршей грамотѣ подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дѣло, еже есть иконное воображеніе, сподобится, то тому изряднаго жительства изографу ничего, кромѣ святыхъ иконъ, не писать!»

Яковъ Яковлевичъ говоритъ:

— А если я тебѣ пятьсотъ рублей дамъ за это?

— Хоть и пятьсотъ тысячъ обѣщайте, все равно, при васъ онѣ останутся.

Англичанинъ просіялъ и шутя говоритъ женѣ:

— Какъ это тебѣ нравится, что онъ твое лицо писать считаетъ для себя за униженіе?

А самъ ей по-аглицки прибавляетъ: «охъ, молъ, гутъ карахтеръ». Но только молвилъ въ концѣ:

— Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дѣло табашить, а у васъ, я вижу, на все свои правила, такъ чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помѣшать можетъ.

Мы отвѣчаемъ, что ничего такого не предвидимъ.

— Ну, такъ смотрите,—говоритъ:—я начинаю,—и онъ поѣхалъ ко владыкѣ съ просьбою, что хочетъ-де онъ поусердствовать, на запечатлѣномъ Ангелѣ ризу позолотить и вѣнецъ украсить. Владыко на это ему ни то, ни се: ни отказываетъ, ни приказываетъ; а Яковъ Яковлевичъ не отстаетъ и домогаетъ; а мы уже ждемъ, что порохъ огня.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

При семъ позвольте вамъ, господа, напомнить, что съ тѣхъ поръ, какъ это дѣло началось, время прошло не мало, и на дворѣ стояло Спасово Рождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравнѣ со здѣшнимъ: тамъ время бываетъ съ капризцемъ, и одинъ разъ справляетъ этотъ праздникъ по зимнему, а въ другой разъ не вѣсть по какому: дождитъ, мокнетъ; одинъ день слегка морозцемъ постянетъ,

а на другой опять растворитъ; рѣку то ледкомъ засалитъ, то вспучитъ и несетъ крыги какъ будто въ весеннюю половодь... Однимъ словомъ, самое непостоянное время, и какъ по тамошнему мѣсту зовется уже не погода, а просто *халепа*, такъ оно ей и пристало халепой быть.

Въ тотъ годъ, къ коему разсказъ мой клонитъ, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся съ изографомъ, я не могу вамъ и перечислить, какое число разъ наши то на зимнемъ, то на лѣтнемъ положеніи себя поставляли. А время было, по работѣ глядя, самое горячее, потому что уже у насъ всѣ семь быковъ были готовы и съ одного берега на другой цѣпи переносились. Хозяевамъ, разумѣется, какъ можно скорѣе хотѣлось эти цѣпи соединить, чтобы на нихъ къ половодью хоть какой-нибудь временной мостикъ подвѣсить для доставки матеріала, но это не удалось: только цѣпи перетянули, жамкнулъ такой морозище, что мостить нельзя. Такъ и осталось; цѣпи однѣ висятъ, а моста нѣтъ. Зато создалъ Богъ другой мостъ: рѣка стала, и нашъ англичанинъ поѣхалъ по льду за Днѣпръ хлопотать о нашей иконѣ и оттуда возвращается и говоритъ мнѣ съ Лукою:

— Завтра,—говоритъ:—ребята, ждите, я вамъ ваше сокровище привезу.

Господи, что только мы въ эту пору почувствовали! Хотѣли было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпѣть ли сердцу человѣчу! Вмѣсто соблюденія тайности, обѣгли мы всѣхъ своихъ, во всѣ окна постучали и все другъ къ другу шепчемъ, да не знать чего бѣгаемъ отъ избы къ избѣ, благо ночь свѣтлая, превосходная, морозъ по снѣгу самоцвѣтнымъ камнемъ сыпитъ, а въ чистомъ небѣ Есперъ звѣзда горитъ.

Проведя въ такой радостной бѣготнѣ ночь, день мы встрѣтили въ томъ же восхищенномъ ожиданіи, и съ утра уже отъ своего изографа не отходимъ и не знаемъ, куда за нимъ его сапоги понести, потому что пришелъ часъ, когда все зависитъ отъ его художества. Что только онъ скажетъ подать или принести, мы во всякій слѣдъ вдесятеромъ летимъ и такъ усердствуемъ, что одинъ другого съ ногъ валимъ. Даже дѣдъ Марой до той поры бѣгалъ, что, зацѣпившись, каблукъ оторвалъ. Одинъ только самъ изографъ спокоенъ, потому что ему эти дѣла было уже не впервые дѣлать, и

потому онъ несуетно себѣ все приготовлялъ: яйцо кваскомъ развелъ, олифу осмотрѣлъ, приготовилъ левкасный холстикъ, старенькія досточки, какія подхожія къ величинѣ иконы, разложилъ, настроилъ острую пилку, какъ струну, въ излучинѣ изъ крѣпкаго обода, и сидитъ подъ окошечкомъ, да какіе предвидитъ нужными вапы пальцами въ долони перетираетъ. А мы всѣ вымылись въ печи, понадѣвали чистыя рубашки и стоимъ на бережку, смотримъ на градъ убѣжища, откуда долженъ къ намъ свѣтоносный гость пожаловать; а сердца такъ то затрепещутъ, то падаютъ...

Ахъ, какія были мгновенія, и длились они съ ранней зари даже до вечера, и вдругъ видимъ мы, что по льду отъ города англичаниновы сани несутся и прямо къ намъ... По всѣмъ трепетъ прошелъ, шапку всѣ подъ ноги бросили и молимся.

— Боже Отецъ духовомъ и ангеломъ: пощади рабы Твои!

И съ этимъ моленьемъ упали ницъ на снѣгъ и впередъ жадно руки простираемъ, и вдругъ слышимъ надъ собою англичаниновъ голосъ:

— Эй, вы! Старовѣры! Вотъ вамъ привезъ!—и подаетъ узелокъ въ бѣломъ платочкѣ.

Лука принялъ узелокъ и замеръ: чувствуетъ, что это что-то малое и легковѣсное! Раскрылъ уголокъ платочка и видитъ: это одна басма съ нашего Ангела сорвана, а самой иконы нѣтъ.

Кинулись мы къ англичанину и говоримъ ему съ плачемъ:

— Обманули вашу милость, тутъ иконы нѣтъ, а одна басма серебряная съ нея прислана.

Но англичанинъ уже не тотъ, что былъ къ намъ до сего времени: вѣрно досадило ему это долгое дѣло, и онъ крикнулъ на насъ:

— Да что же вы все путаете! Вы же сами мнѣ говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросилъ: а вы, вѣрно, просто не знаете, что вамъ нужно!

Мы ему, видя, что онъ возклокоталъ, съ осторожностью было начали объяснять, что намъ икона нужна, чтобы поддѣлокъ сдѣлать, но онъ не сталъ насъ болѣе слушать, выгналъ вонъ и одну милость показалъ, что велѣлъ изографа къ нему послать.

Пошелъ къ нему изографъ Севастьянъ, а онъ точно такимъ же манеромъ и на него съ клокотаніемъ.

— Твои,—говоритъ:—мужики сами не знаютъ, чего хотятъ: то просили ризу, говорили, что тебѣ только надо размѣры, да абрисъ снять, а теперь ревутъ, что это имъ ни къ чему не нужно; но я болѣе вамъ ничего сдѣлать не могу, потому что архіерей образа не даетъ. Поддѣлывай скорѣе образъ, обложимъ его ризой и отдадимъ, а старый мнѣ секретарь выкрадетъ.

Но Севастьянъ изографъ, какъ человѣкъ разсудительный, обаялъ его мягкою рѣчью и отвѣтствуетъ:

— Нѣтъ,—говоритъ:—ваша милость; наши мужички свое дѣло знаютъ, и намъ, дѣйствительно, подлинная икона впередъ нужна. Это, говоритъ, — только въ обиду намъ выдумано, что мы будто по переводамъ, точно по трафаретамъ пишемъ. А у насъ въ подлинникѣ постановленъ законъ, но исполненіе его дано свободному художеству. По подлиннику, напримѣръ, повелѣно писать Святого Зосиму или Герасима со львомъ, а не стѣснена фантазія изографа какъ при нихъ того льва изобразить? Святого Неофита указано съ птицею голубемъ писать; Конона Градаря съ цвѣткомъ, Тимоѳея съ ковчежцемъ, Георгія и Савву Стратилата съ копьями, Ѳотія съ корнавкой, а Кондрата съ облаками, ибо онъ облака воспитывалъ, но всякій изографъ воленъ это изобразить какъ ему фантазія его художества позволитъ, и потому опять не могу я знать, какъ тотъ Ангелъ писанъ, котораго надо подмѣнить.

Англичанинъ все это выслушалъ и выгналъ Севастьяна какъ и насъ, и нѣтъ отъ него никакого дальше рѣшенія, и сидимъ мы, милостивые государи, надъ рѣкою, яко враны на ныращѣ, и не знаемъ, вполнѣ ли отчаиваться или еще чего ожидать, но идти къ англичанину уже не смѣемъ, а къ тому же, и погода стала опять единохарактерна намъ: спустилась ужасная оттепель и засѣялъ дождь, небо среди дня все яко дымъ коптильный, а ночи темнѣющія, даже Есперъ звѣзда, которая въ декабрѣ съ тверди небесной не сходитъ, и та скрылась и ни разу не выглянетъ... Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово Рождество, а въ самый сочельникъ ударилъ громъ, полилъ ливень, и льетъ, и льетъ безъ уставу два дни и три дни: снѣгъ весь смыло и въ рѣку снесло, а на рѣкѣ ледъ началъ

синѣть да пучиться, и вдругъ его въ предпослѣдній день года всперло и понесло... Мчитъ его сверху и швыряетъ крыга на крыгу по мутной волнѣ, у нашихъ построекъ всю рѣку затерло: горой содитъ льдина на льдину и прядаютъ онѣ и сами звенятъ, прости Господи, точно демоны... Какъ стоятъ постройки и этакое несподиванное тѣсненіе терпятъ, даже удивительно. Страшные милліоны могло разрушить, но намъ не до того; потому что у насъ изографъ Севастьянъ, видя, что дѣла ему никакого нѣтъ, вскромолился, — складаетъ пожитки и хочетъ въ иныя страны идти, и никакъ его удержать не можемъ.

Да не до того было и англичанину, потому что съ нимъ за эту непогодь что-то такое подѣлалось, что онъ мало съ ума не сошелъ: все, говорятъ, ходилъ да у всѣхъ спрашивалъ: «Куда дѣться? Куда дѣваться?» И потомъ вдругъ преодолѣлъ себя какъ-то, призываетъ Луку и говоритъ:

— Знаешь, что, мужикъ: пойдемъ вашего Ангеля красть?

Лука отвѣчаетъ:

— Согласенъ.

По Луки замѣчанію было такъ, что англичанинъ точно будто жаждалъ испытать опасныхъ дѣяній и положилъ такъ, что поѣдетъ онъ завтра въ монастырь къ епископу, возьметъ съ собою изографа подъ видомъ злотаря и попроситъ ему икону Ангела показать, дабы онъ могъ съ нея обстоятельный переводъ снять будто для ризы; а между тѣмъ какъ можно лучше въ нее вглядится и дома напишетъ съ нея поддѣлокъ. Затѣмъ, когда у настоящаго злотаря риза будетъ готова, ее привезутъ къ намъ за рѣку, а Яковъ Яковлевичъ поѣдетъ опять въ монастырь и скажетъ, что хочетъ архіерейское праздничное служеніе видѣть и войдетъ въ алтарь и станетъ въ шинели въ темномъ алтарѣ у жертвенника, гдѣ наша икона на окнѣ бережется, и скрадетъ ее подъ полу, и, отдавъ человѣку шинель, якобы отъ жары, велитъ ее вынесть. А на дворѣ за церковью нашъ человѣкъ, чтобы сейчасъ изъ той шинели икону взялъ и летѣлъ съ нею сюда на сей бокъ, и здѣсь изографъ долженъ въ продолженіе времени, пока идетъ всенощная, старую икону со старой доски снять, а поддѣлокъ вставить, ризой одѣть и назадъ прислать, такимъ манеромъ, чтобы Яковъ Яковлевичъ могъ ее опять на окно поставить, какъ будто ничего не бывало.

— Что же-съ? Мы, говоримъ, на все согласны!

— Только смотрите же,—говоритъ:—помните, что я стану на мѣстѣ вора и хочу вамъ вѣрить, что вы меня не выдадите.

Лука Кириловъ отвѣчаетъ:

— Мы, Яковъ Яковлевичъ, не того духа люди, чтобъ обманывать благодѣтелей.—Я возьму икону и вамъ объ назадъ принесу, и настоящую, и поддѣлокъ.

— Ну, а если тебѣ что-нибудь помѣшаетъ?

— Что же такое мнѣ можетъ помѣшать?

— Ну, вдругъ ты умрешь или утонешь.

Лука думаетъ: отчего бы, кажется, быть такому препятствію, а, впрочемъ, соображаетъ, что, дѣйствительно, трафляется иногда и кладязь копающему обрѣтать сокровище, а идущему на торгъ встрѣчать пса бѣснуема, и отвѣчаетъ:

— На такой случай я, сударь, при васъ такого своего человѣка оставлю, который, въ случаѣ моей неустойки, всю вину на себя приметъ и смерть претерпитъ, а не выдастъ васъ.

— А кто это такой человѣкъ, на котораго ты такъ полагаешься?

— Ковачъ Марой,—отвѣчаетъ Лука.

— Это старикъ?

— Да, онъ не молодъ.

— Но онъ, кажется, глупъ?

— Намъ, молъ, его умъ не надобенъ, но зато сей человѣкъ достойный духъ имѣетъ.

— Какой же,—говоритъ:—можетъ быть духъ у глупаго человѣка?

— Духъ, сударь, — отвѣтствуетъ Лука: — бываетъ не по разуму; духъ идѣ же хощетъ дышитъ, и все равно, что волосъ растетъ у одного долгій и роскошный, а у другого скудный.

Англичанинъ подумалъ и говоритъ:

— Хорошо, хорошо: это все интересныя ощущенія. Ну, а какъ же онъ меня выручитъ, если я попадусь?

— А вотъ какъ,—отвѣчаетъ Лука:—вы будете въ церкви у окна стоять, а Марой станетъ подъ окномъ снаружи, и если я къ концу службы съ иконами не явлюсь, то онъ стекло разобьетъ и въ окно полѣзетъ и всю вину на себя приметъ.

Это англичанину очень понравилось.

— Любопытно,—говоритъ:—любопытно! А почему я дол-

женъ этому вашему глупому человѣку съ духомъ вѣрить, что онъ самъ не убѣжитъ?

— Ну, ужъ это, молъ, дѣло взаймовѣрія.

— Взаймовѣрія, повторяетъ...—Гм, гм, взаймовѣрія! Я за глупаго мужика въ каторгу, или онъ за меня подъ кнутъ? Гм, гм! Если онъ сдержитъ слово... подъ кнутъ... Это интересно.

Послали за Мароемъ и объяснили ему въ чемъ дѣло, а онъ говоритъ:

— Ну такъ что же?

— А ты не убѣжишь?—говоритъ англичанинъ.

А Марой отвѣчаетъ:

— Зачѣмъ?

— А чтобы тебя плетьми не били, да въ Сибирь не сослали.

А Марой говоритъ:

— Экося!—да больше и разговаривать не сталъ.

Англичанинъ такъ и радуется: весь ожилъ.

— Прелесть,—говоритъ:—какъ интересно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Сейчасъ же за этимъ переговоромъ началась и акція. Навеслили мы на утро большой хозяйскій баркасъ и перевезли англичанина на городской берегъ: онъ тамъ сѣлъ съ изографомъ Севастьяномъ въ коляску и покатилъ въ монастырь, а черезъ часъ съ небольшимъ смотримъ, бѣжитъ нашъ изографъ и въ рукахъ у него листокъ съ переводомъ иконы.

Спрашиваемъ:

— Видѣлъ ли, родной нашъ, и можешь ли теперь поддѣлокъ потрафить?

— Видѣлъ,—отвѣчаетъ:—и потрафлю, только развѣ какъ бы малость чѣмъ живѣе не сдѣлалъ, но это не бѣда, когда икона сюда придетъ, я тогда въ одну минуту яркость цвѣта усмирю.

— Батюшка,—молимъ его:—порадѣй!

— Ничего,—отвѣчаетъ:—порадѣю!

И какъ мы его привезли, онъ сейчасъ сѣлъ за работу и къ сумеркамъ у него на холстикѣ поспѣлъ Ангелъ, двѣ капли воды какъ нашъ запечатлѣнный, только красками какъ будто немножко свѣжѣе.

Къ вечеру и злотарь новый окладъ прислалъ, потому онъ еще прежде былъ по басмѣ заказанъ.

Наступалъ самый опасный часъ нашего воровства.

Мы, разумѣется, во всемъ изготовились и предъ вече-

ромъ помолились и ждемъ должнаго мгновенія, и только что на томъ берегу въ монастырѣ въ первый колоколъ ко всенощной ударили, мы сѣли три человѣка въ небольшую ладью: я, дѣдъ Марой, да дядя Лука. Дѣдъ Марой захватилъ съ собою топоръ, долото, ломъ и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо подъ монастырскую ограду.

А сумерки въ эту пору, разумѣется, раннія, и ночь, несмотря на вселуніе, стояла претемная, настоящая воровская.

Переѣхавши, Марой и Лука оставили меня подъ бережкомъ въ лодкѣ, а сами покралисъ въ монастырь. Я же весла въ лодку забралъ, а самъ концомъ веревки зацѣпился и нетерпѣливо жду, чтобы чуть Лука ногой въ лодку ступитъ, сейчасъ плыть. Время мнѣ ужасно долго казалось отъ томленія, какъ все это выйдетъ и успѣемъ ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерня и всенощная пройдетъ? И кажется мнѣ, что уже времени и не вѣсть сколь много ушло; а темень страшная, вѣтеръ рветъ, и вмѣсто дождя, мокрый снѣгъ повалилъ, и лодку вѣтромъ стало покалыхивать, и я, лукавый рабъ, все мало-по-малу угрѣваясь въ свитенкѣ, началъ дремать. Только вдругъ въ лодку толкъ и закачало. Я встрепенулся и вижу въ ней стоитъ дядя Лука и не своимъ передавленнымъ голосомъ говоритъ:

— Греби!

Я беру весла, да никакъ со страха въ уключины не попаду. Насилу справился и отвалилъ отъ берега, да и спрашиваю:

— Добыли, дядя, Ангела?

— Со мной онъ, греби мощнѣй!

— Разскажи же,—пытаю:—какъ вы его достали?

— Непорушно достали какъ было сказано.

— А успѣемъ ли назадъ взворотить?

— Должны успѣть: еще только великій прокименъ вскричали. Греби! Куда ты гребешь?

Я оглянулся: ахъ ты Господи! и точно я не туда гребу: все кажись какъ надлежитъ, впоперекъ теченія держу, а нашей слободы нѣтъ,—это потому что снѣгъ и вѣтеръ такой что страхъ, и въ глаза лѣпитъ, и вокругъ реветъ и качаетъ, а сверху рѣки точно какъ льдомъ дышитъ.

Ну, однако, милостью Божіею мы доставились; соскочили оба съ лодки и бѣгомъ побѣжали. Изографъ уже готовъ: дѣйствуетъ хладнокровно, но твердо: взялъ прежде икону въ руки, а какъ народъ передъ нею упалъ и поклонился,

то онъ подпустилъ всѣхъ познаменоваться съ запечатлѣннымъ ликомъ, а самъ смотритъ и на нее, и на свою поддѣлку, и говоритъ:

— Хороша! только надо ее маленько грязцой съ шафраномъ усмирить! А потомъ взялъ икону съ реберъ въ тиски и налячилъ свою пилку что̀ приправилъ въ крутой обручъ и... пошла эта пилка порхать. Мы всѣ стоимъ и того и смотримъ, что повредитъ! Страсть-съ! Можете себѣ вообразить, что вѣдь спиливалъ онъ ее этими своими махинными ручищами съ доски тониною не толще какъ листокъ самой тонкой писчей бумаги... Долго ли тутъ до грѣха: то-есть вотъ на волосъ покриви пила, такъ ликъ и раздеретъ и насквозь выскочитъ! Но изографъ Севастьянъ всю эту акцію совершалъ съ такою холодностью и искусствомъ, что, глядя на него, съ каждой минутой дѣлалось мирнѣй на душѣ. И точно спилилъ онъ изображеніе на тончайшемъ самомъ слоѣ, потомъ въ одну минуту этотъ спилокъ изъ краевъ вырѣзалъ, а края опять на ту же доску наклеилъ, а самъ взялъ свою поддѣлку скомкалъ, скомкалъ ее въ кулакѣ и ну ее трепать объ край стола, и терхать въ долоняхъ, какъ будто рвалъ и погубить ее хотѣлъ, и, наконецъ, глянулъ сквозь холстъ на свѣтъ, а весь этотъ новенькій списочекъ какъ сито сдѣлался въ трещинкахъ... Тутъ Севастьянъ сейчасъ взялъ его и вклеилъ на старую доску въ средину краевъ, а на долонь набралъ какой зналъ темной красочной грязи, замѣсилъ ее пальцами со старою олифою и шафраномъ въ родѣ замазки и ну все это долонью въ тотъ потерханный списочекъ крѣпко-накрѣпко втирать... Живо онъ все это свершалъ и вновь писанная иконка стала совсѣмъ старая и какъ разъ такая, какъ настоящая. Тутъ этотъ поддѣлокъ въ минуту проолифили и другіе наши люди стали окладомъ ее одѣвать, а изографъ вправилъ въ приготовленную досточку настоящій вышилокъ и требуетъ себѣ скорѣе лохмотъ старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акція распечатлѣнія.

Подали изографу шляпу, а онъ ее сейчасъ перервалъ пополамъ на колѣнѣ и, покрывъ ею запечатлѣнную икону, кричитъ:

— Давай каленый утюгъ!

Въ печи, по его приказу, лежалъ въ жару раскаленъ тяжелый портняжій утюгъ.

Михайлица зацѣпила его и подаетъ на ухватѣ, а Севастьянъ обернулъ ручку тряпкою, поплевалъ на утюгъ, да какъ дернетъ имъ по шляпному обрывку!.. Отъ разу съ этого войлока злой смрадъ повалилъ, а изографъ еще разъ, да еще имъ третъ и вразъ отхватываетъ. Рука у него просто какъ молонья летаетъ и дымъ отъ поярка уже столбомъ валитъ, а Севастьянъ знай печетъ: одной рукой поярочекъ по-малу поворачиваетъ, а другою — утюгомъ дѣйствуетъ, и все разъ отъ разу неспѣшнѣе да сильнѣе налегаетъ, и вдругъ отбросилъ и утюгъ, и поярокъ, и поднялъ къ свѣту икону, а печати какъ не бывало: крѣпкая строгановская олифа выдержала, и сургучъ весь свелся, только чуть какъ будто красноогненная роса осталась на ликѣ, но зато свѣтлобожественный ликъ весь виденъ...

Тутъ кто молится, кто плачетъ, кто руки изографу лѣзетъ цѣловать, а Лука Кириловъ своего дѣла не забываетъ и, минутою дорожа, подаетъ изографу его поддѣльную икону и говоритъ:

— Ну, кончай же скорѣй!

А тотъ отвѣчаетъ:

— Моя акція кончена, я все сдѣлалъ, за что брался.

— А печать наложить.

— Куда?

— А вотъ сюда этому новому Ангелу на ликъ, какъ у того было.

А Севастьянъ покачалъ головою и отвѣчаетъ:

— Ну, нѣтъ, я не чиновникъ, чтобъ этакое дѣло дерзнулъ сдѣлать.

— Такъ какъ же намъ теперь быть?

— А уже я,—говоритъ:—этого не знаю. Надо было вамъ на это чиновника или нѣмца припасти, а улустили сихъ дѣятелей получить, такъ теперь сами дѣлайте.

Лука говоритъ:

— Что ты это! да мы ни за что не дерзенмъ!

А изографъ отвѣчаетъ:

— И я не дерзну.

И идетъ у насъ въ эти краткія минуты такая сумятица, какъ вдругъ влетаетъ въ избу Якова Яковлевича жена, вся блѣдная какъ смерть, и говоритъ:

— Неужели вы еще не готовы?

Говоримъ: и готовы, и не готовы: важнѣйшее сдѣлали, но ничтожнаго не можемъ.

А она нѣмуетъ по-своему:

— Что же вы ждете? Развѣ вы не слышите, что̀ на дворѣ?

Мы прислушались и сами еще хуже ея поблѣднѣли: въ своихъ заботахъ мы на погоду вниманія не обращали, а теперь слышимъ гулъ: ледъ идетъ!

Выскочилъ я и вижу, онъ уже сплошной во всю рѣку претъ, какъ звѣрье какое бѣшеное, крыга на крыгу скачетъ, другъ на дружку такъ и прядаютъ, и шумятъ, и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся къ лодкамъ, ихъ ни одной нѣтъ: всѣ унесло... У меня во рту языкъ осметкомъ сталъ, такъ что никакъ его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я въ землю ухожу... Стою и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тутъ во тьмѣ мечемся, англичанка, оставшись тамъ въ избѣ одна съ Михайлицей и узнавъ, въ чемъ задержка, схватила икону и... выскакиваетъ съ нею черезъ минуту на крыльцо съ фонаремъ и кричитъ:

— Нате, готово!

Мы глянули: у новаго Ангела на ликѣ печать!

Лука сейчасъ обѣ иконы за пазуху и кричитъ:

— Лодку!

Я открываюсь, что нѣтъ лодокъ, унесло.

А ледъ, я вамъ говорю, такъ табуномъ и валитъ, ломится объ ледорѣзы и трясетъ мостъ такъ, что индо слышно, какъ эти цѣпи, на что толсты, въ добрую половицу, а и то погромыхиваютъ.

Англичанка, какъ поняла это, всплеснула руками, да какъ взвизгнетъ нечеловѣческимъ голосомъ: «Джемсъ!» и пала не живая.

А мы стоимъ и одно чувствуемъ:

— Гдѣ же наше слово? что̀ теперь будетъ съ англичаниномъ? что̀ будетъ съ дѣдомъ Мароемъ?

А въ это время въ монастырѣ на колокольнѣ зазвонили третій звонъ.

Дядя Лука вдругъ встрепенулся и воскликнулъ къ англичанкѣ:

— Очнись, государыня, мужъ твой цѣлъ будетъ, а развѣ только стараго дѣда нашего Мароя ветхую кожу станетъ палачъ терзать и доброчестное лицо его клеймомъ обезчеститъ, но быть тому только развѣ послѣ моей смерти!—и съ этимъ словомъ перекрестился, выступилъ и пошелъ.

Я вскрикнулъ:

— Дядя Лука, куда ты? Левонтій погибъ и ты погиб-

нешь!—да и кинулся за нимъ, чтобъ удержать, но онъ поднялъ изъ-подъ ногъ весло, которое я, пріѣхавши, на-земь бросилъ, и, замахнувшись на меня, крикнулъ:

— Прочь! или на смерть ушибу!

Господа, довольно я предъ вами въ своемъ разсказѣ открыто себя малодушникомъ признавалъ, какъ въ то время, когда покойнаго отрока Левонтія на землѣ бросилъ, а самъ на древо вскочилъ, но ей, право, говорю вамъ, что я бы тутъ не испугался весла и отъ дяди Луки бы не отступилъ, но... угодно вамъ вѣрьте, не угодно нѣтъ, а только въ это мгновеніе не успѣлъ я имя Левонтія вспомнить, какъ промежду имъ и мною во тьмѣ обрисовался отрокъ Левонтій и рукой погрозилъ. Этого страха я не выдержалъ и возринулся назадъ, а Лука стоитъ уже на концѣ цѣпи, и вдругъ, утвердившись на ней ногою, молвитъ сквозь бурю:

— Заводи катавасію!

Головщикъ нашъ Ареѳа тутъ же стоялъ и сразу его послушалъ и ударилъ: «Отверзу уста», а другіе подхватили, и мы катавасію кричимъ, бури-вою сопротивляясь, а Лука смертнаго страха не боится и по мостовой цѣпи идетъ. Въ одну минуту онъ одинъ первый пролетъ перешелъ и на другой спущается... А далѣе? далѣе объяла его тьма, и не видно: идетъ онъ или уже упалъ и крыгами проклятыми его въ пучину забуровило, и не знаемъ мы: молить ли о его спасеніи или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Теперь что же-съ происходило на томъ берегу? Преосвященный владыко архіерей своимъ правиломъ въ главной церкви всенощную совершалъ, ничего не зная, что у него въ это время въ придѣлѣ крали; нашъ англичанинъ, Яковъ Яковлевичъ, съ его соизволенія, стоялъ въ сосѣднемъ придѣлѣ въ алтарѣ и, скравъ нашего Ангела, выслалъ его, какъ намѣревался, изъ церкви въ шинели, и Лука съ нимъ помчался; а дѣдъ же Марой, свое слово наблюдая, остался подъ тѣмъ самымъ окномъ на дворѣ и ждетъ послѣдней минуты, чтобы какъ Лука не возвратится, сейчасъ англичанинъ отступитъ, а Марой разобьетъ окно и полѣзетъ въ церковь съ ломомъ и съ долотомъ, какъ настоящій злодѣй. Англичанинъ глазъ съ него не спускаетъ и видитъ, что дѣдъ Марой исправенъ, стоитъ на своемъ послушаніи,

и чуть замѣтитъ, что англичанинъ лицомъ къ окну прилегаетъ, чтобы его видѣть, онъ сейчасъ киваетъ, что здѣсь, молъ, я — отвѣтный воръ, здѣсь!

И оба такимъ образомъ другъ другу свое благородство являютъ и не позволяютъ одинъ другому себя во взаимовѣріи превозвысить, а къ этимъ двумъ вѣрамъ третія, еще сильнѣйшая двизаетъ, но только не знаютъ они, что та третья вѣра творитъ. Но вотъ какъ ударили въ послѣдній звонъ всенощной, англичанинъ и пріотворилъ тихонько оконную форточку, чтобы Марой лѣзъ, а самъ уже готовъ отступать, но вдругъ видитъ, что дѣдъ Марой отъ него отворотился и не смотритъ, а напряженно за рѣку глядитъ и твердисловитъ:

— Перенеси Богъ! перенеси Богъ,перенеси Богъ!—а потомъ вдругъ какъ вспрыгнетъ и самъ словно пьяный пляшетъ, а самъ кричитъ:—Перенесъ Богъ, перенесъ Богъ!

Яковъ Яковлевичъ въ величайшее отчаяніе пришелъ, думаетъ:

— Ну, конецъ: глупый старикъ помѣшался, и я погибъ, анъ смотритъ, Марой съ Лукою уже обнимаются.

Дѣдъ Марой шавчитъ:

— Я тебя назиралъ, какъ ты съ фонарями по цѣпи шелъ.

А дядя Лука говоритъ:

— Со мною не было фонарей.

— Откуда же свѣтеніе?

Лука отвѣчаетъ:

— Я не знаю: я не видалъ свѣтенія, я только бѣгомъ бѣжалъ и не знаю, какъ перебѣгъ и не упалъ... точно меня кто подъ обѣ руки несъ.

Марой говоритъ:

— Это Ангелы, — я ихъ видѣлъ и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня.

А Лукѣ какъ некогда было много говорить, то дѣду онъ не отвѣчаетъ, а скорѣе англичанину въ форточку обѣ иконы подаетъ. Но тотъ взялъ и кажетъ ихъ назадъ.

— Что же, говоритъ, — печати нѣтъ?

Лука говоритъ:

— Какъ нѣтъ?

— Да нѣтъ.

Ну, тутъ Лука перекрестился и говоритъ:

— Ну, кончено! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный Ангелъ совершилъ, и я знаю, къ чему оно.

И сразу бросился Лука въ церковь, протѣснился въ алтарь, гдѣ владыку разоблачали, и, павъ ему въ ноги, говоритъ:

— Такъ и такъ, я святотатецъ, и вотъ что сейчасъ совершилъ: велите меня оковать и въ тюрьму посадить.

А владыка въ мѣру чести своея все то выслушалъ и отвѣтствуетъ:

— Это тебѣ, должно быть, внушительно теперь, гдѣ вѣра дѣйственнѣе: вы, говоритъ,—плутовствомъ съ своего Ангела печать свели, а нашъ самъ съ себя ее снялъ и тебя сюда привелъ.

Дядя говоритъ:

— Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорѣе на казнь.

А архіерей отвѣтствуетъ разрѣшительнымъ словомъ:

— Властію, мнѣ данною отъ Бога, прощаю и разрѣшаю тебя, чадо. Приготовься за утро принять пречистое тѣло Христово.

Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вамъ и разсказывать: Лука Кириловъ и дѣдъ Марой утромъ ворочаются и говорятъ:

— Отцы и братіе, мы видѣли славу Ангела господствующей церкви, и все божественное о ней смотрѣніе въ добротолюбіи ея іерарха, и сами къ оной освященнымъ елеемъ примазались и тѣла, и крови Спаса сегодня за обѣднею пріобщались.

А я какъ давно, еще съ гостинокъ у старца Памвы, имѣлъ влеченіе воедино одушевиться со всею Русью, воскликнулъ за всѣхъ:

— И мы за тобой, дядя Лука! да такъ всѣ въ одно стадо, подъ одного пастыря, какъ ягнятки, и подобрались, и едва лишь тутъ только поняли, къ чему и куда всѣхъ насъ нашъ запечатлѣнный Ангелъ велъ, пролія сначала свои стопы и потомъ распечатлѣвшись ради любви людей къ людямъ, явленной въ сію страшную ночь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Разсказчикъ кончилъ. Слушатели еще молчали, но, наконецъ, одинъ изъ нихъ откашлянулся и замѣтилъ, что въ исторіи этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видѣніе, которое ей примерещилось въ просоньѣ, и паденіе Ангела, котораго забѣглая кошка или собака на полъ столкнула, и смерть Левонтія, который болѣлъ еще ранѣе встрѣчи съ Памвою, объяснимы и всѣ случайныя совпаденія словъ говорящаго какими-то загадками Памвы.

— Понятно и то,—добавилъ слушатель: — что Лука по цѣпи перешелъ съ весломъ: каменщики извѣстные мастера гдѣ угодно ходить и лазить, а весло тотъ же балансиръ; понятно, пожалуй, и то, что Марой могъ видѣть около Луки свѣтеніе, которое принялъ за ангеловъ. Отъ большой напряженности сильно перезябшему человѣку мало ли что могло зарябить въ глазахъ? Я нашелъ бы понятнымъ даже и то, если бы, напримѣръ, Марой, по своему предсказанію не преполовя дня умеръ...

— Да онъ и умеръ-съ,—отозвался Маркъ.

— Прекрасно! И здѣсь ничего нѣтъ удивительнаго восьмидесятилѣтнему старику умереть позлѣ такихъ волненій и простуды; но вотъ, что для меня, дѣйствительно, совершенно необъяснимо: какъ могла исчезнуть печать съ новаго Ангела, котораго англичанка запечатала?

— Ну, а это уже самое простое-съ,—весело отозвался Маркъ и разсказалъ, что они послѣ этого вскорѣ же нашли эту печать между образомъ и ризою.

— Какъ же это могло случиться?

— А такъ: англичанка тоже не дерзнула ангельскій ликъ портить, а сдѣлала печать на бумажкѣ и подвела ее подъ края оклада... Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука какъ несъ иконы, такъ онѣ у него за пазухой шевелились и оттого печать и спала.

— Ну теперь, значитъ, и все дѣло просто и естественно.

— Да такъ и многіе располагаютъ, что все это случилось самымъ обыкновеннымъ манеромъ, и даже не только образованные господа, которымъ объ этомъ извѣстно, но и наша братія, въ раздорѣ остающіеся, надъ нами смѣются, что будто насъ англичанка на бумажкѣ подъ церковь подсунула. Но мы противъ таковыхъ доводовъ не споримъ: всякъ какъ вѣритъ, такъ и да судитъ, а для насъ все равно, какими путями Господь человѣка взыщетъ и изъ какого сосуда напоитъ, лишь бы взыскалъ и жажду единодушія его съ отечествомъ утолилъ. А вонъ, мужички-вахлачки, уже вылѣзаютъ изъ-подъ снѣгу. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчасъ поѣдутъ. Авось они и меня подвезутъ. Васильева ночка прошла. Утрудилъ я васъ и много кое-гдѣ съ собою выводилъ. Съ новымъ годомъ зато имѣю честь поздравить, и простите, Христа ради, меня невѣжу.

ПРАВЕДНИКИ.

«Безъ трехъ праведныхъ
нѣсть граду стоянія».

При мнѣ въ сорокъ восьмой разъ умиралъ одинъ большой русскій писатель. Онъ и теперь живетъ, какъ жилъ послѣ сорока семи своихъ прежнихъ кончинъ, наблюдавшихся другими людьми и при другой обстановкѣ.

При мнѣ онъ лежалъ одинокъ во всю ширь необъятнаго дивана и приготовлялся диктовать мнѣ свое завѣщаніе, но вмѣсто того началъ браниться.

Я могу безъ застѣнчивости разсказать, какъ это было и къ какимъ повело послѣдствіямъ.

Смерть писателю угрожала по винѣ театрально-литературнаго комитета, который въ эту пору безтрепетною рукою убивалъ его пьесу. Ни въ одной аптекѣ не могло быть никакого лѣкарства противъ мучительныхъ болей, причиненныхъ этимъ авторскому здоровью.

— Душа уязвлена и всѣ кишки попутались въ утробѣ,— говорилъ страдалецъ, глядя на потолокъ гостиничнаго номера, и потомъ, переводя ихъ на меня, онъ неожиданно прикрикнулъ:

— Что же ты молчишь, будто чортъ знаетъ чѣмъ ротъ набилъ. Гадость какая у васъ, питерцевъ, на сердцѣ: никогда вы человѣку утѣшенія не скажете; хоть сейчасъ на вашихъ глазахъ испущай духъ.

Я былъ первый разъ при кончинѣ этого замѣчательнаго человѣка и, не понявъ его предсмертной истомы, сказалъ ему:

— Чѣмъ мнѣ васъ утѣшить? Скажу развѣ одно, что всѣмъ будетъ чрезвычайно прискорбно, если театрально-литератур-

ный комитетъ своимъ суровымъ опредѣленіемъ прекратитъ драгоцѣнную жизнь вашу, но...

— Ты недурно началъ,—перебилъ писатель:—продолжай, пожалуйста, говорить, а я, можетъ-быть, усну.

— Извольте,—отвѣчалъ я: — итакъ, увѣрены ли вы, что вы теперь умираете?

— Увѣренъ ли? Говорю тебѣ, что помираю!

— Прекрасно, — отвѣчаю: — но обдумали ли вы хорошенько: стоитъ ли это огорченіе того, чтобы вы кончились?

— Разумѣется, стоитъ; это стоитъ тысячу рублей,—простоналъ умирающій.

— Да; къ сожалѣнію,—отвѣчалъ я:—пьеса едва ли принесла бы вамъ болѣе тысячи рублей, и потому...

Но умирающій не далъ мнѣ окончить: онъ быстро приподнялся съ дивана и вскричалъ:

— Это еще что за гнусное разсужденіе! Подари мнѣ, пожалуйста, тысячу рублей и тогда разсуждай какъ знаешь.

— Да я, говорю,—почему же обязанъ платить за чужой грѣхъ?

— А я за что долженъ терять?

— За то, что вы, зная наши театральные порядки, описали въ своей пьесѣ все титулованныхъ лицъ и всѣхъ ихъ представили одно другого хуже и пошлѣе.

— Да-а; такъ вотъ каково ваше утѣшеніе. По-вашему, небось, все надо хорошихъ писать, а я братъ, что вижу, то и пишу, а вижу я однѣ гадости.

— Это у васъ болѣзнь зрѣнія.

— Можетъ быть,—отвѣчалъ, совсѣмъ обозлясь, умирающій:—но только что же мнѣ дѣлать, когда я ни въ своей, ни въ твоей душѣ ничего, кромѣ мерзости, не вижу, и за то суще мнѣ Господь Богъ и поможетъ теперь отъ тебя отворотиться къ стѣнѣ и заснуть съ спокойной совѣстью, а завтра уѣхать, презирая всю мою родину и твои утѣшенія.

И молитва страдальца была услышана: онъ «суще» прекрасно выспался и на другой день я проводилъ его на станцію; но зато самимъ мною овладѣло отъ его словъ лютое безпокойство.

«Какъ,—думалъ я,—неужто въ самомъ дѣлѣ ни въ моей, ни въ его и ни въ чьей иной русской душѣ не видать ничего, кромѣ дряни? Неужто все доброе и хорошее, что

когда-либо замѣтилъ художественный глазъ другихъ писателей, — одна выдумка и вздоръ? Это не только грустно, это страшно. Если безъ трехъ праведныхъ, по народному вѣрованію, не стоитъ ни одинъ городъ, то какъ же устоять цѣлой землѣ съ одною дрянью, которая живетъ въ моей и въ твоей душѣ, мой читатель?»

Мнѣ это было и ужасно, и несносно, и пошелъ я искать праведныхъ, пошелъ съ обѣтомъ не успокоиться, доколѣ не найду хотя то [небольшое число трехъ праведныхъ, безъ которыхъ «нѣсть граду стоянія»; но куда я ни обращался, кого ни спрашивалъ—всѣ отвѣчали мнѣ въ томъ родѣ, что праведныхъ людей не видывали, потому что всѣ люди грѣшные, а такъ, кое-какихъ хорошихъ людей и тотъ, и другой знавали. Я и сталъ это записывать. Праведны они, думаю, себѣ, или неправедны,—все это надо собрать и потомъ разобрать: что̀ тутъ возвышается надъ чертою простой нравственности и потому «свято Господу».

И вотъ кое-что изъ моихъ записей.

ОДНОДУМЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ царствованіе Екатерины II, у нѣкоторыхъ приказнаго рода супруговъ, по фамиліи Рыжовыхъ, родился сынъ по имени Алексашка. Жило это семейство въ Солигаличѣ, уѣздномъ городкѣ костромской губерніи, расположенномъ при рѣкахъ Костромѣ и Свѣтицѣ. Тамъ, по словарю кн. Гагарина, значится семь каменныхъ церквей, два духовныя и одно свѣтское училище, семь фабрикъ и заводовъ, тридцать семь лавокъ, три трактира, два питейныхъ дома и 3,665 жителей обоего пола. Въ городѣ бываютъ двѣ годовыя ярмарки и еженедѣльные базары; кромѣ того, значится «довольно дѣятельная торговля известью и дегтемъ». Въ то время, когда жилъ нашъ герой, здѣсь были еще соляныя варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятіе о томъ, какъ могъ жить и какъ, дѣйствительно, жилъ мелкотравчатый герой нашего разсказа Алексашка или, впослѣдствіи, Александръ Аѳанасьевичъ Рыжовъ, по уличному прозванію «Однодумъ».

Родители Алексашки имѣли собственный домъ, — одинъ изъ тѣхъ домиковъ, которые въ здѣшней лѣсной мѣстности *ничего не стоятъ*, но, однако, даютъ кровъ. Другихъ дѣтей, кромѣ Алексашки, у приказнаго Рыжова не было, или, по крайней мѣрѣ, о нихъ мнѣ ничего не сказано.

Приказный умеръ вскорѣ послѣ рожденія этого сына и оставилъ жену и сына ни съ чѣмъ, кромѣ того домика, который, какъ сказано, «ничего не стоилъ». Но вдова-при-

казничиха сама дорого стóила: она была изъ тѣхъ русскихъ женщинъ, которая «въ бѣдѣ не сробѣетъ, спасетъ; коня на скаку остановитъ,—въ горящую избу взойдетъ»,—простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, съ силою въ тѣлѣ, съ отвагой въ душѣ и съ нѣжною способностью любить горячо и вѣрно.

Когда она овдовѣла, въ ней еще были пріятности, пригодныя для неприхотливаго обихода, и къ ней кое-кто засылали свахъ, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньемъ пироговъ. Пироги изготовлялись по скоромнымъ днямъ съ творогомъ и печенкою, а по постнымъ—съ кашею и горохомъ; вдова выносила ихъ въ ночвахъ на площадь и продавала по мѣдному пятаку за штуку. Отъ прибыли своего пирожнаго производства она питала себя и сына, котораго отдала въ науку «мастерицѣ»; мастерица научила Алексашу тому, что̀ сама знала. Дальнѣйшую же, болѣе серьезную науку преподалъ ему дьякъ съ косою и съ кожанымъ карманомъ, въ коемъ у него безъ всякой табакерки содержался нюхательный порошокъ для извѣстнаго употребленія.

Дьякъ, «отучивъ» Алексашку, взялъ горшокъ каши за выучку; и съ этимъ вдовинъ сынъ пошелъ въ люди добывать себѣ хлѣбъ-соль и всѣ опредѣленныя для него блага міра.

Алексашкѣ тогда было четырнадцать лѣтъ и въ этомъ возрастѣ его можно отрекомендовать читателю.

Молодой Рыжовъ породою удался въ мать: онъ былъ рослый, плечистый,—почти атлетъ, необъятной силы и несокрушимаго здоровья. Въ свои отроческіе годы онъ былъ уже первый силачъ и такъ удачно предводительствовалъ *стѣною* на кулачныхъ бояхъ, что на которой сторонѣ былъ Алексашка Рыжовъ,—та считалась непобѣдимою. Онъ былъ досужъ и трудолюбивъ. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкій, красивый почеркъ, которымъ онъ написалъ старухамъ множество заупокойныхъ поминаній и тѣмъ положилъ начало самопитанія. Но важнѣе этого были тѣ свойства, которыя дала ему его мать, сообщившая живымъ примѣромъ строгое и трезвое настроеніе его здоровой душѣ, жившей въ здоровомъ и сильномъ тѣлѣ. Онъ былъ, какъ мать, умѣренъ во всемъ и никогда не прибѣгалъ ни къ чьей посторонней помощи.

Въ четырнадцать лѣтъ онъ уже считалъ грѣхомъ ѣсть материнъ хлѣбъ; поминанія приносили немного и притомъ заработокъ этотъ, зависящій отъ случайностей, былъ непостояненъ; къ торговлѣ Рыжовъ питалъ врожденное отвращеніе, а оставить Солигаличъ не хотѣлъ, чтобы не разлучаться съ матерью, которую очень любилъ. А потому надо было здѣсь же промыслить себѣ занятіе, и онъ его промыслилъ.

Въ то время у насъ только образовывались постоянныя почтовыя сообщенія: между ближайшими городами учреждались разъ въ недѣлю гонцы, которые *носили* суму съ пакетами. Это называлась пѣшая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора въ мѣсяцъ «на своихъ харчахъ и при своей обуви». Но для кого и такое содержаніе было заманчиво, тѣ колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христіанской совѣсти русскаго благочестія представлялось сомнительнымъ: не заключается ли въ такой пустой затѣѣ, какъ разноска бумаги, чего-нибудь еретическаго и противнаго истинному христіанству?

Всякій, кому довелось о томъ слышать,—раздумывалъ, какъ бы не истравить этимъ душу, и за мзду временную не потерять жизнь вѣчную. И тутъ-то вотъ общее сердоболіе устроило Рыжовкина Алексашку.

— Онъ, говорили, сирота: ему больше Господь проститъ,—особенно по ребячеству. Ему, если его на поносѣ дорогою медвѣдь или волкъ задеретъ, и онъ на судъ предстанетъ, одно отвѣчать: «не разумѣлъ, Господи», да и только. И въ ту пору взять съ него нечего. А если да онъ уцѣлѣетъ и современемъ въ лѣта взойдетъ, то можетъ въ монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свѣчой и при чужомъ ладанѣ. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшаго?

Самъ Алексашка, котораго это касалось всѣхъ болѣе, былъ отъ міра не прочь и на міръ не челобитчикъ: онъ смѣлою рукою взялъ почтовую суму, взвалилъ ее на плечи и сталъ таскать изъ Солигалича въ Чухлому и обратно. Служба въ пѣшей почтѣ пришла ему совершенно по вкусу и по натурѣ: онъ шелъ одинъ черезъ лѣса, поля и болота и думалъ про себя свои сиротскія думы, какія слагались въ немъ подъ живымъ впечатлѣніемъ всего, что встрѣчалъ,

что видѣлъ и слышалъ. При такихъ условіяхъ изъ него могъ бы выйти поэтъ въ родѣ Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка,—не поэтическая, а философская, и изъ него вышелъ только замѣчательный чудакъ «Однодумъ». Ни даль утомительнаго пути, ни зной, ни стужа, ни вѣтры и дождь его не пугали: почтовая сума до такой степени была нипочемъ его могучей спинѣ, что онъ, кромѣ этой сумы, всегда носилъ съ собою еще другую, сѣрую, холщовую сумку, въ которой у него лежала толстая книга, имѣвшая на него неодолимое вліяніе.

Книга эта была «Библія».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Мнѣ не извѣстно, сколько лѣтъ онъ несъ службу въ пѣшей почтѣ, безпрестанно таская суму и Библію, но, кажется, это было долго и кончилось тѣмъ, что пѣшая почта замѣнилась конною, а Рыжову «вышелъ чинъ». Послѣ этихъ двухъ важныхъ въ жизни нашего героя событій, въ судьбѣ его произошелъ большой переломъ: охочій ходокъ съ почтою, онъ уже не захотѣлъ ѣздить съ почтаремъ и сталъ искать себѣ другого мѣста, — опять непремѣнно тамъ же, въ Солигаличѣ, чтобы не разстаться съ матерью, которая въ то время уже остарѣла и, притупѣвъ зрѣніемъ, стала хуже печь свои пироги.

Судя по тому, что чины на низшихъ почтовыхъ должностяхъ получались очень не скоро, напримѣръ, лѣтъ за двѣнадцать,—надо думать, что Рыжовъ имѣлъ объ эту пору лѣтъ двадцать шесть или даже немножко болѣе и во все это время онъ только ходилъ взадъ и впередъ изъ Солигалича въ Чухлому и на ходу, и на отдыхѣ читалъ одну только свою Библію въ затрапезномъ переплетѣ. Онъ начитался ея вволю и пріобрѣлъ въ ней большія и твердыя познанія, легшія въ основу всей его послѣдующей оригинальной жизни, когда онъ сталъ умствовать и прилагать къ дѣлу свои библейскія воззрѣнія.

Конечно, во всемъ этомъ было много оригинальнаго. Рыжовъ, напримѣръ, зналъ наизусть всѣ писанія многихъ пророковъ и особенно любилъ Исаію, широкое боговѣдѣніе котораго отвѣчало его душевной настроенности и составляло весь его катехизисъ и все богословіе.

Старый человѣкъ, знавшій во время своей юности восьми-

десятипятилѣтняго Рыжова, когда онъ уже прославился и заслужилъ имя «Однодума», говорилъ мнѣ, какъ этотъ старикъ вспоминалъ какой-то «дубъ на болотѣ», гдѣ онъ особенно любилъ отдыхать и «кричать вѣтру».

— Стану,—говоритъ,—бывало, и воплю встрѣчь воздуху: «Полна волъ стяжавшаго и оселъ ясли господина своего, а людіе мои неразумѣша. Сѣмя лукавое; сыны беззаконія! Что еще уязвляетесь прилагая неправды! Всякая глава въ болѣзнь,—всякое сердце въ плачъ.—Что ми множество жертвъ вашихъ: тука агнцовъ и крови юницъ и козловъ не хощу. Не приходите явитися ми. И аще принесете ми семидалъ—всуе; кадило мерзость ми есть. Новомѣсячій вашихъ и субботъ, и дне великаго не потерплю: поста и праздности, и новомѣсячій вашихъ, и праздниковъ ненавидитъ душа моя. — Егда прострете руки ваши ко мнѣ, отвращу очи мои отъ васъ, и аще умножите моленія,—не услышу васъ. Измыйтесь, отымите лукавство отъ душъ вашихъ. Научитеся добро творити, и пріидите истяжемся, и аще будутъ грѣхи ваши яко багряное—убѣлю ихъ яко снѣгъ. Но князи не покоряются, — общницы татемъ любяще дары, гоняще воздаяніе — сего ради глаголетъ Саваоѳъ: горе крѣпкимъ, — не престанетъ бо ярость моя на противныя».

И выкрикивалъ сирота-мальчуганъ это «горе, горе крѣпкимъ» надъ пустыннымъ болотомъ и мнилось ему, что вѣтеръ возьметъ и понесетъ слова Исаіи и отнесетъ туда, гдѣ видѣнныя Іезекіилемъ «сухія кости» лежатъ, не шевелятся; не нарастаетъ на нихъ живая плоть и не оживаетъ въ груди истлѣвшее сердце.

Его слушалъ дубъ и гады болотные, а онъ самъ дѣлался полу-мистикомъ, полу-агитаторомъ въ библейскомъ духѣ,— по его словамъ: «дышалъ любовью и дерзновеніемъ».

Все это созрѣло въ немъ давно, но обнаружилось въ ту пору, когда онъ получилъ чинъ и сталъ искать другого мѣста, не надъ болотомъ. Развитіе Рыжова было уже совершенно закончено и наступало время дѣятельности, въ которой онъ могъ приложить правила, созданныя имъ себѣ на библейскомъ грунтѣ.

Подъ тѣмъ же дубомъ, надъ тѣмъ же болотомъ, гдѣ Рыжовъ выкрикивалъ словами Исаіи «горе крѣпкимъ», онъ дождался духа, давшаго ему мысль самому сдѣлаться крѣп-

кимъ, дабы устыдить крѣпчайшихъ. И онъ принялъ это посвященіе и пронесъ его во весь почти столѣтній путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромавъ ни на правое колѣно, ни на лѣвое.

Впереди насъ ожидаетъ довольно образцовъ его задохнувшейся въ тѣснотѣ удивительной силы и въ концѣ сказанія неожиданный актъ дерзновеннаго безстрашія, увѣнчавшій его, какъ рыцаря, рыцарскою наградою.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Въ ту отдаленную пору, къ которой восходитъ передаваемый мною разсказъ о Рыжовѣ, самое главное лицо въ каждомъ русскомъ городишкѣ былъ городничій. Не разъ было сказано и никѣмъ не оспорено, что, по понятію многихъ русскихъ людей, каждый городничій былъ «третье лицо въ государствѣ». Государственная власть въ народномъ представленіи отъ первоисточника своего — монарха развѣтвлялась такъ: первое лицо въ государствѣ—государь, правящій всѣмъ государствомъ; за нимъ второе — губернаторъ, который правитъ губерніею, и потомъ прямо за губернаторомъ непосредственно слѣдуетъ третье—городничій, «сидящій на городу». Исправниковъ тогда еще не было и потому о нихъ въ раздѣленіи власти сужденія не полагали. Такъ это оставалось, впрочемъ, и впослѣдствіи: исправникъ былъ человѣкъ разъѣздной и онъ сѣкъ только сельскихъ людей, которые тогда еще не имѣли самостоятельнаго понятія объ іерархіи, и кто ихъ ни сѣкъ—одинаково погами перебирали.

Введеніе новыхъ судебныхъ учрежденій, ограничившее прежнюю теократическую полноправность сельскихъ администраторовъ, попортило это, особенно въ городахъ, гдѣ оно значительно содѣйствовало паденію не только городническаго, а даже губернаторскаго престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно,—по крайней мѣрѣ, для городничихъ, высокій урядъ которыхъ замѣненъ новшествомъ.

Но тогда, когда обдумывалъ и рѣшалъ свою судьбу «Однодумъ», — все это было еще въ своемъ благоустроенномъ порядкѣ. Губернаторы сидѣли въ своихъ центрахъ какъ царьки: доступъ къ нимъ былъ труденъ и предстояніе имъ «сопряжено со страхомъ»; они всѣмъ норовили гово-

рить «ты», всѣ имъ кланялись въ поясъ, а иные, по усердію, даже земно; протопопы ихъ «срѣтали» съ крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала ихъ выраженіемъ низменнаго искательства и едва дерзала, въ лицѣ немногихъ избранныхъ своихъ представителей, просить ихъ «въ воспріемники къ купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ѣздили крестить сами, а посылали вмѣсто себя чиновниковъ особыхъ порученій или адъютантовъ, которые отвозили «ризки» и принимали почетъ «въ лицѣ пославшаго». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, подъ-стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынѣшнему времени, не доброму и не серьезному.

Рыжову вышла прекрасная линія приблизиться къ началу градской власти и, не разставаясь съ роднымъ Солигаличемъ, стать на четвертую ступень въ государствѣ: въ Солигаличѣ умеръ старый квартальный, и Рыжовъ задумалъ проситься на его мѣсто.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Квартальническое мѣсто, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничаго, было, однако, довольно выгодно, если только человѣкъ, его занимающій, хорошо умѣлъ стащить съ каждаго воза полѣно дровъ, пару бураковъ, или кочанъ капусты; но если онъ не умѣлъ этого, то ему было бы плохо, такъ какъ казеннаго жалованья по этой четвертой въ государствѣ должности полагалось всего десять рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ, т. е. около двухъ рублей восьмидесяти пяти копеекъ по нынѣшнему счету. На это четвертая особа въ государствѣ должна была прилично содержать себя и свою семью, а какъ это невозможно, то каждый квартальный «донималъ» съ тѣхъ, которые обращались къ нему за чѣмъ-нибудь «по касающемуся дѣлу». Безъ этого «дониманія» невозможно было обходиться и даже сами вольтеріанцы противъ этого не возставали. О «неберущемъ» квартальномъ никто и не думалъ, и потому если всѣ квартальные брали, то долженъ былъ брать и Рыжовъ. Само начальство не могло желать и терпѣть, чтобы онъ портилъ служебную линію. Въ этомъ не могло

быть никакого сомнѣнія и не могло быть о томъ никакой рѣчи.

Городничій, къ которому Рыжовъ обратился за квартальничьимъ мѣстомъ, разумѣется, не задавалъ себѣ никакого вопроса о его способности къ взяткѣ. Вѣроятно, онъ думалъ, что на этотъ счетъ Рыжовъ будетъ какъ всѣ другіе, и потому у нихъ особаго договора на этотъ счетъ не было. Городничій принялъ въ соображеніе только его громадный ростъ, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою извѣстностью силу и неутомимость въ ходьбѣ, которую Рыжовъ доказалъ своимъ пѣшимъ ношеніемъ почты. Все это были качества, очень подходящія для полицейской службы, которой добивался Рыжовъ,—и онъ былъ сдѣланъ солигаличскимъ квартальнымъ, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на томъ самомъ базарѣ, гдѣ сынъ ея долженъ былъ установить и держать добрые порядки: блюсти вѣсъ вѣрный и мѣру полную и утрясенную.

Городничій сдѣлалъ ему только одно внушеніе:

— Бей безъ поврежденія и по касающему моего не захватывай.

Рыжовъ обязался это исполнять и пошелъ дѣйствовать, но вскорѣ же началъ подавать о себѣ странныя сомнѣнія, которыя стали тревожить третью особу въ государствѣ, а самого бывшаго Алексашку, а нынѣ Александра Аѳанасьевича, доводить до весьма тягостныхъ испытаній.

Рыжовъ съ перваго же дня службы оказался по должности ретивъ и исправенъ: придя на базаръ, онъ размѣстилъ тамъ возы; разсадилъ иначе бабъ съ пирогами, помѣстя притомъ свою мать не на лучшее мѣсто. Пьяныхъ мужиковъ частію урезонилъ, а частію поучилъ рукою властною, но съ пріятностью, такъ хорошо, какъ будто имъ этимъ большое одолженіе сдѣлалъ и ничего не взялъ за науку. Въ тотъ же день онъ отвергъ и приношеніе капустныхъ бабъ, пришедшихъ къ нему на поклонъ по касающему, и еще объявилъ, что ему по касающему ни отъ кого ничего и не слѣдуетъ, потому что за все его касающее ему «царь жалуетъ, а мзду брать Богъ запрещаетъ».

День провелъ Рыжовъ хорошо, а ночь провелъ еще лучше: обошелъ весь городъ, и кого засталъ на ходу въ поздній часъ, разспросилъ: откуда, куда и по какой надобности? Съ добрымъ человѣкомъ поговорилъ, самъ его даже

проводилъ и посовѣтовалъ, а одному-другому пьяному ухо надралъ, да будошникову жену, которая подъ коровъ колдовать ходила, въ кутузку заперъ, а на утро явился къ городничему съ докладомъ, что видитъ себѣ въ дѣлѣ одну помѣху въ будошникахъ.

— Проводятъ, говоритъ, они время въ праздности и спросонья ходятъ безъ надобности,—людямъ по касающему надоѣдаютъ и сами портятся. Лучше ихъ отъ лѣнивой пустоты отрѣшить и послать къ вашему высокоблагородію въ огородъ гряды полоть, а я одинъ все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихѣ совсѣмъ по сердцу: однимъ будошникамъ могло не нравиться, да закону не соотвѣтствовало; но будошниковъ кто думалъ спрашивать, а законъ... городничій судилъ о немъ русскимъ судомъ: «законъ — что конь: куда надо — туда и вороти его». Александръ же Аѳанасьевичъ выше всего ставилъ законъ: «въ потѣ лица твоего ѣшь хлѣбъ твой» и по тому закону выходило, что всякіе лишніе «приставники» — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить къ какому бы то ни было другому настоящему дѣлу,—«потному».

И учредилось это дѣло, какъ указалъ Рыковъ, и было оно пріятно въ очахъ правителя и народа и обратило къ Рыкову сердца людей благодарныхъ. А Рыковъ самъ ходитъ по городу днемъ, ходитъ одинъ ночью и мало-помалу вездѣ сталъ чувствоваться его добрый хозяйскій досмотръ, и опять было это пріятно въ очахъ всѣхъ. Словомъ, все шло хорошо и обѣщало покой невозмутимый, но тутъ-то и бѣда: не сварился народъ,—не кормилъ воеводъ—ни откуда ни что не касалося и, кромѣ уборки огорода, не было правителю прибылей ни большихъ, ни среднихъ, ни малыхъ.

Городничій возмутился духомъ, вникъ въ дѣло, увидалъ, что этакъ невозможно, и воздвигъ на Рыкова ѣдкое гоненіе.

Онъ попросилъ протопопа разузнать, нѣтъ ли въ безкасательномъ Рыковѣ какого неправославія, но протопопъ отвѣчалъ, что явнаго неправославія въ Рыковѣ онъ не усматриваетъ, а замѣчаетъ въ немъ нѣкую гордыню, происходящую, конечно, отъ того, что его мать пироги печетъ и ему отдѣляетъ.

— Пресѣчь совѣтую оный торгъ, ей нынѣ по сыну не-

подобающій, и уничтожится тогда ему оная его непомѣрная гордыня и онъ прикоснется.

— Пресѣку,—отвѣчалъ городничій, и сказалъ Рыжову: — своей матери на торгу сидѣть не годится.

— Хорошо,—отвѣчалъ Рыжовъ и взялъ мать съ ночвами съ базара, а въ укоризненномъ поведеніи остался попрежнему,—не прикасался.

Тогда протопопъ указалъ, что Рыжовъ не справлялъ себѣ форменнаго платья и въ пасхальный день, скупо похристосовавшись съ одними ближними, не явился съ поздравленіемъ ни къ кому изъ именитыхъ гражданъ, на что тѣ, впрочемъ, претензіи не изъявляли.

Это находилось въ зависимости одно отъ другого. Рыжовъ не ходилъ за праздничными и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась и она была у прежняго квартальнаго. Всѣ видѣли у него и мундиръ съ воротомъ, и рейтузы, и сапоги съ кисточкой, а этотъ какъ ходилъ съ почтою, такъ и оставался въ полосатомъ тиковомъ бешметѣ съ крючками, въ желтыхъ нанковыхъ штанахъ и въ простой крестьянской шапкѣ, а на зиму имѣлъ овчиный нагольный тулупъ, и ничего иного не заводилъ, да и не могъ завести на 2 руб. 87 коп. мѣсячнаго жалованья, на которое жилъ, служа вѣрою и правдою.

Къ тому же, произошелъ случай, потребовавшій денегъ: умерла мать Рыжова, которой нечего было дѣлать на землѣ послѣ того, какъ она не могла на ней продавать пироги.

Александръ Аѳанасьевичъ схоронилъ ее, по общему отзыву, «скаредно», чѣмъ и доказалъ свою нелюбовь. Онъ заплатилъ за нее причту по-малости, но по самой-то нирожницѣ даже пирога не спекъ и сорокоуста не заказалъ.

Еретикъ! и это было тѣмъ достовѣрнѣе, что хотя городничій ему не довѣрялъ и протопопъ въ немъ сомнѣвался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли,— первая за пригонъ на ея огородъ бударей, а вторая по какой-то тайной причинѣ, лежавшей въ ея «характерѣ сопротивленія».

Въ этихъ особахъ Александръ Аѳанасьевичъ имѣлъ защитницъ. Городничиха сама ему послала отъ урожая земного двѣ мѣры картофеля, но онъ, не развязывая мѣшковъ,

принесъ картофель назадъ на своихъ плечахъ и коротко сказалъ:

— За усердіе благодарю, а даровъ не пріемлю.

Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему двѣ коленкоровыя манишки своего древняго рукодѣлья отъ тѣхъ поръ, когда еще протопопъ былъ ставленникомъ, но чудакъ и этого не взялъ:

— Нельзя, говоритъ, дары брать, да и, одѣваясь по простотѣ, я никакой въ семъ щегольствѣ пользы не нахожу.

Тутъ и сказала протопопица мужу въ злости задорное слово:

— Вотъ бы, говоритъ, кому пристало у алтаря стоять, а не вамъ, обираламъ духовнымъ.

Протопопъ осердился,—велѣлъ женѣ молчать, а самъ все лежалъ да думалъ:

«Это новость массонская, и если я ее услѣжу и открою, то могу быть въ большомъ отличіи, и даже могу въ Петербургъ переѣхать.»

Такъ онъ этимъ забредилъ и съ бреду составилъ планъ, какъ обнажить совѣсть Рыжова до раздѣленія души съ тѣломъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Подходилъ Великій постъ и протопопъ, какъ на ладонкѣ, видѣлъ, какимъ образомъ онъ обнажитъ душу Рыжова до раздѣленія, и тогда будетъ знать, какъ поступить съ нимъ по злобѣ его уклоненія отъ истинъ православія.

Съ этою цѣлью онъ прямо присовѣтовалъ городничему прислать къ нему на духъ полосатаго квартальнаго на первой же недѣлѣ. А на духу онъ обѣщалъ его хорошенько пронять и, гнѣвомъ Божіимъ припугнувъ, все отъ него выѣдать, что въ немъ есть тайнаго и сокровеннаго, и за что онъ всего касающаго чуждается и даровъ не пріемлетъ. А затѣмъ сказалъ: увидимъ по открытому страхомъ виду его совѣсти, чему онъ подлежать будетъ, и тому его и подвергнемъ, да спасется духъ.

Помянувъ слова Павла, протопопъ сталъ ждать покойно, зная, что въ нихъ кійждо своя отыскать можетъ.

Городничій тоже сдѣлалъ свое дѣло.

— Намъ съ тобой, Александръ Аѳанасьевичъ, какъ видимымъ лицамъ въ городѣ,—сказалъ онъ:—надо въ народѣ религіи примѣръ показать и къ церкви сдѣлать почтеніе.

Рыжовъ отвѣчалъ, что онъ согласенъ.

— Изволь же, братецъ, говѣть и исповѣдаться.

— Согласенъ,—отвѣчалъ Рыжовъ.

— И какъ оба мы люди на виду у всѣхъ, то и на виду все это должны сдѣлать, а не какъ-нибудь, прячучись. Я къ протопопу на духъ хожу,—онъ всѣхъ въ духовенствѣ опытнѣе,—и ты къ нему иди.

— Пойду къ протопопу.

— Да; и иди ты на первой недѣлѣ, а я на послѣдней пойду,—такъ и раздѣлимся.

— И на это согласенъ.

Протопопъ выисповѣдалъ Рыжова и даже похвалился, что на всѣ корки его пробралъ, но не нашелъ въ немъ грѣха къ смерти.

— Каялся, говоритъ, въ одномъ, другомъ, въ третьемъ,— во всемъ не святъ по-малости, но грѣхи все простые, человѣческіе, а противъ начальства особаго зла не мыслитъ и ни на васъ, ни на меня «по касающему» доносить не думаетъ. А что «даровъ не пріемлетъ»,—то это по одной вредной фантазіи.

— Все же, значитъ, есть въ немъ вредная фантазія. А въ чемъ она заключается?

— Библіи начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило!

— Да; начитался отъ скуки и позабыть не можетъ.

— Экій дуракъ! что же теперь съ нимъ сдѣлать?

— Ничего не сдѣлаешь: онъ уже очень далеко начитанъ.

— Неужели до самого до «Христа» дошелъ?

— Всю, всю прочиталъ.

— Ну, значитъ, шабашъ.

Пожалѣли и стали къ Рыжову милостивѣе. На Руси всѣ православные знаютъ, что кто Библію прочиталъ и «до Христа дочитался», съ того резонныхъ поступковъ строго спрашивать нельзя; но зато этакіе люди, что юродивые,— они чудесятъ, а никому не вредны и ихъ не боятся. Впрочемъ, чтобы быть еще обезпеченнѣе насчетъ страннаго исправленія Рыжова «по касающему», отецъ протопопъ преподалъ городничему мудрый, но жестокій совѣтъ,—чтобы женить Александра Аѳанасьевича.

— Женатый человѣкъ,—развивалъ протопопъ:—хотя и «до Христа дочитается», но ему свою честность соблюсти

трудно: жена его начнетъ нажигать, и не тѣмъ, такъ другимъ манеромъ такъ доймета, что онъ ей уступитъ и всю Библію изъ головы выпуститъ, а станетъ къ дарамъ пріимчивъ и начальству преданъ.

Городничему совѣтъ пришелъ по мыслямъ, и онъ заказалъ Александру Аѳанасьевичу, чтобы тотъ какъ знаетъ, а непремѣнно женился, потому что холостые люди на политичныхъ должностяхъ не надежны.

— Какъ хочешь, говоритъ, братъ, а ты мнѣ въ разсужденіи всего хорошъ, но въ разсужденіи одного не годишься.

— Почему?

— Холостой.

— Что же въ томъ за укоризна?

— Въ томъ укоризна, что можешь что-нибудь вѣроломное сдѣлать и сбѣжать въ чужую губернію. Тебѣ, вѣдь, теперь что?—схватилъ свою Бибель да и весь тутъ.

— Весь тутъ.

— Вотъ это и неблагонадежно.

— А развѣ женатый благонадежнѣе?

— И сравненья нѣтъ; изъ женатаго я, говоритъ, хоть веревку вей, онъ все стерпитъ, потому что онъ птенцовъ заведетъ, да и бабу пожалѣетъ, а холостой самъ что̀ птица, — ему довѣрить нельзя. Такъ вотъ — либо уходи, либо женись.

Загадочный чудакъ, выслушавъ такое разсужденіе, нимало не смутился и отвѣчалъ:

— Что же,—и женитьба вещь добрая, она отъ Бога показана: если требуется—я женюсь.

— Но только ты руби дерево по себѣ.

— По себѣ вырублю.

— И выбирай поскорѣе.

— Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотрѣть, не взяли ли ее другіе.

Городничій надъ нимъ посмѣялся:

— Ишь ты, говоритъ, грѣховодникъ, — будто за нимъ и грѣха никогда не водится, а онъ себѣ уже и жену высмотрѣлъ.

— Гдѣ грѣхамъ не водиться!—отвѣчалъ Александръ Аѳанасьевичъ: — полонъ сосудъ мерзости, а только невѣсту я еще не сватался, но, дѣйствительно, на примѣтѣ имѣю и прошу позволенія сходить на нее взглянуть.

— А гдѣ она у тебя,—не здѣшняя, вѣрно,—дальняя?

— Да, такъ, и не здѣшняя, и не дальняя,—у ручья при болотцѣ живетъ.

Городничій еще посмѣялся, отпустилъ Рыжова и, заинтересованный, ждетъ: когда его чудакъ вернется и что скажетъ?

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Рыжовъ, дѣйствительно, срубилъ дерево по себѣ: черезъ недѣлю онъ привелъ въ городъ жену — ражую, бѣлую, румяную, съ добрыми карими глазами и съ покорностью въ каждомъ шагѣ и движеніи. Одѣта она была по-крестьянски, и шли оба супруга другъ за другомъ, неся на плечахъ коромысло, на которомъ висѣла подвязанная холщевымъ концомъ расписная лубочная коробья съ приданымъ.

Бывалые торговые люди сразу узнали въ этой особѣ дочь старой бабы Козлихи, что жила въ одинокой избушкѣ у ручья надъ болотомъ и слыла злою колдуньею. Всѣ думали, что Рыжовъ взялъ себѣ колдуньину дѣвку въ работницы.

Это отчасти такъ и было, но только Рыжовъ, прежде чѣмъ привести эту работницу домой, — перевѣнчался съ нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротивъ, теперь ему стало даже выгоднѣе, потому что онъ, приведя въ домъ жену, тотчасъ же отпустилъ батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платилъ рубль мѣдью въ мѣсяцъ. Съ этихъ поръ мѣдный рубль былъ у него въ карманѣ, а хозяйство пошло лучше; здоровыя руки его жены никогда не были праздны: она себѣ и пряла, и ткала, да еще оказалось мастерицею валять чулки и огородничать. Словомъ, жена его была простая, досужая крестьянская женщина, вѣрная и покорная, съ которою библейскій чудакъ могъ жить по-библейски, и разсказать о ней, кромѣ сказаннаго, нечего.

Обращеніе съ женою у Александра Аѳанасьевича было самое простое, но своеобразное: онъ ей говорилъ «ты», а она ему «вы»; онъ звалъ ее «баба», а она его Александръ Аѳанасьевичъ; она ему служила, а онъ былъ ея господинъ; когда онъ съ нею заговаривалъ, она отвѣчала, — когда онъ молчалъ, она не смѣла спрашивать. За столомъ онъ сидѣлъ, а она подавала, но ложе у нихъ было общее и, вѣроятно, это было причиною, что у нихъ появился плодъ супружества. Плодъ былъ одинъ—единственный сынъ,

котораго «баба» выкормила, а въ воспитаніе его не вмѣшивалась.

Любила ли «баба» своего библейскаго мужа, или не любила—это въ ихъ отношеніяхъ ничѣмъ не проявлялось, но что она была вѣрна своему мужу — это было несомнѣнно. Кромѣ того, она его боялась какъ лица, поставленнаго надъ нею закономъ Божескимъ и имѣющаго на нее божественное право. Мирному житію ея это не мѣшало. Грамотѣ она не знала и Александръ Аѳанасьевичъ не желалъ пополнять этого пробѣла въ ея воспитаніи. Жили они, разумѣется, спартански, въ самой строжайшей умѣренности, но не считали это несчастіемъ; этому, можетъ-быть, много помогало, что и многіе другіе жили вокругъ не въ бо́льшемъ довольствѣ. Чаю они не пили и не содержали его въ заводѣ, а мясо ѣли только по большимъ праздникамъ—въ остальное же время питались хлѣбомъ и овощами, квасными или свѣжими съ своего огорода, а всего болѣе грибами, которыхъ росло въ изобиліи въ ихъ лѣсной сторонѣ. Грибы эти «баба» лѣтнею порою сама собирала по лѣсамъ и сама готовила въ прокъ, но, къ сожалѣнію ея, заготовляла ихъ только однимъ способомъ сушенія. Солить было нечѣмъ. Расходъ на соль въ потребномъ количествѣ для всего запаса не входилъ въ разсчетъ Рыжова, а когда «баба» однажды насолила кадочку груздей солью, которую ей подарилъ въ мѣшечкѣ откупщикъ, то Александръ Аѳанасьевичъ, дознавшись объ этомъ, «бабу» патріархально побилъ и сволъ къ протопопу для наложенія на нее эпитиміи за ослушаніе противъ завѣтовъ мужа, а грибы цѣлою кадкою собственноручно прикатилъ къ откупщикову двору и велѣлъ взять «куда хотятъ», а откупщику сдѣлалъ выговоръ.

Таковъ былъ этотъ чудакъ, про котораго изъ долготы его дней тоже разсказывать много нечего; сидѣлъ онъ на своемъ мѣстѣ, дѣлалъ свое маленькое дѣло, не пользующееся ничьимъ особеннымъ сочувствіемъ и ничьего особеннаго сочувствія не искалъ; солигаличскіе верховоды считали его «поврежденнымъ отъ Библіи», а простецы судили о немъ просто, что онъ «такой-нѣкій-этакой».

Довольно неясное опредѣленіе это для нихъ имѣло значеніе ясное и понятное.

Рыжовъ нимало не заботился, что̀ о немъ думаютъ: онъ

честно служилъ всѣмъ и особенно не угождалъ никому; въ мысляхъ же своихъ отчитывался Единому, въ Кого неизмѣнно и крѣпко вѣрилъ, именуя Его учредителемъ и хозяиномъ всего сущаго. Удовольствіе Рыжова состояло въ исполненіи своего долга, а высшій духовный комфортъ — философствованіе о высшихъ вопросахъ міра духовнаго и объ отраженіи законовъ того міра въ явленіяхъ и въ судьбахъ отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ царствъ и народовъ. Не имѣлъ ли Рыжовъ общей многимъ самоучкамъ слабости считать себя всѣхъ умнѣе — это не извѣстно: но онъ не былъ гордъ и своихъ вѣрованій и взглядовъ онъ никому никогда не навязывалъ и даже не сообщалъ, а только вписывалъ въ большія тетради синей бумаги, которыя подшивалъ въ одну обложку съ многозначительною надписью: «Однодумъ».

Что было написано во всей этой громаднѣйшей рукописи полицейскаго философа—осталось сокрытымъ, потому что со смертью Александра Аѳанасьевича его «Однодумъ» пропалъ, да и по памяти о немъ много никто разсказать не можетъ. Едва только два-три мѣста изъ всего «Однодума» были показаны Рыжовымъ одному важному лицу при одномъ необычайномъ случаѣ его жизни, къ которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы «Однодума», о существованіи котораго зналъ почти весь Солигаличъ, изведены на оклейку стѣнъ или, можетъ-быть, и сожжены, во избѣжаніе непріятностей, такъ какъ это сочиненіе заключало въ себѣ много несообразнаго бреда и религіозныхъ фантазій, за которыя тогда и автора, и чтецовъ посылали молиться въ Соловецкій монастырь.

Духъ же этой рукописи сталъ извѣстенъ съ наступающаго достопамятнаго въ хроникахъ Солигалича происшествія.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Не могу съ точностью вспомнить и не знаю, гдѣ справиться: въ которомъ именно году въ Кострому былъ назначенъ губернаторомъ Сергѣй Степановичъ Ланской, впослѣдствіи графъ и извѣстный министръ внутреннихъ дѣлъ. Сановникъ этотъ, по мѣткому замѣчанію одного его современника, «имѣлъ сильный умъ и надменную фигуру», и такая краткая характеристика вѣрна и вполнѣ достаточна

для представленія, какое нужно имѣть о немъ нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважалъ въ людяхъ честность и справедливость и самъ былъ добръ, а также любилъ Россію и русскаго человѣка, но понималъ его барственно, какъ аристократъ, имѣвшій на все чужеземный взглядъ и западную мѣрку.

Назначеніе Ланского губернаторомъ въ Кострому случилось во время чудаческаго служенія Александра Аѳанасьевича Рыкова солигаличскимъ квартальнымъ, и притомъ еще при нѣкоторыхъ особенныхъ обстоятельствахъ.

По вступленіи Сергѣя Степановича въ должность губернатора, онъ, по примѣру многихъ дѣятелей, прежде всего «размелъ губернію», т.-е. выгналъ со службы великое множество нерадивыхъ и злоупотреблявшихъ своею должностью чиновниковъ, въ числѣ коихъ былъ и солигаличскій городничій, при которомъ состоялъ квартальнымъ Рыковъ.

По изгнаніи со службы негодныхъ лицъ, новый губернаторъ не спѣшилъ замѣщать ихъ другими, чтобы не попасть на такихъ же, а можетъ-быть еще и на худшихъ. Чтобы избрать людей достойныхъ, онъ хотѣлъ оглядѣться или, какъ нынче по-русски говорятъ, «оріентироваться».

Съ этою цѣлью должности удаленныхъ лицъ были поручены временнымъ замѣстителямъ изъ младшихъ чиновниковъ,—а губернаторъ вскорѣ же предпринялъ объѣздъ всей губерніи, затрепетавшей страннымъ трепетомъ отъ однихъ слуховъ о его «надменной фигурѣ».

Александръ Аѳанасьевичъ исправлялъ должность городничаго. Что онъ дѣлалъ на этомъ замѣстительствѣ отмѣннаго отъ прежнихъ «сталыхъ» порядковъ,—этого не знаю; но, разумѣется, онъ не бралъ взятокъ на городничествѣ, какъ не бралъ ихъ на своемъ квартальничествѣ. Образа жизни своей и отношеній къ людямъ Рыковъ тоже не мѣнялъ,—даже не садился на городническій стулъ передъ зерцало, а подписывался «за городничаго», сидя за своимъ изъѣденнымъ чернилами столикомъ у входной двери. Этому послѣднему упорству Рыковъ имѣлъ объясненіе, находящееся въ связи съ апоѳеозою его жизни. У Александра Аѳанасьевича и послѣ многихъ лѣтъ его службы точно такъ же, какъ и въ первые дни его квартальничества,—*не было форменнаго платья*, и онъ правилъ «за городничаго» все въ томъ же

просаленномъ и перештопанномъ бешметѣ. А потому на представленія письмоводителя пересѣсть на мѣсто онъ отвѣчалъ:

— Не могу: хитонъ обличаетъ мя, яко нѣсть браченъ.

Все это такъ и было записано имъ собственною рукою въ его «Однодумѣ», съ добавленіемъ, что письмоводитель предлагалъ ему «пересѣсть въ бешметѣ, но снять орла на зерцалѣ», однако, Александръ Аѳанасьевичъ «оставилъ сію непристойность» и продолжалъ сидѣть на прежнемъ мѣстѣ въ бешметѣ.

Дѣлу полицейской расправы въ городѣ эта неформенность не мѣшала, но вопросъ становился совершенно инымъ, когда пришла вѣсть о пріѣздѣ «надменной фигуры». Александръ Аѳанасьевичъ, въ качествѣ градоначальника, долженъ былъ встрѣтить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостояніи Солигалича, а также отвѣчать на всѣ вопросы, какіе Ланской ему предложитъ, и репрезентовать ему всѣ достопримѣчательности города, начиная отъ собора, до тюрьмы, пустырей, овраговъ, съ которыми никто не зналъ что дѣлать.

Рыжовъ, дѣйствительно, имѣлъ задачу: какъ ему отбыть все это въ своемъ бешметѣ? Но онъ объ этомъ нимало не заботился, зато много заботъ причиняло это всѣмъ другимъ, потому что Рыжовъ своимъ безобразіемъ могъ на первомъ же шагу прогнѣвить «надменную фигуру». Никому и въ голову не приходило, что именно Александру-то Аѳанасьевичу и предстояло удивить и даже *обрадовать* всѣхъ пугавшую «надменную фигуру», и даже напророчить ему повышеніе.

Вообще заботливый Александръ Аѳанасьевичъ нимало не смущался, какъ онъ явится, и совсѣмъ не раздѣлялъ общей чиновничьей робости, черезъ что подвергся осужденію и даже ненависти и палъ во мнѣніи своихъ согражданъ, но палъ съ тѣмъ, чтобы потомъ встать всѣхъ выше и оставить по себѣ память героическую и почти баснословную.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Не излишне еще разъ напомнить, что въ тѣ недавнія, но глубоко провалившіяся времена, къ которымъ относится разсказъ о Рыжовѣ, губернаторы были совсѣмъ не то, что въ нынѣшніе лукавые дни, когда величіе этихъ сановни-

ковъ значительно пало, или, по выраженію нѣкоего духовнаго лѣтописца, «жестоко подвалишася». Тогда губернаторы ѣздили «страшно», а встрѣчали ихъ «притрепетно». Теченіе ихъ совершалось въ грандіозной суетѣ, которой работали не только всѣ младшія начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногіе скоты. Города къ пріѣзду губернаторовъ воспринимали помазаніе мѣломъ, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась національная пестрядь казенной трехцвѣтки; бударямъ и инвалидамъ внушали «головы и усы навакснть»,— изъ больницъ шла усиленная выписка въ «оздоровку». Во всеобщемъ оживленіи участвовало все до конецъ земли; изъ деревень на тракты сгоняли бабъ и мужиковъ, которые по мѣсяцамъ кочевали, чиня дорожныя топи, гати и мосты; на станціяхъ замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спѣшно ѣдущіе по безчисленнымъ казеннымъ надобностямъ. Станціонные смотрители въ эту пору отмещивали неспокойному люду свои нестерпимыя обиды и съ непоколебимою душевною твердостію заставляли плестись на какихъ попало клячахъ, потому что хорошія лошади «выстаивались» подъ губернатора. Словомъ, не было никому ни проходу, ни проѣзду безъ того, чтобы онъ не осязалъ какимъ-нибудь изъ своихъ чувствъ, что въ природѣ всѣхъ вещей происходитъ нѣчто чрезвычайное. Благодаря этому, тогда безъ всякаго пустозвонства болтливой прессы всякъ, старъ и младъ, знали, что ѣдетъ тотъ, кого нѣтъ на всю губернію больше, и всѣ, кто какъ умѣлъ, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразныя свои чувства. Но самая возвышенная дѣятельность происходила въ центральныхъ гнѣздахъ уѣзднаго властелинства—въ судебныхъ канцеляріяхъ, гдѣ дѣло начиналось съ утомительной и скучной отмѣтки регистровъ, а кончалось веселою операціею обметанія стѣнъ и мытья половъ. Поломойство — это было что-то въ родѣ классическихъ оргій въ дни сбиранія винограда, когда все напряженно ликовало, имѣя одну заботу: пожить, пока наступитъ часъ смертный. Въ канцеляріи за небольшимъ конвоемъ кривыхъ инвалидовъ доставляли изъ острога смертною скукою соскучившихся арестантокъ, которыя, ловя краткій мигъ счастія, пользовались здѣсь плѣнительными правами своего пола—услаждать долю смертныхъ. Декольте и маншкурты, съ которыми онѣ приступали къ работѣ,

столь возбудительно дѣйствовали на дежурившихъ при бумагахъ молодыхъ приказныхъ, что послѣдствіемъ этого, какъ извѣстно, въ острогахъ нерѣдко появлялись на свѣтъ такъ-называемыя «поломойныя дѣти», — непризнаннаго, но несомнѣнно благороднаго происхожденія.

Въ эти же дни въ домахъ чернили парадные сапоги, бѣлили рейтузы и приготовляли слежавшіеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло городъ. Мундиры сначала *провѣтривали* въ жаркій день на солнышкѣ, раскидывая ихъ на протянутыхъ черезъ дворъ веревкахъ, что ко всякимъ воротамъ привлекало множество любопытныхъ; потомъ мундиры *выбивали* прутьями, растянувъ на подушкѣ, или на войлочкѣ; затѣмъ ихъ *трясли*, еще позже ихъ *притопали*, *утюжили* и, наконецъ, *раскидывали* на креслѣ въ залѣ или другой парадной комнатѣ, и въ заключеніе всего—въ концѣ концовъ ихъ втихомолку кропили изъ священныхъ бутылочекъ богоявленскою водой, которая, если ее держать у образа въ заткнутой воскомъ посудинѣ, не портится отъ одного Крещенья дня до другого и нимало не утрачиваетъ чудотворной силы, сообщаемой ей въ моментъ погруженія креста съ пѣніемъ «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояніе Твое».

Исходя въ срѣтеніе особъ, чиновники облекались въ окропленные мундиры и въ качествѣ прочаго Божія достоянія бывали спасаемы. Объ этомъ есть много достовѣрныхъ сказаній, но при нынѣшнемъ всеобщемъ маловѣріи и особенно при оффенбаховскомъ настроеніи, царящемъ въ чиновномъ мірѣ, все это уже уронено въ общемъ мнѣніи и въ числѣ многихъ другихъ освященныхъ временемъ вещей легкомысленно подвергается сомнѣнію; отцамъ же нашимъ, имѣвшимъ настоящую, крѣпкую вѣру, давалось по ихъ вѣрѣ.

Ожиданіе губернатора въ тѣ времена длилось долго и мучительно. Желѣзныхъ дорогъ тогда еще не было, и поѣзда не подходили въ урочный часъ по росписанію, подвозя губернатора вмѣстѣ со всѣми прочими смертными, а особо заготовлялся трактъ и затѣмъ никто не зналъ съ точностью ни дня, ни часа, когда сановникъ пожалуетъ. Поэтому истома ожиданія была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самомъ зенитѣ которой находился очередной будочникъ, обязанный наблюдать трактъ съ самой высшей въ городѣ колокольни. Онъ

долженъ былъ не задремать, охраняя городъ отъ внезапнаго нашествія; но, конечно, случалось, что онъ дремалъ и даже спалъ, и тогда въ такихъ несчастныхъ случаяхъ бывали разныя непріятности. Иногда нерадивый стражъ ударялъ въ малый колоколъ, подпустивъ губернатора уже на слишкомъ близкую дистанцію, такъ что не всѣ чиновники успѣвали примундириться и выскочить, протопопъ облачиться и стать со крестомъ на сходахъ, а иногда даже городничій не успѣвалъ выѣхать, стоя въ телѣгѣ, къ заставѣ. Во избѣжаніе этого, сторожа заставляли ходить вокругъ колокольни и у каждаго пролета дѣлать поклонъ въ соотвѣтственную сторону.

Это служило сторожу развлеченіемъ, а обществу ручательствомъ, что бдящій надъ нимъ не спитъ и не дремлетъ. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случалось, что сторожъ обладалъ способностью альбатроса: онъ спалъ, ходя и кланяясь, а спросонья билъ ложный всполохъ, принявъ за губернатора помѣщичью карету, и тогда въ городѣ поднималось напрасное смятеніе, оканчивавшееся тѣмъ, что чиновники снова размундировались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительнаго стража слегка или не слегка сѣкли.

Подобныя трудности встрѣчались часто и преодолѣвались нелегко, и притомъ всею своею тягостью главнымъ образомъ лежали на городничемъ, который впередъ всѣхъ выносился вскачь навстрѣчу, первый принималъ на себя начальственные взоры и взрывы и, потомъ, опять, стоя же, скакалъ впереди губернаторской кареты къ собору, гдѣ у крыльца ожидалъ протопопъ во всемъ облаченіи съ крестомъ и кропиломъ въ чашѣ священной воды. Здѣсь городничій непремѣнно собственноручно откидывалъ губернаторскую подножку и этимъ пріемомъ, такъ сказать, собственноручно выпускалъ прибывшую высокую особу на родимую землю изъ путешественнаго ковчега. Теперь все это уже не такъ, все это попорчено и притомъ едва ли даже безъ участія самихъ губернаторовъ, въ числѣ коихъ были охотники «играть на пониженіе». Нынче они, можетъ-быть, и каются, но что̀ уплыло, того не воротятъ: подножекъ имъ никто не откидываетъ, кромѣ лакеевъ и жандармовъ.

Но исправлявшій эту обязанность прежній городничій этимъ не стѣснялся и служилъ для всѣхъ первымъ проб-

нымъ камнемъ; онъ первый извѣдывалъ: лютъ или благостенъ прибывшій губернаторъ. И, надо правду сказать, отъ городничаго многое зависѣло: онъ могъ испортить дѣло вначалѣ, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью могъ разгнѣвать губернатора и заставить его рвать и метать; а могъ также однимъ ловкимъ прыжкомъ, оборотомъ или инымъ соотвѣтственнымъ вывертомъ привести его превосходительство въ благорасположеніе.

Теперь каждый, даже не знавшій этихъ патріархальныхъ порядковъ читатель, можетъ судить, какъ естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось имѣть своимъ представителемъ такого своеобычнаго, неуклюжаго и упрямаго городничаго, какъ Рыжовъ, у котораго, вдобавокъ ко всѣмъ его личнымъ неудобнымъ качествамъ, весь уборъ состоялъ въ полосатомъ тиковомъ бешметѣ и кошлатой мужичьей шапкѣ.

Вотъ что первое должно было ударить прямо въ очи «надменной фигурѣ», о которой уже досужіе языки довели до Солигалича самыя страшныя вѣсти... Чего было ожидать добраго?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Александръ Аѳанасьевичъ, дѣйствительно, могъ привести кого хотите въ отчаяніе; онъ ни о чемъ не безпокоился и въ ожиданіи губернатора держалъ себя такъ, какъ будто предстоявшее страшное событіе его совсѣмъ не касалось. Онъ не сломалъ ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазалъ ни мѣломъ, ни охрою и вообще не предпринималъ никакихъ средствъ не только къ украшенію города, но и къ измѣненію своего несообразнаго костюма, а продолжалъ прохаживаться въ бешметѣ. На всѣ предлагаемые ему прожекты онъ отвѣчалъ:

— Не должно вводить народъ въ убытки: развѣ губернаторъ изнуритель края? онъ пусть проѣдетъ, а заборъ пусть останется. Требованія же насчетъ мундира Рыжовъ отражалъ тѣмъ, что у него на то нѣтъ достатковъ и что, говоритъ, имѣю,—въ томъ и являюсь: Богу совсѣмъ нагишомъ предстану. Дѣло не въ платьѣ, а въ разсудкѣ и въ совѣсти,—по платью встрѣчаютъ—по уму провожаютъ.

Переупрямить Рыжова никто не надѣялся, а между тѣмъ это было очень важно не столько для упрямца Рыжова, ко-

торому, можетъ-быть, и ничего съ его библейской точки зрѣнія, если его второе лицо въ государствѣ сгонитъ съ глазъ долой въ его бешметѣ; но это было важно для всѣхъ другихъ, потому что губернаторъ, конечно, разгнѣвается, увидя такую невидаль, какъ городничій въ бешметѣ.

Дорожа первымъ впечатлѣніемъ ожидаемаго гостя, солигаличскіе чины добивались только двухъ вещей: 1) чтобы былъ перекрашенъ шлагбаумъ, у котораго Александръ Аѳанасьевичъ долженъ встрѣтить губернатора, и 2) чтобы самъ Александръ Аѳанасьевичъ былъ на этотъ случай не въ полосатомъ бешметѣ, а въ приличной его званію формѣ. Но какъ этого достигнуть?

Мнѣнія были различныя и болѣе склонялись все къ тому, чтобы и шлагбаумъ перекрасить, и городничаго одѣть вскладчину. Въ отношеніи шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношенію къ обмундировкѣ Рыжова никуда не годилось.

Онъ сказалъ: «это даръ, а я даровъ не пріемлю». Тогда восторжествовало надъ всѣми предложеніе, которое подалъ зрѣлый въ сужденьи отецъ протопопъ. Онъ не видалъ нужды ни въ какой складчинѣ ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказалъ, что все должно лечь на того, кто всѣхъ провиннѣе, а всѣхъ провиннѣе, по его мнѣнію, былъ откупщикъ. На него все должно и пасть. Онъ одинъ обязанъ на свой собственный счетъ не по неволѣ какой, а изъ усердія, окрасить заставу, за что протопопъ обѣщалъ, срѣтая губернатора, упомянуть объ этомъ въ краткомъ словѣ и, кромѣ того, помолиться о жертвователѣ въ тайноглаголемой запрестольной молитвѣ. Кромѣ того, отецъ протопопъ разсудилъ, что откупщикъ долженъ дать засѣдателю, сверхъ ординаріи, тройную порцію рому, французской водки и кизлярки, до которыхъ засѣдатель охочъ. И пусть засѣдатель зато отрапортуется больнымъ и пьетъ себѣ дома эту добавочную ординарію и на улицу не выходитъ, а свой мундиръ, одной съ полицейскимъ формы, отпуститъ Рыжову, — отчего сей послѣдній, вѣроятно, не найдетъ причины отказаться, и будутъ тогда и овцы цѣлы, и волки сыты.

Планъ этотъ тѣмъ болѣе былъ удаченъ, что непремѣнный засѣдатель ростомъ-дородствомъ нѣсколько походилъ на Рыжова и притомъ, женясь недавно на купеческой дочери,

имѣлъ мундирную пару въ полномъ порядкѣ. Слѣдовательно, оставалось только упросить его, чтобы онъ для общаго блага къ пріѣзду начальства слегъ въ постель подъ видомъ тяжкой болѣзни и сдалъ свою амуницію на этотъ случай Рыжову, котораго отецъ протопопъ, надѣясь на свой духовный авторитетъ, тоже взялся убѣдить—и убѣдилъ. Не видя въ этомъ ни даровъ, ни мзды, справедливый Александръ Аѳанасьевичъ, для общаго счастія, согласился надѣть мундиръ. Произведена была примѣрка и пригонка форменной пары засѣдателя на Рыжова, и послѣ нѣкотораго выпуска со всѣхъ сторонъ всѣхъ запасовъ въ мундирѣ и въ рейтузахъ, дѣло было приведено къ удовлетворительному результату. Александръ Аѳанасьевичъ хотя чувствовалъ въ мундирѣ весьма стѣснительную связанность, но могъ, однако, двигаться и все-таки былъ теперь сноснымъ представителемъ власти. Небольшой же бѣлый карнизъ между мундиромъ и канифасовыми рейтузами положено было закрыть соотвѣтственною же канифасовою надшивкою, которою этотъ карнизъ былъ удачно замаскированъ. Словомъ, Александръ Аѳанасьевичъ былъ снаряженъ такъ, что губернаторъ могъ повернуть его на всѣ стороны и полюбоваться имъ такъ и иначе. Но злому року угодно было все это осмѣять и оставить Александру Аѳанасьевичу надлежащую представительность только съ одной стороны, а другую совсѣмъ испортить, и притомъ такимъ двусмысленнымъ образомъ, что могло дать поводъ къ самымъ произвольнымъ толкованіямъ его и безъ того загадочнаго политическаго образа мыслей.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Шлагбаумъ былъ окрашенъ во всѣ цвѣта національной пестряди, состоящей изъ черныхъ и бѣлыхъ полосъ съ красными отводами, и еще не успѣлъ запылиться, какъ пронеслась вѣсть, что губернаторъ уже выѣхалъ изъ сосѣдняго города и держитъ путь прямо на Солигаличъ. Тотчасъ же вездѣ были поставлены махальные солдаты, а у забора бѣдной хибары Рыжова глодала землю рѣзвая почтовая тройка съ телѣгою, въ которую Александръ Аѳанасьевичъ долженъ былъ вспрыгнуть при первомъ сигналѣ и скакать навстрѣчу «надменной фигурѣ».

Въ послѣднемъ условіи было чрезвычайно много неудоб-

ной сложности, исполнявшей все вокругъ безпокойной тревогой, которую очень не любилъ самообладающій Рыковъ. Онъ рѣшился «быть всегда на своемъ мѣстѣ»: перевелъ тройку отъ своего забора къ заставѣ и самъ въ полномъ нарядѣ,—въ мундирѣ и бѣлыхъ рейтузахъ, съ рапортомъ за бортомъ, сѣлъ тутъ же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здѣсь, какъ столпникъ, а вокругъ него собрались любопытные, которыхъ онъ не прогонялъ, а, напротивъ, велъ съ ними бесѣду и среди этой бесѣды сподобился увидать, какъ на трактѣ заклубилось пыльное облако, изъ котораго стала вырѣзаться пара выносныхъ съ форейторомъ, украшеннымъ мѣдными бляхами. Это катилъ губернаторъ.

Рыковъ быстро спрыгнулъ въ телѣгу и хотѣлъ скакать, какъ вдругъ былъ пораженъ общимъ стономъ и вздохомъ толпы, крикнувшей ему:

— Батюшка, сбрось штанцы!

— Что такое?—переспросилъ Рыковъ.

— Штанцы сбрось, батюшка, штанцы,—отвѣчали люди.— Погляди-ка, на коемъ мѣстѣ сидѣлъ, такъ къ бѣлому весь шланбовъ припечаталъ.

Рыковъ оглянулся черезъ плечо и увидѣлъ, что всѣ невысохшія полосы національныхъ цвѣтовъ шлагбаума, дѣйствительно, съ удивительною отчетливостью отпечатались на его рейтузахъ.

Онъ поморщился, но сейчасъ же вздохнулъ и сказалъ: «Сюда начальству глядѣть нечего» и пустилъ вскачь тройку навстрѣчу «надменной особѣ».

Люди только руками махнули:

— Отчаянный! что-то ему теперь будетъ?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Скороходы изъ этой же толпы быстро успѣли дать знать въ соборъ духовенству и набольшимъ, въ какомъ двусмысленномъ видѣ встрѣтитъ губернатора Рыковъ,—но теперь уже всѣмъ было самому до себя.

Всѣхъ страшнѣе было протопопу, потому что чиновники притаились въ церкви, а онъ съ крестомъ въ рукахъ стоялъ на сходахъ. Его окружалъ очень небольшой причтъ, изъ коего вырѣзались двѣ фигуры: приземистый дьяконъ съ большой головой и длинноногій дьячокъ въ стихарѣ съ

священною водою въ «апликовой» чашѣ, которая ходуномъ ходила въ его оробѣвшихъ рукахъ. Но вотъ трепетъ страха смѣнился окаменѣніемъ: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телѣга, въ которой съ замѣчательнымъ достоинствомъ возвышалась гигантская фигура Рыжова. Онъ былъ въ шляпѣ, въ мундирѣ съ краснымъ воротомъ и въ бѣлыхъ рейтузахъ съ надшитымъ канифасовымъ карнизомъ, — что издали рѣшительно ничего не портило. Напротивъ, онъ всѣмъ казался чѣмъ-то величественнымъ и, дѣйствительно, такимъ и долженъ былъ казаться. Твердо стоя на скачущей телѣгѣ, на облучкѣ которой подпрыгивалъ ямщикъ, Александръ Аѳанасьевичъ не колебался ни направо, ни налѣво, а плылъ точно на колесницѣ какъ тріумфаторъ, сложивъ на груди свои богатырскія руки и обдавая цѣлымъ облакомъ пыли слѣдовавшую за нимъ шестерикомъ коляску и легкій тарантасикъ. Въ этомъ тарантасѣ ѣхали чиновники. Ланской помѣщался одинъ въ каретѣ и, несмотря на отличавшую его солидную важность, былъ, повидимому, сильно заинтересованъ Рыжовымъ, который летѣлъ впереди его, стоя, въ кургузомъ мундирѣ, нимало не закрывавшемъ разводы національныхъ цвѣтовъ на его бѣлыхъ рейтузахъ. Очень возможно, что значительная доля губернаторскаго вниманія была привлечена именно этою странностію, значеніе которой не такъ легко было понять и опредѣлить.

Телѣга въ свое время своротила въ сторону, и Александръ Аѳанасьевичъ въ свое время соскочилъ и открылъ дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышелъ, имѣя, какъ всегда, неизмѣнно «надменную фигуру», въ которой, впрочемъ, содержалось довольно доброе сердце. Протопопъ, осѣнивъ его крестомъ, сказалъ: «Благословенъ грядый во имя Господне» и затѣмъ покропилъ его легонько священной водою.

Сановникъ приложился ко кресту, отеръ батистовымъ платкомъ попавшія ему на надменное чело капли и вступилъ *первый* въ церковь. Все это происходило на самомъ виду у Александра Аѳанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось,—все было «надменно». Неблагопріятное впечатлѣніе еще болѣе усилилось тѣмъ, что, вступивъ въ храмъ, губернаторъ не положилъ на себя креста и никому не поклонился,—ни алтарю, ни народу, и шелъ какъ шестъ, не сгибая головы, къ амвону.

Это было противъ всѣхъ правилъ Рыжова по отношенію къ богопочитанію и къ обязанностямъ высшаго быть примѣромъ для низшихъ, — и благочестивый духъ его всколебался и поднялся на высоту невѣроятную.

Рыжовъ все шелъ слѣдомъ за губернаторомъ и, по мѣрѣ того, какъ Ланской приближался къ солеѣ, Рыжовъ все больше и больше сокращалъ разстояніе между нимъ и собою, и вдругъ неожиданно схватилъ его за руку и громко произнесъ:

— Рабъ Божій Сергій! входи во храмъ Господень не надменно, а смиренно, представляя себя самымъ большимъ грѣшникомъ—вотъ какъ!

Съ этимъ онъ положилъ губернатору руку на спину и, степенно нагнувъ его въ полный поклонъ, снова отпустилъ и сталъ на вытяжку.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Очевидецъ, передававшій эту анекдотическую исторію о солигаличскомъ антикѣ, ничего не говорилъ: какъ принялъ это бывшій въ храмѣ народъ и начальство. Извѣстно только, что никто не имѣлъ отваги, чтобы заступиться за нагнутаго губернатора и остановить безтрепетную руку Рыжова, но о Ланскомъ сообщаютъ нѣчто подробнѣе. Сергѣй Степановичъ не подалъ ни малѣйшаго повода къ продолженію безпорядка, а, напротивъ, «смѣнилъ свою горделивую надменность умнымъ самообладаніемъ». Онъ не оборвалъ Александра Аѳанасьевича, и даже не сказалъ ему ни слова, но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затѣмъ скоро вышелъ и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здѣсь Ланской принялъ чиновниковъ—коронныхъ и выборныхъ, и тѣхъ изъ нихъ, которые ему показались достойными большаго довѣрія, разспросилъ о Рыжовѣ: что это за человѣкъ и какимъ образомъ онъ терпится въ обществѣ.

— Это нашъ квартальный Рыжовъ,—отвѣчалъ ему голова.

— Что же онъ... вѣроятно, въ помѣшательствѣ?

— Никакъ нѣтъ: просто всегда *такой*.

— Такъ зачѣмъ же держать *такого* на службѣ?

— Онъ по службѣ хорошъ.

— Дерзокъ.

— Самый смирный: на шею ему старшій сядь,—разсу-

дить: «поэтому везть надо» — и повезетъ, но только онъ много въ Библіи начитавшись и черезъ то разстроенъ.

— Вы говорите несообразное: Библія книга божественная.

— Это точно такъ, только ее не всякому честь пристойно: въ иночествѣ отъ нея страсть мечется, а у мірскихъ людей умъ мѣшается.

— Какіе пустяки! — возразилъ Ланской и продолжалъ разспрашивать:

— А какъ онъ насчетъ взятокъ: умѣренъ ли?

— Помилуйте, — говоритъ голова: — онъ совсѣмъ ничего не беретъ...

Губернаторъ еще больше не повѣрилъ.

— Этому,—говоритъ:—я уже ни за что не повѣрю.

— Нѣтъ; дѣйствительно, не беретъ.

— А какъ же, говоритъ, онъ какими средствами живетъ?

— Живетъ на жалованье.

— Вы вздоръ мнѣ разсказываете: такого человѣка во всей Россіи нѣтъ.

— Точно,—отвѣчаетъ, нѣтъ; но у насъ такой объявился.

— А сколько ему жалованья положено?

— Въ мѣсяцъ десять рублей.

— Вѣдь на это, говоритъ, овцу прокормить нельзя.

— Дѣйствительно, говоритъ, мудрено жить — только онъ живетъ.

— Отчего же такъ всѣмъ нельзя, а онъ обходится?

— Библіи начитался.

— Хорошо,—«Библіи начитался», а что же онъ ѣстъ?

— Хлѣбъ да воду.

И тутъ голова и разсказалъ о Рыжовѣ, каковъ онъ во всѣхъ дѣлахъ своихъ.

— Такъ это совсѣмъ удивительный человѣкъ!—воскликнулъ Ланской и велѣлъ позвать къ себѣ Рыжова.

Александръ Аѳанасьевичъ явился и сталъ у притолки, иже по подчиненію.

— Откуда вы родомъ?—спросилъ его Ланской.

— Здѣсь, на Нижней улицѣ родился,—отвѣчалъ Рыжовъ.

— А гдѣ воспитывались?

— Не имѣлъ воспитанія... у матери росъ, а матушка пироги пекла.

— Учились гдѣ-нибудь?

— У дьячка.

— Исповѣданія какого?

— Христіанинъ.

— У васъ очень странные поступки.

— Не замѣчаю: всякому то кажется странно, что самому несвойственно.

Ланской подумалъ, что это вызывающій, дерзкій намекъ и, строго взглянувъ на Рыжова, рѣзко спросилъ:

— Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?

— Здѣсь нѣтъ секты: я въ соборъ хожу.

— Исповѣдуетесь?

— Богу при протопопѣ каюсь.

— Семья у васъ есть?

— Есть жена съ сыномъ.

— Жалованье малое получаете?

Никогда не смѣявшійся Рыжовъ улыбнулся.

— Беру, говоритъ, въ мѣсяцъ десять рублей, а не знаю: какъ это,—много или мало.

— Это немного.

— Доложите государю, что для лукаваго раба это мало.

— А для вѣрнаго?

— Достаточно.

— Вы, говорятъ, никакими статьями не пользуетесь?

Рыжовъ посмотрѣлъ и промолчалъ.

— Скажите по совѣсти: быть ли это можетъ такъ?

— А отчего же не можетъ быть?

— Очень малыя средства.

— Если имѣть великое обузданіе, то и съ малыми средствами обойтись можно.

— Но зачѣмъ вы не проситесь на другую должность?

— А кто же эту занимать станетъ?

— Кто-нибудь другой.

— Развѣ онъ лучше меня справитъ?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсѣмъ заинтересовалъ его нечуждую теплоты душу.

— Послушайте,—сказалъ онъ:—вы чудакъ; я васъ прошу сѣсть.

Рыжовъ сѣлъ vis-à-vis съ «надменнымъ».

— Вы, говорятъ, знатокъ Библіи?

— Читаю, сколько время позволяетъ, и вамъ совѣтую.

— Хорошо; но... могу ли я васъ увѣрить, что вы можете со мною говорить совсѣмъ откровенно и по справедливости.

— Ложь заповѣдью запрещена,—я лгать не стану.

— Хорошо. Уважаете ли вы власти?

— Не уважаю.

— За что?

— Лѣнивы, алчны и предъ престоломъ криводушны, — отвѣчалъ Рыжовъ.

— Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?

— Нѣтъ; а по Библіи вывожу, что ясно слѣдуетъ.

— Можете ли вы мнѣ показать хоть одинъ вашъ выводъ?

Рыжовъ отвѣчалъ, что можетъ, — и сейчасъ же принесъ цѣлый обертокъ бумаги съ надписью «Однодумъ».

— Что тутъ есть пророчественнаго о прошломъ и сбывшемся?—спросилъ Ланской.

Квартальный перемахнулъ знакомыя страницы и прочиталъ: «Государыня въ перепискѣ съ Вольтеромъ назвала его вторымъ Златоустомъ. За сіе несообразное сравненіе жизнь нашей монархини не будетъ имѣть спокойнаго конца».

На отлиненномъ полѣ противъ этого мѣста отмѣчено: «исполнилось при огорчительномъ сватовствѣ Павла Петровича».

— Покажите еще что-нибудь.

Рыжовъ опять заметалъ страницы и указалъ новое мѣсто, которое все заключалось въ слѣдующемъ: «Изданъ указъ о попенномъ сборѣ. Отнынѣ хладъ бѣдныхъ хижинъ усилится. Надо ожидать особеннаго наказанія». И на полѣ опять отмѣтка: «Исполнилось,—зри страницу такую-то», а на той страницѣ запись о кончинѣ юной дочери императора Александра Перваго съ отмѣткою: «сіе послѣдовало за назначеніе налога на лѣсъ».

— Но позвольте, однако,—спросилъ Ланской:—вѣдь лѣса составляютъ собственность?

— Да; а грѣть воздухъ въ жильѣ составляетъ потребность.

— Вы противъ собственности?

— Нѣтъ; я только, чтобы всѣмъ тепло было въ стужу. Не надо давать лѣсовъ тѣмъ, кому и безъ того тепло.

— А какъ вы судите о податяхъ: слѣдуетъ ли облагать людей податью?

— Надо наложить и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платилъ казнѣ за бѣднаго.

— Гм, гм! вы ни откуда это ученіе не почерпаете?

— Изъ священнаго писанія и моей совѣсти.

— Не руководятъ ли васъ къ сему иные источники новаго времени?

— Всѣ другіе источники не чисты и полны суемудрія.

— Теперь скажите впослѣднее: какъ вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною въ церкви сдѣлали?

— Что пишу, то про себя пишу, а что въ храмѣ сдѣлалъ, то долженъ былъ учинить, цареву власть оберегаючи.

— Почему цареву?

— Дабы видѣли всѣ его слугъ къ вѣрѣ народной почтительными.

— Но вѣдь я могъ съ вами обойтись совсѣмъ не такъ, какъ обхожусь.

Рыжовъ посмотрѣлъ на него *«съ сожалѣніемъ»* и отвѣчалъ:

— А какое же зло можно сдѣлать тому, кто на десять рублей въ мѣсяцъ умѣетъ съ семьей жить?

— Я могъ велѣть васъ арестовать.

— Въ острогѣ сытѣй ѣдятъ.

— Васъ сослали бы за эту дерзость.

— Куда меня можно сослать, гдѣ бы мнѣ было хуже и гдѣ бы Богъ мой оставилъ меня? Онъ вездѣ со мною, а кромѣ Его никого не страшно.

Надменная шея склонилась и лѣвая рука Ланского простерлась къ Рыжову.

— Характеръ вашъ почтененъ, — сказалъ онъ и велѣлъ ему выйти.

Но, повидимому, онъ еще не совсѣмъ довѣрялъ этому библейскому соціалисту и спросилъ о немъ лично самъ нѣсколько простолюдиновъ.

Тѣ, покрутя рукой въ воздухѣ, въ одно слово отвѣчали:

— Онъ у насъ такой-нѣкій-этакой.

Болѣе положительнаго изъ нихъ о немъ никто не зналъ.

Прощаясь, Ланской сказалъ Рыжову:

— Я о васъ не забуду и совѣтъ вашъ исполню, — прочту Библію.

— Да только этого мало, а вы и на десять рублей въ мѣсяцъ жить поучитесь, — добавилъ Рыжовъ.

Но этого совѣта Ланской уже не обѣщалъ исполнить, а только засмѣялся, опять подалъ ему руку и сказалъ:

— Чудакъ, чудакъ!

Сергѣй Степановичъ уѣхалъ, а Рыжовъ унесъ къ себѣ домой своего «Однодума» и продолжалъ писать въ немъ, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновеніе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Со времени проѣзда Ланского прошло довольно времени, и событія, сопровождавшія этотъ проѣздъ черезъ Солигаличъ, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною сутолокою, какъ вдругъ, нежданно-негаданно, на дивное-диво не только Солигаличу, а всей просвѣщенной Россіи, въ обревизованный городъ пришло извѣстіе совершенно невѣроятное и даже въ стройномъ порядкѣ правленія невозможное: квартальному Рыжову былъ присланъ дарующій дворянство владимірскій крестъ, — первый владимірскій крестъ, пожалованный квартальному.

Самый орденъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ предписаніемъ возложить его и носить по установленію. И крестъ, и грамота были вручены Александру Аѳанасьевичу съ объявленіемъ, что удостоенъ онъ сея чести и сего пожалованія по представленію Сергѣя Степановича Ланского.

Рыжовъ принялъ орденъ, посмотрѣлъ на него и проговорилъ вслухъ:

— Чудакъ, чудакъ! А въ «Однодумѣ» противъ имени Ланского отмѣтилъ: «быть ему графомъ», — что, какъ извѣстно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было *не на чемъ*.

Кавалеръ Рыжовъ жилъ почти девяносто лѣтъ, аккуратно и своеобразно отмѣчая все въ своемъ «Однодумѣ», который, вѣроятно, издержанъ при какой-нибудь уѣздной реставраціи на оклейку стѣнъ. Умеръ онъ, исполнивъ всѣ христіанскія требы по установленію православной церкви, хотя православіе его, по общимъ замѣчаніямъ, было «сомнительно». Рыжовъ и въ вѣрѣ былъ человѣкъ такой-нѣкій-этакой, но при всемъ томъ, мнѣ кажется, въ немъ можно видѣть кое-что кромѣ «одной дряни», — чѣмъ и да будетъ онъ помянутъ въ самомъ началѣ розыска о «трехъ праведникахъ».

ПИГМЕИ.

Разскажу вамъ одно истинное событіе, о которомъ недавно вспомнили въ одномъ скромномъ кружкѣ, по поводу замѣчаемаго нынче чрезмѣрнаго усиленія въ нашемъ обществѣ холоднаго и безстрастнаго эгоизма и безучастія. Нѣкоторымъ изъ собесѣдниковъ казалось, что будто прежде такъ не было, — имъ сдавалось, будто еще и въ недавнее время сердца были немножко потеплѣе и души поучастливѣе, и одинъ изъ собесѣдниковъ, мой землякъ, пожилой и весьма почтенный человѣкъ, сказалъ намъ:

— Да вотъ какъ, господа: я сейчасъ еще знаю у насъ въ губерніи одного старичка, самаго мелкопомѣстнаго дворянина, настоящаго пигмея, который никогда въ жизни не игралъ никакой значительной роли, а между тѣмъ онъ, живучи здѣсь въ Петербургѣ, по одному благородному побужденію, сдѣлалъ разъ такое дѣло, что этому даже, пожалуй, и повѣрить трудно. И если я вамъ это разскажу, такъ вы увидите, что можетъ сдѣлать для ближняго самый маленькій человѣкъ, когда онъ серьезно *захочетъ* помочь ему; — наше нынѣшнее горе въ томъ, что никто ничего не хочетъ сдѣлать для человѣка, если не чаетъ отъ этого себѣ выгоды.

И разсказчикъ сообщилъ намъ слѣдующее:

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мелкопомѣстный дворянинъ, о которомъ я говорю, назывался С***, онъ еще здравствуетъ и доживаетъ свой вѣкъ въ своемъ маленькомъ хуторочкѣ въ К. уѣздѣ. Прежде чѣмъ

состарѣться, онъ служилъ здѣсь въ Петербургѣ въ вѣдомствѣ с.-петербургской полиціи и на самомъ ничтожномъ мѣстѣ: на обязанности его лежало распоряжаться исполненіемъ публичныхъ тѣлесныхъ наказаній. Въ то сравнительно весьма недавнее время у насъ на святой Руси людей непривилегированнаго класса сѣкли плетями и клеймили. За свою долговременную службу нынѣшній старичокъ С., разумѣется, «привелъ въ исполненіе» этихъ наказаній такое безчисленное множество, что совершенно привыкъ къ такому непріятному занятію и распоряжался этимъ холодно и безтрепетно, какъ самымъ обыкновеннымъ служебнымъ дѣломъ. Но вотъ разъ съ нимъ случилось такое событіе, что онъ самъ себѣ измѣнилъ и, по собственнымъ его словамъ, «вмѣсто того, чтобы благоразумно долгъ свой исполнить—надѣлалъ глупостей».

Событіе это произошло въ 1853 г., когда русскія отношенія къ Франціи были очень натянуты, и въ столицѣ сильно уже поговаривали о возможности рѣшительнаго разрыва. Въ это время разъ чиновнику С. передаютъ «для исполненія» бумагу о наказаніи плетьми, черезъ палача, молодого француза N, осужденнаго къ этому за самый гадкій поступокъ надъ малолѣтней дѣвочкой. Я не назову вамъ этого француза, потому что онъ живъ и довольно извѣстенъ; а какъ его имя берегла отъ оглашенія скромность «пигмея», то и я не великанъ, чтобы его выдать.

— Прочелъ, — говоритъ С.:—я эту бумагу, помѣтилъ, и что же еще тутъ долго думать: отшлепаемъ молодца яко старца, да и дѣло съ концомъ; и я далъ въ порядкѣ приказъ подрядчику, чтобы завтра эшафотъ на площади сладить, а самъ велѣлъ привести арестанта, чтобы посмотрѣть на него: здоровъ ли онъ и можно ли его безопасно подвергнуть этой процедурѣ.

Приводятъ человѣка такого тщедушнаго, дохлаго; блѣдный, плачетъ, дрожитъ и руки ломаетъ, а самъ все жалостно лепечетъ.

— Ахъ ты, думаю, Господи Боже мой: надо же было ему, этакому французскому поганцу, сюда заѣхать и этакое пакостное дѣло здѣсь учинить, чтобы мы его тутъ на свой фасонъ какъ сидорову козу лупили.

И вдругъ жаль мнѣ его стало.

— Что, говорю, ты это себѣ надѣлалъ! Какъ ты дерзнулъ на бѣдное дитя покуситься...

А онъ падаетъ въ ноги, рученки въ кандалахъ къ небу поднимаетъ, гремитъ цѣпями и плачетъ.

— Мусье, мусье! Небо видитъ...

— Что, говорю: «Небо»! нечего теперь, братецъ, землю обезчестивши, на небо топыриться,—готовься: завтра экзекуція,—что заслужилъ, то и примешь.

— Я, говоритъ, занапрасно (онъ, три года въ острогѣ сидя, такѣ подучился немножко по-русски).

— Ну, уже это, говорю, монъ ами, врешь,—занапрасно бы у насъ тебя не присудили: судъ знаетъ, за что караетъ.

— Ей-Богу, говоритъ, занапрасно... вотъ Богъ, Дье, Дье меня убей... и тому подобное, и такъ горько, такъ горько бѣдный плачетъ, что всего меня встревожилъ. Много я въ своей жизни всякихъ слезъ передъ казнью видѣлъ, но а этакихъ жаркихъ, горючихъ да дробныхъ слезъ, право, не видалъ. Такъ вотъ и видно, что ихъ напраслина жметъ...

— Ну, а мнѣ-то, скажите,—что же я, пигмей, могу ему сдѣлать? — мое дѣло одно, что надо его отпороть, заклеймить, да сослать «во исполненіе рѣшенія», вотъ и все, и толковать тутъ не о чемъ. И я кивнулъ часовымъ, чтобы взяли его, потому что для чего же мнѣ его держать, — и самому тревожиться, и его напрасно волновать раньше времени.

— Ведите, говорю, его назадъ въ тюрьму.

Но онъ, какъ услыхалъ это, такъ обхватилъ мою ногу руками и замеръ: а слезы или лицо это у него такое горячее, что даже сквозь сапогъ мою ногу жжетъ.

— Тьфу, провались ты совсѣмъ, думаю, вотъ на горе свое я съ нимъ разговорился: и никакъ его съ ноги стряхнуть не могу; а самому мнѣ въ ухо вдругъ что-то шептать начало: «разспроси его, разспроси, послушай, да заступись».

— Ну, чего тутъ, помилуйте, заступаться мнѣ, ничтожному исполнительному чиновнику, когда дѣло уголовнымъ судомъ рѣшено и уже и подрядчику, и смотрителю насчетъ палача приказъ данъ. Какія тутъ заступничества? А оно, это что-то незримое, знай все свое въ ухо шепчетъ: «разспроси, заступись».

Я и соблазнился: заступаться, думаю, я хоть и не буду, а разспросить, пожалуй, разспрошу.

— Валяй, говорю, разсказывай по всей истинѣ, какъ дѣло было! Да только смотри—не ври.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Онъ мнѣ, сколько ему позволяли слезы и рыданія, разсказалъ, что жилъ онъ на Морской у парикмахера; туда ходила къ нимъ, къ стригачамъ, отъ прачки дѣвочка, двѣнадцати — не то тринадцати лѣтъ,—очень хорошенькая. И говоритъ, что она не то на его сестренку или, какъ тамъ по-ихнему, на кузинку его какую, что ли, очень похожа была. Ну, а онъ, это, знаете, какъ французъ... ну, разумѣется, со вкусомъ тоже и фантазіей: нравится ему дитя, — онъ ей нынче бантикъ, завтра апельсинчикъ, послѣ рубль, или полтинничекъ, бомбошки—все баловалъ ее. Говоритъ, безъ всякой будто цѣли; а мать-то ея пройдоха была: зазвала его къ себѣ да съ дѣвчонкою ихъ и заперла, а дѣвчонку научила ему рожу расцарапать, да кричать, будто ее страшно обидѣть хотѣлъ. Сбѣжался народъ, актъ составили, въ тюрьму,—въ тюрьмѣ три года продержали и къ плетямъ, да къ ссылкѣ присудили.

Выслушалъ я все это и все мнѣ показалось это такъ, какъ онъ разсказалъ, и обратилъ я вниманіе на его рубецъ, что эта дѣвочка ему на носу сдѣлала: глубокій рубецъ,—зажилъ, но побѣлѣлый шрамъ такъ и остался. Престранный шрамъ: точно нарочно разсчитано, на какомъ мѣстѣ его отмѣтить. По большей части это никогда такъ не бываетъ: по большей части женщина въ такихъ случаяхъ прямо въ глаза, а еще больше въ щеки цапаетъ,—потому она, когда ее одолѣваютъ, руками со сторонъ къ лицу взмахиваетъ; а это какъ-то по-кошачьи, прямо въ середину, какъ разъ по носу и къ губѣ пущено...

Думаю: чего добраго, Богъ знаетъ, вѣдь есть такія проходимки; въ полиціи какъ послужишь, такъ вѣдь на какихъ негодяевъ не насмотришься, и говорю ему,—это вамъ даже смѣшно должно показаться,—говорю:

— Ну, хорошо, мусье: если все это такъ, какъ ты мнѣ сказалъ,—то, можетъ-быть, Богъ напраслины не допуститъ:—молись и надѣйся.

Онъ руки у меня расцѣловалъ и забрякалъ цѣпями, пошелъ, а я остался на своемъ мѣстѣ и думаю себѣ: вотъ и два дурака вмѣстѣ собрались. Первый онъ, что меня за

пророка почелъ, а другой я, что ему напрасную надежду подалъ.

А во лбу такъ-таки вотъ и стоитъ, что это напраслина и ужасная напраслина, и между тѣмъ вотъ мы завтра его бить будетъ и это его щуплое французское тѣльце будетъ на деревянной кобылѣ ежиться, кровью обливаться и будетъ онъ визжать, какъ живой поросенокъ на вертелѣ... Ахъ, ты, лихо бы тебя било, да не я бы на это смотрѣлъ! Не могу; просто такъ за него растревожился, что не могу самой пустой бумажонки на столѣ распредѣлить.

Подозвалъ младшаго чиновника и говорю:

— Сдѣлайте тутъ, что нужно, а у меня очень голова разболѣлась,—я домой пойду.

Пришелъ домой, ходилъ-ходилъ, ругался-ругался со всѣми, и съ женою, и съ прислугою — не могу успокоиться да и баста! Стоитъ у меня французъ передъ глазами и никакъ его не вышихнешь.

Жена уговариваетъ, «что ты, да что съ тобою»?—потому что я никогда такой не былъ, а я еще хуже томлюсь.

Подали обѣдать; я сѣлъ, но сейчасъ же опять вскочилъ, не могу да и только. Жаль француза, да и конецъ.

Не выдержалъ и, чтобы не видали домашніе какъ я мучусь, схватилъ шляпу и побѣжалъ изъ дома, и вотъ съ этихъ-то поръ я уже словно не самъ собою управлялъ, а начало мною орудовать какое-то вдохновеніе: *я задумалъ измѣну.*

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Вышелъ я и прямо къ приставу, у котораго это происшествіе было; спрашиваю: какъ это все тогда, три года назадъ, происходило и что за баба мать этой дѣвочки.

Приставъ говоритъ:

— Чортъ ихъ знаетъ,—это дѣло еще не при мнѣ было, а баба, мать этой дѣвочки—большая негодяйка, и она, говоритъ, съ своею дочкою еще послѣ того не разъ этакую же исторію подводила. А впрочемъ, говоритъ, кто ихъ разберетъ: кто правъ, кто виноватъ.

Ну, довольно, думаю, съ меня: мы съ тобою, братъ, этого не разберемъ, а Богъ разберетъ, да съ этимъ прямо въ Конюшенную, на каретную биржу: договорилъ себѣ карету глубокую, четверомѣстную, въ какихъ больныхъ возятъ, и

велѣлъ какъ можно скорѣе гнать въ Измайловскій полкъ, къ одному пріятелю, который былъ семейный и при дѣтяхъ держалъ гувернера француза. Этотъ французъ давно въ Россіи жилъ и по-русски понималъ все, какъ надо.

Прикатилъ я къ пріятелю и говорю:

— Дай, говорю, голубчикъ, мнѣ на подержаніе своего французишку, что у тебя служитъ: онъ мнѣ нуженъ.

— Зачѣмъ тебѣ?—спрашиваетъ.

— Такъ, говорю, нуженъ онъ мнѣ, — на самое короткое время,—всего часа на два.

И говорю это, знаете, такъ, что пріятель мой легко могъ замѣтить, что я не спокоенъ, потому что задыхаюсь, тороплюсь и волнуюсь, и чѣмъ это больше скрыть хочу, тѣмъ больше себя, къ досадѣ своей, высказываю и ввожу его насчетъ себя въ сомнѣніе, а тѣмъ у него, разумѣется, еще больше вопросы вызываю: «что ты, да на что тебѣ?»

Насилу нашелся увернуться отъ его долгихъ разспросовъ, сказавши, что будто бы встревоженъ оттого, что получилъ извѣстіе о болѣзни брата, и не могу удержаться, хочу съѣздить къ француженкѣ гадалкѣ на ленорманскихъ картахъ погадать: выздоровѣетъ ли мой братъ или умретъ? Ну, а какъ самъ я по-французски не маракую, то... и прочее, и прочее, и прочее.

Не знаю: повѣрилъ ли мнѣ пріятель или не повѣрилъ, но только разспрашивать больше не сталъ и француза мнѣ отпустилъ; а я, взявши того, сейчасъ же опять съ нимъ въ карету и говорю:

— Ну, слушай, мусье: знаешь ли ты, по какому дѣлу я тебя взялъ?

А тотъ, смотрю, глядитъ на меня и блѣднѣетъ, потому, знаете: наша полицейская служба къ намъ вольнолюбивыхъ людей не располагаетъ. Особенно въ тогдашнее время, для француза я могъ быть очень непріятенъ, такъ какъ, напоминаю вамъ, тогда наши русскія отношенія съ Франціею сильно уже портились и у насъ по полиціи часто секретныя распоряженія были за разными людьми ихъ націи построже присматривать.

— Что ты это, кажется,—говорю:—сробѣлъ?

А уже его и лихорадка колотитъ.

— Помилуйте,—отвѣчаетъ:—я ни въ чемъ не виноватъ!

— Да, дуй тебя горою: кто тебѣ говоритъ, что ты въ

чемъ-нибудь виноватъ! Тутъ я, братецъ, во всемъ виноватъ, потому что я *измѣнникъ:* я въ такое время вмѣшиваюсь въ дѣло, куда мнѣ совсѣмъ и носа совать не слѣдуетъ; ну, да некуда податься, видно Богу такъ угодно, чтобы я сюда сунулся. И, вообразите себѣ, я, дѣйствительно, въ то время такъ чувствовалъ, что *это Богу угодно* совершить то, что я дѣлаю. Разумѣется, самомнѣніе.

— Слушай же, — говорю: — такъ и такъ, вотъ въ чемъ дѣло: вотъ что съ однимъ твоимъ компатріотомъ случилось и что ему завтра неотразимо угрожаетъ — плети, а я его отъ этого намѣренъ избавить.

Спутникъ мой и ротъ разинулъ: онъ хоть и иностранецъ былъ, но давно, какъ я вамъ сказалъ, у насъ въ Россіи живши, имѣлъ о нашихъ порядкахъ понятіе и потому, конечно, могъ развѣ за сумасшествіе принять, что маленькій полицейскій исполнительный чиновникъ вызывается отмѣнить судебное уголовное рѣшеніе, утвержденное высшею властью. Но я ему говорю:

— Я тебя прошу, любезный другъ, на меня открытымъ ртомъ не зѣвать и не ахать, а послужить Богу въ этомъ дѣлѣ, для чего я тебя и взялъ: знаешь ли ты, куда я тебя теперь везу?

— Не знаю,—говоритъ.

— Ну, такъ вотъ знай, вотъ сейчасъ мы остановимся у вашего посольства; мнѣ туда заходить никакъ нельзя, потому что я полицейскій чиновникъ и намъ закономъ запрещено въ посольскіе дома вступать, а ты войди, и какъ ваши послы столь просты, что своихъ соотечественниковъ во всякое время принимаютъ, то добейся, чтобы тебя герцогъ сейчасъ принялъ *), и все ему разскажи. А я, тѣмъ временемъ, здѣсь въ каретѣ сидѣть буду—тебя дожидаться, и если посолъ скажетъ, чтобы меня позвать, ну, ты тогда пришли за мной, и я явлюсь, и все подтвержу; но, можетъ-быть, онъ и такъ повѣритъ и самъ узнаетъ, что ему надо сдѣлать.

Подъѣхали мы къ посольскому дому, остановились; французъ мой вылѣзъ и за зеркальныя двери въ подъѣздъ

*) Въ Петербургѣ въ это время французскимъ посломъ и полномочнымъ министромъ находился, кажется, *герцогъ де-Гишъ*, который заступилъ съ 10-го (22-го) августа 1853 г. барона Бюрнью де-Варенъ, бывшаго повѣреннаго по дѣламъ.

ушёлъ, а я велѣлъ извозчику подальше немножко отъѣхать и забился въ уголокъ кареты — и жду. И тутъ вдругъ я сообразилъ всю свою измѣну и меня начала лихорадка бить...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вдругъ, знаете, сразу мнѣ все ясно представилось: за какое я непосильное дѣло взялся, и это... полицейскій-то я чиновникъ, и какъ будто на свое правительство... жалуюсь... да еще иностранному послу, да еще французскому, и въ такое политическое время... Эхъ, скверно! измѣнникъ я, чистый измѣнникъ! И что больше думаю, то все хуже выходитъ... Эхъ, какъ скверно! А французика моего все нѣтъ, какъ нѣтъ, изъ-за этихъ зеркальныхъ дверей, а мнѣ видно, какъ по той сторонѣ улицы, по противоположному тротуару, все квартальный ходитъ... Думаю себѣ: недаромъ же онъ тутъ прогуливается... И, вѣдь поди, на мой грѣхъ, можетъ-быть, еще этакій... изъ внимательныхъ, орденокъ, гляди, хочетъ выслужить и стоитъ, теперь, пожалуй, да соображаетъ, что, молъ, это за карета къ посольскому дому подъѣхала? нѣтъ ли тутъ чего? да возьметъ, воръ, и заглянетъ въ окно; а я вотъ тутъ и есть! Узнаетъ, бездѣльникъ, потому что меня по полиціи всѣ знали, и скажетъ: «А-а, милостивый государь, такъ вы измѣняты!» да сейчасъ донесетъ по начальству; и поминай какъ звали... И дома не побываешь, а прямо черезъ Троицкій мостъ, да въ Петропавловскую крѣпость, а тамъ для насъ, измѣнниковъ, обители многи суть... Страхъ такой обнялъ, что лежу въ углу кареты, какъ мокрый песъ колечкомъ свернувшись, а самъ такъ же, какъ песъ на холоду, и дрожу, и уже ругательски себя ругаю, что заварилъ этакую крутую кашу... И все, знаете, однимъ глазкомъ поглядываю изъ окошечка на квартальнаго, который насупротивъ гуляетъ, а самъ все книзу, да книзу съ сидѣнья на полъ кареты спускаюсь, и норовлю, чтобы пятками дверцу оттолкнуть, да по низку стрекача дать, благо — я тутъ вблизи прюлетный дворъ зналъ—и искать бы меня негдѣ было.

Такъ я и устроилъ: въ каретѣ на сидѣньи положилъ два цѣлковыхъ, что за экипажъ слѣдовало, а самъ открылъ дверцу — и только задомъ-то выползъ и ступилъ на мостовую, какъ вдругъ слышу: «б-гись!» и мимо самой моей

спины пролетѣла пара вороныхъ лошадей въ коляскѣ и прямо къ подъѣзду, и я вижу французскій посолъ въ мундирѣ и во всѣхъ орденахъ скоро сѣлъ и поскакалъ, а возлѣ меня какъ изъ земли выросъ этотъ мой посолъ-французъ, тоже очень взволнованъ, и говоритъ:

— Зачѣмъ,—говоритъ:—вы выѣзли?

А я отъ нечистой совѣсти такъ перепугался, что одурѣлъ, и давай врать:

— Что такое,—говорю:—вамъ нужно? Я васъ вовсе не знаю и ни откуда я не выѣзалъ.

— А видѣли вы?

— Да что такое,—говорю:—видѣть?—отстаньте вы отъ меня: ничего я не видалъ.

— Герцогъ-то нашъ,—говоритъ:—уже поѣхалъ.

— Да какое мнѣ дѣло до вашего герцога... что вы ко мнѣ приклеились?

— Какъ,—говоритъ:—какое дѣло: да вы знаете ли, куда онъ отправился?

— Ничего, ровно ничего я не знаю, и знать мнѣ незачѣмъ, а вы если отъ меня не уйдете, такъ я сейчасъ полицейскаго кликну.

Онъ смотритъ на меня, что я такъ страненъ, должнобыть, ему въ своихъ рѣчахъ показался, и шепчетъ:

— Герцогъ въ Зимній дворецъ поѣхалъ.

— Да отойдите же, — говорю: — вы отъ меня: — я вамъ сказалъ, что я ничего не знаю; и съ этимъ отпихнулъ его, да скорѣе черезъ знакомый пролетный дворъ, да домой къ нтенцамъ, чтобы, пока еще время есть, хоть разъ ихъ къ своему сердцу прижать. И не успѣлъ этимъ распорядиться, какъ вдругъ нарочный, съ запиской отъ генерала, чтобы завтра наказаніе такого-то француза отмѣнить.

Батюшки мои, думаю, какъ заиграло.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Я только языкъ прикусилъ, да поскорѣе написалъ всѣмъ кому надо отмѣну церемоніи и всю ночь потомъ не ложился, а все ходилъ въ этакомъ въ самомъ странномъ какомъ-то состояніи. Еще самъ себѣ не отдавалъ отчета: какъ это я сдѣлалъ и что изъ этого дальше выйдетъ? А и страшно, и словно благодать какая въ душѣ. Думаю, конечно, и о томъ: не попадусь ли я тутъ самъ какимъ-ни-

будь манеромъ и чего буду за мою измѣну удостоенъ, но и за бѣднягу французишку нарадоваться не могу. И только насилу передъ самымъ утромъ, съ этими нелегкими мыслями, у себя въ кабинетѣ въ креслѣ задремалъ, какъ вдругъ слышу въ передней возлѣ двери шумъ и пререканіе, жена кого-то упрашиваетъ повременить, говоритъ, что я только сейчасъ заснулъ; а тотъ, чужой голосъ, настаиваетъ, чтобы тотчасъ разбудить и точно какъ будто имя государя мнѣ послышалось. Сейчасъ мнѣ припомнилась моя измѣна, и сразу вся моя дрема прошла.

Бросился я, какъ былъ, въ халатѣ къ двери, смотрю — курьеръ стоитъ съ этакою солидною рожею, какихъ нарочно по осторожнымъ дѣламъ посылаютъ, и подаетъ мнѣ молча пакетъ.

Я, знаете, и пакетъ беру, и руки-то ходенемъ ходятъ, насилу разломилъ печать и вижу бѣлый листъ, а на немъ посединѣ всего одно слово выведено «*благодарю*», а въ серединѣ деньги... Сосчиталъ — какъ разъ полторы тысячи рублей денегъ.

Вѣдь не поймешь этого ничего какъ-то въ первую минуту: что это и отъ кого, и потому не знаешь, къ кому въ такомъ затрудненіи готовъ за объясненіями обратиться. Такъ и я курьера-то этого хочу спросить, а его уже слѣдъ простылъ... Ну, тутъ я на пакетъ-то этотъ глянулъ, чьей рукою имя-то мое написано и «благодарю-то» это священное для меня выведено, и вспомнилъ, чей это почеркъ... да ужъ зато тутъ-то уже я себѣ и далъ волю: то-есть, этакъ, я вамъ говорю, я дурацки ревѣлъ, этакъ я сладко вырыдался, что мое вамъ почтеніе... Два раза во всю мою жизнь потомъ только этакъ и плакалъ: во второй это было, какъ императоръ Николай Павловичъ умеръ, и я ему къ его гробу ночью *свое* «благодарю» ходилъ сказывать за то, про что мы *съ нимъ двое* только изъ всѣхъ русскихъ знали: онъ, мой царь, да я, — его измѣнникъ. И еще послѣ я въ третій разъ такъ же плакалъ, по иному случаю, изъ этой же, впрочемъ, исторіи вытекшему.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Этого француза мы такъ совсѣмъ плетями и не сѣкли, а велѣно было его просто выслать вонъ изъ Россіи съ подпискою, чтобы никогда въ предѣлы оной возвращаться не

смѣлъ. Ну, да гдѣ уже ему, дураку, было желать сюда возвращаться, да и незачѣмъ: — онъ дивнымъ образомъ очень богатъ сдѣлался въ Парижѣ. А я эти полторы тысячи-то, которыя мнѣ какъ съ неба упали, припряталъ себѣ на лѣченіе и изъ нихъ въ нѣсколько лѣтъ къ отставкѣ моей изъ полуторы двѣ или даже немножко болѣе стало, я и поѣхалъ въ Виши водами отъ своего сидѣнья полѣчиться... Наполеонъ тамъ еще императорствовалъ, ну, и все это еще у нихъ тогда по-старому было; а на обратномъ пути, облегчаясь, я въ Парижъ завернулъ: посмотрѣть тамъ, что поинтереснѣе, да домой своимъ дамкамъ, знаете, какой-нибудь галантерейщинки и парфюмеріи прихватить. У насъ, я слыхалъ, въ Петербургѣ все Пино, парижскаго парфюмера, предпочитаютъ, и говорю своему проводнику:

— Сведите-ка меня, батюшка, къ Пино, душковъ да помадки у него какіе получше набрать.

А проводникъ мнѣ возражаетъ:

— Зачѣмъ же,—говоритъ:—вамъ къ Пино ѣхать?

— Да вѣдь онъ,—говорю:—самый лучшій.

— Помилуйте,—отвѣчаетъ:—это Богъ знаетъ, какъ давно было, что онъ лучшимъ считался, а теперь не Пино, а другой парфюмеръ здѣсь всѣхъ лучше, и назвалъ мнѣ, знаете, фамилію, которая такъ меня сразу чѣмъ-то знакомымъ по уху и щелкнула.

— Какъ,—говорю:—вы его называете?

Тотъ повторилъ.

— Ахъ, батюшки мои,—вспомнилъ я себѣ:—да вѣдь это чуть ли и мой давнишній крестникъ тоже такъ назывался! и спрашиваю:

— Не былъ ли этотъ вашъ знаменитый парфюмеръ когда-нибудь въ Россіи!

— Какъ же,—говоритъ:—былъ, только онъ въ 1853 г.— передъ крымскою кампаніею, за политическія вмѣшательства оттуда высланъ изъ Петербурга.

— Гмъ, знаю, молъ, я эту политику.

— Ну, а все-таки,—говорю,—мы уже батюшка лучше къ Пино покупать-то поѣдемъ, а къ этому не поѣдемъ.

Проводникъ мой меня отговаривать, но я, однако, на своемъ уперся.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ,—говорю,—мнѣ это не идетъ... Богъ его еще знаетъ тамъ, какъ онъ, хорошо ли дѣлаетъ; мало ли

кто у васъ тутъ на короткое время въ моду входитъ, а Пино, говорю,—это фирма старая, и онъ у насъ славится: такъ уже вы меня, пожалуйста, къ Пино свезите.

Избѣгалъ, разумѣется, чтобы не встрѣтиться, знаете... Ну, что хорошаго этакое скверное, что уже прошло, опять человѣку напоминать?

Но тутъ, долженъ вамъ сознаться въ своей маленькой слабости: проводникъ мнѣ началъ разсказывать, какъ этотъ господинъ очень богатъ; какая у него богатая фабрика и какой щегольской магазинъ и живетъ въ собственномъ домѣ,—не знаю уже, какъ эта улица у нихъ называется, а только, близъ самой Вандомской колонны... Я домъ-то и захотѣлъ посмотрѣть.

— Что же, думаю: хоть не на него, такъ, по крайней мѣрѣ, на его имущество взгляну: отчего же не взглянуть? вѣдь это ему ничего,—онъ и знать не будетъ. Разумѣется, не хорошо, и этого не слѣдовало, потому что суетно. Но, какъ хотите, вѣдь интересно, потому что хоть небольшое дѣло я ему сдѣлалъ, а все же онъ съ моихъ рукъ жить пошелъ.

Вотъ мы и поѣхали: проѣзжаемъ мимо, нарочно тихо—въ колясочкѣ, и вижу: домъ какъ дворецъ; вывѣска фабрики на три улицы; окна въ магазинѣ — хоть шестерикомъ въ нихъ поворачивай.

— Быть,—говорю, не можетъ, чтобы это тотъ самый человѣкъ!

— Нѣтъ, тотъ самый, что у васъ изъ Россіи за политику высланъ.

— Да что ты, думаю, дурачокъ, толкуешь, много ты понимаешь меня, о чемъ я думаю? По-твоему это тотъ, а по-моему это не тотъ политикъ, про котораго я разумѣю.

Ну, а впрочемъ, что я ему стану разсказывать, какіе гамъ у моего крестника кондуиты: я только не вѣрю, чтобы могла судьба этакъ играть человѣкомъ и дать вдругъ, послѣ такого униженія, такое большое богатство.

— Когда бы мнѣ можно было на него какъ-нибудь взглянуть,—говорю:—вотъ бы это мнѣ было очень интересно!

— Отчего же,—говоритъ:—это очень можно.

— Только я къ нему въ магазинъ не пойду, а нельзя ли такъ... гдѣ-нибудь въ щелочку, чтобы онъ меня не видалъ, а я бы его видѣлъ?

— Очень можно,—говоритъ:—да онъ самъ въ магазинъ и рѣдко приходитъ, и въ домѣ-то этомъ теперь лѣтомъ не живетъ.

— А гдѣ же онъ живетъ?

— У себя на дачѣ, въ Пасси.

— У него и дача,—говорю,—есть?

— Не одна,—говоритъ,—а двѣ: одна этакая полулѣтняя, по-ихнему «демисезонъ», тутъ недалеко надъ Трокадеро, а другая, настоящая, въ Пасси,—такой, говоритъ, загородный домъ, что рѣдко можно другой встрѣтить, и онъ, говоритъ, всегда въ семь часовъ у себя надъ открытымъ цвѣтникомъ, на верандѣ, кофе съ гостями пьетъ, а иногда съ женою и дѣтьми въ серсо играетъ: вотъ мы можемъ потихоньку разъ или два мимо пройтись, вы его и увидите.

— Что же, и отлично!

На дворѣ было какъ разъ часовъ шесть, и я уже по-своему, по-русски, былъ пообѣдавши и проводникъ мой тоже накормленъ, я и говорю ему:

— Да что, батюшка, далеко-то откладывать: велите-ка извозчику сейчасъ прямо туда ѣхать. Эй, ты, братецъ, говорю:—коше, пошелъ-ка, братъ, въ Пасси, да порѣзвѣе, на водку хорошо получишь.

Проводникъ перевелъ,—мы и поѣхали.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Поѣхали, и какъ путь лежалъ чрезъ Трокадеро, то мой проводникъ и домикъ мнѣ этого моего стараго знакомаго показалъ,—важный домикъ, хоть бы принцу жить не стыдно; ну, а въ Пасси такъ просто замокъ этакій маленькій, стѣны каменныя, высокія, всѣ плющемъ заросли, и подъѣздъ изъ узенькаго переулочка, а за рѣшеткою виденъ цвѣтникъ, а за цвѣтникомъ домъ и веранда... И что же вы изволите думать: застали мы здѣсь все, будто по писанному, какъ мой проводникъ мнѣ предсказалъ: въ цвѣтникѣ дѣтки рѣзвятся, на верандѣ гости сидятъ и хозяинъ... Я спрятался за уголъ стѣнки, вынулъ изъ кармана бинокль, навелъ на него и вижу, нѣтъ сомнѣнія,—это *онъ*, мой крестникъ! Возмужалъ и постарѣлъ, да и отъѣлся, разумѣется, хорошо въ благополучной жизни; а у носика-то бѣлый рубчикъ все-таки остался.

— Не знаете ли, батюшка,—говорю я своему проводнику:—хорошій ли онъ мужъ?

— Превосходный,—говоритъ, человѣкъ; отлично они живутъ, — и жена у него чудесная, и дѣти добрыя, и самъ онъ добрый, и бѣдныхъ людей очень помнитъ.

— Вотъ за это,—говорю,—молодецъ, что бѣдныхъ помнитъ.

А въ это самое время, какъ мы, такимъ образомъ, за угломъ перешептываемся, онъ насъ, должно быть, замѣтилъ—и кричитъ дочкѣ:

— Алина!

И вдругъ рѣшетчатая калиточка хлопнула и ко мнѣ подпорхнула милая, какъ ангелокъ, дѣвочка, въ розовомъ платьицѣ, и не успѣлъ опомниться, какъ она мнѣ сунула въ руку франкъ, проговорила: «о номъ де Жезю», или какъ тамъ по-ихнему въ родѣ нашего: «прими, Христа ради» и скрылась.

Я это, знаете, въ пальто въ своемъ, въ русскомъ, былъ и шляпа на мнѣ мягкая пуховая и, дѣйствительно, я на бульварнаго воюка былъ похожъ, ну, она мнѣ и подала за отца «Христа ради». Что же такое: я этотъ франкъ ея принялъ и о сю пору берегу: говорятъ, будто нищенское хорошо для счастія, но я не для суевѣрія, а такъ... для памяти дорожу.

Ну-съ, вотъ тутъ-то вотъ, я, какъ назадъ въ свой номеришка ѣхалъ, уже самъ себѣ измѣнилъ: опять въ третій разъ всю дорогу сладко-пресладко плакалъ. Проводникъ-то, я думаю, какимъ дуракомъ меня считалъ, да и стоило. Только вѣдь, знаете, не удержишься, потому что, какъ въ старинныхъ стихахъ говорится:

Почувствовать добра пріятство
Такое есть души богатство,
Какого Крезъ не собиралъ.

Какъ же за эти незаслуженныя ощущенія Бога хоть слезою не поблагодарить!

КАДЕТСКІЙ МОНАСТЫРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

У насъ не переводились, да и не переведутся праведные. Ихъ только не замѣчаютъ, а если стать присматриваться — они есть. Я сейчасъ вспоминаю цѣлую обитель праведныхъ, да еще изъ такихъ временъ, въ которыя святое и доброе больше чѣмъ когда-нибудь пряталось отъ свѣта. И замѣтьте, все не изъ чернородья и не изъ знати, а изъ людей служилыхъ, зависимыхъ, коимъ соблюсти правоту труднѣе, но тогда были... Вѣрно и теперь есть; только, разумѣется, искать надо.

Я хочу вамъ разсказать нѣчто весьма простое, но не лишенное занимательности—сразу о четырехъ праведныхъ людяхъ такъ называемой «глухой поры», хотя я увѣренъ, что тогда подобныхъ было очень много.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Воспоминанія мои касаются Перваго петербургскаго кадетскаго корпуса и именно одной его поры, когда я тамъ жилъ, учился и сразу въявь видѣлъ всѣхъ четырехъ праведниковъ, о которыхъ буду разсказывать. Но прежде позвольте мнѣ сказать о самомъ корпусѣ, какъ мнѣ представляется его заключительная исторія.

До воцаренія императора Павла корпусъ былъ раздѣленъ на возрасты, а каждый возрастъ на камеры. Въ каждой камерѣ было по двадцати человѣкъ и при нихъ были гувернеры изъ иностранцевъ, такъ называемые «аббаты»— французы и нѣмцы. Бывали, кажется, и англичане. Каж-

дому аббату давали по пяти тысячъ рублей въ годъ жалованья и они жили вмѣстѣ съ кадетами и даже вмѣстѣ и спали, дежуря по двѣ недѣли. Подъ ихъ надзоромъ кадеты готовили уроки, и какой національности былъ дежурный аббатъ, на томъ языкѣ должны были всѣ говорить. Отъ этого знаніе иностранныхъ языковъ между кадетами было очень значительно и этимъ, конечно, объясняется, почему Первый кадетскій корпусъ далъ такъ много пословъ и высшихъ офицеровъ, употреблявшихся для дипломатическихъ посылокъ и сношеній.

Императоръ Павелъ Петровичъ, какъ пріѣхалъ въ корпусъ, въ первый разъ по своемъ воцареніи, сейчасъ же приказалъ: «аббатовъ прогнать, а корпусъ раздѣлить на роты и назначить въ каждую роту офицеровъ, какъ обыкновенно въ ротахъ полковыхъ» *).

Съ этого времени образованіе во всѣхъ своихъ частяхъ пало, а языкознаніе — вовсе уничтожилось. Объ этомъ въ корпусѣ жили преданія, не позабытыя до той сравнительно поздней поры, съ которой начинаются мои личныя воспоминанія о здѣшнихъ людяхъ и порядкахъ.

Я прошу вѣрить, а лично слышащихъ меня — засвидѣтельствовать, что моя память совершенно свѣжа и умъ мой не находится въ разстройствѣ, а также я понимаю слегка и нынѣшнее время. Я не чуждъ направленій нашей литературы: я читалъ и до сихъ поръ читаю не только что мнѣ нравится, но часто и то, что не нравится, и знаю, что люди, о которыхъ буду говорить, не въ фаворѣ обрѣтаются. Время то обыкновенно называютъ «*глухое*», что и справедливо, а людей, особенно военныхъ, любятъ представлять сплошь «скалозубами», что, можетъ-быть, нельзя признать вполнѣ вѣрнымъ. Были люди высокіе, люди такого ума, сердца, честности и характеровъ, что лучшихъ, кажется, и искать незачѣмъ.

Всѣмъ теперешнимъ взрослымъ людямъ извѣстно, какъ воспитывали у насъ юношество въ послѣдующее, менѣе глухое время; видимъ теперь на глазахъ у себя, какъ сейчасъ воспитываютъ. Всякой вещи свое время подъ солнцемъ. Кому что нравится. Можетъ быть хорошо и то, и

*) Изъ краткой исторіи Перваго кадетскаго корпуса, составленной Висковатовымъ, видно, что это произошло 16 января 1797 г.

другое, а я коротенько разскажу, кто насъ воспитывалъ и *какъ* воспитывалъ, т. е. какими чертами своего примѣра эти люди отразились въ нашихъ душахъ и отпечатлѣлись на сердцѣ, потому что—грѣшный человѣкъ—внѣ этого, т. е. безъ живого возвышающаго чувства примѣра никакого воспитанія не понимаю. Да, впрочемъ, теперь и большіе ученые съ этимъ согласны.

Итакъ, вотъ мои воспитатели, которыми я на старости лѣтъ задумалъ хвалиться. Иду по нумерамъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

№ 1. *Директоръ, генералъ-маіоръ Перскій* (изъ воспитанниковъ лучшаго времени Перваго же корпуса). Я опредѣлился въ корпусъ въ 1822 году вмѣстѣ съ моимъ старшимъ братомъ. Оба мы были еще маленькіе. Отецъ привезъ насъ на своихъ лошадяхъ изъ херсонской губерніи, гдѣ у него было имѣніе, жалованное «матушкою Екатериною». Аракчеевъ хотѣлъ отобрать у него это имѣніе подъ военное поселеніе, но нашъ старикъ поднялъ такой шумъ и супротивность, что на него махнули рукою и подаренное ему «матушкою» имѣніе оставили въ его владѣніи.

Представляя насъ съ братомъ генералу Перскому, который въ одномъ своемъ лицѣ сосредоточивалъ должности директора и инспектора корпуса, отецъ былъ растроганъ, такъ какъ онъ оставлялъ насъ въ столицѣ, гдѣ у насъ не было ни одной души ни родныхъ, ни знакомыхъ. Онъ сказалъ объ этомъ Перскому и просилъ у него «вниманія и покровительства».

Перскій выслушалъ отца терпѣливо и спокойно, но не отвѣчалъ ему ничего, вѣроятно, потому, что разговоръ шелъ при насъ, а прямо обратился къ намъ и сказалъ:

— Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказываетъ вамъ начальство. Главное, вы знайте только самихъ себя и никогда не пересказывайте начальству о какихъ-либо шалостяхъ своихъ товарищей. Въ этомъ случаѣ васъ никто уже не спасетъ отъ бѣды.

На кадетскомъ языкѣ того времени для занимавшихся такимъ недостойнымъ дѣломъ, какъ пересказъ чего-нибудь и вообще искательство передъ начальствомъ, было особенное выраженіе «подъегозчикъ», и этого преступленія кадеты *никогда не прощали*. Съ виновнымъ въ этомъ обращались

презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосудъ, можетъ-быть, былъ и хорошъ, и худъ, но онъ несомнѣнно воспитывалъ въ дѣтяхъ понятія чести, которыми кадеты бывшихъ временъ недаромъ славились и не измѣняли имъ на всѣхъ ступеняхъ служенія до гроба.

Михаилъ Степановичъ Перскій былъ замѣчательная личность: онъ имѣлъ въ высшей степени представительную наружность и одѣвался щеголемъ. Не знаю, было ли это щегольство у него въ натурѣ, или онъ считалъ обязанностью служить имъ для насъ примѣромъ опрятности и военной аккуратности. Онъ до такой степени былъ постоянно занятъ нами и все, что ни дѣлалъ, то дѣлалъ для насъ, что мы были въ этомъ увѣрены и тщательно старались подражать ему. Онъ всегда былъ одѣтъ самымъ форменнымъ, но самымъ изящнымъ образомъ: всегда носилъ тогдашнюю треугольную шляпу «по формѣ», держался прямо и молодцовато и имѣлъ важную, величавую походку, въ которой какъ бы выражалось настроеніе его души, проникнутой служебнымъ долгомъ, но не знавшей служебнаго страха.

Онъ былъ съ нами въ корпусѣ безотлучно. Никто не помнилъ такого случая, чтобы Перскій оставилъ зданіе, и одинъ разъ, когда его увидали съ сопровождавшимъ его вѣстовымъ на тротуарѣ,—весь корпусъ пришелъ въ движеніе, и отъ одного кадета другому передавалось невѣроятное извѣстіе: «Михаилъ Степановичъ прошелъ по улицѣ!»

Ему, впрочемъ, и некогда было разгуливать: будучи въ одно и то же время директоромъ и инспекторомъ, онъ по этой послѣдней обязанности четыре раза въ день *непремѣнно* обходилъ всѣ классы. У насъ было четыре перемѣны уроковъ, и Перскій *непремѣнно* побывалъ *на каждомъ урокѣ*. Придетъ, посидитъ или постоитъ, послушаетъ и идетъ въ другой классъ. Рѣшительно ни одинъ урокъ безъ него не обходился. Обходъ свой онъ дѣлалъ въ сопровожденіи вѣстового, такого же какъ онъ рослаго унтеръ-офицера, музыканта Ананьева. Ананьевъ всюду его сопровождалъ и открывалъ передъ нимъ двери.

Перскій *исключительно* занимался по научной части и отстранилъ отъ себя фронтовую часть и наказанія за дисциплину, которыхъ терпѣть не могъ и не переносилъ. Отъ

него мы видѣли только одно наказаніе: когда лѣниваго или нерадиваго онъ, бывало, слегка коснется въ лобъ кончикомъ безыменнаго пальца, какъ бы оттолкнетъ отъ себя, и скажетъ своимъ чистымъ, отчетливымъ голосомъ:

— Ду-ур-ной кадетъ!

И это служило горькимъ и памятнымъ урокомъ, отъ котораго заслуживший такое порицаніе часто не пилъ и не ѣлъ и всячески старался исправиться и тѣмъ «утѣшить Михаила Степановича».

Надо замѣтить, что Перскій былъ холостъ, и у насъ существовало такое убѣжденіе, что онъ и не женится тоже *для насъ*.—Говорили, что онъ боится, обязавшись семействомъ, уменьшить свою о насъ заботливость. И здѣсь же у мѣста будетъ сказать, что это, кажется, совершенно справедливо. По крайней мѣрѣ знавшіе Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры съ нимъ о женитьбѣ онъ отвѣчалъ:

— Мнѣ Провидѣніе ввѣрило такъ много чужихъ дѣтей, что некогда думать о собственныхъ,—и это въ его правдивыхъ устахъ, конечно, была не фраза.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Жилъ онъ совершенно монахомъ. Болѣе строгой аскетической жизни въ міру пельзя себѣ и представить. Не говоря о томъ, что самъ Перскій не ѣздилъ ни въ гости, ни въ театры, ни въ собранія,—онъ и у себя на дому никогда никого не принималъ. Объясняться съ нимъ по дѣлу всякому было очень легко и свободно, но только въ пріемной комнатѣ, а не въ его квартирѣ. Тамъ никто посторонній не бывалъ, да и, по слухамъ, разошедшимся, вѣроятно, отъ Ананьева, квартира его была неудобна для пріемовъ; комнаты Перскаго представляли видъ самой крайней простоты.

Вся прислуга директора состояла изъ одного вышеупомянутаго вѣстового, музыканта Ананьева, который не отлучался отъ своего генерала. Онъ, какъ сказано, сопровождалъ его при ежедневныхъ обходахъ классовъ, дортуаровъ, столовыхъ и малолѣтняго отдѣленія, гдѣ были дѣти отъ четырехъ-лѣтняго возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленныя къ тому дамы. Этотъ Ананьевъ и служилъ Перскому, т. е. тщательно и превосходно чи-

стилъ его сапоги и платье, на которомъ никогда не было пылинки, и ходилъ для него съ судками за обѣдомъ, не куда-нибудь въ избранный ресторанъ, а на общую кадетскую кухню. Тамъ кадетскими же стряпунами готовился обѣдъ для безсемейныхъ офицеровъ, которыхъ въ нашемъ монастырѣ, какъ бы по примѣру начальника, завелось много, и Перскій кушалъ этотъ самый обѣдъ, платя за него эконому такую же точно скромную плату, какъ и всѣ другіе.

Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классамъ, гдѣ онъ былъ не для формы, а, имѣя хорошія свѣдѣнія во всѣхъ наукахъ, внимательно вникалъ въ преподаваніе, Перскій приходилъ къ себѣ усталый, съѣдалъ свой офицерскій обѣдъ, отличавшійся отъ общаго кадетскаго обѣда однимъ лишнимъ блюдомъ, но не отдыхалъ, а тотчасъ же садился просматривать всѣ журнальныя отмѣтки всѣхъ классовъ за день. Это давало ему средство знать всѣхъ учениковъ ввѣреннаго ему обширнаго заведенія и не допускать случайной оплошалости перейти въ привычную лѣность. Всякій, получившій сегодня неудовлетворительный балъ, мучился ожиданіемъ, что завтра Перскій непремѣнно его подзоветъ, тронетъ своимъ античнымъ, бѣлымъ пальцемъ въ лобъ и скажетъ:

— Дурной кадетъ.

И это было такъ страшно, что казалось страшнѣе сѣченія, которое у насъ практиковалось, но не за науки, а только за фронтъ и дисциплину, отъ завѣдыванія коими Перскій, какъ сказано, устранялся, вѣроятно потому, что нельзя было по тогдашнему обычаю обходиться безъ тѣлесныхъ наказаній, а они ему несомнѣнно были противны.

Сѣкли ротные командиры, изъ которыхъ большой охотникъ до этого дѣла былъ командиръ первой роты Ореусъ.

Вечеръ свой Перскій проводилъ за инспекторскими работами, составляя и провѣряя росписанія и соображая успѣхи учениковъ съ непройденными частями программы. Потомъ онъ много читалъ, находя въ этомъ большую помощь въ знаніи языковъ. Онъ основательно зналъ языки французскій, нѣмецкій, англійскій и постоянно упражнялся въ нихъ чтеніемъ. Затѣмъ онъ ложился немного попозже насъ для того, чтобы завтра опять встать немного насъ пораньше.

Такъ проводилъ изо дня въ день много лѣтъ кряду

этотъ достойный человѣкъ, котораго я рекомендую не исключить со счета при смѣтѣ о трехъ русскихъ праведникахъ. Онъ и жилъ, и умеръ честнымъ человѣкомъ безъ пятна и упрека; но этого мало: это все еще идетъ подъ чертою простой,—хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигаютъ немногіе,—однако, все это, *только честность*. А у Перскаго была и доблесть, которую мы, дѣти, считали *своею*, т. е. нашею, кадетскою, потому что Михайло Степановичъ Перскій былъ воспитанникъ нашего кадетскаго корпуса и въ лицѣ своемъ олицетворялъ для насъ духъ и преданія кадетства.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

По нѣкоторому стеченію обстоятельствъ мы, ребятишки, сдѣлались причастны къ одному событію декабристскаго бунта. Фасъ нашего корпуса, какъ извѣстно, выходилъ на Неву, прямо противъ нынѣшней Исаакіевской площади. Всѣ роты были размѣщены по линіи, а *резервная* рота выходила на фасъ. Я былъ тогда именно въ этой резервной ротѣ и намъ, изъ нашихъ оконъ, было все видно.

Кто знаетъ графически это положеніе, тотъ его пойметъ, а кто не знаетъ—тому нечего разсказывать. Было такъ, какъ я говорю.

Тогда съ острова прямо къ этой площади былъ мостъ, который такъ и назывался Исаакіевскимъ мостомъ. Изъ оконъ фаса намъ видно было на Исаакіевской площади огромное стеченіе народа и бунтовавшихся войскъ, которыя состояли изъ баталіона московскаго полка и двухъ ротъ экипажа-гвардіи. Когда послѣ шести часовъ вечера открыли огонь изъ шести орудій, стоявшихъ противъ адмиралтейства и направленныхъ на сенатъ, и въ числѣ бунтовавшихъ появились раненые, то изъ нихъ нѣсколько человѣкъ бросились бѣжать по льду черезъ Неву. Одни изъ нихъ шли, а другіе ползли по льду и, перебравшись на нашъ берегъ, человѣкъ шестнадцать вошли въ ворота корпуса, и тутъ, который гдѣ привалились,—кто подъ стѣнкой, кто на сходахъ къ служительскимъ помѣщеніямъ.

Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшаго баталіона московскаго полка.

Кадеты, услыхавъ объ этомъ или увидавъ раненыхъ, безъ удержа, но и безъ уговора, никого не слушая, бросились

къ нимъ, подняли ихъ на руки и уложили каждаго какъ могли лучше. Имъ собственно хотѣлось уложить ихъ на свои койки, но, не помню, почему-то это такъ не сдѣлалось, хотя другіе говорятъ, что будто и такъ было. Однако, я объ этомъ не спорю и этого не утверждаю. Можетъ-быть, что кадеты размѣстили раненыхъ по солдатскимъ койкамъ въ служительской казармѣ и тутъ принялись около нихъ фельдшерить и имъ прислуживать. Не видя въ этомъ ничего предосудительнаго и дурного, кадеты не скрывались съ своимъ поступкомъ, котораго, къ тому же, и невозможно было скрыть. Сейчасъ же они дали знать объ этомъ директору Перскому, а сами межъ тѣмъ уже сдѣлали, какъ умѣли, раненымъ перевязку. А какъ бунтовщики стояли цѣлый день не ѣвши, то кадеты распорядились также ихъ накормить, для чего, построившись къ ужину, сдѣлали такъ-называемую «передачу», т. е. по всему фронту передали шопотомъ слова:

— «Пироговъ не ѣсть,—раненымъ». «Пироговъ не ѣсть,—раненымъ»...

Эта «передача» *) была пріемъ обыкновенный, къ которому мы всегда обращались, когда въ корпусѣ были кадеты, арестованные въ карцерѣ и оставленные «на хлѣбъ и на воду».

Дѣлалось это такимъ образомъ: когда мы выстраивались всѣмъ корпусомъ передъ обѣдомъ или передъ ужиномъ, то отъ старшихъ кадетъ-гренадеровъ, которые всегда больше знали домашнія тайны корпуса и имѣли авторитетъ на младшихъ, — «шло приказаніе», передаваемое отъ одного сосѣда къ другому шопотомъ и всегда въ самой короткой, лаконической формѣ. Напримѣръ:

— Есть арестанты—пироги не ѣсть.

Если по росписанію въ этотъ день не было пироговъ, то точно такой же приказъ отдавался насчетъ котлетъ, и несмотря на то, что утаить и вынесть изъ-за стола котлеты было гораздо труднѣе, чѣмъ пироги, но мы умѣли это дѣлать очень легко и незамѣтно. Да, впрочемъ, начальство, зная нашъ въ этомъ случаѣ непреклонный ребячій духъ и

*) Воспитанники корпуса позднѣйшихъ выпусковъ говорятъ, что у нихъ не было слова «передача», но я оставляю такъ, какъ мнѣ сказано кадетомъ-старцемъ.

обычай, совсѣмъ къ этому не придиралось. «Не ѣдятъ, уносятъ,—ну, и пускай уносятъ». Худа въ этомъ не полагали, да его, можетъ-быть, и не было. Это маленькое правонарушеніе служило къ созиданію великаго дѣла: оно воспитывало духъ товарищества, духъ взаимопомощи и сострадания, который придаетъ всякой средѣ теплоту и жизненность, съ утратой коихъ люди перестаютъ быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни къ какому дѣлу, требующему самоотверженія и доблести.

Такъ было и въ этотъ, для нѣкоторыхъ изъ насъ, очень многопослѣдственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненыхъ бунтовщиковъ. Гренадеры дали передачу:

— «Пироговъ не ѣсть,—раненымъ».

И всѣ этотъ приказъ исполнили по всей точности, какъ было принято: пироговъ никто не ѣлъ и всѣ они были отнесены раненымъ, которые вслѣдъ за тѣмъ были куда-то убраны.

День кончился, по обыкновенію, и мы уснули, нимало не помышляя о томъ, какое мы сдѣлали непозволительное и вредное для нашихъ товарищей дѣло.

Мы могли быть тѣмъ спокойнѣе, что Перскій, который всѣхъ болѣе отвѣчалъ за наши поступки, не сказалъ намъ ни одного слова охужденія, а, напротивъ, простился съ нами такъ, какъ будто мы не сдѣлали ничего дурного. Онъ даже былъ ласковъ и тѣмъ далъ намъ поводъ думать, какъ будто онъ одобрилъ наше ребячье состраданіе.

Однимъ словомъ, мы считали себя ни въ чемъ невиноватыми и не ждали ни малѣйшей непріятности, а она была на чеку и двигалась на насъ какъ будто нарочно затѣмъ, чтобы показать намъ Михаила Степановича въ такомъ величіи души, ума и характера, о которыхъ мы не могли составить и понятія, но о которыхъ, конечно, ни одинъ изъ насъ не сумѣлъ забыть до гроба.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пятнадцатаго декабря въ корпусъ *неожиданно* пріѣхалъ государь Николай Павловичъ. Онъ былъ очень гнѣвенъ.

Перскому дали знать, и онъ тотчасъ же явился изъ своей квартиры и, по обыкновенію, отрапортовалъ его величеству о числѣ кадетъ и о состояніи корпуса.

Государь выслушалъ его въ суровомъ молчаніи и изволилъ громко сказать:

— Здѣсь духъ нехорошій!

— Военный, ваше величество, — отвѣчалъ полнымъ и спокойнымъ голосомъ Перскій.

— Отсюда Рылѣевъ и Бестужевъ! — попрежнему съ неудовольствіемъ сказалъ императоръ.

— Отсюда Румянцевъ, Прозоровскій, Каменскій, Кульневъ,—всѣ главнокомандующіе, и отсюда Толь,—съ тѣмъ же неизмѣннымъ спокойствіемъ возразилъ, глядя открыто въ лицо государя, Перскій.

— Они бунтовщиковъ кормили! — сказалъ, показавъ на насъ рукою, государь.

— Они такъ воспитаны, ваше величество, — драться съ непріятелемъ, но послѣ побѣды призрѣвать раненыхъ, какъ своихъ.

Негодованіе, выражавшееся на лицѣ государя, не измѣнилось, но онъ ничего болѣе не сказалъ и уѣхалъ.

Перскій своими откровенными и благородными вѣрноподданническими отвѣтами отклонилъ отъ насъ бѣду, и мы продолжали жить и учиться, какъ было до сихъ поръ. Обращеніе съ нами все шло мягкое, человѣчное, но уже недолго: близился крутой и жесткій переломъ, совершенно измѣнившій весь характеръ этого прекрасно учрежденнаго заведенія.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Ровно черезъ годъ послѣ декабрьскаго бунта, именно 14-го декабря 1826 года, главнымъ директоромъ всѣхъ кадетскихъ корпусовъ вмѣсто генералъ-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова былъ назначенъ генералъ-адъютантъ отъ-инфантеріи Николай Ивановичъ Демидовъ, человѣкъ чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и безъ того трепетали въ войскахъ, гдѣ имя его произносилось съ ужасомъ, а для насъ онъ получилъ особенное приказаніе «подтянуть».

Демидовъ велѣлъ собрать совѣтъ и пріѣхалъ въ корпусъ. Совѣтъ состоялъ изъ директора Перскаго, баталіоннаго командира, полковника Шмидта (человѣка превосходной честности) и ротныхъ командировъ: Ореуса (сѣкуна), Шмидта 2-го, Эллермана и Черкасова, который передъ тѣмъ долгое время

преподавалъ фортификацію, такъ что пожалованный въ графы Толь въ 1822 году былъ его ученикомъ.

Демидовъ началъ съ того, что сказалъ:

— Я желаю знать имена кадетъ, которые дурно себя ведутъ. Прошу сдѣлать имъ особый списокъ.

— У насъ нѣтъ худыхъ кадетъ, — отвѣчалъ Перскій.

— Однакоже, конечно, непремѣнно одни ведутъ себя лучше, другіе хуже.

— Да, это такъ; но если отобрать тѣхъ, которые хуже, то въ числѣ остальныхъ опять будутъ лучшіе и худшіе.

— Должны быть внесены въ списокъ самые худшіе, и они, въ примѣръ прочимъ, будутъ посланы въ полки унтеръ-офицерами.

Перскій никакъ этого не ожидалъ и, выразивъ непритворное удивленіе, возразилъ со всегдашнимъ своимъ самообладаніемъ и спокойствіемъ:

— Какъ въ унтеръ-офицеры!—за что?

— За дурное поведеніе.

— Намъ ввѣрили ихъ родители съ четырехлѣтняго возраста, какъ вамъ извѣстно. Слѣдовательно, если они дурны, то въ этомъ мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажемъ родителямъ? то, что мы довоспитали ихъ дѣтей до того, что ихъ пришлось сдать въ полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли ихъ, чѣмъ ссылать ихъ безъ вины въ унтеръ-офицеры.

— Намъ объ этомъ не слѣдуетъ разсуждать, а должно только исполнить.

— А! въ такомъ случаѣ не для чего было собирать совѣтъ, — отвѣчалъ Перскій: — вы бы изволили такъ сказать сначала, и что приказано, то должно быть исполнено.

Результатъ былъ тотъ, что на другой день, когда мы сидѣли за учебными занятіями, классы обходилъ адъютантъ Демидова Багговутъ и, держа въ рукахъ списокъ, вызывалъ по именамъ тѣхъ кадетъ, у которыхъ были наихудшія отмѣтки за поведеніе.

Вызваннымъ Багговутъ приказалъ идти въ фехтовальную залу, которая была такъ расположена, что мы изъ классовъ могли видѣть все тамъ происходившее. И мы видѣли, что солдаты внесли туда кучу сѣрыхъ шинелей и нашихъ товарищей одѣли въ эти шинели. Затѣмъ ихъ вывели на

дворъ, разсадили тамъ съ жандармами въ заготовленныя сани и отправили по полкамъ.

Само собою разумѣется, что паника была ужасная. Намъ объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будутъ вести себя неудовлетворительно, то такія высылки станутъ повторяться. Для оцѣнки поведенія была назначена отмѣтка *сто балловъ*, и сказано, что если кто будетъ имѣть менѣе семидесяти пяти балловъ, то такой будетъ немедленно отданъ въ унтеръ-офицеры.

Само начальство было въ немаломъ затрудненіи: какъ располагать оцѣнку поведенія по этой новой, сто-балльной системѣ, и мы слыхали объ этомъ недоумѣніи переговоры, которые окончились тѣмъ, что начальство стало насъ щадить и оберегать, милостиво относясь къ нашимъ ребячьимъ грѣшкамъ, за которые надъ нами была утверждена такая страшная кара. Мы же такъ скоро съ этимъ освоились, что чувство минутнаго паническаго страха вдругъ замѣнилось у насъ еще большею отвагою: скорбя за исключенныхъ товарищей, мы иначе не звали между собою Демидова, какъ «варваръ», и вмѣсто того, чтобы робѣть и трястись его образцоваго жестокосердія, рѣшились идти съ нимъ въ открытую борьбу, въ которой хотя всѣмъ пропасть, но показать ему «наше презрѣніе къ нему и ко всѣмъ опасностямъ».

Случай представился къ этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дѣло, если бы опять не подоспѣли намъ на помощь находчивый умъ и большой тактъ никогда не ходившаго за словомъ въ карманъ Перскаго.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Ровно черезъ недѣлю послѣ того, какъ отъ насъ были отлучены и сосланы въ унтеръ-офицеры наши товарищи, намъ было приказано идти въ ту же фехтовальную залу и построиться тамъ въ колонны. Мы исполнили приказаніе и ждали, что будетъ, а на душѣ у всѣхъ жутко. Вспомнили, что стоимъ на тѣхъ самыхъ половицахъ, на которыхъ стояли наши несчастные товарищи передъ грудами приготовленныхъ для нихъ солдатскихъ шинелей, и такъ вотъ варомъ и закипитъ на душѣ... Какъ они, сердечные, должно быть были изумлены и поражены этою неожиданностью, и гдѣ-то

и какъ они стали приходить въ себя и проч., проч... Словомъ сказать: душевная мука, — и стоимъ мы всѣ, понуривъ головочки уныло, и вспоминаемъ Демидова, «варвара», но ни капли его не боимся. Пропадать, такъ всѣмъ заодно пропадать,—знаете, ступень такая... освоились. И въ это-то время вдругъ отворяются двери и является самъ Демидовъ вмѣстѣ съ Перскимъ и говоритъ:

— Здравствуйте, дѣточки!

Всѣ молчали. Ни уговора, ни моментальной «передачи» при его появленіи не было, а такъ просто отъ чувства негодованія ни у одного уста не раскрылись отвѣчать. Демидовъ повторилъ:

— Здравствуйте, дѣточки!

Мы опять молчали. Дѣло переходило въ сознательное упорство и моментъ принималъ самый острый характеръ. Тогда Перскій, видя, что изъ этого произойдетъ большая непріятность, сказалъ Демидову громко такъ, что всѣ мы слышали:

— Они не отвѣчаютъ, потому что не привыкли къ выраженію вашему *«дѣточки»*. Если вы поздоровается съ ними и скажете: «здравствуйте, *кадеты*», они непремѣнно вамъ отвѣтятъ.

Мы очень уважали Перскаго и поняли, что, говоря эти слова такъ громко и такъ увѣренно Демидову, онъ въ то же время, главнымъ образомъ, адресуетъ ихъ намъ, довѣряя себя самого нашей совѣстливости и нашему разсудку. Опять, безъ всякаго уговора всѣ сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его едиными устами. Когда Демидовъ сказалъ: «здравствуйте, кадеты!» мы единогласно отвѣтили извѣстнымъ возгласомъ: «здравія желаемъ!»

Но это не былъ конецъ исторіи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Послѣ того, какъ мы прокричали свое «здравія желаемъ», Демидовъ спустилъ съ себя строгость, которою началъ-было набираться, когда мы не отвѣчали на его противную ласку, но сдѣлалъ нѣчто еще болѣе для насъ непріятное.

— Вотъ,—сказалъ онъ голосомъ, который хотѣлъ сдѣлать ласковымъ и дѣлалъ только приторнымъ:—вотъ я хочу вамъ сейчасъ показать, какъ мы васъ любимъ.

Онъ кивнулъ вѣстовому Ананьеву, который скорыми ша-

гами вышелъ за двери и тотчасъ же возвратился въ сопровожденіи нѣсколькихъ солдатъ, несшихъ большія корзины съ дорогими кондитерскими конфетами въ изукрашенныхъ бумажкахъ.

Демидовъ остановилъ корзины и, обратясь къ намъ, сказалъ:

— Вотъ тутъ цѣлые пять пудовъ конфетъ (кажется, пять, а можетъ-быть, было и болѣе) — это все для васъ, берите и кушайте.

Мы не трогались.

— Берите же,—это для васъ.

А мы тоже ни съ мѣста, но Перскій, видя это, далъ знакъ солдатамъ, державшимъ демидовское угощеніе, и тѣ стали носить корзины по рядамъ.

Мы опять поняли, чего хочетъ нашъ директоръ, и не позволили себѣ противъ него никакой неумѣстности, но демидовское угощеніе мы все-таки ѣсть не стали и нашли ему особое опредѣленіе. Въ то самое мгновеніе, какъ первый фланговый изъ нашихъ старшихъ гренадеровъ протянулъ руку къ корзинѣ и взялъ горсть конфетъ, онъ успѣлъ шепнуть сосѣду:

— Конфеты не ѣсть—въ яму.

И въ одну минуту «передача» эта пробѣжала по всему фронту съ быстротою и съ незамѣтностью электрической искры и ни одна конфета не была съѣдена. Какъ только начальство ушло и насъ пустили порѣзвиться, мы всѣ, другъ за другомъ, веревочкою, пришли въ извѣстное мѣсто, держа въ рукахъ конфеты, и всѣ бросили ихъ туда, куда было указано.

Такъ и кончилось это демидовское угощеніе. Ни одинъ малышъ не слукавилъ и не соблазнился конфетою: всѣ бросили. Да иначе и нельзя было: духъ дружества и товарищества былъ удивительный, и самый маленькій новичокъ проникался имъ быстро и подчинялся ему съ какимъ-то священнымъ восторгомъ. Насъ нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами: мы такъ были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которыя видѣли въ такихъ людяхъ какъ Михаилъ Степановичъ Перскій — главный командиръ, или, лучше сказать, игуменъ нашего кадетскаго монастыря,

гдѣ онъ подъ-стать собѣ умѣлъ подобрать такихъ же и старцевъ.

Впрочемъ,—онъ ли ихъ умѣлъ подбирать, или они сами къ нему подъ-стать подбирались, дабы жить въ отрадномъ согласіи, — этого я не знаю, потому что мы малы были, чтобы вникать въ такія вещи; но что знаю о сподвижникахъ Михаила Степановича, то тоже разскажу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Второй номеръ за игуменомъ въ монастыряхъ принадлежитъ *эконому*. Такъ было и у насъ, въ нашемъ монастырѣ. За Михаиломъ Степановичемъ Перскимъ, по важности значенія, слѣдовалъ воспѣтый Рылѣевымъ экономъ, въ чинѣ бригадира, Андрей Петровичъ *Бобровъ*.

Я ставлю его *вторымъ* только по подчиненности и потому, что нельзя всѣхъ поставить вмѣстѣ въ первыхъ, но по достоинствамъ души, сердца и характера этотъ Андрей Петровичъ былъ такой же высоко-замѣчательный человѣкъ, какъ самъ Перскій, и ни въ чемъ не уступалъ ему, развѣ только въ одной умственной находчивости на отвѣты. Зато сердцемъ Бобровъ былъ еще теплѣе.

Онъ, разумѣется, былъ *холостъ*, какъ и надо по монастырскому уставу, и дѣтей любилъ чрезвычайно. Только не такъ любилъ, какъ иные любятъ,—теоретически, въ разсужденіяхъ, что, молъ, «это будущность Россіи», или «наша надежда»—или же еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, за чѣмъ часто нѣтъ ничего, кромѣ эгоизма и безсердечія. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было намъ изъяснять и растолковывать. Мы всѣ знали, что онъ насъ любитъ и о насъ печется, и никто бы насъ въ этомъ не могъ разубѣдить.

Бобровъ былъ низенькаго роста, толстый, ходилъ съ косицею и, по опрятности, составлялъ самый рѣзкій контрастъ съ Перскимъ, а былъ похожъ въ этомъ отношеніи на дѣдушку Крылова. Сколько мы его знали, онъ всегда носилъ одинъ и тотъ же мундиръ,—засаленный-презасаленный,—и другого у него не было. Цвѣтъ воротника этого мундира опредѣлить было невозможно, но Андрей Петровичъ нимало этимъ не стѣснялся. Въ этомъ самомъ мундирѣ онъ былъ при дѣлѣ и въ немъ же, когда случалось, предстоялъ передъ

старшими военными лицами, великими князьями и самимъ государемъ. Говорили, будто бы императоръ Николай Павловичъ зналъ, куда Бобровъ дѣваетъ свое жалованье и изъ уваженія къ нему не хотѣлъ замѣчать его неряшество.

У Боброва была Анна съ брильянтами на шеѣ, которую онъ носилъ постоянно, а ужъ на какой лентѣ висѣла эта Анна,—про то не спрашивайте. Лента была такъ же нераспознаваема, какъ цвѣтъ его воротника на мундирѣ.

Онъ завѣдывалъ всей экономическою частью корпуса совершенно самостоятельно. Безпрестанно занятый научною частью, директоръ Перскій совсѣмъ не вмѣшивался въ хозяйство, да это было и не нужно при такомъ экономѣ, какъ бригадиръ Бобровъ. Къ тому же, оба они были друзья и вѣрили другъ другу безгранично.

Въ вѣдѣніи Боброва было какъ продовольствіе, такъ и одежда всѣхъ кадетъ и всей прислуги безъ исключенія. Сумма расходовъ простиралась до 600,000 руб. ежегодно, а за сорокъ лѣтъ его экономскаго служенія у него, значитъ, обратилось до 24 милліоновъ, но къ рукамъ ничего не прилипло. Напротивъ, даже 3 т. р. положеннаго ему жалованья онъ не получалъ, а только въ немъ расписывался, и когда этотъ денежный человѣкъ на сороковомъ году своего экономства умеръ, то у него не оказалось своихъ денегъ ни гроша и его хоронили на казенный счетъ.

Я скажу въ концѣ, куда онъ дѣвалъ свое жалованье, на какую проматывалъ его необходимую страстишку, о которой, какъ выше замѣчено, будто бы и зналъ покойный императоръ Николай Павловичъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

По обычаю своему, Бобровъ былъ такой же домосѣдъ, какъ и Перскій. Сорокъ къ ряду лѣтъ онъ буквально не выходилъ изъ корпуса, но зато постоянно ходилъ по корпусу и все учреждалъ свое дѣло, все хлопоталъ, «чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты». *Мошенники* это были мы, — такъ онъ называлъ кадетъ, разумѣется, употребляя это слово какъ ласку, какъ шутку. Мы это знали.

Всякій день онъ вставалъ въ пять часовъ утра и являлся къ намъ въ шесть часовъ, когда мы пили сбитень; послѣ этого мы шли въ классы, а онъ по хозяйству. Затѣмъ обѣдъ и всякую другую пищу мы получали непремѣнно при

немъ. Онъ любилъ «кормить» и кормилъ насъ прекрасно и очень сытно. Нашъ нынѣшній государь, въ отрочествѣ своемъ, не разъ кушивалъ съ нами за общимъ кадетскимъ столомъ, и, вѣроятно, еще изволитъ помнить нашего «стараго Бобра» *). Порцій, какъ это водится во всѣхъ заведеніяхъ, у насъ при Бобровѣ не было, — всѣ ѣли сколько кто хотѣлъ. Одѣвалъ онъ насъ всегда хорошо; бѣлье заставлялъ перемѣнять три раза въ недѣлю. Былъ очень жалостливъ и даже баловникъ, что отчасти было, вѣроятно, извѣстно Перскому и другимъ, но не все: водились и такія вещи, которыя Андрей Петровичъ, по добросердечію своему, не могъ не сдѣлать, но зналъ, что онѣ незаконны, и онъ, бригадиръ, скрывался съ ними какъ школьникъ. Это больше всего касалось кадетъ, подвергнутыхъ наказанію. Тутъ онъ весь внѣ себя былъ, сдерживался, но внутренно ужасно болѣлъ, — кипятился, какъ самоварчикъ, и, наконецъ, не выдерживалъ, чтобы чѣмъ-нибудь не «утѣшить мошенника». Всякаго наказаннаго онъ какъ-нибудь подзоветъ, насупится, будто какой-то выговоръ хочетъ сказать, но вмѣсто того погладитъ, что-нибудь дастъ и отпихнетъ:

— Пошелъ, мошенникъ, впередъ себя не доводи!

Особенная же забота у него шла о кадетахъ-арестантахъ, которыхъ сажали на хлѣбъ на воду, въ такіе устроенные при Демидовѣ особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантамъ подаяніе. Андрей Петровичъ всегда зналъ, по счету пустыхъ столовыхъ приборовъ, сколько арестованныхъ, но кадеты не опускали случая съ своей стороны еще ему особенно объ этомъ напомнить. Бывало, проходя мимо его изъ столовой, подъ ритмическій топотъ шаговъ, какъ бы безотносительно произносятъ:

— Пять арестантовъ, пять арестантовъ, пять арестантовъ.

А онъ или стоитъ только выпуча свои глазки, какъ будто ничего не слышитъ, или, если нѣтъ вблизи офицеровъ, дразнится, т. е. отвѣчаетъ намъ тѣмъ же тономъ:

— Мнѣ что за дѣло, мнѣ что за дѣло, мнѣ что за дѣло.

Но когда посаженныхъ на хлѣбъ на воду выводили изъ арестантскихъ на ночлегъ въ роту, Андрей Петровичъ

*) Въ «Исторіи 1 Кадетскаго Корпуса» (1832 г.) есть упоминанія о томъ, что государь императоръ Александръ Николаевичъ въ отрочествѣ посѣщалъ корпусъ и тамъ кушалъ съ кадетами.

подстерегалъ эту процессію, отнималъ ихъ у провожатыхъ, забиралъ къ себѣ въ кухню и тутъ ихъ кормилъ; а по коридорамъ во все это время разставлялъ солдатъ, чтобы никто не подошелъ.

Самъ имъ, бывало, кашу маслитъ и торопится тарелки подставлять, а самъ твердитъ:

— Скорѣе, мошенникъ, скорѣе глотай!

Всѣ при этомъ часто плакали,—и арестанты, и онъ, ихъ кормилецъ, и сторожевые солдаты, участвовавшіе въ продѣлкахъ своего добраго бригадира.

Кадеты его любили до той надоѣдливости, что ему буквально нельзя было показаться въ такое время, когда мы были свободны. Если, бывало, случится ему, по неосторожности, попасть въ это время на плацъ, то сейчасъ же раздавался крикъ:

— Андрей Петровичъ на плацу!

Больше ничего не нужно было, и всѣ знали, что́ дѣлать: всѣ бросались къ нему, ловили его, брали на руки и на рукахъ несли, куда ему было нужно.

Это ему было тяжело, потому что онъ былъ толстенькій кубикъ, ворочается, бывало, у насъ на рукахъ,—кричитъ:

— Мошенники! вы меня уроните, убьете... Это мнѣ нездорово,—но это не помогало.

Теперь скажу о страстишкѣ, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалованья, а только расписываться.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

У насъ очень много было людей бѣдныхъ и когда насъ выпускали, то выпускали на бѣдное же офицерское жалованье. А мы вѣдь были младенцы, о доходныхъ мѣстахъ и должностяхъ, о чемъ нынче грудные младенцы знаютъ, у насъ и мыслей не было. Разставались не съ тѣмъ, что я такъ-то устроюсь или разживусь—а говорили:

— Слѣдите за газетами, если только нашъ полкъ будетъ въ дѣлѣ,—на приступѣ первымъ я.

Всѣ такъ собирались, а многіе и исполнили. Идеалисты были ужасные! Андрей Петровичъ сожалѣлъ о бѣднякахъ и безродныхъ и хотѣлъ, чтобы и изъ нихъ каждый имѣлъ что-нибудь приличное, въ чемъ оно ему представлялось. Онъ давалъ всѣмъ бѣднымъ приданое,—серебряныя ложки

и бѣлье. Каждый выпущенный прапорщикъ получалъ отъ него по три перемѣны бѣлья, двѣ столовыя серебряныя ложки, по четыре чайныхъ восемьдесятъ четвертой пробы. Бѣлье давалось для себя, а серебро—для «общежитія».

— Когда товарищъ зайдетъ, чтобы было у тебя, чѣмъ дать щей хлебнуть, а къ чаю могутъ зайти двое и трое,— такъ вотъ чтобы было, чѣмъ...

Такъ это и соразмѣрялось — накормить хоть одного, а чайкомъ напоить до четырехъ собратовъ. Все до мелочей и вдаль — на всю жизнь, внушалось о товариществѣ, и диво ли, что оно было?

Ужасно трогательный былъ человѣкъ и самъ растрогивался сильно и глубоко. Поэтически могъ вдохновлять, и Рылѣевъ, какъ я сказалъ, написалъ ему оду, которая начиналась словами:

«О ты, почтенный экономъ Бобровъ!»

Вообще любили его поистинѣ, можно сказать, до чрезвычайности, и любовь эта въ насъ не ослабѣвала ни съ лѣтами, ни съ перемѣною положенія. Пока онъ жилъ, всѣ наши, когда случалось быть въ Петербургѣ, непремѣнно пріѣзжали въ корпусъ «явиться Андрею Петровичу»—«старому Бобру». И тутъ происходили иногда сцены, которыхъ словами просто даже передать нельзя. Увидитъ, бывало, человѣка незнакомаго съ знаками заслугъ, а иногда и въ большомъ чинѣ и встрѣтитъ офиціально вопросомъ: «что вамъ угодно?» А потомъ, какъ тотъ назоветъ себя, онъ сейчасъ сдѣлаетъ шагъ назадъ и одной рукой начнетъ лобъ почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другою—отстраняетъ гостя:

— Позвольте, позвольте, говоритъ,—позвольте!

И если тотъ не спѣшилъ вполнѣ открыться, то онъ ворчалъ:

— У насъ былъ... мошенникъ... не изъ нашихъ ли?..

— Вашъ, вашъ, Андрей Петровичъ! — отвѣчалъ гость, или же, порываясь къ хозяину, показывалъ ему его «благословеніе»—серебряную ложечку.

Но тутъ вся сцена становилась какою-то дрожащею. Бобровъ топалъ ногами, кричалъ: «прочь, прочь, мошенникъ!» и съ этимъ самъ быстро прятался въ уголъ дивана за столъ, закрывалъ оба глаза своими пухленькими кулачками

или синимъ бумажнымъ платкомъ и не плакалъ, а рыдалъ, рыдалъ звонко, визгливо и неудержимо, какъ нервическая женщина, такъ что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала и лицо наливалось кровью.

Удержать его было невозможно, а такъ какъ это не разъ бывало съ нимъ при такихъ крайне волновавшихъ его встрѣчахъ, то денщикъ его это зналъ и сейчасъ ставилъ передъ нимъ на подносикѣ стаканъ воды. Болѣе никто ничего не предпринималъ. Истерика восторга кончилась, старикъ самъ выпивалъ воду и, вставая, говорилъ ослабѣвшимъ голосомъ:

— Ну... теперь поцѣлуй, мошенникъ!

И они цѣловались долго-долго, причемъ многіе, конечно, безъ всякаго униженія или ласкательства цѣловали у него руки, а онъ уже только съ блаженствомъ повторялъ:

— Вспомнилъ, мошенникъ, старика,—вспомнилъ!—и сейчасъ же усаживалъ гостя и самъ принимался доставать изъ шкапа какой-то графинчикъ, а денщика посылалъ на кухню за кушаньемъ.

Отказаться отъ этого никто не могъ. Иной, бывало, отпрашивается:

— Андрей Петровичъ! я,—говоритъ,—званъ и обѣщался къ такому-то, или къ такому-то, какому-нибудь важному лицу.

Ни за что не отпуститъ.

— Знать ничего не хочу,—говоритъ,—важныя лица тебя не знали, когда я тебя на кухнѣ кормилъ. Пришелъ сюда, такъ ты *мой*,—и долженъ изъ стараго корыта почавкать. Безъ того не выпущу.

И не выпуститъ.

Рацей онъ никогда не читалъ, а только *жилъ* передъ нами и остался жить послѣ того, какъ его въ концѣ сорокового года службы за недостаточностію на казенный счетъ похоронили.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Теперь третій постоянный инокъ нашего монастыря — нашъ корпусный докторъ *Зеленскій*. Онъ тоже былъ холостъ, тоже былъ домосѣдъ. Этотъ даже превзошелъ двухъ первыхъ тѣмъ, что жилъ въ лазаретѣ, въ послѣдней комнатѣ. Ни фельдшеръ, ни прислуга—никто никогда не могли

себя предостеречь отъ внезапнаго его появленія у больныхъ: онъ былъ тутъ какъ днемъ, такъ и ночью. Числа визитацій у него не полагалось, а онъ всегда былъ при больныхъ. Въ день нѣсколько разъ обойдетъ, а, кромѣ того, еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался трудно-больной кадетъ, такъ Зеленскій и вовсе его не оставлялъ, — тутъ и отдыхалъ возлѣ больного на сосѣдней койкѣ.

Этотъ докторъ, по опрятности, былъ противоположность Перскому и родной братъ эконому Боброву. Онъ ходилъ въ сюртукѣ, рѣдко вычищенномъ, часто очень изношенномъ и всегда разстегнутомъ, и цвѣтъ воротника у него былъ такой же, какъ у Андрея Петровича, т. е. нераспознаваемый.

Онъ былъ тѣломъ и душою нашъ человѣкъ, какъ и два первые. Изъ корпуса онъ не выходилъ. Это, можетъ-быть, покажется невѣроятнымъ, но это такъ. Никакими деньгами нельзя было его заставить выѣхать съ визитомъ на сторону. Былъ одинъ примѣръ, что онъ измѣнилъ своему правилу, когда пріѣхалъ въ Петербургъ великій князь Константинъ Павловичъ изъ Варшавы. Его высочество посѣтилъ одну статсъ-даму, которую засталъ въ страшномъ горѣ: у нея былъ очень боленъ маленькій сынъ, которому не могли помочь тогдашніе лучшіе доктора столицы. Она посылала за Зеленскимъ, который славился отличнымъ знатокомъ дѣтскихъ болѣзней, въ коихъ имѣлъ, разумѣется, огромный навыкъ, но онъ далъ свой обыкновенный отвѣтъ:

— У меня на рукахъ тысяча триста дѣтей, за жизнь и здоровье которыхъ я отвѣчаю, и на стороны разбрасываться не могу.

Огорченная его отказомъ, статсъ-дама сказала объ этомъ великому князю, и Константинъ Павловичъ, будучи шефомъ Перваго кадетскаго корпуса, изволилъ *приказать* Зеленскому поѣхать въ домъ этой дамы и *вылѣчить* ея ребенка.

Докторъ повиновался,—поѣхалъ и скоро вылѣчилъ больное дитя, но платы за свой трудъ не взялъ.

Одобряетъ ли кто или не одобряетъ этотъ его поступокъ, но я говорю какъ происходило.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Зеленскій былъ докторъ отличный, и сколько я могу теперь понимать, вѣроятно, относился къ новой медицинской

школѣ: онъ былъ гигіенистъ и къ лѣкарствамъ прибѣгалъ только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ. Но тогда насчетъ медикаментовъ и другихъ нужныхъ врачебныхъ пособій былъ требователенъ и чрезвычайно настойчивъ. Что онъ назначалъ и потребовалъ,—это уже чтобъ было, да, впрочемъ, и сопротивленія-то некому было оказывать. О пищѣ ужъ и говорить нечего: разумѣется, какую порцію ни потребуй — Бобровъ не откажетъ. Онъ и здоровыхъ «мошенниковъ» любилъ кормить до-сыта, а про больныхъ уже и говорить нечего. Но я помню разъ такой случай, что докторъ Зеленскій для какого-то больного потребовалъ вина и назначилъ его на рецептѣ словами: «такой-то номеръ по прейсъ-куранту англійскаго магазина».

Солдатъ понесъ требованіе эконому и чрезъ нѣсколько минутъ идетъ самъ Андрей Петровичъ.

— Батенька, — говоритъ: — вы знаете ли, сколько этотъ номеръ вина за бутылку стоитъ? Онъ, вѣдь, стоитъ восемнадцать рублей.

А Зеленскій ему отвѣчалъ:

— Я и знать,—говоритъ:—этого не хочу: это вино для ребенка нужно.

— Ну, а если нужно, такъ и толковать не о чемъ,— отвѣчалъ Бобровъ, и сейчасъ же вынулъ деньги и послалъ въ англійскій магазинъ за указаннымъ виномъ.

Привожу это, между прочимъ, въ примѣръ, какъ они всѣ были между собою согласны въ томъ, что нужно для нашей выгоды, и приписываю это именно той ихъ крѣпкой другъ въ другѣ увѣренности, что ни у кого изъ нихъ нѣтъ болѣе драгоцѣнной цѣли, какъ *наше* благо.

Имѣя на рукахъ, въ числѣ 1,300 человѣкъ, двѣсти пятьдесятъ малолѣтнихъ отъ четырехъ до восьми лѣтъ, Зеленскій тщательнѣйше наблюдалъ, чтобы не допускать повальныхъ и заразительныхъ болѣзней, и заболѣвавшихъ скарлатиною сейчасъ же отдѣлялъ и лѣчилъ въ темныхъ комнатахъ, куда не допускалъ капли свѣта. Надъ этой системой позже смѣялись, но онъ считалъ ее дѣломъ серьезнымъ и всегда ея держался, и оттого ли, или не оттого, но результатъ былъ чудесный. Не было случая, чтобы у насъ не выздоровѣлъ мальчикъ, заболѣвшій скарлатиною. Зеленскій на этотъ счетъ немножко бравировалъ. У него была поговорка:

— Если ребенокъ умретъ отъ горячки, доктора надо повѣсить за шею, а если отъ скарлатины—то за ноги.

Мелкихъ чиновныхъ лицъ у насъ въ корпусѣ было очень мало. Напримѣръ, *вся* канцелярія такого громаднаго учрежденія состояла изъ одного бухгалтера Паутова—человѣка, имѣвшаго феноменальную память, да трехъ писарей. Только и всего, и всегда все, что̀ нужно — было сдѣлано; но при больницѣ Зеленскій держалъ большой комплектъ фельдшеровъ и ему въ этомъ не отказывали. Къ каждому серьезному больному приставлялся отдѣльный фельдшеръ, который такъ возлѣ него и сидѣлъ, — поправлялъ его, одѣвалъ, если раскидывается, и подавалъ лѣкарство. Отойти онъ, разумѣется, не смѣлъ и подумать, потому что Зеленскій былъ тутъ же за дверью и каждую минуту могъ выйти; а тогда, по старинѣ, много не говоря, сейчасъ же короткая расправа: зуботычина—и опять сиди на мѣстѣ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Вѣруя и постоянно говоря, что «главное дѣло не въ лѣченіи, а въ недопущеніи, въ предупрежденіи болѣзней», Зеленскій былъ чрезвычайно строгъ къ прислугѣ и зуботычины у него летѣли за малѣйшее неисполненіе его гигіеническихъ приказаній, къ которымъ, какъ извѣстно, наши русскіе люди относятся какъ къ какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленскій держался съ ними морали крыловской басни «Котъ и поваръ». Не исполнено или не точно исполнено его приказаніе, — не станетъ разсуждать, а сейчасъ же щелкъ по зубамъ и пошелъ мимо.

Мнѣ немножко жаль сказывать объ этой привычкѣ скораго на руку доктора Зеленскаго, чтобы скорые на осужденіе современные люди не сказали: «вотъ какой драчунъ или Держиморда»; но чтобы воспоминанія были вѣрны и полны — изъ пѣсни слова не выкинешь. Скажу только, что онъ не былъ Держиморда, а былъ даже добрякъ и справедливѣйшій и великодушнѣйшій человѣкъ, но былъ, разумѣется, человѣкъ *своего времени*, а время его было такое, что зуботычина за великое не считалась. Тогда была другая мѣрка: отъ человѣка требовали, чтобы «никого не сдѣлать несчастнымъ», и этого держались всѣ хорошіе люди, а въ томъ числѣ и докторъ Зеленскій.

Въ видахъ *недопущенія болѣзней*, прежде чѣмъ кадетъ

вводили въ классы, Зеленскій проходилъ всѣ классныя комнаты, гдѣ въ каждой былъ термометръ. Онъ требовалъ, чтобы въ классахъ было не меньше 13° и не больше 15°. Истопники и сторожа должны были находиться тутъ же, и если температура не выдержана—сейчасъ врачебная зубочистка. Какъ мы садились за классныя занятія, онъ точно такъ же обходилъ роты и тамъ опять происходило то же самое.

Пищу нашу онъ зналъ хорошо, потому что самъ другой пищи не ѣлъ: онъ *всегда* обѣдалъ или съ больными въ лазаретѣ, или съ здоровыми, но не за особымъ, а за общимъ кадетскимъ столомъ, и притомъ не позволялъ ставить себѣ избраннаго прибора, а садился гдѣ попало и ѣлъ то самое, чѣмъ питались мы.

Осматривалъ онъ насъ каждую баню въ предбанникѣ, но, кромѣ того, производилъ еще внезапныя ревизіи: вдругъ остановитъ кадета и прикажетъ раздѣться до-нага; осмотритъ все тѣло, все бѣлье, даже ногти на ногахъ оглядитъ, выстрижены ли.

Рѣдкое и преполезное вниманіе!

Но теперь, оканчивая и съ нимъ, я скажу, что у этого третьяго извѣстнаго мнѣ истиннаго друга дѣтей составляло его удовольствіе.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Удовольствіе доктора Зеленскаго заключалось въ томъ, что когда назначенные изъ кадетъ къ выпуску въ офицеры ожидали Высочайшаго приказа о производствѣ, онъ выбиралъ изъ нихъ пять-шесть человѣкъ, которыхъ зналъ, отличалъ за способности и любилъ. Онъ записывалъ ихъ больными и помѣщалъ въ лазаретѣ, рядомъ съ своей комнатой, давалъ имъ читать книги хорошихъ авторовъ и велъ съ ними долгія бесѣды о самыхъ разнообразныхъ предметахъ.

Это, конечно, составляло нѣкоторое злоупотребленіе, но если вникнуть въ дѣло, то какъ это злоупотребленіе покажется простительно!

Надо только вспомнить, что было надѣлано съ корпусами съ тѣхъ поръ, какъ они попали въ руки Демидова, который, какъ выше было сказано, получилъ приказаніе ихъ «подтянуть» и, кажется, слишкомъ переусердствовалъ

въ исполненіи. Думаю такъ потому, что графы Строгановъ и Уваровъ, дѣйствуя въ то же время, ничего того не надѣлали, что надѣлалъ Демидовъ съ корпусами. Подъ словомъ «подтянуть» Демидовъ понялъ *остановить образованіе*. Теперь уже, разумѣется, не было никакого мѣста прежней задачѣ—чтобы корпусъ могъ выпускать такихъ образованныхъ людей, изъ коихъ при прежнихъ порядкахъ безъ нужды выбирали лицъ, способныхъ ко всякой служебной карьерѣ, не исключая и дипломатической. Наоборотъ, все дѣло шло о томъ, чтобы сузить нашъ умственный кругозоръ и всячески понизить значеніе науки. Въ корпусѣ существовала богатая библіотека и музеумъ. Библіотеку приказали *запереть*, въ музеумъ не водить и наблюдать, чтобы никто не смѣлъ приносить съ собою никакой книги изъ отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещеніе, кто-нибудь принесъ изъ отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или, еще хуже, самъ написалъ что-либо, то за это велѣно было подвергать строгому тѣлесному наказанію розгами. При чемъ въ опредѣленіи мѣры наказанія была установлена оригинальная постепенность: если кадетъ изобличался въ прозаическомъ авторствѣ (конечно, смирнаго содержанія), то ему давали двадцать пять ударовъ, а если онъ согрѣшилъ стихомъ, то вдвое. Это было за то, что Рылѣевъ, который писалъ стихи, вышелъ изъ нашего корпуса. Книжечка всеобщей исторіи, не знаю кѣмъ составленная, была у насъ едва ли не въ двадцать страничекъ и на оберткѣ ея было обозначено: «для воиновъ и для жителей». Прежде она была надписана: «для воиновъ и *для гражданъ*»,—такъ надписалъ ее ея искусный составитель,—но это было кѣмъ-то признано за неудобное и вмѣсто «*для гражданъ*», было поставлено «для жителей». Даже географическіе глобусы велѣно было вынести, чтобы не наводили на какія-нибудь мысли, а стѣну, на которой въ старину были сдѣланы крупныя надписи важныхъ историческихъ датъ,—закрасить... Было принято правиломъ, которое потомъ и выражено въ инструкціи, что «*никакія* учебныя заведенія въ Европѣ не могутъ для заведеній нашихъ служить образцомъ—они «уединообразиваются» *).

*) См. не дѣйствующее болѣе «Наставленіе къ образованію воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній». 24 декабря 1848 года. Спб., типографія Военно-учебныхъ заведеній.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Можно представить, какъ мы при такомъ ученіи выходили учены... А впереди стояла цѣлая жизнь. Добрый и просвѣщенный человѣкъ, какимъ, несомнѣнно, былъ нашъ докторъ Зеленскій, не могъ не чувствовать, какъ это ужасно, и не могъ не позаботиться, если не пополнить ужасающій пробѣлъ въ нашихъ свѣдѣніяхъ (потому что это было невозможно), то, по крайней мѣрѣ, хоть возбудить въ насъ какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направленіе нашимъ мыслямъ.

Правда, что это не составляетъ предмета заботливости врача казеннаго заведенія, но онъ же былъ человѣкъ, онъ *любилъ* насъ, онъ желалъ намъ счастія и добра, а какое же счастіе при кругломъ невѣжествѣ? Мы годились къ чему-нибудь въ корпусѣ, но выходили въ жизнь въ полномъ смыслѣ ребятами, правда, съ задатками чести и хорошихъ правилъ, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрецъ при новой обстановкѣ могъ насъ сбивать и вести по пути недоброму, котораго мы не сумѣли бы ни понять, ни оцѣнить. Какъ къ этому быть равнодушнымъ!

И вотъ Зеленскій забиралъ насъ къ себѣ въ лазаретъ и подшпиговывалъ насъ то чтеніемъ, то бесѣдами.

Извѣстно ли объ этомъ было Перскому — я не знаю, но можетъ-быть, что и было извѣстно, только онъ не любилъ знать о томъ, о чемъ не считалъ нужнымъ знать. Тогда было строго, но формалистики меньше.

Читали мы у Зеленскаго, опять повторяю, книги самыя позволительныя, а изъ бесѣдъ я помню только одну и то потому, что она имѣла анекдотическое основаніе и черезъ то особенно прочно засѣла въ голову. Но, говорятъ, человѣкъ ни въ чемъ такъ легко не намѣчается, какъ въ своемъ любимомъ анекдотѣ, а потому я его здѣсь и приведу.

Зеленскій говорилъ, что въ жизнь надо внесть съ собою какъ можно болѣе добрыхъ *чувствъ*, способныхъ порождать добрыя *настроенія*, изъ которыхъ въ свою очередь непремѣнно должно вытечь доброе же *поведеніе*. А потому будутъ цѣлесообразнѣе и всѣ *поступки* въ каждомъ столкновеніи и при всѣхъ случайностяхъ. Всего предвидѣть и распредѣлить, гдѣ какъ поступить, — невозможно, а надо все

съ добрымъ настроеніемъ и разсмотрѣніемъ, и безъ упрямства; приложить одно, а если не дѣйствуетъ и раздражаетъ, обратиться благоразумно къ другому. Онъ все это изъ медицины бралъ и къ ней приравнивалъ и говорилъ, что у него, въ молодой порѣ, былъ упрямый главный докторъ.

Подходитъ, говоритъ, къ больному и спрашиваетъ:

— Что у него?

— Такъ и такъ,—отвѣчаетъ Зеленскій:—весь аппаратъ бездѣйствуетъ, что-то въ родѣ miserere.

— Oleum ricini давали?

— Давали.

И еще тамъ что-то спросилъ: давали?

— Давали.

— А oleum crotoni?

— Давали.

— Сколько?

— Двѣ капли.

— Дать двадцать!

Зеленскій только было ротъ раскрылъ, чтобы возразить, а тотъ остановилъ:

— Дать двадцать!

— Слушаю-съ.

На другой день спрашиваетъ:

— А что больной съ miserere: дали ему двадцать капель?

— Дали.

— Ну, и что онъ?

— Умеръ.

— Однако, проняло?

— Да, проняло.

— То-то и есть.

И довольный, что по его сдѣлано, старшій докторъ начиналъ преспокойно бумаги подписывать. А что больной умеръ, до этого дѣла нѣтъ: лишь бы *проняло*.

По сколько къ чему этотъ медицинскій анекдотъ могъ быть приложимъ,—онъ намъ нравился и казался понятенъ, а ужъ насколько онъ кого-нибудь изъ насъ воздерживалъ отъ вреднаго упрямства въ выборѣ сильныхъ, но вредно дѣйствующихъ средствъ,—этого не знаю.

Зеленскій служилъ въ корпусѣ тридцать лѣтъ и оставилъ послѣ себя всего богатства пятьдесятъ рублей.

Таковы были эти три коренные старца нашего кадет-

ского скита, но надо помянуть еще четвертаго, пришлаго въ нашъ монастырь съ своимъ уставомъ, но также попавшаго нашему духу подъ-стать и оставившаго по себѣ превосходную память.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Тогда былъ такой обычай, что для преподаванія религіозныхъ предметовъ кадетамъ высшихъ классовъ въ корпусъ присылался архимандритъ, изъ назначавшихся къ архіерейству. Разумѣется, это большею частію были люди очень умные и хорошіе, но особенно дорогъ и памятенъ намъ остался *послѣдній*, который былъ у насъ на этомъ назначеніи, и съ нимъ оно кончилось. Рѣшительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали ихъ просто «отецъ архимандритъ», а справиться о его имени теперь трудно. Пусть этотъ будетъ такъ, безъ имени. Онъ былъ сердоваго возраста, небольшого роста, сухощавъ и брюнетъ, энергическій, живой, съ звучнымъ голосомъ и весьма пріятными манерами, любилъ цвѣты и занимался для удовольствія астрономіей. Изъ окна его комнаты, выходившей въ садъ, торчала мѣдная труба телескопа, въ который онъ вечерами наблюдалъ звѣздное небо. Онъ былъ очень уважаемъ Перскимъ и всѣмъ офицерствомъ, а кадетами былъ любимъ удивительно. Мнѣ теперь думается, да и прежде въ жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзывъ о религіи, что она будто скучна и безполезна,—я всегда думалъ: «вздоръ мелете, милашки: это вы говорите только оттого, что на мастера не попали, который бы васъ заинтересовалъ и раскрылъ вамъ эту поэзію вѣчной правды и не умирающей жизни». А самъ сейчасъ думаю о томъ послѣднемъ архимандритѣ нашего корпуса, который навѣки меня облагодѣтельствовалъ, образовавъ мое религіозное чувство. Да и для многихъ онъ былъ такимъ благодѣтелемъ. Онъ училъ въ классѣ и проповѣдывалъ въ церкви, но мы никогда не могли его вволю наслушаться, и онъ это видѣлъ: всякій день, когда насъ выпускали въ садъ, онъ тоже приходилъ туда, чтобы съ нами разговаривать. Всѣ игры и смѣхи тотчасъ прекращались и онъ ходилъ, окруженный цѣлою толпою кадетъ, которые такъ тѣснились вокругъ него со всѣхъ сторонъ, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мнѣ это напоминаетъ

что-то древнее, апостольское. Мы передъ нимъ всѣ были открыты; выбалтывали ему всѣ наши горести, преимущественно заключавшіяся въ докучныхъ преслѣдованіяхъ Демидова и особенно въ томъ, что онъ не позволялъ намъ ничего читать.

Архимандритъ насъ выслушивалъ терпѣливо и утѣшалъ, что для чтенія впереди будетъ еще много времени въ жизни, но такъ же, какъ Зеленскій, онъ всегда внушалъ намъ, что наше корпусное образованіе очень недостаточно и что мы должны это помнить и, по выходѣ, стараться пріобрѣтать познанія. О Демидовѣ онъ отъ себя ничего не говорилъ, но мы по едва замѣтному движенію его губъ замѣчали, что онъ его презираетъ. Это потомъ скоро и высказалось въ одномъ оригинальномъ и очень памятномъ событіи.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Я выше сказалъ, что Демидовъ былъ большой ханжа, онъ постоянно крестился, ставилъ свѣчи и прикладывался ко всѣмъ иконамъ, но въ религіи былъ суевѣръ и невѣжда. Онъ считалъ за преступленіе разсуждать о религіи, можетъ-быть, потому, что не могъ разсуждать о ней. Намъ онъ ужасно надоѣдалъ, кстати и некстати приставая: «молитесь, дѣточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы Богъ слышитъ». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходятъ до Бога и чьи не доходятъ. А потомъ этихъ же «ангеловъ» растягивали и драли какъ сидоровыхъ козъ. Самъ же себя онъ, какъ большинство ханжей, считалъ полнымъ, совершеннымъ христіаниномъ и ревнителемъ вѣры. Архимандритъ же былъ христіанинъ въ другомъ родѣ и, притомъ, какъ я сказалъ, онъ былъ уменъ и образованъ. Проповѣди его были не подготовленныя, очень простыя, теплыя, всегда направленныя къ подъему нашихъ чувствъ въ христіанскомъ духѣ, и онъ произносилъ ихъ прекраснымъ, звучнымъ голосомъ, который долеталъ во всѣ углы церкви. Уроки же или лекціи его отличались необыкновенною простотою и тѣмъ, что мы могли его обо всемъ спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему всѣ наши сомнѣнія и бесѣдовать. Эти уроки были нашъ бенефисъ,—нашъ праздникъ. Какъ образецъ, приведу одну лекцію, которую очень хорошо помню.

«Подумаемъ, — такъ говорилъ архимандритъ, — не лучше ли было бы, если бы для устраненія всякаго недоумѣнія и сомнѣнія, которыя длятся такъ много лѣтъ, Іисусъ Христосъ пришелъ не скромно въ образѣ человѣческомъ, а сошелъ бы съ неба въ торжественномъ величіи, какъ божество, окруженное сонмомъ свѣтлыхъ, служебныхъ духовъ. Тогда, конечно, никакого сомнѣнія не было бы, что это, дѣйствительно, божество, въ чемъ теперь очень многіе сомнѣваются. Какъ вы объ этомъ думаете?»

Кадеты, разумѣется, молчали. Что тутъ кто-нибудь изъ насъ могъ бы сказать, да мы бы на такого говоруна и разсердились, чтобы не лѣзъ не въ свое дѣло. Мы ждали *его* разъясненія и ждали страстно, жадно и затаивъ дыханіе. А онъ прошелся передъ нами и, остановясь, продолжалъ такъ:

«Когда я, сытый, что по моему лицу видно, и одѣтый въ шелкъ, говорю въ церкви проповѣдь и объясняю, что нужно терпѣливо сносить холодъ и голодъ, то я въ это время читаю на лицахъ слушателей: «хорошо тебѣ, монахъ, разсуждать, когда ты въ шелку да сытъ. А посмотрѣли бы мы, какъ бы ты заговорилъ о терпѣніи, если бы тебѣ отъ голода животъ къ спинѣ подвело, а отъ стужи все тѣло посинѣло». И я думаю, что, если бы Господь нашъ пришелъ въ славѣ, то и Ему отвѣчали бы что-нибудь въ этомъ родѣ. Сказали бы, пожалуй: «Тамъ Тебѣ на небѣ отлично, пришелъ къ намъ на-время и учишь. Нѣтъ, вотъ, если бы Ты промежъ насъ родился, да отъ колыбели до гроба претерпѣлъ, что намъ терпѣть здѣсь приходится, тогда бы другое дѣло». И это очень важно и основательно, и для этого Онъ и сошелъ босой и пробрелъ по землѣ безъ пріюта».

Демидовъ, я говорю, ничего не понималъ, но чувствовалъ, что это человѣкъ не въ его духѣ, чувствовалъ, что это заправскій, настоящій христіанинъ, а такіе ханжамъ хуже и противнѣе самаго крайняго невѣра. Но подѣлать онъ съ нимъ ничего не могъ, потому что не смѣлъ открыто порицать доброе боговѣданіе и разсужденіе архимандрита, пока этотъ не далъ на себя иного оружія. Архимандритъ вышелъ изъ терпѣнія и онять не за себя, а за насъ, потому что Демидовъ съ своимъ пустосвятствомъ разрушалъ его работу, портивъ наше религіозное настроеніе и дово-

дивъ насъ до шалостей, въ которыхъ обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношеніе къ священнымъ предметамъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Демидовъ былъ чрезвычайно суевѣренъ: у него были счастливые и несчастные дни; онъ боялся трехъ свѣчей, креста, встрѣчи съ духовными и имѣлъ многіе другіе глупые предразсудки. Мы, со свойственною дѣтямъ наблюдательностью, очень скоро подмѣтили эти странности главнаго директора и обратили ихъ въ свою пользу. Мы отлично знали, что Демидовъ ни за что не пріѣдетъ ни въ понедѣльникъ, ни въ пятницу, ни въ другой тяжелый день или тринадцатаго числа; но главнѣе всего насъ выручали кресты... Одинъ разъ, замѣтивъ, что Демидовъ, гдѣ ни завидитъ крестъ, сейчасъ крестится и обходитъ, мы начали ему всюду подготовлять эти сюрпризы; въ тѣ дни, когда можно было ожидать, что онъ пріѣдетъ въ корпусъ, у насъ уже были приготовлены кресты изъ палочекъ, изъ цвѣтныхъ шерстинокъ или даже изъ соломинокъ. Они дѣлались разной величины и разнаго фасона, но особенно хорошо дѣйствовали кресты въ родѣ надмогильныхъ—съ покрышечками. Ихъ особенно боялся Демидовъ, вѣроятно, имѣвшій какую-нибудь скрытую надежду на безсмертіе. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помѣщали ихъ подъ карнизы лѣстничныхъ ступеней. Какъ, бывало, начальство за этимъ ни смотритъ, чтобы этого не было, а уже мы ухитримся — крестикъ подбросимъ. Бывало, всѣ идутъ и никто не замѣтитъ, а Демидовъ непремѣнно увидитъ и сейчасъ же отпрыгнетъ, закрестится, закрестится и вернется назадъ. Ни за что рѣшительно онъ не могъ наступить на ступеньку, на которой былъ брошенъ крестикъ. То же самое было, если крестикъ оказывался на полу посреди проходной комнаты, чрезъ которую лежалъ его путь. Онъ сейчасъ отскочитъ, закрестится и уйдетъ, и намъ въ этотъ разъ полегчаетъ, но потомъ начнется дознаніе и окончится или карцеромъ для многихъ, или даже наказаніемъ на тѣлѣ для нѣкоторыхъ.

Архимандрита это возмущало, и хотя онъ намъ ничего не говорилъ на Демидова, но одинъ разъ, когда подобная

шалость окончилась обширной раздѣлкой на тѣлѣ многихъ, онъ поблѣднѣлъ и сказалъ:

— Я запрещаю вамъ это дѣлать, и кто меня хоть немножко любитъ, тотъ послушается.

И мы дали слово не метать больше крестиковъ, и не метали, а рядомъ съ тѣмъ, въ слѣдующее же воскресенье, архимандритъ, по окончаніи обѣдни, сказалъ въ присутствіи Демидова проповѣдь «о предразсудкахъ и пустосвятствѣ», гдѣ только не называлъ Демидова по имени, а перечислялъ всѣ его ханжескія глупости и даже упомянулъ о крестикахъ.

Демидовъ стоялъ полотна бѣлѣе, весь трясся и вышелъ, не подойдя къ кресту, но архимандритъ на это не обратилъ никакого вниманія. Надо было, чтобы у нихъ сочинился особенный духовно-военный турниръ, въ которомъ я не знаю, кому приписать побѣду.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Черезъ недѣлю, въ воскресенье, слѣдовавшее за знаменитою проповѣдью «о предразсудкахъ», Демидовъ не сманкировалъ, а пріѣхалъ въ церковь, но, опоздавъ, вошелъ въ половинѣ обѣдни. Онъ до конца отстоялъ службу и проповѣдь, которая на этотъ разъ касалась вещей обыкновенныхъ и ничего остраго въ себѣ для него не заключала; но тутъ онъ выкинулъ удивительную штуку, на которую архимандритъ отвѣтилъ еще болѣе удивительною.

Когда архимандритъ, возгласивъ «благословеніе Господне на васъ», закрылъ царскія двери, Демидовъ вдругъ тутъ же въ церкви гласно съ нами поздоровался.

Мы, разумѣется, какъ привыкли отвѣчать, громко отвѣчали ему:

— Здравія желаемъ, ваше высокопревосходительство!—и хотѣли уже поворачиваться и выходить, какъ вдругъ завѣса, гремя колечками по рубчатой проволокѣ, неожиданно распахнулась, и въ открытыхъ царскихъ дверяхъ появился еще не успѣвшій разоблачиться архимандритъ.

— Дѣти! я *вамъ* говорю, — воскликнулъ онъ скоро, но спокойно: — въ храмѣ Божіемъ умѣстны только одни возгласы, — возгласы въ честь и славу Живаго Бога и никакіе другіе. Здѣсь я имѣю право и долгъ запрещать и при-

казывать, и я вамъ *запрещаю* дѣлать возгласы начальству. Аминь.

Онъ повернулся и закрылъ двери. Демидовъ поскакалъ жаловаться, и архимандритъ отъ насъ выѣхалъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ было сдѣлано распоряженіе, чтобы архимандритовъ впредь въ корпуса вовсе не назначали. Это былъ послѣдній.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Я кончилъ, больше мнѣ сказать объ этихъ людяхъ нечего, да, кажется, ничего и не нужно. Ихъ время прошло, нынче дѣйствуютъ другіе люди и ко всему другія требованія, особенно къ воспитанію, которое уже не «уединообразивается». Можетъ-быть, тѣ, про которыхъ я разсказалъ, теперь были бы недостаточно учены или, какъ говорятъ, «не педагогичны» и не могли бы быть допущены къ дѣлу воспитанія, но позабыть ихъ не слѣдуетъ. То время, когда все жалось и тряслось, мы, цѣлыя тысячи русскихъ дѣтей, какъ рыбки рѣзвились въ водѣ, по которой масломъ плыла ихъ, защищавшая насъ отъ всѣхъ бурь, елейность. Такіе люди, стоя въ сторонѣ отъ главнаго историческаго движенія, какъ правильно думалъ незабвенный Сергѣй Михайловичъ Соловьевъ, *сильнѣе другихъ дѣлаютъ исторію*. И если ихъ «педагогичность» даже не выдержитъ критики, то все-таки ихъ память почтенна и души ихъ во благихъ водворятся.

Прибавленіе къ разсказу о кадетскомъ монастырѣ.

Въ долголѣтнюю бытность покойнаго Андрея Петровича экономомъ 1-го кадетскаго корпуса, тамъ состоялъ «старшимъ поваромъ» нѣкій Кулаковъ.

Поваръ этотъ умеръ скоропостижно на своемъ поварскомъ посту — у плиты, и смерть его была очень замѣтнымъ событіемъ въ корпусѣ. Кулаковъ—честный человѣкъ, не воръ, и потому честный экономъ Бобровъ уважалъ Кулакова при жизни и скорбѣлъ о его трагической кончинѣ. Послѣ того, какъ Кулаковъ умеръ, «стоя у плиты», на смѣну ему долго не было мужа съ такою же нравственною доблестію. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра

со стороны бригадира Боброва, «просѣлъ кисель» и «тертый картофель потерялъ свою густоту». Особенно повредился картофель, составлявшій важный элементъ при кадетскомъ столѣ. Послѣ Кулакова картофель не ползъ меланхолически, сходя съ ложки на тарелки кадетъ, но лился и «лопоталъ». Бобровъ видѣлъ это и огорчался, — даже, случалось, дрался съ поварами, но никакъ не могъ добиться секрета стирать картофель такъ, чтобы онъ былъ «какъ масло». Секретъ этотъ, быть-можетъ, навсегда утраченъ вмѣстѣ съ Кулаковымъ, и потому понятно, что Кулакова въ корпусѣ сильно вспоминали и вспоминали добромъ. Находившійся тогда въ числѣ кадетъ Кондратій Ѳедоровичъ Рылѣевъ († 14-го іюля 1826 г.), видя скорбь Боброва и цѣня утрату Кулакова для всего заведенія, написалъ по этому случаю комическую поэму, въ двухъ пѣсняхъ, подъ заглавіемъ «Кулакіада». Поэма, исчисливъ заслуги и доблести Кулакова, описываетъ его смерть у плиты и его погребеніе, а затѣмъ она оканчивалась слѣдующимъ воззваніемъ къ Андрею Петровичу Боброву:

«Я знаю то, что не достоинъ
Вѣщать о всѣхъ дѣлахъ твоихъ:
Я не поэтъ, я просто воинъ,—
Въ моихъ устахъ не складенъ стихъ,
Но ты, о мудрый, знаменитый
Царь кухни, мрачныхъ погребовъ,
Топленымъ жиромъ весь облитый,
Единственный герой Бобровъ!
Не осердися на поэта,
Тебя который воспѣвалъ,
И знай—у каждаго кадета
Ты тѣмъ навѣкъ безсмертенъ сталъ
Прочтя стихи сіи, потомки,
Бобровъ, воспомнутъ о тебѣ *),
Твои дѣла воспомнутъ громки
И вспомнятъ, можетъ-быть, о мнѣ».

Таковъ и есть Бобровъ на его единственномъ карандашевомъ портретѣ «царь кухни, мрачныхъ погребовъ», «топленымъ жиромъ весь облитый, единственный герой Бобровъ».

И еще одинъ анекдотъ.

Бобровъ ежедневно являлся къ директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать «о благополучіи».

*) Варіантъ: «Воспомнутъ, мудрый, о тебѣ».

Рапорты эти, разумѣется, чисто формальные, писались всегда на листѣ обыкновенной бумаги и затѣмъ складывались вчетверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадиръ бралъ шляпу и шелъ къ Перскому, но такъ какъ въ корпусѣ всѣмъ было до Боброва дѣло, то онъ по дорогѣ часто останавливался для какихъ-нибудь распоряженій, а имѣя слабость горячиться и пылить, Бобровъ часто бросалъ свою шляпу или забывалъ ее, а потомъ снова ее бралъ и шелъ далѣе.

Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили надъ своимъ «дѣдушкой» шутку: они переписали «Кулакіаду» на такой самый листъ бумаги, на какомъ у Андрея Петровича писались рапорты по начальству, и, сложивъ листъ тѣмъ же форматомъ, какъ складывалъ Бобровъ свои рапорты, кадеты всунули рылѣевское стихотвореніе въ треуголку Боброва, а рапортъ о «благополучіи» вынули и спрятали.

Бобровъ не замѣтилъ подмѣна и явился къ Перскому, который Андрея Петровича очень уважалъ, но все-таки былъ ему начальникъ и держалъ свой тонъ.

Михаилъ Степановичъ развернулъ листъ и, увидавъ стихотвореніе вмѣсто рапорта, разсмѣялся и спросилъ:

— Что это, Андрей Петровичъ, — съ какихъ поръ вы сдѣлались поэтомъ?

Бобровъ не могъ понять, въ чемъ дѣло, но только видѣлъ, что что-то неладно.

— Какъ, что изволите... какой поэтъ? — спросилъ онъ вмѣсто отвѣта у Перскаго.

— Да какъ же: кто пишетъ стихи, вѣдь тѣхъ называютъ поэтами. Ну, такъ и вы поэтъ, если стали сочинять стихи.

Андрей Петровичъ совсѣмъ сбился съ толку.

— Что такое... стихи...

Но онъ взглянулъ на бумагу, которую подалъ въ сложенномъ видѣ, и увидалъ въ ней, дѣйствительно, какія-то беззаконно неровныя строчки.

— Что же это такое?!

— Не знаю,—отвѣчалъ Перскій и сталъ вслухъ читать Андрею Петровичу его рапортъ.

Бобровъ чрезвычайно сконфузился и взволновался до

слезъ, такъ что Перскій, окончивъ чтеніе, долженъ былъ его успокоивать.

Послѣ этого былъ найденъ авторъ стихотворенія, — это былъ кадетъ Рылѣевъ, на котораго добрѣйшій Бобровъ тутъ же сгоряча излилъ все свое негодованіе, по скольку онъ былъ способенъ къ гнѣву. А Бобровъ, при всемъ своемъ безконечномъ незлобіи, былъ вспыльчивъ, и «попасть въ стихи» ему показалось за ужасную обиду. Онъ не столько сердился на Рылѣева, какъ вопіялъ:

— Нѣтъ, за что! Я только желаю знать—за что ты меня, разбойникъ, осрамилъ!

Рылѣевъ былъ тронутъ непредвидимою имъ горестью всѣми любимаго старика и просилъ у Боброва прощенія съ глубокимъ раскаяніемъ. Андрей Петровичъ плакалъ и всхлипывалъ, вздрагивая всѣмъ своимъ тучнымъ тѣломъ. Онъ былъ слезливъ или, по-кадетски говоря, былъ «плакса» и «слезомойка». Чуть бы что ни случилось въ немножко торжественномъ или въ немножко печальномъ родѣ, бригадиръ сейчасъ же готовъ былъ расплакаться.

Корпусные солдаты говорили о немъ, что у него «глаза на мокромъ мѣстѣ вставлены».

Но какъ ни была ужасна вся исторія съ «Кулакіадою», Бобровъ, конечно, все-таки помирился съ совершившимся фактомъ, и простилъ его, но сказалъ при томъ Рылѣеву назидательную рѣчь, что литература вещь дрянная, и что занятія ею никого не приводятъ къ счастію.

Собственно же для Рылѣева, говорятъ, будто старикъ высказалъ это въ такой формѣ, что она имѣла соотношеніе съ послѣднею судьбою покойнаго поэта, котораго добрый Бобровъ ласкалъ и особенно любилъ какъ умнаго и бойкаго кадета.

«Послѣдній архимандритъ», который не ладилъ съ генераломъ Муравьевымъ и однажды заставилъ его замолчать, былъ архимандритъ Иринеи, впослѣдствіи епископъ, архіерействовавшій въ Сибири и перессорившійся тамъ съ гражданскими властями, а потомъ скончавшійся въ помраченіи разсудка.

РУССКІЙ ДЕМОКРАТЪ ВЪ ПОЛЬШѢ.

Это—маленькая исторійка, но я думаю, что ее тоже, пожалуй, можно примкнуть къ разсказамъ «о трехъ праведникахъ». Такъ говорилъ мнѣ почтенный старецъ, со словъ котораго я записалъ разсказъ объ инокахъ кадетскаго монастыря, а теперь въ видѣ post-scriptum записываю еще одно послѣднее сказаніе.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Я поступилъ на службу прямо по выходѣ изъ корпуса въ канцелярію главнокомандующаго дѣйствующею арміею генералъ-фельдмаршала князя Паскевича. Это было въ тридцать второмъ году, въ январѣ мѣсяцѣ, — значитъ, вскорѣ послѣ покоренія Варшавы, которая взята въ августѣ тридцать перваго года. Директоромъ этой канцеляріи былъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Ѳомичъ Самбурскій, про котораго и пойдетъ моя рѣчь. Его позабыли, и исторія о немъ умалчиваетъ, а онъ былъ человѣкъ замѣчательный и, по моему мнѣнію, даже историческій.

Самбурскій былъ малороссъ и имѣлъ репутацію человѣка необыкновеннаго ума и способностей, а также отличался честностью и непреклонностью убѣжденій. Тогда еще на службѣ такими людьми иногда дорожили, и если не всегда, то хоть изрѣдка о нихъ вспоминали и думали, что безъ нихъ не хорошо, — что они нужны. Притомъ же Иванъ Ѳомичъ былъ невообразимо дѣловитъ: буквально — не было

занятія, къ которому онъ былъ бы неспособенъ и, взявшись за которое, оказался бы не на своемъ мѣстѣ. О честности же, разумѣется, и говорить нечего — на однихъ комиссіонерахъ и интендантахъ милліонъ могъ нажить, а онъ ничего не наживалъ и для всѣхъ воровъ былъ неодолимъ. Всякую хитрость провидитъ и *округлитъ*. Это было извѣстно, и потому при назначеніи Ивана Ѳомича въ директора канцеляріи при Дибичѣ ему было положено двойное жалованье.

Обязанности директора канцеляріи были очень большія и чрезвычайно разностороннія. По взятіи Варшавы, тутъ сосредоточивалась и военная, и гражданская переписка по всему Царству Польскому; онъ долженъ былъ возстановить русское правленіе вмѣсто революціоннаго; привести въ извѣстность статьи доходовъ и образовать правильный приходъ и обращеніе финансовъ. Вообще, требовалось организовать дѣло, которое послѣ военнаго разгрома представляло обыкновенный въ такихъ случаяхъ хаосъ.

Это трудъ огромный и почтенный, но неблагодарный. Онъ требуетъ человѣка свыше обыкновенныхъ способностей и поглощаетъ его всего; а между тѣмъ дѣятельность его не видна и остается почти незамѣчаемою, такъ сказать, черною работою, въ родѣ уборки чего-то въ тылу.

Нынче, можетъ-быть, это еще лучше, потому что теперь о тылѣ располагаютъ совсѣмъ иначе, но тогда вся слава и честь почиталась быть на виду — впереди, въ опасности. Въ тылу тогда, бывало, остаются не иначе какъ плачучи. Ну, а уже что̀ при такомъ взглядѣ могла значить канцелярская крыса, — это понять не трудно. Штатскіе, впрочемъ, тогда и повсемѣстно мало гдѣ и за людей были почитаемы. Такое время было, и за это нечего сердиться. У всякаго времени свои странности, а одна изъ тогдашнихъ странностей была—пренебреженіе ко всѣмъ невоеннымъ занятіямъ. Исключеніе дѣлали для одного графа Сперанскаго, но и то ставили это себѣ за непріятную необходимость. Удивительно вспомнить, какъ люди, бывало, съ особенною серьезностью внушали, что «Россія государство не торговое и не земледѣльческое, а военное и призваніе его быть грозою свѣта»... Хомяковъ сказалъ: «мы долго вѣрили среди восточной лѣни и грязной суеты» и проч.,—и дѣйствительно, вѣрили. Такъ часто тогда повторялось это мудрое

изреченіе, что, бывало, наслушаешься и начнешь вѣрить. Крымъ это поисправилъ, а то мѣры не было вздорамъ. Разсказывали, напримѣръ, какіе-то полудикіе анекдоты, какъ пришли два офицера въ трактиръ и, видя двухъ штатскихъ, говорятъ лакею: «подай намъ двухъ титулярныхъ совѣтниковъ!» Тотъ недоумѣваетъ, а они ему объясняютъ вслухъ, что титулярные совѣтники—это рябчики. Въ отвѣтъ на это одинъ изъ штатскихъ говоритъ: «а намъ, братецъ, дай двухъ поручиковъ подъ хрѣномъ». Лакей опять недоумѣваетъ, а штатскій изъясняетъ ему гласно, что поручики—это поросята. Этотъ глупый анекдотъ выражалъ настроеніе.

Я самъ помню, какъ разъ вечеркомъ, на томъ мѣстѣ Казанской площади, у садика, гдѣ теперь часто стоитъ телѣжка чухонца съ выборгскими кренделями, иду я домой, а передо мною идутъ два офицера и говорятъ:

— Видишь штафирку?

Другой отвѣчаетъ: вижу.

И указываютъ другъ другу на чиновничка, который покупаетъ кренделькн и завязываетъ ихъ въ платочекъ. Вѣрно, человѣкъ бѣдный былъ, потому что шляпенка на немъ рыженькая, и самъ онъ тощій, заморенненькій, а на немъ шинелька суконная, ветхая, подолъ подтрепанъ и разрѣзъ сзади,—какъ это дѣлалось.

Одинъ офицеръ говоритъ: давай, разорвемъ его.

Другой отвѣчаетъ: давай.

И тутъ же, на моихъ глазахъ, взяли его за край шинельнаго разрѣза, потянули въ разныя стороны и располосовали пополамъ до самаго воротника. Только пыль изъ стараго суконца посыпалась, и кренделькн онъ свои, бѣднякъ, разронялъ. А все это совершенно ни за что, да и безъ злобы, а такъ, можно сказать, по глупой манерѣ носились сами съ собою въ какомъ-то священномъ восторгѣ и какъ зыкливые телята брыкались. Я же вамъ объ этомъ упоминаю для того, чтобы показать, какой былъ духъ времени и какое царствовало неблагопріятное для гражданской дѣятельности настроеніе — особенно въ кругу тѣснаго соприкосновенія съ людьми военными.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Самбурскій, съ его правильнымъ умомъ, конечно, отлично понималъ свое время и потому, идучи въ директоры кан-

целяріи, зналъ какъ устроиться. Онъ позаботился не только о деньгахъ, которыхъ у него не было и на которыя онъ естественно имѣлъ право, принимая на себя трудъ большой и чрезвычайно отвѣтственный, но онъ выговорилъ себѣ и такое положеніе, чтобы ему не быть пѣшкою. Онъ не хотѣлъ быть слѣпымъ исполнителемъ чьихъ-либо случайныхъ фантазій, а желалъ имѣть необходимую для пользы службы свободу выбора людей и плана дѣйствій, равно какъ и средствъ къ ихъ исполненію. Съ княземъ Иваномъ Ѳедоровичемъ это было еще необходимѣе, чѣмъ съ Дибичемъ, который былъ очень толковый администраторъ. Съ Паскевичемъ было труднѣе, въ виду очень многихъ свойствъ его характера и манеры распоряжаться: иныя изъ его распоряженій, бывало, не только неудобно исполнить, но даже иногда нельзя и понять.

Я не знаю, какъ понималъ Паскевичъ въ точности огромныя способности Самбурскаго, на мой взглядъ представляющіяся необычайными; но знаю, что онъ въ душѣ цѣнилъ его превосходную честность. Мнѣ извѣстно также, что онъ былъ прельщенъ однимъ анекдотомъ, который относился къ юношескимъ годамъ Ивана Ѳомича и заключался въ слѣдующемъ.

Самбурскій былъ бѣдный человѣкъ и нуждался въ работѣ. Работать онъ могъ, разумѣется, только перомъ, къ чему имѣлъ счастливый даръ прекраснаго изложенія мыслей спокойно, плавно и вразумительно. Когда хотѣлъ тронуть или обличить и доказать справедливость,—былъ неподражаемъ. Съ этой стороны онъ сдѣлался извѣстенъ по поводу прошенія, написаннаго имъ для одной бѣдной мелкопомѣстной дворянки, тяжко оскорбленной богатымъ сосѣдомъ. Прошеніе это, поданное императору Александру Павловичу въ четвергъ на Страстной недѣлѣ, растрогало его величество до слезъ, и государь спросилъ: «Кто писалъ?» Вдова назвала Самбурскаго. И это обратило на него вниманіе многихъ. Что же касается самого предмета просьбы, то императоръ велѣлъ переслѣдовать неправильно рѣшенное дѣло, и вдова послѣ многихъ лѣтъ обидъ и страданія была возстановлена въ своемъ правѣ. Самбурскій писалъ мастерски, можетъ-быть, отчасти потому, что онъ превосходно чувствовалъ, вдохновенно проникалъ справедливость и любилъ постоять за нее безъ страха.

Все это у него шло свободно, вольно, натурально, съ какою-то поэтическою отвагою типичнаго хохла. Глядя на него, бывало, не разъ вспоминаешь чье-то вѣрное замѣчаніе о малороссахъ, что между ними очень рѣдко встрѣчается середина въ нравственности. Нигдѣ натуры не бываютъ цѣльнѣе и даже отчасти прямолинейнѣе, какъ въ Малороссіи. Тамъ, если честный человѣкъ, такъ ничѣмъ его не своротишь, и негодяи, если задаются, такъ тоже бываютъ ничѣмъ неисправимые. Самбурскій, разумѣется, былъ изъ хохловъ перваго сорта.

Но я отбиваюсь отъ анекдота, который располагалъ къ Самбурскому Паскевича, и едва ли не былъ, быть-можетъ, главнымъ поводомъ, почему фельдмаршалъ уважалъ его.

Былъ какой-то ученый, какой-то трудной спеціальности, говорили, будто астрономъ. Ему надо было написать ученое сочиненіе на какую-то степень по этому предмету, который онъ хорошо зналъ, но былъ совершенно бездаренъ. Сидѣлъ-сидѣлъ этотъ ученый, мучился, и пришелъ въ отчаяніе, а Самбурскій былъ къ нимъ вхожъ и въ домѣ друженъ. Видитъ онъ это горе, день, два, мѣсяцъ, давалъ совѣты, обѣщалъ помощь и, наконецъ, разсердясь, говоритъ:

— Да разскажи ты мнѣ все, что тебѣ надо написать.

Тотъ отвѣчаетъ:

— Это нельзя,—это цѣлый предметъ.

— Ну, и разсказывай цѣлый предметъ.

Принудилъ разсказать, выслушалъ, а черезъ недѣлю приноситъ написанную диссертацію.

Можетъ-быть, тутъ что-нибудь раздуто и преувеличено,— я не знаю, но дословно такой анекдотъ ходилъ о Самбурскомъ, и многіе передавали его даже едва ли не такъ, что Иванъ Ѳомичъ не зналъ астрономіи, но всю ее проникъ одною силою своего остраго ума.

Вообще по всему можно было видѣть, что фельдмаршалъ считалъ своего директора за человѣка необыкновеннаго, котораго надо было уважать; но, тѣмъ не менѣе, это не помѣшало имъ разойтись довольно смѣшно и, такъ сказать, анекдотически. Поводомъ къ этому послужило ихъ несогласіе въ оригинальномъ вопросѣ о самоварахъ, которымъ Иванъ Ѳомичъ Самбурскій надумалъ дать государственную роль въ исторіи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

По благородной простотѣ характера Ивана Ѳомича, у насъ канцелярія была будто его семья. Она вся была небольшая, кажется, человѣкъ изъ десяти, но какъ въ ней составлялись бумаги самаго секретнаго содержанія, то въ ней люди были собраны съ большою осторожностію и по самымъ надежнымъ рекомендаціямъ. Но разъ какъ человѣкъ былъ принятъ, Иванъ Ѳомичъ терпѣть не могъ показывать, что онъ его остерегается или имѣетъ къ нему не полное довѣріе. Эта дрянная, хотя весьма распространенная, манера душъ мелкихъ и подозрительныхъ была чужда его благородному и дальновидному уму. Самбурскій зналъ, что единодушіе ничѣмъ такъ не достигается, какъ любовію, и имѣлъ благоразуміе дорожить сердечными чувствами своихъ младшихъ сотрудниковъ. Молодыхъ людей онъ старался знать со стороны ихъ способностей и въ минуты своего небольшого отдыха всегда съ ними бесѣдовалъ, о чемъ приходило ему въ голову. Этимъ способомъ онъ всегда зналъ настроеніе нашихъ мыслей и силу сообразительности. Бывало, поговоритъ-поговоритъ, да смотришь и дастъ работу, изъ назначенія которой видишь, что онъ тебя уже совсѣмъ и смѣрилъ. Такого начальника, разумѣется, мудрено не любить и не цѣнить, и мы всѣ были къ нему очень привязаны.

Правая рука его у насъ былъ начальникъ отдѣленія Лахтинъ, очень образованный человѣкъ, съ которымъ Самбурскій любилъ посовѣтоваться. Но и совѣты совѣщалъ онъ не по-офиціальному, а по-семейному, т. е. не наединѣ, «при закрытыхъ дверяхъ», въ насмѣшку надъ которыми тайны, за ними сказанныя, очень быстро разносятся, а Самбурскій говорилъ прямо при насъ, молодыхъ людяхъ, какъ бы пріучая тѣмъ насъ къ скромности на всякъ часъ, безъ особыхъ предупрежденій.

Однажды, когда мы такимъ образомъ всѣ были въ сборѣ за своимъ дѣломъ, Самбурскій поднялъ голову отъ бумагъ, назвалъ Лахтина по имени и отечеству и спросилъ его: очень ли онъ занятъ,—что онъ хотѣлъ бы съ нимъ поговорить.

Лахтинъ отвѣчалъ, что у него въ эту минуту особенныхъ занятій нѣтъ и онъ готовъ къ его услугамъ.

Самбурскій и говоритъ:

— Давно я думалъ объ одномъ предметѣ, а нынче безсонною ночью, ворочая его со стороны на сторону, кажется, додумался до чего-то похожаго на дѣло. Не знаю, каковъ будетъ объ этомъ вашъ судъ, но мнѣніе ваше знать очень желаю.

Лахтинъ отвѣчалъ, что онъ слушаетъ со вниманіемъ. Мы же оставались, какъ всегда бывало, при своихъ мѣстахъ.

Не смотря на милую доброту Ивана Ѳомича, всѣ мы держали себя съ нимъ крайне почтительно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

— Каждое царствованіе,—началъ Самбурскій:—мы ведемъ здѣсь побоища съ поляками, но самое огромное побоище было теперь; оно стоило денегъ двѣсти милліоновъ, а человѣческихъ жертвъ шестьдесятъ тысячъ. Это меня приводитъ въ ужасъ. Сколько вдовъ, сиротъ и стариковъ, которыхъ кормить некому послѣ такой побѣды? За это надо отвѣтъ дать Богу, а между тѣмъ мы отъ своей роли здѣсь отказаться не можемъ, пока не устроимъ своихъ единовѣрныхъ въ Литвѣ и въ юго-западномъ краѣ. Польша—Богъ съ ней; но своихъ мы никакъ не можемъ оставить на произволъ судьбы.

Самбурскій,—ошибался онъ или нѣтъ,—былъ того мнѣнія, что Польша намъ *ненужна* и составляетъ для насъ вопросъ только, пока не упрочены какъ надо юго-западный край и Литва. Поэтому онъ и проектировалъ всѣ свои мѣры для этой окраины и былъ увѣренъ, что если тѣ мѣры выполнить, т. е. если Литва, Волынь и Подолія сдѣлаются совершенно русскими, то о Польшѣ и говорить не стоитъ и беречь ее при себѣ не для чего. Тогда она лѣзть къ намъ подъ бокъ не можетъ чрезъ сплошное единовѣрное намъ населеніе съ русскимъ дворянствомъ и безпокоить насъ не будетъ. А что касается собственнаго ея значенія для Россіи, то Самбурскій сводилъ его къ нулю и говорилъ:

— Надо желать, чтобы она сдѣлалась самостоятельною, надо ее сдѣлать таковою и бросить. Тогда ее сейчасъ же сожрутъ нѣмцы и запаху ея не останется.

Онъ даже думалъ, что Польша намъ вредъ и болѣзнь.

— Наполеонъ,—говоритъ:—ошибался, называя Кавказъ нашимъ вѣчнымъ чирьемъ,—настоящій вѣчный чирій нашъ—Польша, и мы ее будемъ таскать, пока не загородимся полосою западнаго края, а саму Польшу бросимъ. Иначе она намъ нагадитъ, напуститъ внутренняго разлада (что, кажется, и сбывается). Но я возвращаюсь къ прерванному разговору Самбурскаго съ Лахтинымъ.

— Непремѣнно,—сказалъ Самбурскій:—надо на будущее время сдѣлать невозможными такія кровопролитія; а если вести дѣла такъ, какъ они ведутся, то нѣтъ никакихъ основаній предполагать, что это когда-нибудь кончится. Усмиримъ мятежъ, подсѣчемъ старые корни, а молодые побѣги опять отрыгнутъ, и черезъ нѣсколько лѣтъ снова готова такая же исторія.

Лахтинъ качнулъ въ знакъ согласія головою и сказалъ:

— Это иначе и быть не можетъ.

— Да; это очень естественно,—согласился Самбурскій:—если прилагать къ нашимъ расправамъ съ Польшей одинъ узкій масштабъ военныхъ занятій западнаго края, то это не можетъ быть иначе. Пушки и ружья, по моему мнѣнію, не имѣютъ того вліянія, какое нужно, чтобы разъ навсегда отучить поляковъ отъ неумѣстныхъ претензій на Литву и на юго-западный край, населенный народомъ, который поляковъ не любитъ. Нужно еще особое орудіе.

— Какое же?

— А вотъ отгадайте.

— Не могу,—отвѣчалъ Лахтинъ.

Самбурскій улыбнулся и сказалъ:

— Это оружіе—самоваръ.

— Что-о такое?!

— Самоваръ-съ, самоваръ, Николай Андреевичъ, — простой русскій самоваръ.

Тутъ уже и мы, «молодшіе люди», слыша, что наши нàбольшіе договорились до такихъ странностей, перестали работать и подняли головы съ недоумѣніемъ, чѣмъ это разъяснится: серьезнымъ дѣломъ или шуткою.

— Приходило ли вамъ когда-нибудь на мысль положеніе престарѣлаго офицера?—продолжалъ Самбурскій.

— Очень много разъ приходило,—отвѣчалъ Лахтинъ.

— Вотъ видите! Значитъ, у кого есть нѣкоторый жаръ въ сердцѣ и любовь къ человѣчеству, то ко всякому такому человѣку этотъ вопросъ бьется. Это недаромъ: въ чье-нибудь сердце онъ хочетъ достучаться. Теперь посмотрите дальше, сколько у насъ въ арміи изъ офицеровъ людей женатыхъ, особенно вверхъ отъ капитанскаго чина... Это уже настоящіе страстотерпцы: служатъ они, и на службѣ имъ нѣтъ никакой радости, а подъ старость и угла нѣтъ, гдѣ приклонить голову. Хорошо, который куда-нибудь городничимъ попадетъ, да будетъ морковью или потрохами на базарѣ взятки брать, или у арестантовъ изъ трехкопеечнаго содержанія половину воровать станетъ. Но, вѣдь, очень немного такихъ счастливцевъ, которымъ такая карьера выпадетъ, а то жаль смотрѣть чѣмъ занимаются...

Лахтинъ отозвался:

— Это правда!

— Да какъ же не правда! — продолжалъ Самбурскій.— Пока молодъ да легкомысленъ, онъ и въ восторгѣ: его занимаетъ, что и шпоры звенятъ, и эполеты блестятъ, а какъ съ лѣтами въ разумъ начнетъ приходить, такъ, вѣдь,—сдѣлайте вашу милость... мишура-то слетитъ и очень горько станетъ.

— Ропщутъ,—молвилъ Лахтинъ.

— Да; ропщутъ, но очень мало ропщутъ, — отвѣчалъ, продолжая матерію, Самбурскій. — Удивительные люди,— праведники. Иной бы, поди, какого шума надѣлалъ и цѣлый бы вѣкъ все визжалъ, а нашъ съ сердцовъ за чаркой зелена вина гдѣ-нибудь выругается, а потомъ завьетъ горе веревочкой, да такъ всю жизнь съ обрывкомъ и ходитъ. Только не дергай его за этотъ узелокъ, потому что у него тутъ больное мѣсто завязано. Все, все простить ему надо, и даже свѣчку поставить. Служилъ какъ слѣдуетъ, сколько разъ его могли убить и изувѣчить, а другой, можетъ-быть, и изувѣченъ, а между тѣмъ, война кончится, составъ войскъ введется на мирное положеніе, и тысячи этихъ отставныхъ слугъ отечества идутъ въ заштатъ. Разумѣется, это въ порядкѣ вещей, да смотрѣть-то на нихъ жалко въ этомъ положеніи. Хорошо, который куда-нибудь на частную должность примкнетъ къ откупу, или къ какой конторѣ... Разумѣется, не особенно высокоблагородно, но, по крайней

мѣрѣ, спрятанъ отъ когтей нужды и питается; а то на выдумки идутъ: янтарьки продаютъ, просьбы по постоялымъ дворамъ пишутъ, въ трактирахъ фокусы показываютъ,— всего и не перечтешь.

— И не дай Богъ,—вставилъ Лахтинъ.

— Именно, не дай Богъ, а между тѣмъ, въ такомъ печальномъ исходѣ совсѣмъ нѣтъ никакой необходимости. Если объ этомъ хорошенько подумать, то есть даже средство не только оказать оторваннымъ отъ мирныхъ занятій военнымъ людямъ справедливость, но выставить прямо отечество благодарнымъ къ своимъ слугамъ, — и въ то же время за одинъ пріемъ достигнуть высшаго государственнаго плана — пресѣчь возможность повторенія безпокойной аристократической крамолы. Вотъ въ чемъ дѣло: вамъ, какъ и мнѣ, извѣстно количество казенныхъ и конфискованныхъ магнатскихъ земель на Литвѣ и въ юго-западномъ краѣ. Казнѣ онѣ не принесутъ дохода,—все съѣстъ администрація. По-моему, выгоднѣе будетъ отдать ихъ въ частныя руки. Я сообразилъ и расчелъ, что изъ нихъ можно накрошить двадцать пять тысячъ небольшихъ помѣщичьихъ имѣній, изъ которыхъ каждое можетъ приносить отъ пяти до шести тысячъ годового дохода.

— Я думаю, вы не ошиблись,—сказалъ Лахтинъ.

— Расчетъ мною сдѣланъ вѣрно. Необходимо только, чтобы всѣ эти земли явились въ трудолюбивыхъ рукахъ, и именно въ рукахъ воиновъ, поработавшихъ для водворенія здѣсь русскаго владычества. Офицеры въ правахъ и въ исторіи малосвѣдущи, но они хорошо знаютъ, чего имъ стоило усмирить разыгравшійся здѣсь мятежъ, и потому оцѣнятъ все настоящимъ образомъ, безъ фантазіи. Притомъ же это будетъ имъ справедливымъ вознагражденіемъ, за которое они будутъ благодарны правительству и усугубятъ свою преданность. А чтобы и казна своего не теряла— даромъ ничего давать не нужно, даровое всегда слабо цѣнится. А надо благоразумно перевести эти земли изъ непроизводительнаго казеннаго управленія въ частныя руки, и для этого есть средства. Стоитъ только образовать банкъ или другое какое кредитное учрежденіе съ спеціальною цѣлью помочь пріобрѣтенію этихъ земель русскими воинами на льготныхъ для выплаты условіяхъ, и цѣль эта будетъ вполнѣ достигнута. А когда на двадцати пяти тысячахъ

мѣстъ станутъ двадцать пять тысячъ русскихъ помѣщичьихъ домиковъ, да въ нихъ передъ окнами на балкончикахъ задымятся двадцать пять тысячъ самоваровъ и поѣдетъ сосѣдъ къ сосѣду съ семействомъ на тройкахъ, заложенныхъ по-русски, съ валдайскимъ колокольчикомъ подъ дугою, да съ бубенцами, а на козлахъ отставной денщикъ въ тверскомъ шлыкѣ съ павлиньими перьями заведетъ: «Не одну во полѣ дороженьку», такъ это будетъ уже не Литва и не Велико-Польша, а Россія. Единовѣрное намъ крестьянское населеніе какъ заслышитъ пыхтѣнье нашихъ веселыхъ тульскихъ толстопузиковъ и разстилающійся отъ нихъ дымъ отечества, — сразу пойметъ, кто здѣсь настоящіе хозяева, да и поляки увидятъ, что это не шутка и не «збуйство да здрайство», какъ они называютъ наши нынѣшнія военныя нашествія и стоянки, а это тихое, хозяйственное заселеніе на всегдашнія времена, и дѣло съ возстаніями будетъ покончено.

Лахтинъ вскричалъ:

— Это великолѣпно!

— Вы одобряете?

— Великолѣпно, Иванъ Ѳомичъ, великолѣпно!

А мы,—хотя насъ не спрашивали,—подъ вліяніемъ проникшаго насъ горячаго чувства, всѣ встали, поклонились Ивану Ѳомичу и безъ уговора сказали ему:

— Богъ въ помощь! Богъ въ помощь!

Онъ откланялся намъ жестомъ руки и сказалъ:

— Отъ души благодарю, господа,—ваше сочувствіе мнѣ дорого и дай Богъ, чтобы наше—какъ вижу—общее желаніе исполнилось ко благу нашей родины. А чтобы не оставаться долго на этотъ счетъ въ томительной нерѣшимости,—я сейчасъ отправлюсь къ фельдмаршалу и сейчасъ же представлю ему мою мысль.

Онъ всталъ, перекрестился, сказалъ: «Господи благослови!»—и вышелъ.

Мы, провожая его глазами, желали ему удачи. И хотя все это происходило въ канцеляріи, гдѣ торжественныхъ минутъ сердечнаго восхищенія по штатамъ не полагается, но тутъ оно было. Мы чувствовали, какъ сердца наши въ насъ горѣли, при мысли, что цѣлыя двадцать пять тысячъ семействъ нашихъ военныхъ трудниковъ разведутъ себѣ по домамъ и на полянкахъ свои самовары и станутъ по-

паривать своимъ чайкомъ свои косточки, подъ своею же кровлею, которую дало имъ за ихъ кровную службу отечество.

Конечно, можетъ-быть, теперь за это кто-нибудь и осудитъ, но надо было быть ближе къ тому времени, котораго это касается, и видѣть во-очію мужественныхъ людей, судьбу которыхъ по отставкѣ просто и трогательно намъ вспомянулъ Иванъ Ѳомичъ. Тогда станетъ понятно то чувство, какое мы испытывали, и оно было, дѣйствительно, патріотическое чувство, хотя и родилось въ канцеляріи.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вечеромъ мы въ своихъ кружкахъ думали и гадали: каковы могутъ быть послѣдствія смѣлаго и, какъ намъ казалось, геніальнаго по своей простотѣ предложенія Ивана Ѳомича? Намъ казалось невозможнымъ, чтобы фельдмаршалъ не внялъ его представленіямъ и не позволилъ изыскать средства къ ихъ осуществленію.

Одинъ только, — былъ у насъ другой начальникъ отдѣленія, Ивашинъ, съ русской фамиліею, но хохолъ, онъ былъ грубоватъ и выражался не изысканно, — такъ онъ не то что сомнѣвался, но не отрицалъ возможности сомнѣнія, и тѣмъ насъ огорчалъ. Онъ, лѣниво цѣдя слова сквозь зубы, сказалъ:

— Перестаньте угадывать и ждите утра: не угадаете; можетъ случиться и то, чего не можетъ быть. Совершенно невозможно на свѣтѣ только одно,—козырнаго туза покрыть, этого уже никакой чудотворецъ не сдѣлаетъ.

Добрѣйшій Яковъ Ѳомичъ (такъ звали Ивашина) былъ и умникъ, и дѣлецъ, и характера самаго достойнаго, но любилъ, къ своему наслѣдственному гадячскому или кролевецкому остроумію, подпустить благопріобрѣтеннаго волтеріанства. Особенно онъ лихъ былъ насчетъ чудесъ, которыя имѣлъ слабость считать личною для себя обидою, и всегда имѣлъ при себѣ наготовѣ этого козырнаго туза, котораго, по его словамъ, «никакой чудотворецъ не покроетъ».

Но ночь прошла въ мирномъ снѣ, или, кому спать не хотѣлось, — въ другихъ какихъ-либо занятіяхъ, а на утро приходитъ въ канцелярію Лахтинъ и говоритъ:

— Свиданіе Ивана Ѳомича съ фельдмаршаломъ было

какъ нельзя больше благопріятно. Больше ничего вамъ сказать не могу, но Иванъ Ѳомичъ самъ все разскажетъ.

Самбурскій, какъ пришелъ, подписалъ заготовленныя къ этому дню бумаги и потомъ говоритъ:

— Поздравляю всѣхъ васъ, господа, съ радостною работою. Фельдмаршалъ, выслушавъ мои соображенія, о которыхъ здѣсь вчера было говорено, изволилъ выразить этому дѣлу свое сочувствіе и желаетъ, чтобы были составлены самыя точныя и полныя свѣдѣнія съ возможно подробнымъ кадастровымъ описаніемъ, по которому можно было бы судить о достоинствѣ и стоимости имѣній. Это работа сложная и трудная, потому что мало данныхъ, но тѣмъ болѣе чести ее исполнить, и я надѣюсь, что тутъ мы себя покажемъ достойными его довѣрія и исполнимъ все какъ только возможно и съ большою радостію.

Дѣйствительно, работали съ радостію. Откуда только что возможно было выбрать — все собрали. А самъ Иванъ Ѳомичъ въ это время изготовилъ свой проектъ, который, какъ все имъ писанное, былъ изложенъ мастерски и пошелъ въ ходъ. Прежде чѣмъ готовы были наши кадастры и смѣты, потребныя уже къ заключительному дѣлежу и разсадкѣ двадцати пяти тысячъ нашихъ воиновъ, которые должны были поставить свои самовары и напустить здѣсь пріятнаго намъ отечественнаго дымку, князь былъ введенъ Самбурскимъ во всѣ его соображенія.

Все остальное дѣлалось скоро, мы спѣшили изготовить дѣло къ поѣздкѣ фельдмаршала въ Петербургъ, и изготовили такъ благовременно, что онъ могъ до отъѣзда изучить и детали дѣла. Это было необходимо для обстоятельнаго объясненія на каждый могущій возникнуть въ Петербургѣ вопросъ. Самбурскій былъ очень доволенъ, что князь вникаетъ въ дѣло внимательно и даже дѣлаетъ себѣ отмѣтки о земляхъ.

Послѣднее было тѣмъ радостнѣе, что Иванъ Ѳомичъ, имѣвшій на рукахъ кучу дѣлъ, не могъ оставить Варшавы и не сопровождалъ фельдмаршала. Стало-быть очень важно было, чтобы онъ все зналъ и могъ все совершить, не требуя какихъ-нибудь частныхъ разъясненій.

Самбурскій не ошибся: фельдмаршалъ, дѣйствительно, вполнѣ овладѣлъ предметомъ и сочинилъ собственный планъ, какъ этимъ дѣломъ распорядиться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Паскевичъ уѣхалъ, а мы въ это время въ своей канцеляріи все возились съ эмеритурою и вообще уравненіемъ русскихъ чиновниковъ въ выгодахъ службы съ чиновниками изъ поляковъ, которые имѣли многія преимущества. У насъ это дѣло поднималъ и горячо, но безуспѣшно разработывалъ Ивашинъ, а мы всѣ ему помогали, только безъ пользы. Это отсрочилось до новыхъ исторій, когда насъ тамъ уже не было. При насъ, какъ ни горячился Ивашинъ, русскіе чиновники военнаго министерства все получали за выслугу 35 лѣтъ 150—200 р. пенсіи, а чиновники Царства Польскаго изъ поляковъ по той же должности получали за выслугу 25 лѣтъ по 6,000 злотыхъ эмеритальнаго пенсіона. Ивашинъ представилъ это Паскевичу, и тотъ нашелъ это неправильнымъ и позволилъ открыть переписку съ разными вѣдомствами. Всѣмъ намъ хотѣлось упорядочить это такъ,— чтобы русскимъ не обидно было противъ поляковъ, но не вышло по нашему. Свѣдѣнія о штатахъ доставлялись плохо, и это намъ причиняло много хлопотъ, за которыми мы и не замѣтили, какъ прошло время отъѣзда свѣтлѣйшаго и онъ снова вернулся въ Варшаву.

Передъ возвращеніемъ князя ни сновъ никто не видалъ, ни мыши изъ норъ не выходили, ни невидимая нежить тяжелою ступнею по полу не расхаживала и не трещала половицами, словомъ, ничто никого не выживало, а между тѣмъ для всѣхъ насъ былъ готовъ ударъ, самый неожиданный и очень вредный для дѣла, но отчасти и нелишенный комизма, или, лучше сказать, горькой ироніи.

Самбурскій видѣлся съ фельдмаршаломъ по его возвращеніи не изъ первыхъ, и притомъ не съ-глазу-на-глазъ, а на официальномъ выходѣ.

Иванъ Ѳомичъ не былъ самолюбивъ въ дурномъ смыслѣ этого слова, да и укола въ этомъ его самолюбію не было, но было другое, чего онъ имѣлъ причины не желать и опасаться. Было замѣтно, что свѣтлѣйшему какъ будто неловко или, по крайней мѣрѣ, непріятно что-то сообщить своему директору, котораго умомъ и соображеніями онъ самъ гордился, а честность его уважалъ.

Но, конечно, игры нельзя было тянуть долго: при пер-

вомъ же докладѣ, будетъ или не будетъ рѣчь о томъ, что фельдмаршалу непріятно, — Самбурскій съ его прозорливостью прочтетъ князя; да и самому князю, который никого не боялся — нескладно же такъ институтски конфузиться лица ему подчиненнаго, какимъ былъ Самбурскій.

Паскевичъ, конечно, все это зналъ и не могъ поступить иначе, какъ поступилъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Самбурскій возвратился съ доклада князю не скоро, но вошелъ въ канцелярію спѣшными шагами, былъ красенъ и разстроенъ.

Онъ роздалъ начальникамъ отдѣленія Ивашину и Лахтину принесенныя съ собою бумаги и, послабивъ пальцемъ галстукъ, сказалъ:

— Господа! я съ вами прощаюсь.

Услыхавъ это, мы всѣ вскочили съ мѣстъ и, забывъ всякую дисциплину, бросились къ нему и осыпали его вопросами: что, какъ и для чего?

— Я подаю въ отставку.

Всѣ опять заговорили:

— Для чего, Иванъ Ѳомичъ, для чего?

Онъ отвѣчалъ: представленіе мое рѣшено иначе, — князь имѣетъ маіоратъ, который долженъ приносить 200,000 злотыхъ, нѣсколько другихъ лицъ получили меньшіе участки съ доходами тысячъ до 60, и т. д. Вмѣсто многихъ маленькихъ русскихъ осѣдлыхъ помѣщиковъ будетъ только очень немного крупныхъ, и притомъ такихъ, которые никогда въ своихъ деревняхъ не сидятъ, — самоваровъ на столъ не ставятъ и за чаемъ по-русски не говорятъ. Такого оборота я не ожидалъ и не могъ придвидѣть, но эта игра не стоитъ свѣчъ. Если бы я зналъ, что это случится, то я задушилъ бы въ себѣ эту мысль, которую столько времени носилъ и въ значеніи которой для Россіи и для Польши не сомнѣваюсь. Но теперь она совершенно испорчена и, чтобы ее поправить, надо ожидать новаго возстанія и новыхъ конфискацій... Безъ этого и не обойдется, но одно воображеніе объ этомъ меня угнетаетъ. Я этого снести не могу.

Мы заговорили: ну, что Иванъ Ѳомичъ, — все можетъ измѣниться: фельдмаршалъ васъ уважаетъ и любитъ...

— Да; благодарю его,—перебилъ Самбурскій:—онъ меня не забылъ, — мнѣ тоже предложено выбрать себѣ маіоратъ, но я этимъ не воспользуюсь, — я отъ него отказался. Передо мною была открыта возможность полнѣйшей оцѣнки всѣхъ земель и угодій вовсе не за тѣмъ, чтобы я могъ выбрать себѣ лучшее. Служить каждому правительству нужно честно, а тѣмъ болѣе правленію монархическому, гдѣ государь одинъ правитъ, и потому кому онъ вѣритъ, тому грѣхъ и стыдъ не хранить и не беречь его довѣріе, а думать о себѣ. Отъ этого падаетъ уваженіе ко всему правительству. Въ разговорѣ со мною было употреблено слово «демократъ». Оно шло, очевидно, по моему адресу... Что же, — я принимаю и не обижаюсь; демократъ — не демагогъ. Быть демократомъ, между прочимъ, значитъ желать счастія возможно большому числу людей. Я этого желаю, и, по-моему, въ этомъ нѣтъ ничего дурного. Аристократія желаетъ противоположнаго: господства своего меньшинства. «Нельзя безъ аристократіи». Есть такой взглядъ, но только я его не раздѣляю. Аристократіи есть мѣсто въ Англіи и тамъ я ее понимаю, хотя и тамъ считаю несправедливою и недолговѣчною; — роль аристократизма въ польской исторіи вижу только губительную, а въ русской исторіи никакого мѣста аристократизму вовсе не нахожу, ибо строй нашей монархіи демократическій. Въ другія начала я не вѣрю и служить имъ не могу. У меня есть хлѣбъ, — пенсіонъ, который я выслужилъ, а у жены моей въ Петербургѣ, на Воскресенской набережной, есть домикъ, въ которомъ мы и можемъ дожить нашу старость. Прощайте: служите честно, а меня не уговаривайте остаться.—При этомъ онъ горько улыбнулся и, обратясь съ шутливою иронію къ Ивашину,— добавилъ:

— Ваше взяло, Яковъ Ѳомичъ, — козырнаго туза, дѣйствительно, ничѣмъ не покроешь, а мои самоварчики заглохли и съ тѣмъ роль моя кончена.

Такъ оно и было для него кончено. Онъ выѣхалъ изъ Варшавы, имѣя тѣ же ограниченные достатки, съ какими пріѣхалъ. Поляки, считавшіе Самбурскаго человѣкомъ спра-

ведливымъ и весьма его уважавшіе, были, однако, чрезвычайно рады его паденію. Его планъ о двадцати пяти тысячахъ самоваровъ сдѣлался имъ извѣстенъ черезъ закрытыя двери Петербурга или Варшавы и напугалъ ихъ хуже самыхъ большихъ пушекъ. Они ужаснулись этого плана, вредоносность котораго для всѣхъ ихъ затѣй была такъ очевидна по его необыкновенной простотѣ и органической прочности. Отдача казенныхъ и конфискованныхъ земель большими маіоратами, въ сравненіи со страшнымъ планомъ о самоварахъ, казалась легкою и сравнительно совсѣмъ неопасною для польскаго патріотизма,—что и оправдалось.

Самбурскій выѣхалъ скоро; съ фельдмаршаломъ они прощались въ палаткѣ, которая стояла у Паскевича въ комнатѣ. Разлука, вѣроятно, была теплая, потому что Самбурскій, выйдя, казался растроганнымъ. На виду предъ всѣми они еще поцѣловались, а когда Иванъ Ѳомичъ возвратился домой, прислуга, убиравшая его плащъ, нашла въ его карманѣ и подала Самбурскому пакетикъ, въ которомъ оказалась записочка на польскомъ языкѣ. Это было нѣчто въ родѣ диплома, выданнаго «дѣйствительному русскому демократу Самбурскому» на званіе «государственнаго самовара» (samowara panstwa).

Надъ этой польской шуткой, которую немудрено было устроить въ многолюдной лакейской, конечно, только и оставалось посмѣяться.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Вмѣсто Самбурскаго директоромъ канцеляріи былъ назначенъ Я—чъ, человѣкъ совсѣмъ другого сорта и другихъ правилъ. Онъ на первыхъ же порахъ столкнулся съ Ивашинымъ, который все еще продолжалъ хлопотать объ эмеритурѣ для русскихъ чиновниковъ. Повздоривъ съ начальникомъ отдѣленія, новый директоръ сказалъ ему:

— Я не могу съ вами служить.

— И мнѣ тоже это очень непріятно, — отвѣчалъ Ивашинъ: — просите себѣ перемѣщенія или выходите въ отставку.

Того это ужасно обидѣло и онъ пожаловался Паскевичу.

— Ты ничего не понимаешь, и долженъ цѣнить людей, которыхъ тебѣ оставилъ Самбурскій, — отвѣчалъ фельдмар-

шалъ.—А докучное дѣло объ уравненіи служебныхъ выгодъ, приносившее много хлопотъ по сношеніямъ, приказалъ «бросить».

Всему этому надо было долежаться до позднѣйшаго времени и до другихъ русскихъ дѣятелей, которымъ удалось сдѣлать въ этихъ вопросахъ болѣе того, что могъ сдѣлать Самбурскій. Чести ихъ это, разумѣется, нимало не уменьшаетъ, но для исторической вѣрности и справедливой оцѣнки событій, можетъ-быть, не лишнее знать, что идеи князя Владиміра Александровича Черкасскаго гораздо прежде его трудовъ въ Польшѣ имѣли перваго дальнозоркаго, дѣятельнаго и притомъ самоотверженнаго и безкорыстнѣйшаго представителя въ лицѣ Ивана Ѳомича Самбурскаго. Такихъ людей достойно знать и въ извѣстныхъ случаяхъ жизни подражать имъ, если есть сила вмѣстить благородный патріотическій духъ, который согрѣвалъ ихъ сердце, окрылялъ слово и руководилъ поступками.

Оглавленіе

III тома.

стр.

Запечатлѣнный Ангелъ 5

Праведники:

Предисловіе 73
Однодумъ 76
Пигмей 108
Кадетскій монастырь 122
Прибавленіе къ разсказу о кадетскомъ монастырѣ 154
Русскій демократъ въ Польшѣ 158

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОЛОВАНЪ.

Изъ разсказовъ о трехъ праведникахъ.

«Совершенная любовь изгоняетъ страхъ».
Іоаннъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Онъ самъ почти миѳъ, а исторія его — легенда. Чтобы повѣствовать о немъ — надо быть французомъ, потому что однимъ людямъ этой націи удается объяснять другимъ то, чего они сами не понимаютъ. Я говорю все это съ тою цѣлію, чтобы впередъ испросить себѣ у моего читателя снисхожденія ко всестороннему несовершенству моего разсказа о лицѣ, воспроизведеніе котораго стоило бы трудовъ гораздо лучшаго мастера, чѣмъ я. Но Головань можетъ быть скоро совсѣмъ позабытъ, а это была бы утрата. Головань стоитъ вниманія, и хотя я его знаю не настолько, чтобы могъ начертать полное его изображеніе, однако я подберу и представлю нѣкоторыя черты этого не высокаго ранга смертнаго человѣка, который сумѣлъ прослыть «*несмертельнымъ*».

Прозвище «несмертельнаго», данное Головану, не выражало собою насмѣшки и отнюдь не было пустымъ, безсмысленнымъ звукомъ — его прозвали несмертельнымъ вслѣдствіе сильнаго убѣжденія, что Головань—человѣкъ особенный; человѣкъ, который не боится смерти. Какъ могло сложиться о немъ такое мнѣніе среди людей, ходящихъ подъ Богомъ и всегда помнящихъ о своей смертности? Была ли

на это достаточная причина, развившаяся въ послѣдовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?

Мнѣ казалось, что послѣднее было вѣроятнѣе, но какъ судили о томъ другіе — этого я не знаю, потому что въ дѣтствѣ моемъ объ этомъ не думалъ, а когда я подросъ и могъ понимать вещи—«несмертельнаго Голована» уже не было на свѣтѣ. Онъ умеръ и притомъ не самымъ опрятнымъ образомъ: онъ погибъ во время такъ-называемаго въ г. Орлѣ «большого пожара», утонувъ въ кипящей яминѣ, куда упалъ, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако «часть его большая, отъ тлѣна убѣжавъ, продолжала жить въ благодарной памяти», и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о немъ зналъ и слышалъ, дабы такимъ образомъ еще продлилась на свѣтѣ его достойная вниманія память.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Несмертельный Голованъ былъ простой человѣкъ. Лицо его, съ чрезвычайно крупными чертами, врѣзалось въ моей памяти съ раннихъ дней и осталось въ ней навсегда. Я его встрѣтилъ въ такомъ возрастѣ, когда, говорятъ, будто бы дѣти еще не могутъ получать прочныхъ впечатлѣній и износить изъ нихъ воспоминаній на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе. Случай этотъ отмѣченъ моею бабушкою слѣдующимъ образомъ:

«Вчера (26 мая 1835 г.) пріѣхала изъ Горохова къ Машенькѣ (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировкѣ его въ Елецъ на слѣдствіе о страшномъ убійствѣ. Во всемъ домѣ были однѣ мы, женщины и дѣвичья прислуга. Кучеръ уѣхалъ съ нимъ (отцомъ моимъ), только дворникъ Кондратъ оставался, а на ночь сторожъ въ переднюю ночевать приходилъ изъ правленія (губернское правленіе, гдѣ отецъ былъ совѣтникомъ). Сегодняшняго же числа Машенька въ двѣнадцатомъ часу пошла въ садъ посмотрѣть цвѣты и кануферъ полить, и взяла съ собою Николушку (меня) на рукахъ у Анны (понынѣ живой старушки). А когда они шли назадъ къ завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, какъ на нихъ сорвалась цѣпная Рябка, прямо съ цѣпью, и прямо кинулась на грудцы Аннѣ, но въ ту самую минуту, какъ

Рябка, опершись лапами, бросился на грудь Аннѣ, Голованъ схватилъ его за шиворотъ, стиснулъ и бросилъ въ погребное творило. Тамъ его и пристрѣлили изъ ружья, а дитя спаслось».

Дитя это былъ я, и какъ бы точны ни были доказательства, что полуторагодовой ребенокъ не можетъ помнить, что съ нимъ происходило, я, однако, помню это происшествіе.

Я, конечно, не помню: откуда взялась взбѣшенная Рябка и куда ее дѣлъ Голованъ послѣ того какъ она захрипѣла, барахтаясь лапами и извиваясь всѣмъ тѣломъ въ его высоко поднятой желѣзной рукѣ; но я помню моментъ... *только моментъ*. Это было, какъ при блескѣ молоньи, среди темной ночи, когда почему-то вдругъ видишь чрезвычайное множество предметовъ за-разъ: занавѣсъ кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочкѣ канарейку и стаканъ съ серебряной ложечкой, на ручкѣ которой пятнышками осѣла магнезія. Таково, вѣроятно, свойство страха, имѣющаго большія очи. Въ одномъ такомъ моментѣ, я какъ сейчасъ вижу передъ собою огромную собачью морду, въ мелкихъ пестринахъ, — сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пѣны въ синеватомъ, точно напомаженномъ зѣвѣ... оскалъ, который хотѣлъ уже защелкнуться, но вдругъ верхняя губа надъ нимъ вывернулась, разрѣзъ потянулся къ ушамъ, а снизу судорожно задвигалась, какъ голый человѣческій локоть, выпятившаяся горловина. Надо всѣмъ этимъ стояла огромная человѣческая фигура съ огромною головою, и она взяла и понесла бѣшенаго пса. Во все это время лицо человѣка *улыбалось*.

Описанная фигура былъ Голованъ. Я боюсь, что совсѣмъ не сумѣю нарисовать его портрета, именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу.

Въ немъ было, какъ въ Петрѣ Великомъ, пятнадцать вершковъ; сложеніе имѣлъ широкое, сухое и мускулистое; онъ былъ смуглъ, круглолицъ, съ голубыми глазами, очень крупнымъ носомъ и толстыми губами. Волосы на головѣ и подстриженной бородѣ Голована были очень густые, цвѣта— соли съ перцемъ. Голова была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриженые. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту: она

свѣтилась въ каждой чертѣ, но преимущественно играла на устахъ и въ глазахъ умныхъ и добрыхъ, но какъ будто немножко насмѣшливыхъ. Другого выраженія у Голована какъ будто не было, по крайней мѣрѣ, я иного не помню. Къ дополненію этого неискуснаго портрета Голована надо упомянуть объ одной странности или особенности, которая заключалась въ его походкѣ. Голованъ ходилъ очень скоро, всегда какъ будто куда-то поспѣшая, но не ровно, а съ подскокомъ. Онъ не хромалъ, а, по мѣстному выраженію, «шкандыбалъ», то-есть на одну, на правую ногу наступалъ твердою поступью, а съ лѣвой подпрыгивалъ. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила гдѣ-то въ мускулѣ или въ суставѣ. Такъ ходятъ люди на искусственной ногѣ, но у Голована она была не искусственная; хотя, впрочемъ, эта особенность тоже и не зависѣла отъ природы, а ее устроилъ себѣ онъ самъ, и въ этомъ была тайна, которую нельзя объяснить сразу.

Одѣвался Голованъ мужикомъ, — всегда лѣтомъ и зимою, въ пеклые жары и въ сорока-градусные морозы, — онъ носилъ длинный, нагольный овчинный тулупъ, весь промасленный и почернѣвшій. Я никогда не видалъ его въ другой одеждѣ, и отецъ мой, помню, частенько шутилъ надъ этимъ тулупомъ, называя его «вѣковѣчнымъ».

По тулупу Голованъ подпоясывался «чекменнымъ» ремешкомъ, съ бѣлымъ сбруйнымъ наборомъ, который во многихъ мѣстахъ пожелтѣлъ, а въ другихъ—совсѣмъ осыпался и оставилъ наружѣ дратву да дырки. Но тулупъ содержался въ опрятности отъ всякихъ мелкихъ жильцовъ,—это я зналъ лучше другихъ, потому что я часто сиживалъ у Голована за пазухой, слушая его рѣчи, и всегда чувствовалъ себя здѣсь очень покойно.

Широкій воротъ тулупа никогда не застегивался, а, напротивъ, былъ широко открытъ до самаго пояса. Здѣсь было «нѣдро», представлявшее очень просторное помѣщеніе для бутылокъ со сливками, которыя Голованъ поставлялъ на кухню Орловскаго дворянскаго собранія. Это былъ его промыселъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ онъ «вышелъ на волю» и получилъ на разживу «ермоловскую корову».

Могучую грудь «несмертельнаго» покрывала одна холщевая рубашка малороссійскаго покроя, т. е. съ прямымъ

воротомъ, всегда чистая, какъ кипень, и непремѣнно съ длинною цвѣтною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусокъ шерстяной матеріи, или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нѣчто свѣжее и джентльменское, что ему очень шло, потому что онъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ джентльменъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мы были съ Голованомъ сосѣди. Нашъ домъ въ Орлѣ былъ на Третьей Дворянской улицѣ и стоялъ третій по счету отъ берегового обрыва надъ рѣкою Орликомъ. Мѣсто здѣсь довольно красиво. Тогда, до пожаровъ, это былъ край настоящаго города. Вправо за Орликъ шли мелкія хибары слободы, которая примыкала къ коренной части, оканчивавшейся церковью Василія Великаго. Сбоку былъ очень крутой и неудобный спускъ по обрыву, а сзади за садами — глубокій оврагъ и за нимъ степной выгонъ, на которомъ торчалъ какой-то магазинъ. Тутъ по утрамъ шла солдатская муштра и палочный бой, — самыя раннія картины, которыя я видѣлъ и наблюдалъ чаще всего прочаго. На этомъ же выгонѣ, или, лучше сказать, на узкой полосѣ, отдѣлявшей наши сады заборами отъ оврага, паслись шесть или семь коровъ Голована и ему же принадлежавшій красный быкъ «ермоловской» породы. Быка Голованъ содержалъ для своего маленькаго, но прекраснаго стада, а также разводилъ его въ поводу «на подержанье» по домамъ, гдѣ имѣли въ томъ хозяйственную надобность. Ему это приносило доходъ.

Средства Голована къ жизни заключались въ его удоистыхъ коровахъ и ихъ здоровомъ супругѣ. Голованъ, какъ я выше сказалъ, поставлялъ на дворянскій клубъ сливки и молоко, которыя славились своими высокими достоинствами, зависѣвшими, конечно, отъ хорошей породы его скота и отъ добраго за нимъ ухода. Масло, поставляемое Голованомъ, было свѣжо, желто, какъ желтокъ, и ароматно, а сливки «не текли», то-есть, если оборачивали бутылку внизъ горлышкомъ, то сливки изъ нея не лились струей, а падали какъ густая, тяжелая масса. Продуктовъ низшаго достоинства Голованъ не ставилъ и потому онъ не имѣлъ себѣ соперниковъ, а дворяне тогда не только умѣли ѣсть хорошо, но и имѣли чѣмъ расплачиваться. Кромѣ того, Го-

Типографія А. Ф. Марисъ, Измайл. пр., № 29.

НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОЛОВАНЪ.

Изъ разсказовъ о трехъ праведникахъ.

«Совершенная любовь изгоняетъ страхъ».
Іоаннъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Онъ самъ почти миѳъ, а исторія его — легенда. Чтобы повѣствовать о немъ — надо быть французомъ, потому что однимъ людямъ этой націи удается объяснять другимъ то, чего они сами не понимаютъ. Я говорю все это съ тою цѣлію, чтобы впередъ испросить себѣ у моего читателя снисхожденія ко всестороннему несовершенству моего разсказа о лицѣ, воспроизведеніе котораго стоило бы трудовъ гораздо лучшаго мастера, чѣмъ я. Но Головань можетъ быть скоро совсѣмъ позабытъ, а это была бы утрата. Головань стоитъ вниманія, и хотя я его знаю не настолько, чтобы могъ начертать полное его изображеніе, однако я подберу и представлю нѣкоторыя черты этого не высокаго ранга смертнаго человѣка, который сумѣлъ прослыть «*несмертельнымъ*».

Прозвище «несмертельнаго», данное Головану, не выражало собою насмѣшки и отнюдь не было пустымъ, безсмысленнымъ звукомъ — его прозвали несмертельнымъ вслѣдствіе сильнаго убѣжденія, что Головань—человѣкъ особенный; человѣкъ, который не боится смерти. Какъ могло сложиться о немъ такое мнѣніе среди людей, ходящихъ подъ Богомъ и всегда помнящихъ о своей смертности? Была ли

на это достаточная причина, развившаяся въ послѣдовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?

Мнѣ казалось, что послѣднее было вѣроятнѣе, но какъ судили о томъ другіе — этого я не знаю, потому что въ дѣтствѣ моемъ объ этомъ не думалъ, а когда я подросъ и могъ понимать вещи—«несмертельнаго Голована» уже не было на свѣтѣ. Онъ умеръ и притомъ не самымъ опрятнымъ образомъ: онъ погибъ во время такъ-называемаго въ г. Орлѣ «большого пожара», утонувъ въ кипящей яминѣ, куда упалъ, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако «часть его большая, отъ тлѣна убѣжавъ, продолжала жить въ благодарной памяти», и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о немъ зналъ и слышалъ, дабы такимъ образомъ еще продлилась на свѣтѣ его достойная вниманія память.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Несмертельный Голованъ былъ простой человѣкъ. Лицо его, съ чрезвычайно крупными чертами, врѣзалось въ моей памяти съ раннихъ дней и осталось въ ней навсегда. Я его встрѣтилъ въ такомъ возрастѣ, когда, говорятъ, будто бы дѣти еще не могутъ получать прочныхъ впечатлѣній и износить изъ нихъ воспоминаній на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе. Случай этотъ отмѣченъ моею бабушкою слѣдующимъ образомъ:

«Вчера (26 мая 1835 г.) пріѣхала изъ Горохова къ Машенькѣ (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировкѣ его въ Елецъ на слѣдствіе о страшномъ убійствѣ. Во всемъ домѣ были однѣ мы, женщины и дѣвичья прислуга. Кучеръ уѣхалъ съ нимъ (отцомъ моимъ), только дворникъ Кондратъ оставался, а на ночь сторожъ въ переднюю ночевать приходилъ изъ правленія (губернское правленіе, гдѣ отецъ былъ совѣтникомъ). Сегодняшняго же числа Машенька въ двѣнадцатомъ часу пошла въ садъ посмотрѣть цвѣты и кануферъ полить, и взяла съ собою Николушку (меня) на рукахъ у Анны (понынѣ живой старушки). А когда они шли назадъ къ завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, какъ на нихъ сорвалась цѣпная Рябка, прямо съ цѣпью, и прямо кинулась на грудцы Аннѣ, но въ ту самую минуту, какъ

Рябка, опершись лапами, бросился на грудь Аннѣ, Голованъ схватилъ его за шиворотъ, стиснулъ и бросилъ въ погребное творило. Тамъ его и пристрѣлили изъ ружья, а дитя спаслось».

Дитя это былъ я, и какъ бы точны ни были доказательства, что полуторагодовой ребенокъ не можетъ помнить, что съ нимъ происходило, я, однако, помню это происшествіе.

Я, конечно, не помню: откуда взялась взбѣшенная Рябка и куда ее дѣлъ Голованъ послѣ того какъ она захрипѣла, барахтаясь лапами и извиваясь всѣмъ тѣломъ въ его высоко поднятой желѣзной рукѣ; но я помню моментъ... *только моментъ*. Это было, какъ при блескѣ молоньи, среди темной ночи, когда почему-то вдругъ видишь чрезвычайное множество предметовъ за-разъ: занавѣсъ кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочкѣ канарейку и стаканъ съ серебряной ложечкой, на ручкѣ которой пятнышками осѣла магнезія. Таково, вѣроятно, свойство страха, имѣющаго большія очи. Въ одномъ такомъ моментѣ, я какъ сейчасъ вижу передъ собою огромную собачью морду, въ мелкихъ пестринахъ, — сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пѣны въ синеватомъ, точно напомаженномъ зѣвѣ... оскалъ, который хотѣлъ уже защелкнуться, но вдругъ верхняя губа надъ нимъ вывернулась, разрѣзъ потянулся къ ушамъ, а снизу судорожно задвигалась, какъ голый человѣческій локоть, выпятившаяся горловина. Надо всѣмъ этимъ стояла огромная человѣческая фигура съ огромною головою, и она взяла и понесла бѣшенаго пса. Во все это время лицо человѣка *улыбалось*.

Описанная фигура былъ Голованъ. Я боюсь, что совсѣмъ не сумѣю нарисовать его портрета, именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу.

Въ немъ было, какъ въ Петрѣ Великомъ, пятнадцать вершковъ; сложеніе имѣлъ широкое, сухое и мускулистое; онъ былъ смуглъ, круглолицъ, съ голубыми глазами, очень крупнымъ носомъ и толстыми губами. Волосы на головѣ и подстриженной бородѣ Голована были очень густые, цвѣта— соли съ перцемъ. Голова была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриженые. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту: она

свѣтилась въ каждой чертѣ, но преимущественно играла на устахъ и въ глазахъ умныхъ и добрыхъ, но какъ будто немножко насмѣшливыхъ. Другого выраженія у Голована какъ будто не было, по крайней мѣрѣ, я иного не помню. Къ дополненію этого неискуснаго портрета Голована надо упомянуть объ одной странности или особенности, которая заключалась въ его походкѣ. Голованъ ходилъ очень скоро, всегда какъ будто куда-то поспѣшая, но не ровно, а съ подскокомъ. Онъ не хромалъ, а, по мѣстному выраженію, «шкандыбалъ», то-есть на одну, на правую ногу наступалъ твердою поступью, а съ лѣвой подпрыгивалъ. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила гдѣ-то въ мускулѣ или въ суставѣ. Такъ ходятъ люди на искусственной ногѣ, но у Голована она была не искусственная; хотя, впрочемъ, эта особенность тоже и не зависѣла отъ природы, а ее устроилъ себѣ онъ самъ, и въ этомъ была тайна, которую нельзя объяснить сразу.

Одѣвался Голованъ мужикомъ, — всегда лѣтомъ и зимою, въ пеклые жары и въ сорока-градусные морозы, — онъ носилъ длинный, нагольный овчинный тулупъ, весь промасленный и почернѣвшій. Я никогда не видалъ его въ другой одеждѣ, и отецъ мой, помню, частенько шутилъ надъ этимъ тулупомъ, называя его «вѣковѣчнымъ».

По тулупу Голованъ подпоясывался «чекменнымъ» ремешкомъ, съ бѣлымъ сбруйнымъ наборомъ, который во многихъ мѣстахъ пожелтѣлъ, а въ другихъ—совсѣмъ осыпался и оставилъ наружѣ дратву да дырки. Но тулупъ содержался въ опрятности отъ всякихъ мелкихъ жильцовъ,—это я зналъ лучше другихъ, потому что я часто сиживалъ у Голована за пазухой, слушая его рѣчи, и всегда чувствовалъ себя здѣсь очень покойно.

Широкій воротъ тулупа никогда не застегивался, а, напротивъ, былъ широко открытъ до самаго пояса. Здѣсь было «нѣдро», представлявшее очень просторное помѣщеніе для бутылокъ со сливками, которыя Голованъ поставлялъ на кухню Орловскаго дворянскаго собранія. Это былъ его промыселъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ онъ «вышелъ на волю» и получилъ на разживу «ермоловскую корову».

Могучую грудь «несмертельнаго» покрывала одна холщевая рубашка малороссійскаго покроя, т. е. съ прямымъ

воротомъ, всегда чистая, какъ кипень, и непремѣнно съ длинною цвѣтною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусокъ шерстяной матеріи, или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нѣчто свѣжее и джентльменское, что ему очень шло, потому что онъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ джентльменъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мы были съ Голованомъ сосѣди. Нашъ домъ въ Орлѣ былъ на Третьей Дворянской улицѣ и стоялъ третій по счету отъ берегового обрыва надъ рѣкою Орликомъ. Мѣсто здѣсь довольно красиво. Тогда, до пожаровъ, это былъ край настоящаго города. Вправо за Орликъ шли мелкія хибары слободы, которая примыкала къ коренной части, оканчивавшейся церковью Василія Великаго. Сбоку былъ очень крутой и неудобный спускъ по обрыву, а сзади за садами— глубокій оврагъ и за нимъ степной выгонъ, на которомъ торчалъ какой-то магазинъ. Тутъ по утрамъ шла солдатская муштра и палочный бой, — самыя раннія картины, которыя я видѣлъ и наблюдалъ чаще всего прочаго. На этомъ же выгонѣ, или, лучше сказать, на узкой полосѣ, отдѣлявшей наши сады заборами отъ оврага, паслись шесть или семь коровъ Голована и ему же принадлежавшій красный быкъ «ермоловской» породы. Быка Голованъ содержалъ для своего маленькаго, но прекраснаго стада, а также разводилъ его въ поводу «на подержанье» по домамъ, гдѣ имѣли въ томъ хозяйственную надобность. Ему это приносило доходъ.

Средства Голована къ жизни заключались въ его удоистыхъ коровахъ и ихъ здоровомъ супругѣ. Голованъ, какъ я выше сказалъ, поставлялъ на дворянскій клубъ сливки и молоко, которыя славились своими высокими достоинствами, зависѣвшими, конечно, отъ хорошей породы его скота и отъ добраго за нимъ ухода. Масло, поставляемое Голованомъ, было свѣжо, желто, какъ желтокъ, и ароматно, а сливки «не текли», то-есть, если оборачивали бутылку внизъ горлышкомъ, то сливки изъ нея не лились струей, а падали какъ густая, тяжелая масса. Продуктовъ низшаго достоинства Голованъ не ставилъ и потому онъ не имѣлъ себѣ соперниковъ, а дворяне тогда не только умѣли ѣсть хорошо, но и имѣли чѣмъ расплачиваться. Кромѣ того, Го-

лованъ поставлялъ также въ клубъ отмѣнно крупныя яйца отъ особенно крупныхъ голландскихъ куръ, которыхъ водилъ во множествѣ, и, наконецъ, «приготовлялъ телятъ», отпаивая ихъ мастерски и всегда ко времени, напримѣръ, къ наибольшему съѣзду дворянъ, или къ другимъ особеннымъ случаямъ въ дворянскомъ кругѣ.

Въ этихъ видахъ, обусловливающихъ средства Голована къ жизни, ему было очень удобно держаться дворянскихъ улицъ, гдѣ онъ продовольствовалъ интересныхъ особъ, которыхъ орловцы нѣкогда узнавали въ Паншинѣ, въ Лаврецкомъ и въ другихъ герояхъ и героиняхъ «Дворянскаго гнѣзда».

Голованъ жилъ, впрочемъ, не въ самой улицѣ, а «на отлетѣ». Постройка, которая называлась «Головановымъ домомъ», стояла не въ порядкѣ домовъ, а на небольшой террасѣ обрыва подъ лѣвымъ рядомъ улицы. Площадь этой террасы была сажень въ шесть въ длину и столько же въ ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поѣхала внизъ, но на дорогѣ остановилась, окрѣпла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было еще возможно.

Голованову постройку въ собственномъ смыслѣ нельзя было назвать ни дворомъ, ни домомъ. Это былъ большой, низкій сарай, занимавшій все пространство отпавшей глыбы. Можетъ-быть безформенное зданіе это было здѣсь возведено гораздо ранѣе, чѣмъ глыбѣ вздумалось спуститься, и тогда оно составляло часть ближайшаго двора, владѣлецъ котораго за нимъ не погнался и уступилъ его Головану за такую дешевую цѣну, какую богатырь могъ ему предложить. Помнится мнѣ даже, какъ будто говорили, что сарай этотъ былъ подаренъ Головану за какую-то услугу, оказывать которыя онъ былъ большой охотникъ и мастеръ.

Сарай былъ передѣленъ на-двое: одна половина, обмазанная глиной и выбѣленная, съ тремя окнами на Орликъ, была жилымъ помѣщеніемъ Голована и находившихся при немъ пяти женщинъ, а въ другой—были надѣланы стойла для коровъ и быка. На низкомъ чердакѣ жили голландскія куры и черный «шпанскій» пѣтухъ, который жилъ очень долго и считался «колдовской птицей». Въ немъ Голованъ растилъ пѣтушій камень, который пригоденъ на множество случаевъ: на то, чтобы счастье приносить, отнятое

государство изъ непріятельскихъ рукъ возвращать, и старыхъ людей на молодыхъ нередѣлывать. Этотъ камень зрѣетъ семь лѣтъ и созрѣваетъ только тогда, когда пѣтухъ пить перестанетъ.

Сарай былъ такъ великъ, что оба отдѣленія, — жилое и скотское — были очень просторны, но, несмотря на всю о нихъ заботливость, плохо держали тепло. Впрочемъ, тепло нужно было только для женщинъ, а самъ Голованъ былъ нечувствителенъ къ атмосфернымъ перемѣнамъ и лѣто и зиму спалъ на ивняковой плетенкѣ въ стойлѣ, возлѣ любимца своего, — краснаго тирольскаго быка «Васьки». Холодъ его не бралъ, и это составляло одну изъ особенностей этого миѳическаго лица, черезъ которыя онъ получилъ свою баснословную репутацію.

Изъ пяти женщинъ, жившихъ съ Голованомъ, три были его сестры, одна мать, а пятая называлась Павла, или, иногда, Павлагеюшка. Но чаще ее называли «Голованов грѣхъ». Такъ я привыкъ слышать съ дѣтства, когда еще даже и не понималъ значенія этого намека. Для меня эта Павла была просто очень ласковою женщиною, и я, какъ сейчасъ, помню ея высокій ростъ, блѣдное лицо съ яркоалыми пятнами на щекахъ и удивительной черноты и правильности бровями. Такія черныя брови правильными полукругами можно видѣть только на картинахъ, изображающихъ персіянку, покоящуюся на колѣняхъ престарѣлаго турка. Наши дѣвушки, впрочемъ, знали и очень рано сообщили мнѣ секретъ этихъ бровей: дѣло заключалось въ томъ, что Голованъ былъ зелейникъ и, любя Павлу, чтобы ее никто не узналъ,— онъ ей сонной помазалъ брови медвѣжьимъ саломъ. Послѣ этого въ бровяхъ Павлы, разумѣется, не было уже ничего удивительнаго, а она къ Голованy привязалась не своею силою.

Наши дѣвушки все это знали.

Сама Павла была чрезвычайно кроткая женщина и «все молчала». Она была столь молчалива, что я никогда не слыхалъ отъ нея болѣе одного и то самаго необходимаго слова: «здравствуй», «садись», «прощай». Но въ каждомъ этомъ короткомъ словѣ слышалась бездна привѣта, доброжелательства и ласки. То же самое выражалъ звукъ ея тихаго голоса, взглядъ сѣрыхъ глазъ и каждое движеніе. Помню тоже, что у нея были удивительно красивыя руки,

что составляетъ большую рѣдкость въ рабочемъ классѣ, а она была такая работница, что отличалась дѣятельностью даже въ трудолюбивой семьѣ Голована.

У нихъ у всѣхъ было очень много дѣла: самъ «несмертельный» кипѣлъ въ работѣ съ утра до поздней ночи. Онъ былъ и пастухъ, и поставщикъ, и сыроваръ. Съ зарею онъ выгонялъ свое стадо за наши заборы на росу и все переводилъ своихъ статныхъ коровъ съ обрывца на обрывецъ, выбирая для нихъ, гдѣ потучнѣе травка. Въ то время, когда у насъ въ домѣ вставали, Голованъ являлся уже съ пустыми бутылками, которыя забиралъ въ клубѣ вмѣсто новыхъ, которыя снесъ туда сегодня; собственноручно врубалъ въ ледъ нашего ледника кувшины новаго удоя и говорилъ о чемъ-нибудь съ моимъ отцомъ, а когда я, отучившись грамотѣ, шелъ гулять въ садъ, онъ уже опять сидѣлъ подъ нашимъ заборчикомъ и руководилъ своими коровками. Здѣсь была въ заборѣ маленькая калиточка, черезъ которую я могъ выходить къ Головану и разговаривать съ нимъ. Онъ такъ хорошо умѣлъ разсказывать сто четыре священныя исторіи, что я ихъ зналъ отъ него, никогда не уча ихъ по книгѣ. Сюда же приходили къ нему, бывало, какіе-то простые люди—всегда за совѣтами. Иной, бывало, какъ придетъ, такъ и начинаетъ:

— Искалъ тебя, Голованычъ, посовѣтуй со мною.

— Что такое?

— А вотъ то-то и то-то:—въ хозяйствѣ что-нибудь разстроилось или семейные нелады.

Чаще приходили съ вопросами этой второй категоріи. Голованычъ слушаетъ, а самъ ивнячокъ плететъ, или на коровокъ покрикиваетъ, и все улыбается, будто безъ вниманія, а потомъ вскинетъ своими голубыми глазами на собесѣдника и отвѣтитъ:

— Я, братъ, плохой совѣтникъ! Бога на совѣтъ призови.

— А какъ Его призовешь?

— Охъ, братъ, очень просто:—помолись, да сдѣлай такъ, какъ будто тебѣ сейчасъ помирать надо. Вотъ скажи-ка мнѣ: какъ бы ты въ такомъ разѣ сдѣлалъ?

Тотъ подумаетъ и отвѣтитъ.

Голованъ или согласится, или же скажетъ:

— А я бы, братъ, умираючи, вотъ какъ лучше сдѣлалъ.

И разсказываетъ, по обыкновенію, все весело, со всегдашней улыбкой.

Должно-быть его совѣты были очень хороши, потому что всегда ихъ слушали и очень его за нихъ благодарили.

Могъ ли у такого человѣка быть «грѣхъ», въ лицѣ кротчайшей Павлагеюшки, которой въ то время, я думаю, было съ небольшимъ лѣтъ тридцать, за предѣлы которыхъ она и не перешла далѣе? Я не понималъ этого «грѣха» и остался чистъ отъ того, чтобы оскорбить ее и Голована довольно общими подозрѣніями. А поводъ для подозрѣнія былъ, и поводъ очень сильный, даже, если судить по видимости, неопровержимый. Кто она была Голована?—чужая. Этого мало: онъ ее когда-то зналъ, онъ былъ однихъ съ нею господъ, онъ хотѣлъ на ней жениться, но это не состоялось: Голована дали въ услуги герою Кавказа Алексѣю Петровичу Ермолову, а въ это время Павлу выдали замужъ за наѣздника Ѳерапонта, по мѣстному выговору «Храпона». Голованъ былъ нужный и полезный слуга, потому что онъ умѣлъ все,—онъ былъ не только хорошій поваръ и кондитеръ, но и смѣтливый, и бойкій походный слуга. Алексѣй Петровичъ платилъ за Голована что̀ слѣдовало его помѣщику, и, кромѣ того, говорятъ, будто далъ самому Голована взаймы денегъ на выкупъ. Не знаю, вѣрно ли это, но Голованъ, дѣйствительно, вскорѣ, по возвращеніи отъ Ермолова, выкупился и всегда называлъ Алексѣя Петровича своимъ «благодѣтелемъ». Алексѣй же Петровичъ, по выходѣ Голована на волю, подарилъ ему на хозяйство хорошую корову съ теленкомъ, отъ которыхъ у того и пошелъ «ермоловскій заводъ».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Когда именно Голованъ поселился въ сараѣ на обвалѣ,—этого я совсѣмъ не знаю, но это совпадало съ первыми днями его «вольнаго человѣчества», когда ему предстояла большая забота о родныхъ, оставшихся въ рабствѣ. Голованъ былъ выкупленъ самолично одинъ, а мать, три его сестры и тетка, бывшая впослѣдствіи моею нянькою, оставались «въ крѣпости». Въ такомъ же положеніи была и нѣжно любимая ими Павла или Павлагеюшка. Голованъ ставилъ первою заботою всѣхъ ихъ выкупить, а для этого нужны были деньги. По мастерству своему, онъ могъ бы

идти въ повара, или въ кондитеры, но онъ предпочелъ другое, именно молочное хозяйство, которое и началъ при помощи «ермоловской коровы». Было мнѣніе, что онъ избралъ это потому, что самъ былъ *молоканъ*. Можетъ-быть это значило просто, что онъ все возился съ молокомъ, но, можетъ-быть, что названіе это мѣтило прямо на его вѣру, въ которой онъ казался страннымъ, какъ и во многихъ иныхъ поступкахъ. Очень возможно, что онъ на Кавказѣ и зналъ молокановъ и что-нибудь отъ нихъ позаимствовалъ. Но это относится къ его странностямъ, до которыхъ дойдетъ ниже.

Молочное хозяйство пошло прекрасно: года черезъ три у Голована было уже двѣ коровы и быкъ, потомъ три, четыре, и онъ нажилъ столько денегъ, что выкупилъ мать, потомъ каждый годъ выкупалъ по сестрѣ, и всѣхъ ихъ забиралъ и сводилъ въ свою просторную, но прохладную лачугу. Такъ, лѣтъ въ шесть-семь, онъ высвободилъ всю семью, но красавица Павла у него улетѣла. Къ тому времени, когда онъ могъ и ее выкупить, она была уже далеко. Ея мужъ, наѣздникъ Храпонъ, былъ плохой человѣкъ — онъ не угодилъ чѣмъ-то барину и, въ примѣръ прочимъ, былъ отданъ въ рекруты безъ зачета.

Въ службѣ Храпонъ попалъ въ «скачки», т. е. верховые пожарной команды въ Москву, и вытребовалъ туда жену; но вскорѣ и тамъ сдѣлалъ что-то нехорошее и бѣжалъ, а покинутая имъ жена, имѣя нравъ тихій и робкій, убоялась коловратностей столичной жизни и возвратилась въ Орелъ. Здѣсь она тоже не нашла на старомъ мѣстѣ никакой опоры и, гонимая нуждою, пришла къ Голованy. Тотъ, разумѣется, ее тотчасъ же принялъ и помѣстилъ у себя въ одной и той же просторной горницѣ, гдѣ жили его сестры и мать. Какъ мать и сестры Голована смотрѣли на водвореніе Павлы, — я доподлинно не знаю, но водвореніе ея въ ихъ домѣ не посѣяло никакой распри. Всѣ женщины жили между собою очень дружно и даже очень любили бѣдную Павлагеюшку, а Голованъ всѣмъ имъ оказывалъ равную внимательность, а особенное почтеніе оказывалъ только матери, которая была уже такъ стара, что онъ лѣтомъ выносилъ ее на рукахъ и сажалъ на солнышко какъ больного ребенка. Я помню, какъ она «заходилась» ужаснымъ кашлемъ и все молилась «о прибраніи».

Всѣ сестры Голована были пожилыя дѣвушки и всѣ помогали брату въ хозяйствѣ: онѣ убирали и доили коровъ, ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу, изъ которой потомъ ткали необыкновенныя же и никогда мною послѣ этого не виданныя ткани. Пряжа эта называлась очень некрасивымъ словомъ «поплёвки». Матеріалъ для нея приносилъ откуда-то въ кулькахъ Голованъ, и я видѣлъ и помню этотъ матеріалъ: онъ состоялъ изъ небольшихъ суковатыхъ обрывочковъ разноцвѣтныхъ бумажныхъ нитей. Каждый обрывочекъ былъ длиною отъ вершка до четверти аршина, и на каждомъ такомъ обрывочкѣ непремѣнно былъ болѣе или менѣе толстый узелокъ, или сучокъ. Откуда Голованъ бралъ эти обрывки — я не знаю, но очевидно, что это былъ фабричный отбросъ. Такъ мнѣ и говорили его сестры.

— Это, — говорили: — миленькій, гдѣ бумагу прядутъ и ткутъ, такъ — какъ до такого узелка дойдутъ, сорвутъ его да на полъ и *сплюнутъ*, потому что онъ въ берда не идетъ, а братецъ ихъ собираетъ, а мы изъ нихъ вотъ тепленькія одѣяльца дѣлаемъ.

Я видалъ какъ онѣ всѣ эти обрывки нитей терпѣливо разбирали, связывали ихъ кусочекъ съ кусочкомъ, наматывали образовавшуюся такимъ образомъ пеструю, разноцвѣтную нить на длинныя шпули; потомъ ихъ трастили, ссучивали еще толще, растягивали на колышкахъ по стѣнѣ, сортировали что-нибудь одноцвѣтное для каемъ, и, наконецъ, ткали изъ этихъ «полёвокъ» черезъ особое бердо «поплёвковыя одѣяла». Одѣяла эти съ виду были похожи на нынѣшнія байковыя: такъ же у каждаго изъ нихъ было по двѣ каймы, но само полотно всегда было мрамористое. Узелки въ нихъ какъ-то сглаживались отъ ссучиванья и хотя были, разумѣется, очень замѣтны, но не мѣшали этимъ одѣяламъ быть легкими, теплыми и даже иногда довольно красивыми. Притомъ же они продавались очень дешево,— меньше рубля за штуку.

Эта кустарная промышленность въ семьѣ Голована шла безъ остановки и онъ, вѣроятно, находилъ сбытъ поплёвковымъ одѣямъ безъ затрудненія.

Павлагеюшка тоже вязала и сучила поплёвки и ткала одѣяла, но, кромѣ того, она, по усердію къ пріютившей ее семьѣ, несла еще всѣ самыя тяжелыя работы въ домѣ: хо-

дила подъ кручу на Орликъ за водою, носила топливо и прочее, и прочее.

Дрова уже и тогда въ Орлѣ были очень дороги, и бѣдные люди отапливались то гречневою лузгою, то навозомъ, а послѣднее требовало большой заготовки.

Все это и дѣлала Павла своими тонкими руками, въ вѣчномъ молчаніи, глядя на свѣтъ Божій изъ-подъ своихъ персидскихъ бровей. Знала ли она, что ея имя «грѣхъ»,— я не свѣдущъ, но таково было ея имя въ народѣ, который твердо стоитъ за выдуманныя имъ клички. Да и какъ иначе: гдѣ женщина, любящая, живетъ въ домѣ у мужчины, который ее любилъ и искалъ на ней жениться,—тамъ, конечно, грѣхъ. И дѣйствительно, въ то время, когда я ребенкомъ видалъ Павлу, она единогласно почиталась Головановымъ «грѣхомъ», но самъ Голованъ не утрачивалъ черезъ это ни малѣйшей доли общаго уваженія и сохранялъ прозвище «несмертельнаго».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

«Несмертельнымъ» стали звать Голована въ первый годъ, когда онъ поселился въ одиночествѣ надъ Орликомъ съ своею «ермоловскою коровою» и ея теленкомъ. Поводомъ къ тому послужило слѣдующее вполнѣ достовѣрное обстоятельство, о которомъ никто не вспомнилъ во время недавней «прокофьевской» чумы. Было въ Орлѣ обычное лихолѣтье, а въ февралѣ на день св. Агаѳьи Коровницы по деревнямъ какъ надо побѣжала «коровья смерть». Шло это, яко тому обычай есть и какъ пишется въ универсальной книгѣ иже глаголется: *Прохладный вертоградъ*: «Какъ лѣто сканчевается, а осень приближается, тогда вскорѣ моровое повѣтріе начинается. А въ то время надобе всякому человѣку на всемогущаго Бога упованіе возлагати и на пречистую Его Матерь и силою честнаго креста ограждатися и сердце свое воздержати отъ кручины и отъ ужасти и отъ тяжелой думы, ибо черезъ сіе сердце человѣческое умаляется и скоро порса и язва прилѣпляется,—мозгъ и сердце захватитъ, осилѣетъ человѣка и борзо умретъ». Было все это тоже при обычныхъ картинахъ нашей природы, «когда стаютъ въ осень туманы густые и темные и вѣтеръ съ полуденной страны и послѣди дожди и отъ солнца воскуреніе земли, и тогда надобе на вѣтръ не хо-

дити, а сидѣти во избѣ въ топленой и оконъ не отворяти, а добро бы чтобы въ томъ градѣ ни жити, и изъ того граду отходити въ мѣста чистыя». Когда, т.-е. въ какомъ именно году послѣдовалъ моръ, прославившій Голована «несмертельнымъ» — этого я не знаю. Такими мелочами тогда сильно не занимались и изъ-за нихъ не поднимали шума, какъ вышло изъ-за Наума Прокофьева. Мѣстное горе въ своемъ мѣстѣ и кончалось, усмиряемое однимъ упованіемъ на Бога и Его пречистую Матерь, и развѣ только въ случаѣ сильнаго преобладанія въ какой-нибудь мѣстности досужаго «интеллигента» принимались своеобычныя оздоровляющія мѣры: «во дворѣхъ огнь раскладали ясный, дубовымъ древомъ, дабы дымъ расходился, а въ избахъ курили пелынею и можжевеловыми дровами и листвіемъ рутовымъ». Но все это могъ дѣлать только интеллигентъ и притомъ при хорошемъ зажиткѣ, а смерть борзо брала не интеллигента, но того, кому ни въ избѣ топленой сидѣть некогда, да и древомъ дубовымъ раскрытый дворъ топить не по силамъ. Смерть шла объ руку съ голодомъ и другъ друга поддерживали. Голодающіе побирались у голодающихъ, больные умирали «борзо», т.-е. скоро, что крестьянину и выгоднѣе. Долгихъ томленій не было, не было слышно и выздоравливающихъ. Кто заболѣлъ, тотъ «борзо» и померъ, *кромѣ одного*. Какая это была болѣзнь, — научно не опредѣлено, но народно ее звали «пазуха», или «вередъ», или «жмыховой пупырухъ», или даже просто «пупырухъ». Началось это съ хлѣбородныхъ уѣздовъ, гдѣ, за неимѣніемъ хлѣба, ѣли конопляный жмыхъ. Въ карачевскомъ и брянскомъ уѣздахъ, гдѣ крестьяне мѣшали горсть непросѣвной мучи съ толченой корою, была болѣзнь иная, тоже смертоносная, но не пупырухъ. «Пупырухъ» показался сначала на скотѣ, а потомъ передавался людямъ. «У человѣка подъ пазухами или на шеѣ садится болячка червенна и въ тѣлѣ колотье почуетъ, и внутри негасимое горячество или во удесѣхъ нѣкая студеность, и тяжкое воздыханіе и не можетъ воздыхати—духъ въ себя тянетъ и паки воспускаетъ; сонъ найдетъ, что не можетъ перестать спать; явится горесть, кислость и блеваніе; въ лицѣ человѣкъ смѣнится, станетъ образомъ глиностенъ и борзо помираетъ». Можетъ-быть это была сибирская язва, можетъ-быть какая-нибудь другая язва, но только она была губительна и безпощадна,

а самое распространенное названіе ей, опять повторяю, было «пупырухъ». Вскочитъ на тѣлѣ прыщъ, или по-простонародному «пупырушекъ», зажелтоголовится, вокругъ зардѣетъ и къ суткамъ начинаетъ мясо оттнивать, а потомъ борзо и смерть. Скорая смерть представлялась, впрочемъ, «въ добрыхъ видахъ». Кончина приходила тихая, не мучительная, самая крестьянская, только всѣмъ помиравшимъ до послѣдней минутки хотѣлось пить. Въ этомъ и былъ весь не долгій и не утомительный уходъ, котораго требовали, или, лучше сказать, вымаливали себѣ больные. Однако, уходъ за ними даже въ этой формѣ былъ не только опасенъ, но почти невозможенъ, — человѣкъ, который сегодня подавалъ пить заболѣвшему родичу, — завтра самъ заболѣвалъ «пупырухомъ», и въ домѣ нерѣдко ложились два и три покойника рядомъ. Остальные въ осиротѣлыхъ семьяхъ умирали безъ помощи, — безъ той единственной помощи, о которой заботится нашъ крестьянинъ, «чтобы было кому подать напиться». Вначалѣ такой сирота поставитъ себѣ у изголовья ведерко съ водою и черпаетъ ковшикомъ, пока рука поднимается, а потомъ ссучитъ изъ рукава или изъ подола рубашки соску, смочитъ ее, сунетъ себѣ въ ротъ, да такъ съ ней и закостенѣетъ.

Большое личное бѣдствіе — плохой учитель милосердія. По крайней мѣрѣ, оно нехорошо дѣйствуетъ на людей обыкновенной, заурядной нравственности, невозвышающейся за черту простого состраданія. Оно притупляетъ чувствительность сердца, которое само тяжко страдаетъ и полно ощущенія собственныхъ мученій. Зато въ этакія горестныя минуты общаго бѣдствія среда народная выдвигаетъ изъ себя героевъ великодушія, людей безстрашныхъ и самоотверженныхъ. Въ обыкновенное время они не видны и часто ничѣмъ не выдѣляются изъ массы; но наскочитъ на людей «пупырушекъ», и народъ выдѣляетъ изъ себя избранника и тотъ творитъ чудеса, которыя дѣлаютъ его лицомъ миѳическимъ, баснословнымъ, *«несмертельнымъ»*. Голованъ былъ изъ такихъ и въ первый же моръ превзошелъ и затмилъ въ народномъ представленіи другого здѣшняго замѣчательнаго человѣка, купца Ивана Ивановича Андросова. Андросовъ былъ честный старикъ, котораго уважали и любили за доброту и справедливость, ибо онъ «близко-помощенъ» былъ ко всѣмъ народнымъ бѣдствіямъ.

Помогалъ онъ и въ «мору» потому, что имѣлъ списаннымъ «врачеваніе» и «все оное переписывалъ и множилъ». Списанія эти у него брали и читали по разнымъ мѣстамъ, но понять не могли и «приступить не знали». Писано было: «аще болячка явится поверхъ главы или иномъ мѣстѣ выше пояса,—пущай много кровь изъ медіаны; аще явится на челѣ, то пущай скоро кровь изъ-подъ языка; аще явится подлѣ ушей и подъ бородою, пущай изъ сефаліевы жилы, аще же явится подъ пазухами, то значитъ сердце больно, и тогда въ той сторонѣ медіанъ отворяй». На всякое мѣсто, «гдѣ тягостно услышишь», расписано было, какую жилу отворять «саѳенову» или «противъ большого перста, или жилу спатику, полуматику, или жилу базику» съ «наказомъ пущать изъ нихъ кровь течи дондеже зелена станетъ и перемѣнится». А лѣчить еще «левкаремъ да антелемъ, печатною землею, да землею арменскою; виномъ малмозеею, да водкой буглосовою, виріаномъ виницейскимъ, митридатомъ да сахаромъ монюсъ-кристи», а входящимъ къ больному «держать во ртѣ дягилева корьніе, а въ рукахъ — пелынь, а ноздри сворбориновымъ уксусомъ помазаны и губу въ уксусѣ мочену жохоть». Никто ничего въ этомъ понять не могъ, точно въ казенномъ указѣ, въ которомъ писано и переписано, то туда, то сюда и «въ дву потомужъ». Ни жилъ такихъ не находили, ни вина малмозеи, ни земли арменской, ни водки буглосовой, и читали люди списанія добраго старичка Андросова болѣе только для «утоли моя печали». Примѣнять же изъ нихъ могли одни заключительныя слова: «а гдѣ бываетъ моръ и въ тѣ мѣста ненадобе ходить, а отходити прочь». Это и соблюдали во множествѣ, и самъ Иванъ Ивановичъ держалъ тое жъ правило, и сидѣлъ въ избѣ топленой и раздавалъ врачебныя списанія въ подворотенку, задерживая въ себѣ духъ и держа во рту дягиль-корень. Къ больнымъ можно было безопасно входить только тѣмъ, у кого есть оленьи слезы или *безоаръ* камень; но ни слезъ оленьихъ, ни камня безоара у Ивана Ивановича не было, въ аптекахъ на Болховской улицѣ камень, хотя, можетъ-быть, и водился, но аптекаря были—одинъ изъ поляковъ, а другой нѣмецъ,—къ русскимъ людямъ надлежащей жалости не имѣли и безоаръ камень для себя берегли. Это было вполнѣ достовѣрно потому, что одинъ изъ двухъ орловскихъ аптекарей

какъ потерялъ свой безоаръ, такъ сейчасъ же на дорогѣ у него стали уши желтѣть, око одно ему противъ другого убавилось и онъ сталъ дрожать и хоша желалъ вспотѣть и для того велѣлъ себѣ дома къ подошвамъ каленый кирпичъ положить, однако не вспотѣлъ, а въ сухой рубахѣ умеръ. Множество людей искали потерянный аптекаремъ безоаръ, и кто-то его нашелъ, только не Иванъ Ивановичъ, потому что онъ тоже умеръ.

И вотъ въ это-то ужасное время, когда интеллигенты отирались уксусомъ и не испускали духу, по бѣднымъ слободскимъ хибаркамъ еще ожесточеннѣе пошелъ «пупырухъ»; люди начали здѣсь умирать «сполошь и безъ всякой помощи» — и вдругъ тамъ на нивѣ смерти появился съ изумительнымъ безстрашіемъ Голованъ. Онъ, вѣроятно, зналъ или думалъ, будто знаетъ какую-то медицину, потому что клалъ на опухоли больныхъ своего приготовленія «кавказскій пластырь»; но этотъ его кавказскій, или ермоловскій, пластырь помогалъ плохо. Пупыруховъ Голованъ не вылѣчивалъ такъ же какъ и Андросовъ, но зато велика была его услуга больнымъ и здоровымъ въ томъ отношеніи, что онъ безбоязненно входилъ въ зачумленныя лачуги и поилъ зараженныхъ не только свѣжею водою, но и снятымъ молокомъ, которое у него оставалось изъ-подъ клубныхъ сливокъ. Утромъ рано до зари переправлялся онъ на снятыхъ съ петель сарайныхъ воротищахъ черезъ Орликъ (лодки здѣсь не было) и съ бутылками за необъятнымъ нѣдромъ шнырялъ изъ лачужки въ лачужку, чтобы промочить изъ скляницы засохшія уста умирающихъ, или поставить мѣломъ крестъ на двери, если драма жизни здѣсь уже кончилась и занавѣсь смерти закрылась надъ послѣднимъ изъ актеровъ.

Съ этихъ поръ доселѣ малоизвѣстнаго Голована широко узнали во всѣхъ слободахъ и началось къ нему большое народное тяготѣніе. Имя его, прежде знакомое прислугѣ дворянскихъ домовъ, стали произносить съ уваженіемъ въ народѣ; начали видѣть въ немъ человѣка, который не только можетъ «заступить умершаго Ивана Ивановича Андросова, а даже болѣе его означать у Бога и у людей». А самому безстрашію Голована не умѣли подыскать сверхъестественное объясненіе: Голованъ, очевидно, что-то зналъ, и въ силу такого знахарства онъ былъ *«несмертельный»*...

Позже оказалось, что это такъ именно и было: это помогъ всѣмъ разъяснить пастухъ Панька, который видѣлъ за Голованомъ вещь невѣроятную, да подтверждалось это и другими обстоятельствами.

Язва Голована не касалась. Во все время, пока она свирѣпствовала въ слободахъ, ни самъ онъ, ни его «ермоловская» корова съ бычкомъ ничѣмъ не заболѣли; но этого мало: самое важное было то, что онъ обманулъ и извелъ, или, держась мѣстнаго говора, «изништожилъ» саму язву, и сдѣлалъ то, не пожалѣвъ теплой крови своей за народушко.

Потерянный аптекаремъ безоаръ-камень былъ у Голована. Какъ онъ ему достался — это было неизвѣстно. Полагали, что Голованъ несъ сливки аптекарю для «обыденной мази» и увидалъ этотъ камень, и утаилъ его. Честно это или не честно было произвести такую утайку, про то строгой критики не было, да и быть не должно. Если не грѣхъ взять и утаить съѣдомое, потому что съѣдомое Богъ всѣмъ дарствуетъ, то тѣмъ паче не предосудительно взять цѣлебное вещество, если оно дано къ общему спасенію. Такъ у насъ судятъ, — такъ и я сказываю. Голованъ же, утаивъ аптекаревъ камень, поступилъ съ нимъ великодушно, пустивъ его на общую пользу всего рода христіанскаго.

Все это, какъ я выше уже сказалъ, обнаружилъ Панька, а общій разумъ мірской это выяснилъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Панька, разноглазый мужикъ съ выцвѣтшими волосами, былъ подпаскомъ у пастуха и, кромѣ общей пастушьей должности, онъ еще гонялъ по утрамъ *на росу* перекрещиванскихъ коровъ. Въ одно изъ такихъ раннихъ своихъ занятій, онъ и подсмотрѣлъ все дѣло, которое вознесло Голована наверхъ величія народнаго.

Это было по веснѣ, должно-быть вскорѣ послѣ того, какъ выѣхалъ на русскія поля изумрудныя молодой Егорій свѣтлохрабрый, по локоть руки въ красномъ золотѣ, по колѣни ноги въ чистомъ серебрѣ, во лбу солнце, въ тылу мѣсяцъ, по концамъ звѣзды перехожія, а Божій людъ честной-праведный выгналъ встрѣчь ему малъ и крупенъ скотъ. Травка была еще такъ мала, что овца и коза ею едва-едва наѣдались, а толстогубая корова мало могла захватывать. Но

подъ плетнями въ тѣняхъ и по канавкамъ уже ботвѣли полынь и крапива, которыя съ росой за нужду ѣлися.

Выгналъ Панька перекрещиванскихъ коровъ рано, еще затемно, и прямо бережкомъ около Орлика прогналъ за слободу на полянку, какъ разъ напротивъ конца Третьей Дворянской улицы, гдѣ съ одной стороны по скату шелъ старый, такъ называвшійся «городецкій» садъ, а слѣва на своемъ обрывкѣ лѣпилось Голованово гнѣздо.

Было еще холодно, особенно передъ зарею, по утрамъ, а кому спать хочется, тому еще холоднѣе кажется. Одежда на Панькѣ была, разумѣется, плохая, сиротская, какая-нибудь рвань съ дырой на дырѣ. Парень вертится на одну сторону, вертится на другую, молитъ, чтобы святой Ѳедулъ на него тепломъ подулъ, а на мѣсто того все холодно. Только заведетъ глаза, а вѣтерокъ заюлитъ, заюлитъ въ прорѣху, и опять разбудитъ. Однако, молодая сила взяла свое: натянулъ Панька свитку на себя совсѣмъ сверхъ головы, шалашикомъ, и задремалъ. Часъ какой не разслышалъ, потому что зеленая богоявленская колокольня далеко. А вокругъ никого, нигдѣ ни одной души человѣческой, только толстыя купеческія коровы пыхтятъ, да нѣтъ-нѣтъ въ Орликѣ рѣзвый окунь всплеснетъ. Дремлется пастуху и въ дырявой свиткѣ. Но вдругъ, какъ будто что-то его подъ бокъ толкнуло, вѣроятно, зефиръ гдѣ-нибудь еще новую дыру нашелъ, Панька вскинулся, повелъ съ просонья глазами, хотѣлъ крикнуть: «куда комолая», и остановился. Показалось ему, что кто-то на той сторонѣ спускается съ кручи. Можетъ-быть воръ хочетъ закопать въ глинѣ что-нибудь краденое. Панька заинтересовался: можетъ-быть, онъ подстережетъ вора и накроетъ его, либо закричитъ ему «чуръ вмѣстѣ», а еще лучше постарается хорошенько замѣтить похоронку, да потомъ переплыветъ днемъ Орликъ, выкопаетъ и все себѣ безъ раздѣла возьметъ.

Панька воззрился, и все на кручу за Орликъ смотритъ. А на дворѣ еще чуть сѣрѣло.

Вотъ кто-то спускается съ кручи, сошелъ, сталъ на воду и идетъ. Да такъ просто идетъ по водѣ, будто по суху, и не плескаетъ ничѣмъ, а только костылькомъ подпирается. Панька оторопѣлъ. Тогда въ Орлѣ изъ мужского монастыря чудотворца ждали, и голоса уже изъ подполицы слышали. Началось это сразу послѣ «Никодимовыхъ похоронъ». Архі-

ерей Никодимъ былъ злой человѣкъ, отличившійся къ концу своей земной карьеры тѣмъ, что, желая имѣть еще одну кавалерію, онъ изъ угодливости сдалъ въ солдаты очень много духовныхъ, между которыми были и единственные сыновья у отцовъ, и даже сами семейные дьячки и понамари. Они выходили изъ города цѣлой партіей, заливаясь слезами. Провожавшіе ихъ также рыдали, и самый народъ, при всей своей нелюбви къ многоовчинному поповскому брюху, плакалъ и подавалъ имъ милостыню. Самому партіонному офицеру было ихъ такъ жалко, что онъ, желая положить конецъ слезамъ, велѣлъ новымъ рекрутамъ запѣть пѣсню, а когда они хоромъ стройно и громко затянули ими же сложенную пѣсню:

Архирей нашъ Никодимъ
Архилютный крокодилъ,

то будто бы и самъ офицеръ заплакалъ. Все это тонуло въ морѣ слезъ, и чувствительнымъ душамъ представлялось зломъ, вопіющимъ на небо. И дѣйствительно—какъ достигло ихъ вопленье до неба, такъ въ Орлѣ пошли «гласы». Сначала «гласы» были не внятные, и неизвѣстно отъ кого шли, но когда Никодимъ вскорѣ послѣ этого умеръ и былъ погребенъ подъ церковью, то пошла явная рѣчь отъ прежде его погребеннаго тамъ епископа (кажется Аполлоса). Прежде отшедшій епископъ былъ недоволенъ новымъ сосѣдствомъ и, ничѣмъ не стѣсняясь, прямо говорилъ: «возьмите вонъ отсюда это падло, душно мнѣ съ нимъ». И даже угрожалъ, что если «падло» не уберутъ, то онъ самъ «уйдетъ и въ другомъ городѣ явится». Это многіе люди слышали. Какъ, бывало, пойдутъ въ монастырь ко всенощной и, отстоявъ службу, идутъ назадъ, имъ и слышно; стонетъ старый архіерей: «возьмите падло». Всѣмъ очень желалось, чтобы заявленіе добраго покойника было исполнено, но не всегда внимательное къ нуждамъ народа начальство не выбрасывало Никодима и явно открывавшійся угодникъ всякую минуту могъ «сойти съ двора».

Вотъ не что иное, какъ это самое, теперь и происходило: угодникъ уходитъ, и видитъ его только одинъ бѣдный пастушокъ, который такъ отъ этого растерялся, что не только не задержалъ его, но даже не замѣтилъ, какъ святой уже и изъ глазъ у него пропалъ. На дворѣ же только чуть

начало свѣтать. Со свѣтомъ къ человѣку прибываетъ смѣлости, съ смѣлостью усиливается любознательность. Панькѣ захотѣлъ подойти къ самой водѣ, черезъ которую только что прослѣдовало таинственное существо; но едва онъ подошелъ, какъ видитъ тутъ мокрыя воротища къ бережку шестомъ приткнуты. Дѣло выяснилось: значитъ это не угодникъ прослѣдовалъ, а просто проплылъ несмертельный Голованъ: вѣрно, онъ пошелъ какихъ-нибудь обезродѣвшихъ ребятишекъ изъ нѣдра молочкомъ привѣтить. Панька подивился: когда этотъ Голованъ и спитъ!.. Да и какъ онъ, этакой мужичище, плаваетъ на этакой посудинѣ, — на половинкѣ воротъ? Правда, что Орликъ рѣка не великая и воды его, захваченныя пониже запрудою, тихи какъ въ лужѣ, но все-таки каково это на воротахъ плавать?

Панькѣ захотѣлось самому это попробовать. Онъ сталъ на воротца, взялъ шестикъ, да, шаля, и переѣхалъ на ту сторону, а тамъ сошелъ на берегъ Голованъ домъ посмотрѣть, потому что уже хорошо забрезжило, а между тѣмъ Голованъ въ ту минуту и кричитъ съ той стороны: «Эй! кто мои ворота угналъ! назадъ давай!»

Панька былъ малый не большой отваги и не пріученъ былъ разсчитывать на чье-либо великодушіе, а потому испугался и сдѣлалъ глупость. Вмѣсто того, чтобы подать Голованъ назадъ его плотъ, Панька взялъ да и схоронился въ одну изъ глиняныхъ ямокъ, которыхъ тутъ было множество. Залегъ Панька въ яминку, и сколько его Голованъ ни звалъ съ той стороны, онъ не показывается. Тогда Голованъ, видя, что ему не достать своего корабля, сбросилъ тулупъ, раздѣлся до нага, связалъ весь свой гардеробъ ремнемъ, положилъ на голову и поплылъ черезъ Орликъ. А вода была еще очень холодна.

Панька объ одномъ заботился, чтобы Голованъ его не увидалъ и не побилъ; но скоро его вниманіе было привлечено къ другому. Голованъ переплылъ рѣку и началъ-было одѣваться, но вдругъ присѣлъ, глянулъ себѣ подъ лѣвое колѣно и остановился.

Было это такъ близко отъ яминки, въ которой прятался Панька, что ему все было видно изъ-за глыбинки, которою онъ могъ закрываться. И въ это время уже было совсѣмъ свѣтло, заря уже румянѣла, и хотя большинство горожанъ еще спали, но подъ городецкимъ садомъ появился молодой

парень съ косою, который началъ окашивать и складывать въ плетушку крапиву.

Голованъ замѣтилъ косаря и, вставъ на ноги въ одной рубахѣ, громко крикнулъ ему:

— Малецъ, дай скорѣй косу!

Малецъ принесъ косу, а Голованъ говоритъ ему:

— Поди мнѣ большой лопухъ сорви,—и какъ парень отъ него отвернулся, онъ снялъ косу съ косья, присѣлъ опять на корточки, оттянулъ одною рукою икру у ноги, да въ одинъ махъ всю ее и отрѣзалъ прочь. Отрѣзанный шматъ мяса величиною въ деревенскую лепешку швырнулъ въ Орликъ, а самъ зажалъ рану обѣими руками и повалился.

Увидѣвъ это, Панька про все позабылъ, выскочилъ и сталъ звать косаря.

Парни взяли Голована и перетащили къ нему въ избу, а онъ здѣсь пришелъ въ себя, велѣлъ достать изъ коробки два полотенца и скрутить ему порѣзъ какъ можно крѣпче. Они стянули его изо всей силы, такъ что кровь перестала.

Тогда Голованъ велѣлъ имъ поставить около него ведерцо съ водою и ковшикъ, а самимъ идти къ своимъ дѣламъ, и никому про то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясясь отъ ужасти, всѣмъ разсказали. А услыхавшіе про это сразу догадались, что Голованъ это сдѣлалъ не спроста, а что онъ, такимъ образомъ, изболясь за людей, бросилъ язвѣ шматъ своего тѣла на тотъ конецъ, чтобы онъ прошелъ жертвицей по всѣмъ русскимъ рѣкамъ изъ малаго Орлика въ Оку, изъ Оки въ Волгу по всей Руси великой до широкаго Каспія, и тѣмъ Голованъ за всѣхъ отстрадалъ, а самъ онъ отъ этого не умретъ, потому что у него въ рукахъ аптекаревъ живой камень и онъ человѣкъ «несмертельный».

Сказъ этотъ пришелъ всѣмъ по мысли да и предсказаніе оправдалось: Голованъ не умеръ отъ своей страшной раны. Лихая же хвороба послѣ этой жертвы, дѣйствительно, прекратилась и настали дни успокоенія: поля и луга уключились густой зеленью и привольно стало по нимъ разъѣзжать молодому Егорію свѣтло-храброму, по локоть руки въ красномъ золотѣ, по колѣни ноги въ чистомъ серебрѣ, во лбу солнце, въ тылу мѣсяцъ, а по концамъ звѣзды перехожія. Отбѣлились холсты свѣжею юрьевой росою, выѣхалъ вмѣсто витязя Егорія въ поле Іеремія пророкъ съ тяжелымъ

ярмомъ, волоча сохи да бороны, засвистали соловьи въ Борисовъ день, утѣшая мученика, стараніями святой Мавры засинѣла крѣпкая разсада, прошелъ Зосима свѣтой съ долгимъ костылемъ, въ набалдашникѣ пчелиную матку пронесъ; минулъ день Ивана Богословца «Николина батюшки» и самъ Никола отпразднованъ, и сталъ на дворѣ Симонъ Зилотъ, когда земля именинница. На землины именины Голованъ вылѣзъ на завалинку, и съ той поры мало-помалу ходить началъ и снова за свое дѣло принялся. Здоровье его, повидимому, нимало не пострадало, но только онъ «шкандыбать» сталъ,—на лѣвую ножку подпрыгивалъ.

О трогательности и отвагѣ его кроваваго надъ собою поступка, люди, вѣроятно, имѣли высокое мнѣніе, но судили о немъ такъ, какъ я сказалъ: естественныхъ причинъ ему не доискивались, а, окутавъ все своею фантазіею, сочинили изъ естественнаго событія баснословную легенду, а изъ простого, великодушнаго Голована сдѣлали миѳическое лицо, что-то въ родѣ волхва, кудесника, который обладалъ неодолимымъ талисманомъ и могъ на все отважиться и нигдѣ не погибнуть.

Зналъ или не зналъ Голованъ, что ему присвоивала такія дѣла людская молва, — мнѣ неизвѣстно. Однако, я думаю, что онъ зналъ, потому что къ нему очень часто обращались съ такими просьбами и вопросами, съ которыми можно обращаться только къ доброму волшебнику. И онъ на многіе такіе вопросы давалъ «помогательные совѣты», и вообще ни за какой спросъ не сердился. Бывалъ онъ по слободамъ и за коровьяго врача, и за людского лѣкаря, и за инженера, и за звѣздоточія, и за аптекаря. Онъ умѣлъ сводить шелуди и коросту, опять-таки какою-то «ермоловской мазью», которая стоила одинъ мѣдный грошъ на трехъ человѣкъ; вынималъ соленымъ огурцомъ жаръ изъ головы; зналъ, что травы надо сбирать съ Ивана до полу-Петра, и отлично «воду показывалъ», то-есть гдѣ можно колодецъ рыть. Но это онъ могъ, впрочемъ, не во всякое время, а только съ начала іюня до св. Ѳедора Колодезника, пока «вода въ землѣ слышно какъ идетъ по суставчикамъ». Могъ Голованъ сдѣлать и все прочее, что только человѣку надо, но на остальное у него передъ Богомъ былъ зарокъ данъ за то, чтобы пупырухъ остановился. Тогда онъ это кровью своею подтвердилъ и держалъ крѣпко-на-крѣпко. За то его

и Богъ любилъ и миловалъ, а деликатный въ своихъ чувствахъ народъ никогда не просилъ Голована о чемъ ненадобно. По народному этикету это такъ у насъ принято.

Головану, впрочемъ, столь не тягостно было отъ мистическаго облака, которымъ повивала его народная fama, что онъ не употреблялъ, кажется, никакихъ усилій разрушить все, что о немъ сложилось. Онъ зналъ, что это напрасно.

Когда я съ жадностью пробѣгалъ листы романа Виктора Гюго «Труженики моря» и встрѣтилъ тамъ Жильята, съ его геніально очерченной строгостью къ себѣ и снисходительностію къ другимъ, достигшей высоты совершеннаго самоотверженія, я былъ пораженъ не однимъ величіемъ этого облика и силою его изображенія, но также и тождествомъ гернсейскаго героя съ живымъ лицомъ, котораго я зналъ подъ именемъ Голована. Въ нихъ жилъ одинъ духъ и бились самоотверженнымъ боемъ сходныя сердца. Немного разнились они и въ своей судьбѣ: во всю жизнь вокругъ нихъ густѣла какая-то тайна, именно потому, что они были слишкомъ чисты и ясны и какъ одному, такъ и другому не выпало на долю ни одной капли личнаго счастья.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Голованъ, какъ и Жильятъ, казался «сумнителенъ въ вѣрѣ». Думали, что онъ былъ какой-нибудь раскольникъ, но это еще не важно, потому что въ Орлѣ въ то время было много всякаго разновѣрія: тамъ были (да вѣрно и теперь есть) и простые старовѣры, и старовѣры не простые,— и бедосѣевцы, «пилипоны», и перекрещиванцы,—были даже хлысты, и «люди Божіи», которыхъ далеко высылали судомъ человѣческимъ. Но всѣ эти люди крѣпко держались своего стада и твердо порицали всякую иную вѣру, — особились другъ отъ друга въ молитвѣ и яденіи, и однихъ себя разумѣли на «пути правомъ». Голованъ же велъ себя такъ, какъ будто онъ даже совсѣмъ не зналъ ничего настоящаго о наилучшемъ пути, а ломалъ хлѣбъ отъ своей краюхи безъ разбору каждому, кто просилъ, и самъ садился за чей угодно столъ, гдѣ его приглашали. Даже жиду Юшкѣ изъ гарнизона онъ давалъ для дѣтей молока. Но нехристіанская сторона этого послѣдняго поступка по любви народа къ Головану нашла себѣ кое-какое извиненіе: люди про-

никли, что Голованъ, задабривая Юшку, хотѣлъ добыть у него тщательно сохраняемыя евреями «іудины губы», которыми можно передъ судомъ отолгаться, или «волосатый овощъ», который жидамъ жажду тушитъ, такъ что они могутъ вина не пить. Но что совсѣмъ было непонятно въ Голованѣ, это то, что онъ водился съ мѣдникомъ Антономъ, который пользовался въ разсужденіи всѣхъ настоящихъ качествъ самою плохою репутаціею. Этотъ человѣкъ ни съ кѣмъ не соглашался въ самыхъ священныхъ вопросахъ, а выводилъ какіе-то таинственные зодіи и даже что-то сочинялъ. Жилъ Антонъ въ слободѣ, въ пустой горенкѣ на чердачкѣ, платя по полтинѣ въ мѣсяцъ, но держалъ тамъ такія страшныя вещи, что къ нему никто не заходилъ, кромѣ Голована. Извѣстно было, что Антонъ имѣлъ здѣсь планъ, рекомый «зодіи», и стекло, которымъ «съ солнца огонь изводилъ»; а кромѣ того, у него былъ лазъ на крышу, куда онъ вылѣзалъ ночами наружу, садился какъ котъ у трубы, «выставлялъ плезирную трубку» и въ самое сонное время на небо смотрѣлъ. Приверженность Антона къ этому инструменту не знала предѣловъ, особенно въ звѣздныя ночи, когда ему видны были всѣ зодіи. Какъ только прибѣжитъ отъ хозяина, гдѣ работалъ мѣдную работу — сейчасъ проскользнетъ черезъ свою горенку и уже лѣзетъ изъ слухового окна на крышу, и если есть на небѣ звѣзды, онъ цѣлыя ночи сидитъ и все смотритъ. Ему это могли бы простить, если бы онъ былъ ученый, или, по крайней мѣрѣ, нѣмецъ, но какъ онъ былъ простой русскій человѣкъ—его долго отучали, не разъ доставали шестами и бросали навозомъ и дохлой кошкой, но онъ ничему не внималъ и даже не замѣчалъ, какъ его тычутъ. Всѣ, смѣясь, звали его «Астраномъ», а онъ и въ самомъ дѣлѣ былъ астрономъ *).

*) Я и мой товарищъ по гимназіи, нынче извѣстный русскій математикъ, К. Д. Краевичъ, знавали этого антика, въ концѣ сороковыхъ годовъ, когда мы были въ третьемъ классѣ орловской гимназіи и жили вмѣстѣ въ домѣ Лосевыхъ. «Антонъ-астрономъ» (тогда уже престарѣлый), дѣйствительно, имѣлъ кое-какія понятія о небесныхъ свѣтилахъ и о законахъ вращенія, но главное, что было интересно: онъ самъ приготовлялъ для своихъ трубъ стекла, отшлифовывая ихъ пескомъ и камнемъ изъ донышекъ толстыхъ хрустальныхъ стакановъ и черезъ нихъ онъ оглядывалъ цѣлое небо... Жилъ онъ нищимъ, но не чувствовалъ своей нищеты, потому что находился въ постоянномъ восторгѣ отъ «зодій».

Человѣкъ онъ былъ тихій и очень честный, но вольнодумецъ: увѣрялъ, что земля вертится и что мы бываемъ на ней внизъ головами. За эту послѣднюю очевидную несообразность Антонъ былъ битъ и признанъ дурачкомъ, а потомъ какъ дурачокъ сталъ пользоваться свободою мышленія, составляющею привилегію этого выгоднаго у насъ званія, и заходилъ до невѣроятнаго. Онъ не признавалъ седьминъ Даніила пророченными на русское царство, говорилъ, что «звѣрь десятирогій» заключается въ одной аллегоріи, а звѣрь медвѣдица—астрономическая фигура, которая есть въ его планахъ. Также онъ вовсе неправославно разумѣлъ о «крылѣ орла», о фіалахъ и о печати антихристовой. Но ему, какъ слабоумному, все это уже прощалось. Онъ былъ не женатъ, потому что ему некогда было жениться и нечѣмъ было бы кормить жену, да и какая же дура рѣшилась бы выйти за астронома? Голованъ же былъ въ полномъ умѣ, но не только водился съ астрономомъ, а и не шутилъ надъ нимъ; ихъ даже видали ночами вмѣстѣ на астрономовой крышѣ, какъ они, то одинъ, то другой, перемѣняясь, посматривали въ плезирную трубку на зодіи. Понятно, что за мысли могли внушать эти двѣ стоящія ночью у трубы фигуры, вокругъ которыхъ работали мечтательное суевѣріе, медицинская поэзія, религіозный бредъ и недоумѣніе... И, наконецъ, сами обстоятельства ставили Голована въ нѣсколько странное положеніе: неизвѣстно было—какого онъ прихода... Холодная хибара его торчала на такомъ отлетѣ, что никакіе духовные стратеги не могли ее присчитать къ своему вѣдѣнію, а самъ Голованъ объ этомъ не заботился, и если его уже очень докучно разспрашивали о приходѣ, отвѣчалъ:

— Я изъ прихода Творца-Вседержителя,—а такого храма во всемъ Орлѣ не было.

Жильятъ, въ отвѣтъ на предлагаемый ему вопросъ, гдѣ его приходъ, только поднималъ вверхъ палецъ и, указавъ на небо, говорилъ:

— «Вонъ тамъ»;—но сущность обоихъ этихъ отвѣтовъ одинакова.

Голованъ любилъ слушать о всякой вѣрѣ, но своихъ мнѣній на этотъ счетъ какъ будто не имѣлъ, и на случай неотступнаго вопроса: «како вѣруеши?»—читалъ:

«Вѣрую во единаго Бога-Отца, вседержителя творца, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ».

Это, разумѣется, уклончивость.

Впрочемъ, напрасно бы кто-нибудь подумалъ, что Голованъ былъ сектантъ, или бѣжалъ церковности. Нѣтъ, онъ даже ходилъ къ отцу Петру въ Борисоглѣбскій соборъ «совѣсть повѣрять». Придетъ и скажетъ:

— Посрамите меня, батюшка, что-то себѣ очень не нравлюсь.

Я помню этого отца Петра, который къ намъ хаживалъ и однажды, когда мой отецъ сказалъ ему къ какому-то слову, что Голованъ, кажется, человѣкъ превосходной совѣсти, то отецъ Петръ отвѣчалъ:

— Не сомнѣвайтесь; его совѣсть снѣга бѣлѣй.

Голованъ любилъ возвышенныя мысли и зналъ *Поппе*, но не такъ, какъ обыкновенно знаютъ писателя люди, *прочитавшіе* его произведеніе. Нѣтъ; Голованъ, одобривъ «Опытъ о человѣкѣ», подаренный ему тѣмъ же Алексѣемъ Петровичемъ Ермоловымъ, зналъ всю поэму *наизусть*. И я помню, какъ онъ, бывало, слушаетъ, стоя у притолки, разсказъ о какомъ-нибудь новомъ грустномъ происшествіи и, вдругъ вздохнувъ, отвѣчаетъ:

«Любезный Болинброкъ, гордыня въ насъ одна
«Всѣхъ заблужденій сихъ неистовыхъ вина».

Читатель напрасно сталъ бы удивляться, что такой человѣкъ, какъ Голованъ, перекидывался стихами *Поппе*. Тогда было время жестокое, но поэзія была въ модѣ, и ея великое слово было дорого даже мужамъ кровей. Отъ господъ это снисходило до плебея. Но теперь я дохожу до самаго большого казуса въ исторіи Голована, — такого казуса, который уже несомнѣнно бросалъ на него двусмысленный свѣтъ, даже въ глазахъ людей, не склонныхъ вѣрить всякому вздору. Голованъ представлялся нечистымъ въ какомъ-то отдаленномъ прошломъ. Это оказалось вдругъ, но въ самыхъ рѣзкихъ видахъ. Появилась на стогнахъ Орла личность, которая ни въ чьихъ глазахъ ничего не значила, но на Голована заявляла могущественныя права и обходилась съ нимъ съ невѣроятною наглостію.

Эта личность и исторія ея появленія есть довольно характерный эпизодъ изъ исторіи тогдашнихъ нравовъ и не лишенная колорита бытовая картинка. А потому — прошу минуту вниманія въ сторону, — немножко вдаль отъ Орла,

въ края еще болѣе теплые, къ тихоструйной рѣкѣ въ ковровыхъ берегахъ, на народный «пиръ вѣры», гдѣ нѣтъ мѣста дѣловой, будничной жизни; гдѣ все, — *рьшительно все*, проходитъ черезъ своеобычную религіозность, которая и придаетъ всему свою особенную рельефность и живость. Мы должны побывать при открытіи мощей новаго угодника, что составляло для самыхъ разнообразныхъ представителей тогдашняго общества событіе величайшаго значенія. Для простого же народа это была эпопея, или, какъ говорилъ одинъ тогдашній витія, — «свершался священный пиръ вѣры».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Такого движенія, которое началось ко времени открытія торжества, не можетъ передать ни одно изъ напечатанныхъ въ то время сказаній. Живая, но низменная дѣла сторона отъ нихъ уходила. Это не было нынѣшнее спокойное путешествіе въ почтовыхъ экипажахъ или по желѣзнымъ дорогамъ съ остановками въ благоустроенныхъ гостиницахъ, гдѣ есть все нужное и за сходную цѣну. Тогда путешествіе было подвигомъ и въ этомъ случаѣ благочестивымъ подвигомъ, котораго, впрочемъ, и стоило ожидаемое торжественное событіе въ церкви. Въ немъ было такъ же много поэзіи, — и опять-таки особенной, — пестрой и проникнутой разнообразными переливами церковно-бытовой жизни, ограниченной народной наивности и безконечныхъ стремленій живого духа.

Изъ Орла къ этому торжеству отправилось множество народа. Больше всего, разумѣется, усердствовало купечество, но не отставали и средней руки помѣщики, особенно же валилъ простой народъ. Эти шли пѣшкомъ. Только тѣ, кто везъ «для цѣльбы» немощныхъ, тянулись на какой-нибудь кляченкѣ. Иногда, впрочемъ, и немощныхъ везли *на себѣ* и даже не очень тѣмъ тяготились, потому что съ немощныхъ на постоялыхъ дворахъ за все брали дешевле, а иногда даже и совсѣмъ пускали безъ платы. Было не мало и такихъ, которые нарочно на себя «болѣзни сказывали: подъ лобъ очи пущали, и двое третьяго, по перемѣнкамъ, на колесенькахъ везли, чтобы имать доходъ жертвенный на воскъ и на масло, и на другіе обряды».

Такъ я читалъ въ сказаніи не печатанномъ, но вѣр-

номъ списанномъ не по шаблону, а съ «живого видѣнія», и человѣкомъ, предпочитавшимъ правду тенденціозной лживости того времени.

Движеніе было такое многолюдное, что въ городахъ Лихнахъ и въ Ельцѣ, черезъ которые лежалъ путь, не было мѣстъ ни на постоялыхъ дворахъ, ни въ гостинницахъ. Случалось, что важные и именитые люди ночевали въ своихъ каретахъ. Овесъ, сѣно, крупа—все по тракту поднялось въ цѣнѣ, такъ что, по замѣчанію моей бабушки, воспоминаніями которой я пользуюсь, съ этихъ поръ въ нашей сторонѣ, чтобы накормить человѣка студенемъ, щами, бараниной и кашей, стали брать на дворахъ по пятьдесятъ двѣ копейки (то-есть пятіалтынный), а до того брали двадцать пять (или $7^1/_2$ коп.). По нынѣшнему времени,—конечно, и пятіалтынный—цѣна совершенно невѣроятная, однако, это такъ было, и открытіе мощей новаго угодника въ подъемѣ цѣнности на жизненные припасы имѣло для прилегающихъ мѣстъ такое же значеніе, какое въ недавніе годы имѣлъ для Петербурга пожаръ мстинскаго моста. «Цѣна *вскочила* и такая и осталась».

Изъ Орла, въ числѣ прочихъ паломниковъ, отправилось на открытіе семейство купцовъ С—хъ, людей въ свое время очень извѣстныхъ «ссыпщиковъ», то-есть проще сказать крупныхъ кулаковъ, которые ссыпаютъ въ амбары хлѣбъ съ возовъ у мужиковъ, и потомъ продаютъ свои «ссыпки» оптовымъ торговцамъ въ Москву и въ Ригу. Это прибыльное дѣло, которымъ послѣ освобожденія крестьянъ было не погнушались и дворяне; но они любили долго спать и скоро горькимъ опытомъ дознали, что даже къ глупому кулачному дѣлу они неспособны. Купцы С. считались, по своему значенію, первыми ссыпщиками и важность ихъ простиралась до того, что дому ихъ вмѣсто фамиліи была дана возвышающая кличка. Домъ былъ, разумѣется, строго благочестивый, гдѣ утромъ молились, цѣлый день тѣснили и обирали людей, а потомъ вечеромъ опять молились. А ночью псы цѣпями по канатамъ гремятъ и во всѣхъ окнахъ—«лампадъ и сіяніе», громкій храпъ и чьи-нибудь жгучія слезы.

Правилъ домомъ, по нынѣшнему, сказали бы «основатель фирмы», а тогда просто говорили «*самъ*». Былъ это мякенькій старичокъ, котораго, однако, всѣ какъ огня боя-

лись. Говорили о немъ, что онъ умѣлъ мягко стлать, да было жестко спать: обходилъ всѣхъ словомъ «матинька», а спускалъ къ чорту въ зубы. Типъ, извѣстный и знакомый типъ торговаго патріарха.

Вотъ этотъ-то патріархъ и ѣхалъ на открытіе «въ большомъ составѣ», — самъ, да жена, да дочь, которая страдала «болѣзнью меланхоліи» и подлежала исцѣленію. Испытаны были надъ нею всѣ извѣстныя средства народной поэзіи и творчества: ее поили бодрящимъ девясиломъ, обсыпали піоніею, которая унимаетъ надхожденіе стѣни, давали нюхать майранъ, что въ головѣ мозгъ поправляетъ, но ничто не помогло и теперь ее взяли къ угоднику, поспѣшая на первый случай, когда пойдетъ самая первая сила. Вѣра въ преимущество *первой силы* очень велика и она имѣетъ своимъ основаніемъ сказаніе о силоамской купѣли, гдѣ тоже исцѣлѣвали *первые*, кто успѣвалъ войти по возмущеніи воды.

Ѣхали орловскіе купцы черезъ Ливны и черезъ Елецъ, претерпѣвая большія затрудненія, и совершенно измучились, пока достигли къ угоднику. Но улучить «первый случай» у угодника оказалось невозможнымъ. Народу собралась такая область, что и думать нечего было протолкаться въ храмъ, ко всенощной, подъ «открытный день», когда собственно и есть «первый случай», т.-е., когда отъ новыхъ мощей исходитъ самая большая сила.

Купецъ и жена его были въ отчаяніи, — равнодушнѣе всѣхъ была дочка, которая не знала, чего она лишалася. Надеждъ никакихъ не было помочь горю, — столько было знати, съ такими фамиліями, а они простые купцы, которые хотя въ своемъ мѣстѣ что-нибудь и значили, но здѣсь, въ такомъ скопленіи христіанскаго величія, совсѣмъ потерялися. И вотъ однажды, сидя въ горѣ подъ своею кибиточкою за чаемъ на постояломъ дворѣ, жалуется патріархъ женѣ, что уже и надежды никакой не полагаетъ достигнуть до святого гроба ни въ первыхъ, ни во вторыхъ, а развѣ доведется какъ-нибудь въ самыхъ послѣднихъ, вмѣстѣ съ ниварями и рыбарями, т. е. вообще съ простымъ народомъ. А тогда уже какая радость: и полиція освирѣпѣетъ, и духовенство заморится—вдоволь помолиться не дастъ, а совать станетъ. И вообще тогда все не то, когда уже приложится столько тысячъ устъ всякаго народа.

Въ таковыхъ видахъ можно было и послѣ пріѣхать, а они не того доспѣвали: они ѣхали, томились, дома дѣло на приказчицкія руки бросили и дорогою за все втридорога платили, и вотъ тебѣ вдругъ какое утѣшеніе.

Пробовалъ купецъ разъ и два достигнуть до дьяконовъ,— готовъ былъ дать благодарность, но и думать нечего,—съ одной стороны одно стѣсненіе, въ видѣ жандарма съ бѣлой рукавицею или казака въ плетью (ихъ тоже пришло къ открытію мощей множество), а съ другой — еще опаснѣе, что задавитъ самъ православный народушко, который волновался какъ океанъ. Уже и были «разы» и даже во множествѣ и вчера, и сегодня. Шарахнутся гдѣ-нибудь добрые христіане отъ взмаха казачьей нагайки цѣлой стѣною въ пять, въ шесть сотъ человѣкъ, и какъ попрутъ, да поналяжутъ стѣной дружненько, такъ изъ середины только стонъ да пахъ пойдетъ, а потомъ, по освобожденіи, много видано женскаго уха въ серьгахъ рваного и персты изъ-подъ колецъ верчены, а двѣ-три души и совсѣмъ Богу преставлялись.

Купецъ всѣ эти трудности и высказываетъ за чаемъ женѣ и дочери, для которой особенно надо было улучить первыя силы, а какой-то «пустошный человѣкъ», невѣдомо городского или сельскаго званія, все между разными кибитками ходитъ подъ сараемъ, да какъ будто засматриваетъ на орловскихъ купцовъ съ намѣреніемъ.

«Пустошныхъ людей» тогда тоже собралось здѣсь много. Имъ не только было свое мѣсто на этомъ пиршествѣ вѣры, но они даже находили здѣсь себѣ хорошія занятія; а потому понахлынули сюда въ изобиліи, изъ разныхъ мѣстъ, и особенно изъ городовъ, прославленныхъ своими воровскими людьми, т. е. изъ Орла, Кромъ, Ельца и изъ Ливенъ, гдѣ славились большіе мастера чудеса строить. Все сошедшіеся сюда пустошные люди искали себѣ своихъ промысловъ. Отважнѣйшіе изъ нихъ дѣйствовали строемъ, располагаясь кучками въ толпахъ, гдѣ удобно было при содѣйствіи казака произвести натискъ и смятеніе, и во время суматохи обыскать чужіе карманы: сорвать часы, поясныя пряжки и повыдергать серьги изъ ушей; а люди болѣе степенные ходили въ одиночку по дворамъ, — жаловались на убожество, «сказывали сны и чудеса», предлагали привороты, отвороты и «старымъ людямъ секретныя помочи изъ

китоваго сѣмени, вороньяго сала, слоновьей спермы» и другихъ снадобій, отъ коихъ «сила постоянная движетъ». Снадобья эти не утрачивали своей цѣны и здѣсь, потому что, къ чести человѣчества, совѣсть не за всѣми исцѣленіями позволяла обращаться къ угоднику. Не менѣе охотно пустошные люди смирнаго обычая занимались просто воровствомъ и при удобныхъ случаяхъ нерѣдко до-чиста обворовывали гостей, которые за неимѣніемъ помѣщеній жили въ своихъ повозкахъ и подъ повозками. Мѣста вездѣ было мало и не всѣ повозки находили себѣ пріютъ подъ сараями постоялыхъ дворовъ; другія же стояли обозомъ за городомъ на открытыхъ выгонахъ. Тутъ шла жизнь еще болѣе разнообразная и интересная и притомъ еще болѣе полная оттѣнковъ священной и медицинской поэзіи и занимательныхъ плутней. Темные промышленники шныряли повсемѣстно, но пріютомъ имъ былъ этотъ загородный, «бѣдный обозъ», съ окружавшими его оврагами и лачужками, гдѣ шло ожесточенное корчемство водкой, и въ двухъ-трехъ повозкахъ стояли румяныя солдатки, пріѣхавшія сюда вскладчину. Тутъ же фабриковались стружки отъ гроба, «печатная земля», кусочки истлѣвшихъ ризъ и даже «частицы». Иногда между промышлявшими этими дѣлами художниками попадались люди очень остроумные и выкидывали штуки интересныя и замѣчательныя по своей простотѣ и смѣлости. Таковъ былъ и тотъ, котораго замѣтило благочестивое орловское семейство. Проходимецъ подслушалъ ихъ сѣтованіе о невозможности приступить къ угоднику прежде чѣмъ отъ мощей истекутъ первыя струи цѣлебной благодати, и прямо подошелъ и заговорилъ на чистоту:

— Скорби-де ваши я слышалъ и могу помочь, а вамъ меня избѣгать нечего... Безъ насъ вы здѣсь теперь желаемаго себѣ удовольствія, при столь большомъ и именитомъ съѣздѣ, не получите, а мы въ таковыхъ разахъ бывали и средства знаемъ. Угодно вамъ быть у самыхъ первыхъ силъ угодника—не пожалѣйте за свое благополучіе сто рублей и я васъ поставлю.

Купецъ посмотрѣлъ на субъекта и отвѣчалъ:

— Полно врать.

Но тотъ свое продолжалъ:

— Вы,—говоритъ:—вѣроятно, такъ думаете, судя по моему ничтожеству; но ничтожное въ очахъ человѣческихъ

можетъ быть совсѣмъ въ другомъ расчисленіи у Бога, и я за что берусь, то твердо могу исполнить. Вы вотъ смущаетесь насчетъ земного величія, что его много наѣхало, а мнѣ оно все прахъ, и будь тутъ хоть видимо-невидимо однихъ принцевъ и королей, они нимало намъ не могутъ препятствовать, а даже всѣ сами передъ нами разступятся. А потому, если вы желаете сквозь все пройти чистымъ и гладкимъ путемъ и самыхъ первыхъ лицъ увидать, и другу Божію дать самыя первыя лобызанія, то не жалѣйте того, что сказано. А если ста рублей жалко и не побрезгаете компаніей, то я живо подберу еще два человѣка, коихъ на примѣтѣ имѣю, и тогда вамъ дешевле станетъ.

Что оставалось дѣлать благочестивымъ поклонникамъ? Конечно, рисковано было вѣрить пустошному человѣку, но и случая упустить не хотѣлось, да и деньги требовались небольшія, особенно если въ компаніи... Патріархъ рѣшился рискнуть и сказалъ:

— Ладь компанію.

Пустошный человѣкъ взялъ задатокъ и побѣжалъ, наказавъ семейству рано пообѣдать и за часъ передъ тѣмъ, какъ ударятъ къ вечернѣ въ первый колоколъ, взять каждому съ собой по новому ручному полотенцу и идти за городъ, на указанное мѣсто «въ бѣдный обозъ», и тамъ ожидать его. Оттуда немедленно же долженъ былъ начинаться походъ, котораго, по увѣреніямъ антрепренера, не могли остановить никакіе принцы, ни короли.

Таковые «бѣдные обозы» въ большихъ или меньшихъ размѣрахъ становились широкимъ станомъ при всѣхъ подобныхъ сборищахъ, и я самъ видалъ ихъ и помню въ Коренной подъ Курскомъ, а о томъ, о которомъ наступаетъ повѣствованіе, слышалъ разсказы отъ очевидцевъ и свидѣтелей тому, что будетъ сейчасъ описано.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мѣсто, занятое бѣднымъ становищемъ, было за городомъ, на обширномъ и привольномъ выгонѣ, между рѣкою и столбовою дорогою, а въ концѣ примыкало къ большому, извилистому оврагу, по которому бѣжалъ ручеекъ и росъ густой кустарникъ; сзади начинался могучій сосновый лѣсъ, гдѣ клектали орлы.

На выгонѣ расположилось множество бѣдныхъ повозокъ

и колымагъ, представлявшихъ, однако, во всей своей нищетѣ довольно пестрое разнообразіе національнаго генія и изобрѣтательности. Были обыкновенныя рогожныя будки, полотняные шатры, во всю телѣгу, «бесѣдки» съ пушистымъ ковылемъ-травой и совершенно безобразные лубковые окаты. Цѣлый большой лубъ съ вѣковой липы согнутъ и приколоченъ къ телѣжнымъ грядкамъ, а подъ нимъ лежка: лежатъ люди ногами къ ногамъ въ нутро экипажа, а головы къ вольному воздуху, на обѣ стороны впередъ и назадъ. Надъ возлежащими проходитъ вѣтерокъ и вентилируетъ, чтобы имъ можно было не задохнуться въ собственномъ духу. Тутъ же у взвязанныхъ къ оглоблямъ пихтерей съ сѣномъ и хрѣптуговъ стояли кони, большею частію тощіе, всѣ въ хомутахъ и иные, у бережливыхъ людей, подъ рогожными «крышками». При нѣкоторыхъ повозкахъ были и собачки, которыхъ хотя и не слѣдовало бы брать въ паломничество, но это были «усердныя» собачки, которыя догнали своихъ хозяевъ на второмъ, третьемъ покормѣ и ни при какомъ бойлѣ не хотѣли отъ нихъ отвязаться. Имъ здѣсь не было мѣста по настоящему положенію паломничества, но онѣ были терпимы, и, чувствуя свое контрабандное положеніе, держали себя очень смирно; онѣ жались гдѣ-нибудь у телѣжнаго колеса подъ дегтяркою и хранили серьезное молчаніе. Одна скромность спасала ихъ отъ остракизма и отъ опаснаго для нихъ крещенаго цыгана, который въ одну минуту «снималъ съ нихъ шубы». Здѣсь, въ бѣдномъ обозѣ, подъ открытымъ небомъ жилось весело и хорошо, какъ на ярмаркѣ. Всякаго разнообразія здѣсь было болѣе, чѣмъ въ гостиничныхъ номерахъ, доставшихся только особымъ избранникамъ, или подъ навѣсами постоялыхъ дворовъ, гдѣ въ вѣчномъ полумракѣ мѣстились въ повозкахъ люди второй руки. Правда, въ бѣдный обозъ не заходили тучные иноки и іподіаконы, не видать было даже и настоящихъ, опытныхъ странниковъ, но зато здѣсь были свои мастера на всѣ руки и шло обширное кустарное производство разныхъ «святостей». Когда мнѣ довелось читать извѣстное въ кіевскихъ хроникахъ дѣло о поддѣлкѣ мощей изъ бараньихъ костей, я былъ удивленъ младенчествомъ пріема этихъ фабрикантовъ въ сравненіи съ смѣлостью мастеровъ, о которыхъ слыхалъ ранѣе. Тутъ это было какое-то откровенное *неглиже съ отвагой*. Даже самый путь къ выгону по Сло-

бодской улицѣ уже отличался ничѣмъ нестѣсняемою свободою самой широкой предпріимчивости. Люди знали, что этакіе случаи не часто выпадаютъ и не теряли времени: у многихъ воротъ стояли столики, на которыхъ лежали иконки, крестики и бумажные сверточки съ гнилою древесною пылью, будто бы отъ стараго гроба, и тутъ же лежали стружки отъ новаго. Весь этотъ матеріалъ былъ, по увѣренію продавцовъ, гораздо высшаго сорта, чѣмъ въ настоящихъ мѣстахъ, потому что принесенъ сюда самими столярами, копачами и плотниками, производившими самыя важныя работы. У входа въ лагерь вертѣлись «носящіе и сидящіе» съ образками новаго угодника, заклеенными пока бѣлою бумажкою съ крестикомъ. Образки эти продавались по самой дешевой цѣнѣ и покупать ихъ можно было сію же минуту, но открывать нельзя было до отслуженія перваго молебна. У многихъ недостойныхъ, купившихъ такіе образки и открывшихъ ихъ раньше времени, они оказались чистыми дощечками. Въ оврагѣ же за становищемъ, подъ санями, опрокинутыми къ верху полозьями, жили у ручья цыганъ съ цыганкою и цыганятами. Цыганъ и цыганка имѣли тутъ большую врачебную практику. У нихъ на одномъ полозѣ былъ привязанъ за ногу большой безголосый «пѣтухъ», изъ котораго выходили по утрамъ камни, «двигавшіе постельную силу», и цыганъ имѣлъ кошкину траву, которая тогда была весьма нужна къ «болячкамъ афедроновымъ». Цыганъ этотъ былъ въ своемъ родѣ знаменитость. Слава о немъ шла такая, что онъ, когда въ невѣрной землѣ семь спящихъ дѣвъ открывали, и тамъ онъ не лишній былъ: онъ старыхъ людей на молодыхъ передѣлывалъ, прутяныя сѣченья господскимъ людямъ лѣчилъ и военнымъ кавалерамъ заплечный бой изъ нутра черезъ водотокъ выводилъ. Цыганка же его, кажется, знала еще большія тайны природы: она двѣ воды мужьямъ давала: одну ко обличенію женъ, кои блудно грѣшатъ; той воды, если женамъ дать, она въ нихъ не удержится, а насквозь пройдетъ, а другая вода магнитная: отъ этой воды жена неохочая во снѣ страстно мужа обойметъ, а если усилится другого любить— съ постели станетъ падать.

Словомъ, дѣло здѣсь кипѣло и многообразныя нужды человѣчества находили тутъ полезныхъ пособниковъ.

Пустошный человѣкъ, какъ завидѣлъ купцовъ, не сталъ

съ ними разговаривать, а началъ ихъ манить, чтобы сошли въ овражекъ, и самъ туда же впередъ юркнулъ.

Опять это показалось страшновато; можно было опасаться засады, въ которой могли скрываться лихіе люди, способные обобрать богомольцевъ до-гола, но благочестіе превозмогло страхъ и купецъ, послѣ небольшого раздумья, помолясь Богу и помянувъ угодника, рѣшился переступить шага три внизъ.

Сходилъ онъ осторожно, держась за кустики, а женѣ и дочери приказалъ въ случаѣ чего-нибудь кричать изо всей мочи.

Засада здѣсь и въ самомъ дѣлѣ была, но не опасная: купецъ нашелъ въ оврагѣ двухъ такихъ же, какъ онъ, благочестивыхъ людей въ купеческомъ одѣяніи, съ которыми надо было «сладиться». Всѣ они должны были здѣсь заплатить пустошному уговорную плату за проводы ихъ къ угоднику, а тогда онъ имъ откроетъ свой планъ и сейчасъ ихъ поведетъ. Долго думать было нечего и упорство ни къ чему не вело: купцы сложили сумму и дали, а пустошный открылъ имъ свой планъ, простой, но, по простотѣ своей, чисто геніальный: онъ заключался въ томъ, что въ «бѣдномъ обозѣ» есть извѣстный пустошному человѣку человѣкъ разслабленный, котораго надо только поднять и нести къ угоднику и никто ихъ не остановитъ и пути имъ не затруднитъ съ болящимъ. Надо только купить для слабаго болѣзный одрецъ да покровецъ, и поднявъ его, нести всѣмъ шестерымъ, подвязавши подъ одръ полотенчики.

Мысль эта казалась въ первой своей части превосходною, съ разслабленнымъ носителей, конечно, пропустятъ, но каковы быть могутъ послѣдствія? Не было бы дальше конфуза? Однако и на этотъ счетъ все было успокоено, проводникъ сказалъ только, что это не стоитъ вниманія.

— Мы таковые разы, — говоритъ: — уже видали: вы въ ваше удовольствіе сподобитеся все видѣть и приложиться къ угоднику во время всенощнаго пѣнія, а въ разсужденіи болящаго, будь воля угодника; — пожелаетъ онъ его исцѣлить — и исцѣлитъ, а не пожелаетъ — опять его воля. Теперь только скиньтесь скорѣе на одрецъ и на покровецъ, а у меня ужъ все это припасено въ близкомъ домѣ, только надо деньги отдать. Мало меня здѣсь повремените, и въ путь пойдемъ.

Взялъ, поторговавшись, еще на снасть по два рубля съ лица и побѣжалъ, а черезъ десять минутъ назадъ вернулся и говоритъ:

— Идемъ, братія, только не бойко выступайте, а поспустите малость очи побогомысленнѣе.

Купцы спустили очи и пошли съ благоговѣніемъ, и въ этомъ же «бѣдномъ обозѣ» подошли къ одной повозкѣ, у которой стояла у хрѣптуга совсѣмъ дохлая клячонка, а на передкѣ сидѣлъ маленькій золотушный мальчикъ и забавлялъ себя, перекидывая съ руки на руку ощипанные плоднички желтыхъ пупавокъ. На этой повозкѣ подъ липовымъ лубкомъ лежалъ человѣкъ среднихъ лѣтъ съ лицомъ самихъ пупавокъ желтѣе, и руки тоже желтыя; всѣ вытянутыя, и какъ мягкія плети валяются.

Женщины, завидѣвъ этакую ужасную немощь, стали креститься, а проводникъ ихъ обратился къ больному и говоритъ:

— Вотъ, дядя Фотей, добрые люди пришли помочь мнѣ тебя къ исцѣленью нести. Воли Божіей часъ къ тебѣ близится.

Желтый человѣкъ сталъ поворачиваться къ незнакомымъ людямъ и благодарственно на нихъ смотритъ, а перстомъ себѣ на языкъ показываетъ.

Тѣ догадались, что онъ нѣмой. «Ничего,—говорятъ,—ничего, рабъ Божій, не благодари насъ, а Богу благодарствуй», и стали его вытаскивать изъ повозки, — мужчины подъ плечи и подъ ноги, а женщины только его слабыя ручки поддерживали, и еще болѣе напугались страшнаго состоянія больного, потому что руки у него въ плечевыхъ суставахъ совсѣмъ «перевалилися» и только волосяными веревками были кое-какъ перевязаны.

Одрикъ стоялъ тутъ же. Это была небольшая старая кроватка, плотно засыпанная по угламъ клоповыми яйцами; на кроваткѣ лежалъ снопъ соломы и кусокъ рѣдкаго миткалю съ грубо выведеннымъ красками крестомъ, коніемъ и тростію. Проводникъ ловкою рукою распушилъ соломку, чтобы на всѣ стороны съ краевъ свѣшивалась, положили на нее желтаго разслабленнаго, покрыли миткалемъ и понесли.

Проводникъ шелъ впереди съ глиняной жаровенкой и крестообразно покуривалъ.

Еще они и изъ обоза не вышли, какъ на нихъ уже начали креститься, а когда пошли по улицамъ, вниманіе къ нимъ становилось все серьезнѣе и серьезнѣе: всѣ, видя ихъ, понимали, что это къ чудотворцу несутъ болящаго и присоединялися. Купцы шли поспѣшаючи, потому что слышали благовѣсть ко всенощной и пришли съ своею ношею какъ разъ во-время, когда запѣли: «Хвалите имя Господне, раби Господа».

Храмъ, разумѣется, не вмѣщалъ и сотой доли собравшагося народа; видимо-невидимо людей сплошною массою стояло вокругъ церкви, но чуть увидали одръ и носящихъ, всѣ загудѣли: «разслабаго несутъ, чудо будетъ», и вся толпа разступилась.

До самыхъ дверей стала живая улица и дальше все сдѣлалось какъ обѣщалъ проводникъ. Даже и твердое упованіе вѣры его не осталось въ постыженіи: разслабленный исцѣлѣлъ. Онъ всталъ, онъ самъ вышелъ на своихъ ногахъ «славяще и благодарящее». Кто-то все это записалъ на записочку, въ которой со словъ проводника исцѣленный разслабленный былъ названъ «родственникомъ» орловскаго купца, черезъ что ему многіе завидовали и исцѣленный за позднимъ временемъ не пошелъ уже въ свой бѣдный обозъ, а ночевалъ подъ сараемъ у своихъ новыхъ родственниковъ.

Все это было пріятно. Исцѣленный былъ интереснымъ лицомъ, на котораго многіе приходили взглянуть, и кидали ему «жертовки». Но онъ еще мало говорилъ и неявственно,—очень шамкалъ съ непривычки и больше все на купцовъ исцѣленною рукою показывалъ: «ихъ-де спрашивайте, они родственники, они все знаютъ». И тогда тѣ по-неволѣ говорили, что онъ ихъ родственникъ; но вдругъ подъ все это подкралась неожиданная непріятность: въ ночь, наставшую послѣ исцѣленія желтаго разслабленнаго, было замѣчено, что у бархатнаго намета надъ гробомъ угодника пропалъ одинъ золотой шнуръ съ такою же золотою кистью.

Дознавали объ этомъ изъ-подъ руки и спросили орловскаго купца, не замѣтилъ ли онъ, близко подходя, и что такое за люди помогали ему нести больного родственника? Онъ по совѣсти сказалъ, что люди были незнакомые, изъ бѣднаго обоза, по усердію несли. Возили его туда узнавать

мѣсто, людей, клячу и телѣжку съ золотушнымъ мальчикомъ, игравшимъ пупавками, но тутъ только одно мѣсто было на своемъ мѣстѣ, а ни людей, ни повозки, ни мальчика съ пупавками и слѣда не было.

Дознаніе бросили, «да не молва будетъ въ людяхъ». Кисть повѣсили новую, а купцы послѣ такой непріятности скорѣе собрались домой. Но только тутъ исцѣленный родственникъ осчастливилъ ихъ новой радостью: онъ обязывалъ ихъ взять его съ собою и въ противномъ случаѣ угрожалъ жалобою, и про кисть напомнилъ.

И потому, когда пришелъ часъ къ отъѣзду купцовъ всвояси, Фотей очутился на передкѣ, рядомъ съ кучеромъ, и скинуть его было невозможно до лежавшаго на ихъ пути села Крутого. Здѣсь былъ въ то время очень опасный спускъ съ одной горы и тяжелый подъемъ на другую, и потому случались разныя происшествія съ путниками: падали лошади, переворачивались экипажи и прочее въ этомъ родѣ. Село Крутое непремѣнно надо было прослѣдовать за-свѣтло, иначе надо заночевать, а въ сумерки никто не рисковалъ спускаться.

Наши купцы тоже здѣсь переночевали, и утромъ при восхожденіи на гору «растерялись», то-есть потеряли своего исцѣленнаго родственника Фотея. Говорили, будто съ вечера они «добре его угостили изъ фляги», а утромъ не разбудили и съѣхали, но нашлись другіе добрые люди, которые поправили эту растерянность и, прихвативъ Фотея съ собою, привезли его въ Орелъ.

Здѣсь онъ отыскалъ своихъ неблагодарныхъ родственниковъ, покинувшихъ его въ Крутомъ, но не встрѣтилъ у нихъ родственнаго пріема. Онъ сталъ нищенствовать по городу и разсказывать, будто купецъ ѣздилъ къ угоднику не для дочери, а молился, чтобы хлѣбъ подорожалъ. Никому это точнѣе Фотея извѣстно не было.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Не въ долгихъ дняхъ послѣ появленія въ Орлѣ извѣстнаго и покинутаго Фотея, въ приходѣ Михаила Архангела у купца Акулова были «бѣдные столы». На дворѣ, на доскахъ, дымились большія липовыя чаши съ лапшой и чугуны съ кашей, а съ хозяйскаго крыльца раздавали по рукамъ ватрушки съ лукомъ и пироги. Гостей набралось

множество, каждый съ своей ложкой въ сапогѣ или за пазухой. Пирогами одѣлялъ Голованъ. Онъ часто былъ званъ къ такимъ «столамъ» архитриклиномъ и хлѣбодаромъ, потому что былъ справедливъ, ничего не утаитъ себѣ и основательно зналъ кто какого пирога стоитъ—съ горохомъ, съ морковью или съ печенкой.

Такъ и теперь онъ стоялъ и каждому подходящему «одѣлялъ» большой пирогъ, а у кого зналъ въ домѣ немощныхъ—тому два и болѣе «на недужную порцію». И вотъ въ числѣ разныхъ подходящихъ подошелъ къ Голованy и Фотей, человѣкъ новый, но какъ будто удивившій Голована. Увидавъ Фотея, Голованъ словно что-то вспомнилъ и спросилъ:

— Ты чей и гдѣ живешь?

Фотей сморщился и проговорилъ:

— Я ничей, а Божій, обшитъ рабьей кожей, а живу подъ рогожей.

А другіе говорятъ Голованy: «его купцы привезли отъ угодника... Это Фотей исцѣленный».

Но Голованъ улыбнулся и заговорилъ-было:

— Съ какой стати это Фотей! — но въ эту же самую минуту Фотей вырвалъ у него пирогъ, а другою рукою далъ ему оглушительную пощечину, и крикнулъ:

— Не бреши лишняго!—и съ этимъ сѣлъ за столы, а Голованъ стерпѣлъ и ни слова ему не сказалъ. Всѣ поняли, что вѣрно это такъ надобно, очевидно исцѣленный юродуетъ, а Голованъ знаетъ, что это надо сносить. Но только «въ какомъ расчисленіи стоилъ Голованъ такого обращенія?» Это была загадка, которая продолжалась многіе годы и установила такое мнѣніе, что въ Голованѣ скрывается что-нибудь очень бѣдовое, потому что онъ Фотея боится.

И впрямь тутъ было что-то загадочное. Фотей, скоро павшій въ всеобщемъ мнѣніи до того, что вслѣдъ ему кричали: «у святого кисть укралъ и въ кабакѣ пропилъ», съ Голованомъ обходился чрезвычайно дерзко.

Встрѣчая Голована гдѣ бы то ни было, Фотей заступалъ ему дорогу и кричалъ «долгъ подавай». И Голованъ, нимало ему не возражая, лѣзъ за пазуху и доставалъ оттуда мѣдную гривну. Если же у него не случалось съ собою гривны, а было менѣе, то Фотей, котораго за пестроту его

лохмотьевъ прозвали Горностаемъ, швырялъ Голована недостаточную дачу назадъ, плевалъ на него и даже билъ его, швырялъ камнями, грязью или снѣгомъ.

Я самъ помню, какъ однажды въ сумерки, когда отецъ мой со священникомъ Петромъ сидѣли у окна въ кабинетѣ, а Голованъ стоялъ подъ окномъ и всѣ они втроемъ вели свой разговоръ, въ открытыя на этотъ случай ворота вбѣжалъ ободранный Горностай и съ крикомъ «забылъ подлецъ!» при всѣхъ ударилъ Голована по лицу, а тотъ, тихонько его отстранилъ, далъ ему изъ-за пазухи мѣдныхъ денегъ и повелъ его за ворота.

Такіе поступки были никому не въ рѣдкость и объясненіе, что Горностай что-нибудь за Голованомъ знаетъ, было конечно, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у многихъ и любопытство, которое, какъ вскорѣ увидимъ, имѣло вѣрное основаніе.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Мнѣ было около семи лѣтъ, когда мы оставили Орелъ и переѣхали на постоянное житье въ деревню. Съ тѣхъ поръ я уже не видалъ Голована. Потомъ наступило время учиться и оригинальный мужикъ съ большой головою пропалъ у меня изъ вида. И слышалъ я о немъ только разъ, во время «большого пожара». Тогда погибло не только много строеній и движимости, но сгорѣло и много людей—въ числѣ послѣднихъ называли Голована. Разсказывали, что онъ упалъ въ какую-то яму, которой не видно было подъ пепломъ, и «сварился». О семейныхъ, которые его пережили, я не справлялся. Послѣ этого я вскорѣ уѣхалъ въ Кіевъ и побывалъ въ родимыя мѣста уже черезъ десять лѣтъ. Было новое царствованіе, начинались новые порядки; вѣяло радостной свѣжестью,—ожидали освобожденія крестьянъ и даже поговаривали уже о гласномъ судопроизводствѣ. Все новое: сердца горѣли. Непримиримыхъ еще не было, но уже обозначались нетерпѣливцы и выжидатели.

На пути къ бабушкѣ я остановился на нѣсколько дней въ Орлѣ, гдѣ тогда служилъ совѣстнымъ судьею мой дядя, который оставилъ по себѣ память честнаго человѣка. Онъ имѣлъ много прекрасныхъ сторонъ, внушавшихъ къ нему почтеніе даже въ тѣхъ людяхъ, которые не раздѣляли его взглядовъ и симпатій: онъ былъ въ молодости щеголь, гу-

саръ, потомъ садоводъ и художникъ — дилетантъ съ замѣчательными способностями; благородный, прямой, дворянинъ, и «дворянинъ au bout des ongles». Понимая по-своему обязательство этого званія, онъ, разумѣется, покорствовалъ новизнѣ, но желалъ критически относиться къ эмансипаціи, и представлялъ изъ себя охранителя. Эмансипаціи хотѣлъ только такой, какъ въ Остзейскомъ краѣ. Молодыхъ людей онъ привѣчалъ и ласкалъ, но ихъ вѣра, что спасеніе находится въ правильномъ движеніи впередъ, а не назадъ— казалась ему ошибкой. Дядя любилъ меня и зналъ, что я его люблю и уважаю, но во мнѣніяхъ объ эмансипаціи и другихъ тогдашнихъ вопросахъ мы съ нимъ не сходились. Въ Орлѣ онъ дѣлалъ изъ меня по этому поводу очистительную жертву и хотя я тщательно старался избѣгать этихъ разговоровъ, однако, онъ на нихъ направлялъ и очень любилъ меня «поражать».

Дядѣ всего болѣе нравилось подводить меня къ казусамъ, въ которыхъ его судейская практика обнаруживала «народную глупость».

Помню роскошный, теплый вечеръ, который мы провели съ дядею въ орловскомъ «губернаторскомъ» саду, занимаясь, признаться сказать, уже значительно утомившимъ меня споромъ о свойствахъ и качествахъ русскаго народа. Я несправедливо утверждалъ, что народъ *очень* уменъ, а дядя, можетъ-быть, еще несправедливѣе настаивалъ, что народъ *очень* глупъ, что онъ совершенно не имѣетъ понятій о законѣ, о собственности, и, вообще, народъ *азіятъ*, который можетъ удивить кого угодно своею дикостью.

— И вотъ,—говоритъ:—тебѣ, милостивый государь, подтвержденіе: если память твоя сохранила ситуацію города, то ты долженъ помнить, что у насъ есть буераки, слободы и слободки, которыя чортъ знаетъ кто межевалъ и кому отводилъ подъ постройки. Все это въ нѣсколько пріемовъ убралъ огонь и на мѣстѣ старыхъ лачугъ построились такія же новыя, а теперь никто не можетъ узнать: кто здѣсь по какому праву сидитъ?

Дѣло было въ томъ, что когда отдохнувшій отъ пожаровъ городъ сталъ устраиваться и нѣкоторые люди стали покупать участки въ кварталахъ за церковью Василія Великаго, оказалось, что у продавцовъ не только не было никакихъ документовъ, но что и сами эти владѣльцы и ихъ

предки считали всякіе документы совершенно лишними. Домикъ и мѣстишко до этой поры переходили изъ рукъ въ руки безъ всякаго заявленія властямъ, и безъ всякихъ даней и пошлинъ въ казну, а все это, говорятъ, писалось у нихъ въ какую-то «китрать», но «китрать» эта въ одинъ изъ безчисленныхъ пожаровъ сгорѣла и тотъ, кто велъ ее—умеръ, а съ тѣмъ и всѣ слѣды ихъ владѣнныхъ правъ покончились. Правда, что никакихъ споровъ по праву владѣнія не было, но все это не имѣло законной силы, а держалось на томъ, что если Протасовъ говоритъ, что его отецъ купилъ домишко отъ покойнаго дѣда Тарасовыхъ, то Тарасовы не оспаривали владѣнныхъ правъ Протасовыхъ; но какъ теперь требовались *права*, то правъ нѣтъ, и совѣстному судьѣ во-очію предлежало рѣшать вопросъ: преступленіе ли вызвало законъ, или законъ создалъ преступленіе?

— А зачѣмъ все это они такъ дѣлали?—говорилъ дядя.—Потому-съ, что это не обыкновенный народъ, для котораго хороши и нужны обезпечивающіе право государственныя учрежденія, а это *номады, орда*, осѣвшая, но еще сама себя не сознающая.

Съ тѣмъ мы заснули, выспались,—рано утромъ я сходилъ на Орликъ, выкупался, посмотрѣлъ на старыя мѣста, вспомнилъ Голововановъ домикъ и, возвращаясь, нахожу дядю въ бесѣдѣ съ тремя неизвѣстными мнѣ «милостивыми государями». Всѣ они были купеческой конструкціи,—двое сердовые въ сюртукахъ съ крючками, а одинъ совершенно бѣлый въ ситцевой рубахѣ на выпускъ, въ чуйкѣ и въ крестьянской шляпѣ «гречникомъ».

Дядя показалъ мнѣ на нихъ рукою и говоритъ:

— Вотъ это иллюстрація ко вчерашнему сюжету. Эти господа разсказываютъ мнѣ свое дѣло: войди въ наше совѣщаніе.

Затѣмъ онъ обратился къ предстоящимъ съ очевидною для меня, но для нихъ, конечно, съ непонятною шуткою и добавилъ:

— Это мой родственникъ, молодой прокуроръ изъ Кіева,—къ министру въ Петербургъ ѣдетъ и можетъ ему объяснить ваше дѣло.

Тѣ поклонились.

— Изъ нихъ, видишь ли,—продолжалъ дядя:—вотъ этотъ,

господинъ Протасовъ, желаетъ купить домъ и мѣсто вотъ этого, Тарасова; но у Тарасова нѣтъ никакихъ бумагъ. Понимаешь: *никакихъ!* Онъ только помнитъ, что его отецъ купилъ домикъ у Власова, а вотъ этотъ, третій—есть сынъ господина Власова, ему, какъ видишь, тоже уже не мало лѣтъ.

— Семьдесятъ,—коротко замѣтилъ старикъ.

— Да, семьдесятъ, и у него тоже нѣтъ и не было никакихъ бумагъ?

— Никогда не было, — опять вставилъ старикъ.

— Онъ пришелъ удостовѣрить, что это такъ именно было и что онъ ни въ какія права не вступается.

— Не вступаемся, — отцы продали.

— Да; но кто его «отцамъ» продалъ, — тѣхъ уже нѣтъ.

— Нѣтъ; они за вѣру на Кавказъ усланы.

— Ихъ можно разыскать,—сказалъ я.

— Нечего искать, тамъ имъ вода нехороша, — воды не снесли,—всѣ покончились.

— Какъ же вы, говорю, это такъ странно поступали?

— Поступали, какъ мощно было. Приказный былъ лютъ, даней съ малыхъ дворовъ давать было нечего, а была у Ивана Ивановича китрать, въ нее и писали. А допрежъ его еще не за моей памяти Гапѣевъ купецъ былъ, у него была китрать, а послѣ всѣхъ Голованъ китрать дали, а Голованъ въ поганой ямѣ сварился и китрати сгорѣли.

— Это Голованъ, выходитъ, былъ у васъ что-то въ родѣ нотаріуса? — спросилъ дядя (который не былъ орловскимъ старожиломъ).

Старикъ улыбнулся и тихо молвилъ:

— Изъ-за чего же мотаріусъ!—Голованъ былъ справедливый человѣкъ.

— Какъ же ему всѣ такъ и вѣрили?

— А какъ такому человѣку не вѣрить: онъ свою плоть за людей съ живыхъ костей рѣзалъ.

— Вотъ и легенда! — тихо молвилъ дядя, но старикъ вслушался и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, сударь, Голованъ не лыгенда, а правда и память его будь съ похвалою.

Дядя пошутилъ, и съ путаницей. И онъ не зналъ, какъ онъ этимъ вѣрно отвѣчалъ на всю массу воспрянувшихъ во мнѣ въ это время воспоминаній, къ которымъ при

тогдашнемъ моемъ любопытствѣ мнѣ страстно хотѣлось подыскать ключъ.

А ключъ ждалъ меня, сохраняясь у моей бабушки.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Два слова о бабушкѣ: она происходила изъ московскаго купеческаго рода Колобовыхъ и была взята въ замужество въ дворянскій родъ «не за богатство, а за красоту». Но лучшее ея свойство было — душевная красота и свѣтлый разумъ, въ которомъ всегда сохранялся простонародный складъ. Войдя въ дворянскій кругъ, она уступила многимъ его требованіямъ и даже позволяла звать себя Александрой Васильевной, тогда какъ ея настоящее имя было Акилина, но думала всегда простонародно и даже безъ намѣренія, конечно, удержала нѣкоторую простонародность въ рѣчи. Она говорила «охотъ» вмѣсто этотъ, считала слово «моральо» оскорбительнымъ и никакъ не могла выговорить «бухгалтеръ». Зато она не позволила никакимъ модными давленіямъ поколебать въ себѣ вѣру въ народный смыслъ, и сама не разставалась съ этимъ смысломъ. Была хорошая женщина и настоящая русская барыня; превосходно вела домъ и умѣла принять всякаго, начиная съ императора Александра I до Ивана Ивановича Андросова. Читать ничего не читала, кромѣ дѣтскихъ писемъ, но любила обновленіе ума въ бесѣдахъ и для того «требовала людей къ разговору». Въ этомъ родѣ собесѣдникомъ ея былъ бурмистръ Михайло Лебедевъ, буфетчикъ Василій, старшій поваръ Климъ или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а къ дѣлу и къ пользѣ, разбиралось, отчего на дѣвку Феклушку мораль пущена или зачѣмъ мальчикъ Гришка мачихой не доволенъ. Вслѣдъ за такимъ разговоромъ шли свои мѣры, какъ помочь Феклушѣ покрыть косу и что сдѣлать, чтобы мальчикъ Гришка не былъ мачихой недоволенъ.

Для нея все это было полно живого интереса, можетъ быть совершенно непонятнаго ея внучкамъ.

Въ Орлѣ, когда бабушка пріѣзжала къ намъ, дружбой ея пользовались соборный отецъ Петръ, купецъ Андросовъ и Головинъ, которыхъ для нея и «призывали къ разговору».

Разговоры, надо полагать, и здѣсь были не пустые, не для одного препровожденія времени, а, вѣроятно, тоже про

какія-нибудь дѣла, въ родѣ падавшей на кого-нибудь морали, или неудовольствій мальчика съ мачихой.

У нея поэтому могли быть ключи отъ многихъ тайностей, для насъ, пожалуй, мелкихъ, но для своей среды весьма значительныхъ.

Теперь, въ это послѣднее мое свиданіе съ бабушкой, она была уже очень стара, но сохраняла въ совершенной свѣжести свой умъ, память и глаза. Она еще шила.

И въ этотъ разъ я засталъ ее у того же рабочаго столика съ верхней паркетной дощечкой, изображавшей арфу, поддерживаемую двумя амурами.

Бабушка спросила меня: заѣзжалъ ли я на отцову могилу, кого видѣлъ изъ родныхъ въ Орлѣ и что подѣлываетъ тамъ дядя? Я отвѣтилъ на всѣ ея вопросы и распространился о дядѣ, разсказавъ, какъ онъ разбирается со старыми «лыгендами».

Бабушка остановилась и подняла на лобъ очки. Слово «лыгенда» ей очень понравилась: она услыхала въ немъ наивную передѣлку въ народномъ духѣ и разсмѣялась.

— Это, говоритъ, старикъ чудесно сказалъ про лыгенду.

А я говорю: а мнѣ, бабушка, очень бы хотѣлось знать, какъ это все происходило на самомъ дѣлѣ, не по лыгендѣ.

— Про что же тебѣ именно хотѣлось бы знать?

— Да вотъ про все это: какой былъ этотъ Голованъ? Я его вѣдь чуть-чуть помню, и то все съ какими-то, какъ старикъ говоритъ, лыгендами, а вѣдь конечно же, дѣло было просто...

— Ну, разумѣется, просто, но отчего васъ это удивляетъ, что наши люди тогда купчихъ крѣпостей избѣгали, а просто продажи въ тетрадки писали? Этого еще и впереди много откроется. Приказныхъ боялись, а своимъ людямъ вѣрили, и все тутъ.

— Но чѣмъ, говорю, Голованъ могъ заслужить такое довѣріе? Мнѣ онъ, по правдѣ сказать, иногда представляется какъ будто немножко... шарлатаномъ.

— Почему же это?

— А что такое, напримѣръ, я помню, говорили будто онъ какой-то волшебный камень имѣлъ и своею кровью или тѣломъ, которое въ рѣку бросилъ, чуму остановилъ? За что его «несмертельнымъ» звали?

— Про волшебный камень—вздоръ. Это люди такъ при-

сочинили и Голованъ тому не виноватъ, а «несмертельнымъ» его прозвали потому, что въ этакомъ ужасѣ, когда надъ землей смертныя фиміазмы стояли и всѣ оробѣли, онъ одинъ безстрашный былъ и его смерть не брала?

— А зачѣмъ же, говорю, онъ себѣ ногу рѣзалъ?

— Икру себѣ отрѣзалъ.

— Для чего?

— А для того, что у него тоже прыщъ чумной сѣлъ. Онъ зналъ, что отъ этого спасенья нѣтъ, взялъ поскорѣе косу, да всю икру и отрѣзалъ.

— Можетъ ли, говорю, это быть!

— Конечно, это такъ было.

— А что, говорю, надо думать о женщинѣ Павлѣ?

Бабушка на меня взглянула и отвѣчаетъ:

— Что же такое? Женщина Павла была Фрапошкина жена; была она очень горестная и Голованъ ее пріютилъ.

— А ее, однако, называли Головановымъ «грѣхомъ».

— Всякъ по себѣ судитъ и называетъ;—не было у него такого грѣха.

— Но, бабушка, развѣ вы, милая, этому вѣрите?

— Не только вѣрю, но я это *знаю*.

— Но какъ можно это *знать*?

— Очень просто.

Бабушка обратилась къ работавшей съ нею дѣвочкѣ и послала ее въ садъ набрать малины, а когда та вышла, она значительно взглянула мнѣ въ глаза и проговорила:

— Голованъ былъ *дьвственникъ*!

— Отъ кого вы это знаете?

— Отъ отца Петра.

И бабушка мнѣ разсказала, какъ отецъ Петръ незадолго передъ своею кончиною говорилъ ей, какіе люди на Руси бываютъ неимовѣрные, и что покойный Голованъ былъ дѣвственникъ.

Коснувшись этой исторіи, бабушка вошла въ маленькія подробности и припоминала свою бесѣду съ отцомъ Петромъ.

— Отецъ Петръ, говоритъ, сначала и самъ усумнился и сталъ его подробнѣе спрашивать и даже намекнулъ на Павлу. «Нехорошо,—говоритъ,—это: ты не каешься, а соблазняешь. Не достойно тебѣ держать у себя сію Павлу. Отпусти ее съ Богомъ». А Голованъ отвѣтилъ: «Напрасно это вы, батюшка, говорите: пусть лучше она живетъ у

меня съ Богомъ, — нельзя, чтобы я ее отпустилъ». «А почему?..» «А потому, что ей головы приклонить негдѣ...» «Ну, такъ, говоритъ,—женись на ней!» «А это,—отвѣчаетъ, невозможно», а почему невозможно, — не сказалъ, и отецъ Петръ долго насчетъ этого сомнѣвался; но Павла вѣдь была чахоточная и недолго жила, и передъ смертью, когда къ ней пришелъ отецъ Петръ, то она ему открыла всю причину.

— Какая же, бабушка, была это причина?

— Они жили по любви *совершенной.*

— То-есть какъ это?

— Ангельски.

— Но, позвольте, для чего же это? Вѣдь мужъ Павлы пропалъ, а есть законъ, что послѣ пяти лѣтъ можно выйти замужъ. Неужто они это не знали?

— Нѣтъ, я думаю знали, но они еще кое-что больше этого знали.

— Напримѣръ, что?

— А напримѣръ то, что мужъ Павлы всѣхъ ихъ пережилъ и никогда не пропадалъ.

— А гдѣ же онъ былъ?

— Въ Орлѣ.

— Милая, вы шутите?.

— Ни крошечки.

— И кому же это было извѣстно?

— Имъ троимъ: Головану, Павлѣ, да самому этому негодивцу. Ты можешь вспомнить Фотея?

— Исцѣленнаго?

— Да, какъ хочешь его называй, только теперь, когда всѣ они перемерли, я могу сказать, что онъ совсѣмъ былъ не Фотей, а бѣглый солдатъ Фрапошка.

— Какъ! это былъ Павлы мужъ!

— Именно.

— Отчего же? — началъ-было я, но устыдился своей мысли и замолчалъ, но бабушка поняла меня и договорила:

— Вѣрно хочешь спросить: отчего его никто другой не узналъ, а Павла съ Голованомъ его не выдали? Это очень просто: другіе не узнали его потому, что онъ былъ не городской, да постарѣлъ, волосами заросъ, а Павла его не выдала жалѣючи, а Головань ее любячи.

— Но вѣдь юридически, по закону, Франюшка не существовалъ, и они могли обвенчаться.

— Могли,—по юридическому закону могли, да по закону своей совѣсти не могли.

— За что же Франюшка Голована преслѣдовалъ?

— Негодяй былъ покойникъ, — разумѣлъ о нихъ какъ прочіе.

— А они изъ-за него все счастіе у себя и отняли!

— Да вѣдь въ чемъ счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грѣшное. Праведное ни черезъ кого не переступитъ, а грѣшное все перешагнетъ. Они же первое возлюбили паче послѣдняго.

— Бабушка, — воскликнулъ я: — вѣдь это удивительные люди!

— Праведные, мой другъ,—отвѣчала старушка.

Но я все-таки хочу добавить — и удивительные, и даже невѣроятные. Они невѣроятны, пока ихъ окружаетъ легендарный вымыселъ, и становятся еще болѣе невѣроятными, когда удается снять съ нихъ этотъ налетъ и увидать ихъ во всей ихъ святой простотѣ. Одна одушевлявшая ихъ *совершенная любовь* поставляла ихъ выше всѣхъ страховъ и даже подчинила имъ природу, не побуждая ихъ ни закапываться въ землю, ни бороться съ видѣніями, терзавшими св. Антонія.

ИНЖЕНЕРЫ-БЕЗСРЕБРЕННИКИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ тридцатыхъ годахъ истекающаго столѣтія въ петербургскомъ инженерномъ училищѣ между воспитанниками обнаруживалось очень оригинальное и благородное направленіе, которое можно назвать стремленіемъ къ безукоризненной честности и даже къ святости. Изъ молодыхъ людей, подчинившихся названному направленію, особенно ревностно ему послужили трое: Брянчаниновъ, Чихачевъ и Николай Ферморъ. Всѣ эти три воспитанника инженернаго училища представляютъ собою очень любопытные характеры, а судьба ихъ имѣетъ общій интересъ. Во всякомъ случаѣ въ ней есть многое, что можетъ пригодиться, какъ данныя для характеристики тридцатыхъ годовъ, а также и для уясненія современныхъ разномыслій по поводу мнѣній о значеніи школы и о независимости человѣческаго характера.

Дмитрій Александровичъ Брянчаниновъ въ указанномъ направленіи былъ первымъ заводчикомъ: онъ былъ главою кружка любителей и почитателей «святости и чести», и потому о немъ слѣдуетъ сказать прежде прочихъ. Набожность и благочестіе были, кажется, врожденною чертою Брянчанинова. По крайней мѣрѣ, по книгѣ, о немъ написанной, извѣстно, что онъ былъ богомоленъ съ дѣтства, и если вѣрить френологическимъ системамъ Галя и Лафатера, то черепъ Брянчанинова являлъ признаки «возвышеннаго богопочитанія».

Онъ былъ мальчикъ съ чрезвычайно миловидною и располагающею наружностью, которая при выдержанности его характера и благородствѣ манеръ очень сильно къ нему располагала. Но Брянчаниновъ былъ остороженъ съ дѣтства; онъ не довѣрялся всѣмъ ласкамъ безъ разбора и вообще держалъ себя строго.

Такъ онъ умѣлъ себя хорошо поставить съ перваго же дня.

Вскорѣ послѣ принятія его въ инженерное училище, туда пріѣхалъ императоръ Николай Павловичъ, бывшій въ то время еще великимъ княземъ. Онъ заѣзжалъ сюда часто, но на этотъ разъ цѣль посѣщенія была особенная, а именно «выборъ пансіонеровъ».

Николай Павловичъ имѣлъ обыкновеніе самъ выбирать дѣтей въ пансіонеры своего имени и руководился въ этомъ случаѣ не старшинствомъ балловъ пріемнаго экзамена, а личнымъ взглядомъ, т.-е. великій князь назначалъ своими пансіонерами тѣхъ, кто ему нравился.

Извѣстно, что этотъ государь очень вѣрилъ въ проницательность своего взгляда и держался такъ-называемыхъ первыхъ впечатлѣній. Брянчаниновъ же произвелъ на него столь благопріятное впечатлѣніе, что великій князь не только сейчасъ же назначилъ его своимъ пансіонеромъ, но приказалъ мальчику немедленно одѣться и ждать его на подъѣздѣ. Отсюда Николай Павловичъ взялъ Брянчанинова съ собою въ экипажъ и, пріѣхавъ съ нимъ въ Аничковъ дворецъ, повелъ его за собою въ покои великой княгини, впослѣдствіи императрицы Александры Ѳеодоровны *).

Великая княгиня была тогда въ своемъ кабинетѣ и, сидя за письменнымъ столомъ, не слыхала, какъ вошелъ ея супругъ въ сопровожденіи воспитанника Брянчанинова и не оглянулась на нихъ.

Великій князь взялъ Брянчанинова за плечо и поставилъ его за спинкою кресла государыни, а самъ тихо обнялъ супругу и, поцѣловавъ ее въ голову, сказалъ ей по-французски:

---

*) «Жизнеописаніе епископа Игнатія Брянчанинова» говоритъ, что великій князь *приказалъ кадету придти во дворецъ*, но генералъ Пав. Ѳед. Ферморъ, товарищъ Брянчанинова, помнитъ, что Николай Павловичъ *взялъ Брянчанинова съ собою.*

— Я привезъ тебѣ представить моего новаго пансіонера. Посмотри на него.

Государыня оборотилась на стулѣ, посмотрѣла на мальчика въ лорнетъ и съ довольною улыбкой сказала:

— Это прекрасный мальчикъ.

Вслѣдъ затѣмъ Брянчаниновъ былъ накормленъ во дворцѣ сытнымъ завтракомъ и отпущенъ въ училище, гдѣ его ждали, и тотчасъ же подвергли обстоятельнымъ разспросамъ о томъ, что съ нимъ было.

Скромный, но правдивый юноша разсказалъ все по порядку и по правдѣ.

Благоволеніе великаго князя ему послужило въ большую пользу.

Начальство училища съ этого же дня обратило на Брянчанинова особенное вниманіе. Характеръ и способности юноши были изучены и опредѣлены въ точности и въ первый же разъ послѣ этого, когда великій князь спросилъ:

— Какъ Брянчаниновъ?

Ему по сущей справедливости отвѣчали:

— Онъ во всѣхъ отношеніяхъ примѣрный.

— Очень радъ, — замѣтилъ съ удовольствіемъ Николай Павловичъ, прозорливость котораго въ этомъ случаѣ получала себѣ пріятное ему подтвержденіе.

— А каковы его наклонности и характеръ?—продолжалъ государь.

— Онъ очень религіозенъ и отличной нравственности.

— Я очень радъ, и очень желалъ бы, чтобы такіе же были и другіе. Пусть онъ имъ служитъ примѣромъ.

Приведенныя слова государя моментально сдѣлались извѣстными воспитанникамъ и между ними быстро образовался кружокъ юношей, желавшихъ какъ можно болѣе подражать Брянчанинову, и Брянчаниновъ получилъ въ этомъ кружкѣ значеніе вождя.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Особенное благорасположеніе великаго князя оказало свое вліяніе на Брянчанинова въ томъ смыслѣ, что онъ вдругъ какъ бы ускоренно созрѣлъ и сдѣлался еще серьезнѣе. Кружокъ его состоялъ человѣкъ изъ десяти, и изъ нихъ особенною дружбой Брянчанинова сразу сталъ пользоваться Миша Чихачевъ, которому Брянчаниновъ и открывалъ свою

душу и заповѣдныя думы, выражавшія его направленія и цѣли.

— Самое главное въ нашемъ положеніи теперь то,—внушалъ онъ Чихачеву:—чтобы сберечь себя отъ гордости. Я не знаю, какъ мнѣ быть благодарнымъ за незаслуженную милость великаго князя, но постоянно думаю о томъ, чтобы сохранить то, что всего дороже. Надо слѣдить за собою, чтобы не начинать превозноситься. Прошу тебя: будь мнѣ другъ — наблюдай за мною и предостерегай, чтобы я не могъ утрачивать чистоту моей души.

Чихачевъ обѣщалъ ему эту помощь.

— Прекрасно, — отвѣчалъ онъ: — я всегда скажу тебѣ правду, но въ этомъ и не будетъ надобности, такъ какъ ты уже нашелъ средства спасти себя отъ соблазна.

— Что ты этимъ хочешь сказать?

— Ты самъ сказалъ: надо *не начинать*, и если ты никогда не будешь начинать, то оно никогда и не начнется...

— Твоя правда, — отвѣтилъ, подумавъ, Брянчаниновъ:— но... все-таки наблюдай за мною. Я боюсь, что могу быть втянутъ на этотъ путь отъ тѣхъ самыхъ людей, которые должны быть мнѣ примѣромъ. Вѣдь мы «должны быть покорны начальникамъ нашимъ...»

— Да, это правда, — отвѣтилъ Чихачевъ и тотчасъ же замѣтилъ, что лицо Брянчанинова вдругъ какъ бы озарилось какою-то радостною мыслью,—онъ взялъ товарища за обѣ руки, сжалъ ихъ въ своихъ рукахъ и, глядя съ серьезною восторженностью вверхъ, какъ бы читалъ подъ высокимъ карнизомъ покоя:

— Я вижу одно вѣрное средство для того, чтобы не поддаться опасности соблазна, который представляютъ люди, и ты, можетъ-быть, отгадываешь, въ чемъ оно заключается...

— Мнѣ кажется, что я отгадываю, о чемъ ты думаешь.

— Я думаю, что надо всегда смотрѣть на Богочеловѣка.

— Ты правъ.

— Повѣрь, — если мы не будемъ сводить съ Него нашихъ мысленныхъ глазъ и будемъ стараться во всемъ Ему слѣдовать, то для насъ нѣтъ никакой опасности. Онъ насъ спасетъ отъ опасности потерять себя во всѣхъ случаяхъ жизни.

— Вѣрю.

— И вотъ Онъ съ нами, и мы въ Немъ, и Онъ въ насъ. Мнѣ кажется, я понялъ сейчасъ въ этихъ словахъ новый удивительный смыслъ.

— И я тоже.

Товарищи восторженно обнялись и съ этой минуты сдѣлались неразрывными друзьями. Дружба ихъ, впрочемъ, носила особый отпечатокъ чего-то аскетическаго. Они дружили для того, чтобы поддерживать одинъ другого въ общемъ ихъ стремленіи уйти отъ житейскихъ соблазновъ къ поднявшемуся ихъ возвышенному идеалу чистой жизни въ духѣ христіанскаго ученія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Изъ различныхъ путей, которыми русскіе образованные люди подобнаго настроенія въ то время стремились къ достиженію христіанскаго идеала, наибольшимъ вниманіемъ и предпочтеніемъ пользовались библейскій піэтизмъ и тяготѣніе къ католичеству, но Брянчаниновъ и Чихачевъ не пошли во слѣдъ ни за однимъ изъ этихъ направленій, а избрали третье, которое тогда только обозначалось и потомъ довольно долго держалось въ обществѣ: это было православіе въ духѣ митрополита Михаила. Многіе тогдашніе люди съ благочестивыми стремленіями и съ образованнымъ вкусомъ, по той или по другой причинѣ, никакъ не могли «принять все какъ въ катехизисѣ», но не хотѣли слушать и «чуждаго гласа», а получали успокоеніе для своихъ мучительныхъ противорѣчій въ излюбленныхъ толкованіяхъ и поученіяхъ Михаила. Находить же религіозное примиреніе съ своею совѣстью—кому не дорого изъ людей, имѣющихъ совѣсть? И у Михаила было очень много почитателей, оставшихся ему вѣрными и послѣ того, какъ въ его сочиненіяхъ признано было не все «соотвѣтственнымъ».

Брянчаниновъ и Чихачевъ были изъ числа большихъ почитателей преосв. Михаила *). Они внимали и охотно усвоивали его религіозныя мнѣнія и пошли по его напра-

*) Въ книгѣ о жизни Брянчанинова, на стр. 15-й, упоминается, что «въ то время разнообразныя религіозныя идеи занимали столицу сѣверную, препирались и боролись между собою», но не показано, какъ эта борьба касалась Брянчанинова и Чихачева, а не касаться ихъ она не могла. Устныя указанія на то, что они читали сочиненія митрополита Михаила, отнюдь не представляются невѣроподобными.

вленію, въ которомъ они могли не предаваться чуждому русской натурѣ вліянію католичества и въ то же время не оставаться наединѣ безъ всякой церковной теплоты, на что приходилось обрекать себя людямъ, слѣдовавшимъ строго-піэтистическимъ традиціямъ.

Оба молодые человѣка рано стали вести самую воздержную жизнь, разумѣя воздержность не въ одной пищѣ, но главнымъ образомъ въ недопущеніи себя до гнѣва, лжи, раздражительности, мщенія и лести. Это дало ихъ характерамъ не только отпечатокъ благородства, но и благочестія, которое вскорѣ же было замѣчено сначала товарищами, а потомъ и начальствомъ, и создало Брянчанинову такое почетное положеніе среди воспитанниковъ, какого не достигалъ въ инженерномъ училищѣ никто другой ни до него, ни послѣ него. Ему всѣ вѣрили и никто не имѣлъ случая сожалѣть о своей съ нимъ откровенности, но откровенность эта тоже имѣла особенный, ограничительный характеръ, отвѣчавшій характеру благочестиваго юноши, рано получившаго отъ товарищей прозвище «монаха». Брянчанинову нельзя было говорить ни о какихъ школьныхъ гадостяхъ, такъ какъ онъ всегда былъ серьезенъ и не любилъ дурныхъ школьныхъ продѣлокъ, которыя тогда были въ большомъ ходу въ закрытыхъ русскихъ училищахъ. Ни Брянчаниновъ, ни Чихачевъ не участвовали тоже ни въ какихъ проявленіяхъ молодечества и прямо говорили, что они желаютъ не знать о нихъ, потому что не хотятъ быть о нихъ спрошенными, ибо не могутъ лгать и не желаютъ ни на кого доказывать. Такая твердая откровенность поставила ихъ въ особенное, прекрасное положеніе, въ которомъ они никогда не были въ необходимости никого выгораживать, прибѣгая ко лжи, и ни на кого ничего не доказывали. Воспитатели знали этотъ «духъ» Брянчанинова и Чихачева и никогда ихъ не спрашивали въ тѣхъ случаяхъ, когда представлялась надобность изслѣдовать какую-нибудь кадетскую продѣлку. Съ откровенностями въ этомъ родѣ товарищи къ Брянчанинову и Чихачеву и не появлялись, но зато во всѣхъ другихъ случаяхъ, если встрѣчалось какое-либо серьезное недоразумѣніе, или кто-нибудь имѣлъ горе и страданіе, тѣ смѣло обращались къ «благочестивымъ товарищамъ-монахамъ» и всегда находили у нихъ самое теплое, дружеское участіе. Къ Брянчанинову обращались

тоже въ случаѣ несогласій между товарищами и его мнѣніе принимали за рѣшеніе, хотя онъ самъ всегда устранялся отъ суда надъ другими, говоря: «меня никто не поставилъ, чтобы судить и дѣлить другихъ». Но самъ онъ дѣлился съ нуждающимися всѣмъ, чѣмъ могъ подѣлиться.

Чихачевъ хотя былъ того же самаго духа, какъ и другъ его Брянчаниновъ, но имѣлъ второстепенное значеніе, съ одной стороны потому, что Брянчаниновъ обладалъ болѣе яркими способностями и прекраснымъ даромъ слова, а съ другой — потому, что болѣе молодой по лѣтамъ. Чихачевъ добровольно тушевался и самъ любилъ при каждомъ случаѣ отдавать первенство своему другу.

Вліяніе ихъ на товарищей было большое; учились они оба прекрасно и начальство заведенія надѣялось, что изъ нихъ выйдутъ превосходные инженеры. Въ томъ же былъ увѣренъ и великій князь, который «очень желалъ видѣть въ инженерномъ вѣдомствѣ честныхъ людей».

Оба друга окончили курсъ въ 1826 г., сохранивъ за собою свое почетное положеніе до послѣдняго дня своего пребыванія въ училищѣ, оставили тамъ по себѣ самую лучшую память, а также и нѣсколькихъ послѣдователей, изъ которыхъ потомъ вскорѣ же отличился своею непосредственностью и неуклонностью своего поведенія Николай Ферморъ, о которомъ разскажемъ ниже.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

По окончаніи кадетскихъ классовъ въ инженерномъ училищѣ, Брянчаниновъ и Чихачевъ вышли на вольную квартиру и поселились вмѣстѣ на Невскомъ проспектѣ въ большомъ и очень нелѣпомъ домѣ Лопатина. Дома этого теперь уже не существуетъ, — онъ сломанъ и по мѣсту, которое занималъ его обширный дворъ, пролегаетъ нынѣшняя Пушкинская улица.

Удаленіе изъ-подъ надзора, которому друзья подчинялись въ закрытомъ заведеніи, открыло имъ большую свободу располагать своимъ временемъ, сообразно своимъ стремленіямъ и вкусамъ. Они этимъ и воспользовались. Они повели образъ жизни самый строгій, — чисто-монашескій, — соблюдали постные дни; не посѣщали никакихъ увеселеній и гульбищъ; избѣгали всякихъ легкомысленныхъ знакомствъ и ежедневно посѣщали церковь. Каждый день

они вставали очень рано и шли пѣшкомъ въ Невскую лавру, гдѣ выслушивали раннюю обѣдню, и затѣмъ тамъ же пили чай у голосистаго іеродіакона Виктора *). Объ этомъ Викторѣ сохранилось преданіе, какъ о монахѣ очень слабомъ,— онъ велъ самую нетрезвую жизнь и говорилъ всѣмъ грубости, но ему все это прощалось за хорошій голосъ и за отмѣнное мастерство руководить исполнителями при торжественныхъ богослуженіяхъ. Но, какъ человѣкъ, онъ былъ очень добръ, прямъ и до того откровененъ, что не могъ нимало покривить душою и притвориться. Такою своею прямотой онъ содержалъ въ постоянномъ страхѣ извѣстнаго Андрея Николаевича Муравьева, котораго находилъ «противнымъ», а его молодыхъ «сенъ-сировъ» называлъ «сквернавцами», и просто выгонялъ вонъ.

Помолившись за раннею обѣдней и напившись чаю у Виктора, друзья шли въ свое инженерное училище, въ офицерскіе классы, гдѣ оставались положенное время, а потомъ уходили домой, скромно трапезовали и все остальное время дня проводили за учебными занятіями, а покончивъ съ ними, читали богословскія и религіозныя книги, опять-таки отдавая передъ многими изъ нихъ предпочтеніе сочиненіямъ митрополита Михаила **).

Мягкое, миролюбивое, христіанское настроеніе этого писателя оказало чрезвычайно сильное вліяніе на обоихъ молодыхъ людей и измѣнило путь ихъ жизни и дѣятельности. Первое, чѣмъ повредилъ имъ Михаилъ, выразилось тѣмъ, что ни Брянчаниновъ, ни Чихачевъ не захотѣли воевать и не могли сносить ничего того, къ чему обязывала ихъ воен-

---

*) Разсказъ о близости Брянчанинова и Чихачева съ Викторомъ представляется страннымъ и почти невѣроятнымъ. Извѣстно, что они ходили въ лавру *къ духовнику* и что лица, желавшія отклонить ихъ отъ набожности, дѣлали въ этомъ направленіи большія усилія. Не слѣдуетъ ли думать, что юноши, съ своей стороны, старались скрывать, къ кому именно они ходили въ лавру, а ихъ товарищи думали, что они ходятъ къ веселому Виктору.

**) Михаилъ Десницкій, изъ студентовъ московской академіи, былъ приходскимъ священникомъ, потомъ придворнымъ священникомъ Зимняго дворца, потомъ придворнымъ іеромонахомъ, и съ 1818 года митрополитомъ петербургскимъ. Скончался 24-го марта 1821 года. Сочиненія его до сихъ поръ многими любимы и высоко цѣнятся, но они рѣдко встрѣчаются въ продажѣ. Спеціалисты, впрочемъ, находили въ нихъ большіе недостатки.

ная служба, для которой они были приготовлены своимъ спеціальнымъ военнымъ воспитаніемъ. Потомъ они не попадали въ общій тонъ тогдашняго инженернаго вѣдомства, гдѣ тогда инспекторствовалъ генералъ Ламновскій, имя котораго было исторически связано съ поставкою въ казну мрамора, почему его и звали «мраморнымъ». Въ инженерномъ вѣдомствѣ многіе тогда были заняты заботами о наживѣ и старались ставить это дѣло «правильно и братски»,—вырабатывали *систему самовознагражденія*.

«Монахи» не хотѣли ни убивать людей, ни обворовывать государства и потому, можетъ-быть, по неопытности, сочли для себя невозможною инженерную и военную карьеру и рѣшили удалиться отъ нея, не смотря на то, что она могла имъ очень улыбаться, при ихъ хорошихъ родственныхъ связяхъ и при особенномъ вниманіи императора Николая Павловича къ Брянчанинову. Государь хотя о немъ теперь уже не освѣдомлялся такъ часто, какъ прежде, но если бы Брянчаниновъ захотѣлъ, то ему, при его упомянутыхъ родственныхъ связяхъ, всегда было легко напомнить о себѣ государю, и тотъ, безъ сомнѣнія, оказалъ бы ему свою всесильную помощь. Брянчаниновъ, однако, этого не только не искалъ, но даже удерживалъ родныхъ отъ всякихъ о немъ заботъ въ этомъ родѣ. Онъ старался держать себя незамѣтно и скромно и какъ будто имѣлъ на умѣ что-то другое.

Совершенно такъ же велъ себя и Чихачевъ. А между тѣмъ они оба окончили офицерскіе классы и были выпущены на службу. Брянчаниновъ изъ верхняго класса въ Динабургъ, а Чихачевъ изъ нижняго—въ учебный саперный батальонъ. Тутъ они на время разстались и въ 1827 году Брянчаниновъ выпросился въ отставку и ушелъ въ свирскій монастырь, гдѣ и остался послушникомъ. По другимъ свѣдѣніямъ это было иначе, и это интересно, потому что вторая версія содержательнѣе и полнѣе выражаетъ поэтическую борьбу молодыхъ аскетовъ, какъ о ней разсказывали въ обществѣ.

По разсказамъ современниковъ, Брянчаниновъ и Чихачевъ колебались уходить изъ міра въ монастырь и рѣшились на это только тогда, когда представилась необходимость взяться за оружіе для настоящихъ военныхъ дѣйствій.

Какъ только у насъ возгорѣлась война съ Турціею, то

Чихачевъ и Брянчаниновъ оба разомъ подали просьбы объ отставкѣ. Это было и странно, и незаконно, и даже постыдно, такъ какъ представляло ихъ трусами, но тѣмъ не менѣе они ни на что это не посмотрѣли и просили выпустить ихъ изъ военной службы въ отставку.

Истинная причина ихъ уклоненія отъ военной службы въ прошеніяхъ ихъ была не объяснена, но ихъ семейнымъ и друзьямъ было извѣстно, что она заключалась въ томъ, что они находили военное дѣло несовмѣстнымъ съ своими христіанскими убѣжденіями. Какъ люди послѣдовательные и искренніе, они не хотѣли не только воевать оружіемъ, но находили, что не могутъ и служить приготовленіемъ средствъ къ войнѣ. Впрочемъ, и самое возведеніе оборонъ они не усматривали возможности производить съ полною честностью. Имъ казалось, что надо было «попасть въ систему самовознагражденія» или противодѣйствовать тѣмъ, чьи приказанія должно было исполнять.

Конечно, со стороны молодыхъ людей тутъ было, можетъ-быть, значительное преувеличеніе опасности, но тогда взятки царили повсюду и самъ государь Николай Павловичъ, какъ явствуетъ изъ многихъ напечатанныхъ впослѣдствіи анекдотовъ, находилъ себя не въ силахъ остановить это страшнѣйшее зло его времени.

Нашимъ «монахамъ» казалось, что служить честно—это значило постоянно поперечить всѣмъ желающимъ наживаться, и надо порождать распри и несогласія, безъ всякой надежды отстоять правду и не допускать повсюду царствовавшихъ злоупотребленій. Они поняли, что это подвигъ, требующій такой большой силы, какой они въ себѣ не находили, и потому они рѣшились бѣжать.

Борецъ болѣе смѣлый еще подрасталъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Когда государю было доложено, что Брянчаниновъ и Чихачевъ подали прошенія объ отставкѣ, императоръ разгнѣвался и сказалъ: «это вздоръ!»—и ихъ не выпустили. Надо было покориться, но при хорошихъ связяхъ тогда удавалось многое, что для людей обыкновеннаго положенія было невозможно. Черезъ нѣкоторое время, когда войска наши уже двинулись въ Турцію, Брянчаниновъ и Чихачевъ опять подали вторично просьбы объ отставкѣ, но въ

этотъ разъ прибѣгнули уже къ содѣйствію тѣхъ родственныхъ связей, которыми не хотѣли пользоваться до сей поры для другихъ цѣлей. Связи эти были столь сильны, что дѣло прошло какъ-то мимо государя и Чихачева съ Брянчаниновымъ тихонько выпустили въ отставку, «подъ сурдинкою».

Это было будто бы уже на походѣ и молодые друзья должны были отстать отъ своихъ частей при пересудахъ и ропотѣ своихъ товарищей, изъ которыхъ одни имъ завидовали, какъ баричамъ, уходившимъ отъ службы въ опасное время, а другіе старались дать имъ чувствовать свое презрѣніе, какъ трусамъ.

Друзья предвидѣли такое истолкованіе своего поступка и перенесли эти непріятности съ давно выработаннымъ въ себѣ спокойствіемъ. Въ утѣшеніе себѣ они знали, что они не трусы, и удаляются отъ войны не изъ боязни смерти, а потому они не обижались, а спѣшили какъ можно скорѣе и незамѣтнѣе «бѣжать изъ арміи».

Выходъ ихъ будто бы, въ самомъ дѣлѣ, былъ похожъ на побѣгъ: объ отпускѣ ихъ изъ частей старались не говорить,—ихъ будто куда-то «послали» и потомъ они совсѣмъ скрылись, избѣжавъ, такимъ образомъ, еще многихъ другихъ непріятностей *).

Сначала они будто отправились къ сѣверу вмѣстѣ, но на дорогѣ разстались: Брянчаниновъ поѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ пребываніе его казалось очень опаснымъ, потому что онъ тутъ безпрестанно рисковалъ попасть въ глаза императору, а Чихачевъ пріѣхалъ къ своей сестрѣ Ольгѣ Васильевнѣ, по мужѣ Кутузовой. Онъ говорилъ о своемъ возвращеніи не много и не ясно, а о дальнѣйшихъ своихъ намѣреніяхъ совсѣмъ не говорилъ ничего. Его находили «страннымъ», какъ будто потерянным или отрѣшеннымъ отъ міра, и не предающимся живо ни радостямъ, ни печалямъ. Это было очень тяжело видѣть въ молодомъ человѣкѣ, и семейные Чихачева общими силами старались

*) Эта часть разсказа совершенно не согласна съ тѣмъ, что читается въ жизнеописаніи Брянчанинова и представляется настоящею легендой, въ которой удаленіе молодыхъ людей отъ міра желали представить какъ можно эффектнѣе. Однако, разсказъ этотъ держится въ этомъ видѣ до сихъ поръ и ему вѣрятъ, несмотря на то, что книга передаетъ дѣло иначе.

узнать, «что у него на душѣ». Одни думали «влюбленъ», другимъ казалось «замѣшанъ», а одинъ родственникъ съ волтерьянскою заправкой увѣрялъ, что племянникъ «помѣшанъ».

— На чемъ?

— Гордецъ. Хочетъ быть лучше всѣхъ... Набожный чистоплюй... Пусть міръ тонетъ въ смрадѣ грѣха, а онъ будетъ сидѣть какъ дроздъ на березкѣ, и свои перышки перечищать носикомъ... Чистоплюй!

На этого волтерьянца махали рукою, а Чихачевъ въ одинъ прекрасный день пропалъ изъ дома.

Мать и сестра его были въ отчаяніи. Особенно мать, безпокойства которой возрастали отъ цѣлой тучи предположеній и догадокъ, одна тревожнѣе другой. Положеніе было ужасное. Семья и старалась искать бѣглеца и въ то же время боялась, чтобы не распространился широко слухъ объ его исчезновеніи. Надо было, чтобы это не дошло какъ нибудь въ Петербургѣ до государя. Всего ужасно боялись,— и надо было бояться. Начались и очень долго продолжались въ величайшемъ секретѣ большіе поиски, въ которыхъ принимали участіе родственники пропавшаго и особенно преданные и довѣренные крѣпостные слуги, — шла съ кѣмъ можно осторожная, но горячая переписка, но все это оставалось безъ результатовъ. Спросили даже волтерьянца, но тотъ вмѣсто отвѣта посовѣтовалъ читать житіе Алексѣя человѣка Божія, такъ какъ, по его мнѣнію, Чихачевъ будто всего вѣроятнѣе поревнуетъ примѣру этого святого. На «безчувственнаго циника» кивали головами, а слѣдовъ пропавшаго бѣглеца все-таки не находили нигдѣ. Семья и особенно мать переносили тяжкое горе и вдобавокъ должны были молчать и не показывать вида, что молодой человѣкъ пропалъ, и такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, онъ самъ объявился въ Николо-Бабаевскомъ монастырѣ на Волгѣ. Волтерьянецъ угадывалъ всѣхъ ближе къ истинѣ: оба друга, Чихачевъ и Брянчаниновъ, появились вмѣстѣ въ Бабайки и тутъ же оба вмѣстѣ начали одновременно свой путь въ иночествѣ, которое было имъ какъ бы врожденно и въ школѣ напророчено *).

*) На самомъ дѣлѣ Брянчаниновъ попалъ въ Бабайки только въ концѣ своей монашеской жизни, а Чихачевъ былъ здѣсь очень короткое время для свиданія съ другомъ.

Гдѣ бѣжавшій изъ имѣнія О. В. Кутузовой Чихачевъ встрѣтился съ появившимся на короткое время въ Петербургѣ Брянчаниновымъ,—это осталось ихъ тайною, которая, можетъ-быть, и не представляетъ ничего особенно интереснаго, но, тѣмъ не менѣе, они объ этомъ никогда не говорили. Важенъ тотъ фактъ, какъ и гдѣ началось это «послѣдованіе Алексѣю человѣку Божію» и чѣмъ оно разрѣшилось, представивъ собою намъ два врожденные характера, достопримѣчательные своею цѣльностью и послѣдовательностью.

Ихъ не въ силахъ были измѣнить ни среда школы и ея направленіе, ни самый лестный фаворъ, ни строгое осужденіе, ни укоризны трусостью, какъ порокомъ, который долженъ бы несносно уязвлять благородное чувство, если бы оно не видало себѣ оправданія въ идеалѣ высшемъ. Пусть, быть-можетъ, этотъ идеалъ понятъ и узко, но тѣмъ не менѣе онъ требовалъ настоящаго мужества для своего цѣлостнаго осуществленія. И у Брянчанинова съ Чихачевымъ не оказалось недостатка въ мужествѣ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Проходитъ рядъ лѣтъ тихихъ монастырскихъ трудовъ и Брянчаниновъ снова попадаетъ на видъ государя. Сдѣлать это рѣшился московскій митрополитъ Филаретъ Дроздовъ, которому, конечно, не безызвѣстно было, что императоръ Николай Павловичъ не хотѣлъ выпускать Брянчанинова въ отставку. Напомнить теперь о немъ значило привести на память государю всю исторію, и онъ могъ спросить: кто и когда выпустилъ Брянчанинова? Но Филаретъ все-таки вывелъ Брянчанинова, приспособленнаго совсѣмъ не къ тѣмъ цѣлямъ, къ которымъ его тщательно приготовляло петербургское инженерное училище.

Спустя лѣтъ десять, въ продолженіе которыхъ императоръ Николай Павловичъ не вспоминалъ о Брянчаниновѣ и Чихачевѣ, государь въ одну изъ своихъ побывокъ въ Москвѣ посѣтилъ митрополита Филарета и выражалъ неудовольствіе по поводу событій, свидѣтельствовавшихъ о большой распущенности въ жизни монаховъ *). Митропо-

*) На самомъ дѣлѣ разговоръ въ этомъ родѣ происходилъ въ Петербургѣ, а не въ Москвѣ.

литъ не возражалъ, но сказалъ, что есть теперь прекрасный игуменъ, настоящій монахъ, на котораго можно положиться и съ нимъ можно будетъ многое поочистить и исправить въ монастыряхъ.

— Кто этотъ рѣдкій человѣкъ?—спросилъ государь.

— Игнатій Брянчаниновъ.

— Брянчаниновъ? Я помню одного Брянчанинова въ инженерномъ училищѣ.

— Это тотъ самый и есть.

— Развѣ онъ пошелъ въ монахи?

— Онъ уже игуменъ.

— Да, я помню, онъ и въ училищѣ еще отличался набожностью и прекраснымъ поведеніемъ. Я очень радъ, что онъ нашелъ свое призваніе и можетъ быть полезнымъ для управы съ монахами. Они невозможны.

— Отецъ Игнатій уже привелъ нѣсколько монастырей въ отличный порядокъ.

— Въ такомъ разѣ, если онъ у васъ уже привелъ въ порядокъ, то я попрошу васъ теперь дать его мнѣ, чтобы онъ мнѣ поочистилъ хоть немножко мою петербургскую Сергіевскую пустынь. Тамъ монахи ведутъ себя такъ дурно, что подаютъ огромный соблазнъ.

— Воля вашего величества будетъ исполнена, и я твердо надѣюсь, что Игнатій Брянчаниновъ окажется полезнымъ всюду, куда вамъ угодно будетъ его назначить.

— Очень радъ, но жалѣю, что онъ одинъ такой: одинъ въ полѣ—не воинъ.

— Съ нимъ есть его другъ,—такой же строгій монахъ,—Чихачевъ.

— Ба! Чихачевъ! Это тоже изъ той же семьи,—мой кадетъ.

— Точно такъ, ваше величество.

— Ну, такъ и прошу перевести ихъ вмѣстѣ.

Брянчаниновъ пріѣхалъ игуменомъ въ Сергіевскую пустынь и привезъ съ собою друга своего Чихачева, который былъ съ этой поры его помощникомъ, и оба они начали «чистить» и «подтягивать» сергіевскихъ монаховъ, жизнь которыхъ въ то время, дѣйствительно, представляла большой соблазнъ, легендарныя сказанія о коемъ и до сей поры увеселяютъ любителей этого жанра *).

*) На это есть указанія и въ «Жизнеописаніи» (стр. 66 и 67).

Послѣдующая духовная карьера Игнатія Брянчанинова извѣстна. Онъ былъ епископомъ безъ образовательнаго ценза и имѣлъ много почитателей и много враговъ.

Чихачевъ не достигъ такихъ высокихъ іерархическихъ степеней и къ нимъ не стремился. Ему во всю жизнь нравилось тихое, незамѣтное положеніе и онъ продолжалъ тушеваться какъ при другѣ своемъ Брянчаниновѣ, такъ и послѣ. Превосходный музыкантъ, пѣвецъ и чтецъ, онъ занимался хоромъ и чтецами и былъ извѣстенъ только въ этой области. Велъ онъ себя какъ настоящій инокъ, никогда, впрочемъ, не утрачивая отпечатка хорошаго общества и хорошаго тона, даже подъ схимою. Схиму носилъ съ рѣдкимъ достоинствомъ, устраняя отъ себя всякое покушеніе разглашать что-либо о какихъ бы то ни было его особливыхъ дарахъ.

Даже набожныя дамы, создающія у насъ репутацію святыхъ и чудотворцевъ при жизни, ничего особеннаго о Чихачевѣ внушать не смѣли. Онъ ни предсказаній не дѣлалъ, ни чудесъ не творилъ.

Музыкальныя и вокальныя способности и познанія Чихачева до нѣкоторой степени характеризуются слѣдующимъ за достовѣрное сообщаемымъ случаемъ: одна изъ его родственницъ, Марія Павловна Ферморъ, была замужемъ за петербургскимъ генералъ-губернаторомъ Кавелинымъ. Чихачевъ нерѣдко навѣщалъ ее. Однажды, когда онъ сидѣлъ у Кавелиной, къ ней пріѣхалъ съ прощальнымъ визитомъ извѣстный Рубини. Кавелина, знакомя встрѣтившихся гостей, сказала Рубини, что Чихачевъ—ея дядя, и что онъ хотя и монахъ, но прекрасно знаетъ музыку и обладаетъ превосходнымъ голосомъ.

— Но васъ онъ никогда не слыхалъ, — добавила Марія Павловна.

— Почему же это такъ?

— Это потому, что у насъ духовныя лица не могутъ ходить въ театры.

— Какая жалость, — отвѣчалъ Рубини: — музыка возвышаетъ чувства и театръ можетъ наводить на очень глубокія размышленія.

— Ну, ужъ какъ бы это тамъ ни было, а у насъ такое правило, что монахи оперъ не слушаютъ.

— Но, все равно, вашъ дядюшка могъ быть въ моемъ концертѣ.

Кавелина улыбнулась и отвѣчала:

— Нашимъ монахамъ не позволено бывать и въ концертахъ.

— Это варварство!—воскликнулъ Рубини:—и, я думаю, вы не станете ему слѣдовать и не запретите мнѣ спѣть при вашемъ дядѣ.

— Я буду отъ этого въ восторгѣ.

— А вы ничего противъ этого не имѣете? — обратился, живо вставая съ мѣста, Рубини къ самому Чихачеву.

— Я очень радъ слышать знаменитаго Рубини.

— Въ такомъ случаѣ Рубини поетъ съ двойною цѣлью, чтобы доставить удовольствіе хозяйкѣ дома и своему собрату, а въ то же время, чтобы сдѣлать неудовольствіе грубымъ людямъ, не понимающимъ, что музыка есть высокое искусство.

Марія Павловна Кавелина открыла рояль и сѣла аккомпанировать, а Рубини всталъ и пропѣлъ для Чихачева нѣсколько лучшихъ своихъ арій.

Чихачевъ слушалъ съ глубочайшимъ вниманіемъ, и когда пѣніе было окончено, онъ сказалъ:

— Громкая слава ваша нимало не преувеличиваетъ достоинствъ вашего голоса и умѣнья. Вы поете превосходно.

Такъ скромно и достойно выраженная похвала Чихачева чрезвычайно понравилась Рубини. Ему, конечно, давно уже надокучили и опротивѣли всѣ опошлѣвшіе возгласы дешеваго восторга, которыми люди банальныхъ вкусовъ считаютъ за необходимое привѣтствовать артистовъ. Въ словахъ Чихачева, дѣйствительно, была похвала, которую можно принять, не краснѣя за того, кто хвалитъ. И Рубини, сжавъ руку монаха, сказалъ:

— Я очень радъ, что мое пѣніе вамъ нравится, но я хотѣлъ бы имѣть понятіе о вашемъ пѣніи.

Чихачевъ сейчасъ же, молча, всталъ, самъ сѣлъ за фортепіано и, самъ себѣ аккомпанируя, пропѣлъ что-то изъ какого-то духовнаго концерта.

Рубини пришелъ въ восхищеніе и сказалъ, что онъ въ жизнь свою не встрѣчалъ такой удивительной октавы и жалѣетъ, что лучшіе композиторы не знаютъ о существованіи этого голоса.

— Къ чему же бы это послужило?—произнесъ Чихачевъ.

— Для вашего голоса могли быть написаны вдохновенныя партіи и ваша слава, вѣроятно, была бы громче моей!

Чихачевъ молчалъ и, сидя бокомъ къ клавіатурѣ, тихо перебиралъ клавиши.

Рубини всталъ и началъ прощаться съ Кавелиной и съ ея гостемъ.

Подавъ руку Чихачеву, онъ еще разъ сильно сжалъ его руку, посмотрѣлъ ему въ глаза и воскликнулъ съ восторгомъ:

— Ахъ, какой голосъ! какой голосъ пропадаетъ безвѣстно!

— Онъ не пропадаетъ: я имъ пою Богу моему дондеже есмь,—проговорилъ Чихачевъ по-русски.

Рубини попросилъ перевести ему эту фразу и, подернувъ плечами, сказалъ:

— Ага!.. Да, да... это другое дѣло.

Къ сожалѣнію, престарѣлый свидѣтель этого происшествія не могъ вспомнить, что̀ такое пѣлъ для Рубини Чихачевъ въ гостиной М. П. Кавелиной. А это очень любопытно, потому что голосъ у Чихачева была знаменитая октава, которая очень важна въ хорѣ, но не solo. Слѣдовательно, очень бы интересно знать, что̀ такое Чихачевъ могъ исполнить одинъ своею октавой, и притомъ въ такомъ совершенствѣ, что вызвалъ восторги у Рубини.

Можетъ-быть, кто-нибудь это знаетъ отъ какого-нибудь болѣе памятливаго свидѣтеля или современника. Это весьма возможно, такъ какъ встрѣча Рубини съ Чихачевымъ въ гостиной генералъ-губернаторскаго дома и все, что̀ тамъ произошло, говорятъ, очень быстро распространилось въ «свѣтѣ» и было разнесено молвою по городу. Зналъ объ этомъ и императоръ Николай, и отвѣтъ Чихачева: «пою Богу моему» чрезвычайно ему понравился.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Послѣ выхода Брянчанинова и Чихачева изъ инженернаго училища, тамъ не переставалъ держаться *ихъ духъ*, которымъ отъ нихъ «надышались» малыши, и въ свою очередь показали черты, совершенно непригодныя для службы, къ какой они предназначались по своему спеціальному образованію. Однимъ изъ наиболѣе «надышавшихся» былъ Николай Ферморъ.

Въ инженерномъ училищѣ воспитывались два брата Ферморы, Павелъ и Николай. Старшій, Павелъ Ѳедоровичъ, учился въ одно время съ Брянчаниновымъ, былъ съ нимъ дружент и находился подъ его непосредственнымъ духовнымъ вліяніемъ, а младшій, Николай Ѳедоровичъ, шелъ позже, вслѣдъ за братомъ, и поступилъ въ инженерное училище, когда государь Николай Павловичъ уже пересталъ быть великимъ княземъ, а сдѣлался императоромъ. Непосредственное вниманіе его тогда къ училищу, за множествомъ другихъ дѣлъ, уже прекратилось и только въ преданіяхъ разсказывалось, какъ онъ, бывало, заходилъ въ училище съ вечерней прогулки, иногда даже вдвоемъ съ государыней Александрой Ѳеодоровной. Ее, бывало, оставитъ въ залѣ, а самъ обходилъ дортуары, гдѣ воспитанники уже спали, и Ламновскій чаще всѣхъ имѣлъ удачу встрѣчать великаго князя и черезъ то казался ему очень усерднымъ къ своему инспекторскому служенію, что на самомъ дѣлѣ было далеко не такъ.

По вступленіи Николая Павловича на престолъ, высшее попеченіе объ инженерномъ училищѣ имѣлъ братъ государя, великій князь Михаилъ Павловичъ. Онъ слылъ за очень строгаго и грознаго и любилъ, чтобы его боялись,— и его, дѣйствительно, очень боялись и даже трепетали дѣти. Ламновскій при немъ продолжалъ служить, какъ и при Николаѣ Павловичѣ. «Духъ» въ училищѣ держался все тотъ же: одними практиковалась «система самовознагражденія», а другіе къ этому присматривались и приспособлялись, каждый по соображеніямъ своего ума. Одни выходили во вкусѣ Ламновскаго, другіе въ менѣе смѣломъ, но еще въ болѣе тонкомъ родѣ, и «мелочами не мазались». Послѣ взятія Варшавы, когда тамъ, въ Новогеоргіевскѣ и въ другихъ пунктахъ бывшаго Царства Польскаго, началась постройка новыхъ крѣпостей, «система самовознагражденія», казалось, достигла до самаго наивысшаго своего развитія. Больше всего достойна памяти и удивленія откровенность этого направленія въ молодежи: инженерные юнкера весело и беззастѣнчиво говорили, что они «иначе не понимаютъ, какъ быть инженеромъ—это значитъ *купаться въ золотѣ*». Такъ они и росли съ этимъ убѣжденіемъ, укрѣплялись въ немъ и, выходя, начинали его практиковать.

Но какъ вездѣ бываютъ и всегда могутъ быть неподхо-

дящія къ общему правилу исключенія, такъ было и здѣсь. Рядомъ съ тѣми, которые приспособлялись активно практиковать «систему самовознагражденія», или хотя пассивно «не мѣшать товарищамъ», были безпокойные отщепенцы, «надышавшіеся брянчаниновскимъ духомъ». Ихъ звали «сектою» и не даромъ на нихъ косились, какъ бы предчувствуя, что изъ нихъ, наконецъ, выйдетъ когда-нибудь «предерзкая собака на сѣнѣ». Таковою и вышелъ Николай Ферморъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

«Секта Брянчанинова», подъ вліяніе которой подпалъ въ инженерномъ училищѣ Николай Ѳедоровичъ Ферморъ, къ его времени потерпѣла значительное измѣненіе въ духѣ. Съ отходомъ перваго своего основателя и руководителя Брянчанинова и его друга Чихачева, она утратила преобладаніе религіознаго направленія, но зато еще болѣе повысила требованія общей честности и благородства.

Разумѣется, все это держалось въ очень небольшомъ кружкѣ юношей, которые не только составляли меньшинство, но были, такъ-сказать, каплею въ морѣ, которую съ полнымъ удобствомъ можно было не замѣчать или считать ни во что. Начальство такъ на нихъ и смотрѣло: оно о нихъ кое-что знало и называло ихъ «мечтателями», но не опасными. Въ училищѣ они не могли оказывать никому никакой помѣхи, а съ выходомъ на службу преобладающее общее настроеніе, казалось, безъ сомнѣнія, должно ихъ убѣдить въ непригодности ихъ мечтаній и сравнять со всѣми другими, которые ничего мечтательнаго не затѣвали, а ортодоксально вѣрили, что «быть инженеромъ — значитъ купаться въ золотѣ». Многочисленные опыты убѣждали солидные умы въ пользу этого успокоительнаго предположенія и опасаться серьезнаго вреда отъ безсребренниковъ было нечего.

Николай Ферморъ, однако, представлялъ своимъ характеромъ исключеніе и съ раннихъ поръ заставлялъ думать, что его увлеченія честностью и благородствомъ могутъ когда-нибудь сдѣлаться въ серьезной степени неудобными и причинятъ съ ними хлопоты.

Это и оправдалось.

Что онъ проповѣдывалъ безусловное безкорыстіе и чест-

ность, находясь въ училищѣ, съ этимъ можно было еще не считаться, но онъ упорно держался того же и по выпускѣ его въ офицеры. На самомъ первомъ шагу своего выхода въ свѣтъ, когда бывшіе товарищи по училищу собрались вмѣстѣ, чтобы «всбрызнуть свои эполеты», Ферморъ за обѣдомъ прочиталъ стихи своего сочиненія, въ которыхъ взывалъ къ совѣсти своихъ однокашниковъ, приглашая ихъ тутъ же дать другъ передъ другомъ торжественную клятву, что они будутъ служить отечеству съ совершеннымъ безкорыстіемъ и не только ни одинъ никогда не станетъ вознаграждать себя самъ, но «системѣ самовознагражденія», но и другимъ этого не дозволитъ дѣлать, а, несмотря ни на что, остановитъ всякое малѣйшее злоупотребленіе и не пощадитъ вора. Онъ этого требовалъ въ своихъ горячихъ и, какъ говорятъ, будто бы очень недурныхъ стихахъ, и самъ же первый произнесъ торжественную клятву свято, неотступно слѣдовать во всю жизнь своему воззванію.

Читая свое стихотвореніе, онъ былъ разгорячены и взволнованъ, глаза его горѣли, онъ самъ дрожалъ и, все выше и выше возвышая голосъ, окончилъ истерическимъ экстазомъ, который многимъ былъ непріятенъ и приписанъ вліянію выпитаго поэтомъ вина. Такого дѣйствія, какого ожидалъ горячій юноша, не послѣдовало: съ нимъ никто не спорилъ, никто не говорилъ, что то, къ чему онъ призывалъ товарищей, было дурно, но никто къ нему на грудь не бросался, дружнаго звона сдвинутыхъ бокаловъ не раздалось, а, напротивъ, многіе, потупивъ глаза въ свои приборы, обнаруживали смущеніе и какъ будто находили въ обличительныхъ словахъ поэта нѣчто неумѣстное, колкое, оскорбительное для старшихъ и вообще не отвѣчающее веселому характеру собранія. А нѣкто, кажется, и теперь еще живущій и, по крайней мѣрѣ, очень недавно еще произносившій «рѣчи съ юморомъ», поправилъ дѣло, сказавъ, что «надо помнить о присягѣ и, подчиняясь ей, не заводить никакихъ союзовъ, основанныхъ на исключительныхъ клятвахъ и обязательствахъ».

— По крайней мѣрѣ, я, господа, напоминаю, что я принималъ присягу и ни о какихъ союзахъ знать не хочу.

— И мы тоже, и мы! Браво! Ура!

Николай Ферморъ не сконфузился, но очень обидѣлся; онъ, стоя, дождался, пока шумъ стихъ, обвелъ вокругъ

сидѣвшихъ за столомъ товарищей, мрачно улыбнулся и сказалъ:

— Ну, если мнѣ суждено выпить мою чашу одному, то я ее одинъ и выпью.

И съ этимъ онъ выпилъ вино и разбилъ бокалъ, чтобы изъ него не пили ни за какое другое пожеланіе.

Это опять бросило неблагопріятную тѣнь на общее настроеніе пирующихъ. Опять нашлись люди, которые пытались поправить слово, но это не удавалось. Кто-то возгласилъ извѣстное стихотвореніе Пушкина, оканчивающееся словами: «да здравствуетъ *разумъ*», и всѣ пили этотъ тостъ, но Ферморъ не пилъ,—ему не изъ чего было пить за «разумъ», — его бокалъ былъ разбитъ послѣ тоста «за честность въ жизни и на службѣ». Этотъ человѣкъ постоянно являлся внѣ общаго движенія — «уединеннымъ пошехонцемъ», и всѣ были рады, что онъ оставилъ общество ранѣе другихъ, всѣ, по уходѣ его, точно вздохнули и веселье закипѣло, а онъ былъ уже одинъ, унеся съ собою неудовольствіе на другихъ и оставивъ такое же или, можетъ-быть, еще бо̀льшее неудовольствіе въ этихъ другихъ.

Съ разсказаннаго случая на самомъ первомъ шагу самостоятельной жизни Фермора началось его отлученіе. Это не обѣщало ничего хорошаго, но онъ нимало не пугался создающагося положенія и еще усиливалъ его, разражаясь отъ времени до времени новыми стихами, въ которыхъ старался какъ можно строже и язвительнѣе бичевать сребролюбіе и другія хорошо ему извѣстныя порочныя склонности своего званія.

Ему было сдѣлано замѣчаніе, что такъ служить нельзя.

Ферморъ хотѣлъ сейчасъ же оставить инженерную службу, боясь, что далѣе онъ еще хуже не сумѣетъ поладить съ господствовавшимъ въ вѣдомствѣ направленіемъ, но перемѣнить службу ему не удалось. Великій князь Михаилъ Павловичъ, знавшій Николая Ѳедоровича въ училищѣ, оставилъ его въ Петербургѣ при здѣшней инженерной командѣ.

Тутъ не было такихъ дѣлъ, изъ-за которыхъ молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться, и онъ сносилъ свое служебное положеніе спокойно. Онъ даже былъ имъ доволенъ, но въ это именно время (въ 1831 г.) начались большія постройки въ крѣпостяхъ Царства Польскаго, гдѣ наши инженеры особенно привольно «купались въ зо-

лотѣ». Это ни для кого не было большою тайной, но все-таки «купанье» иногда обращало на себя вниманіе государя и великаго князя и тогда производилось «освѣженіе личнаго состава», отчего, впрочемъ, дѣло нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь прибывающія для освѣженія, немедленно же ощущали совершенную невозможность противустоять общему направленію и вскорѣ же, безъ всякаго протеста, становились такими же, какъ и прежніе.

Кто по нежеланію, или по неумѣнью, или изъ страха самъ не лѣзъ въ золотое русло, чтобы купаться въ золотѣ, такихъ чрезвычайно предупредительно и ласково сами старшіе окунали въ ванны домашнимъ порядкомъ.

Дѣло было устроено такъ удобно, что тому, кто не хотѣлъ самъ лично входить въ какія-нибудь сдѣлки, не было и никакой необходимости заниматься этимъ самолично. Въ извѣстной части старшій самъ сдѣлывался съ поставщиками и пріемщиками и дѣлился со всѣми своими сослуживцами безъ объясненія путей и источниковъ дохода. При такомъ порядкѣ каждый «купался» безъ всякаго насилія своей скромности и своей совѣсти. Не доносить же на старшихъ, — да и чѣмъ подкрѣпить доносъ? Всѣ скажутъ: «это неправда» и «міръ зинетъ — правда сгинетъ».

Н. Ѳ. Ферморъ былъ у великаго князя Михаила Павловича на хорошемъ счету, какъ способный инженерный офицеръ, и это повело къ тому, что въ одинъ прекрасный день Ферморъ совершенно неожиданно для себя получилъ переводъ изъ Петербурга въ Варшаву, гдѣ тогда производилось множество инженерныхъ работъ.

Ферморъ не обрадовался: онъ точно чувствовалъ, что ему тамъ не сдобровать, но онъ не имѣлъ такой рѣшимости, какъ Чихачевъ или Брянчаниновъ, чтобы бѣжать отъ службы и скрыться подъ рясу монаха. Да и идеалъ Алексѣя человѣка Божія, которому слѣдовали въ своей рѣшимости Чихачевъ и Брянчаниновъ, не былъ идеаломъ позже ихъ вышедшаго на житейскій путь Фермора. Этотъ тоже былъ религіозенъ, но онъ не хотѣлъ бѣжать отъ жизни въ свѣтѣ, а, напротивъ, хотѣлъ борьбы со зломъ—онъ хотѣлъ внести посильную долю правды и свѣта въ жизнь. Ферморъ былъ человѣкъ съ гражданскими добродѣтелями и для него не годились ни аскетизмъ, ни витаніе въ поэзіи красоты и любовныхъ восторговъ. Онъ писалъ недурные стихи, но

не къ «ножкамъ Терпсихоры», а къ возбужденію духа чести въ житейскихъ отношеніяхъ, и въ этомъ смыслѣ значительно опережалъ свое время и неминуемо долженъ былъ нажить себѣ много недоброжелателей и враговъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Часть, въ которую Николай Ферморъ поступилъ по прибытіи въ Варшаву, находилась въ управленіи инженера, у котораго «система самовознагражденія» была поставлена самымъ правильнымъ образомъ. Никто, кромѣ самого начальника части, не имѣлъ надобности ничего извлекать самъ въ свою пользу или входить въ какія бы то ни было непосредственныя отношенія съ подрядчиками работъ и поставщиками строительныхъ матеріаловъ. Все это начальникъ со всею отвѣтственностью несъ на себѣ самъ, устраняя своихъ подчиненныхъ отъ всякихъ сдѣлокъ, «дабы не происходило никакой путаницы». Никто изъ офицеровъ своими руками ничего отъ постороннихъ не принималъ, но каждому ежемѣсячно, при выдачѣ казеннаго жалованья, раздавалась «прибавка» или «дачка», о происхожденіи которой извѣстно было только, что она «идетъ изъ кружки». Какъ составлялась эта «кружка» — всѣмъ было понятно: старшій бралъ или «уэкономливалъ», и потомъ «дѣлилъ какъ попъ на причетъ». Причетники получали то, что имъ давалъ отецъ настоятель, и никакихъ частностей всей этой благостыни могли не знать. Они даже обязаны были не стараться проникать въ тайны, чтобы не подвергать дитя опасности отъ семи нянекъ, а получали, что имъ распредѣлялось отъ отца командира, и затѣмъ продолжали служить съ незапятнанною совѣстью, исполняя приказанія старшаго и ни въ чемъ ему не переча.

Словомъ, «система самовознагражденія» была здѣсь возведена на высокую степень практичности и всѣ были ею довольны, тѣмъ болѣе, что отецъ настоятель былъ мастеръ собирать кружку и дѣлилъ ее не скаредно.

При раздѣлѣ кружечный сборъ составлялъ для каждаго такую значительную сумму, при которой казенное жалованье было сравнительно сущею бездѣлицей. Расписывались же только въ одной этой казенной бездѣлицѣ, а самое значительное полученіе «изъ кружки» выдавалось на руки безъ всякихъ расписокъ,—по-домашнему или по-семейному.

Сколько командиръ собиралъ, объ этомъ этикетомъ принято было не любопытствовать, но тѣмъ, что онъ дарствовалъ, всѣ были довольны, потому что онъ былъ «человѣкъ благородный и давалъ не скупясь».

Положеніе это всѣмъ нравилось и никто его измѣнять не хотѣлъ; но вотъ вдругъ пріѣзжаетъ изъ Петербурга «молокососъ Ферморъ» и не только причиняетъ своимъ безразсуднымъ поведеніемъ всѣмъ ужасное безпокойство, но дѣлаетъ еще такой скандалъ во всемъ причтѣ и въ обществѣ, что отъ него надо было избавиться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Прибылъ Николай Ферморъ въ Варшаву въ свое время, по расчисленію поверстнаго разстоянія, и «какъ офицеръ, рекомендованный великимъ княземъ съ наилучшей стороны», былъ принятъ съ особливымъ вниманіемъ.

— Васъ избралъ для посылки сюда самъ великій князь,— сказалъ Фермору его начальникъ части.—Очень вамъ рады, намъ хорошіе молодые люди нужны и мы постараемся, чтобы вамъ у насъ было хорошо.

Ферморъ благодарилъ.

— Да, мы о васъ позаботимся, — у насъ уже это такъ принято. Мы считаемъ васъ своимъ со дня назначенія. Теперь отдыхайте.

Ферморъ пошелъ отдыхать, а потомъ, отдохнувъ, явился для испрошенія себѣ указанныхъ занятій.

Ему отвѣчали, чтобы онъ объ этомъ не заботился, что «занятія придутъ своимъ чередомъ». А «пока» ему никакого прямого назначенія не было.

— Что же мнѣ дѣлать? Чѣмъ заниматься?

Начальнику это рвеніе не понравилось, и онъ сразу же посмотрѣлъ на него, какъ на человѣка мало дисциплинированнаго и «съ чѣмъ-то особеннымъ въ характерѣ». А все сколько-нибудь и въ какомъ-нибудь отношеніи «особенное» тогда не нравилось и казалось подозрительнымъ, или, во всякомъ случаѣ, особенность не располагала къ довѣрію и даже внушала безпокойство. Желательны были люди «стереотипнаго изданія», которые походили бы одинъ на другого, «какъ одноформенныя пуговицы».

Ферморъ къ этому не подходилъ и своимъ домогательствомъ занятій съ перваго же раза не понравился.

Начальникъ ему отвѣтилъ холодно и сухо:

— Ходите и присматривайтесь; мы увидимъ, къ чему вы способны.

Ферморъ сталъ «ходить и присматриваться», но ему продолжало сразу не везти во мнѣніи начальства,—нашли, что онъ слишкомъ внимательно присматривается.

— Что ему такое надо?

О немъ списались съ Петербургомъ въ отношеніи того, какъ онъ положенъ во мнѣніи начальства и какія у него родственныя связи.

Отвѣтъ пришелъ успокоительный: начальство ничего особаго о молодомъ инженерѣ не разумѣло, и только великій князь Михаилъ благоволилъ къ нему потому, что зналъ Фермора по инженерному училищу, гдѣ тотъ хорошо учился и былъ извѣстенъ добрымъ поведеніемъ. А что касается связей, то Ферморы принадлежали къ хорошей фамиліи, но особенно сильныхъ связей у нихъ нѣтъ, и старшій братъ Николая, Павелъ Ѳедоровичъ Ферморъ, служитъ простымъ офицеромъ въ одномъ изъ гвардейскихъ полковъ и даже нуждается *).

Свѣдѣніе это успокоило варшавскаго начальника Николая Фермора, и онъ опредѣлилъ себѣ, какъ надо держать этого молодого офицера.

Въ первый же мѣсяцъ, когда приспѣло время получать жалованье, Николай Ферморъ явился къ казначею вмѣстѣ съ другими. Казначей съ своими сундуками помѣщался въ комнатѣ, смежной съ кабинетомъ начальника части. Инженерные офицеры входили къ нему по одному, расписывались въ книгѣ и получали въ одну руку изъ ящика ту сумму, какая имъ слѣдовала изъ казны и въ которой они расписывались, а въ другую, изъ особо стоявшей на полу возлѣ казначея корзины, имъ выдавалась обернутая въ бумажку пачка, въ которой заключалась сумма, значительно превосходящая казенное жалованье.

Эту получку инженеры брали изъ рукъ казначея, не разсматривая и безъ расписки, а казначей только дѣлалъ карандашомъ значокъ о выдачѣ ея въ особой маленькой тетрадкѣ.

*) Павелъ Ѳедоровичъ Ферморъ впослѣдствіи достигъ значительной высоты служебнаго положенія и былъ начальникомъ военно-юридической академіи, образованной изъ аудиторскаго училища.

Казначей былъ «косоротый», чиновникъ изъ писарей, въ своемъ родѣ дѣловитый и въ своемъ родѣ добрый человѣкъ, очень веселаго права. Онъ иногда дозволялъ офицерамъ «любопытствовать, сколько въ пачкѣ», но большею частью этого никто не дѣлалъ, такъ какъ это ни къ чему не вело и только могло служить передъ начальствомъ признакомъ строптивости.

«Косоротый», скривя губы, говорилъ:

— Вѣруй, а не испытуй. Вѣрующему приложится, а у испытующаго отнимется.

Всѣ здраво разсуждавшіе люди знали, что надо вѣрить, и вѣрили. За это имъ и давалось по вѣрѣ ихъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Когда вошелъ въ казначейскую комнату Николай Ферморъ, «косоротый» придержалъ его, пока два случившіеся здѣсь офицера вышли, а потомъ предложилъ ему для учиненія расписки казенную книгу, а когда тотъ расписался въ полученіи слѣдовавшихъ ему казенныхъ денегъ (кажется, что-то около сорока рублей), тогда казначей подалъ ему эти деньги и затѣмъ, опустя лѣвую руку въ стоявшую возлѣ него корзину, подалъ пачку ассигнацій, перетянутую желтою бумажною полоской.

Положивъ эту пачку на столъ рядомъ съ отсчитаннымъ казеннымъ жалованьемъ, «косоротый» черкнулъ у себя въ тетрадкѣ карандашикомъ и, задвинувъ тетрадь въ столъ, ждалъ, чтобы Ферморъ вышелъ и далъ мѣсто другому офицеру.

И Ферморъ, дѣйствительно, отъ него ушелъ, но пачки, перетянутой бумажною полоской, не тронулъ.

— Что же вы?—проговорилъ ему вслѣдъ «косоротый».

Ферморъ остановился.

— Что же вы не берете? Это вѣдь тоже ваше.

— Что такое?—спросилъ, недоумѣвая, Ферморъ.

— Свое, что вамъ слѣдуетъ.

— Я получилъ все свое, что мнѣ слѣдуетъ.

— И это тоже вамъ слѣдуетъ.

Казначей опять показалъ глазами на оставшуюся на столѣ пачку.

— Что же это такое?

Казначей посмотрѣлъ на него значительно и съ неудовольствіемъ и отвѣчалъ:

— Что я вамъ буду разсказывать! Это деньги.

— Какія?

— Государственныя ассигнаціи.

— Сколько же ихъ здѣсь?

— Сколько? Объ этомъ не говорятъ, но можете сосчитать, сколько ихъ здѣсь. Тутъ четыреста рублей.

— И они мои?!

— Да, ваши.

— Рѣшительно не понимаю!—произнесъ, сдвинувъ плечами, Ферморъ.

— Ну, такъ и не понимайте,—отвѣчалъ «косоротый», и при выходѣ Фермора бросилъ предназначавшуюся ему пачку опять назадъ въ корзину.

А Николай Ферморъ, выйдя въ комнату, гдѣ были офицеры, отыскалъ тѣхъ изъ нихъ, съ которыми уже успѣлъ познакомиться, и за великій секретъ, съ негодованіемъ, разсказывалъ, какую «оскорбительную штуку» хотѣлъ было съ нимъ продѣлать «косоротый».

— Я понялъ его, — говорилъ Ферморъ: — онъ меня соблазнялъ потому, что хотѣлъ испытывать, но это ему никогда не удастся... И за то онъ теперь этого больше себѣ никогда не позволитъ ни со мной, ни съ другимъ. Пусть старшіе поступаютъ какъ хотятъ, но люди нашего поколѣнія должны научить этихъ господъ, какъ надо уважать честность.

И онъ при этомъ только хотѣлъ продолжать, что всѣ молодые инженеры должны образовать союзъ, чтобы поддерживать другъ друга на честномъ пути безкорыстнаго служенія, но замѣтилъ, что кучка молодежи, среди которой онъ сообщалъ о своемъ оскорбленіи, растаяла и съ нимъ остался только одинъ изъ наиболѣе добросердечныхъ товарищей, и тотъ не столько ему внималъ, сколько убѣждалъ оставить это на время и идти «со всѣми вмѣстѣ въ гастрономію, такъ какъ это у насъ, говоритъ, заведено и никому не хорошо нарушать товарищескіе обряды».

— Я себѣ никогда и не позволю нарушать ничего товарищественнаго, но я ужасно взволнованъ казначеемъ... Это его презрѣніе къ моей чести...

— Полноте, пожалуйста, да онъ и не думаетъ ни о чьей чести!

— Но тогда что же даетъ ему такую увѣренность? И

притомъ, я, вѣдь, еще ничего не дѣлалъ, а только «ходилъ да присматривался».

— Ну, полно вамъ добираться... «Ходите да присматривайтесь», тогда и поймете. А, впрочемъ, въ «гастрономіи» у насъ своя инженерная зала и мы можемъ тамъ продолжать нашъ разговоръ, а теперь пойдемте туда скорѣй, чтобы не задерживать товарищей.

Они пошли въ «гастрономическое отдѣленіе», гдѣ Николай Ферморъ повторилъ въ усиленномъ видѣ сцену въ томъ же самомъ родѣ, какъ та, которую онъ разыгралъ въ Петербургѣ, на пиру вновь вышедшихъ инженеровъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Въ «гастрономію» въ Варшавѣ ходили только такіе люди, у которыхъ есть «глупыя деньги». Здѣсь, правда, можно было получать самыя утонченныя и рѣдкія вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людямъ, не имѣющимъ лишнихъ средствъ, сюда и порога переступать было не для чего, а съ тѣхъ, которые сюда заходили, драли уже цѣны безъ всякаго милосердія.

Самыми любимыми и наиболѣе обираемыми посѣтителями «гастрономіи» были русскіе инженеры, которые «купались въ золотѣ».

Если русскія армейскія войска полонили Варшаву, то русскіе инженеры несомнѣнно полонили варшавскую «гастрономію» и приложили стараніе внушать здѣшней челяди уваженіе къ русскому имени. Именитые поляки, поддерживавшіе здѣсь ранѣе честь польской аристократіи, присмирѣли и были вытѣснены въ «малые кабинеты», а самымъ большимъ помѣщеніемъ завладѣли русскіе инженеры и назвали его «инженернымъ заломъ». Сюда при нихъ никто не смѣлъ приходить и садиться, потому что инженеры во всякое время могли его подавить грандіозностью своего поведенія.

Въ обычаѣ своемъ они были люди еще очень простые, и въ день полученія жалованья и пачекъ въ бумажныхъ полоскахъ приходили въ гастрономію «валомъ», т. е. почти во всемъ составѣ, со включеніемъ и «косоротаго». Здѣсь пили и ѣли много, забирая все, что есть самаго лучшаго и самаго дорогого; засиживались долго, сколько хотѣли, и платили за все настоящимъ благороднымъ манеромъ, т. е. не

торгуясь и даже не считая, что̀ дѣйствительно взято и что̀ безсовѣстно присчитано.

Послѣ отшедшаго вѣка магнатеріи они начинали вѣкъ инженеріи, и, должно признаться, начинали его со славою. Заря, облиставшая инженерную славу, поднималась въ Варшавѣ и Новогеоргіевскѣ и оттуда свѣтила далѣе, противъ естества—съ запада на востокъ, черезъ Кіевъ, даже до Баку и Ленкорани, ибо нынѣ даже и тамъ воспрославлено имя русскаго инженера.

Съ такими-то людьми, если не барственныхъ, то, по крайней мѣрѣ, широкихъ привычекъ очутился чудакъ, опосный самою щекотливою честностью, и онъ повелъ себя въ этомъ почтенномъ сообществѣ какъ старинный юродивый въ золотомъ чертогѣ. Онъ жался, толкался, хмурился, оставался нелюдимъ, не принималъ никакого живого участія въ товарищескомъ разгулѣ, и не только почти ничего не ѣлъ, но и не пилъ, а между тѣмъ чувствовалъ надъ собою нѣчто демоническое и ужасное, подобное тому, что̀ ощущаютъ нѣкоторые люди, проѣзжая надъ пропастью. Не проглотивъ ни одного глотка вина, Ферморъ опьянѣвалъ отъ однихъ паровъ, отъ одной атмосферы и чувствовалъ неотразимую тягу броситься въ зіяющую бездну, мимо которой ему нимало не тѣсно было бы пройти, если бы его туда не влекло и не толкало все вмѣстѣ взятое, чего не ощущалъ никто, кромѣ его одного. Его прямолинейныя понятія и чувствительные нервы не переносили всей массы этихъ впечатлѣній, и онъ теперь философствовалъ и жегъ себя огненными муками.

«Жизнь меня обманула!—разсуждалъ онъ, и такъ написалъ въ письмѣ къ своему родственнику.—Я догадываюсь, что у насъ честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно намъ въ такомъ случаѣ представляютъ примѣры изъ жизни чужихъ народовъ. У другихъ выгодно быть честнымъ, а у насъ нѣтъ. У насъ съ умомъ и съ честностью обходятся несравненно суровѣе и безпощаднѣе, чѣмъ съ бездарностью и съ искательствомъ. У насъ съ честностью можно только страдать и пресмыкаться. Я все изжилъ, еще почти не начиная жить. Если бы у меня былъ сынъ, я бы теперь уже не зналъ, какъ его воспитывать. Чтобы онъ не былъ несчастливъ, надо, чтобы онъ не былъ очень честенъ и на все былъ сговорчивъ. Отъ этого я никогда не

буду имѣть своей семьи. На честныхъ людей хорошо любоваться со стороны, но мучительно заставлять близкаго человѣка переносить все въ его собственной кожѣ. Задумываюсь даже, стоитъ ли жить и самому? Я не вижу смысла жить въ томъ ужасномъ сознаніи, что чести и настоящему благородству нѣтъ мѣста въ русской жизни... Этого никто одинъ исправить не можетъ, а при этомъ честно жить невозможно...»

И вдругъ въ этомъ самомъ родѣ онъ заговорилъ передъ всѣми, засѣдавшими въ «гастрономіи». И въ то же самое время, какъ онъ это говорилъ, онъ не помнилъ: зачѣмъ и съ какой стати онъ это говоритъ? Онъ никакъ не могъ вспомнить ни момента, ни случая, когда въ немъ вздрогнули вѣщія струны пророческой арфы и онъ пошелъ «глаголомъ жечь сердца людей». А въ то же время онъ понималъ, что дѣлаетъ что-то совершенно неудобное, разстроивающее компанію и потому неприличное и даже обидное. Онъ видѣлъ, что люди встаютъ и отходятъ отъ него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды, и вотъ уже нѣтъ никого, а только одинъ «косоротый» легъ грудью на столъ и, положивъ на руки голову, крѣпко спитъ, посвистывая носомъ.

На другой день Ферморъ ощущалъ чадъ и туманъ въ головѣ, какъ будто онъ неумѣренно пилъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ совсѣмъ не бралъ въ ротъ никакого вина. Ночью онъ легъ поздно, но безпрестанно просыпался, точно будто послѣ большого проигрыша. Ощущенія были такъ сходны съ этимъ, что онъ даже хватался два раза за свой бумажникъ и тщательно повѣрялъ свою наличность. Она была ничтожна: Ферморъ не пилъ, но пили другіе, а какъ расчетъ былъ сообща, то, уплачивая по-ровну со всѣми, онъ отдалъ почти все, что имѣлъ при себѣ. Во всякомъ случаѣ полученное имъ мѣсячное жалованье ушло почти все безъ остатка.

Это его не могло не смутить, потому что такіе расходы были возможны только для тѣхъ, кто «купался въ золотѣ»; но кто хотѣлъ жить на одно казенное жалованье, для того траты въ такомъ размѣры были не по силамъ. Ферморъ тутъ же ночью далъ себѣ слово, что впередъ въ подобной компаніи онъ никогда участвовать не будетъ.

— Кто хочетъ прожить честно, тотъ не долженъ быть

транжиромъ и мотомъ. Онъ даже не долженъ стыдиться быть нищимъ. Иначе невозможно.

Ферморъ только немножко сожалѣлъ кое-кого изъ молодыхъ инженеровъ, которыхъ считалъ за людей лучшаго порядка, и стѣснялся, какъ онъ *имъ* откажетъ въ товариществѣ. Но безпокойство его было напрасно: ни старшіе, ни младшіе, никто его сообщества болѣе не искали. Другой мѣсяцъ Ферморъ тоже «проходилъ присматриваясь», безъ особаго назначенія, а когда пришелъ день раздачи жалованья, «косоротый» подалъ ему казенныя деньги въ книжкѣ и *двѣ* пачки, перетянутыя бумажною полоской, — за истекающій мѣсяцъ и за прошедшій.

Ферморъ притворился, что онъ этихъ денегъ какъ бы не замѣтилъ, и взялъ только одно жалованье.

«Косоротый» еще болѣе скосоротился и спросилъ:

— Что жъ?.. Опять не берете?

— Да, не беру и никогда не возьму, — рѣзко отвѣчалъ Ферморъ и добавилъ, чтобы казначей на будущее время не смѣлъ и дѣлать ему такихъ предложеній.

— Хорошо-съ,—отвѣчалъ «косоротый», и тутъ же, прежде чѣмъ Ферморъ успѣлъ выйти, онъ пошелъ съ обѣими пачками въ рукахъ въ кабинетъ начальника.

Ферморъ не имѣлъ ни малѣйшаго повода подозрѣвать, что «косоротый» спряталъ у себя его деньги,—напротивъ, онъ долженъ былъ думать, что деньги доставлены начальнику, какъ непринятыя Ферморомъ.

И, дѣйствительно, дѣло такъ и было, и съ этихъ поръ все принимаетъ совсѣмъ иной характеръ.

Донъ-кихотство переходитъ въ трагизмъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Фермора совсѣмъ не позвали во второй разъ въ гастрономію. Старшіе, очевидно, не хотѣли его видѣть, а изъ младшихъ, тѣ, съ которыми онъ ближе другихъ сталкивался, были немножко сконфужены и, наконецъ, кто-то изъ нихъ, при какомъ-то разсказѣ о чемъ-то, происходившемъ въ послѣдній разъ въ гастрономіи, сказалъ Фермору:

— Мы васъ съ собою не звали потому, что намъ всѣмъ было совѣстно: вы ничего не пьете, а между тѣмъ у насъ плата общая. Вамъ это убыточно.

— Мнѣ это *невозможно!*—отвѣчалъ Ферморъ.

— То-то и есть.

Молодой человѣкъ не искалъ пировъ и не почиталъ себѣ ни за честь, ни за удовольствіе пить и ѣсть въ «гастрономіи», онъ даже (какъ выше сказано) самъ желалъ отъ этого отказаться, но когда почувствовалъ, что его «выключили безъ прошенія», и притомъ такъ рѣшительно, такъ мягко и въ то же время такъ безповоротно, онъ сконфузился и, самъ не сознавая чего-то, сробѣлъ.

— Какъ это такъ скоро и такъ просто? Я не сдѣлалъ ничего дурного, а меня вышвырнули, какъ кошку за хвостъ... И еще извиняются... Это уже пасмѣшка!

Но прошло нѣсколько дней и ему стало смѣшно, какъ его спустили.

Къ сожалѣнію, не къ чему было уже и присматриваться. Ферморъ видѣлъ, что его самого разсмотрѣли до дна и отставили, и, вдобавокъ, стала ходить какая-то сказка, будто онъ принялъ какую-то *шутку* казначея за серьезное предложеніе ему какой-то артельной взятки.

Это его возмутило: онъ пошелъ требовать отъ казначея объясненій и въ пылу гнѣва чуть не поднялъ руку...

«Косоротый» скрылся, но разсказалъ исторію.

На Фермора стали смотрѣть какъ на человѣка помѣшаннаго.

— Это Донъ-Кихотъ; ему ни вѣсть что̀ представляется; онъ никакой шутки не понимаетъ и бросается на добрыхъ людей.

Теперь, если бы онъ и захотѣлъ подчиниться общему положенію и братски принимать дѣлежи кружки, ему врядъ ли удалось бы поправить свое положеніе въ обществѣ товарищей и старшихъ, которыхъ онъ всѣхъ безъ исключенія обидѣлъ своимъ фанфаронствомъ.

— Дрянной и безпокойный человѣкъ,—говорили о немъ, и онъ слышалъ это и находилъ въ себѣ еще болѣе силы стоять на своемъ и не поддаваться.

Къ счастію, на каждаго старшаго у насъ бываетъ еще высшій старшій, и Ферморъ надѣялся найти себѣ защиту выше.

Въ числѣ рекомендацій, которыми Ферморъ былъ снабженъ изъ Петербурга въ Варшаву, у него было рекомендательное письмо къ русскому, православному викарному архіерею Антонію Рафальскому, извѣстному своею странною

и до сихъ поръ невыясненною ролью по пріему Почаевской лавры отъ уніатскихъ монаховъ, а потомъ, впослѣдствіи, митрополиту новгородскому и с.-петербургскому.

Ферморъ, отъ скуки и досады, вздумалъ воспользоваться этимъ письмомъ и предсталъ викарію, который до вдовства своего жилъ въ міру и зналъ толкъ въ «обхожденіи».

Безъ всякаго сомнѣнія, онъ сразу же уразумѣлъ представшаго передъ нимъ молодого человѣка и сообразилъ, что это—прекрасное, восторженное дитя, человѣкъ совсѣмъ непригодный къ жизни между людьми бойцовой породы, и Антонію, можетъ-быть, стало жаль «младенца», а притомъ и петербургская рекомендація, которую привезъ Ферморъ, имѣла вѣсъ въ глазахъ Рафальскаго, который дорожилъ связями въ Петербургѣ. Вслѣдствіе всего этого, онъ нашелъ полезнымъ принять въ Николаѣ Ферморѣ участіе, чтобы имѣть за то на своей сторонѣ лицо, которое о немъ писало.

По такимъ побужденіямъ, истинный смыслъ которыхъ молодому идеалисту былъ недоступенъ, викарій варшавскій принялъ въ немъ участіе и воспользовался первымъ случаемъ ему помочь. При свиданіи съ начальникомъ инженеровъ въ Варшавѣ Деномъ, Антоній разсказалъ о Ферморѣ и сумѣлъ расположить Дена въ его пользу.

Иванъ Ивановичъ Денъ особенно не вникалъ въ просьбу, такъ какъ она представлялась ему очень неважною. Молодой человѣкъ томится, что ему не даютъ сразу много дѣлъ въ руки, надъ чѣмъ командовать. Это часто такъ бываетъ: молодые люди всегда чѣмъ-нибудь томятся и хотятъ выше головы прыгнуть, а это нельзя. А, впрочемъ, молодой инженеръ, хорошо учившійся и хорошо рекомендованный учебнымъ начальствомъ... и также извѣстенъ великому князю... и также проситъ архіерей... Отчего онъ остается, въ самомъ дѣлѣ, безъ назначенія, тогда какъ инженерныхъ работъ множество? Объ этомъ надо спросить.

Денъ спросилъ, что это значитъ?

Ему отвѣчали, что молодой человѣкъ очень хорошій и имъ очень довольны; что его и не думали оставлять безъ назначенія, но надо было, разумѣется, «присмотрѣться», къ чему его можно лучше назначить.

— Ну, да, ну, да, это совершенно справедливо. Онъ мнѣ и не жаловался, а архіерея тамъ... за него просили и онъ проситъ... Надо для него сдѣлать.

— Да ужъ и сдѣлали.

— Ну, и прекрасно!—отвѣчалъ Денъ, и извѣстилъ Антонія, что все улажено: его protégé дадутъ дѣло по силамъ, «а тогда мы не оставимъ это безъ вниманія и онъ будетъ награжденъ».

Антоній сейчасъ же послалъ за Ферморомъ и поспѣшилъ его обрадовать, но былъ непріятно пораженъ, замѣтивъ, что въ немъ «мало восторга», а «наиболѣе томности и унылости, какъ бы у человѣка разочарованнаго жизнью».

Викарій его за это отечески пощунялъ и далъ «къ жизни наставленіе», заключавшееся въ томъ, что надо хранить бодрость духа во всякихъ положеніяхъ.

— Духа въ себѣ не угашайте и нрса не вѣшайте,—училъ епископъ:—впередъ очень быстро не устремляйтесь, да иніи не возропщатъ, и позади не отставайте, да иніи не вознепщуютъ. Надо держать серединку на половинкѣ—себя блюсти и ближняго не скрести. А въ заключеніе всего афоризмъ: не укоряй и не укоренъ будеши, а укоришь другихъ—укорятъ и тя.

Ферморъ этого нимало не боялся: за что его кто-нибудь можетъ укорить? Но въ отношеніи неудовольствія на начальство онъ почувствовалъ, что былъ неправъ: начальникъ, дѣйствительно, выбралъ и далъ ему самое подходящее занятіе, къ которому ни съ какой стороны не могло подползти никакое подозрѣніе. Начальникъ поручилъ Фермору техническія повѣрки, которыми, кромѣ него, занимались еще шесть человѣкъ, чинами старше и умомъ опытнѣе.

Назначеніе было почетное. Работа полезная и самостоятельная: смотри, вникай, сообрази, изложи критику и доложи умно и понятно.

Ферморъ и пошелъ усердствовать. Сколько ему ни дадутъ работы на руки, онъ всѣ ихъ къ докладному дню въ недѣлю окончитъ и представляетъ.

Его товарищи всѣ вразъ на него перекосились. Первую, вторую недѣлю ему спустили, а потомъ одинъ отъ лица прочихъ говоритъ:

— Вы что же это дѣлаете? Отличиться, что ли, хотите?

Ферморъ отвѣчалъ, что у него и въ помыслахъ не было искать превозвышенія надъ товарищами и, по его понятіямъ, онъ ровно ничего такого не дѣлалъ, за что бы его можно укорить въ честолюбіи или въ неблагородствѣ.

— А вы, вѣдь, имѣли время присматриваться, такъ вы, развѣ, не видите, что всѣ *по одному* дѣлу въ докладной день представляютъ, а вы для чего тащите пять, да шесть и изъ каждаго показываете разную шерсть?

— Мнѣ сколько поручаютъ, я столько и представляю.

— Да развѣ это можно такъ дѣлать?

— У меня много свободнаго времени и я успѣваю.

— Мало ли что вы успѣваете! Вы, вонъ, и вина не пьете, и въ карты не играете,—нельзя же требовать, чтобы такъ жили всѣ. Если вамъ въ тягость ваше свободное время, можете найти для себя какое угодно занятіе, только не быть выскочкою противъ товарищей.

Ферморъ сталъ скучать и явился просить другого дѣла.

— Каковъ молодецъ! онъ уже недоволенъ своимъ положеніемъ и проситъ другого! Безпокоитъ главнаго начальника и архіерея. Трется попасть въ амишки!—стали говорить одни, а другіе прибавляли:

— Какія протекціи! Изъ Петербурга его рекомендуютъ, здѣсь за него просятъ то архіерей, то самъ Иванъ Иванычъ (Денъ). Кому хотите дать столько протекцій, всякій себѣ карьеру сдѣлаетъ.

А Фермору казалось, будто чѣмъ больше людей за него заступается, тѣмъ ему становится хуже.

Изъ Петербурга ему пишутъ, что онъ «не умѣетъ» пользоваться участіемъ, а онъ не находитъ въ этомъ участіи того, что̀ нужно,—не особыхъ протекцій, а возможности честнаго и усерднаго труда.

Онъ уже не зналъ, на кого роптать: всѣ хороши—начальникъ его не порицалъ и не преслѣдовалъ, а даже показывалъ, что очень доволенъ его усердіемъ, и «косоротый» ему не предлагалъ пачекъ съ бумажною полоской, а давалъ только то, что̀ слѣдуетъ, и даже вслухъ приговаривалъ: «извольте столько-то рублей и копеекъ», и въ «гастрономію» его не приглашали, но ему день ото дня становилось все тяжелѣе и невыносимѣе.

Антоній къ нему продолжалъ благоволить и освѣдомлялся у его начальника: какъ онъ служитъ?

Тотъ отвѣчалъ, что онъ самъ Ферморомъ очень доволенъ, но удивляется и сожалѣетъ, что тотъ очень неудобно поставилъ себя со всѣми товарищами.

Викарій при первомъ свиданіи передалъ это Фермору и освѣдомился:

— Въ чемъ дѣло?

— Не гожусь, не подхожу,—отвѣчалъ Ферморъ.

— Отчего?.. Для чего вы такой злопомнительный? Не хорошо имѣть мрачный взглядъ на жизнь. Въ ваши цвѣтущіе годы жизнь должна человѣка радовать и увлекать. Я о васъ говорилъ съ вашимъ начальникомъ и онъ васъ хвалитъ, а отнюдь не говоритъ того, будто вы не подходите. Извините меня: вы сами себѣ создаете какое-то особенное, нелюбимое положеніе между товарищами.

Ферморъ вспыхнулъ и отвѣчалъ:

— Это совершенно вѣрно: начальство относится ко мнѣ теперь лучше, чѣмъ товарищи.

— Ну, вотъ... Это не хорошо.

— Да; но чтобъ они относились ко мнѣ хорошо,—чтобы я *былъ любимъ*—надо, чтобъ я сдѣлалъ... то... что совсѣмъ нехорошо.

— Что же это?.. Неужто вольномысліе?

— О, нѣтъ! Я ничего не знаю о вольномысліи,—отвѣчалъ Ферморъ.

— Такъ что же?

Ферморъ молчалъ.

— Вѣрно, берутъ?

— Я ничего говорить не буду.

— Если это, то, вѣдь, что инженерія, что финансеріи—это такія вѣдомства, гдѣ всѣ берутъ.

— Зачѣмъ же это? Для чего это такъ?

Викарій долго на него посмотрѣлъ и сказалъ:

— Для чего берутъ-то?

— Да!.. Вѣдь это подло!

— Значитъ, поладить не можете?

— Не могу, ваше преосвященство, и къ этому совсѣмъ отъ природы неспособенъ.

— Ну, способности тутъ немного надо.

— Взятка... мнѣ руку прожжетъ.

— Прожечь не прожжетъ, а... нехорошо. Но дерзости не надо себѣ дозволять.

Ферморъ понялъ, что передано что-нибудь объ его сценѣ съ «косоротымъ», и съ горечью воскликнулъ:

— Ахъ, ваше преосвященство, какія дерзости! Они сами

выводятъ изъ терпѣнія, сами обижаютъ, а потомъ лгутъ и сочиняютъ.

— Да, но все-таки на службѣ надо уживаться.

— Я не вижу никакой возможности уживаться съ такими людьми и буду проситься въ другое мѣсто.

— И на другомъ мѣстѣ, можетъ-быть, встрѣтите то же самое, ибо и тамъ тоже будутъ люди.

— Но не всѣ же люди одинаковы!

Антоній опять на него поглядѣлъ съ сожалѣніемъ и сказалъ:

— Да, иногда бываетъ и отмѣна.

— Я посмотрю... я вѣрую встрѣтить иное.

— Ну, вѣруйте... посмотрите.

Въ тонѣ викарія было слышно утомленіе.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Ближайшій начальникъ Фермора оказался зато такъ къ нему снисходителенъ и милостивъ, что далъ ему другое порученіе, на которое Ферморъ уже не приходилъ никому жаловаться, но совсѣмъ не сталъ заниматься дѣломъ, а началъ уединяться, жилъ нелюдимымъ, не открывалъ своихъ дверей ни слугѣ, ни почтальону и «бормоталъ» какія-то странности.

Антоній узналъ объ этомъ и послалъ просить его къ себѣ.

Ферморъ пришелъ, но не только не опровергъ передъ викаріемъ дошедшихъ до него слуховъ, а, напротивъ, еще усилилъ сложившееся противъ него предубѣжденіе. Онъ былъ сухъ съ епископомъ, который за него заступался, и на вопросъ о причинѣ своего мрачнаго настроенія и уклоненія отъ общества отвѣчалъ:

— Я потерялъ вѣру въ людей и не могу ничего дѣлать.

Антоній не могъ вызвать Фермора ни на какую бо́льшую откровенность и отпустилъ его, сказавъ, что онъ, по его мнѣнію, должно-быть, боленъ и ему надо полѣчиться.

Ферморъ ушелъ молча и еще плотнѣе заперся, а потомъ, призванный черезъ нѣсколько дней къ начальнику, наговорилъ ему такихъ дерзостей, что тотъ, «желая спасти его», поѣхалъ къ Антонію и разсказалъ все между ними бывшее и добавилъ:

— Если я дамъ этому ходъ, то молодой человѣкъ пропадетъ, потому что онъ говоритъ на всѣхъ ужасныя вещи.

— Ай, ай!

— Да, онъ не только нарушаетъ военную дисциплину, но... простите меня великодушно: онъ подвергаетъ критикѣ ваши архипастырскія слова... Однако, какъ вы изволите принимать въ немъ такое теплое участіе, то я не желаю васъ огорчить и прошу васъ обратить на него вниманіе: онъ положительно боленъ и его надо увезти куда-нибудь къ роднымъ, гдѣ бы онъ имѣлъ за собою нѣжное, родственное попеченіе и ничѣмъ не раздражался. На службѣ онъ въ такомъ состояніи невозможенъ, но его любитъ великій князь, и если вы согласитесь сказать объ этомъ генералу Дену, то онъ, вѣроятно, напишетъ въ Петербургъ и исходатайствуетъ ему у великаго князя продолжительный отпускъ и средства для излѣченія.

Антоній согласился вмѣшаться въ это дѣло и вскорѣ же нашелъ случай поговорить о томъ съ Деномъ.

Иванъ Ивановичъ Денъ зачмокалъ губами и закачалъ головой.

— Жаль, очень жаль,—заговорилъ онъ. — Я не прочь донести объ этомъ великому князю и увѣренъ, что бѣднягѣ разрѣшатъ отпускъ и дадутъ средства, но прежде чѣмъ я рѣшусь объ этомъ писать, надо обстоятельно удостовѣриться о здоровьѣ этого офицера. Я пошлю къ нему своего доктора и сообщу вамъ, что онъ мнѣ скажетъ.

Викарій извѣстилъ Фермора, какое участіе принимаетъ въ немъ главный начальникъ, который пришлетъ къ нему своего доктора, но это извѣстіе, вмѣсто того, чтобы принести молодому человѣку утѣшеніе, до того его взволновало, что онъ написалъ викарію вспыльчивый отвѣтъ, въ которомъ говорилъ, что докторъ ему не нуженъ, и вообще все, что дѣлается, то не нужно, а что нужно, то-есть, чтобы дать ему возможность служить при честныхъ людяхъ, — то это не дѣлается. Дену устроить это ничего бы не стоило, но онъ, къ несчастію, тоже не такъ на все смотритъ, потому что и самъ...

Викарій увидалъ, что молодой человѣкъ уже слишкомъ много себѣ позволяетъ: этакъ дѣла въ государствѣ идти не могутъ.

Письмо осталось безъ отвѣта.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Посланный Деномъ его довѣренный и искусный врачъ нашелъ Фермора въ самомъ мрачномъ настроеніи, которое при первыхъ же словахъ доктора моментально перешло въ крайнюю раздраженность.

Молодой человѣкъ сначала не хотѣлъ ничего говорить, кромѣ того, что онъ физически совершенно здоровъ, но находится въ тяжеломъ душевномъ состояніи, потому что «потерялъ вѣру къ людямъ»; но когда докторъ сталъ его убѣждать, что эта потеря можетъ быть возмѣщена, если человѣкъ будетъ смотрѣть, съ одной стороны, снисходительнѣе, а съ другой—шире, ибо человѣчество отнюдь не состоитъ только изъ тѣхъ людей, которыми мы окружены въ данную минуту и въ данномъ мѣстѣ, то Ферморъ вдругъ словно сорвался съ задерживающихъ центровъ и въ страшномъ гнѣвѣ началъ утверждать, что у насъ нигдѣ ничего нѣтъ лучшаго, что онъ извѣрился во всѣхъ безъ исключенія, что честному человѣку у насъ жить нельзя и гораздо отраднѣе какъ можно скорѣе умереть. И въ этомъ пылу онъ то схватывалъ, то бросалъ отъ себя лежавшій на столѣ пистолетъ и порицалъ безъ исключенія всѣ власти, находя ихъ безсильными остановить повсюду у насъ царящее лицемѣріе, лихоимство, неуваженіе къ честности, къ уму и къ дарованіямъ и въ заключеніе назвалъ всѣ власти несоотвѣтствующими своему назначенію.

Врачъ доложилъ объ этомъ Дену и выразилъ такое мнѣніе, что Ферморъ, если и не сумасшедшій, то находится въ положеніи очень близкомъ къ помѣшательству, и что ему не только нельзя поручать теперь служебныя дѣла, но надо усиленно смотрѣть за нимъ, чтобы онъ, подъ вліяніемъ своей мрачной меланхоліи, не причинилъ самому себѣ или другимъ какой-нибудь серьезной опасности.

— Я и подозрѣвалъ это.

Иванъ Ивановичъ Денъ послалъ доктора разсказать все Антонію, а самъ немедленно довелъ о происшествіи съ Николаемъ Фермором до вѣдома великаго князя. А Михаилъ Павловичъ сейчасъ велѣлъ призвать къ себѣ Павла Ѳедоровича Фермора и приказалъ ему немедленно ѣхать въ Варшаву и привезти «больного» въ Петербургъ.

Приказаніе это было исполнено: Николая Фермора при-

везли въ Петербургъ и онъ сталъ здѣсь жить въ домѣ своихъ родителей и лѣчиться у ихъ домашняго, очень хорошаго доктора.

Сумасшествія у него не находили, но онъ, дѣйствительно, былъ нервно разстроенъ, унылъ и все писалъ стихи во вкусѣ извѣстнаго тогда мрачнаго поэта Эдуарда Губера. Въ разговорахъ онъ здраво отвѣчалъ на всякіе вопросы, исключая вопроса о службѣ и о честности. Все, что касалось этого какою бы то ни было стороной, моментально выводило его изъ спокойнаго состоянія и доводило до изступленія, въ которомъ онъ страстно выражалъ свою печаль объ утратѣ вѣры къ людямъ и полную безнадежность возвратить ее черезъ кого бы то ни было.

На указаніе ему самыхъ сильныхъ лицъ онъ отвѣчалъ, что «это все равно,—никто ничего не значитъ: что нужно, того никто не сдѣлаетъ».

— Они всѣ есть, но когда нужно, чтобъ они значили то, что они должны значить, тогда они ничего не значатъ, а это значитъ, что ничто ничего не значитъ.

Такъ онъ пошелъ «заговариваться», и въ этомъ было резюме его внутренняго разлада, такъ сказать, «пунктъ его помѣшательства». О разстройствѣ Николая Фермора скоро заговорили въ «свѣтѣ». Странный душевный недугъ Фермора казался интереснымъ и занималъ многихъ. Опять думали, что онъ скрываетъ что-то политическое, и неохотно вѣрили, что ничего подобнаго не было. А онъ самъ говорилъ:

— Я знаю не политическое, а просто гадкое, и оно меня тѣснитъ и давитъ.

Душевныя страданія Фермора, говорятъ, послужили мотивами Герцену для его «Записокъ доктора Крупова», а еще позже — Ѳеофилу Толстому, который съ него написалъ свой этюдъ «Болѣзни воли». Толстой въ точности воспроизвелъ своего героя съ Николая Фермора, а разсужденія взялъ изъ «Записокъ доктора Крупова», появившихся ранѣе.

Судя по времени событія и по большому сходству того, что читается въ «Запискахъ доктора Крупова» и особенно въ «Болѣзняхъ воли» Ѳ. Толстого съ характеромъ несчастнаго Николая Фермора, легко вѣрить, что и Герценъ, и Ѳеофилъ Толстой пользовались исторіей Николая Фермора для своихъ этюдовъ — Герценъ болѣе талантливо и ориги-

нально, а Ѳ. Толстой болѣе рабски и протокольно воспроизводя извѣстную ему дѣйствительность.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Въ такомъ положеніи, что называется, ни въ тѣхъ, ни въ сихъ, Николай Ферморъ оставался нѣсколько лѣтъ. Ему по временамъ то становилось немножко легче, то опять на него наваливала хандра и безпокойство,—онъ не вò-время уходилъ изъ дома и не вò-время возвращался, сердился за пустяки и не обращалъ вниманія на вещи крупнаго значенія. Но вообще онъ всегда выходилъ изъ себя за всякую самомалѣйшую недобросовѣстность. Онъ не спускалъ никому, если видѣлъ, что человѣкъ поступаетъ несправедливо и невеликодушно противъ другого человѣка. Но если его ничто не раздражало, то онъ былъ тихъ и или ходилъ задумчиво, или сидѣлъ потупя взоръ, какъ Абадонна, и читалъ Губера.

Такъ бы, вѣроятно, тянулось многіе годы, если бы не явился исключительный случай, какіе, впрочемъ, въ царствованіе Николая I бывали, свидѣтельствуя и теперь еще о сравнительной простотѣ тогдашнихъ обычаевъ.

Однажды Павелъ Ѳедоровичъ Ферморъ, отправляясь на лѣто съ полкомъ въ лагерь въ Петергофъ, пригласилъ съ собою туда больного брата. Тотъ согласился, и оба брата поселились въ лагерѣ, въ одной палаткѣ.

Николай Ѳедоровичъ былъ въ это время въ тихой полосѣ,—онъ читалъ, гулялъ и могъ вести спокойные разговоры, лишь бы они не касались его пункта — честности и начальства. Но въ Петергофѣ преобладало карьерное настроеніе, и невозможно было уйти отъ частыхъ разговоровъ о томъ, что̀ одному удалось, а почему это же самое другому не удалось. Больной слушалъ все это и началъ опять раздражаться, на него напала безсонница, которая его разстроила до того, что онъ сталъ галлюцинировать и разсказывалъ своему брату Павлу разныя несообразности. Но какъ Николай Ферморъ все-таки былъ совершенно тихъ и ни для кого не опасенъ, то за нимъ не присматривали и онъ выходилъ, когда хотѣлъ, и шелъ, куда ему вздумалось.

Въ такомъ-то именно настроеніи онъ въ одно утро вышелъ изъ дома очень рано и отправился гулять въ Нижній Садъ. А въ тотъ годъ государь Николай Павловичъ пилъ

минеральныя воды и также вставалъ очень рано и дѣлалъ проходку прямо изъ Александріи по главной аллеѣ Нижняго Сада.

Случилось такъ, что императоръ и больной Николай Ферморъ встрѣтились.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Увидѣвъ государя, Николай Ферморъ сталъ какъ слѣдовало и приложилъ руку къ фуражкѣ.

Государь взглянулъ на него и было прошелъ уже мимо, но потомъ, вѣроятно, затрудняясь вспомнить, что это за инженерный офицеръ и зачѣмъ онъ здѣсь, оборотился назадъ и поманулъ Фермора къ себѣ.

Ферморъ подошелъ.

— Кто ты такой?—спросилъ государь.

Ферморъ назвалъ свое имя.

— Зачѣмъ ты здѣсь?

Ферморъ отвѣчалъ, что онъ былъ на службѣ въ Варшавѣ, но имѣлъ несчастіе тамъ заболѣть и, по приказанію его высочества, привезенъ своимъ братомъ Павломъ въ Петербургъ, а теперь находится для пользованія свѣжимъ воздухомъ у брата въ лагерѣ.

Государь, межъ тѣмъ, всматривался въ его лицо и потомъ спросилъ:

— Ты былъ въ инженерномъ училищѣ, когда я былъ еще великимъ княземъ?

— Нѣтъ, ваше величество,—это былъ мой братъ.

— Чѣмъ же ты нынче боленъ?

Николай Ферморъ смѣшался и лицо его мгновенно приняло страдальческое выраженіе.

Государь это замѣтилъ и ободрилъ его.

— Говори правду! Что бы то ни было, мнѣ надо отвѣчать правду!

— Ваше величество,—отвѣчалъ Ферморъ:—я никогда не лгу ни передъ кѣмъ и вамъ доложу сущую правду: болѣзнь моя заключается въ томъ, что я потерялъ довѣріе къ людямъ.

— Что такое?—переспросилъ, возвыся голосъ и откидывая голову, государь.

Ферморъ спокойно повторилъ то же самое, т. е., что онъ потерялъ довѣріе къ людямъ, и затѣмъ добавилъ, что отъ этого жизнь ему сдѣлалась несносна.

— Мнѣ не вѣрятъ, ваше императорское величество, но я ужасно страдаю.

— Я тебѣ вѣрю. Я знаю, это у тебя отъ Варшавы; но это ничего не значитъ,—ты вздохнешь здѣсь русскимъ духомъ и поправишься.

— Никакъ нѣтъ, ваше величество.

— Отчего нѣтъ?

— Нельзя служить честно.

Лицо Фермора приняло жалкое, угнетенное выраженіе.

Государь былъ, видимо, тронутъ разлитымъ во всемъ его существѣ страданіемъ и, нимало не сердясь, коснулся его плеча и сказалъ:

— Успокойся,—я тебѣ дамъ такую службу, гдѣ ты будешь въ состояніи никого не бояться и служить честно.

— Кто же меня защититъ?

— Я тебя защищу.

Ферморъ поблѣднѣлъ и не отвѣчалъ, но лѣвую щеку его судорожно задергало.

— Или ты и мнѣ не вѣришь?

— Я вамъ вѣрю, ваше величество, но вы не можете сдѣлать то, что̀ изволите такъ великодушно обѣщать.

— Почему?

Возбужденіе и разстройство Фермора въ эту минуту достигло такой высокой степени, что судорога перехватила ему горло и изъ глазъ его полились слезы. Онъ весь дрожалъ и нервнымъ голосомъ отвѣтилъ:

— Виноватъ, простите меня, ваше величество: я не знаю почему, но... не можете... не защитите.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Государь посмотрѣлъ на него съ сожалѣніемъ и въ это время, конечно, убѣдился, что онъ говоритъ съ помѣшаннымъ.

— Тебя лѣчили въ Варшавѣ, когда ты заболѣлъ?

— Генералъ Денъ присылалъ ко мнѣ своего доктора.

— И что же, онъ тебѣ не помогъ?

— Мнѣ нельзя помочь, потому что я потерялъ...

— Да, да, я знаю, — перебилъ государь: — ты потерялъ довѣріе къ людямъ... Но ты не робѣй: этимъ самымъ отчасти страдаю и я...

— Ваше величество, въ вашемъ положеніи это еще ужаснѣе!

— Что, братецъ, дѣлать! Но я, однако, терплю. Я бы тебѣ посовѣтовалъ искать утѣшенiе въ религiи. Ты молишься Богу?

— Молюсь.

— У насъ есть духовныя лица съ большою извѣстностью, ты бы обратился къ кому-нибудь изъ нихъ.

— Я пользовался въ Варшавѣ расположенiемъ преосвященнаго Антонiя.

— Да, онъ краснорѣчивъ. Религiя въ твоемъ положенiи можетъ дать тебѣ утѣшенiе. Но ты, вѣдь, долженъ знать Игнатiя Брянчанинова,—онъ твой товарищъ.

— Онъ товарищъ моего старшаго брата, Павла.

— Это все равно: я васъ сведу. Иди сейчасъ въ лагерь и скажи твоему брату, что я приказываю ему сейчасъ свезти тебя отъ моего имени въ Сергiевскую пустынь къ отцу Игнатiю. Онъ можетъ принести тебѣ много пользы.

Ферморъ молчалъ.

Государь пошелъ своею дорогой, но потомъ во второй разъ опять остановился,—самъ подошелъ къ стоявшему на мѣстѣ больному и сказалъ:

— Иди же, иди! Иди, не стой на мѣстѣ... А если тебѣ что-нибудь надобно—проси: я готовъ тебѣ помочь.

— Ваше величество! — отвѣчалъ Ферморъ: — я стою не потому, что хочу бо́льшихъ милостей, но я не могу идти отъ полноты всего, что ощущаю. Я благодарю васъ за участiе, и мнѣ больше ничего не нужно.

По щекамъ Фермора заструились слезы.

Государь вынулъ свой платокъ, обтеръ его лицо и поцѣловалъ его въ лобъ.

Ферморъ тяжело дышалъ и шатался, но смотрѣлъ оживленно и бодро.

— Ты, братецъ, рѣдкiй человѣкъ, если тебѣ ничто не нужно; но если не теперь, а послѣ тебѣ что-нибудь понадобится, то помни, — я даю тебѣ право обратиться прямо ко мнѣ во всякое время.

— Нижайше благодарю, ваше императорское величество, но никогда этого не сдѣлаю.

— Отчего?

— У васъ, ваше величество, столько важныхъ и священныхъ дѣлъ, что моя одинокая судьба не сто́итъ того, чтобы

вамъ обо мнѣ думать. Это святотатство. Я себѣ не позволю васъ безпокоить.

— Ты мнѣ нравишься. Если не хочешь ко мнѣ приходить, напиши мнѣ и передай во дворецъ черезъ генералъ-адъютанта. Я буду радъ тебѣ помочь; тебя кто теперь лѣчитъ?

— Докторъ Герацкій.

— Онъ не годится,—я поручу тебя Мандту. Прощай.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Когда Николай Ферморъ пришелъ въ лагерь послѣ свиданія и разговора съ государемъ, старшій Ферморъ (Павелъ) еще спалъ. Николай его разбудилъ и сталъ ему разсказывать о томъ, какъ онъ повстрѣчался съ императоромъ въ Нижнемъ Саду и какой у нихъ вышелъ разговоръ, причемъ разговоръ этотъ былъ воспроизведенъ въ дословной точности.

Павелъ Ѳедоровичъ подумалъ, что вотъ именно теперь братъ его совсѣмъ уже сошелъ съ ума и галлюцинируетъ и зрѣніемъ, [и слухомъ, но, по наведеннымъ справкамъ, оказалось, однако, что Николай Ферморъ говоритъ сущую правду. По крайней мѣрѣ, особливые люди, которымъ все надо видѣть — дѣйствительно видѣли, что императоръ встрѣтилъ Фермора въ Нижнемъ Саду и довольно долго съ нимъ разговаривалъ, два раза къ нему возвращался и обтеръ своимъ платкомъ его лицо и поцѣловалъ его въ лобъ.

Всему остальному приходилось вѣрить на слова больного и въ этомъ смыслѣ докладываться начальству.

Батальоннымъ командиромъ у Павла Фермора въ это время былъ Ферре. Къ нему къ первому явился Павелъ Ферморъ, разсказалъ, что и какъ происходило, и затѣмъ просилъ разъяснить ему: какъ теперь быть, — оставить ли это безъ движенія, отнеся все слышанное насчетъ больного воображенія Николая Фермора, или не вѣрить передачѣ и исполнить въ точности переданное приказаніе государя?

Ферре былъ того мнѣнія, что хотя Николай Ферморъ и считается человѣкомъ больнымъ и очень легко можетъ галлюцинировать, но что въ данномъ случаѣ онъ, по всѣмъ видимостямъ, говоритъ правду, и потому переданныя черезъ него приказанія государя надо исполнить.

Тогда Павелъ Ѳедоровичъ Ферморъ взялъ экипажъ, посадилъ туда больного брата и повезъ его въ «пустыню» къ Сергію.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Брянчанинова П. Ферморъ засталъ на служеніи: онъ совершалъ литургію. Ему доложили о прибывшихъ къ нему отъ государя братьяхъ Ферморахъ, когда онъ вернулся изъ церкви домой и собирался въ трапезу.

Игнатій принялъ братьевъ въ своихъ покояхъ, при чемъ находился и Чихачевъ, на племянницѣ котораго былъ женатъ Павелъ Ѳедоровичъ. Они поговорили здѣсь вкратцѣ потому, что надо было идти въ трапезную къ братіи. За трапезою въ монастырѣ разговоры невозможны, но послѣ трапезы до звона къ вечернѣ подробнѣе поговорили обо всемъ, что вспомянулось, затѣмъ офицеры должны были возвратиться въ лагерь.

Свиданіе «утратившаго довѣріе къ людямъ» Николая Фермора съ Брянчаниновымъ и Чихачевымъ нимало не возвратило ему его утраты, а только исполнило его сильной нервной усталости, отъ которой онъ зѣвалъ и безпрестанно засыпалъ, тогда какъ брату его, Павлу Ѳедоровичу, одно за однимъ являлись новыя хлопоты по исполненію заботъ государя о больномъ.

Едва они подъѣхали къ лагерю, какъ Павлу Фермору сказали, что его давно уже ищутъ.

— Но я не могъ быть въ лагерѣ, потому что возилъ брата къ Сергію по приказанію государя и сказался о томъ своему батальонному командиру.

— Все равно, — отвѣчали ему: — васъ ищутъ тоже по приказанію государя, а батальонный ничего не сказалъ. Идите скорѣе въ вашу палатку, — тамъ вамъ есть важное письмо.

Оказалось, что въ лагерѣ былъ самолично великая медицинская знаменитость своего времени, докторъ Мандтъ.

Онъ пріѣхалъ въ лагерь по личному приказанію государя, чтобы видѣть Николая Фермора, и остался очень недоволенъ, что не нашелъ больного. Зато онъ оставилъ записку, въ которой писалъ, что «сегодня онъ былъ экстренно вытребованъ государемъ императоромъ, которому благоугодно было передать на его попеченіе Николая Ферморъ,

и въ виду этого онъ, д-ръ Мандтъ, проситъ Пв. Ѳ. Ф-ра, *какъ только онъ возвратится въ лагерь и въ какое бы то ни было время, тотчасъ пожаловать къ нему* для личныхъ объясненій».

Хотя время было уже поздновато, но Павелъ Ферморъ сейчасъ же отправился въ городъ на квартиру Мандта.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Мандтъ былъ дома. Онъ сидѣлъ на верандѣ и курилъ.

Когда ему доложили о Ферморѣ, онъ его тотчасъ же принялъ и, дымя сигарою, сказалъ:

— Государь очень заинтересовался вашимъ братомъ. У него, какъ думаетъ его величество, должно быть есть наклонность къ меланхоліи. Что вамъ извѣстно о болѣзненномъ состояніи вашего брата?

Павелъ Ѳедоровичъ Ферморъ разсказалъ все, что ему было извѣстно, но Мандтъ нашелъ это недостаточнымъ: ему для уясненія себѣ дѣла и для доклада о немъ государю нужно было имѣть «исторію болѣзни», написанную медикомъ, и притомъ все это надо было имѣть въ рукахъ и завтра утромъ уже доложить государю.

По счастію, у Павла Фермора была исторія болѣзни, написанная врачомъ, пользовавшимъ его брата, но она была оставлена на городской квартирѣ въ Петербургѣ, а сообщенія съ Петергофомъ тогда были не нынѣшнія.

Чтобы помочь дѣлу, Мандтъ выдалъ Павлу Фермору билетъ на казенный пароходъ, отходившій въ Петербургъ утромъ, и «исторія болѣзни» Николая Фермора поспѣла въ руки Мандта во-время. Онъ ее сразу прочелъ, все въ ней понялъ и въ тотъ же день доложилъ государю.

Государь былъ доволенъ, что приказанія его исполняются такъ скоро и такъ точно: онъ благодарилъ Мандта и просилъ его принять къ сердцу горестное состояніе несчастнаго молодого человѣка.

— Его бредъ, — сказалъ государь: — исполненъ такого искренняго благородства, что нѣчто подобное не худо бы имѣть тѣмъ, которые пользуются цвѣтущимъ здоровьемъ.

Мандтъ принялъ протянутую ему при этомъ руку государя и какъ бы изъ нея переданнаго ему больного Николая Фермора съ его «утраченнымъ довѣріемъ къ людямъ».

Все семейство Ферморовъ было въ восторгѣ, всѣ благо-

словляли вниманіе государя и начали смотрѣть въ будущее съ новымъ упованіемъ.

Въ обществѣ тоже говорили, что «теперь Мандтъ разорвется, а вылѣчитъ... Иначе, чортъ ихъ возьми, — грошъ цѣна всей ихъ наукѣ».

Но самъ Николай Ферморъ молчалъ и спокойно смотрѣлъ на все, что̀ съ нимъ дѣлали. Все это какъ будто не имѣло для него никакого значенія. Мандтъ, такъ и Мандтъ,—ему все равно, при чьемъ содѣйствіи утеривать послѣднее довѣріе къ людямъ. Онъ точно какъ изжилъ всю свою энергію и чувствительность въ своемъ утреннемъ разговорѣ съ государемъ, и что̀ теперь за этимъ дальше слѣдуетъ,—ему до этого уже не было никакого дѣла.

Чѣмъ, какъ и гдѣ будетъ пользовать его Мандтъ, — это его и не интересовало. Онъ теперь смотрѣлъ на дѣло какъ человѣкъ, для котораго всѣ эти хлопоты не важны и результатъ ихъ безразличенъ, потому что онъ самъ знаетъ самое вѣрное средство, какъ избавиться отъ тяжести своего несчастнаго настроенія.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Тѣмъ, что описано въ выше сего помѣщенныхъ строкахъ, выразилось самое сильное и самое большое напряженіе усердія знаменитаго врача къ исполненію порученія, лично переданнаго ему самимъ государемъ. Докторъ Мандтъ сдѣлалъ больному только одинъ неудачный визитъ, когда онъ не нашелъ Фермора въ палаткѣ петергофскаго лагеря. На другой день, какъ сказано, Мандтъ прочелъ наскоро исторію болѣзни и сдѣлалъ государю докладъ, не посѣтивъ больного. И съ этой поры онъ самъ не посѣщалъ Фермора ни разу, а присылалъ своего ассистента, врача, тоже составившаго себѣ впослѣдствіи большое имя, Н. Ѳ. Здекауера. Если же государь спрашивалъ: видитъ ли онъ Фермора, то Мандтъ отвѣчалъ, что «видитъ», и чтобы это не было неправдою, онъ тотчасъ же вытребовалъ паціента къ себѣ на квартиру.

Для больного, который находился въ такомъ состояніи, какъ Николай Ферморъ, не тяжело было исполнить это требованіе, и онъ на каждый зовъ тотчасъ же шелъ въ квартиру Мандта (по Мойкѣ, неподалеку отъ Полицейскаго моста, въ домѣ Бѣликова).

Такимъ образомъ прошелъ годъ и могло бы идти и дальше,

но однажды раннею весной Николай Ферморъ во время прогулки опять попался на глаза императору Николаю Павловичу, и отъ этого случая произошла перемѣна, которая дала дѣлу новое направленіе.

Государь встрѣтилъ Николая Фермора на углу Невскаго и Большой Морской, у самаго англійскаго магазина.

Проходившій Ферморъ, замѣтилъ приближеніе государя, взялъ руку къ козырьку и остановился.

Государь взглянулъ на него и сейчасъ же узналъ.

— Ферморъ?

— Точно такъ, ваше величество.

— Какъ теперь твое здоровье?

— Я не чувствую, ваше величество, ни малѣйшаго облегченія.

На лицѣ государя выразилось неудовольствіе.

— Что же дѣлаетъ съ тобой Мандтъ?

— Онъ иногда присылаетъ ко мнѣ Здекауера, а иногда требуетъ меня къ себѣ.

— Ну, а что же вы дѣлаете, когда ты къ нему приходишь?

— Сначала я долго ожидаю его въ пріемной, а потомъ, когда онъ выйдетъ, пуститъ мнѣ въ лицо дымъ отъ сигары и скажетъ, чтобы я пилъ bitter Wasser.

— И только?

— Только всего, ваше величество.

Лицо государя омрачилось, а Ферморъ воспользовался минутой этого разговора и напомнилъ государю о его дозволеніи обращаться къ нему съ просьбами.

— Ну, прекрасно, что же я могу тебѣ сдѣлать?

— Прикажите меня лѣчить какому-нибудь доброму доктору изъ русскихъ.

— Хорошо, — отвѣчалъ государь и, кивнувъ головой, удалился.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Государь опять не забылъ своего обѣщанія. Не успѣлъ Ферморъ возвратиться домой, какъ его уже ожидалъ «ѣздовой» изъ дворца, посланный Мандтомъ съ требованіемъ, чтобы больной немедленно прибылъ къ своему знаменитому доктору.

Николай Ферморъ, нимало не раздумывая, пошелъ.

Мандтъ на этотъ разъ не держалъ его долго въ пріемной.

— Вы на меня нажаловались государю?—встрѣтилъ онъ его строгимъ вопросомъ.

— Я не жаловался. Государь изволилъ спросить меня: чѣмъ вы меня лѣчите, а я отвѣчалъ, что ничѣмъ не лѣчите, кромѣ какъ велите пить bitter Wasser. Я всегда говорю правду.

— Да, да, вы все съ правдой... Но вы просили государя поручить васъ другому доктору?

— Да, мнѣ казалось, что вамъ, при вашемъ положеніи, некогда мною заниматься, и я просилъ его величество дозволить мнѣ пользоваться совѣтомъ другого доктора.

— Государь удовлетворилъ вашу просьбу. По вашему желанію, вамъ назначенъ другой врачъ. Отправьтесь на Михайловскую площадь, въ домъ Жербина, тамъ живетъ главный докторъ учрежденій императрицы Маріи. Государь ему поручилъ васъ, и я ему уже передалъ исторію вашей болѣзни.

Въ семейныхъ мемуарахъ, которыми я пользовался для составленія настоящаго очерка, не названо имени врача, смѣнившаго въ этой исторіи доктора Мандта. Способъ его лѣченія, однако, тоже не отличался удачею, но зато пріемы отличались отъ системы Мандта гораздо бо́льшею рѣшительностью.

Новый врачъ не томилъ Фермора въ своей пріемной и не посылалъ къ нему на домъ помощника, а нашелъ нужнымъ подвергнуть его болѣзненныя явленія болѣе основательному и притомъ постоянному наблюденію, для чего самымъ удобнымъ средствомъ представлялось помѣстить паціента въ больницу душевныхъ больныхъ «на седьмую версту».

Родныхъ Фермора эта мѣра поразила самымъ непріятнымъ образомъ, такъ какъ, по ихъ мнѣнію и по мнѣнію всѣхъ знакомыхъ, не предстояло рѣшительно никакой необходимости лишать несчастнаго Николая Фермора той свободы и тѣхъ семейныхъ радостей, которыми онъ пользовался въ домашней обстановкѣ.

Но врачъ былъ непреклоненъ въ своемъ мнѣніи: онъ находилъ необходимымъ удалить паціента отъ его домашней обстановки и всю прежнюю безуспѣшность лѣченія приписывалъ тому, что больной ранѣе не былъ устраненъ изъ дома и не находился подъ постояннымъ надзоромъ.

Возражать и спорить, однако, было невозможно: врачъ иначе не находилъ возможности приступить къ лѣченію, и, въ случаѣ противодѣйствія родныхъ паціента, обѣщалъ доложить о томъ государю.

Одни видѣли въ этомъ необходимость, а другіе подозрѣ-

вали въ докторѣ желаніе — прежде всего обезопасить себя отъ повторенія такой случайности, которая была причиной перехода Николая Фермора къ нему отъ Мандта. И подозрѣніе это имѣло основаніе. Пока Николай Ферморъ оставался въ своемъ семействѣ и выходилъ свободно гулять по городу въ своей военной формѣ, онъ опять могъ какъ-нибудь встрѣтиться съ государемъ, и это могло дать поводъ къ безпокойствамъ, между тѣмъ какъ съ удаленіемъ его «на седьмую версту» возможность такой встрѣчи устранялась и всѣмъ становилось гораздо спокойнѣе.

Мандтъ самъ или не отважился предложить эту мѣру, или она ему не приходила и въ голову, но когда это было высказано его собратомъ русскаго происхожденія, онъ ее поддержалъ, какъ мѣру вполнѣ сообразную и самую полезную для основательнаго наблюденія за больнымъ.

Государь убѣдился мнѣніемъ знаменитыхъ врачей, но и на этотъ разъ не оставилъ Фермора безъ своей опеки. Онъ велѣлъ помѣстить Николая Фермора на седьмую версту, но зато приказалъ его доктору «навѣщать больного какъ можно чаще и *непремѣнно разъ въ недѣлю лично докладывать о состояніи его здоровья*».

Черезъ такой оборотъ положеніе новаго врача дѣлалось несравненно болѣе труднымъ, чѣмъ было положеніе Мандта.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Это, съ одной стороны, успокоило родныхъ больного, что Николай Ѳеодоровичъ не будетъ на седьмой верстѣ заброшенъ какъ всѣ прочіе, которые имѣли несчастіе туда попадать, а съ другой стороны—создало находчивому доктору совершенно непредвидѣнное и очень тяжелое и непріятное положеніе, котораго онъ не желалъ. Мудрецъ попался. Онъ долженъ былъ два-три раза въ недѣлю ѣздить въ больницу «Всѣхъ скорбящихъ», что ему было безпокойно и не выгодно, а потомъ разъ въ недѣлю являться къ государю и давать утомительно-однообразный отчетъ, такъ какъ съ больнымъ никакихъ перемѣнъ не происходило, а повторять все одно и то же черезъ недѣлю передъ государемъ было отнюдь не пріятно.

Кромѣ того, это могло государя разсердить и имѣть для карьеры врача дурныя послѣдствія.

«На седьмой верстѣ» тоже не рады были такому гостю,

какъ Николай Ферморъ, который блажилъ, но все понималъ, и, видя жестокіе порядки, которые тогда были въ сумасшедшихъ домахъ, вступался за тѣхъ, кого считалъ обиженнымъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что и въ больницѣ «на седьмой верстѣ», какъ и въ другихъ подобныхъ учрежденіяхъ, люди допускали злоупотребленіе своей силой надъ больными.

Ферморъ же все это видѣлъ, и если бы государь вдругъ пожелалъ его посѣтить (что, по характеру и обычаямъ императора, почитали за очень возможное), то неутомимый правдолюбецъ могъ надѣлать большихъ хлопотъ; а ихъ черезъ него и такъ вышло уже не мало.

Надо было отъ него совсѣмъ избавиться, и у медицинской политики не оказалось для этого недостатка въ средствахъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Врачъ, наблюдавшій за Николаемъ Ферморомъ, хотя и претерпѣлъ на первыхъ шагахъ неудачу, но оставался на высотѣ дипломатической линіи; онъ доложилъ государю, что въ Берлинѣ открыта новая частная лѣчебница для душевныхъ больныхъ, которою завѣдуетъ знаменитый психіатръ, и что у него получаются удивительные результаты излѣченія.

— Такъ что же?—воскликнулъ государь:—послать туда, на мой счетъ, Фермора.

Это было какъ разъ то, что было всего желательнѣе врачамъ, которымъ возня съ Ферморомъ чрезвычайно надоѣла.

— Только я приказываю, — добавилъ государь: — чтобы больной былъ посланъ какъ можно удобнѣе. За безопасность его мнѣ отвѣчаютъ.

Къ исполненію этого тотчасъ же были приняты самыя энергическія мѣры.

Лучшее сообщеніе съ Берлиномъ тогда представляли пароходы, отправлявшіеся изъ Петербурга въ Штетинъ; съ ними и ѣхали за границу. А изъ пароходовъ, совершавшихъ эти рейсы, самымъ удобнымъ и комфортабельнымъ по тому времени почитался пароходъ «Александръ». На немъ ѣздила лучшая публика. По крайней мѣрѣ, всѣ мѣста въ весеннихъ рейсахъ «Александра» обыкновенно сберегались для особъ знатныхъ. На этомъ пароходѣ, въ первый его весенній рейсъ, и назначено было отправить Николая Фермора съ его провожатымъ.

Братъ Николая Ѳеодоровича, Павелъ Ферморъ, о которомъ неоднократно приходилось упоминать въ этой эпопеѣ, не могъ сопровождать больного въ Штетинъ. Онъ нуженъ былъ по службѣ въ петергофскомъ лагерѣ, а Николай Ѳедоровичъ былъ порученъ смотрѣнію своего товарища, по фамиліи Степанова, которому вмѣстѣ съ больнымъ были поручены и деньги на его расходы, и подробная инструкція, какъ больного везти, оберегая его отъ всякихъ опасностей въ пути. Онъ же долженъ былъ и устроить Николая Фермора въ Берлинѣ, согласно волѣ и приказанію императора.

Это препорученіе Николая Фермора другому лицу, безъ сомнѣнія, должно служить доказательствомъ, что больной въ это время уже былъ окончательно признанъ за сумасшедшаго, а то, что его помѣщали все-таки на самомъ лучшемъ пароходѣ, которымъ пользовались, по преимуществу, особы знатныя, указываетъ, какъ старались сберечь этого больного, пользовавшагося вниманіемъ государя.

Лучше уже ничего нельзя было сдѣлать для того, чтобы доложить государю, какъ тщательно и серьезно исполнена его воля.

Пароходъ шелъ съ отмѣннымъ обществомъ, въ которомъ, между прочимъ, блистали своимъ присутствіемъ: бывшій новороссійскій генералъ-губернаторъ Воронцовъ, со всѣмъ своимъ семействомъ, тайный совѣтникъ Бекъ и много другихъ особъ того и другого пола, занимавшихъ видное положеніе въ тогдашнемъ высшемъ обществѣ и пользовавшихся въ немъ большимъ вліяніемъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

День былъ самый погожій и жизнерадостный. Отъѣзжавшій Николай Ферморъ находился въ очень спокойномъ, философскомъ настроеніи.

На стѣнѣ его комнаты, въ домѣ, за седьмою верстой, осталось начертаніе апофѳегмы Гиппократа:

«Quod medicamenta non sanant, ferrum sanat; quod ferrum non sanat—ignis sanat; quod ignis non sanat, mors sanat» (т. е. «что не излѣчиваютъ лѣкарства, то излѣчиваетъ желѣзо; что не излѣчиваетъ желѣзо, то излѣчиваетъ огонь; что не излѣчиваетъ огонь, то излѣчиваетъ смерть»).

Кому эта апофѳегма сильно понравилась и кто заботливою рукой воспроизвелъ ее на стѣнѣ своего печальнаго жилища, тотъ, вѣроятно, имѣлъ твердый взглядъ на жизнь.

Ферморъ не радовался отъѣзду за границу и не скучалъ о томъ, съ чѣмъ разставался на родинѣ. Излѣчиться отъ своей меланхоліи онъ былъ радъ, но, повидимому, отнюдь не вѣрилъ въ возможность излѣченія.

Эта предубѣжденность, по мнѣнію врачей, и портила все дѣло. А у больного былъ противъ этого свой доводъ: онъ находилъ, что нельзя же возвратить себѣ довѣріе къ людямъ, если они этого довѣрія къ себѣ не внушаютъ.

Братъ проводилъ больного до Кронштадта, гдѣ у нихъ произошло послѣднее, трогательное прощаніе; но горечь разлуки для Павла Фермора была сильно облегчена общимъ участіемъ пассажировъ къ его больному брату.

Какъ только эти уважаемые люди узнали на переѣздѣ до Кронштадта, что съ ними ѣдетъ тотъ Ферморъ, которому оказываетъ отеческое вниманіе государь, то всѣ тотчасъ же наперерывъ старались обнаружить къ Николаю Фермору самую теплую, родственную заботливость. Зачѣмъ ему братъ?—онъ въ каждомъ здѣсь находилъ самаго нѣжнаго родственника.

— Вѣдь всѣ мы русскіе, всѣ дѣти одного царя и братья по вѣрѣ.

Тайный совѣтникъ Бекъ привелъ даже по-церковно-славянски отъ Писанія, объ ангелахъ, которымъ заповѣдано сохранить и взять человѣка на рукахъ своихъ. Да если бы молодой человѣкъ и не внушалъ ничего самъ по себѣ, то одного того, что онъ лично извѣстенъ государю, и его величество имѣетъ о немъ попеченіе, было бы черезчуръ достаточно, чтобы всѣ считали своимъ долгомъ сберечь его, позабывъ сами себя.

Лучше, кажется, уже нельзя было отправить больного, какъ онъ отправлялся, и Павелъ Ферморъ, въ полномъ спокойствіи, возвратился къ своему полку въ петергофскій лагерь, а на третій день послѣ проводовъ брата поѣхалъ къ своей теткѣ, которая тогда проводила лѣто на дачѣ близъ Сергія, и тамъ скоро получилъ неожиданное извѣстіе, какъ отмѣнно уберегли на пароходѣ его брата.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Въ то время, когда Павелъ Ѳедоровичъ Ферморъ сидѣлъ у тетки, къ ней завернули проѣздомъ съ бывшаго въ тотъ день, въ Красномъ Селѣ, развода три уланскіе офицера,

изъ которыхъ одинъ, Карлъ Пилларъ-фонъ-Пильхау, началъ съ сожалѣніемъ разсказывать, что разводъ не удался.

— Кто же въ этомъ виноватъ?—спросила хозяйка.

— Никто не виноватъ, но государь пріѣхалъ огорченный и оттого благодарилъ мало.

— Что же такое опечалило государя передъ разводомъ?

Пилларъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Государю совсѣмъ не во-время, передъ самымъ его отъѣздомъ на разводъ, подали печальное извѣстіе.

— О чемъ?

— О непріятномъ происшествіи съ однимъ инженеромъ, подпоручикомъ Ферморомъ. Государь принималъ въ немъ участіе, и погибель его страшно его величество огорчила.

Хозяйка только въ эту минуту замѣтила свою оплошность: она думала, что пріѣхавшіе кавалеристы знакомы съ Павломъ Ѳедоровичемъ Ферморомъ, и потому ихъ не познакомила.

Теперь она поспѣшила это сдѣлать, но не могла уже поправить этимъ ужаснаго впечатлѣнія, произведеннаго словами Пиллара на Павла Фермора.

Павелъ Ѳедоровичъ, однако, совладалъ съ собою и сказалъ, что онъ въ силахъ все выслушать, и проситъ одной милости — сказать сейчасъ, какъ можно скорѣе, въ чемъ заключается печальное извѣстіе о его братѣ.

— Я долженъ скорѣе это знать, чтобы спѣшить, что можно поправить.

— Увы,—отвѣчалъ Пилларъ:—дѣло кончено, и никакая поправка невозможна. Если вы тверды, какъ долженъ быть твердъ въ несчастіи уважающій себя мужчина, то я вамъ скажу, что братъ вашъ погибъ невозвратно.

— Какъ, гдѣ и какимъ образомъ?

— Онъ бросился съ корабля въ море и утонулъ. Это случилось близъ острова Борнгольма.

Тогда помянулась Гиппократова апофѳегма, начертанная на стѣнѣ за седьмою верстой:

«Quod medicamenta non sanant—mors sanat».

Утраченное довѣріе къ людямъ увѣнчевала смерть...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Но краткое извѣстіе о томъ, что «Николай Ферморъ бросился въ море и утонулъ», достаточное для начальства, не

удовлетворяло родныхъ и друзей погибшаго. Имъ хотѣлось знать: какъ могло случиться это трагическое происшествіе при той тщательной бережи и при той нѣжной предусмотрительности, съ которыми больной былъ отправленъ.

Объ этомъ существовали двѣ версіи.

Г. Степановъ, принявшій на свое попеченіе Николая Фермора, по возвращеніи изъ-за границы, разсказывалъ происшествіе Павлу Ѳедоровичу Фермору слѣдующимъ образомъ. Несчастіе случилось вскорѣ послѣ обѣда. Погода была прекрасная, и всѣ пассажиры послѣ стола вышли на палубу, чтобы пить кофе. Изъ всей знати остались внизу только два-три человѣка, которые не пили послѣобѣденнаго кофе и предпочитали послѣобѣденный сонъ. Николай Ферморъ былъ въ числѣ вышедшихъ на палубу. Онъ былъ въ спокойномъ расположеніи и за столомъ хорошо кушалъ.

На палубѣ пассажиры размѣстились съ чашками кофе по группамъ и всѣ вели оживленные разговоры. Николай Ферморъ пилъ свой кофе, сидя въ сообществѣ нѣсколькихъ человѣкъ, и когда его чашка была уже имъ допита, онъ поставилъ ее на рубку, а самъ всталъ съ мѣста и отошелъ къ борту и затѣмъ сію же минуту наступилъ ногою на перекладину и, перекинувшись черезъ перила, бросился въ воду на глазахъ всѣхъ пассажировъ...

Всѣхъ объялъ неописанный ужасъ и поднялось страшное смятеніе, въ которомъ ничего нельзя было разобрать.

Пока въ этой суматохѣ отыскали и вызвали наверхъ капитана, пока успѣли остановить пароходъ и спустить шлюпку, Николай Ферморъ вынырнулъ и сталъ грести руками, держась на волнахъ; но когда шлюпка стала къ нему приближаться, онъ ослабѣлъ или не захотѣлъ быть спасеннымъ и пошелъ ко дну.

Спасти его уже было невозможно, и пароходъ, при неописанномъ ужасѣ пассажировъ, продолжалъ дальше свое плаваніе къ Штетину.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Другая версія, которую мнѣ привелось слышать отъ контръ-адмирала А. В. Фрейганга, человѣка замѣчательной искренности и справедливости, совсѣмъ не сходна съ тою, которая приведена выше, и представляетъ дѣло въ иномъ видѣ.

По второй версіи, Николай Ферморъ погибъ еще проще

и незатѣйнѣе. Общество за столомъ, дѣйствительно, все было очень оживленно и всѣ были заняты вновь образовавшимися на пароходѣ знакомствами. Николай Ферморъ ничего не пилъ и былъ спокоенъ, но какого сорта было его спокойствіе, это могъ знать только онъ самъ.

Когда обѣдъ былъ конченъ, Ферморъ вышелъ изъ столовой раньше всѣхъ прочихъ и послѣ того его уже никто не видалъ. Налитая для него чашка кофе, дѣйствительно, осталась на рубкѣ, но кофе въ ней былъ цѣлъ, и потому нельзя съ утвердительностью сказать, кто ее тамъ поставилъ, Ферморъ или разносившій кофе кельнеръ. Хватились же Фермора не сразу, а случайно, когда тайный совѣтникъ Бекъ, посовѣтовавшись съ Морфеемъ, вышелъ изъ каюты на палубу и, освѣжительно зѣвнувъ, спросилъ:

— А гдѣ же этотъ нашъ... какъ его... что ѣдетъ по приказанію государя?

Тогда стали оглядываться по всѣмъ сторонамъ и замѣтили, что Фермора нѣтъ. Но при этомъ сразу никто не предполагалъ, что онъ погибъ въ волнахъ, а думали, что онъ запропастился гдѣ-нибудь на пароходѣ, и потому суетились, бѣгали, искали его по всѣмъ мѣстамъ, гдѣ можно и даже гдѣ нельзя человѣку спрятаться... Но всѣ поиски оказались тщетны,—и только тогда, когда были осмотрѣны всѣ закоулки и всѣ мышиныя норочки,—тогда впервые у капитана явилось ужасное предположеніе, что Фермора нѣтъ на пароходѣ.

— Гдѣ же онъ дѣлся? Вокругъ вода и небо и ничего больше.

Кто-то, отличавшійся логическимъ настроеніемъ ума, все обнялъ мыслью и сказалъ:

— Если онъ не взятъ за правдолюбіе живой на небо, то онъ, очевидно, утонулъ въ безднѣ моря.

Къ стыду человѣчества, эта циническая шутка для многихъ облегчила тяжесть впечатлѣнія. Ужасъ былъ, но небольшой, и то онъ чувствовался болѣе къ ночи, когда дамамъ стало представляться, будто изъ волнъ «поднимается голова».

Чтобы избавиться отъ этого привидѣнія, всѣ поспѣшили скорѣе сойти въ освѣщенныя каюты, а на другое утро тайный совѣтникъ уже совѣтовалъ видѣть во вчерашнемъ событіи указаніе—«какъ наша молодежь относится къ жизни и какъ она мало способна цѣнить милости».

Согласить эти двѣ версіи такъ, чтобы сдѣлать изъ нихъ

какой-нибудь общій выводъ, конечно, невозможно, но я не знаю, которой изъ нихъ слѣдуетъ дать предпочтеніе передъ другою въ разсужденіи справедливости. Лѣтомъ 1887 года, съ парохода рижскаго общества, носящаго то же самое имя, какимъ назывался пароходъ, съ котораго пропалъ Николай Ферморъ, одна молодая дама бросилась въ море и утонула такъ, что этого *никто* не замѣтилъ. Извѣстно и нѣсколько другихъ, точно такихъ же случаевъ. Слѣдовательно, нѣтъ ничего невозможнаго, что и Николай Ферморъ, при большомъ оживленіи пассажировъ, занятыхъ новыми интересными знакомствами, очень легко могъ укрыть свое намѣреніе и покончилъ со своею безотрадною жизнью такъ, какъ сообщаетъ вторая версія этого разсказа.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Въ обители св. Сергія тоже знали *эту* вторую версію и едва ли не давали ей больше вѣры, чѣмъ первой. Брянчаниновъ и Чихачевъ были огорчены погибелью молодого человѣка, одного съ ними воспитанія и однихъ и тѣхъ же стремленій къ водворенію въ жизни царства правды и безкорыстія. Монахи считали гибель Фермора тяжкимъ преступленіемъ для всѣхъ русскихъ, бывшихъ на пароходѣ. По ихъ понятіямъ, эти господа могли меньше говорить о томъ, какъ имъ близокъ бѣднякъ, о которомъ заботился ихъ государь, но должны были больше поберечь его.

Но все было кончено. Иноки отслужили панихиду о погибшемъ мученикѣ томительныхъ стремленій къ неосуществимой въ то время служебной честности, и схимникъ Чихачевъ, опустивъ голову, пропѣлъ своею удивительною октавой «плачу и рыдаю».

Такъ отошли отъ жизни три страстно стремившіеся къ праведности воспитанника русской инженерной школы. На службѣ, къ которой всѣ они трое готовились, не годился изъ нихъ ни одинъ. Двое первые, которые держались правила: «отыди отъ зла и сотвори благо», ушли въ монастырь, гдѣ одинъ изъ нихъ опочилъ въ архіерейской митрѣ, а другой—въ схимѣ. Тотъ же, третій, который желалъ перевѣдаться со зломъ и побороть его въ жизни, самъ похоронилъ себя въ безднѣ моря.

ЛѢВША.

(Сказъ о тульскомъ косомъ Лѣвшѣ и о стальной блохѣ.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Когда императоръ Александръ Павловичъ окончилъ вѣнскій совѣтъ, то онъ захотѣлъ по Европѣ проѣздиться и въ разныхъ государствахъ чудесъ посмотрѣть. Объѣздилъ онъ всѣ страны и вездѣ черезъ свою ласковость всегда имѣлъ самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и всѣ его чѣмъ-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотѣли, но при немъ былъ донской казакъ Платовъ, который этого склоненія не любилъ и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манилъ. И чуть если Платовъ замѣтитъ, что государь чѣмъ-нибудь иностраннымъ очень интересуется, то всѣ провожатые молчатъ, а Платовъ сейчасъ скажетъ: такъ и такъ, и у насъ дома свое не хуже есть,— и чѣмъ-нибудь отведетъ.

Англичане это знали, и къ пріѣзду государеву выдумали разныя хитрости, чтобы его чужестранностью плѣнить и отъ русскихъ отвлечь, и во многихъ случаяхъ они этого достигали, особенно въ большихъ собраніяхъ, гдѣ Платовъ не могъ по-французски вполнѣ говорить; но онъ этимъ мало и интересовался, потому что былъ человѣкъ женатый и всѣ французскіе разговоры считалъ за пустяки, которые не стоятъ воображенія. А когда англичане стали звать государя во всякіе свои цейхгаузы, оружейные и мыльнопильные заводы, чтобы показать свое надъ нами во всѣхъ

вещахъ преимущество и тѣмъ славиться, — Платовъ сказалъ себѣ:

— Ну, ужъ тутъ шабашъ. До этихъ поръ еще я терпѣлъ, а дальше нельзя. Сумѣю я или не сумѣю говорить, а своихъ людей не выдамъ.

И только онъ сказалъ себѣ такое слово, какъ государь ему говоритъ:

— Такъ и такъ, завтра мы съ тобою ѣдемъ ихъ оружейную кунсткамеру смотрѣть. Тамъ, говоритъ, такія природы совершенства, что какъ посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русскіе, со своимъ значеніемъ никуда не годимся.

Платовъ ничего государю не отвѣтилъ, только свой грабоватый носъ въ лохматую бурку спустилъ, а пришелъ въ свою квартиру, велѣлъ денщику подать изъ погребца фляжку кавказской водки—кислярки *), дерябнулъ хорошій стаканъ, на дорожній складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапѣлъ такъ, что во всемъ домѣ англичанамъ никому спать нельзя было.

Думалъ: утро ночи мудренѣе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

На другой день, поѣхали государь съ Платовымъ въ кунсткамеры. Больше государь никого изъ русскихъ съ собою не взялъ, потому что карету имъ подали двухсѣстную.

Пріѣзжаютъ въ небольшое зданіе — подъѣздъ неописанный, коридоры до безконечности, а комнаты одна въ одну, и, наконецъ, въ самомъ главномъ залѣ разные огромадные бюстры и посрединѣ подъ валдахиномъ стоитъ Аболонъ полведерскій.

Государь оглядывается на Платова: очень ли онъ удивленъ и на что смотритъ, а тотъ идетъ, глаза опустивши, какъ будто ничего не видитъ — только изъ усовъ кольца вьетъ.

Англичане сразу стали показывать разныя удивленія, и пояснять, что къ чему у нихъ приноровлено для военныхъ обстоятельствъ: буреметры морскіе, мерблюзьи мантоны пѣшихъ полковъ, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется — все кажется ему очень хо-

*) Кизлярки.

рошо, а Платовъ держитъ свою ажидацію, что для него все ничего не значитъ.

Государь говоритъ:

— Какъ это возможно — отчего въ тебѣ такое безчувствіе? Неужто тебѣ здѣсь ничто не удивительно?

А Платовъ отвѣчаетъ:

— Мнѣ здѣсь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы безъ всего этого воевали и двѣнадесять языкъ прогнали.

Государь говоритъ:

— Это безразсудокъ.

Платовъ отвѣчаетъ:

— Не знаю, къ чему отнести, но спорить не смѣю и долженъ молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчасъ подвели его къ самому Аболону полведерскому и берутъ у того изъ одной руки Мортимерово ружье, а изъ другой пистолю.

— Вотъ, говорятъ, какая у насъ производительность,—и подаютъ ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрѣлъ спокойно, потому что у него такія въ Царскомъ Селѣ есть, а они потомъ даютъ ему пистолю и говорятъ:

— Это пистоля неизвѣстнаго, неподражаемаго мастерства,—ее нашъ адмиралъ у разбойничьяго атамана въ Канделабріи изъ-за пояса выдернулъ.

Государь взглянулъ на пистолю и наглядѣться не можетъ. Взахалѣ ужасно.

— Ахъ, ахъ, ахъ!—говоритъ,—какъ это такъ... какъ это даже можно такъ тонко сдѣлать!—И къ Платову по-русски оборачивается и говоритъ:—вотъ если бы у меня былъ хотя одинъ такой мастеръ въ Россіи, такъ я бы этимъ весьма счастливый былъ и гордился, а того мастера сейчасъ же благороднымъ бы сдѣлалъ.

А Платовъ на эти слова въ ту же минуту опустилъ правую руку въ свои большія шаровары и тащитъ оттуда ружейную отвертку. Англичане говорятъ: это не отворяется, а онъ, вниманія не обращая, ну, замокъ ковырять. Повернулъ разъ, повернулъ два — замокъ и вынулся. Платовъ показываетъ государю собачку, а тамъ, на самомъ сугибѣ, сдѣлана русская надпись: «Иванъ Москвинъ во градѣ Тулѣ».

Англичане удивляются и другъ дружку поталкиваютъ:

— Охъ-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говоритъ:

— Зачѣмъ ты ихъ очень сконфузилъ, мнѣ ихъ теперь очень жалко. Поѣдемъ.

Сѣли опять въ ту же двухсѣстную карету и поѣхали, и государь въ этотъ день на балѣ былъ, а Платовъ еще большій стаканъ кислярки выдушилъ и спалъ крѣпкимъ казачьимъ сномъ.

Было ему и радостно, что онъ англичанъ оконфузилъ, а тульскаго мастера на точку вида поставилъ, но было и досадно: зачѣмъ государь подъ такой случай англичанъ сожалѣлъ!

«Черезъ что это государь огорчился? — думалъ Платовъ,—совсѣмъ того не понимаю,» и въ такомъ разсужденіи онъ два раза вставалъ, крестился и водку пилъ, пока насильно на себя крѣпкій сонъ навелъ.

А англичане же въ это самое время тоже не спали, потому что и имъ завертѣло. Пока государь на балѣ веселился, они ему такое новое удивленіе подстроили, что у Платова всю фантазію отняли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

На другой день, какъ Платовъ къ государю съ добрымъ утромъ явился, тотъ ему говоритъ:

— Пусть сейчасъ заложатъ двухсѣстную карету и поѣдемъ въ новыя кунсткамеры смотрѣть.

Платовъ даже осмѣлился доложить, что: не довольно ли молъ, чужеземные продукты смотрѣть, и не лучше ли къ себѣ въ Россію собираться? но государь говоритъ:

— Нѣтъ, я еще желаю другія новости видѣть: мнѣ хвалили, какъ у нихъ первый сортъ сахаръ дѣлаютъ.

Поѣхали.

Англичане все государю показываютъ: какіе у нихъ разные первые сорта, а Платовъ смотрѣлъ-смотрѣлъ, да вдругъ говоритъ:

— А покажите-ка намъ вашихъ заводовъ сахаръ *молво*?

А англичане и не знаютъ: что это такое *молво*? Перешептываются, перемигиваются, твердятъ другъ дружкѣ: «молво, молво», а понять не могутъ, что это у насъ такой сахаръ дѣлается, и должны сознаться, что у нихъ всѣ сахара есть, а «молва» нѣтъ.

Платовъ говоритъ:

— Ну, такъ и нечѣмъ хвастаться. Пріѣзжайте къ намъ, мы васъ напоимъ чаемъ съ настоящимъ молво Бобринскаго завода.

А государь его за рукавъ дернулъ и тихо сказалъ:

— Пожалуйста, не порть мнѣ политики.

Тогда англичане позвали государя въ самую послѣднюю кунсткамеру, гдѣ у нихъ со всего свѣта собраны минеральные камни и нимфозоріи, начиная съ самой огромнѣйшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазамъ видѣть невозможно, а угрызеніе ея между кожей и тѣломъ.

Государь поѣхалъ.

Осмотрѣли керамиды и всякія чучелы и выходятъ вонъ, а Платовъ думаетъ себѣ:

«Вотъ, слава Богу, все благополучно — государь ничему не удивляется.»

Но только пришли въ самую послѣднюю комнату, а тутъ стоятъ ихъ рабочіе въ тужурныхъ жилеткахъ и въ фартукахъ и держатъ подносъ, на которомъ ничего нѣтъ.

Государь вдругъ и удивился,—что ему подаютъ пустой подносъ.

— Что это такое значитъ? — спрашиваетъ; а аглицкіе мастера отвѣчаютъ: это вашему величеству наше покорное поднесеніе.

— Что же это?

— А вотъ, говорятъ, изволите видѣть сориночку?

Государь посмотрѣлъ и видитъ, точно лежитъ на серебряномъ подносѣ самая крошечная соринка.

Работники говорятъ:

— Извольте пальчикъ послюнить и ее на ладошку взять.

— На что же мнѣ эта соринка?

— Это, отвѣчаютъ, не соринка, а нимфозорія.

— Живая она?

— Никакъ нѣтъ, отвѣчаютъ,—не живая, а изъ чистой изъ аглицкой стали въ изображеніи блохи нами выкована и въ серединѣ въ ней заводъ и пружина. Извольте ключикомъ повернуть: она сейчасъ начнетъ дансе танцовать.

Государь залюбопытствовалъ и спрашиваетъ:

— А гдѣ же ключикъ?

А англичане говорятъ:

— Здѣсь и ключъ передъ вашими очами.

— Отчего же,—государь говоритъ:—я его не вижу?

— Потому, отвѣчаютъ,—что это надо въ мелкоскопъ.

Подали мелкоскопъ, и государь увидѣлъ, что возлѣ блохи, дѣйствительно, на подносѣ ключикъ лежитъ.

— Извольте, говорятъ,—взять ее на ладошечку,—у нея въ пузичкѣ заводная дырка, а ключъ семь поворотовъ имѣетъ, и тогда она пойдетъ дансе...

Насилу государь этотъ ключикъ ухватилъ и насилу его въ щепоткѣ могъ удержать, а въ другую щепотку блошку взялъ и только ключикъ вставилъ, какъ почувствовалъ, что она начинаетъ усиками водить, потомъ ножками стала перебирать, а, наконецъ, вдругъ прыгнула и на одномъ лету прямое дансе и двѣ вѣроящи въ сторону, потомъ въ другую, и такъ въ три вѣроящи всю кадриль станцовала.

Государь сразу же велѣлъ англичанамъ милліонъ дать какими сами захотятъ деньгами,—хотятъ серебряными пятачками,—хотятъ мелкими ассигнаціями.

Англичане попросили, чтобы имъ серебромъ отпустили, потому что въ бумажкахъ они толку не знаютъ; а потомъ сейчасъ и другую свою хитрость показали: блоху въ даръ подали, а футляра на нее не принесли: безъ футляра же ни ея, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются, и въ сору ихъ такъ и выбросятъ. А футляръ на нее у нихъ сдѣланъ изъ цѣльнаго брильянтоваго орѣха—и ей мѣстечко въ серединѣ выдавлено. Этого они не подали, потому что футляръ, говорятъ, будто казенный, а у нихъ насчетъ казеннаго строго, хоть и для государя, нельзя жертвовать.

Платовъ было очень разсердился, потому что, говоритъ:

— Для чего такое мошенничество!—даръ сдѣлали и милліонъ за то получили, и все еще недостаточно! Футляръ, говоритъ, всегда при всякой вещи принадлежитъ.

Но государь говоритъ:

— Оставь, пожалуйста, это не твое дѣло,—не порть мнѣ политики. У нихъ свой обычай,—и спрашиваетъ:—Сколько тотъ орѣхъ стоитъ, въ которомъ блоха мѣстится?

Англичане положили за это еще пять тысячъ.

Государь Александръ Павловичъ сказалъ: «выплатить», а самъ спустилъ блошку въ этотъ орѣшекъ, а съ нею вмѣстѣ и ключикъ, а чтобы не потерять самый орѣхъ, опустилъ

его въ свою золотую табакерку, а табакерку велѣлъ положить въ свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана перламутомъ и рыбьей костью. Аглицкихъ же мастеровъ государь съ честью отпустилъ и сказалъ имъ: вы есть первые мастера на всемъ свѣтѣ, и мои люди супротивъ васъ сдѣлать ничего не могутъ.

Тѣ остались этимъ очень довольны, а Платовъ ничего противъ словъ государя произнести не могъ. Только взялъ мелкоскопъ, да, ничего не говоря, себѣ въ карманъ спустилъ, потому что онъ сюда же, говоритъ, принадлежитъ, а денегъ вы и безъ того у насъ много взяли.

Государь этого не зналъ до самаго пріѣзда въ Россію, а уѣхали они скоро, потому что у государя отъ военныхъ дѣлъ сдѣлалась меланхолія, и онъ захотѣлъ духовную исповѣдь имѣть въ Таганрогѣ у попа Ѳедота *). Дорогой у нихъ съ Платовымъ очень мало пріятнаго разговора было, потому они совсѣмъ разныхъ мыслей сдѣлались: государь такъ соображалъ, что англичанамъ нѣтъ равныхъ въ искусствѣ, а Платовъ доводилъ, что и наши на что взглянутъ—все могутъ сдѣлать, но только имъ полезнаго ученья нѣтъ. И представлялъ государю, что у аглицкихъ мастеровъ совсѣмъ на все другія правила жизни, науки и продовольствія, и каждый человѣкъ у нихъ себѣ всѣ абсолютныя обстоятельства передъ собою имѣетъ, и черезъ то въ немъ совсѣмъ другой смыслъ.

Государь этого не хотѣлъ долго слушать, а Платовъ на каждой станціи выйдетъ и съ досады квасной стаканъ водки выпьетъ, соленымъ бараночкомъ закуситъ, закуритъ свою корешковую трубку, въ которую сразу цѣлый фунтъ Жукова табаку входило, а потомъ сядетъ и сидитъ рядомъ съ царемъ въ каретѣ молча. Государь въ одну сторону глядитъ, а Платовъ въ другое окно чубукъ высунетъ и дымитъ на вѣтеръ. Такъ они и доѣхали до Петербурга, а къ попу Ѳедоту государь Платова уже совсѣмъ не взялъ.

— Ты, говоритъ, къ духовной бесѣдѣ невоздержонъ и

*) «Попъ Ѳедотъ» не съ вѣтра взятъ: императоръ Александръ Павловичъ передъ своею кончиною въ Таганрогѣ исповѣдывался у священника Алексѣя *Ѳедотова*-Чеховскаго, который послѣ того именовался «духовникомъ его величества» и любилъ ставить всѣмъ на видъ это совершенно случайное обстоятельство. Вотъ этотъ-то *Ѳедотовъ*-Чеховской, очевидно, и есть легендарный «попъ Ѳедотъ».

такъ очень много куришь, что у меня отъ твоего дыму въ головѣ копоть стоитъ.

Платовъ остался съ обидою и легъ дома на досадную укушетку, да такъ все и лежалъ да покуривалъ Жуковъ табакъ безъ перестачи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Удивительная блоха изъ аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича въ шкатулкѣ подъ рыбьей костью, пока онъ скончался въ Таганрогѣ, отдавъ ее попу Ѳедоту, чтобы сдалъ послѣ государынѣ, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексѣевна посмотрѣла блохины вѣрояціи и усмѣхнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое, говоритъ, теперь дѣло вдовье, и мнѣ никакія забавы не обольстительны, а, вернувшись въ Петербургъ, передала эту диковину со всѣми иными драгоцѣнностями въ наслѣдство новому государю.

Императоръ Николай Павловичъ по началу тоже никакого вниманія на блоху не обратилъ, потому что при восходѣ его было смятеніе, но потомъ одинъ разъ сталъ пересматривать доставшуюся ему отъ брата шкатулку и досталъ изъ нея табакерку, а изъ табакерки брильянтовый орѣхъ, и въ немъ нашелъ стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не дѣйствовала, а лежала смирно, какъ коченѣлая.

Государь посмотрѣлъ и удивился.

— Что это еще за пустяковина и къ чему она тутъ у моего брата въ такомъ сохраненіи!

Придворные хотѣли выбросить, но государь говоритъ:

— Нѣтъ,—это что-нибудь значитъ.

Позвали отъ Аничкина моста изъ противной аптеки химика, который на самыхъ мелкихъ вѣсахъ яды взвѣшивалъ, и ему показали, а тотъ сейчасъ взялъ блоху, положилъ на языкъ и говоритъ: «чувствую хладъ, какъ отъ крѣпкаго металла». А потомъ зубомъ ее слегка помялъ и объявилъ:

— Какъ вамъ угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозорія, и она сотворена изъ металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велѣлъ сейчасъ разузнать: откуда это и что такое означаетъ?

Бросились смотрѣть въ дѣла и въ списки,—но въ дѣлахъ

ничего не записано. Стали того, другого спрашивать,— никто ничего не знаетъ. Но, по счастью, донской казакъ Платовъ былъ еще живъ и даже все еще на своей досадной укушеткѣ лежалъ и трубку курилъ. Онъ какъ услыхалъ, что во дворцѣ такое безпокойство, сейчасъ съ укушетки поднялся, трубку бросилъ и явился къ государю во всѣхъ орденахъ. Государь говоритъ:

— Что тебѣ, мужественный старикъ, отъ меня надобно?

А Платовъ отвѣчаетъ:

— Мнѣ, ваше величество, ничего для себя не надо, такъ какъ я пью—ѣмъ, что хочу, и всѣмъ доволенъ, а я, говоритъ, пришелъ доложить насчетъ этой нимфозоріи, которую отыскали: это, говоритъ, такъ и такъ было, и вотъ какъ происходило при моихъ глазахъ въ Англіи,—и тутъ при ней есть ключикъ, а у меня есть ихъ же мелкоскопъ, въ который можно его видѣть, и симъ ключомъ черезъ пузичко эту нимфозорію можно завести и она будетъ скакать, въ какомъ угодно пространствѣ, и въ стороны вѣроятіи дѣлать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платовъ говоритъ:

— Это, говоритъ, ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только намъ этому удивляться съ однимъ восторгомъ чувствъ не слѣдуетъ, а надо бы подвергнуть ее русскимъ пересмотрамъ въ Тулѣ или въ Сестербекѣ,—тогда еще Сестрорѣцкъ Сестербекомъ звали,— не могутъ ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане надъ русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павловичъ въ своихъ русскихъ людяхъ былъ очень увѣренный и никакому иностранцу уступать не любилъ, онъ и отвѣтилъ Платову:

— Это ты, мужественный старикъ, хорошо говоришь, и я тебѣ это дѣло поручаю повѣрить. Мнѣ эта коробочка все равно теперь при моихъ хлопотахъ не нужна,—а ты возьми ее съ собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поѣзжай на тихій Донъ и поведи тамъ съ моими донцами междоусобные разговоры насчетъ ихъ жизни и преданности, и что имъ нравится? А когда будешь ѣхать черезъ Тулу, покажи моимъ тульскимъ мастерамъ эту нимфозорію, и пусть они о ней подумаютъ. Скажи имъ отъ меня, что братъ мой этой вещи удивлялся и чужихъ людей, которые дѣлали нимфозорію, больше всѣхъ хвалилъ, а я на

своихъ надѣюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронятъ и что-нибудь сдѣлаютъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Платовъ взялъ стальную блоху и, какъ поѣхалъ черезъ Тулу на Донъ, показалъ ее тульскимъ оружейникамъ и слова государевы имъ передалъ, а потомъ спрашиваетъ:

— Какъ намъ теперь быть, православные?

Оружейники отвѣчаютъ:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуемъ и никогда его забыть не можемъ за то, что онъ на своихъ людей надѣется, а какъ намъ въ настоящемъ случаѣ быть, того мы въ одну минуту сказать не можемъ, потому что аглицкая нацыя тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство въ ней съ большимъ смысломъ. Противъ нея, говорятъ, надо взяться подумавши и съ Божьимъ благословеніемъ. А ты, если, твоя милость, какъ и государь нашъ, имѣешь къ намъ довѣріе, поѣзжай къ себѣ на тихій Донъ, а намъ эту блошку оставь, какъ она есть, въ футлярѣ и въ золотой царской табакерочкѣ. Гуляй себѣ по Дону и заживляй раны, которыя пріялъ за отечество, а когда назадъ будешь черезъ Тулу ѣхать—остановись и сноснлай за нами: мы къ той порѣ, Богъ дастъ, что-нибудь придумаемъ.

Платовъ не совсѣмъ доволенъ былъ тѣмъ, что туляки такъ много времени требуютъ и притомъ не говорятъ ясно: что такое именно они надѣются устроить. Спрашивалъ онъ ихъ такъ и иначе и на всѣ манеры съ ними хитро по-донски заговаривалъ, но туляки ему въ хитрости нимало не уступили, потому что имѣли они сразу же такой замыселъ, по которому не надѣялись даже, чтобы и Платовъ имъ повѣрилъ, а хотѣли прямо свое смѣлое воображеніе исполнить, да тогда и отдать.

Говорятъ:

— Мы еще и сами не знаемъ, что учинимъ, а только будемъ на Бога надѣяться, и авось слово царское ради насъ въ постыженіи не будетъ.

Такъ и Платовъ умомъ виляетъ, и туляки тоже.

Платовъ вилялъ, вилялъ да увидалъ, что туляка ему не перевилять, подалъ имъ табакерку съ нимфозоріей и говоритъ:

— Ну, нечего дѣлать, пусть, говоритъ, будетъ по ва-

шему; я васъ знаю, какіе вы, ну, одначе, дѣлать нечего,— я вамъ вѣрю, но только смотрите, брильянтъ чтобы не подмѣнить и аглицкой тонкой работы не испортьте, да недолго возитесь, потому что я шибко ѣзжу: двухъ недѣль не пройдетъ, какъ я съ тихаго Дона опять въ Петербургъ поворочу, — тогда мнѣ чтобъ непремѣнно было, что государю показать.

Оружейники его вполнѣ успокоили:

— Тонкой работы, говорятъ, мы не повредимъ и брилліанта не обмѣнимъ, а двѣ недѣли намъ времени довольно, а къ тому случаю, когда назадъ возвратишься, будетъ тебѣ *что-нибудь* государеву великолѣпію достойное представить.

А *что именно*, этого такъ-таки и не сказали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Платовъ изъ Тулы уѣхалъ, а оружейники три человѣка, самые искусные изъ нихъ, одинъ косой лѣвша, на щекѣ пятно родимое, а на вискахъ волосья при ученьи выдраны, — попрощались съ товарищами и съ своими домашними, да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съѣстного и скрылись изъ города.

Замѣтили за ними только то, что они пошли не въ Московскую заставу, а въ противоположную Кіевскую сторону, и думали, что они пошли въ Кіевъ почивающимъ угодникамъ поклониться или посовѣтовать тамъ съ кѣмъ-нибудь изъ живыхъ святыхъ мужей, всегда пребывающихъ въ Кіевѣ въ изобиліи.

Но это было только близко къ истинѣ, а не самая истина. Ни время, ни разстояніе не дозволяли тульскимъ мастерамъ сходить въ три недѣли пѣшкомъ въ Кіевъ, да еще потомъ успѣть сдѣлать посрамительную для аглицкой націи работу. Лучше бы они могли сходить помолиться въ Москву, до которой всего «два девяносто верстъ», а святыхъ угодниковъ и тамъ почиваетъ не мало. А въ другую сторону,—до Орла такіе же «два девяносто», да за Орелъ до Кіева снова еще добрыхъ пять сотъ верстъ. Этакого пути скоро не сдѣлаешь, да и сдѣлавши его не скоро отдохнешь, — долго еще будутъ ноги остекливши и руки трястись.

Инымъ даже думалось, что мастера набахвалили передъ

Платовымъ, а потомъ какъ пообдумались, то и струсили и теперь совсѣмъ сбѣжали, унеся съ собою и царскую золотую табакерку, и брильянтъ, и надѣлавшую имъ хлопотъ аглицкую стальную блоху въ футлярѣ.

Однако, такое предположеніе было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусныхъ людей, на которыхъ теперь почивала надежда націи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Туляки, люди умные и свѣдущіе въ металлическомъ дѣлѣ, извѣстны также какъ первые знатоки въ религіи. Ихъ славою въ этомъ отношеніи полна и родная земля, и даже святой Аѳонъ: они не только мастера пѣть съ вавилонами, но они знаютъ какъ пишется картина «вечерній звонъ», а если кто изъ нихъ посвятитъ себя бо̀льшему служенію и пойдетъ въ монашество, то таковые слывутъ лучшими монастырскими экономами, и изъ нихъ выходятъ самые способные сборщики. На святомъ Аѳонѣ знаютъ, что туляки—народъ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки Россіи навѣрно не видали бы очень многихъ святостей отдаленнаго Востока, а Аѳонъ лишился бы многихъ полезныхъ приношеній отъ русскихъ щедротъ и благочестія. Теперь «аѳонскіе туляки» обвозятъ святости по всей нашей родинѣ и мастерски собираютъ сборы даже тамъ, гдѣ взять нечего. Тулякъ полонъ церковнаго благочестія и великій практикъ этого дѣла, а потому и тѣ три мастера, которые взялись поддержать Платова и съ нимъ всю Россію, не дѣлали ошибки, направясь не къ Москвѣ, а на югъ. Они шли вовсе не въ Кіевъ, а къ Мценску, къ уѣздному городу орловской губерніи, въ которомъ стоитъ древняя «камнесѣченная» икона св. Николая, приплывшая сюда въ самыя древнія времена на большомъ каменномъ же крестѣ по рѣкѣ Зушѣ. Икона эта вида «грознаго и престрашнаго»,—святитель Миръ-Ликійскихъ изображенъ на ней «въ ростъ», весь одѣянъ сребропозлащенной одеждой, а лицомъ теменъ и на одной рукѣ держитъ храмъ, а въ другой — мечъ—«военное одолѣніе». Вотъ въ этомъ «одолѣніи» и заключался смыслъ вещи: св. Николай вообще покровитель торговаго и военнаго дѣла, а «мценскій Никола» въ особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебенъ у самой иконы, потомъ у каменнаго

креста и, наконецъ, возвратились домой «нощію» и, ничего никому не разсказывая, принялись за дѣло въ ужасномъ секретѣ. Сошлись они всѣ трое въ одинъ домикъ къ лѣвшѣ, двери заперли, ставни въ окнахъ закрыли, передъ Николинымъ образомъ лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидятъ и никуда не выходятъ, все молоточками потюкиваютъ. Куютъ что-то такое, а что куютъ— ничего неизвѣстно.

Всѣмъ любопытно, а никто ничего не можетъ узнать, потому что работающіе ничего не сказываютъ и наружу не показываются. Ходили къ домику разные люди, стучались въ двери подъ разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спросъ не отпираются, и даже чѣмъ питаются — неизвѣстно. Пробовали ихъ пугать, будто по сосѣдству домъ горитъ, — не выскочутъ ли въ перепугѣ и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этихъ хитрыхъ мастеровъ: одинъ разъ только лѣвша высунулся по плечи и крикнулъ:

— Горите себѣ, а намъ некогда,—и опять свою щипаную голову спряталъ, ставню захлопнулъ и за свое дѣло принялися.

Только сквозь малыя щелочки было видно, какъ внутри дома огонекъ блеститъ, да слышно, что тонкіе молоточки по звонкимъ наковальнямъ вытюкиваютъ.

Словомъ, все дѣло велось въ такомъ страшномъ секретѣ, что ничего нельзя было узнать, и притомъ продолжалось оно до самаго возвращенія казака Платова съ тихаго Дона къ государю, и во все это время мастера ни съ кѣмъ не видались и не разговаривали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Платовъ ѣхалъ очень спѣшно и съ церемоніей: самъ онъ сидѣлъ въ коляскѣ, а на козлахъ два свистовые казака съ нагайками по обѣ стороны ямщика садились и такъ его и поливали безъ милосердія, чтобы скакалъ. А если какой казакъ задремлетъ, Платовъ его самъ изъ коляски ногою ткнетъ, и еще злѣе понесутся. Эти мѣры побужденія дѣйствовали до того успѣшно, что нигдѣ лошадей ни у одной станціи нельзя было удержать, а всегда сто скачковъ мимо остановочнаго мѣста перескакивали. Тогда опять казакъ надъ ямщикомъ обратно сдѣйствуетъ, и къ подъѣзду возворотятся.

Такъ они и въ Тулу прикатили, — тоже пролетѣли сначала сто скачковъ дальше Московской заставы, а потомъ казакъ сдѣйствовалъ надъ ямщикомъ нагайкою въ обратную сторону, и стали у крыльца новыхъ коней запрягать. Платовъ изъ коляски не вышелъ, а только велѣлъ свистовому какъ можно скорѣе привести къ себѣ мастеровыхъ, которымъ блоху оставилъ.

Побѣжалъ одинъ свистовой, чтобы шли какъ можно скорѣе и несли ему работу, которою должны были англичанъ посрамить, и еще мало этотъ свистовой отбѣжалъ, какъ Платовъ вдогонку за нимъ разъ за разомъ новыхъ шлетъ, чтобы какъ можно скорѣе.

Всѣхъ свистовыхъ разогналъ и сталъ уже простыхъ людей изъ любопытной публики посылать, да даже и самъ отъ нетерпѣнія ноги изъ коляски выставляетъ, и самъ отъ нетерпѣливости бѣжать хочетъ, а зубами такъ и скрипитъ,— все ему еще не скоро показывается.

Такъ въ тогдашнее время все требовалось очень въ аккуратѣ и въ скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Тульскіе мастера, которые удивительное дѣло дѣлали, въ это время какъ разъ только свою работу оканчивали. Свистовые прибѣжали къ нимъ запыхавшись, а простые люди изъ любопытной публики, тѣ и вовсе не добѣжали, потому что съ непривычки по дорогѣ ноги разсыпали и повалилися, а потомъ отъ страха, чтобы не глядѣть на Платова, ударились домой, да гдѣ попало спрятались.

Свистовые же какъ прискочили, сейчасъ вскрикнули и какъ видятъ, что тѣ не отпираютъ, сейчасъ безъ церемоніи рванули болты у ставенъ, но болты были такіе крѣпкіе, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засовъ. Тогда свистовые взяли съ улицы бревно, поддѣли имъ на пожарный манеръ подъ кровельную застрѣху да всю крышу съ маленькаго домика сразу и своротили. Но крышу сняли да и сами сейчасъ повалилися, потому что у мастеровъ въ ихъ тѣсной хороминкѣ отъ безотдышной работы въ воздухѣ такая потная спираль сдѣлалась, что непривычному человѣку съ свѣжаго повѣтрія и одного раза нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такіе-сякіе, сволочи, дѣлаете, да еще этакою спиралью ошибать смѣете! Или въ васъ послѣ этого Бога нѣтъ!

А тѣ отвѣчаютъ:

— Мы сейчасъ, послѣдній гвоздичекъ заколачиваемъ и, какъ забьемъ, тогда нашу работу вынесемъ.

А послы говорятъ:

— Онъ насъ до того часу живьемъ съѣстъ и на поминъ души не оставитъ.

Но мастера отвѣчаютъ:

— Не успѣетъ онъ васъ поглотить, потому вотъ пока вы тутъ говорили, у насъ уже и этотъ послѣдній гвоздь заколоченъ. Бѣгите и скажите, что сейчасъ несемъ.

Свистовые побѣжали, не не съ увѣркою, — думали, что мастера ихъ обманутъ; а потому бѣжатъ-бѣжатъ, да оглянутся; но мастера за ними шли и такъ очень скоро поспѣшали, что даже невполнѣ какъ слѣдуетъ для явленія важному лицу одѣлись, а на ходу крючки въ кафтанахъ застегиваютъ. У двухъ у нихъ въ рукахъ ничего не содержалось, а у третьяго, у лѣвши, въ зеленомъ чехлѣ царская шкатулка съ аглицкой стальной блохой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Свистовые подбѣжали къ Платову и говорятъ:

— Вотъ они сами здѣсь!

Платовъ сейчасъ къ мастерамъ:

— Готово ли?

— Все, отвѣчаютъ, готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипажъ уже запряженъ и ямщикъ, и форейторъ на мѣстѣ. Казаки сейчасъ же рядомъ съ ямщикомъ усѣлись и нагайки надъ нимъ подняли, и такъ замахнувши и держатъ.

Платовъ сорвалъ зеленый чехолъ, открылъ шкатулку, вынулъ изъ ваты золотую табакерку, а изъ табакерки брильянтовый орѣхъ, — видитъ: аглицкая блоха лежитъ тамъ какая была, а кромѣ ея ничего больше нѣтъ.

Платовъ говоритъ:

— Это что же такое? А гдѣ же ваша работа, которою вы хотѣли государя утѣшить.

Оружейники отвѣчали:

— Тутъ и наша работа.

Платовъ спрашиваетъ: .

— Въ чемъ же она себя заключаетъ?

А оружейники отвѣчаютъ:

— Зачѣмъ это объяснять? Все здѣсь въ вашемъ виду,— и предусматривайте.

Платовъ плечами вздвигнулъ и закричалъ:

— Гдѣ ключъ отъ блохи?

— А тутъ же, отвѣчаютъ; гдѣ блоха, тутъ и ключъ, въ одномъ орѣхѣ.

Хотѣлъ Платовъ взять ключъ, но пальцы у него были кущапые, ловилъ - ловилъ, — никакъ не могъ ухватить ни блохи, ни ключика отъ ея брюшного завода, и вдругъ разсердился и началъ ругаться словами на казацкій манеръ.

Кричалъ:

— Что вы, подлецы, ничего не сдѣлали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вамъ голову сниму!

А туляки ему въ отвѣтъ:

— Напрасно такъ насъ обижаете, — мы отъ васъ, какъ отъ государева посла, всѣ обиды должны стерпѣть, но только за то, что вы въ насъ усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны,—мы вамъ секрета нашей работы теперь не скажемъ, а извольте къ государю отвезти — онъ увидитъ: каковы мы у него люди, и есть ли ему за насъ постыжденіе.

А Платовъ крикнулъ:

— Ну, такъ врете же вы, подлецы, я съ вами такъ не разстануся, а одинъ изъ васъ со мною въ Петербургъ поѣдетъ, и я его тамъ допытаюся, какія есть ваши хитрости.

И съ этимъ протянулъ руку, схватилъ своими кущапыми пальцами за шиворотокъ косого лѣвшу, такъ что у того всѣ крючечки отъ казакина отлетѣли, и кинулъ его къ себѣ въ коляску въ ноги.

— Сиди, говоритъ, здѣсь до самаго Петербурга въ родѣ пубеля,—ты мнѣ за всѣхъ отвѣтишь. А вы, говоритъ свистовымъ, теперь гайда! Не зѣвайте, чтобы послѣзавтра я въ Петербургѣ у государя былъ.

Мастера ему только осмѣлились сказать за товарища, что какъ же, молъ, вы его отъ насъ такъ безъ тугамента увозите? ему нельзя будетъ назадъ слѣдовать! А Платовъ

имъ вмѣсто отвѣта показалъ кулакъ, такой страшный—бугровый и весь изрубленный, кое-какъ сросся,—и, погрозивши, говоритъ: вотъ вамъ тугаментъ! А казакамъ говоритъ:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони,—все вразъ заработало, и умчали лѣвшу безъ тугамента, а черезъ день, какъ приказалъ Платовъ, такъ его и подкатили къ государеву дворцу, и даже, разскакавшись какъ слѣдуетъ—мимо колоннъ проѣхали.

Платовъ всталъ, подцѣпилъ на себя ордена и пошелъ къ государю, а косого лѣвшу велѣлъ свистовымъ казакамъ при подъѣздѣ караулить.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Платовъ боялся къ государю на глаза показаться, потому что Николай Павловичъ былъ ужасно какой замѣчательный и памятный—ничего не забывалъ. Платовъ зналъ, что онъ непремѣнно его о блохѣ спроситъ. И вотъ онъ, хоть никакого въ свѣтѣ непріятеля не пугался, а тутъ струсилъ: вошелъ во дворецъ со шкатулочкою, да потихонечку ее въ залѣ за печкой и поставилъ. Спрятавши шкатулку, Платовъ предсталъ къ государю въ кабинетъ и началъ поскорѣе докладывать, какіе у казаковъ на тихомъ Дону междоусобные разговоры. Думалъ онъ такъ: чтобы этимъ государя занять и тогда, если государь самъ вспомнитъ и заговоритъ про блоху, надо подать и отвѣтствовать, а если не заговоритъ, то промолчать, шкатулку кабинетному камердинеру велѣть спрятать, а тульскаго лѣвшу въ крѣпостной казаматъ безъ сроку посадить, чтобы посидѣлъ тамъ до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павловичъ ни о чемъ не забывалъ, и чуть Платовъ насчетъ междоусобныхъ разговоровъ кончилъ, онъ его сейчасъ же и спрашиваетъ:

— А что же, какъ мои тульскіе мастера противъ аглицкой нимфозоріи себя оправдали?

Платовъ отвѣчалъ въ томъ родѣ, какъ ему дѣло казалось.

— Нимфозорія, говоритъ, ваше величество, все въ томъ же пространствѣ, и я ее назадъ привезъ, а тульскіе мастера ничего удивительнѣе сдѣлать не могли.

Государь отвѣтилъ:

— Ты—старикъ мужественный, а этого, что ты мнѣ докладываешь, быть не можетъ.

Платовъ сталъ его увѣрять и разсказалъ, какъ все дѣло было, и какъ досказалъ до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павловичъ его по плечу хлопнулъ и говоритъ:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могутъ обманывать. Тутъ что-нибудь сверхъ понятія сдѣлано.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Вынесли изъ-за печки шкатулку, сняли съ нея суконный покровъ, открыли золотую табакерку и брильянтовый орѣхъ, — а въ немъ блоха лежитъ, какая прежде была и какъ лежала.

Государь посмотрѣлъ и сказалъ:

— Что за лихо!—но вѣры своей въ русскихъ мастеровъ не убавилъ, а велѣлъ позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказалъ ей:

— У тебя на рукахъ персты тонкіе — возьми маленькій ключикъ и заведи поскорѣе въ этой нимфозоріи брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключикомъ, и блоха сейчасъ усиками зашевелила, но ногами не трогаетъ. Александра Николаевна весь заводъ натянула, а нимфозорія все-таки ни дансе не танцуетъ и ни одной вѣроятіи, какъ прежде, не выкидываетъ.

Платовъ весь позеленѣлъ и закричалъ:

— Ахъ, они, шельмы собаческія! теперь понимаю, зачѣмъ они ничего мнѣ тамъ сказать не хотѣли. Хорошо еще, что я одного ихняго дурака съ собой захватилъ.

Съ этими словами выбѣжалъ на подъѣздъ, словилъ лѣвшу за волосы и началъ туда-сюда трепать такъ, что клочья полетѣли. А тотъ, когда его Платовъ пересталъ бить, поправился и говоритъ:

— У меня и такъ всѣ волосья при учобѣ выдраны, а не знаю теперь за какую надобность надо мною такое повтореніе?

— Это за то,—говоритъ Платовъ: — что я на васъ надѣялся и заручался, а вы рѣдкостную вещь испортили.

Лѣвша отвѣчаетъ:

— Мы много довольны, что ты за насъ ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите, въ самый сильный мелкоскопъ смотрите.

Платовъ назадъ побѣжалъ, про мелкоскопъ сказывать, а лѣвшѣ только погрозился:

— Я тебѣ,—говоритъ,—такой-сякой-этакой еще задамъ.

И велѣлъ свистовымъ, чтобы лѣвшѣ еще крѣпче локти назадъ закрутить, а самъ поднимается по ступенямъ, запыхался и читаетъ молитву: «Благого Царя Благая Мати, пречистая и чистая», и дальше какъ надобно. — А царедворцы, которые на ступеняхъ стоятъ, всѣ отъ него отворачиваются, думаютъ: попался Платовъ и сейчасъ его изъ дворца вонъ выгонятъ,—потому они его терпѣть не могли за храбрость.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Какъ довелъ Платовъ лѣвшины слова государю, тотъ сейчасъ съ радостію говоритъ:

— Я знаю, что мои русскіе люди меня не обманутъ,—и приказалъ подать мелкоскопъ на подушкѣ.

Въ ту же минуту мелкоскопъ былъ поданъ, и государь взялъ блоху и положилъ ее подъ стекло сначала кверху спинкою, потомъ бочкомъ, потомъ пузичкомъ, — словомъ сказать, на всѣ стороны ее повернули, а видѣть нечего. Но государь и тутъ своей вѣры не потерялъ, а только сказалъ:

— Привести сейчасъ ко мнѣ сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платовъ докладываетъ:

— Его бы пріодѣть надо,—онъ въ чемъ былъ взятъ, и теперь очень въ зломъ видѣ.

А государь отвѣчаетъ:

— Ничего—ввести какъ онъ есть.

Платовъ говоритъ:

— Вотъ, иди теперь самъ, такой-этакой, передъ очами государю отвѣчай.

А лѣвша отвѣчаетъ:

— Что жъ такое, и пойду, и отвѣчу.

Идетъ въ чемъ былъ: въ опорочкахъ, одна штанина въ сапогѣ, другая мотается, а озямчикъ старенькій, крючечки не застегаются, порастеряны, а шиворотъ разорванъ; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думаетъ, — если государю угодно меня видѣть — я долженъ идти; а если при мнѣ тугамента

нѣтъ, — такъ я тому не причиненъ, и скажу, отчего такъ дѣло было.»

Какъ взошелъ лѣвша и поклонился, государь ему сейчасъ и говоритъ:

— Что это такое, братецъ, значитъ, что мы и такъ, и этакъ смотрѣли, и подъ мелкоскопъ клали, а ничего замѣчательнаго не усматриваемъ?

А лѣвша отвѣчаетъ:

— Такъ ли вы, ваше величество, изволили смотрѣть?

Вельможи ему киваютъ: «дескать, не такъ говоришь!» а онъ не понимаетъ, какъ надо по придворному съ лестью или съ хитростью, а говоритъ просто.

Государь говоритъ:

— Оставьте надъ нимъ мудрость,— пусть его отвѣчаетъ, какъ онъ умѣетъ.

И сейчасъ ему пояснилъ:

— Мы, говоритъ, вотъ какъ клали — и положилъ блоху подъ мелкоскопъ. Смотри, говоритъ, самъ — ничего не видно.

Лѣвша отвѣчаетъ:

— Этакъ, ваше величество, ничего и невозможно видѣть, потому что наша работа противъ такого размѣра гораздо секретнѣе.

Государь вопросилъ:

— А какъ же надо?

— Надо, говоритъ, всего одну ея ножку въ подробности подъ весь мелкоскопъ подвести и отдѣльно смотрѣть на всякую пяточку, которой она ступаетъ.

— Помилуй, скажи,—говоритъ государь: — это уже очень сильно мелко!

— А что же дѣлать, — отвѣчаетъ лѣвша: — если только такъ нашу работу и замѣтить можно: тогда все и удивленіе окажется.

Положили, какъ лѣвша сказалъ, и государь какъ только глянулъ въ верхнее стекло, такъ весь и просіялъ, — взялъ лѣвшу, какой онъ былъ неубранный и въ пыли неумытый,— обнялъ его и поцѣловалъ, а потомъ обернулся ко всѣмъ придворнымъ и сказалъ:

— Видите, я лучше всѣхъ зналъ, что мои русскіе меня не обманутъ. Глядите, пожалуйста: вѣдь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Стали всѣ подходить и смотрѣть: блоха, дѣйствительно, была на всѣ ноги подкована на настоящія подковы, а лѣвша доложилъ, что и это еще не все удивительное.

— Если бы, говоритъ, былъ лучше мелкоскопъ, который въ пять милліоновъ увеличиваетъ, такъ вы изволили бы, говоритъ, увидать, что на каждой подковинкѣ мастерово имя выставлено: какой русскій мастеръ ту подковку дѣлалъ.

— И твое имя тутъ есть?—спросилъ государь.

— Никакъ нѣтъ, — отвѣчаетъ лѣвша: — моего одного и нѣтъ.

— Почему же?

— А потому, говоритъ, что я мельче этихъ подковокъ работалъ: я гвоздики выковывалъ, которыми подковки забиты,—тамъ уже никакой мелкоскопъ взять не можетъ.

Государь спросилъ:

— Гдѣ же вашъ мелкоскопъ, съ которымъ вы могли произвести это удивленіе?

А лѣвша отвѣтилъ:

— Мы люди бѣдные и по бѣдности своей мелкоскопа не имѣемъ, а у насъ такъ глазъ пристрѣлявши.

Тутъ и другіе придворные, видя, что лѣвши дѣло выгорѣло, начали его цѣловать, а Платовъ ему сто рублей далъ и говоритъ:

— Прости меня, братецъ, что я тебя за волосья отодралъ.

Лѣвша отвѣчаетъ:

— Богъ проститъ — это намъ не впервые такой снѣгъ на голову.

А больше и говорить не сталъ, да и некогда ему было ни съ кѣмъ разговаривать, потому что государь приказалъ сейчасъ же эту подкованную нимфозорію уложить и отослать назадъ въ Англію,—въ родѣ подарка, чтобы тамъ поняли, что намъ это не удивительно. И велѣлъ государь, чтобы везъ блоху особый курьеръ, который на всѣ языки ученъ, а при немъ чтобы и лѣвша находился, и чтобы онъ самъ англичанамъ могъ показать работу и каковые у насъ въ Тулѣ мастера есть.

Платовъ его перекрестилъ:

— Пусть, говоритъ, — надъ тобою будетъ благословеніе,

а на дорогу я тебѣ моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Такъ и сдѣлалъ,—прислалъ.

А графъ Кисельвроде велѣлъ, чтобы обмыли лѣвшу въ Туляковскихъ всенародныхъ баняхъ, остригли въ парикмахерской и одѣли въ парадный кафтанъ съ придворнаго пѣвчаго, для того дабы похоже было, будто и на немъ какой-нибудь жалованный чинъ есть.

Какъ его такимъ манеромъ обформировали, напоили на дорогу чаемъ съ Платовскою кисляркою, затянули ременнымъ поясомъ какъ можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли въ Лондонъ. Отсюда съ лѣвшой и пошли заграничные виды.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Ѣхали курьеръ съ лѣвшою очень скоро, такъ что отъ Петербурга до Лондона нигдѣ отдыхать не останавливались, а только на каждой станціи пояса на одинъ значокъ еще уже перетягивали, чтобы кишки съ легкими не перепутались; но какъ лѣвшѣ послѣ представленія государю, по Платовскому приказанію, отъ казны винная порція вволю полагалась, то онъ, не ѣвши, этимъ однимъ себя поддерживалъ и на всю Европу русскія пѣсни пѣлъ, только припѣвъ дѣлалъ по иностранному:—*«ай люли—се тре жули»*.

Курьеръ, какъ привезъ его въ Лондонъ, такъ появился кому надо и отдалъ шкатулку, а лѣвшу въ гостиницѣ въ номеръ посадилъ, но ему тутъ скоро скучно стало, да и ѣсть захотѣлось. Онъ постучалъ въ дверь и показалъ услужающему себѣ на ротъ, а тотъ сейчасъ его и свелъ въ пищеприемную комнату.

Сѣлъ тутъ лѣвша за столъ и сидитъ, а какъ чего-нибудь по-аглицки спросить — не умѣетъ. Но потомъ догадался: опять просто по столу перстомъ постучитъ, да въ ротъ себѣ покажетъ, — англичане догадываются и подаютъ, только не всегда того, что надобно, но онъ что ему не подходящее не принимаетъ. Подали ему ихняго приготовленія горячій студингъ въ огнѣ; — онъ говоритъ: это я не знаю, что бы такое можно ѣсть, и вкушать не сталъ— они ему перемѣнили и другого кушанья поставили. Такъ же и водки ихъ пить не сталъ, потому что она зеленая — въ родѣ какъ будто купоросомъ заправлена, а выбралъ что

всего натуральнѣе, и ждетъ курьера въ прохладѣ за баклажечкой.

А тѣ лица, которымъ курьеръ нимфозорію сдалъ, сію же минуту ее разсмотрѣли въ самый сильный мелкоскопъ и сейчасъ въ публицейскія вѣдомости описаніе, чтобы завтра же на всеобщее извѣстіе клеветонъ вышелъ.

— А самого этого мастера, говорятъ, — мы сейчасъ хотимъ видѣть.

Курьеръ ихъ препроводилъ въ номеръ, а оттуда въ пищепріемную залу, гдѣ нашъ лѣвша порядочно уже подрумянился, и говоритъ: вотъ онъ!

Англичане лѣвшу сейчасъ хлопъ-хлопъ по плечу и какъ ровнаго себѣ — за руки: «камрадъ, говорятъ, камрадъ—хорошій мастеръ,—разговаривать съ тобой современемъ послѣ будемъ, а теперь выпьемъ за твое благополучіе».

Спросили много вина и лѣвшѣ первую чарку, а онъ съ вѣжливостью первый пить не сталъ: думаетъ, можетъ быть отравить съ досады хотите.

— Нѣтъ, говоритъ,—это не порядокъ: и въ Польшѣ нѣтъ хозяина больше,—сами впередъ кушайте.

Англичане всѣхъ винъ передъ нимъ опробовали и тогда ему стали наливать. Онъ всталъ, лѣвой рукой перекрестился и за всѣхъ ихъ здоровье выпилъ.

Они замѣтили, что онъ лѣвой рукою крестится и спрашиваютъ у курьера:

— Что онъ, лютеранецъ или протестантистъ?

Курьеръ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, онъ не лютеранецъ и не протестантистъ, а русской вѣры.

— А зачѣмъ же онъ лѣвой рукой крестится?

Курьеръ сказалъ:

— Онъ—лѣвша и все лѣвой рукой дѣлаетъ.

Англичане еще болѣе стали удивляться и начали накачивать виномъ и лѣвшу, и курьера, и такъ цѣлые три дня обходилися, а потомъ говорятъ: «теперь довольно». По симфону воды съ ерфиксомъ приняли и, совсѣмъ освѣжившись, начали разспрашивать лѣвшу: гдѣ онъ и чему учился и до какихъ поръ ариѳметику знаетъ?

Лѣвша отвѣчаетъ:

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а ариѳметики мы нимало не знаемъ.

Англичане переглянулись и говорятъ:

— Это удивительно.

А лѣвша имъ отвѣчаетъ:

— У насъ это такъ повсемѣстно.

— А что же это, спрашиваютъ, — за книга въ Россіи «Полусонникъ»?

— Это, говоритъ, книга къ тому относящая, что если въ Псалтирѣ что-нибудь насчетъ гаданья царь Давидъ не ясно открылъ, то въ Полусонникѣ угадываютъ дополненіе.

Они говорятъ:

— Это жалко, лучше бы, если бъ вы изъ ариѳметики по крайности хоть четыре правила сложенія знали, — то бы вамъ было гораздо пользительнѣе, чѣмъ весь Полусонникъ. Тогда бы вы могли сообразить, что въ каждой машинѣ расчетъ силы есть, а то вотъ хоша вы очень въ рукахъ искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, какъ въ нимфозоріи, на самую аккуратную точность разсчитана и ея подковокъ несть не можетъ. Черезъ это теперь нимфозорія и не прыгаетъ, и дансе не танцуетъ.

Лѣвша согласился.

— Объ этомъ, говоритъ, — спору нѣтъ, что мы въ наукахъ не зашлись, но только своему отечеству вѣрно преданные.

А англичане сказываютъ ему:

— Оставайтесь у насъ, мы вамъ большую образованность передадимъ, и изъ васъ удивительный мастеръ выйдетъ.

Но на это лѣвша не согласился:

— У меня, говоритъ, дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителямъ деньги посылать, но лѣвша не взялъ:

— Мы, говоритъ, — къ своей родинѣ привержены и тятинька мой уже старичокъ, а родительница — старушка и привыкши въ свой приходъ въ церковь ходить, да и мнѣ тутъ въ одиночествѣ очень скучно будетъ, потому что я еще въ холостомъ званіи.

— Вы, говорятъ, обвыкнете, — нашъ законъ примете, и мы васъ женимъ.

— Этого, — отвѣтилъ лѣвша: — никогда быть не можетъ.

— Почему такъ?

— Потому, — отвѣчаетъ, — что наша русская вѣра самая

правильная, и какъ вѣрили наши правотцы, такъ же точно должны вѣрить и потомцы.

— Вы,—говорятъ англичане:—нашей вѣры не знаете: мы того же закона христіанскаго и то же самое Евангеліе содержимъ.

— Евангеліе,—отвѣчаетъ лѣвша:—дѣйствительно, у всѣхъ одно, а только наши книги противъ вашихъ толще и вѣра у насъ полнѣе.

— Почему вы такъ это можете судить?

— У насъ тому,—отвѣчаетъ:—есть всѣ очевидныя доказательства.

— Какія?

— А такія,—говоритъ:—что у насъ есть и боготворныя иконы, и гроботочивыя главы, и мощи, а у васъ ничего, и даже, кромѣ одного воскресенья, никакихъ экстренныхъ праздниковъ нѣтъ, а по второй причинѣ, мнѣ съ англичанкою, хоть и повѣнчавшись въ законѣ, жить конфузно будетъ.

— Отчего же такъ?— спрашиваютъ. — Вы не пренебрегайте—наши тоже очень чисто одѣваются и хозяйственныя.

А лѣвша говоритъ:

— Я ихъ не знаю.

Англичане отвѣчаютъ:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вамъ грандеву сдѣлаемъ.

Лѣвша застыдился.

— Зачѣмъ,—говоритъ:—напрасно дѣвушекъ морочить, и отнѣкался. Грандеву, говоритъ, это дѣло господское, а намъ нейдетъ, и если объ этомъ дома, въ Тулѣ, узнаютъ, надо мною большую насмѣшку сдѣлаютъ.

Англичане полюбопытствовали:

— А если, говорятъ,—безъ грандеву, то какъ же у васъ въ такихъ случаяхъ поступаютъ, чтобы пріятный выборъ сдѣлать?

Лѣвша имъ объяснилъ наше положеніе.

— У насъ, говоритъ, — когда человѣкъ хочетъ насчетъ дѣвушки обстоятельное намѣреніе обнаружить, посылаетъ разговорную женщину, и какъ она предлогъ сдѣлаетъ, тогда вмѣстѣ въ домъ идутъ вѣжливо, и дѣвушку смотрятъ не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвѣчали, что у нихъ разговорныхъ

женщинъ нѣтъ и такого обыкновенія не водится, а лѣвша говоритъ:

— Это тѣмъ и пріятнѣе, потому что такимъ дѣломъ если и заняться, то надо съ обстоятельнымъ намѣреніемъ, а какъ я сего къ чужой націи не чувствую, то зачѣмъ дѣвушекъ морочить?

Онъ англичанамъ и въ этихъ своихъ сужденіяхъ понравился, такъ что они его опять пошли по плечамъ и по колѣнямъ съ пріятствомъ ладошками охлопывать, а сами спрашиваютъ:

— Мы бы, говорятъ, только черезъ одно любопытство знать желали: какія вы порочныя примѣты въ нашихъ дѣвицахъ примѣтили, и за что ихъ обѣгаете?

Тутъ лѣвша имъ уже откровенно отвѣтилъ:

— Я ихъ не порочу, а только мнѣ то не нравится, что одежда на нихъ какъ-то машется, и не разобрать, что такое надѣто и для какой надобности; тутъ одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на рукахъ какія-то ногавочки. Совсѣмъ точно обезьяна—сапажу — плисовая тальма.

Англичане засмѣялись и говорятъ:

— Какое же вамъ въ этомъ препятствіе?

— Препятствія,—отвѣчаетъ лѣвша:—нѣтъ, а только опасаюсь, что стыдно будетъ смотрѣть и дожидаться какъ она изо всего изъ этого разбираться станетъ.

— Неужели же,—говорятъ:—вашъ фасонъ лучше?

— Нашъ фасонъ,—отвѣчаетъ:—въ Тулѣ простой: всякая въ своихъ кружевцахъ, и наши кружева даже и большія дамы носятъ.

Они его тоже и своимъ дамамъ казали, и тамъ ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Онъ отвѣчалъ:

— Что мы,—говоритъ:—очень сладко не пріучены.

Тогда ему по-русски въ прикуску подали.

Имъ показывается, что этакъ будто хуже, а онъ говоритъ:

— На нашъ вкусъ этакъ вкуснѣе.

Ничѣмъ его англичане не могли сбить, чтобы онъ на ихъ жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его въ это время по разнымъ заводамъ водить будутъ и все свое искусство покажутъ.

— А потомъ, — говорятъ: — мы его на своемъ кораблѣ привеземъ *и живого въ Петербургъ доставимъ.*

На это онъ согласился.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Взяли англичане лѣвшу на свои руки, а русскаго курьера назадъ въ Россію отправили. Курьеръ хотя и чинъ имѣлъ, и на разные языки былъ ученъ, но они имъ не интересовались, а лѣвшою интересовались, — и пошли они лѣвшу водить и все ему показывать. Онъ смотрѣлъ все ихъ производство и металлическія фабрики и мыльно-пильные заводы, и всѣ хозяйственные порядки ихъ ему очень нравились, особенно насчетъ рабочаго содержанія. Всякій работникъ у нихъ постоянно въ сытости, одѣтъ не въ обрывкахъ, а на каждомъ способный тужурный жилетъ, обутъ въ толстые щиглеты съ желѣзными набалдашниками, чтобы нигдѣ ноги ни на что не напороть; работаетъ не съ бойломъ, а съ обученіемъ, и имѣетъ себѣ понятія. Передъ каждымъ на виду виситъ долбица умноженія, а подъ рукою стирабельная дощечка: все, что который мастеръ дѣлаетъ, — на долбицу смотритъ, и съ понятіемъ свѣряетъ, а потомъ на дощечкѣ одно пишетъ, другое стираетъ и въ аккуратъ сводитъ: что на цифиряхъ написано, то и на дѣлѣ выходитъ. А придетъ праздникъ, соберутся по парочкѣ, возьмутъ въ руки по палочкѣ и идутъ гулять чинно-благородно какъ слѣдуетъ.

Лѣвша на все ихъ житье и на всѣ ихъ работы насмотрѣлся, но больше всего вниманіе обращалъ на такой предметъ, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, какъ новыя ружья дѣлаютъ, сколь то, какъ старыя въ какомъ видѣ состоятъ. Все обойдетъ и хвалитъ, и говоритъ:

— Это и мы такъ можемъ.

А какъ до стараго ружья дойдетъ,—засунетъ палецъ въ дуло, поводитъ по стѣнкамъ и вздохнетъ:

— Это,—говоритъ:—противъ нашего не въ примѣръ превосходнѣйше.

Англичане никакъ не могли отгадать, что такое лѣвша замѣчаетъ, а онъ спрашиваетъ:

— Не могу ли,—говоритъ:—я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядѣли или нѣтъ?

Ему говорятъ:

— Которые тутъ были, тѣ, должно-быть, глядѣли.

— А какъ,—говоритъ:—они были: въ перчаткѣ или безъ перчатки?

— Ваши генералы,—говорятъ:—парадные, они всегда въ перчаткахъ ходятъ, значитъ и здѣсь такъ были.

Лѣвша ничего не сказалъ. Но вдругъ началъ безпокойно скучать. Затосковалъ и затосковалъ, и говоритъ англичанамъ:

— Покорно благодарствуйте на всемъ угощеніи, и я всѣмъ у васъ очень доволенъ и все, что мнѣ нужно было видѣть, уже видѣлъ, а теперь я скорѣе домой хочу.

Никакъ его болѣе удержать не могли. По сушѣ его пустить нельзя, потому что онъ на всѣ языки не умѣлъ, а по водѣ плыть не хорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но онъ присталъ: отпустите.

— Мы на буреметръ, — говорятъ: — смотрѣли: буря будетъ,—потонуть можешь: это вѣдь не то, что у васъ Финскій заливъ, а тутъ настоящее Твердиземное море.

— Это все равно,—отвѣчаетъ:—гдѣ умереть—все единственно, воля Божія, а я желаю скорѣе въ родное мѣсто, потому что иначе я могу родъ помѣшательства достать.

Его силомъ не удерживали: напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы съ трепетиромъ, а для морской прохлады на поздній осенній путь дали байковое пальто съ вѣтряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одѣли и отвезли лѣвшу на корабль, который въ Россію шелъ. Тутъ помѣстили лѣвшу въ лучшемъ видѣ, какъ настоящаго барина, но онъ съ другими господами въ закрытіи сидѣть не любилъ и совѣстился, а уйдетъ на палубу, подъ презентъ сядетъ и спроситъ:

— Гдѣ наша Россія?

Англичанинъ, котораго онъ спрашиваетъ, рукою ему въ ту сторону покажетъ или головою махнетъ, а онъ туда лицомъ оборотится и нетерпѣливо въ родную сторону смотритъ.

Какъ вышли изъ буфты въ Твердиземное море, такъ стремленіе его къ Россіи такое сдѣлалось, что никакъ его нельзя было успокоить. Водопленіе стало ужасное, а лѣвша все внизъ въ каюты нейдетъ, — подъ презентомъ сидитъ, нахлобучку надвинулъ и къ отечеству смотритъ.

Много разъ англичане приходили его въ теплое мѣсто внизъ звать, но онъ, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться началъ.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ:—мнѣ тутъ наружи лучше,—а то со мною подъ крышей отъ колтыханія морская свинка сдѣлается.

Такъ все время и не сходилъ до особаго случая, и черезъ это очень понравился одному полшкиперу, который на горе нашего лѣвши умѣлъ по-русски говорить. Этотъ полшкиперъ не могъ надивиться, что русскій сухопутный человѣкъ и такъ всѣ непогоды выдерживаетъ.

— Молодецъ,—говоритъ:—русъ,—выпьемъ!

Лѣвша выпилъ.

А полшкиперъ говоритъ:

— Еще!

Лѣвша и еще выпилъ, и напились.

Полшкиперъ его и спрашиваетъ:

— Ты какой отъ нашего государства въ Россію секретъ везешь?

Лѣвша отвѣчаетъ:

— Это мое дѣло.

— А если такъ, — отвѣчалъ полшкиперъ: — такъ давай держать съ тобой аглицкое парей.

Лѣвша спрашиваетъ:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего въ одиночку не пить, а всего пить за-ровно,—что одинъ, то непремѣнно и другой, и кто кого перепьетъ, того и горка.

Лѣвша думаетъ: небо тучится, брюхо пучится, — скука большая, а путина длинная и родного мѣста за волною невидно—пари держать все-таки веселѣе будетъ.

— Хорошо,—говоритъ:—идетъ!

— Только чтобъ честно.

— Да, ужъ это,—говоритъ:—не безпокойтесь.

Согласились и по рукамъ ударили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Началось у нихъ пари еще въ Твердиземномъ морѣ и пили они до рижскаго Динаминде, но шли все наравнѣ и другъ другу не уступали, и до того аккуратно равнялись, что когда одинъ, глянувъ въ море, увидалъ, какъ изъ воды

чортъ лѣзетъ, такъ сейчасъ то же самое и другому объявилось. Только полшкиперъ видитъ чорта рыжаго, а лѣвша говоритъ, будто онъ теменъ, какъ Муринъ.

Лѣвша говоритъ:

— Перекрестись и отворотись—это чортъ изъ пучины.

А англичанинъ споритъ.

— Это морской водоглазъ.

— Хочешь,—говоритъ:—я тебя въ море швырну, ты не бойся, онъ мнѣ тебя сейчасъ назадъ подастъ.

А лѣвша отвѣчалъ:

— Если такъ, то швыряй.

Полшкиперъ его взялъ на закорки и понесъ къ борту.

Матросы это увидали, остановили ихъ и доложили капитану, а тотъ велѣлъ ихъ обоихъ внизъ запереть и дать имъ рому и вина, и холодной пищи, чтобы могли и пить, и ѣсть, и свое пари выдержать, — а горячаго студингу съ огнемъ имъ не подавать, потому что у нихъ въ нутрѣ можетъ спиртъ загорѣться.

Такъ ихъ и привезли взаперти до Петербурга и пари изъ нихъ ни одинъ другъ у друга не выигралъ, а тутъ расклали ихъ на разныя повозки и повезли англичанина въ посланническій домъ на Аглицкую набережную, а лѣвшу въ кварталъ.

Отсюда судьба ихъ начала сильно разниться.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Англичанина какъ привезли въ посольскій домъ, сейчасъ сразу позвали къ нему лѣкаря и аптекаря, — лѣкарь велѣлъ его при себѣ въ теплую ванну всадить, а аптекарь сейчасъ же скаталъ гуттаперчевую пилюлю и самъ въ ротъ ему всунулъ, а потомъ оба вмѣстѣ взялись и положили на перину и сверхъ шубой покрыли и оставили потѣть, а чтобы ему никто не мѣшалъ, по всему посольству приказъ данъ, чтобы никто чихать не смѣлъ. Дождались лѣкарь съ аптекаремъ, пока полшкиперъ заснулъ, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, — возлѣ его изголовья на столикъ положили и ушли.

А лѣвшу свалили въ кварталѣ на полъ, и спрашиваютъ:

— Кто такой и откудова, и есть ли паспортъ или какой другой тугаментъ?

А онъ отъ болѣзни, отъ питья и отъ долгаго колтыханья

такъ ослабѣлъ, что ни слова не отвѣчаетъ, а только стонетъ.

Тогда его сейчасъ обыскали, пестрое платье съ него сняли и часы съ трепетиромъ, и деньги обрали, а самого приставъ велѣлъ на встрѣчномъ извозчикѣ безплатно въ больницу отправить.

Повелъ городовой лѣвшу на санки сажать, да долго ни одного встрѣчника поймать не могъ, потому извозчики отъ полицейскихъ бѣгаютъ. А лѣвша все это время на холодномъ паратѣ лежалъ; потомъ поймалъ городовой извозчика, только безъ теплой лисы, потому что они лису въ саняхъ въ такомъ разѣ подъ себя прячутъ, чтобы у полицейскихъ скорѣй ноги стыли. Везли лѣвшу такъ непокрытаго, да какъ съ одного извозчика на другого станутъ пересаживать, все роняютъ, а поднимать станутъ,—ухи рвутъ, чтобы въ память пришелъ. Привезли въ одну больницу,—не принимаютъ безъ тугамента, привезли въ другую — и тамъ не принимаютъ, и такъ въ третью, и въ четвертую, — до самаго утра его по всѣмъ отдаленнымъ кривопуткамъ таскали и все пересаживали, такъ что онъ весь избился. Тогда одинъ подлѣкарь сказалъ городовому везти его въ простонародную Обухвинскую больницу — гдѣ невѣдомаго сословія всѣхъ умирать принимаютъ.

Тутъ велѣли росписку дать, а лѣвшу до разборки на полу въ коридоръ посадить.

А аглицкій полшкиперъ въ это самое время на другой день всталъ, другую гуттаперчевую пилюлю въ нутро проглотилъ, на легкій завтракъ курицу съ рысью съѣлъ, эрфиксомъ запилъ и говоритъ:

— Гдѣ мой русскій камрадъ? я его искать пойду.

Одѣлся и побѣжалъ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Удивительнымъ манеромъ полшкиперъ какъ-то очень скоро лѣвшу нашелъ, только его еще на кровать не уложили, а онъ въ коридорѣ на полу лежалъ и жаловался англичанину.

— Мнѣ бы, говоритъ, — два слова государю непремѣнно надо сказать.

Англичанинъ побѣжалъ къ графу Клейнмихелю и зашумѣлъ:

— Развѣ такъ можно! У него, говоритъ, хоть и шуба овечкина, такъ душа человѣчкина.

Англичанина сейчасъ оттуда за это разсужденіе вонъ — чтобы не смѣлъ поминать душу человѣчкину. А потомъ ему кто-то сказалъ: сходилъ бы ты лучше къ казаку Платову,— онъ простыя чувства имѣетъ.

Англичанинъ достигъ Платова, который теперь опять на укушеткѣ лежалъ: Платовъ его выслушалъ и про лѣвшу вспомнилъ.

— Какъ же, братецъ, говоритъ,—очень коротко съ нимъ знакомъ,—даже за волоса его дралъ,—только не знаю, какъ ему въ такомъ несчастномъ разѣ помочь; потому что я уже совсѣмъ отслужился и полную пуплекцію получилъ, — теперь меня больше не уважаютъ, — а ты бѣги скорѣе къ коменданту Скобелеву, онъ въ силахъ и тоже въ этой части опытный,—онъ что-нибудь сдѣлаетъ.

Полшкиперъ пошелъ и къ Скобелеву и все разсказалъ: какая у лѣвши болѣзнь и отчего сдѣлалась. Скобелевъ говоритъ:

— Я эту болѣзнь понимаю, только нѣмцы ее лѣчить не могутъ, а тутъ надо какого-нибудь доктора изъ духовнаго званія, потому что тѣ въ этихъ примѣрахъ выросли и помогать могутъ: я сейчасъ пошлю туда русскаго доктора Мартынъ-Сольскаго.

Но только когда Мартынъ-Сольскій пріѣхалъ, лѣвша уже кончался, потому что у него затылокъ о паратъ раскололся, и онъ одно только могъ внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичанъ ружья кирпичомъ не чистятъ: пусть чтобы и у насъ не чистили, а то, храни Богъ войны, они стрѣлять не годятся.

И съ этою вѣрностью лѣвша перекрестился и померъ.

Мартынъ-Сольскій сейчасъ же поѣхалъ, объ этомъ графу Чернышеву доложилъ, чтобы до государя довести, а графъ Чернышевъ на него закричалъ:

— Знай, говоритъ, свое рвотное да слабительное, а не въ свое дѣло не мѣшайся—въ Россіи на это генералы есть.

Государю такъ и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампаніи. Въ тогдашнее время, какъ стали ружья заряжать, а пули въ нихъ и болтаются, потому что стволы кирпичомъ расчищены. Тутъ Мартынъ-Сольскій Чернышеву о лѣвшѣ и напомнилъ, а графъ Чернышевъ и говоритъ:

— Пошелъ къ чорту, плезирная трубка, — не въ свое дѣло не мѣшайся, а не то я отопрусь, что никогда отъ тебя объ этомъ не слыхалъ, — тебѣ же и достанется.

Мартынъ-Сольскій подумалъ: и вправду отопрется, такъ и молчалъ.

А доведи они лѣвшины слова въ свое время до государя — въ Крыму на войнѣ съ непріятелемъ совсѣмъ бы другой оборотъ былъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Теперь все это уже — «дѣла минувшихъ дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но преданія эти нѣтъ нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный складъ легенды и эпическій характеръ ея главнаго героя. Собственное имя лѣвши, подобно именамъ многихъ величайшихъ геніевъ, навсегда утрачено для потомства; но какъ олицетворенный народною фантазіею миѳъ, онъ интересенъ, а его похожденія могутъ служить воспоминаніемъ эпохи, общій духъ которой схваченъ мѣтко и вѣрно.

Такихъ мастеровъ, какъ баснословный лѣвша, теперь, разумѣется, уже нѣтъ въ Тулѣ: машины сравняли неравенство талантовъ и дарованій, и геній не рвется въ борьбѣ противъ прилежанія и аккуратности. Благопріятствуя возвышенію заработка, машины не благопріятствуютъ артистической удали, которая иногда превосходила мѣру, вдохновляя народную фантазію къ сочиненію подобныхъ нынѣшней баснословныхъ легендъ.

Работники, конечно, умѣютъ цѣнить выгоды, доставляемыя имъ практическими приспособленіями механической науки, но о прежней старинѣ они вспоминаютъ съ гордостью и любовью. Это ихъ эпосъ, и притомъ съ очень «человѣчкиной душою».

ЧЕЛОВѢКЪ НА ЧАСАХЪ.

(1839 г.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Событіе, разсказъ о которомъ ниже сего предлагается вниманію читателей, трогательно и ужасно по своему значенію для главнаго героическаго лица пьесы, а развязка дѣла такъ оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно гдѣ-нибудь, кромѣ Россіи.

Это составляетъ отчасти придворный, отчасти историческій анекдотъ, недурно характеризующій нравы и направленіе очень любопытной, но крайне бѣдно отмѣченной эпохи тридцатыхъ годовъ совершающагося девятнадцатаго столѣтія.

Вымысла въ наступающемъ разсказѣ нѣтъ нисколько.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Зимою, около Крещенія, въ 1839 году въ Петербургѣ была сильная оттепель. Такъ размокропогодило, что совсѣмъ какъ-будто веснѣ быть: снѣгъ таялъ, съ крышъ падали днемъ капели, а ледъ на рѣкахъ посинѣлъ и взялся водой. На Невѣ, передъ самымъ Зимнимъ дворцомъ, стояли глубокія полыньи. Вѣтеръ дулъ теплый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду и стрѣляли пушки.

Караулъ во дворцѣ занимала рота Измайловскаго полка, которою командовалъ блестяще образованный и очень хорошо поставленный въ обществѣ молодой офицеръ, Николай Ивановичъ Миллеръ (впослѣдствіи полный генералъ и

директоръ лицея). Это былъ человѣкъ съ такъ-называемымъ «гуманнымъ» направленіемъ, которое за нимъ было давно замѣчено и немножко вредило ему по службѣ во вниманіи высшаго начальства.

На самомъ же дѣлѣ, Миллеръ былъ офицеръ исправный и надежный, а дворцовый караулъ въ тогдашнее время и не представлялъ ничего опаснаго. Пора была самая тихая и безмятежная. Отъ дворцоваго караула не требовалось ничего, кромѣ точнаго стоянія на постахъ, а между тѣмъ, какъ разъ тутъ, на караульной очереди капитана Миллера при дворцѣ, произошелъ весьма чрезвычайный и тревожный случай, о которомъ теперь едва вспоминаютъ немногіе изъ доживающихъ свой вѣкъ тогдашнихъ современниковъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Сначала въ караулѣ все шло хорошо: посты распредѣлены, люди разставлены и все обстояло въ совершенномъ порядкѣ. Государь Николай Павловичъ былъ здоровъ, ѣздилъ вечеромъ кататься, возвратился домой и легъ въ постель. Уснулъ и дворецъ. Наступила самая спокойная ночь. Въ кордегардіи тишина. Капитанъ Миллеръ прикололъ булавками свой бѣлый носовой платокъ къ высокой и всегда традиціонно засаленной сафьянной спинкѣ офицерскаго кресла и сѣлъ коротать время за книгой.

Н. И. Миллеръ всегда былъ страстный читатель и потому онъ не скучалъ, а читалъ и не замѣчалъ, какъ уплывала ночь; но вдругъ, въ исходѣ второго часа ночи, его встревожило ужасное безпокойство: предъ нимъ является разводный унтеръ-офицеръ и, весь блѣдный, объятый страхомъ, лепечетъ скороговоркой:

— Бѣда, ваше благородіе, бѣда!

— Что такое?!

— Страшное несчастіе постигло!

Н. И. Миллеръ вскочилъ въ неописанной тревогѣ и едва могъ толкомъ дознаться, въ чемъ именно заключались «бѣда» и «страшное несчастіе».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Дѣло заключалось въ слѣдующемъ: часовой, солдатъ Измайловскаго полка, по фамиліи Постниковъ, стоя на часахъ снаружи у нынѣшняго Іорданскаго подъѣзда, услы-

халъ, что въ полыньѣ, которою противъ этого мѣста покрылась Нева, заливается человѣкъ и отчаянно молитъ о помощи.

Солдатъ Постниковъ, изъ дворовыхъ господскихъ людей, былъ человѣкъ очень нервный и очень чувствительный. Онъ долго слушалъ отдаленные крики и стоны утопающаго и приходилъ отъ нихъ въ оцѣпенѣніе. Въ ужасѣ онъ оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной, и ни здѣсь, ни на Невѣ, какъ на зло, не усматривалъ ни одной живой души.

Подать помощь утопающему никто не можетъ, и онъ непремѣнно зальется...

А между тѣмъ тонущій ужасно долго и упорно борется. Ужъ одно бы ему, кажется,—не тратя силъ, спускаться на дно, такъ вѣдь нѣтъ! Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнутъ, то опять начинаютъ раздаваться, и притомъ все ближе и ближе къ дворцовой набережной. Видно, что человѣкъ еще не потерялся и держитъ путь вѣрно, прямо на свѣтъ фонарей, но только онъ, разумѣется, все-таки не спасется, потому что именно тутъ, на этомъ пути, онъ попадетъ въ іорданскую прорубь. Тамъ ему нырокъ подъ ледъ и конецъ... Вотъ и опять стихъ, а черезъ минуту снова полощется и стонетъ: «спасите, спасите!» И теперь уже такъ близко, что даже слышны всплески воды, какъ онъ полощется...

Солдатъ Постниковъ сталъ соображать, что спасти этого человѣка чрезвычайно легко. Если теперь сбѣжать на ледъ, то тонущій непремѣнно тутъ же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестикъ, или подать ружье, и онъ спасенъ. Онъ такъ близко, что можетъ схватиться рукою и выскочить. Но Постниковъ помнитъ и службу, и присягу; онъ знаетъ, что онъ часовой, а часовой ни за что и ни подъ какимъ предлогомъ не смѣетъ покинуть своей будки.

Съ другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное: такъ и ноетъ, такъ и стучитъ, такъ и замираетъ... Хоть вырви его, да самъ себѣ подъ ноги брось,—такъ безпокойно съ нимъ дѣлается отъ этихъ стоновъ и воплей... Страшно, вѣдь, слышать какъ другой человѣкъ погибаетъ, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, къ тому есть полная возможность, потому что будка съ мѣста не убѣжитъ и ничто иное вредное не случится,

«Иль сбѣжать, а?.. Не увидятъ... Ахъ, Господи, одинъ бы конецъ! Опять стонетъ»...

За одинъ получасъ, пока это длилось, солдатъ Постниковъ совсѣмъ истерзался сердцемъ и сталъ ощущать «сомнѣнія разсудка». А солдатъ онъ былъ умный и исправный, съ разсудкомъ яснымъ и отлично понималъ, что оставить свой постъ есть такая вина со стороны часового, за которую сейчасъ же послѣдуетъ военный судъ, а потомъ гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а можетъ-быть даже и «разстрѣлъ»; но со стороны вздувшейся рѣки опять наплываютъ все ближе и ближе стоны и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

— Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!

Тутъ вотъ сейчасъ и есть іорданская прорубь... Конецъ!

Постниковъ еще разъ-два оглянулся во всѣ стороны. Нигдѣ ни души нѣтъ, только фонари трясутся отъ вѣтра и мерцаютъ, да по вѣтру, прерываясь, долетаетъ этотъ крикъ... можетъ-быть, послѣдній крикъ...

Вотъ еще всплескъ, еще однозвучный вопль, и въ водѣ забулькотало.

Часовой не выдержалъ и покинулъ свой постъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Постниковъ бросился къ сходнямъ, сбѣжалъ съ сильно бьющимся сердцемъ на ледъ, потомъ въ наплывшую воду полыньи и, скоро разсмотрѣвъ, гдѣ бьется заливающійся утопленникъ, протянулъ ему ложу своего ружья.

Утопавшій схватился за прикладъ, а Постниковъ потянулъ его за штыкъ и вытащилъ на берегъ.

Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и какъ изъ нихъ спасенный былъ въ сильной усталости и дрожалъ и падалъ, то спаситель его, солдатъ Постниковъ, не рѣшился его бросить на льду, а вывелъ его на набережную и сталъ осматриваться, кому бы его передать. А межъ тѣмъ, пока все это дѣлалось, на набережной показались сани, въ которыхъ сидѣлъ офицеръ существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впослѣдствіи упраздненной).

Этотъ столь не во-время для Постникова подоспѣвшій господинъ былъ, надо полагать, человѣкъ очень легкомысленнаго характера и притомъ немножко безтолковый и изрядный наглецъ. Онъ соскочилъ съ саней и началъ спрашивать:

— Что за человѣкъ... что за люди?

— Тонулъ, заливался,—началъ-было Постниковъ.

— Какъ тонулъ? Кто, ты тонулъ? Зачѣмъ въ такомъ мѣстѣ?

А тотъ только отпырхивается, а Постникова уже нѣтъ: онъ взялъ ружье на плечо и опять сталъ въ будку.

Смекнулъ или нѣтъ офицеръ въ чемъ дѣло, но онъ больше не сталъ изслѣдовать, а тотчасъ же подхватилъ къ себѣ въ сани спасеннаго человѣка и покатилъ съ нимъ на Морскую въ съѣзжій домъ Адмиралтейской части.

Тутъ офицеръ сдѣлалъ приставу заявленіе, что привезенный имъ мокрый человѣкъ тонулъ въ полыньѣ противъ дворца и спасенъ имъ, господиномъ офицеромъ, съ опасностью для его собственной жизни.

Тотъ, котораго спасли, былъ и теперь весь мокрый, иззябшій и изнемогшій. Отъ испуга и отъ страшныхъ усилій, онъ впалъ въ безпамятство и для него было безразлично, кто спасалъ его.

Около него хлопоталъ заспанный полицейскій фельдшеръ, а въ канцеляріи писали протоколъ по словесному заявленію инвалиднаго офицера и, съ свойственною полицейскимъ людямъ подозрительностью, недоумѣвали, какъ онъ самъ весь сухъ изъ воды вышелъ? А офицеръ, который имѣлъ желаніе получить себѣ установленную медаль «за спасеніе погибавшихъ», объяснялъ это счастливымъ стеченіемъ обстоятельствъ, но объяснялъ нескладно и невѣроятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.

А между тѣмъ во дворцѣ по этому дѣлу образовались уже другія, быстрыя теченія.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Въ дворцовой караульнѣ всѣ сейчасъ упомянутые обороты послѣ принятія офицеромъ спасеннаго утопленника въ свои сани были неизвѣстны. Тамъ измайловскій офицеръ и солдаты знали только то, что ихъ солдатъ, Постниковъ, оставивъ будку, кинулся спасать человѣка, и какъ это есть большое нарушеніе воинскихъ обязанностей, то рядовой Постниковъ теперь непремѣнно пойдетъ подъ судъ и подъ палки, а всѣмъ начальствующимъ лицамъ, начиная отъ ротнаго командира полка, достанутся страшныя непріятности, противъ которыхъ ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться.

Мокрый и дрожащій солдатъ Постниковъ, разумѣется, сейчасъ же былъ смѣненъ съ поста и, будучи приведенъ въ кордегардію, чистосердечно разсказалъ Н. И. Миллеру все, что̀ намъ извѣстно, и со всѣми подробностями, доходившими до того, какъ инвалидный офицеръ посадилъ къ себѣ спасеннаго утопленника и велѣлъ своему кучеру скакать въ Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась все больше и неизбѣжнѣе. Разумѣется, инвалидный офицеръ все разскажетъ приставу, а приставъ тотчасъ же доведетъ объ этомъ до свѣдѣнія оберъ-полицеймейстера Кокошкина, а тотъ доложитъ утромъ государю и пойдетъ «горячка».

Долго разсуждать было некогда, надо было призывать къ дѣлу старшихъ.

Николай Ивановичъ Миллеръ тотчасъ же послалъ тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиньину, въ которой просилъ его какъ можно скорѣе пріѣхать въ дворцовую караульню и всѣми мѣрами пособить совершившейся страшной бѣдѣ.

Это было уже около трехъ часовъ, а Кокошкинъ являлся съ докладомъ къ государю довольно рано утромъ, такъ что на всѣ думы и на всѣ дѣйствія оставалось очень мало времени.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Подполковникъ Свиньинъ не имѣлъ той жалостливости и того мягкосердечія, которыя всегда отличали Николая Ивановича Миллера. Свиньинъ былъ человѣкъ не безсердечный, но, прежде всего и больше всего, «службистъ» (типъ, о которомъ нынче опять вспоминаютъ съ сожалѣніемъ). Свиньинъ отличался строгостью и даже любилъ щеголять требовательностью дисциплины. Онъ не имѣлъ вкуса ко злу и никому не искалъ причинить напрасное страданіе; но если человѣкъ нарушилъ какую бы то ни было обязанность службы, то Свиньинъ былъ неумолимъ. Онъ считалъ неумѣстнымъ входить въ обсужденіе побужденій, какія руководили въ данномъ случаѣ движеніемъ виновнаго, а держался того правила, что на службѣ всякая вина виновата. А потому въ караульной ротѣ всѣ знали, что̀ придется претерпѣть рядовому Постникову за оставленіе своего поста, то онъ и оттерпитъ, и Свиньинъ объ этомъ скорбѣть не станетъ.

Такимъ этотъ штабъ-офицеръ былъ извѣстенъ начальству и товарищамъ, между которыми были люди, не симпатизировавшіе Свиньину, потому что тогда еще не совсѣмъ вывелся «гуманизмъ» и другія ему подобныя заблужденія. Свиньинъ былъ равнодушенъ къ тому, порицаютъ или хвалятъ его «гуманисты». Просить и умолять Свиньина или даже пытаться его разжалобить — было дѣло совершенно безполезное. Отъ всего этого онъ былъ закаленъ крѣпкимъ закаломъ карьерныхъ людей того времени, но и у него, какъ у Ахиллеса, было слабое мѣсто.

Свиньинъ тоже имѣлъ хорошо начатую служебную карьеру, которую онъ, конечно, тщательно оберегалъ и дорожилъ тѣмъ, чтобы на нее, какъ на парадный мундиръ, ни одна пылинка не сѣла; а между тѣмъ несчастная выходка человѣка изъ ввѣреннаго ему батальона непремѣнно должна была бросить дурную тѣнь на дисциплину всей его части. Виноватъ или не виноватъ батальонный командиръ въ томъ, что̀ одинъ изъ его сдѣлалъ, подъ вліяніемъ увлеченія благороднѣйшимъ состраданіемъ,—этого не станутъ разбирать тѣ, отъ кого зависитъ хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свиньина, а многіе даже охотно подкатятъ ему бревно подъ ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемаго людьми, въ случаѣ государь, конечно, разсердится и непремѣнно скажетъ полковому командиру, что у него «слабые офицеры», что у нихъ «люди распущены». А кто это надѣлалъ?—Свиньинъ. Вотъ такъ это и пойдетъ повторяться, что «Свиньинъ слабъ», и такъ, можетъ, покоръ слабостью и останется несмываемымъ пятномъ на его, Свиньина, репутаціи. Не быть ему тогда ничѣмъ достопримѣчательнымъ въ ряду современниковъ и не оставить своего портрета въ галлереѣ историческихъ лицъ государства Россійскаго.

Изученіемъ исторіи тогда хотя мало занимались, но, однако, въ нее вѣрили, и особенно охотно сами стремились участвовать въ ея сочиненіи.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Какъ только Свиньинъ получилъ около трехъ часовъ ночи тревожную записку отъ капитана Миллера, онъ тотчасъ же вскочилъ съ постели, одѣлся по формѣ и, подъ вліяніемъ страха и гнѣва, прибылъ въ караульню Зимняго

дворца. Здѣсь онъ немедленно же произвелъ допросъ рядовому Постникову и убѣдился, что невѣроятный случай совершился. Рядовой Постниковъ опять вполнѣ чистосердечно подтвердилъ своему батальонному командиру все то же самое, что произошло на его часахъ, и что онъ, Постниковъ, уже раньше показалъ своему ротному капитану Миллеру. Солдатъ говорилъ, что онъ «Богу и государю виноватъ безъ милосердія», что онъ стоялъ на часахъ и, заслышавъ стоны человѣка, тонувшаго въ полыньѣ, долго мучился, долго былъ въ борьбѣ между служебнымъ долгомъ и состраданіемъ и, наконецъ, на него напало искушеніе, и онъ не выдержалъ этой борьбы: покинулъ будку, соскочилъ на ледъ и вытащилъ тонувшаго на берегъ, а здѣсь, какъ на грѣхъ, попался проѣзжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.

Подполковникъ Свиньинъ былъ въ отчаяніи; онъ далъ себѣ единственное возможное удовлетвореніе, сорвавъ свой гнѣвъ на Постниковѣ, котораго тотчасъ же прямо отсюда послалъ подъ арестъ въ казарменный карцеръ, а потомъ сказалъ нѣсколько колкостей Миллеру, попрекнувъ его «гуманеріей», которая ни на что не пригодна въ военной службѣ; но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дѣло. Подыскать если не оправданіе, то хотя извиненіе такому поступку, какъ оставленіе часовымъ своего поста, было невозможно, и оставался одинъ исходъ—скрыть все дѣло отъ государя...

Но есть ли возможность скрыть такое происшествіе?

Повидимому, это представлялось невозможнымъ, такъ какъ о спасеніи погибавшаго знали не только всѣ караульные, но зналъ и тотъ ненавистный инвалидный офицеръ, который до сихъ поръ, конечно, успѣлъ довести обо всемъ этомъ до вѣдома генерала Кокошкина.

Куда теперь скакать? Къ кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?

Свиньинъ хотѣлъ скакать къ великому князю Михаилу Павловичу и разсказать ему все чистосердечно. Такіе маневры тогда были въ ходу. Пусть великій князь, по своему пылкому характеру, разсердится и накричитъ, но его нравъ и обычай были таковы, что, чѣмъ онъ сильнѣе окажетъ на первый разъ рѣзкости, и даже тяжко обидитъ, тѣмъ онъ потомъ скорѣе смилуется и самъ же заступится. Подобныхъ

случаевъ бывало не мало и ихъ иногда нарочно искали. «Брань на вороту не висла», и Свиньинъ очень хотѣлъ бы свести дѣло къ этому благопріятному положенію, но развѣ можно ночью доступить во дворецъ и тревожить великаго князя? А дожидаться утра и явиться къ Михаилу Павловичу послѣ того, когда Кокошкинъ побываетъ съ докладомъ у государя, будетъ уже поздно. И пока Свиньинъ волновался среди такихъ затрудненій, онъ обмякъ, и умъ его началъ прозрѣвать еще одинъ выходъ, до сей поры скрывавшійся въ туманѣ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Въ ряду извѣстныхъ военныхъ пріемовъ есть одинъ такой, чтобы въ минуту наивысшей опасности, угрожающей со стѣнъ осаждаемой крѣпости, не удаляться отъ нея, а прямо идти подъ ея стѣнами. Свиньинъ рѣшился не дѣлать ничего того, что ему приходило въ голову сначала, а немедленно ѣхать прямо къ Кокошкину.

Объ оберъ-полицеймейстерѣ Кокошкинѣ въ Петербургѣ говорили тогда много ужасающаго и нелѣпаго, но, между прочимъ, утверждали, что онъ обладаетъ удивительнымъ многостороннимъ тактомъ и при содѣйствіи этого такта не только «умѣетъ сдѣлать изъ мухи слона, но такъ же легко умѣетъ сдѣлать изъ слона муху».

Кокошкинъ въ самомъ дѣлѣ былъ очень суровъ и очень грозенъ и внушалъ всѣмъ большой страхъ къ себѣ, но онъ иногда мирволилъ шалунамъ и добрымъ весельчакамъ изъ военныхъ, а такихъ шалуновъ тогда было много, и имъ не разъ случалось находить себѣ въ его лицѣ могущественнаго и усерднаго защитника. Вообще онъ много могъ и много умѣлъ сдѣлать, если только захочетъ. Такимъ его знали и Свиньинъ, и капитанъ Миллеръ. Миллеръ тоже укрѣпилъ своего батальоннаго командира отважиться на то, чтобы ѣхать немедленно къ Кокошкину и довѣриться его великодушію и его «многостороннему такту», который, вѣроятно, продиктуетъ генералу, какъ вывернуться изъ этого досаднаго случая, чтобы не ввести въ гнѣвъ государя, что Кокошкинъ, къ чести его, всегда избѣгалъ съ большимъ стараніемъ.

Свиньинъ надѣлъ шинель, устремилъ глаза вверхъ, и вос-

кликнувъ нѣсколько разъ: «Господи, Господи!»—поѣхалъ къ Кокошкину.

Это былъ уже въ началѣ пятый часъ утра.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Оберъ-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о Свиньинѣ, пріѣхавшемъ по важному и не терпящему отлагательствъ дѣлу.

Генералъ немедленно всталъ и вышелъ къ Свиньину въ архалучкѣ, потирая лобъ, зѣвая и ежась. Все, что разсказывалъ Свиньинъ, Кокошкинъ выслушивалъ съ большимъ вниманіемъ, но спокойно. Онъ во все время этихъ объясненій и просьбъ о снисхожденіи произнесъ только одно:

— Солдатъ бросилъ будку и спасъ человѣка?

— Точно такъ,—отвѣтилъ Свиньинъ.

— А будка?

— Оставалась въ это время пустою.

— Гм... Я это зналъ, что она оставалась пустою. Очень радъ, что ее не украли.

Свиньинъ изъ этого еще болѣе увѣрился, что ему уже все извѣстно и что онъ, конечно, уже рѣшилъ себѣ, въ какомъ видѣ онъ представитъ объ этомъ при утреннемъ докладѣ государю, и рѣшенія этого измѣнять не станетъ. Иначе такое событіе, какъ оставленіе часовымъ своего поста въ дворцовомъ караулѣ, безъ сомнѣнія, должно было бы гораздо сильнѣе встревожить энергическаго оберъ-полицеймейстера.

Но Кокошкинъ не зналъ ничего. Приставъ, къ которому явился инвалидный офицеръ со спасеннымъ утопленникомъ, не видалъ въ этомъ дѣлѣ никакой особенной важности. Въ его глазахъ это вовсе даже не было такимъ дѣломъ, чтобы ночью тревожить усталаго оберъ-полицеймейстера, да и притомъ самое событіе представлялось приставу довольно подозрительнымъ, потому что инвалидный офицеръ былъ совсѣмъ сухъ, чего никакъ не могло быть, если онъ спасалъ утопленника съ опасностью для собственной жизни. Приставъ видѣлъ въ этомъ офицерѣ только что честолюбца и лгуна, желающаго имѣть одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писалъ протоколъ, приставъ придерживалъ у себя офицера и старался выпытать у него истину черезъ разспросъ мелкихъ подробностей.

Приставу тоже не было пріятно, что такое происшествіе случилось въ его части и что утопавшаго вытащилъ не полицейскій, а дворцовый офицеръ.

Спокойствіе же Кокошкина объяснялось просто, во-первыхъ, страшною усталостью, которую онъ въ это время испытывалъ послѣ цѣлодневной суеты и ночного участія при тушеніи двухъ пожаровъ, а, во-вторыхъ, тѣмъ, что дѣло, сдѣланное часовымъ Постниковымъ, его, г-на оберъ-полицеймейстера, прямо не касалось.

Впрочемъ, Кокошкинъ тотчасъ же сдѣлалъ соотвѣтственное распоряженіе.

Онъ послалъ за приставомъ Адмиралтейской части и приказалъ ему немедленно явиться вмѣстѣ съ инвалиднымъ офицеромъ и со спасеннымъ утопленникомъ, а Свиньина просилъ подождать въ маленькой пріемной передъ кабинетомъ. Затѣмъ Кокошкинъ удалился въ кабинетъ и, не затворяя за собою дверей, сѣлъ за столъ и началъ было подписывать бумаги; но сейчасъ же склонилъ голову на руки и заснулъ за столомъ въ креслѣ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Тогда еще не было ни городскихъ телеграфовъ, ни телефоновъ, а для спѣшной передачи приказаній начальства скакали по всѣмъ направленіямъ «сорокъ тысячъ курьеровъ», о которыхъ сохранится долговѣчное воспоминаніе въ комедіи Гоголя.

Это, разумѣется, не было такъ скоро, какъ телеграфъ или телефонъ, но зато сообщало городу значительное оживленіе и свидѣтельствовало о неусыпномъ бдѣніи начальства.

Пока изъ Адмиралтейской части явились запыхавшійся приставъ и офицеръ-спаситель, а также и спасенный утопленникъ, нервный и энергическій генералъ Кокошкинъ вздремнулъ и освѣжился. Это было замѣтно въ выраженіи его лица и въ проявленіи его душевныхъ способностей.

Кокошкинъ потребовалъ всѣхъ явившихся въ кабинетъ и вмѣстѣ съ ними пригласилъ и Свиньина.

— Протоколъ?—односложно спросилъ освѣженнымъ голосомъ у пристава Кокошкинъ.

Тотъ молча подалъ ему сложенный листъ бумаги и тихо прошепталъ:

— Долженъ просить дозволить мнѣ доложить вашему превосходительству нѣсколько словъ по секрету...

— Хорошо.

Кокошкинъ отошелъ въ амбразуру окна, а за нимъ приставъ.

— Что такое?

Послышался неясный шопотъ пристава и ясныя покрякиванья генерала.

— Гм... Да!.. Ну, что-жъ такое?.. Это могло быть... Они на томъ стоятъ, чтобы сухими выскакивать... Ничего больше?

— Ничего-съ.

Генералъ вышелъ изъ амбразуры, присѣлъ къ столу и началъ читать. Онъ читалъ протоколъ про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнѣній, и затѣмъ непосредственно обратился съ громкимъ и твердымъ вопросомъ къ спасенному:

— Какъ ты, братецъ, попалъ въ полынью противъ дворца?

— Виноватъ,—отвѣчалъ спасенный.

— То-то! Былъ пьянъ?

— Виноватъ, пьянъ не былъ, а былъ выпимши.

— Зачѣмъ въ воду попалъ?

— Хотѣлъ перейти поближе черезъ ледъ, сбился и попалъ въ воду.

— Значитъ, въ глазахъ было темно?

— Темно, кругомъ темно было, ваше превосходительство!

— И ты не могъ разсмотрѣть, кто тебя вытащилъ?

— Виноватъ, ничего не разсмотрѣлъ. Вотъ они, кажется.—Онъ указалъ на офицера и добавилъ:—Я не могъ разсмотрѣть, былъ испужамшись.

— То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодѣтель. Благородный человѣкъ жертвовалъ за тебя своею жизнью!

— Вѣкъ буду помнить.

— Имя ваше, господинъ офицеръ?

Офицеръ назвалъ себя по имени.

— Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Ты православный?

— Православный, ваше превосходительство.

— Въ поминанье за здравіе это имя запиши.

— Запишу, ваше превосходительство.

— Молись Богу за него и ступай вонъ: ты больше не нуженъ.

Тотъ поклонился въ ноги и выкатился, безъ мѣры довольный тѣмъ, что его отпустили.

Свиньинъ стоялъ и недоумѣвалъ, какъ это такой оборотъ все принимаетъ милостію Божіею!

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Кокошкинъ обратился къ инвалидному офицеру:

— Вы спасли этого человѣка, рискуя собственною жизнью?

— Точно такъ, ваше превосходительство.

— Свидѣтелей этого происшествія не было, да по позднему времени и не могло быть?

— Да, ваше превосходительство, было темно и на набережной никого не было, кромѣ часовыхъ.

— О часовыхъ не зачѣмъ поминать: часовой охраняетъ свой постъ и не долженъ отвлекаться ничѣмъ постороннимъ. Я вѣрю тому, что написано въ протоколѣ. Вѣдь это съ вашихъ словъ?

Слова эти Кокошкинъ произнесъ съ особеннымъ удареніемъ, точно какъ будто пригрозилъ или прикрикнулъ.

Но офицеръ не сробѣлъ, а, вылупивъ глаза и выпучивъ грудь, отвѣтилъ:

— Съ моихъ словъ и совершенно вѣрно, ваше превосходительство.

— Вашъ поступокъ достоинъ награды.

Тотъ началъ благодарно кланяться.

— Не за что благодарить,—продолжалъ Кокошкинъ.— Я доложу о вашемъ самоотверженномъ поступкѣ государю императору и грудь ваша, можетъ-быть, сегодня же будетъ украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплаго и никуда не выходите, потому что, можетъ-быть, вы понадобитесь.

Инвалидный офицеръ совсѣмъ засіялъ, откланялся и вышелъ.

Кокошкинъ поглядѣлъ ему вслѣдъ и проговорилъ:

— Возможная вещь, что государь пожелаетъ самъ его видѣть.

— Слушаю-съ,— отвѣчалъ понятливо приставъ.

— Вы мнѣ больше не нужны.

Приставъ вышелъ и, затворивъ за собою дверь, тотчасъ, по набожной привычкѣ, перекрестился.

Инвалидный офицеръ ожидалъ пристава внизу, и они отправились вмѣстѣ въ гораздо болѣе теплыхъ отношеніяхъ, чѣмъ когда сюда вступали.

Въ кабинетѣ у оберъ-полицеймейстера остался одинъ Свиньинъ, на котораго Кокошкинъ сначала посмотрѣлъ долгимъ, пристальнымъ взглядомъ и потомъ спросилъ:

— Вы не были у великаго князя?

Въ то время, когда упоминали о великомъ князѣ, то всѣ знали, что это относится къ великому князю Михаилу Павловичу.

— Я прямо явился къ вамъ, — отвѣчалъ Свиньинъ.

— Кто караульный офицеръ?

— Капитанъ Миллеръ.

Кокошкинъ опять окинулъ Свиньина взглядомъ и потомъ сказалъ:

— Вы мнѣ, кажется, что-то прежде иначе говорили.

Свиньинъ даже не понялъ, къ чему это относится, и промолчалъ, а Кокошкинъ добавилъ:

— Ну, все равно: спокойно почивайте.

Аудіенція кончилась.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Въ часъ пополудни инвалидный офицеръ, дѣйствительно, былъ опять потребованъ къ Кокошкину, который очень ласково объявилъ ему, что государь весьма доволенъ, что среди офицеровъ инвалидной команды его дворца есть такіе бдительные и самоотверженные люди, и жалуетъ ему медаль «за спасеніе погибавшихъ». При семъ Кокошкинъ собственноручно вручилъ герою медаль, и тотъ пошелъ щеголять ею. Дѣло, стало-быть, можно было считать совсѣмъ сдѣланнымъ, но подполковникъ Свиньинъ чувствовалъ въ немъ какую-то незаконченность и почиталъ себя призваннымъ поставить point sur les *i*.

Онъ былъ такъ встревоженъ, что три дня проболѣлъ, а на четвертый всталъ, съѣздилъ въ Петровскій домикъ, отслужилъ благодарственный молебенъ передъ иконою Спасителя и, возвратясь домой съ успокоенною душой, послалъ попросить къ себѣ капитана Миллера.

— Ну, слава Богу, Николай Ивановичъ, — сказалъ онъ

Миллеру: — теперь гроза, надъ нами тяготѣвшая, совсѣмъ прошла и наше несчастное дѣло съ часовымъ совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можемъ вздохнуть спокойно. Всѣмъ этимъ мы, безъ сомнѣнія, обязаны сначала милосердію Божію, а потомъ генералу Кокошкину. Пусть о немъ говорятъ, что онъ и недобрый, и безсердечный, но я исполненъ благодарности къ его великодушію и почтенія къ его находчивости и такту. Онъ удивительно мастерски воспользовался хвастовствомъ этого инвалиднаго пройдохи, котораго, по правдѣ, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обѣ корки выдрать на конюшнѣ, но ничего иного не оставалось: имъ нужно было воспользоваться для спасенія многихъ, и Кокошкинъ повернулъ все дѣло такъ умно, что никому не вышло ни малѣйшей непріятности,—напротивъ, всѣ очень рады и довольны. Между нами сказать, мнѣ передано черезъ достовѣрное лицо, что и самъ Кокошкинъ мною *очень доволенъ*. Ему было пріятно, что я не поѣхалъ никуда, а прямо явился къ нему, и не сцорилъ съ этимъ проходимцемъ, который получилъ медаль. Словомъ, никто не пострадалъ и все сдѣлано съ такимъ тактомъ, что и впередъ опасаться нечего, но маленькій недочетъ есть за нами. Мы тоже должны съ тактомъ послѣдовать примѣру Кокошкина и закончить дѣло съ своей стороны такъ, чтобъ оградить себя на всякій случай впослѣдствіи. Есть еще одно лицо, котораго положеніе не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Онъ досихъ поръ въ карцерѣ подъ арестомъ и его, безъ сомнѣнія, томитъ ожиданіе, что съ нимъ будетъ. Надо прекратить и его мучительное томленіе.

— Да, пора!—подсказалъ обрадованный Миллеръ.

— Ну, конечно, и вамъ это всѣхъ лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчасъ въ казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова изъ-подъ ареста и накажите его передъ строемъ двумя стами розогъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Миллеръ изумился и сдѣлалъ попытку склонить Свиньина къ тому, чтобы на общей радости совсѣмъ пощадить и простить рядового Постникова, который и безъ того уже много перестрадалъ, ожидая въ карцерѣ рѣшенія того, что ему будетъ; но Свиньинъ вспыхнулъ и даже не далъ Миллеру продолжать.

— Нѣтъ,—перебилъ онъ,—это оставьте: я вамъ только-что говорилъ о тактѣ, а вы сейчасъ же начинаете безтактность! Оставьте это!

Свиньинъ перемѣнилъ тонъ на болѣе сухой и официальный и добавилъ съ твердостью:

— А какъ въ этомъ дѣлѣ вы сами тоже не совсѣмъ правы и даже очень виноваты, потому что у васъ есть не идущая военному человѣку мягкость, и этотъ недостатокъ вашего характера отражается на субординаціи въ вашихъ подчиненныхъ, то я приказываю вамъ лично присутствовать при экзекуціи и настоять, чтобы сѣченіе было произведено серьезно... какъ можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами сѣкли молодые солдаты изъ новоприбывшихъ изъ арміи, потому что наши старики всѣ заражены на этотъ счетъ гвардейскимъ либерализмомъ: они товарища не сѣкутъ какъ должно, а только блохъ у него за спиною пугаютъ. Я заѣду самъ и самъ посмотрю, какъ виноватый будетъ сдѣланъ.

Уклоненія отъ какихъ бы то ни было служебныхъ приказаній начальствующаго лица, конечно, не имѣли мѣста, и мягкосердечный Н. И. Миллеръ долженъ былъ въ точности исполнить приказъ, полученный имъ отъ своего батальоннаго командира.

Рота была выстроена на дворѣ измайловскихъ казармъ, розги принесены изъ запаса въ довольномъ количествѣ и выведенный изъ карцера рядовой Постниковъ «былъ сдѣланъ» при усердномъ содѣйствіи новоприбывшихъ изъ арміи молодыхъ товарищей. Эти неиспорченные гвардейскимъ либерализмомъ люди въ совершенствѣ выставили на немъ всѣ point sur les *i*, въ полной мѣрѣ опредѣленныя ему его батальоннымъ командиромъ. Затѣмъ наказанный Постниковъ былъ поднятъ и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его сѣкли, перенесенъ въ полковой лазаретъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Батальонный командиръ Свиньинъ, по полученіи донесенія объ исполненіи экзекуціи, тотчасъ же самъ отечески навѣстилъ Постникова въ лазаретѣ и, къ удовольствію своему, самымъ наглядным образомъ убѣдился, что приказаніе его исполнено въ совершенствѣ. Сердобольный и

нервный Постниковъ былъ «сдѣланъ какъ слѣдуетъ». Свиньинъ остался доволенъ и приказалъ дать отъ себя наказанному Постникову фунтъ сахару и четверть фунта чаю, чтобъ онъ могъ услаждаться, пока будетъ на поправкѣ. Постниковъ, лежа на койкѣ, слышалъ это распоряженіе о чаѣ и отвѣчалъ:

— Много доволенъ, ваше высокородіе, благодарю за отеческую милость.

И онъ въ самомъ дѣлѣ былъ «доволенъ», потому что, сидя три дня въ карцерѣ, онъ ожидалъ гораздо худшаго. Двѣсти розогъ, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили въ сравненіи съ тѣми наказаніями, какія люди переносили по приговорамъ военнаго суда; а такое именно наказаніе и досталось бы Постникову, если бы, къ счастію его, не произошло всѣхъ тѣхъ смѣлыхъ и тактическихъ эволюцій, о которыхъ выше разсказано.

Но число всѣхъ довольныхъ разсказаннымъ происшествіемъ этимъ не ограничилось.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Подъ сурдинкою подвигъ рядового Постникова расползся по разнымъ кружкамъ столицы, которая въ то время печатной безголосицы жила въ атмосферѣ безконечныхъ сплетенъ. Въ устныхъ передачахъ имя настоящаго героя—солдата Постникова утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтическій характеръ.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крѣпости плылъ какой-то необыкновенный пловецъ, въ котораго одинъ изъ стоявшихъ у дворца часовыхъ выстрѣлилъ и пловца ранилъ, а проходившій инвалидный офицеръ бросился въ воду и спасъ его, за что и получили: одинъ—должную награду, а другой—заслуженное наказаніе. Нелѣпый слухъ этотъ дошелъ и до подворья, гдѣ въ ту пору жилъ осторожный и неравнодушный къ «свѣтскимъ событіямъ» владыко, благосклонно благоволившій къ набожному московскому семейству Свиньиныхъ.

Проницательному владыкѣ казалось неяснымъ сказаніе о выстрѣлѣ. Что же это за ночной пловецъ? Если онъ былъ бѣглый узникъ, то за что же наказанъ часовой, который исполнилъ свой долгъ, выстрѣливъ въ него, когда тотъ

плылъ черезъ Неву изъ крѣпости? Если же это не узникъ, а иной загадочный человѣкъ, котораго надо было спасать изъ волнъ Невы, то почему о немъ могъ знать часовой? И тогда опять не можетъ быть, чтобъ это было такъ, какъ о томъ въ мірѣ суесловятъ. Въ мірѣ многое берутъ крайне легкомысленно и «суесловятъ», но живущіе въ обителяхъ и на подворьяхъ ко всему относятся гораздо серьезнѣе и знаютъ о свѣтскихъ дѣлахъ самое настоящее.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Однажды, когда Свиньинъ случился у владыки, чтобы принять отъ него благословеніе, высокочтимый хозяинъ заговорилъ съ нимъ «кстати о выстрѣлѣ». Свиньинъ разсказалъ всю правду, въ которой, какъ мы знаемъ, не было ничего похожаго на то, о чемъ повѣствовали «кстати о выстрѣлѣ».

Владыко выслушалъ настоящій разсказъ въ молчаніи, слегка шевеля своими бѣленькими четками и не сводя своихъ глазъ съ разсказчика. Когда же Свиньинъ кончилъ, владыко тихо журчащею рѣчью произнесъ:

— Посему надлежитъ заключить, что въ семъ дѣлѣ не все и не вездѣ излагалось согласно съ полной истиной?

Свиньинъ замялся и потомъ отвѣчалъ съ уклономъ, что докладывалъ не онъ, а генералъ Кокошкинъ.

Владыко въ молчаніи перепустилъ нѣсколько разъ четки сквозь свои восковые персты и потомъ молвилъ:

— Должно различать, что̀ есть ложь и что̀ неполная истина.

Опять четки, опять молчаніе и, наконецъ, тихоструйная рѣчь:

— Неполная истина не есть ложь. Но о семъ наименьше.

— Это, дѣйствительно, такъ,—заговорилъ поощренный Свиньинъ.—Меня, конечно, больше всего смущаетъ, что я долженъ былъ подвергнуть наказанію этого солдата, который хотя нарушилъ свой долгъ...

Четки и тихоструйный перебивъ:

— Долгъ службы никогда не долженъ быть нарушенъ.

— Да, но это имъ было сдѣлано по великодушію, по состраданію и притомъ съ такой борьбой и съ опасностью: онъ понималъ, что, спасая жизнь другому человѣку, онъ губитъ самого себя... Это высокое, святое чувство!

— Святое извѣстно Богу, наказаніе же на тѣлѣ простолюдину не бываетъ губительно и не противорѣчитъ ни обычаю народовъ, ни духу Писанія. Лозу гораздо легче перенесть на грубомъ тѣлѣ, чѣмъ тонкое страданіе въ духѣ. Въ семъ справедливость отъ васъ нимало не пострадала.

— Но онъ лишенъ и награды за спасеніе погибавшихъ.

— Спасеніе погибающихъ не есть заслуга, но паче долгъ. Кто могъ спасти и не спасъ—подлежитъ карѣ законовъ, а кто спасъ, тотъ исполнилъ свой долгъ.

Пауза, четки и тихоструй:

— Воину претерпѣть за свой подвигъ униженіе и раны можетъ быть гораздо полезнѣе, чѣмъ превозноситься знакомъ. Но что во всемъ семъ наибольшее — это то, чтобы хранить о всемъ дѣлѣ семъ осторожность и отнюдь нигдѣ не упоминать о томъ, кому по какому-нибудь случаю о семъ было сказывано.

Очевидно, и владыко былъ доволенъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

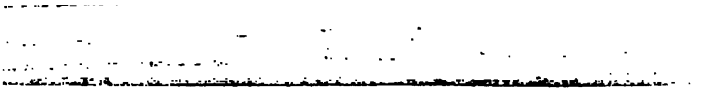
Если бы я имѣлъ дерзновеніе счастливыхъ избранниковъ Неба, которымъ, по великой ихъ вѣрѣ, дано проницать тайны Божія смотрѣнія, то я, можетъ-быть, дерзнулъ бы дозволить себѣ предположеніе, что, вѣроятно, и самъ Богъ былъ доволенъ поведеніемъ созданной имъ смирной души Постникова. Но вѣра моя мала; она не даетъ уму моему силы зрѣть столь высокаго: я держусь земного и перстнаго. Я думаю о тѣхъ смертныхъ, которые любятъ добро просто для самаго добра и не ожидаютъ никакихъ наградъ за него, гдѣ бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мнѣ кажется, должны быть вполнѣ довольны святымъ порывомъ любви и не менѣе святымъ терпѣніемъ смиреннаго героя моего точнаго и безыскусственнаго разсказа.

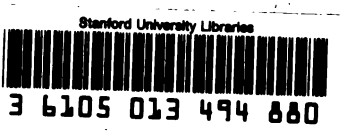
Оглавленіе.

IV ТОМА.

Праведники:

	стр.
Несмертельный Голованъ	5
Инженеры-безсребренники	51
Лѣвша	109
Человѣкъ на часахъ	142





891.
L71
ed.3
v.1-

OCT 15 '62 DOC JAN 29 1990

DEC 14
MAY 10 1987
APR 29 1977

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.